ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО ~ ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

19·21

ЖУРНАЛЬНО~ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1 · 9 · МОСКВА · 3 · 5

Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Автопортрет маслом 1860 г.

Собрание Н. П. Смирнова-Сокольского, Москва.

РАБОЧИЙ ФОЛЬКЛОР XVIII ВЕКА

Статья С. Дмитриева

В последнее время наблюдается значительное оживление интереса к литературе XVIII в. Внимание исследовательской мысли фиксируется при этом преимущественно на таких областях, которые оставались вне поля зрения старой буржуазно-идеалистической историографии. К числу этих областей, впервые сейчас становящихся объектом научного исследования, принадлежит рабочий фольклор XVIII в. Задача, стоящая здесь перед нами на первом плане, — привести в известность памятники этого фольклора. Здесь предлагается вниманию читателя песня ярославских рабочих первой половины XVIII в. Тексту песни предпослан общеисторический комментарий, дающий в основных чертах социально-экономический, бытовой, литературно-общественный фон, на котором становится понятна песня, а также ставящий ряд общих вопросов изучения рабочего фольклора.

I

Ярославль в половине XVIII в. — один из главных центров русской промышленности той эпохи, город с большим количеством рабочего населения.

В 1722 г. возникла в нем первая мануфактура И. Затрапезнова, самое крупное предприятие в городе. А в 1760-х годах в Ярославле насчитывалось уже 11 фабрик (2 полотняных, 3 шелковых, 3 шляпных, 3 суриковых и белильных), 10 заводов, 4 мельницы (между прочим одна писчебумажная) да 17 заводов кирпичных и свыше 300 ремесленников, у многих из которых работали наемные рабочие.

В середине XVIII в. на этих десятках предприятий заняты тысячи рабочих. Только к одной Ярославской Большой Мануфактуре А. Затрапезного в 1764 г. приписано было 4 680 мастеровых людей.

Каков же состав местных „фабричных людей"? Каковы условия их жизни и труда? Хорошо известен состав крепостных рабочих. Сохранились данные о рабочих, прикрепленных к Мануфактуре Затрапезновых в 1736 г.[1]. Согласно этим данным наиболее значительная группа рабочих — 43% — составлялась из крестьянства. Второе место занимают „посадские", составляющие 35% общего числа рабочих.

Подавляющее большинство рабочих — местные люди (Ярославль, Романов, Молога, Рыбная слобода). Однако много и „прибылых". Особенно среди посадских; из Архангельска. Вологды, Тотьмы, Соли-Вычегодской, Устюжны-Железнопольской, Новгорода, Старой Руссы, Москвы, Тулы, Калуги, Костромы, Суздаля, Мурома, Решмы, Казани.

Точных данных ни о количестве, ни о социальном составе наемных рабочих не имеется. Примерный состав их вероятно не слишком разнился от состава рабочих крепостных.

„Долговременный" рабочий день, скудное питание или „арестанская плата" для вольнонаемных рабочих, полное бесправие „работных людей" перед содержателями или директорами предприятий и подавление их личного достоинства — вот условия быта тогдашних рабочих[2]. Особенно

отличались жестокостью владельцы Ярославской Большой мануфактуры Затрапезновы. „Яркий представитель только что нарождавшейся тогда в России промышленной буржуазии Иван Затрапезнов был суровым до беспощадности купцом-капиталистом, который главную ставку ставил на закабалении и жестокой эксплоатации своих рабочих“ [3].

Вот один (из многих подобных) красочный случай с А. Затрапезновым и малолетним А. Шидматовым.

В Толчковском кабаке 1 августа 1755 г. оживленно передавались друг-другу посетителями кабака, рабочими мануфактуры, подробности происшествия того же дня. А. Затрапезнов „сего числа служителя своего Андрея Шидматова бил плетьми и при том битье оный Затрапезнов говорил ему, Шидматову: „для кого де оный Шидматов помилован просить хочешь?“, и что де оной Шидматов просил: прежде для Бога, а на другой оного Затрапезнова спрос — для Пресвятой Богородицы, а потом, на третий спрос, — для Купидона да Эктора, охотничьих его, Затрапезнова, собак; и как де он, Шидматов, для собак помилования просить начал, то де и бить его оный Затрапезнов покинуть приказал... Оной же хозяин их Алексей Затрапезнов в пьянстве своем многие чинит непристойности, а именно: служителю своему — Луке Борноволокову — шпагою голову рассек, камердинеру Петру Иванову — щеку шпагою же поколол“ [4].

Ответом на рабочий день продолжительностью в 14, 16, 18 часов [5], нищенскую заработную плату, плети и цепи — со стороны рабочих служили привычные приемы: отказ от работы, бегство, реже попытки активных действий — заговоры с анархо-крестьянскими вожделениями, с ясно видным обычно в большинстве из них стремлением вернуться в „крестьянство“ [6].

Для нас из обильного материала интересно дело о заговоре рабочих полотняной фабрики И. Затрапезнова в 1740 г.

Приведем показания „заводчика“ (т. е. зачинщика). „В прошлом 1739 году был я в большом кабаке с другими фабричными, и во время питья сошлись с нами из бурлаков человек пять, из них одного зовут Смолою. И все эти бурлаки работали на бумажной мельнице Затрапезнова.

Во время питья бурлаки начали говорить мне и товарищам моим: „Что вы на фабрике так терпите, воли вам пошалить нет, бьют вас и держат в колодках. Лучше вам хозяина своего Затрапезнова убить и фабрику его выжечь, оттого была бы вам воля“. Я стал звать Смолу и товарищей его делать дело вместе, но бурлаки не пошли, а сказали: „Теперь бурлаков мало, соберемся в другой год с Низу человек сто“.

В нынешнем 1740 году, будучи на большом кабаке, уговорились мы с товарищами сделать так: собравшись итти ночью за фабрику в лес; из лесу, разобрав от поля забор, войти на мануфактурный двор, зарезать караульных, стоящих у казенной палаты, потом одному, зашедши от конюшни, зажечь, а прочим вломиться в хоромы, зарезать хозяина и живущих при нем людей, разломать дверь казенной палаты, забрать все, что там имеется, и итти на Низ, на Демидовы заводы. А лодки и паспорты хотели промыслить у бурлаков, в чем посулился нам тот же Смола“ [7].

Любопытно место действия. И в 1739, и в 1740, и в 1755 гг. рабочие встречаются друг с другом, обсуждают фабричные новости, соприкасаются с прочим трудящимся людом, мечтают о бегстве, об убийстве ненавистного хозяина всегда в одном и том же месте.

Кабак, большой Толчковский кабак, — постоянное излюбленное место сходок, своеобразный клуб для рабочих жителей Толчковской слободы с ее десятками фабрик и заводов.

„Батюшка наш царев кабак" исконно являлся не только местом пьянства, но и местом встреч, разговоров, политических споров и рассуждений. „Слово и дело!" — очень часто кричали в кабаках.

Неприглядность производственной и домашней бытовой обстановки, личная забитость и приниженность рабочего забывались в кабаке не только при помощи „зелена вина", но и в пылу горячих бесед со своим же братом, в пении народных песен, под музыку какого-нибудь „скомороха с Пресни, который наигрывал песни", изображенного как необходимая принадлежность кабака на распространенном лубке XVIII в. „Аптека целительная с похмелья" (т. е. кабак)[8].

Тут же „велись азартные игры в три листика и трынку и более простые, но не менее азартные игры в орел и решетку или орлянку"[9].

Но не только игры: по соседству с кабаком располагались нищие и странники, распевавшие песни, неподалеку ставились несложные представления под открытым небом для широкой публики. Иногда и рабочие участвовали в таких спектаклях. Рабочие московской фабрики Тамеса (компаньона Затрапезновых) разыгрывали целые представления на Девичьем Поле в Москве, с царем Соломоном и его маршалком[10]. В ярославских постановках Ф. Волкова действуют между разночинцами и рабочие заводов купца Полушкина.

Кабак — исходный пункт популярных тогда кулачных боев. В нем купцы, любители позабавиться дракой, перед началом боя подносили выдающимся бойцам, ожидавшим выхода на побоище, вино и раздавали деньги. В кулачных боях активно участвовали фабричные рабочие. Известный лубок XVIII в. „Добры молодцы кулашные бойцы", изображающий двух бойцов, Парамошку и кадыка Ермошку, в уста последнего вкладывает такую речь: „Ей, брат Парамошка, худо ты шутишь надо мной, кадыком Ермошкой. Хотя б ты всю изодрал мою рожу, токмо не замал бы моей одежи; знаешь ты сам, что у нашева брата фабришнова для блох не держится много платья лишнего; веть у меня, брат, Ермака, не сшибешь валенова колпака, хотя на ногах у меня бураки, а в руках крепки кулаки"[11].

Несомненно, что среди рабочей массы, глубоко уходящей корнями своего происхождения в деревню, бытовали произведения песенного фольклора. Зная сравнительно быструю отзывчивость народной песни на все выдающиеся события своего времени, на все изменения в быту, с уверенностью можно ожидать, что новые трудовые процессы, новый быт, новая жизнь на никогда дотоле невиданных мануфактурах, будут введены в темы фольклорного творчества. Будут введены прежде всего теми, кто на себе переживал все новшества, кто был носителем и создателем фольклора.

Мы в праве ожидать отображения рабочих в их собственном творчестве. Естественно, что общее социально-экономическое положение и низкий культурный уровень мешали вполне развернуться творчеству рабочих. Нет сомнения в том, что и из того, что было создано, что пелось, рассказывалось, иногда записывалось, только отдельные немногие вещи могли попасть в старую печать или сохраниться до нас в рукописях.

Уверенность в существовании рабочего фольклора XVIII в. значительно возрастает по отношению к географическим центрам промышленности той эпохи, в частности по отношению к Ярославлю.

В прошлом лишь два факта подтверждали эту уверенность. Прежде всего знаменитая „Ярославская лента алая", записанная в десятках песен XVIII и XIX вв. различных местностей России. Ее дарит молодец девушке как лучший желанный подарок, утрата ее вызывает печаль, не к добру выплетается лента алая из косы. Ленты, славившиеся своим

качеством, вырабатывали в XVIII в. почти все ярославские шелковые фабрики.

В конце XVIII в. в печать попал более значительный памятник песенного творчества местных рабочих. В один из песенников вошла песня, восходящая к фольклору ярославских рабочих. Вот она[12]:

Близко, близко городочка,
Близь зеленого садочка,
Близко зеленого сада,
Близь города Ярославля,
Не далече от реки,
Початой слободы,
На прекрасе-красоте,
На высокой на горе,
На высокой на горе
Стоял фабричек большой.
Во том фабричке ребята —
Удалые молодцы,
Удалые молодые,
Не женаты, холостые.
Собиралися ребята,
С того фабрика гулять
На прекрасу-красоту,
На высокую гору;
Садилися по краю,
Близь зеленого сада,
Близко зеленого сада,
Близь города Ярославля;
Садилися песни пели,
Соловьям свистать велели:
„Соловьюшки, свищи!
Разгуляться к вам пришли!"
Соловьюшки свистали,
Молодцов всех утешали.

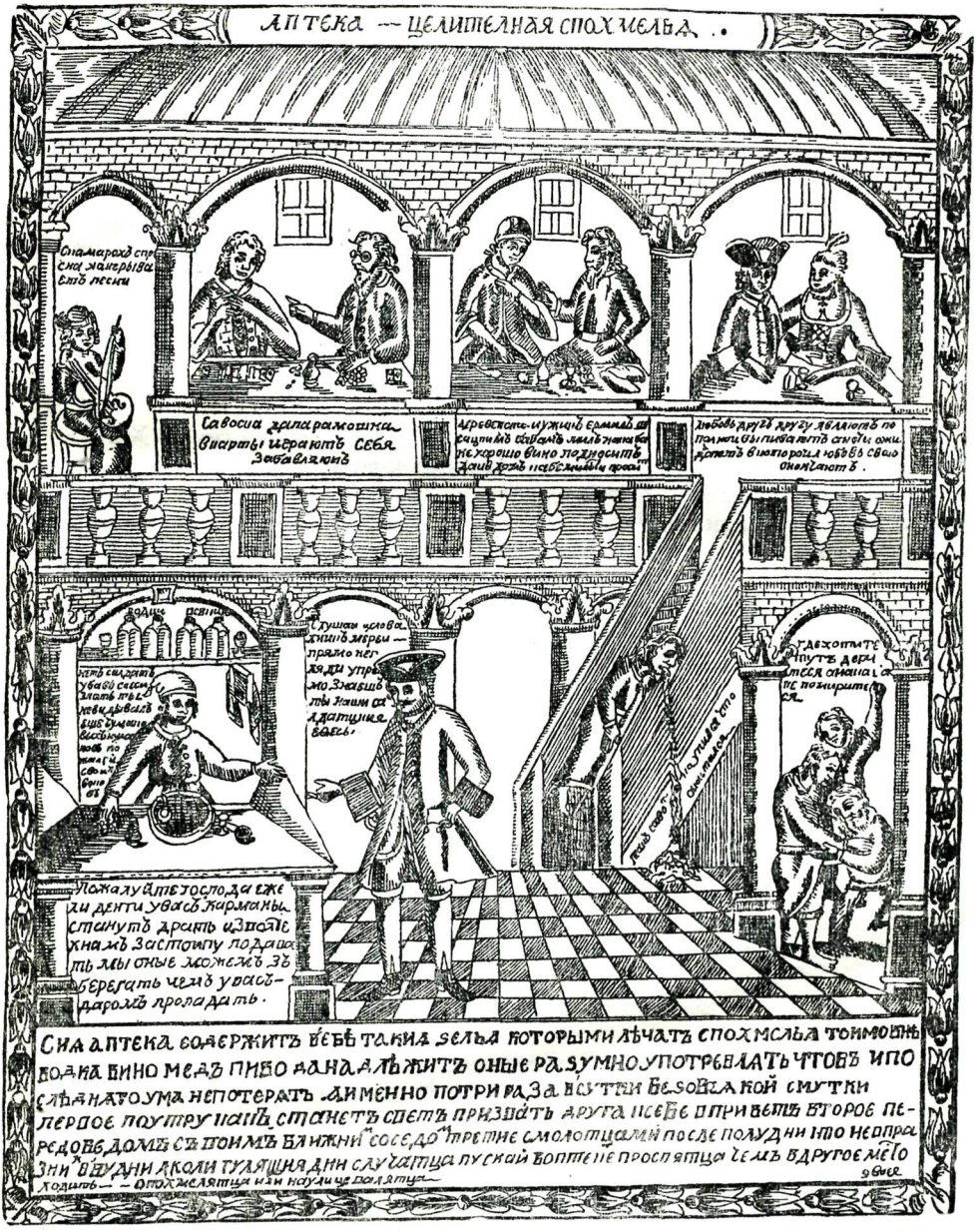
Как у нас было, ребята,
В Ярославле городе,
В Ярославле городе
Во Толчковой слободе,
У солдатки у вдовы,
У солдатки у вдовы,
Были девки хороши,
Был Васильюшка сынок,
Ковры ткать мастерок;
Ковры точет-вытыкает
И наборы набирает;
Он горазд письма писать,
Горазд грамотки читать.
При компанье пребывает,
Сам во скрипочку играет.
Заиграли на скрипице,
Для души красной девицы,
Для школьныя, манерныя,
Для Пашеньки вдовиной.
Говорила Паше мать,
Уговаривал и брат:
„Полно, Пашенька, уймись,
С молодцами не водись!
Доведут тебя ребята
До славушки до худой!"

— „Хоть худой славы добиться,
А со всеми поводиться!"

Привлекает внимание новый образ рабочей семьи. В Толчковской слободе у вдовы-солдатки дети — сын Василий, дочь Паша.

„Васильюшка, сынок, ковры ткать мастерок; ковры точет — вытыкает и наборы набирает". На Большой Ярославской мануфактуре (рядом с Толчковым) в XVIII в. вырабатывали между прочим ковры переборные подкрашенные нитяные. Работа шла на „переборных" станах. К каждому стану прикреплено было двое, трое, четверо рабочих, смотря по сложности узора. Один из них „мастер", „мастерок", ткач, ответственный за работу стана, руководил остальными — „переборщиками": указывал по рисунку, сколько нитей основы надо было поднять или опустить и пр. „Работа на переборных ткацких станах была медленна, утомительна и в то же время — легко подвержена, при случайных ослаблениях внимания со стороны работающих, всевозможным ошибкам" (Грязнов). Отдельные вещи ткались по неделям и даже месяцам! Некоторых сортов „придворных" скатертей ткач с тремя переборщиками успевал сработать в день не более полуаршина (при 14 часах работы).

Создатель песни хорошо знает производство. „Васильюшка-мастерок" на переборном стане. Но он не только ловкий, сноровистый мастерок мануфактуры, в производстве которой, как известно, все зависело от ловкости, поворотливости, тренированности рабочего, он еще: „горазд письма писать, горазд грамотки читать". Мастерок стана должен разбирать



«АПТЕКА ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ С ПОХМЕЛЬЯ»
Лубочная картина XVIII в.
Исторический Музей, Москва

вычерченный на бумаге рисовальщиком узор, высчитывать число пропусков, отступлений, разбираться в заметках на полях рисунка. Васильюшка хороший товарищ, веселый компанейский человек: „При компанье пребывает, сам во скрипочку играет".

В фигуре Васильюшки-мастерка доходит до нас собирательный образ квалифицированного ткача конца XVIII в., предшественника активного рабочего Ярославской мануфактуры. „Рабочие Большой Ярославской мануфактуры подавали жалобы на тяжесть эксплоатации (а ведь жалоба начальству в условиях крепостного права есть уже „неповиновение", ведущее к оставлению работ и даже вооруженным столкновениям) в 1803, 1806, 1817, 1818, 1823 гг."[13].

Любопытна и Пашенька „школьная, манерная", рассчитанная на вкус пришедшего из деревни нового „фабришника", тянущегося к усвоению городской культуры. Не страшит ее „худая слава", манит компания удалых молодых фабричных ребят, которые для нее „на прекрасе-красоте, на высокой на горе" недалеко от „большого фабричка" (местное название Большой мануфактуры, в отличие от Малой) поют песни, играют во скрипочку.

В настоящее время в одном рукописном сборнике стихов XVIII в. мы нашли еще одно крупное произведение, также восходящее к рабочему песенному фольклору Ярославского края. Особенно привлекает оно чертами живого реалистического описания одной из сторон быта рабочих, значительно более раннего периода, чем песня „Близко, близко городочка".

Затерявшееся в сборнике и неизвестное исследователям оно поражает красочностью и силой, характерной красотой рабочей песни, органически выросшей из форм старой народной песенной традиции.

Вместе с тем оно весьма важно тем, что решительно разрушает весьма распространенное и совсем еще недавно высказывавшееся в ряде специальных работ традиционное представление о зарождении рабочего фольклора в конце XVIII — начале XIX в.

Произведение, публикуемое нами, доказывает существование рабочего фольклора уже в первой половине XVIII в.

По своему художественному достоинству новый памятник должен занять одно из наиболее значительных и почетных мест среди немногочисленных разысканных до настоящего времени и вовлеченных в орбиту научно-исследовательской работы произведений рабочего фольклора.

II

В рукописном собрании Вахрамеева, хранящемся в отделе рукописей Исторического Музея в Москве, под № 555 находится интересующий нас сборник.

Это объемистая книга в кожаном современном переплете в продолговатую четверку (21,5 см. гориз. × 17,5 см. вертик.) из 290 листов хорошей разборчивой скорописи XVIII в.

Бумага сборника имеет водяные знаки двух типов: „ЯМЗ" или „ЯМАЗ" на одной половине листа и изображение Ярославского герба на фигурном щите на второй половине. Бумага местного изделия; „ЯМЗ" — „Ярославская Мануфактура Затрапезнова", „ЯМАЗ" — „Ярославская Мануфактура Алексея Затрапезнова"[14].

Сборник состоит из песен и вирш. Он разделяется на две половины. Первая (лл. 1—138) отделена от второй (лл. 150—290) чистыми листами 139—149. Каждая имеет заглавие, реестр (оглавление) и свою внутреннюю порядковую нумерацию произведений. Заглавие первой половины:

Российской
Академіи
разными штудентами

СОЧИНЕННЫЕ ПАСТУШКИ, ВИРШАМИ.
Списанные
ВЪ ЯРОСЪЛАВЛЕ
1755 Году.

В первой половине 135 номеров стихотворений.
Заглавие второй половины:

российской
Академіи
разными штудентами
СОЧИНЕННЫЕ ПЕСНИ ВИРШАМИ.
Списанные
ВЪ ЯРАСЛАВЪЛЕ
1755 Году

Вторая половина содержит 159 номеров.

По своему песенному составу сборник мало отличается от обычного типа таких рукописных сборников середины XVIII в. Он заполнен эротическими произведениями, бытовавшими среди учащейся и служилой молодежи и народными песнями. Любовные вирши, пасторали, эротические и юмористические народные песни, сатирические стихи наполняют сборник. Народных произведений значительно больше во второй половине сборника; среди них встречаются восходящие к украинско-польскому фольклору и отдельные к духовным кантам. В первой половине две народные песни, соседние номера (в конце), 133-й: „Что повыше было города Саратова“ и 134-й „Ярославль наш батюшко“, выпадающие своим содержанием и формой из всего состава сборника. Два стихотворения первой половины сборника имеют подписи: № 27 „Г. Свистунова“ (нач. „Полно свет мой не гордися красотою ты своей“) и № 28 „Г. Бекетова“ (нач. „Везде мне скучно стало, Мой дух всегда грустит“).

Вероятно это произведения небезызвестных П. С. Свистунова (1732—1808), воспитанника Сухопутного шляхетного корпуса, автора многих элегий, песен, комедий и трагедий, и Н. А. Бекетова (1729—1794), сотоварища Свистунова по корпусу. „В молодости, по свидетельству Новикова, он писал стихи, но произведения его в настоящее время в точности неизвестны, так как в „Собрании разных песен“ (Чулкова, 1769 и 1770 гг.) *имена авторов не обозначены*“[15].

Мы сравнили песенный состав сборника с этим наиболее популярным в XVIII в., п е р в ы м „Собранием разных песен“ М. Д. Чулкова, ждущим и „заслуживающим, — по справедливому замечанию В. Шкловского,—отдельного исследования[16]. Из 135 произведений первой половины нашего сборника в „Собрании“ Чулкова (части I—III и прибавление. СПБ., 1770—1773) нашлось 43, т. е. 32%; из 159 произведений второй половины только 11 встретилось у Чулкова, т. е. 7%.

В первой половине 19 стихотворений Сумарокова, *во второй* 6. Вторая половина сборника по своему песенному составу архаичнее первой.

Итак сборник писан в Ярославле в 1755 г., на бумаге местного производства того же времени, заключает в себе несомненно местное произведение и бытовал, как увидим ниже, также в Ярославле. Думается, что составитель-списыватель тоже местный ярославский человек.

Сравнительно высокая грамотность сборника, беглость и некоторая индивидуальная „красивость“ почерка указывают на довольно высокий

уровень образования составителя. До него—в Ярославль из Петербурга—очень быстро дошли столичные песенные новинки, из самого первоисточника большинства из них—Шляхетного корпуса. Стихи Бекетова (окончил корпус в 1751 г.) и Свистунова (моложе по возрасту Бекетова на три года) дошли до составителя как произведения „штудентов" Академии. В сборнике новые модные песенки Сумарокова. Все это позволяет высказать следующее предположение о составителе сборника.

Труппа ярославцев-актеров во главе с братьями Волковыми, купеческими сыновьями, была вызвана в Петербург в 1752 г. Она состояла из 12 человек. Самая мысль о театре в Ярославле зародилась у Ф. Волкова в конце 1740-х годов, когда, будучи в столице, он попал за кулисы театра Шляхетного корпуса и, как он сам рассказывает: „Увидя Никиту Афанасьевича Бекетова в роли Синава, я пришел в такое восхищение, что не знал, где был: на земли или на небесах? Тут родилась во мне мысль завести свой театр в Ярославле". 12 ярославцев сразу попали в средоточие литературно-театральной жизни столицы. В 1752 г. двое из них—И. Дмитревский и А. Попов—поступают в Шляхетный корпус для обучения. В 1754 г. туда же определены братья Ф. и Г. Волковы. В эти годы Свистунов преподает декламацию в корпусе, Бекетов „в случае" у Елизаветы. Среди педагогов корпуса и Сумароков, многие стихи которого вошли в сборник. Ф. Волкову он дарит книгу своих творений. В 1756 г. при учреждении русского театра в первую труппу вошли названные четверо ярославцев. Остальные вернулись в Ярославль [17].

Конечно во время пребывания в корпусе (1752—1756 гг.) ярославцы бывали на родине, где у большинства из них остались родные, однокашники и приятели, различные „копиисты" и „канцеляристы", поминаемые Волковым как друзья и ценители его постановок в Ярославле в 1750—1751 г.

Вероятно к этой купеческо-служилой среде местной молодежи 50-х годов XVIII в. и принадлежал неизвестный составитель сборника Лествицына. Ярославцы-актеры привезли ему в Ярославль и самые вирши и указание на принадлежность двух из них отличившимся в корпусе Свистунову и Бекетову, составитель же пополнил их рядом песен, ему ранее известных и бытовавших в окружавшей его среде.

История бытования сборника повидимому не выходит за пределы Ярославля. Написанный в нем в 1755 г., в 1878 г. он был там же куплен из частных рук через букиниста краеведом-историком В. И. Лествицыным (1827—1889), как это явствует из надписи на первом, вкладном листе сборника: „Вадим Иванович! прошу вас вручить за сию книгу 1 р. 50 к. Сергею Игнатову. Ваш покорный слуга Иван Шалагорев. 1878 года декабря 18 дня". Вадим Иванович—В. И. Лествицын; И. Шалагорев—ярославский букинист. После смерти Лествицына рукопись поступила в собрание Вахрамеева. Подробнее с составом сборника можно познакомиться по описанию А. А. Титова [18].

III

Песня первой половины сборника Лествицына (№ 134, лл. 136, 136 об., 137, 137 об.) „Ярославль наш батюшко" имеет своим содержанием похождения „фабрицких робят" по местным кабакам.

В построении ее намечаются три части.

Первая часть (стихи 1—12, 12 стихов) описывает рабочие районы Ярославля, пригородные слободы, место жительства и работы, а также и большинства дальнейших похождений героев песни.

Вторая часть (стихи 13—23, 11 стихов) повествует не без чувства любования и гордости о славных местных мануфактурах, их производстве

и ловких удалых рабочих—„робятах" ярославских текстильных предприятий.

Третья (стихи 24—58, 35 стихов) посвящена основной теме песни: гулянью героев—„фабрицких робят"—после получки по местным кабакам и вертепам. Она заканчивается сценой похмелья и закладывания гуляками шубы целовальнику.

Комментируем подробнее содержание и стилистические особенности каждой части.

Открывается песня тремя стихами старого традиционного запева „про Ярославль-город", тяготеющего своими торжественными оборотами к эпической народной песне XVI—XVII вв. Эти стихи и некоторые обороты из следующих за ними — вариация запева про Ярославль, известного locus communis, установленного проф. А. М. Смирновым в его работе „Про Ярославль-город" [19].

Далее (стихи 4—12) песня после общего образа переходит к описанию конкретного Ярославля. „По тем улицам большим, переулочкам меньшим" (в 1768—1777 гг. в городе 3451 дом, улиц и переулков 149) [20] ряд слобод привлекает внимание песни.

Прежде всего „есть Толчково слобода, течет близко там вода" реки Которости, впадающей в Волгу. Толчково—старинная промышленная пригородная слобода, самое название которой обязано производству. Жители ее еще в XVI—XVII вв. занимались *толчением* древесной ивовой коры для местных кожевенных заводов, отсюда и *Толчково*. В XVIII в. оно—самый густо населенный рабочий центр города. С 1722 г. рядом со слободой мануфактура Затрапезновых. В 1776—1777 гг. в Толчкове 37 фабрик и заводов из 188 Ярославля и его ближайших окрестностей. В это время при делении города на сотни существовала толчковская сотня, в которую входили приходы церквей: Иоанна Предтечи, Никола-Меленки, Никола на пеньи (все три в Толчкове), Никола Тропина (в слободе Друпиной), Иоанна Златоуста (в слободе Коровниках) и Троицы (в слободе Тверицах). Таким образом Толчково—административный центр всех поминаемых в песне слобод. Удельный вес Толчкова ясен из географического размещения каменных зданий в городе: в 1762 г. в Ярославле всего 43 каменных постройки (не считая церквей): внутри города—19, за городом (т. е. за стеной Земляного города)—14, в Толчкове—8, в Коровниках—2.

„Другая слобода Коровникам названа", она населена для песни „кирпищичками" — рабочими кирпичных заводов. Название свое слобода ведет от местности, служившей выгоном для скота. В 1776—1777 гг. в Коровниках 4 завода.

Третья слобода Друпина или Тропина, расположенная подле Шиловки (тоже рабочая слободка), интересна песне тем, что в ней „стоялые (т. е. постоялые) дворы — поезжай хоша куды". В XVII—XVIII вв. в Друпине и Шиловке живут ямщики; в 1762 г. в городе их 264 [21]. В 1776—1777 гг. в Друпине 11 заводов и фабрик.

„Четвертые Тверицы, пущай они невелики" (н е в е л и к и, вместо ожидаемой рифмы н е в е л и ц и, или описка или сознательная поправка „образованного" списывателя), зато „там есть много рыбаков и ребят всех удальцов". Рыбные промыслы Тверицы известны уже в XVII в. В 1740—1760 гг. слобода славилась буйством и удалью своего населения в кулачных боях. Тверичане выступали не только в зимних сражениях, но дрались и на сенокосах, в дело пускались даже косы. В 50-х годах двое тверичан прославились на весь город, убив „кулаками, без всякого оружия" своего соседа. Героев трижды высекли [22]. В 1776—1777 гг. в Тверицах 4 завода.

Тверицами оканчивается первая часть. Собственно города, его центра песня не затрагивает. Ее привлекают окраинные рабочие слободы, одна толчковская сотня из семи ярославских. В последовательном порядке, соответствующем топографии слобод по отношению к Толчкову, песня рассказывает о Коровниках, Друпине, Тверицах; точнее, о том, что в Коровниках „кирпищички", а в Друпине „ямщики", а в Тверицах „ребята удалые рыбаки".

Вторая часть начинается гордым стихом 13-м: „Со всех фабрик нам зачать, то уж есть чем окончать". Удивительные „мануфактуры" производят разнообразнейшие вещи: ковры, салфетки, скатерти, каламенки, „фланские полотна", „тафты француски", „кружева персицки", ленты, платки, „шелковы фаты".

На мануфактуре Затрапезновых выделывались: скатерти, салфетки, полотна фламские, каламинки вызольные, каламинки волнистые цветные, ковры переборные, изделия из шелка — ленты, тафты, платки, подвязки, „кружева на подобие персицких", кушаки и пр. На других местных фабриках выделывали и „штофь", и „штофь гладкую", и тафты, и полутафты, и кружева просто, и „кружева персицки" (Грязнов).

Как видно из перечисления, песня хорошо знает ассортимент товаров ярославских мануфактур.

Еще большее чувство гордости звучит в песне, когда она сообщает о том, что все эти чудесные вещи, которыми не ударишь в грязь лицом „хоть заморской приеть хто", производятся своими же: „все робята наши руски" делают и французские тафты, и фламские полотна, и персидские кружева; так ловки „робята-те фабрицки", что „это все уж им ничто", потому что „это все у них в руках, и проворны в ногах, руками челнок бросают, ногам штуки подымают", „в том во всем весьма проворны", ими повидимому „по работе всем довольны".

Отметим деталь: песне прекрасно знакома техника тканья на „подножечных" станах („руками челнок бросают, ногам штуки подымают"), на которых работало подавляющее большинство рабочих, вырабатывавших массовую продукцию — ткани простейшего переплетания. В песне выступают „фабрицки робята" в массе, не мастерки, ткачи, работавшие на „переборных" станах камчатое белье с цветами, узорами, гербами.

При этом образе „фабрицких робят" 1730—1750 гг. вспоминается „Васильюшка сынок, ковры ткать мастерок", который „ковры точет — вытыкает и наборы набирает" (работа на „переборном" стане), но который кроме того и грамотен, и при компанье пребывает и „во скрипочку играет", „Васильюшка" из песни, напечатанной в 1791 г.

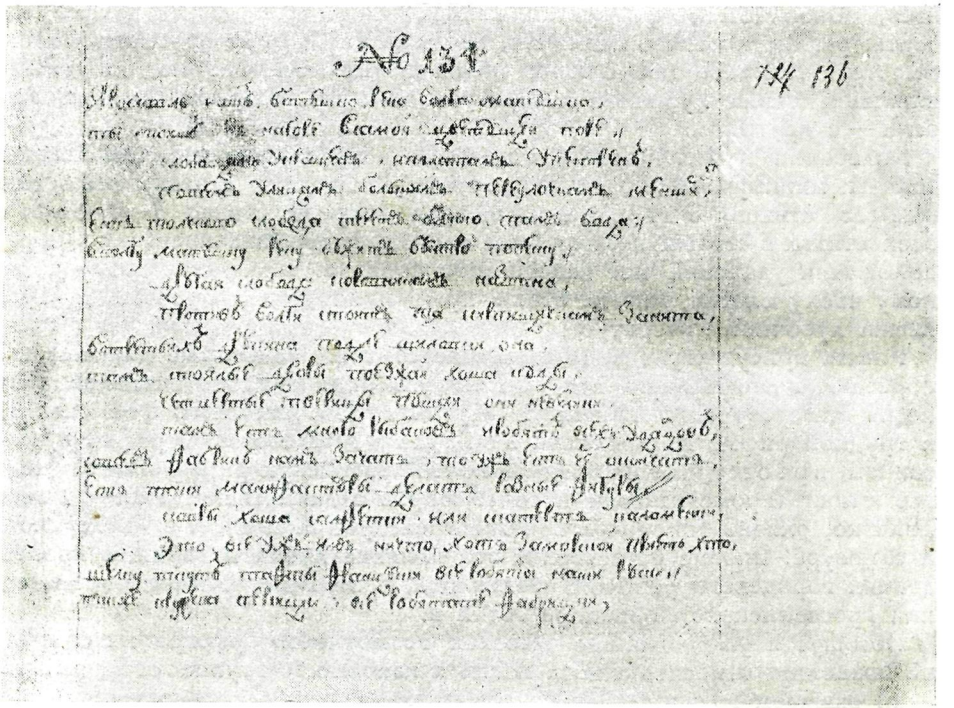
На фабрицких же ребят нашей песни есть своя „беда, как возьмут деньги когда и не любят много злата, закричат наши ребята — пойдем выпьем мы винца по стаканчику до дна". Так начинает развиваться тема третьей части песни: похождения компании фабричных ребят после получки.

Соблюдая топографически опять-таки правильную последовательность песня описывает местные кабаки.

Большой кабак, с которого начинают ребята, — поминаемый выше в цитатах из архивных дел Большой толчковский кабак. Исходный пункт — все та же слобода Толчково. Через площадь маленький кабак. Заметим, что в народных песнях и в произведениях простонародной литературы слово кабак часто заменяется его определением, грамматически прилагательным (см. например в „Копии с просьбы в небесную канцелярию": „а у меня обычай молодецкой, я веду всякого мужика в кузнецкой", переписчик рукописи поясняет „то-есть в кабак"[23]. Вотошна — водочная изба. Еще в 1711 г. в Ярославле была вотошная поварня,

где гнали и продавали анисную водку[24]. Слободские кабаки исчерпаны.

„Возьмем лошадь с роспускам", чтобы отправиться далее. Рòспуски — рòспуск — станок, дроги для возки воды и вообще клади (Даль). Служили вероятно и для езды компанией. В „Посвящении в чиновные чумаки" (пьяницы) — лубочной картине XVIII в., посвящаемого, между прочим, доставляют в кабак „на самых толстых роспусках, в которых запряжена бывает толстая сырèха". Спасский кабак в городе, около Спасского монастыря, очевидно славившийся пивом, ибо „там не надо нам винца". Коровницкий в слободе Коровниках. Туда приходится уже „мах-



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА СПИСКА ПЕСНИ «ЯРОСЛАВЛЬ НАШ БАТЮШКО...»

Исторический Музей, Москва

нуть": от Спасского до Коровницкого 2—3 километра. Емской — ямской кабак находился вероятно в соседнем с Коровниками Друпине, где жили ямщики. Из Ямского обратно „в Толчково на кабак повидать своих ребят, тамо все наши угары, хоть голы да только правы". Встречей со своими, толчковскими ребятами, угарами, заканчивается первый круг похождений.

Снова отправляются в город. Следуют один за другим: Углицкий кабак — близ Углицкой башни Земляного города; кабак на Горках[25]; ошара, где можно „вытрясти всю сару". Ошара — кабак на выезде, в глуши. В Нижнем часть города звалась ошарой — это глушь и притон мошенников (Даль). Действие переносится „под бани", ребята играют в карты, проигрываются. Здесь стихи 48—50, не совсем ясные по переходу к последующим, представляются единственным местом, сравнительно плохо дошедшим до нас. В частности затруднителен для понимания стих 49-й: „тамо коской покатать много злата принимать". Кòска — на

писчебумажной фабрике резец или сечка, которой крошат тряпье; коска — долгий кривой нож (Даль). Быть может „коской покатать" — разновидность известной игры в ножи?

Роспуски уже покинули компанию. В Семеновский кабак нужно „добежать" опохмелиться, повидимому на другой день ранним утром, после шумно проведенной ночи. Семеновский — у Семеновской башни Земляного города (на стыке двух современных ярославских бульваров). Целовальнику отдают в заклад шубу, получив под которую „осмуху" вина, ребята „тащатся", очевидно на работу, обещая: „Мы все денги принесем, за работу как возмем". Этим обещанием заканчивается песня.

С окончанием запева, первой части, песенный строй заметно изменяется, обновляется, приобретая взамен стилизации, оттенка архаизма, черты реалистического описания, вводя прямую речь, обновляя лексику. Вместе с тем весь дальнейший облик песни слагается под явственным влиянием стиля лубочной литературы, с одной стороны, виршевой поэзии — с другой.

Колебания в числе слогов отдельных стихов сравнительно незначительны: минимум 13 (в 5 стихах), максимум 16 (в 15 стихах), все остальные (38 стихов) с 14 слогами. Цезура посреди стиха: 7—7, 8—8, во всех стихах с четным количеством слогов, выдержана правильно. В расположении ударений нет какого-либо порядка. Благодаря этому и разному числу слогов, многие стихи приближаются к рифмованной прозе языка лубочной литературы.

Рифма присутствует в большинстве стихов. Некоторые для нее приобретают значительную искусственность, явно чуждого основной ткани песни литературного приема и звучания. См. например 34-й стих, где к трудной рифме формы слова в о т о ш н у дана составная рифма с написанием в р і о ш ъ т ы н у. Заметим, что правильную рифму имеют почти все стихи (кроме запевки и ее повторов в дальнейшем тексте) и песни „Близко, близко городочка". То же следует сказать и о числе слогов и о цезуре. Вполне естественно это влияние лубка и вирши в произведениях городского рабочего фольклора, в отличие от массы произведений крестьянского фольклора XVIII в.

Помянутая уже довольно высокая грамотность орфографии сборника не позволяет относить список песни к какой-либо группе говоров. Признаки ожидаемого ярославского говора настолько незначительны, что не могут быть приняты во внимание. Если и есть: „робята, с роспускàм, полàтам, по стоканчику, емскòй, то тут же и такие написания, как каламѐнки, кабакàм, Ярославль.

Лексический состав песни в основе своей представляет привычный язык народных песен XVIII в. Однако в него обильно вошли представители производственной и бытовой лексики рабочих и горожан: фабрика, мануфактура, кирпищички, стоялые дворы, фигура, штука, ковры, салфетки, каламенки, тафты французски, кружева персицки, фланские полотна, вотошна, целовальник, осмуха (мера вина), угары (угар — лихой парень, сорванец, удалой, кутила и буян. — Даль), деньги-сорки, (от сорить), сара (деньги), карты, коска (нож?), заклад.

Однако несмотря на влияние лубка и виршевой поэзии, в целом песня звучит и воспринимается как народное, фольклорное творчество. Весь строй ее, примитивные приемы фразировки, лексика существенно отличны от приемов и высокой художественной поэзии, касавшейся вакхических мотивов (Кантемир, Сумароков, Майков) и бытовавших в это время в средних слоях литературы песен гуляк и веселых пьяниц (см. между прочим их и в сборнике Лествицына, л. 218-й „Чтож задумались, друзья? Пора наливать", л. 261 „Здравствуй тот, кто пьет. Пусть весело век

живет"). Самый подход к теме отличен от трактовки подобных тем художественной поэзией XVIII в., он не окрашен ни насмешливо-обличительным, ни морализующе-сатирическим, ни анакреонтическим тоном. Песня эпически спокойно повествует о похождениях своих героев, не читая морали, не обличая, не поощряя. Сквозь строки песни не видно автора и его отношения к сюжету. В некоторое заблуждение может лишь ввести известная литературизация отдельных стихов, которой песня возможно обязана списывателю сборника.

В основе же своей песня „Ярославль-город", так же как и „Близко, близко городочка", восходит к песенному творчеству середины XVIII в. рабочих-текстильщиков Ярославского края — одного из коупных центров мануфактурной промышленности крепостной России. Вероятно песня рассказывает о похождениях наемных рабочих, общее положение которых было несколько более свободным, чем рабочих крепостных.

Литературно близкие образцы кабацких фольклорных песен XVIII в., созвучные с нашей песней, можно указать например в песне 3-й части „Собрания" Чулкова (№ 163) „Прости Тферь, град славной, Большой кабак главной", в которой подробно перечисляются тверские кабаки; и особенно в песне „Во леску, во леску текла речка по песку", записанной Киреевским в Звенигородском у., Московской губ. в 1833 г. Общее содержание песни — похождения фабричных ребят в кабаке. Отдельные стихи крайне близки к тексту публикуемой нами песни. Заслуживает внимания, что в той же местности Киреевский записал ряд песен, с несомненностью восходящих к ярославскому рабочему фольклору[26].

Несомненно, что XVIII в. имел свой рабочий фольклор. Фрагменты его попали в „Сборник" Чулкова (см. любопытную песню „Как во городе во Санктпитере, На проезжей славной улице, На противу двора гостинова, У Милютина да на фабрике") издания 1770 г. Он проскользнул в „Песеннике" 1791 г. („Близко, близко городочка"). Песня, опубликованная ниже, показывает, что он существовал уже в первой половине XVIII в., вернее создавался в 1730—1750 гг. (сборник 1755 г.; ассортимент товаров, помянутых в тексте песни, стал вырабатываться не ранее 1731 г.).

Разыскания в рукописных сборниках песен, происходящих из промышленных районов XVIII в., руководимые интересом к „новой теме в фольклористике — изучению рабочего фольклора" (М. Азадовский), могут дать плодотворные и, будем надеяться, богатые результаты и открытия.

Текст песни печатается с точным соблюдением орфографии и пунктуации рукописи. Надстрочные буквы введены в строку. Слитные написания слов разделены нами. Композиция строчек соблюдена по рукописи. Для удобства стихи перенумерованы.

Л. 136 Ярославль наш батюшко, река волга матушка,
ты стоишь весь на горе в самой цветущей поре.
слободами украшен, и полатам унестрен.
по тем улицам большим, переулочкам меншим,
5 Есть толчково слобода течет блиско там вода.
в волгу матушку реку бежит быстро по песку.
другая слобода коровникам названа,
против волги стоит та кирпищичкам занята,
во третьих другина подле шиловки она,
там стоялые дворы, поезжай хоша куды,
четвертые тверицы пущай они невелики,
там есть много рыбаков и робят всех удальцов,

со всех фабрик нам зачать, то уж есть чем окончать,
Есть таки манифактуры делать разные фигуры,
ковры хоша салфетки, или скатерть каламенки,
Это все уж им ничто, хоть заморской приеть хто,
шелку ткут тафты француски все робята наши руски,
также кружева персицки, все робята те фабрицки,
Л. 136 об. хоша ленты и платки, или шелковы фаты,
это все у них в руках, и проворны в ногах,
Руками челнок бросают, ногам штуки подымают.
Фланские полотна ткут, всяких разныех веть штук,
в том во всем весма проворны, по работе всем доволны.
ах на них есть та беда, как возмут денги когда,
и не любят много злата, закричат наши робята,
пойдем выпьем мы винца по стоканчику до дна,
во большей кабак взойдем ко стоечке подойдем,
в карман руку опущаем, рублевичек вынимаем,
рублевичек вынимай, за стоечку подавай,
смотри денги принимай, нас робят не обирай,
ты отмеряй нам пряменко, а мы пить станем востренько
тут мы выпьем по одной пойдем братцы на другой,
Мы по площади пройдем и на маненкой зайдем,
с маленкова в вотошну иной кричит вріош ты ну.
возмем лошадь с роспускам по всем ездить кабакам
в спаском выпьем мы пивца там не надо нам винца.
Л. 137 На коровницкой махнем, мы всем денешкам тряхнем,—
Оттоля на емской, целовалник там тверской.
в толчково на кабак повидать своих робят,
тамо все наши угары, хоть голы да толко правы.
Здравствуйте робята наши, вот вам денги а мы ваши,
пора в город ехать нам, дожидаются нас там,
на углицкой брат скачи, наступай а сам свищи,
и мы вы пьем тут метку пол ведерочка с летку.
И мы грянемте на горки, у нас денги у всех сорки,
Оттоля на ошару, и мы вытрясем всю сару.
побываем мы под баням, тамо все наши забавы,
з голым в карты поиграть, много денег проиграть
Тамо коской покатать, много злата принимать,
Лише толко веть гремят, ночь спать нам не велят,
все манят пойдем пойдем, и таварищей возмем.
в семеновской добежим, тут себя увеселим,
повидаемся з друзьям, как с похмелья давно там,
сидят головы повеся, удалой кричит я здеся,
ах робята шуба есть, мы положим в заклад здесь,
Л. 137 об. ты давай брат нам осмуху, не моря нашева духу,
И мы выпьем взвесилимся, в свое место потащимся,
Мы все денги принесем, за работу как возмем.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Список по „Переписной книге 2-й ревизии Шаховской волости". Составлен А. Ф. Грязновым и приложен к его книге „Ярославская Большая Мануфактура за время с 1722 по 1856 год". М. 1910, стр. 421—453. Анализ списка дан И. И. Власовым в статье „Полотняной фабрики диоектор Иван Тамес". См. „Труды Иваново-Вознесенского Губ. Научного Общества Краеведения", вып. 5, Иваново-Вознесенск., 1928, стр. 247—249.

[2] Власов, стр. 249—250.

[3] Власов, стр. 257.
[4] Грязнов, стр. 189, 190.
[5] Нечкина, М. В. „Рабочие крепостной России". См. сборник „Очерки истории пролетариата СССР". М. 1931, стр. 24.
[6] Нечкина, стр. 30.
[7] Соловьев, С. М. „История России с древнейших времен", кн. 4, т. 20, стр. 1444.
[8] Ровинский, Д. А. „Русские народные картинки", т. I, СПБ. 1881, стр. 329—331.
[9] Ровинский, т. IV., стр. 300, 301.
[10] Ровинский, Д. А. „Русские народные картинки". Изд. Голике под наблюдением Н. П. Собко, т. II, СПБ. 1900, стлб. 406—407.
[11] Ровинский, Д. А. Назв. изд. т. I, СПБ. 1881, стр. 432—433.
[12] Приводим текст песни по собранию А. С. Соболевского „Великорусские народные песни", т. VI, СПБ. 1900, № 533. Соболевский извлек песню из „Нового российского песенника". Три части. СПБ. 1791, ч. III, стр. 33.
[13] Гайсинович, А. „Рабочий класс крепостной эпохи", Харьков, 1931, стр. 62.
[14] Подобные водяные знаки опубликованы в работе Грязнова (стр. 135, 136), при чем образец бумаги с „ЯМЗ" отнесен к 1757 г., а с „ЯМАЗ" к 1760—1764 гг. Очевидно даты эти определяют не точное время выпуска бумаги именно с такими водяными знаками, а представляют просто те годы, к которым относились имевшиеся у Грязнова образцы современных документов, писанных на бумаге с этими водяными знаками. Это явствует из того, что сборник Лествицына (называем по первому историческому владельцу) писан на бумаге с такими водяными знаками и точно датирован 1755 г.; писчебумажное производство находилось во владении А. Затрапезнова с 1741 по 1764 г; трудно думать, чтобы только в последние четыре года хозяйствования он стал выставлять свои инициалы на бумаге.
[15] Щукин, И., Н. А. Бекетов. См. „Библиографические Записки" 1892, № 10, стр. 714—716.
[16] Шкловский, В., Чулков и Левшин. Л., 1933, стр. 78. Для сравнения мы пользовались переизданными первыми тремя частями (с прибавлением) „Собрания" Чулкова. См. „Сочинения М. Д. Чулкова", т. I. Изд. Академии Наук, СПБ., 1913.
[17] „История русского театра" под ред. В. В. Каллаша и Н. Е. Эфроса., т. I. М., 1914, стр. 108—113; Всеволодский—Гернгрос, В. Н., И. А. Дмитревский. Берлин, 1923, стр. 14.
[18] Титов, А. А., Рукописи славянские и русские, принадлежащие И. А. Вахрамееву, вып. II. М., 1892, стр. 337—364. В приложении к третьему выпуску этого же труда напечатаны „Песни и канты XVIII в. По рукописям В. И. Лествицына", в число которых вошли некоторые из нашего сборника.
[19] Смирнов, А. М., проф. „Про Ярославль—город" (из ярославских песенных мотивов). См. „Труды Ярославского Педагогического Института, т. I. вып. II, Ярославль, 1926, стр. 85—95". „Среди народных песен,— пишет он,—записанных в Ярославском крае, очень популярно следующее песенное вступление, различно варьируемое:

Ярославль да город
Да на горе стоит,
На горе стоит
Да на всей красоте,
Да на прикрасоте,
Лучше Питера,
Да краше Киева,
Лучше матушки
Да каменной Москвы.
На всей красоте
Да между двум реками.
На первой-то рекой
Да Волгой матушкой,
На второй-то рекой
Да славной Которосью".

Вариацию этого запева см. в песне об ярославском пожаре (1658, 1711, 1768 гг. ?) „Собрания" Чулкова (ч. I, 1770, № 187).
[20] См. „Записку неизвестного автора, писанную между 1768—1777 гг." и опубликованную И. С. Аксаковым в „Ярославских Губернских Ведомостях", 1850, часть неоф., №№ 13, 14.
[21] Там же,
[22] Трефолев, Л. Н. Ярославль при Елизавете Петровне. См. „Древняя и Новая Россия" 1877, №№ 3 и 4. Статья основана на архивных данных.
[23] Седельников, А. Д., Плач—памфлет о крепостной доле. См. „Литература и марксизм", 1931, кн. IV, стр. 136.
[24] Лествицын, В. И., Положение Ярославля в 1711 году. См. „Ярославские Губернские Ведомости" 1873, часть неоф., стр. 254.
[25] Местность в Ярославле на современной Республиканской улице, у главного здания Педагогического института. См. Лествицын, В. И., Клад на Горках. „Ярославские Губернские Ведомости" 1873, часть неоф., стр. 203.
[26] «Песни, собранные П. В. Киреевским». Новая серия. Вып. II, ч. I, №№ 1489, 1573 и др.

П. Я. ЧААДАЕВ НА ПУТИ В РОССИЮ В 1826 ГОДУ

Публикация Д. Шаховского

Печатаемое „Дело об учреждении тайного надзора за ротмистром лейб-гвардии Гусарского полка Чаадаевым"— важный источник биографических сведений об этом писателе, по отношению к которому остается еще так много невыясненного. Особый интерес документа заключается в том, что в нем сохранился подлинный допрос Чаадаева при возвращении его из-за границы после 14 декабря 1825 г., который можно рассматривать как самое раннее из его писаний не эпистолярного характера, притом написанное его собственной рукой.

Объяснение к „Делу" и к обрисованным в нем обстоятельствам даны после текста.

ДЕЛО О УЧРЕЖДЕНИИ ТАЙНОГО НАДЗОРА ЗА РОТМИСТРОМ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ГУСАРСКОГО ПОЛКА ЧААДАЕВЫМ

1. КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ — НИКОЛАЮ I

Его императорскому величеству
от его императорского высочества цесаревича

Рапорт

Получив донесение Варшавской секретной полиции, что прибыл из-за границы служивший лейб-гвардии в Гусарском полку ротмистр Чаадаев бывший адъютантом при генерал-адъютанте Васильчикове, и что сей ротмистр Чаадаев спешит ехать из Варшавы в Москву, долгом поставляю всеподданнейше донесть о сем вашему императорскому величеству и присовокупить, что в бытность мою прошлого года в Карлсбаде, я видел там сего ротмистра Чаадаева и знал, что он жил в больших связях с тремя братьями Тургеневыми, а наиболее из них так сказать душа в душу с Николаем Тургеневым, донося при том, что сей Чаадаев, поступил в означенный полк из прежнего состава лейб-гвардии Семеновского полка: он был отправлен с донесением к покойному государю императору в Троппау о известном происшествии в означенном лейб-гвардии Семеновском полку, и его имераторское величество изволил отзываться о сем офицере весьма с невыгодной стороны и я обо всем оном долгом поставляю довесть до высочайшего сведения вашего императорского величества.

(Подпись:) Инспектор всей кавалерии
Константин

№ 12.
7 июля 1826 г.
г. Брест-Литовск.

2. ДИБИЧ — МОСКОВСКОМУ ВОЕННОМУ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРУ

Главный штаб
его императорского величества
№ 1224, 14 июля 1826.
С. Петербург.

Господину московскому военному генерал-губернатору

В скором времени должен прибыть служивший лейб-гвардии в гусарском полку и бывший адъютантом при генерал-адъютанте Васильчикове, ротмистр Чаадаев, который находился весьма в коротком знакомстве с преступником Николаем Тургеневым.

Государь император высочайше повелеть соизволил, чтобы ваше сиятельство имели за ним г. Чаадаевым бдительнейший присмотр и буде малейше окажется он подозрительным, то приказали бы его арестовать.

Сию высочайшую волю имею честь сообщить вашему сиятельству к зависящему от вас исполнению.

Начальник главного штаба Дибич

3. КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ — НИКОЛАЮ I

Его императорскому величеству
от его императорского высочества цесаревича

Рапорт

Вашему императорскому величеству от 7 сего июля из города Бреста Литовского всеподданнейше доносил я о полученном мной от Варшавской секретной полиции донесении, что прибыл из-за границы служивший лейб-гвардии в гусарском полку ротмистр Чаадаев, бывший адъютантом при генерал-адъютанте Васильчикове, что спешит он ехать из Варшавы в Москву, и что в бытность мою прошлого года в Карлсбаде, я видел его там и знал, что он жил в больших связях с тремя братьями Тургеневыми, а наиболее из них так сказать душа в душу с Николаем Тургеневым; поступил же лейб-гвардии в гусарской полк из прежнего состава лейб-гвардии Семеновского полка, был послан к покойному государю императору в Троппау с донесением о случившемся происшествии в оном полку, и о котором его императорское величество изволил отзываться с весьма невыгодной стороны.

По сим причинам я там же приказывал Брест-Литовскому пограничному почтмейстеру и начальнику тамошнего таможенного округа, по обязанности их осмотреть все, что есть у означенного ротмистра Чаадаева, коль скоро он прибудет в Брест, и что только подозрительного окажется представить мне; между тем он Чаадаев по приключившейся ему легкой болезни, оставался в Варшаве, и я по возвращении моем сюда нашел его еще здесь, но ничего такого против его не предпринимал, что бы могло подать ему мысль, что его подозревают, а только учрежден был за ним один секретный надзор, по коему ничего особенного в поступках его подозрительного не оказалось, и так он выехал в Брест.

Там пограничный почтмейстер и начальник таможенного округа исполнили мое приказание осмотром всего, что при нем было, и как нашли разные непозволенные книги и подозрительные бумаги, то оные представили мне, а его остановили в Бресте под надзором.

По рассмотрении здесь оных бумаг оказываются особенно из двух к нему Чаадаеву писем следы связи его с Николаем Тургеневым, с Му-

равьевыми и князем Трубецким, теми, которые известны в возмущении, так же заслуживают особого внимания стихи под названием „Смерть", в коих упоминается о Занте; рекомендательное письмо англичанина Кока, обнаруживающее предмет поездки Чаадаева в Англию, и патент масонской верховной и как видно российской в С. Петербурге ложи, по коему принят в общество тайных белых братий и возведен на осьмую степень.

Выписку из всех найденных при нем бумаг с оригиналом вышеозначенного письма, масонский патент и каталог книгам на высочайшее вашего императорского величества благосоизволение всеподданнейше представляя, осмеливаюсь испрашивать разрешения: как поступить с ротмистром Чаадаевым, которого до высочайшего вашего императорского величества разрешения приказал я из Бреста Литовского не выпущать и иметь за ним секретный полицейский надзор.

Подпись, как при № 1

№ 13.
Июль 21 дня 1826 года
Варшава.

4. ДИБИЧ — КОНСТАНТИНУ ПАВЛОВИЧУ

Главный штаб
его императорского величества
№ 1355. 11 августа 1826.
В Москве.

Главнокомандующему Литовским отдельным корпусом
его императорскому высочеству цесаревичу

Начальника главного штаба его императорского величества

Рапорт

Государь император получив донесение вашего императорского высочества от 21 прошедшего июля № 13 об отставном из лейб-гвардии гусарского полка ротмистре Чаадаеве, остановленном в Бресте Литовском со всеми оказавшимися при нем бумагами, высочайше повелеть соизволил уведомить ваше высочество, что государь император изъявляет вашему высочеству искреннюю благодарность свою за все меры, принятые на счет сего офицера и желает, чтобы ваше высочество приказали допросить Чаадаева по содержанию отысканных у него бумаг и найденных у него книгах, и о последующем уведомили бы его величество, между тем приказали оставить Чаадаева в Бресте Литовском под строгим надзором.

Донеся о сей высочайшей воле вашему императорскому высочеству, имею честь возвратить при сем доставленные от вашего высочества при донесении государю императору выписку из найденных при Чаадаеве бумаг, подлинные письма, масонской диплом и каталог книгам, в том предположении, что во всех сих бумагах может встретиться надобность при взятии с Чаадаева допроса.

Начальник главного штаба Дибич

5. ДИБИЧ — КОНСТАНТИНУ ПАВЛОВИЧУ

№ 1407.
23 августа 1826.
В Москве.

Главнокомандующему Литовским отдельным корпусом
его императорскому высочеству цесаревичу
Начальника главного штаба его величества

Рапорт

Рапортом моим от 11 сего августа имел я честь донести вашему императорскому высочеству о желании государя императора, чтоб остановленный в Бресте Литовском по распоряжению вашего высочества, отставной гвардии ротмистр Чаадаев, был допрошен по содержанию отысканных у него бумаг, а между тем находился бы под строгим надзором.

Ныне государь император высочайше повелеть мне соизволил просить покорнейше ваше высочество, приказать объявить Чаадаеву, что хотя из найденных при нем бумаг видно, что он имел самый непозволительный образ мыслей и был в тесной связи с действовавшими членами злоумышленников, за что подвергался бы строжайшему взысканию, но его величество, надеясь, что он изъявит чистосердечное в заблуждении своем раскаяние, видя ужасные последствия подобных связей, изволил предоставить особенному благоусмотрению вашего императорского высочества, освободить ли Чаадаева от всяких других взысканий, с тем, что изволит ожидать, что он почувствуя в полной мере заблуждения свои, будет мыслить и поступать как следует верноподданному.

О сей высочайшей государя императора воле имею честь вашему императорскому высочеству донести, покорнейше прося о последующем почтить меня уведомлением.

Начальник главного штаба Дибич

6. КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ — НИКОЛАЮ I

Его Императорскому величеству
от его императорского высочества цесаревича

Рапорт

Начальник главного штаба вашего императорского величества генерал адъютант барон Дибич отношением за № 1355 сообщил мне высочайшую волю вашего императорского величества: чтобы остановленного в Брест-Литовском отставного из лейб-гвардии гусарского полка ротмистра Чаадаева приказать допросить в чем будет следовать, по содержанию отысканных у него бумаг и насчет оказавшихся у него же запрещенных книг.

Во исполнение каковой высочайшей вашего императорского величества воли командирован был в Брест-Литовский состоящий при мне флота капитан командор Колзаков, который взяв от Чаадаева надлежащее показание и видя между прочим из оного, что помянутый Чаадаев не дал еще подписки относительно принадлежности, или непринадлежности к тайным обществам, истребовал от него и оную. Таковые допрос и подписку всеподданнейше представляя при сем вашему императорскому величеству, доношу, что поелику начальник главного штаба вашего императорского величества генерал-адъютант барон Дибич вторичным отношением от 23 прошедшего августа № 1407 сообщил мне: что вашему

императорскому величеству благоугодно, дабы объявлено было Чаадаеву, что хотя из бумаг его видны как самый непозволительный образ мыслей его, так и тесные связи с действовавшими членами злоумышленников, за что подвергался бы он строжайшему взысканию, но ваше императорское величество надеясь, что он изъявит чистосердечное в заблуждении своем раскаяние, видя ужасные последствия подобных связей изволите предоставлять мне: освободить ли Чаадаева от всяких других взысканий в ожидании, что он почувствовав в полной мере заблуждения свои, будет мыслить и поступать как следует верноподданному; то вследствие сего по приказанию моему и объявлена Чаадаеву таковая высочайшая воля вашего императорского величества, затем освобожден он от дальнейшего полицейского надзора и дозволено ему отправиться в Россию.

№ 175
1 сентября 1826.
Варшава.

Подпись как при № 1

7. ДОПРОС ЧААДАЕВА *

Город Брест Литовский 26 Августа 1826 года по высочайшему его императорского величества повелению, объявленному в отношении начальника главного штаба его императорского величества к его императорскому высочеству Цесаревичу от 11 сего августа за № 1355 деланы были отставному из лейб-гвардии гусарского полка ротмистру Чаадаеву нижеследующие вопросы, на которые он в присудствии флота Капитан-Командора Колзакова отвечал:

1-й. Когда и по какому случаю оставили вы военную службу; не имели ли каких-либо особых побудительных причин, побудивших вас к оставлению оной?

[*Ответ*]. Службу оставил 29-го марта 1821 года. Побудительных причин не имел никаких, кроме домашних обстоятельств.

2-й. При выходе в отставку, имели ли уже намерение отправиться за границу?

[*Ответ*]. Хотя и не могу сказать, что будучи в службе никогда не помышлял ехать в чужие края, но таковая мысль ни малейшего не имела влияния на оставление мною службы, чему может служить доказательством то, что я прожил по выходе в отставку еще два года в России, частью в Москве, частью в имении тетки моей княжны Щербатовой.

3-й. Где, когда и по какому случаю познакомились вы с Николаем Тургеневым, капитаном Якушкиным, Муравьевыми и полковником князем Трубецким?

[*Ответ*]. С Николаем Тургеневым и с Якушкиным учился вместе в Московском университете; с полковником князем Трубецким, Матвеем Муравьевым и Сергеем Муравьевым, познакомился служа в Семеновском полку, а через них и с Никитою Муравьевым, их родственником. В Семеновском же полку продолжал свое знакомство и с Якушкиным.

4-й. После выхода вашего из лейб-гвардии Семеновского полка, имели ли вы личное или письменное сношение с означенными лицами где, когда и в чем оное заключалось?

---

* Писан собственноручно Чаадаевым на больших листах, перегнутых пополам вдоль. С левой стороны перегиба текст вопросов, без этого наименования, с правой стороны — ответы. Текст всякого нового вопроса пишется, начиная против того места, где закончен текст предыдущего ответа.

[*Ответ*]. С Якушкиным видался несколько раз в бытность свою в Москве по выходе в отставку; связь моя с ним продолжалась и во время путешествия моего по чужим краям; в Риме получил от него письмо, в ответ на мое письмо, писанное из Милана. Кроме сношений дружбы никаких и ни в какое время с ним не имел. С Матвеем и Никитою Муравьевыми, с князем Трубецким и с Николаем Тургеневым виделся в С. Петербурге перед отъездом своим за границу. С первыми после того не имел никаких более сношений; с Тургеневым же виделся в Риме и в Карлсбаде и получил от него, в продолжении пребывания своего за границею, два письма.

5-й. В одном из писем Николая Тургенева, писанном к вам из Неаполя 14-го (26-го) февраля 1825 года, изъяснены следующие слова: „каждое письмо из С. Петербурга, как бы оно бедно ни было в известиях о том что там делается, наводит на меня тяжелую грусть; живя там мы ко всему присмотрелись, но здесь неистовство глупости сильно поражает".—К чему именно сии слова относятся и какая мысль в оных заключается?

[*Ответ*]. Зная совершенно положение Николая Тургенева по службе, не могу ничего другого сказать на счет сих слов, как, что служа в департаменте законов государственного совета, имел он случай знать обо всех злоупотреблениях и беспорядках, чинимых в России, что производило в нем сильное всегда негодование. Сверх того много думал он о положении крестьян в России, беспрестанно об этом предмете помышлял, посему уверен, что слова его в письме ко мне относятся до сих предметов. Что же касается до последних слов неистовство и глупость, то не могу сказать, что он под ними понимал.

6-й. По знакомству вашему с вышеупомянутыми лицами, которые в последствии времени оказались все участвовавшими в известных происшествиях в России, не заметили ли вы в разговорах с ними, или между ими или же из поступков их, что либо такого, что бы могло возбудить подозрение об их злоумышленных предприятиях?

[*Ответ*]. Хотя по знакомству моему с ними, знал их образ мыслей и политическое вольнодумство, простиравшееся у многих до весьма высокой степени, но никаких причин не имел заключать о их тайных видах* и преступных и безумных намерениях.

7-й. Кто сочинил имеющиеся между бумагами вашими стихи, под названием „Смерть" и другие относящиеся к Занту?

[*Ответ*]. Как стихи под заглавием „Смерть" и другие о Занте, равно как и прочие отрывки стихов, тут же находящиеся, сочинены известным стихотворцем Пушкиным.

8-й. Были ли оные стихи напечатаны и публикованы в России или другом месте?

[*Ответ*]. Сколько мне известно, оные стихи никогда не были напечатаны, но были весьма известны в России и находились во всех руках.

9-й. Где и от кого вы получили оные стихи и для чего вы их списали и хранили у себя?

[*Ответ*]. Получил я оные стихи за границею в Швейцарии от адъютанта покойного генерал-адъютанта Уварова князя Щербатова. Не обращая никакого внимания на их содержание сохранил их единственно у себя за достоинство их в литературном смысле.

10-й. Между бумагами вашими находится рекомендательное письмо англичанина Коока к приятелю своему Марриоту, в Лондон, в коем он

---

* „Видах" написано вм. зачеркнутого „намерениях".

пишет, что вы едете в Англию для исследования нравственных причин благоденствия того края, дабы ввести оные, буде можно, в Россию. Кто таков англичанин Коок и какие именно причины нравственного благоденствия предполагали вы исследовать в Англии?

[*Ответ*]. Англичанин Кук известный миссионер. Я познакомился с ним во Флоренции при проезде его из Иерусалима во Францию. Так как все его мысли и весь круг действий обращены были к религии, то все разговоры мои с ним относились до сего предмета. Благоденствие Англии приписывал он вообще распространенному там духу веры, я же со своей стороны [зачеркнуто „изъявлял"] говорил ему с горестью о недостатке веры в народе русском особенно в высших классах. По сему случаю дал он мне письмо к приятелю своему в Лондон, с тем чтобы он мог познакомить меня более с нравственным расположением народа в Англии. Так как я в Англии после сего не был, то и письмо это осталось у меня, а с Куком и с Марриотом никакого после того не имел сообщения и даже об них ничего не слыхал.

11-й. Большая часть книг ваших касается Религий. Какие причины побуждают вас заниматься более этой частью наук, как другими?

[*Ответ*]. Из давнего времени, прежде выезда за границу, занимался я христианскою литературою, не имея при том никакого другого вида как умножение познаний своих нащет религии и укрепления своего в вере христианской. В России имею значительное собрание книг по сей части; в бытность свою в Дрездене старался увеличить сколько мог оное собрание.

12-й. Между прочим имеются у вас книги, которые в России запрещены, почему вы оные везли с собою возвращаясь в Россию?

[*Ответ*]. Какие именно сочинения запрещено ввозить в Россию, мне не известно. Живши же в России часто выписывал книги из чужих край и с дозволения цензуры, объявив, что для собственного употребления выписываю книги, обыкновенно получал все без изъятия, кроме тех, в которых содержались личные клеветы насчет царской фамилии. В сих же книгах полагаю ничего такого не находится, но так как всех их еще не прочел, то уверительно сказать не могу.

13-й. Вы находясь еще в России в 1822 году, когда по высочайшему его императорского величества повелению уничтожены все масонские ложи, и требовались только о принадлежности или непринадлежности к масонству подписки, давали ли от себя такую подписку и кем оная от вас требовалась?

[*Ответ*]. Сколько я припомню, таковые записки требовались только от служащих военных и гражданских лиц; я же находясь тогда в отставке, таковой подписки от меня не было требовано, следственно я таковой никому не давал.

14-й. Имели ли с того времени какое-либо сношение с масонскими ложами, с какими именно и в чем оно заключалось?

[*Ответ*]. Не только со времени запрещения, но и гораздо прежде я всякое сношение с масонскими ложами пресек, по собственному удостоверению, что в оном ничего не заключается могущего удовлетворить честного и рассудительного человека. С ложею же, к которой принадлежал, соединенных братьев (Amis réunis) пресек совершенно свои сношения в то время, как по отставке выехал из Петербурга, на что и должен был сохраниться в делах оной ложи документ, моей рукой писанный. В оной бумаге изъявил, что я с той ложею никакого впредь сношения иметь не намерен.

15-й. Существует ли еще в С. Петербурге или другом месте России ложа к которой вы принадлежали и от коей имеется у вас грамота на

восьмую степень, под тем ли самым существует она названием, что прежде, или под другим, под каким именно, и что вам вообще ныне об оной ложе известно?

[*Ответ*]. Прекратив с давнего времени все сношения с масонским орденом, не имею никакого сведения ни об той ложе, к которой при-

П. Я. ЧААДАЕВ
Портрет неизвестного художника, 1823 г.
Местонахождение оригинала неизвестно

надлежал, ни об прочих. Полагаю, судя по мерам, принятым правительством на щет масонства, что оной ложи более не существует.

16-й. Во время проживания вашего за границею имели ли какое-либо сношение с тамошними масонскими ложами и какими именно?

[*Ответ*]. Ни с какими.

17-й. Была ли какая-либо разница между закрытою ложею тайных белых братьев Иоанна или ордена Иисуса Христа, коей вы были чле-

ном, и другими масонскими ложами и в чем таковая разница заключалась?

[*Ответ*]. Закрытая ложа тайных белых братьев принадлежала к [зачеркнуто „числу"] обыкновенному масонству, в России принятому. Название же тайных белых братьев присвоено одной восьмой степени. Первые три масонские степени известны под именем иоановского масонства; следующие три андреевского, седьмой же и восьмой имеют особенные названия.

18-й. Оставив масонство, почему вы сохранили у себя грамоту, данную вам на восьмую степень?

[*Ответ*]. На сие никакого другого изъяснения дать не могу, как что остался оный патент у меня с протчими бумагами, напоминающими мне прежние лета моей жизни.

19-й. Не принадлежали ли вы в России или за границею к каким-либо другим тайным обществам, где и под каким названием оные существовали и какая была их цель и не знали ли вы о существовании подобных обществ, хотя бы сами к оным не принадлежали?

[*Ответ*]. Ни к какому тайному обществу никогда не принадлежал. Мнение мое вообще об тайных обществах видеть можно из находящейся в бумагах моих речи о масонстве, писанной мною еще в 1818 году, где ясно и сильно выразил мысль свою о безумстве и вредном действии тайных обществ вообще. О существовании обществ тайных в России не имел другого сведения, как по общим слухам, об названиях же их и цели никакого понятия не имел, и какие лица в них участвовали, не знал.

20-й. Во время теперешнего проживания своего в Бресте Литовском, имели ли с кем-либо переписку, с кем именно и в чем оная заключалась?

[*Ответ*]. Писем ни от кого не получал. Сам же писал к брату два письма; в первом известил его о нахождении моем в Бресте; во втором же просил его прислать ко мне Библию.

Подписано: Отставной лейб-гвардии Гусарского полка ротмистр Петр Чаадаев.

При допросе находился флота капитан командор Колзаков.

8. ПОДПИСКА ЧААДАЕВА

Во исполнение высочайшей его императорского величества воли, объявленной повсеместно и по долгу верноподданнической присяги чести и совести моей, я нижеподписавшийся признаюсь чистосердечно что в 1814 году на службе в городе Кракове был я принят в масонскую ложу, которой название запамятовал и получил в оной первые две степени. В 1822 году находясь в отставке, подписки о пресечении всякого сношения с масонством требовано от меня не было, по сему таковой в то время и дать не мог. Но прежде того принадлежа с 1815 года к российскому Востоку, получил следующие шесть степеней. С 1821 года же пресек всякое сношение с масонством, по собственному уверению в ничтожестве и безрассудстве оного. Ныне даю сию подписку в том что впредь ни к каким тайным обществам где и под каким бы они названием не существовали, принадлежать и сношений с оными ни письменно, ни словесно ниже вообще другими какими-либо способами ни сам собою ни посредством других я иметь не буду, подвергая себя в противном случае строжайшему наказанию как государственный [пропуск].

Брест Литовский 1826 года августа 29 дня. Отставной лейб-гвардии Гусарского полка ротмистр Петр Яковлев сын Чаадаев.

I

И Пушкин, и Чаадаев лично уцелели при разгроме передовой дворянской интеллигенции после восстания 14 декабря 1825 года. Они даже не подвергались аресту. Спасло их то, что оба были в то время удалены от центра: Пушкин — в Михайловском, из которого он так отчаянно пытался вырваться, Чаадаев — за границей. Им предстояло установить свое положение при новых порядках после воцарения Николая. Пушкин любой ценой, лишь бы без слишком унизительных условий для своего достоинства, готов был купить свою свободу, Чаадаев не хотел, да и не мог по материальным условиям, подобно Николаю Тургеневу, остаться за рубежом. Чаадаев и Пушкин появились в Москве одновременно, может быть в один и тот же день — 8 сентября 1826 г., вскоре после завершения жестокого суда над декабристами и казни пятерых из них, и почти немедленно после коронования Николая.

Обстоятельства приезда в Москву Пушкина и главные черты объяснения его лицом к лицу с царем хорошо известны. Условия примирения были для Пушкина внешне почетные и даже на первый взгляд выгодные. Едва ли сам Пушкин, а тем менее окружающие могли предвидеть, какие невыносимые цепи эти условия на него налагали.

Ничего подобного не было с Чаадаевым. Со времени мая 1820 г., когда друзья расстались в Петербурге, Пушкин, не взирая на гонения, стал самым выдающимся поэтом России и с ним приходилось очень и очень считаться. С Чаадаевым считаться совсем не приходилось. Чаадаев, вспоминая позже то «счастливое время, когда еще не наступили великие разочарования», указывает в 1831 г. в письме Пушкину на те «отрадные и блестящие реальности, которые были им, Пушкиным, осуществлены, как ни далеки они от обманчивых ожиданий, мечтательных предчувствий и лживых грез счастливого возраста неведения». Про себя ни в 1831, ни в 1826 г. он ни о каких осуществленных *реальностях говорить не мог.*

История его после их разлуки такова. Через несколько месяцев после высылки на юг Пушкина, в октябре 1820 г., разыгралась история известного солдатского возмущения против требований фронтовика Шварца в Семеновском полку. Чаадаев был послан с подробными докладами об этом в Троппау к императору Александру и привез оттуда суровую резолюцию с полным разгромом когда-то любимого государева полка.

Чаадаев, очевидно, правильно усмотрев в этом новый курс политики Александра, понял, что ему не место в командном составе в такой момент, отказался от ожидавшей его по общему мнению блестящей карьеры и вышел в отставку, имевшую вид какого-то протеста. Все толки о том, будто он вынужден был так поступить вследствие промедления в дороге за границу на конгресс, где был государь, так что его будто бы опередил австрийский курьер, вследствие чего Александр был поставлен в глупое положение по отношению к Меттерниху, и этим самым якобы попал в зависимость от политики последнего, что в свою очередь вызвало особенно жестокий приговор царя, — все это давно и совершенно категорически опровергнуто. В записках Меттерниха подробно рассказано, как он узнал от самого Александра о возмущении полка; Шильдер доказал, что Чаадаев доехал до места назначения ровно в столько же дней, как и специалист по скорой езде фельдъегерь, а главное — Чаадаев вовсе и не был первым вестником к царю о семеновском происшествии, а ехал уже вторым, с более обстоятельными донесениями, не готовыми к моменту отправки первого.

По выходе в отставку Чаадаев прожил два года под Москвой без всякого дела, в очень тяжелом настроении и в начале июля 1823 г. уехал за границу, сам хорошо не зная, как Чацкий, которого тогда как раз создавал Грибоедов, куда именно и зачем он едет. За границей он прожил три года.

Начал с Англии, пробыл месяцев семь в Париже, потом попал в Швейцарию, откуда, несмотря на протесты брата против продления поездки, спустился в Италию. Во Флоренции встретил глубоко на него повлиявшего своим христианским мировоззрением английского миссионера методиста Кука, а в Риме провел два месяца в постоянном общении со старым своим другом Николаем Тургеневым. Рим произвел на Чаадаева впечатление потрясающее, как центр античного мира, колыбель христианства и резиденция пап. «Рим чрезвычайная вещь — ни на что не похожая, превосходящая всякое

ожидание и всякое воображение», — пишет он брату после отъезда оттуда. Для поправления здоровья он ждет чудес от Карлсбада и едет туда через Венецию и Мюнхен. Карлсбадское лечение не пошло ему впрок, но зато он там познакомился и имел серьезные беседы со знаменитым Шеллингом, а также встретился со всеми тремя братьями Тургеневыми. 8/20 сентября 1825 г., как это видно из неизданного журнала Н. Тургенева, он вместе с ними выехал из Карлсбада, и поехал в Дрезден. Пробыть там он думал шесть недель, а остался более 9 месяцев, до самого возвращения в Россию. Ничего основательно Чаадаев за границей не изучал, повидимому никаких курсов не слушал, но общее наблюдение над всем складом европейской жизни, впечатления от людей, как Кук и Шеллинг, от Рима и от чтения книг, которые он усердно закупал, так что вывез с собою домой чуть ли не целую библиотеку, доступную теперь нашему изучению, — дали ему нечто большее, чем лекции и курсы: твердо укоренявшееся общее философское мировоззрение и определенную оценку мирового исторического процесса, послужившие основой для своеобразной системы мнений, которую он и развивал впоследствии в своих писаниях. Но все это был только сырой материал для будущих проявлений. Пока же он был всего лишь гусарский ротмистр в отставке.

Сообразно с этим и вступление его в николаевское царствование произошло совсем не так, как у Пушкина. И ему пришлось подвергнуться проверочной экспертизе до возвращения в Москву, *но не во дворце, а в отдаленном городишке, после долгого неопределенного ожидания на самой границе обетованной земли*, какой ему теперь может быть впервые в жизни должна была представляться Россия. И объясняться ему пришлось не с царем, а с агентами его брата, взбалмошного Константина.

Печатаемая здесь переписка и допрос дают довольно полный материал для суждения о том, что произошло с Чаадаевым в Бресте, и о показаниях, которые он дал при задержании его, впрочем без заключения под стражу.

Дело «Канцелярии дежурного генерала по секретной части», которое здесь напечатано почти полностью, было уж раз предметом публикации, но с такими сокращениями и неточностями, что необходимо его новое, более полное и более точное воспроизведение.

Первая публикация сделана в виде статьи в «Русской Старине» 1900 г. под заглавием: «Петр Яковлевич Чаадаев (материалы для его биографии)», подпись под статьей «Н. Д.» несомненно указывает на академика Н. Ф. Дубровина, бывшего в то время редактором этого журнала.

В «Русской Старине» источник публикации не указан. Там напечатан один рапорт вел. кн. Константина Павловича от 21 июля 1826 г. (в теперешней публикации № 4) и затем допрос Чаадаева в виде 12 вопросов и ответов на них. Гершензон использовал статью в своей биографии Чаадаева, а затем в «Сочинениях и письмах Чаадаева», т. I, стр. 67—72, перепечатал текст допроса, не обращаясь к подлиннику, находящемуся теперь в Военно-историческом архиве. Он уже заметил несомненный пропуск в печатном тексте допроса. И действительно, из сравнения текста с подлинником оказывается, что ответ на первый из напечатанных вопросов на самом деле соответствует 2, 3 и 4 вопросам подлинника. Это одно уже совершенно искажает весь характер ответов Чаадаева. Он как-будто по собственной инициативе, спрошенный только о том, имел ли он при выходе в отставку намерение отправиться за границу, называет целый ряд осужденных заговорщиков, Николая Тургенева, Якушкина, Трубецкого, Матвея, Сергея и Никиту Муравьевых, между тем как на самом деле он отвечает на поставленные ему о каждом из них вопросы. Далее, в напечатанном ответе на 8 вопрос подлинника заключается ответ на 8 и 9 вопросы, в ответе на 11 вопрос опять совмещены ответы на 11 и 12 вопросы. Сверх того совсем опущены вопросы 16, 18 и 20, равно как и ответы на них. Наконец, при печатании внесены в текст разные неточности. Так, в ответе на 17 вопрос, Чаадаев якобы пишет: «первые три масонские степени известны под именем иоанновского масонства, следующие три — выбрелевского (или востелевского), седьмой же и восьмой имеют особенные названия». Знатоки масонства, конечно, и до обращения к подлиннику могли догадаться, что таинственные клички «выбрелевское» или «востелевское» масонство составляют простое искажение общеизвестного наименования «а н д р е е в с к о г о» масонства, переписчик просто не сумел прочитать

написанного Чаадаевым слова, но «профан» может усмотреть тут какие-то новые масонские тайны, тем более, что ответ Чаадаева на 14 вопрос может вызвать действительно некоторое недоумение.

Не лучше обстоит дело с передачей переписки. Напечатан только один рапорт, помещенный у нас под № 3. Наконец оставлена без внимания подписка, взятая с Чаадаева после допроса.

Здесь все дело перепечатано целиком, за исключением только одной бумажки, составляющей конспект и другой, напечатанной выше под № 4.

II

Необходимость внимательно пересмотреть весь вопрос о «странном случае» с Чаадаевым, как последний его называет в письме к брату от 1 августа 1826 г., вызывается еще и тем, что имеется одно как-то забываемое указание на него, которое в свою очередь нуждается в разъяснении, а его и дает печатаемая переписка, если ее проследить полностью. В напечатанной в «Вестнике Европы» 1871 г. (№№ 7 и 9) биографии Чаадаева М. И. Жихарев привел следующий на первый взгляд совсем фантастический рассказ о брестском инциденте.

Коснувшись событий 14 декабря 1825 г. Жихарев в заключение так рассказывает о случае при возвращении из-за границы Чаадаева. «Если не ошибаюсь, в Ковне (или в Бресте Литовском) Чаадаев был задержан и дальнейшее следование было ему запрещено без объяснения на то причин»... «В то же время находился в Ковне (или Бресте Литовском) проездом, не знаю куда, в Москву или Петербург, вел. кн. Константин Павлович. Вечером, в очень сильную грозу Чаадаев уведомил письмом одного из его адъютантов о своем положении, которое сию же минуту было доведено до великого князя. Мне неизвестно, имел ли тут личное свидание Чаадаев с вел. кн., или дело исполнилось через третьих лиц, только достоверно, что вел. кн. принял его к самому участливому сведению, всячески Чаадаева успокаивал, шутил, смеялся, говорил, что «все обделает и уладит» и приказал ему не трогаясь с места и не смущаясь дожидаться в Ковне (или Бресте Литовском) своего возвращения. Так, разумеется, и исполнилось. По возвращении же он будто бы сказал Чаадаеву: „maintenant vous avez la clef des champs“ *. После чего они, каждый в свою сторону, разъехались и никогда уже больше не видались».

И затем Жихарев добавляет: «В настоящее время догадаться, что именно сделано вел. кн. для Чаадаева, не только трудно, но и в конец невозможно»...

Жихареву конечно не были известны ни письмо Чаадаева к брату от 1 августа 1826 г., ни тем более текст допроса и связанная с ним секретная переписка. Вопреки его мнению, мы в настоящее время можем установить роль вел. кн. в этом деле довольно точно. Странным образом она раздваивается: он и активный возбудитель дела против Чаадаева и, действительно, главный виновник его сравнительно благополучного разрешения. И хотя в лице Жихарева перед нами прошел путаный и ненадежный свидетель, однако же показание его дает, в соединении с перепиской, ключ к пониманию случившегося. Как и в других случаях, Жихарев плохо разбирается в фактах, но он долго жил вблизи Чаадаева и сведения его часто восходят непосредственно или через посредство других лиц к самому Петру Яковлевичу.

Как было указано выше, Чаадаев выехал из Карлсбада вместе с братьями Тургеневыми 8/20 сентября 1825 г. Повидимому с отъездом из Карлсбада кончились светлые впечатления Чаадаева за границей. Ему предстояло, как он сам пишет брату еще из Карлсбада, пробыть в Дрездене недель шесть «под смотрением доктора», который должен был определить результаты лечения и дать дальнейшее наставление. Результаты оказались никуда не годными.. С первого же письма идут жалобы на полное изнеможение, физическое и духовное, чередуются выражения «вертижи, лихорадка, желудочная болезнь, катар, рюматизмы в голове, голова кружится день и ночь». Чаадаев приписывает это излишнему употреблению вод и дурному лечению (письмо 26 сентя-

* Т. е. иными словами: теперь вы свободны на все четыре стороны.

просьбы от него не поступало, никакого допроса ему еще не учинено. Дата второго ответа Дибича вполне объясняет, в чем дело. 22 августа состоялась коронация, а благоприятная резолюция подписана 23 августа, как раз перед самым отъездом Константина. Он не стал дожидаться пышных торжеств, продолжавшихся в Москве еще целый месяц, и обделав очевидно еще 23 числа свои очередные дела, затем ночью выехал обратно в Варшаву с двумя распоряжениями: подвергнуть Чаадаева строгому допросу, а вместе с тем — с правом освободить его независимо от представления допроса в центр.

Самый допрос имел место 26 августа. Колзаков, «флота капитан-командор», который присутствовал при допросе, но повидимому не производил его самостоятельно, был приближенный к Константину человек (воспоминания его и его сына о Константине Павловиче помещены были в «Русской Старине» 1870 и 1873 гг.). Как было выше указано, сам Константин Павлович выехал из Москвы в ночь на 24 августа, едва ли он мог быть в Бресте уже 26 числа и там поручить сопровождавшему его Колзакову присутствовать при допросе. Но 29, к моменту взятия подписки, он, очень может быть, как раз был, проездом обратно в Варшаву, в Бресте. Во всяком случае 30 августа он был уже в Варшаве: этим числом датировано письмо его к Николаю из Варшавы, а 1 сентября им подписан в Варшаве же последний по этому делу рапорт, в приложении к которому посланы подлинные допрос и подписка Чаадаева.

III

На нескольких пунктах допроса приходится еще остановиться. Перечисленные в п. 3 допроса декабристы все названы в бывших в числе бумаг Чаадаева пяти письмах Н. И. Тургенева и письме Якушкина. Все шесть писем были возвращены Чаадаеву и находятся ныне среди пожертвованных Жихаревым в б. Румянцевский Музей бумаг Чаадаева — в рукописном отделении библиотеки Ленина. Все они напечатаны в приложениях к изданным под ред. Гершензона «Сочинениям и письмам Чаадаева», т. I. В своих объяснениях о фактической стороне знакомства с заговорщиками Чаадаев в общем держался тактики признания и обнаружения даже новых фактов о своих сношениях с ними (о свиданиях перед отъездом за границу), за исключением одного, самого главного: он упорно утверждал, будто не имел с ними никаких других сношений, кроме сношений дружбы...

В ответ на 6 вопрос Чаадаев очевидно старается особенно усилить на словах свое отрицательное отношение к революционным замыслам. Он написал сначала о чуждых ему «тайных намерениях», а затем усилил это выражение, сказав: «о тайных видах, преступных и безумных намерениях».

По отношению к 7 вопросу может возникнуть неправильное представление о находившихся среди бумаг Чаадаева стихах Пушкина. Там говорится о стихах «Смерть» и других, относящихся к «Занту». Чаадаев в ответе еще шире, чем это сделано в вопросе, определяет состав имевшихся у него стихов. Он говорит не только о стихах «Смерть» и «других о Занде», но еще и о «прочих отрывках стихов, тут же находящихся». Между тем в рапорте цесаревича от 21 июля, основанном на изучении отобранного материала, определенно говорится лишь об о д н и х стихах «Смерть», «в к о и х упоминается о Занте», так что повидимому здесь идет речь только о стихотворении «Кинжал», а не о двух отдельных стихотворениях.

Значение, какое имел для Чаадаева англичанин «известный миссионер» Кук, о котором говорится в ответе на 10 вопрос, обрисовано Чаадаевым в одном из известных его «отрывков» («Сочинения и письма» т. I, стр. 153—154). Самый текст инкриминируемого рекомендательного письма Кука полностью приведен Гершензоном в примечаниях к I т. «Сочинений и писем» на стр. 366.

Очень интересны ответы Чаадаева по поводу вопросов о масонстве. Чаадаев конечно совершенно прав, указывая, что подписки о принадлежности к масонству требовались в 1822 г. только от служащих. Как известно, во главе списка масонов, объявивших о своей прежней принадлежности к масонству и давших обязательство впредь не

ских агентов. Чаадаев, проболев две недели в Варшаве, продолжал свой путь, и подвергся в Бресте осмотру и задержанию.

Задержание Чаадаева произошло 17 или 18 июля, как это видно из первой же строки помещаемого ниже напечатанного в «Сочинениях» письма к брату, которое интересно, как единственный неофициальный источник, исходящий за это время от самого Чаадаева:

Брест-Литовск 1 августа.

Я здесь живу мой друг две недели. Со мною здесь случился странный случай. Приехав сюда был осмотрен по обыкновению на таможне, довольно строго; между протчим взяты были у меня бумаги по обыкновению для пересмотра. По сих пор мне их не отдали. Вероятно послали в другое место разбирать, а может найдя там несколько писем от Тургеньева препроводили их куды-нибудь на рассмотрение. Как скоро получу свои бумаги назад, — поеду не останавливаясь в Дмитров. — Езды от сюды до вас шесть дней. Из Дрездена выехал тому полтора месяца назад. В Варшаве по болезни прожил две недели — теперь здоров.

В Дрездене пробыл лишнее время, за что винюсь —

Прости мой друг

П. Чаадаев.

Штемпель: Брест, 2 августа 1826 г.

Второй рапорт Константина послан очень скоро после отобрания бумаг у Чаадаева, на 10 дней раньше, чем раскачался Чаадаев на письмо к брату — уже 21 июля, но рассмотрение рапорта в центре на этот раз задержалось. Получение его в Петербурге совпало с переездом двора и окружения царя в Москву. Приговор суда над заговорщиками был незадолго до того вынесен и даже приведен в исполнение. 13 июля совершена казнь пятерых и проделана комедия экзекуции над прочими осужденными (за исключением Тургенева). Интерес к новому изловленному злоумышленнику не мог быть сильным, к тому же власть готовилась к коронационным торжествам и все помыслы были направлены в другую сторону. Ответ на второй рапорт Константина Павловича последовал через двадцать дней после его написания — 11 августа, и помечен Москвой.

Ответ этот не мог уже застать цесаревича в Варшаве. Он неожиданно для всех, в том числе и для царствующего брата, тщетно пытавшегося раньше подкрепить свое положение личным наглядным всенародным признанием бесспорности его власти со стороны старшего брата, явился 14 августа в Москву для присутствия на коронации. Из Варшавы он выехал 9 августа, а через Брест проезжал вероятно 10-го. Вот тут-то и произошло очевидно обращение Чаадаева к нему, о котором выше приведен рассказ Жихарева. Ясно, что великий князь познакомился с первым ответом Дибича на его второй рапорт, где Дибич передает высочайшее распоряжение о допросе Чаадаева, только в Москве и тогда, когда у самого вел. князя, может быть не без влияния известий о масонстве Чаадаева — ведь и сам Константин был когда-то масон, — изменилось отношение к изловленному им же «брату», томившемуся в несчастном местечке уже более месяца в тоскливом ожидании решения своей судьбы. А с другой стороны, за цесаревичем ухаживают: ведь и для народной массы, и для съехавшихся на коронацию представителей монархов важнейших держав именно его участие в коронации придаст ей особый блеск и повышает значение. Как же не проявить великодушия, которое ему ничего не стоит! После коронации Николай между прочим писал брату: «Угадывать ваши намерения и ваши желания есть и будет постоянной потребностью для меня, да будет это вам известно раз и навсегда (Шильдер, «Импер. Николай I», т. II, стр. 10). И вот без всякой новой бумаги со стороны Константина, без всякой мотивировки, в полное противоречие с первым ответом на рапорт 21 июля, пишется второй ответ Дибича, 23 августа. Никакого допроса Чаадаеву еще нет, не дожидаясь его, цесаревичу дается полная свобода распорядиться по своему усмотрению судьбой Чаадаева. При этом подсказывается разрешение освободить его на все четыре стороны, в ожидании его искреннего раскаяния и вразумления, хотя никаких шагов и доказательств готовности исправиться со стороны Чаадаева не сделано, так как никакой

просьбы от него не поступало, никакого допроса ему еще не учинено. Дата второго ответа Дибича вполне объясняет, в чем дело. 22 августа состоялась коронация, а благоприятная резолюция подписана 23 августа, как раз перед самым отъездом Константина. Он не стал дожидаться пышных торжеств, продолжавшихся в Москве еще целый месяц, и обделав очевидно еще 23 числа свои очередные дела, затем ночью выехал обратно в Варшаву с двумя распоряжениями: подвергнуть Чаадаева строгому допросу, а вместе с тем — с правом освободить его независимо от представления допроса в центр.

Самый допрос имел место 26 августа. Колзаков, «флота капитан-командор», который присутствовал при допросе, но повидимому не производил его самостоятельно, был приближенный к Константину человек (воспоминания его и его сына о Константине Павловиче помещены были в «Русской Старине» 1870 и 1873 гг.). Как было выше указано, сам Константин Павлович выехал из Москвы в ночь на 24 августа, едва ли он мог быть в Бресте уже 26 числа и там поручить сопровождавшему его Колзакову присутствовать при допросе. Но 29, к моменту взятия подписки, он, очень может быть, как раз был, проездом обратно в Варшаву, в Бресте. Во всяком случае 30 августа он был уже в Варшаве: этим числом датировано письмо его к Николаю из Варшавы, а 1 сентября им подписан в Варшаве же последний по этому делу рапорт, в приложении к которому посланы подлинные допрос и подписка Чаадаева.

III

На нескольких пунктах допроса приходится еще остановиться. Перечисленные в п. 3 допроса декабристы все названы в бывших в числе бумаг Чаадаева пяти письмах Н. И. Тургенева и письме Якушкина. Все шесть писем были возвращены Чаадаеву и находятся ныне среди пожертвованных Жихаревым в б. Румянцевский Музей бумаг Чаадаева — в рукописном отделении библиотеки Ленина. Все они напечатаны в приложениях к изданным под ред. Гершензона «Сочинениям и письмам Чаадаева», т. I. В своих объяснениях о фактической стороне знакомства с заговорщиками Чаадаев в общем держался тактики признания и обнаружения даже новых фактов о своих сношениях с ними (о свиданиях перед отъездом за границу), за исключением одного, самого главного: он упорно утверждал, будто не имел с ними никаких других сношений, кроме сношений дружбы...

В ответ на 6 вопрос Чаадаев очевидно старается особенно усилить на словах свое отрицательное отношение к революционным замыслам. Он написал сначала о чуждых ему «тайных намерениях», а затем усилил это выражение, сказав: «о тайных видах, преступных и безумных намерениях».

По отношению к 7 вопросу может возникнуть неправильное представление о находившихся среди бумаг Чаадаева стихах Пушкина. Там говорится о стихах «Смерть» и других, относящихся к «Занту». Чаадаев в ответе еще шире, чем это сделано в вопросе, определяет состав имевшихся у него стихов. Он говорит не только о стихах «Смерть» и «других о Занде», но еще и о «прочих отрывках стихов, тут же находящихся». Между тем в рапорте цесаревича от 21 июля, основанном на изучении отобранного материала, определенно говорится лишь об о д н и х стихах «Смерть», «в к о и х упоминается о Занте», так что повидимому здесь идет речь только о стихотворении «Кинжал», а не о двух отдельных стихотворениях.

Значение, какое имел для Чаадаева англичанин «известный миссионер» Кук, о котором говорится в ответе на 10 вопрос, обрисовано Чаадаевым в одном из известных его «отрывков» («Сочинения и письма» т. I, стр. 153—154). Самый текст инкриминируемого рекомендательного письма Кука полностью приведен Гершензоном в примечаниях к I т. «Сочинений и писем» на стр. 366.

Очень интересны ответы Чаадаева по поводу вопросов о масонстве. Чаадаев конечно совершенно прав, указывая, что подписки о принадлежности к масонству требовались в 1822 г. только от служащих. Как известно, во главе списка масонов, объявивших о своей прежней принадлежности к масонству и давших обязательство впредь не

участвовать в масонских ложах, стоял и сам Константин Павлович. Об участии Чаадаева в ложе „Des amis réunis" «Соединенных друзей» (Чаадаев ее называет по-русски «Соединенных братьев») хорошо известно по исследованиям Пыпина, Семевского и др., не лишне напомнить, что на ряду с ним в эту ложу входили Пестель и сам Бенкендорф, а также и Грибоедов: Чаадаев числился там в пятой степени. Но о принадлежности Чаадаева к восьмой степени масонства нигде ранее напечатания допроса не было указаний и то, что говорит здесь об этом Чаадаев, только запутывает дело. Утверждение будто «Ложа белых братьев принадлежала к обыкновенному масонству, в России принятому», неверно. Принятое тогда в России официальное масонство ограничивалось шестью степенями.

Это место показаний поэтому и вызвало недоумение В. И. Семевского («Идеи декабристов», СПБ, 1909, стр. 657). Самое название «Ложи тайных белых братий» приводится по разному в рапорте Константина и в 17 пункте допроса. К сожалению, не приведены ни время выдачи патента, ни подписи скрепивших его братьев. Самое место выдачи указано только в рапорте и не совсем уверенно: «Патент масонской верховной и как видно Российской в С. Петербурге ложи»... Семевский предполагает, что дело может итти о шведском масонстве, и напоминает, что французский исследователь масонства Клавель (Clavel) приводит близкое к данному название 8 степени шведской системы: „Frère favori de St Jean ou du cordon blanc" («Возлюбленный брат св. Иоанна или белой ленты»). Во времена масонства Чаадаева шла распря между поборниками простого масонства без высших степеней и старинного шведского масонства с высшими степенями, обладатели которых составляли высший распорядительный орган — «капитул», неведомый непосвященным и даже рядовым масонам. Повидимому Чаадаев присоединился к последнему направлению и достиг там сравнительно высокого положения. Интересная работа Н. М. Дружинина «О масонских знаках Пестеля» (во втором выпуске сборника «Музей революции», М. 1932), хорошо освещая тогдашние течения в масонской среде, разъяснения данного случая не содержит.

Совершенной новостью, нигде до сих пор не опубликованной, является и сообщаемый в «Подписке» факт принятия Чаадаева в какую-то ложу в Кракове в 1814 г. Существенно было бы категорическое заявление Чаадаева в ответ на 16 вопрос, что ни с какими заграничными ложами он в сношения не вступал, если бы можно было вполне положиться на это утверждение. Едва ли можно принять на веру ответ на 18 вопрос, будто Чаадаев сберегал и возил с собой за границу масонский патент исключительно на память о прошлом. Никаких следов самого патента, отобранного у Чаадаева, не найдено, и он едва ли был ему возвращен.

Наиболее рискован и далек от истины ответ Чаадаева на 19 вопрос, с отрицанием какого бы то ни было участия в тайных обществах и даже сколько-нибудь обстоятельного знакомства с ними. Как известно, в еще более категорической форме при своем обращении к новому правительству отрицал и свое участие в обществах, и знание о них Пушкин (Подписка 11 мая 1826 г.). По отношению к осведомленности об организации тайных обществ Чаадаев, может быть, и имел больше, чем Пушкин, прав на свое отрицание. Рисунки Пушкина изобличают его замечательную осведомленность в этой области. Сведения Чаадаева были вероятно довольно ограничены и он конечно ничего не знал о новых фактах со времени своего отъезда за границу. Но свое личное участие в тайном обществе Чаадаев мог отрицать лишь с большим риском быть изобличенным в обмане. Правда, в известном «Алфавите декабристов», служившем справочником для Николая I и самым подручным средством проверки показаний в этой области, было о Чаадаеве сказано только следующее:

«Чаадаев. Бывший адъютант генерала Васильчикова. По показанию Якушкина, Бурцова, Никиты Муравьева, Трубецкого и Оболенского, Чаадаев был членом Союза Благоденствия, но уклонился и не участвовал в тайных обществах, возникших с 1821 года. Высочайше повелено оставить без внимания».

Однако же такая характеристика основана на неправильной передаче в «Алфавите» решительного показания первого из названных лиц — Якушкина, о принятии им Чаадаева в члены общества именно после прекращения Союза Благоденствия. Может

быть, какой-либо благожелатель из братьев по масонству смягчил при сводке для «Алфавита» показание Якушкина на следствии, но оно не допускает двух толкований: «В 1821 году по данному мне препоручению на бывшем тогда совещании принял я в общество покойного отставного генерала Пассека и отставного лейб-гвардии гусарского полка ротмистра Чаадаева («Восстание декабристов», т III, стр. 55).

Правда, сам Якушкин объясняет в «Записках» своих, что решился назвать Чаадаева, зная его пребывание за границей и имея в виду облегчить свое положение, но он и в «Записках» по существу повторяет тот же рассказ о принятии Чаадаева, а в моей статье «Якушкин и Чаадаев» (в сборнике «Декабристы и их время», вып II, 1932) приведено письмо Якушкина, подтверждающее принятие Якушкиным Чаадаева в тайное общество в 1821 г. документально. Чрезвычайно интересно сообщение Чаадаева о произнесенной им в 1818 г. в ложе речи о вреде тайных обществ вообще: судя по его ответу при допросе речь эта имелась в отобранных у него бумагах. Следов этой речи не сохранилось. Об этом во многих отношениях приходится очень пожалеть. Она могла бы осветить столкновение различных мнений в момент образования первых тайных обществ, и дополнить наше представление о Чаадаеве первой поры его близости с Пушкиным, эпохи первого послания Пушкина к Чаадаеву с мечтой об «обломках самовластья». Речь эта была бы кроме того самым ранним известным литературным произведением Чаадаева, за отсутствием которого приходится пока признать таковым разбираемые и публикуемые здесь впервые полностью ответы на допросе, хотя литературное произведение это и является вынужденным сочинением на заданную тему.

Можно думать, что допрос был наиболее легким из испытаний, пережитых Чаадаевым за сорок слишком дней (с 18 июля до 29 августа) брестского томления... Надо вспомнить, что в это время ему приходилось постепенно, может быть урывками и с недостаточными данными в руках, узнавать о последних этапах расправы с декабристами, кончая казнью пятерых, из которых по крайней мере трое были его хорошими знакомыми, а все осужденные вместе — представителями того общества, в котором он жил и с которым связаны были все его надежды и опасения. То, что переживал Пушкин в конце июля в Михайловском, в обстановке все же гораздо более благоприятной, то приходилось ему претерпевать в условиях полного одиночества, без книг и бумаг, с мрачными думами о трагедии всей общерусской жизни и об отдельных разбитых или задавленных петлею палача жизнях...

Конечно, эти 40 дней — незабываемая страница биографии Чаадаева и то, что он ее не выразил литературно, едва ли означает, что она легко ему досталась. Загнанные внутрь горе и обида отнюдь не менее тягостны вследствие того, что не находят себе выхода во внешнем выражении. Может быть пережитые тяжелые и унизительные впечатления были одной из главных причин, почему возобновившиеся отношения с Пушкиным при их свидании в Москве прошли почти бесследно. Мы только и знаем о них по отзыву Соболевского о присутствии Чаадаева на чтении «Бориса Годунова» Пушкиным у него на квартире и заметке Погодина в его дневнике 23 декабря 1828 г. о рекомендации Пушкиным Чаадаева Погодину, как знакомого с Шеллингом.

Нам остается еще проследить последствия того распоряжения о надзоре за Чаадаевым, которое было, как мы видели, послано в Москву от главного штаба немедленно по получении первого рапорта цесаревича (см. бумагу Дибича под № 2). Отпущенный на волю в Бресте из одной клетки, очутившись наконец у цели своего пути, в Москве, Чаадаев должен был попасть в другую клетку, хотя и более просторную. В Московском историко-революционном архиве имеется особое дело секретного отделения канцелярии московского генерал-губернатора, 1826 г. (№ 73), озаглавленное: «По высочайшему повелению о бдительнейшем надзоре за ротмистром Чаадаевым». Дело начинается с извещения цесаревича посланного московскому генерал-губернатору 7 июля 1826 г., т. е. в один день с его рапортом государю о будущем прибытии Чаадаева в Москву. Затем следует распоряжение Дибича (№ 2 публикуемого дела) и сведения о дальнейших действиях полиции. Из них видно, что Чаадаев в Москве останавливался в гостинице Лейба и выехал 4 октября в дмитровское имение своей тетки, где за ним и был установлен надзор.

ИЗ НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКИ Н. М. ЯЗЫКОВА

I. Н. М. ЯЗЫКОВ И В. Д. КОМОВСКИЙ

ПЕРЕПИСКА 1831—1833 гг.

Публикация М. Азадовского

Когда в 1833 г. появился сборник стихотворений Н. Языкова, Петр Киреевский написал поэту восторженное письмо: „Здравствуй, брат Языков, да здравствуешь. Это слово от полного сердца проникнутого восторгом. Хотя стихи твои все почти были знакомы мне прежде, однако действие, которое производит твоя книга, совсем новое и неимоверное, как брови Татьяны Дмитриевны[1]. Я читаю их всякое утро, и это чтение настраивает меня на целый день, как другого молитва или рюмка водки. И немудрено: в стихах твоих и то, и другое... Какой-то святой кабак и церковь с трапезой во имя Аполлона и Вакха"[2].

Эта восторженная оценка была не одиночным мнением. Это было оценкой определенной группы, выражением определенного политического и философского мировоззрения. Несколько позже нутряная оценка Петра Киреевского была осмыслена и поднята на огромную принципиальную высоту самым крупным теоретиком той же группы Иваном Киреевским. Возражая тем, кто клеймит поэзию Языкова как безнравственную и разгульную, он писал: „Когда Анакреон воспевает вино и красавиц, я вижу в нем веселого сластолюбца; когда Державин славит сладострастие, я вижу в нем минуту нравственной слабости, но, признаюсь, в Языкове я не вижу ни слабости, ни собственно сластолюбия, ибо где у других минута бессилия, там у него избыток сил, где у других простое влечение, там у Языкова восторг, и музыка, и вдохновенье,—там пусть другие ищут грязного и низкого; для меня восторг и грязь кажутся таким же противоречием, каким огонь и холод, красота и безобразие, поэзия и вялый эгоизм... Если же при всем сказанном мы сообразим еще и то, что, может быть, нет поэта, глубже и сильнее проникнутого любовью к отечеству, славе и поэзии, что, может быть, нет художника, который бы ощущал более святое благоговение перед красотой и вдохновением, то тогда все упреки в безнравственности покажутся нам странными до комического, и нам даже трудно будет отвечать на них, ибо мудрено будет понять их возможность". Основное свойство поэзии Языкова Киреевский характеризует как „стремление к душевному простору",—это определяет весь характер поэзии Языкова: его содержание и его форму именно потому,—заявляет Киреевский,—что „господствующий идеал Языкова есть праздник сердца, простор души и жизни, потому господствующее чувство его поэзии есть какой-то электрический восторг, а господствующий тон его стихов — какая-то звучная восторженность"[3].

Одновременно на страницах „Московского Телеграфа" совершенно иную оценку давал критик другой общественной группы—Ксенофонт Полевой. Полевой проходил равнодушно мимо тех сторон поэзии Языкова, которые так превозносились и высоко расценивались Киреевским и его группой; в противовес им он выдвигает иное—обвинение поэта в холодности и общественном равнодушии. Два свойства, по утверждению критика, характеризуют истинного поэта: индивидуальность и современность. „Берегитесь тех лирических поэтов,—писал Полевой,—которые не знают ни отечества, ни времени: это

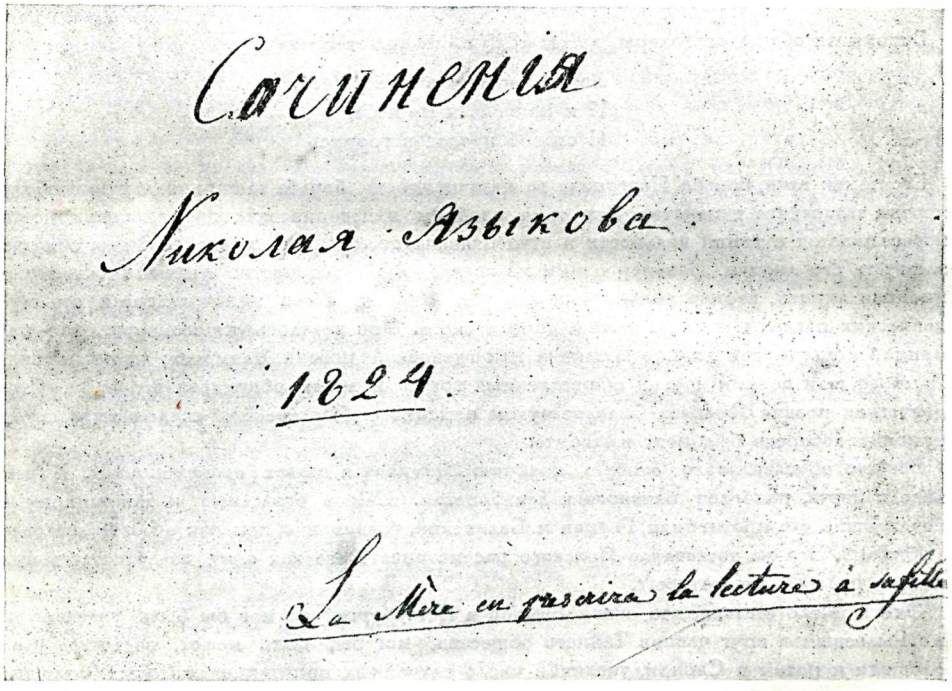
самозванцы... Человек, в наше время трепещущий от восторга при имени Аполлона и девяти муз, решительно лжет на себя или говорит шутя. Русский, желающий быть греком, римлянином или итальянцем в лирической поэзии,—не поэт, ибо он идет вслед и подражает поэтам чужеземных народов, а подражатель не знает вдохновения. Это ремесленник, копирующий чужой рисунок, а не сам создавший его. И, наоборот, человек, не одушевляющийся при взгляде на своего прадеда, на могилы и деяния своих предков, не волнуемый идеями своего времени, своей судьбы, своих страданий, есть существо слабое, себялюбивое, мелкое, ничтожное, ибо только собственную свою особу видит он во всей природе, во всем мире, во всем отечестве своем". С этих позиций критик расценивал и Языкова. „Если мы зададим себе вопрос,—писал он далее,—какое чувство преимущественно выражают стихотворения г-на Языкова, то будем приведены в большое затруднение. Если спросим себя также, какие идеи господствуют в звучных стихах г-на Языкова, ответ будет не менее затруднителен. Но все еще скорее можно отыскать индивидуальность у сего поэта (ибо она должна быть, более или менее, у всякого пишущего), нежели открыть какие-либо идеи в ста шестнадцати напечатанных его стихотворениях".

В столкновении этих двух оценок вокруг книги Языкова с необычайной четкостью выразились основные линии русской литературы и русской общественной мысли 30-х годов. За этими оценками стоят четкие и ясные социальные позиции. Философско-эстетической точке зрения дворянской группы резко противопоставлялась публицистическая критика нарождавшейся буржуазной интеллигенции, выразителем тенденций и идеалов которой был „Московский Телеграф".

Спор об Языкове не был только спором об оценке поэта, но имел гораздо более глубокое значение. Это был один из моментов спора о литературной аристократии и ее противниках. Это был спор за общественную гегемонию, который выражался в различных формах: в спорах о народности, о подражательности, о характере русской литературы и т. д. Еще до статей об Языкове между Ив. Киреевским и Кс. Полевым был жестокий спор по вопросу об основных элементах русской литературы или, вернее даже, русской культуры. Ив. Киреевский разделил русскую литературу на три периода, связывая с именами крупнейших писателей: Карамзина, Жуковского, Пушкина. Кс. Полевой решительно возражает против такого деления. „Это представительство,—заявляет он,—отзывается аристократством, неуместным в литературе и потому несправедливым. Признавая огромное значение за Карамзиным, он умаляет роль и значение Пушкина и Жуковского". „Они—превосходные поэты,—заявляет он,—но частные представители в литературе, и они не могли подвинуть вперед эстетики русского общества". Кс. Полевой намечает иным образом основные пути развития русской литературы. Прежде всего он останавливается на подражании, которое было одним из характернейших явлений складывающейся русской литературы, и с большой смелостью мысли стремится вскрыть социальные корни этого явления. Подражание явилось следствием огромного разрыва между высшими и низшими слоями. Были университеты и Академия, но не было народных школ; „высшие точки общественного горизонта были освещены ярким пламенем европейской образованности, а низшие закрыты густым мраком векового азиатства". Класс же средних людей, стоящих между барином и мужиком, начал образовываться только в XVIII веке. Этот-то класс, по утверждению критика, везде составляет „истинную прочную основу государства". Так из этого класса вышел Новиков, за которым стояло целое общество. Главной его заслугой явилось то, что „он первый создал отдельный от светского круга круг образованных молодых людей среднего состояния, к которому принадлежал и Карамзин". Этот-то круг внес образование в те слои, „где оно производит многозначащие прочные успехи".

Благодаря сочинениям Карамзина русские средние сословия стали сближаться с литературой. Это и явилось начальным периодом нашей образованности. „С сего-то времени,—подчеркивает Кс. Полевой,—так называемый низший круг людей начал сближаться с высшим, разрушив преграды, заслонившие русское общество от Академии и большого света". С этой точки зрения Кс. Полевой ищет писателей в послекарамзин-

ский период, которые также могли бы увлечь за собой всю литературу и всю публику, и никого не находит. И далее следует страстная тирада против светского общества: „Но вдали от большого света для писателя разве закрыта великая картина природы? Разве для него не существует красота, добродетель и страсти, высокие и творческие?... Какое светское общество отражало красоту в душе Клода Лоррена, бедного краскотера, работника? Кто образовал душу и слог Ричардсона, бедного типографщика? В каком обществе возник нежный, изящный Шиллер? Не гостиная ли была святилищем мизантропа Руссо? В котором из поместьев своих Шекспир имел счастье кормить и поить толпу светских людей" и т. д. Ксенофонт Полевой отрицает даже подлинную заинтересованность светского общества в литературе: „для знатных людей она всегда останется делом посторонним", тогда как для низших классов „литература есть та стихия, которою они сближаются с человечеством"[4].



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ АВТОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ СТИХОТВОРЕНИЙ ЯЗЫКОВА
Институт Русской Литературы, Ленинград

Спор об Языкове не случайно принял такие острые очертания и страстный характер. Книга его стихов с предельной ясностью вскрыла путь развития дворянской интеллигенции после декабристского выступления. Творчество Языкова очень часто механически разрывают на два периода. Первый период—либерально-оппозиционный, второй—реакционный, мистический, окрашенный ярко выраженными религиозными настроениями, и т. д. Очень часто этим двум механически установленным периодам дается и механическое толкование: переход Языкова к новым темам и настроениям объяснялся его болезнью, родственными и дружественными связями со славянофилами и т. д. Между тем по существу-то никакого перелома не было, а был определенно последовательный путь и органическое развитие: направление этого пути отчетливо обозначилось в книге 1833 г., отчего она и вызвала такую страстную полемику.

Та социальная группа, к которой принадлежал Языков, переживала кризис. Ей нужно было решить, с кем и куда итти: искать ли опору в силах, выходящих за пределы своего класса и стремящихся порвать с крепостным феодальным строем, или искать

опору в недрах собственного класса и в организации его сил. В 40-х годах это стремление к социально-классовому самоопределению обозначилось очень выпукло; в 20-х годах, после падения декабризма, это только намечалось. Расслоение дворянской интеллигенции тогда еще не приняло резких и четких форм. Эту нечеткость социальной позиции и отразил в своем поэтическом пути Языков.

Молодой Языков—еще в сфере декабристских настроений. Основной мотив его творчества—мотив свободолюбивого национализма; в этом аспекте воспринималась вся его историческая лирика:

Надежды творческая слава
Манила думы величавы
К браннолюбивой старине:
На веча Новграда и Пскова,
На шум народных мятежей.

Вспоминая общие разговоры, летом 1826 г. он пишет Пушкину:

Зовем свободу в нашу Русь,
И я на вече, я на небе,
И славой прадедов горжусь.

Его темы: вече, борьба Новгорода за независимость, борьба за национальную свободу против татарского тиранства. Эта тема свободы в исторических переживаниях поэта перекликается с темой вольности в студенческих песнях, органически спаивая эти два элемента его лирики. Наконец одним из звеньев в его творчестве являлась и революционная лирика, вернее вольнодумная и радикальная, а его эпикурейство в его студенческих песнях представлялось в другом свете. Оно казалось не кастовым, как например в лицейской лирике Пушкина или гусарской поэзии Давыдова; через поэзию Языкова шли веяния других общественных групп и иных общественных форм. Студенческая поэзия Языкова была отзвуком немецкого бюргерского студенчества, в окружении которого был поэт в Дерпте.

Все это обуславливало особую позицию Языкова в глазах современников. В нем видели поэта, наиболее близкого к декабристам. Самые страстные и непримиримые позднейшие его противники, Герцен и Белинский, говорили о нем как о поэте „некогда любимом". Это же заставляло Полевого рассматривать его как одну из „блистательных надежд русской литературы".

Очень могло статься, что, живи Языков в Петербурге, он мог бы быть увлечен тем же Рылеевым в круг членов Тайного общества, мог бы, быть может, очутиться и на площади и потом в Сибири, увеличив число случайных попутчиков, которых было так много в рядах тайных обществ и среди осужденных по процессу.

Но если только случайно не стал Языков даже и таким „случайным" декабристом, то по существу внутренне он никогда не только не был подлинным декабристом, но даже был органически чужд декабризму. Его революционная лирика—это только пена на гребне революционной волны, это кратковременный этап, даже, вернее, эпизод в его творчестве, красноречивое свидетельство тех колебаний, которые переживал Языков и которые отражают собою колебания класса.

Мы говорили уже выше, что лирика Языкова отразила колебания класса, но следует добавить, что Языков был одним из тех, кто ранее других определил свою политическую и социальную линию. Принадлежность его к наиболее обеспеченной и материально-мощной верхушке своего слоя обеспечила и ускорила поиски осознания своего социального пути и места. Это позволяет глубже вскрыть смысл его национальной тематики или архаики, по установившейся историко-литературной терминологии.

Архаика в литературных течениях 20-х годов шла в разных направлениях. Эти различия обычно отмечаются в нечетких терминах: старшие и младшие архаики. Старшие архаики реакционны, младшие принадлежат к оппозиционным и революционно настроенным кругам. Но почему оказалось возможным объединение на почве единого литературного метода (или стиля) столь различных политических групп? Национальная тема-

тика и лексическая архаика в руках одной группы определенно связана с националистически-охранительными тенденциями, но у „младших архаиков", основные кадры которых составляли главным образом декабристы, этот же самый метод служил средством борьбы с этими консервативными тенденциями в литературе и с тем социальным слоем, который стоял за ними. В этом нет никакого противоречия, но совершенно естественный процесс литературного развития. В процессе борьбы дворянство, переходившее на идеологические буржуазные позиции, борясь с классицизмом во всех его проявлениях, пытается создать свою монументальную гражданственную поэзию; оно обращается к этой же тематике, пользуется тем же методом, но его сущность и направленность приобретают иной характер. Это—противопоставление с в о е й национальной тематики национальной тематике дворянско-феодальной группы. За внешним совпадением вскрывается глубокое принципиальное различие и иное качественное содержание. Национальная тематика дворянско-феодальных групп развертывается в систему патриотических и шовинистических идей, тогда как так называемой „младшей архаикой" развивались буржуазные националистические идеи. Идее о нации-отечестве противопоставлялась идея нации-народа. В этом основная сущность художественного метода, характеризующего Рылеева, Катенина, Кюхельбекера, Грибоедова, Раевского, отчасти Одоевского.

Архаика молодого Языкова идет сначала как будто по тому же пути. Да и самому Языкову в то время казалась более созвучной поэзия Рылеева или Катенина, отсюда и его отношение к Пушкину, граничащее (на первых порах) почти с полным неприятием его. Отсюда и то отмеченное выше отношение к нему современников. Еще недостаточно острое в ту эпоху осознание классовых противоречий в дворянской среде делало вполне понятным и естественным целый ряд таких союзов, казавшихся несовместимыми и непонятными в более позднее время. Так по мере все более четкого осознания своей классовой позиции эволюционировал Вяземский, переходя постепенно от идей левого радикализма к реакционно-обскурантским позициям. Таков же был и путь Языкова. И его архаика очень быстро обнаружила консервативно-реакционную сущность идеологии Языкова.

Неправильно утверждение, что реакционно-консервативные моменты характеризуют только позднейшего Языкова; еще не очень резко, не броско, но все же достаточно внятно они слышны и в его раннем творчестве. Архаика неразрывно связана с моментами националистической узости, переходящими сплошь и рядом в шовинизм, с самовлюбленным патриотическим самолюбованием. Все это наблюдается уже в творчестве дерптского периода; правда, здесь еще они звучат полускрыто, более в шутливой форме, чаще в письмах, но и в стихах тоже.

Так например, в послании к отъезжающему за границу А. Н. Степанову он пишет (1828 г.):

Да там, откуда с давних пор
Надежд питомцы дорогие
России книжники младые
Вывозят ей лишь тлен и вздор,
Туман шального мудрованья,
Глухую спесь, немилость к нам
И знаменитые прозванья
Своих учителей, да там
В стране наук правдиво-гордой,
Служа Каменам и добру,
Не окрестится в немчуру
Твой дух деятельный и твердой,
Но жадный творческих трудов,
Но полный силы своенравной,
Сберет сокровища веков
И посвятит их православно
Богам родимых берегов.

В письмах говорится более откровенно. Чтобы не загромождать статьи многочисленными примерами, приведем только один, чрезвычайно яркий и вскрывающий, так сказать, физиологическую сторону языковского патриотизма. В одном из февральских писем 1826 г. он пишет брату Александру: „У нас, как и во всей Руси православной, теперь масленица, как бы то ни было, мы и здесь ее празднуем. Скучно, любезнейший, видеть, как немцы пренебрегают русскими праздниками; если бы я был императором российским, я бы заставил их и пить русский квас, и есть русские блины, и ходить в русскую церковь, и говорить по-русски, да обрусеют и да принадлежат вовсе к огромному государственному телу России. Не правда ли, это предположение политическое и, шутки в сторону, его исполнение было бы полезно царству православному"[5].

Отсюда совершенно ясен путь к тем, написанным почти через пятнадцать лет строкам в послании к Гоголю, которые так возмутили передовых современников Языкова,—в первую голову Белинского и Некрасова:

. . . . . Одна отрада,
Когда перед моим окном,
Площадку гладким хрусталем
Оледенит година хлада,
Отрада мне тогда глядеть,
Как немец скользкою дорогой
Идет с подскоком жидконогой—
И бац да бац на гололедь.
Красноречивая картина
Для русских глаз. Люблю ее.

В московский период, когда встреча с родственной ему средой углубила и заострила эти настроения, они выступают еще резче. В сборнике 1833 г. они нашли наиболее полное и яркое воплощение в „Ау":

О проклят будь, кто потревожит
Великолепье старины;
Кто на нее печать наложит
Мимоходящей новизны.

Эти настроения полились далее, являясь уже доминирующими в сборниках 1844 и 1845 гг., принимая характер идей воинствующего шовинизма, порой прямого обскурантизма и определяя собой отношение к Языкову различных слоев общества и литературы. Свободолюбивое стремление к старине обнаружило свою подлинную сущность.

Естественным следствием этих настроений является и религиозная тематика. В дерптских письмах эта тема только слегка намечена и идет бок о бок с мотивами религиозного вольномыслия; в московский период она приобретает новое значение и новый характер, занимая одно из центральных мест в его творчестве. Эти настроения не явились как-нибудь сразу, внезапно. Уже в Москву, как сообщал Погодин, он привез замыслы трагедии „Саул", но несомненно, что в кружке Киреевских и Аксаковых, в общении с Погодиным эти настроения укрепились и получили новое углубленное обоснование. Их первостепенное значение для себя он подчеркнул, открыв им новый сборник, сборник 1833 г., стихотворениями: „Поэту" и „Подражание псалму XIV". Лирический пафос поэта получал новую направленность.

Замечательным памятником этой „перестройки" поэта служит публикуемая здесь переписка его с В. Д. Комовским.

Василий Дмитриевич Комовский—один из петербургских знакомых Языкова; знакомство с ним произошло вероятно еще в пору пребывания Языкова в столице, перед поступлением его в Дерптский университет. Комовский особенно был дружен со старшим братом поэта А. М. Языковым. Его переписка с последним захватывает около двух десятков лет и представляет огромнейший историко-литературный интерес.

По летам Комовский ровесник поэта (род. в 1803 г.), ко времени их знакомства он уже служит в Цензурном комитете, где занимает должность секретаря. Далее, подвигаясь по служебной лестнице, он занимал должность правителя дел Главного управления цензуры и в этой должности он был как раз в то время, к которому относится публикуемая здесь переписка, и выше вплоть до директора Канцелярии министра народного просвещения. Одно время служил в Публичной Библиотеке, был председателем дел Комитета для нового устройства Академии Наук и незадолго перед смертью — председателем Археографической комиссии. В 1851 г. сошел с ума и вскоре умер.

Как литератор и научный деятель Комовский выступал главным образом как переводчик, в частности им выполнены две весьма крупные и значительные работы: перевод „Истории древней и новой словесности" Шлегеля и „Немецкой литературы" Менцеля. Перевод Менцеля, посвященный, кстати сказать, Н. М. Языкову, снабжен любопытным предисловием, очень характерным для автора. „Главный недостаток его [Менцеля] критики, — пишет Комовский, — как мне кажется, состоит в подчинении поэзии и вообще словесности политике или даже понятиям и духу политической партии. Менцель депутат и депутат оппозиционной стороны. Этим объясняются его строгие приговоры Иогану Мюллеру, Гегелю, Гете и др., от этого же происходит оппозиционный тон его книги, резкий, иногда кинический язык его" [6].

Комовский очень напоминает Никитенко: такой же ревностный, исполнительный чиновник, чиновник-цензор днем и либеральный мыслитель вечером, наедине со своим дневником. Неизвестно, вел ли дневник Комовский, но во всяком случае роль такого дневника заменяла ему переписка с братьями Языковыми, особенно со старшим братом. Комовский регулярно сообщал своим корреспондентам чуть ли не о каждой мелочи, касающейся литературы и просвещения. Его письма к А. М. Языкову иногда являются большим критическим трактатом (например: разбор „Наложницы" Баратынского или Пушкинского „Бориса Годунова"), иногда подробнейшим отчетом о деятельности Министерства народного просвещения и Цензурного комитета. Если когда-либо эта переписка будет целиком опубликована, наша историография обогатится вторым „Дневником Никитенко".

Из этой обширной переписки мы извлекаем часть, касающуюся главным образом издания стихотворений Языкова, техническим выполнителем которого был Комовский. В основном это ценнейший материал для истории этого сборника, но мы взяли эту тему шире и включили переписку и предшествовавших годов, начиная с 1831 г., когда совершенно ясно и четко обозначается новый путь Языкова, который нашел яркое воплощение в стихотворении „Ау" и который он сам характеризовал своему корреспонденту как путь из кабака в церковь.

Марк Азадовский

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Татьяна Дмитриевна — знаменитая „цыганка Таня", прославленная в стихах Языкова.

[2] Письма П. Киреевского к Н. Языкову (ИРЛИ).

[3] Ив. Киреевский, О стихотворениях г. Языкова. Полное собрание сочинений под ред. М. О. Гершензона, М., 1911, т. II, стр. 80.

[4] Вяземский очень решительно поставил точку над основным в этом споре: „Неужели некоторым участникам „Литературной Газеты", — писал он, — теперь не дают пропуска на Парнасс потому только, что они помещики и что они у места в высшем классе общества". И далее: „...нападать на безграмотность аристократии нашей или дворянства несправедливо, ибо одно это звание у нас и грамотное ...Дворянские гостиные наши также не вертепы мрака и невежества, они соединяют нас с образованной Европой, в них читаются русские и чужеземные книги; в них иностранные путешественники находят сочувствие и соответствие своим понятиям, в них раздаются отголоски европейского просвещения, в них, а не в домах купеческих, не в жительствах мещан, ремесленников наших. Разумеется доля исключений и здесь идет, но мы должны иметь в виду одни общие итоги".

[5] „Языковский архив", стр. 241.

[6] Немецкая словесность. Из книги Вольфанга Менцеля. Ч. I. СПБ., 1837, стр. IX.

1. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

Александр Михайлович, сделав мне поручение, возложил на меня об успехе оного уведомить вас. Этим он вместе доставил мне приятный случай писать к вам и снял с меня вину докучливости. Я рад тому тем более, что уже и без того имел нескромное намерение навязать вам письмо. Исполню сперва поручение Александра Михайловича, а потом воспользуюсь случаем обеспокоить вас и моею просьбою.

В бытность свою в Петербурге, он подписался на 2 экз. Истории Карамзина, с тем, чтобы Смирдин, по выходе всех частей, переплел и переслал их в Симбирск. Теперь Ал. Мих. желает получить Историю Карамзина в Москве от Ширяева и без переплета, и поручил мне согласить на это Смирдина. Полагаю, что все это вы уже знаете от самого Ал. Мих., но уведомляю вас на всякий случай.—Смирдин совершенно согласен с его желанием и обещал написать о том к Ширяеву.

Собственная же моя просьба к вам состоит в том, чтоб вы удостоили принять препровождаемые при сем письме отдельно вторый том перевода Шлегелевой Истории Литературы. Кто сам послан пророчествовать и на земле вещать слова небес, тому родные и все его предшественники, коих возвышенные уроки объясняет человечеству Шлегель.

В. Комовский

С.П.Б. 19 февраля 1831

Этим письмом открывается переписка Комовского с Н. Языковым. До этого времени письма его были адресованы исключительно А. М. Языкову. Знакомство с поэтом было менее интимно, и их связь собственно окрепла уже после 1833 г., когда Комовский оказал Языкову большую дружескую услугу по наблюдению над изданием его стихов.

2. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1831. Марта 18. Москва

Я кругом виноват перед вами: до сих пор не отвечал на два письма ваши, держу у себя ваш список книг 1829 года, даже не поблагодарил вас за прекрасный подарок. Простите мне все эти светские и литературные прегрешения, приписав их единственно лени и привычке все откладывать до будущего и ничего не делать в настоящем. Вы совершили чрезвычайный подвиг во благо нашей словесности: не ослабевайте же духом от мелочных неудач, необходимых у нас, где все отличное претыкается. Что вы вперед намереваетесь подарить нашим словесникам, не умеющим ценить трудов великих и чистых?

Вот вам здешние новости: Пушкин написал чрезвычайно много во время своего пребывания в нижегородской деревне, где задерживала его холера. Скоро издает две последние главы Онегина: девятую сильно хвалят слышавшие. Наложница явится к светлому воскресенью. Баратынский сочинил к ней предисловие, в котором очень любопытно рассуждает о нравственности изящных произведений. Впрочем, едва ли эта статья пройдет свозь тиски цензуры—рассвирепевшей здесь до безумия!

Если бы я имел право надеяться, что все-таки не вовсе лишился вашего ко мне благорасположения, то попросил бы вас справиться у Грефа или у кого другого—не получено ли в Петербурге издание сочинений Шиллера в одном томе: я видел здесь первую половину—и пленился.

Прощайте покуда.

Ваш Н. Языков

Греф—владелец магазина иностранной книги в Петербурге.

„Наложница" Баратынского (в позднейшей редакции „Цыганка") была очень холодно принята критикой и читателями. Языков очень верно угадал упреки в безнравственности, которые последуют со стороны критики. В предисловии к поэме Баратынский предлагает рассматривать поэму так же, как научное произведение, т. е. искать в ней верного отражения действительности. „Чем обширнее гений писателя, тем он полнее и разнообразнее в своих творениях, тем он вернее отражает действительность и тем он нравственнее". Глубокопринципиальное значение поэмы как опыта реалистической поэмы и ее общественный смысл современной критикой были не поняты и их впервые отметил только в 1861 г. Огарев. В предисловии к „Русской потаенной литературе" он писал: „Цыганка" Баратынского, может не довольно оцененная, проникнута гражданской мыслью и исполнена истинно-трагических движений" (стр. XLVII). П. Н. Сакулин видит значение этой поэмы (как и двух ранних поэм Баратынского) в том, что он, „идя своим путем, разрабатывая свою психологическую тему—драму женской любви в разных общественных условиях,—сознательно руководился принципами художественного реализма и следовательно стремился к той же цели, что и Пушкин" (П. Н. Сакулин. „Русская литература", ч. II, 1929, стр. 439).

3. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1831. Апреля 8. Москва

Благодарю вас за письмо и за все комплименты и учтивости, которыми вы его преисполнили; между тем осмеливаюсь беспокоить вас снова моею просьбою, вот в чем дело: Баратынской печатает свою Наложницу, к св. воскр[есенью] она в мир явится. Не можете ли вы узнать у А. Ф. Смирдина, хочет ли он взять сколько-нибудь экземпляров оной—и паче не можете ли на него подействовать во благо Баратынского?

Я еще не получил письма от брата Ал[ександра] из Уфы—но он уже там, как гласят известия, самые достоверные: Ширяев отправил ему туда книги, разных разностей и между прочим Киргиз-Кайсака и Петра Ивановича: первый кажется лучше Петра Ивановича. Ушаков перешиб Булгарина; правда, перешиб соплёю, как говорят в просторечии, а все-таки перешиб!

Что Журнал Волкова? У меня есть братнино поручение послать в него стихов, да здесь говорят, что он еще не показывался—следственно и проч.

На днях выйдет Рославлев—произведение глупое: вроде Русаковых, Подлипаловых и проч. Булгарина. За него дал Степанов 40 т. руб. Вот каково. Это гораздо и гораздо больше, чем Вальтер Скотту платили в Англии. Судя по степени просвещения нашего и Англинского, так кажется.

Прощайте покуда.

Ваш покорный

Н. Языков

Ширяев — московский книгопродавец.

„Петр Иванович" — роман Ф. Булгарина „Петр Иванович Выжигин", продолжение первого его романа „Иван Выжигин".

„Рославлев"—роман М. Н. Загоскина („Рославлев или русские в 1812 году").

„Киргиз-Кайсак"—повесть В. Ушакова. „Киргиз-Кайсак"—повесть бульварно-романтического типа—была чрезвычайно популярна в 30-х годах. Содержанием ее является судьба молодого выходца из киргиз-кайсацкого племени в великосветском обществе. „Киргиз-Кайсак" определенно заострен против высшего света и аристократии. Эту тенденцию повести резко подчеркивает рецензент „Московского Телеграфа", который так передает ее содержание: „Ушаков представляет киргиз-кайсака, случайно попавшего в круг знати, богатого, умного, добродетельного, образованного,—и несмотря на это киргиз-кайсак погибает только от того, что предки не оставили ему в наследство длинной родословной..." „Таким образом, в основе—изображение предрассудка, который не щадит ни счастия ни добродетели, всем жертвуя мечтательному преимуществу знатного происхождения" („Моск. Телеграф" 1831, т. XXVII).

„Киргиз-Кайсак", „Рославлев", „Выжигины"—все это одна линия, резко обозначившаяся в начале 30-х годов: борьба против дворянской гегемонии в литературе. В этой борьбе смыкались представители левого направления с правым, к которому принадлежали авторы названных выше романов. Для последних борьба шла исключительно в плане сословном, но отнюдь не социально-политическом.

„Русаковы", „Подлипаловы"—*персонажи романов и повестей Булгарина, который* часто пользовался приемом характеристики героев в самых их фамилиях.

Волков, Платон — мелкий журналист и поэт 20-х годов. В конце 1830 и начале 1831 г. издавал журнальчик „Эхо", прекратившийся на пятом номере.

4. В. Д. КОМОВСКИЙ — Н. М. ЯЗЫКОВУ

В один день с вашим письмом получил я письмо и от Александра Михайловича из Уфы,—долгожданное: зато мое терпение наградилось двойным удовольствием. Нет сомнения, что и вы уже имеете от него вести из пределов Башкирии.

К исполнению вашего поручения я приступил немедленно; но Смирдин уже предупредил вас, а следовательно и меня: он поручил Ширяеву приобресть для его гарема сто Наложниц, не отказываясь, по израсходовании первой сотни, запастись и еще новым количеством.

Нельзя вернее вашего характеризовать победу Ушакова над Булгариным; а едва ли не придется и самому победителю уступить свой венок Лажечникову. Первая часть Новика читается, правда, туговато; однако в нем более романического, чем в Киргизе-Кайсаке и во всех романах Булгарина; замашки и приемы Вальтера Скотта переняты удачно.

О судьбах Волкова и его журналов известно следующее: издав два номера журнала Иностранной Словесности и четыре Эхо, он обобрал у книгопродавцев деньги, сколько их удалось выручить от подписчиков, и скрылся из Петербурга, никто не ведает куда. — В одном отношении это утешительно: можно, по крайней мере, думать, что он устыдился; а на Руси еще не видано примера такого сильного действия совести. Измайл[ов], Бестужев-Рюмин и Олин доселе обманывали своих подписчиков без всякого зазрения, не боясь ни божьего суда ни суда людского.

Прощайте.

В. Комовский

С. П. Б.
15 апреля 1831

„Новик"—первый исторический роман Лажечникова („Последний Новик или завоевание Лифляндии при Петре Великом"). Отзыв Комовского довольно верно отражает общее настроение широких читательских кругов. „Первым русским романистом" назвал Лажечникова и Белинский („Литературные Мечтания"). Среди других исторических романистов 30-х годов (Булгарин, Загоскин) Лажечников является представителем идей прогрессивной буржуазии.

Измайлов, А. Е.—редактор известного журнала „Благонамеренный", славившегося своей неряшливостью и безалаберностью. Журнал не имел никакой определенной программы и определенной системы литературных вкусов, но в основном принадлежал конечно к правому флангу русской журналистики.

Олин (р. в 1788, ум. в 40-х гг.) — второстепенный литературный деятель, издатель ряда мелких, недолговечных журнальчиков: „Рецензент", „Колокольчик" и др.

5. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1831. Апреля 21. Москва

Здесь носится слух, чрезвычайно радующий всех благомыслящих литераторов: говорят, что Булгарин и Греч поссорились не на живот, а на смерть. Греч, дискать, отлучил Булгарина от издания Пчелы и С[ына] О[течества], разбранил его, вытолкал из дому, и прогнал так сильно, что Фаддей Венедиктович поскакал, сломя голову, в Дерпт. Правда ли эта

Н. М. ЯЗЫКОВ В МОЛОДОСТИ
Портрет маслом неизвестного художника
Исторический Музей, Москва

желанная новость? Вы живете в самом вихре петербургской журналистики и наблюдательным оком смотрите на все ее смуты и передряги; сделайте милость, обрадуйте меня подробным извещением о сем важном событии.

Загоскин возвратился сюда директором Театра—с диктаторскою властию—поможет ли эта власть и в искусные ли руки она упала, еще неизвестно. Между тем, ожидают все-таки лучшего, потому что он наследует Кокошкину, существу вовсе неразумному, пошлому, подлому и ослу. Полевой возится с 3 т[омом] своей Истории, которая уже давно печатается, но автор то и дело переделывает, переставляет и пересочиняет свое творение. Вот каково!

Вот вам еще просьба: есть ли у Грефа: Play and poemes of Shakespear in one volume; by Ernst Fleischer. Leipzick 1830—31. Если есть, то что цена им? Наложница Баратынского вышла и уже ходит по Москве—прошу вас принять ее от меня в знак благодарности к вашим литературным подвигам и написать мне об ней ваше суждение. Вам ее доставит Смирдин. Едва ли он не солгал вам, что взял уже для своего гарема 100 наложниц—здесь об этом ничего не знает сам автор, у которого взял 100 экз. Ширяев, но для себя. Вероятно ее разругают уже за одно заглавие наши нравственные журналисты. Что Булгарин до сих пор ничего не сказал о Борисе Годунове? Пишет ли вам брат, что он будет делать литер[атурно] в Уфе? Я его уже несколько раз вопрошал об этом: отмахивается: верно, что-нибудь совершает втайне, дай бог хоть этого: много, очень много хорошего таким образом бывает: например почти все незаконнорожденные, которые по замечаниям физиологов, яко дети истинной любви, бывают обыкновенно здоровее и умнее законных, так сказать, казенных произведений брака.

Прощайте покуда.

Ваш покорный

Н. Языков

Языков, Александр Михайлович (1799—1874)—средний из братьев Языковых, любимый брат Н. М. и „пестун его поэзии". Большую часть переписки Языкова составляют письма его к А. М. А. М. Языков являлся типичным представителем дворянской интеллигенции 20—30-х годов. Он много читал и занимался, брал уроки у лучших тогдашних профессоров, обладал великолепной библиотекой, однако, как многие из его сверстников, принадлежащих к той же социальной группе, он не сумел найти надлежащего применения своим силам: все попытки брата и друзей вовлечь его в литературную работу успеха не имели. По политическим симпатиям принадлежал к славянофильским кругам.

Булгарин и „Борис Годунов" Пушкина. Молчание Булгарина объяснялось неловкостью его положения, так как незадолго до выхода в свет трагедии Пушкина Булгарин опубликовал свой роман „Димитрий Самозванец". Пушкин не без основания увидел в этом заимствование из своей пьесы, широко известной еще до напечатания в литературных кругах. Булгарин тщательно, но безуспешно оправдывался перед Пушкиным.

6. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

Приношу вам чувствительнейше благодарение за Наложницу, которую вы мне позвольте считать знаком только вашей снисходительности и вашего доброго расположения.

Слухи о размолвке Греча и Булгарина несправедливы; источником их, конечно, есть всеобщее темное чувство, что Фаддею Венедиктовичу надобно быть побиту, но эта всеми ощущаемая потребность еще не удовлетворена, по крайней мере, Гречем. Для достоверности, однако, не худо освидетельствовать спину Булгарина. Доселе известно только, что Греч остался единственным издателем Пчелы; а это от того, что

Булг[арин] отправился в Дерпт на житье, если не постоянное, то продолжительное. Поговаривают, что слишком ранний и потому подозрительный переезд его на замерзлое еще лоно Лифляндской природы последовал не по доброй воле, а по приглашению полиции; Греч однако уверяет в противном. За единодержавие над Пчел[ой] Греч обязался платить Булг[арину] по 10 т. руб. в течение 10 лет ежегодно, а Булгарин подрядился в те же сроки поставлять Гречу по 40 статей. Пусть Фаддей не искусен делать романы, но деньги делать, как говорят французы, он мастер. Молчать о Годунове Булгар[ина] заставляет, как говорят, обед, которым Смирд[ин] заткнул рты Гречу и Булгарину на 2 лица, чтоб они бранью не помешали продаже. Может быть, по выдержании карантина Булгарин подаст голос, если не сочтет, что время уже ушло.

У Грефа есть только одна 1-я половина того издания Шекспира, о котором вы писали: иноземные литер[атурные] новости достигают до него так же поздно, как книжки Моск[овского] Телеграфа до подписчиков. Цена за все издание 21 руб.

Алекс[андр] Михайлович из Уфы, между прочим, написал мне следующее: „Кто скажет, где, и чем, и как мне быть?“ И как о трудах своих он хранит молчание: так не худо было бы вам, властию, от бога вам данною, сделать ему решительный вызов на какой-нибудь подвиг.

Вызов сказать вам мое мнение о Наложнице принимаю за светскую вежливость, вроде тех, которые книгопродавец говорит поэту в Онегине. Не смею однако ослушаться. Предмет выбрал Барат[ынский] возбудительный, но, конечно, не вдохновительный. Его стихотворение есть плод не поэтического вдохновения, а стихотворческой натуги, трудность выделки и усилия работы заметны в его стихах, впрочем, этим кажется вообще грешит несколько поэзия Барат[ынского]. Александр Мих[айлович] был так добр, что сообщил мне рукопись Наложницы. Разительнейшие несообразности, бывшие прежде, теперь исправлены. Но и из тех отношений, в которых автор оставил свои лица, думаю, можно было бы извлечь кое-что получше, благороднее напр. еслиб он показал, каким образом сила чистоты и непорочности Веры извлекает Елец[кого] из того грязного мира, в котором он является, и смывает черные пятна с его сердца. У Барат[ынского] Елец[кий] только променял Сару на Веру, без психологических причин; затем, что с давних пор не видал нежного румянца на щеках—и больше ничего. Думаю также, что Сара, как героиня, должна дать нам возможность ближе рассмотреть свое сердце, сердце женщины, которая, несмотря на твердое знание нужной ей науки, приобретенное, конечно, большою практикою, сберегла уголок для любви. Предисловие кажется мне неудачным; искушаешься сказать словами самого Барат[ынского].

Досадно и смешно,
В нем показалося одно;
Другое глупо, третье скучно.

Барат[ынский] сам кажется чувствовал, что взялся защищать неправое дело, вертится туда и сюда, противоречит себе и принужден прятаться за спину цензора и Булгарина,—довольно уж и этого. По его философии—в природе—одно зло, порок блаженствует, а добродетель страдает и играет второстепенную роль. Новалис, однако, сказал: Wie die Natur sich dem Kinde kindisch zeigt, so zeigt sie sich dem Gotte göttisch. Заключая далее, получим вывод: dem Teufel scheint sie teufelisch. Бар[атынский] велит искать в поэтах того же, чего у путешественников; точно так; да у него-то, как он говорит, одни болота, поросшие тиною,

ядовитые растения, а нет смеющихся долин, прозрачных рек. Чтоб и тут вывернуться, он говорит, что один писатель, с частным дарованием, имеет нужду быть пополняем другим; он делает себя только частью целого; и это так, да не совсем. Есть на Руси пословица: во всяком чину, по блядному сыну; но льстиво ли быть такою частию, потому только, что в целом она нужна? Можно также сказать с Вольтером: mon ciel est aussi naturel, je porte cependant une culotte.

Я надоел вам моей болтовнею, вините сами себя, и да послужит это вам наукою вперед, не делайте мне вопросов, на муку вам самим.

С. П. Б.
29 апреля 1831

В. Комовский

Цитата из Новалиса, приведенная Комовским, находится в „Die Lehrlinge zu Sais", однако Комовский приводит ее в искаженном виде; у Новалиса она читается так: „Man steht mit der Natur gerade in so unbeigreiflich verschiedenen Verhältnissen wie mit den Menschen; und wie sie sich dem Kinde kindisch zeigt und sich gefällig seinem kindlichen Herzen anschmiegt, so zeigt sie sich dem Gotte göttlich, und stimmt zu dessen hohem Geiste" (Novalis Schriften, Herausgegeben von I. Minor. Vierter Band. Iena 1907, S. 11). Перевод: „Отношения с природой так же непостижимо-многообразны, как с людьми, и как ребенку она являет себя ребяческой, услужливо ластясь к его детскому сердцу, так и богу она являет себя божественной в согласии с его высоким духом".

7. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1831. Сентября 9. Москва

Прошу вас доставить мне удовлетворительные сведения вот о чем: как получается позволение издавать журнал? Через какие мытарства проходит просьба и самое лицо просителя в собор властей предержащих? Каков должен быть собою таковой проситель: может ли он быть существо безизвестное в жизни нашей литературы или ему необходима молва человека, издавшего хоть какой-нибудь звук на парнасе и проч.? Все это нужно мне ведать для некоторых соображений на будущий 1832 год, об которых напишу вам подробно в свое время.

Я завлек брака Ал[ександра] в верное предприятие собирать за одно со мною, и еще кое с кем, русские песни: он уже начал сильно действовать—в местах самых надежных, на берегах Волги, Камы, Белой и проч. Под Москвою я собрал нынешним летом около полсотни. Каково? Если бог-вседержатель поможет этому благому начинанию: сделается на Руси дело великое—явится миру сокровище бесценное и самоцветное!

Прощайте покуда. Будьте здоровы
Ваш покорнейший

Н. Языков

Правда ли что Пушкин пожалован в Историографа Петра Первого? Здесь много об этом толкуется.

Роль Языкова в организации знаменитого собрания П. В. Киреевского еще не выяснена и не освещена во всех подробностях. Между тем можно с уверенностью утверждать, что она гораздо значительнее, чем это представлялось до сих пор. Языков—не только деятельный собиратель и помощник П. Киреевского, но он явился вместе с последним инициатором и в значительной степени организатором работы; одно время ему даже принадлежала ведущая роль в этом деле. Ответные письма П. Киреевского к Языкову (ИРЛИ) свидетельствуют о постоянном неизменном и упорном интересе к собиранию и изданию русских песен. Под непосредственным влиянием Н М Языкова собиранием фольклора увлеклись и оба брата его, и сестры, и ближайшие соседи по Симбирской губ. Некоторые из записей П. М. Языкова были опубликованы в журналах того времени („Отеч Зап.", „Москвит."), в том числе превосходный вариант сказки о Горшене („Москвит." 1844). Первоначально предполагалась даже, как это ясно из од-

ного письма П. Киреевского, совместная их (т. е. Киреевского и Н. Языкова) подготовка собранного материала к печати, при чем предисловие должен был написать Пушкин. Сам П. В. Киреевский в предисловии к „Духовным Стихам" (1848) указал, что главным образом благодаря Языковым его собрание стало „столь значительным и получило известность".

8. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1831. Сентября 23. Москва

Мне приятно и сладостно познакомить с вами литературного доброго молодца, который вас уже уважает и которого знакомством и приязнью я могу гордиться, как человек и писатель. Это И. В. Киреевский, он-то выступает, с 1832 года, на публичную службу русской словесности, возвергая на рамена свой временник, глаголемый Европеец. Прошу вас принять его журналистовские объятия. Он уже подал просьбу и программу в здешнюю ценсуру—и просит вас о пособии в Питере. Как пойдет это дело? Не можете ли, в случае каких-либо сомнений или вопрошений со стороны властей, вы их разрешать и отвечать, как можно полнее, вместо самого издателя? Нельзя ли справиться: какие лит[ературные] журналы франц[узские] и англ[ийские] можно получить от Грефа и по чем и когда? Есть ли у него: Jahrbücher der wissenschaftlichen Kritik?.. И что стоит каждый год и все годы? Еще просим прислать нам ваш совет по сей части: что хорошего приезжает из-за границы и из-за моря и как и почему и по чем?

Брат Алек[сандр] поскакал в Уфу из Симбирска: зимою обещается посетить белокаменную. Я вызываю его на статьи для вышереченного журнала: мигните-ка и вы ему об этом. Что он зарылся в чтении и ничего не явил на святой Руси? Пора бы! Я же скажу вам новость обо мне самом: поздравьте меня: служу царю и отечеству, заняв в русском правлении место Баратынского: он сам создал это место и показал при сем случае огромную силу поэтического таланта.—прослужил года с 3, произошел в 14 класс и наконец вышел в отставку, ни разу не побывал в должности, незнаемый и в глаза своим начальником!

Полевой издает роман своего сочинения кажется: Василий босой; Орлов прослышал об этом и уже подал в Ценсуру тоже Василия босого! Славный малый этот Орлов! Говорят что Пол[евой] уговаривает его взять отступного, а он намеревается, между прочим, издать и историю Русского народа. Погод[ин] теперь у вас в Петерб[урге]: *он устремился* в сию столицу правительственных и причинных мест России для исходатайствования себе позволения выпустить своего Петра в свет и на помост лицедейской! Он верно к вам явится. Раздавайся гром победы! Ура! Ура! Забалканский, Ериванский и проч. Наконец пробудились наши лиры на воспрославление отечественной славы—и со сна довольно благонадежно!

Прощайте покуда.

Ваш Н. Языков

Вот вам письмо от брата Алек[сандра]. Оно ошибкой прислано ко мне. Нимало не медля и минуя все затруднения, отправляю оное по принадлежности.

1831. 24. Сент.

Речь идет об организации Ив. Вас. Киреевским журнала „Европеец". Это была первая, хотя еще смутная и не вполне отчетливая попытка оформления в печати идей московского кружка шеллингианцев („любомудров"). Первоначальные планы издания журнала относятся еще к 1830 г. В письме от 26 мая 1830 г. Языков сообщает брату: „Здесь

образуется предприятие издавать новый журнал (под заглавием „Журналист"), целию которого будет всевозможное переделывание всех ученых и литературных известий Европы — в Россию; составляться будет он из всех иностранных журналов. Главным издателем Мельгунов... Сотрудники: Андросов, некто Ржевский и проч. Петерсон тоже будет участвовать" (Неопубл. переписка. ИРЛИ). То, что не удалось осуществить Мельгунову, в следующем году и попытался реализовать Киреевский. „Европеец" вместе с тем являлся (как это неоднократно уже отмечалось) попыткой борьбы против гегемонии Греча—Булгарина и Сенковского, но в такой же мере „Европеец" противопоставлял себя и „Московскому Телеграфу", проводившему определенные и четкие тенденции прогрессивной буржуазной интеллигенции.

Языков был деятельным сотрудником и пропагандистом нового журнала. Письма его к брату этого периода полны упоминаний о журнале, призывов к участию в нем и проч. Одновременно с письмом к Комовскому он пишет брату А. М. (также от 23/IX): „У нас затевается дело важное, похвальное и литературное. Ив[ан] Кир[еевский] издает с 1832 г. журнал „Европеец". Ручаюсь тебе и клянусь, что добро будет; сам издатель—малой бойкой, умной, образованный, только что из Мюнхена и мастер писать рассудительно. Что ты мне ответишь, если я тебе мигну зазывно на это предприятие?" (Неопубл. переписка. ИРЛИ.) „Европеец" не успел завоевать читателя; ко второму номеру он имел всего 50 подписчиков. По личному распоряжению Николая I журнал был запрещен на втором номере (сохранилось несколько экземпляров неоконченного печатанием третьего номера). Официальной причиной закрытия послужила статья самого редактора „Девятнадцатый век", в которой были усмотрены вредные политические тенденции, распространяемые под видом литературной критики.

Служба в Межевой канцелярии была непродолжительным эпизодом в биографии Языкова. Поступил он туда, тяготясь своим положением неслужащего и бездельничающего дворянина, но, поступив, ничего там не делал, редко являлся в канцелярию и вскоре же начал думать об отставке. В ноябре 1833 г. он уже окончательно оставил службу в канцелярии и вышел в отставку „с награждением чином коллежского регистратора". О своей службе Языков упоминает в послании к Вяземскому:

Тих и неудал
Уже чиновник царской службы,
Я родину свою и пел и межевал.

О р л о в, Александр Анфимович (1791—1840) — мелкий московский литератор, автор многочисленных бульварных и лубочных произведений; в спекулятивных целях выпустил ряд произведений, являющихся по теме литературным продолжением романов Булгарина: „Родословная Ивана Выжигина, сына Ваньки-Каина, род его, племя с тетками, дядями, тестем и со всеми отрочками. Нравственно-сатирический роман" (1831); „Смерть Ивана Выжигина. Нравственно-сатирический роман" (1831); „Церемониал погребения Ивана Выжигина, сына Ваньки-Каина. Нравственно-сатирический роман" (1831); „Крестный отец Петра Выжигина" или „Два кума Ив. Ив. Выжигина". Аллегорический роман" (1832); „Хлыновские свадьбы Игната и Сидора, детей Ив. Выжигина. Сатирический роман" (1831); „Хлыновские степняки Игнат и Сидор, или дети Ив. Выжигина" (1831); „Федор Кривой или Елизавета Михайловна, супруга П. Ив. Выжигина: ни девка ни вдова и ни замужняя жена" (1832); „Бегство Ив. Выжигина в Польшу. Нравственно-сатирический роман" (1832) и др. Это дало повод использовать Орлова в борьбе с Булгариным, связав воедино оба эти имени и рассматривая как писателей равной художественной и социальной ценности. Замечательным памятником этой борьбы с Булгариным является блестящий памфлет Пушкина „Торжество дружбы или оправданный А. А. Орлов". Сам Орлов не понимал той роли, которую он играл в руках партии Пушкина, и принимал его выступления за чистую монету. В дальнейшем Пушкин предполагал использовать Орлова и в борьбе против Полевого. Отзвуком этого видимо и является слух о намерении Орлова написать „Историю русского народа".

Любопытную характеристику Орлова набросал Языков в письме к брату: „На днях у меня был Орлов — известный соперник Булгарина: лицо очень назидательное: он принимает за чистые деньги статьи Косичкина, собирается писать Историю русского народа с тех пор, где остановился Полевой; видно, что он вечно пьян; знает по латыни, по немецки и по французски, пишет единственно для пропитания — и пользуется великою известностью в распивочных и гостином дворе. Вот как скоро идет вперед образованность в России. Лет за тридцать или еще и менее почти все наши поэты были таковы. Сумароков, Костров, Милонов и проч., а ныне Орлов уже редкость. Он воспитывался в Московском университете — прежде жил уроками. Наружность его — не гениальна: вспомни стих Сумарокова: известно, что у пьяной рожи огонь пылает из-за кожи; черты лица непривлекательные; глаза, углубленные под нависшие брови, и чело неоткрытое, волосы черные, склокоченные копной. Говорит он не умно, глух и неповоротлив от природы, а не от застенчивости" (письмо от 16 дек. 1831 г. — ИРЛИ).

9. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

Вчера принесли мне с почты долго и нетерпеливо жданное письмо Александра Михайловича. Сгоряча начинаю читать,—но с первых строк вижу, что продолжать не имею права. Александр Михайлович, вероятно, ошибкою адресовал на мое имя письмо, которое написал к вам.—Посылаю его при сем, в такой же девственной целости, в какой Людмила вышла из рук Черномора.

Сегодня пришло и ваше письмо. Поздравляю, поздравляю вас с усердьем к письменным делам.

Если вы гордитесь знакомством с Киреевским: то я уже не имею надобности сказать, как лестно для меня знакомство с таким человеком. Желая добра русской литературе, нельзя не радоваться его предприятию.—Ожидаю представления Московского Комитета, чтоб принять оное со всеми подобающими почестями.—Поручения ваши не замедлю исполнить; и что проведаю у Грефа—все сообщу вам. Пришлю также через Смирдина и Ширяева последние каталоги Грефовы; так лучше всего узнаете вы сами, что заморское проникает в Петербург.

Еще должно мне оправдать себя пред вами. Вы, верно, рассердились, увидев в Пчеле нескромное объявление о предприятии вашем и Александра Михайловича; но это не моя вина, по крайней мере, виноват не один я. Вот как было дело. В то же утро, когда получил ваше письмо, встретился я с Очкиным. Речь была о вас, об Александре Михайловиче.—У Очкина я видел все естественные принадлежности мужа,—и не предполагал в нем бабьей охоты разносить вести; потому сообщил ему, как вашему знакомцу, известие о прекрасном вашем начинании. Как же я удивился, как досадовал, прочитав в Пчеле то, что было говорено с глазу на глаз.

Простите и не вините.

В. Комовский

С. П. бург
27 сентября 1831

Очкин, Амплий Николаевич (1791—1866) — второстепенный писатель, критик и переводчик, одно время был цензором. Позже редактировал „Спб. Ведомости". В 1863 г. был редактором газеты „Очерки", которая благодаря умелому и талантливому редактированию ее Г. З. Елисеевым стала одной из самых ярких радикальных газет (в ней сотрудничали Лавров, Щапов), что привело к конфликту редакции с издателем и кончилось продажей последним газеты без ведома редакторов и сотрудников.

Очкин был в большой дружбе с Языковым; сохранилось два стихотворных послания Языкова к Очкину. Как цензор он впоследствии неоднократно содействовал Языкову в проведении стихов через цензуру. Взволновавшая Комовского заметка была напечатана в № 212 „Северной Пчелы" за 1831 г. Текст ее следующий:

„В нынешнее время никто, кажется, уже не сомневается в важности памятников народной поэзии; посему читателям нашим, конечно, приятно будет узнать, что двое молодых литераторов занимаются собиранием в разных губерниях народных песен и, как мы слышали, труды их уже увенчались успехом: им удалось собрать значительное число песен, доселе ненапечатанных. Критическое издание подобного собрания будет важным пособием при изучении не только истории русской литературы, но нравов, обычаев и поверий русского народа и самой истории нашего отечества".

10. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

14 октября 1831

Вчера главное управление Цензуры разрешило издание Европейца. Разрешение последовало очень благополучно, без малейших затруднений. На будущей неделе, во вторник, будет подписан журнал Управления,—и предписание Московскому Комитету; этот недельный промежуток есть зло, сопряженное с канцелярскими формами.

У Грефа есть налицо только следующие французские журналы:

1. Revue de deux mondes— 45 р.
2. — britannique— 75 р.
3. — germanique— 50 р.
4. — encyclopédique— 65 р.
5. — de Paris—120 р.

и английские 6. The foreign rewiew— 40 р., некоторые из них искусаны цензурою.

Вот цены других журналов, которых Греф однако не имеет; он их выпишет на будущий год, если ему закажут:

The quarterly rewiew	40 р.
The Edinburgh rewiew	40 р.
Jahrbücher der Kritik	60 р.
Wiener Jahrbücher der Literatur	40 р.

Hermes, по 12 р. 50 книжка, следовательно годовое издание—50 р.

Вообще Греф неохотно выписывает журналы без заказа. Получает же он их с открытия навигации, т. е. с мая, до прекращения оной — до ноября. Присылка их зависит от заграничных книгопродавцев.

Посылаю, через Ширяева, последние каталоги Грефа; из них вы сами увидите литературные новости. В ноябре м-це должен быть напечатан его каталог; мне обещались показать его в рукописи; я выпишу из него что сумею и сообщу вам. Греф только что получил последнюю посылку книг; еще не вскрыл тюков; потому должно подождать недели с две.

По поручению Александра Михайловича, будут к вам доставлены выписанные им у Грефа книги. Извольте поступить с ними, как рассудите за благо.

Очень жалею, что меня не случилось у министра в то время, когда являлся к нему Погодин. Успешно ли его хождение по делам? Позволяют ли ему выпустить Петра? Не знаете ли, каков этот Петр; не имеет ли, и кроме соименности, сходства с Петром Выжигиным? Ведь нам Погодин-поэт еще неизвестен.

Здесь, в Питере, к новому году готовятся Север[ные] Цветы и Невский Альманах; последний доселе жил вашими подачками; по прежнему ли вы к нему снисходительны?—Через неделю должны появиться баллады Жуковского и прозаические повести Пушкина под именем Белкина. Это, верно, титло на историографство.

В. Комовский

11. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1831. Октября 25. Москва

Всею душою и всем сердцем литературным и духовным благодарю вас за известие о разрешении Европейца—и не один я приношу вам сию благодарность: вместе со мной благодарит вас и сам Европеец—и благодарит вся Россия. Здесь еще не получили сей приятной новости в Цензуру: пора уже печатать в газетах объявление: говорят, что в глазах нашей почтеннейшей публики много значит и первенство обнародовать об издании нового журнала. Оно и дело: кто первый стал тот и капрал!...

Твердо надеясь на сродную вам благосклонность, прошу вас взять у Грефа, за прилагаемые здесь деньги, журналы за 1831 г.

Revue de deux mondes— 45 р.
— germanique— 50
— de Paris —120
и англ. The foreign rewiew — 40
255

Да примчатся они сюда как можно скорее: пора приготовлять статьи и известия и проч. разные разности. А на будущий 1832 год Киреевскому должно получать все это через почту для вящей свежести.

Новостей литературных здесь почти нет: всех важнее вот какая: баронесса Дельвиг вышла замуж за Сергея Баратынского!

Прощайте покуда. Боюсь опоздать на почту

Весь ваш Н. Языков

Каталогов Грефовых я еще не получил. Ведь Ширяев щелкопер. Адрес для отправления сюда журналов: Его Благородию Ив. Вас. Киреевскому, у Красных ворот, в доме Елагиной.

Баронесса Дельвиг, София Михайловна—вдова поэта (1806—1888). Вторично вышла замуж за брата Е. А. Баратынского Сергея. О ней см. Б. Л. Модзалевский „Роман декабриста Каховского" („Тр. Пушк. дома". Л., 1926); М. Л. Гофман. „Письма барона Дельвига к невесте („Сборн. Пушк. дома на 1923 г."), а также в „Дневнике Вульфа" („Пушк. и его совр.", т. XXI—XXII).

12. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1831. Ноября 11. Москва

Благодарю вас за журналы и прочие труды ваши в пользу Европейца, следственно Европы, лучшей части мира: следственно России—нашего любезного отечества. Государственную новость, сообщенную мне вами, я отошлю, куда следует: это самая подлейшая клевета и пакость. Деньги пусть пребывают у вас до дальнейших просьб на имя ваше от лица нового гражданина нашей журналистики. А вот вам нечто обо мне и для меня: справьтесь (когда-нибудь—дело не к спеху), что стоют все годы журнала Христианское чтение: здесь его вовсе нет—и еще: какой лучший перевод библии на немецкий язык (Лютеров я знаю: это экстракт и мне мало), какой лучший толковник библии: фактический не мистик и не мудрователь; нет ли полного словаря библейского, если можно тоже чисто исторического, чисто археологического, чисто географического—и тоже если можно составленного огромным [?] педантом для неученых—для нашей братьи поэтов россейских! Все это мне нужно, важно, необходимо и любо возыметь: потому что с 1-го января 1832 года моя муза должна преобразиться: я перейду из кабака—прямо в церковь!! Пора и бога вспомнить!

Брат Ал[ександр] находится теперь в Уфе: вот его адрес: Его Высокоб. Александру Спиридоновичу Ломоносову для доставления А. М. Я.

Я не читал еще повестей Белкина: их многие хвалят. А каков Гоголь Яновский? Он мне очень нравится. Может быть и за то, что житье-бытье парубков чрезвычайно похоже на студентское, которого аз есмь пророк!

В здешнем Университете делаются разные неевропейские перемены: таково помещение всех неказенных студентов в один дом, под устав монастырский: каждый должен платить 350 р. ежегодно за это соединение

и, вероятно, скопление. У кого нет оной суммы—вон из храма наук! А многие здешние студенты жили до сих пор вот как: за обучение детей какого-нибудь попа, дьякона или бедного чиновника имели квартиру, корм и свет свечи сальной—как же им быть?

Прощайте покуда.

Ваш покорный

Н. Языков

О какой государственной новости говорит Языков—неясно, так как соответственное письмо Комовского не сохранилось.

В pendant к этому письму о новом направлении лирики Языкова очень ценны и характерны некоторые письма его к брату А. М. этого же периода. 30 сентября 1830 г. Языков писал брату: „Наш Парнасс просыпается. Жуковский написал целый том новых стихотворений, Пушкин—повесть в стихах и еще пишет. И моя поэзия тоже не в бездействии пребывает: если благословение господне меня не оставит, то к 1 сент. 1832 г. у меня будет 2000 стихов и выиграю заклад [речь идет о пари с А. А. Елагиным]; всего больше боюсь светской рассеянности: того и гляди затаскаюсь и растаскаюсь в ее шуме и блеске. Если совершится сие поэзии моей дельное дело, то я выдам в свет собрание моих стихотворений: это должно будет сделать и потому, что пора будет и довольно их и потому что на них есть особенный отпечаток, и характер в них дышет такой, которого не должно быть в последующих: пусть они и существуют особняком. Теперешние все—любовные, винные (это не беда, у меня пьянство—свое: оно, так сказать, mare clausum моей поэзии" (Неопубликованная переписка).

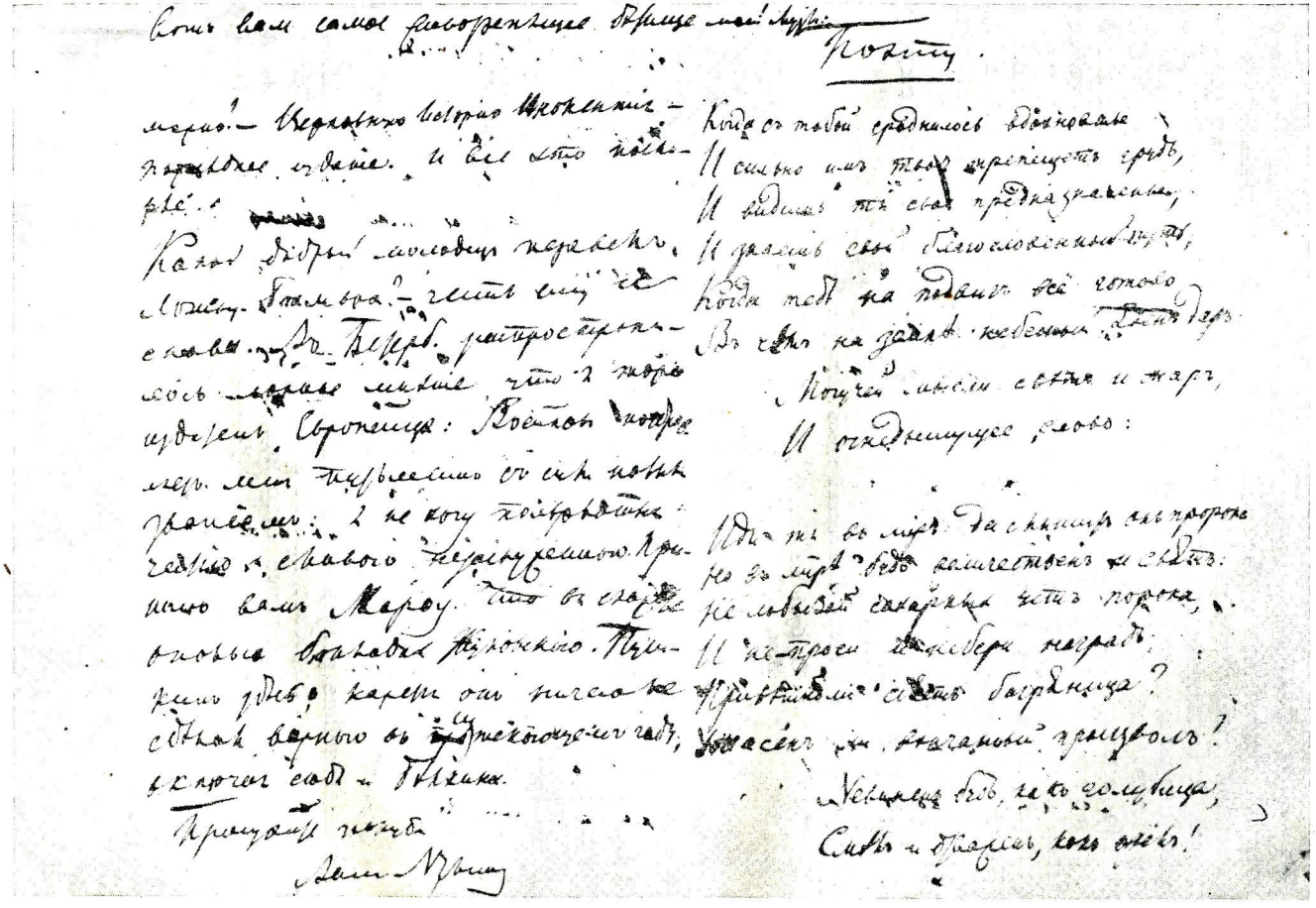
13 января 1832 г. он сообщает, что получил „Христианское Чтение" „и уже начал питаться им в удовольствие и во благо души моей. Книга чрезвычайно важная: в ней все дельно, умно, учено и изложено сильно и чисто; многому доброму можно или паче должно из нее научиться. Теперь для полного развития моих новых поэтических настроений недостает мне только хорошего перевода и толкований на библию немецких, церковной истории Иннокентия и Миней,—но и все это приобрету со временем, которое скоро наступит, потому что связано с изданием моих стихов вакхических, которые уже едут ко мне другую неделю из Симбирска" (ibid.).

13. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

Одну часть вашего поручения, конечно самую не трудную, я уже исполнил: у Смирдина нашел полный экземпляр Христианского Чтения, с 1821 года. Каждый год переплетенный стоит 25 р. В Духовной Академии можно достать в бумажной обертке по 20 р. за год. Другая часть поручения не столько легка здесь, где богословов не водится. Я намерен вопросить Духовную Академию: там читают немцев, хотя тайком, однако кажется, довольно усердно. Между тем позвольте сообщить, что де-Ветте (вы верно знаете этого утешителя Зандовой матери) советует читать лучшие из переводов библейских книг отдельно; полные переводы целой Библии не удостаиваются его одобрения.—О результате моих распросов не замедлю известить вас. Не вернее ли, не лучше ли вопросить Дерптский богословский факультет?

Ваша перемена квартиры на Парнассе радует, восхищает—простите прозаическому человеку это, поэзии принадлежащее, слово. Вам, который первый дал русской поэзии ее исторические романсы—долженствующие заменять эпопею, теперь, верно, будет она обязана и своими легендами, которые заступят в ней место мифологии; а, может быть, вы не откажитесь от великого труда создать нам и ту и другую. Как идеалист в поэзии, я поклоняюсь тому и чествую того, кто наше стихотворство материальное и матерное—выносит в мир фантазии—свободный, безграничный.

Поэтому-то и Гоголь-Яновский мне особенно по сердцу; не говорю уже (я хохол по происхождению, хотя ничего малороссийского никогда не видал и не знаю)—не говорю о родственной привязанности к



ОКОНЧАНИЕ ПИСЬМА ЯЗЫКОВА К КОМОВСКОМУ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 1831 г. СО СТИХОТВОРЕНИЕМ «ПОЭТУ»

Институт Русской Литературы, Ленинград

малороссийскому и Малороссии, которая, вы согласитесь, есть самый поэтический член России и в географическом, и в историческом отношении. Может быть повестей Пушк[ина] не сумел я оценить по достоинству оттого именно, что читал их вслед за вечерами на Хуторе. Пожив в такой тесной связи с ведьмами и колдунами, не заслушаешься москаля, который думает, что и бог весть как игриво его воображение, создавшее высокий вымысел о пьяном гробовщике, который во сне угощает мертвецов. У Пушкина не нашел я только ничего охаять; но ничего особенно похвалы достойного не отыскал.

Пророчествуя о житье студенческом—вы поэт нововременный Κατ'-εξοχήν ибо жизнь университетская есть единственный уголок нашего тягостного мир'а телесных мыслей и забот, куда еще укрылась и где таится поэзия бытия. Я говорю не о Российских универс[итетах] даже не о Московском, хотя он, как вы пишите, показался некоторым людям слишком поэтическим. Это героический [нрзб.] в жизни современной,—Гомеровской, в котором пьют, едят, дерутся и... прибрать тут рифму n'est pas une mal à boire.

В. Комовский

17 ноября 1831 г.

Κατ'εξηχήν—по преимуществу. Комовский здесь цитирует Языкова:

О, будь же вам благодаренье,
Вам, коих знанья, вкус и ум
Блюли порядок наших дум,
В нас водворяли просвещенье.
Всем вам. Тебе ж, Κατ'εξοχήν
Наставник наш, хвала и слава,
Душой воспитанник Камен,
А телом ровня Болеслава,
Муж государственных наук.
(„Отъезд".)

Комментаторами обычно эти строки относятся к проф. Дерптского университета Г. Х. Дабелову.

De-Bebemme (1780—1849)—знаменитый немецкий богослов, автор ряда выдающихся исследований по критике текста библии и евангелия.

14. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1831. Декабря 9. Москва

Чувствительнейше целую вас в изъявление той глубочайшей благодарности, которая подобает вам от всей души моей и от всего сердца моего за ваши благочестивые старания, хождения и беспокойства для углаживания грядущего пути моей Музе. Скоро буду я иметь удовольствие распорядиться по сей части решительно, самим делом; но все-таки к новому году не совершится сие чистейшее из моих желаний поэтических—так богу угодно—им цари царствуют и сильные глаголют—а мы и поготово!

В Северных Цветах будут напечатаны некоторые из новых моих стихотворений: кое-где попортила смирительная рука властей предержащих: я пришлю вам их в первообразе, если вы их уже не имеете от брата Алекс[андра]. Вы должны знать мою поэзию во всей, так сказать, наготе ее, какова бы ни была сия последняя.

Мой прежний товарищ А. Степанов, юноша воспитанный в Германии во всем пространстве филологии латинской и гречес[кой], теперь находящийся в Витебске учителем, составил греческую грам[матику], историю лат[инской] литер[атуры] и составляет греко-российский словарь.

Вот каковы наши дерптские! Я буду издавать сии труды благословенные! Похвалите меня за это общеполезное предприятие!

Я выписываю сюда из Уфы брата А[лександра]. Уж и мне за него скучно: что он там зарылся в глушь и пустоту жизни—даже несемейственной: все занимается *делами*: я советую их вовсе бросить, понеже они-то и [нрзб.] и суета сует—и несть им конца. Потому что всякой конец одного есть начало другого, так и далее.

Прощайте покуда.

Ваш Языков

15. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1831. Декабря 16. Москва

Сделайте похождение к Смирдину и одолжение мне: поручите ему направить на мое имя, посредством конторы дилижансов Христианское Чтение за все прошлые годы: 1821, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30: 25 р. 10 = 250 на 31 тоже если выходило—прежние в переплете не так ли? (А на 1832 оно кажется не будет являться, по крайней мере, в списке журналов и газет нет его). Деньги, находящиеся у вас, на имя Европейца—теперь превратились в мои. Да что книга Ветринского: памятники пр[авославной] Церкви вышла и выйдет ли хороша? Если да—то и ее. Да, если можно Церковную Историю Инокентия—последнее издание. И все это поскорее.

Какой добрый молодец перевел Логику Бахмана—честь ему и слава! В Петер[бурге] распространилось ложное мнение, что я тоже издатель Европейца: Воейков поздравляет меня письменно с сим полным званием: я не хочу пользоваться честью и славою незаслуженною. Пришлю вам Марфу. Что вы скажете о новых балладах Жуковского? Пушкин здесь; кажется, он ничего не сделал важного в истекающем году, включая сюда и Белкина.

Прощайте покуда.

Ваш Н. Языков

Вот вам самое животрепещее детище моей Музы:

ПОЭТУ

Когда с тобой сроднилось вдохновенье
И сильно им твоя трепещит грудь,
И видишь ты свое предназначенье,
И знаешь свой благословенный путь,
Когда тебе на подвиг все готово
В чем на земле небесный явен дар:
Могучей мысли свет и жар,
И огнедышущее слово:

* * *

Иди ты в мир, да слышит он пророка.
Но в мире будь величествен и свят:
Не лобызай сахарных уст порока,
И не проси и не бери наград.
Приветно ли сияет багряница?
Ужасен ли венчанный произвол?

Невинен будь, как голубица,
Смел и отважен, как орел.

* * *

И стройные и сладостные звуки
Поднимутся с гремящих струн твоих:
В тех звуках раб свои забудет муки
И Царь Саул заслушается их;
И жизнию торжественно-высокой
Ты процветешь, и будет век светло

Твое открытое чело,
И зорко пламенное око.

* * *

Но если ты похвал и наслаждений
Исполнился желанием земным:
Не собирай богатых приношений
На жертвенник пред Господом Твоим:
Он на тебя немилосердно взглянет,
Не примет жертв лукавых; дым и гром

Размечут их—и жрец отпрянет
Дрожащий страхом и стыдом!

„Марфа-Посадница" — трагедия Погодина, встреченная недружелюбно в кругу Языкова-Киреевских, упорно требовавших от Погодина только исторических занятий и категорически отрицавших его как писателя, особенно как поэта. Комовский, идеологически и эстетически близкий кружку Языковых, ознакомившись с пьесой, писал А. М. Языкову: „Сегодня я прочитал Марфу-посадницу. Это совершенная противоположность, антитезис к Борису Годунову Пушкина, от которого, как от поэта, я ожидал поэтического творения и который сам, быть может, хотел произвести оное—написал исторические сцены вроде Ветте; Погодин—прозаик, которому, быть может, удалась бы драматизированная история, захотел создать историческую драму и показал, что в нем нет ни искры поэзии, ни стихотворческого дарования. Впрочем, может статься, что я бесчувствен для красот Марфы, которые находили в оной друзья Погодина, как он объявил в предисловии". В числе лиц, сочувственно относящихся к трагедии Погодина, был однако и Пушкин, который ценил в ней очевидно стремление и попытку работать тем же художественным методом, каким работал он сам, создавая „Бориса"; в то же время Пушкин очень отчетливо видел все чисто художественные дефекты „Марфы", подчеркивая их и самому Погодину. „Марфа-Посадница" вышла без имени автора.

„Повести Белкина" были встречены отрицательно и Языковым, и Комовским. Это идет по той же линии, которая обусловила отношение Языкова и Комовского к „Сказкам" Пушкина; в области прозы Языков был решительным сторонником Марлинского, противопоставляя его Пушкину. См. примеч. к письму № 49.

Стихотворение Языкова „Поэт" появилось в альманахе „Комета Беллы", изданном цензором Семеновым (см. письмо № 16 и след.), с цензурными изменениями в ст. 13—14.

В тот же день—16 декабря 1831 г.—Языков писал брату по поводу Бахмана: „Я купил Логику Бахмана на русском: перевод, как мне кажется, мастерской: ее должно и можно прочесть с удовольствием. Переводчик—человек духовного звания, принадлежащий к Невской духовной Академии. Честь и слава ей—и нашему духовенству. Вообще, оно самое ученое сословие в России, следственно, самое почтенное; я выписываю себе много духовных книг по благораспоряжению Комовского—и с нового 1832 года углубляюсь в сии неисчерпаемые источники поэзии чистой, независимой и вполне небесной..." (ИРЛИ)

Логика Бахмана—„Sistem der Logik" 1828, труд известного профессора Карла-Фридриха Бахмана (1785—1855), бывшего одно время учеником Гегеля, а потом решительно выступившего против него. В 1833 г. он опубликовал книгу: „Über Hegels System und die Notwendigkeit einer nochmaligen Umgestaltung der Philosophie".

Русский перевод „Логики" пользовался большим успехом и выдержал три издания (1831, 1833 и 1840).

16. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

С. П. Б. 17 декабря 1831

Ваша снисходительность ко мне дает мне право не только тщеславиться, но даже гордиться: вы хотите открыть передо мною и самые тайные прелести вашей музы; вы хотите ввести меня, грешного и недостойного, во святая святых! Веселиться ли мне? И я веселюсь душою моею; благодарить ли вас? и я благодарю всем сердцем моим!

Дела Степанова делают честь России, не одному Дерпту, а вы, как издатель, вы благотворитель наш. Не худо было бы поспешить печатанием. Министерство просвещения имеет обязанность настряпать разных учебных книг—и стряпает. Попову, проф. здешнего университета, поручено перевести греч[ескую] гр[амматику] Буттмана; года три он ее переводит; вероятно столько же времени будет печатать, между тем (если б появилась гр[амматика] Степанова) она могла бы быть введена в училища; тоже и История Римск[ой] Литер. и Словарь. Это для Сте[панова] было бы выгодно—я предполагаю, что немцы здешние простят ему русское происхождение, ради немецкого образования.

Комиссионер мой в Духовной Академии что-то нерадив; но я понужу его и в следующий раз доставлю вам ответ на запрос.

Погодин поручил мне через вас известить его о ходе дела о Петре. Сегодня он послан к Государю на разрешение. Потрудитесь сказать Погодину, что докладная записка составлена почти так, как написано представление цензур[ного] комитета. Он его, верно, помнит, ибо это было при нем. Глав. Управл. Ценз. признает, что траг[едия] Пог[одина] написана с благой целию, что Петр возвеличен, а заговорщики унижены по достоинству; что в траг[едии] нет ничего явно противного Уставу о Ценз[уре], но Управл[ение] не считает себя в праве позволить ее 1. по государственной важности сюжета; 2. по близости события к нашему времени; 3. потому, что не знает, можно ли Петра трогать, Екатерину I — выставить участницею в замыслах Меньшикова, а Долгорукому—позволить браниться с Петром. Уверьте Погодина, что я, сколько мог, старался помягче и полегче написать записку. Блудов видел ее также.

Имею к вам покорнейшую просьбу. Не рассердитесь за смелость. Мой добрый приятель,—как соученик,—Семенов, цензор, издает к Святой альманах; хочет победить всех прочих; для наружных украшений пригласил Райта—гравера; а для соответственного наружности достоинства внутреннего умоляет вас украсить чем-нибудь вашим. Поэт есть самая идея доброты, повторяю я с известным учеником Вильгельма Карловича.

Наши Петербургские что-то замотали не в свою голову: Белизар издает Revue étrangère, и как бы вы думали—кто у него сотрудники? Бальзак, Жанен, Виктор Гюго, Проспер Мериме и пр. Он платит им по 400 или 350 за два печатн[ых] листа. Ай-да наши!! Славно!

В. К.

17. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1831. Декабря 23. Москва

Сердечно благодарю вас — не за комплименты, которыми вы меня осыпаете, а за радушное участие вами принимаемое в делах моей Музы. Я думал, что выписывание книг, об коих теперь идет у нас слово, производится просто через Смирдина,— но честь и слава вам, вошедшему в сношение с Духовною Академиею и возымевшему в ней комиссаров в мое имя!

Я снесусь со Степановым об его трудах филологических — и потребую их как можно скорее к себе — для пересылки к вам для вашего воззрения и обсуждения: — везде нужен глаз да глаз, кольми паче здесь, ибо вообще нужны вооруженные: а таковы ваши. Мне было бы бессовестно сесть на преторское место в этом деле, уже и потому что оно вообще дело: поэзия почти всегда не слушается грамматики, а русская вовсе не знает греческой!!

Погодин теперь в деревне я сообщу ему ваше известие о Петре. Он, как слышно, сочиняет мысли об истории всемирной опять не то! Что нам в десерте, когда у нас нет и первого блюда? Погодин вовсе сбился с пути: ему бы разыскивать наши исторические факты: у него есть талант на это, а он парить желает и путается не в свою сферу: этак недалеко до Полевого. Он вполне уверен, что может и должен писать трагедии: тщетно друзья и приятели доказывают ему противное,—сочинитель Марфы, кажется, никогда не излечится от своего угара.

Я видел представление Горя от ума: здесь оно идет как нельзя хуже: даже самый текст обрезан чрезвычайно глупо — так глупо, что вероятно это дело не Петерб[ургской] цензуры, а директора здешнего театра. А комедия все-таки нравится публике: ее играют довольно часто — и театр всякой раз полон: это много, это все для автора, где бы то ни было, а у нас и поготово.

Я уже послал стихи в Альманах, вами покровительствуемый: те самые, которые к вам явились с прошлою почтою. Замечу мимоходом, что С[еменов] поступает неосмотрительно, издавая Альманах не к новому году: в иное время он не может иметь успеха: точно так же как красные яица покупаются только о святой неделе.

Прощайте покуда.

Брат Ал[ександр] несказанно одинок в своем захолустье уфимском: из рук вон: не знаю как и быть с ним.

Ваш Н. Языков

О своих впечатлениях по поводу постановки „Горя от ума“ Языков писал 16 декабря к брату А. М.: „Я видел представление Горя от ума. Оно здесь идет нестерпимо худо: почти все актеры, не исключая и Щепкина, играют плохо: всех плоше Мочалов — Чацкого, и один только полковник Скалозуб очень и очень хорошо: несмотря на все это публика жадно смотрит сию первую русскую комедию: театр всякий раз полон. Хлопотни много, потому что всякое слово — острота. Чрезвычайно сильно действует на сцене лицо бессловесное: князь Тугоуховский: нельзя смотреть на него, не смеясь. Бал, вообще сноснее других действий. Выпуски разных намеков на то, на се и проч. сделаны чрезвычайно глупо: многое оставлено, чего бы не следовало говорить на императорском театре — а многое выброшено или перековеркано ни за что ни про что. Говорят, что в Питере все это делается несравненно умнее: вот какая странность“ (ИРЛИ).

18. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

С. П. Б. 23 декабря 1831

Поздравляю вас с праздником и новым годом. Зрите меня, падшего ниц пред вами и музою вашею за прекрасную поэтическую заповедь: не приемли имени господа бога твоего всуе. Чтоб вам, Моисею избранного народа Фебова, не отстать от израильского собрата — должно бы и остальные девять заповедей возвестить сынам Аполлоновым.

Смирдин пошлет завтра Христ[ианское] чтение на ваше имя к Ширяеву — велите у него осведомиться. В переплете у См[ирдина] осталось только 5 годов — прочие проданы уже; за то для всех годов цена одна: по 20 р. — в число следующих за сей журнал и за историю Иннокентия денег — я заплатил оставшиеся у меня 185 р. (т. е. из 275 вычтя:

70 р. за Revue germ. и 20 р. за 2 №№ For Rew). — Книгу Ветр[инского] я не велел посылать потому, что она вероятно не будет доведена до конца: Филарет проклял ее, и не велел покупать для духовных школ— а без пособия от сих последних Ветр[инский] не в состоянии издать свое творение,— о достоинстве оного ничего не слыхал.

Логику Бахмана перевел некто Вершинский — секретарь Духовн[ой] Цензуры и преподаватель в здешней Духов[ной] Академии; — он же переводчик Астовой Истории Философии; муж, как видно, доблий! — Под рясой и в косице отрылся еще примечательный человек: автор Мечислана и Рославы. Прочтите это произведение, перетерпите первые две части, зато 3, 4 и некоторые места 5-й верно вам понравятся — и очень.

Должно автору, ради его неопытности в поэтическом деле, простить места и стихи чужие (хорошо еще что у многих или у всех русских авторов похищает наш юный певец, а не одному подражает: „государственная мудрость ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному"), болтливость, плодовитость его Музы; и покушение написать русскую сказку без всего сказочного. Вообще повествовательная часть довольно плоха, но лирическая, кажется, достойна всяких похвал; напр. начало 3 и 4 частей и Эпилог..

Имени нового пиита не мог я проведать: но вот История этого творения. Во время холеры Смирдин жил на Царскосельской дороге, на даче; у соседа его какой-то семинарист учил детей; и этот-то семинарист — есть сам автор Мечислава. Смирд[ин] даже не знает, как его зовут, и взял рукопись, чтоб напечатать Христа-ради на свой счет в числе 300 экз. — Баллады Жук[овского] я только что купил и пробежал наскоро; потому всего хорошего не успел еще рассмотреть и заметить.

Вверяю вам государственную тайну для сообщения Погодину. На записке о его Петре Государь написал: „Лице императора Петра Великого должно быть для каждого русского предметом благоговения и любви; выводить оное на сцену было бы почти нарушением святыни и по сему совершенно неприлично. Не дозволять печатать. Манускрипт возвращу в непродолжительном времени". — Доселе еще не возвратил, однако. Заметьте Пог[одину], что в записке не упоминалося о выводе Петра на сцену — это в мое оправдание.

Духовная Академия, на известный запрос, отвечала неведением. Я пораспрошу еще кое-кого. Покуда напомню, что Вахлер с похвалою упоминает о Михелисовом переводе Ветх. Зав. с примечаниями, изд. в Геттингене 1769 и след. годах in 4° и Штольцовом Нов. Зав. 1820 г. в Ганновере.

В. Комовский

„Мечислав и Рослана" — один из опытов создания поэтической сказки на основе народной, которые в огромном количестве появлялись в русской литературе после знаменитого состязания Жуковского и Пушкина в 1831 г. „Сказка" вызвала весьма сочувственный отзыв в „Сев. Пчеле". О дальнейшей судьбе ее автора, как и об его имени, ничего неизвестно.

О Бахмане — см. примеч. к № 15; Астова философия — перевод книги „Grundriss der Geschichte der Philosophie Георга-Фридриха Аста (1788—1841). Аст принадлежал к кругу шеллингианцев, хотя и не вполне последовательных. Первое издание его „Grundriss'a" вышло в 1807 г., второе — в 1825 г. С последнего и сделан русский перевод.

19. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1831. Декабря 29. Москва

Зрите меня, падающим ниц перед вами, преисполненным моими глубочайшими чувствами благодарности за сильные труды, подъемлемые

десницею вашею во славу моей будущей жизни. Призываю на главу вашу все щедроты благодати господней, и да цветете вы, подобно древу при источнике вод насажденному!!.

Брат Ал[ександр] находится теперь в Симбирске — по случаю праздников рождества, нового года и крещения, которые праздники вообще, так сказать, семейные. Устремляйте же туда к нему ваши письма и давайте им, как можно чаще, характер электрический: да пробудят они к духовной деятельности сего мужа, ни за что ни про что полюбившего тишь и глушь!

В 1 № Европейца вы найдете мое стихотворение (под романтическим заглавием Ау!). Из него вытеснила цензура четыре стиха.

О! проклят будь, кто потревожит
Великолепье старины,
Кто на нее печать наложит
Мимоходящей новизны!

Они идут после стихов:

. . . . . Эти главы
Святым сиянием горят!

Читайте в сем порядке.

Михаелисов перевод Библии, вероятно, меня ублаготворит: но достать ли его? и нет ли, справьтесь когда-нибудь на досуге у Грефа — жаль, что не помню — какого автора — немецкий. biblischer Wörterbuch — издано года с три назад — мне его очень хвалили дерптские. А новый Завет у меня есть — тот самый, о котором вы меня извещаете: на греч. и лат. не так ли?

Погодина, конечно, огорчит судьба Петра — зато его Марфа идет в честь и славу и под всенародное рукоплескание: ее хотят здесь представить в бенефис Щепкина — и, конечно, несмотря на то, что здесь нет ни одного даже сносного трагич[еского] актера и несмотря на то, что в самой трагедии нет ни одного сносного лица — успех будет большой: мы одно любим, одного желаем: любим отечество, желаем ему благоденствия...

Киреевский вам кланяется и посылает здесь прилагаемый ярлык на Европейца.

Ваш покорный Н. Языков

„Ау" принадлежит к пьесам Языкова, где весьма решительно определился новый путь его как поэта, приведший Языкова в конце концов в лагерь самого правого крыла славянофильства. В этом стихотворении, сопоставляя свои новые настроения с прежними мотивами своего творчества, он писал:

. . . . . .
. . . . . .
Да я покинул, наконец,
Пиры, беспечность кочевую,
Я, голосистый их певец!
Святых восторгов просит лира;
Она чужда тех буйных лет,
И вновь из прелести сует
Не сотворит себе кумира!
Я здесь:— Да здравствует Москва!
Вот небеса мои родные!
Здесь наша матушка Россия
Семисотлетняя жива!
Здесь все бывало: плен, свобода,
Орда, и Польша, и Литва,
Французы, лавр и хмель народа,
Все, все!.. Да здравствует Москва!

БЫТОВАЯ СЦЕНА ИЗ ЖИЗНИ ДЕРПТСКИХ СТУДЕНТОВ НАЧАЛА XIX ВЕКА
Цветная литография из издания „Album von Dorpat und Umgebungen"

Какими думами украшен
Сей холм давнишних стен и башен,
Бойниц, соборов и палат!
Здесь наших бед и нашей славы
Хранится повесть! Эти главы
Святым сиянием горят!
О проклят будь, кто потревожит
Великолепье старины;
Кто на нее печать наложит
Мимоходящей новизны!
Сюда на дело песнопений,
Поэты наши! Для стихов
В Москве ищите русских слов,
Своенародных вдохновений!

20. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1832. Января 5. Москва

Получили ли вы Европейца? каково? Критики замечают, что он zu theoretisch — и кажется правы. Но да извинится перед очами вашими сей недостаток тем, что у издателя мало было материалов за прошлый год европейских, свежих, животрепящих — на 1832 должно быть много и проч. А что Сев. Цветы—сия тризна по Дель[вигу] — как их называет ее совершитель—Пушкин. Мы ожидали и бог знает чего — ан вышел грех. Замечательно в нашей лит[ературе] между прочим и то, что все крупные предприятия важнейших ее сановников — не удаются — такова Лит[ературная] газета и проч. С Европейцем не должно бы этого случиться:—он начался под сению Жуковского,— и только, зато ближний боярин нашего Парнаса — Пушкин как-то его чуждается, чинится с ним и только что обещает и стихов и прозы. Стихи же в журнале не глав-

ное: другое дело Альманах — так например в Сев[ерных] Цв[етах]. Первый куплет моих стихов А. Дельвигу изуродован цензурою, читайте его вот как:

В соблазны мира
Не увлеклась душа его:
Шелом и царская порфира
Пред ним сияли; он кумира
Не замечал ни одного:
Свободомыслящая лира
Ничем не жертвовала им,
Звуча наитием святым!

Знает ли Устрялов, совершающий великое дело перевода Марж[ерета], Бера и проч., о существовании Esame critico con documenti inediti della storia di Demetrio di Iwan Wasiliewitch; per Sebastiano Ciampi Firenso. 1627.

Не худо бы и эту брошюру издать вместе с другими книгами о самозванце — говорят в ней много любопытного: здесь ее видно у Малиновского.

Я читал в Тел[еграфе] отрывок из Стрельцов — Масальский, по моему суждению, есть Булгарин II. Лучше бы ему издать просто, не мудрствуя, материалы коими он хвастается; оно было бы гораздо почтеннее, дельнее и назидательнее, нежели обоссывать предмет драгоценный!

Н. Языков

Какой сквернавец Шаплет, что перевел Флорионова Дон-Кихота. Он ведь знает и по-немецки.

Здесь говорят, что в стихотворении, посланном мною Семенову, должно переменить слово смел — на горд — я против этого, потому что, смелый не то, что отважный. Как вы? Действуйте по вашему благоусмотрению!

Масальский, Константин—второстепенный писатель, автор ряда исторических романов, примыкавший к тому же направлению в литературе, яркими выразителями которого были Загоскин, Булгарин и т. п. Характер „Стрельцов" отчетливо определяется тем отзывом, который был дан этому роману на страницах „Северной Пчелы": „Автор, выставив исторические и вымышленные лица, бескорыстно преданные Церкви, Престолу и Отечеству, резко и искусно противопоставил им людей, увлекавшихся духом мятежей, суеверием и расчетами корысти и властолюбия... Поучительная цель романа тем разительнее, что гибель и наказание, постигшие всех восставших против Церкви и власти царской, не вымышлены сочинителем, а основаны на исторических событиях" („Сев. Пчела" 1832, № 93, рец. Н. Ю.). Позже, в 50-х годах, Масальский писал патриотические басни в „Северной Пчеле".

О переводе Флорианова „Дон Кихота" — имеется в виду русский перевод — „Дон Кихота" 1830 г., сделанный С. Шаплетом не с подлинника, а с французской переделки Флориана.

21. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

С. П. Б. 11 января 1832

Европейца получил и читал с большим наслаждением духовным; вторично благодарю за него вас и Киреевского. Мне кажется, что за свой теоретический характер именно и достоин он хвалы. В наших прочих журналах — теория есть самая бедная, самая слабая сторона; следовательно тут никогда лишки не будет. Прибавки к статьям переведенным также служат к отличию сего нового вестника литературного от прочих собратий: они дают ему вид стройного, внутренно согласного целого. Обыкновенно у нас переводы печатаются в журналах без всяких видо-

изменений: нашим издателям мало горя и нет дела, что журналы, с которых сбирают они оброк, издаются каждый в своем особом духе, для особой цели. Как мило переделана Повесть! Скажу я вам за секрет что Европ[еец] осеняется не о д н и м только Жуковским из сановников нашего Парнаса, вам это, кажется, еще неизвестно. Пушкин, чуждаясь Европейца, является непризнательным. Кир[еевский] более, чем кто-либо послужил ему и в Москов[ском] Вестн[ике] и теперь. Бориса он ставит на самую выгодную для него точку перед зрителями; но тут остается еще два вопроса решить. Во-1-х, драматическое сочинение, излагающее не действие, а следствие оного—не есть ли прямое противоречие понятию о драме? а во-2-х, удовлетворительно ли в Борисе развиты и показаны следствия убиения Дмитрия? На последнее—ответ Кир[еевск]ого будет вероятно в следующих нумерах.

Зачем вы, или лучше Изд[атель] Евр[опейца], позволяете Цензуре делать непристойные дела с вашими стихами? Вооружитесь § Устава; и Комитет обязан будет представить Управлению Цензуры, которое, правда, не всегда действует по законам разума, однако, верно, не исключило бы ничего из Ау!

Я сообщу Устрялову ваше мнение об итальянской брошюрке; разумеется посредственно—ибо с самим Устр[яловым] я не знаком. Он должен бы знать об ней; помнится, Московский Вестн[ик] толковал что-то и об этой книге.

Масальск[ий] читал мне несколько из своей рукописи и толковал многое о своем творении, я тогда же подозревал, что этот роман будет à la Димитрий Самозванец: ваши слова подтвердили мои подозрения. Уже вышли три части; но я не буду читать их до появления и последней.

Семенов клянется, что не прикасался к вашим стихам в Сев. Цвет.; они переделаны еще прежде цензорского воззрения на них.

На перемену в вашей Заповеди я никак не могу посягнуть! Если выражение с м е л и о т в а ж е н есть несколько плеоназмическое (чего и я не могу допустить): то это родимое пятнышко—чрезвычайно как к лицу; мне кажется труднее сочетать понятия о невинности и гордости.

Семен[ов] наделен вами богаче, чем другие его сподвижники, и чтож?—о жадность людская! просит несколько мелких бриллиантов, чтоб о к р у ж и т ь солитер светозарный. Я не берусь просить за него. Это значило бы во зло употреблять ваше долготерпение и вашу многомилостивость.

В. К о м о в с к и й

„A la Дмитрий Самозванец"—речь идет о романе Булгарина под таким названием.

22. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1832. Января 12. Москва

Сегодня получил я Христ[ианское] чтение—и благодарно кланяюсь вам—и благословляю вас за сию здравую пищу бытию моему. Погодина очень огорчило известие что Государь возвратил его рукопись безо всяких отметок: видно автор Петра ожидал, что его поэзия сильно и решительно подействует на сердце находящееся в руце божией!! Впрочем сей неуспех не вразумил нашего трагика: право речение, что человек единожды вкусивший от плода запрещенного—навсегда делается рабом греха. П[огоди]н сочиняет теперь—что бы вы думали? погодите хоть с час перевертывать эту страницу: не отгадаете! Оперу! И я—по естественному ли побуждению помогать страждущим, по личной ли приязни, по преступной ли самоуверенности, что пишу стихи все-таки

лучше тех, кои вовсе их писать не умеют,—сам не знаю почему—решился, т. е. дался уговорить себя, ему сотрудничествовать. Не пророчу, а знаю наверное, что дела не выйдет—но да будет, что будет! Все это—глубокая литер[атурная] тайна—до поры, до времени, как говорится—бог даст и навсегда.

Четыре мои стиха, мною вам присланные, для дополнения помещенных в 1 № Европейца—не пропущены цензурою потому, что они указаны на казенный счет, как из дела явствует. Шлите вашу статью в Европейца (да не будет она слишком длинна)—мы ждем ее благодарно и радостно. Что это за книга из которой вы ее взяли? Снова ли вы хотите подарить Русь трудом достохвальным?

Недели через три явится к вам, в мое имя, юноша — харьковец, по прозванию Якимов. Он занимается Шекспиром—перевел Лира: жаждет узнать все, что должно знать о Шекс[пире] и чего нельзя узнать в Харькове и даже у нас в Москве. Вам, которому известны все святые тайны по сей части—осмеливаюсь я предложить его в покровительство и на указание пути истинного. Я еще не читал его перевода—да и не могу судить об нем действительно, зная Ш[експира] не лично—но сей юноша показался мне подходящим на дело добросовестно, благоговея перед великим подлинником и проч., а это уже много.

От кого получу я последний № Хр[истианского] Чтения за 1831?

Здесь говорят, что Руссов сочинил эпическую поэму—Погодин смеется и дивуется.

Н. Языков

Об Якимове—см. примеч. к письму 33.

Руссов, Степан Васильевич (1768—1842)—член Российской Академии, автор многочисленных исторических, критических и т. п. статей; составитель первого словаря русских писательниц („Библиографический каталог Российским писательницам", СПБ., 1826), типичный представитель литературных староверов. Вл. Бурнашев в своих воспоминаниях так характеризует его: „старик, печатавший брошюры и статьи в защиту святой для него тени Карамзина, говоривший с пеной у рта о тех вольностях, какие правительство дозволяет различным нахалам". В 1832 г. издавал совершенно дилетантский исторический полужурнал, полуальманах „Воспоминание", заполнявшийся главным образом его же сочинениями, переводами, критическими замечаниями etc. О нем упоминает Языков в одном из последующих писем. О характере исторической критики Руссова можно судить хотя бы по следующему примеру, взятому из „Воспоминания": в статье „Критическое замечание на книгу Устрялова" („Сказания современников о Дм. Самозванце"). Устрялов пишет: „Бродяга явился на русском престоле, но правил умно, хотел быть выше королей и цесаря; готовил важный переворот". С. Руссов пишет по этому поводу: „Мы тут совсем ума не замечаем. Бродяга чуть вступает на престол, колеблется на оном; хочет быть выше царей и цесаря и готовит переворот; но всякого переворота или мятежа, пройдохами начинаемого, всегда поздно или рано первыми жертвами бывают они сами" (кн. III, стр. 52). Каждая книга сопровождалась афоризмами издателя, вроде: „Не то дорого, за что заплачено много, но то, что заплаченного не стоит"; „забавы мудрого столько ж поучительны, сколь труды его полезны"; „не та жена хороша, которая богата, прекрасна и умна, но та, которая составляет счастие своему мужу и семейству"; „как у престарелого мужа молодая красавица, так у молодого богача деньги редко употребляются, как должно, потому что первый не чувствует, а второй не знает цены своего сокровища".

О планах совместной работы Языкова и Погодина над оперой в сохранившихся биографических материалах ничего не известно.

23. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

С. П. Б. 21 января 1832

Последний нумер прошлогоднего Христианского Чтения пошлется к Ширяеву; прикажите спросить у него оный.

Желаю вам кушать на здоровье; но не думаю, чтоб эта пища пошла в прок; кажется слишком тощая, не сочная—сколько могу судить по некоторым, в разные времена виденным мною книжкам журнала.

Ваше Наставление поэту поступало на решение Цензурного Ареопага. Лив[ен] сначала было воскликнул: уж этот Яз[ыков] допишется до беды и себе и Дерпт[скому] Универ[ситету], в котором студировал!" Однако звуки лиры вашей умягчили этого Саула, и он пробормотал наконец: „можно, конечно, растолковать эти стихи в дурную сторону". Управл[ение] предоставило Семенову молить вас о смягчении 2 стихов, в которых дело идет о багрянице и произволе. Заметьте, впрочем, что в заседании Управл[ения], когда судили вас, не было Блудова, на котором лежит обязанность мыслить; до следующего заседания не решился я отложить представление о вашей пиесе; ибо в оное должен впервые явиться член от Бенкендорфа,—именно Мордвинов, преемник Фока; это еще в прошлом году сделанное, но теперь только приводимое в исполнение распоряжение Государя.

Я не мог не смеяться над Погод[иным], смеющимся над Руссовым. Из того, что Пог[один] взывает к вам о помощи, надлежит заключить, что он уже на половине пути к исправлению—сознается в неуменьи писать стих; есть надежда скоро видеть его убедившимся в том, что поэзия не его дело.

За доставляемое вами мне знакомство с Якимов[ым] я искреннейше благодарю, мне оно приятно и лестно; но Як[имов] верно будет от того в накладе.

Переведенная мною статья составит, может быть, $3^1/_2$ п. листа; есть возможность отделить поэтическую литературу от исторической. Много обяжете, уведомив, так ли велика снисходительность Европ[ейца], что позволит мне испортить даже $3^1/_2$ листа в нем? Из того, что я перевел статью из книги Витона, не следует выводить дальнейших заключений. Сочинение это, конечно, очень хорошее: но нам нужны книги общенаставительные. Правда, История Норманнов может и должна представлять и частные пояснения для нашей истории.

Мне покуда она объяснила происхождение Марфы, Петра и Оперы, которой имени и отчества не имею чести знать. Извольте слушать. Жил-был исполин, который наварил поэтического меду, и отдал его на сбережение дочери. Один пробрался к ней, переспал с нею три ночи, и за доставленное удовольствие получил позволение 3 раза глотнуть меду,—да и глотнул так неосторожно, что вытянул весь запас; обернулся орлом—да тягу домой; исполин за ним в виде грифона. Почти близ своих чертогов Один видит, что враг его догоняет—чтоб облегчить себя, он выпустил часть меду задом; а долетев домой уже совершенно вылил прочее в приготовленные богами чаны—ртом. Но в суматохе боги не обратили внимания на различное происхождение поэтического напитка, Одином добытого, и смешали его. С тех пор, кто пьет мед из уст Одина зовется у нас на Руси Н. М. Языковым; а кто из гузна—М. П. Пог[одиным].

В. Комовский

Лив е н, Карл Андреевич (1766—1844)—бывший попечитель Дерптского учебного округа, с 1828 по 1839 г. министр народного просвещения, позже, во время пребывания на курорте Ганау, познакомился лично с Н. М. Языковым и даже был в переписке с ним и его братом. Письма его к бр. Языковым хранятся в архиве ИРЛИ.

24. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

[redacted] 1832. Января 22. Москва

Устрялов одолжил чрезвычайно всю Русь православную: „Сказания современников" вещь высочайшей важности для желающих многое сообразить о том о сем и особенно о прочем. Тут все завлекательно—

начиная с лица Бориса Годунова — до тайных удов бояр, о коих говорится в лет[описном] примечании: все это драгоценности; все краски — для будущего настоящего романиста или Шекспира Российского. Так ли?

У вас есть мои новейшие стихотворения (брат Ал[ександр] пишет, что он вам их сообщает), предоставьте два из них Семенову: Вино и Мечтания — переменив как вам придумается, заглавие по желанию. Не худо бы не выставлять моего имени и прозвания под моими стихами забубенными: да не будет разноголосиц!

Говорят, что Стрельцы — дрянь,— но что прочесть их должно: в них дескать много любопытного — фактического — кое-что открыто новое, кое-что старое выяснено по-новому!

Я наконец получил рукопись всех моих прошлых потех парнасских, теперь занимаюсь их переправлением, переписыванием, приведением в порядок и проч.

Что ж ваша статья для Евр[опейца]?

Прощайте покуда. Писать больше не могу: у меня рука болит.

Ваш Н. Языков

„Стрельцы"— роман К. Масальского (см. примеч. к № 20).

25. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

С.П.Б. 28 января 1832

Устрялов славный человек, как кажется, с жаркою любовью к русской истории и верно сделает многое полезное, если не встретит помехи в внешних обстоятельствах. Началом моего знакомства с ним обязан я вам: он раз приходил ко мне, вследствие сделанного ему через Смирдина вопроса о книге Чиампи. В мое последнее письмо я вложил записочку о сем деле. Будет ли можно Устрялову попользоваться этою книжицею, пока еще не кончено печатание Сказаний? Выписывать из Италии слишком мешкотно. Смирд[ин] купил все экземпляры Устрялова за 12.000 р.

Мне досадно на Устрял[ова] за оговорку пред замеченным вами латинск[им] примечанием. Если он церемонится только, то зачем, когда нет никакой нужды? Если в самом деле считает рассказ Бера вымыслом: то где же историческая его критика? Тут истина так ясна, как солнце; русский человек — весь налицо. Он точно таков и теперь. Вот пример и это факт исторический. Когда наши корабли встречаются с английскими — матросы любят перебраниваться и дразнить друг друга. Раз англичанин, спустив штаны и выставив голую..., кричит нашему матросу: Russian dog! Russian dog! Наш тотчас отстегнул бант, nudavit sua equina pudenda, как сильно выражается почтенный пастор, заставил выпрямиться, как следует,— и отвечал: Ну! ну! ком гир, мусье! ком-ка, ком! Менее ли характеристически русского в подвиге бояр? Один патриотизм в словах их уже не позволяет сомневаться в истине рассказа. Матерщина — c'est la langue maternelle русского человека. Какой немец за ним угоняется; и Бернаше обычное, всегдашнее предисловие, diese Hauptwort der Russischen Sprache переводит er sollte seine Mutter vexiren... Имей он ученость немецкую, остроумие Вольтерово, знание всех прав на свете, и тогда любой мальчишка-форрейтор загоняет его на этом языке. Смиренномудрому пастору наши бояре показались мужиками, видно, не знал он, что русский только что не молится любимым своим наречием. — Вот и этому доказательство.

В Импер[аторской] Публичной Библиотеке есть рукопись Евангелия или другой какой-то книги библейской — не помню хорошо; не помню так же кем и когда писанная; впрочем не в том дело; важное, главное, то, что писец, занимаясь переписыванием, по тогдашним понятиям творил дело благочестия и набожности. Прописные буквы в начале глав и строк изукрашены хитроумно и узорчато. В одном месте: букву М изобразил богобоязненный писец двумя человечками, которые тащут сеть с рыбой. У одного идет изо рту надпись: потягни, курвин сын! А у другого — ответ: сам есть таков! Это в Евангелии!

Да благославит Феб труд, вас ныне занимающий!

Статья моя ждет во 1-х вашего разрешения; а во 2-х должна быть поисправлена. В журнал Европейской послать что-либо, не то, что в какой-нибудь Россейской! Да что 2 № Европ. запоздал?

Ваш В. Комовский

26. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1832. Января 28. Москва

Цензура привязчиво смотрит на стихи мои, которые писаны, ей богу, неуказательным пальцем: впрочем да будет ее воля: я их поправил, как можно позволительнее — вот: начиная со стиха: приветно ли сияет до конца строфы: пусть успокоится:

Является ль тебе твой жребий грозен,
Иль длань судьбы тебя блюдет, хранит,
Душой будь бодр, тих, тверд, спокоен
И сердцем добр, безвинен, чист.

Мне самому чрезвычайно нравятся таковые поправки: смысл есть — и все ясно!!.

Присылайте вашу статью в Евр[опеец]. 2 № вышел: в нем чрезмерно много опечаток — но они да извинятся неопытностью издателя в держании корректуры — деле доволь[но] трудном; надобно глаза да глаза: вперед он будет стараться быть более осмотрительным.

Я теперь погружен всеми моими помышлениями в мои прежние стихотворения: переделки много — и необходимой, так напр. должно выкинуть из них сколько можно больше самохвальства, если нельзя уже всего — и проч., а это не шутка, однакож недели через две, вероятно, они будут готовы и в новом виде — и так далее.

Я искал здесь вашего приятеля и очень жалею, что не нашел: это Бюрнтер.—Я живу здесь все-таки налегке, без книг по которым учился в Д[ерпте] и теперь мог бы продолжать учиться во время охоты — но судьба еще не дала мне постоянного места на пиру земном — и я покуда играю в известную святочную игру: сижу-посижу!! Что будет - то будет, а будет то, что бог даст — поговорка славная и утешительная.

Об книжке для Устрялова — я похлопочу усердно — вероятно она достанется (ведь Мал[иновский] ее не читает же) через Погодина или иным путем. Все это будет делаться возможно скоро — а в случае великих препятствий — у нас всегда готовых—можно и согрешить ради общей пользы: украсть на время и проч.

Вы, так мне кажется, слишком много доверяете почтовой бумаге.

Н. Языков

Погодин беспокоится о своей рукописи. Где, дискать, она? Того и гляди что пропадет или разойдется в бесчисленных оттисках!!.

27. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

Семенов печален, даже до смерти, от необходимости портить ваше прекрасное творение; да нечего делать. Во 1-х или вовсе не переменять, или переменить, как вы предполагаете, во 2-х пусть цензор на себе испытает, как вкусна цен[зура]: это полезно!

Зная отношения между вами и сребролуким музоводителем, мне не зачем служить ему молебен и ставить свечу, да благословит вашу правоправящую руку. Почему бы, однако, поэту должно молчать, что в нем обитает и им вещает божество?

Второй Европеец прибыл и в нашу полуевропейскую столицу. Уж не цензура ли причиною замедления? Кажется должно, чтоб в начале бе слово о 19 веке? Война лягушек и мышей — Жуков[ского] — Так? Пушк[ин] печатает свою сказку о Царе Салтане, Царевиче Гвидоне и Царевне-Лебеде. Ребята читали — не нахвалятся!

Я совсем запутался в переписке с Алекс. Мих. Некогда вы известили меня, что рожд. хр. проведет он в Симб[ирске], с этого и направил я туда бег трех моих писем; его же голос все приносился ко мне с Уфы; теперь замолк. Где он и какие у вас вести от него?

Вы очень добры, понукая меня посылать статью: еще будет ей и место и время. Надо пересмотреть, переправить — а руки не поднимаются; простите мне такую леность малороссиянина.

Хорошо было бы, еслиб кто-нибудь с толком потолковал вообще о выгодах для нас от изучения скандинавской и вообще древнесеверн[ой] литературы. В Несторе почти ничего нет о Скандинавском периоде нашей Истории; не от того ли, что на юге, в Киеве, славяне и христиане ничего уже не помнили и не хотели помнить о нордманах и язычниках? Запутанность в хронологии о приходе варягов, бедность известий о Рурике не намекают ли, что сканд[инавский] период был гораздо продолжительнее, но нам неизвестен? Не должно ли начинать собственно историю нашу Киевом, а не Новгородом? У нас есть слова древне-немец[кого] языка, в нынешнем не употребительные уже: напр. б р о н я есть др.-нем. die b r u n n e сканд. b r u n i a, кольчуга. В Heldenbuch говорится о руссах. Правда, die Russen, Rusen, суть Riesen — исполины; но у них царь Elegast — не Олег ли? Может быть это не спроста! Тому, кто больше образован ученостью прямой — предлежит труд вывести э т о на чистую воду.

Пог[один] может потребовать свою рукопись из Ценз. Комитета.

Прилагаю записку Грефа о библейских словарях — у него налицо имеющихся.— Не утаю греха — я, было, забыл об этом — виноват. Сердечно благодарю за доброхотное предостережение: такая глупая моя натура; не молчать и выболтать все, что на мысли — мне должно.

В. К о м о в с к и й

4 февраля 1832.
С.П.Б.

28. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1832. Февраля 12. Москва

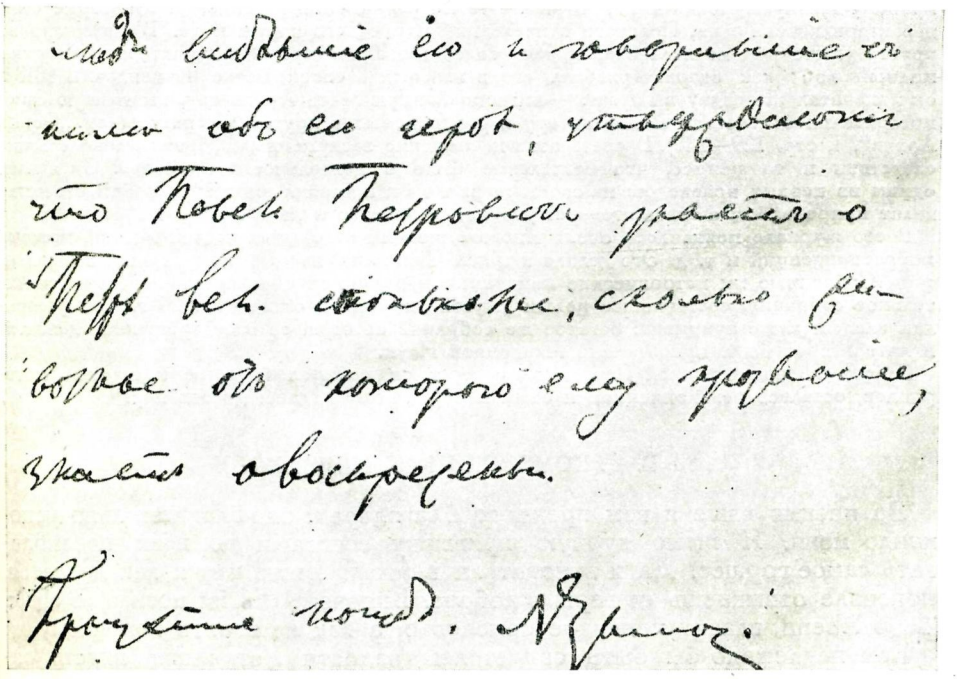
Посылаю вам книжку о самозванце и еще нечто, в сем же последнем есть что-то об Аристотеле Болонском, пусть и на это взглянет многопочтенный Устрялов: обе эти книжки да возвратятся в Москву возможно скоро, по выполнении своего назначения: зане отправляются, так сказать, воровски, incognito; тот, кому они принадлежат, может быть не пустил бы их в такую дальнюю дорогу, несмотря на то, что они и не

при нем писаны и что до них нет ему дела. Погодин говорил и просит меня написать к вам, что он предлагал Устрялову доставить легенду о самозванце писанную современником — но что, не получив отповеди его, не посылает — а ждет востребования; эти книжки — не та легенда — прибавляет он остроумно, и далее говорит, что не может просить Петерб. Цензуру возвратить ему Петра, потому что не имеет до сих пор официального извещения оной о судьбе своего любезного детища. 3 № Европейца явится на днях: в нем исполнится ваше ожидание окончания XIX века. Брат Ал[ександр] находится теперь в Симб[ирске] вероятно, впрочем и я две почты уже не получаю его писем. Едва ли позволительно предполагать, при сем случае, что он завертелся в вихре праздников, обыкновенно сопровождающих Новый Год.

Христианским Чтением — я очень и очень доволен: из него можно многому научиться — что и сделаю. Важны в нем статьи о земной жизни Иисуса Христа — меня радует и благоприятно рекомендует наше духовенство — всякому жаждущему веры православной. На днях напишу самый решительный ответ Грефу о Библии Михаелиса и о библ[ейском] словаре. Я теперь уже свободен от поправок прежних стихов моих, занимавших меня довольно долго: много выключено, переправлено, сокращено — и проч.— выйдет книжка страниц в 200 и только! Продам ее хоть Ширяеву — это выгоднее, чем самому издавать: Ш[ириев] давал, прошлого года, Баратынскому 4 000 за Наложницу; Барат[ынский] возгордился — не продал ее, издал сам и издание только что окупилось!!! Да что Олеарий? Говорили давно уже что его переводит Семенов — правда ли? — и есть ли надежды, что это дело великое совершится?

Прощайте покуда.

Н. Языков



ОКОНЧАНИЕ ПИСЬМА ЯЗЫКОВА К КОМОВСКОМУ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 1832 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград

29. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1832. Февраля 20. Москва

Судьба Европейца еще не решилась; официального запрещения нет покуда: он остановился единственно по слухам, впрочем самым верным: будущее не известно; а его настоящая история, так как и сама история в некотором смысле, есть изъяснение, дополнение настоящего. и пример будущего.

Брат А[лександр] теперь в Симбирске: я на днях получил от него письмо; не знаю, что он делает духом, знаю только, что славно хозяйничает, разъезжает из деревни в деревню и дичает неимоверно—в оной дичи во всех смыслах. Пишите к нему туда; да, сделайте милость ему и мне, возбуждайте его к деятельности духовной; он пожалуй вовсе погрязнет в тине хозяйственных распоряжений и удовольствий—и зацветет, как цветут пруды, осененные сонными деревьями!

Весною я съезжу в Сим[бирск], потому особенно, что брата Ал[ександра] никакими словами и делами невозможно оттуда вызвать на свет божий—или в большой свет, как он его называет. Здесь находится Свиньин: он собирался на семь лет в деревню, где совершит подвиги жизни своей: историю Петра. Люди, видавшие его и говорившие с ним об его герое, утверждают, что Павел Петрович знает о Петре вел[иком] столько же, сколько животное, от которого ему прозванье, знает о воскресеньи.

Прощайте покуда.

Н. Языков

Свиньин, Павел Петрович (1788—1839)—журналист, редактор „Отечественных Записок", собиратель исторических древностей, документов и рукописей; принадлежал к правому крылу журналистики, отражая те же реакционные тенденции, которые были характерны для Греча, Полевого в последний период его жизни и др. В литературных кругах уважением не пользовался, чему содействовали и черты его характера: „Павлушка-медный лоб" как охарактеризовал его в известной своей басне Измайлов. В 1818 г. он напечатал „Поездку в Грузию"—низкопоклонную лесть Аракчееву, вызвавшую самое презрительное отношение к ее автору в разнообразных кругах литературы (см. „Остаф. Архив", I, стр. 129—130). В свете этих несомненно заслуженных оценок заслонилось впоследствии и то ценное, что безусловно было в деятельности Свиньина. Он явился одним из первых краеведов: на своем журнале он поставил эпиграф „Любить отечество велит природа, бог; а знать его—вот честь, достоинство и долг".

В его журнале появлялось очень много описаний отдельных частей России, местных корреспонденций и т. д. Это делало журнал Свиньина весьма популярным в провинции. Собранные им исторические памятники и рукописи образовали довольно значительное собрание, составившее целый „музей", который однако в 1831 г. был распродан владельцем с аукциона: богатое же собрание автографов государственных деятелей и литераторов было приобретено Академией Наук.

Работа его над историей Петра, для которой он собирал большое количество материалов, осталось незаконченной и сами материалы не изданы до сих пор.

30. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

За письмо ваше я вам премного благодарен: оно благодетельно успокоило меня. Я имею дурную привычку всегда и во всем предполагать самое горшее. Да и виноват ли в этом? Видя, что и как делается, поневоле отвыкнешь от веры в доброе. Впрочем: Es ist noch nich alle[r] Tage Abend, гласит немецкое присловье, а как не верить немецкому?

Вам надлежало бы быть свидетелем радости Устрялова, видеть самому, какою жизнию торжественно высокой он процвел и просветлел при получении присланных вами книг,—чтобы вполне познать, какое доброе дело вы сотворили. Он обещал не держать их долее 2 недель.

О легенде объявил намерение писать немедленно к Пог[одину], уверяя притом, что не получал от него никаких предложений. Легенда эта писана каким-то купцом—ведь так?

Погодину не получить своего Петра из Ц[ензурного] Ком[итета], если он не потребует его сам или не поручит кому другому взять. За Комитетом не водится обыкновение объявлять письменно свои или чужие решения о книгах.

Сем[енов] только взялся перевести Олеария для Москов[ского] Общества истории и древностей; но исполнит ли когда-нибудь эту обязанность—сомнительно. За дело это принялся он еще в 1826 г. кажется — пора бы и кончить давно. Сем[енов], сколько я его знаю, берется за многое, начинает усердно, да не имеет терпеливости свести концы.— Поэтому-то и появление его альманаха сомнительно; поэтому-то и я еще не дал ему доселе двух пиес, туда назначенных вами.

Устрял[ов] хочет издать Курбского и уже сличил две рукописи. Невероятно, однако, чтоб цензура согласилась на его желание, по крайней мере теперь, пока страх и скрежет зубов.

И я получил наконец письмо от Ал. Мих., но все еще из Уфы; пишет, что через неделю отправляется в Сим[бирск]. Если ни слова ни дела не действуют на него—употребите насилие, но берегитесь, чтоб он не полонил и вас самих на берегах волжских!

Не издаст ли К[иреевский] приготовленных материалов особою книгою в несколько частей посрочных? Статьи, будучи не к спеху, могут быть обработаннее и полнее.

В. К.

23 февраля 1832

„Es ist noch nicht aller Tage Abend"—немецкая переделка латинского изречения. Перевод: „Еще не всех дней наступил вечер", т. е. еще срок не кончился. Срв. у Шекспира:

— Ну вот и наступили Иды Марта!
— Да, Цезарь, но еще не миновали!

31. Н. М. ЯЗЫКОВ — В. Д. КОМОВСКОМУ

1832. Марта 9. Москва

Поздравляю вас с монаршими милостями, вас осенившими, желаю вам более и более получать сих знаков благоволения небесного — и проч. и проч.

Погодин получил письмо от Устрялова, просящее легенды об Самозванце — она отправляется сегодня же перед взор достопочтеннейшего подвижника нашей Клии. Здесь замечают, что не худо бы Устрялову, при издании летописца Курбского сообразиться с бумагами покойного Романа Тимковского, который занимался этим же делом и которого брат теперь в Петербурге. Между тем для него прилагается здесь грамотка — поправляющая некоторые крохотные недосмотры в I т. сказ[аний] о Сам[озванце]. Это замечания П[етра] Киреевского — юноши могущего вполне ценить всякой важной подвиг пред лицом истории — и способного рыться в ее архивах добросовестно, многоучено и проч.

Не соблаговолите ли вы спросить Смирдина, у которого вы так славно бражничали, [не] хочет ли он купить мои стихи: они уже пропущены цензурой; всего станет страниц на 200 nec plus ultra! Я ему продам их с удовольствием — и дешево — главное в этом деле спех.— Снеситесь с ним и известите меня поскорее. Здешних книгопродавцев я и не задирал моим товаром: все они щелкоперы!

Кто литератор, переводящий испанцев — о котором будто бы сказано в С. О.? Есть ли надежда, и не с иностранного [ли?] он ломать принимается?

Прощайте покуда.

Н. Языков

32. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

Понедельник 14 марта 1832 г.

Получив вчера письмо ваше, немедленно вошел я в надлежащие переговоры с Смирдиным; нашел, однако, его финансовое положение не совсем благоприятным для важных оборотов; говорит, что истратился на покупку много множества романов и повестей, как товара теперь особенно ходящего; сверх того, он припасает денежку для подряда на Север[ную] Пчелу и С[ын] Отеч[ества] — с тем вместе затевает на пятилетний откуп всего пишущего и творящего на Руси православной. Предприятие это, конечно, огромное, может быть и успешным; но едва ли приведется в исполнение; Смирдин жалуется уже на невозможность примирить и согласить враждебные умы; Греч, как разумеется, остается редактором; а Жук[овский] и Пушк[ин] на это никак не подаются. Вы спешите своим изданием; а то можно было бы повременить немного, пока Смир[дин] должен будет оставить этот замысл, а это очень вероятно: тогда он не будет иметь надобности беречь деньги,—полагая, что главное ваше желание—избавиться от хлопот издания, он предлагает на свой счет напечатать, где и как вам угодно, и потом выручить издержки продажею, говоря: г д е — я разумею типографию, какую вы изберете кроме тип[ографии] Смир[дина], занятой теперь разною и многою работою. Это предложение имеет то неудобство, что не скоро вытяните от Смир[дина] деньги за продажу экземпл[яров]. Смир[дин] спрашивал, однако, какую цену вы назначаете за рукопись? Прошу сообщить дальнейшие приказания, если признаете за благо сделать оные.

Заметки К[иреевского] я передал С[мирдину] для сообщения Уст[рялову], которому при личном свидании передам что следует и о Тимк[овском]. Кстати о Тимк[овском]. Сей Муж в 1806 г. напечатал в Москве диссертацию: De dithyrambis eorumque usu apud Graecos et Romanos commentatio scripsit Roman Timkowsky. M. 1806 in 8^0.

Можно ли мне сметь просить вас употребить ваши связи с Университ[етом] на содействие мне приобресть эту книгу?

В С[ыне] От[ечества] некто, мне неизвестный доселе, объявил намерение перевести из французского Thêatre étranger, изд. l'Advocat Театр Испанцев—ergo большой поживы ожидать не должно, кажется.

Где теперь Алекс. Мих.? Следуя вашему наставлению, я уже четыре письма отправил к нему в Симб[ирск]. Между тем как он все пребывает в Уфе. Как вы думаете, дойдут ли эти письма до него п о с р е д с т в е н н о?

В. Комовский

З о р к о в а ш е п л а м е н н о е о к о!—увидело и такие вещи, которые я считал для вас незаметными.—Сердечно благодарю за ваше поздравление.

Т и м к о в с к и й, Роман Федорович (1785 — 1820) — профессор Московского университета по кафедре римской и греческой словесности; выдающийся для своего времени филолог. Диссертация его, о которой пишет В. Комовский, вышла в свет в 1806 г.: Большую научную ценность имело составленное им большое собрание книг и рукописей.

33. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1832. Марта 23. Москва

Что бы ни вышло, а дело продавания моих стихов перенес я на суд Ширяева—и подобно известному кривому лакею, с почтеньем жду конца. Правда ли, что Смирдин откупил С[еверную] Пч[елу], С[ын] От[ечества] и Московский Телеграф? Как же он с нами будет сделываться в случае нежданного прекращения какого-нибудь из сих журналов? О диссертации Р. Тимковского вот что говорят: она была напечатана прежде 1812:—и Наполеон сжег ее заодно с Москвою. Впрочем еще приложу все мое старание, употреблю все мои способы, чтоб отыскать ее имени вашего ради.

Халаты, о назначении которых вы меня вопрошаете, принадлежат не мне: брат знает, что я не ношу сих одежд праздности и лени, и я знаю, что ему в Москву некому посылать их через меня. Разнесите по свету —и может быть найдется какой-либо акт объявительный. Я же сегодня же справлюсь об них в Симбирске, где, вероятно, знают, в чем тут дело? На днях пришлю вам остальные части Избранного Немецкого Театра. Какая глупость напечатана в Москве об Смирдине:—неужели это в самом деле из Петербурга? Тут явен лик московского купечества. Кто переводил Испанцев? П. Киреевский (это тайна) готовит нечто из Кальдерона: его чрезвычайно огорчило известие, что не он первый явит нам сего мужа доблести боготворенной и тем паче, что ваш переводчик пользуется не подлинником, а французскою спекуляцией.

Познакомьтесь с отцом Иакинфом. Говорят он привез много важных рукописей из тех стран неизвестных.

Прощайте покуда.

Н. Языков

„Кривой лакей"— цитата из „Опасного соседа" В. Л. Пушкина:

О ужас! мой сосед могучею рукою
К стене прижав дьячка, тузит купца другою;
Кондратьевна в крови, подсвечники летят,
И стулья на полу ногами вверх лежат.
Варюшка пьяная бранится непристойно:
Один кривой лакей стоит в углу спокойно:
И, нюхая табак, с почтеньем ждет конца.

Иакинф—монах; светское имя—Никита Бичурин (1777—1853); выдающийся синолог, автор многочисленных трудов, сотрудник многих журналов и альманахов. Бурная и беспокойная натура, Иакинф не уживался в рамках, поставленных ему его званием, и беспрерывно находился в конфликте со своей ближайшей средой и высшим начальством. Сравнительно молодым человеком он уже был ректором Иркутской духовной семинарии, но в 1806 г. был отрешен от должности и отправлен под наблюдение в Тобольск. В следующем году получает вновь высокое назначение—на пост начальника духовной миссии в Пекине, но вскоре вновь отрешается от должности и предается духовному суду. В 1821 г. Иакинф был лишен сана и сослан в Валаамский монастырь; с 1826 г. служил в СПБурге, в Министерстве иностранных дел в качестве переводчика. Главнейшие работы Иакинфа, доставившие ему широкую известность среди специалистов: „Записки о Монголии", 2 т., СПБ., 1828; „История первых четырех ханов дома Чингисханова", СПБ., 1829; „Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего времени", СПБ., 1834; „Собрание сведений о народах, обитавших в Ср. Азии в древние времена", ч. I—III, СПБ., 1859. Автобиографическая записка Иакинфа напечатана в „Ученых Записках Академии Наук" 1855, т. III, вып. 5; там же перечень и характеристика основных трудов его.

Иакинф был очень близок со многими литераторами; упоминания и анекдоты о нем довольно часто встречаются в письмах и мемуарах современников.

П. В. Киреевский—очень много занимался переводами с английского и испанского. В „Моск. Вестн." за 1828 г. напечатан прозаический перевод значительной ча-

сти комедии Кальдерона „Трудно стеречь дом о двух дверях". В 1832—1833 гг. он переводил „El magico prodigoso"; в его бумагах было найдено несколько оконченных переводов драм Кальдерона.

34. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

С. П. Б. 30 марта 1832

Сделайте милость, не беспокойте себя хлопотами о рассуждении Тимковского; да будет воля господня. — Жаль, однако, что судьба так сурова была к этому, очень хорошему произведению. Это — единственная диссертация, en toute forme, которая узрела свет в России, от самого ее сотворения. Может быть, Надеждин имеет причину спорить против этого; но, что бы он ни говорил, — а моя правда: Наполеон, видно, позавидовал и этой нашей ученой заслуге, что поступил так немилосердо.

Впрочем, свыше суждено, что нам без немцев нет спасения; и тут они же наши спасители: диссерт[ация] Тимк[овского] перепечатана в актах Королевской Семинарии в Лейпциге (в I томе). Я имею, следовательно, возможность ее достать, а потому повторяю просьбу мою к вам, не утруждать себя ради меня.

Брат Ром[ана] Тимк[овского]: также умер уже—и Устрял[ов] не знает, к кому обратиться с расспросами о бумагах покойного автора.

О книгах Малиновского я напоминал Устрял[ову] — он хотел их возвратить скоро — да что-то медлит. Я опять пристану к нему.

Зачем не хотите вы сами напечатать свои стихотворения? На Барат[ынского] глядеть вам никакого следу нет.

Откуп, затеваемый Смир[диным], как я писал, еще не состоялся, да и едва ли приведется в исполнение. Я стращал См[ирдина] непредвиденными обстоятельствами; он говорит, однако, что в условия включается какая-то оговорка на этот счет. Телегр[аф] не будет куплен; но Пол[евой] сам хочет прекратить его с будущего года, и итти к Смир[дину] в работники за 10.000 р. в год.

Что же такое и в каком № Молвы напечатано о См[ирдине]? Я не постоянный читатель ее — и ничего не заметил.

С Иакинфом я несколько знаком. Здесь носился слух, что на Кяхте он расстригся и стал вполне мирянином. Жаль, что он не европейский ученый. Теперь появился в Берлине немец Нейман, который долго жил в Кантоне, и грозится доказать, что ни Клапрот (пусть так — это шарлатан известный) ни даже Абель-Ремюза по-китайски не маракуют; а всей мудрости набрались из одних записок французских иезуитов. Что-то скажет на это Иакинф?

Я видел на днях в лавке Смир[дина] Якимова, — очень жалею, что уже после ухода его узнал, — кто он. — Он напечатал здесь стихи: Дар Слова. Не знаю, какова еврейская, греческая, санскритская и арабскими буквами напечатанная часть оных, — а русская, если позволено говорить откровенно, — прекурьезная.

Рода и прозвания переводчика Театра Испанцев я не мог еще проведать; схожу нарочно к Гречу, спрошу, и что узнаю — вам напишу. Кир[еевский] препочтенный человек!

Мое сердечное благодарение за обещанную награду!

В. Комовский

Якимов, Василий — адъюнкт-профессор Харьковского университета. Ему принадлежат сочинения: „О духе, в коем развивалась российская литература со времени Ломоносова и влияние, какое имели на сие развитие литературы иностранные", СПБ., 1833 (рассуждение, писанное для получения степени магистра словесных наук); „О красноречии в России", Харьков, 1838. На шмуц-титуле красуется посвящение:

Православию,
Самодержавию,
Народности.

В предисловии к поэме „Дар слова" автор сообщал, что это стихотворение было произнесено в торжественном собрании Харьковского университета 30 августа 1831 г. и было напечатано в отчете об университетском акте. „Но как начальству Университета и почтеннейшей Харьковской публике, — писал автор, — угодно было принять и самое стихотворение, и произнесение оного с отлично-благосклонным вниманием, торжественно изъявленным мне в самых лестных приветствиях почтеннейшими из присутствовавших особ обоего пола, то в засвидетельствование глубочайшей признательности начальству, публике и в воспоминание о сем незабвенном для меня дне — я позволил себе смелость напечатать оное особенной книжечкой".

В этой мистической поэме особенно любопытен один абзац, напечатанный автором курсивом, который весьма четко свидетельствует о политической позиции В. Якимова. В этом абзаце речь идет несомненно о польском восстании 1831 г.:

... Измена Вере, Долгу, Чести...
Терзаясь мукою бессильной мести,
Надменный и коварный род —
Исчадие Славян, Героев прямодушных, —
Царю, как небесам послушных, —
Забыв, что благостью Он нашей взыскан был,
Преступничий мятеж в стране воспламенил,
И, кровью возжаждав священною упиться,
Дерзнул... на Цесаря кинжалом... покуситься.
. . . . . .
Вещал —
И ужас смерти в их сердцах разлился
При мысли: Цесарь — и — кинжал?
. . . . . .
И Ангел, тишину принесший им, исчез...
И Ангел брани к ним с небес
В громах и молниях явился...
И воплем гнева вдруг
Все восстонало вкруг.
Объял всех души пламень мщенья...
Подвигнулись, пошли...
Пред ними Дым и Гром, за ними Истребленье...
И прах предателей исчез с лица земли.

35. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

9 апреля 1832 г.

Поздравляю вас с праздником! Вчера получил я прекрасный ваш подарок — Театр Шишкова — и спешу повторить изъявление моей признательности за оный. В последних частях, как мне показалось, — стихи сделались послушнее перу Шишкова; это и естественно. Он, правда, и прежде хорошо писал; но стих собственный, — где мысль повинуется размеру, и стих, взаимно, слушается мысли — не то, что стих перевода, где мысль, неизменно данная, требует от слова повиновения. У Шишкова вкрались некоторые недосмотры; теперь помню об одном месте в Валленштейне, потому что Шиллера знаю тверже других нем[ецких] авторов, а Валленштейна тверже других пиес Шиллера, — Бутлера поздравляет кто-то, другой подхватывает Zum Regiment nicht wahr, т. е. Sie gratulieren ihn zum Reg. Шишк[ов] перевел: поздравляю — и в полк, неправда ли? вместо того чтобы сказать: с полком. Жаль что Шишк[ов] поспешил напечатать Отелло, он выпустил всю духовную процессию, которая соблазняла цензора, а Главное Управление Цензуры позволило ее.

Вчера же получил я от Устрялова обе сообщенные вами итальянские книжки, немедленно посылаю их; вместе с этим письмом. Погодин писал к Устрялову, чтоб он возвратил их к нему прямо; но Устрялову

доставлены они мною, а я получил от вас — этим же путем они должны шествовать обратно. Устрялову хочет Уваров выхлопотать Демидовскую награду (это есть тайна, которую я услышал из уст новокрещенного любителя и покровителя Русской Истории). Ув[аров] метит на министерское кресло, с которого Ливен встает; — вот почему и прикидывается он любителем Русского. Этим должно объяснить и глаголание его — не слишком русское, в грамматическом отношении — в Академии Наук о находках Строева. Этим можно-де выслужиться.

Переводчика Театра испанцев и сам Греч не знает. Ал. Мих. писал, что вы с весною собираетесь в Симбирск. Когда и надолго ли? Где же ваши стихотворения? печатаются ли уже?

Весь ваш В. Комовский

36. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1832. Апреля 13. Москва

Видно Устрялову ни к чему не послужила книжка Чиампи — в третьей части Сказаний соврем[енников] кажется нет ни слова ни об ней ни из нее, — так сужу я из Сев. Пчелы, объявившей о выходе окончания оного труда знаменитого. Бумаги Романа Тимковского находятся у Тимковского Китайского, находящегося в Петербурге. Да и легенда, доставленная Устрялову Погодиным, — тоже не пошла в дело.

Сказка Пушкина, meines Erachtens, не в пример хуже всего что писано в сем роде Жуковским. Где же его же сказка Балда? А каков журнал, издаваемый Руссовым? Этот Руссов, должно быть, сухарь необыкновенный! А все-таки в журнале есть чем поживиться человеку любознательному — и многим чем. Стихов Якимова — я не читал, не читал и Лира — которого здесь хвалили. Что говорят у вас о новой трагедии Хомякова: Димитрий Самозванец? Трилунный написал, дискать, роман тоже Дим. Самоз[ванец]. Кн. Вяземский печатает собрание своих стихотворений; скоро выйдет собрание повестей Марлинского — правда ли все эти приятные новости?

Об литерат[урном] обеде у Смирдина говорится в 23 № Молвы (письмо к издателю), а об его предприятии в 26 (смесь). И то и другое крайне глупо — но такова у нас Молва — с самого ее начала и до сегодня. Из повести Амаллат-Бек выпущено 20 страниц, где описываются забавы Ермолова — нечто подобное играм героев Гомеровых: читавшие это даже исторически-достопамятное место — не нахвалятся им.

Что значит, что Фад. Булг[арин] подписывает под своими статьями: Косичкин? В честь или в бесчестие Пушкину?

Здесь говорят что Моск[овский] Универ[ситет] преобразится в Академию? Что се есть? О Россияне! что видим? Что делаем?

Как странно, что Шишков 2 выбрал из Тика Фортуната — в Фантазе есть кое-что лучше; а этот Фортунат может сбить наших литераторов в их суждениях о Тике, потому что они обыкновенно не знают по-немецки, а подумают что Ш[ишков] перевел самое литературное. И что за критики Погодина? Даже Надеждина?

Прощайте покуда.

Н. Языков

Отрицательное суждение Языкова о „Сказках" Пушкина крайне характерно для его позиции в отношении к Пушкину и в частности к проблеме народности и „народной поэзии" в литературе. Знаменитое состязание Пушкина и Жуковского в 1831 г., когда тот и другой дали опыты сказок, разделило читателей и критиков на два резко проти-

В. Д. КОМОВСКИЙ
Акварель неизвестного художника
Институт Русской Литературы, Ленинград

воположных лагеря. Широкими кругами сказки Пушкина встречаются восторженно, но у руководителей литературной критики опыт Пушкина принимается сдержанно, порой враждебно. Отрицательное отношение к „Сказкам" Пушкина объединило разные фланги русской журналистики и литературы: здесь сошлись Полевой, Надеждин, Баратынский, несколько позже Станкевич, Белинский. Полевой, как позже Белинский, боялся этого ухода в древность, видя в нем своеобразное бегство от современности и запросов своего времени; Надеждин и Баратынский считали опасным такое подчинение литературы народной стихии, вместо того чтобы являть памятники народной поэзии в уже эстетически переработанном виде. „Царь-Салтан" — совершенно русская сказка, — писал Баратынский Киреевскому, — и в этом, мне кажется, ее недостаток. Что за поэзия: слово в слово привести в рифмы Еруслана Лазаревича или Жар-Птицу? И что это прибавит к литературному нашему богатству? Оставим материалы народной поэзии в их первобытном виде или соберем их в одно полное целое, которое настолько бы их превосходило, сколько хорошая история превосходит современные записки. Материалы поэтические иначе нельзя собрать в одно целое, как через поэтический вымысел, соответственный их духу и, по возможности, все их обнимающий. Этого далеко нет у Пушкина. Его сказка равна достоинством одной из наших старых сказок и только. Можно даже сказать, что она между ними не лучшая. Как далеко от этого подражания до подражания русским сказкам Дельвига". Два художественных метода — метод Пушкина и Жуковского — обозначали в данном случае два мировоззрения, две различных социально-политических позиции, отчетливо проявившиеся в их отношении к так называемой народной поэзии или фольклору. Нам приходилось уже подробно писать об этом в статье, посвященной „Коньку-Горбунку" Ершова, откуда позволим себе повторить здесь некоторые строки. „Литературный интерес к фольклору, — устанавливалось в той статье, — таит в себе разнообразные и противоречивые моменты и возможности. Увлечение фольклором всегда связано с вершинными моментами в истории литературы. Литература растущей буржуазии обращается к фольклору как к одному из орудий в своей борьбе с феодализмом; фольклор становится одним из источников складывающейся национальной литературы. В этом случае фольклоризм выражает прогрессивные общественные тенденции. Но он может явиться и реакционным, поскольку на него опираются и представители феодальной идеологии. Для последних характерна идеализация фольклора, идеализация старинной поэзии, старинного предания, стремление к консервации, вытекающее из стремления к консервации старого крепостного уклада. В этом сущность славянофильской фольклористики, ярко отображающей крепостные тенденции славянофильства как социально-политического учения. В этом весь Петр Киреевский, Языков..."

С этих позиций понятно и отношение к „Сказкам" Пушкина Языкова и Комовского (см. письмо № 38). Позже Языков вмешался в спор практически, дав два своих опыта „Сказок": „Сказка о пастухе и диком вепре" и „Жар-Птица" (драматическая сказка), где он решительно принимает метод и манеру Жуковского. Вступительные строки в первой сказке явно заострены против Пушкина.

Дай напишу я сказку! Нынче мода
На этот род поэзии у нас.
И грех ли взять у своего народа
Полузабытый, небольшой рассказ?
Нельзя ль его немного поисправить,
И сделать ловким, милым; как-нибудь
Обстричь, переодеть, переобуть
И на Парнасс торжественно поставить?
Грех не велик, да не велик и труд!

Ф. Косичкин. Конечно Булгарин никогда не подписывался таким псевдонимом изобретенным Пушкиным главным образом в полемике с Булгариным же. Недоумение Языкова вызвано несомненно заметкой Полевого в „Московском Телеграфе", в которой тот приписывает Булгарину „Повести Белкина" и статьи под псевдонимом: Феофилакт Косичкин. Конечно Полевой был прекрасно осведомлен и о том, кто скрывался под последним псевдонимом и кто был автором „Повестей Белкина", но это был выпад против Пушкина, в значительной дозе и отместка за Орлова, которого подстрекал Пушкин обратиться к подражанию и пародированию Полевого (см. примеч. к № 8).

„Амаллат-Бек"—популярнейшая повесть А. Марлинского.

37. Н. М. ЯЗЫКОВ — В. Д. КОМОВСКОМУ

1832. Апреля 20. Москва

Наконец спорное наше дело о халатах объяснилось: посылка вам следовала и, дескать, все недоразумение произошло от того единственно, что он не распечатал ее.

Здешние Архивские говорят что в Моск[овском] Арх[иве] хранится чрезвычайно много рукописей и книг о Дим[итрии] Сам[озванце], неизвестных вовсе ни Кар[амзину] ни Устр[ялову] и едва ли кому-либо доступных. Тимковский чрезвычайно странно старается беречь все сокровища ему подведомственные: рукописи хранятся в подвалах сырых и не допускающих к себе никого ровно. Печатных даже книг не позволяет видеть даже своим чиновникам, в числе коих есть и люди, одаренные любопытством, сродным человеку просвещенному. Напр. П. Киреевский хотел бы перевести Флетчера: в Арх[ивской] библиотеке он есть — но достать его оттуда нет возможности (это тайна, говорят, а эта тайна — печатная книга), несмотря на то, что Кире[евский] служит в Архиве.

Какую речь Гермогена прислали в Академию Наук — и что она — и правда ли все это историческое событие? Кто Поленов, которому, по здешним слухам, будет поручено заведывание Архивами, — не тот ли, что вместе с Шлецером некогда издавал Несторову летопись? — Как чудно, что все важнейшие исторические бумаги святой Руси находятся у нас в ведомстве Министерства иностранных дел!

Чиампи я получил. Дай Бог Уварова: что бы ни было: но все-таки лучше какая-нибудь погода, нежели никакой или непогода.

Каков бар. Розен?

Прощайте покуда.

Н. Языков

38. В. Д. КОМОВСКИЙ — Н. М. ЯЗЫКОВУ

25 апреля 1832

Следы книги Чиампи и Погодинской легенды, без сомнения, не видны доселе потому, что Устрялов хорошо понял свой век, каким его определил Пушк[ин]: „Наш век торгаш" — „Сказания современников" были проданы в их первоначальном виде, а из дополнений можно и, конечно, предположено извлечь новую выгоду. От Академии Наук ему удалось при помощи Увар[ова], добиться только половины награды (то же и Перевощикову). Строго судя, и на это не имеет права Устр[ялов] как переводчик, а не автор; но ведь для немцев гораздо бессовестнее попраны и стыд и пристойность. Какому-то Паукеру присудили полную награду за рукопись на нем[ецком] яз[ыке] о метрологии, обязав его сыскать себе переводчика. Гагемейстеру дали тоже за рукопись на русск. яз. о старинной нашей юриспруденции; поставив в обязанность переправить ее по замечаниям Круга. Значит она не хороша, коли требует исправления (за верность имени второго немца и содержание его сочинения — не ручаюсь).

Уварову не удалось сесть на место Ливена, а только подле его, так же как и Поленов не заменил Малиновского. Хоть бы догадались приказать Мал[иновскому] и себя хранить там и так, где и как хранит он рукописи; авось сгнил бы! Поленов управлял канцеляриею Нессельроде; известен тем, что, родившись и возросши в Австрии, по-русски не говорит и не понимает.

Почему же Строев не проникает в архивные подвалы?

О новых изданиях, которые вы именуете в вашем письме, — я ничего не проведал. Было слышно, что мать и сестра Б[естужева] хотят издать его повести, но эти слухи довольно давние. — Покойная Литературная Газета показала порядочно безобразный образчик романа Трилунного.

В Сказке Жуков[ского] нахожу я более искусственности, чем у Пуш[кина]. Ж[уковский] как сказочник, обрился и приоделся на новый лад, а Пуш[кин] — в бороде и армяке. Читая Спящ[ую] Царевну, нельзя забыть, что ее читаешь. Читая же сказку Пуш[кина] кажется, будто

слушаешь рассказ ее, по русскому обычаю, для того, чтоб сон нашел. Сказка о Попе Толоконном Лбе и работнике его Балде не может, говорят, увидеть свет ни по наименованию, ни по содержанию своему.

Шишк[ов] мало того, что сделал неудачный выбор; но и поступил с Тиком так же недобросовестно, как с Шиллером. В Фортунате недостает Пролога, как в Валленштейне первой части трилогии. Конечно Fantasus и Oktavianus неизмеримо выше Фортуната; но перевод их, особливо Октавиана — труд великий; зато достохвальный и славный. Если у Шиш[кова] был под рукою только Фортунат, зачем бы не выбрать Кота в сапогах; он, кажется, и получше, да и короче Фортуната.

Слухи о Моск[овском] Унив[ерситете] — неосновательны. Уничтожаются Ун[иверситеты] в Вильне и Варшаве; там будут оставлены одни медицинские и богословские отделения.

В. К.

„Сказка о Балде" действительно так и осталась ненапечатанной при жизни Пушкина; впервые появилась в печати только в 1840 г., при чем опубликовавший ее Жуковский заменил попа купцом; соответственно этому было изменено заглавие: „Сказка о купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде"; в подлинном виде впервые была напечатана только в 1882 г. в „Полном собрании сочинений Пушкина" под ред. П. А. Ефремова (изд. Анского).

39. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1832. Мая 10. Москва

Наконец, после долговременных сборов и отлагательств в долгой ящик, я кажется готов отбыть из сей столицы белокаменной на мою любезнейшую родину, в объятия жизни семейной, удовольствий деревенских и проч. Не знаю, сколько месяцев пробуду в таком состоянии сладостном, но еду полный надежд поэтических написать то и то и проч. Брат Ал[ександр] сидит теперь на Волге в ожидании моей особы. Пишите же к нам купно.

Покуда прощайте.

Ваш покорнейший Н. Языков

Здесь говорят, что книга Шульгина остановится на первом шагу, удержанная рукою всемогущего времени. Жаль! Что же спекуляция Смирдина? не удалась ли или только aufgeschoben nicht aufgehoben?

Вероятно мне понадобятся в Симбирске некоторые из книг по части библейской учености, которых прозвания я уже имею по благосклонности вашей — надеюсь, что вы продолжите оную и в те страны.

Шульгин, Ив. Петр. (1795—1869)—профессор новой истории и позже ректор СПБ Университета, академик. Языков упоминает о книге „Изображение характера и содержания истории трех последних веков".

40. Н. М. ЯЗЫКОВ — В. Д. КОМОВСКОМУ

1832. Июля 1

Брат А. М. отправился в Уфу, где просидит месяца с два или еще и меньше: он поручил мне засвидетельствовать это обстоятельство и просит вас продолжать вашу переписку сюда, а я, нижеподписавшийся, буду сообщать ему туда, что следует.

Здесь установились жары ливийские: люди валяются или бродят, как шальные; умственная деятельность и малейшая невозможна — следственно и проч. Это состояние, неблагоприятствующее развитию стихов, продолжится, конечно, не далее конца лета; — тогда мне надобно будет при-

няться за утолщение тетрадки, готовимой мною к изданию — и приняться поплотнее, тем паче, что по всем моим соображениям, предположениям и желаниям — все будет мне споспешно — и погода, и уединение беззаботное, и собственное убеждение, что пора, потому что давно пора. Между прочим, займусь предварительно и четь-минеей, хоть у меня еще нет многих орудий для полной разработки сего поля — а оно обещает жатву обильную, как новь.

Читали ли вы „Клятву при гробе Господнем"? Мы было начали, но, трудно переступив за предисловие, отложили всякое попечение о сем новом ярком доказательстве сумасбродной самонадеянности Полевого.

Что говорят у вас про статистическую записку о Москве, соч. Андроссова? Еще до выхода ее в свет об ней ходила по Москве молва похвальная. Мы ждем с нетерпением.

Существует ли портрет Ганемана?

Прощайте покуда.

Н. Языков

Есть ли у Грефа все книги по гомеопатии, напр. продолжение его врачебного веществословия? Гомеопатия здесь более [и] более прославляется, действуя неимоверно скоро во благо человечества.

Гомеопатия — излюбленная тема в переписке Языкова 30-х годов. Он является ее ярым пропагандистом и деятельнейшим сторонником. При содействии Максимовича он даже организовал и издал на свой счет перевод книги Гартмана. В том же 1832 г. (31 июля) в письме к А. А. Елагину он советует и ему заняться гомеопатией, прибавляя стихами:

Небесная в ней сила: все недуги
Она целит и скоро и легко
И верно и надежно. Ей
Хвала и честь и слава подобает.
Да здравствует великий Ганеман!

(Неопубл. письма. ИРЛИ.)

Некоторые из друзей, например Ив. Киреевский, усиленно пытались отвратить Языкова от этого увлечения, считая последнее даже причиной ухудшения его здоровья. О степени увлечения Языкова и его силе свидетельствуют и письма к Комовскому (особенно №№ 42, 48 и др.).

„Статистическая Записка о Москве" В. П. Андросова вышла в Москве в 1832 г. и сразу же явилась центром острой и напряженной полемики. В. П. Андросов (1803—1841) — крупнейший публицист-экономист „Московского Вестника", позже главный деятель „Московского Наблюдателя" — органов, отражавших дворянско-помещичью идеологию. „Московский Телеграф" резко обрушился на книгу Андросова, иронически называя его „достойным соотечественником, соперником басурману Мальтусу и другим невеждам-чужеземцам, которые ломали голову, но никак не могли решить вопросов политической экономии, о соразмерности народонаселения со способами прокормления и воспитания народного". Н. И. Мордовченко в специальной работе, посвященной „Московскому Наблюдателю" (читано в качестве доклада в секции истории домарксистского революционного движения Ленинградского отделения Общества политкаторжан), связывает полемику вокруг книги Андросова с проблемами мальтузианства как „своеобразное отражение мальтузианских идей на русской почве". Правительственными кругами книга Андросова была встречена также враждебно, поскольку в ней определенно вскрывался рост пауперизации масс и поступательное движение последних. Эта „Записка" создала ему славу „оппозиционера" и лишила возможности занять кафедру в Московском университете, к которой он усиленно готовился и защитил в 1833 г. диссертацию. Тем не менее позиции Андросова отнюдь не являются прогрессивными и его „народолюбие" носит чисто дворянский характер, как например и „прогрессивное народолюбие" поздних славянофилов, с которыми в сущности он теснейшим образом связан.

41. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

Книжные ваши поручения исполнил я с усердием, в доказательство того прилагаю записку Гр[ефа] о цене изданий Виланда, Лессинга,

Гердера, Тика и Жан-Поля, последние два in 8, прочие [нрзб.] на веленевой бумаге. Еще не поручал Гр[ефу] велеть переплесть их, ожидаю вашего решения: эти ли издания вы желаете иметь, или другие, старее, но может быть красивее. Тик — не полный, позднейших и лучших его повествований нет в этом издании; но драмы его — все есть. Гр[еф] явил себя готовым снабдить вас недостающими томами купленных в Дерпте сочинений и — ждет реэстра оным. Я сообщил вам титулы 2-х библ[ейских] слов[арей]: какой вы изберете — если вспомните их имя и прозвание? — И Михелиса и все прочее велю отправить, когда прикажете. Павского Толков[ая] Псалтирь пошлется. Семенова альманах отложен до будущего года; но едва ли выйдет. — От меня он не получал ваших стихов; Поэт послан вами чрез Погодина — Смир[дин] издает альманах из статей, полученных за его обед; заказал 10 гравюр и потому не надеется привести все к концу прежде 1834 г. Жук[овский] прислал ему для альманаха сказку о Берендее; я видел ее, но не успел прочитать. Крылов две басни; Сенковск[ий] (переводчик Хаджи-бабы) какую-то восточную повесть. Очкин издает теперь Пчелу, вместо умирающего от горячки Греча; прежде он переводил Сеев курс Практич[еской] полит[ической] Экономии; не знаю, далеко ли ушел в этом предприятии. — Бальзака перевел некто Владимир Бурнашев; некогда воевавший с Меркур[ием] в Suret, а теперь описывающий фабрики в Пчеле. Сотрудника его не знаю.

В свете сего письма предстает пред ваши взоры изданный мною Зейденштюккер. Прошу принять его не со строгостию судии, но со снисходительностию патрона. Это мой первый блин. Имею все основание опасаться, что он вышел комом. В извинение свое могу только сказать: я пек его более для того, чтоб есть самому, нежели чтоб потчивать других.

Прошу вас предстательствовать у Алек. Мих. обо мне и вымолить прощение за то, что не пишу к нему особо, а на обороте сего листа.

Извините, что неучтиво прошу вас принять моего Зейденштюккера, которому вы обещали радушный прием далеко не по заслугам его. Что же издание ваших стихотворений? — сам такой вопрос не слишком нескромен с моей стороны — и что же книги Степанова? Повторяю просьбу не сердиться на меня.

В. Комовский

С. Б. П. 7 июля 1832 г.

Подлинника этого письма нет; оно печатается по копии, находящейся в бумагах Садовникова.

Альманах Смирдина — знаменитое „Новоселье“ — составлен из произведений писателей, присутствовавших на торжественном обеде по случаю перехода книжного магазина и библиотеки в новое помещение. Альманах вышел в 1833 г. В предисловии издатель писал: „Гости-литераторы из особенной благосклонности ко мне вызвались, по предложению Вас. Андр. Жуковского, подарить меня на „Новоселье“ каждый своим произведением, и вот дары, коих часть издаю ныне“. В „Новоселье“ были помещены: „Домик в Коломне“ Пушкина; „Сказка о Царе Берендее“ Жуковского; басни Крылова; стихотворения Баратынского, Гнедича, Вяземского, Козлова. Из прозаических вещей: „Бал“ и „Бригадир“ — В. Ф. Одоевского (подписано: О. К. В. Ф.); „Антар“ Сенковского и его же, под псевдонимом „барон Брамбеус“, „Незнакомка“ и „Большой выход у Сатаны“; затем произведения Ф. Булгарина, Ор. Сомова, В. Панаева, Б. Федорова, К. Масальского.

Обед у Смирдина явился крупным событием, которому современники придавали значение не только узко литературное, но и общественное; большое внимание этому обеду уделяла и печать. Помимо заметки в „Молве“, о которой упоминает Языков, была помещена обширная статья в „Северной Пчеле“ (1832, № 45), написанная самим Н. Гречем в виде письма к В. А. Ушакову в Москву. „Празднество сие останется незабвенным в памяти нашей словесности, — писал Греч. — Почтенный Смирдин, явивший

себя достойным посредником между писателями и публикой, займет в истории нашей литературы первое место после Новикова, оживившего книжную торговлю в семидесятых и осьмидесятых годах".

Ушаков, прочно связанный с „Московским Телеграфом", еще более решительно и четко подчеркивал общественную сторону этого события. В этом обеде он хотел видеть зародыш некоторой общественной формы связи писателей, создание некоего „литературного ареопага", который должен оживить и оздоровить русскую словесность („Северная Пчела" 1832, № 78).

Перевод Сэя вышел в 1833 г. под заглавием „Катихизис политической экономии или краткое учение о составлении, распределении и потреблении богатств в обществе". Сочинение Ж. Б. Сея". СПБ., 1833. Фамилия переводчика не обозначена.

Зейденштюккер — перевод руководства Зейденштюккера „Начальные правила для обучения французскому языку", вышедший в 1832 г.

42. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1832. Июля 8

Потрудитесь сказать Грефу, чтоб он выслал в Корсунь на имя Петра Мих. Языкова: по почте, нимало не медля и минуя всяких затруднений и если можно не в листах, книги:

Hahnemann's. Die chronische Krankheiten. 4 Theile	— 37 к.
Hahnemann's. Kleine medicinische Schuften. 1829	— 15 „
Hahnemann's. Handbuch für Mütter, 1796 (нет ли издания новее? а если нет, так это).	—
Hartmann's. Handbücher der Diätetik 1830	4 р. 50 „
Hartlaub's. Kunst die Gesundheit zu erhalten. 1831	3 „ 50 „
Hartlaub's. Katechismus der Homöopathie. 1829.	3 „ —
Hartlaub's und Frinks. Kleine Arzneimittellehre. 1829 . .	— 30 „
Caspari's. Katechismus der Homöop. Diätetik von gross. 1831.	2 р. 50 „
Hufelandj's. Die Homöopathe. 1831.	1 „ 50 „
Trinks. Die Homöopathie—Ein sendschreiben an Hufeland .	2 „ —
Gross. Die Homöopatische Heilkunst und ihre Verhältniss zum Staate	3 „ 75 „

Из сего требования вы можете заключить о решительном действии Гомеопатии во благо бытия человеческого. Доныне я сам не веровал в ее пользу; но теперь убежден вовсе, многими примерами, которых был и есть очевидец—и даже опытом над самим собою по части зубной боли. Когда-нибудь я вам напишу обо всем об этом подробнее, да и вы удивитесь, уверуете и умудритесь!

Означенные книги нам нужны как можно скорее; следс[твенно] побудите Грефа отправить тот же час, все, что есть у него под руками, а остальное при первом возымении...

Из Сев. Пч. явствует, что Жуковский отбыл в Любек — какой это, В. А. что ли? Эге! если он.

Потрудитесь отдать и этот здесь прилагаемый список книгам тоже Грефу, да пришлет он их сюда с иными, прочими, но не спеша сломя голову.

Н. Языков

43. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1832. Июля 19

Письмо ваше (от 22 Июня) к брату—получил, распечатал и прочел я нижеподписавшийся: зане имею не только позволение, но и поручение от кого следует поступать с вами таким образом. Брат, конечно, сносится с вами из заволжских мест своего пребывания. Благодарю

вас за достохвальное и любезно-верное исполнение наших просьб: закажите решительно Грефу заготовить, по писанному, все полные собрания сочинений оных великих немцов; и Смирдину прислать сюда Путешествие ко св. местам — если у него есть, уж кстати и нововышедшую карту Палестины. Отрывки из этого путешествия слышал я из уст самого автора, года с два тому назад, в новом Иерусалиме: оно, сколько мне помнится, написано декламаторски, провозглашательно вроде Шатобрианова: но, несмотря на то, его иметь мне надобно уже и по той причине что „любопытство сродно человеку".

Дерптской Журнал едва ли будет путен по русской литературе знающих по-русски—там только двое: Борг и Андерс (этот участвует ли полно? а знатный человек)—да и они, особливо первый, никогда не преследовали, как следует, хоть это дело можно делать, сидя на месте.

Здесь еще никто не нашелся, могущий прочесть роман Полевого: начинали все умеющие читать; брат Ал[ександр] взял было его с собою в страны башкирские: не одолеет ли там, где много ему скуки и следств. литературные требования снисходительные?—да не тут-то было; роман уже возвратился сюда непрочтенный.

На днях прочел я: Барнава—роман Жанена: хорошо, потому что Мирабо—а вообще много болтовни и пустяковины, а предисловие писано, хоть бы нашим Фад. Венед. Что же он? Слухи были, что сочинил Русскую Историю.

Прощайте покуда.

Н. Языков

Да! Еще Смирдину: прислать сюда на имя П. М. в Корсунь Практическое и умозрительное земледелие. Соч. Сира Джона Синклера (три экземпляра) — Основания Землед. Химии С. Г. Дэви (один экз.). О сохранении хлеба в подземных ямах (один экз.).

Журнал, о котором упоминает Языков, начал выходить с 1833 г. под названием „Dörpater Jahrbücher für Litteratur, Wissenschaft und Kunst". Впервые об этом журнале сообщила „Сев. Пчела" (корреспонденция Ф. Булгарина из Дерпта, № 82, 1831); эту заметку вероятно и имеет в виду Языков.

[2] Фон-дер-Борг, Карл — дерптский литератор, выдающийся переводчик русских поэтов на немецкий язык („Poetische Erzeugnisse der Russen", 1820); позже дал ряд переводов из Языкова и поместил в названном журнале большую критическую статью, посвященную его поэзии (1833). С фон-дер-Боргом Языков был связан и тесными личными отношениями: первый год своей студенческой жизни он даже жил у него на квартире.

[3] Андерс, Эмиль — библиотекарь Дерптского университета, товарищ Языкова по университету, автор интересных воспоминаний, где много говорится и об Языкове (Em. Anders. „Erinnerungen". 1810—1840. „Baltische Monatschrift". B. XXXIX, 1892); в них между прочим Андерс сообщает, что благодаря Языкову и Татаринову (университетский товарищ Языкова, сын сестры А. И. и Н. И. Тургеневых) имел возможность хорошо ознакомиться с русской романтической поэзией.

[4] „Барнав"—роман Жюль Жанена, о нем упоминает Пушкин в письме к Е. Хитрово: „Но Барнав! Барнав! По характеристике Б. Томашевского, „роман этот представляет род политического памфлета, направленного против Орлеанской династии" („Письма к Хитрово", стр. 241). „Политическая позиция автора—ясно роялистская, и революцию он берет в момент ее ущерба, когда начинают проявляться определенные контрреволюционные тенденции, которые автор расценивает положительно, видя в них здоровый корректив разрушающим силам революции" (ibid).

44. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

С.П.Б. 23 июля 1832

Вся требуемая вами гомеопатическая литература отправится к вам немедленно; или, говоря согласнее с истиною, промедлив только время, потребное на брошюрование. Вы желали иметь книги не в листах. Два

или три сочинения, не оказавшиеся у Грефа налицо, выписываются и предстанут пред вами впоследствии. Ганеман и здесь приобрел последователей и чтителей. Не случилось ли вам видеть хвалы гомеопатии, возданные Мордвиновым и русскою и французскою речью? Шишков также живет по предписаниям гомеопатии, и—как говорят другие, и сам он уверяет—оживает и молодеет. Свидетельство сих двух маститых сановников должно убеждать, ибо оба страждут таким недугом, от которого медицина доселе не умела вылечивать—старостью. Ничего не смысля ни в медицине вообще, ни в гомеопатии в особенности—не берусь судить о ней; но полагаю, что эта метода (так же как и громкая некогда, теперь уж брошенная, анти-докторская система Лероа) может быть особенно полезна для предохранения от болезней, и для лечения в начале оных. Предписывает диэту и не нудит неумолимо человеческой натуры врачебными средствами; следственно предоставляет их родным силам человека восстановить расстройство организации, устраняя только помехи и все вредоносное. Кажется, что это самая умная метода лечения, если справедливо, что природа, сотворившая человека, хитрее своего творения.

Алекс. Михайловичу, видно, не сидится. Да возвращается он скорее и да оснуется прочно, твердо и постоянно!

Когда же вы предполагаете начать печатать ваши стихотворения? Я советовал бы приступать к делу (если только мне позволено давать совет)—чтоб поспеть к Новому Году.—У нас любят подать на Новый Год.

Моего Зейденштюккера отослал я не по почте, как сначала предполагал, а вместе с другими книгами Ал. Мих. чрез Грефа и Маке. Вторично представительствую у вас о снисходительном приеме сего птенца моего, прося не помянуть грехов юности моей.

Здесь носятся слухи, будто изд[атели] и сотруд[ники] Евр[опейца] будут участвовать в затеваемой Пушк[иным] газете. Правда ли это? Доселе и о самой газете нет официальных вестей.

Путешествие Ж[уковского] принимаете вы слишком серьезно.

Правда, он поехал на теплые воды, поехал даже вместе с А. И. Тургеневым], но это путешествие, как я слышал, действительно предписано врачами. Впрочем из Москвы вы можете получить вернейшие известия. Читали ли вы Акад. Вед.? Прощание Ж[уковского]? Прочтите, да веру имате. Телеск[оп] бунтует против Академии. За статью о книге Андросова уже досталось цензору. Увар[ов] пожаловался на „неблагопристойные и неосновательные выражения" насчет Академии. Замечательно, что Лив[ен] в выговоре, написанном по жалобе Ув[арова], велел выпустить слова: и неосновательные. — Такова сила истины.

Поклонитесь Ал. Мих.

В. Комовский

45. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

1 августа 1832

И Смирдину и Грефу заказано по велению вашему. Тик не оказался в наличности у Грефа; он всегда таков: когда просто только справляешься—все есть и все возможно; потребуешь действительно—и того нет и другого нельзя.

Если я не ошибаюсь, то Тик вам и ненужен, вы требуете полных собраний; а издание Тика не полно. Прошу ваших назиданий о сем

и о том, как поступить с прочими книгами, по надлежащем облечении их в переплеты?

Книги Синклера и Деви, требуемые вами для братца П. М., еще не поступили в продажу; впрочем уже отпечатаны, может быть, отсылка их замедлится на несколько дней.

Барнава и я прочитал, хотя и мало читаю франц[узских] романов; должен признаться, что одолел его не без труда. О Janin'е я нахожу весьма справедливым мнение одного из его критиков, если не ошибаюсь в Revue Enciclopédique: никто в мире не напишет лучше Жанена статьи— но никого нет неспособнее написать книгу. От того в Барнаве есть части дивные, но его фельетон в Journal des Débats — прелесть. Жаль что Janin пишет из денег! Он и doctrinaire и Карлист. Дошли ли до вашего сведения ямбы Барбие, вот сатирик и поэт, какого нужно французам. Может быть чересчур ругается; но иначе нельзя говорить с французами. Сила мыслей и сила выражений в особенности необыкновенные. Думаю, что вам они понравятся. Ямбы эти запрещены (бог весть за что!), потому для вас выписываю кое-что.

В. Комовский

Оригинал утерян; настоящее письмо печатается по копии, сделанной по поручению Д. Н. Садовникова. Французские стихи, о которых упоминает Комовский, в копии не приведены.

46. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1832. Августа 11

Паки и паки благодарю вас за благосклонное исполнение наших поручений, коими так безжалостно мы вас отягощаем. Потрудитесь отдать Грефу его запись, вами сюда пересланную, и поощрить его словом уст ваших заготовить по ней книги для меня нижеподписавшегося. Мы нетерпеливо ожидаем от него множества книг гомеопатических, тем паче, что ежедневные решительные уверения в истине Ганнеманова врачевания. Да нельзя ли, к списку книг, о коих говорилось в начале сего письма, присовокупить и Гёте!

Брат Ал[ександр] находится еще за Камою: я вызываю его обратно во-свояси: боясь, что он там одичает и сделается уже вовсе нелюдим; потому что в нем и то уже заметны некоторыя черты долговременного пребывания между народами степными, в странах пустынных и проч.

Поздравляю вас с новою монаршею милостию излиянную на министра, под сению коего вы бодрствуете. Прочтите сказку о Царе Берендее. Над[еждин] глупее всех наших журналистов: он вполне заслуживает себе наименование осла, как замечает брат Алекс[андр].

Прощайте покуда.
Ваш покорнейший
Н. Языков

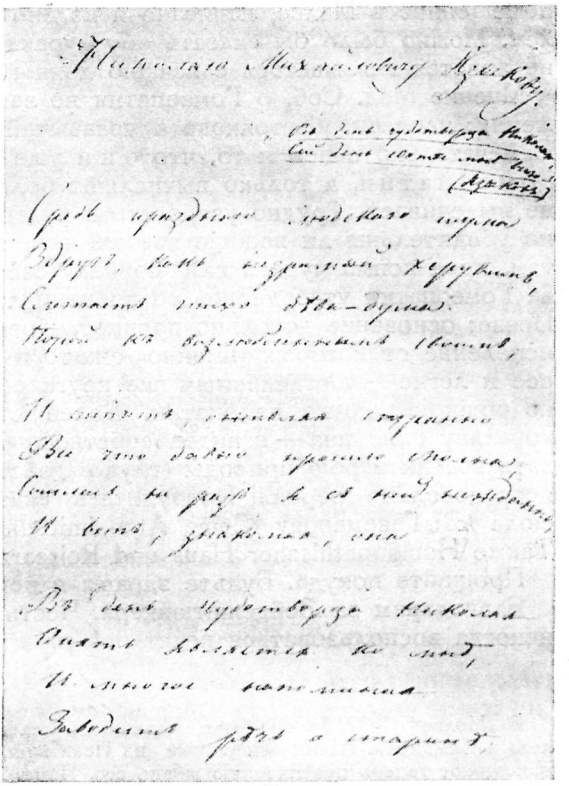
47. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1832. Августа 31

Благодарю вас и за неоставление меня письмами вашими и за фр[анцузские] стихи вами мне доставленные: славу богу: могучесть в них необычайная в наш [век], когда расслаб весь смертный род. Я уже послал вам решение мое по части книг емлемых мною от Грефа: что нужды, что не все издания, полный можно будет вперед их достать: а между тем лучше какая-нибудь погода, чем никакой!! Нельзя ли, если не поздно, к ним же присовокупить и Библию Михаел[иса]? Мне в ней

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА АВТОГРАФА ПОСЛАНИЯ КАРОЛИНЫ ПАВЛОВОЙ К ЯЗЫКОВУ

Институт Русской Литературы, Ленинград.



великая нужда или, так сказать, необходимость—чувствуемая уже более года—а это чувство очень, очень неприятно, как не дай Бог вам знать.

Жду Вашего Зейденш[тюккера], вы называете сей подвиг грехом юности. Это выражение не покажется странным только тому, кто ведает, что праведники вообще называют себя грешниками! Но не так церковь православная.

Пуш[кин] зовет Кир[еевского] в свою газету—и моим стихам отверзает врата гостеприимные туда же, говоря что ему потребуется стихов не много—следст. мня [?] отложительно [?], дискать, не будет.

Об издании моих стихотворений я не могу ничего сказать решительного, покуда не переговорю об этом лично с братом Алекс[андром], который возвратится сюда в половине сентября: зане в руце его власть предержащая.

Прощайте покуда.

Н. Языков

48. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1832. Сентября 23

Изъявите мою почтительную благодарность достопочтенному Грефу за доверенность его к слову вашему: пусть книги, которые он мне приготовил или приготовляет, побудут до поры до времени у него: теперь мне некуда их адресовать и в Москву и сюда вовсе невозможно доставить прежде наступления зимы, а в то время я снесусь с ним окончательно. Деньги, если он желает, могу ему прислать хоть прежде, даже хоть текущею осенью. Не забудьте о библии Мих. Известие обо мне,

помещенное в Молве, написано и издано в свет каким-то олухом и вралем. Можно было бы сказать ему дурака за это—во всеуслышание—да не хочется связываться с всякою дрянью!

Мнение Мед. Соб. о Гомеопатии не заслуживает ни малейшего уважения: написано бестолково и чрезвычайно пристрастно и явно ложно. Замечательно в нем и то, что о н и уже не опровергают самых н а ч а л г о́ м е о п а т и и, а только вычисляют болезни, коих она, по их мнению не вылечивает. Трудно уверовать в чудеса производимые ею — правда: но убедительны ли вообще все те запретительные толки против нее тем, пред коими чудеса сии воочию совершаются? В наших краях слава Гомеопатии утвердилась со времени лечения холеры Петерсоном, в Пензе: основание довольно прочное. Досадно видеть список болезней, исцеление от которых именно она-то и производит решительнее, скорее и легче — поставляемым вне круга ее действий, который несравненно обширнее круга аллопатии. Более ста случаев, громко вопиющих во славу Ганемана — я видел собственными глазами. Странно же называть все их игрою природы (глупо действием диэт напр. у крестьян): игра довольно верная! Потрудитесь сказать Грефу, чтоб он прислал сюда же: Ганеманову Kleine Arzneimittellehre. У нас за ней остановка. Также Homöopathischer Haus und Reisearzt von D. Kaspari.

Прощайте покуда. Будьте здравы и невредимы.

Благодарим за Зейденштюккера. Честь вам и слава — я надеюсь им некогда воспользоваться по старой памяти.

Н. Языков

В „Молве" (1832, № 68) была напечатана следующая заметка: „Языков уехал на лето в Симбирск. Песни священные (из Псалтыря, Экклезиаста, книги Бытия и пр.) наполняют теперь поэтическую жизнь его. Пора, пора перестроить звучную лиру..." „Молва" вообще уделяла много внимания Языкову, что невероятно раздражало последнего. В том же году в ней (№ 20) было помещено в отделе „Литературные новости, слухи и надежды" сообщение о предполагаемом издании стихотворений Языкова в двух томах.

49. В. Д. КОМОВСКИЙ — Н. М. ЯЗЫКОВУ

Я жду с нетерпением первого письма от Александра Михайловича, в о з в р а т и в ш е г о с я уже к вам; оно должно мне служить радостным провозвестником ваших стихотворений; зане о н вседержитель. Пора вам порадовать всех нас, сиротствующих.

Пушкина газета доселе еще не подает знаков жизни. Греч уверяет, будто он хочет и ищет войти в семейство его и Булгарина, действовать в Сев. Пчеле, а Сына Отечества преобразить в Revue вроде английских трехмесячных. Что из всего этого выйдет — увидим. Сын Отечества очевидно издыхает; если умрет—жаль; с ним пропадет и в о з м о ж н о с т ь хорошего журнала. Нового на том же основании не позволят.

Даль издает свои сказки; Ценз[ура], говорят, очень милостиво обошлась с ними. Смирдин купил их за 3000 руб. — славно!

Печатают повести А. Бе[стужева]—четвертая и последняя часть приводится к концу. Это дело славное. В собрание войдут и повести, помещенные в Полярной Звезде.

Смирд[ин] готовит к февралю альманах — хочет также издать Батюшкова.

Вот вам и все новости петербургские, какие только мне известны, а их не может быть много, за тем, что мало трусь между наших литераторов.

Прощайте до радостных вестей ст вас.

В. Комовский

26 сентября 1832

„Сказки" В. Даля вышли под следующим названием: „Русские сказки из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные казаком Владимиром Луганским. Пяток первый. Санкт-Петербург, 1832". На титульном листе эпиграф: „И много за морем грибов да не по нашему кузову".

Каждая сказка в книжке Даля снабжена особым посвящением. Сказка № 4 „Новинка-диковинка или невиданное чудо, несравненное диво" посвящена Н. М. Языкову. Сказка о Сержанте, которую упоминает (в письме 51) Языков, открывает сборник; ее полное заглавие таково: „О Иване молодом сержанте, удалой голове, спроста, без прозвища, без роду, без племени".

Известие Комовского о благосклонности цензуры оказалось преждевременным: сказки уже по выходе в свет были задержаны и конфискованы (см. письмо 52).

О Бестужеве-Марлинском Языков упоминает неоднократно и в данной переписке, и в письмах к брату. Этот повышенный интерес к Марлинскому чрезвычайно характерен для Языкова. Он решительно ставил Марлинского на первое место среди русских прозаиков, явно предпочитая его прозу пушкинской. „Лейтенант Белозор,—пишет он брату,— меня восхитил. Какой мастер своего дела А. Б! Какая широкая кисть и какой верный взгляд и искусство ставить предмет перед глазами читателя, живо, ярко и разительно. Что после или же далеко лет за восемь прежде этого Белкин" (Неопубл. переписка. ИРЛИ. Письмо от 22/XII 1833 г.).

Белинский несомненно проявил большую чуткость, когда сопоставлял прозу Марлинского и поэзию Языкова: „Смелые, по их оригинальности, стихотворения Языкова имели на общественное мнение такое же полезное влияние, как и проза Марлинского: они дали возможность каждому писать не так, как все пишут, а как он способен писать, следственно дали каждому возможность быть самим собою в своих сочинениях".

50. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

Александр Михайлович поручил мне заказать для него разные платья у Буту, но сей художник, вновь прибывший из Парижа, не имеет мерки Алек. Мих. Остававшийся у него комиссионер сего артиста Нистрем возвысился до самостоятельности и, занимая несколько лет место своего патрона, не захотел вновь ему подчиниться; он теперь выставил особую вывеску. Я не хотел было поручать Буту шить платья для Алек. Мих., но он обязался взять назад все свое творение, если оно не заслужит одобрения.

Об этом спешу сообщить вам, покорнейше прося, по вашему благоусмотрению, исходатайствовать должное мне повеление от Алекс. Мих., который, может быть, уже вместе с вами отъезжает. Нельзя ли успеть прислать сюда мерку?

Слышали ли вы об убиении А. Шишкова?

В Тверском б л а г о р о д н о м(?) собрании Чернов получил от Шишк[ова] оплеуху за насмешки над женою Шишк[ова]. Они передрались; назначили дуэль; но Чернов не рассудил за благо дожидаться сроку; засел на лестнице и при выходе Шишк[ова] заколол его разбойнически.

Это совершенно ново в Русской Литературе.

Прощайте!

Ваш покорнейший

В. К о м о в с к и й

5 октября 1832

Несколько позже ту же новость об убийстве Шишкова 2-го сообщил Языкову Петр Киреевский: „В Твери случилось недели две тому назад ужасное происшествие: зарезали молодого Шишкова. Он поссорился на каком-то бале с одним Черновым. Чернов оскорбил его, Шишков вызывал его на дуэль и, чтобы заставить его драться, Шишков дал ему пощечину; тогда Чернов, не говоря ни слова, вышел, побежал домой за кинжалом и, возвратясь, остановился ждать Шишкова у крыльца, а когда Шишков вышел, чтобы ехать, он на него бросился и зарезал его. Неизвестно еще, что с ним будет, но замечательна судьба всей семьи Черновых: один брат убит на известной дуэли с Новосильцовым, другой на Варшавском приступе, третий умер в холеру, а этот четвертый, и говорят, последний" (Неопубл. переписка. ИРЛИ).

51. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1832. Октября 20

Я с часу на час ожидаю возвращения брата Алекс[андра] из стран заволжских и закамских. Не знаю, что сказать вам об печатании собрания моих стихотворений: не лучше ли отложить его—даже хоть в долгий ящик? Впрочем и это дело вовсе зависит от брата Ал[ександра], потому что я сам имею честь от него же зависеть; им, так сказать, живу и движусь!

Сердечно благодарю вас за известие о печатании повестей А. Б[естужева] и повестей же Даля: одну из сих последних (именно о Сержанте) я знаю: тут есть дух русской. Мне кажется, что наши журналы понапрасну жалуются на современную нашу лит[ературу], в нынешнее время более нежели когда-нибудь является истинных талантов на ее поприще. Мне приходит даже мысль, что в наше время суждено процвесть русскому Парнасу, так же как испанский процветал при Филиппе III Не забудьте поручить Смирдину доставить для нашего обихода экземпляра 3 повестей Бест[ужева] и Даля—при первом их появлении. Еще просьба—как бы нам снестись с ним лично о присылке книг, выходящих в Петербурге (мы должны ему—пусть он пришлет сюда счет, и этим начнется дальнейшее наше сообщение). Ширяев нам крайне надоел: ведет дело свое чрезвычайно глупо и не чисто.

Да где достается: история Княжества Псковского—соч. М[итрополита] Евгения? Это дело очень важное—а что она уже напечатана видно по М[осковским] Ведомостям.

Здесь очень много разбойников: земская исправа благоприятствует им размножаться и бесчинствовать. В начале лета было слышно только о 2 или 4—а теперь уже целые толпы и по разным дорогам грабят беззащитных ездоков!!

Прощайте покуда. Здравствуйте. Советую вам посмотреть Гомео[патическую] библиотеку—изд. в Женеве на фр[анцузском]. Мы все рады хоть целовать Грефа за то, что он прислал ее.

Приписка А. М. Языкова:

Сейчас получили ваше письмо от 5 окт. Пусть его [нрзб.] увидим, что из этого выйдет. Поступок искренно геройский. Обо всем этом на следующей почте объяснюсь подробней.

Ваш А. Языков

52. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

Поздравляю Ал. Мих. и вас с его переездом в Европу из Азии, по крайней мере, из полу-Азии. Желаю усердно и искренно, чтоб мощною и деятельною рукою принял он благо- и право правящие бразды своей власти.—Дабы подвигнуть его сердце и волю, я готов убеждать его таким же красноречивым словом, каково Гермогеново, которое разбирается в С. Пче[ле] по заказу Уварова. Да процветет русский Парнас под его, хотя и не-филипповским, скипетром и принесет плод свой во благовремение.

Кстати о Филиппе! Сказки Даля были забраны полици[ей] с ними и сам Даль и все бумаги его; он с бумагами высвободился, а сказки и доселе под арестом. Толкуют, будто им снова позволено будет явиться на белый свет в торжестве и славе; но мне это невероятно. Даля спасли без сомнения, его не-литературные подвиги в Турции и Польше, известные Государю; а цензору,—бедняку миролюбивому,—нагоняй!

Хорошо, что не напечатана, как сначала предполагалось, сказка о Калиныче, который тузит и святых и грешных;—была бы тогда возня

еще и с попами. Эту сказку, позволенную также цензурою, См[ирдин] припасал для своего Альманаха—теперь едва ли можно и думать об ней.

Из всего этого вы усмотрите, что прислать к вам 3 экз. нельзя. Не получили ли вы их от самого Даля, ибо одна из сказок посвящена вашему имени? Я еще не теряю надежды достать для вас хоть 1 экз. Первая сказка—ваша знакомая, мне нравится более всех. Хорошо рассказана и четвертая.

Вид[ели] ли вы стихотв[орения] Давыдова? Жизнеописание особенно примечательно; говорят оно написано Ермоловым. Если так, то это доказывает, что оппозиция, т. е. такая, к которой непозволительно придираться, и которая, если она была у нас, ограничивалась словом,— уже переходит в литературу; перестает брезгать ею, или, что то же, становится грамотною.

История Пскова пошлется к вам Смир[диным[, также счет о долге, в уплату коего получены от меня 45 р., принадлежавшие Ал. Мих. Молите его, со мною и за меня, чтоб не скрывал подробных известий о своем странствии и своих правительственных действиях теперь.

Пов[ести] Бел[кина] выйдут и к вам пойдут в 3 экз. на днях.—В конце октября отправился к Ал. Мих. по тяжелой почте Цесарь и его счастие, т. е. платья, шитые героем Буту наобум. Напомните А. М., что портной обязался взять все назад, если будет не хорошо. Напомните и ему и себе о вашем покорнейшем

В. Комовском

С. П. Б. 8 ноября 1832

Жизнеописание Давыдова, приложенное к собранию его стихотворений, принадлежит самому поэту и является в полном смысле слова автобиографией. Слух об авторстве Ермолова чрезвычайно любопытен для характеристики фрондерских настроений некоторой части дворянской интеллигенции. До сих пор ни в переписке, ни в мемуарах, относящихся к этому времени, не встречалось упоминаний о подобном слухе.

53. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

С. П. Б. 4 января 1833

После рождества получив рукопись, я отправил ее на другой же день к цензору; а сегодня возвращена мне первая половина с надписью: иди ты в мир—да слышит он пророка. Доселе цензор соблазнился только известными двумя стихами в первой пиесе, и одним стихом в Послании:

На шум народных мятежей.

Я ожидал более строгости, и уже приготовил несколько экземпляров природы, в качестве подставных рекрутов. В первой пиесе предполагается следующая подделка:

Приветно ли сияние денницы
Ужасен ли судьбины произвол.

Употребить курсив на первой странице не совсем ловко; но отсутствие рифмы: денницы и голубица долженствует служить в назидание, кому о том ведать надлежит, и кто имеет уши, да слышит.— Другой стих, вероятно, придется вовсе выпустить.—Завтра начнется набор у Плюшара; формат такой, в каком изданы баллады Жуковского; бумага такая же. По желанию вашему, переговорив с Смирдиным о чем следовало, предполагаю: напечатать 1 200 экз. и за каждый назначить 5 или 7 руб., всего будет от 10—15 печ. лист., на что потребуется от 30 до 35 стоп, полагая по 30 р. за стопу; до по 40 или 35 за

печат. лист все издание обойдется в 1 300 или 1 500, след. присланного вами билета Сохр. Казны, с причитающимися процентами—будет совершенно достаточно. Торопиться буду, елико можно; первый печат[ный] лист поедет к вам немедленно. По нем можно будет точнее определить число листов во всей книге.

Вы дали мне право губить и перемешивать ваше достояние; но поскупились на позволение прибавлять, разумеется, вашего же добра. Пробегая рукопись (а это делалось спешно, чтобы не губить времени), заметил я, что вы обидели православный народ русский, утаив многое, что ему принадлежит законно, ибо было уже напечатано, напр. Песнь Новгородцев, обе песни Баяна: I. Где вы, краса минувших лет и 2. О бранный витязь, ты печален, и еще многое другое.

Положим, что Песни Баяна могут показаться соблазнительными; но дивная песнь Новгородцев чем провинилась; Магницкого теперь уже нет.

Семенов выманил для своего альманаха у Сомова данные ему вами для Сборника Стихотворения; и в этом извиняется перед вами через меня. На днях должен сей альманах явиться.

Прощайте.

В. Комовский

„На шум народных мятежей"—18-й стих из пьесы: „К В[ульфу], Т[ютчев]у и Ш[епелев]у":

13: В те дни, мила, являлась мне
Надежды творческая слава,
Манила думы величавы
К браннолюбивой старине:
На веча Новграда и Пскова,
На шум народных мятежей,
В походы воинства христова
20: Противу северных князей;

В издании 1833 г. этот стих (18) заменен точками.

Первая пьеса в издании 1833 г. „Поэту"— сообщенная Языковым в письме от 16 дек. 1831 г. и в том же 1833 г. напечатанная в альманахе Семенова „Комета Белы". Текст этих упорно не пропускавшихся цензурой строк в издании 1833 г. имеет такой вид:

Приветно ли сияние денницы,
Ужасен ли судьбины произвол?
Невинен будь, как голубица,
Смел и отважен, как орел.

(Подлинную редакцию см. в письме 15).

Чрезвычайно характерно, что Языков не включил в новое издание наиболее „вольнолюбивых" своих стихов, как „Песни баяна", „Новгородская песнь" и др., и в то же время в этой же книге поместил такую весьма слабую и по форме пьесу, как „Хор, петый в московском благородном собрании по случаю прекращения холеры" („Велик господь! Земля и неба своды свершители судеб его святых"). „Новгородскую песнь", уступая настояниям Комовского, он позже включил, но даже не пытался восстановить первую редакцию, а перепечатал с теми искажениями, с какими она была помещена в „Северной Пчеле" 1825 г.

54. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

С. П. Б. 20 января 1833

Вы, верно, ждете известий о ходе нашего типографического дела; сердитесь на меня за неисправность и медление—и правы совершенно,—мне досадно не менее вашего на Плюшара, который целую неделю проводит меня. Еще на прошедшей, в четверток, был изготовлен корректурный лист первый, но и доселе не напечатан—день за день обманывали меня обещаниями—и все ничего нет—работники и станки за-

няты, преимущественно альманахом Смирдина, который готовит свое Новоселье к 18 Февраля—дню знаменитого обеда.

Сегодня я просмотрел корректуру второго листа. Он оканчивается Олегом. Прождав бесполезно с лишком неделю, в недежде утешить вас лицезрением первого листа во всем параде, не хочу медлить более и оставлять вас без всяких сведений. На будущей неделе, в половине, надеюсь непременно послать к вам если не первый и второй листы, то один первый. В утешение ваше, а себе в некоторое извинение, должен сказать, что первый лист, как и всякое начало, труднее прочих—перемены в формате, расстановка строк и проч. и проч. причиняет проволочки, которые впредь уже не могут встречаться. Буду погонять, елико только возмогу.

В Тригорском изменен стих „и сладким именем граждан", тако: и гордо именем граждан; зане не личит русскому находить сладость в названии гражданина. Почему бы кажется? Ведь это значит: рябчик, как всем ведомо.

Посылаю при сем расписку в расходе на бумагу. Из ломбарта по билету выдано мне 1 326 р. 60 к. След. достаточно на все издержки.

Семенов сказал мне, что послал к вам экз[емпляр] своего альманаха, который довольно плох. Сказка, которая кажется мне лучшею статьею из прозаических, написана Одоевским.

Я поспешил дать вам хоть какие-нибудь вести о ходе операций; в следующий раз надеюсь показаться перед вами менее неисправным.

Покуда прощайте и не гневитесь.

В. Комовский

55. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1833. Января 24. Симбирск

Паки и паки благодарю вас за ваше ревностное и победоносное действование во благо моих стихотворений: явление, которому равного должно искать в летописях божественной Геллады и мужественного Рима,—и невиданное в наш век пошлости и эгоизма!!

Поправки вами совершенные—вполне соответствуют своему предназначению и меня утешают. Продолжайте поступать и со всем прочим двусмысленным и неблагонадежным такожде. Не забудьте же разыскать достаточное количество рядовых точек, по причинным местам оного издания. Песнь Новогородская да внидет в ассамблею по вашей к ней милости.

Сюда прислано из Москвы весьма горестное известие литер[атурное] говорят, что Б[естужев] убит на приступе Галерийском.

Сделайте мне великое одолжение: обходитесь с моими стихотворениями построже: изгоняйте cum infamia, недостойные. Мне помнится, что сих последних найдется несколько в общем собрании, впущенных или оставленных мною единственно по родственным связям.

Брат А[лександр] уехал на несколько дней в деревню.

В[аш] Н. Языков

56. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

Налегке спешу отправить к вам первые два листа; воззрите на оные—и дайте мне узнать ваше чистосердечное мнение.

Вот вам дальнейшие сведения о требованиях Цензуры:

1) в пиесе А. В. Т—у

И процветает немчура; заменено по вашему указанию мишурою.

Науки, вольность, ум и Русь; вольность заменена славою.

2) Подражание псалму 136-му не выставится 1830 г. в избежание соблазнительных применений.

3) В Кудеснике подвергавшийся уже однажды истязанию стих переменен таким образом: Счастливый дарами природы; это уклонение от прежней, в альманахе Аладьина находящейся вариации — для имеющих ум проницательный и догадливый.

4) в Воспоминании

Вместо: Князья и жены их, так: вельможи важные или гордые.

5) Ливония:

Но тишина постыдного забвенья и наконец

6) В отъезде

Когда в порфиру облачилась
России новая судьба.

О сих двух статьях, да и о третьей, происходят с цензором переговоры, еще не доведенные однако до благополучного и желаемого конца. Мне кажется, что они возбудили пустые опасения.

К масляница никаким образом нельзя успеть напечатать всю книгу— в этом приношу мою повинную голову, и прошу снисходительного прощения и взгляда милосердого.

Декабрь, январь и февраль суть месяцы наиболее занятые праздниками и типографскими работами.

Насчет цены книги ожидаю вашей резолюции.

И так решите, жду я слова, назначьте сами цену ей!

Не сердитесь на меня, повторяю, за неуспех в печатании.

26 января 1833 В. Комовский
С. П. Б.

Пьеса „А. В. Т—у“ (А. В. Тихвинскому) в издании 1833 г. напечатана в следующей редакции:

18. В стране, где нравственно добра,
Всему покорна, всем довольна,
Живет, мила и бескрамольна
И процветает мишура;

(в подлиннике: немчура)

И конец:

38 Но я душой не изменюсь,
Священны мне всегда и всюду
Науки, слава, ум и Русь—
И так я вас не позабуду.

Первая строфа „Кудесника“ подвергалась беспрерывной переделке вследствие требований цензуры. В списке альбома А. М. Языкова первые четыре стиха читаются так:

На месте священном, где с дедовских дней,
Счастливый дарами свободы,
Народ Ярославов по воле своей,
Себе избирает и ставит князей, —

В „Невском Альманахе“ второй стих был изменен:

По праву наследной свободы,

а в издании 1833 г.:

Счастливый дарами природы.

„Подражание псалму CXXXVI“—этой пьесой начался цикл религиозных стихотворений Языкова; впрочем этот псалом имел и более глубокое значение: его переложения встречаются довольно часто в революционной лирике, особенно лирике, навеянной изгнанием и ссылкой. В русской поэзии удачный опыт переложения этого псалма сделан Ф. Глинкой, тогда еще связанным с декабристами.

„Воспоминание“ посвящено А. А. Воейковой.

Ст. 11—18 в издании 1833 г. читаются так:

Здесь духа творческая сила
Во мне мужала и росла...
И слава ей не ласки света,
Не взор любви, не блеск наград,

Какими светского поэта
Вельможи гордые дарят,—
Мечты могучие живили
Певца чувствительную грудь

В подлинном тексте ст. 15—16 имеют редакцию:

Какими гордого поэта
Князья и жены их дарят.

57. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

3 февраля 1833

При сем вновь предстают пред вас два отпечатанные листа ваших стихотворений. Не худо было бы сообщить мне опечатки, если вы какие заметите. Я имею сознание в одной ошибке или, лучше, в одной неточности. В вашей рукописи по большей части буква з не смягчается пред к, ш, т и пр.; иногда же, напротив того, она смягчена; я привык к последнему, корректор, кажется, тоже; от этого происходит, что правописание и ваше и наше — меняются; привыкнув к моему — я проглядываю слова, которые должно было бы писать, не смягчая буквы з. То же неудобство встречается с частицею же, сокращенною в жь; большею частию пишут: что ж, уж; а правильнее кажется что жь, ужь.

Стих в Ливонии:

Но тишина постыдного забвенья

и стих:

Когда в порфиру облачилась
России новая судьба.

оставлены неприкосновенными.

Последние заметки и прицепки суть следующие:
в Послании к К. Н. Д.

1. и стан и тайные места
2. — а знаком тела
3. — усердно причастилась

в Послании К . . .

Владеют мной тщета мирская
И лень, и грусть, и немчура.

Сие последнее слово по воле вашей заменится мишурою, следуя прежнему примеру. Первую пиесу можно напечатать с точками:

Я пел ланиты и уста
И стан . . . . . .
Моей богине сладострастья

Кого любил, кому я пел?
Я мучился . . . . . .
А объяснить не захотел.

вместо причастилась — помолилась.

Цензор полагает и в первых двух листах сделать перемены:

И стан и все, что красота
В моей бо[гине].

Я мучился, вся кровь кипела
А объ[яснить].

Может быть, вы успеете дать мне ваше наставление, как тут поступить; — весьма одолжите. — Извините, что так нескладно мараю — когда-нибудь после объясню причину — теперь я сам не свой. Кланяйтесь Ал. Мих. Адресую письмо в Симб[ирск], потому что вы оттуда пишете.

Б[естужев] жив!

В. К.

Послание к К. Н. Д.—Киселеву Н. Д.
Послание К***—Н. Д. Севербееву.

58. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1833. Февраля 14

Получили, получили и благодарим, благодарим! Все хорошо, все красота! Шрифт, бумага, формат, приличные в надлежащих местах виньетки, безошибочность букв и препинаний, словом все, без малейшего исключения — превосходно! Я не ожидал явиться в публику в виде столь щегольском, можно сказать, изящном. И вот всем этим я обязан вам, вам одному!

Полагая печатание уже оконченным и выход моих стихотворений происходящим прошу вас отдать, кому следует, список, здесь прилагаемый, для отправления дарственных экземпляров в разные грады российской империи. Еще прошу вас подписать на оных экземплярах: такому-то, такой-то, от автора.

В Петербурге:

Крылову, Пушкину, Вяземскому, Гнедичу, Хвостову, Гоголю, Далю, Воейкову, Марлинскому, Очкину.

В Москве:

Петру Вас. Киреевскому, у Красных ворот в доме Елагиной, 11 экземпляров.

В Дерпте:

3 экземпляра: Ее Высокородию Екатерине Афанасьевне Протасовой; Ее Высокобл. Марье Николаевне Рейц; Его Высокобл. Карлу Федоровичу фон дер Боргу; Его Благ. Емельяну Карловичу Андерсу 4 экз.

В Одессу:

Его Высокобл. Михаилу Петровичу Розбергу и Ее Превосходительству Анне Петровне Зонтаг. Итого 2.

В Херсон:

Его Высокоб. Владиславу Максимовичу Княжевичу 1.

Вам же предоставляется полная свобода в ятии угодного числа экземпляров. Потрудитесь доставить по экземпляру всем вашим от имени автора книги, которая публичным бытием своим обязана благопоспешествующей деятельности вашей.

Ваш Н. Языков

Сбудьте все издание целиком или как рассудите и за что рассудите и кому угодно.

Приписка А. М. Языкова:

Первые 4 печатные листа ст[ихов] брата мы получили „с распростертыми объятиями", издание преисполнило наши мечты и ожидания; все дышит совершенством, ни одна малейшая подробность не забыта!..*

* Точки в подлиннике.

Н. М. ЯЗЫКОВ

Карандашный рисунок А. Д. Хрипкова, 1828 г.

Настоящее местонахождение оригинала неизвестно

Мы получили ст[ихи] Гнедича и с удовольствием заметили в числе их пиесы — К стихам моим, К гостям иноземцам: это делает большую честь вашей П[етербургской] цензуре! — Да почему же в пов[естях] Мар[линского] нет: Роман и Ольга, Изменник, Вечера на Кавказе и пр. и пр.? или все сие сбережено для следующей серии? — Саламандра его совершенная дрянь.

Аладьин совершил изрядный подвиг, перевод Берхмана, хоть книга сия суха неимоверно, подобно всем произведениям сего лифляндца-бюхервурма — ожидаем Альм[анах] Сем[енова]. — Видели ли, как Пол[евой] превозносит Пу[шкина] и унижает всех прочих; впрочем любопытно бы было вычислить, сколько у Пу[шкина] своего.

Ваш А. Языков

59. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

27 февраля 1833

Несомненно уповаю с концом сей недели кончить совершенно печатание и проч. ваших Стихотворений; не взыщите строго за медленность. Сегодня прочитал последнюю корректуру 11 и 12 листов; в среду или четверток исправлю окончательно 13 и половину 14 ли[ста] - последние. — Еще день — для печатания; день — для исполнения обязанностей цензурных и — совершишася!

В разные грады любезного отечества нашего повезутся экземпляры почтою, согласно вашему назначению; к вам поедут — по надлежащем переплетении; но еще и прежде того явятся на ваше усмотрение несколько экземпляров — в бумажке. В рассуждении продажи экземпляров — предмета, взваленного вами на меня — входил я в должные совещания с Очкиным — мужем в подобных делах искушенным; на общем нашем совете положено назначить продажную цену экземпляру — 5 р. Не продавать никому из книгопродавцев всех экземпляров вдруг, а постепенно, по мере расхода оных. Благодарю вас чувствительнейше за позволение воспользоваться несколькими экземплярами для меня собственно и для моих. Попрошу таковых 5; да еще 1 для Погожева и один же для Шульгина — досточтимого мною многопочитателя вашего.

Прибыло ли к вам Новоселье? Стихотворная часть слабенька! Одна сказка Жуковского — хороша. Пиеска Пушкина — не слишком; еще первая половина и туда и сюда. Прозаические статьи, хоть не отличны, но все читаются с удовольствием; Антар Сенковского первенствует — еслиб только не слишком бедное понятие о жизни человеческой, которую заставляет ограничиваться одними: мщением, властолюбием и любовью, — любовь — так, а мщение и власть — неужели только и благ в жизни? — Первая половина его Незнакомки прекрасна; совершенно Жюль Жанен — по манеру и слогу. Жаль что в первой половине Незнакомка есть Сатира олицетворенная; а во второй она просто какая-то у См[ирдина] на полке стоящая книга. — Булг[арин] блекнет пред Сенков[ским] и в Новоселье и в Север[ной] Пчеле. Прощайте покуда.

В. Комовский

60. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1833. Марта 14

Благословенное письмо ваше от 27 февр., извещающее нас о полной готовности к выходу в свет моих стихотворений, получили мы радостно, как следует из самого дела.

Брат Ал[ександр] отправился в Уфу, где просидит до глубокой осени, адрес к нему: Алекс. Спиридоновичу Ломоносову, Его Высокоблагородию, в Уфу для передачи А. М. Я.

Из Москвы пишут: „Жуковскому теперь слава богу гораздо лучше; он живет в городке Верне́, недалеко от Вевé, заметно выздоравливает и даже пишет. Вот что он говорит в письме к Вяземскому: „Я думаю опять взлесть на свою Музу — и задать ей поэму". Благоволите, при случае, сказать Грефу, чтобы он выслал в Корсунь Его Бл. П. М. Я. книги: Haas. Repertorium für hom. Heilkunst. Leipzig. 1832—3 экземпляра. Hartmans. Therapie akuter Krankheitsformen 2 Bd. 1832. Leipzig — 2 экземпляра — если можно переплетенные.

Ал[ександр] на днях снова переселился из городской жизни в сельскую.

Прощайте покуда.

Ваш покорный

Н. Языков

61. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

Невыразимо досадно, что печатание ваших Стихотворений, тянувшееся так долго, не промедлило до получения мною последнего письма вашего; я мог бы еще назначить цену книге, какую вы желаете; теперь уж слишком поздно; вы, верно, и сами не одобрили бы, еслиб я отступился от объявленной уже цены. Простите! и зрите в этом одно из многочисленных доказательств моей негодности для всяких сделок мира сего. Экземпляры по вашему назначению разосланы; Крылову я намереваюсь представить вашу книгу лично; теперь я его сослуживец — Библиотекарь в Публичной Библиотеке,— вы и ваш талант да будут моими рекомендателями у него. Позвольте мне такое своекорыстное дело!

Уваров цепляется за Министерство Просвещения; хотя его и не хотят, кажется, делать Министром; вы, думаю, заметили, что ему только как товарищу Министра, дано управление русским просвещением. Новая метла всегда чисто метет; он хлопочет и суетится неугомонно; и на мою долю кое-что достается; должно пошевеливаться и выслуживаться по мере сил и уменья в сем хитроумном искусстве!

Намерение Ж у к[овского] взлезть на музу — отрадно; его пример другим наука!

Гомеопатические книги велено Грефу выслать по назначению.

Долго ли Алек. Михайловичу странствовать по улусам башкирцев и других дикарей?

Не сердитесь на меня, ради бога, за неисправное выполнение вашего поручения.

В. Комовский

27 марта 1833 г.

62. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1833. Марта 30

Много и много благодарю вас за исправление эпиграфа к моим стихотворениям (я его выставил на память) и за все исправления вами содеянные во время трудного подвига издания: да осенит вас Аполлон благодатию своею на труд—подобный вами прежде совершенному и проч.

Мы получили Новоселье: проза гораздо лучше стихов: честь и слава Сенковскому, Брамбеусу и даже Одоевскому, ослы: Владимир Панаев,

бояр[ин] Федоров и преимущественно Константин Масальский! Зачем Смирдин пустил их к себе обедать или паче в свою книгу? Из стихов кроме сказки Жуковского и басен Крылова—все сполна: хоть брось! Стихотворение Баратынского на смерть Гете—распространение известных четырех или вернее только трех еще вернее двух стихов Жуковского к портрету Гете.

Я уже извещал вас, что брат Ал[ександр] уехал в Уфимские свои поместья: не преставайте, сделайте милость, пробуждать и побуждать его к действованию литературному, не то он там вовсе зачахнет, одичает и испортится во всех смыслах. У него есть важный недостаток, имеющий вредоносное влияние на все существо и бытие его: это привычка заниматься только теориями: она чрезмерно сушит дух его и делает ему пакостным уединение, им же самим избранное.

Христос воскрес! Я теперь питаюсь Михаелисовым введением в Новый З[авет]: не знаю, будет ли мне во здравие сия светлая духовная пища—и жду чего-то.

Ваш Н. Языков

63. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1833. Апреля 14

Наконец плоды благостного труда вашего—мои стихотворения—прибыли в мои объятья. Не знаю, как благодарить вас за многое множество забот и хлопот и разных разностей и всякой всячины—вами столь достославно препобежденных в сем деле разухабистом! Только и могу сказать: хвала, честь и слава долготерпению вашему! Хладнокровно ожидаю, что скажут обо мне С. Пчела, Телеграф и Телескоп. Я наперед знаю, за что и как именно станут бранить меня наши строгие ценители и судьи. Видели ли вы в Телеграфе статью Н. Полевого о Жуковском? взгляните и судите. Здесь получены и стихотворения П. Катенина: Полевой кинулся на него, как цепная собака: он всегда бранил Катенина кстати и некстати, прямо и мимоходом: теперь нападет на все сполна!

Собирание стихов производится у нас ревностно и похвально, сообразно требованиям нашего века, для которого так далеко отстал Жуковский, по уверению Полевого.

Прощайте покуда.

Христос воскрес!

Ваш покорнейший

Н. Языков

Нельзя ли доставить П. Ал. Катенину экземпляр моих стихотворений: он, Катенин, теперь находится в С. П. Б.

Под „стихами" Языков разумеет фольклорные материалы, главным образом „духовные стихи".

64. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1833. Апреля 18

Сооружение памятника Карамзину привело в брожение всю крупную и дробную шляхту Симбирской губернии: все спешат жертвовать от достояния своего на дело, столь полезное и утешительное, ни мало даже не сообразуясь с тем, образовали ли они свой вкус произведением писателя знаменитого и обязаны ли ему хоть одною мыслию, хоть

одною буквою своего слога, большею частью безграмотны будучи и с трудом прилагая руку...

Таким-то побытом здесь уже собрана довольно значительная сумма (в два первые дня более 6 т.), образован комитет — и дело идет живо. Всякому, уважающему память Карамзина, приятно видеть, как жарко и радушно принялись за эту мысль высочайшие сановники: вечное свидетельство их грамотности!

Здешние желают, чтоб оный памятник состоял из здания, в коем поместились бы статуя Историографа и публичная библиотека для чтения—обо всем, об этом губернатором будет представлено к М. В. Д.— а вы поторапливайте и своего—он же теперь в духе.

Курбского мы получили от Смирдина: читаем Тасса—кто этот Кукольник: видно, что он птенец развивающийся вроде немецких пламенных мечтателей. Ждем и надеемся от него больше и много. Поддерживайте его—ежели он под рукою вашею.

Ваш покорный

Н. Языков

Приписка А. М. Языкова:

Могу сказать с поэтом: „Я здесь...“ благодарю вас за книги, продолжайте направлять Гр[ефа]. Посылаю вам два стихотв[орения] брата (продолжение впредь). На первый случай спрошу вас: почему же вы не оканчиваете Драматургию Шлегеля? Подвиг сей важен. О переводном обществе скоро объяснимся подробно: делание, при общем стремлении к хлопотам литературным, будет кстати пам[ятником] Карамз[ину].

Ваш А. Языков

65. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1833. Апреля 22

Паки и паки благодарю вас за все труды ваши по случаю издания моих стихотворений—и за назначение цены им благородной и за все проч. и проч. Кто есть муж до небес меня возносящий с Сев. Пч.? А что-то скажут на сей возглас хвалебный московские критики и антикритики?

На сих только днях получил я письмо от прежнего вашего сослуживца, мужа доблестного, моего цензора-благодетеля — письмо писано еще 17 января текущего года; до сих пор оно лежало в Сызрани, куда не знаю почему было подписано. Чувствительно благодарю почтеннейшего издателя Кометы за его подарок прелестный и лестный. Один из моих петербуржских знакомых, нынче сюда приехавший, сказывал мне сладостную новость, что Семенов собирается и уже собрался и решился выдавать с будущего 1834 года журнал литературный. Прошу господа-бога, да совершится сие благое намерение—и на всякий случай, посылаю новому подвижнику журналистики мое благословение—буде оно не ненужно и не излишне. Я вполне уверен, что журнал чисто литературный может существовать успешно на нашей земле святорусской, тем паче, когда издатель оного столь богат средствами всей Европы, как Семенов.

Засвидетельствуйте мою благодарность мужу достославному и человеку европейскому отцу Иакинфу за историю Тибета (вы верно с ним лично знакомы)—и вручите ему экземпляр стихотворений Н. Языкова. Еще просьба: благоволите приказать прислать сюда еще экземпляров пять книги моей: десяти переплетенных оказалось мало: переплетать не нужно.

Поздравляю вас с переменою места службы на поприще государственной вашей деятельности: в каком звании вам будет более времени обращаться с литературными трудами—а нам польза и удовольствие!

Не знаю, что делает брат Ал[ександр] в стране закамской: он чрезвычайно одичал вообще; не худо бы расшевелить перо его для литературы и откупорить дух его на свет божий. Нет ли у вас магической трости или магического пробочника—вещей необходимых для сего подвига?

Прощайте покуда.

Христос воскрес!

Н. Языков

66. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1833. Мая 5

Письмо ваше, преисполненное отчетом в издержках при печатании моих стихотворений—здесь получено. Вы напрасно беспокоитесь о цене им назначенной: вам конечно неизвестно, что оное издание принадлежит не мне, а купившим его у меня—моим благоверным братьям: о назначении же цены книге—плоду труда моего—я посоветывал по охоте, сродной многим сынам человеческим, вмешиваться не в свое дело: следовательно и проч.

Не возможете ли вы сделать мне великое одолжение? вот оно: мне хочется возыметь Conv[ersation] Lex[icon] новейшего издания четкими буквами, на хорошей бумаге, в благопристойной оправе. Нет ли у вас источника почерпнуть сию, публично непродающуюся книжицу? Что скажет на это Греф, когда вы ему об этом скажете?

Скоро ли перестанет Греч печатать в С[ыне] О[течества] стоны против гомеопатии? Пора бы понять, что метода, которой в Германии последуют тысячи мужей ученых,—не есть вздор и обман. Трудно, где бы то ни было, отыскать дребедень подлейшую и пошлейшую напечатанной в 13 и 14 № С. О. о Ганемане. Правду говорят, что немцы острят тупо, а тут прибавлено еще много и от переводчика тупо-ученейшего.

Брат Ал[ександр] пишет мне, что собирается реформировать себя вообще—надежда у меня большая на того, кем сильные глаголют!

Ваш покорнейший

Н. Языков

67. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

6 мая 1833

Вы привели меня в такое замешательство своим подарком, что я совершенно не знаю, как благодарить вас за оный. Самое лучшее, самое приятное и мне лестное украшение подаренного вами экземпляра есть надпись на заглавном листе; прочее великолепие не приличествует мне, не умевшему исполнить ваше поручение, когда и как следовало. И так возлагая на меня веление переплести экземпляры, не щадя золота и великолепных кож вы заставляли меня трудиться и для себя—не грешно ли вам это?

Доселе я еще не мог с благонадежностью отправить экземпляр ваших стихотворений Марлинскому.

Есть здесь некто Андреев, который заведывает его делами, которого я видал у Греча и которого посредством хотел воспользоваться: но доселе не мог никак поймать. Между тем сообщу вам трагическое проис-

шествие с Б[естужевым]. Он представлен к Георгиевскому кресту за храбрость, и почти вместе с сим представлением поступило донесение следующего или почти следующего содержания: Дочь Унтер-Офицера (не помню как его зовут) девица Ольга, вошед в комнату рядового Александра Б., стала с ним играть, и когда они играли на кровати, то лежавший под подушкою заряженный пистолет выстрелил и ранил девушку так, что она через три дня она умерла.

Наш новый министр Уваров собирается в половине этого месяца, в Дерпт; после, кажется, поедет и в Москву. Вообще по министерству затевается многое: напр. издание с будущего года журнала; сочинение полного Курса Юридических наук и иное.

Подождем и узреем!

Статья в Сев. Пчеле написана Амплием.

Ам[плий] предполагал издавать журнал с нынешнего года: но это не состоялось.

Весь ваш В. Комовский

История нечаянной смерти Ольги Нестерцовой в Дербенте довольно быстро достигла столиц и возбудила самые противоречивые толки. Бестужев с трудом распутал эту историю, так как против него было возбуждено дело по обвинению в убийстве. Дело кончилось оправданием Бестужева, но версия о насильственной смерти Ольги довольно долго держалась в различных кругах общества, — и самый факт оправдания Бестужева объяснялся связями А. Бестужева. Версия об убийстве Ольги была подкреплена и Дюма в „Путевых впечатлениях“ (A. Dumas. Impressions du voyage de Caucase à Paris, 1858), который очень заинтересовался трагической судьбой Ольги и посвятил ей стихотворную эпитафию. Об Ольге Нестерцовой—см. „Нов. Время“ 1888, №№ 4347, 4349, 4352, 4356 (статьи Лонгинова, Зиссермана и др.), „Кавказ“ 1897, № 344 (ст. В. А. Поттое) и возражения Е. Козубского („Рус. Арх.“ 1905 г., № XI), заметка Б. Л. Модзалевского („Былое“ 1906 № XI), „Воспоминания о Кавказской старине“ В. Андреева („Кавказский Сборник“ 1876, т. I), С. Долинский „Из прошлого Дербента“ („Труды Ставропольской Ученой Архивной Комиссии“, 1912, I).

Амплий — А. Н. Очкин.

68. В. Д. КОМОВСКИЙ—Н. М. ЯЗЫКОВУ

[Июнь 1833]

Письмо к Гр. Хвостову хотелось мне лично вручить Его Сиятельству; однако я не застал его дома и был принужден вверить сие дело кому-то из прислужников серебровласого пугала парнасских бобылей. Вследствие сего имел удовольствие получить от Его Сиятельства милостивое послание. Прилагаю оное для вашей забавы, адрес и содержание—все оригинально, все необыкновенно. Для полноты характеризования нашего поэта и его особенностей не должно пропустить и того, что вместе с письмом посланец вручил мне от Его Сиятельства гривну серебром—на почтовые издержки.

Другой менее занимательный, но не менее оригинальный поэт удостоил избрать меня посредником между собою и вами—Щастный—он повергает пред вами одно из своих творений и обратился ко мне (говорит) потому де, что вам непосредственно неизвестен, а сделаться таковым получил непреодолимую охоту, вдохновенный вашими стихотворениями.—Я поручил в лавке Смирдина переслать к вам книгу Щастного вместе с другими литературными новостями, какие будут; напр. с пиесами Шекспира, переведенными Башиловым—вашим московским знакомцем.

Coversations Lexicon и все, что пожелается вашему любознанию, имею возможность достать: решите только следующее: (напуганный неудачным опытом самодеятельности, не приступаю ни к чему без разрешения) последнее вполне существующие издание совершилось года три тому

назад; в нынешнем году издается, но может быть не успеет быть издано—новое; какое вам угодно?

Я получил от Алек. Мих. письмо из Уфы, обещает на зиму съездить в Москву, и может быть, завернуть в Питерб.—да укрепится свыше дух его во всех благих назначениях!

Академия Наук раздала Демидовские премии: Востокову (за Грамм.) и Рейфу (за словарь Русского языка) по полной; а по половинной: Савостьянову (за начертание Геометрии), Строеву (брату археолога) за рассуждение об Уложении, Громову (за Судебную Медицину), Гельмерсену (За лифляндское право), Соколову за минералогию и Глаголеву за теорию словесности, довольно плохую.

В. Комовский

Щастный, Василий Николаевич — второстепенный поэт и переводчик; в частности переводчик А. Мицкевича. Был одно время секретарем редакции „Литературной Газеты".

69. Н. М. ЯЗЫКОВ—В. Д. КОМОВСКОМУ

1833. Июня 10

Напрасно вы не распечатали письма графа Хвостова, которое чрез вас ко мне доставлялось: оно очень любопытно, да к нему же приложено и стихотворение Певца Кубры: весна. Советую вам обходиться впредь смелее с подобными парнасскими бумагами. Благодарю вас и за посредничество, приемлемое вами столь великодушно. Жду — предварительно прошу вас засвидетельствовать мою благодарность за приятное и сладостное знакомство с Г. Щастным, ему (г-ну Щастному), творения которого вы ко мне посылаете; сюда в страны, почти башкирские, мало слов лите[ратурных] доходит.

Хорош молодец Якимов: да и чего ожидать от него можно было после его стихотворения о русском слове: он молодой осел—и все тут!

Закажите мне C[onversation] Lex[icon] какой есть под руками у Грефа; скучно дожидаться нового издания—да и все это дело не так важно, чтобы и проч. C. L. необходим особенно здесь только потому что и проч. Смирдин слабо присылает нам книги—вообще связь Ал. Мих. с ним чрезвычайно темна и неудовлетворительна. Напр. Курбского—у нас до сих пор нет!!!

Происшествие—подобное тому которое случилось с Ал. Б[естужевым] и девицею Ольгою, было и в Дерпте во время моего студенчества—с профессором химии Озоном: точь в точь, разница только та, что резвый профессор не на кровати, а на креслах имел пистолет, выстреливший в прелестницу смертельно же. Подобные случаи едва ли действуют на послужные списки, яко случаи невинные: так и в Д[ерпте] было.

И 10 экз. моих стихотворений посланные вами прежде переплетенных здесь получены: они лежат на почте, потому что были адресованы брату Ал. М., находящемуся в Уфе: до сих пор шла переписка об этом—и нет еще—получим тоже: здешний край будет избыточествовать моею славой: оно так и быть должно. Всякому свое.

Прощайте покуда.

Ваш Н. Языков

II. Н. М. ЯЗЫКОВ и Ф. В. ЧИЖОВ

ПЕРЕПИСКА 1843 — 1845 гг.

Публикация И. Розанова

Переписка Н. М. Языкова с Ф. В. Чижовым относится к последним годам жизни поэта, когда он, отчаявшись в возможности излечиться от своих недугов, после пятилетнего пребывания за границей вернулся (в августе 1843 г.) на родину и прочно засел в Москве. Жизнь он вел почти отшельническую, редко-редко выходя из квартиры, „без службы, без жены, без дел", общаясь только с друзьями, но по книгам и журналам не переставая следит за событиями литературного и ученого мира. От прежнего Языкова, дерптского студента, страдавшего от избытка юных сил, посетителя Тригорского и приятеля Пушкина, от Языкова „поэта радости и хмеля" и певца новгородской вольности, ничего уж не осталось. Сухотка спинного мозга превратила его в полукалеку: ему трудно было передвигаться. Еще печальнее была его политическая эволюция: тот, кто юношей с негодованием говорил о „рабской России", которая „молилась за царя", превратился теперь в защитника православия и в самого махрового националиста и крепостника.

В эти годы Языков издает две книги своих стихотворений, но преимущественно написанных до 1843 г., а новых стихов пишет мало; большею частью это послания, где поэт обычно сопоставляет, чем он был раньше, в годы счастливой юности, и чем он стал теперь. Эти стихи не имели уже того успеха, как прежние, а два его злобных послания „К ненашим" и „Чаадаеву", которые в 1844 г. пошли по рукам, окончательно погубили в глазах передового общества литературную репутацию поэта. Белинский стал необычайно резко отзываться о нем как о поэте, называть его стихи риторикой и т. д. Это еще более восстановило Языкова против западников. В 1843 г. такой вражды к западникам у него еще не было. В декабре 1843 г., как видно из печатаемой переписки, он сочувственно говорит о Грановском и его лекциях, но уже в следующем году и до самой своей смерти (26 дек. 1846 г.) является одним из самых ярких и яростных представителей воинствующего славянофильства. Биографы указывали ряд причин такого явления: одною из главных указываются обычно родственные отношения: на сестре Языкова был женат Хомяков, но у Хомякова вовсе не было такой ненависти к западникам и немцам, какой отличался Языков. Братья Киреевские также отличались гораздо большею терпимостью и сдержанностью. Все они, кроме Языкова, считали необходимым доказывать правоту своих убеждений. Языков же не считал это нужным: для него превосходство русских над немцами было аксиомой, не требовавшей доказательства. Если еще в дерптский период он [не раз выражал свою нелюбовь к немцам и только на почве выпивки готов был объединиться с ними („благодетельною силой с нами немцев подружило откровенное вино"), то теперь он уже не делает никаких исключений. Таким же страстным противником немцев обнаруживает себя и его адресат Чижов. Если Чижов и не может быть назван прямо его руководителем в этом отношении, то для понимания настроения поэта в эти годы важно уже и то, что в лице Чижова Языков находил полного единомышленника, обладавшего гораздо большими знаниями и силой воли, а потому особено авторитетного.

Сблизились они в Риме, куда привез Языкова Гоголь, зиму 1842/43 г. прожили в одном доме: в нижнем этаже больной Языков, во втором Гоголь, взявший на себя заботу о нем, в третьем Чижов. По свидетельству Чижова в письме к Никитенко („Русская Старина" 1904, № 9, стр. 633), они втроем „всякий день проводили вместе вечера". В это время жил в Риме художник А. А. Иванов, работавший над своей картиной „Явление Христа народу", и гравер Иордан.

Когда в августе 1843 г. Языков уехал в Москву, Чижов остался за границей. Основной его резиденцией был Рим, откуда он уезжал в Венецию, в славянские земли, летом 1844 г. в Париж, осенью в Петербург. Окончательно вернулся в Россию Чижов в 1847 г., когда Языкова уже не было в живых.

Тематика писем Языкова в двух отношениях должна поразить нас своею неожиданностью: во-первых, полным игнорированием вопросов художественной литературы вообще и поэзии в частности; если бы не краткое упоминание о посылке Чижову книги Языкова „Новые стихотворения" в письме от 28 сентября 1845 г.—„... сверх того посылаю и новые мои стихотворения, которые прошу вас принять благосклонно", — то по этим четырнадцати письмам никак нельзя было бы догадаться, что это пишет поэт или хотя бы любитель словесности. В этом отношении публикуемые нами письма являются полным контрастом хорошо известным его письмам дерптского периода; объяснять это только тем, что своего адресата Языков мог считать человеком довольно равнодушным к поэзии, нельзя; очевидно с ослаблением творческой деятельности и уменьшением поэтической продукции поэта постепенно стал уменьшаться и его интерес к поэзии вообще, тот интерес, который был главным и основным в его прежней жизни. Казалось бы, что смерть Баратынского должна была побудить его высказать какое-нибудь суждение о нем как о поэте или вызвать воспоминания о своих личных отношениях к нему. Языков же упоминает о Баратынском так безразлично, как будто с этим человеком ничто его не связывало в прошлом, как будто он даже не был с ним знаком. Его интересует только сплетня, ходившая тогда о жене Баратынского как главной виновнице его смерти.

С другой стороны, довольно неожиданным для биографов Языкова является тот совершенно исключительный интерес, который проявляет в эти годы поэт к изобразительным искусствам: архитектуре, живописи и т. д. И опять-таки это нельзя объяснить приноравливанием к интересам адресата: в судьбе Московских художественных классов он заинтересован не менее Чижова и поручение позаботиться о приискании преподавателя в это училище принимает с благодарностью; он много читает и размышляет об архитектуре и живописи, сетует, „что на русском языке нет книг по истории живописи", и собирается заказать кому-нибудь перевод книги Куглера. Судьбой картины Иванова он заинтересован как лично дорогим и кровным для него делом. „Его картина у меня из головы не выходит", пишет он. Он серьезно встревожился, узнав о болезни Иванова: „неужели картина его останется незаконченной?" Чижова он всячески старается использовать как знатока истории искусств как для себя лично (запрос об основных различиях между архитектурой русских и западных церквей), так и для читателей (просьба написать статью о художниках в Риме). Но он не только учится в этой области у адресата, гораздо более его вооруженного знаниями, но имеет и свои взгляды и мнения. Укажем на желание Языкова украсить свой кабинет картинами, специально по его заказу написанными. Одним словом, письма Языкова к Чижову свидетельствуют о перемещении центра его интересов в области искусств от поэзии к искусствам изобразительным.

Другая тема, которая не менее серьезно захватывает Языкова, судя по его письмам,— это „Москвитянин" и Иван Киреевский, которому Погодин с начала 1845 г. предоставил редактирование этого журнала. Относясь к И. В. Киреевскому с необычайным уважением, Языков приветствует эту смену редакторов, радуется первым книжкам обновленного и значительно, по его мнению, улучшенного журнала, а позднее сетует, что Киреевский, издав три номера, принужден был отказаться от дальнейшего редактирования отчасти потому, что никак не мог поладить с Погодиным, отчасти потому, что с такой жадностью набросился на литературную работу (почти 15 лет после запрещения „Европейца" он перед этим молчал), так запойно увлекся этим делом, что надорвал свои силы.

Если письма Языкова характерны для последней стадии его умственного развития, когда из националиста он обращался в воинствующего славянофила, а идеализация „русского нутра" доводила его до резкой брани по отношению ко всем инако мыслящим, то письма Чижова могут служить материалом для характеристики только одного промежуточного момента в истории идейных исканий и деятельности этого языковского корреспондента. Сам по себе Чижов как личность яркая и разносторонняя, как крупная фигура среди строителей русского капитализма заслуживает особой исторической монографии, но авторы некрологов и составители его кратких биографий, например Чероков (в брошюре „Федор Васильевич Чижов и его связи с Н. В. Гоголем". М.,

1902), указывали, что такая монография возможна будет только после опубликования многолетних дневников Чижова, хранящихся в Рукописном отделении Публичной Библиотеки СССР им. Ленина. В 40-е годы нельзя еще было предвидеть, во что в конце концов выльются славянофильские симпатии бывшего профессора математики, ставшего искусствоведом. А вылились они в 60-х и 70-х годах в финансовую и железнодорожную деятельность. От прославления „русской души" и поисков ее в русских изобразительных искусствах он перешел к служению русскому капиталу. Человек спартанского образа жизни, не любивший роскоши и денег самих по себе, он все свои основательные и разносторонние знания, а главное свои исключительные организаторские способности, трудолюбие и энергию посвятил на благо финансовых акул и промышленников-толстосумов; под их приобретательские аппетиты и хищные вожделения он подводил идеологический фундамент: во имя служения родине и русскому народу способствовал вытеснению иностранного капитала русским—вот что ставил он себе целью, и конечно это находило горячее сочувствие в русском „именитом купечестве". В 1858—1861 гг. Чижов издавал орган купечества „Вестник Промышленности" и при ней газету „Акционер". В 70-х годах Чижов был главным устроителем „Московского купеческого банка" и „Общества взаимного кредита", но главная его деятельность относится к области железнодорожного строительства. Ранее наши железные дороги находились в руках иностранцев. „Вся масса служащих,—пишет Чероков,—начиная с главных беззазорных заправил и кончая низшими, чуть не стрелочниками, выписывалась из-за границы... Он [Чижов] задал себе задачу—вырвать русские дороги из рук иноземцев... Чижов затеял доказать, что и русские смогут строить такие же дороги на русские деньги и управлять ими, и для этого избрал на первый раз линию к Троице-Сергиевской Лавре (ныне г. Загорск), как несомненно, по его соображениям, наивыгоднейшую". Дорогу эту, которую он строил в компании с Иван Федоровичем Мамонтовым, он довел потом до Вологды. Осуществил он также частичную покупку московскими капиталистами Московско-Курской жел. дор. Интересовался Чижов также делом народного образования и приближения его к новым запросам развивающегося капитализма. Классические гимназии, запоздалые пережитки феодального строя, мало его занимали. Для подготовки людей интеллигентного труда и чиновников, по плану Чижова, открыта был в Киеве на средства „друга его Галагана" „Коллегия Павла Галагана" с расширенной программой по математике и с рисованием как обязательным предметом. В течение долгого времени это учебное заведение было одним из лучших в России. Но гораздо более заинтересован был Чижов в устройстве низшего технического образования и весь свой пятимиллионный капитал, который мог быть выяснен и реализован только после его смерти, завещал он на устройство и содержание пяти низших технических и ремесленных училищ. Умер он в 1877 г. шестидесяти шести лет отроду. Языкова пережил он более чем на 30 лет, будучи на 8 лет его моложе. В переписке Языкова с Чижовым совершенно не чувствуется старшинства первого из них; наоборот, Чижов кажется лицом, занявшим более авторитетное и руководящее положение. И это не только по отношению к Языкову. Строжайшая самодисциплина, которой он всегда отличался, и его энергия возбуждали к нему уважение. Большое значение имела также основательность его познаний. Живя в Риме, он имел частое общение с такими людьми, как Александр Иванов, Гоголь. По дарованиям он может быть должен считаться пигмеем сравнительно с ними, но он был гораздо их образованнее. Он был восемь лет (с 1832 по 1840 г.) профессором математики в Петербургском университете; в 1836 г. получил звание магистра математических наук за диссертацию „Об общей теории равновесия с приложением к равновесию жидких тел и определению фигуры земли"; кроме того в его ученом формуляре к 40-м годам значилось еще три книги очень различного содержания: 1) перевод „Истории европейской литературы XV и XVI столетий Галлама" с обширными собственными дополнениями, 2) „Призвание женщины"—переделка с английского и 3) „Паровые машины — история, описание и приложение их—с чертежами". Из этих книг особенно сочувственный прием встретила третья. Рецензия, появившаяся в „Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду", отмечала „и своевременность выхода такой книги, первой на русском языке, о паровых маши-

нах, начинающих играть важную роль в нашей промышленности, и необычайную живость и интересность изложения".

Сотрудничал Чижов и в журналах („Библиотека для Чтения", „Сын Отечества", „Журнал Министерства Народного Просвещения"), помещая там и оригинальные, и переводные статьи. Во всем, по словам его биографа, сказывалась „неистощимая даровитость его натуры". Но хотя математическими науками он занимался „с замечательным успехом", он в 1840 г. внезапно оставляет профессорскую кафедру, чтобы никогда уже потом к ней не возвращаться. Уезжает сначала на Украину, а в следующем, 1841г. едет за границу, откуда окончательно возвращается на родину только в 1847 г. Этот крутой поворот в жизни Чижова многим был непонятен. Сам Чижов объясняет его своим „демоническим самолюбием". В письме к А. В. Никитенко от 7 февраля 1843 г. из Рима он пишет: „я составил план моей жизни, или вернее, план трудов моих, о котором до сих пор не говорил, потому что боялся высказать" („Из архива А. В. Никитенко". — „Рус. Стар." 1904, октябрь, стр. 676). Оказывается у Чижова создался план обширного сочинения. Для этого ему надо было изучить самостоятельно 1) философию „как явление жизни" („в философии не философия занимает меня, — пишет он, — а человек, тот, другой, третий, все равно, будет ли это один человек, высказывающийся в системе, народ в ряду систем, или все человечество во всем том, что мы называем философией"), 2) историю искусств „как прямых и законных детей сердца человеческого" и 3) историю „всякого рода человеческих деяний, т. е. жизнь воли".

На первых порах он решил заняться изучением Венеции.

„Как первую попытку думаю я, по окончании первой моей поездки за границу, представить мою Венецию... В ней я думаю изобразить... переход от жизни чувства средней истории к жизни ума, анализа, явившегося в новой истории... Я хочу из каждого периода венецианской жизни взять одно происшествие и в нем в форме рассказа, повести изобразить ее сущность и пружины, явно или тайно двигающие ее на пути ее естественного развития. В конце я передам ход венецианской школы искусства и в этом ходе постараюсь представить значение венецианской истории". Грандиозный план многолетней работы, который себе ставил Чижов, был совершенно в духе тех замечательных русских людей, с которыми Чижов встречался в Риме: Гоголь уже много лет занят был „Мертвыми душами", Иванов, как известно, работал над своей картиной более 20 лет, а гравер Иордан над одной гравюрой 12 лет, но Чижов, шесть лет проживший за границей, своего плана не осуществил даже в начальной его стадии: не дал книги по истории Венеции и ее искусства. Причина заключалась не только в том, что он вероятно убедился в недостаточности своих сил для этой задачи: ведь он собирался прибегнуть к форме „рассказа" или „повести". Дар живого и интересного изложения был ему присущ: одна из его позднейших книг — о пчеловодстве — отмечалась критикой как увлекательное чтение для всякого, в его статье о необходимости распространения технических и ремесленных знаний в России есть места, замечательные по яркости и образности изложения.

Очевидно и с беллетристической формой Чижов справился бы. Дело не в том. Главной причиной было повидимому увлечение славянофильскими идеями. Во время поездки в Богемию он познакомился с чешским писателем Ганкою, который проповедывал единение всех славянских племен между собою. Подобно некоторым другим русским в эти годы, например А. Н. Попову, он объехал южнославянские земли — Истрию, Далмацию, Черногорию, — и интерес к славянству был у него так велик, что он легко включился в круг славянофильских идей, которыми жил его московский корреспондент Языков. С ним, живя целую зиму под одной кровлей в Риме на via Felice, дом № 126, Чижов очень подружился. „С Языковым мы,—писал Чижов,—жили совершенно по-братски, как говорится, душа в душу, и остались истинными братьями до последней минуты". Позднее, уже после смерти поэта, Чижов говорил: „Языков был в глазах моих святым человеком". Переписка не только укрепила эту дружбу, но она и активизировала корреспондентов на борьбу против „врагов отечества", как писал Языков 28 сентября 1845 г. Под „врагами отечества" подразумевались западники. Интересы искусства отходят на второй план, Языков зовет Чижова вернуться в Россию, чтобы принять энергичное участие в борьбе с за-

падничеством. Когда наконец друзья увидались — Чижов некоторое время в 1845 — 1846 гг. прожил в Петербурге и Москве, — Языков писал Гоголю: „Чижов — муж доблести великой, он славно поднял бы наш кружок, наши души, нервы, если бы имел средства в Москве остаться. Он теперь прямо из славянских земель со свежими сведениями, глубокими убеждениями и притом красноречив: его можно назвать звездой Востока" (Шенрок. „Языков". — „Вестник Европы" 1897 г., № 12, стр. 645 — 651).

Как мы знаем из „Дневника Елизаветы Ивановны Поповой" (СПБ., 1911, стр. 37 — 38), Николай Михайлович Языков завещал деньги—30 тысяч рублей—на издание журнала, издателем которого был назначен Чижов, но брат поэта Петр Михайлович под разными предлогами отказался выполнить волю покойного. „А между тем, — замечает автор „Дневника", — Чижов и не хотел брать на себя труд издания журнала, и только усиленные просьбы Языкова заставили дать слово".

Переписка Языкова с Чижовым, публикуемая нами, характеризует этот подготовительный период, когда, воздействуя друг на друга и заражая друг друга все более и более ненавистью к западникам и уверениями, что, выступая против них, делают „святое" дело, призывая благословение божие и т. д., и т. д., друзья подходят к решению образовать свой орган. Интересы искусства у Чижова постепенно отходят на второй план. Писание своей работы о Венеции он откладывает под тем предлогом, что должна выйти через годполтора какая-то „дельная" книга о Венеции и надо будет подождать ее выхода и воспользоваться ею. С другой стороны, вопросы борьбы с западниками и издания журнала занимают все более и более места, но Чижов как человек практический прежде всего ставит вопрос о денежных средствах. Результатом этого и было вероятно решение Языкова дать на это издание свои средства, о чем в данной переписке речи еще впрочем пока нет.

Судьба устроила однако так, что, если бы даже Чижов и получил обещанные деньги, редактором и издателем он быть бы не мог: когда он в 1847 г. вернулся в Россию, на самой границе он был арестован и с полицейскими агентами препровожден в Петербург в Петропавловскую крепость. Дело потом выяснилось: во время путешествия по славянским землям Чижову пришлось как-то помочь черногорцам выгрузить на берег оружие, это стало известно австрийской полиции, и она сделала донос на Чижова в Петербург. В результате Чижова выпустили, но он был отдан под надзор полиции, и издательская деятельность ему была запрещена. Все свои сочинения ему велено было представлять на просмотр в III Отделение; тогда же признано было невозможным разрешить Чижову издавать „Русский Вестник", а когда с облегчением цензурного гнета в 1857 г. Чижову дозволено было издавать „Вестник Промышленности", журнал этот встретил неблагосклонную оценку в Цензурном комитете. Когда в 1862 г. Ив. Аксаков стал хлопотать о передаче своего „Дня" другой редакции и представил в качестве нового редактора Чижова, министр народного просвещения А. В. Головин отказался утвердить Чижова.

Будучи уже директором банка, он вспоминал о годах пребывания в Италии как о лучшем периоде своей жизни. Как говорит его биограф А. Чероков, он „в минуты своих воспоминаний с болезненным надрывом души сравнивал свое изучение искусств в Италии с блестящим на взгляд толпы званием директора прибыльного предприятия или банка, — с искренним сердцем божился, что „заплевал бы тогда всякого, кто дерзнул бы предсказывать ему в будущем подобное положение". Не это ли предвидел его университетский товарищ Печерин, когда, отмечая трудолюбие Чижова как черту, русским не свойственную, добавлял: „Но есть дело хуже безделия".

Оригиналы писем Н. М. Языкова приобретены в 1933 г. у потомков Ф. В. Чижова В. Д. Бонч-Бруевичем и в настоящее время хранятся в Литературном Музее. Оригиналы писем Ф. В. Чижова хранятся в Институте Русской Литературы Академии Наук СССР. Для настоящей публикации письма Н. М. Языкова использованы полностью; из писем Ф. В. Чижова использованы лишь те, которые непосредственно связаны с письмами Н. М. Языкова, т. е. либо те, на которые отвечает Н. М. Языков, либо те, которые являются ответными на языковские.

И. Розанов

1. Ф. В. ЧИЖОВ — Н. М. ЯЗЫКОВУ

Рим, 12 Ноября 1843

Приехавши в Рим я все поджидал не вздумаете ли вы исполнить вашего обещания, известить о прибытии вашем в Москву и о вашем здоровьи, да видно надобно и рукой махнуть. Главное мне досадно то, что не знаю как писать к вам, только вчера надоумил один ваш московский А. Н. Попов. Сделайте одолжение напишите как вы доехали, каково себя чувствуете в родимой Москве. Боже мой, как я вам завидую; еслиб не проклятые мои обстоятельства и их еще проклятее мысли, что надобно работать, я полетел бы, а не поехал, не смотря на то, что чем дольше живу в Италии, тем больше влюбляюсь в нее. Все хорошо, да все не родимый край. Письмо ваше из Гастейна застало меня на самом выезде из Венеции; мне вздумалось ознакомиться с владениями бывшей Венец. республики, вот и пустился я гулять по Истрии и Далмации. Как приехал туда, особенно в Далмацию, встретил наших славян и единокровных и, что было мне еще ближе, единоверных, позабыл и Венецию. Никогда я не воображал себе, что можно найти такой родной прием на Западе, — это решительно Россия, только Россия угнетенная и изгаженная погаными немцами, еще поганее, чем немцы, австрийцами. Всегда эти поганцы были мне отвратительны, а теперь, побывав в Далмации, они мне стали хуже наших русских немцев, да и русские немцы как-то еще больше огадели. Был я и в Черногорьи, только жаль, что недолго, и еще больше мне жаль, что я был не один, а с одним нашим р у с с к и м архитектором Эпингером. Это поганое товарищество испортило всю мою поездку, а отказаться от него недостало довольно характеру. За то, никто как бог, судьба исправила эту беду. В Черногорьи я встретился с вашим знакомым Елагиным и так хорошо с ним сошелся, с таким наслаждением любовался, в его лице, всем новым поколением, что и забыл о моем немце. Какая прекрасная душа у этого Елагина. Молод он, еще очень молод, ну да этот порок небольшой, от него поневоле избавится, а что за прелесть и сердце и детская простота души! Какая ужасная разница получить воспитание в Москве и Петербурге; что ни делайте, но в этом адском немецком городе ни за что не удержите этого целомудрия души, оно только может остаться в сердце России. Славный, славный молодой человек. Разумеется у него уже зато все московское, московские то-есть русские добродетели, московские и пороки: ленив как только можно себе представить. Но бог с ним, будь он в тысячу раз ленивее, лишь бы был всегда с такою прекрасною душою. Он страстный обожатель славянизма, — в этом мы с ним столковались, но и тут я только больше для того его поддразнивал, чтоб иметь случай больше полюбоваться прелестями детской души его. Мы проехали с ним от Черногорья до Истрии, где я уговорил его заехать в городок Пола, чтоб полюбоваться развалинами превосходного древнего римского амфитеатра. Он меня послушался и после писал, что очень этим доволен. Досадно мне ужасно, зачем я не настаивал сильно, может быть я уговорил бы его поехать в Италию. У него так художественно создана душа, что он не мог бы не любоваться этою божественною страною и всем, чем она так богата. Здесь я нашел другого молодого человека, его приятеля Попова, славный малый. Но если судьба над ним не поработает, бог знает достанет ли у него столько силы ума, чтоб удержать самого себя и дать больше места сердцу. А все-таки добрый и хороший малый. Он-то и дал мне адрес, по которому я теперь пишу к вам.

Рим идет по-старому, сегодня была новость, одну какую-то неаполитанку Франческу произвели в блаженные — beata. Нет же у нас соеди-

нения; редко, редко зайдут ко мне, потому что глупые мои понятия о необходимости каторжной работы заставляют меня избегать всех столкновений с людьми. Иванов все прихварывает и потому почти не работает. Иордан все работает и потому смешит не часто, даже редко, да метко. Когда случается, что мы зайдем в трактир, все выходим больные от смеха и он еще [уже?] не оскорбляется. Из приезжих кажется нет никого, по крайней мере я никого не знаю. Вот вам все, что у нас тво-

Н. М. ЯЗЫКОВ

Карандашный портрет из альбома Э. Д. Дмитриева-Мамонова
Третьяковская галлерея, Москва

рится. Еще одно, ваша хозяйка спрашивала о вас и просила вам кланяться, — я теперь только к ней присмотрелся che pezzo di donna*. Ко мне по обычаю забегают девчонки и бранить меня некому. Ради бога соберитесь написать о себе, — от вас письмо будет приятно получить право как от родного. Еще раз прошу вас не поленитесь на этот раз. Желаю от души, чтобы только вы лучше себя чувствовали, если же случится, что не очень здоров, — заставьте написать Иноземцева. Да

* Ну и бабища!

кстати скажите ему от меня поклон. Напишите хоть несколько строк. Иноземцев тоже ленив, не знаете ли вы Варвинского, вот ему скажите, он верно напишет. Только ради бога не смотрите как попало на мою просьбу, она идет прямо из истинной к вам привязанности, так дорогой как может быть от близкого родного.

Ваш Чижов

Попов, Александр Николаевич—историк и юрист. Родился в 1820 г., умер 16 ноября 1877, т. е. через два дня после Чижова, на которого несколько походил своей деловитостью. И тот и другой не были теоретиками-говорунами и фантазерами славянфильства. Склад их ума положительный и точный. В своих научных трудах А. Н. Попов был настолько добросовестен как исследователь, что совсем мало чувствовался его славянофильский фундамент. Недаром одной из его книг восхищался западник И. С. Тургенев.

Из характеристики, даваемой в этом же письме ниже Попову, видим, что Чижов опасался, что молодой человек не сумеет „дать больше места сердцу".

Происходил А. Н. Попов из дворян Рязанской губ., учился в московской гимназии и Московском университете. В 1839 г. кончил первым кандидатом юридический факультет. В 1841 г. защитил магистерскую диссертацию „Русская правда в отношении к уголовному праву". Был близок с Д. Ф. Самариным, а одно время жил вместе с Хомяковым. В 1842 г. отправился в Берлин для усовершенствования в философии и там слушал лекции Шеллинга, потом посетил Мюнхен и направился в Черногорию. Результатом этой поездки была книга „Путешествие в Черногории", изданная в 1847 г. По возвращении в Москву Попов предполагал занять кафедру истории русского права при Московском университете. Об этом см. примечание к письму Языкова от 29 марта 1845 г.

Эппингер, Федор Иванович (1816—1873) — архитектор, ученик профессора Тона. В 1841 г. командирован был Академией Художеств в Рим для усовершенствования. По возвращении в Россию жил в Петербурге. С 1858 г. был профессором архитектуры в Академии Художеств.

Елагин, Василий Алексеевич — старший сын Алексея Андреевича и Авдотьи Петровны Елагиных. Родился в с. Долбине в 1818 г., умер в 1879 г. в Дерпте. По отзыву друзей был „человек обширных сведений", но к сожалению мало писал и еще менее печатал. Кончил Московский университет в 1839 г., т. е. одновременно с А. Н. Поповым (см. выше). В 1846 г. женился на Екатерине Ивановне Мойер, дочери Марии Андреевны Мойер, или Маши Протасовой, которая играла такую важную роль в жизни Жуковского.

Иванов, Александр Андреевич (1806—1858) — знаменитый живописец. С 1830 по 1858 г. жил в Риме; слишком 20 лет (1833—1857) работал над картиной „Явление Христа народу".

Иордан, Федор Иванович (1800—1883) — замечательный русский гравер, сын придворного обойщика. Был учеником Н. И. Уткина. В 1829 г. был командирован Академией Художеств за границу для усовершенствования, жил в Париже, Лондоне, а в 1834 г. в Риме занялся гравированием картины Рафаэля „Преображение". Этой работе посвятил он 12 лет. С 1855 г. стал профессором—преподавателем гравирования в Академии Художеств.

Иноземцев, Федор Иванович (1802—1869) — знаменитый врач-практик, профессор Московской хирургической академии, знакомый Языкова по Дерпту. Воспитанник Харьковского университета, где он был первоначально на словесном отделении, в связи с чем как стипендиат должен был некоторое время прослужить учителем истории и математики в г. Льгове, потом вторично поступил в тот же университет, но уже на другой факультет — медицинский. По окончании его был командирован в 1828 г. в Профессорский институт при Дерптском университете. В это время познакомился с ним Языков, который в следующем году — 1829 — покинул Дерпт. После возвращения Языкова в 1843 г. в Москву Иноземцев энергично принялся за его лечение и до самой смерти поэта 26 декабря 1846 г. питал надежду на улучшение его здоровья.

Варвинский — врач, о нем см. ниже в прим. к письму 2-му.

2. Н. М. ЯЗЫКОВ — Ф. В. ЧИЖОВУ

Между тем как вы, мой любезнейший Федор Васильевич, странствовали по древним владениям золотой Венеции, много видели, много читали, писали, работали в ее истории, наслаждались настоящим и поминали великое прошедшее, — я уже успел приехать в Москву и просидеть в ней, в совершенном бездействии, более четырех месяцев: я собрался написать к вам только теперь, когда получил ваше письмо из Рима. Стыдно мне это.

Сердечно радуюсь, что вы познакомились с В. Елагиным: это одно из тех утешительных явлений, которыми может гордиться святая Русь — это благословенный цвет нового ее поколения, свежего, бодрого, чистого, надежного и могучего — юноша, которого образование — честь и слава Московскому университету — так полно, крепко и самобытно развилось и установилось, что нельзя им не любоваться: я уверен, что вы его полюбили — и нетерпеливо жду возвращения его в Москву, чтобы расспросить у него в подробности о вашем ученом путешествии и занятиях, Не отвлечет ли вас от Венеции поездка ваша в Италию, — т. е. сокровища живописи, которые вы там увидите, не устремят ли вашу деятельность более к истории искусства, отстранив политическую? А предполагаемая поездка ваша и в Берлин меня не пугает: я пророчу вам, что просидите там недолго: ведь там сплошь—немцы—и какие еще? Пруссаки и берлинцы — самые несноснейшие из несноснейших!

Теперь Москва занята лекциями пр. Грановского. Он преподает публично историю средних веков: глубокое знание предмета, мастерское его изложение и увлекательная речь собирает вкруг его кафедры многочисленных слушателей женска и мужеска пола. Явление утешительное и важное! Вот самая лучшая московская новость.

Как жаль, что А. А. Иванов все еще не справился с своими глазами! Его картина у меня из головы не выходит! Кланяйтесь ему от меня и пожмите руку. То же сделайте с Ф. Ив. Иорданом.

Прощайте покуда. Будьте здоровы. Кланяйтесь моей жирной хозяйке! Я бы поручил вам обнять ее, но едва ли это вы исполните!

Ваш Н. Языков

Иноземцев вам кляняется: он меня лечит и я надеюсь на него крепко. Авось он сделает мне более пользы, нежели все прежние немцы и воды. Надежда есть уже хорошее лекарство. Варвинского я не видал, но он давно уже в Москве. Поклон ваш ему передан.

Декабрь 7 дня 1843 г.
Москва

Мой адрес: в Москву, в Малый Власьевский переулок в приходе Иоанна Предтечи, в дом кн. Гагарина.

Публичные лекции Грановского по истории средних веков и впечатление, ими произведенное, много раз описывались и всего ярче Герценом. Известно, что и многие из славянофилов отнеслись к ним сочувственно. „Лучшим проявлением жизни московской,— писал в марте 1844 г. Хомяков Веневитинову,— были лекции Грановского. Таких лекций, конечно, у нас не было... и бесспорно мало во всей Европе. Впрочем я его хвалю с тем большим беспристрастием, что он принадлежит к мнению, которое во многом, если не во всем, противоположно моему... Даже П. В. Киреевский, даже и он хлопал не менее других". Замечательно признание Ивана Киреевского в письме к Хомякову от 2 мая 1844 г.: „ты пишешь, что противники издают Галатею. Кто же эти противники? Неужели ты так называешь Грановского и проч.? Если так, то не ошибаетесь ли вы и во мне? Может быть, вы считаете меня заклятым славянофилом?.. На это я должен сказать, что этот славянофильский образ мыслей я разделяю только отчасти, а другую часть его считаю дальше от себя, чем самые эксцентрические мнения Грановского".

Как мы видим, и Языков в конце 1843 и в первой половине следующего года, будучи крайним националистом и заклятым противником немцев, не дошел еще до такой степени вражды к западникам, которая привела его к роковому в истории его литературной репутации стихотворению „К ненашим".

„Нежели все прежние немцы и воды..." В августе 1836 г. Языков выехал из России на Мариенбадские воды. Там он пил „брун", принимал грязевые ванны, оттуда отправился в Ганау к знаменитому доктору Коппу; весной 1839 г. перебрался в Крайцнах, оттуда в Гастейн, оттуда в Рим, где почувствовал себя настолько лучше, что начал уже собираться обратно в Россию, но Копп, когда Языков вторично посетил ого в Ганау, послал Языкова лечиться в Швальбах, откуда поэт в третий раз приехал в Ганау, а оттуда Гоголь увез его в Рим.

Варвинский, Иосиф Васильевич (1811—1878) — врач, профессор Московского университета по патологии и терапии; подобно Иноземцеву, кончил медицинский факультет в Харькове и затем поступил в Профессорский институт при Дерптском университете. В 1841 г. уехал на два года за границу; был в Берлине, Вене, Париже. По возвращении в Москву был приглашен преподавать в университете клиническое учение о внутренних болезнях. Два следующих года (с весны 1844 г.) был в Дерпте ординарным профессором, а в 1846 г. опять вернулся в Москву ординарным профессором госпитальной терапевтической клиники.

3. Ф. В. ЧИЖОВ — Н. М. ЯЗЫКОВУ

Рим, 28 Генв. 1844

Благодарю вас за весточку, любезнейший Николай Михайловичь, она обрадовала всех нас, душевно вас любящих, то-есть меня и Иванова. Иордана я мало вижу. Вы совершенно правы, надежда на выздоровление есть уже половина выздоровления, а вы ее решительно нисколько не имели в Риме. Я думал скоро после вашего письма писать к вам, но меня остановило то, что вы кажется заботитесь об аккуратности ответов. Совершенно увольняю вас от этой заботы, разумеется каждое ваше письмо считаю я милым мне подарком, но я знаю, как такие подарки вам дорого достаются.

Что сказать вам о Риме? Есть у меня новости, но очень неотрадные. Задумали мы установить вечера, чтоб читать что-нибудь относящееся к искусству, это одно, второе—читать что-нибудь истинно русское. На этом я думал немного основать дельность наших сходок, весьма необходимую в настоящую минуту, когда благодаря отеческой попечительности Кривцова устроилось казино у русских художников, то-есть узаконилось то кутежничество, которое до сего времени было злоупотреблением. Еще таки в кутеже есть жизнь, он иногда немного и потрясет, а потрясши заставит и обдуматься, а у них хуже кутежа — карты и бильярд. Пошлее этого ничего нельзя было придумать для собрания молодых людей, приехавших в Рим для художественного образования. Если бы я просто приглашал художников на вечера, я уверен, что они собрались бы все; но я не виноват, что я такой, а не инакой: я пригласил одних чисто русских, обойдя всех геров и оберов и Скотти и Кракау, и Бенуа и пр. и пр. Сначала это их собрало, начали собираться, начали читать, раз, два, три, и только. Кажется, что между прочими причинами были и те, что их оттащили обойденные немцы, — ужасно досадно, что русских никак не соединишь. Между тем, это все-таки сделало для меня много добра, оно сблизило меня с Поповым, вашим московским магистром, а это сближение показало мне в нем превосходного молодого человека, подающего большие надежды и, что всего лучше, истинного русского без примеси. При первых встречах он кажется не так хорош, каков он действительно. Приятно видеть, что из Московского Университета выходят такие славные молодые люди, каковы он и Елагин.

Есть еще одна маленькая новость в нашем художественном Риме, — на днях получено сюда письмо от одного московского Михайла Дормидонтовича Быковского. Он пишет, что в Москву нужно иметь двух профессоров, одного скульптуры и одного живописи и спрашивает у Кривцова, кого он может рекомендовать. Кривцова нет, он уехал в Россию и увез с собою русского художника Скотти. Как я услышал от Сомова, об таком вопросе, и не только я, а и Алекс. Андр. Иванов, мы сильно струхнули, боимся, чтобы Кривцов не начал рекомендовать Скотти. Оставя уже то, что этот человек решительно смотрит на Россию как на дойную корову и то самой скверной породы, чисто в художественном отношении есть другой далеко выше его, это Серебряков. Особенно теперь Серебряков готовит картину, которая ему доставит имя; впрочем

я думаю вы помните эту головку, что мы приносили к вам в комнату, римляночка в албанском костюме. Все это заставило и заставляет меня немного вас потревожить: вероятно вы имеете в Москве много родных и близких приятелей; нельзя ли предупредить об этом г. Быковского или кого иного, кто имел бы тут силу предупредить в том, что в случае нужды, они взялись бы за Серебрякова. Ни он, ни Скотти не академики; но мы все уверены, что Серебряков за свою картину Версавию (заказанную одним московским Голубковым) получит звание академика. Это еще одна из причин, почему он будет иметь больше права на такое место. Во всяком случае поверьте мне и Иванову, что если только вы можете что-нибудь сделать в пользу Серебрякова, вы сделаете это благородное дело. Скромность его испортит все дело, особенно если Скотти будет ему соперником. Я знаю, что самим вам, при вашем здоровье, тут хлопотать невозможно, направьте кого-нибудь и пусть поможет вам уверенность, что это истинно благородное дело.

Еще о Риме: зима у нас чудесная, немного холодно, бывало до 3 градусов, но зато солнца, солнца столько, что можно накопить на всю жизнь с одной зимы. Нет вас, вечера мои отданы итальянским беседам, вместе и для упражнения в итальянском языке, но с пользою много и беды. Италианки! Боже мой, что это за существа! Теперь, слава богу, я отрезвел: но поверите ли, что как-то так одурел, что не знал, чем и кончится. Я вас уволил от ответов, а вместе с тем дело Серебрякова меня сильно занимает. Если несколько строк... знаю, что это худо с моей стороны. Нет, нет, совершенно будьте свободны, не пишется и не пишите. Сегодня же я пишу к Иноземцеву и Варвинскому, верно из них кто-нибудь ответит. Прощайте, обнимаю вас, душевно вас любящий

Ф. Чижов

Занятия Венецией идут; но чем дальше в лес, тем больше дров и тем меньше бодрости духа приняться за дело. Думаю приехав в Венецию писать об ее школе, а остальное все буду писать в России, если дальнейшие занятия не отнимут остальную бодрость духа. Иванов все в заботах, между прочим, скоро начнут заботить его наброски еврейские. Здоровье его и то и се. А картина сильно хороша. Вы меня очень порадовали, написав, что она не выходит из вашей головы. Я ее жду как манны небесной; она дает нам опору сказать, что русским художником может быть только русский телом и душою. Простите что вас прошу отдать письмо Иноземцеву, я не знаю его адреса.

Кривцов, Павел Иванович (1806—1844)—брат декабриста Кривцова. Будучи поверенным в Риме, предложил в 1840 г. учредить должность начальника над русскими художниками и сам занял эту доходную синекуру. Денежными подачками, хлопотами о продлении стипендий и т. д. старался расположить в свою пользу художников. Иванов и Гоголь оценивали его очень отрицательно. Гоголь писал („Письма Гоголя" под ред. Шенрока, т. II, стр. 90—91): „это человек, который слишком любит только одного себя и прикинулся любящим и то и се".

Быковский, Михаил Дормидонтович (1800—1885) — архитектор, ученик Джелярди. Был основателем Московского художественного общества и первым председателем Московского архитектурного общества. Занимал должность директора Дворцового архитектурного училища.

Скотти, Михаил Иванович (1812—1865) — живописец, ученик А. Е. Егорова. Жил в Италии с 1839 по 1849 г. С 1849 по 1856 г. состоял преподавателем живописи и инспектором классов в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

Серебряков, Василий Алексеевич (1810—1886) — исторический живописец и портретист. Сын вольноотпущенного дворового человека. Академию Художеств окончил в 1833 г., где был учеником проф. Варнека. Как получивший золотую медаль был послан за границу для усовершенствования. В Риме занимался копированием произведений старинных мастеров.

Голубков, Платон Васильевич — откупщик и золотопромышленник; любил разыгрывать роль мецената.

4. Н. М. ЯЗЫКОВ — Ф. В. ЧИЖОВУ

Благодарю вас за поручение, которое вы мне дали и в котором вы достойно и праведно принимаете живейшее участие. Это участие разделяю и я с вами — как русской и как не-немец — но вот в чем дело: вы знаете, как все идет на свете, так и поверите мне, что я ни у кого не мог добиться толку по этому предмету — казалось важному, хоть для тех людей, которые основали учебное заведение, называемое Художественный класс. Один из этих основателей сказал мне, что общество вовсе не поручало * Б. выписывать художников из Рима, а поручило это Шевыреву, а Б. де с боку припеку, а на предложение мое о Сер. он мне ответил, что нам бы хотелось получить художника уже с именем! Нельзя ли напр. Иванова! Я говорил, что А. А. не согласится — и потому что его картина не кончена и проч. и проч. „Ну, когда кончит свою картину — мы подождем год, два и даже три года, чтобы залучить его в Москву, где, — дескать, — всего прекраснее и где единственно есть возможность основать русскую школу живописи и проч. и проч." Общество предлагает 10.000 р. ас. в год! С меня даже взяли обещание списаться с Алекс. Андр. Это обещание исполню я через несколько дней: надобно еще переговорить с Шевыревым — поговорю и о Сер.; я уверен, что Ал. Андр. ни за какие, так сказать, благополучия не решится — и через три года — навсегда переселиться под наше суровое небо!!

Письмо ваше Иноземцеву я доставил тотчас, как получил, да сам отвечаю вам конечно прежде И. В., который, говорят, еще ленивее меня писать письма, теперь же он чрезвычайно занят. Погода у нас то мороз в 15 градусов то оттепель: след. человечество то и дело занемогает ** и пользуется.

У меня до вас есть просьба; вы обязаны, потому что вы в праве выполнить ее: отвечайте мне на вопросы: кто именно и почему в таком виде построил церковь св. Марка в Венеции? Основание ее квадратное ли или крестообразное? Есть ли церкви квадратные или круглые в Далмации, и что-нибудь похожее на наши главы? — Отвечайте крепко и полно, как будто вы сами себя об этом спрашиваете. Я буду нетерпеливо ждать вашего ответа: он очень нужен особенно теперь, когда наша старина более рассматривается — и когда на нее уже смотрят не презрительно, как было еще недавно.

Кланяйтесь от меня А. Андр., Фед. Ив. и г. Серебрякову. Будьте здоровы: надеюсь, что скоро буду иметь удовольствие снова писать к вам, хоть не знаю, как вы разбираете мои козюльки.

Ваш Н. Языков

Февраля 25 дня 1844
Москва

В 1843 г. в Москве возникло Московское художественное общество. Первыми директорами его были избраны Ф. Я. Скарятин, М. Ф. Орлов и А. Д. Чертков. Общество это приняло в свое ведение Художественный натурный класс, существовавший с 30-х годов, и выработало устав Училища живописи и ваяния, позднее (в 1860 г.) называвшегося Училищем живописи, ваяния и зодчества. Существовало оно до Октябрьской революции.

5. Ф. В. ЧИЖОВ — Н. М. ЯЗЫКОВУ

Рим, 29/17 Марта 1844

Прежде всего ответ на ваш вопрос о церкви св. Марка в Венеции. Кто был строителем? Неизвестно и трудно разыскать, потому что вся

* Пересказываю вам это за тайну (примечание Языкова).
** „Занемогает" вм. зачеркнутого „простуживается".

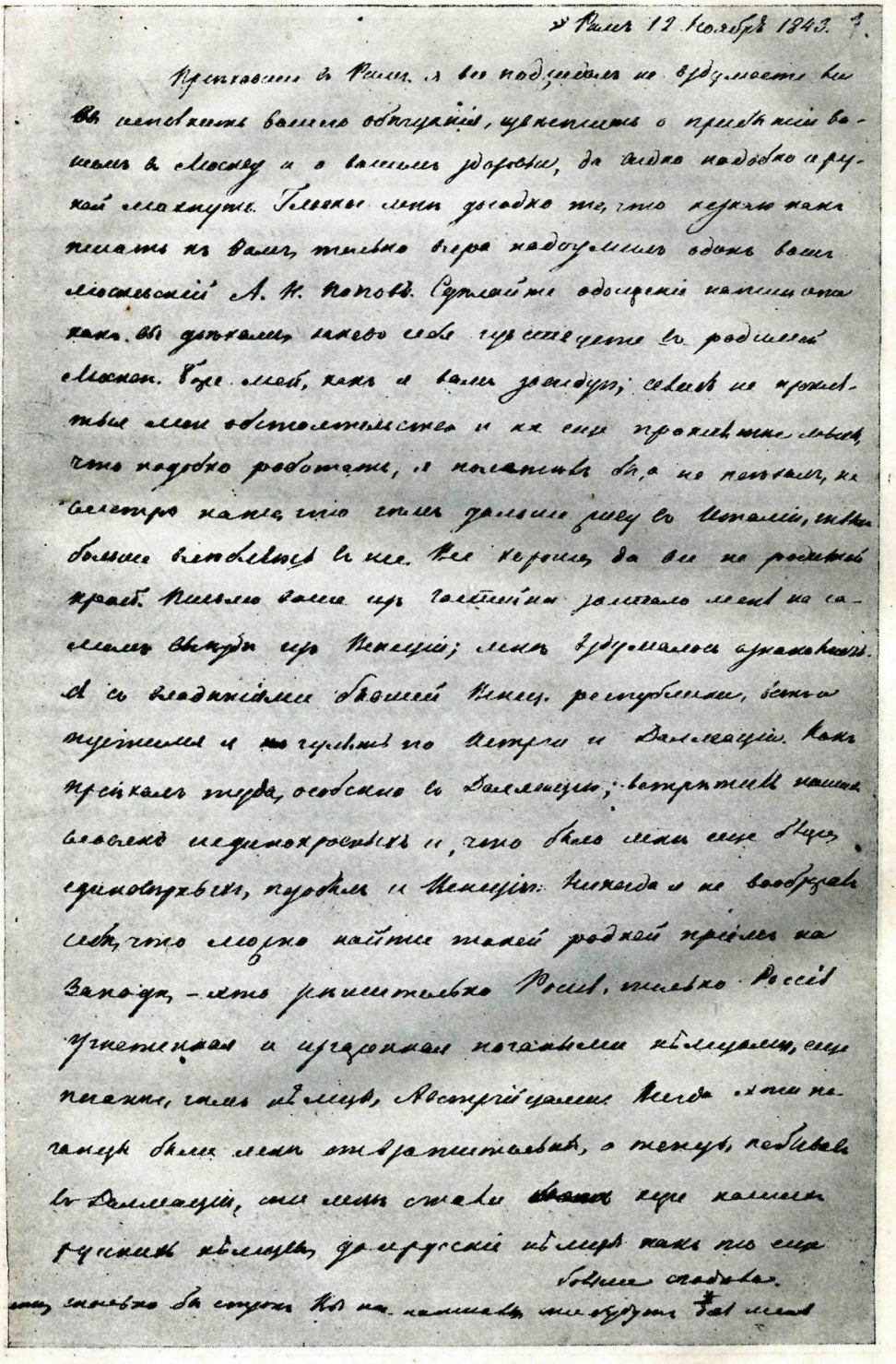
история древней Венеции известна из двух хроник Дандоло и Сакуто, а они не говорят. Другие все бумаги сгорели во время двух сильных пожаров. Если хотите знать историю собора, вот она: первое основание его было положено в 829 году, тогда это была небольшая часовня, в которой хранились мощи св. Марка. При возмущении против дожа в 976 году она сгорела, и тогда начали строить новую церковь, которую и окончили в 1049 году. После в 1085 г. обложили ее мрамором. План ее — греческий крест, то-есть ровный во все стороны, это если не вводить капеллы, а с капеллами вся церковь составляет квадрат. Впрочем собор св. Марка нисколько нейдет в лад с нашими церквами; в нем кроме византийской внутренности, которою он обязан византийским художникам, ничего нет с ними общего в архитектуре. Мозаики древние чисто византийские, даже надпись на изображении богородицы МР — ОХ, та же, что у нас. В Далмации все церкви, какие я встречал, чисто католической архитектуры и то все XIV и XV веков, ранее этого времени нет ничего. Все они чисто вениционской, или пожалуй ломбардской архитектуры; таковы по крайней мере замечательнейшие, да впрочем иначе и быть не может, потому что вся Далмация была покорена Венеции с X и потом еще больше с XI века.

Но мне кажется эти искания внешнего сближения ни к чему не поведут, пока мы не определим самого верного отличия в архитектуре наших храмов от церквей католических. Пожалуй во всей почти Баварии, как например в Ульме, в Аугсбурге и других местах встречаются наши главы, и наши русские архитекторы, каковы Бенуа, Росси, Крокау, Эпингер, Бейне, Монигетти, Барбе и пр. найдут тут что-нибудь и похожее на русскую архитектуру. В архитектуре наших церквей, так же как и в письме образов, есть то же существенное отличие от католических, какое находим в наших двух совершенно различных разветвлениях христианских. Наша церковь жила собственной жизнью, все что к ней ни относится совершенно ей подчинено и отделено от всякой другой жизни, то-есть от гражданской и политической, вообще светской. Возьмите какую хотите незначительную нашу церковь вы видите, что это храм божий: выбирите какой вам угодно храм католический, италианский, всякий вы можете принять за дворец, не исключая и св. Петра. Купол один не составляет сущности всего здания. Поэтому наши церкви требуют полного архитектурного построения, то-есть такого, где бы план и фасад или вся надпланная часть здания не были бы независимы друг от друга, напротив; в наших церквах, всегда почти отделенных от домов, ясно видно и с первого взгляда поражает глаз полное их согласие. Во всех италианских фасад составляет часто простую декорацию, которую можно пристроить к какому хотите основанию. От этого-то, между прочим, нашим архитекторам предстоит гораздо важнейший труд, нежели всем прочим. Им нельзя довольствоваться ни римскою, ни даже греческою архитектурою, потому что не говоря об искажении первой и в последней строгое отношение между планом и фасадом потерялось или по крайней мере скрылось в красоте украшений и в скульптурной работе, требуемой тем или другим орденом. Наши архитекторы должны изучить архитектуру в ее колыбели и особенно тот золотой век ее, когда она была в собственных своих пределах, когда она была единственным искусством и когда все достоинство и все условие красоты зданий состояло в строгой гармонии частей, а еще больше в последней степени красоты размеров. Это, я убежден, мы можем найти у древних индусов, и к такому изучению способен может быть один истинно русский душою и телом, такой, которого бы влекла к нему не выгода немца и даже не искусство, потому что и этого мало для по-

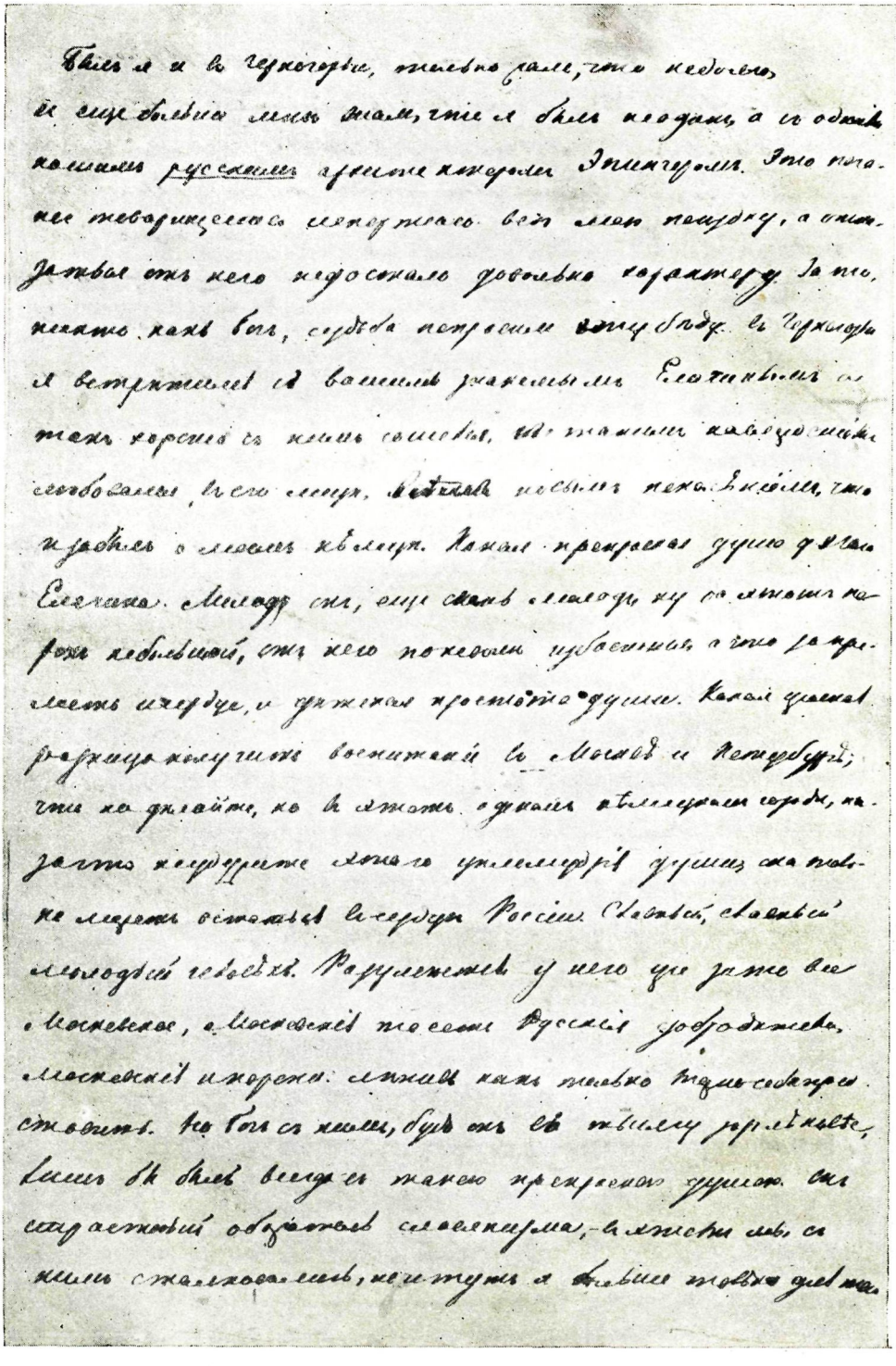
добного труда. Короче вам сказать, надобно, чтоб архитектор в своем воспитании архитектурном сделал то же, что А. А. Иванов в воспитании себя как художника.

Как отдельна наша церковная архитектура, так точно и наша иконопись. Разумеется нам надобно очень отделять церковные фрески от иконостасного или образного письма. Первые не суть образа, вторые не допускают и не должны допускать ничего кроме апотеозов. Католические или правильнее немецкие храмы петербургские нам не пример. Мы очень часто говорим об этом с Ивановым. Я полагаю, что в самых даже фресках мы должны как можно строже держаться священного писания и св. отцев, которые, изображая нам бога и даже святых во человеческих образах, допускают их небесное как необходимую внешнюю оболочку; одним словом как евангелие, описывая жизнь спасителя. По этому ввести такое изображение слов св. евангелиста Луки, какое ввел Овербек, было бы у нас противурелигиозно. Он изобразил слово Луки и пребывать в послушании (кажется так, не помню), он изобразил так, что спаситель в одном месте черпает воду, в другом поливает цветы, в третьем несет доски Иосифу, в четвертом метет комнату. Мне кажется тут буквы приняты вместо смысла и совершенно не понят дух евангельского рассказа.

Вот само собою дошло дело и до Иванова и до живописи, а следовательно и до художественного класса. Всегдашняя мысль Иванова, окончив картину, поселиться в Москве, поэтому не надобно отчаиваться, чтоб он не согласился взять на себя профессора в Москве. Но тут дело не в одном профессоре, а во всем составе школы или класса, назовите как хотите. Если вы принимаете в этом не физическое и не минутное участие (не сердитесь за это, я пишу так, как сказал бы самому себе), то необходимее всего позаботиться об уставе заведения. Кто бы его ни писал, он никогда не напишет хорошо, не выслушавши всего, что родится в голове художника, прошедшего всю школу и присматривавшегося ко всем родам, или всем путям изучения. Это раз. Второе: необходимо, чтоб этот художник был русский; немец хорош для немца, француз для француза, а для русского нейдет ни тот ни другой. Все это идет к тому, что набросав устав, непременно и неотменно должно его прислать к Иванову в Рим. Если бы прислали не позже весны будущего 1845 года, тогда мы здесь и подумали бы и пообсудили бы вместе, да потолковали бы, так, в разговоре, со всеми иноземными художниками, да написали бы свои мысли. При уставе надобно помнить одно, чтоб доставить возможность профессору быть в то же время и художником-исполнителем, только при этом условии искусство будет живым в его преподавании, иначе в два-три года оно перейдет в сухие академические правила, и пойдет все хуже нежели в петербургской академии. Когда этот класс, как вы пишите, будет дельным начинанием, тогда и нечего толковать о Серебрякове (это все между нами, то-есть все о Серебрякове). С вами как с истинным русским я не могу говорить в полоткровенности. Мы хлопотали за Серебрякова только в предположении, что Скотти может занять место профессора, иначе Серебряков слишком мало вникал в искусство и потому нельзя его предлагать как художника вполне составившегося. Говорят, что к вам в Москву назначили Завьялова. Это недурно; но Завьялов может быть только в натурном классе; он удивительный рисовальщик, такой каких не много, если и есть. Заметьте, рисовальщик, но никак не художник, ни по взгляду, ни по понятию об искусстве, в особенности живописи. Для скульптуры, говорят, назначат Пименова. Как талант он теперь из наших выше всех; но тоже нисколько не обра-



ПИСЬМО Ф. В. ЧИЖОВА К Н. М. ЯЗЫКОВУ ОТ 12 НОЯБРЯ 1843 г. ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
Институт Русской Литературы, Ленинград



ПИСЬМО Ф. В. ЧИЖОВА К Н. М. ЯЗЫКОВУ ОТ 12 НОЯБРЯ 1843 г. ВТОРАЯ СТРАНИЦА

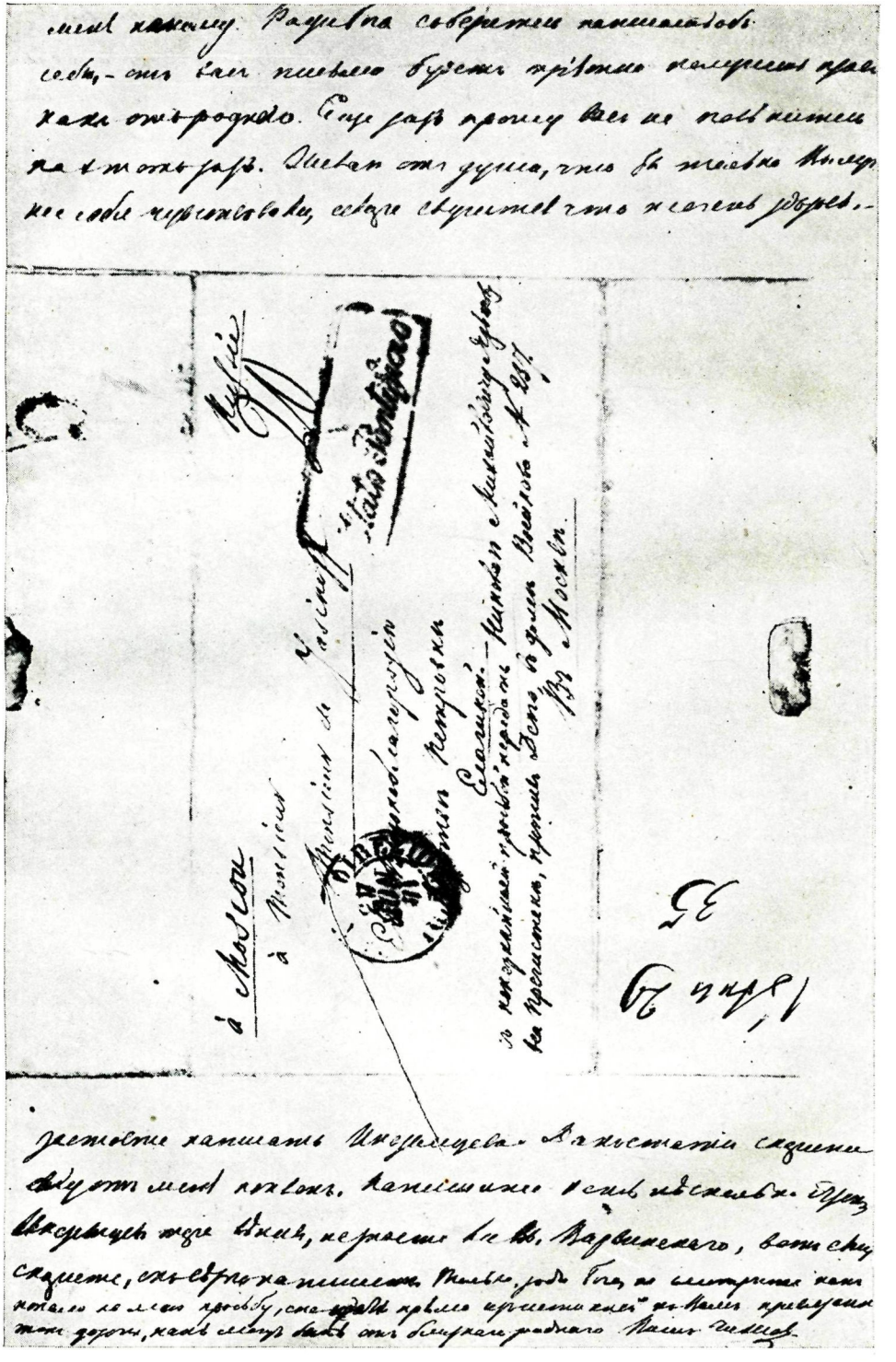
Институт Русской Литературы, Ленинград

сло недружелюбно чтобъ имелъ случай бывши въ К.

важъ пріятельскомъ дружескій душевно сло. Мы кутили
с нимъ сутки трое до Петри, где я уговорил его ехать
в городъ Нелл, чтобъ полюбоваться отпорваленными ар-
вольдными древнихъ рыцарей и портретами. Онъ меня не
слушалъ и велъ меня въ тотъ кабакъ, где мы были. Вы-
садка была очень удачна и не напоминала сильно, людей
бить и увозить за сло попали въ Италію. У него такой
дружелюбный судьба души, что онъ имелъ бы полюбовать
ся этою бородавкою сидрома и велъ, чтобъ сло тамъ бы-
гали. Дружба и нашей другъ молодой человѣкъ, сло зрѣлъ
Нежева; сладкій мелкій, не знавши сѣрова подражать не пер-
вотекай бы умѣетъ достигнуть въ у него столько сво ума,
чтобъ удержать самого себя и долго бывши только сердцу. А
въ такъ добрый и хорошій человѣкъ. Ужъ то подлецъ этотъ друг,
нехотѣлось и теперь имени не пишу.

Рѣшилъ идти поступлю, сегодня была новость, одну изъ
то недовольнаго Франсуа пропала в Академіи - всѣхъ. Вы-
ше у насъ сидѣлись, рядомъ, рядомъ работали вмѣстѣ, пятью
что глухъ или почтой любопытствуетъ по такой работѣ
рисовать ты имѣлъ удовольствіе всѣхъ смѣшныхъ сидѣлъ
Иванова въ приговорилъ а пенсіи почти не работаетъ;
Гордѣевъ все работаетъ и потому сидѣлъ не голосъ, да
терпѣлъ, да лапшу. Когда получитъ, тогда уѣдетъ въ Пер-
жеръ; все выходило больше отъ сидѣла и сегодня не огорчи-
лся. Ну пріѣдетъ недѣли двѣ, женихъ сидѣлъ
много керет. Вотъ Нелл все, что узналъ тебѣ сидѣлъ. Еще
одно, Нашекорей не спрашивалъ о Кель и просилъ всѣмъ сид-
хвалы, - а теперь только не хей прилетѣлъ еще рѣзко
Я дѣлать! Я сидѣлъ не обѣщаю работать дотолѣ а сдѣлать

ПИСЬМО Ф. В. ЧИЖОВА К Н. М. ЯЗЫКОВУ ОТ 12 НОЯБРЯ 1843 г. ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА
Институт Русской Литературы, Ленинград



ПИСЬМО Ф. В. ЧИЖОВА К Н. М. ЯЗЫКОВУ ОТ 12 НОЯБРЯ 1843 г. ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА
Институт Русской Литературы, Ленинград

зованный художественным образом. Если бы дело о Художественном классе пошло путем дельным и без мерзостей, тогда можно было бы навести побольше силы на Рамазанова, но не знаю, может ли вытти из него дельный ваятель; много кажется растрачено сил, а это не шутка. Но скульптура нам не так важна, как архитектура и живопись, по крайней мере пока; она потребуется полнотою искусства, а этих двух требует необходимость.

Не знаю, писал ли я вам что-нибудь о нашей православной церкви в Истрии, в селении Перое, если не писал, вы расспросите у Елагина, которому, пожалуйста, передайте душевный мой поклон и известие, что Попов отсюда уехал с целию побывать в Париже. Дело в том, что один мой знакомый, некто Голубков, хочет помочь Перою; это хорошо, но было бы лучше, когда бы к нему присоединились и другие. В Перое всего 300 душ нашего исповедания и они терпят гонения только за то, что крепки в вере. Этому пособить невозможно. Но у них такая нищета в церкви, что совестно смотреть, вот чему пособить легко. Что еслибы кто из ваших близких тоже бы принял в этом участие? Что сделает Голубков, я не знаю еще, а надеюсь, что даст что-нибудь. В случае, когда бы что-нибудь собралось, все бы можно было переслать ко мне в Венецию, но лучше всего предварительно списаться, адресуя в Рим Tchijoff (antico caffe greco), это всего вернее, иначе могу не получить письма. Вы пожалуста не морщитесь за такие поручения, а хоть и поморщитесь, что же мне делать? На днях я посылаю в Петербург кое-какие статьи, где пишу и о Перое; мне бы хотелось их напечатать в Московских Ведомостях. Ну да об этом я напишу кому о сем ведать надлежит.

Кажется я не передал, что следовало. Пожалуста подгоните Иноземцева написать ко мне. Еще одно: помните вы говорили мне об Аристотеле (архитекторе) болонском; меня он очень занимает, да не знаю как приняться за изыскания? Пожалуста, известите меня, что и где было напечатано о нем, и не было ли каких указаний, по которым можно было бы что-нибудь найти. По крайней мере в каком году он приехал в Россию?

Пожалуста, писавши к Алек. Анд. Иванову, не пугайте его трехгодичны сроком, потому что это заставит его думать, а всякая дума вне его дела для него огромное дело. Глаза его все еще не очень хороши, так что он не иначе может работать, как в половину. Иордан влюбляется,—добрый человек, а все из немца не сделаешь русского. Новые художники обещают не много, посмотрим, что будет дальше. От души обнимаю вас.

Ваш Чижов

Чижов объединяет архитекторов разных поколений и разных масштабов дарований по признаку их нерусских фамилий. Тут и Карл Иванович Росси (1775—1849), знаменитый строитель ряда замечательных зданий в Петербурге, и архитектора более молодые и гораздо меньшего значения: Николай Леонтьевич Бенуа (1813—1898), Август-Карл Бейне (1816—1858), Александр Иванович Крокау (1817—1888), Ипполит Антонович Монигетти (1819—1878). Все они по возвращении из Италии были профессорами архитектуры в Академии Художеств. То же преобладание среди русских архитекторов лиц с нерусскими фамилиями считает нужным подчеркнуть Чижов и в своей статье „О работах русских художников в Риме“ („Московский Литературный и ученый сборник“. М., 1846). „Кроме упомянутого мною Рязанова, — пишет Чижов, — теперь в Риме: гг. Бенуа, Бейне, Росси, Эпингер, Крокау, Монигетти, Барбе, Комбе, Пранк, Бравур, Нордек и еще один новоприезжий, не помню хорошо его имени. Кажется, что я перечел всех русских архитекторов. Был еще Иоль, да после открылось, что он прусский подданный“. Это место особенно пришлось по вкусу Погодину и в рецензии на „Московский Сборник“, помещенной в „Москвитянине“, выписывается весь этот список „русских“ художников. Справедливость требует сказать, что, подтрунивая над иностранными

фамилиями (а отчасти и происхождением) означенных им архитекторов, Чижов совершенно свободен от национальных пристрастий в оценке их дарований: „Рисунки г. Бейне превосходны", пишет он; копию Монигетти с потолка в ризнице св. Марка в Венеции он находит „сделанной прекрасно" и т. д. („Моск. Сб." 1846 г., стр. 134).

Овербек, Иоганн-Фридрих (1789 — 1869) — немецкий живописец, оказавший сильное влияние на Александра Иванова. Долгое время жил в Риме. Основатель кружка немецких художников „назарейцев", которые восстали против сухого академизма и пытались воскресить религиозное искусство средневековья, заимствуя формы у итальянских художников XV в.

Завьялов, Федор Семенович (1810—1886) — живописец. Учился в Академии Художеств. В 1836 г. получил первую золотую медаль за картину „Самсон, разрушающий храм филистимлян", командирован был за границу, где прожил в Италии до 1843 г.; с 1844 по 1846 г. был инспектором и преподавателем Московского училища живописи и ваяния. Позднее переехал в Петербург, приглашенный преподавать в Академии. С 1853 г. — профессор живописи.

Пименов, Николай Степанович (1812—1864) — известный скульптор, работавший в стиле псевдонародного бытового жанра. С 1836 г., т. е. одновременно с Завьяловым, был награжден золотой медалью, в связи с чем командирован был с 1837 г. за границу, 14 лет прожил в Италии, занимался не только скульптурой, но и живописью.

Рамазанов, Николай Александрович (1817—1867) — скульптор и писатель-искусствовед. Командирован был Академией Художеств в Италию, где пробыл с 1843 по 1846 г., когда был вызван в Россию Московским художественным обществом для преподавания в Училище живописи и ваяния. Совершенно так, как рекомендовал Чижов (и возможно не без его влияния), первым кандидатом Московское художественное общество считало Пименова, а когда тот задержался за границей, обратились к Рамазанову, который и был с 1847 по 1866 г. преподавателем скульптуры в означенном училище.

Ридольфо Фиоровенти, прозванный Аристотелем (род. около 1414 г.), — итальянский архитектор из Болоньи. Был вызван в 1475 г. в Москву, где построил Успенский собор в Кремле.

6. Ф. В. ЧИЖОВ — Н. М. ЯЗЫКОВУ

Париж, 29 Июня 1844

Сейчас только получил ваше письмецо и не откладывая отвечаю на него. У нас в Риме тоже пробежала весть об этих четырех епископах, да и пропала, так что я решительно ничего не знаю дальнейшего. А вот вам кстати сообщу маленькую весточку: вы я думаю слышали от Елагина о Перое, скажите же ему, что теперь ко мне пересылаются: церковная утварь и одежда священническая для Пероя всего ценою около 3000 рублей, я повезу их сам в конце августа из Триеста.

Что вам сказать об наших, вы уже знаете, что Иванов плох и потому живет лето в Неаполе; картина его подвинулась очень, очень мало. Серебряков, не знаю что и сказать; у него есть талант и много, но мало характера, подожду и напишу вам по приезде. Немного и я виноват, и Александр Андреичь; мы через чур были строги к его эскизам. Но он русский и мы русские; вы поймете нашу строгость. Шаповаленко идет, хоть и тихо; он кончил свою картинку, но уже без меня. Из него будет очень хороший учитель и препорядочный портретист; что больше? Это еще пока не выказалось, а может быть; на лета ссылаться нельзя, потому что он очень мало развит.

Вы спрашиваете когда я буду в Риме — непременно в декабре и останусь там месяца четыре. Вот вам план моего путешествия: здесь я остаюсь до 15 июля, кажется не больше, потому что прочел уже большую часть рукописей, что остается не займет больше 2 недель, а для списывания, по причине слабости глаз я нанял одного итальянца, который пишет под моим присмотром. Итак 14 июля я думаю поехать в Орлеан, Шамбор, Блуа, Амбуаз, Тур, Анжер и Нант. Все это с возвратом, благодаря железной дороге и пароходам, возьмет не больше 6 дней. Возвратясь в Париж, я останусь дня два и потом отправлюсь в Руан, Бове, Суассон, Реймс, Нойон, Амьен, Лиль, Турне и Брюссель. Из Брюсселя через Гант и Брюж заеду к Гоголю в Остенд. Потом через

Лиеж заверну к Печерину. От него в Кельн, Дюссельдорф, откуда поднимусь по Рейну до Страсбурга, после в Базель, Берн, Лозанну, Женеву, Турин, Милан и в Венецию. Из Венеции съзжу в Триест и Перой, чтобы свезти вещи. Возвратясь в Венецию, останусь там месяца два или около этого и потом во Флоренцию и Рим. Здесь еще я в раздумьи — оставаться ли в Риме, или ехать в Сицилию, думаю, что останусь, как для того, чтоб воспользоваться пребыванием там в отношении к искусству, изучению итальянского и испанского, а может и греческого языков, так и для сбережения денег, которых у меня весьма небольшая толика. Судя по этому вы можете делать всевозможные поручения и мне особенно будет приятно их исполнять, если они будут относиться к искусству. По Франции меня заставляет разъезжать исключительное желание видеть как можно больше готических храмов, чтоб приучить, так сказать воспитать глаз на красоте готической, совершенно отдельной от красоты греческой.

Из Рима я думаю что выеду в конце марта, или в начале апреля, объеду все закоулки и приеду еще проститься с Венециею, потом еще не знаю, быть может поеду через южно-славянские земли и через Константинополь возвращусь летом в Россию. Во всяком случае буду писать к вам, а думаю, что около августа явлюсь лично в Москву. Далеко еще до этого, но время так летит, что это ужас.

Вот уже я около полутора месяца в Париже. Что вам сказать об нем? Движения много, сильно много движения, но уже не то, что было за десять лет перед этим. Теперь все умственное, нравственное и и политическое движение заключено в самых тесных пределах: наука вертится на накоплении сведений; нравственный быт много выиграл в последнее время, но в самом выигрыше можно читать, что теперь уже только остается ввести в быт народный те успехи ума, которые сделаны до сего времени, а о дальнейшем нечего уже заботиться. Вообще в самом движении чувствуется какое-то ослабление сил и мне иногда Париж представляется как будто каким-то маховым колесом, которое тогда начинает сообщать полную правильность движения машине, когда движущая сила перестала уже действовать, а все движется старым размахом.

Полная теплота, даже, пожалуй, пламень жизни, хотя и в малом виде, в Париже, как и везде, теперь существует в славянах: Мицкевичь горит огнем славянолюбия и несмотря на свой мистицизм, с которым он является на кафедре и является по влиянию обстоятельств, в частных беседах это славянин душою и телом, но все-таки славянин западный. Мы с ним слились очень хорошо; когда я приехал, лекции его уже кончались, я присутствовал только на одной последней, где он и показался чрезвычайно странным и которую он кончил раздачею Наполеона в апотеозе. Бывши у него я коснулся этого и было очень кстати. Он говорит, что славяне имеют особый орган понимания бога, высший, нежели у всех прочих народов; это так близко к моему убеждению, что я с ним почти согласился, тем более, что существенная разница была только в форме. Я говорил, что славянам суждено внести новое начало в мир человеческий, начало *духа*, или полной гармонии душевных способностей, он приписывал это развитию органа, ну это все равно. Но вот в чем дело; он говорит, что этот орган на земле не может явиться иначе, как с помощью французов. Я вскочил с места, — это не слово славянина, это влияние западной крови, это мысль поляка, а не славянина, то-есть того, что есть в поляке не славянского. Я говорю, говорю со всею силою даже до того, что наконец ударил кулаком по столу и слеза заблестела на глазах: нет, мертвому, изгнившему Западу не вести живые силы Востока на святое дело человечества. Я был так этим выведен

из покойного положения, что хотел продолжать, но он меня проси. остаться нам в дружбе нашего единства убеждения и я пока остави. этот вопрос. Хотя никак не оставлю. Он говорит лучше остаться дружну на первом шагу убеждения, нежели разойтись, высказав ег вполне. Я говорю, я уступаю теперь, но не соглашаюсь с этим: то ещ не истина, когда только сердце ее исповедует, а истина тогда являетс во всей полноте своей, когда язык не побоится высказать убеждени сердца.

Но оставив эти мелкие различия мнений, зависящие часто от обсто ятельств и местных условий, нельзя смотреть без восхищения на то что в настоящую минуту кипучая жизнь только и видна в благородно крови славянской.

Что вы пишите о нашем бездействии, особенно московском, на по прище литературном, меня сильно радует. Это показывает сильно ослабление того уродливого начала, которое под именем человеческог умел ввести Запад в наш зовущий себя образованным круг. На уни верситет я признаюсь вам, смотрю иначе, нежели вы; все он мне ка жется развратителем и врагом народности, а что в Москве являетс новое, свежее благородное поколение, это только показывает, что сил народности такова, развилась до того, что и университетский развра не может на нее действовать. Там, где нет ни русского ума, созидаю щего науку, ни русского сердца, на опорах которого она созидается там не может быть русского создания. А где вы мне укажете это стре мление к русскому в науке? Но укажите его не на словах, а на дел науки. Между нами будь сказано: Попов очень, очень хороший молодой че ловек, я всегда с восторгом об нем вспоминаю, но не это путь создани русского,—нам надобно не брать системы, а в собственной голове про водить исторически весь путь науки, тогда наша голова сама создас современное, иначе она будет бороться против западного, а все, в са мой борьбе, выскажет подчинение ему.

Иванов вам писал; ради бога не замедлите ответом ему, потому что это да ет ему силы переносить свою болезненность,—он сильно заботится о брате

Буду ждать вашего письма в Венеции и тоже поручения.

Еще два слова. Здесь я нашел Айвазовского, нашего водяного живо писца, бедный не снес на плечах своего таланта и свалился под ним. Потом на бульваре, в одном магазине, видел головку по пояс Тырсина Она здесь такую роль играет, что чудо, между тем как в Риме не была даже и замечена. Пожалуста, писавши ко мне, уведомьте, были ли на печатаны мои статьи об Истрии, Далмации и Перое, я их посла в Петербург, потому что там живет мой получатель всего Поленов; н я просил его переслать в Москву после цензуры. Москве будут больш по сердцу слова славянина. Вряд ли цензура пропустит, потому что вс против Австрии.

Прощайте, искренне обнимаю вас, душевно преданный вам

Федор Чижов

Где-то Попов? Где Елагин?

Шаповаленко или Шаповалов—молодой художник, которому покровительствова Н. В. Гоголь.

Печерин, Владимир Сергеевич (1807—1885)—университетский товарищ и один и ближайших друзей Ф. В. Чижова, расходившийся впрочем с ним по многим основны взглядам. Окончил Петербургский университет кандидатом историко-филологическог факультета в 1831 г.; Ф. В. Чижов кончил по физико-математическому факультет в следующем году. Оба принадлежали к кружку А. В. Никитенко. В 1833 г. Печери был командирован с научной целью за границу, в июне 1835 г. вернулся в Россик но через месяц эмигрировал из России навсегда, не будучи в состоянии примиритьс с ее социальным строем. В 1840 г. Печерин перешел в католичество. Впоследствии Чижо

много хлопотал об издании „Замогильных записок" Печерина, но цензура их не пропускала. Опубликованы в 1932 г. (изд. „Мир").

Адам Мицкевич жил в Париже с августа 1832 г. В 1844 г., когда с ним встретился Чижов, Мицкевич был всецело под обаянием польского мистика Андрея Товянского, провозгласившего себя мессией. Идеи Товянского проповедывал Мицкевич и на своих лекциях. Весь курс его состоял из 14 лекций. Чижов присутствовал очевидно на последней, состоявшейся 28 мая 1844 г. На этой лекции Мицкевич говорил между прочим о духовной близости французов и поляков, о Наполеоне как выразителе идей Французской революции и освободителе Польши. Наполеон, по словам Мицкевича, был первый божественный посланник; теперь надо ожидать второго. Мицкевич подготовлял слушателей к признанию Товянского таким мессией. Во время лекции он раздавал литографированные портреты Наполеона, на которого был внешне похож Товянский. Естественно, что Чижову Мицкевич „показался черезвычайно странным".

Айвазовский, Иван Константинович (1817—1900) — художник-маринист. Художественное образование получил в Академии Художеств. В 1840 г. поехал в Италию, а затем посетил Германию, Францию, Англию и Испанию, при чем его марины везде имели шумный успех, особенно бывшие на Парижской выставке 1843 г. и доставившие ему звание академика.

Поленов — университетский товарищ Ф. В. Чижова, бывший в приятельских отношениях и с А. В. Никитенко.

7. Н. М. ЯЗЫКОВ—Ф. В. ЧИЖОВУ

Вот какая у меня до вас просьба, мой любезнейший и почтеннейший Федор Васильевич. Мне хочется иметь два, три или четыре итальянских вида работы русских художников: так не возьметесь ли вы действовать в удовлетворение этого хотения? Денег на это определяю 1000 р. Уведомьте же меня, как мне быть, т. е. прислать ли вам эти деньги или нет и когда прислать, если прислать? Сверх того напишите, что будет стоить доставка оных картинок в Россию и даже в Москву и когда она и как возможна?

Попов привез мне добрые вести об вас и об Ал. Анд. Вам подобает венец гражданских доблестей за все, что вы делаете для русских художников, — продолжайте, продолжайте так же, как вы начали, ваше великое, благое дело; желаю вам во всем благого поспешения, на врагов побед и одоления и надеюсь, что наша возьмет! Сердечно радует меня и то, что картина Иванова идет вперед: честь и слава ему — и нам всем за него. Как же это вы не восхищались в Париже картинами Айвазовского: об них так много пишут похвального и французы и Греч? Вашей статьи о Истрии я не видал ни в одном русском (ученом) журнале и никто из моих знакомых тоже — следственно она в печати не была. Попов и Елагин вам кланяются. Я хочу нанять перевести на русский Куглерову историю живописи: у нас по сю пору нет никакой! Нынешной зимой читал его же историю обр. искусств; но не смог прочесть много: — она издана без рисунков; и ей-ей скучно читать архитектурные описания зданий — не имея чертежей перед глазами. Она у вас есть.

Не знаете ли вы подробностей смерти Баратынского? Здесь говорят, что он погиб вследствие какой-то истории, которою попрекнула его супруга его — ведьма! Напишите, что вы об этом слышали.

Будьте здоровы. Жму вашу руку.

Ваш Н. Языков

Августа 20 дня
1844

Мой адрес: на Арбате, к Спасу на песках, в доме Бесеменова.

Под „Куглеровой историей живописи" Языков имеет в виду книгу выдающегося немецкого историка искусства Франца-Теодора Куглера (1808—1858) „Handbuch der Geschichte des Malerei", Berlin, 1838 г.

Другая книга, которую Языков называет „историей искусств", носит название „Handbuch der Kunstgeschichte", Stuttgart, 1841—1842 гг. Намерение Языкова „нанять пе-

ревести" первую из этих книг, как это часто у него бывало, осталось невыполненным. Русский перевод этой книги появился в 1872 г.

До нас не дошло того письма Чижова, где он вероятно отвечал на вопрос Языкова относительно подробностей смерти поэта Баратынского. Умер Баратынский в Неаполе 29 июня (по ст. стилю) 1844 г. Жена была косвенной виновницей его смерти; как думали врачи, главной причиной были беспокойство и волнения поэта в связи с ее болезнью.

8. Ф. В. ЧИЖОВ — Н. М. ЯЗЫКОВУ

Рим, 2/14 Декабря 1844

Письмо ваше принесло утешительную весть, что вы здоровы, что видно из самого хода его, слава богу, — и еще слава богу. О воде не умею вам ничего сказать, столько говорят и за нее и против нее, что не знаешь, кого слушать. Не мог разобрать имени того, кто вас пленяет водяным лечением. Картину, или дело о картине не кладите в архив, а если уж даете мне право дружески вам советовать, скажите себе: теперь в Риме, пишет Чижов, появился дельный (сколько можно судить по началу) пейзажист живописец Солнцев, он не пенсионер, у него нет средств, отделил 1000 рублей на четыре вида, отдам их за один, зато художнику дадутся средства. Это требует вашего ответа. Теперь по тому, что меня сильно занимает у вас в Москве. Что Киреевский взял, или берет на себя издание журнала Москв. Это превосходно, но только по письму вашему, кажется этого не будет; а по мне я и желал бы, чтобы в настоящую минуту этого не было. Нет ничего хуже, как оживлять полуистлевшее тело, тут могут быть две беды. Первая, это может неудастся, скажут: попытка не случка, а вопрос не беда. Да дело в том, что имя Киреевского для нас так целомудренно, почтенно, что его нельзя бросать на одну попытку. Еще одно: оставьте и думать, чтоб журнал шел одними собственными средствами первые годы, — если не захотят употребить капитала, все пойдет вверх дном. Вы смотрите на одну сторону — плату за статьи; есть еще другая — выписка журналов франц., немецких, английских и славянских. Без этого лучше не браться за дело, а это не так недоступно, как кажется. С миру по нитке, голому рубашка. Мы рабочие пожертвуем на первое время половиною работы, люди имущие дадут в складчину денег, не в вечное и потомственное владение, а заимообразно на три, на четыре года. Еще необходимо одно — чтобы имя Погодина, совершенно уничтожилось перед лицом общества, что с ним журнал не будет имет никакого доверия. Я не могу ничего говорить против самого Погодина, может быть это превосходнейший человек, но как редактор журнала он явится невыгодно. Что касается лично до меня, то (думаю что вы поверите словам моим) я всею душою готов служит делу, но не людям. Мое положение, то-есть неимение никаких средств к существованию, не позволяет мне работать безденежно, но существование не потребует многого. Даже если за этим будет остановка, тогда я удалюсь в деревню, то-есть буду жить почти ничем и буду все работать; но мне нужна уверенность, что мы делаем, а не толчем воду. Теперь пока вы можете взять у Сергея Матвеевича Иванова (Богословский переулок против Григория Богослова в доме госпожи Голубковой) три небольшие мои статьи, моим именем, послав-ши ему записочку; это двоюродный мой брат и друг детства. Именно поездка в Истрию, Перой и еще отрывки из записок во время поездки в Далмацию. Есть еще у меня выезд из Франции и Москвы, да несколько листочков проезда по Франции. Я приехал бы пожалуй и ранним летом, но беда та, что я из Венеции непременно думаю поехать по славянским землям, — и вести подробный журнал, — и поэтому раньше августа никак не приеду. Во всяком случае, пока мы не соединимся братски, пока

не скажем друг другу — брат русский вот мои труды, вот тебе мои деньги, вот тебе мой ум, пока не будем истинно русскими, к чему поганить это святое имя? Пускай журнал издается продавцами, они унижают одно имя литератора, но имя русского остается чистым. Правда, что одной страдательной чистоты мало; без деятельности нет заслуги. У меня много запасено материалов, и если я увижу имя истинно русское во главе журнала, я его последний раб, он может употреблять меня как хочет, — служить всеми силами России, это одна и первая и последняя мечта моя, но ради бога, поговорите Киреевскому, чтобы он обдумал, прежде нежели примется. Еще одно, пусть они введут искусство как постоянный отдел в журнале, тогда мне можно бы всякий месяц помещать одну или две статьи: одну в отношении к искусству, его истории, теории и тому подобное; другую—биографии художников. Для последнего у меня книг 50, а если пойдет на дело, все средства употреблю, чтобы иметь все, что писано. Пишите ради бога не откладывая и даже введите меня в сношения с Киреевским, я не знаю ни его имени, ни жительства, — Николай Михайлович, неужели еще не надо, чтобы мы русские душой и телом, и душу и тело положили за нашу святую Русь? Обнимаю вас.

Ваш Чижов

Ф. В. ЧИЖОВ

Карандашный рисунок из альбома Э. Д. Дмитриева-Мамонова
Третьяковская галлерея, Москва

Есть к вам просьба: Ал. Анд. Иванову необходимо знать, как изображалось у нас воскресение спасителя. Все что он ни читает, сколько мы не толкуем, а останавливаемся на одном: что эта минута соединяется в нашей церкви с искуплением душ, то-есть сошествием во ад. Исторического рассказа о воскресении нет, кроме того, что разбежались и быть не могло потому что ни евангелисты, никто из апостолов тут не был. Пожалуста, растолкуйте брату Иванова, что нужно пририсовать со старых образов сочинение воскресения Христова, а если есть у вас кто делец по этой части, то и того в ход пустите. Когда дело пойдет дальше, я даже думаю написать к митрополиту Филарету, прося его руководить в этом истинно благом начинании. Но все это между нами, потому что ничего еще неизвестно. Попову пишу, потрудитесь передать писульку. Еще раз дайте обнять вас. Чижов.

Адрес мой по 5 здешнего марта все в Риме, позже в Венеции. Пожалуста, известите подробнее и точнее о вашем намерении: будете ли вы в Москве или нет?

9. Н. М. ЯЗЫКОВ—Ф. В. ЧИЖОВУ

Еще раз отвечаю вам на то из ваших писем, которое известно у меня под именем грозного, но грозного добросовестно и благодетельно. И. В. Киреевский не может теперь сноситься с вами о ваших статьях для „Москвитянина“: судьба его зависит от трех первых месяцев 1845 года, т. е. если в эти три месяца число подписчиков на М. увеличится сильно и торжественно, то журнал перейдет к Кир. вовсе, в полное его распоряжение во всех частях и отношениях. Эти три месяца пробные. Когда они оправдают нашу надежду на нашу ветреную публику, т. е. когда дело пойдет и установится, как бы должно быть: пойдет ходко и установится твердо, тогда благоволите сноситься с Киреевским, лицо к лицу, прямо и прямо! Киреевский знает вас и достойно и праведно любит и уважает вас; знает и из моих уст и из ваших ко мне писем, а любит и уважает вас, потому что он живо сочувствует тому, что вы чувствуете, чем вы живете и движитесь.

На днях был у меня С. Андр. Иванов: он слышит хорошо и бодрствует дельно и православит. Снимки с древних икон Христова воскресенья уже делаются: замечу мимоходом, что на картине воскресения спаситель, так мне кажется, должен быть представлен не вылезающим из гроба, а восстающим: этакому его положению не должна мешать мысль, что будто бы тогда он будет походить на Лазаря: неужели тот, кто сам воскресает, может походить на того, кого воскрешают? Попов обещал мне сделать для Алекс. Андреича — и очерк собора (который теперь строится Тоном), сделанный Хомяковым: скажите мне несколько слов об нем: вы его получите скоро. Мне очень нравится он, сильно действует своею громадностью и прямыми мыслями высоко идущими. Верхняя часть то-есть та, где стоят главы, что-то несоответствует мысли целого и так сказать уменшает его красноречивую громадность.

Три ваши статьи я получил от С. М. — благодарю, благодарим.

Читал я ваше письмо к С. Андр. Вы слишком уже уничтожаете наши древние церкви и соборы! Что искусство в них не развилось или развилось не вполне это не значит, что оно неоригинально и несвоенародно: его развитие остановилась тогда, как на Руси нравы и обычаи переставились. Цветок которому не дала расцвесть непогода — не виноват, что мы не видим полного его блеска и красы!!..

Деньги на картину или лучше: на картинку: потому что большой мне и положить некуда, пришлю на имя Ал. Андр. Иван. Вы можете располагать ими, хотя бы они и явились в Рим после вашего отъезда.

Сейчас получил я письмо от Гоголя. Он поехал в Париж, где пробудет месяц или два, а потом в Италию — но в Рим ли? еще не пишет.

Ваш Н. Языков

Января 11 дня
1845

Ваши статьи — распрекрасные! Решительны и забористы и поражают — кого надо поражать громом небесным! Мы постараемся их напечатать, хотя и придется выпустит из них много дельного, коренного и высоко почтенного. Мне сказывал С. М., что ваше здоровье очень расстроилось: уж не вредит ли вам жар благословенного юга? Напишите мне, какие же меры принимаете вы для самохранения? Посоветуйтесь с Циммерманом. Гартман, мне кажется, не мудрый медик!!

„Три ваши статьи..." Вероятно это отрывки из путевых записок Чижова об его путешествии по славянским землям.

10. Ф. В. ЧИЖОВ — Н. М. ЯЗЫКОВУ

Рим, 15/5 Генваря 1845

Ваши письма приносят мне такое наслаждение, что если б я и не любил вас и тогда не мог бы не ждать их с нетерпением. Ради бога помните, что вам же не много осталось потрудиться, потому что еще письма два, да мы и увидимся, — припоминая это пишите ко мне неоткладывая. В Риме я только до 1-го марта, поэтому думаю, что вы не успеете ответить, — так как вы неохотно принимаетесь за перо и тем более ценю каждую вашу строчку. Но, мой добрый и благороднейший Николай Михайлович, не надейтеся на князи и сынове человечести, — тем еще больше скажу вам искренно, с глубоким вздохом и со всем чистосердечием не надейтесь на меня, — чтоб не иметь еще одной потери. Поверьте что до сей минуты эти слова мои идут не из скромности, а из убеждения. Чтоб сделать надобно быть сделану окончену, а этого я далеко, далеко не нахожу в себе. Но это дело рук божиих, это меня не заботило бы, если бы не убивало другое; пред вами я исповедаюсь потому что в вас привык любить прекрасную душу, — за что я ни берусь, что ни делаю, почти нет ничего, где бы я не находил чего-нибудь нечистого в самом себе, — самолюбия, тщеславия, гордости, или по одиночке, или все вместе. Замешиваются почти всюду, — поверите ли, что иногда слезы готовы ручьями литься. Что еще больше убивает, что это я вижу и не знаю, чем противустать этим мерзостям. Наше дело свято, это куща, из которой бог взывал Моисею, когда я подумаю, что я подойду к ней с неразутыми ногами, мороз подирает по коже. Я не виню тех, кто выступает на поприще писателя без всякого убеждения, для него это торговля, его и винить невозможно; но если богу угодно было просветлить очи, если видишь всю высоту назначения, тогда каждое нечистое чувство есть уже богохульство. Будет время, мы много будем говорить с вами, но я чувствую, что мне еще не пришло время действовать, как писателю; можно по временам пересылать небольшие вещи, — впрочем все это не зависит от нас. Что будет, то будет.

Не тревожьтесь тем, что представители Запада думают издавать в Москве журнал; пусть издают; если они найдут сочувствие, покоримся воле божией. Не нам знать, и не нам испытывать судьбы божии; дело каждого из нас исполнять свое назначение, быть воином и воителем святых его истин. Во всяком случае для меня приятно всякое явление

жизни, особенно теперь, когда я убежден, когда я весь проникнут верою, что уже наступила пора славянской жизни, по моему мнению, жизни вполне человеческой, жизни в высшей степени христианской, для которой в основах нашего народа мы находим обильные данные. Иконоборцы гнали поклонение святыне, и в это же самое время образа писались более нежели когда-либо.

Но что всего более меня укрепляет, это уверенность, что судьбы божии сберегут нас и что все идет на создание нашего величия.

Мне жаль, что я неясно написал вам о статьях моих; они не были пропущены в Петербурге, поэтому мне хотелось бы, чтоб вы прочли и сделали бы из них, что можно. Вам я не боюсь поверить—приноровить их к требованиям цензуры, но в Петербурге я не мог этого позволить, потому что они были в состоянии совершенно окрасить другим цветом, как говорит Сенковский, им нужна самая легкая перемена—перенести все „не“ с одного места на другое. О напечатании писем моих к Голубкову я вовсе не знал, раз от вас же слышал; признаюсь это очень досадно, потому что писав к давно знакомому, вовсе не заботишься о внешности и даже часто не читаешь, что напишешь. Знаю только одно, что я не могу отступать нигде, ни в дружеской беседе, ни в парижском обществе от моего убеждения и не боюсь в этом отношении.

Пожалуста, известите меня подробнее о Москвитянине, будет ли он или нет? Если возьмут его без капитала, право будет плохо, главное плохо потому, что могут представить дурно то, что и с внешней стороны должно быть так же величественно, как оно высоко и свято с внутренней. Если можете мне писать так, чтоб я получил ваше письмо до 1 апреля здешнего, адресуйте во Флоренцию poste restante, а дальше до 15 мая в Венецию.

Алёк. Андр. был болен недель шесть, теперь начал выходить и принялся за работу. Меня ужасно заботит его положение; на год еще у него достанет средств, а что там будет? Бог знает. Неужели суждено его картине остаться без окончания? Эта зима у меня прошла в изучении искусств и языков, именно я ознакомился с испанским и припомнил немецкий, почти мною забытый. Чем больше я вхожу в Италию, тем больше вижу, что писать о ней нельзя иначе как в ней; книга, как отдельные предания, и то рассказанные не очевидцем. Что бы книга ни говорила, она передаст только явление, а чувство погребено в нем самом и им только пробудится. Приехавши к вам, я вам передам план моих писем, он у меня набросан. Ход Венеции написан давно, но за ее сравнение не могу приняться, потому что недостает сведений о домашней жизни Венециан, что года в полтора будет легко узнать, потому что издается весьма дельное сочинение. Дай вам бог здоровья и еще дай бог, чтоб мне летом удалось с вами увидеться и обнять вас.

Ваш Ф. Чижов

В № 11 (ноябрь) „Москвитянина“ за 1844 г. на стр. 248—250 помещено было „Письмо от Ф. В. Чижова к Г. Голубкову из Ровоньо от 4 сент. 1844 г.“

В письме этом Чижов сообщает своему адресату о прибытии в Ровоньо, ближайшую гавань к перойской церкви, пожертвований (церковной утвари и т. д.) для этой церкви, сделанных Платоном Васильевичем Голубковым и его женой Марией. В письме много внимания уделяется тому, как благодарили перойцы „доброго господина Платона и добрую госпожу Марию“ и как в церкви священник „громогласно молил о здоровьи жертвователей“.

Письмо это не предназначалось для печати и напечатание его не могло не быть неприятным Чижову.

11. Н. М. ЯЗЫКОВ — Ф. В. ЧИЖОВУ

Ваше письмо от 17/5 января причинило мне много неудовольствия— мне обидно на вас и на себя: на вас за то, что вы так сильно предаетесь духу уныния, самому злейшему из всех бесчисленных злых духов, неугомонно устремляющихся на человека во все время пребывания его на сей земле! Досадно мне и на себя, за то, что я был уверен в непоколебимости души вашей: думал, что всякие обуревания подобного рода— должны разметаться перед нею и исчезать, как снег перед лицом огня! А он—и как вам это не стыдно!...вы сомневаетесь в самом себе, и считаете себя недостойным дела, для которого вы живете, так самоотверженно которому служите, так чисто и добросовестно! Не мне одобрять вас и восстановлять вашу деятельность: странно было бы если бы черепаха вздумала учить скороходству! Но этой черепахе, признаюсь вам, повторяю, досадно видеть, как именно тот, кому самое то поприще, для коего он себя создал, как нельзя лучше, вдруг мерещится недоступным и необещающим. Чепуха! нет, я вам не верю, я причисляю ваше уныние к припадкам меланхолии, которые пройдут сами собой, потому что они должны пройти: я не хочу, не могу разуверить себя в в том, чему верил и по чувству и по сочувствию и по убеждению.

Ваши три статьи прочли мы всласть. Но, покуда еще не тешимся печатать их и не потому даже, что боимся непропущения их цензурою: у нас есть причины нелитературные приостановить их обнародование по крайней мере в первых №№ Моск. на 1844 год—когда на него смотрят в оба глаза журналисты, которым успех его, может быть, страшен, и проч. и проч.

Мне мутит душу и то, что вы пишете о болезни Ал. Андр. Неужели, в самом деле, картина его останется недоконченной. О боже, боже! Страшно что-то!..

На-днях уехал из Москвы Серг. Андр. Он очень поправился: и еще более поправится в Крейцнахе. В мае он поедет туда из Питера, а в конце июня из Крейцнаха в Италию. 1 № Москвитянина утешил всех нас православных—и обезотважил, понятно, наших противников: фурьеристов, коммунистов, гегелистов и прочих таких же.

Посылаю вам давно обещанный очерк собора, сочиненного Хомяковым. Я уже, помнится, писал вам, что он тут нравится. К Алекс. Андр. пишу с сею же почтою. Гоголь собирается в Италию; но сам ничего об этом не пишет. В Венеции напишу к вам. Будьте здоровы телом, духом и всеми помышлениями.

Жму вам руку крепко накрепко.

Ваш Н. Языков

Февраль 17 дня 1845
Москва

Переписка Языкова с Чижовым полна тревоги за судьбу картины А. А. Иванова в связи с болезненностью художника. О здоровье Иванова и о его картине упоминания находим и в начале переписки (письмо Чижова от 12 ноября 1843 г.; ответ Языкова от 7 декабря), но особенно в письме Чижова от 15 января 1845 г. „Неужели суждено картине его остаться без окончания?"—беспокоится Чижов. Языков, как мы видим по стилю: „мне мутят душу", „о боже" и т. д., переживает это еще эмоциональнее. Опасения их остались неосновательны: как известно, А. А. Иванов картину свою закончил, но только через 12 лет после того как писались эти письма, т. е. в 1857 г., а в следующем году Иванов умер, успев привезти картину в Петербург и выставить в одной из зал Академии Художеств.

Состав № 1 „Москвитянина" за 1845 г. таков: начинается он „словом на освящение храма благовещенья", потом идет стихотворный отдел. Здесь помещены следующие произведения: 1) Подражание псалму — Н. Языкова, 2) Две повести — Жуковского, 3) А. Д. Хрипкову (послание) — Н. Языкова, 4) Море — Мих. Дмитриева, 5) Жалоба девы — Н. Берга, 6) Сержант Сурми — Н. Языкова и 7) Стансы — А. Проза состоит

из двух вещей: Отрывок из письма Жуковского (об Одиссее) и Кощей-Царевич и Булат-Молодец (Богатырская сказка); под рубрикой „Иностранная словесность" помещена большая статья И. Киреевского „Жизнь Стефенса"; под рубриками „Науки" и „Критики" находим следующие статьи: 1) „Параллель русской истории с историей западных европейских государств относительно начала" — М. Погодина, 2) Письма Карамзина к Муравьеву, 3) „Обозрение современного состояния литературы" — И. Киреевского, 4) „Русские достопамятности" — критическая статья Буслаева, 5) „Публичные лекции Шевырева" — М. Погодина и 6) „Отрывок из путевых записок о Черногории Ал. Попова" и другие („О средствах к распространению библиотеки" и т. д.).

12. Н. М. ЯЗЫКОВ — Ф. В. ЧИЖОВУ

Благодарю вас, или лучше сказать, не знаю, как мне благодарить вас за все ваши обо мне хлопоты и заботы! Я уже писал к Алекс. Андреевичу о картине, которую вы для меня заказали: я вполне рад всему, что вы положили и выбрали.

Во многих ваших письмах,—особливо же в 2 последних из Рима,— мне крайне не нравится уныние, какому вы поддаетесь и предаетесь: вы так много требуете от самого себя и так строго судите самого себя, что перед вашим судом и на месте вашего подсудимого не устоит никакая человеческая природа. Вы этак сами себя чересчур к низу гнете—и скажу вам только, вы явно упускаете из виду то, что вы непременно сделали бы, если бы меньше от себя требовали—и праведно надеялись бы на те средства, которых у вас уже довольно и предовольно: ваши силы истощаются от непускания их в ход, когда они уже готовы, и истощаются тем паче, чем более они уже готовы.

Скоро должна выйти и третья книжка Москвитянина—а еще неизвестно, передастся ли он вовсе Киреевскому: между нами будь сказано: К. слишком деликатничает с П. и вовсе неспособен делать сделки в [которых] замешан денежный расчет: в таких обстоятельствах и бойкая муха может вовсе забить нашего доблестного мыслителя. Жаль, что у меня нет средства переслать книги в Рим; жаль, что вы по сю пору не видали обновленного Москв. Вы бы порадовались ему как нельзя больше; порадовались бы как человек, как русский и как православный, короче сказать, вы бы сошлись с Кир. еще заочно так же, как вы сойдетесь с ним лично, когда в Москву приедете.

У меня есть до вас просьба: подарите мне 2 часа вашего времени напр. как в Венеции: возьмите перо и напишите статью или статейку о русских художниках в Риме 1844 года!! Ваши статьи о Черногории, Истрии, Далмации—о сю пору не вошли в Москв., потому издателю его не следует вдруг—и проч. Напишите мне, когда же вы решительно явитесь к нам в Москву? Может быть, летом придется мне ехать на воды на российские—серные, за Волгу, так я бы сообразился. Но ведь вы не на несколько недель в Москву? Скоро буду писать к вам еще в Венецию. Прилагаю здесь записку о церковных книгах, которые посылаются в Триест. Подвиг Вас. Алекс. Панова — честь и слава ему.

Ваш Н. Языков

Марта 16 дня
1845

Посылка церковных книг делалась для церкви в Перое в ответ на воззвание Чижова о пожертвованиях, о чем речь была выше. К этим пожертвованиям относится и „подвиг Василия Алексеевича Панова". Подробнее об этот см. в примечании к 15 письму о В. А. Панове.

13. Н. М. ЯЗЫКОВ—Ф. В. ЧИЖОВУ

Отвечаю на два письма ваших одним: виноват в замедлении: время таяния снегов располагает душу к бездействию, к усыплению и проч.

Я, кажется, пробуду в Москве и лето текущего 1845 года; Иноземцев не отпускает меня из-под своего медицинского надзора. Буду ждать вас сюда, ко мне, в отверстые объятия. Предуведомляю вас, что вы явитесь к нам не на мирное житие, а на войну; не обещаю вам побед и одоления, хотя и знаю и чувствую, что вы будете стараться за правду, как поборник ее крепкий и доблестный.

В прошлом письме моем, я просил вас написать мне статейку о русских художниках в Риме; но то письмо ваше, где вы говорите об архитекторах,—не обещает мне ничего такого, что бы можно было напечатать: а мне бы хотелось ее в „Москвитянин".

О вашем намерении искать место консула в Италии—поговорим при свидании. Я вообще против вашего пребывания за границей. Вы сделаете нам более пользы в Москве, (нежели там)* нежели оттуда. Заочное лечение больных редко бывает удачно. Это и естественно. Особливо когда болезнь сильно уже укоренилась в нещастном организме: тут врач необходим лично, при самой постели больного.

Когда поедете во свояси—ведь вы поедете на Вену—не забудьте побыть в Петербурге. Гоголь, как слышно, едет в Италию. Он, конечно, съедется с Алекс. Андреевичем. Мне сердечно жаль, что, по словам медиков, а я их volens-nolens должен слушаться, водное лечение мне не годится. Я так жажду холодного лечения, что в нем только и чаю себе спасения. Да не решаюсь.

К Алекс. Андреичу пишу. Если он решился лечиться водою, так уж пусть едет к самому Присницу: последователи его, как слышно, только портят дело.

Алек. Ник. Попова не приняли адъюнктом в Московский университет. Уродический факультет ненавидит его за его некоммунические и православные убеждения—и какие подлости и козни были употреблены против этого талантливого юноши, чтобы удалить его из этого круга, в котором он мешал бы распространению немецкого духа. Крюков умер. Жаль! был человек, глубоко знавший свое дело—и благонамеренный. Заменить его некем; заместят его немцем, и от немецких профессоров в наших университетах, ей, ей, как от козлов—это доказано целым столетием.

Прощайте покуда.

Будьте здоровы.

Ваш Н. Языков

Марта 29 дня
1845

То, что Языков возлагал большие надежды для успеха славянофильских идей на переселение Чижова в Москву, доказывается и рядом других фактов. Когда Чижов приехал на побывку в Россию, Языков писал Гоголю: „Чижов — муж доблести великой. Он славно поднял бы московский кружок, наши души, наши нервы, если бы имел средства в Москве остаться. Он теперь прямо из славянских земель со свежими сведениями, глубокими убеждениями и притом красноречив: его можно назвать звездой Востока" („Вестник Европы" 1897, № 12, стр. 645 и след.).

Присниц, Винцент (1700 — 1851)—основатель нового водолечения. Успешность новых способов лечения доставила ему большую известность. С 1826 г. открыл водолечебное заведение.

Уродический, т. е. юридический.

Крюков, Дмитрий Львович (1809 — 1845). Получив домашнее воспитание, поступил в Казанский университет, который и окончил по словесному отделению. Защитил диссертацию в Дерпте и с 1835 г. был ординарным профессором римской словесности в Московском университете. Крюков находился в дружеских отношениях с Герценом и Грановским. Как западник был для Языкова представителем враждебного лагеря. Тем интереснее сочувственный отзыв о нем как о человеке „благонамеренном".

* Зачеркнуто.

14. Н. М. ЯЗЫКОВ — Ф. В. ЧИЖОВУ

Обнимаю и целую и благодарю вас за подарок, который вы сделали всем нам, всей Руси и особенно мне, потому, что у вас его попросил — и мне за то честь и слава. Исполню все, что вы приказываете мне сделать с этою вашею статьей по ее напечатании в Моск., и жадно жду ее окончания. С Москвитянином теперь происходит перемена: я напишу вам об ней, когда дело решится окончательно, или когда ход его установится как следует; теперь остановка, заминка, колебание, трясение. Напишу к вам в Вену или в Прагу. Я еще не успел и прочесть вашей статьи: вы пишете так мелко, на такой тонкой бумаге, что ей, ей нет возможности разбирать вас глазу непривычному, а переписываете еще мельче и тоньше. Но да не смущается сердце ваше: ни одна строчка ваша не пропадет для нас: стоит только ваши рукописи передать зоркому переписчику, потом уже... что я сделал с письмом о русских художниках.

В вашем плане вашего возвращения во свояси смущают нас слова и в Киев в сентябре: боимся как бы вы не остановились надолго, на время осени, похожей на зиму в Малороссии; напр. у Галаганов, которые вас любят и конечно ждут нетерпеливо,—но ведь и мы вас любим и ждем нетерпеливо—и ждем в Москву. Москва, как много в этом звуке! сказал Пушкин.

Попов пишет к вам. Елагин обещал сегодня же прислать мне для вас же грамотку: если я не получу ее теперь же—то на днях же все-таки перешлю в Аграм же. Я на лето переезжаю на дачу—и где буду квартировать после сентября—еще не знаю. Спросите тогда об этом у Иноземцева, который живет в Чернышевском переулке, в доме Ермолова.

На днях получил я письмо и от Ал. Андр. Иванова—радуюсь, что он-таки работает и что его картина подвигается к концу. Гоголь на осень и на зиму 1845 года, кажется, переселится в Рим. Будьте здоровы: пишите письма из славянских земель: но об этом вернее напишу к вам дня через три.

Мая 19 дня

Ваш Н. Языков

• Галаганы были для Чижова самой близкой семьей. Григорий Павлович Галаган (1819—1889) был учеником Чижова, который готовил его к поступлению в университет и позднее имел на него большое влияние. Когда по смерти сына Галаган основал „Коллегию Павла Галагана", проект этого учебного заведения внушен был ему Чижовым.

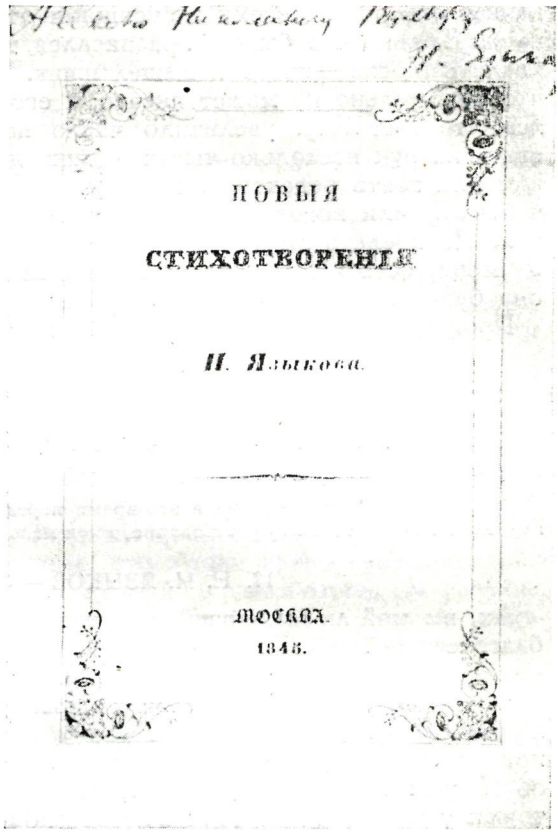
15. Н. М. ЯЗЫКОВ — Ф. В. ЧИЖОВУ

Вчера прочел я ваше письмо о русских художниках в Риме и снова благодарю и благодарю за прекрасный подарок всем нам. Нетерпеливо ждем окончания. Я предвижу и предчувствую, что вы скажете о различии картины от образа или иконы—и наверное обещаю себе и всем и каждому русскому—много и премного дельного и утешительного—и для врагов наших поразительного и одолевающего.

Посылаю вам две грамотки: одна Вас. Ал. Елагина, другая В. А. Панова. Они составили их по моему настоянию и по своей уверенности в вашей доблести, на которую все мы, сколько нас ни есть, надеемся крепко. Ожидаю ее в Москву и чаю в ней может быть и спасений многому гибнущему и поддержки не смело восстающему и пробуждения сонному и толкновения утешающему и границы—бестолково вперед сующемуся, или далеко забегающему.

О Москвитянине напишу: его судьба, кажется, переменится, если уж не падет он вовсе. Идут у нас толки, съезды, а толку нет; и все расстроены. Не знаю, что будет.

ЭКЗЕМПЛЯР „НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ" ЯЗЫКОВА С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА А. Н. ВУЛЬФУ
Институт Русской Литературы, Ленинград


НОВЫЯ
СТИХОТВОРЕНІЯ
Н. Языкова.
МОСКВА.
1845.

Как жаль, что нет у меня способа посылать книги в Рим: я бы послал Ал. Ан. Памятники Московской Древности: прелесть и славность.

Прощайте покуда, будьте здоровы — хоть изредка пишите с дороги к нам.

Ваш Н. Языков

Мая 2 дня 1845

Панов, Василий Алексеевич (1819 — 1849). Окончил курс в Московском университете по филологическому факультету. Сопровождал Гоголя в его втором путешествии за границу. В 1842 г. посетил славянские земли (Далмация, Черногория) и в 1844 г., уже по возвращении в Москву, издал брошюру „Путешествие по землям западных и южных славян". Доход с брошюры должен был итти на приобретение церковной утвари и богослужебных книг для бедных церквей в Далмации; другими словами, Панов откликнулся на призыв Чижова. Этот поступок Чижов и называет „подвигом". Панов же был редактором „Московских Сборников" 1846 и 1847 гг.

Издание, которое так нравилось Языкову, — „Памятники московской древности с присовокуплением очерка монументальной истории Москвы и древних видов и планов древней столицы — сочинение Ив. Снегирева, с 3 планами и 23 картинами, по рисункам академика Солнцева, отпечатанными красками и 18 гравюрованными и литографированными рисунками. Издание Августа Семена. Москва 1842 — 1845". Главное внимание в этой книге уделено соборам, древним церквам и монастырям.

16. Н. М. ЯЗЫКОВ — Ф. В. ЧИЖОВУ

Я не знаю, что мне делать с вашею прекрасною статьею о русских художниках в Риме. И. В. Киреевский отказался от участия в Москвитянине—и так Погодин снова будет главным его двигателем и снова

начнет его ронять всеми зависящими от него средствами. Такая судьба наша. Только что было К. расписался, только что было публика начала хвалить Москв.—хвать и вышел пшик. К. так расстроил свое здоровье, что решительно не может писать, а его заменить некем. Погодин, радуясь, что имя Кир. увеличило число подписчиков,—не решился выпустить из рук несколько тысяч чужих денег—чтобы платить сотрудникам или взять редактора. Подожду до осени, т. е. до вашего приезда в Москву или нового года, подумаем, нельзя ли основать новый журнал. Не послать ли вашу статью в Современник? Этот журнал чистый. У [меня] есть мысль: издать Альманах на новый год. И в Альманахе она будет еще важнее, чем в журнале.

Прощайте покуда. Напишу к вам в Прагу или в Вену.

Ваш Н. Языков

Мая 31 дня 1845
Москва

Письма ко мне надписывайте: в Москву в дом Хомякова, на Кузнецком мосту.

„Современник" еще не был в это время передан Некрасову и под редакцией П. А. Плетнева влачил тихое существование, имея мало подписчиков.

17. Н. М. ЯЗЫКОВ — Ф. В. ЧИЖОВУ

Ах, вы мой любезнейший, почтеннейший, неутомимейший, добрейший, благочестивейший Федор Васильевич, муж не нашего малодушного времени! Как мне благодарить вас за все, что вы делаете для нас, для наших и для меня многогрешного. Прекрасную статью вашу о русских художниках в Риме я не даю в Москвитянине (с него довольно и предовольно и трех, давно уже у меня находящихся, т. е. о Черногории, об Истрии и о Далмации), а помещаю ее в Московский Альманах, который у нас составляется и в котором будут участвовать решительно одни наши: его затевает Панов—юноша доблий—и предлагает издавать 4 карманных книжки в год. Можно и должно надеяться, что это дело удастся—а оно же необходимо, когда Москвитянин остался опять в руках у Погодина. Следственно много добрых молодцов, ревностно трудившихся для Киреевского, осталось, так сказать, без приюта. Ваши пункты для будущего нашего журнала я послал к Хомякову—мне они кажутся очень согласными с требованиями дела, и мы постараемся исполнить ваши указания. Сердечно жаль, что вы не будете в Москве прежде декабря 1845: многое нужно бы переговорить, перетолковать именно лично, именно с вами: во-первых, не все попадается, что думается, не все и идет на почтовую бумагу. Я уверен, что водное лечение вам поможет: оно верное средство от ревматизма, который вы получили, конечно, во время ваших путешествий или паче пешешествий. Вылечивайтесь хорошенько единожды навсегда, исправьтесь крепко на крепко, а не то, поправившись только на живую нитку, вы после разнеможетесь сильнее и будет труднее паки и паки лечиться. О книгах для загребских славян хлопочем: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается: особенно же у нас и у меня. Скоро буду еще писать к вам и Попов тоже: он пошел в Троицко-Сергиевскую лавру и возвратится дней через десять.

Вышла очень дельная книжка: о иконописании: сочиненная, как слышно, каким-то Архиереем. Я пошлю ее Ал. Андр. Иванову.

Будьте же здоровы.

Ваш Н. Языков

Июня 2 дня 1845
Москва

Альманах, о котором говорит здесь Языков, осуществлен был в другой форме. Речь идет о предприятии, которое выразилось в издании не карманных альманахов по четыре книжки в год, а двух „Московских Сборников", вышедших в 1846 и 1847 гг.

18. Н. М. ЯЗЫКОВ—Ф. В. ЧИЖОВУ

Отвечаю на ваше письмо из Загреба. Мне казалось и кажется о сию пору странною, непонятною и даже досадною решимость Пименова сочинять не только историческую картину, но и барельефы из Русской истории, живя во Флоренции и не зная и не видав или не видя Москвы. Шевырев послал уже и пошлет ему еще многое, для него нужное, и я остаюсь при своем мнении, что не подобает истинному таланту поступать с отечественною стариною так легкомысленно и неуважительно и недостойно, хотя бы заказ был самый казеннейший: девизом истинного таланта да будут, надеюсь, слова вырезаные на мече Давмонта, князя Псковского: Honorem meum nemini dabo —*

Не правда ли?

Слава богу, и особенно слава Русскому Богу, если Ал. Андр. Иванов получил пенсион на окончание его картины. Какой ангел божий ходатайствовал за него у Престола? Сердечно радуюсь за него и за вас и за всех русских. Радуюсь еще и тому, что я-таки нашел средство переслать в Рим памятники московской древности. Я уверен, что наш Ал. Андр. будет в восторге от этой книги, делающей честь нашему времени. Она пойдет сначала в Варшаву к кн. Волконскому, из Варшавы к матери этого князя, к известной Зинаиде, через Вену в Рим— и т. д. до студии А. А.

Не думайте, ради бога, чтобы то ваше письмо, которое я назвал грозным, было мне хоть мало-мальски не по сердцу: но снова уверяю вас, что мы не виноваты в том, что вам об нас кажется. При свидании объяснится многое, многое, все, все. Повторяю теперь только то, что я уже конечно писал к вам, т. е. что я вовсе не верю тому, что во мне само о самом себе говорит. Как быть? Таково мое убеждение— и, кажется, не вам поколебать его. Перестаньте же хандрить—и в вас снова явится бодрость сильная и благая и действенная: именно та, которой сосудом я вас почитаю, чистой, православной, русской. Ждем вас в Москву. У меня недостало бы ругательных слов описать вам все гнусности и подлости, какие печатаются об нас в От. Зап. Надобно основать в Москве новый журнал—хоть 1846 года; попытка поднять Москвитянин не удалась не по недостатку готовых сотрудников, а главнейше по болезни И. В. К. Он принялся за дело слишком ревностно и надорвал себя крайне. Разумеется, что в причинах этой неудачи есть и другие, хотя мелочные—но они до будущего года неустранимы. О русских книгах для пересылки в Загреб хлопочем. Будьте здоровы.

Ваш Н. Языков

Июня 11 дня 1845.
Москва

Волконская, кн., Зинаида Александровна (1792—1862)—писательница, в 20-х годах имевшая у себя в доме литературный салон; в 1829 г. уехала навсегда из России. Сын ее Александр Никитич Волконский (1811—1878) в 1845 г. жил в Варшаве.

19. Ф. В. ЧИЖОВ — Н. М. ЯЗЫКОВУ

Белград, 3/15 Июля 1845

Последнее письмо ваше, Николай Михайлович, было для меня так неприятно, как я и сказать вам не сумею. Оно было вложено в другое, которое меня било лично, но там меня спасла уверенность в моей чи-

* Чести моей никому не отдам.

стоте.— Теперь к вашему письму. Припомните ту мою писульку, что вы звали грозною, вспомните теперь все и скажите, не совершенно ли я прав? Если бы мне случилось прежде быть знакому с Киреевским, я уверен, что этого бы не случилось, потому что он имел бы более веры к словам моим. Ну, это сделалось. Как поправить? Прежде всего того же, чего вы требовали от меня—бодрости духа. Ради бога, не падайте, особенно теперь, когда нам необходимо быть деятельными. Я думал вам передать подробности всех моих предначертаний; но знаете ли? Неприятно когда почте делаются известны все семейные дела, а почта под предлогом осматривания нет ли вещей, могущих перенести чуму, раскрывает все письма. Я буду ждать от вас известия в Вене, а потом буду писать уже из пределов России и там изложу все подробно, что и как думаю. Только ради бога, и вы обдумывайте в тиши и готовьтесь на некоторые пожертвования, без них ничего нельзя учредить. У нас одно должно быть основою: доступная нам, каждому в своей степени, чистота намерений. Пока будем заботиться о тысячах, до тех пор все будет мерзко и лучше не приниматься за дело, нежели собственными руками осквернять его святость. Моего положения всего вы не знаете; я его передам вам из России. Заметьте даже не мудрено, что прибегну к просьбе о временной помощи, но все это совершенно просто и открыто изложу после. Предупрежу об одном, что, приехавши в Москву, приючусь где-нибудь в тиши, потому что останавливаться у моих близких прежних знакомых, значит отдать себя висту и визитам, а и то и другое теперь мне давно уже чуждо. Если бы не нравственная сильная разладица, путешествие мое было бы приятно: пожалуста поддержимте нравственно друг друга, мне нужна такая поддержка.

Конец письма об русских художниках пошлется к вам на днях: где его напечатать? где хотите. Мне казалось бы лучше в Петербургских ведомостях. Перед вами мне нечего скрываться, что не получая больше году ни грошу, я сильно запутался, о чем буду писать после, и лишние 300 рублей мне были бы так не лишними, как нельзя больше. Мне стыдно писать об этом,—еслиб вы могли войти в мой быт, вы бы поняли, как доходят такие строки до сердца, когда вынужден их писать. Признаюсь, теперь труднее оканчивать письмо, когда не знаешь, какая будет его участь, оно писалось из прямого убеждения, впрочем иначе я писать не умею. Если придется быть нищим, я возьму суму, но убеждения моего не продам, даже тени его. В самых первых числах августа я буду в Вене, повидавшись прежде с Колларом, Штуром и другими славянскими писателями и пр. Как я теперь благодарю судьбу, выведшую Гоголя из крайности,—стыдно, а как она приступит к горлу, и когда приступит к человеку беспечному, наделаешь глупостей. Так со мной и случилось. Как досадно, что через Бухарест почта идет с лишком месяц, а я думал вам писать много. На это письмо смотрите, как на мимоходное посещение, в котором мне нужен был только дружеский взгляд ваш. Прощайте, обнимаю вас и прошу в Вену писать побольше, если можно, и поразборчивее. Поддерживайте и сохраняйте Киреевского. Эта неудача не должна заставить оставить все и не может быть причиною упадка духа, тут просто был нерассчитанный ранний порыв: кто же не ошибается в расчетах? Мне всегда одно представляется: Христос пал под крестом и взял в помощь Симона Аримофеянина, к чему нам иметь такую гордость, что мы не можем падать? Дай бог, чтоб все вы сохраняли свои силы; наша деятельность чиста (?) по намерению, не может быть чтобы бог не благословил ее успехом. Только одного я боюсь в Москве—лени. С нею трудно справиться; позывы одного, двух могут надорвать их, нужна в труде правильность, нужно

спокойствие и обдуманность, иначе все пойдет как попало. Еще одно, обратите внимание; разочтите мне, что в Москве стоит печатный лист журнала, набор и тисканье, потом какая цена бумаги. Мне все это нужно, потому что письмо к вам должно быть полное и отчетливое. Нам нельзя делать на авось: пора авось прошла. Нашим, то-есть Ал. Ник. Попову, В. К. Елагину по низкому поклону. Я не пишу Х...

Душою ваш Чижов

О письме русских художников позаботьтесь; помните, что оно нужно для многих из них, что вы увидите из содержания. Если найдете, что не делает впечатления, распоряжаясь по моей просьбе, то-есть всюду разошля, тогда распорядитесь, как знаете. Не напечатать ли в Московских Ведомостях или в журнале Министерства народного просвещения? Вы знаете, только не откладывайте и сохраните у себя подлинник на случай. Адрес к Очкину издателю Петерб. Ведом. Алексею (?) Николаевичу Очкину, на Васильевском острову в 7-й линии в доме Академии Наук. Его же можно попросить, или прямо адресовать в случае нужды в Редакцию журнала Министерства Народного Просвещения. Простите, что такою неопределенностью просьбы ставлю вас в раздумье,—нельзя же, Николай Михайлович, не попросить руки помощи, моя голова теперь не думает; много, ужасно много близкого, сильно устает, тем более, что мало предвидет отрадного. Помните еще одно, что Алекс. Андр. оказана малая временная помощь,—картина его (между нами) ранее трех лет никаким образом не может быть кончена.

На обороте: Belgrad* 18 Iuli. Nach Moscau in Russland.
Его Высокоблагородию Николаю Михайловичу Языкову.
В Москве. У Кузнецкого моста в доме Хомякова. Bis zur Gränz**.

Коллар, Ян (1793—1852) — чешский поэт, родоначальник панславизма в чешской поэзии. В своей поэме „Дочь славы" пропагандировал идею славянского объединения.
Штур, Людовик (1815—1856)—словацкий и чешский писатель, в 1845 г. издавал газету „Slovenske narodnie Novini", где защищал права словаков против притязания мадьяр.

20. Н. М. ЯЗЫКОВ — Ф. В. ЧИЖОВУ

Слава богу и вам слава, что вы благополучно возвратились из чужбины и Неметчины в родную землю на святую Русь и во свояси. Жду вас в Москву и проч и проч.

Три статьи ваши на днях же отправлю к вам. Одна из них была напечатана—эту пришлю не в рукописи—две остальных едва едва ушли от неловких объятий Москвитянина. Жаль, что вы не читали трех первых номеров Москв. на 1845 год: я пришлю вам их, если только найдутся они у меня в теперешнем неразобранном состоянии книг моих: я только что переехал на новую квартиру.

О вашем плане пишет вам А. Н. Попов. Он это дело знает лучше меня и замечания его на ваши планы показались мне дельными. Погодин, кажется, будет издавать Москв. и в 1846 году. Он не робеет и держится сколько сил есть.

Прощайте покуда. Будьте здоровы.

С будущею почтою напишу к вам больше.

Сентября 20 дня 1845

Ваш Н. Языков

Мой адрес: на Пречистенку. К Троице во Зубове, в дом Наумовой.

* Почт. штемпель. Этот адрес перечеркнут накрест и на обороте сложенного письма написан другой: „в Петропавловском Парке на Башиловской улице дача г. Писаревой".
** Почтовая отметка.

В двойном номере „Москвитянина" за 1845 г., № 7—8 (июль и август) на стр. 1—46 были напечатаны за подписью Чижова „Отрывки из дневника записок во время путешествия по Далмации в 1843 году".

Языков, как видно из его письма от 2 июня 1845 г., предполагал ранее дать в „Москвитянин" еще два отрывка из „Записок" Чижова о Черногории и об Истрии, но отказался от своего намерения, когда редакторство „Москвитянина" перешло от Киреевского к прежнему редактору — Погодину.

21. Н. М. ЯЗЫКОВ — Ф. В. ЧИЖОВУ

Посылаю вам почти все, что вы теперь получить от меня жаждете— и сверх того посылаю и новые мои стихотворения—которые прошу вас принять благосклонно. Вы утешите всех нас и всех наших, если явитесь в Москву издавать журнал, он несомненно пойдет хорошо, если не с первого года, то наверное, что дальше, то ходче и тем паче и паче— и еще тем паче, что гр. Строгонов с будущего года воздвигает, в Москве же, новый свой журнал, т. е. журнал в духе новейшего направления, модного развития и прогресса. Всего этого—вам бояться нечего— и потому, что вы будете отстаивать истину... православие и будете воевать против врагов отечества, и потому еще вашими противницами будут *люди бестолковые, живущие и движущиеся только своими* или чужими берлинскими тетрадками и люди, которые по-русски пишут курам на смех.

Вашу статью об Истрии пришлю вам—печатную: она помещена в Москвитянине—помещена вся вполне:—теперь собираю №№ Москвитянина, растасканные у меня приятелями. Статью Панова (вы пишите Панаев) пришлю вместе с ними.

В книге Les Musées d'Allemagne et de Russie сказано: Parmi les sujets historiques, on peut remarquer un épisode du siège de Kiew, en 933, par André Ivanoff, qui semble un élève faible de David, et un Noli me tangere en grandes proportions, de M. Alexandre Ivanoff, fils du precedent, qui a aussi le style froid et guindé de notre école actuelle academique*. Ке се ке се ля?

Эта книга вышла в 1844 г. в Париже и сочинена par Louis Viardot, мужем славной певицы.

Гоголь поехал на зиму в Рим,—он лечится холодною водою у самого ее чудодея и пишет, что освежился.

Прощайте покуда. Будьте здоровы.

Ваш Н. Языков

Сентября 28 дня
1845

Вы были в Киеве: познакомились ли вы с М. А. Максимовичем? Ваш знакомый славянин Василий Елагин женится. Попов собирается в Питер на службу.

Речь идет о книге стихов, вышедшей под заглавием „Новые стихотворения Н. Языкова". М., 1845 (332+IV стр.).

Строганов, Сергей Григорьевич, граф (1794 — 1882) в продолжение 12 лет—с 1853 по 1847 г. — был попечителем Московского учебного округа. При нем Московский университет пережил эпоху процветания.

Мысль о том, чтобы Ф. Чижов стал во главе журнала, была у Языкова очень упорна. Об этом см. в „Дневнике Елиз. Ив. Поповой". СПБ., 1911, стр. 36 — 37.

Максимович, Михаил Александрович (1804 — 1873) — этнограф-историк, с 1840 по 1850 г. издавал в Киеве „Киевлянин".

Василий Алексеевич Елагин женился 14 янв. 1846 г. на Екатерине Ивановне Мойер.

* „Среди сюжетов исторических обращает на себя внимание „Эпизод из осады Киева в 933 г." Андрея Иванова, бледного подражателя Давида, и Noli me tangere (не тронь меня) больших размеров, работы Александра Иванова, сына предыдущего, у которого также холодный и жеманный стиль нашей академической школы".

КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАМЫСЛЫ ГРИБОЕДОВА

Статья Н. Кальмы

I

Шел 1818 год. Европа переживала период международного затишья, наступившего после окончания наполеоновских войн.

В этот год из двух точек Европы два молодых человека: москвич и нормандец—отправляются в Персию. Один едет из Петербурга, другой из Лондона. Первый—Александр Сергеевич Грибоедов. Имя второго было до сих пор известно только по одному случайному упоминанию в письме Грибоедова к П. Н. Ахвердовой от 1827 г. Грибоедов спрашивает у своей адресатки: „Получили ли Вы ответ от Этье?" Больше имя Теодора Этье среди опубликованных писем Грибоедова не упоминается нигде. Между тем человек, носящий это имя, занимает в биографии Грибоедова далеко не самое последнее место: в течение долгого времени он был связан с Грибоедовым знакомством, разного рода деловыми отношениями, едва ли не дружбой. В настоящей работе, пользуясь материалами, сохранившимися в семейном архиве потомков Этье в Москве, мы пытаемся восстановить основные вехи этого знакомства, выяснить его характер и его исторический смысл [1].

Кто такой Теодор Этье?

Лежащие перед нами французские воинские документы 1815 г. свидетельствуют, что Теодор Этье, двадцати лет — уроженец департамента Кальвадос во Франции, лейтенант и казначей 52-го полка национальной гвардии, который квартирует в городе Кане означенного департамента.

1815 год — год возвращения Наполеона с Эльбы. Национальная гвардия восторженно встречает императора. Теодор Этье носит на себе медальоны с портретами Наполеона и его семьи. Двадцатилетний лейтенант весь под обаянием личности и славы „маленького императора".

Но вот проходят Сто дней, Ватерлоо решает судьбу Бонапарта, во Францию возвращаются Бурбоны. Армия сокращается, масса офицеров переводится на половинное жалованье, все командные посты заняты роялистами. В марте 1818 г. опубликован закон Гувиона Сен-Сира о „ветеранстве", предоставляющий третью часть чинов унтер-офицерам.

Теодор Этье вместе со всей основной массой наполеоновского офицерства оказывается в лагере недовольных. Недовольство бурбонским режимом простирается у него так далеко, что он решает эмигрировать. В начале июня 1818 г. мы находим Теодора Этье уже в Англии. Здесь в Дувре, он начинает свои „Записки", являющиеся основным источником его биографии. В этих записках мы читаем:

„В сентябре 1818 года, будучи в Гартфорде, я познакомился с семейством Матью Кэмпбелла — директора Восточно-индийского колледжа. У него было четыре дочери: Бетси, Марта, Анна и Изабелла, с которыми я очень подружился. В конце концов я так сблизился с Изабеллой Кэмпбелл, что мы тайно обручились. Но когда я отправился к отцу Изабеллы просить ее руки, он, видя столь сильную привязанность до-

чери ко мне, тотчас же нас разлучил. Она исчезла, и я больше не смог узнать, куда он ее увез, знаю только, что почтовая карета приезжала за ней около 9 час. вечера" [2].

Эта несчастная любовь и послужила повидимому для Этье основным стимулом к отъезду из Англии. В Гартфорде он вскоре познакомился с Муши Годам Хайд — индусом из Бенареса — преподавателем персидского и индусского языков в упомянутом колледже. „Муши заинтересовался мной и, видя меня в горе и без определенного занятия, посоветовал мне отправиться в Персию, — записывает Этье. — Для этого он предложил свести меня с молодыми персами, живущими в Лондоне. Я согласился, и мы выехали из Гартфорда в Лондон. В Лондоне я познакомился с Мирзой-Залех, Мирзой-Джафаром, Мирзой-Реза и Хаджи-Бабой, которые были посланы принцем Аббасом-Мирзой в Англию для совершенствования в европейских науках и искусствах — Хаджи-Баба для того, чтобы сделаться хирургом, Мирза-Джафар — для изучения военного и гражданского инженерного дела. Я не посвятил их в мой план, сказал только, что еду в Константинополь. Меня свели с Махомедом-Али — персом, возвращающимся на родину, и 21-го мы погрузились на борт бриза „Морлинг" [3].

До Трапезунда Этье едет морем. Он проезжает Гибралтар, берега Африки, Грецию, но в „Записках" его о каждом из этих мест сказано всего несколько сухих, малозначащих слов.

В Константинополе Этье знакомится с первым переводчиком французского посольства Жуанненом, известным ориенталистом, который был послан в 1807 г. Наполеоном с миссией генерала Гардана в Персию. Жуаннен сохранил старые связи с персидскими вельможами и охотно дает Этье рекомендательное письмо к Мирзе-Масуду — статс-секретарю и первому переводчику принца Аббаса-Мирзы. Письмо это, написанное по-французски, но расцвеченное чисто восточной любезностью, содержит ясные намеки на дипломатические интриги:

Константинополь, 15 октября [1819]
(27 Зилхидже 1234)

Дорогой и благородный друг!

Молодой французский офицер, исполненный усердия и воли, получивший хорошее образование и говорящий по-английски, как на своем родном языке, решил отправиться в Тавриз с Махмедом-Али, который долго пробыл в Англии, совершенствуя свои познания в искусствах и механике. Г-н Этье (так зовут француза) знавал в Лондоне и проездом из Англии в Константинополь Мирзу-Залех, Мирзу-Джафара, Мирзу-Резу и Хаджи-Бабу. Они оценили его достоинства и его желание быть полезным; услыхав восторженные рассказы о его Королевском Высочестве — принце Аббасе-Мирзе, — он возымел намерение предложить ему свои услуги и принести ему в дар свои способности и свою жизнь. Я счел своим долгом предупредить его о препятствиях, которые могут ему встретиться, но твердая воля и непреклонное решение заставляют его верить, что судьба направляет его в Персию.

Дорогой и благородный друг, поддержите его, будьте его руководителем, его покровителем, в память нашей прежней искренней взаимной дружбы. Рекомендуйте его Его Светлости Мирзе-Безюрку, доброту которого я вспоминаю до сих пор, Мирзе-Абуль-Касему и другим лицам, которые могут оказаться полезными г-ну Этье.

Что же касается вас, дорогой и благородный друг, я писал несколько раз как вам, так и его Высочеству, Мирзе-Безюрку и Мирзе-Абул-Касему. Я не был осчастливлен ответом, но не сетую на это видимое молчание,

так как уверен, что некоторые лица заинтересованы в том, чтобы перехватывать, читать и задерживать письма, которые мои персидские друзья благоволят мне посылать.

Поэтому вот уже год, как я совершенно не пишу в Тавриз и делаю это сегодня только потому, что есть верная оказия.

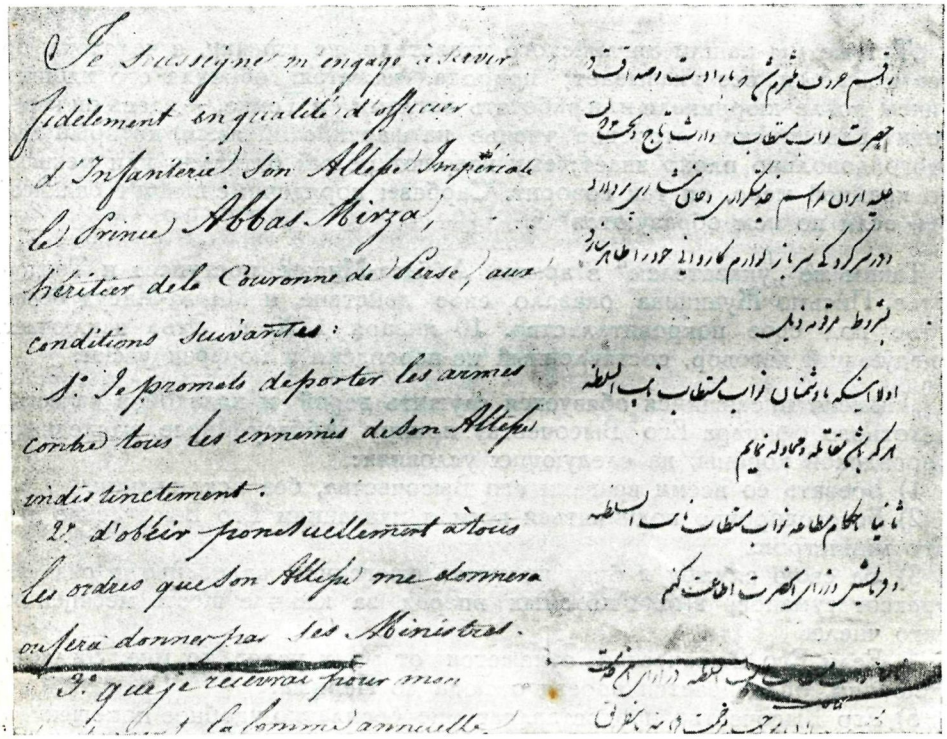
Примите, дорогой и благородный друг, мои самые искренние приветствия, не откажитесь также повергнуть к стопам Его Высочества дар вечной признательности и преданности, которая кончится только с моею жизнью. И поверьте, что, несмотря на то, что я бывал очень несчастен и даже иногда очень обижаем в Персии, все же теперь я сохранил воспоминание только о добре, которое мне там делали или которого мне желали.

Будьте счастливы, дорогой Масуд.

Ваш любящий
Жуаннен[4]

Во французском посольстве в Константинополе Этье встречается с Алларом — будущим партнером Грибоедова в „двадцать-одно". Аллар — молодой французский офицер — также едет в Персию за счастьем. Они продолжают путь совместно.

В начале января Этье с Алларом приезжают в Тавриз. Благодаря своим рекомендательным письмам они сразу находят приют и покровительство в английской колонии. Этье отлично говорит по-английски, ему удается сблизиться с доктором Кормиком, о котором Мазарович пишет в 1819 г. Грибоедову: „Кажется, что Кормик исполняет обязанности проконсула в Тавризе" [5].



ДОГОВОР ТЕОДОРА ЭТЬЕ С АББАС-МИРЗОЙ

Частное собрание, Москва

„Мы проехали прямо к доктору Кормику, приближенному принца Аббаса-Мирзы, к которому у нас были письма от британского консула в Константинополе, — пишет Т. Этье, — завтракали у капитана Линдсей — артиллерийского офицера, прикомандированного к наследнику, и поселились в группе построек, окружающих дом поверенного в делах Англии. Познакомились с доктором Делафосс, некогда бывшим военным врачом, потом хирургом ганзейского легиона и перекочевавшим затем вместе с г-жей Кирхов в Персию. Познакомился также с итальянцем Джибелли — командиром 4-го полка итальянской пехоты, прикомандированным к наследнику, с Антонио Бернарди — офицером итальянской артиллерии, с артиллерийским капитаном Линдсей, лейтенантом Гарс, майором Интор и др. Линдсей, Гарс и Кормик присланы своим правительством во время войны России с Персией, а остальные служат сами по себе".

Многие из этих имен упоминаются в письмах Грибоедова из Персии от 1819—1821 гг.

В те годы европейская колония в Тавризе была довольно многочисленна, а главное пестра. Русские, французы, итальянцы, англичане стекались в Персию — кто с миссией от своего правительства, кто по приглашению самого Аббаса-Мирзы, кто по собственной инициативе в поисках счастья.

Аббас-Мирза стремился с помощью иностранных военных специалистов преобразовать персидскую армию. Множество европейских офицеров, оставшихся после окончания войны не у дел, устремились в Персию и поступали в армию Аббаса-Мирзы в качестве инструкторов.

Во время своего путешествия в Персию Грибоедов сталкивается с одним из них:

„Тут же мы нашли английского указателя, не книжку, а человека. Во все мешается, все указывает; природа, кажется, обрекла его хлопать бичем возле кюррикеля или работать веслами в Темзе, — здесь он переводит альбионское строевое ученье на фарсийский язык, который для этого довольно плохо знает; ему вверяют целый батальон или меньше, по крайней мере, он так говорит. Сарбазы порядочные выйдут балансеры, если по нем образуются" [6].

Таким же „указателем" в армию Аббаса-Мирзы поступает и Теодор Этье. Письмо Жуаннена оказало свое действие, и Мирза-Масуд берет Этье под свое покровительство. 10 января 1820 г. Этье заключает следующий договор, составленный по-персидски и по-французски:

„Нижеподписавшийся обязуется служить верой и правдой в качестве пехотного офицера Его Высочеству принцу Аббасу-Мирзе, наследнику персидской короны, на следующих условиях:

1) Воевать со всеми врагами его Высочества, без исключения.

2) Безоговорочно подчиняться всем приказаниям Его Высочества или Его министров.

3) За свою службу я буду получать ежегодное жалованье в размере трехсот туманов, выплачиваемых вперед за каждые шесть месяцев от сего числа.

4) Если Его Высочество откажется от моих услуг, то мне, согласно условиям, оплачивается проезд отсюда до Парижа.

5) Его Высочество предоставляет мне бесплатно удобное помещение в хорошем состоянии, с коврами, стульями и проч.

6) Его Высочество предоставляет мне на выбор двух лошадей или 35 туманов и не менее трех рационов фуража в день, при чем каждый

рацион должен состоять из одной части ячменя и двух частей соломы или сена.

Копия дана в Тавризе десятого января тысяча восемьсот двадцатого года.

Теодор Этье".

Указом Аббаса-Мирзы Амир-Хану Бегляр-Беку — одному из военачальников, Этье назначался командиром Марандского и Нахичеванского полков. Жизнь в новой стране начиналась удачно. 300 туманов в год — по-тогдашнему почти 1200 рублей — это было жалованье, которое удовлетворило бы не только скромного нормандца. Этье быстро свыкается с новой страной, заводит знакомства. Спустя несколько дней после вступления в службу, он записывает:

„Вместе с Алларом я отправился повидать г-на Мазаровича — итальянца, бывшего некогда врачом в Константинополе и служившего в русском флоте, а ныне назначенного в Персию русским поверенным в делах. Этот господин принял нас очень любезно и даже предупредил нас, что знакомство с ним может нам только повредить, так как персы считают его скорее шпионом, нежели дипломатическим агентом России. Вместе с ним живет его младший брат Спиридон Мазарович, который кажется немного диким. Там же я познакомился с г. Амбургером — секретарем русской миссии, а также с Шамиром и Баба-Бегом — переводчиками миссии, грузинами".

Повидимому запись эта сделана в те дни, когда Грибоедов находился на пути из Тифлиса в Тавриз, так как иначе Этье непременно встретился бы с ним в миссии. Грибоедов прибыл в Персию почти на год раньше Этье, т. е. в феврале 1819 г., так как Этье долго путешествовал, жил в Константинополе и повидимому останавливался во многих городах по пути. За это время Грибоедов успел побывать в Тегеране — представился шаху, проводил партию русских солдат в Тифлис и, только вторично возвратившись в Тавриз (в начале 1820 г.), встретился и познакомился с Теодором Этье.

В самом конце января 1820 г. Грибоедов приезжает в Тавриз. У него тоже много знакомых среди европейской колонии. Особенно часто бывает он в доме доктора Делафосс, где есть „маленькая de la Fosse" (Грибоедов).

„Le 2 février [1820] chez le Docteur Delafosse fait connaissance de M-r Alexandre Griboyedoff — sécretaire de la Mission Russe en Perse, jeune homme plein d'amabilité, de talents et depuis ce jour nous avons été très liée".

Перевод:

„2 февраля [1820] у доктора Делафосс познакомился с г. Александром Грибоедовым — секретарем русской миссии в Персии, молодым человеком, исполненным любезности и талантов, и с этого дня мы были тесно связаны"[7].

Что же заставило Грибоедова — человека очень требовательного к людям — сойтись с неизвестным французским офицером, наемником Аббаса-Мирзы? В записках Этье мы отчасти находим этому объяснение. У молодого француза был живой, проницательный ум, он быстро узнал страну и понял народ, с которым ему приходилось иметь дело, тот народ, о котором Корф пишет: „... надо сделать состав из свойств лиси-

цы, кошки и тигра, чтобы получить настоящий персидский характер". Главное же, на чем повидимому сошлись Грибоедов и Этье, — это их обоюдное ироническое отношение к Аббасу-Мирзе. Мы помним резкие отзывы Грибоедова о Наиб-султане. Этье в своих записках разоблачает этого „великого преобразователя Персии" и яростно нападает на тех, кто, по его словам, введен в заблуждение видимой образованностью наследника. Он возмущается невнимательностью Аббаса-Мирзы к нуждам армии и говорит вместе с Саади: „Не жди доблести от солдат, которых плохо кормишь и которым мало платишь".

„Принц Аббас-Мирза довольно красивый мужчина лет 36-ти, чрезвычайно любящий беседовать о делах, науках и искусствах Европы. Узнавши от европейцев, с которыми ему приходилось встречаться, имена выдающихся людей, названия государств, а также о важнейших европейских событиях, он может поддерживать довольно продолжительную беседу на эти темы, что ввело в заблуждение и заставило поверить в его ученость многих пишущих о Персии.

Но стоит только углубиться в обсуждение какого-нибудь вопроса, как бедный принц тотчас же оказывается почти столь же невежественным, как и прочие его соотечественники.

Я не заметил, является ли он таким энтузиастом военного дела, как многие писали; во всяком случае теперь он сильно изменился: он не заботится ни о чем, кроме накопления денег.

Он пренебрегает своей мифической армией. Мир, который заключен между Россией и Персией, убедил его в том, что ему уже больше никогда не понадобятся его солдаты, и он о них почти совершенно не заботится. Все это заставляет меня усомниться, действительно ли он столь великий правитель.

Решительности у него не больше, чем у ребенка: что сегодня ему нравится, на завтра становится уже скучным. Вопреки тому, что говорят многие путешественники, я нахожу, что он человек — просто незначительный.

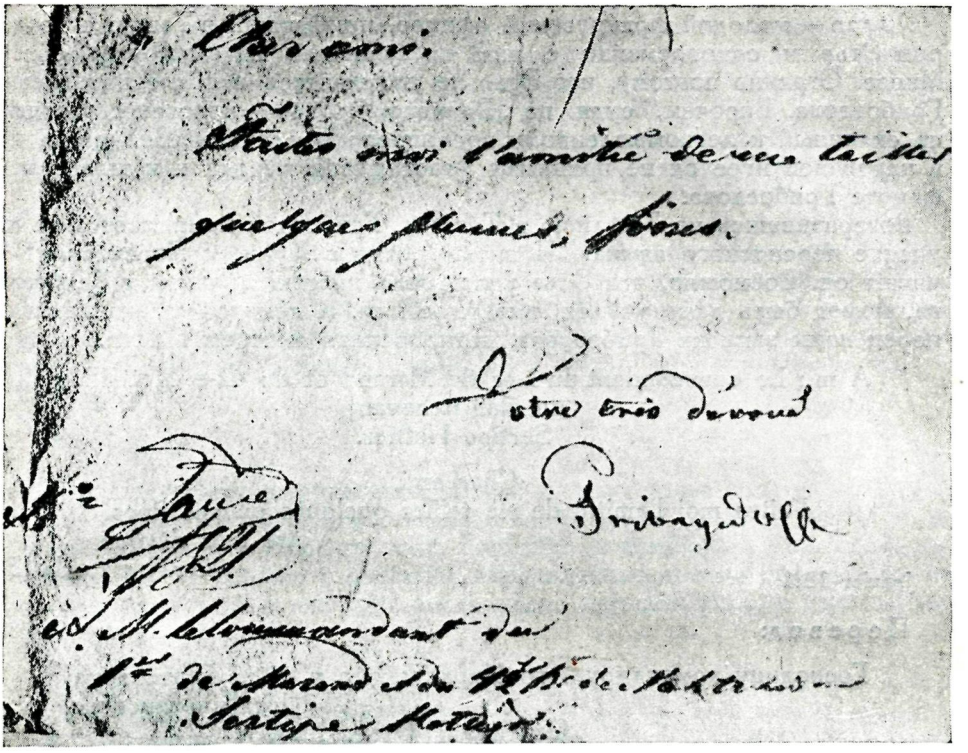
Совсем не стоило бы касаться того, что говорит полковник Коцебу, советник русского посольства, бывший в 1817 г. с Ермоловым в Персии. Этот господин рассказывает с лакейским нахальством, что принц-де говорит на многих европейских языках, знает математику и военное дело.

Что касается языков, то он не в состоянии даже сказать „да" по-французски или по-английски. Математику принц едва ли знает до Эвклида. Кроме того я хотел бы спросить г-на Коцебу: от кого мог научиться принц военному искусству, искусству, которое и так известно лишь немногим?!

Нет, принц не знает ни европейских языков, ни военного дела. Он слегка учился математике, говорит кроме родного языка еще на арабском. Он прекрасный наездник, хорошо владеет ружьем, саблей и пистолетом и стреляет из лука, как редко кто умеет. Вот и все его таланты. Кроме того принц обладает приятной наружностью и говорит с большим изяществом и мягкостью, присущей персидской речи.

Его считают менее жестоким, чем других членов его семейства, но во всем прочем он настоящий Каджар, т. е. представитель рода наиболее ненавидимого в Персии за скупость, разврат, ленивость, свирепость и т. д." [8]

Мы видим из этой выписки, что даже 300 туманов в год не смягчили мнения Этье о его повелителе. Исполнительный и честный служака, любящий свое дело, он возмущается распущенностью армии, нищенством



ЗАПИСКА ГРИБОЕДОВА К ТЕОДОРУ ЭТЬЕ
Частное собрание, Москва

обмундирования и невнимательным отношением Аббаса-Мирзы к своему войску. Повидимому Этье, как и Грибоедову, в Персии становится не по себе, оба они тоскуют в этой полудикой стране. В письме к А. И. Рыхлевскому от 25 июня 1820 г. Грибоедов пишет:

„... А в блуждалище персидских неправд и бессмыслицы едва лепится политическое существование Симона Мазаровича и его крестоносцев. Что за жизнь! В первый раз отроду вздумал подшутить, отведать статской службы. В огонь бы лучше бросился Нерчинских заводов и взываю с Иовом: да погибнет день, в который облекся мундиром Иностранной Коллегии, и утро, в которое рекли: Се Титулярный советник. День тот да невзыщет его Господь свыше, ниже да приидет на него свет, но да приимет его тьма, и сень смертная, и сумрак. — Об моих делах ни слова более, не губить же мне вас моею скукою“ [9].

Из различных писем 1820 г. то к П. А. Катенину, то к Н. А. Каховскому мы узнаем, как складывался быт Грибоедова в Тавризе:

„... К моей скуке я умел примешать разнообразие, распределил часы; скучаю попеременно то с Лугатом Персидским, за который не принимался с сентября, то с деловыми бездельями, то в разговорах с товарищами. Веселость утрачена, не пишу стихов, может и творились бы, да читать некому, сотруженики не русские...“ [10]

„... Теперь в моде vingt-un с Алларом и Джибелли. Я выигрываю: Мазарович ругает, и еще больше, когда слышит, что маленькую de la Fosse я непременно к себе беру“ [11].

Аллар — молодой французский офицер, прибывший в Тавриз с Теодором Этье и одновременно с ним поступивший на службу к Аббасу-Мирзе. Странно поэтому, что Этье не упоминается в последнем письме Грибоедова. Впрочем, судя по „Запискам", Этье — человек серьезный, не склонный к легкомысленному времяпрепровождению. Возможно, что в карточной игре он не принимал участия, так же как и в шалостях и флирте Грибоедова.

Возвратившись из Тифлиса в Тавриз, Грибоедов принимается за изучение персидского языка. „Провожу время с Лугатом Персидским" [12], пишет он. Возможно, что Этье участвовал именно в занятиях Грибоедова, может быть даже учился вместе с ним. К нему обращена лежащая перед нами записка Грибоедова, датированная январем 1821 г.

A m-r Le commandant du 1-er de Marand et du 42-e B[attaillon]
du Nah[itchevan]
Sertipe Hettier.

Cher ami.
Faites moi l'amitié de me tailler quelques plumes fines.
Votre très dévoué
Janvier 1821 Griboyedoff

Перевод:

Господину командиру 1-го Марандского и 42-го Б[атальона]
Нах[ичеванского]
Сартипу [13] Этье.

Дорогой друг.
Окажите мне дружескую услугу, очините мне несколько перьев потоньше.

Преданный вам
Январь 1821 Грибоедов

На чужбине люди сближаются быстрее. Случайное знакомство Грибоедова с французским офицером через год вырастает в дружбу. В Тавризе Грибоедов очень одинок. Русская миссия живет замкнуто. „Наш дипломатический монастырь", отмечает Грибоедов в „Путевых записках". Он разочарован в политическом такте Мазаровича и с иронией отзывается о нем и его братьях. С англичанами приходится „делать довольную мину при плохой игре", среди остальных иностранцев он находит либо карточных партнеров, либо собутыльников. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Грибоедов сблизился с умным и бывалым французом.

Кроме непосредственных дружеских чувств в этом сближении могли сыграть роль также и деловые соображения: Грибоедову, как и всякому дипломатическому чиновнику, было несомненно дано правительством секретное задание вербовать среди иностранной колонии в Тавризе тайных сторонников и агентов России.

Среди иностранных офицеров, служивших в армии Аббаса-Мирзы, почти все несли вторую, секретную, службу. Одни были агентами англичан, другие — агентами России. И английские, и русские дипломатические представители находили сторонников главным образом среди итальянцев и французов-бонапартистов, оставшихся „не у дел". Например одним из таких агентов России был француз Семино, приехавший в Персию якобы для свидания со своей соотечественницей г-жей Ламариньер. Спустя

некоторое время Семино появляется в Тифлисе в мундире капитана русской службы и, не скрываясь, рассказывает о том, что его принимал Николай I и дал ему чин и пожизненную пенсию за то, что Семино рассказал ему „обо всех махинациях англичан".

Капитан Сюрассон, бывший в 1807 г. с миссией генерала Гардана в Персии, также пишет об одном из секретных агентов — итальянце Галамби.

„... Des agents actifs et zélés entouraient le Prince Abbas et ne négligeaient aucun moyen pour parvenir à leur but. Parmi ceux qui portaient les armes, j'ai connu un officier italien m-r Gallambi qui, étant liés avec les anglais, prenait part dans les intrigues contre la Russie. C'était un homme peut habile et ses chicânes diplomatiques avaient déjà impatienté ceux qui l'on engagé"...

Перевод:

„Принца Аббаса окружили усердные и деятельные агенты, которые не пренебрегали ничем для достижения своей цели. Среди военных я знавал итальянского офицера г-на Галамби, связанного с англичанами и принимавшего участие в интригах, направленных против России. Это был человек неловкий, и его дипломатические промахи успели уже надоесть тем, кто его нанял"[14].

Офицеры-бонапартисты охотно шли на секретную службу, так как работа в пользу Англии или России — это была работа против ненавистной бурбоновской Франции. Поэтому можно предположить, что „прощупав" политические установки Теодора Этье и найдя в нем единомышленника и подходящего во всех смыслах человека, Грибоедов остановил на нем свой выбор.

Мы уже знаем, что молодой француз предприимчив, решителен и по сути своего характера склонен к некоторому авантюризму. В договоре Теодора Этье с Аббасом-Мирзой есть пункт, согласно которому принц отпускает его на родину, оплачивая ему все путевые расходы до Парижа. Перед нами лежит отпускная француза, написанная по-персидски и помеченная августом 1821 г.:

„Полковник Этье, который до сих пор верой и правдой служил нам и работа которого нами оценена по заслугам, ныне ходатайствует об отпуске. Эту великую грамоту мы даем ему в честь его заслуг, а также для того, чтобы он мог беспрепятственно возвратиться на свою родину. Предписываем не задерживать его и оказывать ему всякое содействие.

В Тавризе дано Аббасом-Мирзой.

Печать:
Аббас — Океан
власти".

Рукой Грибоедова на обороте персидской отпускной написано по-французски:

Le soussigné sertifie que le present [Rakam] [15], muni du sceau de Son Altesse le Naib Sultan a été delivré au Divan de Prince Abbas Mirza à Tabriz, en foi de quoi il a été muni du sceau de la Mission de Sa Majésté l'Empereur de Russie à la chancellerie de Son chargé d'Affaires en Péerse. Tabriz, 14/27 Août 1821.

Secretaire de la Mission A. Griboyedoff

Перевод:

Нижеследующее свидетельствует, что настоящий [Ракам], снабженный печатью Его Высочества Наиб-Султана, действительно выдан Диваном принца Аббаса-Мирзы в Тавризе, что удостоверяется приложением печати миссии Его Величества русского Императора в канцелярии Его поверенного в делах в Персии. Тавриз 14/27 августа 1821.

Секретарь миссии А. Грибоедов

Эта „виза" Грибоедова на персидском документе заставляет думать, что Этье, освобожденный от службы Аббаса-Мирзы, окончательно перешел в ведение и под покровительство русской миссии. Так утверждает официальная бумага. Но и приведенное выше свидетельство Сюрассона, и все дальнейшие отношения Грибоедова с Теодором Этье позволяют предполагать, что француз играл гораздо более значительную роль, нежели рядовой военный инструктор или „негоциант", как он именовал себя впоследствии. Позже мы увидим, что Грибоедов вводит его в лучшие дома Тифлиса, что Теодора Этье принимает сам Аббас-Мирза, и т. д.

В свете такой дипломатической игры совершенно по-иному звучит и невинная на первый взгляд записка Грибоедова сартипу Теодору Этье. К чему бы, кажется, просить офицера в генеральском чине, командира двух полков, о такой безделице, как чинка перьев? Да еще просить специальной запиской, старательно выписав на адресе все чины Теодора Этье! И если правильно предположение, что Этье был правительственным агентом, то не является ли просьба очинить перья — специальным шифром, установленным между Грибоедовым и Этье?

Как бы то ни было, ясно одно: Грибоедов и Этье связаны какими-то общими делами и дела эти, по всей вероятности, дипломатического порядка.

Такое сближение чиновника русской миссии с французским офицером не могло компрометировать Грибоедова в глазах иностранной колонии, так как Этье находился в Персии не в качестве официального лица, а по собственной инициативе и служил в войсках Аббаса-Мирзы по вольному найму.

В ноябре 1821 г. Грибоедов уезжает из Тавриза в Тифлис. Очевидно вместе с ним едет и Теодор Этье. Мы видели отпускную француза, датированную августом 1821 г., т. е. незадолго до отъезда Грибоедова. Кроме того перед нами лежат подорожные, выданные Аббасом-Мирзой „знатным иностранцам" с приказом всем червадарам [16] оказывать едущим всякое содействие. Таким образом ни большой оклад, ни высокий чин не могли удержать молодого француза в Персии. Даже вспыхнувшая война между Персией и Турцией не заставила его — инструктора персидской армии — отложить свой отъезд. Прямых указаний на пребывание Этье с Грибоедовым в Тифлисе нет, но три года спустя, в 1824 г., в Тифлисе (вторичное путешествие в Персию) Этье, посетив генерала Ховена, Прасковью Николаевну Ахвердову, ген. Вельяминова и других друзей Грибоедова, называет их „anciens connaissances", т. е. „старыми знакомыми". Он стало быть познакомился с ними раньше, и кто, как не Грибоедов, ввел его в эти дома, где сам поэт бывал почти ежедневно?

8 мая 1822 г. Грибоедов пишет Мазаровичу из Тифлиса: „... Если у Вас есть французская или русская копия Гюлистанского договора, то Вы очень обяжете меня, предоставив ее мне" [17].

Гюлистанский договор был заключен между Россией и Персией в 1813 г. По этому договору Персия признавала владычество России над

пограничными ханствами: Ширвинским, Шекинским, Карабагским, Ганджинским и Талышинским. Вероятно по служебному делу Грибоедову понадобился точный текст договора, но повидимому Мазарович не выслал его; перед нами лежит записка Грибоедова Теодору Этье на клочке картона; она написана вероятно в Тифлисе в тот же период, т. е. весной 1822 г.

Cher ami,

Prêtez moi je vous prie votre Gulistan pour un petit instant.

Votre très dévoué
Griboyedoff

Перевод:

Дорогой друг,

Пожалуйста одолжите мне ненадолго ваш Гюлистан.

Преданный вам
Грибоедов

„Одолжите мне ненадолго" — обычно такие записки пишутся из дома в дом, т. е. в том же городе, так что можно предполагать, что Грибоедов писал ее Этье, находившемуся в это время также в Тифлисе. „Гюлистан" может одинаково означать и „Гюлистанский трактат", и поэму Саади „Гюлистан" („Сад роз"). Грибоедов в Тифлисе усердно занимался персидским языком и возможно, что ему понадобился подлинник поэмы. Но вернее все-таки предположить, что в записке речь идет именно о

«ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ ПАСКЕВИЧА С ПЕРСИДСКИМ НАСЛЕДНИКОМ АББАС-МИРЗОЙ»
Картина маслом В. Залесского
Государственный Социально-Исторический Музей, Гомель

договоре, так как, судя по всему, Этье интересовался более историей и политикой Персии, нежели ее литературой, и вряд ли хранил поэму Саади.

II

На время следы Теодора Этье теряются. Что он делает в Тифлисе, чем живет эти годы — нам неизвестно. Мы встретимся с ним снова уже в Москве в год возвращения Грибоедова из Персии, т. е. в 1823 г. У нас имеется даже его точный адрес, написанный рукою Грибоедова:

„На Марасейке, дом Лакчина, у Корде винопродавца".

Когда приехал Этье в Москву? Возможно, что он ехал вместе с Грибоедовым, который возвратился из Тифлиса в Москву в конце марта 1823 г. Вероятность этого предположения подтверждается фразой из путевого дневника Теодора Этье. Возвращаясь из второго путешествия в Персию в феврале 1825 г. через Серпухов в Москву, Этье пишет: „Город очень украсился за два года, что я его не видел". Стало быть он уже проезжал Серпухов в начале 1823 г., т. е. тогда же, когда Грибоедов ехал в Москву.

19 мая 1823 г. Грибоедов пишет Этье:

Cher Hettier, si vous pouvez disposer de vous vers les 3 heures, je vous ferai dîner avec Vsevolodsky, dont je vous ai parlé et qui est très interessé de faire votre connaissance.

Votre très devoué
Griboyedoff

19 mai 1823

(На обороте рукой Грибоедова надписан адрес: Monsieur Monsieur Hettier. На Марасейке, дом Лакчина, у Корде винопродавца".)

Перевод:

Дорогой Этье, если вы располагаете собой около трех часов, приходите ко мне отобедать с Всеволожским, о котором я вам говорил и который очень хочет с вами познакомиться.

Преданный вам
Грибоедов

19 мая 1823

19 мая 1823 г.—очень знаменательная дата, ибо знакомство Теодора Этье с Александром Всеволожским открыло эру бурной коммерческой деятельности, в которой кроме обоих партнеров принимали участие Грибоедов и его мать—Настасья Федоровна.

К началу 20-х годов состояние Грибоедовых было сильно расстроено. По свидетельству Лыкошина, секунд-майор Сергей Иванович Грибоедов „или жил в деревне, далеко от семьи, или, когда приезжал в Москву, то проводил дни и ночи за азартною игрою вне дома и расстроил сильно имение".

Настасья Федоровна Грибоедова, хотя и владела тысячью душами, однако часто нуждалась в деньгах[18]. Она сама вела дела по имению, рассчитывалась с управляющими, сводила концы с концами и старалась поддержать хотя бы внешний вид благосостояния. В доме была девушка-невеста — Мария Сергеевна, надо было выезжать,

принимать у себя. Настасья Федоровна очень настаивала на отъезде Грибоедова в Персию, так как ждала от дипломатической карьеры сына немало выгод для семьи. Грибоедов был постоянно стеснен в деньгах. Даже уезжая в Персию полномочным министром, он пишет Булгарину о своих многочисленных долгах.

В 1824—1825 гг., по возвращении в Россию, нужда Грибоедова в деньгах становится особенно острой. Дорога в ломбард ему хорошо знакома. В целом ряде писем к Бегичеву Грибоедов жалуется на безденежье. В июле 1824 г. он пишет из Петербурга:

„...1000 рублей я не получал, а нужда смертная, но похвали меня, приехал сюда ровно с тысячью рублями, три беленькие 25-рублевые и несколько синих ведутся, живу в трактире, сперва обедал каждый день в клубе, а теперь чаще всего дома“[19].

31 августа 1824 г.: „...проклятый недочет в прогонах все испортил, взять было неоткуда, лев и солнце давно уже покоятся в ломбарде“[20]. 9 сентября 1825 г. из Симферополя: „...Твои 1500 р. я получил еще перед исходом прошедшего месяца. Объяснить тебе вполне благодарности не умею: без тебя мой корабль остался бы на мели, пришлось бы зимовать здесь“[21].

Немудрено, что, возвратившись в Россию „бедным Иром“, Грибоедов серьезно задумывается над предприятиями, которые могли бы принести верный и быстрый доход. Позади осталась Персия—золотое дно для всяких коммерческих сделок. Братья русского поверенного в делах, Симона Мазаровича, широко использовали свое пребывание в Тавризе для скупки персидских товаров. Еще в 1819 г. секретарь миссии Амбургер говорил Муравьеву, что братья Мазаровича „совершенно пустились без стыда в торги и таскаются по базарам для закупки товаров, которые они намерены продать в России“.

Если об этих сделках знал Амбургер, то знал и Грибоедов. И порицая вероятно, с одной стороны, поведение братьев Мазаровича, компрометирующее звание русского поверенного в делах, он, с другой стороны, не мог не сознавать выгодности таких сделок и тех барышей, которые получали братья „Коэфоры“ от своих закупок.

В Тавризе Грибоедов мог ясно видеть те огромные выгоды, которые представляла для России и для всякого русского коммерсанта торговля с Персией.

До 1734 г. русский торговый капитал не встречал на Востоке конкуренции ни с чьей стороны. Позже торговый договор с Англией открыл путь в Персию английскому капиталу. Но уже в 1746 г. по политическим соображениям англичане были лишены преимуществ этого договора. Торговля с Персией перешла главным образом в руки армян. Учрежденное при Елизавете Петровне в 1758 г. „Персидское торговое общество“ не оказало никакого влияния на оживление товарообмена России с Персией, а в 1762 г., в связи с закрытием монопольных товариществ, это общество прекратило свое кратковременное существование. Присоединение Грузии к России в значительной степени должно было оживить торговлю с Персией. Но русской торговле сильно вредила теперь конкуренция со стороны англичан. Помимо старинной караванной дороги Трапезунд—Тавриз англичане в широких размерах прибегали к транзиту товаров через Закавказье. Из Трапезунда они ежегодно отправляли в Персию $5^1/_2$ тысяч вьюков текстильных изделий и на $5^1/_2$ млн. рублей сахара и рома.

Находясь в 1819—1821 гг. в Персии, Грибоедов видел, что англичане снова мало-помалу становятся монополистами на персидском рынке,

что английские торговые обычаи, английский капитал снова завоевывают в Персии безраздельное господство.

Со стороны Грибоедова как представителя русских интересов в Персии такая монополия не могла не встретить рассчитанного противодействия. В 1822 г. он пишет из Тифлиса Мазаровичу: „Дорогой Мазарович, какую дополнительную статью Вы составили по-персидски в пользу наших купцов? Если у Вас есть черновик, прошу Вас одолжить мне его, и, поверьте, что если статья эта, как я не сомневаюсь, поддерживает интересы нашей коммерции, то главнокомандующий сумеет ее оценить и в свое время представить на одобрение императорского министерства, указав на то, что Вы ее автор..."[22]

Грибоедов начинает активную борьбу за интересы русского капитала, борьбу, которая питается несомненно и глубокой личной заинтересованностью. Он и в Персию едет потому, что страна эта может дать богатство, независимость, свободу. Но ему—дипломатическому представителю—заниматься торговлей невозможно. Нужно подыскать делового человека, знающего Персию, ее язык и обычаи, имеющего там знакомства, а главное такого, который не испугался бы трудностей длинного и опасного путешествия. Таким человеком, отвечающим всем требованиям, был француз Теодор Этье.

Дело надо ставить широко, нужны деньги, и деньги большие. Вероятно свободных средств у самого Грибоедова не было. Один из первых встреченных им по приезде в Москву друзей был Александр Всеволожский, давно уже связанный делами и дружбой с самой Настасьей Федоровной Грибоедовой.

„Александр Всев. Всеволожский, брат Никиты, служил в Коллегии Иностр. дел одновременно с Грибоедовым и мог сблизиться с ним еще там; они могли встречаться и в Москве (под Москвою у Всеволожских было известное имение)"[23].

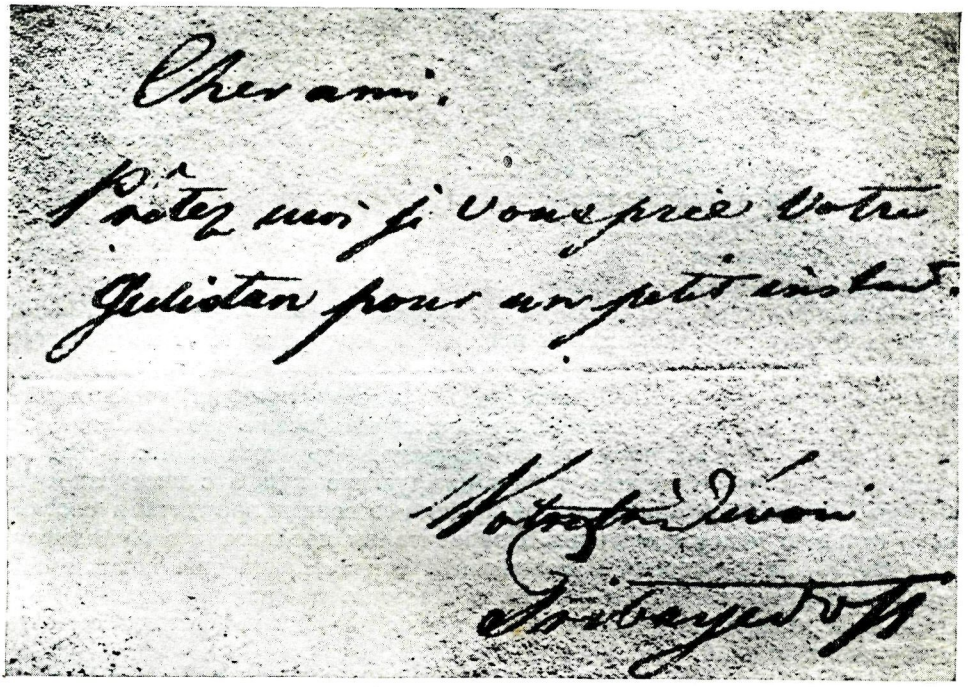
„В тот же сезон 1823—24 г. Грибоедов часто встречался и проводил время в Москве с Алекс. Всевол. Всеволожским, который был хороший музыкант и писал романсы. Сын его, покойный директор Эрмитажа И. В. Всеволожский, рассказывал мне, что его отец с детства был в самых дружеских отношениях с автором „Горя от ума" и пользовался особым расположением даже суровой матери Грибоедова"[24].

Расположение Настасьи Федоровны к А. В. Всеволожскому простиралось до того, что она давала ему деньги взаймы и доверяла ему ведение своих дел.

„...Скажи Александру Всеволожскому, что Одоевский требует от матушки уплату долга—5000 рублей,—пишет Грибоедов 12 июня 1828 г. Ф. В. Булгарину,—может ли он уплатить ему за матушку (которой он сам должен тридцать четыре тысячи). Она совестлива, больна и безденежна. Александр меня любит и честен. Поговори ему и понудь его непременно сделать мне приятное"[25].

Занятия музыкой, сочинение романсов не мешали А. В. Всеволожскому усердно заниматься делами. Он владел железоделательными заводами в Пермской губернии, рыбными промыслами в Астрахани и ежегодно ездил торговать на Нижегородскую ярмарку, являлся, короче говоря, типичным представителем той прослойки крупного, зажиточного дворянства, которая легче всего приспособлялась к новым промышленно-капиталистическим отношениям, идущим на смену старому феодально-крепостническому хозяйственному укладу.

Возможно, что по приезде Грибоедова в Москву Настасья Федоровна сама указала сыну на Всеволожского как на человека, обладаю-



ЗАПИСКА ГРИБОЕДОВА К ТЕОДОРУ ЭТЬЕ
Частное собрание, Москва

щего, несмотря на весь свой аристократизм, чисто купеческой сметкой.

19 мая на обеде у Грибоедова состоялось знакомство Теодора Этье с Александром Всеволожским. Знакомство это оказалось повидимому как приятным, так и полезным для всех троих: уже в следующие месяцы оно вырастает в тесную дружескую и деловую связь. 10 июля 1823 г. А. Всеволожский пишет Этье:

Я только что приехал из деревни, дорогой г-н Этье, для того, чтобы повидаться с Грибоедовым, и так как он хочет Вас видеть, приходите, если можете, ко мне, Вы обяжете нас обоих.

Ваш А. Всеволожский

10 июля 1823 г.

На обороте адрес: „Г-ну Этье“ и приписка рукой Грибоедова: „Поторопитесь, потому что мы собираемся обедать. Грибоедов“.

Судя по этой записке, Всеволожский вернулся из деревни специально для того, чтобы повидаться с Грибоедовым, который тоже откуда-то приехал. Н. К. Пиксанов в „Избранных хронологических датах к биографии А. С. Грибоедова“[26] говорит, что июнь—август 1823 г. Грибоедов провел в деревне Бегичева в Тульской губернии. Из записки Всеволожского с припиской Грибоедова ясно, что в июне Грибоедов был в Москве. Остается допустить, что он либо приехал в Москву специально ради этого свидания, либо уехал в деревню Бегичева позже, тем более, что в опубликованном письме к А. Всеволожскому из деревни Бегичева[27] он пишет „...Опоздавши выездом из Москвы, чтобы сюда перенестись“, и т. д.

Вполне вероятно, таким образом, что именно 10 июля 1823 г. Всеволожский, Этье и Грибоедов обсуждали план организации коммерческого предприятия для товарообмена с Персией. Возможно также, что компаньоны набросали приблизительную смету необходимых расходов и что расходы эти превзошли средства, которыми они располагали. Через несколько дней после этого свидания Грибоедов уехал в Тульскую губернию в имение Бегичева, а Всеволожский—в Нижний, где в начале августа открывалась ярмарка.

С 1817 г. ярмарка была перенесена из с. Макарьева в Нижний-Новгород, что вызвало большое недовольство в среде московских купцов, боявшихся, что „торговля может потерпеть в величайшей степени от неудобности местоположения в Нижнем-Новгороде и от непривычки торговцев упадок".

В первой половине XIX века Нижегородская ярмарка имела огромное значение для народнохозяйственной жизни России. По Москве, Оке, Волге, Каме, Каспийскому морю направлялись товары на ярмарку. Восточные купцы со своими товарами, русские купцы с иностранными и отечественными фабрикатами, помещики со своими продуктами составляли главную массу продавцов. Потребителям предлагали мануфактуру, галантерею, парфюмерию, кожевенный и кондитерский товар, чай, вино, табак, папиросы, серебро и золото, стеклянные и керамические изделия, химикалии. Сюда же привозились и продукты сельского хозяйства из помещичьих имений: лен, хлеб.

На Нижегородской ярмарке 1823 г., куда поехал А. Всеволожский, было продано товаров на 40 $^1/_2$ млн. рублей. По всей вероятности Всеволожский возил на ярмарку продукцию своих пермских заводов.

В августе 1823 г. Грибоедов пишет А. Всеволожскому из имения Бегичева:

„...по дольшей разлуке, в Москве дружнее обнимемся. А мне туда след будет непременно, коли скоро отсюдова неуберусь; близок сентябрь, какой же честный человек в осеннюю, суровую пору решится ехать в Тифлис. Коммерческие наши замыслы тоже рушились за безденежием всей компании*. Сговоримся в Москве, склеим как нибудь, коли взаимная польза соединит нас, право это хорошо, а если нет, утешимся, взаимная добрая приязнь давно уже нас соединила, и это еще лучше. Прощай, любезный Александр; не замешкайся, будь здоров, помни об своем милом семействе, а иногда и обо мне.

Верный твой А. Грибоедов

Коли это письмо застанет тебя в Нижнем, потрудись велеть разведать, как деятелен обмен нынешнего года с Персиянами, и на какие именно статьи более требования для выпуску и привозу"[28].

„О каких „коммерческих замыслах" говорит Грибоедов, пока неизвестно", пишет Н. К. Пиксанов в примечаниях к письму. Мы же приводим это письмо как ценное для нас подтверждение того, что Грибоедов занимался коммерцией в компании с Всеволожским и, как теперь известно, с Теодором Этье. Временно коммерческие замыслы были прекращены „за безденижием всей компании", а также за отъездом Грибоедова. Но даже и в отсутствии Грибоедова А. Всеволожский продолжает видеться с Этье, и их деловая дружба крепнет. 22 сентября 1823 г. он пишет Этье:

* Разрядка моя.—*Н. К.*

22 [сентября] 1823 г.

Сегодня вечером я уезжаю в деревню, дорогой г-н Этье, и возвращусь в город только в среду. Завтра, то-есть в четверг. со мной обещали встретиться купцы, которые хотят купить мои товары. Таким образом, я должен отложить удовольствие видеть Вас до пятницы, но если я вернусь из деревни завтра, я приду к Вам, или дам Вам знать об этом.

Дружеский привет.
А. Всеволожский

Очевидно за это время дружба Всеволожского с французом настолько окрепла, что они бывают друг у друга и Теодор Этье осведомлен о приездах и отъездах Всеволожского.

В сентябре Грибоедов возвращается с Бегичевым в Москву. Повидимому „коммерческие замыслы" продолжают тревожить его. Перед нами лежит записка Грибоедова к Этье без даты, но написанная, предположительно, именно в этот период, т. е. в первые дни возвращения из деревни:

Mon ami, je suis de retour à Moscou et vous m'obligerez beaucoup en venant chez moi.

Votre très dévoué
A. Griboyedoff

Перевод:

Друг мой, я возвратился в Москву, и вы очень обяжете меня, приехав ко мне.

Преданный вам
А. Грибоедов

Вероятно Этье запрашивает Всеволожского, виделся ли он с вернувшимся Грибоедовым, потому что у нас имеется ответ Всеволожского:

Грибоедов еще не был у меня, но сегодня я надеюсь иметь это удовольствие.

Сегодня утром Софи лучше, а я все еще не могу избвиться от моего насморка.

Я Вам очень благодарен, дорогой Этье, за то, что Вы нас вспомнили, верьте моей преданности.

Ваш А. Всеволожский

15 [сентября] 1823 г.

Эти короткие, отрывочные записки ценны для нас как свидетельства растущей дружбы между корреспондентами. Француз Этье входит в дома Грибоедова и Всеволожского, он знакомится с семьями своих друзей, он справляется о здоровьи домашних. Предприимчивый, практичный, умеющий быстро ориентироваться во всех обстоятельствах Теодор Этье вскоре становится необходимым для Всеволожского. Всеволожский посвящает француза в свои дела, часто просит заменить его в поездках, заключить за него торговую сделку. 6 января 1824 г. он пишет Этье:

6 января 1824 г.

Сказав Вам вчера, дорогой г-н Этье, что я смогу назавтра поехать осматривать ружья, я совсем позабыл о том, что это день именин моего тестя и что мне нельзя не поздравить его у обедни. Таким об-

разом я не смогу поехать с Вами, но умоляю Вас, г-н Этье, не упускать этого случая и оказать мне любезность: взять лошадей за мой счет, купить образцы, которые Вы сочтете нужными, и условиться с владельцем товара, как мы с Вами решили. Вы понимаете в этом лучше меня и, конечно, разрешите мне воспользоваться Вашим опытом.

Не сердитесь на меня за то, что я обманул Вас, и примите уверение в совершенном почтении.

Покойной ночи.

Дружеский привет.

А. Всеволожский.

Всеволожский просит у Этье позволения „воспользоваться его опытом" и осмотреть ружья (вероятно тульских заводов), которые он хочет купить и в которых Этье как военный разбирается лучше. Повидимому Этье, несмотря на незнание страны, очень успешно справлялся со всеми порученными ему делами.

14 апреля 1824 г. в церкви св. Людовика в Москве старший кюре благословляет брак Жана-Пьера-Теодора Этье и Анны-Франсуазы Корде—сестры домохозяина, у которого квартировал Этье. В женитьбе друга-француза принимают деятельное участие Грибоедов и Всеволожский. На брачном контракте перед подписями Давида Корде, брата невесты, и Жюля Коллин, торговца из Одессы, стоят подписи свидетелей—Александра Всеволожского и Александра Грибоедова.

По приезде в Москву в 1823 г. Грибоедов очевидно тотчас же ввел Теодора Этье в свой дом и познакомил его со своим семейством. Очевидно также, что Этье сумел понравиться и Настасье Федоровне, и Марье Сергеевне и подружился с ними, потому что первого ребенка супругов Этье—сына Александра—в том же 1824 г. крестят Александр Всеволожский и Мария Сергеевна Грибоедова—сестра поэта. Впоследствии второго сына Этье крестит сама Настасья Федоровна Грибоедова.

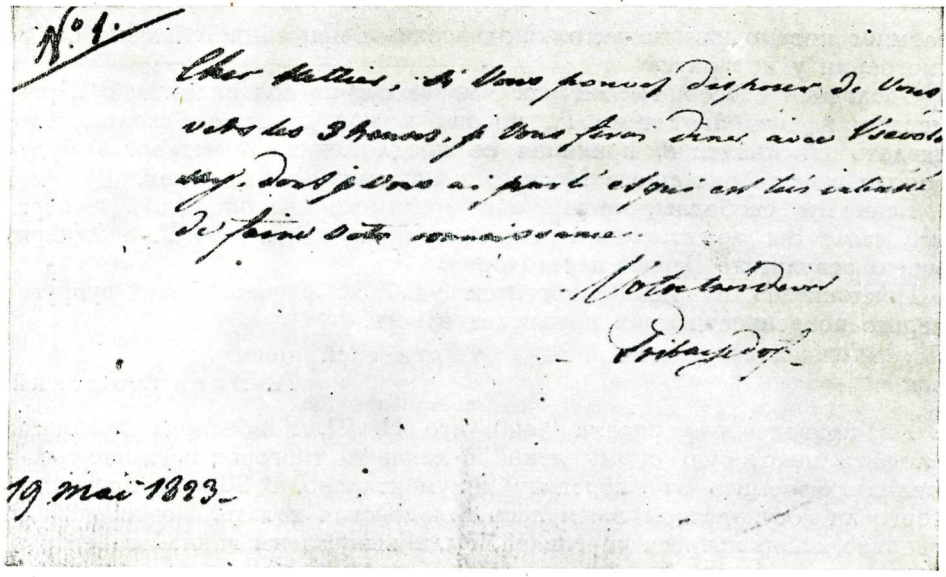
В конце мая 1824 г. Грибоедов уезжает в Петербург. Для него наступает горячая литературная пора. Он хлопочет о принятии „Горя от ума" на сцену, переделывает из-за цензурных условий наиболее резкие места, ведет полемику с литературными врагами—словом, ему как будто не до торговых дел. Однако нужда в деньгах напоминает о себе все острее.

В то же время в Москве Этье окончательно входит в дела семьи Грибоедовых и берет на себя посредничество между А. Всеволожским и Настасьей Федоровной Грибоедовой, которая повидимому вполне ему доверяла. 17 июня 1824 г. А. Всеволожский пишет ему из своего подмосковного имения:

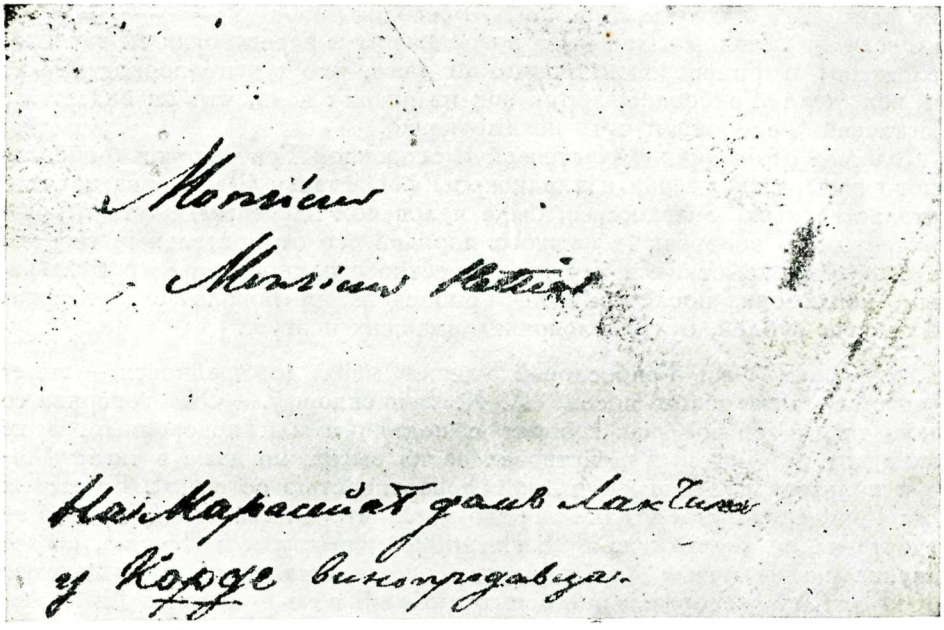
Г-ну Э. на Маросейке.

17 июля 1824, Знаменское

Вы, разумеется, удивились, дорогой Этье, не получивши бумагу, которую я должен был прислать Вам для передачи г-же Грибоедовой. Все было сделано, как вам известно, но встретились препятствия, которые мешают составить упомянутое условие, согласно правилам, если только г-жа Грибоедова не захочет записаться купцом 1-ой гильдии, что ввело бы ее в излишние расходы. Приказчик мой Василий Васильевич расскажет Вам обо всем более подробно, а Вы будете любезны передать это г-же Г. Единственным для нее способом приобщиться к этой сделке было бы положиться на мое слово и выдать сумму под



ЗАПИСКА ГРИБОЕДОВА К ТЕОДОРУ ЭТЬЕ
Частное собрание, Москва



ОБОРОТ ЗАПИСКИ ГРИБОЕДОВА К ТЕОДОРУ ЭТЬЕ
Частное собрание, Москва

заемное письмо или же актом, подписанным при свидетелях, но без регистрации у нотариуса.

Последний способ так же, как выдача суммы под видом займа, разумеется, не подойдет г-же Г., но она может убедиться, сколь я хотел сделать ей приятное, принимая ее предложения. В четверг я буду в городе и, если она еще в Москве, я непремину зайти к ней.

Если Вы свободны, прошу Вас притти ко мне обедать в четверг в $2^1/_2$ часа; Вы до этого времени, конечно, увидите г-жу Г. и сообщите мне о результате Ваших переговоров.

Поклонитесь от меня (при этом удобном случае) Вашей супруге и верьте искренности моих дружеских чувств.

Дружеский привет.

А. Всеволожский

Из приведенного письма ясно, что Н. Ф. Грибоедова предлагала вложить некоторую сумму денег в какое-то торговое предприятие, но желала оформить эту передачу документально. В 20-х годах за право торговли государством взималась гильдейская подать. Поэтому многие дворяне, занимавшиеся торговлей, были вынуждены записываться в купеческое звание. По манифесту 1807 г. лица, владеющие капиталом не менее 50 тыс., должны были принадлежать к первой гильдии, при чем за принадлежность к первой гильдии ежегодно взималось 600 рублей. Таким образом, если Настасья Федоровна Грибоедова желала официально вступить в торговое предприятие, она должна была записаться купцом первой гильдии и внести 600 рублей, т. е. понести те „излишние расходы", о которых пишет А. Всеволожский.

Очевидно Теодор Этье был посредником в переговорах между Всеволожским и Грибоедовой, возможно даже, что в этот период именно он вел дела Грибоедовых, так как из письма ясно, что он видается с Настасьей Федоровной чуть не ежедневно.

Деловые отношения с Настасьей Федоровной Грибоедовой требовали много выдержки, уменья и хладнокровия. Настасья Федоровна, по свидетельству всех, знавших ее, была человеком властным, крутым, непокладистым. В вопросах денежного порядка все отрицательные стороны ее характера выступали наружу. Известно столкновение ее с Булгариным, когда она, после смерти Грибоедова, требовала с Булгарина 34 тысячи рублей, будто бы принадлежавших поэту[29].

„... Прием г-жи Грибоедовой удивил меня до крайности, — пишет Булгарин в жалобном письме А. Х. Бенкендорфу. — Она говорила со мною таким образом, как говорят с подъячим или поверенным, а не как с другом, который действовал не из выгод, но даже в тягость себе и пользовался неограниченной доверенностью ее сына... Во-вторых г-жа Грибоедова утверждала передо мной, что ей известно, что сын ее не оставил ни копейки долгу в Петербурге, выезжая в Персию, но все закупил на наличные деньги, и что у меня осталось наличных денег 34000 рублей, которые я должен отдать ей, г-же Грибоедовой, не рассчитываясь ни с сестрою покойного, ни с женою. Таковые слова г-жи Грибоедовой крайне оскорбительны для меня и более, нежели несправедливы".

Повидимому Теодор Этье был сильно предан Грибоедову, если брал на себя ведение деловых переговоров с Настасьей Федоровной. Но нам известна предприимчивость и смелость француза. В Персии Теодору Этье уже приходилось работать в более крупных масштабах, он соединял в себе военного и политика. Превращение в мелкого комиссионера

ему не нравится, посредничество в торговых сделках его уже не удовлетворяет.

Теодор Этье мечтает о большом коммерческом предприятии, он убеждает Грибоедова и Всеволожского, и отложенная на время мысль о торговле с Персией снова овладевает компаньонами. Возможно, что еще перед отъездом в Петербург Грибоедов вместе с Всеволожским и Этье решил, что Этье поедет в Персию „на разведку", и дал ему письма к друзьям в Грузию и Персию, необходимые инструкции и т. д. Кроме того, как мы увидим ниже, у Теодора Этье были повидимому и некоторые поручения дипломатического порядка. Недаром его в Персии принимают первые сановники двора и даже сам принц Аббас-Мирза. Трудно поэтому предположить, что Теодор Этье уехал в Персию без ведома Грибоедова. Вернее, что Этье и Всеволожский ждали его приезда из Петербурга для окончательных указаний, так как перед нами лежит напутственная записка А. Всеволожского Теодору Этье:

Грибоедов все еще в Петербурге, и я совершенно не знаю, где его семейство.

Я с нетерпением ожидаю от Вас известий, желаю Вам счастливого пути и столько удовольствия, сколько может Вам дать страна и Ваши собственные занятия.

Примите уверение в совершенном почтении, с которым имею честь быть

Ваш покорнейший слуга
А. Всеволожский

Компаньоны так и не дождались возвращения Грибоедова, так как хлопоты о постановке комедии задержали его в Петербурге до весны 1825 г. Между тем стояло самое благоприятное для поездки время года. Надо было торопиться, чтобы прибыть в Персию до наступления холодов.

24 июля 1824 г. Теодор Этье уезжает в Персию. Он везет с собою довольно большую партию товара, закупленную очевидно на общие средства компаньонов, и некоторую сумму денег на расходы. Аккуратно день за днем ведет он „путевой дневник-отчет", из которого мы узнаем подробности этой поездки.

III

Этье едет в собственной повозке, но на перекладных. Стоит июль, пыль засыпает путника, горло пересыхает от жажды, повозка трясется по кочкам. Только через пять недель Этье добирается до Тифлиса. По дороге он останавливается во Владикавказе у майора Огарева—„друга Грибоедова, человека очень любезного, так же как и его супруга"[30].

Утром 1 сентября Теодор Этье приезжает в Тифлис.

„После бани я отправился к губернатору (генералу Ховену), посетил ген. Вельяминова, г-жу Ахвердову, д-ра Мартиненго, Джибелли и г-на Сегон—служащего французского консульства, которому я передал письмо. Тифлис украшается с каждым днем, генерал Ермолов приказал выровнять все улицы. Выехал из Тифлиса 9 сентября".

В этих строках путевого дневника Теодора Этье мы находим подтверждение тому, что он уже был в Тифлисе, возможно тогда же, когда там жил Грибоедов, т. е. в 1821—1822 гг. Как мы уже упоминали, генерал Ховен, Ахвердова, ген. Вельяминов составляли тот круг людей, в котором вращался Грибоедов.

Во французском консульстве в Тифлисе Этье получает подорожную, где сказано, что консульство просит оказывать Теодору Этье—французскому негоцианту—всяческое содействие. Он продолжает свой путь, имея на руках множество документов и рекомендательных писем, именуясь всюду по дороге то агентом крупного русского торгового дома, то французским купцом.

В Эривани Этье отправляется на базар и приценивается к шелкам и шалям, но цены кажутся ему высокими. Он встречает француза, путешествующего от одной из лионских фирм, и старается выпытать у него подробности спроса.

23 сентября 1824 г., спустя четыре года, он снова видит перед собой валы и крепостные стены Тавриза.

„Прибыв в Тавриз, я заехал сначала к капитану Хорту — англичанину, моему старому приятелю, от него я узнал, что г-н Мазарович также только что приехал из Тегерана. Я написал ему, прося предоставить мне свободное помещение, принадлежащее его миссии, что он тотчас же и сделал. Вечером ужинал у доктора Кормика с Хортом и Монтисом. На завтра ожидал почти до двух часов моих вещей, которые задержались в дороге. Вечером был у г-на Амбургера, секретаря русской миссии, приехавшего в этот день и также знакомого мне еще по первому моему пребыванию в Персии. Днем посетил г-на и г-жу Мазарович и г-на Бернарди — итальянского артиллерийского офицера, находящегося на службе принца в продолжение 7 лет“ [31].

Роль Этье в Персии на первый взгляд чрезвычайно загадочна. С одной стороны, он как будто является частным лицом, обыкновенным купцом-французом, который едет сбывать свои товары и покупать персидские, а с другой — ему предоставляется помещение в русской миссии, он наносит визит Мазаровичу и кроме того получает аудиенцию у самого Аббаса-Мирзы. Вот его рассказ об этом:

„27 сентября в полдень я имел честь получить аудиенцию у Е. К. В. принца Аббаса-Мирзы, который принял меня чрезвычайно любезно. Он предложил дать мне для моей безопасности мехмендара и Рагкам [32], говоря, что так как я находился у него на службе, то ныне он берет меня под свое покровительство. Я охотно принял его Рагкам, но от мехмендара отказался: по мне лучше иметь собственного слугу, потому что мехмендары вас только сопровождают. Я также предложил ему мои услуги. Он спросил меня, со мной ли мои товары, и на мой ответ, что они еще не прибыли, сказал, что он их посмотрит. Потом, после нескольких вопросов о том, что я делал со времени моего отъезда из Тавриза, он разрешил мне удалиться. Я возобновил знакомство с Мирзой-Джафаром—близким другом Мирзы-Залех, который обещал мне поговорить с принцем и предложить ему воспользоваться мной для снабжения дворца различными вещами. Я сказал, что моя фирма не будет неблагодарной по отношению к нему, если он устроит нам какое-нибудь дело. Он мне все это обещал“ [33].

Этье всюду любезно принят, к нему внешне одинаково радушно относятся как англичане, его злейшие торговые конкуренты, так и персы, как итальянцы, так и русские. „Со времени моего приезда я был отлично принят англичанами, которые находятся в Тавризе“, записывает он в дневник.

Из Тавриза Этье едет в глубь страны через Казвин в Тегеран. Он везет с собой грамоту Аббаса-Мирзы, предписывающую каждому в Пер-

ТЕОДОР ЭТЬЕ

Дагерротип

Частное собрание, Москва

сии оказывать содействие французскому купцу и путешественнику Т. Этье.

Приближаясь к Тегерану, Этье посылает вперед слугу с письмом к английскому поверенному в делах м-ру Виллоку, прося подыскать ему помещение. У ворот Тегерана Теодора Этье встречает посланный Виллока с извещением, что квартира и завтрак готовы.

„28 октября. Был у м-ра Виллока и у м-ра Макниля, доктора при английском поверенном в делах, посетил Ходжу-Микаэля, передал письма, познакомился и поговорил о делах.

29-го. Отправился к Манучар-Хану — главному евнуху — губернатору Гиляна, передал ему письмо Мазаровича и показал ему мои персидские грамоты. От него пошел к русскому генеральному консулу в Персии г-ну Ваценко. Посетил Мирзу-Абул-Гассан-Хана, ведающего всеми посольствами и побывавшего три раза послом в Европе. Он меня очень хорошо принял и обещал сделать все от него зависящее.

30-го. Приглашен вместе со всеми европейцами на обед к Манучар-Хану по случаю свадьбы одной из дочерей Шаха с молодым Мирзой-Голам-Шахом, фаворитом его Величества. Сначала был европейский завтрак, при чем нас развлекали певцы, музыканты и персидские фокусники. Затем мы перешли в Диван Ханэ, где нас ожидал превосходный обед по-персидски с музыкантами, танцовщиками и театральное представление или, вернее, китайские тени.

После обеда к нам вышел по приказанию шаха новобрачный: ему не больше 18 лет, у него красивое лицо и очень пышная одежда. На долю Манучар-Хана выпала честь нести все свадебные расходы. Кроме того Шах нарек новобрачного сыном Манучар-Хана; это означает, что Манучар-Хан должен теперь полностью содержать нареченного сына, а после смерти оставить ему все свое состояние, как настоящему сыну.

Мы пробыли на празднике с 9 утра до 3 ч. дня. Вечером Манучар-Хан прислал мне огромное блюдо всяких сластей и конфект. Ужинал у м-ра Виллока.

31-го. Познакомился с Мирзой-Магометом-Али-Ханом, Ша-Задэ, братом Аббаса-Мирзы и губернатором Тегерана. Министр этот принял меня с большой любезностью и сказал, что если кто-нибудь мне задолжает, то он берется взыскать с него долг в мою пользу. О нем говорят, что он очень расположен к европейцам"[34].

Мы видим, что в Тегеране, как и в Тавризе, Теодора Этье приняли чрезвычайно любезно. Первые сановники при дворе шаха оказывают ему всевозможные знаки внимания и обещают содействие. Даже Манучар-Хан Ениколопов, Эшик-Агаси-Баша (обер-церемониймейстер) и наместник Гилянской провинции — один из первых людей при дворе — и тот как будто заискивает перед ним. Несомненно этого бы не было, если бы Этье путешествовал только в качестве обыкновенного французского купца.

Очевидно персы и англичане подозревали, что Теодор Этье имеет секретные дипломатические поручения, что он является агентом русского правительства. Кое-что они должны были помнить и по его первому пребыванию в Персии. Кроме того Теодор Этье вез с собой письма Мазаровича и, возможно, самого Грибоедова, он проживал в русской миссии и таким образом из частного лица становился лицом почти официальным. Считалось важным расположить его, задобрить всякими обещаниями и подарками. Пользуясь своими старыми связями, Этье проникает в дом английского поверенного в делах Виллока. Он говорит одинаково легко и свободно по-английски и по-персидски, он смотрит и слушает. „Моя цель — разведать все возможности", записывает он в дневник. Это звучит глухо и неопределенно. И конечно не одни только цены на шелка и шали подразумевает Этье, говоря о всех „возможностях", которые он должен „разведать".

Но и во всем, что касается коммерческих сделок, Грибоедов и Всеволожский не могли выбрать лучшего разведчика. Этот француз, никогда до тех пор не занимавшийся коммерцией, проявляет удивительные деловые способности.

Из Тегерана Этье едет в Решт и Энзели, всюду разузнавая конъюнктуру, как мы сказали бы сейчас.

В этот период персы очень заинтересованы в торговле с Россией, так как англичане, монополизировавшие персидский рынок, сильно взвинтили цены, а персидским купцам, пытающимся привозить товары самостоятельно, приходится совершать пятимесячное караванное путешествие из Смирны в Тавриз.

Поэтому все крупнейшие персидские купцы и сенаторы радушно встречают Теодора Этье и все обещают ему содействие в делах. Он уславливается с Манучар-Ханом, что будет уплачивать ему согласно Гюлистанскому договору 5 процентов с выручки, но за это будет ввозить и перевозить свои товары в любое место Персии. Он подробно записывает цены за ночлег, за лошадей, за перевозку товаров. На городских базарах он торгует знаменитые персидские шали и попутно распродает привезенные с собой образцы.

Но вот все дела закончены, сведения собраны, товар распродан.

В самом начале 1825 г. Теодор Этье пускается в обратный путь в Россию.

9 февраля 1825 г. он уже в кругу семьи.

IV

Трудное путешествие сказывается, Этье заболевает. Но, несмотря на болезнь, на восьмимесячную разлуку с семьей, он уже в самый день приезда, 9 февраля, пишет письмо А. Всеволожскому, который в это время находится в Петербурге. Мы узнаем это из ответного письма Всеволожского, помеченного 15 февраля 1825 г.:

„Я был очень рад узнать, дорогой мой Этье, из Вашего письма от 9 сего месяца, что Вы благополучно вернулись к Вашей семье. Я очень хотел бы оказаться теперь в Москве, чтобы получить от Вас те сведения, которые Вы привезли касательно нашего будущего предприятия. Мои здешние дела в настоящее время мешают мне возвратиться, так как они слишком интересны для того, чтобы я хоть на миг потерял их из виду. Но как только я выясню их окончательно, или если мне придется отложить мое возвращение на более долгое время, нежели я предполагал, я попрошу Вас приехать в Петербург, где мы сможем окончательно оформить наше предприятие.

Пока же примите уверения в чувствах почтения, с которыми имею честь быть

Ваш покорнейший слуга
А. Всеволожский

P. S. Болезнь глаз не позволяет мне писать собственноручно.

15 февраля 1825
С.-Петербург.

(Письмо писано чьим-то каллиграфически старательным почерком и только постскриптум и подпись рукой А. Всеволожского.)

В момент возвращения Этье из Персии Всеволожский находится по каким-то, очевидно коммерческим, делам в Петербурге. Но результаты поездки в Персию интересуют его так сильно, что он хочет видеть Этье немедленно. Раньше компаньоны хотели основать центральное агентство по торговле с Персией в Москве, но теперь Всеволожский пишет: „...Петербург, где мы сможем окончательно оформить наше предприятие". Быть может это показалось ему более удобным также и потому, что в Петербурге в это время находился и Грибоедов.

На письме Всеволожского пометка рукой Теодора Этье: „Получено 20 февраля, отвечено 1 марта".

До нас не дошло письма Этье, однако мы располагаем ответным письмом А. Всеволожского.

Г-ну Этье
в Москве

С.-Петербург, 7 марта 1825

Ваше последнее письмо от 1-го сего месяца явилось для меня новым доказательством Вашей осмотрительности, которая в настоящее время для нас необходима. Поверьте, что я со своей стороны поступаю так же.

Не зная еще, позволят ли мне дела вернуться вскоре в Москву и желая узнать о результатах Вашей поездки, я прошу Вас, дорогой г-н Этье, если Вам это возможно, приехать ко мне в Петербург.

Так как у моего отца очень тесно, то я не могу предоставить Вам комнаты, поэтому если Вы решитесь приехать я предлагаю Вам остановиться в трактире. Вы найдете меня у церкви Николы близ большего театра, д. № 219.

Я больше не удивляюсь тому, что имел так редко вести от Вас за время Вашей поездки, так как и Вы также не получили всех моих писем; все это выяснится при нашем свидании. Что же касается Корде, то я все также намерен уговориться с ним, но мы не согласились насчет условий, а у меня не было ни времени, ни настроения, чтобы изложить на бумаге мои замечания на предложения, которые он мне сделал, и я оставил это до более благоприятного времени. Я сообщу Вам их и льщу себя мыслью, что вы со мной согласитесь, тогда мы и с ним договоримся.

Передайте от меня привет вашей супруге, поцелуйте моего маленького крестника и примите уверение в совершенном почтении, с которым имею честь быть

Ваш покорный слуга

А. Всеволожский

P. S. Моим глазам лучше, но они еще слабы, я пишу с трудом.

Из письма ясно, что во время путешествия Этье в Персию Всеволожский писал ему, вероятно давая деловые инструкции. Упоминаемый в письме Давид Корде—брат жены Теодора Этье. Возможно, что Этье рекомендовал своего свояка виноторговца как человека со средствами, способного ссудить предприятие деньгами, может быть даже войти в компанию. В дальнейшем мы встречаем еще упоминание о Корде в письме Никиты Всеволожского. Очевидно Теодор Этье усердно старался оказать родственнику протекцию и свести его со своими деловыми друзьями.

21 марта 1825 г. по вызову Всеволожского Теодор Этье едет в Петербург. Он везет с собой ценнейший документ—голубую тетрадку, заключающую в себе результат его восьмимесячной поездки: „План торгового предприятия между Россией и Персией".

План этот составлен им на основании тех сведений о торговле в Персии, которые он собрал за время путешествия. В нем подробно изложено, на какие товары существует в Персии спрос, что надо покупать взамен, а главное, как и где организовать отделения русского торгового дома. Теодор Этье считает, что центральное отделение компании должно находиться в Москве. Распоряжения и заказы в Персию идут из Москвы. В Персии, в наиболее крупных городах, должны существовать отделения фирмы. Все эти отделения подчиняются главному агенту—фактическому и полновластному представителю фирмы в Персии. Повидимому этим главным агентом хотел быть сам Этье, так как это давало ему возможность самостоятельной работы и кроме того приносило бы не малые барыши, потому что вместо жалованья он предлагал давать агенту два процента с каждой сделки.

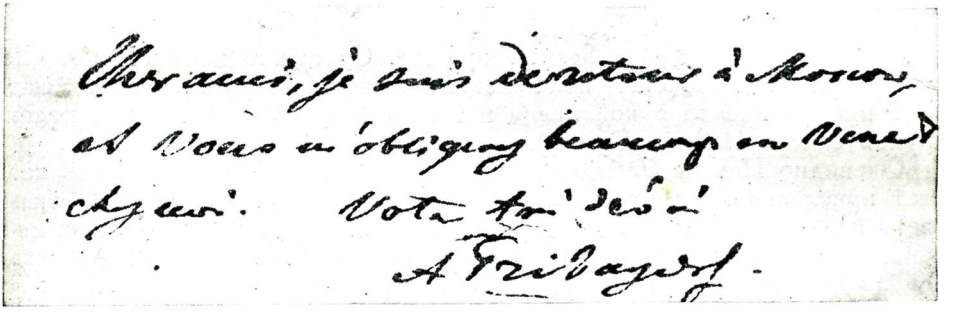
В момент приезда Этье Грибоедов также находится в Петербурге. Он пишет примечания к запискам Цикулина, руководит репетициями „Горя от ума" в театральной школе, возражает на критику Катенина, переводит, пишет стихи.

У нас нет прямых указаний на то, что Этье встретился в Петербурге с Грибоедовым, но трудно предположить, что человек, вернувшийся из Персии, повидавший много друзей Грибоедова, не увидится с ним хотя бы только для того, чтобы передать письма, не говоря уже о тех поручениях дипломатического порядка, которые видимо были даны Этье Грибоедовым и в которых он должен был отчитаться. Кроме того во второй части „Плана" говорится, что русская миссия в Тавризе охотно

возмется доставлять корреспонденцию представителю фирмы. Вероятно Грибоедов через Этье дал знать Мазаровичу о своем участии в предприятии и просил его содействия.

Возможно, что в этот приезд Этье в Петербург „План" подробно обсуждался как Всеволожским, так и Грибоедовым, и можно предполагать даже, что Грибоедов много помог при этом своим дипломатическим опытом и знанием страны.

Но „План" предусматривает организацию торгового дома с большим основным капиталом. Этье считает, что на первый раз надо ввезти в Персию товара на 150—200 тыс. руб. Повидимому компаньоны снова натолкнулись на прежнее препятствие — недостаток нужных средств. Большая часть капиталов Всеволожского была вложена в прежние его предприятия — пермские заводы и рыбные промыслы в Астрахани,— и вынуть оттуда крупную сумму без ущерба для этих предприятий было невозможно. Деньги Грибоедовых были, как мы видели из писем, также



ЗАПИСКА ГРИБОЕДОВА К ТЕОДОРУ ЭТЬЕ
Частное собрание, Москва

частично вложены в предприятия, общие с Всеволожским, или даны ему взаймы. Таким образом очевидно и на этот раз осуществление плана было отложено за недостатком денег.

В конце 1825 г. Грибоедов снова уехал в армию к Ермолову, в главную квартиру кавказского корпуса.

Следующее упоминание о торговле с Персией мы встречаем уже только в начале 1826 г. в письме Никиты Всеволожского:

Господин Этье.

Я получил Ваше письмо от 1-го сего месяца. Радуясь тому, что Вы находитесь в добром здоровье, я очень благодарен Вам за память и за Ваши поздравления по случаю моего блистательного вступления в дела.

Разумеется я не достоин тех похвал, которые Вы мне расточаете, однако, мое искреннее рвение дает мне твердую уверенность, что я буду вознагражден за все усилия, употребляемые мною для достижения моей цели, цели столь желанной, которая единственно может успокоить два семейства, и в особенности брата, к которому я питаю, как Вам известно, безграничную привязанность.

Вы пишете мне о Вашем свояке. Время и случай показали мне, с кем я имею дело, и я могу только пожелать, чтобы он оказался достойным того, кто его рекомендует, и не обманул бы доверия, которое можно ему оказать.

Вы пишите мне о Грибоедове и о вложенном здесь письме, но я не нашел его в Вашем и прошу мне объяснить причину. Я буду рад исполнить это поручение, тем более, что я вскоре смогу оказаться довольно близко от него.

Считаю долгом сообщить Вам, что я все еще настаиваю на мысли осуществить наш план торговли с Персией и попрежнему склоняюсь к тому способу, которому всегда мешали наши денежные дела, находившиеся в течение долгого времени в запутанном состоянии.

Я не теряю надежды направить их на верный путь, что позволит мне сообщить Вам окончательно о сроке, когда мы сможем взять нужные суммы и распределить их так, как мой брат и Вы сочтете нужным.

Прошу Вас поклониться от меня Вашему семейству и подарить меня Вашей дружбой.

Преданный Вам
Никита Всеволожский

13 января 1826.
Астрахань.

(На обороте по-французски: Г-ну Этье. Сургучная печать Никиты Всеволжского: большое „Н" и маленькими буквами вокруг: „Всеволожской". Все письмо писано рукой писца и только „Преданный Вам" и подпись рукой самого Никиты Всеволожского.)

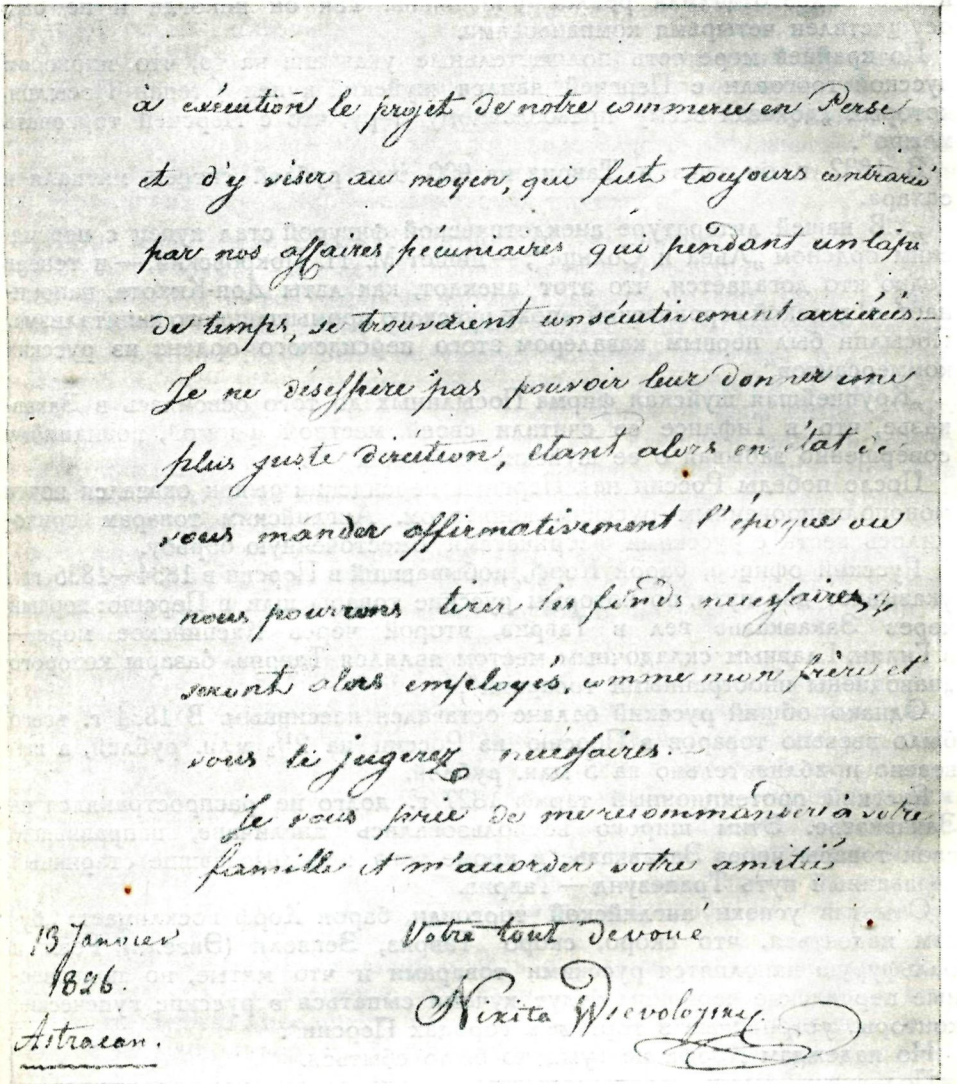
Очевидно Никита Всеволожский познакомился с Теодором Этье, когда тот приехал в Петербург к его брату Александру. Тон письма указывает на большое доверие, которое очевидно внушал к себе Этье, но на чисто деловое знакомство. Повидимому Никита отправился в Астрахань наблюдать за рыбными промыслами, которыми владели там оба брата Всеволожские, но кроме того еще по каким-то неизвестным нам делам, от которых зависело „спокойствие двух семей и в особенности брата", т. е. Александра. По всей вероятности это все-таки дела денежного порядка, так как Этье поздравляет Никиту с блестящим в них вступлением.

Из письма видно, что Никита намеревался из Астрахани проехать дальше, может быть на Кавказ, где в это время находился Грибоедов. На это указывает фраза: „Я буду рад исполнить это поручение [т. е. передать письмо Грибоедову], тем более, что я вскоре могу оказаться довольно близко от него".

Возможно, что письмо Этье к Грибоедову, исчезнувшее из письма Никиты Всеволожского, содержало в себе какие-то размышления по поводу персидского плана. Мы заключаем это из того, что вслед за абзацем о Грибоедове в письме Никиты непосредственно следует абзац о торговле с Персией. Можно предполагать, что Никита вспомнил план, которым были связаны Этье и Грибоедов, и ему сразу захотелось взяться вплотную за осуществление этого дела. Повидимому в Петербурге ему предложили также войти в компанию и он охотно согласился. Здесь мы еще раз находим подтверждение тому, что план был отложен из-за недостатка денег.

Очевидно Никита Всеволжский либо еще не знал о декабрьских событиях, либо никак не думал, что они коснутся Грибоедова. Письмо его помечено 13 января, а ровно через 13 дней — 26 января — арестованный в главной квартире кавказского корпуса Грибоедов ехал с фельдъегерем в Петербург.

В первых числах февраля Александр Всеволожский крестит в Москве родившуюся у Этье дочь и в этих же числах Грибоедов проезжает Москву. Друзья Грибоедова узнают об его аресте. Но проезжая Москву,



à exécution le projet de notre commerce en Perse
et d'y viser au moyen, qui fut toujours contrarié
par nos affaires pécuniaires qui pendant un laps
de temps, se trouvaient consécutivement arriérés.
Je ne désespère pas pouvoir leur donner une
plus juste direction, étant alors en état de
vous mander affirmativement l'époque où
nous pourrons tirer les fonds nécessaires,
seront alors employés, comme mon frère et
vous le jugerez nécessaires.
Je vous prie de me recommander à votre
famille et m'accorder votre amitié.

Votre tout devoué
Nikita Wsevologsky.

13 Janvier
1826.
Astracan.

ПИСЬМО НИКИТЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО К ТЕОДОРУ ЭТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Частное собрание, Москва

Грибоедов вряд ли видался с ними, так как не хотел видеться даже с матерью, которая при известии об его аресте разразилась упреками в вольнодумстве. Как реагировал Этье и Всеволожские на арест Грибоедова, нам неизвестно, но ясно, что план торговли с Персией был отложен на неопределенное время. 16 июня 1826 г. персы нарушили мир, напав на русский пограничный пост Мирак. Вспыхнула война, и еще более отдалила реализацию плана. Так он никогда и не был осуществлен четырьмя компаньонами.

По крайней мере есть положительные указания на то, что пионером русской торговли с Персией явился шуйский купец Степан Посылин, который „доказал всему православному миру, что с Персией торговать можно".

В 1832 г. он ввез в Тавриз на 900 тыс. рублей ситцев, миткаля и сахара.

„...В нашей литературе анекдотической фигурой стал купец с персидским орденом „Льва и Солнца", — пишет М. Н. Покровский, — и теперь редко кто догадается, что этот анекдот, как латы Дон-Кихота, напоминает о далекой героической эпохе русского промышленного капитализма. Посылин был первым кавалером этого персидского ордена из русских коммерсантов".

„Крупнейшая шуйская фирма Посылиных до того освоилась в Закавказье, что в Тифлисе ее считали своей, местной фирмой, повидимому совершенно забывая о ее шуйских фабриках" [35].

После победы России над Персией персидский рынок оказался почти монополизированным русским капиталом. Английским товарам приходилось вести с русскими фабрикатами ожесточенную борьбу.

Русский офицер, барон Корф, побывавший в Персии в 1834—1835 гг., указывает два пути, по которым русские товары шли в Персию: первый через Закавказье вел в Тавриз, второй через Каспийское море — в Гилян. Главным складочным местом являлся Тавриз, базары которого „наводнены иностранными товарами".

Однако общий русский баланс оставался пассивным. В 1834 г. всего было ввезено товаров в Персию из России на $2^1/_2$ млн. рублей, а вывезено приблизительно на 5 млн. рублей.

Русский протекционный тариф 1827 г. долго не распространялся на Закавказье. Этим широко воспользовались англичане, направившие свои товары через Закавказье и кроме того использовавшие старинный караванный путь Трапезунд — Тавриз.

Отметив успехи английской торговли, барон Корф восклицает: „будем надеяться, что скоро, скоро Тавриз, Зензели (Энзели), Решт и Бальфуруш наполнятся русскими товарами и что мятые, но полновесные персидские червонцы будут кучами сыпаться в русские купеческие конторы, устроенные в торговых городах Персии".

Но надеждам Корфа не суждено было сбыться.

Пользуясь двумя торговыми путями, англичане скоро почти совершенно вытесняют русских с персидского рынка. Если в 30-х годах английский агент в Тавризе нашел всю торговлю в русских руках, то в 1844 г. Степан Посылин принужден был ликвидировать свои операции. Русское правительство реагирует на это распространением протекционного тарифа на Закавказье и проектом захвата Трапезунда. После этих репрессивных мер уже англичане жалуются, что для них потеряно Каспийское море и они отрезаны от Центральной Азии. Так нащупывается экономический базис англо-русского соперничества на Ближнем Востоке и в частности в Персии, приведший позже к Крымской войне 1853 г.

Потерпев неудачу в компании с Теодором Этье и Всеволожскими, Грибоедов ничуть не забрасывает свои „коммерчиские замыслы". Он продолжает упорствовать на идее использования богатств Персии и Закавказья. Ему не дает покоя мысль, что все эти богатства лежат нетронутые, никем не используемые. Он хочет во что бы то ни стало сделаться первым колонизатором этого края „наподобие Восточной Индии" (Муравьев). Он пытается вдохновить своей идеей кого-нибудь другого, он ищет новых компаньонов.

В марте 1828 г., приехав в Петербург для представления Туркменчайского мирного договора Николаю I, Грибоедов встречается со своим прежним знакомым, коллежским советником П. Д. Завилейским, человеком очень состоятельным, но, по свидетельству Муравьева, крайне ненадежным и плутоватым. Вместе они набрасывают проект „Записки об учреждении российской закавказской компании".

„Когда Грибоедов ездил в Петербург, увлеченный воображением и замыслами своими, он сделал проект о преобразовании всей Грузии, коей правление и все отрасли промышленности должны были принадлежать компании наподобие Восточной Индии. Сам главнокомандующий и войска должны были быть подчинены велениям комитета от сей компании, в коем Грибоедов сам себя назначал директором, а главнокомандующего членом; вместе с сим предоставил он себе право объявлять соседственным народам войну, строить крепости, двигать войска и все дипломатические сношения с соседними державами. Все сие было изложено красноречивым и пламенным пером и, как говорят, писцом под диктовку Грибоедова был З[авилейский], которого он мог легко завлечь и в коем он имел пылкого разгласителя и ходатая к склонению умов в его пользу. Грибоедов по сему старался и многих завлечь; он много искал сближения со мною, но я всегда удалялся от него" [36].

Мы видим, что задуманный Грибоедовым в 1824 г. „План торговли с Персией" был как бы зачатком, зародышем грандиозной идеи колонизации Востока. „Закавказская компания" значительно зрелее, смелее и обширнее по замыслу. Это уже не просто товарообмен с Ближним Востоком, а подлинная организованная колонизация края, при чем на помощь торговой компании Грибоедов не задумывается открыть военную кампанию. Он... „настаивал, чтобы приступлено было к завоеванию турецкой крепости Батума, что на Черном море, как пункта, необходимо нужного для склада в предполагаемом распространении торговой компании" [37].

После декабрьского восстания мысль о мелком частном предприятии была повидимому совершенно оставлена Грибоедовым. Он понял всю несостоятельность подобного плана. Теперь мирная торговая политика его уже не удовлетворяет. Он знает, что ему одному или даже в компании с другими помещиками уже не справиться. Чтобы захватить удобные порты и рынки, Грибоедов мечтает использовать военную мощь России.

„Не могу утвердительно сказать,—пишет Муравьев-Карский,—но, кажется, что даже были тогда сделаны некоторые приготовления к сей экспедиции".

Да и весь текст „Записки" представляет собой ярчайший документ захватнической политики первой половины XIX столетия.

Муравьев-Карский несколько преувеличивает, говоря что „главнокомандующий и войска должны были быть подчинены велениям комитета

от сей компании", но верно то, что, привлекая на помощь своему предприятию военную силу, Грибоедов разумеется мыслил самого себя организатором этого похода в богатый и нетронутый край.

Сущность деятельности компании сводилась к использованию садов Закавказья, учреждению складов в одном из портов Черного моря и в торговле вином, шелком, ситцем и тому подобными продуктами закавказского производства.

Окончательно „Записка" была составлена в Тифлисе 7 сентября 1828 г., когда Грибоедов, назначенный полномочным министром, находился уже на пути в Персию. Тогда же она была подана графу Паскевичу-Эриванскому.

„Завтрашний день пойдет от меня и Завилейского к В[ашему] с[иятельству] План компании и Записка на благосклонное Ваше рассмотрение. Во время болезни я имел довольно трезвости рассудка и досуга, чтобы осмыслить этот предмет со всех сторон", писал Грибоедов к Паскевичу 6 сентября 1828 г. [88]

„...При внимательном рассмотрении Закавказского края, каждый удостоверится, что там природа все приготовила для человека; но люди доселе не пользовались природою. Настоящее правительство поддержано токмо самим собою; но известно, что для лучшего успеха в деле государственного хозяйства необходимы соединенные усилия правительства и частных людей. Некоторые же лица, действуя отдельно, мало или вовсе не могут содействовать благим намерениям мудрого правительства, а тем более здесь, где нет ни значительных капиталистов, ни людей по торговле и промышленности предприимчивых и стремящихся на частных выгодах основать общественные.

При таковых обстоятельствах статский советник Грибоедов и коллежский советник Завилейский, по внимательном исследовании богатств и средств сего края, ревнуя благу общему,—предположили составить его сиятельству графу Ивану Федоровичу Паскевичу-Эриванскому план учреждения компании для заведения и усовершенствования в изобильных *провинциях по сю сторону* Кавказа *лежащих: виноделия*, шелководства, хлопчатой бумаги, колониальных, красильных, аптекарских и других произведений...

...Притом Вы обнаруживали ясно Ваш образ мыслей, чтобы несколько людей благонамеренных и зажиточных, ввиде коммерческого товарищества, предприняли реформы, необходимые в хозяйстве и промышленности сего края"... [89]

В „Записке" Грибоедов несколько раз и очень настоятельно напоминает о том, что он с Завилейским действуют как частные предприниматели:

„...При сем нижеподписавшиеся, действуя в сем случае, равно и во всем касательно до проекта компании,—отдельно от звания и обязанностей, несомых ими по службе*, но поступая в сем предприятии, как частные люди".

Но в самых этих напоминаниях чувствуется какая-то недомолвка. Мы помним, что Теодор Этье, уезжая с поручением Грибоедова в Персию, останавливался в русской миссии. Тот же Этье предлагает всю корреспонденцию торгового дома пересылать через русское дипломатическое представительство.

„...Корреспонденция может пересылаться двумя способами: от Москвы до Тифлиса, где можно достать человека, который переправит ее в Тавриз, в русскую миссию; миссия охотно возьмется передать ее агенту"... (см. приложение).

* Разрядка моя — *Н. К.*

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТУРКМАНЧАЙСКОГО МИРА».
Картина маслом В. Залесского
Государственный Социально-Исторический Музей, Гомель

Таким образом Грибоедов частично уже использовал свое служебное положение в личных целях. Уезжая полномочным министром в Персию и представляя вместе с тем „Записку об учреждении Закавказской компании", он конечно мог надеяться, что официальное положение и высокий пост очень помогут осуществлению его коммерческих планов. С приложенным „проектом устава" и объяснительным вступлением „Записка" была представлена Паскевичу, который, будучи занят сам в то время военными операциями с Турцией, передал ее на рассмотрение и заключение генералу Бурцеву. Тот подверг ее резкой критике и признал осуществление предложенного проекта несвоевременным. С мнением Бурцева согласился и Паскевич [40].

Таким образом Паскевич отклонил предложение Завилейского и Грибоедова, и коммерческие планы Грибоедова вторично потерпели полное крушение.

Уехав в Персию полномочным министром, он конечно не имел времени, да и не мог по своему положению заниматься мелкой частной коммерцией. Переговоры о контрибуции, об обмене пленных с персами, которые „много думают, вдесятеро больше говорят и почти ничего не делают" (б. Корф), заняли все его время до 30 января 1829 г., когда зверское убийство прервало его кипучую, нервную, кочевую жизнь.

* * *

13 апреля 1827 г. в церкви св. Людовика в Москве Анастасия Федоровна Грибоедова вместе с учителем Адольфом Перротэ крестит третьего ребенка супругов Этье—Шарля-Адольфа. В акте о крещении

Этье-отец именуется „французским путешественником в России", но можно смело сказать, что „путешествие" Теодора Этье сильно затянулось. Он продолжает быть связанным делами и дружбой с семейством Грибоедовых и вероятно тяжело переживает гибель своего друга и покровителя.

В 1842 г. Теодор Этье принимает русское подданство и именуется уже Федором Петровичем. Пора путешествий для него прошла, он начинает стариться. У него обширные знакомства в московских дворянских домах. Вместе с женой он занимается преподавательской деятельностью. Денис Давыдов, знавший его еще на Кавказе, поручает ему воспитание своих детей. Жена Этье служит воспитательницей у московского генерал-губернатора Закржевского.

В 1846 г. Федор Петрович Этье заканчивает свое путешествие — в Москве на кладбище на Введенских горах.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Все публикуемые ниже письма Грибоедова, Всеволожских и Этье, а также записки, и дневниковые записи последнего, за исключением тех случаев, где источник их оговаривается особо, печатаются впервые по оригиналам, любезно предоставленным мне потомками Теодора Этье, которым приношу мою глубочайшую благодарность.

[2] Теодор Этье, Записки.

[3] Там же.

[4] Письмо это оказалось в бумагах Этье. Очевидно Этье выпросил его обратно у Мирзы-Масуда.

[5] О. И. Попова, Грибоедов в Персии в 1818—1823 гг., М. 1930.

[6] Собр. соч., изд. Академии Наук под. ред. Н. К. Пиксанова, т. III.

[7] Теодор Этье, Записки.

[8] Там же.

[9] О. И. Попова, А. С. Грибоедов в Персии в 1818—1823 гг., М. 1930.

[10] Собр. соч., ук. изд. т. III.

[11] Там же.

[12] Лугат — словарь.

[13] Сартип — первый генеральский чин в Персии.

[14] Д.-В. Surasson, Memoires d'un officier, Paris, 1849.

[15] Ракам — указ, грамота.

[16] Червадар — чиновник.

[17] О. И. Попова, А. С. Грибоедов в Персии в 1818—1823 гг., М. 1930.

[18] См. „Исторический Вестник" 1889, № 3, стр. 661—673.

[19] Собр. соч., ук. изд., т. III.

[20] Там же.

[21] Там же.

[22] О. И. Попова, А. С. Грибоедов в Персии в 1818—1823 гг., М. 1930.

[23] Собр. соч., ук. изд., т. III, примеч. к письмам.

[24] См. Исторический Вестник" 1910, № 6, стр. 872.

[25] Собр. соч., ук. изд., т. III.

[26] Там же.

[27] Там же.

[28] Там же.

[29] „Русская Старина" 1905, № 12.

[30] Теодор Этье, Путевой дневник.

[31] Там же.

[32] Мехмендар — чиновник, прикомандированный обычно к иностранным послам и другим важным лицам.

[33] Теодор Этье, Путевой дневник.

[34] Там же.

[35] М. Н. Покровский, Дипломатия и войны царской России в XIX столетии. М. 1923.

[36] Цитирую по изданию „Грибоедов в воспоминаниях современников". Редакция Н. К. Пиксанова, комментарии И. С. Зильберштейна. Изд. „Федерация", 1929., стр. 90.

[37] Там же.

[38] Е. Некрасова, Неизданные письма А. С. Грибоедова. — „Дела и дни" 1921 г., кн. 2, стр. 71.

[39] А. С. Грибоедов. „Записка об учреждении Российской Закавказской компании", Собр. соч., под. ред. И. А. Шляткина, т. II.

[40] И. К. Ениколопов, А. С. Грибоедов в Грузии и Персии.

Ф. И. ТЮТЧЕВ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЦАРСКОЙ РОССИИ

Статья К. Пигарева

„Низенький, худенький старичок, с длинными, отставшими от висков, поседелыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно,... вот он входит в ярко освещенную залу; музыка гремит, бал кружится в полном разгаре... Старичок пробирается нетвердой поступью близ стены, держа шляпу, которая сейчас, кажется, упадет из его рук. Из угла прищуренными глазами окидывает все собрание... Он ни на чем и ни на ком не остановился, как-будто б не нашел, на что бы нужно обратить внимание... К нему подходит кто-то и заводит разговор..., он отвечает отрывисто, сквозь зубы... смотрит рассеянно по сторонам..., кажется ему уж стало скучно: не думает ли он уйти назад... Подошедший сообщает новость, только-что полученную, слово-за-слово, его что-то задело за живое, он оживляется, и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация... Вот он роняет, сам не примечая того, несколько выражений, запечатленных особенною силой ума, несколько острот едких, но благоприличных, которые тут же подслушиваются соседями, передаются шопотом по всем гостиным, а завтра охотники спешат поднести их знакомым, как дорогой гостинец: Тютчев вот что сказал вчера на бале у княгини Н...“ Таков портрет Тютчева, написанный М. П. Погодиным[1].

Может быть впрочем почитателям поэта больше придется по сердцу другой его портрет: низенький, худенький старичок, но весь закутанный в теплый плед—таким предстает он перед нами на маленькой фотографической карточке, таким—„не замечая и удивляя прохожих“—бродил он по улицам Петербурга, а вернувшись домой небрежно ронял встретившей его жене или дочери: „j'ai fait quelques rimes“.

Но это—портрет „романтический“. Романтика затемняет восприятие действительности. Романтикой сплошь пропитана „легенда о Тютчеве“. И теперь, когда мало-помалу эта легенда рассеивается, уступая место правде, реалистический портрет Тютчева должен быть предпочтен романтическому.

Заслужив небольшой книжкой своих стихов бесспорное право на одно из первых мест в истории русской поэзии, Тютчев прожил свою почти семидесятилетнюю жизнь отнюдь не жизнью *писателя, литератора*. Сам он пребывал *вне* узко литературных партий и группировок. Одними литературными интересами он ограничиться не мог. Заседание Общества Любителей Российской Словесности, возродившегося в 1859 г. после тридцатилетнего перерыва, кажется ему „ребячеством“ и в письме к жене он едко смеется над ним: „Положительно, Москва—архи-литературный город, где все—писатели и читатели—в высшей степени серьезно смотрят на самих себя... Но я не в состоянии был бы существовать в этой среде, столь высоко мнящей о себе и столь глухой ко всем отголоскам извне. Например, я вовсе не уверен, что такое ребячество,

как вчерашнее заседание, не перевесит — и даже сильно — в глазах московской публики интереса к грозным событиям, назревающим на Западе"[2]. А ведь сам Тютчев был одним из старейших членов Общества Любителей Российской Словесности... В обширном эпистолярном наследии Тютчева литературные вопросы занимают не много места. Политикой он всегда интересовался в неизмеримо большей степени, чем литературой.

„Написать жизнь Тютчева мне кажется невозможным,—писал после смерти поэта его шурин Карл фон Пфеффель.—Пожалуй даже такое жизнеописание представило бы меньший интерес, чем можно ожидать; разве что оно будет связано с изображением тех общественных групп, среди которых он жил и где сосредоточивалась (слишком исключительно на мой взгляд) его деятельность. Но одна или две журнальных статьи, по образцу Сент-Бева, читались бы столь же охотно, как и любая из „Понедельничных бесед" (Causeries du lundi), касающаяся людей гораздо менее замечательных. Первая из этих статей могла бы иметь предметом молодость Тютчева вплоть до 1844 года, эпохи его возвращения в Россию; вторая—последние годы его зрелого возраста и старость, обнимая весь период его национальной деятельности[3]".

Современники иногда оказываются более чуткими, чем потомки. Баварский родич Тютчева обнаружил известного рода проницательность. И неожиданный по отношению к Тютчеву термин „национальная деятельность" приобретает действительный смысл, если только несколько уточнить его — сказать хотя бы: общественная деятельность. Ибо несомненно, что подлинным местом службы Тютчева был не Комитет Цензуры Иностранной, а петербургские салоны и гостиные. „Настоящею службой его была б е с е д а в обществе", замечает тот же Погодин. И он прав...

До тех пор, пока биографы недоуменно пасовали перед тем сложным и в высшей степени своеобразным „явлением", которому имя—Тютчев, они, естественно, не могли дать такого жизнеописания поэта, о каком говорил Пфеффель. Однако жизнь Тютчева приобретает действительный интерес только на фоне широкой социально-политической перспективы, в связи с „жизнеописанием" той среды, в которой вращался поэт. Только тогда становится совершенно ясным, каким классовым верованиям и интересам служил Тютчев.

Очерк, предлагаемый вниманию читателей, как явствует из самого его заглавия, — не биография. Факты чисто биографические служат в нем лишь вехами. Его главная цель — облегчить понимание печатаемых ниже неизданных архивных документов (преимущественно писем самого Тютчева), объединенных вокруг одной темы — русской внешней политики. Тем самым суживаются и задачи настоящей статьи, не претендующей на полный обзор всех высказываний Тютчева на внешнеполитические темы.

Журнальные рамки не позволили мне исчерпать весь имевшийся в моем распоряжении материал. Из писем Тютчева к разным лицам полностью печатаются лишь письма к кн. А. М. Горчакову. Из обширной переписки Тютчева с А. Ф. и И. С. Аксаковыми дается несколько выбранных писем, служащих как бы „оправдательными документами" к настоящему очерку.

I

1822 г. июня 11 — „день, в который мы с Федором Ивановичем выехали из Москвы в Баварию", записал в числе прочих знаменательных событий из жизни Тютчева его дядька Николай Афанасьевич Хлопов[4].

Приблизительно через месяц русский посланник в Мюнхене гр. Воронцов-Дашков доносил своему начальству в Петербург: „Новый атташе

при моей миссии г-н Федор Тютчев только что приехал. Несмотря на малое количество дела, которое будет у этого чиновника на первых порах его пребывания здесь, я все же постараюсь, чтобы он не зря потерял время, столь драгоценное в его возрасте"[5].

В Мюнхене—за непродолжительными отлучками — Тютчев провел целых пятнадцать лет: до 1828 г. — сверхштатным чиновником, а с 1828 по 1837 г. вторым секретарем при русской миссии.

Верная принципам „Священного союза" Россия в то время стояла на страже европейской реакции. К числу тех государств, на которые в особенности простиралось „отеческое попечение" царского правительства, было королевство Баварское, одна из наиболее крупных политических единиц, входивших в состав Германского союза.

Бавария в то время все еще оставалась полуфеодальным государством, и конституционные короли — будь то Максимилиан I Иосиф или его сын Людвиг I — верно следовали заповедям опекунов европейского status quo и считали „полезными и необходимыми" лишь те изменения в законодательстве и управлении, которые проистекали из „свободной воли, обдуманного и просвещенного решения тех, кому господь вверил власть".

Такова была в общих чертах та международная политическая „обстановка", в которой очутился молодой Тютчев. Задачи русской императорской миссии в Мюнхене не исчерпывались целями обычного дипломатического представительства. Это был один из органов политического контроля за точным выполнением со стороны баварского правительства тех принципов международной политики, которые были выработаны эпохой конгрессов.

Недаром Нессельроде всячески хлопотал о том, чтобы сплотить крупные и мелкие немецкие дворы вокруг „единственного залога порядка общественного"—монархического русско-австро-прусского союза. Всякие шероховатости в их отношениях с одной из двух германских держав-опекунш привлекали поэтому зоркое внимание петербургского кабинета. Так например, русский посланник в Мюнхене Потемкин доносил по поводу отказа баварского короля утвердить временное торговое соглашение с Пруссией: „достойно опасений, как бы отзвук размолвки, возникшей по вопросам чисто коммерческим, не отразился пагубно на политических отношениях германских государств между собою, а это было бы тем более прискорбно, что в настоящее время одно единодушие — и единодушие самое искреннее — может действенным образом предохранить их от беспрестанно возобновляемых попыток революционной пропаганды"[6].

Другой задачей царской дипломатической миссии в Мюнхене была поддержка русского престижа, как в глазах баварского правительства, так и в глазах немецкого общественного мнения. В этих целях печатные информации о таких событиях, как восстание декабристов, исходили непосредственно из канцелярии русской миссии. О всех своих политических удачах русский двор немедленно сообщал баварскому, а последний спешил порадоваться русским успехам. В Архиве Внешней Политики хранится один любопытный документ, характеризующий отношения двух дворов между собою. Документ этот приобретает для нас тем больший интерес, что он теснейшим образом связан с именем Тютчева.

12 октября 1829 г. русский посланник в Мюнхене И. А. Потемкин отправил гр. Нессельроде следующую депешу:

„Ваше сиятельство,

в одной из газет этой столицы появилось стихотворение короля баварского, обращенное к его величеству государю императору, нашему

августейшему монарху. Этот плод поэтического таланта короля, относящийся к прошлому году и с соизволения его величества появляющийся в печати в ту самую минуту, когда торжество наших армий столь блестящим образом осуществляет пожелания и чаяния августейшего поэта, представляет собою без всякого сомнения слишком замечательный памятник чувств и настроений его величества, чтобы я не поспешил представить его на обозрение вашего сиятельства.

Пьесу в оригинале ваше сиятельство найдет в приложенной печатной вырезке, к которой я беру на себя смелость присоединить русский ее перевод в стихах, исполненный вторым секретарем императорской миссии камер-юнкером Тютчевым"[7].

К депеше приложена вырезка из какой-то газеты с сообщением: „Карманная книжка для дам на 1830 год содержит следующее стихотворение короля баварского: Российскому императору, летом 1828". Не привожу здесь длинного и весьма слабого немецкого текста, так как смысл его в общем довольно точно передан в русском переводе Тютчева, до сих пор ни разу не появлявшемся в печати. Текст стихотворения таков:

Императору Николаю I.

О, Николай, народов победитель,
Ты имя оправдал свое! Ты победил!
Ты, господом воздвигнутой воитель,
Неистовство врагов его смирил...
Настал конец жестоких испытаний.
Настал конец неизреченных мук.
Ликуйте, христиане!
Ваш бог, бог милости и браней,
Исторг кровавой скиптр из нечестивых рук.

Тебе, тебе, послу его велений, —
Кому сам бог вручил свой страшный меч, —
Известь народ его из смертной тени
И вековую цепь на век рассечь.
Над избранной, о царь, твоей главою
Как солнце просияла благодать!
Бледнея пред тобою,
Луна покрылась тьмою —
Владычеству Корана не восстать...

Твой гневный глас послыша в отдаленьи,
Содроглися Османовы врата;
Твоей руки одно лишь мановенье —
И в прах падут к подножию креста.
Сверши свой труд, сверши людей спасенье.
Реки: да будет свет — и будет свет!
Довольно крови, слез пролитых,
Довольно жен, детей избитых,
Довольно над Христом ругался Магомет...

Твоя душа мирской не жаждет славы,
Не на земное устремлен твой взор.
Но тот, о царь, кем держатся державы,
Врагам твоим изрек их приговор...

Он сам от них лицо свое отводит,
Их злую власть давно подмыла кровь,
Над их главою ангел смерти бродит,
Стамбул исходит —
К о н с т а н т и н о п о л ь воскресает вновь...

Т.[8]

Приведенное стихотворение с достаточной яркостью характеризует отношение мюнхенского двора к петербургскому — опекаемого к опекающему. Теперь для полноты картины не мешает выяснить, каково было отношение к России в непридворных слоях, в кругах мюнхенской литературной интеллигенции, куда, кстати сказать, был вхож и Тютчев. В данном случае конечно гораздо труднее делать какие бы то ни было обобщения, но несомненно одно. Подавление польского восстания знаменует поворотный пункт в отношении немецкого общественного мнения к России. С этого времени немецкая передовая общественность осознает кровную связь между русским деспотизмом и деспотизмом общеевропейским. До этого же времени ее представление о России было довольно-таки смутным. Вот например, какие размышления вышли из среды немецкой радикальной буржуазии под впечатлением тех же событий, которые вдохновили коронованного рифмача: „... при постоянной странной смене лозунгов и представителей в великой борьбе, обстоятельства сложились так, что самый пламенный друг революции видит спасение мира только в победе России... Если в отношении свободы сравнить Англию с Россией, то даже у самого боязливого человека не останется колебания, к какой партии ему примкнуть. Свобода в Англии вышла из исторических событий, в России из принципов... Те принципы, из которых возникла свобода русская, или, вернее говоря, из которых она ежедневно развивается все больше и больше, — это либеральные идеи нашего новейшего времени. Русское правительство проникнуто этими идеями; его неограниченный абсолютизм есть скорее диктатура для непосредственного проведения в жизнь этих идей. Это правительство не имеет своих корней в феодализме и клерикализме: напротив, Россия демократическое государство, я назвал бы его даже государством христианским, если бы хотел применить это, часто злоупотребляемое слово в его отраднейшем, самом космополитическом смысле, потому что русские, уже благодаря объему их государства, свободны от узкосердечия языческого национального чувства[9]".

Это писал... Генрих Гейне в своих „Путевых картинах". А между тем эти страницы следовало бы занести в формулярный список Тютчева. Гейне проводил долгие часы у своего „лучшего мюнхенского друга" и конечно именно из этих бесед составил себе столь неожиданное для него представление о России. Привлечь перо Гейне на сторону России — это крупная, хотя быть может и бессознательная удача русской дипломатии. Здесь мы впервые сталкиваемся с тем, что Погодин назвал „настоящей службой" Тютчева.

Какова же была официальная, но н е н а с т о я щ а я его служба?

На первых порах своего пребывания в Мюнхене у него повидимому было мало дела. Поэт переписывал или писал под диктовку своим каллиграфическим почерком, столь разнящимся от его позднейшего „griffonage", разные дипломатические бумаги, большей частью информационного характера. С назначением Тютчева вторым секретарем при миссии ему поручается составление депеш более серьезного содержания. И в тех случаях, когда предмет интересовал поэта, составляемые им депеши превращались в своеобразные литературные произведения. Таков

например опубликованный несколько лет назад „проект" дипломатической депеши по поводу греческих дел, отличающийся всеми основными особенностями тютчевского эпистолярного стиля.[10]

„Проект" депеши по поводу греческих дел представляет для нас интерес и в другом отношении, как свидетельство об единственном ответственном поручении, выполненном Тютчевым за время его службы в Мюнхене. В 1833 г. он был послан в Навплию, столицу незадолго до того образовавшегося при участии России, Англии и Франции греческого королевства. В 1832 г. на греческий престол был возведен второй сын баварского короля Оттон и ввиду несовершеннолетия последнего при нем было учреждено регентство из трех баварцев, тотчас же возбудившее неудовольствие царского правительства своим образом действий „во внешних сношениях". Разъяснить членам регентства, что именно в их поведении подавало повод к жалобам, и было поручено Тютчеву.

Мы не знаем, как справился Тютчев с этой задачей. Депеша же, составленная им по возвращении в Мюнхен, приобретает особенную остроту, если мы взглянем на нее не с точки зрения греческих дел, а с точки зрения соперничества России с Англией за преобладающее влияние в Греции. В сущности за этим скрывался все тот же восточный вопрос, а потому именно Англия и не могла допустить усиления русского влияния в южной части Балканского полуострова. Несмотря на шутливую и ироническую форму, в депеше проглядывает весьма четкая дипломатическая программа, которая должна бы была приттись по сердцу петербургскому кабинету: убедив баварского короля „сохранить за собой верховное руководительство" в деле политических сношений Греции с иностранными правительствами, тем самым перенести греческое министерство иностранных дел из Навплии в Мюнхен, где оно было бы под надежным прикрытием от дующих с моря английских веяний. Но все это было выражено в такой шутливой и иронической форме, что тогдашний русский посланник в Мюнхене кн. Г. И. Гагарин нашел депешу „недостаточно серьезной" и она не была отправлена в Петербург.

Нельзя не признать, что на одном литературном таланте дипломату не легко было построить свою карьеру. И Тютчеву не повезло на дипломатическом поприще. В одном из своих писем к родителям он не без горечи жалуется на то, что ему суждено было, оставаясь на том же месте, „пережить" всех своих сослуживцев и при этом „не унаследовать" их должностей. Неизвестно, сколько времени пробыл бы Тютчев в Баварии, если бы получивший огласку роман поэта с молодой вдовой Эрнестиной Дернберг не побудил кн. Гагарина ходатайствовать об его переводе из Мюнхена. В мае 1837 г. Тютчев отправился в отпуск в Россию, а 3 августа состоялось его назначение старшим секретарем русской миссии в Турине.

II

Мюнхенский приятель Тютчева кн. И. С. Гагарин, тот самый, что позже променял княжеский титул на иезуитскую сутану, сравнивал поэта со страстными театралами, которые ради присутствия на представлении готовы подвергать себя разным лишениям: „Его не привлекали ни богатство, ни почести, ни даже слава. Самым задушевным, самым глубоким его наслаждением было наблюдать за картиной, развертывавшейся перед ним в мире, с неослабным любопытством следить за всеми ее изменениями и обмениваться впечатлениями со своими соседями. Я не хочу сказать, что он был вполне бескорыстен; месту в партере он пред-

почитал кресло в оркестре или ложу на авансцене и способен был употребить некоторые усилия, чтобы их получить, но все наслаждения и все утехи самолюбия не имели бы в его глазах никакой цены, если бы для приобретения их надо было пожертвовать главным интересом представления“ [11].

Ф. И. ТЮТЧЕВ
Дагеротип 1840-х гг.
Публичная Библиотека, Ленинград

Мюнхен, расположенный на большой дороге тогдашней европейской политики, как нельзя лучше способствовал утолению этой ненасытной жажды поэта. „Пищу своей пытливости“ Тютчев находит не только в придворно-аристократических салонах и дипломатических кругах; блестящий Монжела — не единственный „равный“ ему собеседник. Шеллинг отзывался о Тютчеве, как о „превосходном“ и „очень образованном“

человеке, „с которым всегда охотно беседуешь"; Гейне нашел в доме Тютчевых „сладостный оазис"; кроме Шеллинга Тютчев общался и с другими представителями университетской интеллигенции, между прочим с известным филологом Тиршем; можно предполагать, что тогда же он познакомился с ориенталистом Фалльмерайером, автором до сих пор не устаревшей „Истории Трапезундской Империи". С переездом из Мюнхена в Турин Тютчев как бы променял место в партере столичной сцены на ложу в провинциальном театре. Если новая его должность и могла бы где-нибудь в Вене или Париже доставить некоторую „утеху" его самолюбию, то тут поэту пришлось ради нее — и притом вопреки своему желанию — пожертвовать „главным интересом представления".

„Вот уже скоро месяц, как я в Турине, — писал Тютчев родителям 1 ноября 1837 г., — и этого времени было достаточно, чтобы позволить себе составить на его счет вероятно окончательное мнение. Как место, как служба, одним словом — как заработок Турин несомненно один из лучших служебных постов. Прежде всего, что касается дела, то его нет... Жалование, не будучи значительным, все же — 8 000 рублей (в год. — *К. П.*), а что до здешних цен, то они таковы, что с этой суммой, увеличенной вдвое, возможно пожалуй свести концы с концами. К тому же с будущей осени мне предстоит остаться здесь поверенным в делах в течение целого года. Вот хорошая сторона положения — но затем, как местопребывание, знайте, что Турин — один из самых унылых и угрюмых городов, сотворенных господом богом. Никакого общества. Дипломатический корпус малочислен, не объединен и вопреки всем его стараниям совершенно отчужден от местных жителей. Зато мало дипломатических чиновников, не считающих себя здесь, как в ссылке. Обрезкову, например, после пятилетнего пребывания, несмотря на его превосходные обеды, три бала в неделю в продолжение сезона и хорошенькую жену, не удалось привлечь к себе достаточно народу, чтобы обеспечить себе партию виста. Так же обстоит дело и с его коллегами. Одним словом, в отношении общества и общительности Турин — совершенная противоположность Мюнхену. Но, повторяю, это быть может наиболее удобный способ заработать 8 000 рублей в год" [12].

Несмотря на скуку, жертвой которой становились все иностранцы, обреченные на пребывание в Турине, казалось, что колесо дипломатической фортуны начинает поворачиваться в благоприятную для Тютчева сторону.

Вскоре по приезде Тютчева в Турин разгорелась между сардинским двором и русским посланником „пресловутая ссора" (как отозвался об ней Тютчев) на почве придворного этикета. Можно только подивиться тому, что дамский головной убор мог послужить в то время предметом серьезной дипломатической переписки, если только мнимое нарушение этикета женой русского посланника не было использовано лишь как предлог, чтобы насолить лично Обрезкову, не пользовавшемуся расположением туринского общества.

В результате этой ссоры последний, согласно своему желанию, был отозван из Турина, а Тютчев был назначен поверенным в делах. Царское правительство сочло однако нужным проучить „мало любезный" сардинский двор и умышленно медлило с назначением преемника Обрезкову. Тем самым положение Тютчева в Турине более походило на положение постоянного поверенного в делах, чем временно управляющего делами миссии. Сардинский двор скрепя сердце принужден был примириться с тем, что при нем состоит не „чрезвычайный посланник и полномочный министр его величества императора всероссийского", а дипломатический агент низшего ранга.

Русско-сардинские дипломатические сношения в сущности очень напоминали русско-баварские, с тою только разницей, что в своих инструкциях царским посланникам в Турине Нессельроде еще в большей степени оправдывал свое звание „вице-канцлера", послушно следуя указке Меттерниха. „Итальянским дворам, — гласит одна из инструкций Нессельроде, — предстоит принять лишь одно решение: пребывать верно и неизменно преданными системе монархического союза, призванного к тому, чтобы предохранить порядок общественный от тех опасностей, которыми ему все более и более угрожает распространение революционных доктрин". По своему „географическому положению" Австрия, с точки зрения русского правительства, „служит точкой опоры итальянскому полуострову и держит в своих руках, так сказать, звено цепи, связующей его с консервативным союзом". Дружба с Австрией для сардинского короля — „лучшая гарантия его спокойствия", в противовес дружбе с Францией, могущей „подать Сардинии лишь пример беспорядков и несчастий" [13].

В связи с этим приобретает интерес следующий факт. В 1838 г. французский посол в Турине маркиз де Рюминьи ходатайствовал перед сардинским правительством о приравнении французских пассажирских пароходов в отношении прав и прерогатив к военным судам, в частности об освобождении их от таможенного осмотра в сардинских портах. Просьба эта была отклонена под тем предлогом, что прочие государства могут претендовать на то же. По этому поводу Тютчев писал в донесении, составленном им по поручению посланника: „Если несмотря на все меры надзора и предосторожности, которые принимают здесь против беспрестанных хитросплетений и дерзких попыток пропаганды, все еще неудается избавиться от пагубного их действия, каким образом сардинское правительство, не постягнув на свою собственную безопасность и не сделавшись добровольной сообщницей революционеров всех стран, а Франции в особенности, могло бы само доставить столь действенное средство, как то, которого добивался маркиз де Рюминьи, — дабы наводнить королевство революционными памфлетами, сочинениями, имеющими целью ниспровержение общественного порядка, и пропагандистами, безнаказанно изливающими яд своих развращающих доктрин" [14].

И в то время, когда Италия неоднократно „отвечала судорогами на гнет Меттерниха" (Энгельс), итальянские государи цеплялись за спасительный монархический союз и призывали помощь австрийского оружия для подавления проблесков национального самосознания. Принципы „священного союза государей против народов" играли в то время решающую роль в международной политике, и мелким итальянским властителям приходилось постоянно помнить об „услугах", оказанных им в 1814—1815 гг. державами-победительницами „при дележе имущества побежденного". Мудрено ли после этого, что туринский двор при всяком удобном случае „с искренностью и благодарностью" вспоминал при русских дипломатах об услугах, оказанных Россией королевскому дому", а король обеих Сицилий признавался однажды Луи-Филиппу: „Я скажу откровенно вашему величеству, что во всем, что относится до мира или сохранения политической системы в Италии, я склоняюсь к идеям, которые, на основании старого опыта, признаны князем Меттернихом за действительные и спасающие". И хотя „Священный союз брался охранять весь „порядок", а не только личные интересы коронованных особ" [15], в сознании руководителей европейской реакции охрана „порядка" теснейшим образом была связана с поддержкой царствующих династий.

Инстинкт самосохранения в значительной степени определял и отношения сардинского двора к русскому. Осуществленное на Венском

конгрессе закрепление сардинского престола за савойским домом не вполне отвечало желаниям Австрии, имевшей на Пьемонт свои виды. Вот почему в 1839 г., сообщая в Петербург о приеме, оказанном в Генуе путешествовавшему „инкогнито" наследнику Александру Николаевичу, Тютчев отмечает, что высшие должностные лица города не могли при этом не помнить, что „если король, их повелитель, имеет удовлетворение принимать его (наследника. — *К. П.*) у с е б я, то этим корона Сардинии обязана России более, нежели какой-либо иной державе" [16].

Подробные донесения Тютчева о путешествии наследника любопытны поэтому не только с историко-бытовой стороны, но приобретают несомненный интерес и в свете тогдашних международно-политических отношений. Неслучайно в одном из дипломатических документов царское правительство определяло свои взаимоотношения с Турином, как отношения двух дворов, из которых „один уверен в своей слабости, а другой—в своем могуществе". И это в полной мере отразилось на самом характере дипломатических донесений Тютчева.

III

Мнение, составившееся у поэта насчет Турина, не изменилось во все время его пребывания там. Редкие гастроли столичной придворной труппы не способны были оживить однообразной сцены провинциального театра. Несмотря на убеждение в том, что „Турин несомненно один из лучших служебных постов", Тютчеву не сиделось при сардинском дворе. 1 марта 1839 г. овдовевший поэт обращается к Нессельроде с частным письмом, в котором он просит у него разрешения на брак с Эрнестиной Дернберг и на отпуск в течение нескольких месяцев. В ответном письме к Тютчеву вице-канцлер писал, что он не находит никаких препятствий к вступлению Тютчева во второй брак, но предписывает ему дождаться приезда в Турин только что назначенного посланника Н. А. Кокошкина. Дальнейший образ действий Тютчева остается не вполне ясным. Следующий рассказ И. С. Аксакова грешит явными неточностями: „Исправляя, за отсутствием посланника, должность поверенного в делах,—пишет он в своей „Биографии Ф. И. Тютчева",—и видя, что дел собственно не было никаких, наш поэт, в один прекрасный день, имея неотложную надобность съездить на короткий срок в Швейцарию, запер дверь посольства и отлучился из Турина, не испросив себе формального разрешения. Но эта самовольная отлучка не прошла ему даром. О ней узнали в Петербурге и ему повелено было оставить службу, при чем сняли с него и звание камергера..." [17] Несколько иначе передает эти сведения Е. П. Казанович „со слов лица, слышавшего этот рассказ из уст самого Тютчева": „Намереваясь жениться, этот „поверенный в делах" самопроизвольно эти дела покинул и, взяв с собою дипломатические шифры, отправился в Швейцарию со своей будущей женой..., с нею там обвенчался, а шифры и другие важные служебные документы—в суматохе свадьбы и путешествия потерял" [18]. В официальных делах, касающихся службы Тютчева, на это обстоятельство нет никаких намеков. Согласно данным тютчевского послужного списка он „с успехом" исправлял обязанности русского поверенного в делах с 22 июля 1838 г. по 25 июня 1839 г. Свидетельство о церковном браке Тютчева, совершенном в Берне, помечено 17/29 июля 1839 г., а гражданский брак был заключен в Констанце 29 июля/10 августа. Несколько подозрительным кажется то, что официальное извещение о браке Тютчева было послано в Петербург только в конце декабря и подписано русским посланником в Мюнхене Севериным. Время приезда Кокошкина в Турин выяснить не удалось. Однако, когда в январе 1840 г.

Тютчев возбудил ходатайство о дополучении невыданного ему жалования за май—сентябрь 1839 г., то жалование было уплачено ему только за два первых месяца, так как по справке из туринской миссии оказалось, что „коллежский советник Тютчев выехал из Турина 25 июня 1839 года и отправился через Швейцарию в Мюнхен, откуда более к своему посту не возвращался". 6 октября 1839 г. Тютчев из Мюнхена послал свое прошение об отставке, одновременно испрашивая разрешение отложить свое возвращение в Россию до весны. 8 ноября состоялось „отозвание" Тютчева от должности секретаря „с оставлением до нового назначения в ведомстве министерства иностранных дел" и поэту был предоставлен временный отпуск. Судя по официальным бумагам, длительное „неприбытие из отпуска" и послужило причиной того, что Тютчев 30 июня 1841 г. был вычеркнут из списка чиновников министерства, а тем самым лишился и звания камергера[19].

Всем этим сведениям все же присуща некоторая сбивчивость и неопределенность. В данном случае впрочем для нас не столь важно, что именно пресекло дипломатическую карьеру Тютчева,—в большей или меньшей степени „поэтическая вольность" налицо. Гораздо важнее для нас разобраться в том, какое влияние имела дипломатическая карьера, точнее—связанное с ней пребывание за границей, на выработку политического облика Тютчева.

„Когда он покинул Россию в 1822 г.,—рассказывает в своей неизданной заметке о Тютчеве упомянутый уже К. фон Пфеффель,—умы в ней находились еще под влиянием теократических идей, пущенных в обращение Жозефом де Местром, и мистицизма императора Александра I. Этого же влияния не избег конечно и молодой Тютчев и на всю жизнь сохранил его следы"[20]. Мы знаем и из других источников, что Тютчев восхищался де Местром и „постоянно" его цитировал[21]. И действительно, как было недавно замечено В. М. Лавровским, нетрудно проследить в творчестве молодого Тютчева настроения, близкие эпохе „эмигрантской реакции" во Франции[22]. Если некоторый налет дворянского либерализма и коснулся Тютчева, то это следует рассматривать как явление преходящее. Наоборот, легитимистские принципы Священного союза в достаточной степени определили всю политическую эволюцию Тютчева и наложили резкий отпечаток на его политические высказывания. „Она хотела раз навсегда утвердить торжество права, исторической законности над революционным движением", пишет он о России в 1844 г.[23]—совсем в духе дипломатических инструкций, составлявшихся в канцелярии министерства иностранных дел. Между тем на глазах Тютчева то и дело колеблется дорогой европейской реакции „порядок". Совсем под боком у Тютчева, в баварской провинции Пфальц, в течение двух лет подряд (27 мая 1832 г. и 27 мая 1833 г.) происходят внушительные национально-демократические демонстрации, получившие название „Гамбахского праздника". В Мюнхене, еще так недавно подававшем пример спокойствия и благонадежности, полиция ведет борьбу с революционно-настроенной студенческой молодежью. Всему этому движению, подтачивающему коренные устои „Европы трактатов 1815 года", казалось, развязали руки июльская революция во Франции и переворот в Бельгии (1830 г.). Мысль о вооруженном вмешательстве во французские дела, мелькнувшую было в голове у Николая I при первых известиях о событиях в Париже, пришлось отложить: Меттерних предлагал „принять за общее основание нашего поведения решение не вмешиваться во внутренние дела Франции". Это признание июльской революции внутренним делом Франции было прямым отступничеством от принципов своей же собственной политики, ставя под большое сом-

нение и самую жизненную силу трактатов эпохи конгрессов—по крайней мере по отношению к великим державам. И „вооруженная рука Священного союза", как однажды окрестила Россию немецкая „Allgemeine Zeitung", на сей раз принуждена была опуститься.

Тютчев как человек большого и острого ума не мог не видеть, что меттерниховская система лишь паллиативное средство, неспособное заглушить „духа времени". „Тютчев еще в 1830 году предсказывал последовательный ряд революций,—неминуемое наступление для Европы революционной эры"[24]. Неслучайно около этого времени он переводит следующие строки из „Западно-восточного дивана" Гете:

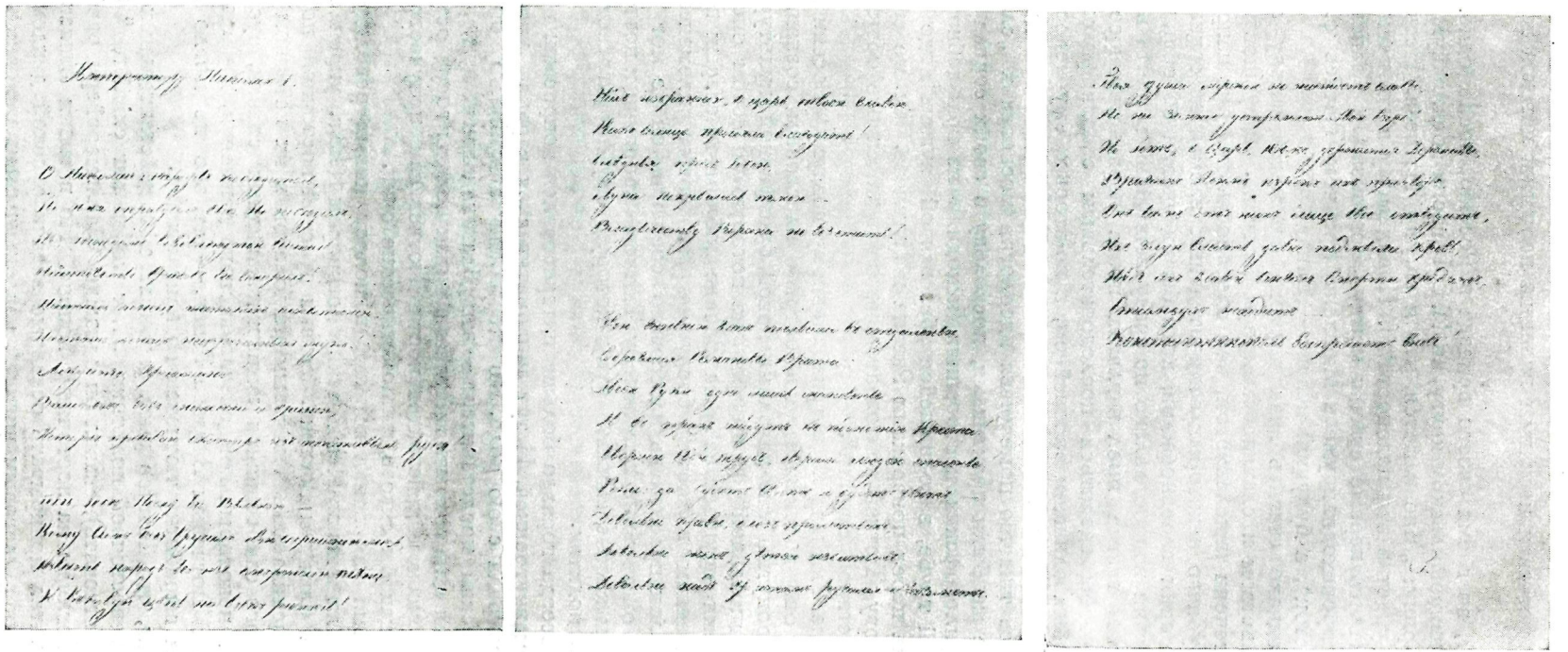
Nord und Süd und West zersplittern,	Запад, Норд и Юг в крушеньи,
Trone bersten, Reiche zittern,	Троны, царства в разрушеньи.
Flüchte du, im reinen Osten	На Восток укройся дальной
Patriarchenluft zu kosten...	Воздух пить патриархальной...
u. s. w.	и т. д.

Мы знаем, что в целом ряде случаев тютчевские переводы таят для нас ценнейшие автобиографические признания переводчика. В частности этот перевод может рассматриваться как одно из отражений совершавшегося в это время „обращения" Тютчева к России.

Сильно преувеличивая степень „разрыва" Тютчева с крепостнической Россией в годы его заграничной жизни, И. С. Аксаков составил себе обширное поле для разного рода вопросов и недоумений. Казалось бы, в силу окружавших Тютчева условий, он должен был бы превратиться не только в чистейшего „европейца", но и в „европеиста". Вместо этого каким-то „чудом" в нем „сложился и выработался целый твердый философский строй национальных воззрений", и, вернувшись в Россию в начале 40-х годов, Тютчев очутился как раз на той ступени, на которой стояли тогда славянофилы, возглавляемые Хомяковым[25]. М. П. Погодин „не верил ушам своим", когда Тютчев при нем заговорил о славянском вопросе[26].

В чем же тут дело? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо прежде всего раскрыть классовую природу славянофильства. Социально-политическая утопия славянофилов и их своеобразная философия истории — не плод отвлеченного умозрения, созревший в тиши кабинетов прежних „любомудров". Славянофильство — боевая теория, возникшая в кругах родовитого среднепоместного дворянства, корни которой таились не в облаках, а в земле. Разложение крепостного барщинного хозяйства — вот та реальная почва, на которой выросло славянофильское разрешение проблемы об отношении России к Европе. За упорным отрицанием элемента „внутренней", т. е. классовой, борьбы в общественном развитии России на самом деле проглядывало отчетливое сознание классовых противоречий, подрывающих „законный порядок вещей" в тогдашней Российской империи. „Гнилой Запад" мало-по-малу проникал сквозь щели той „китайской стены", которой славянофилы пытались от него отгородиться, усыпляя других, а отчасти и себя, наркотической теорией о „самобытном" и „особливом мире". В конечном счете борьба за собственное существование придала особенную остроту спорам „восточников" с „западниками".

Тютчев не был участником этих споров. Его славянофильское самосложение шло иным путем, но общность классовой принадлежности обусловливала и общность классового мироощущения. Крепкие идеологические нити тянутся из мюнхенской гостиной baron de Toutechef (как называли поэта его заграничные знакомцы) к стародворянским особнякам московских славянофилов.



АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ Ф. И. ТЮТЧЕВА «ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ I»

Центрархив СССР, Москва

В 1836 г., во время своего приезда в Россию, после одного долгого спора в славянофильском кругу, кн. И. С. Гагарин воскликнул, обращаясь к Ю. Самарину: „Мне кажется, что я слышу Тютчева. Несчастный, он с головой уйдет в эти нелепости“[27]. Повидимому в то время, когда в Москве начались первые стычки между „Востоком“ и „Западом“, такие же стычки происходили уже в Мюнхене, при чем Тютчев олицетворял собою „Восток“, а будущий иезуит—„Запад“.

Нельзя однако ставить знак полного равенства между московским славянофильством и славянофильством Тютчева. В сущности он был в большей степени панславистом, чем славянофилом. Мы напрасно стали бы искать у него некоторых отличительных элементов социально-политической теории славянофилов, хотя бы их учения об общине. Наоборот, славянский вопрос, далеко не сразу вошедший в плоть и кровь славянофильства, всегда имел в глазах поэта первенствующее значение. Для того чтобы сделаться последовательным славянофилом, Тютчев, во-первых, был слишком европейцем, а во-вторых, ему недоставало той реальной почвы, тех непосредственных возбудителей, под влиянием коих складывалась типично помещичья идеология московских „славян“. Последние все же были практиками, поскольку в своих социально-политических и философских построениях исходили из враждебного чувства к фабричной трубе, заводившейся „без всякой нужды“, где не должно, и из страха перед призраками Разина и Пугачева. Ту же самую классовую тревогу Тютчев подсознательно ощущал сквозь общее сознание крушения „старой Европы“.

Обращение Тютчева к „патриархальному воздуху“ России вполне закономерно: оно подсказывалось острым классовым сознанием поэта. Сильно затронутый уже началами новой буржуазной культуры, той самой „разрушительной“ философии, на которую он потом ополчится, он в то же время ощущает себя на Западе „обломком старых поколений“, „с изнеможением в кости“ бредущим „за новым племенем“. Но не будучи в силах преодолеть классового сознания, он не мог оставаться и „полусонной тенью“. Вот почему Тютчев—дворянин и поэт—начинает все крепче и крепче сжимать руку, которую ему протягивает Тютчев—дипломат и политик.

Тютчев всегда гораздо больше интересовался вопросами внешней политики, чем внутренней. И тут дипломатическая карьера, какова бы она ни была, сыграла свою роль. По старинному английскому определению, дипломатический представитель — это „благонадежный муж, посылаемый в чужие края для сокрытия истины в видах пользы государства“. Оторванный от русской действительности Тютчев сам приучается смотреть на Россию как бы сквозь дипломатические очки.

В то время как запад вступал в полосу новых революций, Россия торжествовала Ункиар-Искелесским договором 1833 г. укрепление своих позиций на ближнем Востоке. Успехи русской восточной политики, несомненно оцениваемые Тютчевым-дипломатом в их истинном свете, рост национального самосознания южных и западных славян, руссофильские стремления некоторых вождей славянского движения, в частности лично знакомого с Тютчевым Вацлава Ганки, — все это не могло не оказать влияния на выработку тютчевского панславизма.

Мы знаем, что Тютчев умел разбираться в действительных целях русской ближневосточной политики. „Wir wollen nur existieren“ (мы только хотим существовать), сказал он однажды Фалльмерайеру, развивая перед ним свои взгляды на восточный вопрос. Но в своих стихах и беседах он предпочитал прикрывать реальные задачи русской дипломатии и русского оружия „Олеговым щитом“, извлеченным из сумрака псевдо-исто-

рических воспоминаний. Этот „Олегов щит", случалось, заслонял истину и в сознании самого поэта. Его панславизм был реакционной утопией, как насквозь утопично было и его представление о России. В силу долгого пребывания на чужбине Россия рисовалась ему как бы в оболочке отвлеченной политической формулы, им же самим выработанной под воздействием „гражданских бурь", потрясавших Запад. В отношении Запада Тютчев был гораздо более дальнозорок. Его утверждения о наступлении „революционной эры" в Европе обнаруживают большую чуткость и проницательность. Пусть и в своих позднейших статьях он смешивает под общим понятием революции (он пишет это слово с большой буквы) всякое движение против status quo, не делая различий между движением либерально-буржуазным, демократическим и революционно-социалистическим. Но общее сознание его не обмануло. Все в старой Европе было поставлено на карту. Недаром Энгельс в своей итоговой статье о революционном движении до 1848 г. обращался к буржуазии со следующими словами: „...продолжайте смело вашу борьбу, милостивые государи от капитала! Пока вы нам нужны; кое где мы нуждаемся даже в вашем господстве. На вашу долю выпадает задача убрать с нашего пути остатки средневековья и абсолютную монархию. Вы должны уничтожить патриархальный строй, должны осуществить централизацию, должны превратить все более или менее неимущие классы в настоящих пролетариев—наших будущих сторонников. При помощи ваших фабрик и торговых связей вы должны создать основу тех материальных средств, в которых пролетариат нуждается для своего освобождения".

IV

Кроме отмеченного в предыдущей главе влияния заграничной жизни на выработку политических взглядов Тютчева, дипломатический опыт имел для него и другое значение. На основании личных мюнхенских впечатлений 30-х годов Тютчев пришел к заключению, что Священный союз связывает только правительства, государей Германии с Россией, что со стороны печати, задающей тон общественному мнению, господствует „пламенное, слепое, неистовое, враждебное настроение" против России. Как чиновник царской миссии Тютчев прекрасно знал, что его непосредственному начальству то и дело приходилось жаловаться баварскому правительству на „скандальные вольности периодической печати в Баварии". С этой стороны заслуживает упоминания следующий факт. Если подавление польского восстания 1831 г., как уже было мною отмечено, значительно подорвало престиж России в глазах левой немецкой прессы, то Тютчев решительно отказывается видеть в варшавских событиях прямую связь с общеевропейской „революционной эрой" и (говоря словами Пушкина) вовсе не склонен судить об этом „домашнем, старом споре славян между собою" „по впечатлениям европейским". В то время как баварское правительство приветствовало русский двор с восстановлением „порядка" в Варшаве, царский посланник обращал внимание королевского министра иностранных дел на новые проявления „демагогического шарлатанства" прессы. В бумагах канцелярии министерства иностранных дел сохранился экземпляр мюнхенского юмористического журнала „Der deutsche Horizont" („Германский горизонт") от 16 сентября 1831 г., вышедший с траурной каймой и объявлением на титульном листе: „8 сентября русские вступили в Варшаву! 8 сентября в Берлине умерло от холеры 17 человек! Деспотизм победил; свобода кончилась! Горе! Горе! Горе!". Как бы ответом если не прямо на это заявление, то на подобные ему звучат тютчевские негодующе-националистические строки по адресу „клеветников России":

... прочь от нас венец бесславья,
Сплетенный рабскою рукой!
Не за коран самодержавья
Кровь русская лилась рекой!
. . . . . .
Другая мысль, другая вера
У русских билася в груди:
Грозой спасительной примера
Державы целость соблюсти,—
Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать
И весть на подвиг просвещенья
Единомысленных, как рать.

Конечно немецким публицистам мало было дела до этих русских стихов, даже не напечатанных в то время. Но несомненно, что Тютчев-дипломат не останавливался на этом и те же самые мысли развивал в своих устных беседах.

Что Тютчев долгое время не отчаивался насчет „политического такта" немецкой печати (а этот „политический такт" заключался, по его мнению, в таком же тесном „священном союзе" германской прессы с Россией, какой существовал между русским царем и немецкими государями), явствует из того, что в начале 40-х годов он предпринимает реальные попытки к привлечению на русскую сторону одного из видных немецких публицистов того времени Я. Ф. Фалльмерайера. Попытка эта относится к той поре, когда отставленный от службы Тютчев жил частным человеком снова в Мюнхене.

Автор нашумевшей в свое время теории о славянском происхождении новоэллинов не случайно обратил на себя внимание Тютчева. Славянское происхождение новоэллинов было удобным предлогом для обоснования завоевательных планов царизма на Востоке. По мнению Тютчева, заслугой Фалльмерайера было „введение в обращение идеи Восточной великой самостоятельной Европы в противовес Западной"[28].

Записывая свой разговор с Тютчевым по поводу одной статьи Фалльмерайера, последний занес в свой дневник от 12 марта 1842 г.: „г. Тютчев... проповедывал хвалы моему имени у сарматов; „на меня рассчитывают". Из конспективного изложения автора дневника вырисовываются вехи обстоятельного разговора, в котором Тютчев раскрыл перед Фалльмерайером свою точку зрения на восточный вопрос. „Европейский гнев, зависть к равному; однако все враждебные меры имели следствием только возвеличение и славу ненавистного соперника. „Мы только хотим существовать", Византия — свящ. город; патриарх и торговля; Киев — центральный пункт и сердце славянства; Балк — мать городов; зудит переместить столицу, славянская карта Шафарика; краинское ближе всего к русскому"[29].

Некоторые намеки в этой беглой записи остаются не вполне ясными. Зато к другим можно бы привести ряд параллелей из статей и писем Тютчева. В этом вряд ли представляется надобность. Знаменательно упоминание о славянской карте Шафарика. Эта карта славянского м и р а, приложенная к только что вышедшей книжке Шафарика „Slovansky Nàrodopis", пришлась по сердцу панславистам, и неудивительно, что Тютчев заговорил о ней. Весьма примечательно также, что среди мелькавших в беседе возвышенных понятий, как „мать городов", „сердце славянства", „священный город", проскользнула и такая многозначительная фраза, как „патриарх и т о р г о в л я".

В середине 1843 г. мы видим Тютчева в России: по свидетельству Аксакова он приезжал туда, чтобы „предварительно подготовить свое перемещение в Россию и устроить дело по службе.[30] Перед своим отъездом Тютчев имел свидание с шефом жандармов гр. А. Х. Бенкендорфом. „Он принадлежит к наиболее влиятельным, наивыше поставленным лицам в империи и по самому характеру своих должностей пользуется властью почти столь же неограниченною, как и власть самого повелителя", писал Тютчев жене 29 сентября.[31] „... Что мне было особенно приятно,— сообщал он тогда же родителям,— это прием, оказанный им моим мыслям касательно известного вам проекта, и поспешность, с которой он поддержал их перед государем, потому что на следующий же день, после того как я с ним об этом говорил, он воспользовался последним своим свиданием с государем, чтобы довести их до его сведения. Он уверил меня, что мои мысли были приняты довольно благосклонно, и есть повод надеяться, что им будет дан ход. Я просил его предоставить мне эту зиму на подготовление путей и обещал ему приехать к нему, сюда ли или куда бы то ни было, для принятия окончательных распоряжений. Впрочем не он один интересуется здесь вопросом, и я думаю, что момент для его возбуждения был благоприятен... Увидим"[32].

До недавнего времени письмо это представлялось загадкой для исследователей. Завесу, накинутую над этой страницей тютчевской биографии, срывает одна запись в дневнике Фалльмерайера. 11 октября он виделся в Мюнхене с только что вернувшимся Тютчевым и в тот же день записал: „Вечером чай у Тютчева; продолжительный секретный разговор и формальные предложения защищать пером** дело на Западе т. е. выдвигать правильную постановку восточного вопроса в противовес Западу, как и до сих пор, не насилуя своего убеждения; Бенкендорф решит в следующем году дальнейшее"[33].

Мы не знаем, что ответил Тютчеву Фалльмерайер, но несомненно одно: „проект" Тютчева получил и не мог не получить осечки. „Политический такт" предостерег Фалльмерайера от закинутой ему удочки. Мог ли этот истый немецкий националист приняться за славянскую пропаганду, не дав тем самым оружия в руки славянских племен, населявших германские государства? В предисловии к вышедшим в 1845 г. „Fragmente aus dem Orient", озаглавленном „Что фрагментист думает о современном положении Германии, в особенности же о революции, о церковниках и о русских", Фалльмерайер раскрыл свои карты. Ему нельзя отказать в значительной доле проницательности. „Лишить турок собственности и втянуть эстетически-восприимчивые немецкие племена в западню,— пишет он,— составляет душу и жизнь россійства... Нашими естественными врагами и нашими ядовитейшими противниками и клеветниками являются во всяком случае русские". И словно намекая на те мистические и исторические формулы, которые выдвигались нашими славянофилами и панславистами для обоснования русских прав на византийское наследство, Фалльмерайер утверждает, что религия и наука в России находятся на службе у „мирового авторитета императора-первосвященника"[34]. Обращаясь к Фалльмерайеру, Тютчев не учел одного: ученый ориенталист мог пустить в обращение идею, вернее понятие о самостоятельной Восточной Европе, но поддерживать русские интересы не входило в расчеты немецкого публициста.

Испытав неудачу в своих переговорах с Фалльмерайером, Тютчев сам поднимается на „первую германскую политическую трибуну" и со страниц аугсбургской „Allgemeine Zeitung" обращается к немецкому общественному мнению с речью „о России и Германии". Он предупреждает

при этом своих слушателей, что выступает не как официальный и официозный публицист, а как человек, „совершенно независимый по своему положению", „русский сердцем и душою, глубоко преданный своей земле, в мире со своим правительством". В задачи настоящей статьи не входит исчерпывающий пересказ политических статей Тютчева; это завлекло бы нас слишком далеко за пределы данной темы. Суть „России и Германии" — или, как названа эта статья в отдельном издании, „Письма к г-ну доктору Густаву Кольбу, редактору Всеобщей Газеты", — сводится к определению „истинной, законной, естественной политики Германии", и такая политика, по мнению Тютчева, заключается в верности Германии союзу с Россией. Германия обязана царской России своим освобождением из-под французского господства и „лучшими" годами своей истории. Никогда Германия „не сознавала себя столь единою, столь самостоятельною", как при своем современном федеративном устройстве — иными словами в ту пору, когда спаянная призрачной формой Германского союза, Германия, по словам Маркса, „целые десятилетия беспомощно лежала у ног царя". Говоря о том, что целью своей статьи он ставит прежде всего Германию и „ее существенные, самые очевидные интересы", Тютчев в то же время останавливается и на России.

В „противовес" Европе Западной он выдвигает Европу Восточную, где Россия во все времена служила душою и двигательною силой..." Самые выражения, в которых Тютчев отзывается о России, свидетельствуют о глубоком сродстве Тютчева с его русскими единомышленниками. Восточная Европа (читай: Россия) — это „целый мир", единый по своему началу, солидарный в своих частях, живущий своею собственною органическою самобытною жизнью. Широко развернутая перед несочувственным взором Фалльмерайера славянская карта Шафарика оказала Тютчеву существенное подспорье при выработке его панславистских планов. Восточный вопрос считается „неразрешимым" только потому, что „неизбежное разрешение" его уже давно предопределено. „...Остается только узнать, обретет ли Восточная Европа, уже на три четверти сложившаяся, эта истинная империя Востока, для которой первая империя византийских кесарей, древних православных императоров, служила лишь слабым и неполным предначертанием, обретет или нет Восточная Европа свое последнее самое существенное дополнение, и получит ли она его путем собственного хода событий, или будет вынуждена добывать его силою оружия, подвергая мир величайшим бедствиям..."[35]

Статья Тютчева вызвала неодобрение в прогрессивно настроенной части русского общества. „Не об истории Византии и ее наследии следует помышлять русским — писал например декабрист Н. И. Тургенев, — а о голоде и холоде, палках и кнуте, одним словом о рабстве и его уничтожении"[36]. Тютчев как бы предвидит подобные возражения: „Несовершенства нашего общественного строя, недостатки нашей администрации, положение наших низших классов" — все это так. Но „в конце концов мы не одни на белом свете". И Тютчев предлагает „взглянуть например на Англию, на ее фабричное население", на Ирландию, и „на правдивых весах" дворянского публициста и дипломата „бедственные последствия английского просвещения" (иначе сказать — промышленного переворота) перетягивают „бедственные последствия русского варварства".

Сам Тютчев когда-то отозвался о России в стиле Кюстина: „в России — канцелярия и казарма, все движется вокруг кнута и чина". Теперь он отделывается в сущности отговоркой, забывая при этом французскую пословицу: comparaison n'est pas raison. Но ведь он все же был дипломатом...

Ф. И. ТЮТЧЕВ
Карикатура И. А. Всеволожского
Музей им. Тютчева, Мураново

Интересно отметить, что статья Тютчева дошла до Николая I. Тютчев узнал потом, что император „полюбопытствовал узнать, кто был ее автором", и „заявил, что нашел в ней все свои мысли"[37]. В 1845 г. Тютчев снова зачисляется в ведомство министерства иностранных дел.

V

Тютчев покинул Германию как раз в то время, когда „призрак коммунизма бродил по Европе" и „палач стоял у порога" старого мира. До 1848 г. оставалось лишь несколько лет.

„1848 г. подобен землетрясению, которое конечно не все поколебленные им здания превратило в развалины, но зато те, которые устояли, дали такие трещины, что ежеминутно грозят падением",— так оценивал Тютчев революционные события сорок восьмого года[38].

Обычно тогдашние высказывания Тютчева на политические темы рассматривались изолированно от одновременных высказываний других представителей одного с ним круга. Между тем совпадения не исчерпываются разительным примером, указанным Д. Д. Благим[39]: литературная зависимость „Моря и утеса" от стихотворения Жуковского „Русскому великану" свидетельствует не только о желании поэта заменить антихудожественно-обнаженную аллегорию художественно-обобщенными символами, но и о глубокой и конечно далеко не случайной общности политического мироощущения. Если искать еще более выразительных доказательств подобных совпадений, то за примерами итти не далеко. Возьмем статью Тютчева „Россия и Революция". Нарисовав картину всеобщего водоворота, в который вовлечена Западная Европа, картину,

обличающую руку мастера, невольно захваченного величием развертывающегося перед ним зрелища, он в то же время ни на минуту не упускает из виду основной политической цели своей статьи. „И когда над этим громадным крушением,—заканчивает Тютчев,— мы видим всплывающею святым ковчегом эту империю еще более громадную, то кто дерзнет сомневаться в ее призвании и нам ли, сынам ее, являть себя неверующими и малодушными?" Это написано в апреле 1848 г. Тютчев конечно не мог знать, что 17 февраля того же года, под живым впечатлением парижских событий, Жуковский писал своему воспитаннику — наследнику престола: „Более, нежели когда либо, утверждается в душе моей мысль, что Россия посреди этого потопа (и кто знает, как высоко подымутся волны его) есть ковчег спасения, и что она будет им не для себя одной, но и для других, если только посреди этой бездны поплывет самобытно, не бросаясь в ее водоворот, на твердом корабле своем, держа его руль и не давая волнам собою властвовать"[40].

Под напором нахлынувших на Тютчева впечатлений окончательно складывается панславистская утопия поэта. Он снова берется за перо публициста, обдумывая большой труд на тему о „России и Западе". Две французские статьи Тютчева, написанные в 1848—1849 гг.,—„Россия и Революция" и „Римский вопрос" — представляют отдельные главы этого неосуществленного труда. За исключением этих двух глав до нас дошли в переводе Аксакова лишь отрывочные конспективные наброски „России и Запада". При внешнем блеске изложения — перед нами фантастически-грандиозное здание, воздвигнутое на песке. Но зато оно и распалось на глазах самого поэта.

В сущности конечный вывод „России и Запада" сформулирован в следующей заметке Тютчева, найденной мною в бумагах Остафьевского архива Вяземских. Заметка эта, датированная 12 сентября 1849 г., показывает, как мало прозорлив был в своих взглядах на Россию этот „московский Исаия": „В том положении, которого мы достигли, можно, не слишком предаваясь догадкам, предвидеть в будущем два великих провиденциальных факта, которым предлежит в положенное время заключить на Западе революционное междуцарствие трех последних столетий и открыть в Европе новую эру. Эти два факта суть: 1) окончательное образование великой православной империи, законной империи Востока, одним словом — России будущего, осуществленное поглощением Австрии и возвращением Константинополя, 2) соединение двух церквей — восточной и западной. Эти два факта, по правде сказать, составляют один, который вкратце сводится к следующему: православный император в Константинополе, повелитель и покровитель Италии и Рима; православный папа в Риме, подданный императора"[41]. Тютчев указывал даже определенные сроки для исполнения этих двух „провиденциальных" фактов, по крайней мере первого из них. Он твердит об этом в своих стихах, ополчается на вялую, по его мнению, внешнюю политику русского кабинета и задорно обращается к „беспримерному трусу" Нессельроде со словами:

Венца и скиптра Византии
Вам не удастся нас лишить!

В 1853 г., по горькой иронии истории в тот самый год, в который исполнилась четырехсотлетняя годовщина падения Византийской империи, „ключи вифлеемского храма отперли сорок лет запертый храм бога войны" (М. Н. Покровский). С помощью этих ключей Россия рас-

считывала проникнуть в дом „бедного больного человека", как называл Турцию Николай I, и уморить его разделом его имущества.

Восточная война окрыляет Тютчева надеждами. Россия вступает наконец в поединок с целым Западом, и новый мир — великая Греко-российская Восточная империя — возникнет в результате этой „борьбы не на живот, а на смерть". На первых порах Тютчев смотрит на завязавшуюся схватку как нельзя более оптимистично: „...если бы Запад был е д и н, мы — я полагаю — погибли бы. Но их д в а: Красный и тот, который должен им быть поглощен. Мы оспаривали его у него в продолжение сорока лет — и вот мы на краю бездны. И теперь Красный в в свою очередь спасет нас"[42]. Если бы Тютчев читал „New-York Daily Tribune", то он увидел бы, как ошибочны были его прозрения. В передовых статьях этой газеты Маркс и Энгельс давали поразительный по глубине и тонкости анализ царской внешней политики. „На европейском континенте существуют фактически только две силы: Россия со своим абсолютизмом и революция с демократией", читаем мы например в передовой статье от 12 апреля 1853 г. Русская восточная политика поэтому оценивается Марксом и Энгельсом прежде всего с точки зрения отношения России к европейскому революционному движению. „Если Россия овладеет Турцией, ее силы увеличатся почти вдвое и она окажется вдвое сильнее всей остальной Европы вместе взятой. Такой исход дела явился бы неописуемым несчастьем для дела революции"[43].

Тютчевские упования на „Красного", как видим, были лишены оснований. „Красный" мог лишь стать поперек дороги царской России к осуществлению ее „провиденциальной" миссии.

Крымская кампания не только не дала России „право выхода из своего внутреннего двора во внешний мир" (Н. Я. Данилевский), но надолго заперла ее в этом внутреннем дворе, связав ее при этом крепко накрепко Парижским трактатом.

Тютчев, встретивший войну программными письмами на тему о Греко-российской Восточной империи, очень скоро принужден был взглянуть прямо в глаза действительности. Конечно многое, ставшее теперь достоянием истории (например факты полнейшей несостоятельности высшего военного командования, наряду с дезорганизацией самой армии, приводимые М. Н. Покровским в его статьях о русской внешней политике), доходило до обывателей лишь в виде слухов, зачастую намеренно смягченных. Но нет дыма без огня. Сильно преувеличивая значение дипломатической кухни и сваливая львиную долю ответственности на министерство иностранных дел, Тютчев все же сразу воспринял поражение России, как неизбежное следствие всей николаевской системы. Еще так недавно отстаивавший эту систему перед иностранцами, дававший ей идеологическое обоснование, он испытывает теперь ощущения человека, запертого в карете, которая „катится по все более и более наклонной плоскости", и вдруг замечающего, что „на козлах нет кучера".[44] Тот же, кого до тех пор он считал таким надежным кучером, представляется ему ныне „злополучным человеком", человеком „чудовищной тупости". Правда, когда на похоронах умершего императора появился представитель Австрии только что, „удивившей мир своей неблагодарностью", Тютчев в гневных стихах призывал чуть ли не к открытому разрыву с „австрийским Иудой". Но одновременно он же похоронил и „священную тень" под могильной плитой эпиграммы:

Не богу ты служил и не России —
Служил лишь суете своей.
И все дела твои и добрые и злые —

Все было ложь в тебе, все призраки пустые.
Ты был не царь, а лицедей!

Поражение России кажется теперь Тютчеву не только понятным, но и вполне закономерным. Осенью 1855 г. он пишет жене: „В конце концов это только справедливо и было бы даже неестественно, чтобы тридцатилетний режим глупости, развращенности и злоупотреблений мог привести к успехам и славе“[45].

Эволюция, проделанная Тютчевым в его взглядах на русскую политику, весьма знаменательна. „Ото всей России — войне сочувствие... Крестовый поход!“, восхищается Шевырев под впечатлением флигель-адъютантских донесений о „дивных и единодушных наборах“[46]. А Погодин, подобно Тютчеву, мечтает о славянском, дунайском или юго-восточном европейском союзе под главенством России, со столицей в Константинополе. Но война затягивается. Вместо мерещившихся русскому помещику внешних рынков сокращается главный источник помещичьего существования — хлебный вывоз; в черноземных губерниях стремительно падают цены на пшеницу. Связь военных неудач с упорно отстаиваемой правительством политической системой делается все очевиднее. А. И. Кошелев писал впоследствии в своих „Записках“: „Мы были убеждены, что даже поражение России сноснее и даже для нее и полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время[47]. Тютчев, как мы уже видели, смотрит на дело с точки зрения „высшей справедливости“: люди более практичные, чем он, искали пользу. В чем же в глазах Кошелева и ему подобных могла состоять польза такого поражения? Прежде всего в перемене общего направления политики в либерально-буржуазном духе. Даже Погодин писал в это время: „нельзя жить в Европе и не участвовать в общем ее движении, не следить за ее изобретениями, открытиями физическими, химическими, механическими, финансовыми, административными, житейскими“[48]. А это означало перевод России на рельсы буржуазного развития.

Севастопольская катастрофа и Парижский мир наносят жестокий удар всем *политическим построениям* Тютчева. „Еще не все быть может пропало, но все было испорчено, замарано и надолго скомпрометировано“ — вот какое заключение выносит Тютчев-панславист из опыта Крымской кампании[49]. И хотя толки о великой Греко-российской Восточной империи с этих пор исчезают со страниц тютчевских писем, было бы большой ошибкой утверждать, что Тютчев бросил славянофильское знамя. Он и в дальнейшем продолжал его поддерживать, но по справедливому замечанию Д. Д. Благого — как бы по „инерции“. Оставаясь в своих стихах попрежнему „одним из самых ярких агитаторов славянофильства“,[50] он не без иронии отзовется в частном письме о „неудавшемся императоре Востока“[51], а в другой раз уклонится от участия „в каком-то славянском обеде“, „чтобы избавить себя от скуки слышать столь бесполезное и даже смешное пережевывание „общих мест“, которые стали для него „тем более тошнотворными“, что он сам им содействовал[52].

Под влиянием севастопольского поражения тютчевское славянофильство претерпевает характерные видоизменения, общие большинству его политических единомышленников. Пока существовал Парижский трактат, пока Россия была лишена военного флота, где уж тут было говорить о Константинополе! На смену политическому объединению славянских племен была выдвинута в качестве более непосредственной задачи проблема духовного объединения славян. Лишь на рубеже 60-х и 70-х годов идеолог позднего славянофильства Н. Я. Данилевский признает

взгляд этих „истинных и искренних друзей славянства" „совершенно непрактичным". По его мнению, „духовное единство есть главное, существенное, высшее, политическое же объединение сравнительно низшее", и начинать нужно с „фундамента"[53].

Очень вероятно, что в глубине души и предшественники Данилевского непрочь были бы начать с фундамента, но вынуждены были приспособить свою теорию к условиям действительности. При всем пережитом им разочаровании Тютчев никогда не упускал из виду конечных целей русской восточной политики и смотрел на перемену внешнеполитического направления лишь как на „временную приостановку и подготовку", вызванную обстоятельствами момента. Позднее, в начале 70-х годов, в минуты оптимизма, он склонялся к тому, что такая политика „не может продолжаться долго, ибо Россия, при своем внутреннем росте, неизбежно разорвет свою внешнюю политику, как слишком узкую одежду, и власть, стоящая во главе ее, принуждена будет принять программу иную, чем otium cum dignate (полный достоинства досуг) Цицерона"[54]. Но во второй половине 50-х годов об этом не могло быть и речи...

VI

В связи с исходом Крымской кампании склад политического мышления Тютчева теряет прежнюю цельность. Его „век" в сущности минул с последними выстрелами Севастополя. С этих пор он только *примиряется* с действительностью. Русская пассивная политика в отношении славян была ему не по нутру. В письмах, носивших характер его profession de foi, он старался уверить себя и других, что Россия „лучше всего соблюдает интересы славянства" своим невмешательством в славянские дела. „Наш договор по отношению к ним (славянам. — *К. П.*) слегка напоминает тот, который господь бог заключил с дьяволом по поводу своего верного друга и раба Иова. Он дал ему право мучить его и всячески досаждать ему, но с условием не посягать на его душу, на его жизнь"[55]. Это было конечно только самоутешением для поэта. В письмах к жене, не рассчитанных на прочтение в московских, петербургских, а иногда и заграничных гостиных, он бывал более откровенен. Так он писал ей однажды, имея в виду правительственные круги: „...я примиряюсь с нашим вынужденным бездействием в настоящую минуту, ибо их действительное бессилие составляет нашу единственную гарантию против бедственных последствий их ума".[56]

Тютчев вообще был невысокого мнения об их умственных способностях. Отправляясь присягать Александру II, он находил, что для них было бы гораздо полезнее, если бы он мог „одолжить им хоть немного ума".[57]

Вся дальнейшая общественно-политическая деятельность Тютчева и была направлена на то, чтобы „одолжить" хоть частицу своего ума и ума своих единомышленников лицам, стоявшим у кормила. Учесть *опыт Крымской войны и предотвратить в будущем возможность второго* Севастополя — вот какие задачи преследовал при этом Тютчев. Проблемы внешней политики в частых случаях являлись для него непосредственным поводом к подобным попыткам.

Тютчеву пришлось теперь действовать не на официальном дипломатическом поприще. Его главной квартирой становится теперь кабинет нового министра иностранных дел кн. А. М. Горчакова. К концу 50-х годов между Тютчевым и Горчаковым завязываются довольно близкие отношения.

В приложении к настоящему очерку помещаются все дошедшие до нас письма Тютчева к нему. Этим письмам можно верить только наполовину. Недаром сам поэт, рассказывая о своем письме к Горчакову по поводу известных дипломатических нот 1863 г., признавался жене: „На сей раз я ему говорил только правду." Значит он сам прекрасно знал цену своим письмам к министру, вернее знал цену этому последнему. Лучше всего характеризуют Горчакова его собственные слова, сказанные Бисмарку: „Si je me retire, je ne veux pas m'éteindre comme une lampe, qui file, je veux me coucher, comme un astre" (если я выйду в отставку, я не хочу угаснуть как лампа, которая меркнет, я хочу закатиться, как светило.) Отдавая себе полный отчет в „невероятной пустоте" Горчакова, Тютчев сознательно пронизывает свои письма и записочки к нему самой откровенной, чисто вольтеровской лестью. Играя на слабых струнах своего сановного „друга" (эта „дружба" не может быть принята без оговорок), Тютчев не упускал случая влиять на него в желательном для славянофилов духе, к чему сам Горчаков подавал повод своей склонностью разыгрывать роль „народного" министра.

Для уяснения всего дальнейшего большое значение представляет последняя по времени французская политическая статья Тютчева — „Письмо о цензуре в России," адресованное в 1857 г. тому же Горчакову. В этой полуофициальной, получастной записке, оглядываясь на недавнее прошлое, Тютчев между прочим говорил: „... нам было жестоко доказано, что нельзя налагать на умы безусловное и слишком продолжительное стеснение и гнет без существенного вреда для всего общественного организма... Даже сама власть с течением времени не может уклониться от неудобств подобной системы. Вокруг той сферы, где она присутствует, образуется пустыня и громадная умственная пустота, и правительственная мысль, не встречая извне ни контроля, ни указания, ни малейшей точки опоры, кончает тем, что приходит в смущение и изнемогает под собственным бременем еще прежде, чем бы ей суждено пасть под ударами злополучных событий". Охарактеризовав вкратце настоящее положение и настроение печати, Тютчев определяет цензуру как „предел," а не как „руководство"; по его мнению вся суть дела заключается как раз в обратном — в направлении, а не в подавлении печати. Правительству следовало бы пересмотреть свои отношения к последней, дабы вновь не лишиться в черный день всякой моральной поддержки со стороны общества. Тютчев при этом ссылается на пример Германии, где те самые правительства, которые до 1848 г. смотрели на печать „как на неизбежное зло", которому они — ненавидя его — покорялись," теперь „стали искать в ней вспомогательную силу и употреблять ее как орудие, приспособленное к их требованиям".

Роль посредника между печатью и правительством, которую принимает на себя Тютчев, подсказывалась официальным положением поэта, как известно, служившего в цензурном ведомстве.

Постараемся на основании нескольких ярких фактов показать Тютчева в его новой роли.

Вопросу о взаимоотношениях правительства и печати посвящена значительная часть письма Тютчева к Горчакову от 21 апреля 1859 г. В этом письме он выдвигает в качестве „твердой точки опоры" для царя и его министра „просвещенное национальное мнение" печати, противопоставляя его „антинациональным" стремлениям придворно-бюрократических кругов. Это — единственное в его глазах противодействие против тлетворного влияния последних. И знаменательно, что Тютчев кончает свое письмо словами: „Я еду, князь, на три или на четыре дня в Москву. Я увижу кое-кого из этих господ... Что хотите, чтобы я им

передал?“ Из этих слов совершенно очевидно, что под „великим мнением“, выразителем „общественного сознания“, Тютчев разумел ни что иное, как славянофильские и националистические круги Москвы. Имеются сведения о свидании Тютчева в это время с редакторами “Русского Вестника“ М. Н. Катковым и П. М. Леонтьевым. Правда, ни со стороны Тютчева, ни со стороны других славянофилов полного единомыслия с издателем „Московских Ведомостей“ не было. Во многом они существенным образом расходились, и в 1865 г. Катков даже утверждал, что „эпигоны славянофильства,“ славянофилы „Дня,“ гораздо более сходствуют с некоторыми петербургскими кружками, всего же более с петербургским „Голосом“[58]. Последний при всей умеренности его либерализма пользовался резко выраженной антипатией Каткова. Однако в вопросах внешней политики славянофилы близко соприкасались с Катковым и этого было достаточно, чтобы Тютчев считал необходимым всячески поддерживать последнего. Вот почему в 1866 г., когда „Московские Ведомости“ вступили в кратковременный конфликт с министерством внутренних дел, Тютчев усиленно ратовал за этот „единственный оплот консервативного и национального мнения“.

Мы не знаем, дал ли Горчаков Тютчеву какое-либо поручение в Москву во время его приезда туда в 1859 г., но зато он воспользовался его добровольным посредничеством несколько лет спустя, в эпоху так называемого „дипломатического похода“ 1863 г. в связи с польским восстанием.

Непосредственным поводом к „дипломатическому походу“ послужило оглашение русско-прусской военной конвенции, заключенной 27 января 1863 г. Каждая из подписавших ее сторон обязалась по первому требова-

А. М. ГОРЧАКОВ
С фотографии, принадлежавшей Ф. И. Тютчеву
Музей им. Тютчева, Мураново

нию другой перевести через границу свои военные силы и, в случае надобности, преследовать на чужой территории польских инсургентов". „Вопрос о том, как отнесется Россия к польскому восстанию, — писал Бисмарк в своих „Gedanken und Erinnerungen"' — имел первостепенное значение для будущего Пруссии как германской державы. Доброжелательное по отношению к Польше направление русской политики могло привести к сближению России с Францией, а доброжелательный Польше франко-русский союз... поставил бы тогдашнее прусское правительство в весьма затруднительное положение".

Январская, так называемая Альвенслебенская конвенция явилась признаком нового направления в русской политике: „польское", „антинемецкое" (по словам Бисмарка) начало сменялось традиционным „антипольским". И в недалеком будущем этой прусской политике, корни которой тянулись к хлебным полям России, суждено было стяжать себе славу „народной политики."

Известие о заключенной конвенции вызвало тревогу на Западе. 18 февраля 1863 г. М. Ф. Тютчева занесла в свою памятную книжку: "Папа вернулся с известием, полученным вчера поздно вечером, что Франция Англия и Австрия *собираются нам приказать восстановить* Польшу. Громовой удар".[59] Вести эти явились отголоском предложения, с которым обратился Наполеон III к Англии и Австрии, — протестовать против международного акта, обращающего частный польский вопрос в вопрос общеевропейский.

Тютчев чуть ли не с первых слухов о затеваемой коалиции жил в беспрестанных тревогах, в постоянном ожидании войны. 17 марта, под впечатлением его мрачных предчувствий, дочь поэта записывает в своей памятной книжке: „Папа все более и более предвидит войну и нашу погибель"[60]. Как не похоже это на настроения Тютчева эпохи зарождения Крымской войны!

Опасения Тютчева возросли еще больше в связи с получением июньских депеш, в которых Англия, Австрия и Франция настаивали на передаче польского вопроса на суд восьми держав — участниц Венского конгресса. Иностранное посредничество между русским правительством и его „мятежными" подданными — поляками — было встречено как прямое вмешательство во внутренние дела России. В националистических кругах с тревожным напряжением ожидали ответных нот русского министерства. Центром „патриотического" возбуждения была Москва — и там-то „между Катковым и И. Аксаковым" прожил Тютчев около двух месяцев, исполняя своего рода негласную „миссию".

7 июня, еще до своего отъезда в Москву, Тютчев обедал у Горчакова в Царском Селе. „Я предполагал насытиться новостями, но не тут-то было, — писал он на другой день жене в Орловскую губернию. — Ноты еще не получены. Их ожидают послезавтра. Здесь повидимому успокоились, по крайней мере на этот год, но это успокоение происходит, как всегда, конечно от умственной немощи, которая служит основой всего в наших правительственных кругах"[61]. „Ноты прибыли 11-го числа, — сообщал он ей же 20 июня, уже из Москвы. — В данную минуту ответ должно быть уже составлен или почти составлен. Он будет отрицательным, *хотя, как я полагаю, и не исключающим возможности продлить* еще некоторое время это приятное собеседование. Захотят ли они его продолжать — это другой вопрос"[62].

Тютчев, со своей стороны, вовсе не разделял „успокоения" правительственных сфер (см. в приложении его письмо по этому поводу к старшей дочери Анне — жившей при дворе). Несмотря на уверения „милейшего князя", он далеко не был убежден в „непоколебимой решимо-

сти" русского правительства ответить категорическим отказом на притязания держав. А тут еще, почти накануне того дня, когда Тютчев прочел долгожданные депеши, он получил письмо от дочери из Царского, дышавшее негодованием и предвещавшее чуть ли не согласие России на предъявленные требования. „Отец твой в отчаянии от антипатриотического настроения Петербурга", сообщает 7 июля сестра поэта, Д. И. Сушкова, своей племяннице Е. Ф. Тютчевой[63]. На самом деле ответные депеши уже несколько дней как были отправлены русским дипломатическим представителям в Лондоне, Париже и Вене, но содержание их еще оставалось неизвестным в России. Е. М. Феоктистов рассказывает в своих воспоминаниях о „забавном положении", в котором очутилось министерство иностранных дел в тот самый момент, когда нужно было обнародовать знаменитые депеши. Оно вполне оправдало шутливое прозвище „иностранного министерства русских дел", данное ему Катковым. Среди дипломатов и чиновников горчаковской школы не нашлось никого, кто бы мог как следует перевести их на русский язык. Прибегли к помощи Феоктистова, который и выручил министерство из беды[64].

10 июля в Москве прочли депеши. Тютчев остался вполне удовлетворен „достоинством и твердостью", с которыми они были написаны; по его мнению, трем державам не оставалось иного выбора, „как постыдное отступление или война"[65]. Но и на сей раз Тютчев оказался плохим угадчиком предстоявших событий.

На другой день поэт послал к Горчакову письмо, в котором он говорил ему „только правду"[66]. Но как бы ни искренен был поэт, принимая за мнение всей „страны" пересуды, слышанные им на Тверском бульваре, и с удовлетворением отмечая единодушное сочувствие к Горчакову с а м о г о Английского клуба, — письмо его словно нарочно было рассчитано на то, чтобы раздразнить „непомерное тщеславие"[67] министра. К сожалению ответное письмо Горчакова не сохранилось; а в то время списки с него ходили по городу[68]. И конечно далеко не случайно, что в этом письме к Тютчеву заключались „добрые и любезные слова" по адресу Каткова. Последний был для Горчакова той самой „твердой точкой опоры", на которую несколько лет назад ему указывал Тютчев.

В Москве, благодаря своим дружеским отношениям с редакцией „Московских Ведомостей", Тютчев постоянно находился у самого „источника новостей". Язвительный Феоктистов, отмечая огромную популярность Горчакова в это время среди господствующих классов, утверждает, что „самым главным ее виновником был Катков". Он, по мнению мемуариста, „создал репутацию князя Горчакова". Влияние „Московских Ведомостей" в правительственных и реакционных общественных кругах в эпоху „дипломатического похода" было действительно громадно, и зная, насколько склонен был Горчаков к боязливым колебаниям, насколько каждый решительный шаг повергал его „в содрогание от воображаемых им опасностей", начинаешь принимать всерьез слова русского посла в Париже бар. Будберга, что в эти тревожные дни, получая корреспонденцию из России, он первым долгом раскрывал „Московские Ведомости", а потом уже правительственные сообщения, так как „всегда предпочитал оригинал копии"[69].

Официальные историки писали в свое время об „общем одушевлении, вызванном событиями в Польше", о тесном „единении всех русских людей с верховной властью". Сам Горчаков говорил об этом в своей исторической — по мнению Тютчева — речи на обеде в петербургском Английском клубе. На самом же деле это „всеобщее одушевление" не распространялось за пределы поклонников „Московских Ведомостей" и

аналогичных ему органов общественного мнения. Следствия „народной" политики Горчакова не замедлили сказаться очень скоро. Поворот к русско-прусскому союзу тотчас же возродил завоевательные замыслы России. И если для некоторых дон-Кихотов славянофильства воображаемый крест на святой Софии субъективно мог казаться символом „духовного единения" славянства, то для представителей русского землевладения и капитала он осенял просто-напросто вожделенные внешние рынки. В конечном счете и „искренние друзья славянства" обслуживали своей пропагандой именно эти интересы.

Весьма знаменательно, что через каких-нибудь шесть лет Данилевский выступит с новым обоснованием русских прав на Константинополь, на этот „res nullius" (предмет никому не принадлежащий), при чем станет обосновывать эти права прежде всего с точки зрения „поистине неоценимых и неисчислимых" стратегических выгод. Перечислив все материальные доводы в пользу овладения Россией Константинополем, автор касается и „нравственной" стороны дела и патетически восклицает: „Каким дух занимающим восторгом наполнило бы наши сердца сияние нами воздвигнутого креста на куполе святой Софии!"[70]

Но имея конечной целью своей восточной политики захват Константинополя и проливов, в 60-е годы России пришлось действовать в обход, т. е. возобновить прерванное военное продвижение в Среднюю Азию.

Тютчев принял деятельное участие в публичном изъявлении сочувствия политике Горчакова. „Что касается папà, — писала 14 июля 1863 г. сестра поэта своей племяннице Е. Ф. Тютчевой,—то он... занят успехами Каткова и князя Горчакова; вчера он с торжеством объявил мне, что городская дума собирается дать обед на 2000 человек в честь князя Горчакова и что по этому случаю послали просить Тучкова (московского генерал-губернатора.—*К. П.*) исходатайствовать разрешение на это в высших кругах. Тучков по всей вероятности отклонил эту просьбу. Он против манифестаций. Это был бы митинг"[71].

Действительно банкет не был разрешен, и Тютчев с нескрываемой досадой рассказывал об этом в письме к жене: „Итак, все та же старая песня... Сгоряча я написал несколько слов в Царское (дочери Анне.— *К. П.*) и очень бы желал, чтобы они были перехвачены теми, к кому они в сущности относятся"[72].

Тютчев вернулся в Петербург в первой половине августа и на следующий же день отправился обедать к Горчакову; у него он прочел иностранные ответы на депеши русского вице-канцлера. „Им недостает остроты и они выражают лишь досаду и разочарование", так оценивал Тютчев новые иностранные ноты. Непосредственно от Горчакова поэт имел случай узнать, что „ответ на них будет... учтив и, не вдаваясь в полемику — отныне как бы исчерпанную, будет ссылаться на данные ранее объяснения"[73].

В сущности полемика действительно в это время могла считаться исчерпанной. Планы „великого фокусника (le grand prestigitateur[74]) разлетелись впрах — не от „филигранной риторики горчаковских нот" (как отозвался о них Герцен[75]), а от боязливой нерешительности Австрии.

В истории русского общественного движения в связи со столь нашумевшим „дипломатическим походом" 1863 г. Тютчев занимает весьма заметное и вполне определенное место. Он был более прав, чем это может показаться сначала, когда при своем отъезде из Москвы писал следующие, чуть-чуть шутливые строки жене: „Здесь я жил в самом центре московской прессы, между Катковым и Аксаковым, служа чем-то вроде официозного посредника между печатью и министерством ино-

странных дел. В сущности я могу смотреть на свое пребывание в Москве, как на миссию не более бесполезную, чем многие другие" [76]. Невольно припоминается при этом первое известное нам письмо Тютчева к Горчакову. Еще тогда, говоря о взаимоотношениях печати и правительства, Тютчев настаивал на том, чтобы в глазах последнего „великое мнение"— „выражение общественного сознания" — сделалось единственно твердой точкой опоры по вопросам внешней политики. „...Нужно разрешить ему высказываться и даже вызывать его на это", твердит Тютчев, тем самым явно подстрекая Горчакова последовать его совету. Вот почему в дни „дипломатического похода" Тютчев более чем кто бы то ни было мог чувствовать себя в роли посредника между правой печатью и правительством. Завершением этой тоже своего рода дипломатической кампании было свидание Горчакова с Катковым в октябре 1863 г. Тютчев при этом был „вожаком" Каткова в приемной вице-канцлера.

В связи со всем вышеизложенным понятна становится высокая оценка, данная Тютчевым Горчакову по случаю пятидесятилетия его государственной службы.

В те дни кроваво-роковые,
Когда, прервав борьбу свою,
В ножны вложила меч Россия —
Свой меч, иззубренный в бою —

Он волей призван был верховной
Стоять на страже — и он стал,
И бой упорный, бой неровный
Один с Европой продолжал.

И вот двенадцать лет уж длится
Чудесный поединок тот.
Иноплеменный мир дивится,
Но Русь легко его поймет.

Он первый угадал в чем дело,
И им впервые Русский дух
Союзной силой признан смело —
И вот венец его заслуг [77].

VII

Под влиянием „дипломатического похода" окончательно складывается точка зрения Тютчева на взаимоотношения России и Запада, с наибольшей яркостью выраженная им в неизданном письме к дочери Анне. Привожу в переводе интересующий нас отрывок: „Я конечно не принадлежу к тем, кто в своем мрачном патриотизме хотел бы обречь Россию на систематическое одиночество, обособить и уединить ее на веки. Я допускаю сближения, но с тем, чтобы они были лишь *случайными* и чтобы соглашаясь на них, ни на многовение не забывалась та истина-догмат, что между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов, что не существует на Западе ни одного интереса, ни одного стремления, которые бы не злоумышляли против России, в особенности против ее будущности, и которые бы не старались повредить ей. И вот почему единственная *естественная* политика России по отношению к западным державам это — не *союз* с той или иной из этих держав, а *разъединение*, разделение их. Ибо они, только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждеб-

ными — по бессилию, разумеется, никогда — по убеждению. Эта суровая истина быть может покоробит чувствительные души, но в конце концов ведь это закон нашего бытия как п л е м е н и как и м п е р и и, и есть лишь один способ устранить его, это — перестать быть русскими"[78].

Эти строки писаны 26 июня 1864 г. А в 1869 г. в журнале „Заря" начинает печататься катехизис позднего славянофильства — „Россия и Европа", одно из основных положений которой поразительно совпадает с тютчевским. „Европа не случайно, а существенно нам враждебна, — пишет Данилевский: — следовательно только тогда, когда она враждует сама с собой, может она для нас быть безопасною"[79] (ср. в письме Тютчева к Аксакову от 2 октября 1867 г.: „Усобица на Западе — вот наш лучший политический союз...").

Отсюда — естественный вывод и Данилевского, и Тютчева: единственная возможная политика России — это „недоброжелательный нейтралитет" (Тютчев) по отношению к Западу, безусловный отказ от всяких попыток „умиротворения" враждующих между собою западноевропейских держав и прежде всего от какого бы то ни было тесного сотрудничества с ними. „С л у ч а й н ы е сближения", д о п у с к а в ш и е с я Тютчевым, это та же „совершенная свобода действия", под которой Данилевский разумел возможность „соединяться" с любым европейским государством, при условии, если союз с ним в данное время может способствовать осуществлению русских видов.

Исходя из убеждения, что нет ни одного интереса, общего для России и Запада, Тютчев решительно отвергал мысль о возможности полюбовно столковаться с Европой. С этой стороны большой интерес представляет один документ, принадлежащий перу Тютчева и до сих пор не появлявшийся в печати. В середине 1866 г., к великому негодованию поэта, „кому-то пришло в голову" настаивать на созвании общеевропейского конгресса для улажения совместными усилиями австро-прусского столкновения. С нескрываемым раздражением Тютчев писал жене, что вся эта „прихоть" „в сущности была вызвана лишь нежной заботливостью о бедных немецких родственниках"[80]. Так как „милейший князь" Горчаков „не посмел" противиться этому проекту, то Тютчев решается на последнее средство. Он обращается лично к Александру II. Письмо его к царю дошло до нас только в отрывке, но и в таком виде оно заслуживает всяческого внимания, хотя бы уже своей несколько неожиданной формой, столь не похожей на обычные верноподданические письма:

„Ваше величество!

Воспрепятствуйте конгрессу, умоляю вас, если еще не поздно. Совершенно очевидно, что в настоящих условиях конгресс не может привести для нас к иным результатам, как разве к тому, чтобы превратить Россию в козла отпущения всех европейских осложнений, принудив вас, государь, согласиться в конце концов на уступку Австрии Дунайских княжеств. Такой исход был бы еще бо́льшим несчастьем, чем последствия Крымской кампании, так как он привел бы к тому, чтобы увековечить их. Словом, это было бы отречением от всего нашего прошлого, от всего нашего будущего. Возможно, что мы к этому и пришли бы, но по меньшей мере излишне устремляться навстречу этим возможностям, так сказать — самим вызывать их, а это мы без сомнения совершили бы, приняв участие в конгрессе"[81].

Осторожность требует отметить, что нам неизвестно, было ли это письмо представлено адресату. Но даже если — набросанное сгоряча — оно и не было отправлено, то этим нисколько не ослабляется интерес самого до-

Ф. И. ТЮТЧЕВ
Карикатура И. А. Всеволожского
Исторический Музей, Москва

кумента. Не умаляется его значение и тем, что русский проект потерпел поражение исключительно из-за несогласия других кабинетов. Для нас важно прежде всего намерение, руководившее поэтом. А намерение его совершенно ясно: воздействовать на верховную власть от лица „просвещенного национального мнения" (мы уже знаем, чье именно мнение разумел под этим Тютчев) и оказать тем самым противоядие „одуряющей среде", в которой она „прозябает".

В 1867 г. Тютчев писал Аксакову, что „значение нашей печати идет видимо в гору: ее еще не всегда слушаются, но всегда слушают". В глазах Тютчева этого было еще недостаточно. Недостаточно было слушать Аксакова, да вдруг объявить ему предостережение. А между тем Тютчев не мог не сознавать, что те „недоразумения" между правительством и печатью, на которые он несколько лет назад указывал Горчакову, еще далеко не сгладились. Завоевание доверия правительства к „разумно-честной" печати делается к концу 60-х годов определенной целью Тютчева, настойчиво им преследуемой. И в этом деле искавший популярности Горчаков оказался ему надежным пособником. Если последний, щеголяя своей откровенностью, давал прусскому посланнику (и не иному как Бисмарку!) читать непросмотренные еще им самим донесения русского посланника в Берлине, то что же удивительного в том, что он посвящал Тютчева в разные тайны русской дипломатии?

„Посылаю вам довольно курьезную вещь, — писал однажды Тютчев И. С. Аксакову. — Мне сообщили ее по секрету из министерства ино-

странных дел и по секрету я передаю ее вам, прося вас убедительно не оглашать ее ни прямо, ни косвенно. Предоставляю вам впрочем заключающимися в ней данными воспользоваться по усмотрению вашему"[88]. Это была записка по восточному вопросу, составленная тайным агентом русского правительства в Париже.

В другой раз он известил Аксакова о декларации, сделанной Россией по поводу критского восстания 1867 г., но остававшейся неизвестной за стенами дипломатических кабинетов. Оба письма Тютчева, касающиеся этой декларации, печатаются ниже в приложениях. Суть декларации, к которой присоединились Франция, Северо-германский союз и Италия, заключалась в том, что, „признав бесплодность своих стараний склонить Порту к принятию по отношению к ее подданным христианам мало-мальски человечной политики", упомянутые западно-европейские страны предоставляют Турцию „последствиям ее поведения", при этом „слагая с себя ответственность за все, могущее впредь произойти". С точки зрения Тютчева, декларация эта, провозглашавшая отказ от гарантирования целости Турецкой империи, являлась „сигналом" к всеобщему восстанию славян против Порты. Поэтому, передавая на ухо Аксакову то, что ему самому поведал Горчаков, Тютчев нашептывает ему мысль указать в передовой статье „Москвы" „на шаг, подобный только что предпринятому, как на desideratum, подсказываемое достоинством и интересами России". Аксаков буквально выполнил советы Тютчева, вплоть до выражения общественного сочувствия „обычно национальным побуждениям политики Горчакова". Немудрено после этого, что статья Аксакова была прочтена „главою" русских дипломатов „с признательностью".

Тютчев когда-то метко охарактеризовал Горчакова „нарциссом чернильницы". Но какими в сущности нарциссами своих чернильниц были и Тютчев, и Аксаков!.. В их ушах безупречный французский язык горчаковской декларации звучал грозным предостережением по адресу Порты, но они явно переоценивали соотношение борющихся сил. Практический вывод из декларации оказался совсем не в пользу „братьев-славян", и султан ни минуты в этом не сомневался. Декларация попросту развязала ему руки.

Сам Тютчев счел своим долгом печатно высказать свое сочувствие русской дипломатии. 5 декабря 1867 г. он прочел в „Journal de St.-Pétersbourg" дипломатическую переписку русского кабинета по восточному вопросу, а в новогоднем номере газеты „Русский" (за 1868 г.) появились следующие стихи за подписью Тютчева: „По прочтении депеш императорского кабинета, напечатанных в „Journal de St.-Pétersbourg":

Когда свершится искупленье,
И озарится вновь Восток,—
О, как поймут тогда значенье
Великолепных этих строк!

Как первый яркий луч денницы,
Коснувшись, их воспламенит,
И эти вещие страницы
Озолотит и освятит!

И в излияньи чувств народных,
Как божья чистая роса,
Племен признательно свободных
На них затеплится слеза!

На них записана вся повесть
О том, что было и что есть.
Изобличив Европы совесть,
Они спасли России честь!

Однажды в письме к тому же Горчакову Тютчев назвал одно из своих политических стихотворений „рифмованной аналогией" передовой статьи официозного „Journal de St.-Pétersbourg". Но бывало и обратное— и передовую статью неофициальной части той же газеты от 15 декабря 1867 г. можно было бы назвать „прозаической аналогией" только что приведенного стихотворения.

„В высшей сфере,—писал Тютчев Аксакову,—... все сильнее и сильнее чувствуется потребность опираться на общественное мнение, но вот что и на печать налагает обязанность быть все более и более сознательною". Как видим, эту обязанность он принял прежде всего на себя, и понятной становится та „ободряющая снисходительность", с какой относился канцлер к его стихотворным подношениям.

VIII

Было бы ошибочно думать, что Тютчев всегда и во всем шел в ногу с правительством, с которым в течение всей своей жизни лично был „в мире". Он однако не дожил до той поры, когда „Россия и Европа" сделалась настольной книгой правительственных кругов и когда Скобелев, словно Тиртей нового времени, читал солдатам славянофильские призывы его музы [83].

При нем дело обстояло иначе. Правительство все еще не могло отказаться от своего „косого взгляда" на славянофилов, и чтобы стать официальной идеологией правящей России славянофильство должно было прежде отделаться от возбуждавшей неясные подозрения формулы: „государству—свобода действия, народу—свобода мнения". Книга Данилевского потому только и заслужила полное признание, что в сознании ее автора эта формула была вытравлена до основания. Напротив И. Аксаков, человек старой славянофильской закваски, подвергся административной высылке из Москвы именно за то, что дерзнул иметь „свободу мнения" по поводу Берлинского конгресса. Правительство слушало славянофилов, но оно далеко не всегда намерено было их слушаться. На этой почве и Тютчеву предстояло испытать горькое разочарование.

19 октября 1870 г. циркуляром Горчакова к русским дипломатическим представителям за границей Россия заявила о самовольном расторжении статей Парижского трактата, ограничивавших ее права на Черном море.

Хотя внимание Европы в то время и было отвлечено от России франко-прусскою войной (на это и рассчитывали инициаторы декларации), все же циркуляр Горчакова, упразднявший ряд важнейших пунктов Парижского трактата, вызвал тревогу среди держав—участниц парижской конференции 1856 г. Даже наиболее спокойно отзывавшийся о декларации прусский король находил, что появилась она в „неудобную" минуту. Бисмарк однако обозвал русскую дипломатию „наивною". Он, Бисмарк, если бы оказался на месте руководителя русской внешней политики, поступил бы иначе: стал бы без всяких дипломатических разговоров строить военные суда на Черном море и ждать, пока его запросят о том. „Но германский канцлер,—пишет М. Н. Покровский,— исходил из правильной, без сомнения, оценки реальных интересов Рос-

сии как государства. Он упускал из виду другой момент, в данном случае гораздо более важный: психологию действующих лиц. Александру II было не столько важно право строить броненосцы на Черном море... Ему нужно было загладить свою „трусость", воспоминания о которой так угнетали его,—загладить каким-нибудь „смелым" поступком, который бросился бы в глаза Европе и внушил бы ей уважение к силе и могуществу России. Словом, нужен был реванш". [84]

Благодаря перевесу в сознании русского правительства этих психологических соображений над реальными интересами, русская дипломатия едва на спасовала перед своей собственной смелостью.

5 января 1871 г. в Лондоне открылись заседания конференции, созванной главным образом по настоянию Англии и Австрии для обсуждения спорных статей Парижского трактата. Первый удар русскому дипломатическому самолюбию был нанесен самой формулой приглашения: конференция созывалась „без заранее предвзятого заключения". Это означало полное пренебрежение к декларации русского правительства. Но готовился и второй удар, и петербургские дипломаты чуть было не попались в коварно подставленную им западню. Настаивать на прежних ограничениях русской военной мощи было нельзя: теми же ограничениями была связана и Турция, заинтересованная в освобождении проливов из-под международной опеки и являвшаяся теперь как бы молчаливой соучастницей России. Все старания Англии и Австрии были отныне направлены к тому, чтобы изолировать русский флот в Черном море. Вследствие этого предложена была австрийская редакция статьи, предоставлявшей турецкому султану право открывать проливы для военных судов других „неприбрежных" стран. Только упорное противодействие турецкого уполномоченного заставило изменить эту редакцию: султан получил право открывать доступ в Босфор и Дарданеллы военным судам „дружественных и союзных" держав всякий раз, когда это представится необходимым для поддержания Парижского трактата. Иначе оплошавшие царские дипломаты оказались бы „более турками, чем сами турки", как отозвался Александр II.

18 марта 1871 г., в самую годовщину подписания Парижского трактата 1856 г., состоялась ратификация Лондонской конвенции: „статьи Парижского трактата, устанавливавшие нейтрализацию Черного моря, были признаны отмененными, и в глазах публики, не посвященной в закулисные тайны дипломатии, русский двор мог торжествовать победу". [85] К числу таких непосвященных принадлежал очевидно и Тютчев... И когда, приветствуя русскую дипломатию с одержанной победой, Тютчев-поэт говорил:

Да, в сердце русского народа
Святиться будет этот день:
Он наша внешняя свобода
Он Петропавловского свода
Осветит гробовую сень—

вряд ли Тютчев-политик был осведомлен о том, что итоги конференции были бы совсем иные, если бы не „дружеская и союзная" Турция.

Впрочем именно стихотворение „Черное море", более чем какое-либо иное, было написано поэтом как бы по обязанности, pour faire acte de présence (как выразился он сам по поводу других своих стихов) на живых картинах, данных в пользу Славянского Благотворительного комитета. Незадолго до этого Тютчеву пришлось на деле убедиться в том, как ошибочны были его утверждения, что значение славянофильского слова „идет видимо в гору". В этом отношении Аксаков был менее скло-

нен к самообольщению, зная по собственному опыту, что московское слово то и дело окачивается петербургской „студеной водой".

3 ноября 1870 г. Тютчев прочел в „Правительственном Вестнике" горчаковскую декларацию. Отношение Тютчева к этому факту было двойственно. С одной стороны, форма одностороннего отказа от международного обязательства была встречена им с полным одобрением. Мы уже знаем, что Тютчев не допускал мысли о разрешении политических вопросов, затрогивавших интересы России, путем полюбовного соглашения с Западом. С другой стороны, не укрылся от него и „психологический" момент, игравший во всем этом деле большую роль и заставлявший инициаторов декларации (Александра II и Горчакова) отказываться от ее „логических выводов". Печатаемое ниже письмо Тютчева к А. Ф. Аксаковой от 7 ноября 1870 г. отражает и эту двойственность отношения Тютчева к совершенному дипломатическому поступку, и ту точку зрения, с которой поэт считал своим „долгом" смотреть на него: „В инициативе правительства мы должны ценить лишь то национальное и поистине великодушное чувство, которое в ней действительно есть". Этим письмом вполне объясняется поспешность, с какою Тютчев „без оговорок и без опасений" присоединил свой голос к голосам ликующих по поводу декларации. А „оговорки, сомнения и колебания" он отложил до письма к Аксаковым.

Вслед за письмом Тютчева Аксаковы получили весьма любопытное письмо от его младшей дочери М. Ф. Бирилевой, посвящавшей их в закулисную предисторию обнародования циркуляра и знакомившей с теми толками, которые он возбудил в петербургском обществе. „Дело

КАРИКАТУРА И. А. ВСЕВОЛОЖСКОГО НА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 1860-х гг.

Слева направо: Рейтерн, Краббе, Чевкин, Д. Милютин, Горчаков, в. к. Константин Николаевич, Гагарин, Валуев

Исторический Музей, Москва

сделано, правда, с чувством,—пишет она между прочим,—но без расстановки и особенно без подготовлений и обсуждений. Министрам, не исключая вел. кн. Константина Николаевича, объявили об этом, как о решенном вопросе; оставалось поклониться и прокричать: ура". [86]

Подробные политические письма, писавшиеся М. Ф. Бирилевой по просьбе Аксакова, представляют самостоятельный интерес. Но не безразличны они для нас и в связи с настоящей темой. Письма Бирилевой зачастую кажутся продиктованными ее отцом. Знаменательно, что она сама в одном из своих писем к Аксакову, сообщив о только что прочитанной ею корреспонденции из Нью-Йорка, сочла своим долгом прибавить: „не видав папá, я еще не успела проверить своих впечатлений с его мнением". Такая поверка своих впечатлений приводила к тому, что самый склад ее писем становился сколком с русских писем Тютчева. Это чувствуется и в только что цитированном письме, где все, начиная с полного одобрения „самостоятельной формы" циркуляра („наше торжество!") и кончая ожесточенными нападками на Каткова, слишком увлекавшегося „оговорками" и „сомнениями", могло бы быть скреплено собственной подписью поэта. Через посредство дочери последний к тому же не раз обращался к Аксакову, преследуя при этом свою обычную цель „осмысления" общественного мнения.

Но на сей раз правительство не нуждалось в услугах Тютчева. Одновременно с появлением декларации редакторам московских газет было предписано через специального нарочного министерства внутренних дел „не волновать народные страсти" слишком открытым изъявлением патриотических восторгов. Московскому городскому голове кн. В. А. Черкасскому тогда же было внушено генерал-губернатором, что адреса не желают.

Как ни негодовал Тютчев на противопоставление „московской публики публике петербургской", оно напрашивается само собою,—и предостережения чиновника министерства внутренних дел в сущности были излишни. Стоит прочесть например печатаемое ниже пространное письмо московского славянофила И. С. Аксакова к петербургскому славяноведу А. Ф. Гильфердингу. Хотя автор письма в то время и был наполовину не у дел, поскольку публицистическая деятельность была ему воспрещена, тем не менее письмо его служит точным отголоском того общественного мнения, на которое как всегда рассчитывал Тютчев. И оказывается, что лица, вообще считавшиеся единомышленниками, различно отнеслись к правительственной декларации.

Для Тютчева в данном случае вопрос психологический („мысль стряхнуть с себя позор последнего трактата") как ни как имел первостепенное значение. Инициатива правительства—„национальна"; спасибо и на этом... Для людей дела, какими были и Черкасский, и Аксаков, и Самарин, этого было мало: для них „логические выводы" из декларации были важнее чувства „нравственного удовлетворения". „Переход от политики негативной, уклончивой, к политике положительной и даже агрессивной" сам по себе всегда им улыбался, но приходилось ведь считаться со своими силами в данный момент. „Уроки истории" невольно приходили на память, агрессивная политика вызывала воспоминание о Севастополе, Севастополь тянул за собой... Парижский трактат и еще более тяжкие для славянофилов воспоминания о революционной пропаганде и крестьянских волнениях начала 60-х гг. При таком настроении никто и не заикался в Москве о всеподданнейшем „благодарственном" адресе.

Однако когда вслед за адресом Петербургской городской думы „самого пошлого казенного содержания" (по словам А. Ф. Аксаковой) по-

следовали подобные же адреса от других городов,—это молчание Москвы стало казаться преднамеренной фрондой. Тогда и Московской городской думе было сделано новое внушение, что адрес подать не мешало бы.

История с нашумевшим в свое время московским адресом хорошо известна. Неизвестен остался лишь его настоящий вдохновитель.

На петербургских родственников Аксакова его точка зрения на правительственную декларацию произвела не вполне благоприятное впечатление. Может быть именно поэтому добросовестно исполнявшая обязанности посмертного корреспондента „Москвы" М. Ф. Бирилева и поторопилась поделиться с Аксаковым „хорошими вестями", привезенными ее отцом из Царского: ему удалось переговорить обо всем с самим Горчаковым. Государственный канцлер разумеется уверял поэта в том, что правительство „ни в букве, ни в духе" не согласится изменить „ни единому провозглашенному в декларации слову" и указывал на возможность конференции „для разбора прочих статей трактата", но лишь „в более или менее отдаленном будущем". Не знаем, подействовали ли на Аксакова успокоительно подобные заверения,—он был в числе тех, кто имел основания „не безусловно доверять правительству". Но чрезвычайно знаменательно, что Тютчев счел нужным ознакомить Горчакова с письмом Аксакова к Гильфердингу и немедленно же через посредство дочери сообщил зятю все, что он сам разузнал от канцлера. На письмо Аксакова последний „возразил, что его первой заботой интересы России, но что затем он слишком ясно сознает, насколько обязательна... малейшая надежда, возбужденная в славянах, и что потому тщательно избегает всякого слова, которое они могли бы истолковать превратно. Вообще он желает (поясняла М. Ф. Бирилева), чтобы на декларацию смотрели как на искреннее и полное изложение намерений русского правительства, которых оно во что бы то ни стало будет твердо держаться"[87]. Вряд ли однако, расточая эти успокоительные убеждения, Горчаков на самом деле был так уверен в себе, в своей непоколебимой решимости не отступить на попятный двор. Сомнения по этому поводу более чем возможны и оправдываются всем ходом лондонской конференции 1871 г.

Декларация 19 октября отнюдь не была для русского правительства „источником новой крепости": оно прямо-таки боялось, как бы „общественное мнение" не сочло ее за первый шаг на пути к дальнейшим преобразованиям. От общества требовалось только одно: „поклониться и прокричать „ура"!" А этого-то как раз и не хотели учесть составители московского адреса, не учитывал, как видно, и сам Тютчев, когда просил передать Аксакову, что, по его мнению, вся мыслящая Россия должна всенародно объявить, что „она сочувственно и единодушно относится к почину государя, но что будет пуще прежнего унижена и оскорблена, если теперь, ступив вперед, остановятся на полдороге"[88]. Именно в таком смысле и был составлен адрес Московской городской думы, выдвигавший в качестве „довершения благих начинаний „требования (вернее „чаяния") свободы мнения и печатного слова, свободы церковной и свободы совести, само собою разумеется свободы „разумной" и притом только для „благомыслящей" части общества. Правда, точки над и в московском адресе были расставлены рукою Аксакова, и все же нельзя не назвать Тютчева его непосредственным вдохновителем. Будь он москвичем, он непременно бы подписал адрес. Недаром он сам был так удовлетворен им и, едва получив его, писал дочери Анне: „... Правительство, которое послушалось бы благого внушения принять его во всей целости, оказалось бы весьма сильным перед лицом Европы". Но этого не случилось. Правительство не только не подумало

„принять его во всей целости", но и вовсе отказалось его принять. По поводу адреса возникло даже особое дело „о славянских проделках", которое предписано было „хранить секретно" в III Отделении[89].

Вскоре и москвичи с изумлением узнали, что царь „чрезвычайно рассержен", „вне себя", а что в адресе ухитрились усмотреть не более не менее как „стремления конституционные и революционные"[90]. И. С. Аксаков дал полную волю своей досаде в обширном письме к К. П. Победоносцеву. Апология московского адреса в частном письме к Победоносцеву принимает под пером Аксакова чуть ли не форму публицистической статьи. Публицист под запретом не скрывает горького убеждения, к которому он пришел, что „правительству нужно не общественное мнение, искренне и свободно высказывающееся, а только подобие общественного мнения, на которое можно было бы опираться перед Европой".

В ответном письме к Аксакову Победоносцев подробно излагает свою точку зрения на адрес Московской городской думы. Его пространный ответ в общем можно было бы свести к одной поговорке: то же бы ты слово, да не так бы молвил... А тут еще какое слово! О свободе... „Не могли вы ожидать, чтобы государь понял и принял в идее, как целое, формулу свободы: слишком хорошо известно, что в последнее время стало ему подозрительно все, что разумеет свободу как право, утвержденное на идее"[91].

Тютчевы были очень озабочены судьбой московского адреса. Ведь поэт „ручался" за него, когда князь Горчаков жаловался ему на поведение петербургского общества. И вдруг... адрес не принят. И не только не принят, но составители его признаны людьми неблагомыслящими.

Поэт не мог считать себя непричастным к этому делу. Он и не думал скрывать этого. „Я слышал, что вы н а с осуждаете", сказал он Победоносцеву, встретившись с ним[92]. Что же касается М. Ф. Бирилевой, то она старалась наверстать потерянное и усердно распространяла адрес в списках. Не лишены интереса собранные ею отзывы об адресе, образчики коих она не замедлила сообщить Аксакову: „...у вас изумительный дар возбуждать единодушие в том или другом направлении, смотря, разумеется, по сферам и слоям общества. Здесь большей частью воздают беспристрастно справедливую хвалу слогу, но затем один смущается злонамеренным направлением слов, другому конец не по сердцу, третьему представляется требование конституции с парламентом, камерами (палатами. — *К. П.*) и проч. Иной разразится глубокомысленным замечанием, что так можно обращаться к митрополиту! Слышала я также, что вы, говоря от имени дворянства к а к е д и н с т в е н н о г о м ы с л я щ е г о с о с л о в и я в Р о с с и и, весьма плохо понимаете дух его стремлений. Всем без исключения загадочно, в чем бы могла состоять свобода совести. Милее всего бывает, когда из вежливости хотят щадить мою родственную щекотливость. Из вообще благонамеренных Е. Н. Карамзина очень волнуется: она считает подобное заявление крайне несвоевременным. Графиня Антонина Дмитриевна (Блудова. — *К. П.*) поручила мне передать вам, что от папà и от вас она ничего иного не ожидает, но что бестактность кн. Черкасского изумляет и огорчает ее. Во-первых, она не одобряет наставительный тон адреса и она просит вас вспомнить, что одному римскому владыке доступна непогрешимость ex cathedra; главное же смущает ее требование свободы церковной, равняющейся, по ее мнению, беспрепятственному распространению безбожия. Папà уверяет, что по ее взгляду вся Россия должна относиться к верховной власти, как бывало она к отцу, устраивая для него сюрпризом семейные праздники и драматические представления. Мне ка-

А. Д. БЛУДОВА
Фотография 1860-х гг.
Собрание Н. И. Тютчева, Москва

жется, что она раз навсегда решилась не грешить против власти не только словом или делом, но также мыслию и суждением, и принимать все приказы и распоряжения, как от десницы всемогущего“ [93].

Но не только официальная „славянофилка“ гр. Антонина Блудова нападала на злополучный адрес (а ведь он был составлен главой тогдашних славянофилов!), — резко порицал его и тот, кто „родом был не славянин, но был славянством всем усвоен“: А. Ф. Гильфердинг открыто заявлял, что не к чему „писать адресы, которые заведомо должны произвести неблагоприятное впечатление на правительство“ [94].

В конце концов к такому же приблизительно убеждению пришел и сам Тютчев, правда под влиянием досады на правительство. Главное значение московского адреса заключалось, по его мнению, в том, что он вполне обличил „истинную природу отношений“, существовавших между „прелестным“ русским обществом и верховной властью, и вызвал наружу таившиеся в нем „сокровища глупости, невежества и бездарного раболепства“. Стоило только Александру II найти адрес „не совсем честной и не совсем патриотической попыткой“ „навязать ему нечто вроде конституции“, как большинство русской публики тотчас же признало его неуместным. „Можно было бы подумать, — пишет Тютчев, — что речь идет о каком-то пугливом звере, к которому нельзя подойти иначе, как тщательно спрятав малейший лоскуток красной материи, который случайно имеешь на себе“. Вот тут-то на поэта и напало сомнение: а стоит ли приближаться к этому зверю, если он столь пуглив? „Есть стихи Микель Анджело, — пишет Тютчев дочери, — в которых говорится следующее о том времени, когда он жил:

Mentre che il danno e la vergogna dura
Non sentir, non pensar è gran ventura,

что означает по-русски: пока глупцы царствуют и управляют, умные люди должны бы молчать“.

Подобные отзывы Тютчева звучат чем-то бо́льшим, чем мимолетные срывы досады или раздражения. Это — крик души человека, органически связанного со своим классом, осужденным ходом истории на разложение и гибель, и если не сознающего, то по временам остро чувствовавшего обреченность того политического строя, которому он служил как поэт и как публицист-политик. Но дальше этого чувства дело не шло. Тютчев никогда не изменял дворянско-помещичьей России. Мир революционных идей оставался ему всегда чужд и враждебен.

Тютчев многое проглядел, но и многое видел. Всю жизнь смотревший на „спектакль", развертывавшийся перед ним в мире, из ложи — и часто довольно близкой к царской ложе, — он все же в последние десять-двадцать лет заглядывал и за кулисы. И прежний дипломат, намеренно закрывавший глаза на „несовершенства общественного строя", на „недостатки администрации", на „положение низших классов" (вспомним его слова: „мы не одни на белом свете"), теперь оказался лицом к лицу с действительностью. И Тютчева начинает охватывать сомнение в возможности прикрыть все это византийской тканью. Крепостная Россия, представившаяся однажды его взорам во всей своей обнаженности, вызывает у него уничтожающие строки:

Смрад, безобразье, нищета —
Тут человечество немеет...

В обширном эпистолярном наследии поэта есть одно письмо, которое заслуживает того, чтобы быть процитированным здесь. Это ответ на письмо младшей его дочери Бирилевой, писавшей отцу о бедственном положении „низших классов" в окрестностях Брянска. Письмо Тютчева относится к августу 1867 г.:

„Увы! ничто не позволяет думать, чтобы факты, отмечаемые тобою в Брянском уезде, носили исключительный характер. Разложение повсюду. Мы двигаемся к пропасти не из излишней пылкости, а просто по нерадению. В правительственных сферах бессознательность и отсутствие совести достигли таких размеров, что по словам людей, наиболее осведомленных, нельзя этого постичь, не убедившись в том воочию. Благодаря нелепым переговорам о последнем займе, которые постыдным образом потерпели неудачу, банкротство возможно более чем когда-либо и станет неминуемым в тот день, когда мы будем призваны подать признак жизни. И тем не менее, даже в виду подобного положения вещей, произвол, как и прежде, дает себе полную волю. Вчера я узнал от Мельникова (министра путей сообщения. — *К. П.*) подробность поистине ошеломляющую. Во время последнего путешествия императрицы ей предстояло проехать на лошадях триста пятьдесят верст между двумя железными дорогами, при чем на каждый перегон требовалось двести лошадей, которых пришлось привести за несколько сот верст и содержать в течение недель в этой местности, лишенной всего, и куда надо все доставлять. Ну так вот, знаешь ли, во что обошлось государству это расстояние в триста пятьдесят верст? Всего лишь безделица: полмиллиона рублей. Это просто невероятно, и конечно я никогда не счел бы это возможным, если бы цифра не была засвидетельствована мне таким человеком, как Мельников, который узнал об этом от одесского генерал-губернатора. Вот когда можно сказать вместе с Гамлетом: что-то прогнило в королевстве датском"[95].

Цитированные строки написаны тем же человеком, который за двадцать лет до того утверждал, что „в Европе существуют только две

действительные силы — Революция и Россия". Призрак, давно уже бродивший по Западу, прошел теперь совсем близко перед глазами Тютчева. И только чувство классового самосохранения мешало ему ясно осознать, что недалек уже тот час, когда в Европе останется только одна действительная сила — Революция.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Погодин, М. П., „Воспоминание о Ф. И. Тютчеве", — „Московские Ведомости" от 29.VII. 1873 г., № 90.

[2] „Старина и Новизна", кн. 21, П., 1916, стр. 156. Все письма Тютчева к жене цитируются в переводе с французского.

[3] Неизданная заметка бар. К. фон Пфеффеля о Тютчеве. — Мурановский архив. Перевод с французского.

[4] Благой, Д., „Мураново", М., 1925, стр. 47.

[5] Депеша без даты за № 11. Получена 28.VII. 1822 г. — Архив Внешней Политики: М. И. Д., Канцелярия, арх. № 8060, л. 25. Текст дипломатических документов цитируется в переводе с французского. Все даты приводятся по старому стилю.

[6] Из депеши от 21.IV. 1833 г., № 12, составленной Тютчевым. — Там же, арх. № 142, лл. 62—63.

[7] Там же, арх. № 8086, л. 128.

[8] Там же, лл. 130—131.

[9] „Reisebilder", ч. III, гл. XXX.

[10] См. „Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук СССР", 1928, т. I, кн. 2, стр. 529—532.

[11] Из письма кн. И. С. Гагарина к А. Н. Бахметевой от 9.XI. 1874 г. — Мурановский архив. Перевод с французского.

[12] Мурановский архив. Перевод с французского.

[13] Из инструкции Кокошкину от 12.V. 1839 г. — Архив Внешней Политики: М. И. Д., Канцелярия, арх. № 207, стр. 123—125.

[14] Из депеши А. М. Обрезкова от 26.XI. 1838 г., № 37. — Там же, арх. № 221, л. 134.

[15] Покровский, М. Н. „Дипломатия и войны царской России в XIX столетии", М., 1923. стр. 83.

[16] Депеша от 12.II. 1839 г., № 7. — Архив Внешней Политики: М. И. Д., Канцелярия, арх. № 207, л. 25.

[17] См. изд. 2-е, М., 1886, стр, 25—26.

[18] „Урания, Тютчевский альманах", Л., изд. „Прибой", 1928 г. стр. 132.

[19] См. Чулков Г., „Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева", М.-Л., изд. „Academia", 1933.

[20] Мурановский архив. Перевод с французского.

[21] См. письмо Э. Ф. Тютчевой к К. фон Пфеффелю от 18.V. 1881 г. — Картотека Мурановского музея.

[22] В. М. Лавровским составлена для Мурановского музея таблица „Тютчев и его время", имеющая большое вспомогательное значение при ознакомлении с творчеством Тютчева. Отмеченные мною наблюдения В. М. Лавровского заключаются в его рукописных комментариях к таблице.

[23] Статья „Россия и Германия".

[24] Аксаков, И. С., „Биография Ф. И. Тютчева. М., 1886, стр. 65.

[25] Там же, стр. 50—77.

[26] „Московские Ведомости" от 29.VII. 1873 г., № 90.

[27] Письмо Ю. Ф. Самарина к И. С. Аксакову от 22.VII. 1873 г. — Мурановский архив.

[28] Казанович, Е., „Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева — „Урания, Тютчевский альманах", Л., изд. „Прибой", 1928, стр. 151.

[29] Там же.

[30] „Биография Ф. И. Тютчева", стр. 28.

[31] Там же, стр. 29. Перевод с французского.

[32] Там же, стр. 30. Перевод с французского.

[33] Казанович, Е., «Из мюнхенских встреч Ф. И. Тютчева», стр. 152.

[34] Там же, стр. 167.

[35] Перевод с французского.

[36] См. „Остафьевский архив кн. Вяземских", кн. IV, СПБ., 1899, стр. 333.

[37] Аксаков, И. С., „Биография Ф. И. Тютчева", стр. 31.

[38] Там же, стр. 203.

[39] См. его статью „Творчество Тютчева". — „Три века", М., изд. „Советская литература", 1933, стр. 217—220.

[40] Сочинения В. А. Жуковского, СПБ., 1902, т. XII, стр. 40.
[41] ГАФКЭ, ф. 195, № 213, т. II, л. 172. Перевод с французского.
[42] Письмо к жене от 24.II. 1854 г. — „Старина и Новизна", кн. 19, П., 1915, стр. 109.
[43] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. IX, М., 1933, стр. 386.
[44] Письмо к жене от 13.VI. 1854 г. — „Старина и Новизна", кн. 19, стр. 118.
[45] Письмо от 24.X. 1855 г. — Там же, стр. 149.
[46] Барсуков, Н., „Жизнь и труды М. П. Погодина", кн. 13, СПБ., 1899, стр. 18.
[47] „Записки А. И. Кошелева", Берлин, 1884, стр. 81—82.
[48] Барсуков, Н., «Жизнь и труды М. П. Погодина». кн. 13, стр. 126.
[49] Письмо к жене от 27.VII. 1854 г. — „Старина и Новизна", кн. 19, стр. 126.
[50] Старчаков, А., „Литературные заметки, Ф. И. Тютчев". — „Известия ЦИК и ВЦИК" от 9.XII. 1928 г.
[51] Письмо к жене от 1.VI. 1857 г. — „Старина и Новизна", кн. 19, стр. 65.
[52] Письмо к ней же от 9/X 1870 г. — Там же, кн. 22, стр. 267.
[53] „Россия и Европа", СПБ., 1886, стр. 469.
[54] Письмо к кн. Е. Э. Трубецкой от 15.VII. 1872 г. — Мурановский архив. Перевод с французского.
[55] Письмо к кн. Е. Э. Трубецкой от 6.XII. 1871 г. — Мурановский архив. Перевод с французского.
[56] Письмо от 21.VII. 1866 г. — „Старина и Новизна", кн. 21, стр. 228—229.
[57] Письмо к жене от 21.V. 1855 г. — Там же, кн. 19, стр. 134.
[58] „Московские Ведомости", 1865, № 54; ср. С. Неведенский (С. С. Татищев), „Катков и его время", СПБ., 1899, стр. 215.
[59] Картотека Мурановского музея.
[60] Картотека Мурановского музея.
[61] „Старина и Новизна", кн. 21, стр. 201.
[62] Там же, стр. 203.
[63] Картотека Мурановского музея. Ср. письмо Тютчева к жене от 7.VII. 1863 г. — „Старина и Новизна", кн. 21, стр. 205.
[64] „Воспоминания, За кулисами политики и литературы", Л., изд. „Прибой", 1929, стр. 60—62.
[65] Письмо к жене от 11.VII. 1863 г. — „Старина и Новизна", кн. 21, стр. 205,
[66] Там же.
[67] Феоктистов, Е. М., „Воспоминания", стр. 63.
[68] См. письмо к жене от 22.VII. 1863 г. — „Старина и новизна", кн. 21, стр. 206.
[69] Феоктистов, Е. М. „Воспоминания", стр. 64—65.
[70] „Россия и Европа", стр. 418.
[71] Картотека Мурановского музея.
[72] Письмо от 22.VII. 1863 г. — „Старина и Новизна", кн. 21, стр. 206.
[73] Письмо к жене от 16.VIII. 1863 г. — Там же, стр. 209.
[74] Там же, стр. 213.
[75] „Концы и начала". — „Еще раз, Сборник статей Искандера", Женева, 1866, стр. II.
[76] Письмо от 1.VIII. 1863 г. — „Старина и Новизна", кн. 21, стр. 207—208.
[77] Цитируется по автографу горчаковского архива (ГАФКЭ).
[78] Мурановский архив.
[79] „Россия и Европа", стр. 483.
[80] Письмо от 28.VII. 1866 г. — „Старина и Новизна", кн. 21, стр. 229.
[81] ИРЛИ, архив С. П. Фролова. — Текст сообщен мне В. В. Гиппиусом. Перевод с французского Е. В. Герье.
[82] Письмо от 4.I. 1868 г. — Мурановский архив. Подлинник по-русски.
[83] См. картотеку Мурановского музея — запись под 26.VI. 1882 г. (из воспоминаний А. Ф. Аксаковой).
[84] „Дипломатия и войны царской России", стр. 238.
[85] Там же, стр. 243.
[86] Письмо к И. С. Аксакову от 8.XI. 1870 г. — Мурановский архив.
[87] Письмо М. Ф. Бирилевой к И. С. Аксакову от 15.XI. 1870 г. — Мурановский архив.
[88] Письмо М. Ф. Бирилевой к И. С. Аксакову от 8.XI. 1870 г. — Мурановский архив.
[89] Архив Революции: III отделение, 2 секретный архив, карт. 36, № 394, 1870 г.
[90] Тютчева, А. Ф., „При дворе двух императоров", ч. II, изд. М. и С. Сабашниковых, 1929, стр. 213, 218.
[91] Письма И. С. Аксакова и К. П. Победоносцева см. в „Красном архиве", т. 6 (31), М.-Л., ГИЗ, 1928.
[92] Тютчева, А. Ф. „При дворе двух императоров", стр. 213.
[93] Письмо от 2.XII. 1870 г. — Мурановский архив.
[94] См. письмо М. Ф. Бирилевой к А. Ф. Аксаковой от 6.XII. 1870 г.—Мурановский архив.
[95] Мурановский архив. Перевод с французского.

ПРИЛОЖЕНИЕ

I. ПИСЬМА Ф. И. ТЮТЧЕВА

Материалы №№ 1—3, 5—6, 8—12, 14, 18, 23—27 — письма Тютчева к кн. А. М. Горчакову — печатаются впервые по подлинникам, хранящимся в Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи (*Горчаковский фонд*). №№ 25—27 писаны под диктовку поэта рукой его жены Э. Ф. Тютчевой; №№ 25 и 27 подписаны им собственноручно.

Материалы №№ 4, 7, 19, 21 и 22 — письма Тютчева к А. Ф. Тютчевой-Аксаковой — печатаются впервые по автографам, хранящимся в архиве Мурановского музея.

Материалы №№ 13, 16, 17 и 20 — письма Тютчева к И. С. Аксакову — печатаются по подлинникам, хранящимся в архиве Мурановского музея. Перед текстом № 16 приписка, обращенная к А. Ф. Аксаковой: „ceci est pour ton mari“ («это для твоего мужа»). Два отрывка из № 13 (от строки: «Сочувствие к Москве несомненное...» до «биться как рыба об лед» и от «Война состоится...» до «в нашем оратории») были опубликованы Г. И. Чулковым в его статье «Тютчев и Аксаков в борьбе с цензурою» («Мурановский сборник», вып. I, стр. 19—20).

Письмо Тютчева к Ю. Ф. Самарину (№ 15) печатается впервые по автографу, хранящемуся в архиве Мурановского музея. Письма Тютчева, за исключением №№ 13, 17 и 20, писаны на французском языке. Перевод №№ 19 и 21 принадлежит Е. В. Герье. Перевод всех остальных писем Тютчева выполнен К. В. Пигаревым.

1

А. М. ГОРЧАКОВУ [1]

Вторник, 21 апреля, 1859.

Князь, хочу просить вас об одной милости и, чтобы не отнимать у вас времени, прямо скажу вам в чем дело: это посылка курьером в Берлин в течение первой половины будущего месяца. Если бы случайно у вас оказались, князь, какие-нибудь бумаги или какие-либо инструкции в Мюнхен, я был бы счастлив взять на себя их доставку, так как после Берлина мне бы хотелось поехать на несколько дней в Мюнхен [2]... А теперь, князь, позвольте мне еще раз сказать вам, и из самой глубины моего сердца: да поможет вам бог, ибо более, чем когда-либо, вы — человек необходимый, человек незаменимый для страны. Ах, дал бы бог, чтобы это был лишь пустой комплимент, а я кажется достаточно вас знаю, князь, чтобы быть уверенным в том, что вы вполне разделяете горечь, которую испытываю я, утверждая это перед лицом настоящего положения, довольно-таки серьезного уже в данный момент и которое с минуты на минуту может невероятно ухудшиться [3].

Но не опасности создавшегося положения сами по себе пугают меня за вас и за нас. Вы обретете в самом себе достаточно находчивости и энергии, чтобы противостоять надвигающемуся кризису. Но что действительно тревожно, что плачевно выше всякого выражения, — это глубокое нравственное растление среды, которая окружает у нас правительство и которая неизбежно тяготеет также над вами, над вашими лучшими побуждениями.

Я право не знаю, стояло ли когда-нибудь во главе какого бы то ни было общества что-либо столь же посредственное, в отношении души, характера и ума, как то, что стоит во главе нашего. Все, что я примечаю, все, что я слышу вокруг себя, внушает мне как бы предчувствие невероятной подлости, которая пока еще назревает и, чтобы осмелеть, ждет новых осложнений, но которая в данный момент непременно разразиться открыто... И союз с Австрией еще раз сделается формулой для всех этих устремлений... *Следует заметить, что в настоящее время союз с Австрией или какой* бы то ни было постыдный полувозврат к этому союзу не имеет более определенного и особенного смысла и значения, но сделался как бы credo всех этих подлостей и посредственностей, как бы лозунгом и условным знаком всего антинационального по эгоизму или происхождению...

И вот эти-то люди являются вашими естественными врагами... Они не простят вам разрушения системы, которая представляла как бы родственные узы для всех этих умов, как бы политическое обиталище всех этих убеждений. Это — эмигранты, которые хотели бы вернуться к себе на родину, а вы им препятствуете... Я знаю, князь, что до сих пор вы пользовались сочувственной поддержкой государя, и надо надеяться,

что она не изменит вам и впредь... Это имеет огромное значение... но все-таки этого недостаточно... Перед лицом создавшегося положения и в виду того, во что оно может превратиться, сам государь в вопросах внешней политики не менее вас нуждается в более твердой точке опоры, в национальном сознании, в достаточно просвещенном национальном мнении, а тут, как нарочно, неумелость или взаимные предубеждения позволили накопиться недоразумениям между печатью и правительством... Все это, я знаю, было сказано и пересказано сотню раз. В силу беспрестанных повторений это сделалось нелепой, тошнотворной пошлостью, и тем не менее в данных условиях эти общие места, более чем когда-либо, являются острой злободневностью [4]...

Одним словом, князь, для вас, так же как и для самого государя, нет противсреды, которая осаждает и более или менее угнетает вас обоих, нет, говорю я, другой точки опоры, другого средства противодействия, как во мнении извне, в великом мнении — в выражении общественного сознания... Но для этого нужно разрешить ему высказываться и даже вызывать его на это...

Система, которую представляете вы, всегда будет иметь врагами всех тех, кто является врагами печати. Как же печати не стать вашей союзницей?..

Я еду, князь, на три или на четыре дня в Москву. Я увижу кое-кого из этих господ... Что хотите, чтобы я им передал? [5]

Ф. Тютчев

[1] Горчаков, кн. Александр Михайлович (1798—1883) — министр иностранных дел с 1856 по 1882 г., государственный канцлер с 1867 г.

[2] 9 мая 1859 г. Тютчев выехал курьером в Берлин, куда и прибыл 13-го числа. Отпуск был дан ему на три месяца, но был продлен еще на шесть недель. Однако в Петербург поэт возвратился только 2 ноября. Из Берлина Тютчев, как и предполагал, проехал в Мюнхен, где пробыл около недели (с 22 по 29 мая), а оттуда направился лечиться в Вильдбад.

[3] Чтобы понять, о чем идет речь в этом письме Тютчева, следует припомнить тогдашнюю международную политическую обстановку.

Вмешательство Сардинии в Крымскую кампанию (в январе 1855 г.) было вызвано надеждой сардинского правительства добиться разрешения итальянского вопроса по окончании войны на общеевропейском конгрессе. Парижский конгресс 1856 г., хотя и не оправдавший этих надежд, дал однако возможность Кавуру заявить в туринском парламенте, что Пьемонт не зря проливал кровь и не попусту расточал свое золото. С этих пор дипломатические переговоры между Сардинией и Францией имели целью привлечь последнюю к открытому вмешательству в австро-сардинские отношения. Переговоры эти привели к пломбьерскому соглашению (июль 1858 г.). Мысль об итальянской федерации конечно вовсе не соответствовала объединению Италии в том смысле, в каком представляли его себе итальянские патриоты, но Кавур не противоречил Наполеону, сознавая, что раз первые шаги к освобождению Италии будут предприняты, революция сумеет пойти своим путем.

Уже в 1858 г. отношения между Францией и Австрией на почве итальянского вопроса настолько обострились, что война между ними казалась неминуемой. Дружественная России Франция рассчитывала на ее поддержку в смысле возбуждения против Австрии подвластных ей славянских племен. Согласно программе Наполеона, при заключении мира Россия должна была приобрести Галицию и сверх того ей сулился пересмотр в ее пользу Парижского трактата 1856 г.

С целью противодействия франко-русскому союзу, Англия предприняла попытки к примирению Пруссии с Австрией: прусско-австрийский союз, к которому примкнула бы и Англия, послужил бы противовесом единению Франции и России.

Между тем в феврале 1859 г. Россия внесла предложение об обсуждении и разрешении на общеевропейском конгрессе возникших по итальянскому вопросу недоразумений. Австрия воспротивилась допустить к участию в этом конгрессе Сардинию, а в апреле предъявила ей ультиматум, требовавший немедленного разоружения. Решительный отказ туринского правительства послужил непосредственным поводом к войне.

Попытки английской дипломатии достигли некоторых действительных результатов, и как только вспыхнула война (29 апреля н. с. 1859 г.) Пруссия мобилизовала в защиту Австрии свои военные силы; примеру ее последовали прочие государства Германского союза.

Вмешательство России в войну между Италией, Францией и Австрией ограничилось циркулярной депешей Горчакова русским дипломатическим представителям при немецких дворах. Заявляя о том, что Франция не питает враждебных замыслов по отношению к Германии, русский министр иностранных дел предостерегал последнюю от враждебных выступлений против Франции, так как подобные выступления нарушили

бы цель учреждения Германского союза как «комбинации исключительно оборонительного свойства» и поступили бы противно узаконившим его существование договорам.

Хотя циркуляр Горчакова в глазах французских правительственных кругов и стоил стотысячной армии, все же деятельное вооружение Германского союза послужило одной из главных причин предложенного Наполеоном III и заключенного 8 июля (н. с.) перемирия. Виллафранский договор, как и следовало ожидать, не оправдал надежд итальянских патриотов и вызвал сильнейшую ненависть по отношению к тому, кто еще так недавно самоуверенно провозгласил лозунг: «Италия, свободная от Альп до Адриатики».

[4] Безнадежно отрицательные высказывания о русской правительственной «среде» — и в выражениях близких к его словам в письме к Горчакову — часто встречаются в письмах Тютчева. В годы непосредственно за Крымской кампанией малейшее сочувствие к «неблагодарной» Австрии действительно рассматривалось русским общественным мнением известного толка как «условный знак» антинационального направления мысли. Когда в 1855 г. Тютчев негодующим стихотворением встретил приезд австрийского эрцгерцога на похороны Николая I, негодование поэта разделялось и в придворных кругах. Но к концу 50-х годов настроение при дворе переменилось. Почти накануне войны между Италией и Австрией, 16 апреля 1859 г., старшая дочь Тютчева Анна записала в своем дневнике: «Императрица (Мария Александровна. — *К. П.*) рассказывала мне, что недавно на танцовальном вечере у Ольденбургских добрейший принц Петр (Георгиевич Ольденбургский. — *К. П.*) затеял с ней политический разговор с тем, чтобы доказать ей, что Австрия совершенно права и что не подобает быть заодно с теми, кто нападает на ее итальянские владения. На это государь сказал: «О, у нас здесь немало трусов, которые думают так же и дрожат при мысли о войне и желают только одного, как можно скорее восстановить приятельские отношения с Австрией». Это верно. Атмосфера полна Deutsche Strömmungen (немецкие течения), как их остроумно называет великая княгиня Елена Павловна. Барон Петр Мейендорф, мнение которого имеет большое значение при дворе, его жена, сестра графа Буоля, военный министр Сухозанет, министр Чевкин, Панин, Долгорукий — все они на стороне Австрии, все они твердят, что владея Польшей нельзя поддерживать права угнетенных народностей. Но Горчаков теперь держит себя превосходно» (А. Ф. Тютчева, «При дворе двух императоров», ч. II, изд. М. и С. Сабашниковых, 1929, стр. 193).

[5] Тютчев приехал в Москву 24 или 25 апреля и вернулся в Петербург 1 мая. В письме к жене от 27 апреля Тютчев сообщает о предстоящем обеде у Н. Ф. Павлова с редакторами «Русского Вестника» (см. «Старина и Новизна», кн. 21, П., 1916, стр. 156).

2

А. М. ГОРЧАКОВУ

Понедельник, 16 апреля 1862.

Вот, князь, карточка, которую вы благоволили у меня просить. Никогда не будет она принадлежать вам более, нежели тот, кого она предназначена вам напоминать.

Примите, князь, мои самые сердечные приветствия.

Ф. Тютчев

3

А. М. ГОРЧАКОВУ

Вторник

Из недр своей постели, где меня удерживает нечто, что вероятно было приступом подагры, пишу я вам, князь, чтобы узнать о вашем здоровье. Мне сказали вчера, что вам опять стало хуже и что вы даже принуждены были лечь в кровать. Ради бога, одно слово в ответ, но только устное и, если возможно, благоприятное.

Если бы вы были в числе людей нужных, я трепетал бы за вас, но вы — человек необходимый, и я чувствую себя несколько успокоенным.

Тысяча нежных почтительных приветствий.

Ф. Тютчев

Судя по почерку, каким написано это письмо, можно думать, что оно относится к концу 50-х — началу 60-х годов. Это не почерк поэта последних лет его жизни. Однако датировать письмо более точно пока не представляется возможным. На протяжении четырех лет — с 1860 по 1863 г. — Тютчев трижды страдал подагрой. В 1860 г. поэт не выходил из дому с 21 февраля по начало апреля и был вынужден летом отправиться для лечения за границу. Приступы подагры упорно возобновлялись в следующем году, в течение четырех месяцев (сентябрь—декабрь), и весной 1863 г.

4

А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ[1]

Москва, 25 июня [1863].

Я получил письмо твое, милая дочь, и разумеется не допускаю возможности не повидаться с тобою при твоем проезде через Москву[2].

Признаюсь, все это ваше путешествие для меня загадка и ключа к ней мне так до сих пор и не удалось найти. Вы, стало быть, убеждены, даже более того — уверены, что не будет войны этим летом. На чем основана эта уверенность? Вот, что мне хотелось бы знать.

При данном положении ничто, по-моему, не оправдывает такой чрезмерной уверенности. Вчера я провел два часа у нашего друга Аксакова[3] и нашел у него вполне разумный взгляд на дело и более действительное понимание вопроса, чем у кого бы то ни было. Его статьи и случайные вспышки — впрочем, более чем понятные — не мешают тому, что его точка зрения единственно верная и правильная. Что она не совпадает с полем зрения наших великих людей в Петербурге, это возможно. Но еще вопрос, могут ли люди, страдающие косоглазием, обладать вполне правильным полем зрения.

Виделся я также с Катковым[4] и его присными; и хотя его газета пользуется вполне моими симпатиями и я признаю огромные услуги, оказываемые им в настоящее время стране, — Катков, с которым я всесторонне обсудил данное положение, понимает его не так ясно, как наш друг.

Здесь ждут ответов Горчакова на иностранные ноты с некоторым опасением, несмотря на все уверения, которые милейший князь уполномочил меня давать всем и каждому, в его непоколебимой решимости не делать ни малейшей уступки. Что меня лично успокаивает на этот счет, это невозможность сделать уступку. Наши противники в своих требованиях лишили нас возможности довести их до абсурда, они сами, *по собственному почину и сразу, стали в такое именно положение.* К *несчастью*, может случиться на сем свете — и уже не впервые, — что благодаря простому превосходству грубой силы нелепость восторжествует над разумом и правом.

Но вот мои брат[5] и сестра[6] врываются ко мне, т. е. в комнату к бабушке[7], откуда я тебе пишу. У меня едва остается время, чтобы обнять тебя и сказать: до свидания, до скорого. Храни тебя бог, моя милая дочь. Мое злосчастное здоровье немного лучше.

Весь твой

[1] Тютчева, Анна Федоровна (1829—1889), старшая дочь поэта, фрейлина императрицы Марии Александровны; с 1866 г. замужем за И. С. Аксаковым.

[2] В этом году А. Ф. Тютчева сопровождала царскую фамилию в Крым, в Ливадию.

[3] Аксаков, Иван Сергеевич (1823—1886) — писатель-публицист, лидер славянофильства 60-х—80-х годов; с 1866 г. зять Тютчева.

[4] Катков, Михаил Никифорович (1818—1887) — известный реакционный публицист, редактор газеты «Московские Ведомости» и журнала «Русский Вестник». В числе его «присных» Тютчев очевидно прежде всего разумел ближайшего сотрудника Каткова по обоим изданиям Павла Михайловича Леонтьева (1822—1875).

Если в 1863 г. Тютчев высказывал свои симпатии к газете Каткова, а в 1866 г. защищал ее от преследований правительства (см. письмо 10), то впоследствии он откровенно выражал свое несочувствие реакционной «системе классического образования», введенной гр. Д. А. Толстым, главным вдохновителем которого был Катков. Отрицательно относился поэт и к основанному им лицею. «То, что ты говоришь мне относительно постановки дела в Катковском лицее, — пишет он дочери Анне 20 декабря 1870 г., — вовсе меня не удивило. Это повторение того, что доходило до меня с разных сторон. Зная обоих лиц, возглавляющих это заведение (т. е. Каткова и Леонтьева. — *К. П.*), можно было a priori ожидать всяческих чрезмерностей, в особенности же в так называемой классической системе, которая всегда казалась мне самым жалким из недоразумений, одним из тех устаревших предрассудков, которые обличают в тех, кто еще его принимает, лишь расположение к мономании. А это-то расположение достаточно уже выказало себя в лицах, о которых идет речь, даже в сфере их публицистической деятельности» (перевод с французского. — Мурановский архив). В другом письме он возвращается к той же теме: «Я никогда не чувствовал определенного предпочтения к Катковскому лицею, я судил о нем лишь по его репутации, очень двусмысленной за последнее время; а что касается лиц, которые им уп-

равляют, то я весьма склонен поверить a priori, что они вносят в это дело тот же дух исключительности и те же чрезмерности, как и во все, что от них исходит» (письмо к А. Ф. Аксаковой от 25 декабря 1870 г. Перевод с французского. — Мурановский архив).

[5] Тютчев, Николай Иванович (1800—1870); в молодости был на военной службе, вышел в отставку в чине полковника генерального штаба и умер в Москве «старинным, верным членом» «Английского клоба». Тютчев написал на его смерть стихотворение «Брат, столько лет сопутствовавший мне...».

[6] Сушкова, Дарья Ивановна (1806—1879), рожд. Тютчева, жена литератора Н. В. Сушкова.

[7] Тютчева, Екатерина Львовна (1776—1866), рожд. Толстая.

5

А. М. ГОРЧАКОВУ

Москва, четверг, 11 июля [1863].

Князь,

с легким и радостным сердцем пишу я вам наспех эти несколько строк, дабы выразить вам мои живейшие поздравления... Ваши депеши пришли сюда вчера. И я почитаю себя счастливым, что находился в Москве в такой момент... Это был, помимо всяких фраз, момент исторический.

После всех этих оскорблений, всех этих официальных дерзостей заграницы, после всех этих сомнений и тревог в отношении наших внутренних дел, вдруг ощутилось как бы чувство облегчения. Вздохнулось свободно.

Ничто не прошло здесь незамеченным в этих удачливых депешах. Ни один оттенок, ни одно намерение, ни одно изменение голоса не ускользнуло от оценки публики — или, вернее, страны. Всякий чувствовал себя счастливым и гордым, услышав себя говорящим так, ибо каждый находил присущий ему оттенок в том голосе, который говорил за всех.

Вы знаете, князь, что газета Каткова первая обнародовала ваши депеши в подлиннике и в переводе. Вчера, не знаю почему, «Московские Ведомости» вышли довольно поздно, не ранее 5 часов вечера. И вот уже в 7 часов на Тверском бульваре, где я обитаю, виднелись группы, с оживлением обсуждавшие ваши депеши. Ко мне лично подошел незнакомец, спросивший меня, читал ли я их, и на мой утвердительный ответ этот человек сказал: дай бог здоровья князю Горчакову — не выдал.

Вечером я был в клубе и сам Английский клуб, князь, был единодушен в той дани уважения, которую он вам воздавал. Чуть было не послали вам благодарственную телеграфическую депешу, но побоялись, что при настоящих обстоятельствах подобная демонстрация не выразит всей значительности руководивших ею чувств... Одним словом, князь, впечатление, произведенное на моих глазах здесь, в Москве, вашими словами, — тем полным достоинства и твердости тоном, которым по вашему благородному почину заговорила Россия, — впечатление это есть достояние истории. И еще раз я почитаю себя счастливым что был тому свидетелем. А будучи счастливым, я хочу быть и нескромным. Умоляю вас, дайте мне весть о себе через кого либо из ваших приближенных. Вот мой адрес: близ Тверской, Гнезненский переулок, дом бар. Корф.

Ф. Тютчев

Это письмо связано с решающим моментом в известной «дипломатической кампании» 1863 г. — с появлением ответов Горчакова на ноты иностранных держав. Оно написано на другой день после обнародования горчаковских депеш в «Московских Ведомостях» Каткова. В тот же день Тютчев сообщал жене: «Сегодня утром я написал Горчакову, чтобы его поздравить и на сей раз имел удовлетворение говорить ему только правду, что весьма приятно» («Старина и Новизна», кн. 21, стр. 205). О «дипломатической кампании» см. в тексте статьи.

6

А. М. ГОРЧАКОВУ

Москва, вторник, 28 июля [1863].

Князь,

я получил ваше милое письмо в ту самую минуту, когда я шел обедать к Каткову. Предоставляю вам судить о том глубоком удовлетворении, которое я испытал при чтении ему этого письма, и о том, не менее живейшем удовлетворении, с коим это чтение было встречено [1]. Этот прекрасный человек был до глубины души растроган добрыми и любезными словами, обращенными к нему, теми словами, тайна коих принадлежит вам.

Ваша последняя депеша Будбергу [2] появилась здесь как раз во время, чтобы в конец рассеять те смутные опасения, которые иностранная печать хотела бы распространить насчет мнимых проявлений слабости и возможных уступок с нашей стороны.

В этой депеше почувствовали тот же тон и то же вдохновение, что и в предыдущих, и были признательны вам, князь, за то, что вы поспешили ее обнародовать. Это обнародование, конечно, не облегчит г. Друэн де-Люису [3] составление его депеши. Одним словом, ваше положение здесь высоко и блестяще. Вы по праву заслужили это от господа бога. Чувствуется, что вы действуете согласно устремлениям страны, а вдохновляет и поддерживает вас вопреки всему и против всех глубокая уверенность в том, что в настоящих условиях страна готова пожертвовать всем, всем без исключения, кроме чести. Я знаю, что это говорилось и повторялось двадцать раз. Но на сей раз эти слова подтверждаются действительностью — и это вполне определяет положение.

А поэтому, хотя никто и не обманывается насчет важности вопросов внешней политики, но благодаря вам, князь, не они теперь занимают умы. Не тем поглощено всеобщее внимание, а тем, что творится в Варшаве [4].

Я не смогу передать вам чувство отвращения, все более и более ожесточенного, которое вызывается здесь зрелищем происходящего там, и это ощущение постоянно поддерживается весьма точными сообщениями... Отставка маркиза [5] была встречена здесь с удовольствием, так как полагали, что за ней последует другая, ожидаемая с еще большим нетерпением. Ибо — справедливо ли, нет ли — здесь уверены, что пребывание великого князя [6] в Варшаве послужит препятствием к проявлению всякой серьезной и действенной власти. Его личность слишком отождествляют с применявшейся до сих пор нелепой системой, плоды коей мы пожинаем, чтобы можно было надеяться на то, что — не поставив себя в еще более неловкое положение — он в состоянии приобщиться к совершенно противоположной системе, неограниченному единству власти, одним словом — к военной диктатуре. А здесь не слишком уверены в том, что великий князь обладает способностями диктатора. И вот, князь, этого исхода, столь желанного, столь очевидно необходимого — скорейшего прекращения порядка, являющегося позором и опасностью, — этой выдающейся услуги отчизна ожидает опять-таки от вас, от вашего законного влияния [7]. Пора, давно пора!

Но я не хочу злоупотреблять вашим временем и мне остается ровно столько места, чтобы из глубины сердца повторить вам, князь, мою благодарность и выражения моей нежнейшей преданности.

Ф. Тютчев

[1] Письмо это является ответом на недошедшее до нас письмо Горчакова к Тютчеву. 22 июля 1863 г. последний писал жене: «Я, кажется, говорил тебе, что написал Горчакову, чтобы дать ему отчет в том, как Москва приняла его депеши. Он поручил Жомини (старший советник министерства иностранных дел. — *К. П.*) ответить мне письмом, которое теперь ходит по городу. Оно не содержит никаких новых фактов, но как исповедание политических убеждений, не оставляло бы желать ничего лучшего, ежели бы была уверенность в том, что им останутся верны. Но, к несчастью, на это как раз можно менее всего рассчитывать» («Старина и Новизна», кн. 21, стр. 206). Далее следуют подробности о запрещении банкета. См. об этом в тексте статьи.

Ф. И. ТЮТЧЕВ
Фотография 1860-х гг.
Музей им. Тютчева, Мураново

[2] Будберг, бар. Андрей Федорович (1817—1881), дипломат, русский посол в Париже с 1862 по 1868 г. Депеша Горчакова к Будбергу, о которой упоминает Тютчев, напечатана в «Московских Ведомостях» от 27 июля 1863 г.

[3] Друэн де-Люис, Эдуард (1805—1881), французский государственный деятель, неоднократно занимавший пост министра иностранных дел (последний раз с 1862 по 1866 г.).

[4] Имеется в виду польское восстание.

[5] Велёпольский, маркиз Александр (1803—1877), польский политический деятель, пытавшийся добиться автономии Царства Польского путем соглашения с Россией; с 1862 г. начальник гражданской части и вице-председатель Государственного совета Царства. В связи с усилением правительственных репрессий, в июне 1863 г. получил заграничный отпуск, а в октябре того же года окончательно отставлен от занимаемых им должностей. Отставка Велёпольского была сочувственно встречена приверженцами «антипольского» направления русской политики.

[6] Константин Николаевич, великий князь (1827—1892), наместник Царства Польского с 1862 по 1863 г., председатель Государственного совета с 1865 по 1881 г. В консервативных кругах русского общества слыл за «либерала», — в глазах либералов представлялся «просвещенным деспотом» (см. его характеристику, сделанную П. В. Долгоруковым — «Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта», М. 1934, стр. 317—324). Вызвал резкую оппозицию своей «примирительной» политикой в Царстве Польском. Решительным ее противником в печати выступил М. Н. Катков.

[7] Интересно отметить, что та «система», против которой ополчается Тютчев, ища поддержки со стороны Горчакова, на самом деле была тесным образом связана с тем направлением, которое Горчаков пытался дать русской внешней политике. «Либеральная» политика по отношению к полякам рассматривалась Горчаковым как средство укрепления франко-русского сближения. Прочная экономическая связь России с Германией сорвала эти планы и польское восстание 1863 г. послужило как раз побудительным толчком к русско-прусской дружбе (подробнее об этом см. в тексте статьи).

7

А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Санктпетербург, среда, 4 сентября 1863.

Моя милая дочь, я получил недавно твое письмо без даты, я разумею — без официальной даты, но достаточно ярко отмеченное той лучезарной средой, в которой ты обитаешь, всеми лучами солнца и всеми дуновениями моря... Ах, да, власть среды над человеком неизмерима! И самые гигантские усилия у себя дома, на месте, не в состоянии приподнять то, что улетучивается и рассеивается при малейшем дыхании ветерка под новыми небесами, в особенности если это дыхание теплое, а небо яркое. У нас здесь также было несколько хороших дней, хороших — по здешнему, и даже в настоящую минуту я только что вернулся с островов прекрасным утром, правда немного свежим, но озаренным довольно ярким солнцем, приходящимся как бы дальней родней тому, что сияет там, над вашими головами.

Переходя к мыслям и впечатлениям иного порядка, скажу, что мы начинаем довольно приятно пользоваться досугами, по крайней мере временными, которые происшедшие события повидимому желают нам предоставить. Есть нечто особенно приятное в ослаблении напряженного состояния. Это не значит, что мы покоимся на ложе из розовых лепестков и единственное, что нам остается, — это предаться дремоте, но кризис миновал и мы не можем отказать себе в сознании, что превосходное поведение страны сильнейшим образом содействовало разрешению кризиса согласно интересам истины и справедливости, которые на нашей стороне. Время лжи кажется прошло, и та фальшивая действительность, которую она создала против нас и в которую она хотела нас затянуть, чтобы удушить, разлетается на наших глазах в куски и клочья. Теперь, если не ошибаюсь, начнется реакция и все эти противоположные друг другу интересы, все эти злые инстинкты эгоизма, которых пытались собрать под единое знамя против нас, не замедлят, надеюсь, обратиться друг против друга и завести между собою решительную потасовку. В этом и будет заключаться мораль разыгрываемой перед нашими глазами пьесы или, как выражались древние, в этом будет оправдание, которое готовят себе боги за столько допущенных ими беззаконий. Гер-

манский вопрос, так бесчестно поднятый Австрией [1], — уже довольно недурное начало и может завести далеко. С точки зрения наших собственных интересов вопрос этот имеет, на мой взгляд, большое преимущество в том, что он настолько же захватывающ, насколько и неразрешим, — захватывающ, разумеется, по отношению к Западу, так как вызовет и выдвинет все его разногласия, все его самые ненавистнические соперничества, что позволит нам наконец вернуться к нашей настоящей роли и утвердиться крепко и надолго в ней и в наших действительных исторических условиях, которые заключаются в безусловном нейтралитете, но нейтралитете недоброжелательном по отношению к Западу. — В данный момент наше любопытство всецело обращено на Финляндию и на то, что там произойдет [2]. Вчера я получил письмо от Каткова, очень озабоченного опасением, как бы не сделали оплошности, заставив государя произнести его речь на открытии сейма по-французски, и т. д. и т. д. Но я замечаю, милая моя дочь, что вместо письма, которое я собирался тебе написать, я обращаюсь к тебе с плохой газетной статьей. До другого раза...

[1] В августе 1863 г. по инициативе Австрии во Франкфурте был созван конгресс немецких государей, «княжеский сейм», под личным председательством австрийского императора Франца-Иосифа. Проект преобразования Германского союза, предложенный Австрией, был сорван отказом Пруссии участвовать в конгрессе. Бисмарк не мог допустить мысли о «преобладающей роли Австрии в реформированном союзе» (см. его «Мысли и воспоминания» — стр. 193 русского перевода в приложении к журналу «Русская старина» на 1899 г.).

[2] 6 сентября 1863 г. в Гельсингфорсе состоялось открытие финляндского сейма Тронная речь Александра II была произнесена на русском языке.

8

А. М. ГОРЧАКОВУ

[19 декабря 1863 [1]]. Понедельник.

Я был очень раздосадован, князь, невозможностью явиться на ваш зов. Я с нетерпением ждал случая принести вам свои поздравления, весьма законные. Ваш намеднишний успех был полон, и я радуюсь ему гораздо меньше за вас, нежели за всех нас.

Это очевидный признак зрелости...

Положительно счастливо, что на нашем русском языке имеется лишь одно и то же слово для выражения двух понятий: populaire и national. Это — н а р о д н ы й. И как раз им-то и приветствовал вас с таким полным правом один из посланных вам адресов.

Не скрою от вас, князь, что для всех было бы большим разочарованием, если бы слова, произнесенные вами в клубе, равно как и все подробности оказанного вам приема, не были преданы гласности. Не достаточно иметь мужество высказать свое мнение. Не следует также бояться своих успехов, когда эти успехи столь очевидно принадлежат всей стране [2].

Тысяча сердечных приветствий.

Ф. Тютчев

[1] В подлиннике дата проставлена не рукою Тютчева.

[2] В этом письме идет речь об обеде, данном 4 декабря 1863 г. петербургским Английским клубом по случаю избрания кн. А. М. Горчакова почетным его членом. Обед этот имел целью лишний раз засвидетельствовать сочувствие «высших кругов» петербургского общества к дипломатической кампании Горчакова в связи с польским восстанием. Подробности приема, оказанного Горчакову, скоро сделались достоянием печати. Так в «Московских Ведомостях» от 15 декабря (№ 273) появилась статья «Обед в Петербургском Английском Клубе в честь князя А. М. Горчакова»; статья эта была основана на сообщении, напечатанном уже в «Русском Инвалиде» от 11 декабря. Слова, сказанные Горчаковым в клубе, которые по мнению Тютчева заслуживали полной гласности, были ответом на спич, произнесенный старшиной Н. М. Толстым. Горчаков заявил, что сочувствие, проявленное к его деятельности членами клуба, имеет «более обширное значение». Самому Горчакову, по его словам,

выпала «завидная доля» послужить «точным и добросовестным исполнителем царской воли». Этим он и объясняет себе тот «сознательный восторг», с которым «вся Россия... подкрепила своим голосом» его ответы на ноты иностранных держав, ответы «имевшие целью опровергнуть неправильные притязания и оградить наше достоинство...» Каковы были действительные причины «сочувствия», проявленного известной частью русского общества к политике Горчакова, см. во вступительном очерке.

9

А. М. ГОРЧАКОВУ

Суббота, 11 апреля [1865].

Вот, князь, стихи, которые вы имели любезность просить у меня. Они незначительны и были написаны лишь из чувства долга... [1]

Что же касается немецкого вопроса, поднятого по поводу других стихов [2], лучших чем мои, вот что можно о нем сказать. Ломоносов сам имел своих Нессельроде и своих Будбергов [3] и все выдающееся в России, во все времена, имело своих, то-есть людей, ниже их по дарованию, которые пытались первенствовать над ними и притеснять их, в чем нередко и успевали, опираясь лишь на одни предпочтения, часто малообоснованные, на пристрастие так сказать инстинктивное, которое они встречали со стороны самой верховной власти. И вот это-то упорное соучастие верховной власти с чужеземным началом и способствовало более всего развитию в русской природе, наименее злопамятной из всех, чувства злопамятности по отношению к немцам, в то время как немцы, от мала до велика, наши и не наши, у которых нет конечно никакого повода питать чувство злопамятности к России, имеют к нам лишь физиологическое, а потому именно неискоренимое чувство неприязни, расовой неприязни. Едва ли это не наиболее разительная черта их национальности.

Но поразительно у нас то, что в течение долгого и не бесславного-таки царствования императрицы Екатерины чувство недоброжелательства к немцам казалось как бы усыпленным. Я нашел намедни объяснение этому в словах ее, приведенных в одном журнале. Говоря об одном немце, находившемся на русской службе, она перечисляла его высокие и прекрасные качества и прибавила в заключение, что она однако не решилась бы назначить его на какой-либо ответственный пост, потому что у него, как и у всех немцев, есть один в моих глазах огромный недостаток. — Это ее собственные слова. — Они не довольно уважают Россию...

Тысяча сердечных приветствий.

Ф. Тютчев

[1] При этом письме было послано стихотворение «Он, умирая, сомневался...», написанное по случаю исполнившейся 4 апреля 1865 г. столетней годовщины со дня смерти М. В. Ломоносова. Автограф стихотворения сохранился в Горчаковском архиве. Текст его опубликован Г. И. Чулковым в примечаниях к новому «Полному собранию стихотворений Тютчева» (М.-Л., изд. «Academia», т. II, 1934, стр. 402—403).

Впервые стихотворение было напечатано Д. Д. Благим в ежемесячнике «Ипокрена» (1917, октябрь) в иной редакции (по автографу, хранящемуся в Рукописном отделении Государственной Публичной Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде). Третий автограф того же стихотворения, отличающийся от двух предыдущих, но повидимому самый ранний, находится в ИРЛИ (см. «Полное собрание стихотворений», т. II, стр. 154).

[2] Стихи, возбудившие вопрос о немцах и их роли в русской истории послепетровского периода, принадлежат Аполлону Майкову. В своей первоначальной редакции стихотворение это, озаглавленное «Ломоносов» («В печали невская столица...»), создалось в 1865 г. в связи с ломоносовскими торжествами. В этих националистических стихах нашла свое отражение свойственная русской крупной буржуазии и части помещиков неприязнь к Германии как к растущему конкуренту России в экономической и внешнеполитической областях. Для Майкова Ломоносов явился «желанным посланцем с небес» и живым воплощением «русского духа» (См. «Полное собрание соч. А. Н. Майкова», изд. 4-е, СПБ, 1884, т. III, стр. 88).

14 марта 1865 г. А. В. Никитенко занес в свой дневник: «Был у меня А. Н. Майков и читал мне свои стихи, написанные для прочтения на обеде в честь Ломоносова. Стихи хороши, только сильно направлены против немцев. Тут видно влияние Л.

Я заметил Майкову: «Вы бросаете перчатку немцам». Без скандала, т. е. без демонстрации против немцев, ломоносовский праздник, кажется, не обойдется» («Записки и дневник», т. II, СПБ., 1905, стр. 225). Накануне он записал в своем дневнике следующее: «Большая суматоха по случаю приготовления к празднованию столетия после смерти Ломоносова. В Академии сегодня опять собиралась комиссия и рассуждала о выбитии в честь его медали. Академия, хотя неохотно, но решилась выбить ее от себя. В городе приготовляются тоже овации, в чем деятельно участвует Л. Ему, главное, хочется этим насолить немцам, которых он смертельно ненавидит, и я начинаю бояться, что из овации Ломоносову выйдет демонстрация против немцев. На днях был у меня Л. и много толковал о Ломоносове, о славянах и немцах...» (там же, стр. 224).

Упоминаемый в дневнике Никитенко Л. — Владимир Иванович Ламанский, автор брошюры «Столетняя память Михаилу Васильевичу Ломоносову 4 апреля 1865» (П., 1865). В этой брошюре Ламанский нападал на «исключительно немецкий характер петербургской академии».

Уместно напомнить, что на это засилие немцев в Академии наук ополчился однажды и Тютчев в своих известных стихах на забаллотирование А. Ф. Гильфердинга («Спешу поздравить. Мы охотно...» 1869 г.).

[3] Нессельроде и Будберг, имена коих Тютчев употребляет в нарицательном смысле, это предшественник Горчакова на посту министра иностранных дел гр. Карл Васильевич Нессельроде (1780—1862), и вероятно русский дипломат Андрей Федорович Будберг (см. примечания к письму 6).

10

А. М. ГОРЧАКОВУ

Воскресенье [24 апреля 1866 [1]].

Князь, я вам докучаю, но все равно... Прочтите, бога ради, в сегодняшнем Голосе большую статью о деле Каткова и вы тотчас постигнете опасность, действительную опасность положения... [2]

Итак, вот уже во второй раз плохая газета приходит якобы на помощь правительству, чтобы легче сбить его с дороги, и, задев за живое, заставить его до конца пройти тот путь, на который оно вступило... С таким помощником есть над чем призадуматься министру внутренних дел [3]. Но нет — он примет этого союзника так же, как принял первого, Современник [4], и, делая промах за промахом, мы дойдем до самых плачевных результатов. Страна окажется зрителем самого нелепого противоречия, а именно: в то самое время, когда одной рукой правительство пытается обуздать и подавить то, что называется нигилизмом, другой рукой оно сокрушит в печати единственный оплот консервативного и национального мнения, которому удалось образоваться и которого, поверьте, нигилисты страшатся гораздо больше, нежели правительственных мер, таких, какими они проявлялись до сих пор. Вы один, князь, способны избавить императорское правительство от такого скандала.

Тысяча приветствий.

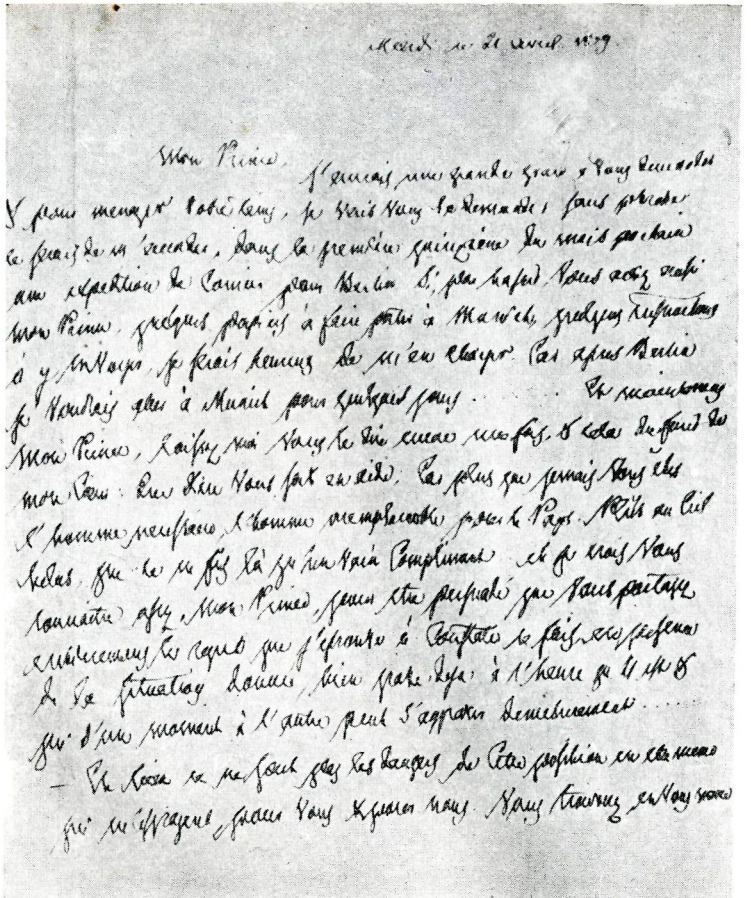
Тютчев

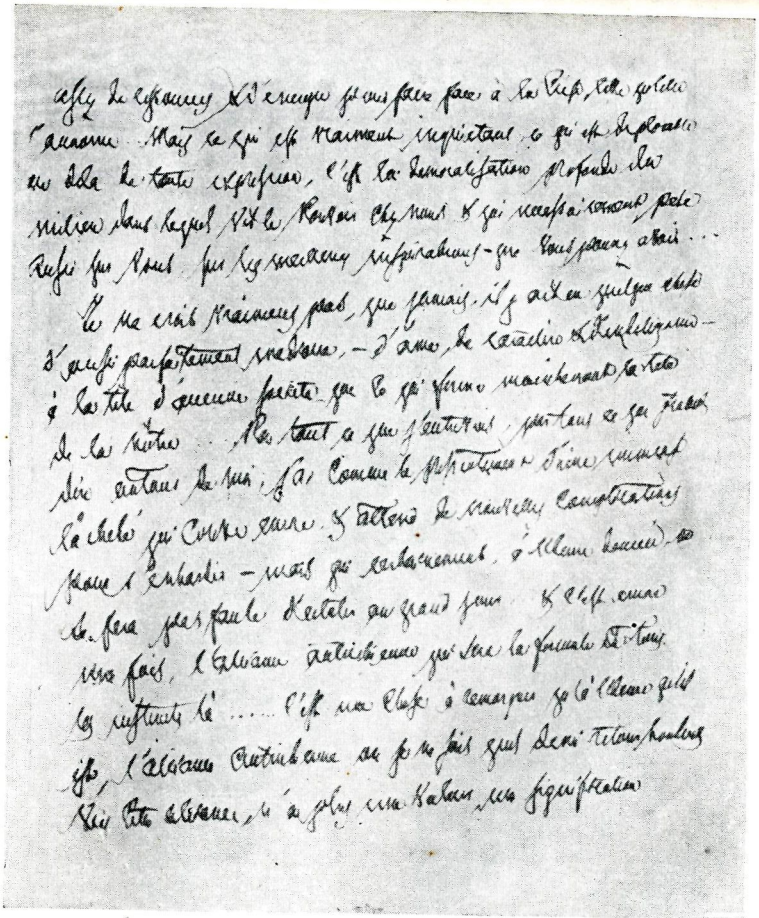
[1] В подлиннике дата поставлена не рукою Тютчева.

[2] В газете «Голос» от 24 апреля (6 мая) 1866 г. (№ 112) появилась статья «По поводу выходки «Московских Ведомостей» относительно «предостережения». 26 марта этого года в «Северной Пчеле» было напечатано распоряжение министра внутренних дел о первом предостережении «Московским Ведомостям». Предостережение делалось на том основании, что в конце передовой статьи № 61 этой газеты «правительственным лицам приписываются стремления, свойственные врагам России, и мысль о государственном единстве империи выставляется как бы мыслью новою, будто бы встречающею в среде самого правительства, предосудительное противодействие».

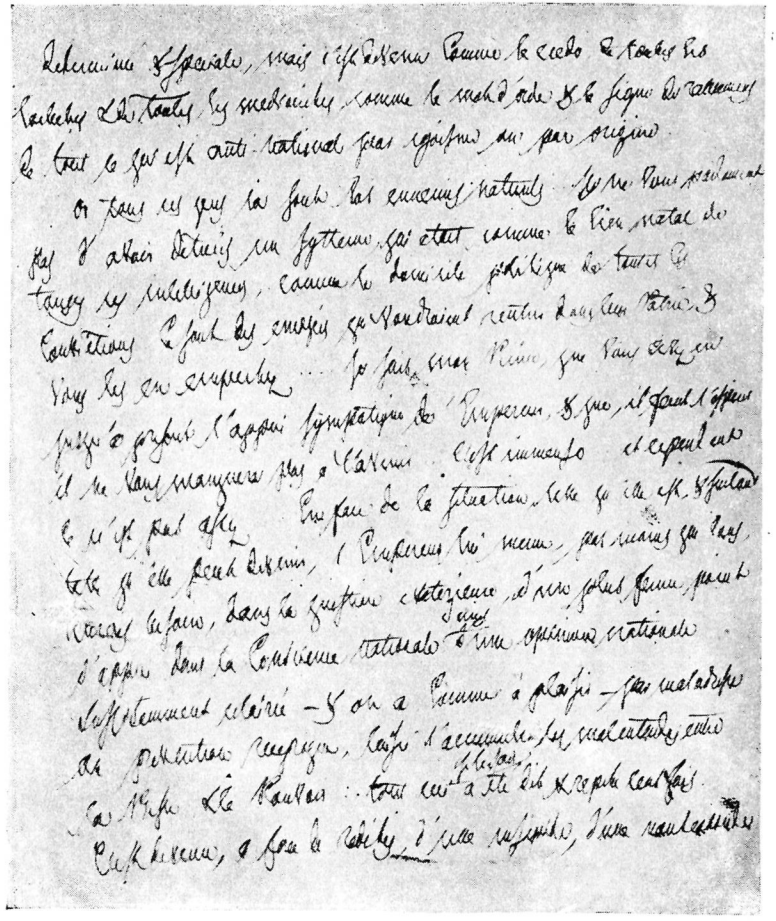
По тогдашним законам о печати повременное издание, получившее предостережение, обязано было напечатать его «в главе первого имеющего после того выйти в свет номера без всяких изменений или возражений». Газета, не напечатавшая предостережение, подвергалась в течение трех месяцев штрафу в размере 25 рублей серебром за каждый номер, а по истечении этого срока выпуск ее прекращался. Редакторы «Московских Ведомостей» «не приняли» сделанного им предостережения и, отказавшись напечатать его на столбцах своей газеты, решили платить в течение положенного времени штраф, а затем прекратить издание.

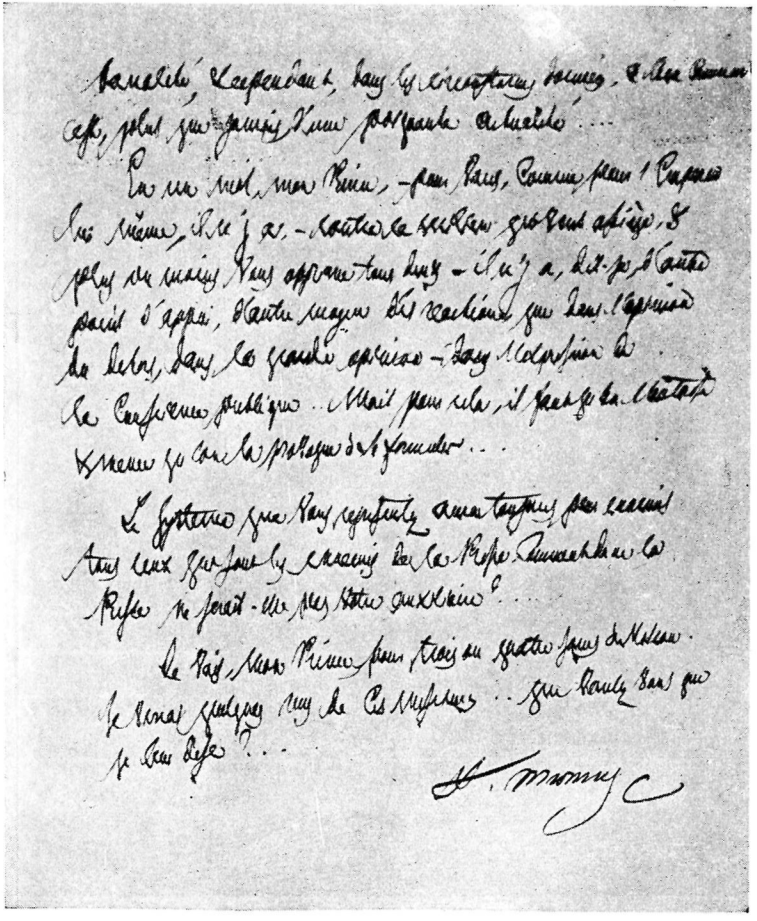
Вслед за заявлением «Московских Ведомостей» в «Голосе» появились две статьи по поводу этой «выходки»: первая — в № 93 от 5 (17) апреля, вторая — в № 112,





ПИСЬМО Ф. И. ТЮТЧЕВА к А. М. ГОРЧАКОВУ ОТ 21 АПРЕЛЯ 1859 г. СТРАНИЦЫ ПЕРВАЯ — ВТОРАЯ
Центрархив СССР, Москва





ПИСЬМО Ф. И. ТЮТЧЕВА к А. М. ГОРЧАКОВУ ОТ 21 АПРЕЛЯ 1859 г. СТРАНИЦЫ ТРЕТЬЯ — ЧЕТВЕРТАЯ
Центрархив СССР, Москва

та самая статья, которая вызвала встревоженное письмо Тютчева к Горчакову. Умеренно либеральный «Голос» считал себя «постоянным противником» «Московских Ведомостей».

Катков однако не думал уступать, найдя твердую поддержку со стороны некоторых правительственных деятелей, в частности недавнего усмирителя польского «мятежа» М. Н. Муравьева, только что назначенного председателем особой Следственной Комиссии по делу о покушении Каракозова.

И хотя крылья «виленского архангела Михаила» и красноречивое представительство Тютчева перед очень расположенным к Каткову за личные прежние услуги Горчаковым не могли оградить «Московских Ведомостей» от временной кары, более чем вероятно, что именно сочувствие к Каткову двух столь влиятельных лиц, как Горчаков и Муравьев, послужило причиной их досрочного возрождения. 6 мая «Московским Ведомостям» объявлено было второе предостережение, 7 мая — третье, с приостановлением газеты на три месяца, а уже 25 июня Катков, по личному желанию Александра II, возобновил свою издательскую деятельность.

Следует отметить, что вступаясь за «Московские Ведомости», Тютчев в то же время находил нетактичным их упорное «сопротивление министерству», как выразился Никитенко. Тот же автор занес в свой дневник 5 апреля: «Был у Тютчева... Разговор, само собою разумеется, все о покушении. Потом перешли к «Московским Ведомостям», которым готовится второе предостережение. Даже Тютчев, который до сих пор всегда держал их сторону, теперь недоволен ими» («Записки и дневник», т. II, стр. 283). Действительно, еще 3 апреля Тютчев телеграфировал члену редакции «Московских Ведомостей» А. И. Георгиевскому: «Убедительно просим вас немедленно выполнить требуемое законом» (Георгий Чулков, «Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева», М.-Л., изд. « Academia », 1933, стр. 176).

[3] С 1861 по 1868 г. министром внутренних дел был Петр Александрович Валуев (1815—1890).

[4] Тютчев очевидно намекает на следующее обстоятельство.

Весной 1865 г. русским повременным изданиям было предоставлено право выходить без предварительной цензуры, но взамен этого вводилась система «предостережений».

В конце ноября того же года И. С. Аксаков был поставлен в крайне щекотливое положение: до него дошли слухи, что журналу «Современник» готовится предостережение за напечатанную в октябрьской книжке статью М. А. Антоновича «Суемудрие Дня», направленную против аксаковской газеты «День». В передовой статье, помещенной в своем еженедельнике 4 декабря 1865 г., Аксаков писал: «Давно уже ничему мы так серьезно не радовались, как появлению в печати... статьи г. Антоновича... Слава богу, подумали мы... наконец-то настало у нас в России время, когда можно безбоязненно быть искренним в выражении своего мнения, можно не лгать и не лицемерить... Мы... радуемся, что наступает наконец пора, когда можно будет нам бороться с нашими противниками открыто, явно, без намеков, двусмыслий, иносказаний, одинаковым, равным оружием мысли и слова...». Между тем Аксаков уже знал, что *у одного из противников это оружие будет отнято, и — весьма озадаченный этой* «непрошенной помощью грубой внешней силы» — счел уместным напомнить: «Едва ли кто, при защите своих убеждений, терпел более от цензурной строгости, чем писатели славянофильского направления». Этим он как бы отстранял от себя оказанную ему «медвежью услугу» и заблаговременно заявлял о своей дальнейшей тактике. Он воспользовался при этом прозрачной формой «предположения»: «...если бы, — да простит нам правительство такое дерзкое предположение, — сей самый «Современник» был затруднен в откровенном выражении своих мнений, то... мнения, противоположные «Современнику», нашли бы неловким для себя нападать на сей, удостоенный преследования журнал» (см. «Сочинения И. С. Аксакова», т. VII, М., 1887, стр. 506—515).

4 декабря 1865 г. появились в печати эти строки Аксакова, а на следующий день в «Северной Почте» было объявлено предостережение «Современнику». Полемика, едва было открывшаяся, пресеклась в самом начале.

11

А. М. ГОРЧАКОВУ

Четверг.

Нечего и говорить вам, князь, как я был раздосадован непрошенной честью, лишающей меня возможности последовать вашему приглашению [1]... Соблаговолите, умоляю вас, сообщить это признание по принадлежности [2]... Я могу, не правда ли, рассчитывать на вознаграждение в ближайшем будущем, но не завтра однако, так как этим днем я не могу уже располагать.

Позволите ли вы мне, князь, выразить вам одно пожелание? Чем более я думаю о том замечательном документе, который вы изволили прочесть мне сегодня утром,

тем более убеждаюсь я в том, как полезен и важен он был бы для нас, если бы был обнародован... Не следует заблуждаться. Это документ гораздо большего значения, нежели простой дипломатический акт. Он касается — и замечательным образом — самой сути нашего положения по отношению к Европе... В одно и то же время он доставил бы большое удовлетворение национальному чувству и непременул бы сплотить вокруг нас все, что есть наиболее просвещенного и наиболее разумно либерального в направлении умов за границей, против нашего истинного личного врага, каким является Римская курия теперь, как и всегда... [3]

А затем — к чему таиться? — обнародование это только прибавило бы весу вашему личному влиянию, которое является по отношению к заграницe нашей силой, наиболее надежной и наиболее действительной в данную минуту.

Бога ради, князь, подумайте об этом.

Тысяча почтительных приветствий.

Ф. Тютчев

[1] Очевидно «непрошенной честью», оказанной Тютчеву, было приглашение ко двору или может быть к великой княгине Елене Павловне, у которой часто бывал поэт.

[2] Тютчев несомненно имеет в виду Н. С. Акинфову. О ней см. в примечаниях к письму 14.

[3] Очень вероятно, что Тютчев говорит здесь о «приложении» к циркулярной депеше Горчакова русским дипломатическим представителям за границей. «Приложение» это заключало в себе «краткое историческое изложение поступков Римской курии, приведших к разрыву сношений между папским престолом и императорским кабинетом и к отмене конкордата 1847 г.». О причинах, послуживших поводом к прекращению дипломатических сношений с папой, см. примечания к следующему письму.

Так как циркуляр Горчакова и «приложение» к нему появились в печати в начале января 1867 г., можно думать, что письмо Тютчева, если в нем действительно идет речь об этом самом документе, относится к концу 1866 г. или к началу января 1867 г. Датируем его предположительно.

12

А. М. ГОРЧАКОВУ

Вторник, 10 января [1867 [1]].

Князь,

переписка, обнародованная сегодня — достойное завершение вашей славной кампании 1863 года... [2] Я, как и все, испытываю потребность принести вам свои поздравления. Документ этот встретит громкий отклик в России... При чтении его передо мной как бы более ясно предстало все значение вашей действительной исторической миссии. Вы очевидно были призваны внести новое начало в дела мира, новую и весьма значительную силу, духовную силу России.

Вам будет принадлежать честь ее образования и обращения в политическую силу, а это — огромное событие.

Говоря исторически, вы оправдали и реабилитировали этого русского бога в его минутной слабости... И благодаря этой новой силе, введенной вами, польский вопрос вступил в свою окончательную фазу, в которую вступит и восточный вопрос...

Один древний грек, Эпаминонд [3], говорил, умирая, что он завещает Греции своих двух дочерей, победы при Левктрах и Мантинее. Вы, князь, имели уже свою битву при Левктрах, и я льщу себя надеждой, что вы на многие годы переживете свою победу при Мантинее. Это мое самое задушевное желание.

Ф. Тютчев

[1] Год устанавливается легко: 1) 10 января приходилось на вторник в 1867 г., 2) 10 января 1867г. был напечатан циркуляр Горчакова по поводу незадолго до того совершившегося разрыва дипломатических отношений с папским престолом.

[2] «Переписка, обнародованная сегодня» — циркулярная депеша вице-канцлера русским посольствам и миссиям от 7 января 1867 г. с особым «приложением» к ней. Тютчев прочел ее в «Journal de St.-Pétersbourg». Обнародование переписки явилось завершением дипломатических препирательств с папой, начавшихся в 1863 г. в связи с событиями в Польше и закончившихся расторжением конкордата, заключенного в 1847 г.

Тютчев приветствовал разрыв с Римом. Поэтому, когда осенью 1868 г. из одной беседы с Горчаковым он вынес впечатление о «вновь возникающем поползновении к сближению с Римским двором», тревоге его не было предела. «Странно, невероятно, немыслимо, но оно так!» восклицает поэт в письме к Аксакову (от 29 сентября 1868 г.) и предлагает печати, «хотя бы... редакции Москвы, серьезно и вполне чистосердечно заняться разрешением психологической задачи: отчего в наших правительственных людях, даже лучших из них, такая шаткость, такая податливость, такая неимоверная, страшная несостоятельность?» Причина этого, по мнению Тютчева, кроется в том, что все они «очень плохо учили историю и потому нет ни одного вопроса, который бы они постигали в его историческом значении, с его исторически-непреложным характером». Ни «сделки», ни «мир», ни даже «перемирие» с папством невозможны: «Папа — и в этом заключается его raison d'être — в отношении к России всегда будет поляком, в отношении к православным христианам на востоке — всегда будет туркою» (Мурановский архив).

[3] Эпаминонд — знаменитый фиванский полководец IV в. до н. э., одержавший в 371 и 362 гг. победы над спартанцами при Левктрах и Мантинее; в последней битве сам Эпаминонд был смертельно ранен.

13

И. С. АКСАКОВУ

Петербург, вторник, 18 апреля 1867.

Прежде всего, друг мой Иван Сергеевич, дайте обнять себя и от души поздравить и вас и жену вашу с великим праздником и наступающим днем рожденья Анны[1]. Я в долгу у вас за два письма. Первое из этих писем было, можно сказать, последнею посмертною передовою статьею Москвы[2]. Такую оно получило здесь гласность и известность. Я читал его встречному и поперечному, т. е. заставлял читать, сообщил кн. Горчакову, и теперь наконец письмо это успокоилось в собрании автографов графа Сергея Апраксина [3], большого вашего почитателя, который выпросил его у меня.

Сочувствие к Москве несомненное и общее. Все говорят с любовью и беспокойством: не умерла, а спит, и все ждут нетерпеливо ее пробуждения. Но вот в чем горе: пробудится она при тех же жизненных условиях и в той же органической среде, как и прежде, а в такой среде и при таких условиях газета, как ваша Москва, жить нормальной жизнью не может, не столько вследствие ее направления, хотя чрезвычайно ненавистного для многих влиятельных, сколько за ее неумолимую честность слова. Для совершенно честного, совершенно искреннего слова в печати требуется совершенно честное и искреннее законодательство по делу печати, а не тот лицемерно-насильственный произвол, который теперь заведывает у нас этим делом, — и потому неизменившейся Москве долго еще суждено будет, вместо спокойного плавания, биться, как рыба об лед.

Поездка государя в Париж пока дело решенное[4]. 13 будущего мая он отправится туда через Берлин и в сопровождении прусского короля[5], пробудет в Париже неделю, потом через Штутгардт, Карлсруэ проедет в Варшаву и Ригу... Едет с ним гр. Петр Шувалов[6]. В Париж, как говорят, будет призван из Константинополя Игнатьев[7]. Поедет ли [он] в Париж, это еще под спудом [sic!], а между тем от этого обстоятельства и зависит, по-моему, все значение этого дела. — Личная ли это интрига, которой благодушный монарх служит бессознательным орудием, или обдуманная, сознательная тактическая программа. — Вот по крайней мере какими нелепыми соображениями объясняют и оправдывают эту программу ее защитники.

Они говорят, что только подобным заявлением, каково будет личное присутствие обоих государей, можно надеяться при данных обстоятельствах настолько ослабить давление в смысле воинственного исхода, чтобы упрочить мир, по крайней мере на несколько времени, так как мы предвидим, что при состоявшейся войне мы непременно будем вовлечены в оную... К тому же вероятно мы надеемся, что, приобщив Наполеона к нашему союзу с Пруссией, нам удастся отвлечь его от Англии и через это найти возможным столковаться с ним, касательно, если не решения, то по крайней мере улажения восточного вопроса... Все это, как вы видите, есть ничто иное, как мудрость юродствующих и прозорливость слепотствующих. Все это сверх того обли-

чает, не говорю — непонимание, а совершенно превратное понимание судеб России и исторических законов ее развития... Грубейшее напр[имер] непонимание этой простой фактической истины — то, что если бы нам и удалось в самом деле умиротворить Запад, то этот умиротворенный Запад, неминуемо и совершенно логично, опрокинется на нас же всем грузом европейской коалиции. Эта-то полнейшая бессознательность своих жизненных условий, это-то совершенное извращение прирожденных инстинктов в нашей правительственной сфере, вот в чем если не гибель наша, то наш страшный камень преткновения. Но история все-таки возьмет свое, устранит и этот камень. Война состоится, она неизбежна, она вызывается всею предыдущею историею западного развития. Франция не уступит без бою своего политического преобладания на Западе,— а признание ею объединенной Германии законно и невозвратно совершившимся фактом было бы с ее стороны равносильно отречению ее от всего своего европейского положения. Борьба следственно неизбежна. Это будет первая сознательная племенная война между составными частями Европы Карла Велик[ого], т. е. первый шаг к ее разложению, и этим самым определится мировой поворот в судьбах Европы Восточной. Вот вопросы, которые неминуемо уяснятся до общего самосознания на предстоящей с х о д к е В с е с л а в я н с к о й[8], хотя, конечно, приостановка М о с к в ы в данную минуту отзовется страшным диссонансом в нашем [sic!] оратории.

Простите, дорогой Иван Сергеевич, мне стыдно этого безпутно длинного письма

[1] Днем рождения А. Ф. Аксаковой было 21 апреля. Пасха в 1867 г. приходилась 16 апреля.

[2] «М о с к в а» — ежедневная газета, издававшаяся И. С. Аксаковым с 1 января 1867 г. 30 марта того же года приостановлена на три месяца. Вот почему Тютчев называет полученное им частное письмо от Аксакова «посмертной передовою статьею Москвы». С 30 июня газета была возобновлена. В начале декабря «Москва», получившая за это время три предостережения, снова была приостановлена на четыре месяца. Запрещена окончательно в октябре 1868 г.

[3] А п р а к с и н, гр. Сергей Александрович (1830—1894) — флигель-адъютант, известный библиофил.

[4] Поводом к поездке Александра II в Париж послужило полученное им от Наполеона III приглашение посетить парижскую всемирную выставку. Поездка эта вызвала горячие протесты окружающих, в особенности Горчакова (ср. А. В. Никитенко, «Записки и дневник», т. II, стр. 332).

19 апреля 1867 г. (на другой день после печатаемого письма к Аксакову) Тютчев писал своей старшей дочери — жене Аксакова: «Вчера я описывал твоему мужу положение вещей таким, каким оно казалось окончательно решенным... Однако, ввечеру я видел князя Вяземского (Петра Андреевича. — *К. П.*), который сообщил мне, что узнал — но лишь в виде слуха, — будто весь вопрос возник снова из-за прусского короля, отказывающегося, как говорят, ехать в Париж, но и это не остановило бы нашего августейшего путешественника, лишь бы участвовал в путешествии прусский наследный принц. Он так настаивает на этом проекте, который здесь всем кажется безумным, что я начинаю думать, не кроется ли во всем этом какое-то божественное внушение, какое-то сверхестественное откровение. Впрочем, кто знает. Во всяком случае он может только выиграть, выйдя из одуряющей среды, в которой прозябает и очутившись в соприкосновении и столкновении с волей других людей, а не со своей одной. Встреча с Бисмарком была бы ему особенно полезна...» (перевод с французского.— Мурановский архив).

Последние слова звучат неожиданно. Славянофил Тютчев мечтает о встрече русского императора со злейшим врагом славянства. Но в тот момент поэт видел в нем прежде всего «наиболее энергичного и наиболее убежденного представителя национальной идеи», т. е. того, чего по его мнению недоставало русским, стоящим у власти.

Александр II выехал из Царского Села 16 мая 1867 г. и 20 мая прибыл в Париж. В свите его находился и кн. А. М. Горчаков. Туда же приехал прусский король в сопровождении Бисмарка.

Спустя месяц после этого Тютчев писал: «Возвращение князя Горчакова и все что я узнал от него, подтвердило мою предыдущую оценку положения. Парижский визит со всеми сопровождавшими его празднествами и происшествиями (25 мая поляк Березовский стрелял в Александра II. — *К. П.*) остался в конце концов лишь исторической фантасмагорией, не имевшей никакого, ни самомалейшего влияния на современные события, но не лишенной тем не менее известного характера и известного значения. Но все это не возымеет никакого непосредственного влияния на подготовляющиеся события, несущие с собою всякого рода кризисы и бедствия, и которые когда-нибудь выкажут в столь странном свете все эти вавилонские празднества, им пред

шествовавшие... Провидение, действуя как великий артист, готовит нам тут один из самых поразительных театральных эффектов... Под общество подведена мина, и вот за счет этой уже заряженной мины разыгрываются все эти подтасовки торжествующего в своей цивилизации и обнимающегося в мире и братстве человечества» (письмо к А. Ф. Аксаковой от 21 июня 1867 г. Перевод с французского. — Мурановский архив).

[5] Вильгельм I (1798—1888)—король прусский с 1861 г., впоследствии (с 1871 г.) император германский, дядя Александра II.

[6] Шувалов, гр. Петр Андреевич (1827—1889), государственный деятель, с 1866 по 1874 гг. главный начальник III Отделения и шеф жандармов. Назначение Шувалова на этот пост вызвало со стороны Тютчева следующую эпиграмму:

Над Россией распростертой
Встал внезапною грозой
Петр по прозвищу четвертый,
Аракчеев же второй.

[7] Игнатьев, гр. Николай Павлович (1832—1908)—дипломат, с 1864 по 1877 г. посол в Турции, в 1881—1882 г.—министр внутренних дел.

[8] Намек на Славянский съезд в России в 1867 г. См. ниже письмо Тютчева к Самарину и примечания к нему.

14

А. М. ГОРЧАКОВУ

Пятница, 21 апреля 1867.

С величайшим удовольствием, князь, узнал я вчера, что мы счастливо избегли одного из исходов дилеммы, которую я выдвигал намедни, и что поездка в Париж может быть отнесена к разряду случайностей. Теперь есть даже основания рассчитывать на то, что благодаря вашему присутствию это сможет превратиться в счастливую случайность. Не могу выразить вам, князь, как болезненно занимала меня эта неизвестность при плачевном состоянии моих нервов... [1]

Спасибо, князь, за вашу любезную память. Здоровие мое попрежнему никуда не годится и я не предвижу конца этому проклятому затворничеству... [2]

Передайте мои почтительные приветствия Надежде Сергеевне [3]. Блаженны здоровые, ибо они могут ее видеть!

Прочла ли она уже новый роман Тургенева? — Вот чтение, которое придется ей по вкусу и которое она сумеет оценить [4].

Ф. Тютчев

[1] О поездке Александра II в Париж см. в примечаниях к предыдущему письму.

[2] С 8 апреля 1867 г. и в продолжение всего мая месяца Тютчев страдал подагрой.

[3] Надежда Сергеевна Акинфова, рожд. Анненкова (1839—1891), внучатая племянница Горчакова. Разведясь с мужем, вышла замуж за герцога Николая Максимилиановича Лейхтенбергского и получила титул и фамилию графини Богарнэ. Ей посвящены стихотворения Тютчева «Как летней иногда порою...», «Как ни бесилося злоречье...» и «Велели вы, хоть может быть и в шутку...»

[4] Новый роман Тургенева — «Дым», напечатанный в мартовской книжке «Русского Вестника» за 1867 г. «Книжка Русского Вестника с «Дымом» — уже несколько дней, как получена, — но «Дым» еще читается и мнения о нем не успело еще составиться. Вчера я был у Ф. И. Тютчева, — он только что прочел и очень недоволен. Признавая все мастерство, с каким нарисована главная фигура, — он горько жалуется на нравственное настроение, проникающее повесть, и на всякое отсутствие национального чувства», так писал Тургеневу Боткин 23 апреля (В. П. Боткин и И. С. Тургенев, «Неизданная переписка», М.-Л., изд. «Academia». 1930, стр. 264). Повидимому слова Тютчева по поводу «Дыма» в его письме к Горчакову касаются как раз внешнего «мастерства» повести. Помимо свидетельства Боткина мы имеем еще два определенных указания на отрицательное отношение Тютчева к «Дыму»: во-первых, это анонимный экспромт, появившийся в «Голосе» (№ 170 от 22 июня 1867 г.) и принадлежащий поэту, — эпиграмма, насквозь пропитанная горькой досадой на «нравственное настроение» тургеневской повести:

«И дым отечества нам сладок и приятен».
Так поэтически век прошлый говорит;
А в наш — и сам талант все в солнце ищет пятен
И смрадным дымом он отечество коптит! —

во-вторых, это большое его стихотворение «Здесь некогда могучий и прекрасный...», написанное 26 апреля 1867 г.

15

Ю. Ф. САМАРИНУ[1]

Понедельник, 15 мая [1867].

Дорогой Юрий Федорович.

Полонский[2] недавно прочел мне стихотворение, написанное им для настоящего случая, и которое он хотел сообщить вам[3]. Я полагаю, что эти стихи могли бы вполне с честью появиться на одном из ваших собраний. — Кстати, о стихах: соблаговолите, пожалуйста, при чтении моих — если они будут прочитаны — восстановить зачеркнутую строфу, предпочтительно перед другой[4]. Простите мне эту мелочность стихотворца. — Amor nugarum...[5]

Я еще не осведомлен о том, что происходило вчера в Царском. Знаю только, что государь говорил с ними по-русски, а это — главное. Петербург хорошо справился со своим делом, теперь очередь за Москвой[6].

Чем больше я думаю, тем более прихожу к убеждению, что, помимо вопросов о подробностях и их применении, существует одна точка зрения, одна Grundansicht[7], которую надо особенно выдвинуть как в официальных речах, так и в частных беседах. И хотя, взятая отвлеченно, эта точка зрения кажется лишь общим местом, тем не менее, в ней заключается разрешение задачи. Все зависит от того, к а к славяне понимают и чувствуют свои отношения к России. В самом деле, если они — а к этому весьма склонны некоторые из них, — если они видят в России лишь силу — дружескую, союзную, вспомогательную, но, так сказать, внешнюю, то ничего не сделано и мы далеки от цели. А цель эта будет достигнута лишь тогда, когда они искренно поймут, что составляют о д н о с Россией, когда почувствуют, что связаны с нею той зависимостью, той органической общностью, которые соединяют между собой все составные части единого целого, действительно живого. Увы, через сколько бедствий вероятно придется им пройти прежде, чем они примут эту точку зрения, целиком и со всеми ее последствиями. Однако, и в настоящее время ясное и точное провозглашение этой истины в виде философской формулы было бы, по-моему, весьма кстати; и, конечно, никто, кроме вас, милый друг не в состоянии сообщить этому провозглашению большей полноты, значения и — авторитетности.

Я вполне сознаю, что для того, чтобы наша проповедь оказалась последовательной и действенной, нам следовало бы сначала обратить ее к тем, кто нами правят и являются официальными представителями России. Это их бы надо было сперва научить, каковы истинные их отношения к ней, — смотрите мол, что происходит. Смотрите, с какой безрассудной поспешностью мы хлопочем о примирении держав, которые могут притти к соглашению лишь для того, чтобы обратиться против нас. А почему такая оплошность? Потому, что до сих пор мы еще не научились различать наше я от нашего не я. Как же называют человека, который потерял сознание своей личности? Его называют к р е т и н о м. Так вот сей кретин — это наша политика.

Простите, дорогой Юрий Федорович, за всю эту болтовню — и счастливого пути.

Ф. Тютчев

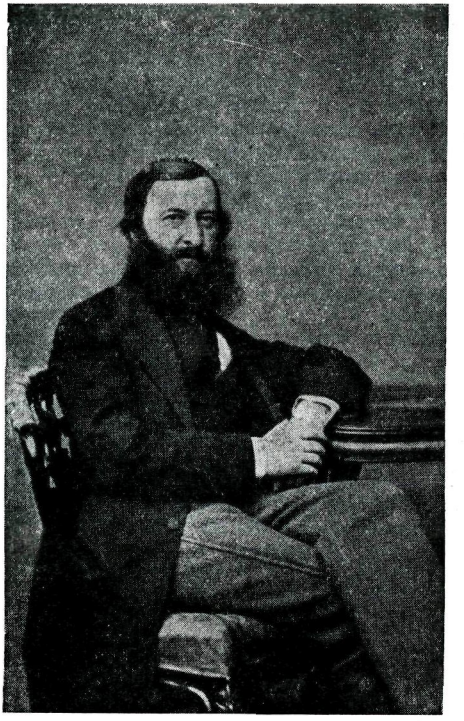
[1] С а м а р и н, Юрий Федорович (1819 — 1876) — известный общественный деятель и писатель, славянофил.

[2] П о л о н с к и й, Яков Петрович (1820—1898) — поэт, близкий знакомый Тютчева.

[3] Неясно, о каком стихотворении Полонского, написанном по случаю Славянского съезда, идет речь в письме Тютчева. В книге Н. А. Попова «Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года» (М., 1867), день за днем и в мельчайших подробностях передающей все события пребывания славян в России, приводящей дословно все сказанные им приветственные речи, стихи и даже тосты, нигде не упоминается о стихах Полонского. В двух изданиях сочинений Полонского (изд. Ж. А. Полонской — СПБ., 1885—1886 и А. Ф. Маркса — СПБ., 1896) нет ни одного стихотворения, которое по своему содержанию могло бы относиться к приезду славян в Россию.

[4] Тютчев имеет в виду свое стихотворение «Славянам» («Они кричат, они грозятся...»). В Государственном Литературном музее среди автографов семейного архива Тютчевых

Ю. Ф. САМАРИН
Фотография 1860-х гг.
Собрание Н. И. Тютчева, Москва



находится первоначальная карандашная запись этого стихотворения, значительно разнящаяся от окончательного текста. В этом автографе ряд зачеркнутых вариантов, зачеркнута и целая строфа:

Она раздвинется пред вами,
Обхватит вас и обоймет,
Потом сомкнется пред врагами
И к ним поближе подойдет.

Строфа эта изменена следующим образом:

Она расступится пред вами
И, как живой для вас оплот,
Меж вами станет и врагами
И к ним поближе подойдет...

Первоначальная редакция стихотворения относится к 11 мая 1867 г. На следующий день Тютчев присутствовал на обеде в честь славян у министра народного просвещения гр. Д. А. Толстого. В числе приглашенных был и Ю. Ф. Самарин, которому Тютчев мог передать свое стихотворение. Не лишено вероятности, что хранящийся в ЛМ автограф именно и находился в руках Самарина. Однако 16 мая Тютчев посылает Аксакову другую редакцию пьесы со следующей припиской: «Вот вам, любезнейший Иван Сергеевич, окончательное издание этих довольно ничтожных стихов, уже вероятно сообщенных вам Ю. Ф. Самариным. Не смейтесь над этою ребячески-отеческою заботливостью рифмотворца об окончательном округлении своего пустозвонного безделья» (подлинник принадлежит Н. И. Тютчеву). В этом «окончательном издании» Тютчев добавил лишнюю предпоследнюю строфу и снова зачеркнул восстановленное было чтение последней строфы: «Она раздвинется пред вами...» и проч. В такой редакции стихотворение было впервые напечатано в сборнике «Братьям-славянам» (М., май 1867 г., стр. 60—62).

[5] Латинская поговорка: «любовь или (пристрастие) к мелочам».

[6] Письмо это написано Тютчевым в связи со следующими событиями. В конце 1864 г. в среде состоявшего при Московском университете Общества Любителей Естествознания возникла мысль об устройстве в Москве всероссийской этнографической выставки. В 1865 г. программа выставки была расширена включением славянского отдела, к устройству которого были привлечены наиболее выдающиеся славянские ученые и общественные деятели. Открытие выставки состоялось 23 апреля 1867 г. в здании Манежа. Славянская депутация, состоявшая из 81 представителя различных

славянских народностей Балканского полуострова и Западной Европы, прибыла 8 мая 1867 г. в Петербург. В состав приглашенной на выставку славянской депутации не были включены только поляки, а самый съезд сопровождался различными демонстрациями против «отсутствующего Иуды». Кстати сказать, пустое кресло с такой именно надписью фигурировало на одном из официальных собраний во время съезда. На торжественном представлении оперы «Жизнь за царя» публика встретила шиканьем мазурку. «Так и пахнуло Муравьевщиной, Катковщиной, крепостниками, квартальными», писал по этому поводу Герцен («Мазурка» — «Колокол» от 15 июня 1867 г.). С момента приезда и до самого отбытия славянских гостей в Москву (15 мая) продолжалось их чествование. Следует отметить грандиозный банкет, устроенный Петербургским Дворянским собранием 12 мая. На этом банкете присутствовал и Тютчев, сидевший рядом с известным чешским политическим деятелем Ф. Ригером. Об этой встрече с Ригером Тютчев вспоминал впоследствии в одном из своих писем к кн. Е. Э. Трубецкой (от 6 декабря 1871). В качестве приветствия гостям было прочтено написанное по этому случаю стихотворение Тютчева «Привет вам задушевный, братья...». 14 мая славянская делегация представлялась в Царском Селе Александру II. Довольно бессодержательная беседа велась все время по-русски.

С 16 по 27 мая происходили празднества в честь славян в Москве. На одном из них — банкете, данном городом в Сокольниках (21 мая), — было прочитано стихотворение Тютчева «Они кричат, они грозятся...».

Вопреки чаяниям славянофилов эта «всеславянская сходка» оказалась лишенной какого бы то ни было политического значения.

[7] Т. е. *основная точка зрения.*

16

И. С. АКСАКОВУ

СПБ. *23* сент[ября] 1867.

Восточный вопрос двинут нами на один шаг вперед. Вчера мы сообщили французскому кабинету декларацию, которую собираемся предъявить, приглашая его присоединиться к ней, не не скрывая от него, что в случае отказа с его стороны мы все-таки предъявим ее от себя единолично [1]. Декларация эта заявляет, что, признав бесплодность своих стараний склонить Порту к принятию по отношению к ее поданным — христианам мало-мальски человечной политики, Россия отныне прекращает свои старания, предоставляя Турцию последствиям ее поведения и слагая с себя ответственность за все, могущее впредь произойти.

Чтобы оценить значение этой декларации, надо знать действительное положение вещей в настоящее время. При нашем посредстве только что состоялось соглашение между греками и сербами, и они ждут только нашего сигнала, чтобы подняться. Эта декларация и явится таким сигналом, и можно рассчитывать, что в скором времени пожар станет всеобщим.

Теперь вот каково положение, в которое поставит нас предпринятый нами шаг, особенно в том случае, если Франция — что вероятно — откажется присоединиться к нему. Признавая законность восстания христиан, мы приняли бы перед ними на себя обязательство оградить их от всякого иностранного вмешательства, хотя бы ценою войны. Таково положение.

Этим смелым шагом мы всецело обязаны личной инициативе Горчакова. Он был внушен ему как совокупностью политической обстановки, так и желанием поправить все глупости, наделанные Игнатьевым в Ливадии [2], вопреки определенному мнению и несмотря на все возражения князя. Его поступок стоит признательности; это несомненно благородное побуждение и вполне достойное его дипломатической кампании по данному вопросу.

Я сообщаю вам эти подробности отнюдь не для того, чтобы они были переданы потомству под каким бы то ни было видом в качестве ли слухов или известия о совершившемся факте. Это было бы преждевременно и могло бы повредить делу. Но вот что, я думаю, было бы возможно и даже полезно: в исчерпывающей статье о положении данного момента указать на шаг, подобный только что предпри-

нятому, как на desideratum, подсказываемое достоинством и интересами России и по этому поводу было бы только справедливо высказать сочувствие обычно национальным побуждениям политики Горчакова, стараясь при этом не слишком выдвигать его вперед в ущерб императору и т. д., и т. д., и т. д.

[1] Письмо это написано в связи со следующими политическими событиями.

В 1866—1867 гг. о. Крит был охвачен восстанием против Турции. Накануне нового 1867 г. Тютчев писал:

Опять Восток дымится свежей кровью.
Опять резня... повсюду вой и плач,
И снова прав пирующий палач,
А жертвы преданы злословью.

(«Хотя б она сошла с лица земного»)

Критяне пользовались поддержкой греков; сильное брожение при содействии русского правительства проникло вообще в среду христианских народностей на Балканах, и Тютчеву казалось, что именно теперь удобный для России момент, чтобы выступить с решительной политикой по восточному вопросу (ср. его стихотворение 1866 г. «Ты долго ль будешь за туманом Скрываться, русская звезда...», в особенности заключительные его строки: «Взгляни, чей флаг там гибнет в море. Проснись теперь иль никогда...»).

В апреле 1867 г. Россия, Франция, Северо-германский союз и Италия обратились к турецкому правительству с предложением предоставить восставшим критянам возможность высказаться путем плебисцита относительно будущего положения острова. С точки зрения держав наиболее желательной была добровольная со стороны Турции уступка острова Крита греческому правительству.

В ответ на отказ турецкого правительства все страны, выступавшие в апреле с одинаковым предложением, заявили о том, что они снимают с себя всякую ответственность за все могущие произойти последствия. Об этой декларации, сделанной по инициативе России, и пишет Тютчев.

Вопреки чаяниям поэта декларация эта оказалась весьма неблагоприятной по отношению к восставшим народностям: к концу 1868 г. восстание было подавлено с невероятными жестокостями.

[2] Летом 1867 г. Н. П. Игнатьев (о нем см. примечания к письму 13) присутствовал в Ливадии при приеме чрезвычайного турецкого посольства во главе с министром иностранных дел Мехамед Фуад-пашей (1814—1869). В августе того же года Тютчев писал своей дочери М. Ф. Бирилевой: «Фуад-паша приезжал в Ливадию и отбыл оттуда с лентой св. Александра. Что же случилось? Согласилась ли Турция на наши предложения, подписала ли наш меморандум? Ничуть не бывало. Я читал депешу Игнатьева, который отдает отчет канцлеру в том, что произошло. Хоть сквозь землю провались при виде подобной глупости и несостоятельности... Одни фразы, одни неясные обещания; ни одного обязательства, имеющего хоть сколько-нибудь серьезное значение. Бедный Горчаков протестует против ленты св. Александра и на сей раз снова его мнение не принимается во внимание. С ним не считаются, не находя нужным предугадывать чисто моральное впечатление, какое неминуемо произведет подобная несообразность не только на общественное мнение России, но и всего христианского Востока, а равномерно и всех остальных стран» (перевод с французского. — Мурановский архив).

В письме к И. С. Аксакову от 23 августа 1867 г. Тютчев однако отзывается гораздо спокойнее об этом событии: «Посольство Фуада-паши в Ливадии ограничилось разменом пошлостей, а данный ему орден вопреки мнению кн. Горчакова ничто иное как рутинная обрядность, имеющая значение только в том смысле, что подобная несообразность доказывает, как мало понимают современное настроение или как мало дорожат им» (Мурановский архив).

17

И. С. АКСАКОВУ

Петербург, 2 октября [18]67.

Ваша превосходная передовая статья от 30 сентября № 141 принята была здесь с большим сочувствием и признательностью...[1] Еще раз я имел случай убедиться, какое значение приобрело у нас слово печати, разумно-честной печати, особ-

ливо в правительственных сферах. Его еще не всегда слушаются, но всегда слушают... Касательно нашей декларации по восточному вопросу мы рассчитываем на безусловное согласие Пруссии и Италии. Французское правительство также соглашается приступить к ней, но просит некоторых изменений в редакции, которые будут приняты, если они не изменяют, не ослабляют смысла и значения[2]. В противном же случае мы предъявим наше решение отдельно, от своего имени, и это было бы самое лучшее, потому что согласие в словах все-таки не поведет к существенному согласию на деле. Все это дипломатические дрязги. Вопрос не в них, весь вопрос теперь заключается вот в чем. Вслед за нашим заявлением произойдет ли на Востоке о б щ и й в з р ы в, и в этом случае хватит ли в нас довольно решимости, довольно самоуверенности, чтобы ценою нашего н е в м е ш а т е л ь с т в а заручить восставшим христианам невмешательство со стороны западных держав. Вот на что, по-моему, должна теперь наша печать налечь всею силою своих убеждений. Это жизненный вопрос и для Востока, и для самой России.

Поэтому конечно желательно, очень желательно, чтобы взрыву на Востоке предшествовал взрыв на Западе... Усобица на Западе — вот наш лучший политический союз...

Очень бы было назидательно и даже эффектно, если бы с Рима загорелся Запад; что же до Франции, то обстоятельства ее сложились так, что ей нет другого исхода, кроме войны или новой революции, которая все-таки не избавит ее от войны.

Перед громадностью грозящих событий конечно места нет нашим жалким человеческим соображениям, но с нашей точки казалось бы, что в интересе всей Восточной, т. е. Русской, Европы самое желательное — продлить еще на несколько лет этот тлетворный мир, так сильно содействующий процессу разложения, а без полного, коренного разложения нельзя будет приступить к перестройке. Не в призвании России являться на сцене, как deus ex machina[3]. Надо, чтобы сама история очистила наперед для нее место...

По вопросам внешней политики в данную минуту значение нашей печати идет видимо в гору. В высшей сфере есть какое-то л и ч н о е с о р е в н о в а н и е в национальной политике и все сильнее и сильнее чувствуется потребность опираться на общественное мнение, но вот что и на печать налагает обязанность быть все более и более с о з н а т е л ь н о ю.

В заключение обращаюсь к вам с просьбою, любезнейший Иван Сергеич. Анне писать трудно, вам — некогда. Скажите Ване[4], чтобы он хоть раз в неделю извещал меня о здоровье Анны; ее здоровье — это мой личный восточный вопрос, и когда-то он разрешится? Господь с вами.

[1] Передовая статья «Москвы» от 30 сентября 1867 г. написана Аксаковым под непосредственным впечатлением от предыдущего письма к нему Тютчева и пересказывает основные мысли этого письма. В конце статьи, согласно наставлению Тютчева, Аксаков просит уделить некоторую долю внимания русскому общественному мнению, «неизменившемуся в своем доверии к главе наших дипломатов с знаменитой политической кампании 1864 года».

Немудрено, что статья Аксакова была прочтена Горчаковым «с признательностью».

[2] Некоторые изменения в декларации были сделаны.

[3] D e u s e x m a c h i n a – латинское выражение, обозначающее неожиданную, не вытекающую из действия драмы развязку, напр. в классической драме — появление богов, а в современной — новых лиц.

[4] Т ю т ч е в, Иван Федорович (1846—1909) — младший сын поэта. Окончив весной 1867 г. курс Училища Правоведения, с осени того же года служил в Москве в так называемом «старом» Сенате.

18

А. М. ГОРЧАКОВУ

С.-Петербург, вторник, 3 ноября [1870[1]].

Князь,

я не хочу последним присоединить свой голос к великому голосу страны, которая приветствует вас в эту минуту. Делаю это без оговорок и без опасений, успокоенный

сознанием того, чьей рукой направлен только что нанесенный смелый удар [2]. Здесь, как вы можете себе представить, все ликуют. И уже сегодня утром в Думе шла речь о благодарственном адресе, который должен быть поднесен государю.

Тысяча почтительных приветствий.

Ф. Тютчев

[1] В подлиннике проставлен 1871 г., однако не рукой Тютчева. Из содержания же письма явствует, что оно относится к 1870 г.

[2] Тютчев имеет в виду декларацию 19 октября 1870 г. об отмене стеснительных для России статей трактата 1856 г. Извещавшая об этом событии «циркулярная депеша государственного канцлера к представителям России при дворах держав, подписавших Парижский трактат от 18/30 марта 1856 г.», обнародована 3 ноября 1870 г. в «Правительственном Вестнике».

19

ИЗ ПИСЬМА А. Ф. АКСАКОВОЙ

Петербург, сего 7 ноября [1870].

...Итак, вы были очень удивлены пресловутым циркуляром, а между тем то, что я вам писал намедни, должно было бы подготовить вас к нему. Каково же истинное значение этого факта? Определить это нелегко. Нет сомнения в том, что честь почина принадлежит самому государю; он всегда рассматривал отмену договора 1856 г. как долг чести перед Россией, принятый на себя его отцом и который он торопился уплатить. Он сам говорил недавно, что эта забота стоила ему немало бессонных ночей. Это безусловно благородное чувство, которое нельзя достаточно ценить в нем... Теперь, имелось ли полное и всестороннее сознание своего поступка? Имелось ли достаточное понимание всей важности принятого решения? Увы! Думаю, что нет. Говорят, правда, что восточного вопроса поднимать не хотят, а это еще одна из наивностей, нам свойственных. Как всегда то же непонимание и себя самого и себя по отношению к другим, и как всегда наши же лучшие чувства подчеркивают эту невозможность взаимного понимания. Боюсь, что это лишь повторение, повторение 1854 года, когда здесь думали, что могут по своему усмотрению и на свой рост перекроить вопрос, который как в то время, так и теперь поднимали сами, потому что не понимали его. Да оградит нас господь в своем милосердии от еще более серьезных последствий вторичной ошибки. Что касается нас, что касается каждого любящего свою родину, наш долг очевиден. В инициативе правительства мы должны ценить лишь то национальное и поистине великодушное чувство, которое в ней действительно есть, и решительно отвергнуть все оговорки, сомнения и колебания. Здесь печать высказалась с большим достоинством и приличием, и нельзя достаточно пожалеть о том, что «Московские Ведомости» не придерживались той же умеренности, о чем свидетельствуют оговорки в форме сомнений, высказанные в конце большой Катковской статьи [1]. Ах! до какой степени это ничтожно и до какой степени мелочность слишком сильной индивидуальности отвратительна в такую минуту и перед лицом тех уроков, которые дает нам Франция. Разве бедная Франция не погибла именно в результате произвола отдельных личностей, которые не хотят признавать ничего вне самих себя. О, ослепление человеческое! И это еще одна из тысячи причин, говорящих в пользу скорейшего возобновления печатного органа подобного тому, каким была «Москва». Перед лицом того, что совершается, и того, что еще имеет совершиться, вы теперь поняли, думаю я, почему я рассчитываю на осуществление этой надежды вопреки всем препятствиям, которые может создать упорство глупости. Глупость в делах этого мира несомненно сила первого разряда, но ведь бывает же и такое положение, когда инстинкт самосохранения сильнее ее, а мы подходим именно к такому моменту. Ноты, полученные до сих пор, неприятны по тону, но не предвещают непосредственного конфликта. Это еще не война, но отношения будут более натянуты, чем когда либо, враждебность усилится. В первую минуту испуга постараются смягчить все это уступками и ухудшат положение. В конце концов поймут, надо надеяться, что

государство, точно так же как и отдельное существо, не может не подчиняться естеств ному закону и что всякая попытка в этом направлении не только бессильна, но все несет с собой свою жестокую кару. Да хранит вас бог.

[1] Точка зрения Каткова на политическое значение циркуляра высказана в р передовых статей «Московских Ведомостей» за ноябрь 1870 г. Суть их сводил к успокоению встревоженного общественного мнения Запада. Так например, в пере вой статье № 244 от 12 ноября, говоря о том, что «Россия не хочет возбужда восточный вопрос», Катков ссылался на то, что «она не только не помышляет исключительном протекторате над христианским населением Турции, но отказывае и от тех способов влияния, которых никто у ней не оспаривает». При этом он указ вал на два мероприятия русского правительства, совпавших с появлением циркуля во-первых, чрезвычайно высокий «почти запретительный» налог на русские перио ческие издания, шедшие на Восток — в Турцию и Грецию, и во-вторых, отказ в по бии на поддержку православных церквей в Сирии. Первой из указанных мер ка ются и те «оговорки» в конце передовой статьи «Московских Ведомостей» от 7 нояб 1870 г., о которых упоминает в своем письме Тютчев.

20

М. Ф. БИРИЛЕВА[1] и Ф. И. ТЮТЧЕВ — И. С. АКСАКОВУ

[Петербург] 12 ноября 1870

По части новостей запас мой к сожалению весьма скуден и ограничивается ли немногими ходящими по городу не особенно основательными должно быть слухам Напр[имер], дополняют телеграмму из Вены от 10/22 ноября о миролюбивом настр нии оттоманского кабинета[3] известием, будто он уже отнесся сюда с предложением судить сообща изменения, которым в силу нашей декларации, мы желаем подвергну спорные статьи Парижского трактата. Впрочем это вероятно скорее пророчество и выражение надежд не воинственно настроенных оптимистов, чем исторический фа Достоверно только, что представитель Турции в Петербурге[4] держит себя смир Бьюкенен[5] также притих совершенно, одни секретари посольства продолжают ратова в смысле статей английских газет, а общественное мнение посещаемых ими салон мало обуздывает пыл британского задора. О том, что происходит или предполагает в наших высших дипломатических сферах, не имеем сведений, так как папа все.е не виделся с своим сиятельным и сияющим другом[6]. Вот несколько строк, писанн под диктовку папа или вернее стенографированных с его слов; они главным обра вызваны негодованием и раздражением, которые возбуждают в нем статьи Каткова.

«Не в качестве жителя Петербурга, а как всякий русский желал бы я выясни как то самое заявление, которое кажется до того бесцветным не Москве, а опя таки *некоторым жителям* Москвы, *могло возбудить до такой степени,—не говор* негодование, а просто бешенство всей антирусской заграничной печати. Кто же нако вернее определил смысл этого заявления: весь ли антирусский Запад или несколь личностей, между нами — имеющих может быть право не безусловно доверять пра тельству, но которым бы не мешало проверять свои впечатления впечатлениями наш противников, в этом случае более нас беспристрастных. Или русская публика долж непременно походит на кухарку д'Аламбера[7], вбежавшую однажды в каком-то исп к нему в комнату с вопросом: справедлива ли молва, приписывающая ее господи необыкновенно умное сочинение? И когда же наконец мы перестанем противупоставля московскую публику публике петербургской? Чем же существенно разнится Англ ский клуб в Москве от Английского клуба в Петербурге, а не эти ли клубы — пр ставители этих двух публик? И откуда все эти превратные толкования, не уступающ ни в чем не менее превратным, но несравненно более сознательным заграничным ля толкованиям нашей циркулярной депеши? Где же в ней говорится о нашей готовнос *усилить гарантии для охраны* Турецкой империи? Она говорит только о *принят* новых мер к более прочному умиротворению Востока, а кто же из нас, кто хо поверхностно читал обнародованные в последних годах депеши кн. Горчакова, не зн и не понял, как мы разумеем умиротворение Востока? Не ясно ли из этих деп что мы не считаем иначе возможным это умиротворение, как дарованием полнейш

автономии тем из славянских племен, не получивших [sic!] ее еще от Турции? И, наконец, что это за патриотизм, что это за преданность русскому делу, которые, как в последних статьях «Московских Ведомостей», всегда готовы жертвовать им своему личному мнимо-обиженному самолюбию? Или как же объяснить себе хоть последнюю выходку Каткова в передовой статье 11-го ноября, где он, приведя сочувственные к нам заявления славянской печати, обращается к славянам с таким возгласом: о, бедные славяне Цислейтании! в настоящую минуту может быть совершаются ваши судьбы вопреки всем вашим сочувствиям![8] Что это? И что могла бы высказать более враждебного, более ядовитого для России в данную минуту самая неприязненная России мадьярская или польская газета? И если бы в самом деле было серьезное общественное мнение в Москве, мыслима ли была бы подобная выходка? И как, наконец, понять, что пример Франции, разрушающейся перед нашими глазами, не в состоянии несколько умудрить нас? Да отчего же гибнет Франция, отчего же никакой разумный общественный порядок не мог установиться в ней, как не от того, что в этой несчастной Франции самые благородные личности не могли никогда устоять перед искушениями своего личного задора во всех общественных вопросах. И мы еще после этого все будем толковать о том существенном различии, отделяющем духовную суть русского элемента от западных направлений! Странное дело самообольщение, и никогда оно так не пагубно, как когда ему подпадают лучшие люди...»

Изрекши это, папа потянулся на своей кушетке и сладко заснул. И я, исполнив смиренную должность секретаря, на сегодня прощусь с вами, добрейший Иван Сергеевич. Мама[9] и я получили Аннины письма — благодарим ее и нежно обнимаем, вам же дружески жмем руку.

Преданная вам Мария Б.

Вот последние стихи папа, воспевающие бессмертные прелести души неизвестной мне красавицы[10]. Написала ли Анна Е. Н. Карамзиной?[11] Следовало бы. Она так счастлива и так любит, чтобы вместе с ней радовались благополучию Кати[12].

И. С. АКСАКОВ
Фотография 1860-х гг.
Собрание Н. И. Тютчева, Москва.

[1] Бирилева, Мария Федоровна (1840—1872), рожд. Тютчева, младшая дочь поэта; с 1865 г. замужем за флигель-адъютантом Н. А. Бирилевым.

[2] И. С. Аксаков просил М. Ф. Бирилеву сообщать ему все известные ей новости, касающиеся правительственной декларации.

[3] «Journal de St-Pétersbourg» от 12(24) ноября 1870 г.: «Вена, вторник 22 ноября. Correspondenz Bureau извещает из Константинополя от 21 числа: «В хорошо осведомленных кругах уверяют, что Турция желает избежать какого бы то ни было конфликта с Россией и пытается убедить державы, подписавшие Парижский трактат, принять во внимание требования России».

[4] Конеменос-бей — турецкий поверенный в делах в 1869—1870 гг.

[5] Бьюкенен, сэр Андрью, английский посол в России с 1864 по 1871 гг.

[6] Кн. А. М. Горчаков.

[7] Д'Аламбер, Жан (1717—1783), — знаменитый французский энциклопедист.

[8] Не совсем точная цитата из передовой статьи «Московских Ведомостей» от 11 ноября 1870 г. По поводу утверждения мадьярской прессы о том, что «война с Россией будет в Австро-Венгрии популярнейшею из войн», и ответного заявления пражской газеты «Politik»: «война Австрии против России не согласна ни с интересами, ни с сочувствиями славянских народов», — Катков замечает: «Бедные славяне Цислейтании! Кто знает, быть может судьбы их уже совершаются, при чем о их сочувствии спрашивать не будут...»

[9] Тютчева, Эрнестина Федоровна (1810—1894), рожд. бар. фон-Пфеффель, вторая жена поэта, в первом браке бар. Дернберг.

[10] При письме приложена копия стихотворения Тютчева «Чему бы жизнь нас ни учила...», посвященного А. В. Плетневой. См. ниже в отделе сообщений письмо Тютчева к ней.

[11] Карамзина, Елизавета Николаевна (1821—1891) — дочь историка.

[12] Мещерская, Екатерина Петровна (1840—1925) — племянница Е. Н. Карамзиной; в 1870 г. помолвлена с гр. В. П. Клейнмихелем.

21

А. Ф. АКСАКОВОЙ

Петербург, 22 ноября [1870].

Да конечно, дочь моя, я был вполне удовлетворен адресом[1], на этот раз столь же формой, сколь и по существу, и правительство, которое послушалось бы благого внушения принять его во всей целости, оказалось бы весьма сильным пред лицом Европы. Но случится ли это? Можно ли рассчитывать на подобное внушение? Такое сомнение, увы! допустимо... В этом наше несчастье — в неурядице, в непоследовательности действий, происходящих в значительной мере от того, что нет у нас полного разуменья собственных инстинктов. Это же заставляет и других сомневаться в серьезности наших решений. А между тем в современном кризисе нет ничего серьезнее проявляемой решимости, нет ничего более действительно и благородно национального, как личное вдохновение государя. Надо всецело уверить себя в этом; теперь нельзя больше сомневаться в том, что мысль стряхнуть с себя позор последнего трактата была одной из величайших забот его жизни и не переставала преследовать его ни днем, ни ночью, и это в самом буквальном смысле слова... Ждали только благоприятной минуты. Говорят, что то же самое заявление было бы сделано еще в 1866 году, но тогдашняя война[2] оказалась недостаточно продолжительной для этого. Теперь несомненно общее положение Европы гораздо благоприятнее, и политика кабинета доказала бы свою косность и тупость, если бы не сумела использовать его; а такого упрека политика кабинета не избегла бы даже со стороны тех, кто теперь обвиняет его в излишней смелости. Что же касается твердости, с коей будет поддерживаться принятое решение то на таковую, думается, можно рассчитывать вполне — и в этом отношении, уверяют меня, император еще более непоколебим, чем его канцлер. Мы заявим на конференции то, что заявили уже всем кабинетам в отдельности, именно, что уничтожение статьи 14-й трактата является с нашей стороны совершившимся фактом и что мы не допустим никакого изменения этого факта. Что же касается прочих статей трактата, то мы согласимся на их обсуждение и вполне охотно пойдем на более точное определение условий и гарантий длительного умиротворения на Востоке. Те же, кто ознакомился в свое время с депешами, обнародованными князем Горчаковым, отлично знают,

что мы понимаем и что хотим сказать словами: умиротворение на Востоке. Это, в конечном смысле, широкая система административной автономии, дарованная христианам. Таково истинное положение в данный момент. То, что я здесь утверждаю, известно мне самым достоверным образом. Впрочем, стоит только прочесть печатаемую в настоящее время дипломатическую переписку, чтобы убедиться в этом. Но есть еще одно современное явление столь же несомненное, как и твердый и достойный образ действий нашего кабинета. Это — жалкое и даже омерзительное поведение петербургских салонов. Они превзошли мои ожидания, а это немало значит. Если бы еще это было чувство преувеличенной тревоги, но нет — это просто самое наивное выражение отсутствия всякого национального чувства и понимания. На этом первоначальном фундаменте воздвигаются еще всякого рода жалкие личные соображения, мелкие скверные инстинкты и т. д. и т. д. Я встречал бывших министров и теперешних государственных деятелей, которые, на основании изречений иностранной прессы, краснели самым искренним образом от ужасного скандала, в коем мы провинились, отринув одной своей собственной волей статью трактата, а иные заявляли, что впредь они не решатся смотреть иностранцам в лицо... Буквально так, и они изливали все эти дурачества с выражением раскаянья и добродетельной грусти. Для дополнения картины это глупое и бестолковое отродье иностранных дипломатов, принимающее всерьез все манифестации наших, так называемых, аристократических салонов и извлекающее бесконечные выводы из этой оппозиции высших классов против усвоенной правительством политики. Так что я наконец заявил некоторым из сих господ дипломатического корпуса, что они с таким же успехом могли бы справиться о настроениях страны у французской труппы Михайловского театра, как и в любом салоне или кружке изысканного общества Петербурга, в виду того, что ни те, ни другие не имеют решительно ничего общего с Россией; правда, все это касается лишь общества салонов. Что же касается широкой публики, то ее мнение, в общем, точно воспроизводится здешними органами печати. Иностранная же пресса тоже вполне поняла, в чем дело, чем и объясняется ее вполне обоснованное раздражение. Она почуяла, что вновь овладев нашей независимостью на почве восточного вопроса, мы тем самым отвергли и свели на-нет опеку, присвоенную на этой почве западными державами; таковы положительно смысл и значение принятого нами почина. Но мои пальцы так онемели, что мне невозможно продолжать. Храни вас бог.

[1] Адрес Московской Городской думы. См. об этом во вступительном очерке.
[2] Т. е. австро-прусская война.

22

А. Ф. АКСАКОВОЙ

Петербург, сего 1 декабря [1870].

Я до сих пор откладывал ответ на твое письмо от 25-го за отсутствием оказии. По отношению к переписке мы находимся в положении, подобном положению парижан: добрый Батюшков [1], вот мой аэростат — минус отклонения...

Есть стихи Микель-Анджело, где говорится следующее о том времени, когда он жил:

Mentre che il danno e la vergogna dura
Non sentir, non pensar é gran ventura[2].

Что означает по-русски: пока глупцы царствуют и управляют, умные люди должны бы молчать. Таков смысл адреса, о котором идет речь и который, коснувшись самого больного вопроса, раскрыл во всем блеске все сокровища глупости, невежества и бездарного раболепства, скрытые в русском обществе. И не он один, дорогой бедняга [3], получил неприятное и совершенно ложное впечатление, сбитый с толку как всегда у нас неправильными историческими аналогиями, почерпнутыми из неопределенных воспоминаний о чем-то давно прочитанном. Ведь дошел же он до того, что увидел в этом не совсем лойяльную и конечно не совсем патриотическую попытку злоупо-

требить обстоятельствами минуты, чтобы навязать ему нечто вроде конституции. Большая часть общества тотчас же инстинктивно примкнула к этой остроумной точке зрения и даже среди людей, которых никак нельзя назвать глупцами или подлецами, твердо укоренилось убеждение, что манифестация несвоевременна. И при этом случае, наивно проявилась истинная природа отношений этого прелестного общества к верховной власти. Слушая эти выражения встревоженной почтительности, было бы можно подумать, что речь идет даже не о больном, нервы и idée fixe которого должно оберегать от всякого возбуждения и раздражения, а скорей о каком-то пугливом звере, к которому нельзя подойти иначе, как тщательно спрятав малейший лоскуток красной материи, который случайно имеешь на себе. И как будто никому в голову не приходят те страшные выводы, к каким логически приводят подобные опасения.

Что же, если это так, будем достаточно мужественны духовно, чтобы сказать, что, несмотря на мнимую его несвоевременность, великая заслуга адреса и заключалась в том, что он разоблачил такое состояние отупения умов; в моих глазах большая честь для Аксакова, несомненно им заслуженная, и состоит в том, что он приложил руку к этому адресу в настоящем его виде... Это было первое проявление со стороны общества во имя самых лучших национальных чувств, против отвратительных влияний, преобладающих в настоящее время. Словом, это был протест во имя русского абсолютизма против абсолютизма иностранного происхождения, являющегося, не скажу — его карикатурой, но прямым его отрицанием. Ибо абсолютизм — этот режим, заимствованный нами у дряхлого общества, этот осадок, этот caput mortuum всякой отжившей цивилизации, отрицает всякий моральный элемент в человеческом обществе. Между тем, русский абсолютизм прежде всего сила нравственного порядка, все дело в этом, и только отдав себе полный отчет в непримиримом антагонизме этих двух принципов, находящихся в непрестанной борьбе между собой не только в обществе, но и в сознании самого монарха, можно правильно оценить положение, в котором мы находимся в настоящее время, и строить предположения относительно будущего. Ибо продолжение этой борьбы может только ухудшить дело и в конце концов привести к катастрофе. И к несчастию, надо признать, что борьба, о которой идет речь, могла бы прекратиться лишь в результате чуда, т. е. нравственного переворота в сознании членов самой династии. Возможно ли такое чудо, есть ли на него надежда?.. Существуют ли в истории примеры того, чтобы власть, утратившая сама всякую веру в правоту своей цели, когда-либо сумела вновь обрести это сознание? А без этой веры как будут они существовать?.. Мне рассказывали, что недавно министр внутренних дел[4], говоря о России, утверждал, что это единственная страна в Европе, где консервативный элемент [пропуск в подлиннике].

Вот оценки и точки зрения, при помощи которых нами управляют и которые рукодения оно добавило к чертам, характерным для этого происхождения, новую черту, водят нашей судьбой.

Грубо материалистический и атеистический абсолютизм, единственное учение, доступное этим умам, имеет у нас еще ту особенность, что будучи иностранного происхождения оно добавило к чертам, характерным для этого происхождения, новую черту, самую отличительную из всех — презрительную и тупую ненависть ко всему русскому, инстинктивное, так сказать, непонимание всего национального — таково их сознание... И вот почему, если случается, что по какому-либо вопросу в сознании самого монарха проявляются какие-то проблески национального чувства, эти люди совершенно теряются и только благодаря их раболепству им удается хоть сколько-нибудь скрыть свое разочарование. — Это-то и произошло с ними недавно по поводу знаменитого циркуляра, который именно благодаря известному вдохновляющему его национальному чувству, раздражил их еще больше, чем напугал. Ведь разумеется, не предвидение возможной минуты слабости со стороны кабинета так рассердило их; скорее именно наоборот: все более и более обоснованные опасения, что Россия будет тверда и заставит иностранные державы отступить перед собой. А повидимому именно это в действительности и произойдет. Государь говорил недавно канцлеру, что в нашей демонстрации

ему больше всего нравится именно форма, и нельзя достаточно быть ему благодарным за то, что он почувствовал это, за то, что он понял, что на этот раз существенна именно форма, что в ней вся суть вопроса. Конференция соберется в течение этой недели и русский уполномоченный [5] имеет предписание удалиться при первом настойчивом требовании со стороны держав, чтобы Россия отказалась от своей точки зрения. Но можно быть уверенным, что до этого дело не дойдет. На днях американский посланник [6], человек серьезный и весьма влиятельный у себя дома, говорил конфиденциально, что Америка ближе к войне с Англией, чем Россия, тоже и другие и т. д. и т. д. Продолжение вскоре.

[1] Батюшков, Помпей Николаевич (1811—1892) — брат поэта К. Н. Батюшкова, издатель ряда трудов по археологии и этнографии России. В 1870 г. Тютчев несколько раз пересылал свои письма к Аксаковым через Батюшкова во избежание перлюстрации. Намек на «положение, подобное положению парижан» очевидно связан с прекращением возможности непосредственных сношений между осажденным Парижем и внешним миром.

[2] В стихотворном переводе Тютчева (1855 г.) эти строки звучат так:

О, в этот век преступный и постыдный,
Не жить, не чувствовать — удел завидный.

[3] Т. е. Александр II.

[4] Тимашев, Александр Егорович (1818—1893) — генерал-адъютант, министр внутренних дел с 1868 по 1878 г.

[5] Брунов, бар. Филипп Иванович (1797—1875) — дипломат, русский посол в Лондоне с 1840 по 1853 г., с 1868 по 1874 г.; получил графский титул за участие в лондонской конференции 1871 г. Насколько заслужена была эта награда можно судить по данным, приведенным М. Н. Покровским в его книге «Дипломатия и войны царской России» (стр. 241—243).

[6] Кертин — американский посланник в Петербурге с 1869 по 1873 г.

23

А. М. ГОРЧАКОВУ

Да, вы сдержали ваше слово:
Не двинув пушки, ни рубля,
В свои права вступает снова
Родная русская земля.

И нам зевещанное море,
Опять свободною волной,
О кратком позабыв позоре,
Лобзает берег свой родной.

Счастлив, в наш век, кому победа
Далась не кровью, а умом,
Счастлив, кто точку Архимеда
Умел сыскать в себе самом.

Кто, полный бодрого терпенья,
Расчет с отвагой совмещал [1] —
То сдерживал свои стремленья,
То своевременно дерзал.

Но кончено ль противоборство?
И как могучий ваш рычаг
Осилит в умниках упорство
И бессознательность в глупцах? [2]

Вторник [6(?) декабря 1870] [3].

Вот, князь, статья, о которой я вам говорил, я отметил закладкой стихи, где идет речь о циркуляре [4]. Это конечно лучшая оценка, данная ему в нашей печати: вся статья замечательна. Жалко, что она написана несколько тяжелым и несколько бледным слогом.

А так как мои рифмы снискали ваше расположение, вот, князь, более точны и более полный их список[5].

Тысяча сердечных приветствий.

Ф. Тютчев

[1] Вариант: Расчет с отвагой сочетал.

[2] После текста карандашная помета неизвестной рукой: 1870, декабрь.

[3] Предположительно относим это письмо к 6 декабря 1870 г., так как этот де приходился во вторник. Эта дата кажется более вероятной, чем например 13-е, 2(или 27 декабря, также приходившиеся на вторник, так как она ближе к появлени в печати циркуляра и не отделена от него событием, тяжело поразившим Тютчев смертью брата (8 декабря).

[4] О какой статье и о каких стихотворениях пишет Тютчев — выяснить не удало Не об этой ли статье писал Тютчев В. И. Ламанскому: «Я говорил к[няз Горчакову о брошюре. Он еще ее не получал, но желал бы почитать. Не можете . вы, любезнейший Владимир Иваныч, доставить ее мне часов на несколько» («Русск Мысль» 1915, кн. XI, стр. 130). Записка эта не датирована и лишь помече пятницей.

[5] Настоящий текст является более полной и, судя по словам самого Тютчева, окс чательной редакцией этого стихотворения. В Горчаковском архиве сохранилась е одна его запись — также рукой Тютчева — без четвертой строфы и с разночтения трех последних стихов:

И как осилит ваш рычаг
В домашних умниках упорство
И глупость в родственных глупцах?

Там же хранятся два экземпляра литографированной копии этого стихотворения на одном листе с другими стихами на ту же тему, принадлежащими инспектору класс Воспитательного общества благородных девиц в Смольном институте К. Тимофее В литографированной копии, озаглавленной «Послание», имеются следующие вариант правда, внушающие мало доверия в их действительной принадлежности Тютчеву:

ст. 1: Да, вы сдержали свое слово
— 16: То положительно дерзал.

Третий автограф этого стихотворения хранится в семейном архиве Тютчевых (Л и повидимому является промежуточным между двумя автографами Горчаковск архива. От окончательного текста он отличается только отсутствием четвертой стро и иным чтением заключительного стиха:

И сдвинет глупость в дураках.

Стихотворение впервые увидело свет только после смерти автора.

И. С. Аксаков привел три первые строфы в своем биографическом очерке Тютче («Русский Архив» 1874, вып. 10, столб. 322—323; см. также «Биография Ф. И. Тю чева, М., 1886, стр. 261). Здесь также имеются варианты в 3 и 12 строках:

ст. 3: В свои права вступить готова
— 12: Умел найти в себе самом...

Происхождение этих разночтений нам неизвестно. Полностью — в сокращени редакции (по автографу архива Тютчевых) — стихотворение появилось в издании со нений Тютчева 1900 г. (стр. 348). Текст этот, в котором только предпоследний ст читается отлично от автографа («Ослабит в умниках упорство»), с этих пор сделал общепринятым. В первом посмертном собрании сочинений Тютчева (СПБ., 18 стр. 348—349) краткая редакция стихотворения была напечатана полностью, с вариантами аксаковского текста. До последнего времени оно ошибочно относило к 1871 г.

24

А. М. ГОРЧАКОВУ

Страстная суббота [27 марта[1] 1871].

Вот, князь, вирши, которые вы пожелали у меня спросить[2], и разрешите мне в пользоваться этим случаем, чтобы раньше всех сказать вам: Христос воскрес Сколько людей в этой необъятной России почли бы себя счастливыми, ежели бы о могли обратиться к вам с тем же приветствием и в тех же условиях преданной бл зости, в каких нахожусь я по отношению к вам.

Ф. Т.

АНГЛИЙСКАЯ КАРИКАТУРА, НАПРАВЛЕННАЯ ПРОТИВ ЗАХВАТНИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ ЦАРСКОЙ РОССИИ

[1] В подлиннике дата 27 марта» проставлена не рукою поэта. Год определяется по содержанию письма.

[2] К письму приложено в копии М. Ф. Бирилевой стихотворение Тютчева «Пятнадцать лет с тех пор минуло...», написанное по поводу упразднения стеснительных для России статей Парижского трактата. Напечатано впервые в издании «Стихотворения к живым картинам, данным в пользу Славянского Благотворительного Комитета 29 марта 1871 г.». (СПБ, 1871, стр. 43—44). В копии Горчаковского архива стихотворение помечено 8 марта.

25

А. М. ГОРЧАКОВУ

[С.-Петербург, конец января 1873 г.] [1]

Дорогой князь,

болезнь не только зло сама по себе, она и потому еще зло, что уничтожает все средства, способные ей противодействовать. Так например я отлично сознаю, что ничто не могло бы более оживить меня, чем пять минут, проведенные в вашем обществе, *в чем я зачастую убеждался, приходя к вам по утрам. Ваша речь, такая живая,* производила на мою онемевшую голову действие освежительного душа. И на этот раз я не желал бы быть ни у кого, кроме вас. Буду терпеливо ждать той минуты, когда мне позволено будет совершить это паломничество. Я решительно возражаю против всякого неблагоразумия с вашей стороны, так как в отношении здоровья умоляю вас заботиться только о своем и о тех предосторожностях, которые оно вам предписывает, ибо я инстинктивно чувствую, что в настоящий момент вы предпринимаете нечто значительное, затрогивающее в высшей степени честь и интересы страны, — и я уверен, что и на сей раз вы преодолеете все затруднения к всеобщему удовлетворению, *что обычно встречается реже, нежели вполне разумная оценка значения успеха.*

Ободряющая снисходительность, с какою вы принимаете мои вирши, побуждает меня направить к вам прилагаемый плод последней бессонной ночи по поводу великого события дня. Это приблизительно рифмованная аналогия большой намеднишней статьи в «Journal de St-Pétersbourg», подводящей в такой полной мере итог всему тому, чем Россия обязана самой себе и правде[2].

Итак, берегите себя, дорогой князь, и поправляйтесь как можно скорее, ибо Россия нуждается в том, чтобы чувствовать себя поставленной на ноги.

Тютчев

[1] Датируется концом января 1873 г., так как статья, о которой упоминает Тютчев появилась в «Journal de St-Pétersbourg» от 23 января 1873 г.

[2] «Вирши», посланные Тютчевым Горчакову, являются, с одной стороны, свидетельством почти болезненного влечения умирающего поэта к стихотворчеству наряду с явным упадком поэтических сил, с другой стороны — отражением его неослабного внимания к газетным новостям. В этом отношении стихотворение это, несмотря на всю его неудобочитаемость, не лишено для нас известного интереса. По форме своей — это чисто политическая басня:

Британский леопард
За что на нас сердит?
И машет все хвостом
И гневно так рычит?
Откуда поднялась внезапная тревога?
Чем провинились мы?
Тем, что в глуби зашед
Степи среди-азийской,
Наш северный медведь —
Земляк наш всероссийский —
От права своего не хочет отказаться
Себя оборонять, подчас и огрызаться
В угоду друзьям своим,
И хочет перед миром
Каким-то быть отшельником, факиром.
И миру показать, и всем воочию
Всем гадинам степным
На снедь предать всю плоть свою.
Нет, этому не быть! и поднял лапу;
Вот этим леопард и был так рассержон
«Ах, грубиан! Ах, он нахал!»
Наш лев сердито зарычал;
«Как он, простой медведь, и хочет защищаться
В присутствии моем и лапу поднимать,
И даже огрызаться.
Пожалуй, это дойдет до того,
Что он вообразит, что есть [и] у него
Такие же права,
Как у меня, сиятельного льва.
Нельзя же допустить такого баловства».

(Стихотворение напечатано впервые в издании сочинений Тютчева 1900 г. Текст, помещенный там, носит следы редакторской правки. Приводим стихотворение в ином чтении, в основном придерживаясь записи Д. Ф. Тютчевой, сохранившейся в Горчаковском архиве).

«Вирши» Тютчева действительно являются рифмованным пересказом одной статьи «Journal de St-Pétersbourg» по вопросу русской среднеазиатской политики. По свидетельству И. С. Аксакова Хивинский поход «сильно занимал» поэта «и он с самого начала внимательно следил за ним по газетам» («Биография Ф. И. Тютчева», М., 1886, стр. 316).

Воинственное продвижение русской колонизации в Среднюю Азию немало тревожило английские деловые круги. Известный ориенталист и член индийского совета сэр Генри Раулинсон (ярый враг «расширения России) предсказывал, что русские, дойдя до Мерва, заберут в свои руки ключ от Индии. С 1869 г. возникли переговоры о создании «нейтрального пояса» между русскими и английскими среднеазиатскими владениями. Русское правительство соглашалось признать такой нейтральной полосой Афганистан, но вопрос об определении афганских границ тянулся в течение целых трех лет. Только в январе 1873 г. Россия сделала Англии существенную уступку, признав афганскими владениями две северо-восточные области — Вахан и Бадахшан. Эта уступка «была вызвана желанием» устранить противодействие Англии решенному

тогда же походу на Хиву» (С. С. Татищев, «Император Александр II», т. II, стр. 122).

С этим самым моментом в русско-азиатской политике непосредственно связана та статья в «Journal de St-Pétersbourg», которая в глазах Тютчева имела столь выдающееся политическое значение и смысл которой он пытался передать в поэтических образах.

26

А. М. ГОРЧАКОВУ

Дорогой князь,

наиболее досадным в нелепом происшествии вашего крестника с Ляминым[1] я нахожу не самое происшествие, как бы досадно оно ни было, а то заметное старание держать в стороне от этого дела единственного государственного человека, который по своему личному положению, по тому нравственному весу, который он себе снискал, мог бы вмешаться в него с надеждой обеспечить успешное разрешение вопроса.

Действительно одна ваша личность — довод за то, что можно быть влиятельным государственным человеком, оставаясь человеком благовоспитанным, — истина, которую досадно не признать. Одним из наиболее прискорбных обстоятельств является это предвзятое мнение избегать во всех затруднительных случаях привлечения к делу людей, наиболее способных его разрешить, но некоторая независимость ума и характера коих делает их менее приятными правительству и заставляет предпочитать им других, считающих более важным угождать, нежели служить. Я хорошо знаю, что благонамереннейшие предупреждения в подобном случае лишь возбуждают и увеличивают подозрения. Это вечно одно и то же, но такова ведь и человеческая совесть [?].

Вчера вечером меня посетил Бюлер[2], все еще находившийся под обаянием последней беседы, которую он имел с вами.

Мое здоровье нисколько не улучшается, но не невероятно, что все это не разрешится приступом подагры, чем я был бы чувствительно польщен, ибо это создало бы лишнюю связь между вами и мной[3].

Искренне вам преданный

Ф. Т.

Пятница, 9 февраля [1873].

[1] В этом письме идет речь о столкновении московского губернатора П. П. Дурново с новым московским городским головою Иваном Артемьевичем Лямминым. В чем было дело рассказывает в своих «Воспоминаниях» Б. Н. Чичерин: «Новый голова надел присвоенный ему новым городовым положением мундир и поехал представляться генерал-губернатору (кн. В. А. Долгорукову. — *К. П.*). Затем надобно было явиться к губернатору Петру Павловичу Дурново. Лямин спросил у Долгорукого, следует ли ему также ехать в мундире. Долгоруков, который любил, чтобы ему почет оказывался гораздо больший, нежели другим, и который притом с Дурново был в дурных отношениях, сказал, что это будет лишнее. Лямин поехал представляться во фраке. Но Дурново, который не любил шутить и не стеснялся в выражениях своего неудовольствия, так его распек, что растерянный миллионер, не привыкший к такому обращению, тотчас подал в отставку и с тех пор уже в головы не совался» (М., 1934, стр. 178). По тому же поводу Тютчев писал 30 января 1873 г. А. Ф. Аксаковой: «Мы здесь были очень заняты тем, что произошло недавно у вас между г-ном Дурново и московским городским головой. Мне бы хотелось иметь от вас более точные подробности об этом деле; я не понимаю, какую пользу может извлечь правительство из того, что оно будет представлено неблаговоспитанными людьми» (Мурановский архив. — Перевод с французского). Тютчев пытался стихами откликнуться на ссору Лямина с Дурново («Конечно вредно пользе государства...» и «Во дни напастей и беды...»).

[2] Бюлер, бар. Федор Андреевич (1821—1896), состоял в течение многих лет управляющим газетной экспедицией министерства иностранных дел, и по поручению Горчакова составлял ежедневные политические обозрения для Александра II. С начала 1873 г. занял место директора московского Главного Архива министерства иностранных дел. В дневнике Э. Ф. Тютчевой под 8 февраля 1873 г. отмечено, что у Тютчева вечером был Бюлер и С. А. Феоктистова (Картотека Мурановского музея).

[3] В семейном архиве Тютчевых сохранилась следующая записка Горчакова к Д. Ф. Тютчевой на французском языке:

«Мне нет надобности говорить, насколько болезненно я был взволнован известием, которое вы мне сообщили. Ради бога, уведомляйте меня о всем, что у вас будет нового. Если бы я поневоле не был затворником, я был бы у нашего бедного друга. Мне бы хотелось, чтобы он знал это. Г.—Среда».

Очевидно записка эта относится к 3 января (приходившемуся в среду) 1873 г. и послана тотчас по получении известия об ударе, поразившем Тютчева в самый день нового года. Как видно из письма поэта к Горчакову от 9 февраля, последний еще не был в состоянии покинуть свое вынужденное затворничество. Но в дневнике Э. Ф. Тютчевой под 7 марта мы находим упоминание о посещении Тютчева Горчаковым.

27

А. М. ГОРЧАКОВУ

Ежели бы я хотел, князь, удостовериться в вашем скором выздоровлении, я обратился бы к политическому бюллетеню сегодняшнего дня, ибо в самом деле всякий раз, что миру угрожают новые треволнения, можно быть почти уверенным, что найдешь вас на ногах и на своем посту.

Я не сомневаюсь в этом и в данный момент, ибо достоверно, что только что совершившееся в Париже придает происходящему в Петербурге значение неоспоримой своевременности.

И Бисмарк в вашем кабинете — конечно лучший ответ на выборы г-на Бародэ.

Хорошо, чтобы в виду этого нового приступа безрассудства, угрожающего этой несчастной Франции, которая повидимому не считает себя еще достаточно уничтоженною, и Парижа, который представляется еще жаждущим петролея, хорошо, говорю я, чтобы в подобный момент наблюдающие умы Европы были вместе и имели возможность действовать заодно. Это как бы естественный конгресс, собранный по определению исторического промысла Европы, и подобный экспромт является счастливым вдохновением, лишь бы только постановка его не подвергла ваше здоровье слишком суровым испытаниям.

Примите уверение в преданности вашего слуги

Ф. Тютчев

21 апреля [1873].

В апреле 1873 г. приезжал в Петербург в свите германского императора Бисмарк, заверявший русские правительственные круги в своих дружеских чувствах к России, а в Париже произошло событие, наделавшее много шуму и в самом деле имевшее немалое политическое значение.

Еще в конце марта по поводу ожидавшихся в Париже дополнительных выборов в Национальное собрание «Journal de St-Pétersbourg — опубликовал следующую телеграфическую депешу: «Кажется, радикалы серьезно подумывают противопоставить кандидатуру г. Бародэ, мэра Лиона, кандидатуре г. Ремюза» (№ от 29 марта/10 апреля 1873).

«Journal de St-Pétersbourg» день за днем отражает партийные страсти, разгоревшиеся вокруг выборов в Национальное собрание. Состоявшее преимущественно из приверженцев монархии, главным образом орлеанистов, последнее не могло спокойно допустить в свою среду именно такого депутата как Бародэ.

Еще с 30-х годов Лион был одним из тех очагов, где бродило, то тлея, то вспыхивая, революционное движение. Первый Интернационал нашел здесь немало сторонников. Республика, возникшая на Седанских развалинах Второй Империи, была провозглашена здесь раньше, нежели в Париже. И наконец восстание 23 марта 1871 г. было прямым ответом Лиона на монархические тенденции Национального собрания. Недаром выбранный в 1871 г. лионский муниципальный совет состоял исключительно из республиканцев, а различные его мероприятия на самых первых порах поставили его в открытую борьбу с префектурой. Борьба эта, главным предметом которой был вопрос народного образования, в особенности обострилась в то время, когда мэром Лиона стал буржуазный радикал Бародэ. Правые в Париже под теми или иными предлогами не упускали случая выступать против Лиона. 4 апреля (н. ст.) 1873 г. Национальное собрание упразднило тамошний муниципалитет и учредило в Лионе тот же régime d'exception, что и в Париже. Подобные мероприятия вызвали отпор со стороны радикалов и 27 апреля (н. ст.) радикализму удалось «лишний раз быть господином в Париже» («Journal de St-Pétersbourg» от 17/29 апреля 1873): Бародэ был избран в Национальное собрание. Интересно отметить, что значительный контингент

голосов в пользу Бародэ падает на рабочие массы. Даже «Journal de St-Pétersbourg» не смог умолчать истинной причины этого факта: «они голосовали за этого кандидата, — читаем мы в номере от 17/29 апреля, — потому что среди этих масс оставалась еще неутоленная доля ненависти и злопамятства по отношению к «версальцам». Но если выборы Бародэ явились своего рода демонстрацией, направленной против консервативной республики, то решительный удар правительству Тьера, повлекший за собою его отставку, был нанесен с другой стороны — со стороны «правых». В их глазах выборы мэра Лиона были верным признаком того, что Тьер не способен остановить развитие радикализма.

II. ПИСЬМО И. С. АКСАКОВА К А. Ф. ГИЛЬФЕРДИНГУ [1]

28

[Москва, 12 ноября 1870]

Почтеннейший Александр Федорович!

Записку о пражской церкви [2] я прочел и не имею сделать никаких замечаний. Я послал ее для прочтения графу Уварову [3], который теперь в Москве, и прочту в нашей Комиссии — и затем поспешу возвратить.

Князю Черкасскому [4] я передавал ваше поручение. В ответ на ваши слова, в которых вы говорите, что петербургские газеты отнеслись к делу (т. е. по поводу ноты кн. Горчакова) «весьма прилично», он, с своей стороны, поручает вас спросить, что вы находите приличного в прилагаемой вырезке из «Голоса»? Эта статья толкует декларацию в том смысле, что Россия не только не думает ослаблять силу трактата относительно мер, ограждающих целость Турции, но готова заменить их другими, которые еще более достигали бы сей цели [5].

Неужели вы бы хотели, неужели вы можете предполагать, что Москва и ее печатные органы захотят присоединиться к подобному голосу, — толковать декларацию в таком смысле, приходить в патриотический восторг от новых подтверждений и санкций Парижского трактата в самых существенных его частях?

Я, впрочем, вовсе не защитник статей Каткова, хотя вполне отдаю должную справедливость их искренности и честности, а это теперь тем более составляет заслугу, что Каткову было бы выгоднее писать в ином тоне. Мне казалось бы, что публицисту следовало бы занять господствующую высоту над событием и, признав внешнюю грандиозность и нравственную сторону совершившегося уже исторического факта (декларации), прочесть по сему случаю надлежащий урок и развернуть картину той громадной ответственности, тех обязанностей, которые эта декларация налагает (сама того не сознавая!) на Россию. Но это бы еще менее понравилось в Петербурге! Впрочем, положение редакторов теперь очень мудрено. От них требуют выражений патриотического сочувствия и пламенной поддержки правительству, и в то же время посылают какого-нибудь Веселаго [6], состоящего при Главном Управлении по делам печати и приезжавшего сюда пять дней тому назад, уже после декларации, с официальным секретным (!!) поручением: внушить редакторам, как им писать — «не волновать де народные страсти, не бранить немцев» и проч. и т. п. Вероятно, в Петербурге думают этим способом поддать патриотического пару, но он действует как ведро холодной воды.

Да и вот уже сколько лет сряду наше народное чувство обкачивается студеной водой из Петербурга по всем вопросам внутренней политики, по вопросам окраин, и потому мы, москвичи, стали вообще несколько хладнокровнее и осмотрительнее и при получении декларации пришли прежде всего в недоумение. Да, недоумение — вот то впечатление, которое мгновенно возобладало над первым впечатлением, польстившим чувству народного самолюбия. Я вам говорю не о себе только, но о большинстве московском. Прочтя декларацию, прежде всего спросили себя, что же это значит? Какой объем важности следует давать подобному смелому переходу от политики негативной, уклончивой к политике положительной и даже агрессивной? Стали делать логические выводы и, сообразив все, убедились, что логические выводы из декларации не вяжутся с заключением самой декларации, — что русский кабинет, издав декларацию, откажется или уже отказывается от ее логических выводов. Декларация уверяет, что она не думает

поднимать восточного вопроса, когда она именно его-то и поднимает, и мы знаем что писавшие декларацию в самом деле веруют в правду своих слов, в самом деле н хотят и не предполагают возможным возбуждение восточного вопроса. Декларация дл всякого непредубежденного читателя имеет один смысл — вызов к войне. Ну война так война! Но в том-то и дело, что правительство войны не хочет, что оно к войне н готово ни в каком отношении, не имея ни оружия, ни программы (это главное), — чт дело пока обстоит в таком виде, что нельзя, по совести, ни желать войны, ни тем ме нее подстрекать к ней правительство. А если так, если кабинет, издавший декларацию не захочет признать ее логических выводов, то неизбежно такое следствие: мы шагне на попятный двор, мы постараемся смягчить ее действие, мы дадим новые ручательств в нашем миролюбии, мы дадим себя связать по рукам и ногам в прочих частях трак тата или под иным, новым видом. Согласитесь, что такое последствие нежелательно, оно неминуемо и уже дает себя предчувствовать в патриотических статьях ваших петер бургских журналов. Таким образом выйдет, что Парижский трактат, уже совсем был обветшавший, совсем было изношенный исторической жизнью, и не в одной какой-либ своей части, а во всей своей совокупности и целости, будет вновь освежен, подновлен скреплен, оживет вновь для действительного и позорного для нас своего значения. Чт же касается меня лично, то прочитав декларацию я сказал себе тотчас: бедные славяне опять вы обманетесь, опять солжет вам Россия и выдаст вас снова. Я забыл еще упо мянуть, что последствием декларации, весьма вероятным, будет не возобновление флот в Черном море, а отсрочка возобновления на новый период времени. В принципе, по жалуй, и допустят отмену этой статьи Парижского трактата ради нового освящени других, не менее срамных статей (напр. уступки территории, гарантии целости Тур ции и пр.), но на практике мы сочтем благоразумным или нам посоветуют не заводит тотчас же флота, а погодить... Вот что представилось здесь уму большей части мысля щих людей в Москве, и я не думаю, чтоб по совести кто-нибудь даже в Петербург мог противопоставить какое-либо возражение. Вы видите, во всяком случае, что в Моск ве отнеслись к делу серьезно, как я полагаю оно и заслуживает. Напрасно думаю в Петербурге, что уроки истории пропадают для русского общества даром. Оно помни Крымскую войну, помнит, какими патриотическими восторгами она началась и чем кон чилась. С своей стороны позволю себе напомнить вам, что к хвалебным гимнам 1854 го да не присоединился тогда из поэтов только Хомяков (я тоже в сих гимнах не гре шен) и каким обвинениям в анти-патриотизме подвергся он тогда. Теперь круг пони мания значительно расширился и Хомяков не был бы один...

Теперь нельзя уже так легко по известному рецепту вызывать нужные для прави тельства патриотические восторги, как прежде. Теперь оценка стала серьезней и тре бования строже.

В самом деле, нас озадачивают внезапно таким правительственным действием, от ко торого зависят судьбы России, которое имеет непосредственную связь с историческим призвание русского народа, которого успех обусловливается тесным соедине нением с народом, полнотою национального самосознания, верностью и преданностью началам русской народности. А между тем это действие стоит в прямом противоречии с предшествовавшими и с последовавшими действиями правительства по всем внутрен ним вопросам, касающимся интересов русской народности. Следовательно, нет суще ственных условий успеха, да и не видно, чтобы правительство это понимало. Напро тив: непонимание, самое упорное непонимание условий успеха при таком решительном шаге, непонимание требований русского народного чувства и презрительное отношение к ним продолжается даже в настоящую минуту.

В Петербурге вотировали адрес. Здесь мысль об адресе еще никому и не прихо дила в голову. Я не знаю, что будет дальше. Ядро здешнего городского общества купечество, не любит итти вторым, вслед за Петербургом, тем более, что тотчас по издании декларации, одновременно с посылкой Веселаго в Мо скву, было делаемо здесь внушение от властей кому следует не возбуждать идеи об адресе (о котором никто еще не думал). А теперь судя по действию Петербургской Городской думы, адреса как бы ожидают. Но ведь

общество не полк солдат, которому командуют то «смирно!», то «вольно!», то «смотри веселей!» и т. п. Есть, наконец, потребность обращаться с словом общественным честно. Тут одно соображение может иметь место: то впечатление, какое подача или неподача адреса может произвести на Европу. Это, конечно, и будет принято в расчет.

Я счел нужным изобразить вам в ярких чертах здешнее настроение. Надеюсь, что это письмо, при принятых мною мерах, дойдет до вас благополучно, не причинив вам неприятностей. Впрочем оно может компрометировать только меня и я напротив просил бы вас дать его прочесть нашим общим знакомым, кому это может быть интересно.

Ваш Ив. Аксаков

12 ноября.

Печатается впервые по автографу, принадлежащему Н. И. Тютчеву.

[1] Гильфердинг, Александр Федорович (1831—1872)— славист, председатель петербургского отделения Славянского Благотворительного комитета и этнографического отделения Географического общества, собиратель былин. Гильфердинг был знаком с Тютчевым. Об отношении поэта к нему можно судить по двум его стихотворениям: «Спешу поздравить. Мы охотно...» и «Хоть родом он был не славянин...». Последнее стихотворение, посвященное памяти Гильфердинга, относится ко времени предсмертной болезни поэта. Тютчев написал его при получении от Славянского Благотворительного комитета официального печатного обращения по поводу учреждения в память Гильфердинга денежного капитала для премии за лучшее сочинение по славянской филологии.

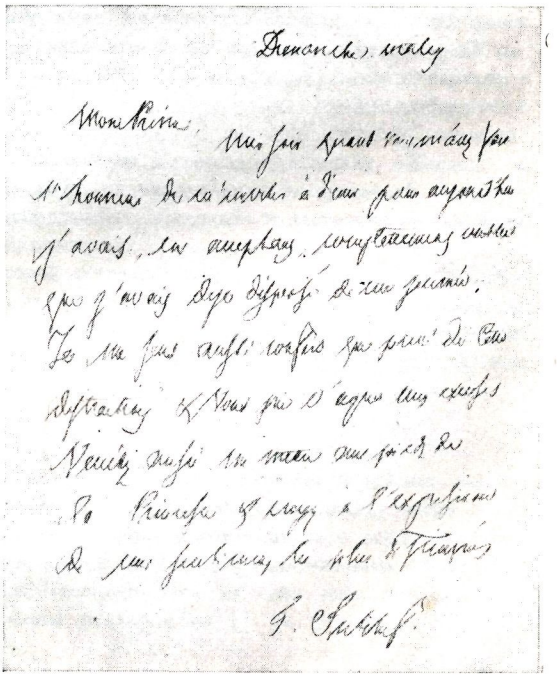
[2] А. Ф. Гильфердинг принимал деятельное участие в постройке православного храма в Праге. Повидимому с этим и связана упоминаемая Аксаковым «Записка о пражской церкви».

[3] Уваров, гр. Алексей Сергеевич (1824—1884) — известный археолог, председатель Археологического общества.

[4] Черкасский, кн. Владимир Александрович (1824—1878), — видный государственный деятель эпохи «великих реформ», московский городской голова с 1869 по 1871 гг.

[5] В Мурановском архиве хранится следующая записка по этому поводу кн. В. А. Черкасского к И. С. Аксакову:

«Очень вам благодарен, дражайший Иван Сергеевич. Письмо вашей belle soeur (свояченицы — очевидно имеется в виду письмо М. Ф. Бирилевой к Аксакову от 8 но-



ЗАПИСКА Ф. И. ТЮТЧЕВА к В. А. ЧЕРКАССКОМУ

Собрание А. С. Голицыной, Дмитров

ября 1870. — *К. П.*) — премилое, хотя с его содержанием нельзя согласиться. Что касается до Гильфердинга и приличных статей петербургских газет, то когда будете ему отвечать, потрудитесь спросить его от моего имени, что он нашел приличного в прилагаемой вырезке из вчерашнего Голоса? Душевно преданный

К. В. Черкасский

10 ноября 1870».

Черкасский очевидно имеет в виду передовую статью, помещенную в «Голосе» от 8 ноября 1870 г. (следовательно он ошибся, назвав этот номер «вчерашним»). Приведя ряд постановлений Парижского трактата, касавшихся «ограждения Порты» (в том числе отказ России от исключительного права покровительства восточным христианам), автор статьи замечает, что «Россия не только не думает ослаблять их силу, но не отказывается заменить их другими, которые еще более достигали бы цели, хотя и они, как видим, представляются вполне надежными». Текст декларации действительно давал право делать подобный вывод.

[6] Веселаго, Феодосий Федорович (1817—1895) — член Совета Главного Управления по делам печати.

П. Л. ЛАВРОВ И ЕГО КОРРЕСПОНДЕНТЫ

I. ИЗ НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКИ П. Л. ЛАВРОВА и Г. З. ЕЛИСЕЕВА

Вступительная статья и комментарии Ф. Витязева

I

Переписка между П. Л. Лавровым и Г. З. Елисеевым несомненно представляет большой общественный и литературный интерес. Объясняется это прежде всего той крупной ролью, какую играли сами корреспонденты. Елисеев, например, свыше 20 лет занимал одно из первых мест в русской журналистике. Редактор «Современника» и «Отечественных Записок», ближайший помощник сначала Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, а затем Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова — Елисеев не мог не быть одной из центральных фигур в нашей литературе 60-х и 70-х годов. В свою очередь, П. Л. Лавров являлся после А. И. Герцена крупнейшим русским эмигрантом. На протяжении 30 лет он был одним из самых видных представителей русской революционной нелегальной печати. Уже одно простое сопоставление этих двух имен сразу наводит на мысль о большой общественной значимости их переписки.

Значение ее усугубляется еще тем обстоятельством, что в нашей биографической литературе почти совсем не разработан вопрос о взаимоотношениях Лаврова и Елисеева. В этой области мы знаем очень немногое. Нам известно только, что они были в очень дружеских отношениях, что эта дружба началась еще в 60-х годах, что через Елисеева осуществлялось главным образом сотрудничество Лаврова в «Отечественных Записках», что, наконец, Елисеев довольно часто имел свидания с Лавровым во время своих летних поездок за границу. Но нам совершенно неизвестна вся закулисная сторона сотрудничества Лаврова в «Отечественных Записках». Мы ничего не знаем о характере их взаимоотношений во время заграничных свиданий. Целый ряд крайне любопытных моментов, относящихся к этим заграничным встречам, до сих пор еще не освещен. Так например, совершенно не выяснены отношения Елисеева к журналу «Вперед», к «Вестнику Народной Воли», и к целому ряду индивидуальных выступлений Лаврова. Все эти вопросы за отсутствием документированного материала в настоящее время вряд ли могут быть освещены с надлежащей полнотой.

Публикуемая нами переписка до некоторой степени приоткрывает завесу над взаимоотношениями Лаврова и Елисеева. Она несомненно дает целый ряд новых и притом крайне любопытных материалов для их характеристики. Биографические же моменты, освещаемые настоящей перепиской, настолько значительны и интересны, что на них необходимо остановиться несколько подробнее.

II

Три первых письма относятся к сотрудничеству Лаврова в «Отечественных Записках» и имеют большое значение для истории этого журнала. Они прежде всего документально подтверждают, что сотрудничество Лаврова в этом журнале осуществлялось главным образом через Елисеева. Повидимому, Елисеев был единственным членом редакции «Отечественных Записок», который всецело взял на себя риск по переписке и сношению с Лавровым. Два других члена редакции — Н. А. Некрасов и М. Е.

Салтыков, как известно, менее всего были склонны поддерживать личные сношения с эмигрантами и в частности с Лавровым.

Из этих писем особенно интересно второе письмо, посвященное конфликту между Лавровым и «Отечественными Записками». Этот печальный инцидент произошел исключительно из-за задержки журналом следуемого Лаврову гонорара. Как видно из письма Елисеева, здесь менее всего была виновата редакция «Отечественных Записок». Инцидент возник из-за ненормальности сношений с Лавровым. Как известно, все расчеты его с редакцией по конспиративным соображениям происходили через разных «подставных» лиц. В этом отношении Лавров действовал чрезвычайно широко и быть может даже не совсем осторожно. Во всяком случае число его «посредников» дошло, по свидетельству Елисеева, чуть ли не до «десяти человек». Уже одно это обстоятельство могло спутать все расчеты с редакцией. С другой стороны, вопрос еще осложнялся трудностью почтовых сношений с Лавровым в 1870—1871 гг. Франко-прусская война, события Парижской коммуны, внезапные переезды Лаврова из Парижа в Брюссель и Лондон — все это вместе взятое еще больше усугубило создавшееся положение. Между тем, для Лаврова своевременное получение гонорара имело очень большое значение в связи с тяжелым материальным положением, в каком он находился в первые годы своей эмиграции.

Создавшаяся конъюнктура не могла не явиться источником для целого ряда недоразумений, не могла не создать взаимного непонимания. Лавров, например, совершенно серьезно считал, что редакция «Отечественных Записок» сознательно идет на разрыв с ним. Об этом он определенно заявил в своем письме Е. А. Штакеншнейдер от 6/18 августа за 1871 г. «Порядочные люди (в лице «Отечественных Записок»),—писал он ей,— разрывают всякие сношения со мною или не заботятся об их поддержании» (см. «Голос Минувшего» 1916 г., № 7—8, стр. 129). Именно это обстоятельство заставило даже Лаврова, «махнув рукой на щепетильность», начать работу в журнале «Дело», к которому он до сего времени «относился не очень сочувственно». К началу 1872 г. ненормальные отношения Лаврова с «Отечественными Записками» зашли уже так далеко, что он решается на окончательный разрыв с ними. «Я считаю мои сношения с этой редакцией о к о н ч е н н ы м и, — пишет, например, Лавров Е. А. Штакеншнейдер 8 января 1872 г., — не думаю, чтобы они обокрали меня, но нахожу их весьма невнимательными и неаккуратными» (см. «Голос Минувшего» 1916 г., № 9 стр. 115).

После всего сказанного становится ясным, что письмо Елисеева было написано Лаврову в наиболее острый момент конфликта, в то время, когда уход последнего из «Отечественных Записок» был уже почти предрешен. Это обстоятельство особенно усиливает значение печатаемого нами письма. И мы видим, что все оно проникнуто глубокой искренней доброжелательностью Елисеева к Лаврову. Как руководитель «Отечественных Записок» он определенно хочет, чтобы Лавров продолжал сотрудничество в этом журнале, при чем заявляет об этом в ясной и решительной форме. «Относительно ваших трудов в журнале, — пишет он ему, — могу повторить Вам то же, что говорил и прежде, ч т о я и х о ч е н ь ж е л а ю». Касаясь затем первой работы Лаврова в «Деле» — «История городского и сельского устройства в Западной Европе» (см. «Дело» 1871 г., №№ 10 и 12), которой Лавров дебютировал в этом журнале, Елисеев в заключение пишет, — «такие статьи мы принимали бы от вас с удовольствием». В этой фразе Елисеева чувствуется не только вполне определенный упрек Лаврову. Здесь еще более ясно сквозит сожаление, что подобная удачная работа Лаврова попала не в «Отечественные Записки», а к Г. Е. Благосветлову.

Повидимому, Елисеев, как редактор «Отечественных Записок», определенно дорожил сотрудничеством Лаврова. Это подтверждается, между прочим, той высокой оценкой Лаврова, как писателя, какую мы встречаем в его письмах. Оценка эта настолько любопытна, что на ней необходимо остановиться несколько подробнее.

Лавров, например, предлагает «Отечественным Запискам» ряд корреспонденций по европейской литературе и жизни и даже присылает одну в виде образца. Елисеев не только не отказывается от них, но дает им очень лестную оценку. «Очевидно, — пише

он Лаврову, — в этом роде Вы м а с т е р» (см. письмо № 1 за 1870 г., май). Он только предлагает сделать их «более солидными» и основательными. По его мнению, «образцом» в этом отношении может служить статья Лаврова же о Лекки, которая «вполне соответствует требованиям редакции» (см. Современные учения о нравственности и ее история. «Отечественные Записки», 1870 г., №№ 3, 4, 5, 6, 8). Здесь с особой силой сказалась редакционная чуткость Елисеева. Как известно, эта работа Лаврова имела огромный успех среди молодежи. В течение двух десятков лет она неизменно переписывалась и распространялась среди революционных народнических и народовольческих кружков. И недаром даже М. Горький в дни своей юности занимался конспектированием именно этой статьи Лаврова (см. «Былое», 1921 г. № 16, стр. 177). В другом письме Елисеева (см. письмо № 2 за 1872 г., январь) мы встречаем очень интересную оценку известной работы Лаврова «История городского и сельского устройства в Западной Европе». «Статья мне очень понравилась, — пишет он. — Она написана так спокойно и вместе с тем так общеинтересно, что и для цензуры неуязвима и будет читаться публикой». Приведенные нами отзывы Елисеева вполне определенно показывают как близок был для него весь писательский облик Лаврова.

Насколько высоко Елисеев ставил Лаврова как писателя, видно еще и из другого очень характерного факта. Мы имеем в виду «программу» для русской литературы, которую Елисеев предложил написать Лаврову (см. письмо № 2 за 1872 г., январь). Подобная чисто редакционная статья могла быть поручена только весьма близкому к журналу писателю. Очевидно, для Елисеева Лавров и был таким сотрудником. Любопытно здесь еще отметить, что это предложение Елисеев сделал Лаврову в самый разгар конфликта, когда последний уже собирался навсегда покинуть «Отечественные Записки».

Письма Елисеева, относящиеся к сотрудничеству Лаврова в «Отечественных Записках», заключает в себе еще не мало отдельных крайне интересных моментов и деталей. Так, например, совершенно неизвестно было до сих пор посредничество между Лавровым и «Отечественными Записками» проф. М. М. Ковалевского (см. письмо № 3 за 1880 г., от 21/X). Не безынтересно для характеристики Елисеева также его предложение быть «кассиром» Лаврова в то время, когда последний находился еще в ссылке в г. Кадникове Вологодской губернии (см. письмо № 2 за 1872 г., январь). Штрих для оценки личности Елисеева в высшей степени яркий и характерный. Он говорит не только об его дружеской симпатии к Лаврову, но свидетельствует также и о его большой смелости.

В заключение, необходимо особо отметить то место письма Елисеева, где он говорит о предстоящем своем личном свидании с Лавровым за границей. Этому свиданию Елисеев, как известно, придавал особое значение, так как надеялся в личной беседе с Лавровым выяснить все недоразумения. «Очень может быть, — пишет он ему, — что летом ныне мы увидимся, поговорим и авось споемся. Тогда огорчения исчезнут и порядочность мы поймем одинаково, и друг в друге сомневаться не будем» (см. письмо № 2 за 1872 г., январь). Повидимому это свидание дало вполне положительные результаты, так как Лавров остался в числе сотрудников «Отечественных Записок». Здесь надо вообще заметить, что если Лавров не порвал окончательно связей с «Отечественными Записками», то это произошло исключительно благодаря Елисееву. Из неопубликованного письма его от 28 февраля за 1872 г. видно, например, что он «для прекращения недоразумений» предложил даже редакции «Отечественных Записок» уплатить Лаврову 400 рублей. Этот решительный шаг Елисеева, с одной стороны, и личное заграничное свидание его с Лавровым, с другой, дали возможность мирно изжить конфликт, возникший между Лавровым и «Отечественными Записками».

III

Последняя группа писем Елисеева относится к моменту его болезни, когда он уже отошел от фактического участия в «Отечественных Записках» и по предписанию врачей вынужден был жить за границей. Этот период добровольной эмиграции Елисеева продолжался целых 4 года, с августа 1881 г. по август 1885 г.

Надо признать, что письма Елисеева за этот период представляют наибольший интерес. Они рисуют личность Елисеева в совершенно новом аспекте, выявляя в нем живой интерес к русскому революционному движению. В этом отношении особенно значительно письмо Елисеева из Ниццы от 9 января за 1882 г. В нем, например, Елисеев прежде всего запрашивает Лаврова о деятельности «Народной Воли»: «какие в сей лаборатории идут работы?» Мало того, он даже просит его прислать ему «подпольных заграничных листков». Повидимому, длительное пребывание Елисеева за границей не прошло для него бесследно. Оно вполне естественно вызвало у него интерес к деятельности русской революционной эмиграции. Возможно, что здесь еще сказалось и влияние Лаврова, с которым Елисеев в эти годы поддерживал особо дружеские отношения.

Есть еще одна особенность в личности Елисеева, на которую нельзя не обратить внимания в связи с вышесказанным. Мы имеем в виду его обширные знакомства с революционной средой. Из публикуемого нами письма Лаврова от 26 января за 1882 г. мы видим, например, что Елисеев был знаком с эмигрантом С. А. Подолинским, ближайшим помощником Лаврова по изданию журнала «Вперед». Но это знакомство являлось далеко не единичным. Елисеев был очень близок с революционерами шестидесятниками: И. А. Худяковым и М. Ф. Негрескулом. Из «лавристов» он прекрасно знал — В. Н. Смирнова, Р. Х. Идельсон, Н. Г. Кулябко-Корецкого и упомянутого выше С. А. Подолинского. Из народовольцев он особенно дружил с Л. К. Бухом и М. Н. Емельяновой и был даже знаком с В. Н. Фигнер. Если ко всему этому прибавить еще его дружеские отношения с Лавровым, то мы получим крайне любопытный круг его личных связей. Как видим, в этом отношении Елисеев шел куда дальше М. Е. Салтыкова который, как известно, сознательно стоял в стороне от личного общения с этой средой.

Но самым интересным местом во всей переписке Елисеева с Лавровым надо считать те его письма, в которых идет речь об издании за границей «Автобиографии» И. А. Худякова. Эпизод этот настолько важен для *будущих биографов* Елисеева, что на нем необходимо остановиться несколько подробнее.

Есть очень веские основания полагать, что саму рукопись Худякова привез Лаврову Елисеев, к которому она попала из Сибири, где у Елисеева, как известно, были обширные связи и знакомства. Из писем Елисеева ясно видна какая-то его *заинтересованность* в этом издании, особое внимание к нему. Так, например, Елисеев очень заботится о внешности издания. Его интересуют и шрифт и печать и даже типографская краска (см. письмо № 6 за 1882 г., от 10 июня). В другом письме Елисеев благодарит Лаврова «за уведомление о ходе издания» и очень радуется, что оно «идет к благополучному концу» (см. письмо № 8 за 1882 г., от 9/21 сентября). Так может писать только человек заинтересованный в самом издании.

По всей вероятности Елисеев не только привез рукопись Худякова за границу, но и дал средства на ее издание. Это предположение станет вполне понятным, если учесть особые отношения Елисеева к Худякову. Елисеев хорошо знал его еще гимназистом по г. Тобольску, в 1857 г., также как знал всю его семью. Впоследствии, уже в Петербурге Елисеев особенно «привязался» к нему. Молодой, талантливый исследователь русской народной жизни, собиратель фольклора не мог не привлечь к себе симпатий такого народника, каким был Елисеев. Между ними, несмотря на разницу лет, возникли очень дружеские отношения. Об этом вполне определенно говорит сам Елисеев в своих воспоминаниях, приведенных Михайловским, которые, между прочим, почему-то не вошли в книгу «Шестидесятые годы» (изд. Academia, М.—Л., 1933 г.). Худяков,—пишет в них Елисеев, — был «очень ко мне *близкий* человек, *хорошо меня знавший*, к которому я был очень привязан, равно как и он ко мне» (см. Н. К. Михайловский, «Литературные воспоминания и современная смута», т. I, СПБ, 1900 г., стр. 480). Арестованный по делу Каракозова, Худяков, между прочим, очень сильно оговорил Елисеева. К чести Елисеева надо сказать, что этот крайне прискорбный факт ничуть не изменил его отношений к Худякову. Он сохранил к нему те же дружеские чувства и любовь, какие питал раньше. Суровое наказание, понесенное Худяковым и преждевременная трагическая его смерть не могли не усугубить этих чувств у Елисеева.

После всего сказанного станет вполне понятным, почему Елисеев мог принять на себя издание «Автобиографии» Худякова. Не надо забывать, что Елисеев обладал довольно солидными денежными средствами, приобретенными, правда, исключительно литературным трудом. Достаточно здесь напомнить хотя бы тот факт, что Елисеев после смерти оставил Литературному фонду капитал в 54 000 рублей (см. «Юбилейный сборник Литературного фонда». СПБ, 1909 г., стр. 24 и 478). Во всяком случае, публикуемые нами письма с несомненностью выясняют факт участия Елисеева совместно с Лавровым в издании и редактировании запрещенной заграничной книжки. Штрих для редактора «Отечественных Записок» довольно яркий и характерный.

Письма Елисеева, относящиеся к изданию «Автобиографии» Худякова, имеют еще другое очень важное значение. Благодаря им вскрывается происхождение одного очень ценного литературного документа. Мы имеем в виду статью Елисеева о Н. А. Некрасове. Как теперь видно, статья эта являлась не более не менее как примечанием к книжке И. А. Худякова в ответ на резкие нападки на Некрасова в связи с его стихами, посвященными генералу М. Н. Муравьеву (см. письмо № 7 за 1882 г., от 9 августа). По словам самого Елисеева у него «вместо извинения» получилось «полное оправдание Некрасову», вернее даже его «апология», как выразился Н. К. Михайловский. Именно это обстоятельство заставило Лаврова отказаться от напечатания статьи Елисеева и она на долгие годы оказалась погребенной в его архиве. Предназначенная для вольной зарубежной печати заметка эта, как и следовало ожидать, оказалась глубоко нецензурной. Это обстоятельство доставило впоследствии не мало хлопот русским критикам.

Впервые в русской литературе заметку Елисеева использовал Н. К. Михайловский в 1891 г. Приведя из нее большую цитату, Михайловский должен был «с сожалением» констатировать, что она по цензурным условиям «не подлежит опубликованию» (см. Н. К. Михайловский «Литературные воспоминания» т. I, СПБ, 1900 г., стр. 75—76). Действительно, «нецензурность» эта оказалась настолько сильной, что даже 20 лет спустя П. Ф. Якубович не смог напечатать заметку Елисеева полностью (см. его статью — Муза мести и печали, «Русское Богатство», 1902 г., № 11, стр. 39—42). Статья Елисеева увидела, наконец, свет только после революции, т. е. ровно через 50 лет после того, как была написана (см. «Шестидесятые годы» Г. З. Елисеев. Воспоминания. Изд. «Академия», 1933 г., стр. 460 — 467. Глава — «О личности Некрасова»). Но ни Н. К. Михайловский, ни П. Ф. Якубович, ни редакторы книжки «Шестидесятые годы» не знали подлинного источника этой «нецензурности». Никто из них даже не подозревал, что статья эта была написана за границей и предназначалась Елисеевым для нелегального издания.

Подводя итоги всему сказанному нами по поводу переписки Елисеева с Лавровым, мы должны признать, что она в целом является документацией первостепенной важности и ценности для будущих биографов этих двух крупнейших деятелей нашей журналистики.

1. Г. З. ЕЛИСЕЕВ — П. Л. ЛАВРОВУ

[Май 1870 г. С. Петербург][1]

Милостивый государь
Павел Сидорович

Я получил Ваше письмо, в котором вы предлагаете писать корреспонденции по европейской литературе и жизни для О[течественных] З[аписок], с приложением для образца одной такой корреспонденции[2]. Не знаю, что отвечать Вам на Ваше письмо. Отказаться от Ваших корреспонденций мне бы не хотелось, потому что присланная Вами корреспонденция настолько хороша, что дает мне основание думать, что последующие корреспонденции в этом роде будут если не лучше этой, то не менее удовлетворительны. Очевидно, в этом роде Вы м а с т е р.

Но этот летучий, так сказать, способ обозрения иностранной литературы не столько нужен для нашего журнала, сколько нужен бы был другой более солидный, который бы знакомил русскую публику с с содержанием более замечательных иностранных сочинений. Образец подобного обозрения иностранной литературы Вы можете видеть в статье, помещенной в „Отечеств[енных] Записках" в Мартовской Апрельской книжках: Нравственные учения в Европе по поводу сочинений Лекки [3]. Статья эта вполне соответствует требованиям журнала и упрекнуть ее можно разве только в том, что она очень длинна и растягивается на несколько книжек. Если бы она была не более 2—3 печатных листов, то была бы самая подходящая. Не можете ли Вы попробовать себя в писании такого рода [обозрений] иностранных обозрений? Если можете, то мы будем очень рады. Само собой разумеется, что за книги, которые Вы будете покупать для этих обозрений, мы будем охотно платить. Книги для таких обозрений должны быть избираемы такого содержания, которое было бы доступно и интересно для русской публики.

При этом мы не отказываемся и от Ваших летучих корреспонденций. Но желали бы, чтобы Вы ими повременили до осени. Вам, как человеку, быть может, мало знакомому с журнальным делом, может показаться такой полу-отказ странным. Но мы основываемся на редакционных расчетах. Чтобы ввести новый отдел, сохраняя в журнале то же количество листов, нужно привести в должные размеры существующие отделы другие, для которых есть и люди и работы, — а на все это требуется известное время. — Желательно бы было еще, чтобы Вы Ваши корреспонденции писали четким, однообразным почерком, без пестрот, затрудняющих типографию. Впрочем в этом отношен[ии] почерк вашей корреспонденции почти что удовлетворителен.

Извините пожалу[й]ста, что не зная Вашего отчества, я взвеличал Вас по фамилии Вашей, полагая, что Вы потому не написали отчества, что оно одинако[во] с фамилией. Если я ошибся, то будьте так любезны исправьте мою ошибку напредки [4].

Примите уверение в совершенном почтении

Гр. Елисеев

Подательница сего письма г-жа Маркович, Мария Александровна, известная в литературе под именем Марко Вовчок. Ей вы можете сообщать для передачи мне все, что Вам будет нужно о Ваших трудах.

[1] Письмо без обозначения даты. Она определяется нами на основании ссылки Елисеева на статью Лаврова о Лекки. Повидимому, письмо написано в мае месяце 1870 г. Во-первых, Елисеев сам говорит об апрельской книжке «Отечественных Записок». Во-вторых, Елисеев просит Лаврова «повременить до осени» с присылкой «летучих корреспонденций». Следовательно, письмо могло быть написано после апреля, и в то же время раньше осенних месяцев. Но так как Елисеев на летние месяцы обычно уезжал за границу, то ясно, что он мог написать это деловое редакционное письмо только в мае. Конспиративное обращение, с которого начинается это письмо, только подтверждает предположение, что оно написано в России, а не за границей.

[2] Корреспонденция эта была напечатана в «Отечественных Записках» за 1870 г (см. № 8, стр. 230 — 240) под заглавием «Очерки иностранной литературы и жизни» Под статьей этой нет никакой подписи. Авторство Лаврова было установлено мною еще в 1917 г. на основании заключительной фразы этой статьи, в которой был обещан разбор книги Тэна. Критический разбор Тэна, принадлежащий Лаврову, под заглавием «Наука психических явлений и их философия» действительно появился в «Отечественных Записках» за 1871 г. (см. № 3, стр. 36—86).

[3] Елисеев не точно передает заглавие статьи. В «Отечественных Записках» за 1870 г в №№ 3 и 4 и затем дальше в №№ 5, 6 и 8 была напечатана работа П. Л. Лаврова под заглавием «Современные учения о нравственности и ее история». Работа напечатана без всякой подписи и написана по поводу книги Лекки — „History of European morals from Augustus to Charlemagne". Ее и имеет в виду Елисеев в своем письме.

[4] В первые годы своей эмиграции в Париже в 1870—1872 гг. Лавров просил своих друзей, находящихся в России, всю корреспонденцию адресовать на имя П. Сидорова. Под этой фимилией он жил некоторое время в Париже (см. Письма П. Л. Лаврова к Е. А. Штакеншнейдер, «Голос Минувшего», 1916 г., № 7—8, стр. 111, 131 и № 9, стр. 132). Это и дало повод Елисееву из-за конспиративных соображений окрестить Лаврова «Павлом Сидоровичем».

[5] Мария Александровна Марко-Вовчок (1835—1907 гг.) — известная в 60-х и 70-х гг. писательница и переводчица, деятельная сотрудница «Отечественных Записок». Она была близким человеком для Г. З. Елисеева и особенно дружила с его женой — Екатериной Павловной (см. Е. Водовозова-Семевская, «Житейские невзгоды» — «Голос Минувшего» 1923 г., № 1, стр. 67—69). В начале 70-х годов М. А. Марко-Вовчок была посредницей между П. Л. Лавровым и редакцией «Отечественных Записок» (см. об этом подробно в «Материалах для биографии П. Л. Лаврова». Вып. I, Петроград, 1921 г., стр. 40—43. Там же напечатано письмо Лаврова к М. Марко-Вовчок). Ее имя очень часто встречается в переписке Лаврова с Е. А. Штакеншнейдер (см. «Голос Минувшего» 1916 г., № 7—8, стр. 125, 126—127, 130, 131; № 9, стр. 119, 121).

2. Г. З. ЕЛИСЕЕВ — П. Л. ЛАВРОВУ

[Январь 1872 г. С.-Петербург] [1]

Я долго не отвечал на ваше письмо, потому что все это время был очень болен; недавно сделана небольшая операция и теперь я начал поправляться. — По вашему главному делу отвечать впрочем и теперь нечего. Ибо окончательно счеты все еще не сведены и надобно потерпеть. Главную разницу в счетах между Вами и редакцией делает, кажется, то, что по книгам к концу февраля 1870 года за Вами значится долгу 900 р. Через две недели мне обещали дать окончательный вполне выверенный ответ по счетам, который я Вам и сообщу.

Относительно ваших трудов в [редак.] журнале могу повторить Вам тоже, что говорил и прежде, что я их очень желаю. Но вместе с тем должен сказать Вам, что относительно цензуры времена стоят ныне такие строгие, каких никогда не бывало. Как кажется, полагается начало новой системе наблюдения над печатью. Не будет прежних беспричинных, случайных, начинавшихся ex abrupto преследований и затем следовавших за ними таких же беспричинных, случайных послаблений, но на основании известных принципов наблюдение будет всегда одинако неизменно, ровно, твердо, одним словом, мы хотим быть немцами. Так как в сем наилучшем из миров все идет к лучшему, по словам Понглосса, то, конечно, и этот несомненный шаг вперед есть также шаг к лучшему. В начале будет несколько тяжеловато, но потом люди ко всему привыкают. Ergo... Но мы все-таки только в начале... Недавно я прочел в „Деле“ статью: Городское и сельское хозяйство, написанную по Мауреру и другим [2]. Говорят: это ваша статья, и мне так кажется. Как бы то ни было статья мне очень понравилась, во 1-х, проспект ее доходит до основ настоящего времени, — во 2-х, она написана так спокойно и вместе с тем так общеинтересно, что и для цензуры неуязвима и будет читаться публикой. Такие статьи мы принимали бы от Вас с удовольствием. — Вы пишите, чтобы вам назначать темы для статей. Это вещь невозможная по многим причинам. Можно только обозначить характер цензурных условий данного времени и характер статей. Затем и цели, преследуемые журналом Вам известны. Чего же больше? А если уж нужно непременно назвать род, то мне кажется, что было бы полезно в критических ли то или других статьях знакомить нашу публику с иностранными историческими, социальными и т. п. сочинениями, которые могут отражать в ее сознании наши общественные отношения.

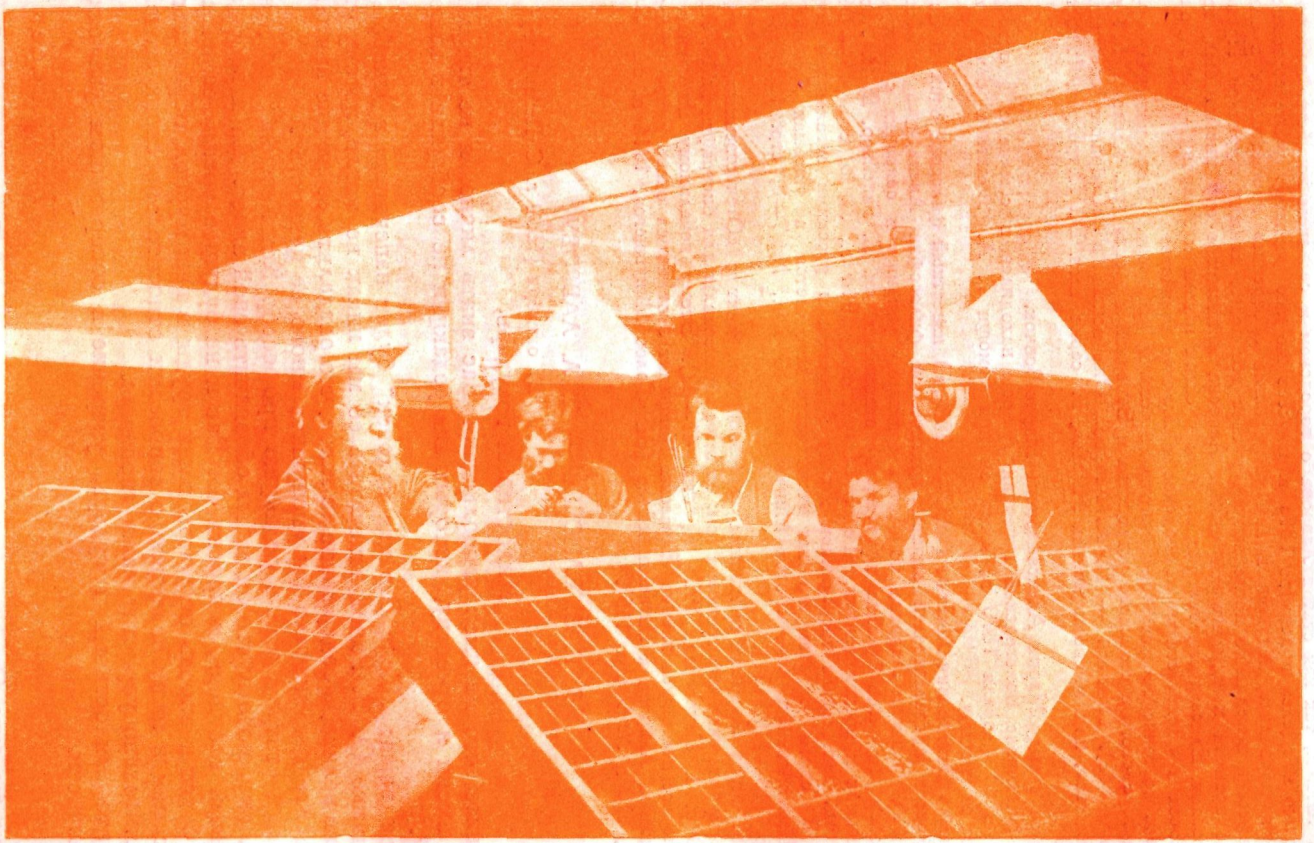
Теперь мне следовало бы поговорить о ваших огорчениях против меня. Их накопилось, кажется, очень много: отчасти я слышал это от

М. А.[3], отчасти это ясно и из письма, ею переданного, в котором желая выразить доверие ко мне, Вы пишите, что один я (в редакции) могу „служить для Вас каким-нибудь ручательством, что журнал завтра же не станет противоречить всем порядочным убеждениям". Странный Вы человек, — а еще филосов! — Во 1-х справедливо ли стараться обидеть человека без всяких поводов и приписать взгляд на такой штандпункт, для которого нет никаких подмостков? — Во 2-х что такое порядочные убеждения? Порядочные убеждения сделались ныне тормозящей культурой, против которой надобно бороться. Если бы люди менее были уверены в своей порядочности и не были так самодовольны от этого, то они увидели бы, что в их порядочных убеждениях накопилось весьма много беспорядочного и что они делают не то или не делают того, что им следует. Надобно мерить порядочность своих убеждений не по потребностям прошедшего, а по потребностям настоящего. Этому же настоящему не удовлетворяем ни Вы, ни я. Но я имею смелость считать себя выше Вас, потому что я сознаю это, — Вы же находитесь в таком самообольщении, что не только убеждены в порядочности своих убеждений всецело, но и беретесь мерять порядочность убеждений тех, кого Вы слишком мало знаете. — Но довольно об этом. Что делать? остается вечным вопросом и каждый день новым. — Но об нем надобно или писать целое сочинение или говорить устно. — Кстати вот хорошая тема: наша литература очень слабая по силам, тратит много напрасно сил оттого, между прочим, что у ней нет никакой программы. Горячо бьется она часто за самые пустые [вопросы] и почти совершенно молчит о самых важных. Не хотите ли написать программу для нашей литературы, выяснив по нашим состояниям относительную важность разного рода вопросов. Это был бы труд капитальный для нашего слепого времени. — Обращаясь к прежнему, могу сказать только одно пока, что очень может быть, что летом ныне мы увидимся, поговорим и авось споемся. Тогда огорчения исчезнут и порядочность мы поймем одинаково, и друг в друге сомневаться не будем.

Но есть один пункт, о котором надобно сказать несколько слов сейчас. Помните ли, когда вы были еще в Кадникове,[4] я Вам писал както, что кассу так вести невозможно, как ведете Вы, что невозможно раздавать деньги десяти человекам, что я берусь быть Вашим кассиром. На это вы мне ответили, что по важным обстоятельствам дело должно стоять так, как оно стоит и услуг моих не приняли. Отменить это распоряжение Вы могли только новым распоряжением таким же прямым и ясным, как было прежнее. Теперь же, не отменив прежнего распоряжения как следовало бы, Вы обвиняете меня в том: как я не исполнял Ваших слов: „посылайте деньги прямо мне", в которых „прямо" было, дескать, и подчеркнуто. Признаюсь Вам, что ни подчеркнутого прямо, ни этих слов я не замечал и что все это было, — узнал только из Вашего последнего письма. Кто тут из нас виноват?

Если вы будете писать для нас, то статьи посылайте прямо в редакцию, под каким-нибудь псевдонимом, но без всяких писем. Уход за статьями, т. е. хлопоты о времени их напечатания, получение гонорара и т. п., поручите кому-нибудь из Ваших знакомых, например, Лесевичу[5]. Тогда не возникнет тех печальных недоразумений, которые возникли теперь.[6] Надеюсь впрочем, что и теперь все разъяснится и кончится к общему удовольствию. Будьте здоровы и щастливы!

[1] Письмо без обращения, без подписи и без даты. Последняя определена нами на основании ссылки Елисеева на статью Лаврова о городском и сельском хозяйстве. В письме Елисеев между прочим пишет — «может быть летом ныне увидимся». Следовательно, письмо было написано им до летних месяцев. В то же время из



П. Л. ЛАВРОВ В ТИПОГРАФИИ ЖУРНАЛА «ВПЕРЕД»

Наборщики (слева направо) — Я. В. Вощакин, А. Л. Линев, Л. В. Гольденберг

Музей Революции СССР, Москва

письма Лаврова к Е. А. Штакеншнейдер от 1/12 мая 1872 г. видно, что Елисеев 15 мая старого стиля должен уже был быть «на водах в Германии» (см. «Голос Минувшего», 1916 г., № 9, стр. 121). Отсюда вывод — письмо было написано в промежуток времени между январем и апрелем месяцами 1872 г. Повидимому, оно относится к январю 1872 г., так как статья Лаврова о городском и сельском хозяйстве закончилась печатью в «Деле» в декабре 1871 г. Елисеев же как редактор «Отечественных Записок» и журналист, ведущий в нем «внутреннее обозрение» просматривал в силу своей профессии немедленно после выхода в свет все новые книжки журналов. Промежуток же времени между чтением статьи Лаврова и писанием ему письма был, как видно, невелик. Елисеев сам говорит об этом в своем письме к Лаврову — «н е д а в н о я прочел в «Деле» статью «Городское и сельское хозяйство».

[2] Елисеев не точно воспроизводит заглавие статьи Лаврова. Она называлась — «История городского и сельского устройства в Западной Европе» (см. «Дело», 1871 г., №№ 10 и 12). Подпись — П. Л. Кедров. Она вошла в «Собрание сочинений П. Л. Лаврова», изд. «Революционная Мысль», IV серия, вып. IX. Петроград, 1918 г., стр. 5—98.

[3] Имеется в виду Мария Александровна Марко-Вовчок.

[4] В г. Кадникове Вологодской губернии Лавров находился в ссылке с 3 октября 1868 г. по 15 февраля 1870 г., когда он при помощи Г. А. Лопатина бежал из Кадникова за границу.

[5] Владимир Викторович Лесевич (1837 — 1905 гг.) известный философ, один из первых в России представителей эмпирио-критической философии Авенариуса и Маха. Лесевич был учеником Лаврова по Артиллерийскому училищу и сохранил с ним до самой его смерти очень близкие и дружеские отношения (см. Е. Ганейзер, В. В. Лесевич в письмах и воспоминаниях. «Голос Минувшего», 1914 г., № 8, стр. 48 — 54). Лесевич был деятельным посредником между Лавровым и русскими легальными журналами. В связи с этим его имя очень часто встречается в письмах Лаврова к Е. А. Штакеншнейдер (см. «Голос Минувшего», 1916 г., № 7—8, стр. 123, 128 и № 9, стр. 118—119, 121).

[6] В 1871 г. у Лаврова произошел серьезный конфликт с «Отечественными Записками» из-за задержки ему гонорара (см. об этом «Материалы для биографии П. Л. Лаврова». Вып. I. Петроград, 1921 г., стр. 41—42). Этому печальному инциденту и посвящено все настоящее письмо Елисеева. Конфликт этот нашел очень яркое отражение в письмах Лаврова к Штакеншнейдер (см. «Голос Минувшего», 1916 г., № 7—8, стр. 126, 129 и № 9 стр. 115).

З. Г. З. ЕЛИСЕЕВ — П. Л. ЛАВРОВУ

21 октября [1880 г. С.-Петербург] [1]

Милостивый государь,

Извините, что не имея удовольствия Вас знать лично, я не титулую Вас по имени и отчеству, которых Вы редакции не сообщили в вашем письме [2].

Статья ваша: „Сент Бэв как человек" будет напечатана в декабр[ь]-ской книжке О. З. Ранее напечатать ее мы никак не могли, потому что она очень велика, а содержание ее такое, что разделить ее на две книжки, как просите Вы, значило бы уменьшить много ее ценность [3].

О вашей статье писал в редакцию профессор Ковалевский [4], но я не отвечал ему, потому что он забыл обозначить свой адрес. Да и вообще, милостивый государь, я просил бы Вас и на будущее время, если Вам угодно будет и впредь посылать ваши труды в наш журнал, обращаться прямо самим в нашу редакцию с вопросами относительно своих статей, что значительно упростит наши сношения.

Примите, милостивый государь, уверение в совершенном уважении и преданности.

Гр. Елисеев

[1] Письмо без даты. Она определена нами в связи с ссылкой в тексте на статью П. Л. Лаврова о Сент-Беве.

[2] Вся эта фраза продиктована исключительно конспиративными соображениями.

[3] Статья П. Л. Лаврова «Сент-Бев, как человек», напечатана в «Отечественных Записках» за 1881 г. №№ 1 и 2. Подпись — П. У...в.

[4] Имеется в виду профессор М. М. Ковалевский, с которым Лавров находился в очень близких и дружеских отношениях. Через него Лавров сносился с редакцией газеты

«Русские Ведомости». Кроме того Ковалевский на свои средства издал две работы Лаврова — «Задачи понимания истории» и «Важнейшие моменты в истории мысли» (см. Письмо Лаврова к М. Ковалевскому. «Русское Богатство», 1914 г., № 1, стр. 192 — 202). Взаимоотношения Лаврова с Ковалевским очень хорошо обрисованы в статьях: Н. С. Русанова (см. Памяти М. М. Ковалевского. «Русские Записки», 1916 г., № 3, стр. 305 и 308) и С. Ан—ского (см. М. М. Ковалевский и И. И. Мечников в их сношениях с П. Л. Лавровым. «Русские ведомости», 1916 г., № 163, от 15 июля, стр. 5).

4. Г. З. ЕЛИСЕЕВ — П. Л. ЛАВРОВУ

9 января 1882 г. [Ницца]

Что Вы, многоуважаемый Петр Лаврович, никогда ничего не напишите нам, невольным узникам, хотя и в прекрасной темнице?[1] Мы ведь не знаем ничего, что творится в той лаборатории, которая приготовляет epochemachende события и лиц, в них действующих[2]. Какие в сей лаборатории идут работы или по крайней мере вести и предположения имеются и т. п. Вообще, есть ли где-нибудь надежды на скорое оживление и жизнь? Все это Вам, вероятно, более или менее известно, хотя гадательно. Кроме того, нет ли у Вас в запасе подпольных заграничных листков, если таковые являются где-нибудь? Их нам также интересно было бы видеть. Досвидания. Ваш Г. Елисеев.

Наш адрес: Petite rue St'Etienne
Villa des Essarts.

[1] Под «прекрасной темницей» Елисеев подразумевает город Ниццу, невольным жителем которой он сделался в силу своей болезни.

[2] Елисеев имеет в виду революционное движение и в частности деятельность партии «Народной Воли».

5. П. Л. ЛАВРОВ — Г. З. ЕЛИСЕЕВУ

328, rue St.-Jacques
26 января 1882.

Многоуважаемый Григорий Захарьевич.

Не отвечал Вам сейчас, потому что знал, что Вы уже успокоены письмом из rue des Beaux Arts, а все это время был очень занят и до сих пор имею много дела. Вы спрашиваете о подпольных листках и об epochemachende[1] деятельности. Вам из газет известно, вероятно, что мы (т.е. я с Засулич) выступили в качестве уполномоченных от самой мирной отрасли русской организации[2], что вызвало большой гнев здешнего посольства и немалое раздражение петербургского официального органа[3]. Из России доходят разные известия, которые тоже печатаем в разных иностранных газетах, французских и английских. Там идут себе аресты в немалом количестве (арестовали в Москве Ольгу Любатович)[4], а порой, как Вам известно, и вешают (недавно Санковского[5]), но это не мешает подпольным листкам выходить себе да выходить. Вот получили мы первые страницы № 7 Народной Воли (он сейчас вышел, но до нас доходит кусками); есть и кое-какие прокламации. Но все это гуляет по рукам, так как доходят немногие экземпляры, и пересылается из Парижа в Лондон, Женеву etc. etc., так что достать на долго трудно. То что из этого попадает в „Общее Дело“[6] или „Вольное Слово“[7] Вы, конечно, знаете, так как, верно, интересуетесь и читаете эти издания, которые как мне известно, есть в Ницце. Выйдет ли из этого что-либо epochemachendes или нет, знает лишь Аллах, но у него от старости, теперь голова не в порядке и он перестал сообщать свои знания человекообразным прорицателям и пророкам. Даже его представители в истории, государственные деятели что-то с ума спячивают. По крайней мере и Гамбетте и Бисмарку не худо бы немного полечиться у психиатров (наших, конечно, и лечить нечего: конституционный идиотизм и хроническое извращение

логики неизлечимы). Конечно помешательство распространяется. Вот и мой хороший приятель, которого Вы немного знали, Подолинский[8], посажен в Монпелье в сумасшедший дом. Как бы всем нам не свихнуться? А может быть и свихнулись уж, да сами этого не подозреваем...

Придя к столь замечательным результатам, считаю лучшим остановиться. Желаю Вам всего лучшего, особенно здоровья. Говорят у Вас в Ницце очень тепло. Прошу передать мой глубокий поклон Катерине Павловне[9].

П. Лавров

Получили ли Вы посланные Вам 3-й и 4-ый томы романа французского? Вы, конечно, мне не ответили на это. Посылаю Вам последний выпуск его, который у меня залежался.

[1] Под этим словом Лавров имеет в виду деятельность партии «Народной Воли», которой интересовался Г. З. Елисеев в своем письме.

[2] Речь идет об «Обществе Красного Креста Народной Воли», возникшем в декабре 1881 г. П. Л. Лавров совместно с В. И. Засулич был избран представителем этого «Общества» за границей, что и было объявлено в № 8—9 «Народной Воли» за 1882 г.

[3] См. статью в «Новом Времени» — «Journal de St.-Pétersbourg" о происках русских революционеров» (1882 г. 6 января, № 2104). Статья вызвана письмом П. Л. Лаврова и В. И. Засулич в газету „L'Intransigeant" Рошфора от 1 января 1882 г., где они, излагая цели и задачи «Общества», открыли денежную подписку в его пользу. Статья из „Journal de St.-Pétersbourg" перепечатана в выдержках также в «Современном Обозрении», Москва, 1882 г., 7 января, № 6, стр. 1, см. «Дневное Обозрение». П. Л. Лавров в своем письме имеет в виду „Journal de St.-Pétersbourg", который являлся официальным органом русской дипломатии.

[4] Любатович, Ольга Спиридоновна (1854—1917) — видный член «Земли и Воли» 70-х годов, известная участница процесса 50-ти. Состояла членом Исполнительного Комитета «Народной Воли». Арест, о котором пишет Лавров, произошел 6 ноября 1881 г. в Москве, где Любатович была задержана под фамилией Марии Святской. П. Л. Лавров лично хорошо знал О. С. Любатович, так как она была в бытность свою в Цюрихе (1872 — 1873 гг.) наборщицей журнала «Вперед» (см. П. Л. Лавров «Народники-пропагандисты 1873—1878 гг.». 1925 г., стр. 57—58; О. С. Любатович «Далекое недавнее», «Былое», 1906 г., № 6, стр. 121). Во время своего пребывания за границей Любатович неоднократно посещала Лаврова в Париже.

[5] Санковский, Николай Мартынович 13 ноября 1881 г. покушался на убийство генерал-адъютанта Черевина, товарища министра внутренних дел, шефа жандармов. 5 января 1882 г. он был военно-окружным судом в Петербурге приговорен «к смертной казни через повешение». Информация Лаврова неверна. Санковский при дальнейшем утверждении приговора суда получил замену смертной казни «ссылкой в каторжные работы в рудники без срока» (см. «Правительственный Вестник», 1882 г., 13 января, № 9, стр. 1). Повидимому, Лавров был введен в заблуждение «Вольным Словом», где сообщалось только о смертной казни Санковского (см. «Вольное Слово», Женева, 1882 г., 24 января, № 24, стр. 3).

[6] «Общее Дело» — подпольная, политическая и литературная газета, выходившая ежемесячно в Женеве. Издателем ее был М. К. Элпидин при материальной поддержке Н. А. Белоголового. Главным редактором был А. Х. Христофоров, соредакторами — Н. А. Белоголовый и В. А. Зайцев. Всего вышло 112 номеров (№ 1 вышел в свет 9 мая 1877 г., последний в ноябре 1890 г.). «Общее Дело» стремилось быть выразителем конституционных стремлений как части русской эмиграции, так и русской общественности 80-х годов. Этими целями объяснялся состав сотрудников этой газеты, где на ряду с эмигрантами работал целый ряд представителей русской легальной интеллигенции. Нам известен следующий состав сотрудников «Общего Дела»: 1. Н. А. Белоголовый (подпись — Н. Б.), 2. В. А. Зайцев (подпись — В. З.), 3. П. Ф. Алисов (подпись — П. А.), 4. Н. О. Осипов (подпись — Изгоев), 5. М. И. Венюков (подпись — В.), 6. Н. М. Ядринцев (подпись — Н. Я.), 7. А. Х. Христофоров (подписи — Х. Х. и А. Х.), 8. Н. В. Соколов (подпись — Н. С.), 9. С. Я. Жеманов, 10. З. Стоянов, 11. М. П. Драгоманов, 12. С. А. Подолинский, 13. П. В. Григорьев (подпись — П. Безобразов), 14. Н. А. Морозов и 15. Н. А. Юренев (подписи — N. или N.N.). Кроме этих лиц в «Общем Деле» печатался М. Е. Салтыков-Щедрин. Это обстоятельство впоследствии было поставлено в вину «Отечественным Запискам» и послужило одним из поводов к их закрытию. Подробная библиография об «Общем Деле» имеется в «Словарном указателе по книговедению» А. В. Мезьер. М. — Л., 1931 г., стр. 991 — 993.

[7] «Вольное Слово» — подпольная газета, выходившая в Женеве. Издавалась на средства «Священной Дружины» и редактировалась ее заграничным агентом А. П. Мальшин-

ским. Вначале она была свободной трибуной для всех революционеров и социалистов, не приемлющих террора. Борьба с террором и в частности с народовольцами была основной целью создания этого органа «Священной Дружины». Газета выходила еженедельно. Первый номер вышел в 1881 г. 8 августа. Редакция А. П. Мальшинского продолжалась до номера 36 включительно. С номера 37, 1882 г., от 15 мая «Вольное Слово» объявило себя органом «Общества Земского Союза и самоуправления» и с этого момента фактическим редактором его стал профессор М. П. Драгоманов. Всего было выпущено 62 номера. Последний номер вышел в 1883 г. 22 мая в двойном размере (№ 61—62). Из сотрудников «Вольного Слова» нам пока известны следующие: 1. М. П. Драгоманов, 2. П. Б. Аксельрод, 3. Г. С. Веселитский-Божидарович, 4. Н. И. Зибер, 5. Д. Н. Овсяннико-Куликовский, 6. Н. П. Цакни, 7. С. М. Кравчинский, 8. И. Н. Присецкий, 9. В. Г. Малеванный, 10. Н. А. Жебунев, 11. М. Я. Рабинович (Бен-Ами), 12. М. Павлик, 13. К. А. Бороздин, 14. В. А. Гольдштейн, 15. А. М. Эпштейн. Подробную библиографию о «Вольном Слове» см. в «Словарном указателе по книговедению» А. В. Мезьер, М.—Л., 1931 г., стр. 904—909.

[8] Подолинский, Сергей Андреевич, сын известного поэта пушкинской эпохи Андрея Ивановича Подолинского, был очень близок к П. Л. Лаврову по организации в конце 1872 г. журнала «Вперед»; через него шли все переговоры с Россией и он заведывал организацией по добыванию материальных средств для этого издания (см. П. Л. Лавров. Народники-пропагандисты. 1925 г., стр. 51—52). Имея большие личные средства от отца — богатого помещика, — С. А. Подолинский немало потратил своих собственных денег на поддержку издания «Вперед». После закрытия «Вперед» Подолинский деятельно сотрудничал с М. П. Драгомановым по насаждению за границей украинофильства. В 1881 г. он на свои личные средства издавал журнал «Громада», редактируя его совместно с М. П. Драгомановым и М. Павликом. Одновременно с подпольной работой Подолинский принимал участие и в русской легальной печати, сотрудничая: в газете «Киевский Телеграф» (7 статей за 1875 г. под инициалами — П. и С. П.) в журналах — «Дело» (см. его статьи — Клод Бернар, 1879 г., № 2, стр. 242—272 и «Здоровье крестьян на Украине», 1879 г. № 5, стр. 146—189) и «Слово» («Труд человека и его отношение к распределению энергии», 1880 г., апрель—май, стр. 135—211). Последняя работа с некоторыми изменениями напечатана в 1883 г. в органе миланских социалистов «Ie plebe», а затем в журнале Карла Каутского «Neue Zeit» за тот же год. Этот труд Подолинского очень заинтересовал Карла Маркса и получил весьма одобрительный отзыв Ф. Энгельса (см. Э. Бернштейн «Воспоминания о М. Драгоманове и С. Подолинском», «Летопись Революции», Берлин, 1923 г., том I, стр. 64).

[9] Екатерина Павловна — жена Г. З. Елисеева, урожденная Гофштетер (по первому мужу Корбецкая), вышла за него замуж в 1865 г. Скончалась в Петербурге через семь дней после смерти Г. З. Елисеева 25 января 1891 г. П. Л. Лавров был лично знаком с Екатериной Павловной в 1865—1866 гг., еще до своего ареста и эмиграции. Затем он часто встречался с ней в Париже во время неоднократных поездок ее с Григорием Захаровичем за границу. После Екатерины Павловны остались небольшие ненапечатанные воспоминания, которые Н. К. Михайловский считает «превосходными в своей непосредственности». («Полное собрание сочинений», СПБ, 1909 г., том VII, стр. 416. Там же о ней еще страницы 472, 477 и 480). Воспоминания эти частично, в отрывках приведены В. Евгеньевым-Максимовым в «Голосе Минувшего» (см. 1915 г., № 1, стр. 25—29, 30—34; 1916 г., № 2, стр. 6, 15, 18, 21—23, 34—38).

6. Г. З. ЕЛИСЕЕВ — П. Л. ЛАВРОВУ

10 июня 1882 г. [Люцерн]

Многоуважаемый
Петр Лаврович,

Спешу уведомить Вас, что мы из кочевого положения перешли теперь на оседлое. Потому во избежание проволочек можете прямо на мое имя адресовать ваши письма и проч. по следующему адресу: Luzern, Hôtel Sonnenberg bei Luzern. Последние слова прибавлять необходимо, потому на Люцернском озере много hotel'ей с названием Sonnenberg. Первый лист корректуры я прочел и послал Вам в субботу. Шрифт и печать очень хороши. Надобно только написать, чтобы запаслись хорошими типографскими чернилами и чтобы печать не вышла полинявшею и слепою.[1]

О себе пока Вам ничего не буду писать. Чувствую себя недурно, хотя погода до сих пор стоит ужасная. Поместились мы очень недурно, но скучать будем, вероятно, шибко до приезда Белоголовых, которые обе-

щались переехать к нам 15 июня и жить вместе с нами.—Пишите о Ваших новостях. — Жена Вам кланяется. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Григорий Елисеев

[1] Речь идет о печатающейся за границей нелегальной книжке «Иван Александрович Худяков. Опыт автобиографии. Женева. Вольная русская типография. 1882 г. XII + 183 стр.». В издании и редактировании этой книжки деятельное участие принимал Лавров. Как нам удалось установить, ему принадлежит небольшое предисловие к этому изданию (см. стр. V—VII).

7. Г. З. ЕЛИСЕЕВ — П. Л. ЛАВРОВУ

9 августа 1882 г. [Люцерн]

Многоуважаемый
Петр Лаврович,

Посылаю Вам проект моего примечания на упрек, сделанный Худяковым Некрасову. [1] Прочтите его, пожалуйста, внимательно. Вместо извинения я написал, как Вы увидите, полное оправдание Некрасову. У меня не было ни времени, ни сил выразить свою мысль так полно и рельефно, чтобы она сделалась для всех убедительною. Но в истине ее я не сомневаюсь. Потому я очень желал бы, чтобы эта мысль, равно как и основа ее аргументации, набросанная мною, были сохранены. Затем я просил бы Вас, если Вы станете на мою точку зрения, восполнить и округлить мою аргументацию в тех частях, где она покажется Вам слабою или недостаточно обработанною литературно. И вообще впрочем я смотрю на мое маранье не более, как на проэкт. Что касается до изложения, оно может [быть] вполне изменено, исключая главной мысли и основы ее аргументации.

А всего лучше для избежания возможных недоразумений сделать так: согласимся напеча[тат]ь примечание в конце книги, сделав в тексте только ссылку на него, это даже и лучше будет: потому что примечание вышло довольно большое [2]. Тогда [мы] общими силами мы напишем примечание удовлетворительное по содержанию и по форме. Я пишу это, конечно, в той надежде, что Вы будете так добры и любезны, как были и до сих пор, или, точнее сказать, всегда, и несмотря на множество ваших занятий, найдете возможность написать ваш проект и прислать его мне.

Жму Вам крепко руку, и до свидания Ваш Гр. Елисеев.

P. S. Белоголовый по моей просьбе уже в двух письмах спрашивал у Вас адрес Зибера [3] в Берне. А все [на него не] ничего не отвечаете. Сообщите, пожалуйста, и поскорее. Мне очень нужно.

Luzern, Hôtel Sonnenberg bei Luzern.

[1] В своей автобиографии И. А. Худяков в особом примечании говорит о патриотическом взрыве, который охватил собой все русское общество после покушения Каракозова. В нем он в крайне резких выражениях клеймит Н. А. Некрасова. «Трудно себе представить, — пишет Худяков, — силу патриотической мании, объявшей публику после покушения. Со всех сторон посылались адресы: даже либеральный и очень талантливый поэт Некрасов писал патриотические стихи и публично в стихах просил Муравьева «не жалеть преступников». Это говорил друг Добролюбова, Чернышевского, издатель «Современника» и лучший поэт, и говорил не сидя в крепости, не келейно с деспотом, а публично! При всей подлости этого поступка, какая была при этом в нем доля глупости!.. «Современник» Муравьев закрыл, «не жалея преступников»; стало быть только Некрасов и проиграл; хотя надо сказать, ничто не оправдывало его трусости... Мы не говорим уже о гнусности того факта, что литература сочла за свой долг добровольно соперничать с палачами... Некрасов сделал бы меньшую подлость, если бы на собственный счет построил для нас виселицы!» (стр. 167—168). Это место в книжке Худякова и заставило Елисеева написать «оправдание Некрасову» в виде примечания к ней.

[2] Примечание Елисеева, посвященное Н. А. Некрасову, не было напечатано Лавровым. Оно сохранилось в бумагах Елисеева и полностью помещено в книге «Шестидесятые годы. М. А. Антонович и Г. З. Елисеев. Воспоминания». Изд. «Академия». М.—Л. 1933 г., стр. 460—467 (см. главу — «О личности Некрасова»).

[3] Николай Иванович Зибер (1844—1888) — экономист, доцент Киевского университета. Один из первых в России популяризаторов экономических идей К. Маркса. Большую научную ценность представляла его магистерская диссертация — «Д. Рикардо и К. Маркс в их общественно-экономических исследованиях». С 1875 г. Зибер постоянно жил за границей и находился в самых дружеских отношениях с Лавровым.

8. Г. З. ЕЛИСЕЕВ — П. Л. ЛАВРОВУ

9/21 сентября 1882 г. [Берн]

Многоуважаемый
Петр Лаврович,

Спасибо Вам за уведомление о ходе издания. Очень рад, что дело идет к благополучному концу. А что нескольких листов конца издания я не видал, это, конечно, ровно никакого значения не имеет. Я уверен, что и в этих листах не проскользнуло ни одного имени, которое могло бы быть скомпрометировано. А это главное, о чем я заботился[1]. — Затем, я никак не могу считать себя причиною того, что с Вами потеряли друг друга. Я, действительно, обещал уведомить Вас, когда переменю место жительства, в том, конечно, случае, если при этом потребуется новый адрес. Но при переезде из Люцерна в Берн такой надобности не оказывалось. Берн всего на расстоянии трех часов от Люцерна, а в таких случаях я обыкновенно подаю бумагу в почтамт, чтобы все полученное на мое имя пересылалось в данное место. Так было и теперь. И все из Люцерна посылалось в Берн исправно. Как случилось, что пропадали корректуры, не понимаю. Последняя корректура, полученная мною в Люцерне, была та, где помещено было ваше примечание о Некрасове[2]. Я прочитал в тот же час, как получил, и в тот же день отправил к Вам. Неужели Вы ее не получили? Если не получили, то надо взять за бока бывшего нашего хозяина Видмера. Но все это мы разберем с Вами в Париже, куда я стремлюсь давно уже, но грехи не пускают.

В Берне стоит такой холод и такая скверная погода, что мы хвораем все время, пока живем. Кашель, насморк невообразимые, и не знаем, как отсюда выбраться. Сегодня вечером решил я отправиться в Женеву, а оттуда через несколько дней в Париж. Моя цель оставить жену в Женеве, а в Париж ехать одному. Удастся ли это, не знаю. Буду просить ее, убеждать, умолять, чтобы она отпустила меня одного. Так жить, как живем мы, невозможно. Не говоря о беспрестанных столкновениях, делать ничего нельзя. Проводишь самую глупую жизнь. Знаю, что без жены будет мне хворому пропасть неудобств, приходится множество разных неприятностей, а может быть даже и околеть где-нибудь без призору. И за всем тем, взвешивая все и pro и contra, я все-таки решаюсь. Удастся ли, не знаю. Слаб я очень, никак не могу переносить женских слез.

Скажите от меня поклон Белоголовым, не пишу теперь, потому что, как говорю Вам, все, что мы живем здесь, хвораем. И главный писарь до сих пор не поднимал вопроса о письме.

Кстати 17 нашего сентября Софья Петровна имянинница[3]. Успею ли я к этому времени приехать в Париж, я не знаю. По всей вероятности не успею. В таком случае всю надежду и упование возлагаю на Вас. Приищите ей какой-нибудь подарок франков в 50 и даже более в 60, и в день именин пошлите из магазина от моего имени. В выборе подарка совершенно полагаюсь на ваш вкус. Деньги по приезде в Париж возвращу Вам с благодарностью. Засим до свидания и будьте здоровы.

Ваш Гр. Елисеев

Жена Вам кланяется.

[1] Из этого места письма Елисеева видно, что он не только участвовал совместно с Лавровым в редактировании текста печатающейся за границей автобиографии И. А. Худякова, но, повидимому, выправлял самую рукопись ее до печати, вычеркивая оттуда имена тех лиц, которые могли быть скомпрометированы.

[2] Это место письма Елисеева документально подтверждает, что анонимное примечание, напечатанное в книжке А. И. Худякова в ответ на его упреки Н. А. Некрасову, принадлежит П. Л. Лаврову (см. «Примечание издателей», стр. 168—169). Не согласившись с проектом примечания, присланным Елисеевым, и его аргументацией, Лавров сам ответил Худякову, подойдя к поступку Некрасова с несколько иной точки зрения, чем предлагал Елисеев.

[3] Имеется в виду жена доктора Н. А. Белоголового.

II. НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА Г. В. ПЛЕХАНОВА к П. Л. ЛАВРОВУ

Вступительная статья Б. Н. Козьмина

В 1921 г. в № 2 исторического журнала «Дела и Дни» было опубликовано 22 письма Г. В. Плеханова к П. Л. Лаврову [1]. Печатаемые ниже четыре письма Плеханова к тому же адресату [2] являются ценнейшим дополнением к публикации 1921 г.

Если к только что указанным 26 письмам добавить еще одно письмо Плеханова, напечатанное в 1933 г. в № 7—8 «Литературного Наследства» [3], то перед нами будут все известные до сих пор письма Г. В. Плеханова к его старшему товарищу по революционной работе — П. Л. Лаврову.

Письма Плеханова к Лаврову относятся к первому десятилетию эмигрантского периода жизни Плеханова (1880—1889); погодное распределение их в пределах этого десятилетия крайне неравномерно: из 27 писем 24 относятся к первым четырем годам десятилетия и лишь три к остальным шести годам. Такое хронологическое распределение писем Плеханова не случайно: оно отражает эволюцию взаимоотношений между основоположником русской социал-демократии и теоретиком революционного народничества.

Письма Плеханова к Лаврову — материал исключительной важности для характеристики этой эволюции. В этом легко убедиться, проследив основные этапы сближения и расхождения Плеханова с Лавровым.

I

Плеханов сблизился с Лавровым в 1880 г., когда совместно со своими товарищами по «Черному Переделу» В. Засулич, Л. Дейчем и Я. Стефановичем оставил пределы России и превратился в эмигранта. Если до этого Плеханов и встречался с Лавровым во время своего пребывания за границей в 1877 г., то встречи их носили случайный характер и не давали повода к сближению. Поэтому в землевольческий период своей жизни Плеханов судил о Лаврове не столько по личным впечатлениям от встреч с ним, сколько по его сочинениям и по столкновению с людьми, именовавшими себя его учениками и последователями.

Несомненно, что, еще живя в России, Плеханов читал «Исторические письма» и другие произведения Лаврова, а также был знаком с его журналом и газетой «Вперед». Прямых высказываний Плеханова *того времени о Лаврове и о его политической программе* до нас не дошло. Тем не менее, не рискуя впасть в ошибку, мы можем утверждать, что отношение Плеханова к Лаврову и его революционной теории было глубоко отрицательным. Мы знаем, что мыслями Плеханова в землевольческий период его деятельности безраздельно владел другой теоретик революционного народничества — апостол анархизма М. А. Бакунин. Естественно, что в верном последователе идей Бакунина, каким вырисовывается перед нами Плеханов по его статьям того времени, программа, развиваемая Лавровым на страницах «Вперед», не могла не вызывать враждебного отношения. Это сказалось при встрече Плеханова с учениками Лаврова.

Еще в землевольческий период Плеханов прославился как остроумный, задорный и красноречивый оратор, с большим успехом выступавший на собраниях революционной молодежи в Петербурге. На этих собраниях ему приходилось неоднократно сталкиваться с последователями Лаврова, вести с ними ожесточенные диспуты и резко критиковать их отношение к текущим вопросам революционной жизни [4].

Сохранился ряд позднейших отзывов Плеханова о тогдашних петербургских лавристах. Эти отзывы свидетельствуют о впечатлении, произведенном ими на их молодого, но убежденного идейного противника.

Плеханов признает, что пропаганда, которую лавристы вели среди петербургских рабочих, приносила известную долю пользы, поскольку лавристы, в прямом противоречии с свойственным им, как и другим народникам, отрицательным отношением к «политике», сочувственно отзывались о германской социал-демократии и знакомили русских рабочих с ее деятельностью [5]. Однако на ряду с этим Плеханов обращает внимание и на другую сторону, характерную для политических выступлений тогдашних лавристов. «Они, — свидетельствует Плеханов, — составляли из себя довольно высокомерную общину сектантов, упорно и монотонно осуждавших все то, что заставляло сильнее биться сердце тогдашнего «радикала»: студенческие волнения, рабочие стачки, манифестации, сочувственные политическим «преступникам», массовые протесты против безобразий администрации и т. д. и т. д. Это очень раздражало тогдашнюю революционную молодежь; популярность автора «Исторических писем» быстро падала» [6]. И вслед за этим Плеханов вспоминает об известной эпиграмме на Лаврова, автором которой был товарищ Плеханова по редактированию «Земли и Воли» Д. А. Клеменц. Эта эпиграмма

«Ех — профессор, ех — философ,
Революции оплот,
Он сидит верхом на раке
И кричит: «Вперед! Вперед!»

— ярко рисует отношение землевольцев к Лаврову. Правда, по петербургским лавристам 1877—1878 гг. было бы не вполне правильно судить о самом Лаврове. К этому времени они довольно далеко отошли от своего учителя. Их революционная деятельность приближалась к концу и вскоре все они навсегда отказались от участия в революционном движении. Лавров знал это и впоследствии осуждал их за то, что они «сами почти добровольно сходили с политической сцены» [7]. Один из товарищей Плеханова по группе «Освобождение Труда» свидетельствует, что ему из уст самого Лаврова доводилось слышать заявления вроде следующего: «Я не лаврист; я давно не имею ничего общего с лицами, носящими эту кличку; своим поведением они скомпрометировали себя и меня»' [8]. Сам Плеханов впоследствии отмечал, что ему приходилось иметь дело с «лавристами времен упадка», и что «их взгляды вовсе не характерны для лавризма, каким он был в лучшую пору своего существования» [9]. Однако разобраться во взаимоотношениях между Лавровым и его учениками Плеханов смог лишь впоследствии, когда познакомился с самим Лавровым. В 1877—1878 гг., в разгар полемики против лавристов, и он был склонен возлагать на Лаврова ответственность за грехи его учеников. Это совершенно неоспоримо вытекает из приведенных выше его слов о том, что петербургские лавристы своими выступлениями подрывали популярность автора «Исторических писем». Таким образом в землевольческий период Плеханов несомненно относился к Лаврову не только отрицательно, но даже и враждебно.

II

В январе 1880 г. Плеханов эмигрировал в Швейцарию. Вскоре, весной того же года, ему пришлось посетить Париж в качестве делегата от русских эмигрантов в Швейцарии, посланного хлопотать о невыдаче русскому правительству находившегося во Франции народовольца Л. Гартмана. Лавров принимал деятельное участие в деле последнего. К этому-то времени и относится начало сближения Плеханова с Лавровым.

К весне 1880 г. Плеханов уже не был таким ортодоксальным народником-бакунистом, каким он являлся в эпоху «Земли и Воли»: в его миросозерцании стали заметны неко-

торые трещины. Становилось ясно, что Плеханов начал испытывать сомнения во многом, что прежде казалось ему совершенно ясным и бесспорным. Для нас это обстоятельство представляет особый интерес в том отношении, что объясняет возможность идейного сближения Плеханова с Лавровым.

Статьи, опубликованные Плехановым в 1880 г. в «Черном Переделе», а также статья «Поземельная община и ее вероятное будущее», появившаяся в том же году на страницах легального «Русского Богатства», свидетельствует о глубоком идейном кризисе, который в то время переживал Плеханов.

Статья «Поземельная община» была посвящена вопросу, стоявшему в центре тогдашней русской жизни и оживленно дебатировавшемуся на страницах прессы. Вопрос ставился так: окажется ли поземельная община достаточно крепкой для того, чтобы уцелеть от столкновения с капитализмом, начавшим проникать в Россию, или же, напротив того, ей суждено погибнуть в борьбе против капитализма. Другими словами, сможет ли Россия, опираясь на существующую в ней сельскую общину, миновать стадию капиталистического развития и перейти непосредственно к социализму, или же капитализм восторжествует в России подобно тому, как он восторжествовал на Западе?

Еще в 1878 г. Плеханов отметал всякие сомнения относительно этого вопроса. Он был глубоко убежден в непоколебимости русского общинного строя и верил в то, что общинное владение землей «гарантирует народу светлое будущее».

Эта уверенность Плеханова с особой отчетливостью проявилась в статье «Об чем спор?» написанной в конце 1878 г. в связи с теми дискуссиями, которые велись в прессе и среди революционно настроенной молодежи по поводу очерков Гл. Успенского (Г. Иванова) «Из деревенского дневника», печатавшихся в то время в «Отечественных Записках». Известно, что впоследствии, десятью годами позже, когда Плеханов писал свою замечательную статью «Народники-беллетристы», он дал высокую оценку этих очерков Успенского. В 1888 г. Плеханов ставил Успенскому в особую заслугу то, что этот писатель одним из первых отметил проникновение капитализма в деревню и обнаружил, что «склад деревенской жизни быстро разлагается от вторжения новой силы — денег». Совершенно иначе подходит к Успенскому Плеханов десятью годами раньше. В статье «Об чем спор?» он обвинял Успенского в непонимании деревенской жизни и в приписывании крестьянской среде таких взглядов, которые в действительности существуют только в проникнутом «индивидуализмом» населении городов. «Вам, г. Иванов, — писал в то время Плеханов — кажется, что разлагающему влиянию кулачества и плохого экономического положения «в деревне нет даже тени чего-нибудь равносильного в смысле отпора», а ваши противники думают, что этот отпор дается общинным владением землею» [10]. В то время у Плеханова не было еще никаких сомнений в том, что община выйдет победительницей из борьбы с капитализмом.

В 1880 г. от этого благодушного оптимизма у Плеханова не осталось и следа. Он уже понял, насколько велика опасность, грозящая общине со стороны капитализма, и вследствие этого его прогноз относительно будущего России не отличался уже таким категорическим характером, как прежде. Теперь Плеханов уже не отрицает того факта, что русская община вступила в критический период своего существования, что в ней заметны уже «признаки искажения ее коренного принципа», что среди населения деревни происходит диференциация, порождающая борьбу между состоятельными и несостоятельными членами общины. Теперь Плеханов уже не может отвергать возможности разрушения общинного строя «в борьбе с нарождающимся капитализмом». Погибнет ли община или, наоборот, уцелеет и разовьется, по мнению Плеханова, «в значительной мере зависит от правильного понимания нашей интеллигенцией экономических задач родной страны» [11]. Таким образом оказывается, что только вмешательство интеллигенции сможет спасти общину от гибели.

На страницах легального «Русского Богатства» Плеханову волей-неволей приходилось ограничиваться весьма неясными формулировками и не договаривать до конца своих мыслей. С большей ясностью он мог писать в «Черном Переделе», и там мы находим пояснение того, что имеет в виду Плеханов, когда он говорит о вмешательстве интеллигенции в развитие русской экономической жизни.

В «Черном Переделе» он указывает, что традиционным формам народной жизни грозит серьезная опасность со стороны развивающегося в деревне «кулачества и ростовщического капитализма». Кулачество и ростовщичество, по его мнению, сильны тем, что они опираются на поддержку государства. Отсюда вывод: «нам прежде всего нужно обратить свои усилия на разрушение ныне существующего в нашем отечестве государственного строя» [12].

Итак, борьба против самодержавия выдвигается Плехановым как первоочередная задача русских революционеров. В ниспровержении существующей государственной власти и заключается то вмешательство интеллигенции, которое может спасти от гибели общинный строй русской деревни. Таким образом мы видим, что в 1880 г. в отношении Плеханова к политической борьбе начал замечаться перелом, свидетельствующий об отходе его от прежних ортодоксально-народнических позиций.

В 1880 г. Плеханов приходит к заключению, что только революция может спасти общину от гибели, угрожающей ей со стороны капитализма. Ну, а если этого не случится, если капитализм восторжествует в России раньше, чем в ней произойдет социальная революция? Теперь Плеханова не страшит и такая перспектива, ибо он понимает уже, что там, где, как на Западе, восторжествует «индивидуалистический принцип», «капитализм подготовляет почву социализму и является его необходимым предшественником» [13].

Означает ли это признание, что Плеханов уже в 1880 г. стал на точку зрения научного социализма, что он уже тогда был марксистом, как это утверждают некоторые исследователи? Отнюдь нет, ибо и теперь он попрежнему придерживается убеждения, что в формах русской народной жизни заложены «задатки для развития полного коллективизма в отношениях производителей к орудиям труда» [14]; таким образом поземельная община продолжает оставаться в его глазах исходной точкой социалистического преобразования России. Отсюда ясно, что его тезис о подготовке капитализмом почвы для социалистической революции отнюдь не свидетельствует о переходе его на точку зрения научного социализма. Социализм Плеханова эпохи «Черного Передела» попрежнему остается социализмом утопическим. Однако его новый взгляд на капитализм свидетельствует об отходе его от бакунизма. Вместе с тем, как мы сейчас убедимся, отходя от Бакунина, Плеханов в вопросе о капитализме приближается к Лаврову.

Еще в эпоху издания «Вперед» Лавров ставил вопрос о судьбах русской общины, о капитализме приблизительно так же, как теперь — в 1880 г. — ставит его Плеханов.

Подобно другим народникам, Лавров расценивал общину как исходную точку социального преобразования России. В программе журнала «Вперед» он указывал, что социалистическая революция в России облегчается благодаря существованию в ней общинного землевладения. «Мирская сходка», по его мнению, должна превратиться в «основной политический элемент русского политического строя» [15]. Это конечно чисто народническая постановка вопроса. Однако у того же Лаврова мы встречаем формулировки, казалось бы, совершенно иного типа. Таково например его утверждение, что социализм представляет собою «исторический фазис, фатально вырабатывающийся из капиталистического общества». Следующая за этим ссылка на «Коммунистический манифест» показывает, откуда Лавров почерпнул эту мысль [16].

Как же связывал Лавров воедино эти, казалось бы, взаимно исключающие друг друга суждения? Чтобы ответ на этот вопрос выяснился, необходимо привести еще одну цитату. «Какое основание думать, — писал Лавров, полемизируя с Ткачевым, — что борьба народа с буржуазией в России была бы немыслима, если бы действительно в России установились формы общественной жизни, подобные формам заграничной? Разве не развитие буржуазии именно вызвало пролетариат к борьбе?» [17].

Из этих слов Лаврова видно, что его точка зрения сводилась к следующему: он надеялся, что социалистическая революция предупредит развитие капитализма в России, однако вместе с этим он не исключал возможности того, что революция запоздает и капитализм успеет восторжествовать у нас так же, как он восторжествовал на Западе. Возможное торжество капитализма не смущало Лаврова, питавшего, на основании своих наблюдений над западноевропейским рабочим движением, уверенность в том, что капи-

тализм даже в случае его победы «фатально» осужден на гибель. Другими словами, Лавров полагал, что пойдет ли Россия особыми путями развития или же повторит западные, социализм все равно — рано или поздно — восторжествует в ней [18].

Вот почему мы в праве утверждать, что в постановке вопроса о судьбах капитализма в России Плеханов в 1880 г. приблизился к Лаврову. А это конечно облегчало возможность сближения их друг с другом.

III

Свое пребывание в Париже весной 1880 г. Плеханов использовал не только для хлопот по делу Л. Гартмана, но и для организации одного литературного предприятия. Вместе с Лавровым и другими русскими эмигрантами, проживавшими в Париже, он налаживает издание серии социалистических брошюр под названием «Русская социально-революционная библиотека». По возвращении в Швейцарию он пишет объявление об издании этой серии. Письма его к Лаврову, относящиеся к лету 1880 г., посвящены главным образом различным вопросам, связанным с новым литературным предприятием, которое несомненно глубоко заинтересовало его. В то же время он от своего имени и от имени эмигрировавших вместе с ним товарищей по «Черному Переделу» (В. Засулич, Л. Дейч и Я. Стефанович) обращается к Лаврову с просьбой написать для № 2 «Черного Передела» хронику рабочего движения во Франции [19]. Лавров, одобрительно отозвавшийся о № 1 «Черного Передела», соглашается на это предложение [20].

Появление фамилии Лаврова на страницах «Черного Передела» имело не малое политическое значение. Его имя, выдающегося теоретика революционного народничества, пользовалось большим уважением среди революционеров того времени. К этому надо прибавить, что с 1876 г., когда Лавров порвал со своими товарищами по изданию «Вперед», он держался изолированно и не выступал в нелегальной печати. Согласие его на сотрудничество в «Черном Переделе» служило доказательством того, что его симпатии находятся на стороне «Черного Передела», а не «Народной Воли». Черноперделыцы были в праве рассматривать Лаврова если не как единомышленника, то как союзника. А это способствовало начавшемуся сближению с ним Плеханова.

Осенью 1880 г. переписка между Плехановым и Лавровым прервалась в виду того, что Плеханов, покинув Швейцарию, переселился в Париж. В Париже он прожил около года. В это время он часто встречался с Лавровым, обсуждал вместе с ним текущие вопросы русской революционной жизни и в своих научных занятиях пользовался его советами и указаниями, а также его исключительно ценной библиотекой. «Я, живши в Париже, вблизи Bibliothèque National и ваших книг, ужасно в этом отношении избаловался», писал впоследствии Плеханов Лаврову, жалуясь на отсутствие в Кларане, где он поселился после того, как покинул Париж, «порядочной библиотеки» (см. второе из публикуемых ниже писем).

В истории умственного развития Плеханова парижский период его жизни сыграл громадную роль. Глубокий идейный кризис, переживаемый им и наметившийся еще в 1879 г., продолжал углубляться и расширяться. В поисках за выходом из этого кризиса Плеханов жадно набросился на малодоступную для него ранее западноевропейскую социалистическую литературу и в первую очередь работы Маркса и Энгельса, знакомство с идеями которых ограничивалось для него ранее едва ли не одним первым томом «Капитала». Теперь он внимательно штудирует другие произведения Маркса, а также работы Энгельса. Еще летом 1880 г. в Женеве он, по свидетельству П. Б. Аксельрода, изучал «Антидюринга» Энгельса [21]. Однако многие произведения основоположников научного социализма являлись в то время библиографической редкостью и достать их в швейцарских библиотеках представлялось невозможным. Богатейшая парижская Национальная библиотека и ценное собрание социалистической литературы, которым располагал Лавров, послужили для Плеханова целым кладом новых идей. Почти все свое время в Париже он посвящал чтению.

Условия, в которых приходилось жить и работать революционерам в России, являлись более чем неблагоприятными для серьезных теоретических занятий. «До невероятности напряженная борьба с правительством, — писал сам Плеханов в 1880 г., — не

позволяет социалисту-революционеру заниматься пополнением пробелов в его образовании. У него нет для этого ни времени, ни подходящих условий. Попавши с самых молодых лет под огонь полицейских преследований, он часто не имеет даже комнаты, которую он мог бы назвать своей. Целые месяцы, а иногда и годы он не имеет определенного местожительства. Он ведет скитальческий образ жизни и, вставши утром, не всегда знает, где найдет приют на следующую ночь. При таких условиях умственные занятия, если не совершенно невозможны, то крайне затруднительны» [22]. Поэтому понятно, что Плеханов, очутившись в эмиграции в условиях вынужденного бездействия, спешил наверстать потерянное время.

А работа предстояла ему поистине громадная, ибо кроме несбывшихся надежд, поблекших авторитетов и поколебленного мировоззрения он, покидая Россию, не имел ничего. Правда, у него был еще опыт, вынесенный из непосредственного участия в революционной борьбе, однако времени для того, чтобы этот опыт осмыслить и результаты его теоретически оформить, в России у него недоставало.

Еще живя в России, Плеханов имел дело с рабочими. Он вел занятия в качестве пропагандиста в рабочих кружках [23]. Он принимал непосредственное участие в стачечном движении, происходившем в Петербурге в 1878—1879 гг. Уже тогда у него, как и у многих народников того времени, появилась мысль, что фабрично-заводские рабочие являются элементом чрезвычайно ценным для революции, таким, на который следует обратить гораздо больше внимания, чем это делалось в то время революционерами. Эта мысль была выражена им в печати — в передовой статье № 3 и 4 «Земли и Воли». Однако от этого до правильного понимания революционной роли пролетариата была еще «дистанция огромного размера», ибо Плеханов в то время интересовался рабочими лишь с точки зрения той пользы, которую их содействие может принести революционерам, и не понимал еще действительной роли рабочих в социальной революции. К тому же Плеханов продолжал еще рассматривать пролетариат не как самостоятельный класс общества, а как часть единого класса трудящихся. Конечно такая постановка вопроса ничего общего с марксизмом не имела.

Однако пытливая мысль Плеханова не могла успокоиться на тех выводах, которые были сделаны им еще в России. Он сам понимал это и, очутившись за границей, считал нужным вновь пересмотреть результаты своего опыта и «подвести итоги тому, что было сделано и узнано в России» [24]. В том же направлении влияло на Плеханова и западноевропейское рабочее движение, с которым он познакомился, очутившись в Европе. Известно например, что громадное впечатление произвели на него многолюдные демонстрации французских рабочих в честь возвращающихся из ссылки коммунаров, свидетелем которых он был при посещении Парижа весной 1880 г.

Вспоминая впоследствии первые годы пребывания своего и своих товарищей по «Черному Переделу» в эмиграции, Плеханов писал: «Тот, кто не пережил вместе с нами то время, с трудом может представить себе, с каким пылом набрасывались мы на социал-демократическую литературу, среди которой произведения великих немецких теоретиков занимали конечно первое место. И чем больше мы знакомились с социал-демократической литературой, тем яснее становились для нас слабые места наших прежних взглядов, тем правильнее преображался в наших глазах наш собственный революционный опыт. Лично о себе могу сказать, что чтение «Коммунистического манифеста» составляет эпоху в моей жизни» [25]. Действительно, в 1880—1882 гг. Плеханов быстрыми шагами шел по направлению к марксизму. Проследить детально его умственную эволюцию за эти годы на основании опубликованных им в то время произведений невозможно. Его литературная деятельность тогда не отличалась особою продуктивностью. Это и естественно, ибо Плеханову хотелось завершить начатую идейную переработку, прежде чем выступать в печати с развернутыми программными статьями. Заявление и письмо в редакцию «Черного Передела», напечатанные в № 3 этого органа, объявление об издании Русской социал-революционной библиотеки, воспоминания об А. Д. Михайлове, предисловие к русскому переводу «Коммунистического манифеста» да две статьи на политико-экономические темы («Новое направление в области политической экономии» и «Экономическая теория К. Родбертуса-Яге-

цова»), опубликованные в легальных «Отечественных Записках», — вот и все, что мы имеем от Плеханова 1881—1882 гг. Естественно, что при таких условиях переписка его с П. Л. Лавровым за эти годы должна представлять выдающийся интерес. В частности это можно и должно сказать о печатаемых ниже письмах. Ряд высказываний и сообщений, которые мы в них находим, имеет исключительное значение для обрисовки идейной эволюции их автора.

Уже первое из печатаемых ниже писем (от 10 октября 1881 г.) характерно в этом отношении. Получив от возвратившегося в Россию для революционной работы Я. Стефановича сообщение, что чернопередельческий листок «Зерно» расходится в 1000 экземплярах и очень нравится рабочим, Плеханов был настолько поражен этим фактом, что отнесся к нему с недоверчивой подозрительностью. «Если бы, — пишет он Лаврову, — действительно «Зерно» расходилось в 1000 экземплярах в среде рабочих! Тогда можно было бы сказать, что пролог кончен и драма начинается. Тогда можно было бы сказать, что мы имеем уже наше рабочее движение. Тогда поскорее запасаться нужными сведениями и dahin, dahin, где рабочие нуждаются уже в своей рабочей газете. Мне ведь и раньше казалось, что от рабочих только и можно ждать сколько-нибудь важного и серьезного участия в революционном движении» [26].

Не менее характерно следующее письмо, написанное Плехановым в конце 1881 г., в разгар работы над статьей о Родбертусе. Изучая критику теории ренты Рикардо, данную Родбертусом, Плеханов «чувствует», что Родбертус не прав, но не может «открыть логическую ошибку в его доводах». Принять точку зрения Родбертуса он также не может. «Маркс, — пишет он Лаврову о своих сомнениях, — называет теорию Родбертуса ошибочной, а его авторитет для меня очень важен. Я сто раз подумаю, прежде чем соглашусь с неодобряемым им взглядом» [27].

В этом же письме Плеханов касается вопроса о капитализме в России. Мы помним, что в 1878 г. Плеханов категорически отрицал за ним шансы на победу, а в 1880 г. начал колебаться, допуская возможность того, что русский общинный строй погибнет под ударами капитализма, если революция не успеет спасти его. Теперь в 1881 г. для Плеханова нет уже никаких сомнений в этом вопросе: он признает победу капитализма уже предрешенной. «Я, — пишет он Лаврову, — как вам известно [28], держусь того взгляда что это дело уже решенное, Россия «уже ступила на путь естественного закона своего развития», и все другие пути, — мыслимые быть может для каких-нибудь других стран, — для нее закрыты» [29].

В третьем письме, относящемся к началу 1882 г., Плеханов делится с Лавровым своими сомнениями относительно полученного им от народовольцев предложения стать одним из редакторов их заграничного журнала (будущий «Вестник Народной Воли»). «Я не «самобытник», — пишет он, — и не вижу в русской истории никаких существенных отличий от истории Запада. Тем менее вижу я в ней чего-либо диаметрально-противоположного [30] с историей Запада. А между тем «Народная Воля» в каждой передовой статье силится доказать какую-то «Gewaltstheorie» по которой в России не политика родилась из экономии, а наоборот».

После этих ярких высказываний, свидетельствующих, какое громадное значение уже тогда придавал Плеханов теории Маркса, не удивляет выраженная им готовность «создать из «Капитала» Прокрустово ложе для всех сотрудников «Вестника Народной Воли» [31].

Таким образом в 1881—1882 гг. Плеханов сделал громадный шаг вперед и на много приблизился к правильному пониманию теории Маркса. Известно, что уже тогда — в предисловии к русскому изданию «Коммунистического манифеста»—он поставил в порядок дня русской политической жизни основание «организации рабочего класса» в целях «непрестанного выяснения ему враждебной противоположности его интересов с интересами господствующих классов» [32].

Однако, как замечает один из товарищей Плеханова по «Черному Переделу» и группе «Освобождение Труда», в нем и в его товарищах (в последних особенно сильно) «новые взгляды уживались с прежними» [33] или, точнее, с пережитками прежних. Это сказалось на его отношениях с П. Л. Лавровым в те годы, а также и в вопросе об его участии в редакции «Вестника Народной Воли».

IV

Письма Плеханова к Лаврову 1881—1882 гг. показывают, с каким глубоким уважением относился в то время их автор к своему адресату. Плеханов интересуется мнением Лаврова относительно своих литературных работ, выражает ему благодарность за снабжение материалами, за советы, указания и рекомендации, говорит о своем глубоком уважении к автору «Исторических писем». В письме от 31 октября 1881 г. Плеханов пишет: «С тех самых пор, как во мне началась пробуждаться «критическая мысль», вы, Маркс и Чернышевский были любимейшими моими авторами, воспитывавшими й развивавшими мой ум во всех отношениях» [34].

Было бы ошибкой принимать на полную веру это утверждение Плеханова. Нет никакого сомнения в том, что работы Чернышевского и Маркса оказали несравненно большее влияние на духовное развитие Плеханова, чем произведения Лаврова. Нет также сомнения и в том, что неупомянутый в письме Плеханова Бакунин имел не меньшее, а большее, чем Лавров, право считаться одним из любимейших авторов Плеханова в домарксистский период его жизни. Значит ли это, что Плеханов в письме к Лаврову сознательно искажал действительность или желал польстить своему адресату? Конечно нет. Он был вполне искренен, когда писал это письмо; его содержание вполне соответствовало политическим настроениям Плеханова того времени. Несомненно, что в 1881—1882 гг. у него, как и его товарищей по «Черному Переделу», имелась склонность преувеличивать степень своей идейной близости к Лаврову. Это объяснялось отношением Лаврова к существовавшим в то время революционным группировкам. «Начиная с зимы 1880 г. и до конца 1882 г., — вспоминает один из товарищей Плеханова, — Лавров в своих политических взглядах вполне сходился с нами, чернопередельцами, и совершенно отрицательно относился к народовольцам, о чем он неоднократно как устно, так и в своих письмах заявлял некоторым из нас» [35].

Можно сомневаться в том, чтобы Лавров относился «совершенно отрицательно» к народовольцам (этому противоречат факты, например согласие Лаврова быть представителем народовольческого «Красного Креста»), однако несомненно, что в тот момент он стоял гораздо ближе к «Черному Переделу», нежели к «Народной Воле». Это ярко проявилось во время переговоров между народовольцами, с одной стороны, и Плехановым и его друзьями, с другой, относительно совместной работы.

Удачный террористический акт 1 марта 1881 г. на первых порах высоко поднял авторитет народовольцев в революционной среде, особенно же среди эмигрантов. Наоборот, бессилие чернопередельцев с каждым днем вырисовывалось все яснее. «Наше главное горе, — вспоминал впоследствии Плеханов, — заключалось в том, что даже та часть молодежи, которая горячо и искренне отстаивала деятельность в народе, на практике совершенно уклонилась от нее и, умиляясь перед вековечною прочностью экономических «устоев» деревенской жизни, вовсе не собиралась покидать город» [36].

Если же при этом принять во внимание, что чернопередельцы к тому времени начинали примиряться с политической борьбой и признавать полезным участие в ней, то станет ясно, что в 1881 г. создавалась почва, чрезвычайно благоприятная для объединения «Народной Воли» и «Черного Передела» для общей работы. В 1882 г. арестованный Я. Стефанович, объясняя на допросах мотивы своего возвращения из-за границы в Россию, говорил: «Мне казалось совершенно невозможным сплотить в серьезную организацию молодые, неопытные чернопередельческие силы и вести работу, соответствующую этому направлению, рядом с сильной, окрепшей в борьбе и богатой традициями организацией «Народной Воли». В настоящее время эта организация (собственно центр ее — Исполнительный комитет) является настолько популярною и авторитетною, что лишь ее инициатива может обеспечить ход тому или другому практическому начинанию, той или другой тактике партии» [37].

Несомненно, что эти слова Стефановича отражали не только его личные мнения и настроения, но также и настроения и мнения его товарищей эмигрантов-чернопередельцев. Это подтверждается целым рядом фактов: Засулич соглашается стать представительницей народовольческого «Красного Креста»; Дейч организует в Женеве наборную для народовольцев и совместно с Засулич печатает журнальчик «На родине», в ко-

тором на ряду с оригинальным материалом перепечатывались некоторые статьи из «Народной Воли»; наконец Стефанович с благословения своих товарищей летом 1881 г. возвращается в Россию для того, чтобы войти в «Народную Волю» и бороться в ее рядах.

Что касается Плеханова, то и он поддается общему настроению и посылает в «Народную Волю» рецензию на брошюру М. П. Драгоманова по поводу дела 1-го марта. Правда, народовольцы не сочли возможным напечатать в своем органе эту рецензию, не желая начинать полемику против Драгоманова, однако они прислали Плеханову благодарность за сочувственное отношение к памяти деятелей 1-го марта и приглашение к дальнейшему сотрудничеству [38]. А вскоре Исполнительный комитет «Народной Воли» выдвинул проект организации за границей научно-революционного журнала, в качестве одного из редакторов которого на ряду с П. Л. Лавровым и С. М. Кравчинским наметил и Г. В. Плеханова. Таким образом выяснялось, что обе стороны признают желательным если и не полное объединение друг с другом, то по крайней мере сближение и совместную работу.

Нет необходимости излагать здесь историю сближения Плеханова и его товарищей с народовольцами и последующего разрыва между ними. На эту тему имеются весьма содержательные воспоминания Плеханова, Дейча и Аксельрода, подробно выясняющие ход событий того времени [39]. Поэтому мы ограничимся лишь освещением роли Плеханова, с одной стороны, и Лаврова, с другой, в этих событиях, а также выяснением тех задач, которые Плеханов и его политические друзья ставили перед собой, вступая в переговоры с народовольцами.

Напомним прежде всего о том, что переговоры эти начались весною 1881 г., когда Плеханов, как мы уже знаем, жил в Париже и не имел личного общения со своими друзьями, оставшимися в Швейцарии. Несомненно, что уже тогда между ним и другими чернопередельцами обнаруживалось разногласие в вопросе о сближении с «Народной Волей». Плеханов относился к этому сближению с некоторым скептицизмом, чуждым его друзьям, увлеченным успехами народовольцев. Весьма показательно в этом отношении письмо Плеханова к Лаврову, написанное 31 октября 1881 г., т. е. вскоре после возвращения Плеханова из Парижа в Швейцарию. «Настроение моих женевских товарищей, — сообщает Плеханов, — не особенно радует меня. Оно может быть формулировано словами: «соединимся во что бы то ни стало, хотя и поторгуемся, сколько возможно». История хватает за шиворот и толкает на путь политической борьбы даже тех, кто еще недавно был принципиальным противником последней» [40].

Плеханов лучше, чем его политические друзья, понимал, что разногласия, отделяющие его и их от народовольцев, «вовсе уже не так незначительны» [41]. Поэтому он сильно колебался, прежде чем дать свое согласие на вхождение в редакцию народовольческого журнала. В публикуемом ниже письме к Лаврову, написанном в начале 1882 г. по ознакомлении с составленной Лавровым программой проектируемого журнала, Плеханов формулирует те мотивы, которые препятствуют ему принять предложение народовольцев, хотя он и не отказывается быть сотрудником их журнала. Прежде всего он указывает, что в отличие от народовольцев он не «самобытник» (это место его письма мы уже цитировали выше); затем выражает сомнение относительно кандидатуры Кравчинского в члены редакции будущего журнала. «Сергей Михайлович, — пишет Плеханов, — анархист или вернее федералист, по его собственным словам. Я — не то, не другое» [42]. Наконец в качестве третьего — и самого важного — мотива Плеханов указывает на то, что народовольцы стремятся не к народной революции, а к государственному перевороту при помощи заговора. «Я хотел бы, — пишет Плеханов, подобно правоверным народникам отрицательно относившийся к якобинству и бланкизму, — чтобы они от таких невозможных планов совершенно отказались».

Как ни вески были аргументы, приводимые Плехановым против принятия предложения народовольцев, они не подействовали на его политических друзей. В. Засулич и Л. Дейч настаивали на том, чтобы Плеханов дал согласие на участие в редактировании народовольческого журнала, и Плеханов счел нужным подчиниться их мнению.

«Я думаю, — писал он Лаврову, — что партия имеет полное право указать своему

члену тот образ деятельности, который она находит наиболее для него подходящим. Человек, имеющий понятие о дисциплине, не может поступить по своему личному умозрению в том случае, когда это умозрение идет вразрез с мнением его товарищей. Это — большая посылка. Я человек, причисляющий себя к социально-революционной партии, желающий подчиниться всем требованиям дисциплины — посылка меньшая. Вывод отсюда ясен. Я отдаю вопрос о соредакторстве в «Вестнике Народной Воли» на решение своих товарищей. Вы, Евгений [Л. Г. Дейч], Вера [Засулич] и др. должны произнести окончательный приговор по этому делу. Я подчинюсь ему во всяком случае» [43].

Замечательная по ясности и логичности мотивировка, данная в только что цитированном письме Плеханова, показывает, что он уже тогда правильно понимал значение партийной дисциплины и в случаях разногласий со своими политическими друзьями умел подчинять свое «я» воле и желанию коллектива.

Почему же друзья Плеханова так упорно настаивали на принятии Плехановым редакторских обязанностей? Какие цели преследовали они, подталкивая Плеханова на сближение с «Народной Волей»? «Конечно, — отвечает на эти вопросы Аксельрод, — мы при этом надеялись, что нам удастся в конце концов настолько повлиять на народовольцев, что они согласятся придать своему органу социал-демократический характер и направление» [44]. То же самое подтверждает и другой участник переговоров с народовольцами — Л. Дейч. По его словам, он и его друзья надеялись, что «народовольцы волей-неволей, вопреки собственному желанию, под влиянием заграничного своего журнала, начнут постепенно поддаваться проповеди марксистских взглядов, которые Плеханов будет проводить в своих статьях» [45].

Несомненно, что и Плеханов до известной степени разделял надежды своих друзей на возможность переубедить народовольцев и заставить их принять теорию Маркса. «Мы надеялись и надеемся мирным путем повернуть «народовольчество» на надлежащую дорогу», писал он Лаврову весной 1882 г., добавляя, что он признается в этом только одному Лаврову [46].

Однако такие намерения и расчеты Плеханова и его друзей не могли оставаться секретом для народовольцев [47]. Да при этом Плеханов и не очень заботился о сохранении их в тайне. Когда за границу приехал Лев Тихомиров и между ним и Плехановым начались переговоры относительно будущего журнала, Плеханов счел необходимым открыто заявить Тихомирову о своих социал-демократических убеждениях, которые позволяют ему «не насилуя себя, работать только в социал-демократическом журнале». Тихомиров ответил на это признание советом «сначала подготовить русского читателя к усвоению социал-демократических взглядов и только потом, когда это будет сделано, выставлять перед ними социал-демократическую программу». «В виду этого, — рассказывает Плеханов, — мы решили, что наш будущий журнал со временем объявит себя социал-демократическим, но сделает это лишь после того, как ему удастся рассеять анархические предрассудки нашей читающей публики». «Слово социал-демократ, — поясняет при этом Плеханов, — было тогда в нашей революционной среде обидным, почти бранным словом» [48].

Трудно допустить, чтобы Тихомиров был вполне искренен в этом разговоре с Плехановым. При его резко отрицательном отношении к германской социал-демократии он конечно не мог дать серьезное согласие на превращение народовольческого журнала в социал-демократический. Однако, с другой стороны, ему не хотелось итти на открытый разрыв с такой крупной литературной и революционной силой, какой уже в то время был Плеханов. Повидимому Тихомиров рассчитывал, что в редакции нового журнала, состоящей из него самого, Плеханова и Лаврова (кандидатура Кравчинского к этому времени отпала), большинство будет на стороне его, а не Плеханова, и что таким образом Плеханов не сможет изменить физиономию журнала.

При таких условиях громадное значение приобретала позиция, которую во всем этом деле займет Лавров. Мы упоминали уже выше о том, что в 1881 г. Лавров относился к «Народной Воле» если не вполне отрицательно, то с большой дозой скептицизма. Бывшие чернопередельцы хорошо знали это и даже были готовы преувели-

чивать степень расхождения его с этой партией. «Он менее чем кто-либо другой из заграничных согласен с программой «Народной Воли» и способен пойти на компромиссы», писал про Лаврова Дейч Я. Стефановичу в марте 1882 г. [49]. Казалось, что это заключение вполне подтверждается отношением Лаврова к переговорам, которые бывшие чернопередельцы вели с народовольцами. Лавров находил, что во время этих переговоров чернопередельцы сделали народовольцам чрезмерно много уступок [50]. Не согласился он и с той программой будущего журнала, которую составили Плеханов и Тихомиров [51]. Взамен ее он прислал им свою собственную программу, которая повидимому и была принята его товарищами по редакции, после некоторых поправок. Все это давало основание предполагать, что Лавров будет твердо вести свою линию и не пойдет на поводу у Л. Тихомирова. Однако действительность показала совершенно другое. Когда между Плехановым и его друзьями, с одной стороны, и народовольцами, с другой, произошел полный разрыв, Лавров не только не оказал Плеханову поддержки, но остался в редакции «Вестника Народной Воли» и выступил на страницах этого журнала против Плеханова. Мы имеем в виду его рецензию на брошюру Плеханова «Социализм и политическая борьба». Заявив, что нападкам Плеханова на «Народную Волю» могут быть противопоставлены «весьма веские возражения», Лавров однако уклонился от указания на эти возражения. «Нам, — писал он, — нет ни досуга, ни охоты посвящать долю нашего издания на полемику против фракций русского революционного социализма, считающих, что для них полемика с «Народной Волей» более своевременна, чем борьба с русским правительством и с другими эксплоататорами русского народа» [52]. Конечно в этом выпаде раздражения было гораздо больше, нежели логики, и это служило доказательством, что Лавров и его товарищ по редакции Л. Тихомиров хорошо понимали силу удара, нанесенного «Народной Воле» брошюрой Плеханова.

Как же могло случиться, что Плеханов и его друзья так жестоко ошиблись в своих расчетах на Лаврова? Что побудило его солидаризоваться с Тихомировым и стать под знамя «Народной Воли»?

Для ответа на этот вопрос прежде всего необходимо обратить внимание на переоценку Плехановым и его друзьями степени идейной близости к ним Лаврова. Если в 1880 — 1883 гг. Плеханов и его друзья быстро продвигались по направлению к марксизму, то Лавров попрежнему продолжал оставаться убежденным народником.

В 1882 г. в статье «Взгляд на прошедшее и настоящее русского социализма», напечатанной в «Календаре Народной Воли», Лавров писал: «Крестьянство русское сохранило гораздо более первобытную традицию общинного землевладения, чем на Западе Европы, и из всех разрушительных влияний на русскую земледельческую общину сильно было лишь одно правительственное влияние, стремившееся обратить общину в фискальный орган администрации». И далее: «Русское крестьянство сохранило в себе гораздо более живых сил, а потому и элементов самостоятельной организации, чем крестьянство западное, так как города не высасывали из него, как на Западе, всех наиболее энергических и развитых личностей, но оставались лишь местами временных заработков и центральными рынками».

Приведенные только что слова Лаврова свидетельствуют, что в начале 80-х годов он продолжал стоять на той же наивно-народнической точке зрения, что и десятью годами раньше. Развивалась русская промышленность, рос рабочий класс, волна стачечного движения достигла значительной высоты, создавались первые рабочие организации, капитализм проникал в деревню, среди крестьянства происходила резкая классовая диференциация, общинные «устои» начинали расшатываться, а Лавров ничего этого не замечал и утверждал, что если поземельной общине и угрожает опасность, то исключительно со стороны одного государства. Ясно, что при таких условиях он стоял гораздо ближе к народовольцам, чем к Плеханову. Тихомиров и Ошанина, очутившись за границей, прекрасно учли это обстоятельство и сумели привлечь Лаврова на свою сторону.

Надо отметить и еще одно обстоятельство, способствовавшее сближению между ними. Это — горячая приверженность Лаврова к идее объединения всех русских революцион-

ных сил того времени. В статье «Несколько слов об организации партии», напечатанной в № 3 «Черного Передела», Лавров выступил на защиту этой идеи, доказывая, что общая цель — осуществление «принципов революционного социализма» — объединяет всех русских революционеров «в одну партию», а существующие между ними разногласия не имеют настолько серьезного характера, чтобы они исключали возможность объединения. Считая «Народную Волю» наиболее сильной из существующих организаций, Лавров приходил к выводу, что объединение революционеров должно происходить под ее знаменем. «Мне кажется, — писал он Аксельроду 14 апреля 1882 г.,— что в данную минуту выбора нет: для борьбы сообща с общим врагом приходится забыть все частные разногласия и сплотиться в одно целое. Каковы бы ни были ошибки и недостатки нынешних руководителей партии, история поставила во главе движения никого другого, а их [53], и никакие логические доказательства большей разумности иных направлений делу не помогут» [54].

Эти слова Лаврова служат прекрасным объяснением его политической позиции в 1881 — 1883 гг.

V

Если для нас теперь становится совершенно ясным, почему не оправдались и не могли оправдаться надежды Плеханова и его друзей на Лаврова, то остается еще один вопрос, на который необходимо ответить: как могли Плеханов и его друзья не понять своевременно ошибочности своих расчетов на Лаврова.

Несмотря на громадную историческую роль группы «Освобождение Труда» и на заслуги ее по проведению идей Маркса в русскую революционную среду, в программе этой группы были, как известно, некоторые пункты, ошибочные и неприемлемые с точки зрения революционного марксизма. Одним из таких пунктов была переоценка роли интеллигенции, допускавшаяся Плехановым и его политическими друзьями. Эта переоценка проявилась в программе группы, опубликованной в 1884 г. Освобождение рабочих от власти капитала рассматривается в ней не столько как дело самих рабочих, сколько как дело «социалистической интеллигенции». На этой интеллигенции лежит «обязанность организации рабочих и посильной подготовки их к борьбе как с современной правительственной системой, так и с будущими буржуазными партиями» [55].

Переоценка роли интеллигенции сказалась и на отношении Плеханова и его товарищей к Лаврову и народовольцам. Плеханов неоднократно подчеркивал непоследовательность народовольцев и противоречие между их теорией и практикой. На практике «Народная Воля», выдвинувшая на первый план политическую борьбу и направившая на нее все свои силы, была, по его мнению, «полным отрицанием бакунизма и народничества»; теоретически же она была «как нельзя более далека от полного разрыва с ними» [56]. Но если дело сводится исключительно к непоследовательности и к недостаточной продуманности программы, то беда легко поправима: стоит только открыть глаза народовольцам на их теоретические ошибки. Отсюда — стремление Плеханова и его друзей убедить народовольцев в том, что они «почти что сами являются марксистами» [57], отсюда же их попытка уговорить народовольцев опереться на научный социализм. Уже после окончательного разрыва с народовольцами, когда, казалось бы, вполне выяснилось, насколько путь, которым идут последние, расходится с путем избранным группою «Освобождение Труда», Плеханов в письме к Лаврову (весна 1884 г.) выражал уверенность в будущем объединении всей русской революционной партии, — объединении, которого он, по его словам, желает всей душой. «Буду надеяться, — писал он Лаврову, — что все наши недоразумения и несогласия исчезнут перед непобедимой логикой жизни» [58]. Один из биографов Плеханова, поставленный втупик этим письмом Плеханова, выражает уверенность, что надежда на объединение, выраженная в нем, являлась простой, ни к чему не обязывающей вежливостью. «Я говорю, — утверждает он, — что это сказано из чувства деликатности, ибо такое единство, которого желал Плеханов, явно было утопично. Для марксиста Плеха-

нова «непобедимая логика жизни» утверждала марксизм, а единство и согласие в марксизме для его противников было исключено заранее. Да и к тому же всякий разговор об о б ъ е д и н е н и и в 1884 г. после «Социализма и политической борьбы», после яростных публичных выступлений, разоблачающих утопизм народничества и самобытный российский социализм, — был разговором всуе. В это время речь должна была быть о том, к т о с л о ж и т о р у ж и е, ибо борьба уже была начата» [59]. Полагаем, что с таким объяснением письма Плеханова согласиться нельзя. Действительно надежда на объединение в то время была утопична. Но разве мало пережитков утопизма сохранялось еще в то время в политических взглядах Плеханова и его друзей? Разве не утопична была надежда на «государственную помощь производительным ассоциациям», которую мы находим в программе группы «Освобождение Труда»? Разве не пережитком утопизма было признание тою же программой «необходимости террористической борьбы против абсолютного правительства» [60].

Доказательство того, что надежда на объединение в 1884 г. не казалась еще Плеханову утопичной, мы находим в другом его письме к Лаврову, относящемся почти к тому же времени. Это, письмо было опубликовано в виде предисловия к брошюре Плеханова «Наши разногласия». Вот что писал в нем между прочим Плеханов: «Мы думаем, что партия «Народной Воли» о б я з а н а [61] стать марксистской, если только хочет остаться верной своим революционным традициям и желает вывести русское движение из того застоя, в котором оно находится в настоящее время» [62].

Если бы Плеханову в 1884 г. действительно удалось избавиться от всех следов утопизма, он конечно не мог бы написать только что приведенной фразы; он понимал бы тогда, что «Народная Воля» не только не «обязана», но и не может стать марксистской партией.

Пережитки утопизма, продолжавшие сохраняться в мировоззрении Плеханова в 1881 — 1884 гг., не давали ему возможности ориентироваться с полной точностью в революционной конъюнктуре того времени и придерживаться безошибочной тактики, а это не могло не отразиться и на его взаимоотношениях с Лавровым и народовольцами. Сближаясь с ними, Плеханов (в значительной мере под давлением своих политических друзей) ставил перед собою явно утопическую задачу, и нет ничего мудреного в том, что ему не удалось добиться ее разрешения.

VI

Итак, в 1883 г. дороги Плеханова и Лаврова разошлись в разные стороны. Это отразилось и на их личных взаимоотношениях. От прежней дружбы их не осталось и следа. Переписка между ними, как мы отметили выше, почти совершенно прекратилась. Только изредка они обменивались письмами.

Лавров, как и Л. Тихомиров, хорошо понимали, какого серьезного врага они имеют в лице группы «Освобождение Труда», и этим всецело определялось их отношение к Плеханову и его товарищам.

«С группой Освобождение Труда» (которая также называет себя социал-демократами) мы никакого дела не имеем ввиду ее в высшей степени предосудительного отношения к «Народной Воле», писали Лавров и Л. Тихомиров в 1885 г. петербургской народовольческой рабочей группе [63].

Казалось бы, что такое отношение Лаврова и Тихомирова к Плеханову и его друзьям, не бывшее конечно тайной для последних, не оставляло никаких надежд на возможность сближения между этими двумя враждующими группами. Однако несмотря на это, Плеханов и его друзья делают еще несколько попыток договориться с Лавровым о совместной работе.

Первая по времени из этих попыток относится к 1888 г. Правда ей предшествовала еще одна попытка сплочения представителей всех течений, существовавших в то время в эмигрантской среде, для издания журнала в целях борьбы против русского абсолютизма. Однако на этой попытке мы не будем останавливаться, так как инициатива ее исходила от человека, постороннего революционному движению, — конституционалистски

настроенного адвоката Н. И. Кулябко-Корецкого. Плеханов и его друзья соглашались на сотрудничество в проектируемом Кулябко-Корецким журнале; Лавров же отказался. Убедившись, что добиться соглашения различных эмигрантских групп ему не удастся, Кулябко-Корецкий отказался от своего намерения [64].

В 1887 г. русские эмигранты, проживавшие в Цюрихе, организовали «Союз социалистического литературного фонда», ставивший своею задачею издание социалистической литературы. В Союз входили, с одной стороны, молодые народовольцы (Дембо, Гнатовский, Бек и др.), а с другой — эмигранты, тяготевшие к группе «Освобождение Труда» (Г. Гуковский, Соловейчик и др.). Редактором изданий Союза был приглашен Лавров; ему принадлежало решающее слово в выборе литературы, принимаемой Союзом к изданию. Союз обратился с предложением о сотрудничестве между прочим и к Плеханову. Плеханов предложил к изданию свою работу о Лассале и сделанный им перевод брошюры Геда и Лафарга «Программа рабочей партии». Лавров, на рассмотрение которого было передано это предложение, сообщил, что он считает необходимым в первую очередь издать брошюру Каутского «Экономическое учение К. Маркса» в переводе Н. С. Русанова. При ограниченности денежных средств Союза это решение сводилось к тому, что издание брошюр, предложенных Плехановым, откладывалось надолго. Недовольные этим марксисты — члены Союза — потребовали лишения Лаврова редакторских прав и предоставления денежных средств Союза попеременно в полное распоряжение то Лаврова, то группы «Освобождение Труда» [65]. Под влиянием этого в рядах Союза начались горячие распри. В июне 1888 г. под давлением марксистской части членов Союза Дембо (Бринштейн) был вынужден обратиться к Плеханову с просьбой принять ближайшее участие в делах Союза. Как видно из печатаемого ниже ответного письма Плеханова, последний заинтересовался предложением Дембо и рекомендовал ему обратиться к проживавшему в Цюрихе Аксельроду для оформления соглашения между Союзом и группой «Освобождение Труда». «Я с удовольствием готов сделать все, что можно для соглашения с П. Л. Лавровым относительно фонда, — писал Плеханов Дембо. — Вы можете быть вполне уверены в том, что я и все мои товарищи считаем необходимым как можно более сблизиться с вашими товарищами: такое теперь время».

Почему же Плеханов считал, что в 1888 г. наступило подходящее время для сближения группы «Освобождение Труда» с народовольцами? Ответ на это мы находим в письмах Аксельрода к Лаврову и Эдуарду Бернштейну [66]. Ренегатство Л. Тихомирова произвело громадное впечатление на русскую эмиграцию того времени. Члены группы «Освобождение Труда» рассматривали этот факт как имеющий симптоматическое значение. В ренегатстве Тихомирова они видели логический вывод из «нашего славянофильского социализма, словом, народничества», как выражался Аксельрод, «Переход Тихомирова в лагерь реакции, — писал Аксельрод Бернштейну, — лишь по форме был единичным явлением, по существу же в этом сказалась тенденция, которая в то время была довольно сильно распространена, — точнее говоря, господствовала в наших демократических кругах. А именно, это было стремление совершенно покинуть революционную почву и ограничиться легальной «культурной работой», т. е. совершенно очистить поле политической борьбы». Плеханов и его товарищи считали необходимым бороться против таких ликвидаторских течений и находили нужным в этих целях объединение всех «представителей прежнего революционного поколения» для отпора «шатаниям значительной части демократии». Из этих соображений они и исходили, вступая в переговоры с Дембо. Результатом этих переговоров было письмо Аксельрода к Лаврову (от 16 августа 1888 г.) с предложением войти в состав редакции издававшейся в то время группою «Освобождение Труда» серии социалистических изданий под названием «Библиотека современного социализма».

Обращение Аксельрода не встретило сочувствия со стороны Лаврова, который отнюдь не разделял взгляда Аксельрода и его политических друзей на ренегатство Тихомирова, считая этот «эпизод» «чисто личным» и не стоящим «ни в какой связи с программой групп». В своем ответе Аксельроду Лавров указывал, что хотя он и признает объединение русских революционных сил делом чрезвычайной важности, тем

не менее итти на соглашение с членами группы «Освобождение Труда» считает для себя невозможным в виду нетоварищеских, по его мнению, форм полемики против представителей других течений революционной мысли, допускаемых членами группы, особенно же Плехановым. «Источник опасного разлада между русскими социалистами-революционерами, — писал Лавров Аксельроду, — по моему мнению, не в разнице теоретических и практических программ, которая вовсе не так значительна, чтобы безусловно мешала сближению и взаимной помощи на серьезном деле в России. Он лежит в личных раздорах, питаемых преимущественно формою литературной полемики» [67].

Несмотря на отказ Лаврова, члены группы «Освобождение Труда», на этот раз в лице Плеханова, в 1889 г. вновь обращаются к Лаврову с просьбою, о «литературной поддержке». «На первый раз» они просили Лаврова написать для издававшегося «Социал-Демократа» воспоминания о Н. Г. Чернышевском. Лавров и на этот раз ответил отказом, ссылаясь на недостаточно близкое знакомство свое с Чернышевским [68].

В 1889 г. имела место еще одна, более удачная, чем прежние, попытка объединения эмигрантских литературных сил. На этот раз инициатива исходила не от группы «Освобождение Труда», а со стороны одного из членов цюрихского народовольческого кружка Ю. Г. Раппопорта [69], который составил программу нового революционного журнала и послал ее Плеханову с просьбой принять участие в этом литературном предприятии. Плеханов нашел, что программа Раппопорта «почти целиком списана с нашей», как он выразился в письме к Аксельроду, и вследствие этого согласился на предложение Раппопорта. Не менее удачным было и обращение последнего к Лаврову. Хотя Лавров и нашел, что в программе Раппопорта «много влияния плехановщины», тем не менее он не хотел отталкивать от себя народническую молодежь. «Так как приходится теперь снова отстаивать социализм, как 16 лет тому назад, то я в содействии (впрочем, небольшом) не откажу», писал Лавров С. М. Гинзбург, сообщая о предприятии Раппопорта [70].

В результате всех этих переговоров в 1889 г. вышел № 1 журнала «Социалист» (так Раппопорт назвал основанный им журнал), в котором на ряду со статьями Лаврова и других народовольцев (Русанова, Э. Серебрякова) были напечатаны произведения Плеханова и Аксельрода.

Однако и эта попытка объединения оказалась непрочной. Попавший в Париж Раппопорт настолько поддался влиянию Лаврова, что Плеханов и Аксельрод оказались вынужденными уклониться от дальнейшего участия в его предприятии. № 2 «Социалиста» так в свет и не вышел.

Следующая — и последняя — попытка объединения стояла в связи с ужасным голодом, пережитым Россией в 1891—1892 гг. Среди русских эмигрантов и молодежи, учащейся за границей, производились денежные сборы в пользу голодающих. Аксельрод, которому этот момент казался «особенно благоприятным для массовой агитации против самодержавия» [71], выступил в качестве инициатора создания «Общества борьбы с голодом». В конце 1891 г. ему удалось организовать это общество в Цюрихе. Общество борьбы с голодом ставило своей задачей «агитацию в пользу политической свободы» и собиралось для этой цели «содействовать созданию, переправке и распространению в России соответственной литературы среди всех слоев населения, обращаясь за помощью ко всем оппозиционным элементам». В декабре 1891 г. Общество борьбы с голодом обратилось к Лаврову с предложением «составить не особенно больших размеров брошюру, которая выявила бы задачи русского революционера в виду переживаемого кризиса» [72]. Лавров ответил на это предложение отказом, ссылаясь на то, что, в отличие от программы цюрихского Общества, он стоит «не только на точке зрения «конституции», а самым определенным образом на точке зрения социализма» [73]. Этот ответ не охладил однако желания организаторов цюрихского Общества привлечь к своему делу Лаврова. В январе 1892 г. Аксельрод отправился в Морнэ, деревушку близ Женевы, где в то время жил Плеханов, и уговорил его съездить в Париж для личных переговоров с Лавровым и его товарищами. Однако и эта поездка не привела ни к чему. Лавров и парижские народовольцы дали

Плеханову весьма уклончивый ответ, свидетельствующий о их нежелании налаживать какую-либо совместную работу с группой «Освобождение Труда».

Тем не менее поездка Плеханова не осталась безрезультатной; на этот раз он окончательно убедился, что объединение с Лавровым и его друзьями невозможно, да если бы и было возможно, не принесло бы никакой пользы. Это видно из письма Плеханова В. И. Засулич, посланного из Парижа под непосредственным впечатлением от встреч с Лавровым и народовольцами. «Они совсем поросли мохом», — писал Плеханов, отмечая вместе с тем, что это не препятствует им стараться «как можно дороже продать свои мертвые души». «Признаюсь, я мало и пожалел бы, если бы эти живые мощи остались за штатом», резюмировал Плеханов результат своих парижских впечатлений» [74].

Если раньше, полемизируя против народовольцев, Плеханов избегал резких выражений по отношению к Лаврову, то теперь он уже перестал стесняться в этом отношении. Теперь он уже изображает Лаврова как эклектика, во взглядах которого, «как в земной коре при вертикальном ее разрезе замечается целый ряд постепенно образовавшихся наслоений» [75]. Теперь он отзывается о Лаврове, всерьез считавшем себя представителем «научного социализма», как об одном «из последних могикан утопического социализма» [76]. Что касается Лаврова, то и он переходит в нападение. Забыв о своем отвращении к полемике, он дает на страницах редактируемых им «Материалов по истории социально-революционного движения в России» место злостным нападкам «Старого народовольца» (псевдоним Е. Г. Левита) на группу «Освобождение Труда».

В 1898 г. бернская группа русских эмигрантов устраивала праздник в честь Лаврова. Устроители предложили Л. И. Аксельрод принять участие в празднике и выступить с речью о Лаврове. Аксельрод обратилась за советом к Плеханову. Последний ответил, что он считает допустимым выступление Аксельрод только при условии, если ей будет предоставлена возможность «не скрывать от публики своего взгляда на Лаврова как на человека отсталого в теоретическом отношении». «Безусловно хвалить Лаврова, — пояснял свой совет Плеханов, — теперь нельзя: его имя, вместе с именем Михайловского, скоро сделается знаменем умственной реакции в революционной среде» [77].

Так бывшие друзья окончательно превратились в непримиримых врагов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Перепечатаны в книге Л. Дейча «Г. В. Плеханов», вып. 1, М., 1922 г.

[2] Три из них появляются в печати впервые, четвертое же было уже напечатано в одном малораспространенном издании.

[3] Стр. 97. Ранее это письмо было опубликовано в эмигрантском сборнике «Из архива П. Б. Аксельрода», Берлин, 1924 г., стр. 41—42, но там оно было воспроизведено по копии, не имеющей подписи, и вследствие этого автор письма не был установлен.

[4] Яркое и содержательное описание одного такого собрания и выступления на нем Плеханова мы находим в воспоминаниях Н. С. Русанова «На родине», М., 1931 г., стр. 149—151.

[5] Плеханов, Г. В., Русский рабочий в революционном движении. — Сочинения, т. III, стр. 140—141.

[6] Плеханов, Г. В., О социальной демократии в России. — Сочинения, т. IX, стр. 11.

[7] Лавров, П. Л., Народники-пропагандисты 1873—1878 гг. Л., 1925, стр. 271.

[8] Дейч, Л. Г., Русская революционная эмиграция 70-х годов. П., 1920, стр. 50. Ср. его же. «За полвека». Берлин, 1923 г., стр. 283.

[9] Плеханов, Г. В., Предисловие к русскому изданию книги А. Туна. — Сочинения, т. XXIV, стр. 88.

[10] Плеханов, Г. В., Об чем спор? — Сочинения, т. X, стр. 402, 404, 405. Подчеркнуто Плехановым.

[11] Сочинения, т. I, стр. 105—107.

[12] Передовая статья из № 1 «Черного Передела». — Сочинения, т. I, стр. 115.

[13] Там же, стр. 120.

[14] Там же, стр. 115.

[15] П. Л. Лавров. Избранные сочинения на социально-политические темы, т. II, М., 1934 г., стр. 30.

[16] Передовая из № 34 газеты «Вперед».
[17] Избранные сочинения, т. III, стр. 347.
[18] Так именно понимал точку зрения Лаврова Плеханов. — Сочинения, т. XXIV стр. 86.
[19] «Дела и Дни», 1921 г., № 2, стр. 83.
[20] В виду больших размеров статьи, написанной Лавровым, она не была помещена в «Черном Переделе» полностью. Редакция его ограничилась краткими извлечениями из этой статьи.
[21] Аксельрод, П. Б., Пережитое и передуманное. Берлин, 1923 г., стр. 422.
[22] Г. В. Плеханов. Сочинения, т. I, стр. 138.
[23] Интересные письма к нему распрогандированных им рабочих, написанные после возвращения его в 1917 г. в Россию, опубликованы в № 3—4 «Звеньев», М.—Л., 1934 г., стр. 725—738. По этим письмам можно судить, насколько ценили Плеханова рабочие-семидесятники, с которыми ему приходилось иметь дело.
[24] Г. В. Плеханов. Сочинения, т. XXIV, стр. 92.
[25] Г. В. Плеханов. Сочинения, т. XXIV, стр. 178.
[26] Подчеркнуто Плехановым.
[27] Подчеркнуто мною. — *Б. К.*
[28] Повидимому это было известно Лаврову из разговоров, которые вел с ним во время своей жизни в Париже Плеханов.
[29] Подчеркнуто мною. — *Б. К.*
[30] Подчеркнуто Плехановым.
[31] Из его письма к Лаврову весной 1882 г. «Дела и Дни», 1921 г., № 2, стр. 91.
[32] Г. В. Плеханов. Сочинения, т. I, стр. 151.
[33] Дейч, Л., Г. В. Плеханов. Вып. 1, М., 1922 г., стр. 65.
[34] «Дела и Дни» 1921 г., № 2, стр. 86.
[35] Л. Дейч. Названное сочинение, стр. 61.
[36] Г. В. Плеханов. Сочинения, т. XIII, стр. 25.
[37] «Историко-революционный сборник», т. II, Л., 1924 г., стр. 409.
[38] Г. В. Плеханов. Сочинения, т. XIII, стр. 28.
[39] Плеханов, Г. В., Почему и как мы разошлись с редакцией «Вестника Народной Воли». — Сочинения, т. XIII, стр. 23—33; Дейч, Л., О сближении и разрыве с народовольцами. — «Пролетарская Революция» 1923 г., № 7; Аксельрод, П., Пережитое и передуманное. Берлин, 1923 г., гл. XVI.
[40] «Дела и Дни» 1921 г., № 2, стр. 86.
[41] Там же, стр. 90.
[42] В другом письме к Лаврову Плеханов писал о Кравчинском: «он что-то вроде прудониста, я — не понимаю Прудона; характеры наши тоже не совсем сходны: он человек, относящийся в высшей степени терпимо ко всем оттенкам социалистической мысли, я готов сделать из «Капитала» Прокрустово ложе для всех сотрудников «Вестника Народной Воли». Далее в том же письме Плеханов писал: «Я теперь решительный противник федерализма; по-моему, лучше якобинство, чем эта мелкобуржуазная реакция («Дела и Дни» 1921 г., № 2, стр. 90—91). Необходимо отметить, что в вопросе о федерализме и централизме Плеханов в то время расходился и со своими товарищами по «Черному Переделу». 17 марта 1882 г. Дейч писал Аксельроду: «У нас здесь с Жоржем совсем разные взгляды насчет федерализма и централизма. Мы проспорили два дня чуть не на ножах. Жорж по обыкновению страшно горячился, доказывая, что нужно стоять «за единую и нераздельную Россию». Сборник «Группа Освобождение Труда», № 1, стр. 149.
[43] «Дела и Дни» 1921 г., № 2, стр. 90. Подчеркнуто самим Плехановым.
[44] П. Аксельрод. Названное сочинение, стр. 424.
[45] Дейч, Л., О сближении и разрыве с народовольцами. — «Пролетарская Революция» 1923 г., № 8, стр. 7. В письме к товарищам, находившимся в России, Л. Дейч в 1883 г., уже после разрыва с народовольцами, писал: «Для нас конечно важно было участие в «Народной Воле» в том случае, когда мы так или иначе могли бы влиять на внесение тех или других поправок, изменений как в их теоретической программе, так и в практических их задачах. Но, раз это оказывалось невозможным, для нас пропадал всякий смысл присоединяться к ним». — «Литературное наследие Г. В. Плеханова», сборник I, М., 1934 г., стр. 230.
[46] «Дела и Дни» 1921 г., № 2, стр. 90.
[47] Еще весной 1882 г. проживавший в Женеве народоволец В. И. Иохельсон (Голдовский) протестовал против принятия бывших чернопередельцев в «Народную Волю», ссылаясь между прочим на то, что Плеханов и его друзья рассчитывают, «войдя в состав «Народной Воли»... коренным образом изменить программу и образ действия этой партии». См. письмо Иохельсона в «Историко-революционном сборнике», вып. II, Л., 1924 г., стр. 402—403.
[48] Г. В. Плеханов. Сочинения, т. XIII, стр. 30—31.
[49] Сборник «Группа Освобождение Труда», № 1, стр. 166.

[50] Тот же сборник, № 3, стр. 151; письмо Дейча Аксельроду от 17 марта 1882 г. Ср. Дейч, Л., О сближении и разрыве с народовольцами. — «Пролетарская Революция» 1923 г., № 8, стр. 18.
[51] Тот же сборник, № 3, стр. 167.
[52] «Вестник Народной Воли». Женева, 1884 г., № 2, стр. 65.
[53] Подчеркнуто Лавровым.
[54] «Из архива П. Б. Аксельрода». Берлин, 1924 г., стр. 30.
[55] Г. В. Плеханов. Сочинения, т. II, стр. 360.
[56] Г. В. Плеханов. Сочинения, т. IX, стр. 19.
[57] Дейч, Л., О сближении и разрыве с народовольцами. — «Пролетарская Революция» 1923 г., № 8, стр. 16.
[58] «Дела и Дни» 1921 г., № 2, стр. 99.
[59] Ваганян, В., Г. В. Плеханов. М., 1924 г., стр. 87. Подчеркнуто им.
[60] Г. В. Плеханов. Сочинения, т. II, стр. 361.
[61] Подчеркнуто Плехановым.
[62] Г. В. Плеханов. Сочинения, т. II, стр. 105.
[63] «Историко-революционный сборник», т. II, Л., 1924 г., стр. 85.
[64] См. Кулябко-Корецкий, Н. И., Эмигранты и наивный миротворец. — Сборник «Группа Освобождение Труда», № 2, М., 1924 г.
[65] «Литературное наследие Г. В. Плеханова», т. I, М., 1934 г., стр. 232—233. Письмо Г. Гуковского Плеханову.
[66] Из архива П. Б. Аксельрода, стр. 34—35. Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода, М., 1925 г., т. I, стр. 240—241.
[67] Из архива П. Б. Аксельрода, стр. 36—41.
[68] «Литературное Наследство» 1933 г., № 7—8, стр. 97 и 115.
[69] Материалы относительно этой попытки см. «Из архива П. Б. Аксельрода», стр. 109—115; «Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода», т. I, стр. 58—67.
[70] «Каторга и Ссылка» 1928 г., № 2, стр. 45—46.
[71] Слова из его письма Эд. Бернштейну. — «Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода», т. I, стр. 241.
[72] «Из архива П. Б. Аксельрода», стр. 117—118.
[73] Там же, стр. 119. Подчеркнуто Лавровым.
[74] «Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода», т. I, стр. 76.
[75] Г. В. Плеханов. Сочинения, т. IX, стр. 6.
[76] Там же, стр. 330.
[77] «Литературное наследие Г. В. Плеханова», т. I, стр. 287.

1. Г. В. ПЛЕХАНОВ — П. Л. ЛАВРОВУ[1]

Многоуважаемый Петр Лаврович!

Вчера я получил Вашу записочку, в которой Вы предлагаете мне прислать мою статейку, приготовленную мною для Herald[2]. Перечитавши теперь эту статейку, я, признаться, остался очень не доволен ею. Придется многое переделать и добавить. Так что, если по Вашему мнению стоит отложить на время работу для „От. Зап.“, то я сяду за эту статейку, если же Вы находите, что помещение ее — дело более или менее гадательное, то лучше уж ее и не касаться. Напишите мне пожалуйста об этом. Блунчли я получил и очень благодарен Вам за него. Он даст мне много материалу. Вы конечно уже получили от Евгения[3] „Зерно“[4] и „Черный Передел“[5] (4-й №). Это все новости, которые он вывез из Базеля и которых мы ожидали с таким нетерпением. Оказалось, что гора родила мышь. Как находите Вы „Зерно“? По-моему неумная газетка, написанная отвратительным языком. Но представьте себе, что эта газетка расходится, по словам Дм[итро][6] в количестве 1000 экземпляров и „очень нравится рабочим“. Дм[итро] человек серьезный и осторожный. Он скорее пессимист, чем оптимист. Поэтому его слова всегда заслуживают в моих глазах доверия. Но теперь результаты издания „Зерна“ так неожиданны, что мне все кажется — нет ли в его словах какого-нибудь недоразумения, нет ли в его письме описки. Но если бы ничего этого не было! Если бы действительно „Зерно“ расходилось в 1 000 экземплярах в среде рабочих! Тогда можно было бы сказать, что пролог кончен и драма начинается. Тогда можно было бы сказать, что мы имеем уже наше рабочее движение. Тогда поскорее

запасаться нужными сведениями и dahin, dahin*, где рабочие нуждаются уже в своей рабочей газете. Мне ведь и раньше казалось, что от рабочих только и можно ждать сколько-нибудь важного и серьезного участия в революционном движении.

Могу сообщить Вам еще некоторые приятные перспективы насчет Русской соц.-рев. Библиотеки[7]. За книги, отправленные недавно в Россию в количестве 100 экземпляров, нам обещают в скором времени 150 frs. Кроме того обещают содействие 1) одного московского кружка, составленного в среде очень зеленой молодежи с целью поддержки издания книг за границей, 2) поддержку одного кружка в Одессе. Одного из членов этого кружка я видел здесь и говорил с ним. Он относится к Библиотеке с самым искренним сочувствием и обещает прислать зимой около 200 рублей. Тотчас по получении Вашего последнего письма я спрашивал Евгения — не знает ли он чего насчет поведения на суде чернопередельцев, которые будто бы очень нападали на „Народную Волю"? Он отвечал мне, что об этом Дм[итро] не писал ему ничего. Но соединению-то, по его словам, выходки того или другого из подсудимых, если бы таковые и действительно имели место, — соединению они нисколько не повредили. Дм[итро] скоро обещается прислать формулу соединения, под которой он предлагает нам подписаться. Посмотрим, что там такое. Ну пока кажется все.

Пишите, Петр Лаврович, пожалуйста о новых книгах. Все нет, нет — да и куплю какую-нибудь из них. Что Гартманн?[8] Вы писали Евгению, что Marx сильно болеет. Выздоровел ли он? Скоро кажется буду иметь его „Zur Kritik", конечно не в собственность, а для прочтения. Затем, пока прощайте, крепко жму Вам руку.

Г. Плеханов

P. S. Так как я устроился вместе с женою, то письма можно адресовать и прямо на мое имя.

Baugy - sur - Clarens
10 (?) Novembre 1881

[1] Настоящее письмо, как и все последующие письма Г. В. Плеханова к П. Л. Лаврову, печатается с подлинника, ныне хранящегося в Институте Маркса — Энгельса — Ленина.

[2] « Herald » — очевидно сокращенное обозначение «New York Herald» самой крупной в то время нью-йоркской газеты, основанной одним из выдающихся деятелей американской журналистики Беннетом в 1835 г. Газета формально была беспартийная, с с уклоном в сторону демократической партии и интересовалась русским революционным движением. По крайней мере обвинительный акт по делу 20 народовольцев и сведения о процессе посылались по телеграфу специальным нарочным из Тильзита и Берлина, чтобы избежать русской цензуры (см. «Процесс 20-ти»—«Былое», № 2, Лондон). Сын основателя газеты Беннет дал даже распоряжение не упоминать имени русского царя в своей газете, чувствуя себя оскорбленным русским правительством (см. George Henry Payne. „History of Journalisme of the United States". New-York—London, 1920). В 1924 г. газета слилась с враждовавшей с нею ранее „New York Tribune", перейдя после смерти Беннета в собственность Munsey (См. W. Bleyer. „Main currents in the history of american journalisme" 1927). П. Л. Лавров был сотрудником N. J. Herald's.

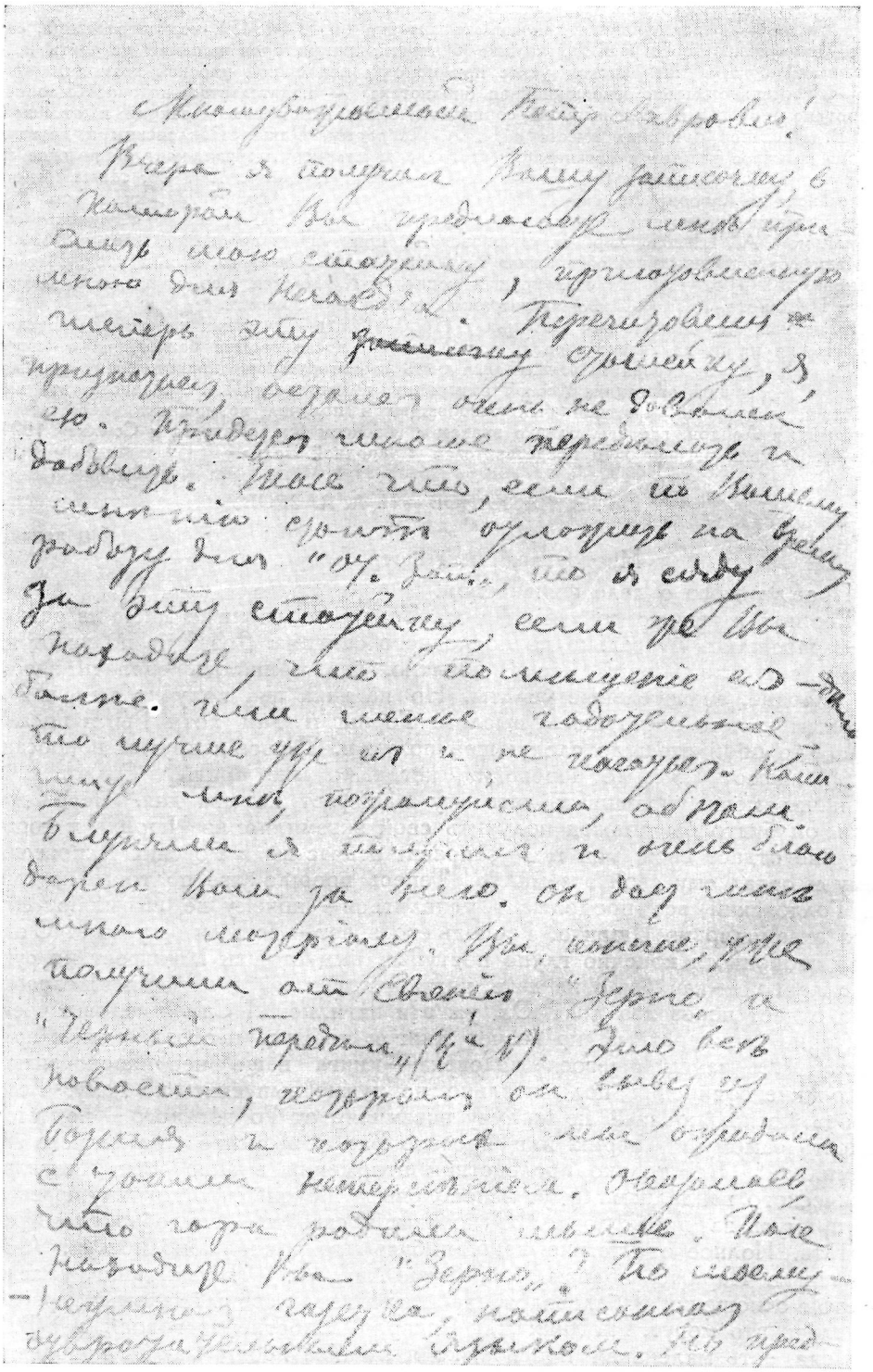
[3] Евгений — революционная кличка Л. Г. Дейча, ездившего в конце 1881 г. в Базель, чтобы повидаться с приехавшим туда из России А. Тило, который должен был передать ему от Исполнительного комитета Народной Воли документы, письма, рукописи и т. д.

[4] «Зерно» — небольшая популярная газета для рабочих, выпускавшаяся чернопередельцами нелегально в Петербурге. Первый номер вышел 25 октября 1880 г., последний — шестой — в ноябре.

Пять номеров (№ 1, 3, 4, 5 и 6) воспроизведены в »Историко-революционном сборнике» № 2, Л., 1924; а № 2 — в т. XXXVII «Красного Архива», 1929 г.

[5] «Черный Передел» — теоретический орган чернопередельцев, выходивший с января 1880 г. по декабрь 1881 г. Из пяти вышедших номеров первые два вышли в Женеве.

* Туда, туда.



ПИСЬМО Г. В. ПЛЕХАНОВА к П. Л. ЛАВРОВУ ОТ 10 НОЯБРЯ 1881 г. ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
Институт Маркса—Энгельса—Ленина, Москва

после чего издание было перенесено в Россию, где к тому времени народники оборудовали тайную типографию (см. Плеханов. Собр. соч., т. XIII, стр. 26).

[6] Дмитро — революционная кличка Стефановича (1853—1915), черноперелельца, одного из организаторов южного кружка бунтарей, инициаторов попытки устроить крестьянский бунт в Чигиринском уезде при помощи подложной царской грамоты.

[7] «Русская социально-революционная библиотека» — издательство, которое было образовано в 1880 г. для выпуска социалистических работ всех фракций и оттенков. Г. В. Плеханов принимал вместе с П. Л. Лавровым, Цакни, Павловским и другими очень активное участие в организации этого дела. Его перу принадлежит объявление об издании этой библиотеки (см. Плеханов. Собр. соч., т. I, стр. 137. Ср. также письма Плеханова к Лаврову № 1 и № 2 в сборнике «Дела и Дни» 1921, кн. I, стр. 78).

В издании библиотеки вышли: «18 марта 1871 г.» П. Л. Лаврова, «Сущность социализма» А. Шэфле, пер. В. Тарновского, прим. П. Лаврова, Женева, 1881 г., «Манифест коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, пер. и пред. Г. Плеханова. Ж., 1882 г., «Наемный труд и капитал» К. Маркса, пер. и пред. Л. Дейча, ред. Плеханова. Ж., 1883 г. и «Программа работников» Лассаля.

[8] Гартман, Лев Николаевич («Химик») (1850—1913) — участник вместе с Перовской покушения на поезд Александра II под Москвой; после взрыва бежал за границу, в Париже был арестован и должен был быть выдан русскому правительству, но благодаря энергичной агитации русской эмиграции, в частности П. Л. Лаврова, эта выдача не состоялась; Гартман был освобожден и получил возможность переехать в Англию, в Лондон, где был близко знаком с Марксом (см. «Каторга и Ссылка» 1924, № 4). Состоял заграничным представителем «Народной Воли».

2. Г. В. ПЛЕХАНОВ — П. Л. ЛАВРОВУ

Кларан[1] [1881 конец]

Многоуважаемый Петр Лаврович!

Прежде всего о деле финансовом.

Геринг[2] я вышлю деньги на днях. Теперь полученные мною из редакции разошлись буквально до последнего сантима. Роза[3] не получает из дому вот уже второй месяц, понятно, что пришлось сделать здесь, в Кларане, значительные уплаты. Но на днях она получит деньги и я первым делом постараюсь выслать Геринг и Вам, хотя Вы и писали мне, что обойдетесь до следующей получки. Теперь к другим вопросам.

„Манифест“[4] я уже переводил, когда ко мне пришел Голдовский[5] и начал меня упрашивать дать ему Манифест на два дня. Через два дня он будто бы должен получить свой экземпляр из Цюриха и тогда он мне отдаст свой, мой же — отправит сейчас же в Россию. Я поверил ему и отдал ему свой экземпляр. Теперь прошло уже полторы недели, а Голдовский все продолжает удивляться — почему не высылают ему его экземпляр из Цюриха. Господь его знает — есть ли он у него! С одной стороны, я конечно глупо поступил, выпустивши Манифест из рук; а с другой — как было не дать, когда человек заверяет честным словом, что отдаст через два дня? Ох, уж эти нигилисты! Сам я человек чрезвычайно неаккуратный, но насчет книг я держусь несколько иных правил. Для занимающегося человека — книга вещь неприкосновенная, и редкие сочинения положительно не нужно выпускать из дому. Если через несколько дней не получу экземпляр от Голдовского — придется писать самому в Цюрих, или просить Вас о высылке мне Вашего экземпляра[6]. Как только последствия вторжения в мою работу нигилистического вандализма будут исправлены — я очень скоро окончу перевод и примусь за предисловие. Одно нужно сказать — неудобно здесь работать. Полное отсутствие какой-нибудь порядочной библиотеки. А я, живши в Париже, вблизи Bibliothegue National и Ваших книг, ужасно в этом отношении избаловался. Написал ко всем своим знакомым, просил выслать что могут. На днях жду Рикардо. Собственно говоря, и к Вам у меня есть маленькая просьба, но я заранее прошу Вас не исполнять ее, если она хоть немного Вас стеснит. Мне нужно было бы книгу Lange „Mill's Ansichten über die sociale Frage“. Она у Вас

есть и, насколько мне известен ход Ваших работ, она Вам теперь не нужна. Так вот, если это Вас не стеснит — одолжите мне ее на время. Одно меня смущает, — это что Вам приходится довольно дорого платить за пересылку, но я повторяю Вам свою вторую просьбу, — не исполнять первой, если это исполнение Вас затруднит хоть немного. Книга Lange мне нужна вот зачем. Вы знаете, что Ротбертус является противником Рикардо по вопросу о ренте. Его возражения против последнего однако хотя и не имеют решительного характера, но все-таки довольно вески. В 1870 (если не ошибаюсь) году Родбертус задал несколько вопросов „сторонникам теории Рикардо", — на которые он не получил ответа. Эти вопросы до такой степени ехидны, что невольно становишься втупик. Я чувствую, что Родбертус не прав. Сам мог бы предложить ему несколько вопросов не менее, как мне кажется, ехидных, чем его вопросы „сторонникам Рикардо". Но открыть логическую ошибку в его доводах, когда он развивает свою теорию ренты, мне пока не удается. Lange был тоже противником Рикардо, так вот, быть может, сопоставляя их обоих, т. е. Родбертуса и Ланге, я открою их ошибки или окончательно соглашусь с одним из них. Но это последнее могло бы быть лишь с большим трудом. Маркс называет теорию Родбертуса ошибочной, а его авторитет для меня очень важен. Я 100 раз подумаю, прежде чем соглашусь с неодобряемым им взглядом. Кстати, вышло или только что выйдет 3-е немецкое издание „Капитала"?[7]

Как жаль, что мне не пришлось послушать вашей лекции о „Капитализме в России". Я, как вам известно, держусь того взгляда, что это дело уже решенное, Россия „уже ступила на путь естественного закона своего развития" и все другие пути — мыслимые быть может для каких-нибудь других стран, для нее закрыты.

Вы писали мне, что Вам пришлось делать много выписок, откуда Вы делали их? Какие источники были в Вашем распоряжении? Напишите пожалуйста об этом в следующем письме. В. В.[8] человек в высшей степени сомнительный, его данные едва ли достоверны; я убежден, что не успеет он дописать своей последней статьи о невозможности в России капитализма, как этот капитализм будет, как говорится, „ни для кого не тайной". Евгению я написал. Павлу[9] напишу.

Пока до свиданья, крепко жму руку, Роза и Полляк[10] просят передать Вам их привет.

Г. Плеханов

Теперь между прочим изучаю английский язык. Купил себе Byron'a, The prisoner of chillon, но пока разбираю с большим трудом. Как дороги вообще английские книги? Мне придется купить Рикардо на английском языке, а я и понятия не имею об английских ценах.

Был у меня на днях Гинзбург[11], спрашивал — как Вы поживаете и между прочим задал мне вопрос, на который я не знал, что отвечать. Он откуда-то знает, что Вы вели переговоры насчет издания „Очерк истории мысли[12]. Он и спросил меня, окончились ли, и в каком смысле, эти переговоры. Я отвечал, что переговоры Вы точно вели, но они еще не окончились и дело кажется откладывается в долгий ящик.

Г. П.

[1] Плеханов вернулся из Парижа осенью 1881 г. и поселился в деревушке Божи под Клараном (см. Дейч, Л. Из карийских тетрадей. — Сб. «Группа Освобождение Труда», № 2, стр. 120).

[2] Р. П. Геринг — приятельница П. Л. Лаврова, проживавшая в Париже в 80-х годах, революционно настроенная, сочувственно относившаяся к политической эмиграции, часто приходившая ей на помощь в материальном отношении.

[3] Роза — Розалия Марковна Боград-Плеханова, жена Г. В. Плеханова.

[4] Манифест — «Коммунистический манифест». У Плеханова (Собр. соч., т. XXIV, стр. 178) читаем: «Лично о себе могу сказать, что чтение Коммунистического манифеста составляет эпоху в моей жизни. Я был вдохновлен «Манифестом» и тотчас же решил его перевести на русский язык. Когда я сообщил о моем намерении Лаврову, он отнесся к нему равнодушно. «Конечно следовало бы перевести Манифест, — сказал он, — но вы сделали бы лучше, если бы написали что-нибудь свое». Я не торопился выступить сам и предпочел сначала перевести «Манифест».

[5] Голдовский — псевдоним эмигранта Иохельсона; сын виленского меховщика, учился в раввинском училище в Вильно, участвовал в первом революционном кружке в Вильно вместе с Либерманом, А. И. Зунделевичем, братьями Ромм и др. Под угрозой ареста эмигрировал в Кенигсберг, потом жил в Швейцарии. Был народовольцем. Л. Дейч считает его автором письма Исполнительному комитету «Народной Воли» о том, что едущий в Россию Стефанович имеет намерение «взорвать Нар. Волю изнутри» (см. Сборник «Группа Освобождение Труда», № 3, стр. 184—185, также 222—223). Впоследствии попал в административную ссылку в Колымск, был приглашен Д. Клеменцом к участию в экспедиции. Занялся этнографией, совершил несколько экспедиций. Война застала его в Гамбурге (ср. В. Иохельсон, Далекое прошлое.—«Былое», 1918 г., № 13, кн. VII).

[6] В примыкающем сюда по содержанию письме Г. В. Плеханова к П. Л. Лаврову (в сб. «Дела и Дни», кн. 2, стр. 88—89). Г. В. Плеханов сообщает П. Л. Лаврову, что получил от Голдовского как свой экземпляр, так и экземпляр, высланный ему П. Л. Лавровым.

[7] Третье немецкое издание «Капитала» вышло лишь в 1883 г.

[8] В. В. — псевдоним В. П. Воронцова (1847—1918) — одного из теоретиков правого, легального народничества 80—90-х годов.

[9] Павел — П. Б. Аксельрод.

[10] Теофилия Поляк — приятельница семьи Плехановых, жившая вместе с ними; умерла от туберкулеза у них же в 1882 г.

[11] Гинзбург, Лев Савельевич (1851 — 1916), — ученик П. Л. Лаврова, принимавший деятельное участие в журнале и газете «Вперед». Очень популярный теоретик и пропагандист лавровских идей в революционных кругах 70-х годов. В Петербурге — глава лавристской организации.

[12] Плеханов имеет в виду «Опыт истории мысли нового времени», который выходил отдельными выпусками. Первое издание выходило с 1875 г., второе с 1878 г., Г. В. Плеханов написал рецензию на вып. 1—3 второго издания (собр. соч., т. IV стр. 278—279).

3. Г. В. ПЛЕХАНОВ—П. Л. ЛАВРОВУ

[1882, начало]

Многоуважаемый Петр Лаврович!

Прежде всего расскажу Вам невероятнейшую историю.

Здесь в Moutreux совершено было покушение на убийство одного немца. Покушалась на его жизнь одна русская барыня, которая не была—говорят газеты—даже знакома с ним. Сегодня я читал и в Journal de Genève и в Gazette de Lausanne, что „on pretend" будто барыня эта приняла немца за Вас (la célèbre nihiliste Pierre Lawroff). On pretend также, что барыня-убийца, арестованная и сидящая теперь в Вевейской тюрьме, дает показания именно в этом смысле. Но за что она Вас хотела убить (!), в этом вопросе газеты расходятся между собою. Journal de Genève утверждает, что за Ваш нигилизм, Gaz de Lousanne уверяет наоборот, за то что Вы перестали быть нигилистом. Что это за чепуха такая? Врут ли газеты? Сумасшедшая ли эта барыня? Или, наконец, она из „Святой дружины"[1] и хотела явиться русской Шарлотой Кордэ, желавшей избавить мир от „кровожадного Лаврова"? Вы знаете, что наше отечество переживает теперь период, который наверное в нашей истории будет назван периодом невероятным. Поэтому и последний случай, т. е. что барыня „лигистка" и хотела угодить Его Величеству, по-моему, не невозможен. Немец этот мог напоминать своим лицом Ваши карточки, имеющиеся у шпионов и т. д., чорт их знает! Во всяком случае считал нелишним написать Вам об этом. Если последуют в газетах дальнейшие сообщения, сейчас же

напишу. Теперь перехожу к текущим делам. Сер[гей] Мих[айлович][2] прислал мне Вашу программу, так как, говорит он, меня „наверное выберут редактором". Нечего и говорить, что я сочту за большую честь работать в одном журнале с Вами, но редактором его я не могу быть по многим причинам. Во-первых, я не „самобытник" и не вижу в русской истории никаких существенных отличий от истории Запада. Тем менее вижу я в ней чего-либо диаметрально-противоположного с историей Запада. А между тем Народная Воля в каждой передовой статье силится доказать какую-то „Gewaltstheorie"[3], по которой в России не политика родилась из экономии, а наоборот. Это стремление ее всю русскую историю „auf den Kopfzustellen"[4] заставляет меня относиться к своему литературному сотрудничеству в изданиях народовольцев с большою осмотрительностью. Во-вторых, Сер[гей] Михайлов[ич] анархист, или вернее федералист, по его собственным словам. Я—не то, не—другое. Стоя на той дороге, на которую поставили события народовольцев, нельзя быть ни анархистом, ни федералистом, нужно быть строго последовательным централистом. Третье и самое важное. Народовольцы хотят государственного переворота, coup d'état, я хотел бы, чтобы они от таких невозможных планов совершенно отказались[5]. Знаете ли, Петр Лаврович, меня удивляет, что Вы не только не протестуете против этого, но, напротив, предпочитаете такой оборот программы—требованию политической свободы и всеобщего избирательного права. Тут что-нибудь да не так, какое-нибудь тут есть недоразумение. Объясните это пожалуйста, меня очень это интересует. Согласитесь, что это вопрос принципиальной важности. Что касается сотрудничества моего в органе, то я употреблю для этого все усилия. Вера Ивановна[6] благодарит Вас за присылку списка книг. Она еще не сделала выбора. Когда остановится на чем-нибудь—напишу. Будьте здоровы,

жму руку Г. Плеханов

P. S. Посылаю Вам Вашу программу, в которой меня испугал переворот и письмо Сер[гея] Мих[айловича] к народовольцам, прочитавши Вы перешлите его Сергею обратно.

[1] «Святая дружина» — правильнее «Священная дружина» — конспиративная аристократическая организация, созданная 12 марта 1881 г. в добровольческом порядке для борьбы с революционным движением. Организация поднимала между прочим вопрос о террористической борьбе с виднейшими деятелями революционного движения.

[2] Сергей Михайлович — Кравчинский, видный деятель революционного движения 70-х годов (1851—1895), известен в литературе под псевдонимом Степняк. Участвовал в создании бакунинской газеты «Община», в издании «Земли и Воли». Был избран Исполнительным комитетом «Народной Воли» одним из редакторов «Вестника Народной Воли», вместе с Г. В. Плехановым и П. Л. Лавровым, но затем был отстранен из-за своего отношения к федералисту Драгоманову.

[3] Насильственную теорию.

[4] Поставить на голову.

[5] «Народовольцы хотят государственного переворота» — фраза, которая подтверждает получение деятелями группы «Освобождение Труда» соответствующего письма Исполнительного комитета «Народной Воли», полученного в феврале 1882 г. (см. Л. Дейч — «Пролетарская Революция» 1923 г., № 8, стр. 15—20).

[6] Вера Ивановна — В. И. Засулич.

4. Г. В. ПЛЕХАНОВ—П. Л. ЛАВРОВУ

[Женева 14. IV. 1883]

Дорогой Петр Лаврович!

Вчера здесь случилась кровавая драма: между 9 и 10 часами застрелилась С. Л. Бардина[1], рана, говорят, смертельна, хотя раненая еще

жива, страшно мучится, лежит теперь в госпитале; мы всю почти ночь пробегали за хирургами, но ни один не пошел: „до завтра". Теперь иду опять к ней.

Г. Плеханов

На обороте: M-r Pierre Lawroff
328, Rue St.-Jacques, 328.
Paris
штемпель: Genève—14.4.83.

[1] Бардина, Софья Илларионовна (1853 — 1883) — пропагандистка-народница, участница процесса 50-ти. На суде произнесла речь, вызвавшую большой общественный резонанс. Была приговорена к 10 годам каторги, по смягчению приговора сослана на поселение в Сибирь, откуда в 1880 г. бежала.

5. Г. В. ПЛЕХАНОВ—И. В. БРИНШТЕЙНУ[1]

[Женева 27—28 июня 1888]

Дорогой товарищ.

Я с удовольствием готов сделать все что можно для соглашения с П. Л. Лавровым относительно фонда[2], но Вы выражаетесь несколько неясно относительно того, что я должен написать ему. Поэтому мое письмо к нему так будет неопределенно. Напишите более подробные практические правила соглашения, и все дело будет улажено. Вы можете быть вполне уверены в том, что я и все мои товарищи считаем необходимым как можно более сблизиться с Вашими товарищами: такое теперь время. По получении этого письма, прошу Вас зайти к Аксельроду и изложить ему все дело. Столковавшись с Вами, он напишет Лаврову, ему это даже удобнее по некоторым причинам. О результатах Ваших переговоров с Аксельродом прошу Вас и его (я не пишу ему отдельно)[3] сообщите мне. Заранее согласен на все то, на что согласитесь Вы. Крепко жму руку.

Преданный Ваш
Г. Плеханов[4]

[1] Под фамилией Бринштейна жил в Цюрихе в 1888—1889 гг. Исаак Владимирович Дембо (1865—1889), один из наиболее крупных представителей группы «новых народовольцев». Умер от ран, полученных при взрыве бомбы во время неудачных опытов под Цюрихом.

[2] «Союз социалистического литературного фонда» образовался в 1887 г. в Цюрихе для изданий популярной социалистической литературы. В конце 1887 — начале 1888 г. в «Союзе» возникли трения между тяготевшими к с.-д. и чисто народовольческим элементам. Группа, руководимая Бринштейном, хотела повидимому совместной работы обоих течений. Подробнее см. во вступительной статье.

[3] Все же Плеханов написал Аксельроду о полученном от Бринштейна письме и о своем ему ответе и просил Аксельрода столковаться с Бринштейном, а о результатах соглашения написал Лаврову (см. «Переписку Г. В. Плеханова с П. Б. Аксельрод», т. I, стр. 44, письмо № 10).

[4] По поводу настоящего письма Плеханов писал В. И. Засулич: «Насчет письма моего в Цюрих Бринштейну скажу Вам вот что. Я написал это письмо в ответ на его просьбу как-нибудь уладить ссоры, вечно продолжающиеся в фонде, клянусь Вам Гегелем и Марксом, что в этом письме ничего не было кроме вежливых фраз, обязательных во всяком письме к незнакомому человеку. Что касается самого дела, то я сказал Бринштейну, чтобы он писал к Павлу [Аксельроду]: на чем Вы с ним согласились, на том и стану, писал я. И все-таки Павел увидел в моем письме нарушение «дисциплины» и порчу «дела». Я принужден был оправдываться и извиняться перед ним». См. сборник «Группа Освобождение Труда», № 3, М., 1925, стр. 230. Подчеркнуто Плехановым.

СУДЬБА ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА ДЕНИСА ДАВЫДОВА

Обзор Вл. Орлова

Имя Дениса Васильевича Давыдова (1784—1839) принадлежит к числу наиболее известных имен русских поэтов начала XIX столетия. Уже в 20-х годах он был знаменит не только как видный военный деятель, но и как крупный писатель. При этом нельзя сказать, что литературная известность Давыдова была всецело связана с его репутацией „народного героя", прославленного партизана эпохи Наполеоновских войн. Литературная слава Давыдова старше его военной славы: „залетные послания" к Бурцову заучивались наизусть и переписывались в „заветные тетради" задолго до партизанских поисков 1812 г. Позже, в атмосфере шумного патриотического воодушевления, охватившего русское дворянское общество после „Отечественной" войны, окончательно сформировалась слава Давыдова, слава воина и поэта. Канонический образ „певца-гусара", „Анакреона под доломаном", воспетого первыми поэтами своего времени (Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Баратынским, Языковым), увековеченный кистью Кипренского и пером Льва Толстого, прочно вошел в историю русской литературы.

Однако широкая известность Дениса Давыдова ни в какой мере не способствовала делу научно-исследовательского изучения его личности, жизни и литературного наследства. В этом отношении Давыдову решительно не повезло. Нельзя сказать, что о Давыдове писали мало, давыдовиана (если составить ее) будет насчитывать не одну сотню публикаций, статей, заметок и даже отдельных книг; но вся эта обширная литература, в значительной своей части компилятивная и вообще не имеющая научного значения, посвящена преимущественно военной деятельности Давыдова. Литературная же биография и поэтическое творчество Давыдова почти вовсе не служили предметом специального изучения. Больше того: даже самое литературное наследство Давыдова не было до последнего времени учтено и приведено в надлежащий порядок. До настоящего времени мы не имеем еще критически выверенного и прокомментированного издания сочинений Давыдова; последнее издание 1893 г., считающееся лучшим, — не полно и изобилует грубейшими искажениями текста. Большой, заключающий в себе документы первоклассного значения архив Давыдова пролежал около столетия под спудом и дошел до нас в далеко не полной сохранности. Правда, материалами этого архива пользовался новейший биограф Давыдова В. В. Жерве, но свою книгу („Партизан-поэт Д. В. Давыдов", 1913) он посвятил почти исключительно военной биографии Давыдова и поэтому все литературные материалы архива остались вне поля его зрения.

Цель настоящего обзора — дать краткую сводку данных о литературном наследстве Дениса Давыдова, как уже известном в печати, так и рукописном, в связи с проблемой издания его сочинений, преимущественно же поэтических [1].

I. СОЧИНЕНИЯ ДЕНИСА ДАВЫДОВА

Давыдов не принадлежит к числу плодовитых писателей. Если приурочить начало его серьезной литературной деятельности к 1803 г., когда были написаны политические басни „Голова и ноги" и „Река и зеркало" (до этого времени Давыдов писал дилетантские стишки, о которых сам насмешливо отзывается в „Автобиографии"), а последним

его поэтическим произведением считать „Современную песню", написанную в 1836 г., — то литературная деятельность Давыдова продолжалась тридцать три года. За это время Давыдов написал всего около ста небольших стихотворений (около 2500 стихотворных строк), около двадцати не слишком обширных статей мемуарного и военно-исторического характера и одно специальное сочинение („Опыт теории партизанского действия").

При жизни Давыдов издал четыре книжки своих сочинений: 1. „Опыт теории партизанского действия" (М., 1821, 2-е изд., М., 1822)[2], 2. „Разбор трех статей, помещенных в Записках Наполеона" (М., 1825), 3. „Замечания на некрологию Н. Н. Раевского, изданную при „Инвалиде" 1829 года, с прибавлением его собственных записок на некоторые события войны 1812 года, в коих он участвовал" (М., 1832) и 4. „Стихотворения" (М., 1832).

Начав литературную деятельность в 1803 г., Давыдов впервые отдал в печать свое стихотворение только через пять лет — в 1808 г. (элегию „Договоры" в „Вестник Европы"), да и впоследствии стихотворения Давыдова появлялись в журналах и альманахах крайне редко (в 1810—1811 гг. в „Собрании русских стихотворений", изд. В. Жуковским, и в „Вестнике Европы", в 1815 г. в „Амфионе", в 1816—1817 гг. в „Трудах Общества любителей российской словесности при Московском университете", в 1819 г. в „Благонамеренном", в 1820 г. в „Сыне Отечества", в 1821 г. в „Рецензенте", в 1823 г. в „Полярной Звезде", в 1826 г. в „Сириусе", в 1827 г. в „Московском Вестнике" и „Московском Телеграфе", в 1829 г. в „Северной Звезде", в 1830 г. в „Литературной Газете", в 1834 г. в „Библиотеке для Чтения" и „Северной Пчеле", в 1836 г. в „Современнике" и в 1837 г. в „Библиотеке для Чтения");—при этом следует заметить, что многие стихотворения Давыдова попадали в печать помимо его воли и желания: журналисты и альманашники, учитывая громкую славу Давыдова, без зазрения совести предавали тиснению его стихи, ходившие по рукам в многочисленных списках; таким контрабандным способом были напечатаны стихотворения Давыдова в „Благонамеренном" А. Е. Измайлова, „Рецензенте" В. Н. Олина, „Сириусе" и „Северной Звезде" М. А. Бестужева-Рюмина, „Северной Пчеле" и „Библиотеке для Чтения" (1834). Безусловно авторскими публикациями можно признать только стихотворения, появившиеся в „Вестнике Европы", „Амфионе", „Трудах Общества любителей российской словесности" (сюда стихи Давыдова были сообщены В. Л. Пушкиным, вероятно по просьбе автора), „Полярной Звезде", „Московском Вестнике", „Литературной Газете", „Современнике" и „Библиотеке для Чтения" (1837).

Всего за тридцать три года литературной деятельности Дениса Давыдова в журналах и альманахах появилось только тридцать восемь его стихотворений, то-есть немногим более трети имевшихся в портфеле автора. Много стихотворений Давыдова, не попавших в печать, как уже было сказано, имело широкое распространение в списках и устной передаче. Когда в 1826 г. приятель Давыдова М. В. Юзефович „выразил ему сожаление, почему он до сих пор не собрал и не издал своих стихотворений", Давыдов ответил ему: „Эх, братец, к чему? Ведь их и без того все знают наизусть", а потом прибавил: „а издай их — выйдет книжонка; да они врозь не так и приедаются" [3].

Только через шесть лет после беседы с Юзефовичем Давыдов собрался наконец издать „книжонку", сославшись при этом на неотступные уговоры друзей. В 1832 г. в Москве была отпечатана, под фирмой книгопродавца И. Г. Салаева, в типографии Августа Семена при Медико-хирургической Академии, небольшая (стр. XXIII + 112 + II) книжка „Стихотворения Дениса Давыдова", являющаяся первым и единственным прижизненным изданием поэтических произведений Давыдова. В предисловии „От издателя" (т. е. И. Г. Салаева, хотя есть основания предполагать, что написано оно самим Давыдовым) сказано: „Получив позволение от Дениса Васильевича Давыдова напечатать стихотворения его, издатель нужным считает поместить здесь легкий очерк жизни его, написанный одним из друзей-сослуживцев сего военного человека и оригинального Поэта нашего. Денис Васильевич с самого детства привык делиться с ним чистосердечными чувствами открытой души своей, любил всегда передавать ему свои мысли и переска-

ДЕНИС ДАВЫДОВ
Портрет маслом неизвестного художника
Исторический Музей, Москва

зывать заветные свои подвиги. Не смея оскорбить скромности Автора, Издатель не может открыть его имя: проницательные читатели, может быть, сами угадают оное". — Речь идет здесь об известной „Автобиографии" Давыдова, которою (под заглавием: „Некоторые черты из жизни Дениса Васильевича Давыдова") открывается сборник 1832 г. Об „Автобиографии" скажем несколько слов ниже, здесь же приведем из нее одну цитату, хорошо рисующую пресловутое „кокетство" Давыдова в отношении своей литературной деятельности. Хотя Давыдов готов согласиться, что „издаваемые ныне Стихотворения дают ему право на Адрес-календарь Глазунова и на уголок в Императорской Публичной Библиотеке, в сем богоугодном и странноприимном заведении, куда стекаются любовники заманчивых дев Парнасса", но тем не менее он „не искал авторского имени и как приобрел оное, — сам не знает". „Стихи его пахнут бивуаком. Они были писаны на привалах, на дневках между двух дежурств, между двух сражений, между двух войн; это росчерки пера, чинимого для писания рапортов начальникам, повелений подкомандующим. Они были завербованы в некоторые московские типографии тем же средством, как некогда вербовали разного рода бродяг в гусарские и уланские полки: за шумными трапезами, в винных парах, среди буйного разгула" и, конечно, „никогда не приходило ему на мысль возобновлять в памяти забывших достойное или не достойное внимания ратование его;—никогда не решился бы он на собрание рассеянной своей стихотворной вольницы для помещения ее на непременные квартиры у книгопродавца, если бы друзья его на сие его не уговорили, доказав ему, что одно и то же покоиться ей розно или вместе". Далее Давыдов подчеркивает, что „сбор этот стоил ему не малого труда", что „некоторые стихотворения изторгнуты им из... журналов, а другие, переходя из рук в руки писцев, более или менее грамотных, изменились до того, что и самим Автором едва были узнаны. Не говорим уже о тех, которые, прославляя разгульную жизнь, не могли тогда и не могут теперь показаться на Инспекторский смотр Цензурного Комитета, и о тех, кои исключены им из списка за рифмы на глаголы..."

Этим заявлением определяется, в сущности, объем и характер издания. Перед нами сборник избранных стихотворений Давыдова, где поэт „обэскадронил все, что мог, из своей сволочи", исключив вещи 1) нецензурные и 2) с его точки зрения технически несовершенные („рифмы на глаголы"). Впрочем понятие „нецензурности" нужно понимать в данном случае условно и ограниченно. Давыдов включил в сборник самые откровенные шалости своей гусарской музы (например стихотворение „Герою битв, биваков, трактиров и б . . . . ."), заменив только иные слишком уж „вольные" слова весьма прозрачными точками. Кроме того еще в нескольких случаях были выпущены и заменены точками антиклерикальные и антиправительственные стихи (см. например стр. 24: „Эрот — сей [бог богов]", или стр. 85: „Даст мне чин [за вахтпарады]"). Ранние фрондерские басни Давыдова („Голова и ноги", „Река и зеркало") в сборник разумеется не попали (они были напечатаны впервые только в 1869 и 1872 гг. и то с цензурными купюрами. — См. ниже).

Всего в сборник 1832 г. вошло сорок одно стихотворение, из которых семнадцать появлялись в печати впервые, а двадцать четыре были перепечатаны из различных журналов и альманахов 1808—1830 гг. (таким образом из прежде напечатанных пьес четырнадцать были забракованы Давыдовым и между ними такая центральная в его творческом наследии вещь, как элегия „Договор", появившаяся позже в кардинально-измененной редакции и с подзаголовком „сатира" в „Библиотеке для Чтения" 1837 г.). Впервые появились в сборнике 1832 г. такие известные стихотворения Давыдова, как оба послания к Бурцову, „Гусарский пир", „В альбом" („На вьюке, в тороках девицу я таскаю"), „Другу-повесе" („Болтун красноречивый"), „Поэтическая женщина", „Элегия VIII" („О, пощади! Зачем волшебство ласк и слов"), „Решительный вечер", „Вечер в июне", „Гусарская исповедь", „Герою битв, биваков, трактиров и б . . . . ."

Из письма Давыдова к П. А. Вяземскому от 14 мая 1832 г. [4] известны условия, на каких И. Г. Салаев издал „Стихотворения" (а также одновременно „Замечания на некрологию Н. Н. Раевского"). Бумага („самая лучшая") и печать шли за счет Салаева

с последующим погашением), обе книжки печатались по два завода, т. е. по 2400 экземпляров, продажная цена „Стихотворений" была определена в 6 рублей. Салаев предлагал Давыдову продать ему рукопись обеих книг за 4000 рублей, но Давыдов „предпочел продавать сам, платя ему 20 процентов за комиссию" (Салаев обязался высылать Давыдову деньги за проданные экземпляры ежемесячно). Таким путем Давыдов рассчитывал выручить от продажи одних только „Стихотворений" 11 520 рублей (из которых 3000 рублей нужно было уплатить Салаеву за расходы по печатанию).

Однако по условиям книжного рынка того времени „Стихотворения" раскупались очень медленно, и в феврале 1836 г. Давыдов сообщал жене: „Салаев объявил мне, что продажа Стихотворений моих совсем остановилась. Продано 1200 экземпляров по 6 руб., следственно за 7200 р., а так как печатание стоило мне 3000 р., то барыша я получил 4200. Осталось около 1000 экземпляров, которые я хотел взять к себе и с ж е ч ь, потому что за новое издание мне в Петербурге предложили 3000 р., но вдруг Салаев предложил мне за эти 1000 экземпляров, которые в мыслях моих хотел [я] уничтожить, он предложил мне 1000 р. бумажками. Какова находка? Натурально я сейчас [же] принял предложение, хотя плата назначена в сентябре" [5].

Давыдов остался недоволен внешностью издания: „Нет, как ни говори и как ни люби нашу матушку Белокаменную, — писал он П. А. Вяземскому 18 октября 1832 г., — но она весьма отстала от Петербурга даже в красоте книгопечатания; вкусу нет! Я думал что Семен лучше всех дело сделает, но Семен, как Селивановский, а Селивановский как наборщик Синодальной типографии. Впрочем я сам виноват, такие дела не препоручают другим, а требуют надзор хозяина. Будь я в Москве, то издание было бы красивее и не было бы опечаток, которые мне глаза колят. Например в новой моей пьесе Г у с а р с к а я и с п о в е д ь не видали бы: „Где спесь д о подлости". А было бы как в оригинале: „Где спесь д а подлости". Также вряд ли бы я решился позволить напечатать Н е к о т о р ы е ч е р т ы м о е й ж и з н и, или, если бы решился, то многое бы в них переменил" [6].

Что касается последнего замечания, то оно не выдерживает никакой критики: достоверно известно, что Давыдов самым настойчивым образом продвигал в печать свою „Автобиографию" (написанную в третьем лице) и еще за три года до появления „Стихотворений" опубликовал ее (под заглавием „Некоторые черты из жизни и деяний генерал-майора Давыдова") в журнале „Русский Зритель" [7], с предисловием и примечаниями М. П. Погодина (издававшего „Русский Зритель" за К. Ф. Калайдовича, впавшего в психическое расстройство). В предисловии своем Погодин писал: „Дальновидные и проницательные из читателей, может быть, угадают имя почтенного Автора. По крайней мере мы, не смея оскорбить его скромности, оставим оное под непроницаемою завесою неизвестности и познакомим Публику с таинственным Анонимом" (в „Русском Зрителе" „Автобиография" появилась без всякой подписи). Журналисты 20-х годов широко воспользовались прозрачным намеком Погодина. Так например Н. А. Полевой не без язвительности заметил в своей рецензии о „Русском Зрителе": „По скромности, с какою говорится о богатырских подвигах Давыдова, по слогу, живому, пламенному, кто не будет не дальновиден в угадке" [8]. Ср. также в „Обозрении российской словесности за 1828 год" О. М. Сомова: „Кто-то из друзей славного партизана-поэта набросал... г л а в н ы е случаи его жизни таким бойким воинским слогом и с такою легкостью, которые напоминают нам все приемы любимого певца биваков" [9].

Друзья Давыдова конечно знали, что „Некоторые черты" принадлежали перу самого „певца биваков"; об этом писал например П. А. Плетнев В. А. Жуковскому после появления „Стихотворений" 1832 г. [10] Сам Давыдов был обеспокоен догадками и намеками и просил П. А. Вяземского: „пожалуйста уверяй всех и каждого, что очерк жизни моей не мною писан, а умершим в этом году старинным моим другом и товарищем с а р м е й с к о г о ротмистерского чина моего генерал-лейтенантом Ольшевским. Тем это будет правдоподо бнее, что он писал, и писал хорошо. Соглашаться же, что этот очерк моего пера — неловко, ибо, как ни говори, в нем много снисходительного для меня и язвительного для других" (письмо от 7 декабря 1832 г.) [11]. Вяземский внял просьбе Давы-

дова и в письме к В. А. Жуковскому (от 11 декабря 1832 г.) сообщал об „Автобиографии" как о произведении, не принадлежащем Давыдову [12].

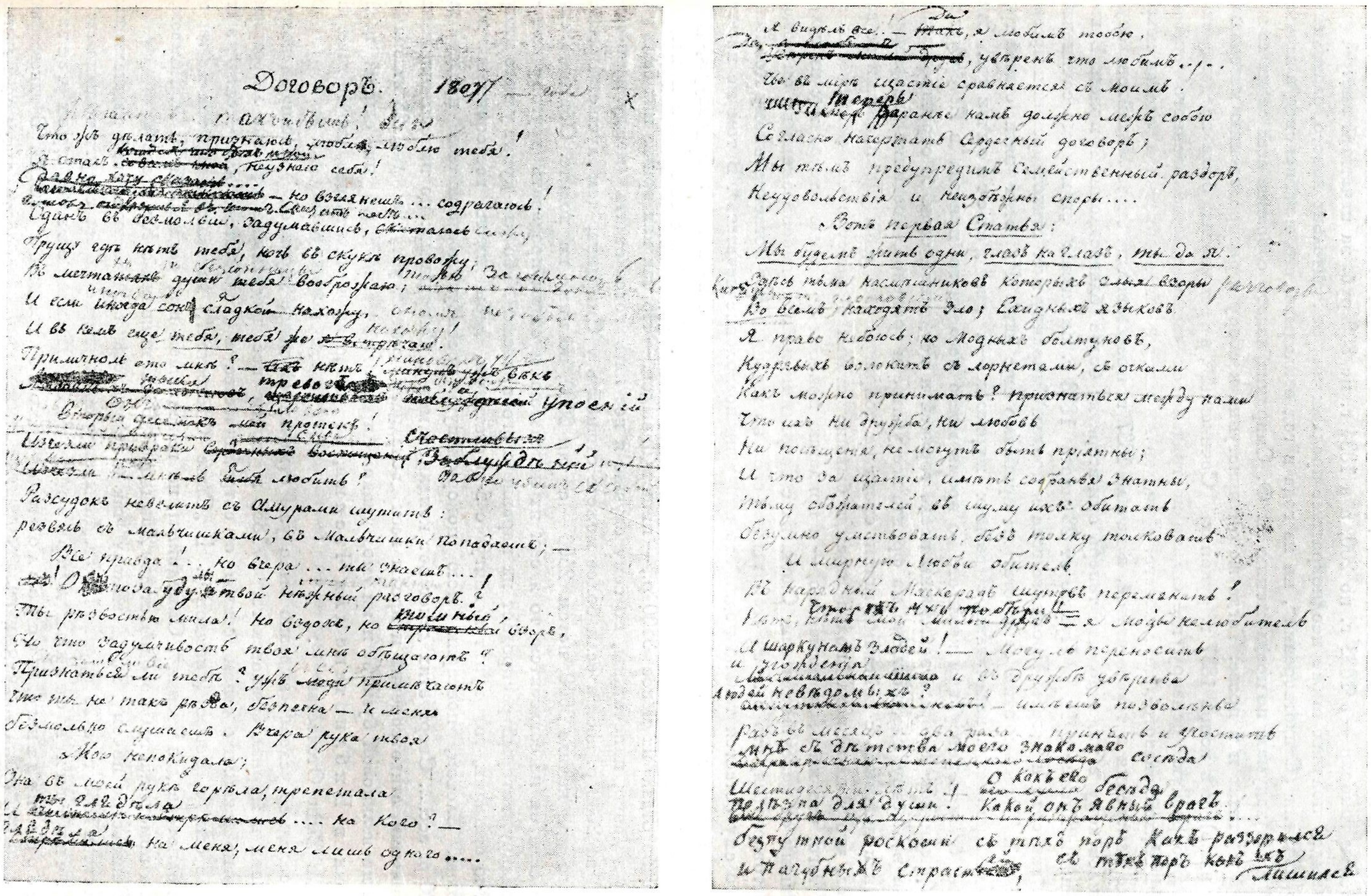
Умерший в 1832 г. генерал-лейтенант Осип Данилович Ольшевский, ставший жертвой давыдовской мистификации, в 1815 г. командовал гусарским принца Оранского полком О его литературных занятиях нам ничего не известно. В письме к А. А. Закревскому 1826 г. Давыдов отозвался о своем „старинном друге и товарище" не слишком благосклонно: „Ольшевский, с которым всякий благородный человек не желает жить и умереть" [13].

В „Русском Зрителе" 1828 г. и в „Стихотворениях" 1832 г. „Автобиография" была напечатана без подписи, но уже в предисловии к „Сочинениям" Давыдова изд. 1840 г. (подготовленных к печати самим Давыдовым, о чем см. ниже) анонимный „друг-сослуживец" был назван по имени, правда зашифрованному: „Здесь помещается... очерк жизни Давыдова, произведение... покойного генерала-лейтенанта О. Д. О-го, ошибочно принятое некоторыми читателями за его [т. е. Давыдова. — *В. О.*] автобиографию" Далее приведен отрывок из письма Давыдова к издателю (А. Ф. Смирдину), где объясняется, что О. Д. О-й написал „очерк жизни" поэта „в дни отдыха от битв и военных тревог польской кампании 1831 г." Давыдов повидимому сам позабыл, что „Автобиография" появилась в печати еще за три года до польской кампании — в „Русском Зрителе" 1828 г. (на эту обмолвку, насколько нам известно, не было обращено внимания ни в современной Давыдову печати, ни позже).

Давыдов неоднократно переделывал и исправлял „Автобиографию". Автографов ее не сохранилось, но известно несколько печатных редакций, содержащих существенно-важные варианты (ср. тексты „Русского Зрителя" 1828 г., „Стихотворений" 1832 г., „Сочинений" 1840 г., а также текст, сообщенный М. Розановым „из бумаг гр. П. П. Сухтелена" [14]). О времени составления „Автобиографии" точных данных не имеется, но можно предполагать, что в первой редакции она была написана в конце 10-х годов и во всяком случае не позже 1821 г., так как несомненно о ней сообщал П. А. Вяземский А. И. Тургеневу в письме от 18 декабря 1821 г.: „Спроси у Греча присланную ему биографическую статью Дениса Давыдова. Прелестная шутка!" [15]

С 1832 г. Давыдов „пустился в военные записки" и печатал свои мемуарные и военно-исторические статьи в разных журналах, преимущественно в „Библиотеке для Чтения" 1834—1836 гг. (т. II — „Встреча с фельдмаршалом графом Каменским", т. X — „Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году", т. XI — „Встреча с великим Суворовым", т. XII — „Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау", т. XV — „О том, как я, будучи штаб-ротмистром, хотел разбить Наполеона") и в пушкинском „Современнике" 1836 г. (т. III — „О партизанской войне", т. IV — „Занятие Дрездена"). Кроме того в „Сыне Отечества" 1838 г. (т. III) Давыдов напечатал статью „Воспоминание о Кульневе в Финляндии" (отрывок из нее под заглавием: „Извлечение из записок генерал-майора Д. В. Давыдова. Кампания 1808 года. Финляндия" был напечатан в „Мнемозине" I, 1824), а в первом томе смирдинского сборника „Сто русских литераторов" (1839) — „Тильзит в 1807 году".

Статьи Давыдова появлялись в журналах в искалеченном виде. Редактор „Библиотеки для Чтения" О. И. Сенковский выправлял слог Давыдова и „одолжил его собственными вставками, о коих он не просил"; в письме к Н. М. Языкову от 11 сентября 1835 г. Давыдов писал о Сенковском, „исковеркавшем" статьи его: „Про него можно сказать то, что Наполеон говорил о Фуше: „Cet homme a la manie de fouler le pied dans le soulier de tout le monde". Что ему мешало оставить в покое пять слов, заключающих Встречу с Суворовым: „и Прага, залитая кровью, курилась", это и коротко и картинно Как же он разжижил это: „И Прага курилась, залитая кровью защитников". Этот урод не понял, что слово к у р и л а с ь на конце периода есть последний мах кисти живописца, следственно в нем и вся сила периода" [16]. В „Современнике" же статьи Давыдова „вполне охолостила" цензура, несмотря на энергичную защиту Пушкина (см. данные переписки Давыдова с Пушкиным за 1836 г.). При новом издании прозаических сочинений Давыдова нужно будет обратиться к автографам и авторизованным спискам, сохранившимся в архиве Давыдова.



Договоръ. 1807

Что ужъ делать, признаюсь, люблю, люблю тебя!
[illegible]
Одинъ въ безмолвіи, задумавшись, скитаюсь
Грущу гдѣ нѣтъ тебя, ночь въ скукѣ провожу;
Въ мечтаньяхъ [illegible] тебя воображаю;
И если иногда сонъ сладкой нахожу,
И въ немъ еще тебя, тебя жъ [illegible]
Примѣчно это мнѣ? [illegible]
[illegible]
Разсудокъ не велитъ съ Амурами шутить:
резвясь съ мальчишками, въ мальчишки попадешь; —
Все правда!.. но вчера... ты знаешь...
О! [illegible] твой нѣжный разговоръ!
Ты резвостью мила! но вздохъ, но томный взоръ,
Но что задумчивость твоя мнѣ обѣщаетъ?
Признаться ли тебѣ? ужъ [illegible] привлекаетъ
Ты ль не такъ резва, безпечна — и меня
Безмолвно слушаешь. Вчера рука твоя
Мою не покидала;
Она въ моей рукѣ горѣла, трепетала
[illegible].... на кого? —
Глядѣла на меня, меня лишь одного....

Я видѣлъ все! — Да, я любилъ тебя,
[illegible], увѣренъ что любимъ...
Что въ мірѣ щастіе сравняется съ моимъ.
Теперь заранѣе намъ должно межъ собою
Согласно начертать сердечный договоръ;
Мы тѣмъ предупредимъ семейственный раздоръ,
Неудовольствія и неизбѣжны споры....
Вотъ первая Статья:
Мы будемъ жить одни, глазъ на глазъ, ты да я.
[illegible] тьмы насмѣшниковъ которыхъ [illegible]
Во всемъ находятъ зло; [illegible] языковъ
Я право не боюсь; но модныхъ болтуновъ,
Кудрявыхъ волокитъ съ лорнетами, съ очками
Какъ можно принимать? признаться между нами
Что имъ ни дружба, ни любовь
Ни посѣщенья, не могутъ быть пріятны;
И что за щастіе, имѣть собранья знатны,
Тьму обожателей, въ шуму ихъ обитать
Безумно умствовать, безъ толку толковать
И мирную любви обитель
Въ народный маскерадъ шутовъ переменять!
[illegible] я моды нелюбитель
И шаркунамъ злодѣй! — Могу ль переносить
[illegible]
Разъ въ мѣсяцъ [illegible] два раза [illegible] принять и угостить
[illegible] соседа
Шестидесятилѣтня [illegible]! О какъ его беседа
Полезна для души! Какой онъ явный врагъ
безпутной роскоши съ тѣхъ поръ какъ разорился
и пагубныхъ страстей, съ тѣхъ поръ какъ ихъ лишился

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ДЕНИСА ДАВЫДОВА «ДОГОВОР»

Ленинградское отделение Центрархива

Журналисты 30-х годов очень дорожили сотрудничеством прославленного Давыдова. Издатель „Библиотеки для Чтения" А. Ф. Смирдин предлагал ему наивысший по тем временам гонорар — в 1833 г. по 200, а в 1834 г. по 300 руб. за печатный лист [17].

Давыдов получал также неоднократные предложения относительно нового, расширенного издания „Стихотворений", но из года в год откладывал его, пока наконец в начале 1837 г. не задумал, по предложению А. Ф. Смирдина, издать собрание всех своих сочинений в стихах и в прозе. Тогда же он приступил к сбору и распределению материала (см. ниже), и в конце 1837 г. рукопись „Сочинений", в трех частях, была представлена в петербургскую цензуру, где сильно пострадала от самоуправства военного цензора А. И. Михайловского-Данилевского. Давыдов забрал рукопись обратно и, сделав некоторые изменения в тексте статей, в начале 1837 г. представил их снова Михайловскому-Данилевскому в надежде, что теперь они встретят более благосклонный прием. В неизданном письме к Н. В. Путяте от 23 марта 1838 г. он писал: „я продаю сочинения мои как сало и деготь. Прошлого года я продал Смирдину мои стихотворения и прозы 7 статей. Теперь к этим семи статьям прибавлю еще пять. Из этих пяти статей три уже были некогда напечатаны в разных журналах — а две девственницы. Эти статьи были в цензурном комитете во время моего последнего приезда в Петербург и потерпели как храбрые эскадроны после горячей и неудачной сечи. Я отретировался с ними в Москву, где, исключа из фронта все убитое и раненое, соединил разорванные части и двигаюсь с войсками моими снова на поприще. Но дабы Данилевский не подумал, что я переписал сполна прежде бывшие статьи в цензуре без исключения из них того, что им было вымарано, — я прилагаю при сем и старые тетради с их полученными от цензуры ранами. Слича их с тетрадями набело переписанными, он может удостовериться, что с моей стороны все сделано в угодность умогасительному Комитету и что ему остается только подписать внизу их позволение печатать". В том же письме Давыдов просит Н. В. Путяту, как только будет получена виза военной цензуры, „послать за Смирдиным и продать ему все пять статей". „Еслиб все они были новые, то я бы не отдал их менее 3500 р., — пишет Давыдов. — Но так как три из них были уж, хотя и давно, напечатаны, по сему случаю я все пять готов отдать (между нами сказать) за 2000 р. асс.; а если более можете отшибить у Смирдина, тем лучше. Просите с него при начале 3000, потом 2500 — а там 2000, но ниже не ходите. Объявите ему что если он не согласится, то я сам их напечатаю и отдам продавать другому книгопродавцу, который распродаст их наравне с его продажей, ибо кто купит у него книгу с 7-ю статьями, тот купит и книгу с 5-ю статьями, дабы иметь все сочинения мои вполне. Словом, повторяю мою покорнейшую просьбу: постарайтесь продать за 2000 р. асс..... Сверх этих денег вот кондиции мои с Смирдиным: по напечатании моих сочинений, стихотворений и прозы всех двенадцати статей, уступка мне 25 экземпляров на велиновой бумаге и ни под каким предлогом не печатать ни единой моей строки в Библиотеке для Чтения, но позволяю печатать все, что он хочет из них, в Сыне Отечества" [18].

Последнее условие вызвано было уже отмеченной выше „правкой" рукописей, поступавших в журнал Сенковского. В 1838 г. почти все виднейшие русские литераторы печатно заявили о своем отказе от сотрудничества в „Библиотеке для Чтения"; в их числе был и Денис Давыдов [19]. В „Сыне Отечества", издававшемся, так же как и „Библиотека для Чтения", Смирдиным, но выходившем под редакцией Н. А. Полевого, была помещена только одна статья Давыдова („Воспоминание о Кульневе").

Неизвестно почему, но Давыдову так и не удалось осуществить свой издательский проект в 1838 г., а 29 апреля 1839 г. Давыдов умер, и уже после его смерти вышли в свет „Сочинения в стихах и прозе Дениса Давыдова. В трех частях. Второе издание, исправленное и дополненное" (СПБ. В типографии Александра Смирдина. 1840. Стр. XV + 86 + 182 + 170; на обороте титульных листов каждой части помечено: „Издание книгопродавца А. Ф. Смирдина"; цензурная виза во всех трех частях — 24 декабря 1837 г., подписана цензором А. Никитенко).

В предисловии „От издателя" читаем: „Мятежная жизнь, нераздельная с военным бытом, причиною тому хаосу, в котором находились бумаги нашего партизана-поэта.

Трудно было извлечь из них все произведения его без остатка; вот почему некоторые из его товарищей тщетно искали в первом издании слышанные ими стихотворения из собственных его уст. По убедительной просьбе их Денис Васильевич взял на себя труд разобрать пыльные тетради, листы, страницы и клочки страниц, сваленных грудами в давно забытых им портфелях. Попытка его была не без успеха. Он отыскал между ними до двадцати стихотворений, мало кому известных, и дозволил мне, присовокупляя к изданным уже в 1832 году г-м Салаевым, приступить ко второму изданию всех его стихотворений". Далее приводится отрывок якобы из письма Давыдова, „на днях" присланного издателю, где разъясняется, что „Очерк жизни Д. В. Давыдова" является, вопреки догадкам „некоторых читателей", произведением пера не самого Давыдова, а его „старинного друга-сослуживца, покойного О. Д. О-го".

Предисловие „От издателя" — очередная мистификация Давыдова. В его архиве (тетрадь № 68) мы нашли черновик этого предисловия, писанный рукой Давыдова. Повидимому, задумав в 1837 г. издание „Сочинений", Давыдов „впрок" заготовил предисловие от имени издателя — А. Ф. Смирдина.

„Сочинения" 1840 г. являются таким образом изданием авторизованным, хотя есть основания предполагать, что после смерти Давыдова план издания был несколько изменен (в части расположения стихотворных текстов). Делится оно, как уже было сказано, на три части: в первую вошли „Автобиография" и „Стихотворения", во вторую — статьи: „Встреча с великим Суворовым", „Встреча с фельдмаршалом графом Каменским", „Воспоминание о сражении под Прейсиш-Эйлау", „Урок сорванцу", „Разбор трех статей, помещенных в Записках Наполеона", „Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?", в третью —„Письмо к Сир Вальтер-Скотту" (опубликованное впервые в „Сыне Отечества" 1840, т. II), „Воспоминания о Кульневе в Финляндии", „Тильзит в 1807 году", „Замечания на некрологию Н. Н. Раевского", „Занятие Дрездена" и „Отрывки из партизанского дневника" (опубликованы впервые в „Отечественных Записках" 1820 и 1822 гг. и в „Сыне Отечества" 1840 г., т. II) — всего двенадцать статей.

Отдел стихотворений в издании 1840 г. значительно пополнен сравнительно со сборником 1832 г. Тринадцать стихотворений появилось здесь впервые, среди них: „Ответ" („Я не поэт, я — партизан, козак"), „Романс" („Не пробуждай, не пробуждай"), „Я вас люблю так, как любить вас должно", „Я не ропщу", „В былые времена она меня любила", „Романс" („Жестокий друг, за что мученье?"), „Я помню — глубоко", „Выздоровление" и др. Кроме того Давыдов включил в издание некоторые ранние свои стихотворения, не вошедшие в сборник 1832 г., например „Договоры" (в новой редакции 1836 г.), а также стихотворения, появившиеся в периодической печати после издания 1832 г. (например „Челобитная", „Вальс", „Море воет, море стонет", „Речка", „Листок"). Включена была в собрание и „Современная песня" — последнее произведение Давыдова (в печати впервые она появилась уже после смерти Давыдова в альманахе „Утренняя Заря" 1840 г.).

Но вместе с тем Давыдов почему-то исключил из собрания две пьесы, вошедшие в издание 1832 г.: „Моя песня" („Я на чердак переселился") и „В альбом" („На вьюке, в тороках девицу я таскаю") — обе 1811 г.; пропуск этот был отмечен рецензентом „Отечественных Записок" (см. 1840, т. XII, № 9, отд. VI, стр. 5).

Совершенно непонятен принцип распределения стихотворений внутри первой части издания 1840 г. Если в сборнике 1832 г. Давыдов разделил все стихи в сущности на два отдела: 1) элегии и 2) все остальное, отнеся в конец книжки „гусарщину", то здесь стихи его явились действительно „наездниками, поодиночке, налегке, наскоком" (из „Автобиографии" Давыдова). В издании 1840 г. нарушен и хронологический, и жанровый принцип распределения материала, ранние стихи (1800—1810 гг.) идут вперемежку с позднейшими (30-х гг.), „гусарщина" мирно уживается на одной странице с элегиями и альбомной любовной лирикой. Нужно думать, что такой порядок (вернее беспорядок) пьес был установлен не самим Давыдовым, а его издателем. Впрочем возможно также, что Давыдов намеренно отказался от более стройного построения „рассеянной своей стихотворной вольницы", особенно если учесть усвоенную Давыдовым манеру настаивать на стихийности и „гусарской" небрежности своего творчества.

Издание 1840 г. пострадало не только от военной цензуры. Не говоря уже о том, что в него не вошли „крамольные" басни 1803 г., некоторые стихотворения попрежнему напечатаны были с пропусками „опасных" строк; так например, в послании Бурцову читаем (как и в издании 1832 г.):

Даст мне чин...

вместо:

Даст мне чин за вахтпарады
И Георгья за совет!

„Гусарская исповедь" же появилась в еще более урезанном виде, чем в сборнике 1832 г.; из нее были выброшены стихи:

Где спесь да подлости, вельможа да холоп....
. . . . . .
Где под подушками потеет столько ж...

Стихотворение „Герою битв, биваков, трактиров и б . . . . . " переменило свое зазорное заглавие на более благопристойное: „Храброму повесе", а „вольные" слова в нем, помеченные в сборнике 1832 г. начальными буквами, были заменены здесь целомудренными точками. У стихотворения „С. А. К[ушки]ной" („Вы личиком Пафосской бог") очевидно ножницами цензора было отрезано „божественное" окончание:

... с восторженной душой
Мы вам, как божеству, несем кадил куренье,
Обеты чистые, и гимны, и моленье!

В „Современной песне" строкой точек был заменен стих:

И в Москве поляки.

И только в одном случае — в послании „Другу-повесе" („Болтун красноречивый") — стих 36-й, в издании 1832 г. напечатанный так:

Эрот — сей ....

был дополнен:

Эрот — сей бог богов.

Кроме того в тексты „Сочинений" 1840 г. сравнительно со „Стихотворениями" 1832 г. было внесено много мелких изменений (в заглавиях пьес, орфографии, в пунктуации).

Через восемь лет Александр Смирдин (младший) издал в одном томе „Сочинения Давыдова" в составе известной серии „Полное собрание сочинений русских авторов" (СПБ., 1848, стр. XXVI + 640 + 7 чертежей). Издание это в основном является точным повторением предыдущего, кроме многочисленных новых опечаток (опечатками знаменита вообще вся смирдинская серия). Насколько небрежно издавал А. А. Смирдин свою серию, видно из того, что в „Сочинениях Давыдова" пропущена басня „Чиж и роза", напечатанная в изданиях 1832 и 1840 гг. Все цензурные купюры прежних изданий конечно сохранены и в этом, за исключением одного только случая: упомянутые выше два стиха из послания Бурцову напечатаны полностью. Единственным дополнением в смирдинском издании (впрочем дополнением довольно существенным) является перепечатка „Опыта теории партизанского действия" (по изданию 1821 г.), отсутствующего в „Сочинениях" 1840 г.

В 1860 г. в Москве вышло в свет новое трехтомное и внешне прекрасно оформленное издание: „Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. Издание четвертое, исправленное и дополненное по рукописям автора", подготовленное к печати еще в 1858 г. сыном Дениса Давыдова — Денисом Денисовичем [20]. Издание 1860 г. проходило через две цензуры — гражданскую и военную, при чем проходило не без затруднений: в марте 1859 г. издателю были возвращены „без одобрения" статья Дениса Давыдова „Воспоминание о 1826 годе" (напечатанная

РАЗБОРЪ

ТРЕХЪ СТАТЕЙ,

ПОМѢЩЕННЫХЪ

ВЪ

ЗАПИСКАХЪ НАПОЛЕОНА.

ДЕНИСОМЪ ДАВЫДОВЫМЪ.

МОСКВА.
Въ Типографіи Семена Селивановскаго.
1825.

Графу Григорью Владимировичу Орлову

отъ сочинителя —

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ ДЕНИСА ДАВЫДОВА «РАЗБОР ТРЕХ СТАТЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХ В ЗАПИСКАХ НАПОЛЕОНА» С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ Г. В. ОРЛОВУ
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

впервые в сильно урезанном виде в альманахе „Русская Беседа" 1841, т. II), а также его (издателя) собственная статья „Известия о жизни Д. В. Давыдова" [21]. Впоследствии Д. Д. Давыдов добился впрочем пересмотра решения цензурного комитета, и обе статьи появились в его издании.

Издание 1860 г. строилось как полное собрание сочинений Дениса Давыдова, очищенное от всех погрешностей, вкравшихся в прежние издания. Кроме того в нем впервые была сделана попытка учесть и ввести в научный оборот богатое рукописное наследие поэта. Издатель — Д. Д. Давыдов — писал в предисловии: „Недостаток полного собрания сочинений этого автора и найденные мною новые рукописи с весьма значительными изменениями и дополнениями, — все это побудило меня предпринять новое издание сочинений покойного отца моего". Однако ни та, ни другая задача не были выполнены с достаточным успехом. Неискушенный редакторским опытом Д. Д. Давыдов не сумел воспользоваться до конца имевшимися в его распоряжении архивными материалами: его издание далеко не полное и весьма небезупречное в смысле достоверности текстов.

Из трех томов издания 1860 г. два первых заняты прозой Давыдова. К статьям, уже известным по изданиям 1840 и 1848 гг. (с „Опытом теории партизанского действия"), здесь было прибавлено три новых: уже упомянутые выше „Воспоминания о 1826 г.", извлечения из „Материалов для истории современных войн" и неоконченные „Мысли при известии о неудачном предприятии на Константину Французских войск" (две последних статьи появились в издании 1860 г. впервые) — всего шестнадцать статей.

Статьи Давыдова в издании 1860 г. печатались с проверкой первопечатных текстов по рукописям, что дало возможность издателю дополнить их рядом новых страниц, а в иных случаях и вариантами. „Дневник партизанских действий 1812 года" был напечатан в сопровождении ценных документов, извлеченных из архивного фонда официальной переписки Дениса Давыдова за 1812—1814 гг. Но, с другой стороны, издатель внес в прозаические тексты Давыдова много отсебятины. Сохранившиеся в архиве Давыдова рукописи носят на себе следы кардинальнейшей редакционной правки. Д. Д. Давыдов не только „выправлял" слог своего отца (ничуть не уступая в своем рвении О. И. Сенковскому), но в иных случаях и совершенно наново перекраивал самый текст, выбрасывая из него целые страницы, или же вписывая собственные рассуждения. В таком сугубо фальсифицированном виде статьи Давыдова перепечатаны и в последнем издании его сочинений (1893 г.); таким образом читатель, желающий ознакомиться с прозой Давыдова, знакомится в сущности с литературными упражнениями его сына.

В третий том издания 1860 г. вошли: „Стихотворения", „Известия о жизни Д. В. Давыдова" (компиляция, составленная издателем), „Автобиография" Дениса Давыдова и обширные „Приложения", распадающиеся на два раздела: 1) документальные материалы для биографии Давыдова (рескрипты, аттестаты, дипломы и проч. на имя Давыдова, письма Давыдова и к Давыдову) и 2) стихотворения разных авторов и выдержки из некоторых русских и французских изданий, посвященные Давыдову.

Отдел стихотворений в издании 1860 г. был пополнен сравнительно с изданием 1840 г. пятью мелкими пьесами (эпиграмма „А кто он?—Француз, Германец", „Эпитафия", „Генералам, танцующим на бале", „Что пользы мне в твоем совете" и элегия „В ужасах войны кровавой", появившаяся еще в 1821 г. в газете „Рецензент", но не вошедшая ни в сборник 1832 г., ни в „Сочинения" 1840 г.); всего в издании 1860 г. было собрано шестьдесят семь стихотворений, расположенных в том же произвольном порядке, как и в издании 1840 г. (новые пять пьес прибавлены в самом конце). Для характеристики редакторской работы Д. Д. Давыдова достаточно будет указать, что он ограничился при составлении полного собрания сочинений своего отца только перепечаткою издания 1840 г., не заглянув даже в „Стихотворения" 1832 г., почему в его издание и не вошли помещенные там две пьесы („Моя песня" и „В альбом"), исключенные самим Давыдовым из „Сочинений" 1840 г. Что же касается новых стихотворений, то издатель также ограничился почему-то включением только пяти пьес, хотя в архиве Давыдова неизданных стихотворных текстов имелось значительно больше (см. ниже).

Большую ценность имеет в издании 1860 г. отдел „Приложения", где впервые были собраны некоторые письма Давыдова (о переписке Давыдова см. в следующей главе), а также аттестат, выданный Давыдову А. П. Ермоловым, официальное письмо А. А. Прокоповича-Антонского (1816) с извещением о избрании Давыдова в члены Общества любителей российской словесности, одно письмо к Давыдову В. А. Жуковского (1829) и отрывок из письма А. С. Грибоедова к С. Н. Бегичеву (1825) с упоминанием о Давыдове. Вторую часть „Приложений" составляют стихотворения, посвященные Давыдову поэтами—его современниками. Здесь приведены стихи Пушкина, Языкова, Вяземского, гр. Ф. И. Толстого - „Американца", Жуковского, Баратынского, Ефима Зайцевского, Воейкова, Ф. Глинки, С. Стромилова, Ростопчиной и французское четверостишие Арно. Стихи эти (за исключением стихотворения Ростопчиной „Одним меньше", написанного на смерть Давыдова) были взяты из тетради, куда Денис Давыдов тщательно переписывал все отзывы о себе в стихах и прозе (см. ниже). Первое (1833) послание Языкова („Давным давно люблю я страстно"), первый вариант эпилога „Эды" Баратынского, стихи Ф. Толстого и С. Стромилова на страницах издания 1860 г. впервые увидели свет. Здесь же перепечатаны (из „С.-Петербургской газеты" 1831 г., „Journal des Débats", „Истории Наполеона" Вальтер Скотта, „Истории 1812 года" Батурлина, „Révue Encyclopédique" и др. изданий) отзывы о Давыдове, его военной и литературной деятельности. Издание 1860 г. было иллюстрировано портретами Давыдова и факсимильным воспроизведением стихотворного его автографа.

В 1889 г., по случаю пятидесятилетия со дня смерти Дениса Давыдова, стихотворения его были изданы в „Дешевой Библиотеке" А. С. Суворина (издание это было повторено в 1893 г.). Ничего нового сравнительно с предыдущими это издание не дает, за исключением одного только стихотворения — сатирической песни о фельдмаршале гр. И. И. Дибиче („Хватай, собака, голодный пес"), впервые появившейся в „Русском Архиве" 1866 г. (в статье Давыдова „Воспоминание о польской войне 1831 г.")

В 1892 г. издательством Евг. Евдокимова, в серии ежемесячных приложений к журналу „Север", было предпринято шестое по счету и первое научно-популярное издание: „Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. Со статьей о литературной деятельности Д. В. Давыдова и примечаниями, составленными А. О. Круглым" (СПБ., 1893, тт. I—II—III; встречаются экземпляры с маркой издательства Я. Соколова, помеченные 1895 г.). Издание это до сих пор пользуется репутацией лучшего и наиболее полного и чаще других встречается на книжном рынке.

Положив в основу своего издания текст „Сочинений" 1860 г., А. О. Круглый следующим образом определил его состав: „Все когда-либо появлявшиеся в печати стихотворения Давыдова, в том числе двенадцать пьес, не включавшихся ни в одно из прежних изданий; все его прозаические статьи, кроме чисто специального по содержанию „Опыта теории партизанских действий", и все его письма, имеющие литературный интерес" (см. предисловие в т. I, стр. XIII). Кроме того в издание включены были „Автобиография" Давыдова и извлеченная из рукописного собрания Государственной Публичной Библиотеки (в Ленинграде) речь, произнесенная Давыдовым в Арзамасском обществе.

Уже из приведенной цитаты явствует, что издание 1893 г. не дает текста всех сочинений Давыдова и потому не может быть названо полным. Исключив из собрания „Опыт теории партизанского действия" и ограничившись перепечаткой тех только писем Давыдова, которые „имеют литературный интерес", А. О. Круглый тем самым обрек на забвение много ценных материалов, в том числе замечательные письма Давыдова к А. А. Закревскому (напечатанные в 1890 г. в „Сборнике русского исторического общества"), являющиеся одним из главных источников для биографии Дениса Давыдова. Но и помимо того А. О. Круглый не до конца исчерпал весь фонд собственно литературных произведений Давыдова, опубликованных в печати до 1892 г., и не имел доступа к архиву Давыдова.

Сравнительно с прежними изданиями, „Сочинения" 1893 г. были дополнены двенадцатью стихотворениями (в том числе одним неизданным): „Голова и ноги" (впервые напечатано в „Русской Старине" 1872 г., т. V), „Река и зеркало" (впервые на-

печ. в „Русском Вестнике" 1869 г., т. 84, чего не знал А. О. Круглый), „Возврату твоему с похода всяк дивится" (взято А. О. Круглым из „Сочинений" П. А. Вяземского, т. VIII), „К Е. Ф. С—ну" (впервые напеч. в альманахе „Сириус" 1826 г.), „Элегия" („Пусть бога-мстителя могучая рука"—впервые напеч. в „Амфионе" 1815 г.), „Утро" (впервые напеч. в „Трудах Общества любителей российской словесности" 1816 г.), „Ответ на вызов написать стихи" (впервые напеч. в альманахе „Северная Звезда" 1829 г.), „Вода мне вовсе не вкусна" (взято А. О. Круглым из „Чтений в Московском Обществе истории и древностей российских" 1874 г.), „При виде Москвы, по возвращении из персидского похода" (напечатано А. О. Круглым с рукописи, без указания источника), „О кто, скажи ты мне, кто ты" (впервые напеч. в „Историческом Вестнике" 1883 г.), „Унеслись невозвратимые" (впервые напеч. там же в 1890 г.) и „Как будто Диоген с зажженым фонарем" (впервые напеч. в „Древней и новой России" 1876 г.). Из появившихся в печати до 1892 г. стихотворений Давыдова А. О. Круглому остались неизвестны: 1) „Гераков! прочитал твое я сочиненье" (в книге Гавриила Геракова „Продолжение путевых записок по многим российским губерниям", Петроград, 1830) и 2) „Богомолка" (в сборнике Н. П. Огарева „Русская потаенная литература XIX столетия", ч. I, London, 1861).

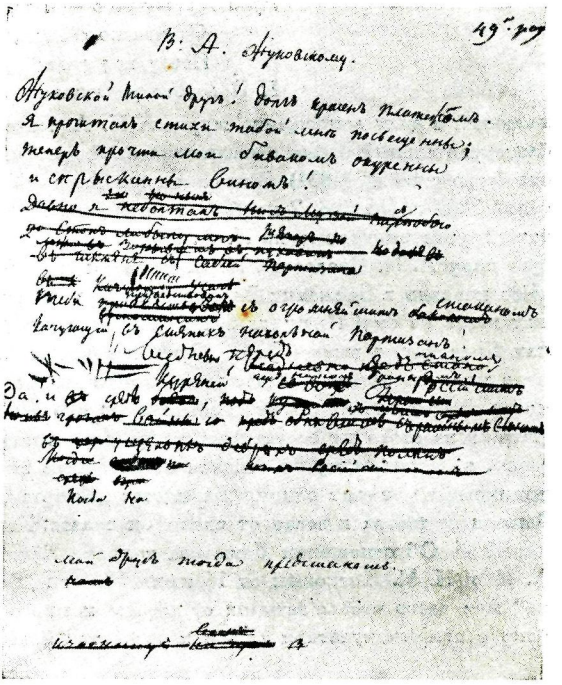
В издании 1893 г. стихотворения Давыдова расположены в хронологическом порядке, но в большинстве случаев принятые редактором датировки совершенно произвольны. Так например, стихотворение „Герою битв, биваков, трактиров и б....." отнесено А. О. Круглым к 1804 г., тогда как известно, что оно не могло быть написано раньше 1821 г. Тексты подготовлены А. О. Круглым крайне небрежно. Стихотворение „С. А. Кушкиной" („Вы личиком—Пафосский бог") попрежнему приведено без трех последних строк, хотя редактор и ссылается при этом на издание 1832 г., где оно напечатано полностью. Как правило, не сохранены особенности правописания Давыдова, не восстановлены данные самим автором и измененные в посмертных изданиях заглавия и подзаголовки пьес, сохранены опечатки прежних изданий (и прибавлены новые, нередко искажающие самый смысл стихотворения) и проч.

Кроме всех указанных дефектов в издании 1893 г. имеется еще один, весьма существенный: из двенадцати „новых" стихотворений Давыдова, напечатанных А. О. Круглым, два не принадлежат Давыдову, а именно: 1) двустишие „Возврату твоему с похода всяк дивится" и 2) четверостишие „Вода мне вовсе не вкусна". Первое из них редактор включил в собрание на основании поздней записи П. А. Вяземского: „Денис Давыдов в молодости своей сказал о ком-то: „Возврату твоему..." и т. д." [22] Между тем эпиграмма эта направлена против великого князя Константина Павловича и имеет в виду его бесславное возвращение из итальянского похода 1799 г. (в несколько иной редакции и под заглавием: „На возвращение К... П... из Италии" она сохранилась между прочим в бумагах Давыдова среди других сатирических стихотворений эпохи 800-х гг., из которых ни одно Давыдову не принадлежит). В 1799 г. Давыдову было пятнадцать лет и никаких его стихотворений этой поры, кроме отрывка из совершенно безграмотного перевода с французского, не сохранилось. Вероятнее всего, что Давыдов прочел Вяземскому чужую эпиграмму, а тот принял ее за собственное его сочинение. Второе четверостишие приписано А. О. Круглым Давыдову на основании следующего свидетельства в „Записках" Ф. Н. Винницкого: „Всего забавнее его [Давыдова.—*В. О.*] слова... сказанные, когда он пил воду [на кавказских минеральных водах в мае 1827 г., а не в 1826 г., как пишет Винницкий.—*В. О.*]... При этом вырвалось с языка его без приготовления четверостишие:

„Вода мне вовсе не вкусна,
А есть напиток благородной,
Слиянье рома и вина,
Без примеси воды негодной!" [23]

Совершенно очевидно, что Давыдов в данном случае процитировал по памяти (и потому не вполне точно) известные ему стихи Пушкина из послания к Н. М. Языкову (1826 г.).

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ДЕНИСА ДАВЫДОВА «В. А. ЖУКОВСКОМУ»
Ленинградское отделение Центрархива



Стихотворения Давыдова в издании 1893 г. редактор сопроводил краткими примечаниями, исключительно, впрочем, *био-библиографического* характера. Примечания эти более чем лапидарны и зачастую содержат фактически неверные указания, непроверенные даты и т. д.

За сорок лет, прошедших со времени издания под редакцией А. О. Круглого, было опубликовано сравнительно не много новых текстов Дениса Давыдова. Центральное место в этих публикациях занимают письма, о которых мы еще скажем несколько слов ниже. Из литературных же произведений Давыдова появились только следующее: 1) проект эпитафии кн. П. И. Багратиону (в „Русском Инвалиде" 1912 г., № 200), 2) эпиграмма „К портрету Бонапарте" (без последнего стиха—в „Столице и усадьбе" 1915, № 42) и 3) *небольшое произведение в прозе (по-французски)* „Поэтическая характеристика Екатерины Николаевны Раевской" (в „Русском Библиофиле" 1916, № 4). В „Голосе Минувшего" 1917 г. (№ 5—6, стр. 36—46) появились „Воспоминания Д. В. Давыдова о великом князе Константине Павловиче", известные уже издавна по публикации П. В. Долгорукова—„Записки Д. В. Давыдова, в России цензурою непропущенные". Londres-Bruxelles, 1863. Кроме того в 1906 г. („Былое", № 7) была напечатана (с испорченного списка) приписывающаяся перу Давыдова басня „Орлица, Турухтан и Тетерев".

В самое последнее время фонд сочинений Дениса Давыдова пополнился его ранним (1803) сатирическим стихотворением „Сон", найденным в копии среди бумаг лицейского товарища Пушкина кн. А. М. Горчакова (ныне в *Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи*). Стихотворение это, представляющее значительный интерес, было впервые опубликовано мною в „Полном собрании стихотворений Дениса Давыдова" („Библиотека поэта" 1933) по списку, любезно сообщенному Т. Г. Зенгер.

Укажем заодно, что в „Русском Обозрении" 1897 г. (№ 2) Н. И. Черняевым без достаточных оснований Давыдову было приписано известное стихотворение П. А. Вяземского „Сравнение Петербурга с Москвой" [24], а в „Докладах и отчетах" Русского библиологического общества 1913 г. (новая серия, вып. II, стр. 33) Дилакторским — уже без всяких оснований—длинное стихотворение „Забытый год".

Открытым до сих пор остается вопрос о принадлежности Давыдову эпиграммы:

Рука всевышнего три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала
И Полевого удушила

имеющей в виду запрещение журнала Н. А. Полевого „Московский Телеграф" за неблагожелательный отзыв о патриотической драме Н. В. Кукольника „Рука всевышнего отечество спасла" (1834). Эпиграмма эта впервые была напечатана в „Биржевых Ведомостях" 1869 г. (№ 298, 2 ноября) с подписью Пушкина (там же Пушкину была приписана другая эпиграмма на Н. А. Полевого—„Журнала нового издатель", принадлежащая перу А. И. Писарева). М. П. Погодин писал П. А. Вяземскому 4 ноября 1869 г: „Что наврано в Биржевых Ведомостях о Пушкине и его эпиграммах, которые принадлежат вовсе не ему! Пишу заметку. Первая эпиграмма принадлежит [М. А.] Дмитриеву или Писареву, а вторая [т. е. „Рука всевышнего".—*В. О.*] вам или Давыдову? Черкните мне два слова. Помнится мне, кто-то сказал, вы или Давыдов, выходя из театра после представления „Руки всевышнего": кто сильный устоит противу сей Десницы? Чуть ли из этого не составилась тогда еще эпиграмма"[25]. Ответа Вяземского мы не знаем, но повидимому он отрекся от авторства эпиграммы, и Погодин в своей заметке приписывает ее уже одному Давыдову: „Кажется, Д. В. Давыдов подал к ней мысль. Выходя из театра и зевая от скуки, он сказал: Кто сильный устоит противу сей десницы?"[26] Об отношении Давыдова к драме Кукольника свидетельствует письмо его к А. М. и Н. М. Языковым от 16 июня 1834 г.: „Все, что могу сказать, это то, что „Рука" мне часто чесала затылок от досады и много не шевелила моего сердца. Это акафист с полным чувством любви к отечеству и иногда с хорошими стихами"[27].

II. ПЕРЕПИСКА ДЕНИСА ДАВЫДОВА

Денис Давыдов вел обширную переписку. В печати до настоящего времени появилось около двухсот пятидесяти его писем (кроме того около двухсот неизданных писем хранится в различных архивных собраниях). И тем не менее нам известна только незначительная часть давыдовской переписки. До нас не дошло множество писем Давыдова и его корреспондентов, о существовании которых мы располагаем вполне точными сведениями (см. ниже). Впрочем возможно, что в этой области предстоят еще новые находки. Письма Давыдова не только не собраны до настоящего времени воедино, но даже и не учтены целиком в специальных библиографических пособиях. Рассыпанные по различным малодоступным изданиям и нигде не зарегистрированные, многие из них остались неизвестны даже биографам Давыдова и редакторам его сочинений.

Два письма Давыдова появились в печати еще при его жизни. В 1816 г. Давыдов был избран действительным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете (письмо председателя общества А. А. Прокоповича-Антонского от 26 мая 1816 г. при посылке Давыдову диплома было опубликовано в „Сочинениях" 1860 г., т. III, стр. 137; оригинал письма и самый диплом сохранились в архиве Давыдова). Давыдов ответил А. А. Прокоповичу-Антонскому благодарственным письмом от 5 января 1817 г. (из Киева), напечатанным в „Трудах Общества любителей российской словесности", ч. VIII. Летописи общества. Год II. М., 1817, стр. 144. Письмо это до настоящего времени не поступило еще в научную эксплоатацию и потому имеет смысл привести его целиком:

„Милостивый Государь Антон Антоновичь!

Проводя жизнь мою в трудах военных и занимаясь, так сказать, почти на коне отечественною Словесностию, я никогда не ожидал, Милостивый Государь, достигнуть той чести, которую возведением в Члены почтенного Вашего Сословия вы мне ныне определяете; но принимая с живейшею благодарностию Диплом, вами ко мне, Милостивый Государь, доставленный, я не ослепляюсь еще до такой степени, чтобы не зреть все неравенство моего дарования в сравнении дарований тех ученых Особ, с коими я призываюсь ныне собеседовать, а в торжестве моем единственно благосклонность Обще-

ства столь отличного по всем отношениям. Счастливым почту себя, когда прилежанием хотя отчасти заменю недостаток моих способностей и оправдаю выбор лестнейший для моего самолюбия.

Честь имею быть с совершенным почтением, Милостивый Государь, ваш покорнейший слуга Денис Давыдов".

Второе из появившихся при жизни Давыдова писем адресовано было издателю газеты „Русский Инвалид" А. Ф. Воейкову и содержит в себе рассказ о „партизанском действии русских войск в 1812 году" в дополнение и опровержение данных, сообщенных в „Русском Инвалиде". Письмо это было напечатано самим Воейковым в „Русском Инвалиде" 1829 г., № 274 (вошло в издание 1893 г., т. III, стр. 170–172).

В первые двадцать лет после смерти Дениса Давыдова эпистолярное наследие его оставалось под спудом, если не считать нескольких случайных публикаций. Так, в „Москвитянине" 1841 г., т. III, стр. 118 появилось письмо к доктору М. А. Маркусу (1830) там же, 1850 г., т. IV, стр. 78—80 письмо к гр. Д. И. Хвостову (1835)—оба из рукописного собрания М. П. Погодина. В 1854 г. в III томе сборника „Раут" (стр. 313—314), издававшегося Н. В. Сушковым, появилось письмо Давыдова к М. Н. Загоскину (1830) и наконец в „Библиографических Записках" 1858 г. (т. I, № 7, стр. 193—197 и № 18, стр. 552—553) сыном Давыдова Денисом Денисовичем были сообщены четыре письма: Н. М. Языкову (1835), П. Д. Киселеву (1824) и два А. И. Якубовичу (1824 и 1825). Письма эти были перепечатаны в издании 1860 г. В том же томе „Библиографических Записок" на стр. 248 было напечатано следующее обращение „От Д. Д. Давыдова":

„Приступая к полному изданию сочинений покойного отца моего Д. В. Давыдова, значительно исправленных автором незадолго до своей кончины, я имею в виду собрать по возможности в одно целое все вышедшее из-под его пера. Зная обширные его связи и значительную переписку, веденную им со многими лицами, я имею честь покорнейше просить всех, владеющих автографами моего отца и списками с неизданных его сочинений, сообщить мне точные с них копии..."

На призыв Д. Д. Давыдова откликнулись немногие из владевших письмами партизана: П. А. Вяземский, семейство Н. М. Языкова и М. А. Максимович. При этом П. А. Вяземский сообщил письма Давыдова, адресованные не ему лично, а А. С. Пушкину (по-видимому письма эти взяты были Вяземским из квартиры Пушкина после его смерти). 9 июля 1858 г. Вяземский отметил в своей записной книжке: „Писал и послал Д. Д. Давыдову десять писем отца его к Пушкину. Отправил с Дмитрием Оболенским"[28].

Всего в „Сочинениях" 1860 г. появилось тридцать два письма Дениса Давыдова: десять к А. С. Пушкину, два к А. И. Якубовичу, одно к И. И. Дибичу, одно к А. А. Аракчееву, восемь к Н. М. и А. М. Языковым, одно к П. Д. Киселеву, четыре к сыну Василию Денисовичу, одно к М. А. Максимовичу, одно к И. Г. Салаеву и одно к к[нязю] П. Д. [Горчакову]. Письма к Языковым, Киселеву, сыну Василию, Салаеву и Горчакову были опубликованы в отрывках.

Вольное обращение Д. Д. Давыдова с текстами сочинений его отца распространялось и на письма: в издании 1860 г. они напечатаны хотя и с чодлинников, но крайне небрежно, с чудовищными ошибками и купюрами. Особенно не повезло в этом отношении письмам Давыдова к Пушкину, где издатель самым варварским образом „выправил" слог партизана и выбросил все, что почему-либо полагал неудобным для опубликования. В таком изуродованном виде письма Давыдова к Пушкину перепечатаны в издании 1893 г. и в академическом издании „Переписки Пушкина" (см. ниже).

Дальнейшие публикации писем Давыдова располагаются в следующем порядке. В „Библиографических Записках" 1861 г. (т. III, № 18, стр. 552—555) появилось письмо к М. Н. Загоскину (1830) с подробной характеристикой партизана А. С. Фигнера (перепечатано в „Русской Старине" 1877 г., т. XX, стр. 696—699). В „Русском Архиве" 1866 г. П. А. Вяземский опубликовал три письма Давыдова к себе 1815 г. (стбц. 895—898), сопроводив их обстоятельным комментарием (стбц. 898—903); там же (стбц. 904—916) старший сын Давыдова Василий Денисович напечатал письма своего отца к В. Ф.

Адлербергу (1826), А. А. Закревскому (1827) и А. П. Ермолову (1839) по черновым отпускам, сохранившимся в семейном архиве. В „Русском Архиве" 1868 г. (стбц. 975) появилось письмо к В. А. Жуковскому (1831); в „Русской Старине" 1870 г. (т. II, № 9, стр. 306—307)—письмо к П. П. Коновницыну (1821); в „Русском Архиве" 1871 г. (стбц. 0187—0188)—письмо к В. А. Жуковскому (1836). В „Русской Старине" 1872 г. В. Д. Давыдовым были напечатаны письма к Александру I (1814), А. Д. Ольшевскому (1816), А. И. Чернышеву (1831) и К. Ф. Толю (1831)—см. т. V, стр. 633—636 и т. VI, стр. 403—405 (ср. ibid., стр. 402—403). В „Русской Старине" 1873 г. (т. VIII, стр. 419) появилось письмо к известному актеру И. И. Сосницкому (1823), а в „Русском Архиве" 1879 г. (т. II, № 7, стр. 333—335)—большое письмо к Н. Н. Раевскому, содержащее подробный отчет о турецкой кампании 1810 г.; письмо это—самое раннее из всех дошедших до нас писем Давыдова, оно помечено: „Лагерь при Рущуке. 14/24 Июля 1810 г." В книге А. П. Заблоцкого-Десятовского „Граф П. Д. Киселев и его время", СПБ., 1882 (т. I, стр. 362—363) и в „Русской Старине" 1887 г. (т. 55, стр. 228—231) приведены отрывки из чрезвычайно важных для биографии Давыдова писем к П. Д. Киселеву (1819). В „Русской Старине" 1884 г. (№ 7, стр. 131—148) было напечатано двенадцать писем Давыдова к братьям Н. М. и А. М. Языковым (1833—1836), выдержки из которых появились еще в „Сочинениях" 1860 г. Там же в 1888 г. (т. 60, стр. 166—167, 328—329, 331—332, 596—597) В. Е. Якушкиным было сообщено два письма к А. А. Бестужеву (1822—1824) и четыре письма к А. И. Якубовичу (1824—1825), при чем одно из писем к Якубовичу (от 3 января 1824 г.) было уже напечатано прежде (в „Библиографических Записках" 1858 г.), но с черновика, во многом отличающегося от белового текста. В следующем 1889 г. в „Русской Старине" (т. 61, стр. 584) появилось одно письмо к Н. Н. Похвисневу. В „Историческом Вестнике" 1890 г. (т. 41, стр. 86—91), в статье А. А. Осипова, приведены отрывки из французских писем Давыдова к Е. Д. Золотаревой, предмету его последнего сердечного увлечения (1833—1836). В „Сборнике русского исторического общества" 1890 г., т. 73 (стр. 508—563) было опубликовано пятьдесят два письма Давыдова к А. А. Закревскому (1815—1831) и одно письмо к К. Ф. Толю (1819); там же на стр. 552—553 см. официальный аттестат, выданный Давыдову гр. И. Ф. Паскевичем в 1827 г. В „Русской Старине" 1891 г. (т. 71, стр. 369—381) В. Н. Поливановым было напечатано четырнадцать писем Давыдова к А. В. Бестужеву и одно письмо к К. А. Копишу (1834—1836); оба адресата—симбирские помещики, соседи и приятели Давыдова; письма посвящены преимущественно хозяйственным вопросам. В 1893 г. в „Русской Старине" (т.77, стр. 253—256) появилось три письма к А. И. Михайловскому-Данилевскому (1835).

В III томе издания 1893 г. под ред. А. О. Круглого было собрано шестьдесят одно письмо Дениса Давыдова. Как уже сказано выше, А. О. Круглый не включил в свое издание письма, не имеющие, с его точки зрения, „литературного интереса", а именно: письма к А. А. Закревскому и К. Ф. Толю, отрывки из писем к В. Д. Давыдову, Е. Д. Золотаревой и П. Д. Киселеву, а также всю официальную переписку Давыдова. В остальном он ограничился перепечаткой вышеуказанных писем, за исключением одного письма к А. А. Прокоповичу-Антонскому и пятнадцати писем к А. В. Бестужеву и К. А. Копишу, оставшихся очевидно ему неизвестными. Совершенно непонятным остается, почему А. О. Круглый не включил в свое издание одно письмо к А. И. Якубовичу и одно письмо к А. А. Бестужеву, имеющие несомненный „литературный интерес" и опубликованные в „Русской Старине" 1888 г. вместе с другими письмами Давыдова, перепечатанными в „Сочинениях" 1893 г. Такая поразительная небрежность лишний раз характеризует редакторские приемы А. О. Круглого. Впрочем изъян этот „компенсировался" публикацией трех новых писем: к гр. Ф. И. Толстому-„Американцу" (1834 или 1835), А. И. Михайловскому-Данилевскому (1836) и В. Ф. Одоевскому (1824); первое из них было сообщено А. О. Круглому Л. Н. Майковым, второе—Н. К. Шильдером, а третье было извлечено из рукописного собрания Публичной Библиотеки.

После 1893 г. в печати появились следующие письма Давыдова: одно письмо к мос-

ковскому жандармскому генералу А. А. Волкову (1830) с жалобою на секретного агента III Отделения Я. И. де Санглена, посетившего Давыдова с целью „узнания образа его мыслей" (в „Русской Старине" 1896, т. 86, № 6, стр. 561; по этому поводу возникла длинная ведомственная переписка,—см. Ibid.); одно письмо к Ф. Ф. Шуберту (автограф—в архиве Академии Наук СССР), одиннадцать писем к Н. А. Муханову, двенадцать писем к А. А. Наумову и десять писем к А. А. Закревскому (1829—1831), не вошедших в „Сборник Русского исторического общества" (все—в „Сборнике старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина", ч. IX, 1901, стр. 198, 318—348); одно письмо к П. А. Вяземскому от 8 января 1830 г. (Ibid., ч. X, 1902, стр. 433—без указания адресата); одно письмо к И. В. Васильчикову от 12 декабря 1812 г. (в „Русской Старине" 1902, т. III, № 8, стр. 366); два письма к В. А. Жуковскому от 20 ноября и 27 декабря 1829 г. (Ibid., 1903, т. 115, стр. 446—448); три письма к А. С. Пушкину от 2 июня, 10 августа и 13 ноября 1836 г. (в книге И. А. Шляпкина „Из неизданных бумаг А. С. Пушкина", 1903, стр. 236—237, 267—269 и 286; письма эти не были в руках П. А. Вяземского); отрывок из еще одного письма к А. С. Пушкину, 1827 г. (в академическом издании „Переписки Пушкина" под ред. В. И. Саитова, т. II, 1908, стр. 43—44); четыре письма к Н. Н. Похвисневу (1826); пять писем к Н. И. Похвисневу (1826—1831); два письма к А. П. Ермолову (1826—1827) и одно письмо к И. И. Дибичу (1826), в первоначальной редакции опубликованное еще в „Сочинениях" 1860 г. (все—в „Щукинском сборнике", вып. IX, 1910, стр. 322—328); одно письмо к И. В. Васильчикову от 22 декабря 1812 г. (фототипически воспроизведено в „Актах, изданных Виленскою комиссиею для разбора древних актов", т. XXXVII), Вильна, 1912 и наконец тридцать семь писем к П. А. Вяземскому 1811—1837 гг. (в „Старине и Новизне", т. XXII, 1917, стр. 18—71; три письма из помещенных здесь были опубликованы еще в „Рус-

ДЕНИС ДАВЫДОВ
Карандашный эскиз к портрету О. Кипренского
Русский Музей, Ленинград

ском Архиве" 1866 г.; одно письмо, напечатанное в „Сборнике старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина", ч. X, сюда не вошло).

Письма корреспондентов Дениса Давыдова сохранились в ничтожном количестве. Из печатных публикаций нам известны только: одно письмо В. А. Жуковского 1829 г. (впервые в „Библиографических Записках", т. I, 1858, № 7, стбц. 197); одно письмо А. А. Прокоповича-Антонского 1816 г. (в „Сочинениях" 1860 г., т. III, стр. 137); три письма А. П. Ермолова 1819, 1820 и 1821 гг. (в „Чтениях в Обществе истории и древностей российских при Московском университете" 1862, кн. IV. Смесь, стр. 223—228; ср. „Русский Вестник" 1863, т. 43, стр. 314—316, 322—323 и 336); одно письмо В. А. Перовского 1836 г. (в „Русском Архиве" 1879, кн. II, стр. 469—без указания адресата); черновые наброски двух писем А. С. Пушкина 1836 г. (в „Русском Архиве" 1880, кн. III, стр. 228; ср. академическое издание „Переписки Пушкина", т. III, стр. 326 и 355—356) и восемь писем А. А. Закревского 1829—1831 гг. (в книге Н. П. Барсукова „Рукописи археографической комиссии", 1882, стр. 48 и в „Сборнике старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина", ч. IX, 1901, стр. 333—335, 337, 340—341, 343, 347 и 348). Здесь не учитывается нами официальная переписка Давыдова, частично опубликованная в его „Сочинениях" изд. 1860 г. и в книге В. В. Жерве „Партизан-поэт Д. В. Давыдов", 1913.

III. РУКОПИСНОЕ НАСЛЕДИЕ ДЕНИСА ДАВЫДОВА

Богатое рукописное наследие Дениса Давыдова, сосредоточенное преимущественно в его личном архиве, еще ждет своего исследователя и публикатора. Судьба давыдовского архива довольно любопытна. Как известно, Давыдов чрезвычайно ревниво относился к собственной славе и сам много трудился для ее упрочения: „Смотрите же, чур не забыть меня после жизни моей,—писал Давыдов Н. М. Языкову.—Я уже некогда говорил о том Вяземскому, Пушкину и Боратынскому, говорю и вам о том же: напишите тогда общими силами некрологию мою и произведите в свет не пролетный листок для Воейковского „Инвалида", а что-нибудь такое, которое бы осталось надолго. Шутки в сторону и не в похвалу себе сказать, а я этого стою: не как воин и поэт исключительно, но как один из самых поэтических лиц русской армии. Непристойно о себе так говорить, но это правда" [29]. Естественно, что при столь заботливых напоминаниях о собственной некрологии Давыдов крайне бережно относился ко всякого рода документам, касающимся его военной и литературной деятельности. Он не уничтожал, подобно другим русским писателям, свои черновые тетради, свою корреспонденцию, а наоборот, хранил их в полном порядке, сберегая для потомства даже столь второстепенные материалы, как служебные рапорты своих „подкомандующих". К сожалению позже бумаги Давыдова попали в менее бережливые руки.

После смерти Дениса Давыдова бумаги его были переданы вдовой его П. А. Вяземскому „для пересмотра" и через несколько лет возвращены Вяземским старшему сыну Давыдова Василию Денисовичу [30]. Весьма возможно, что Вяземский оставил у себя часть переданных ему бумаг; следовало бы поискать их в обширном Остафьевском архиве князей Вяземских, до настоящего времени не разобранном.

Как уже сказано было выше, еще в 1858 г. третий сын Давыдова Денис Денисович, издатель „Сочинений" 1860 г., обратился через печать ко всем имеющим автографы его отца с просьбою сообщить с них „точные копии". Кое-какие документы были ему присланы, в частности письма Давыдова к Пушкину (от Вяземского). Впоследствии заботы об архиве взял на себя старший сын Давыдова Василий Денисович, который в конце 70-х годов начал „собирать в один сундук все относившееся к личности его отца, из семейных бумаг и библиотек, как он сам говорил, до поры до времени". После смерти В. Д. Давыдова в 80-х годах дело продолжал сын его Денис Васильевич, скончавшийся в 1897 г. Вдова Д. В. Давыдова (2-го) Софья Петровна передала все собранные материалы двоюродному брату покойного мужа Петру Николаевичу Давыдову—предводителю дворянства Хвалынского уезда, Саратовской губернии. В 900-х го-

дах архив находился в саратовском поместьи П. Н. Давыдова—с. Благодатном и здесь в 1904 г. по просьбе владельца был приведен в надлежащий порядок и описан членом-сотрудником петербургского Археологического института М. А. Труновой (опись, составленная ею, не сохранилась, о чем нельзя не пожалеть, так как в ней были учтены многие ценные документы, впоследствии из архива кем-то изъятые). Еще до разбора и описания архива в 1901 г. П. Н. Давыдов предполагал приступить к его изданию, но почему-то отказался от своего проекта. После составления описи М. А. Труновой П. Н. Давыдову удалось получить еще новые материалы, в частности „разные письма" Дениса Давыдова (какие именно—нам неизвестно). Зимой 1907/08 г. П. Н. Давыдов вторично собирался приступить к изданию архива, но вскоре умер, а архив перешел во владение к его вдове Дарье Николаевне, которая в 1910 г. и предоставила архив (по повидимому не целиком, о чем см. ниже) в распоряжение Русского военно-исторического общества с просьбой составить и издать подробную биографию Дениса Давыдова [31]. В 1912 г., в связи со столетней годовщиной „Отечественной" войны, Военно-историческое общество поручило составление биографии своему сочлену В. В. Жерве и открыло ему для этой цели доступ к материалам давыдовского архива.

После революции архив долгое время кочевал по различным учреждениям и архивохранилищам, что разумеется не могло не отразиться на его сохранности, и ныне находится в Военном отделе Ленинградского отделения Центрального исторического архива (фонд № 717).

До нас архив Давыдова дошел к сожалению далеко не в полной сохранности: утрачен целый ряд ценнейших документов, в частности все письма литературных корреспондентов Давыдова. Совершенно точно известно, что с Давыдовым вели оживленную переписку А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский, Н. М. Языков, В. А. Жуковский, А. С. Грибоедов, А. А. Бестужев, М. Н. Загоскин; есть основания предполагать, что писали ему К. Ф. Рылеев, А. Ф. Воейков, В. Л. Пушкин и многие другие литераторы. Между тем ни одного письма перечисленных лиц в архиве Давыдова не обнаружено. Не имеется также и писем от П. Д. Киселева, А. А. Закревского, А. И. Якубовича, П. Д. Горчакова, Н. И. и Н. Н. Похвиснеевых, А. М. Каховского, А. П. Ермолова, Н. А. Муханова, А. В. Бестужева, Г. А Римского-Корсакова, М. Ф. Орлова, Д. Н. Бегичева, Е. Д. Золотаревой и других лиц, несомненно писавших Давыдову часто и много. Не найдено в архиве и писем Вальтер Скотта, о которых сообщает сам Давыдов (в статье „Переписка с Вальтер Скоттом"). Письма Давыдова к Вальтер Скотту также неизвестны, за исключением одного, неотправленного за смертью адресата и переработанного в указанную статью. Весьма возможно, что они сохранились в Англии среди бумаг Вальтер Скотта. Не сохранилась целиком также и семейная переписка Давыдова (нет ни одного письма жены и сыновей, писем же самого Дениса Васильевича к жене и сыновьям уцелело, по нашим догадкам, не больше половины).

Нужно думать, что все эти письма были изъяты из архива еще до передачи его в Военно-историческое общество. Во всяком случае В. В. Жерве, просматривавший архив в 1911—1912 гг., уже их не видел. В то же время трудно предположить, чтобы такие первоклассные материалы, как хотя бы письма Пушкина, Вальтер Скотта, Ермолова и др., были уничтожены или утеряны, тогда как в архиве в идеальном порядке сохранилось множество документов, не имеющих никакой исторической ценности. Именно то обстоятельство, что до нас дошел полностью военно-исторический отдел архива, заставляет предположить, что весь литературный его отдел (за очень немногими исключениями) был удержан потомками Давыдова в своем владении как наиболее ценная часть собрания. Что касается писем Пушкина, то известно, что еще в 1906 г. они хранились в составе архива. Об этом печатно сообщал сам владелец его П. Н. Давыдов, обещавший предоставить пушкинские автографы в распоряжение академической комиссии, подготовлявшей издание сочинений и переписки Пушкина [32]. По самым скромным подсчетам в архиве Давыдова хранилось до десяти неизданных писем Пушкина (также много десятков писем Вяземского, Языкова, Баратынского и др.). Где они в настоящее время—неизвестно.

предпринятые нами розыски пока не увенчались успехом. Может быть их следует искать в симбирских и саратовских архивохранилищах среди бумаг П. Н. Давыдова, если только бумаги эти не погибли в первые годы революции в давыдовских поместьях, расположенных в Симбирской и Саратовской губерниях.

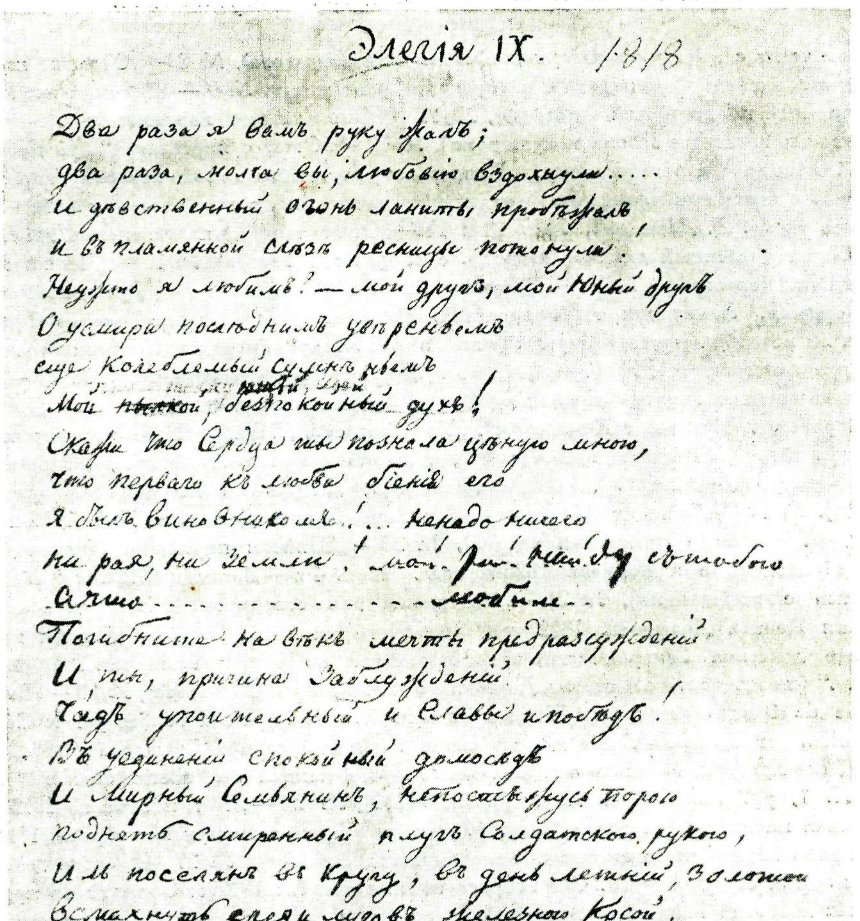
Кроме того из архива исчезло восемь (или девять) тетрадей с материалами по истории русско-польской войны 1831 г. Эта пропажа относится уже к послереволюционным годам; ибо в 1911—1912 гг. указанными материалами пользовался В. В. Жерве.

В настоящее время архив Дениса Давыдова состоит из шестидесяти одной единицы хранения (тетради, переплеты, связки). Не имея возможности в данной статье представить хотя бы сжатый обзор всех материалов архива, ограничимся самым кратким перечнем его содержания, остановившись более подробно на новооткрытых литературных и эпистолярных текстах Давыдова.

Большинство тетрадей, переплетов и связок архива занято материалами, имеющими крупное значение для русской военной истории 1810—1830 гг. Сюда, во-первых, относятся многочисленные документы, связанные с участием Давыдова в кампаниях 1812—1814, 1826—1827 и 1831 гг., и, во-вторых, автографы и авторизованные списки почти всех (в том числе и неизданных) военно-исторических и мемуарных сочинений Давыдова. К этой же группе примыкают собранные Давыдовым материалы для биографий А. В. Суворова, П. И. Багратиона, М. Б. Барклая-де-Толли, А. П. Ермолова и письма младшего сына Дениса Васильевича Вадима к брату его Василию за 1876—1877 гг.

Таковы, например, переплеты: № 1 — „Документы, относящиеся до военной службы Д. В. Давыдова“ (рескрипты Александра I, Николая I, аттестаты, дипломы, рапорты, приказы, разного рода официальные письма Давыдова и к Давыдову, также формулярный список Давыдова), № 10 — „Бумаги, относящиеся до 1812 года“ (официальная переписка, письма: П. И. Багратиона, М. И. Кутузова, М. И. Платова, М. А. Милорадовича и др., между прочим черновые отпуски девяти неизданных писем и донесений Давыдова чисто служебного характера; здесь же полуистлевшая карта Смоленской губернии, по которой Давыдов „партизанил“ в 1812 г.), №№ 26 и 28 — „Выписки повелений Главнокомандующего Светлейшего князя Кутузова-Смоленского по партизанству и рапорты разных лиц“, № 30 — „Бумаги, относящиеся до 1813 года“ (здесь также имеется четыре неизданных официальных письма Давыдова, среди бумаг — записка декабриста С. Г. Волконского), № 33 — „Входящий журнал по отряду Генерал-Майора и Кавалера Давыдова“ (1826 г.), № 34 — „Тетрадь для записывания приказов по отряду Давыдова“ (1826 г.), № 35 — „Рапорты Генерал-Майору Давыдову от разных лиц за 1826 год“, № 36 — „Журнал Персидской войны“ (1826—1827 гг.), №№ 43—48 — „Материалы о польской кампании 1831 года“ (рапорты, приказы, реляции, диспозиции, журнал входящих бумаг по отряду Давыдова). Из материалов, собранных Давыдовым, отметим: № 25 — „Изображение военных действий 1-й Армии в 1812 году. Высочайший доклад Барклая-де-Толли“ (здесь же краткая биография Барклая), № 29 — „Сведения о Генерале от Инфантерии Князе Багратионе“, № 38 — „Материалы об Ермолове“ (здесь — неизданные заметки Давыдова об Ермолове), № 60 — „Копии писем Князя Суворова-Рымникского“; из позднейших материалов: № 59 — „Немцы и Дунай“ (рукопись неизвестного автора, может быть одного из сыновей Давыдова, относящаяся к 1854 г.) и № 62 — „Письма Вадима Денисовича Давыдова к брату Василию Денисовичу“ (1876—1877).

Прозаические сочинения Дениса Давыдова представлены в архиве большим количеством рукописей. Сюда относятся тетради: № 2 — „Материалы для современной Военной Истории 1807-го года: а) Встреча с фельдмаршалом графом Каменским, б) Тильзит в 1807 году“ (*писарская копия с поправками автора*), № 3 — „Урок сорванцу, 1807 г. — Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау, 1807 г. — Разбор трех статей, помещенных в Записках Наполеона“ (также писарская копия с авторскими ремарками), № 4 — „Дневник поисков партизана Д. Давыдова, 1814 г.“ (черновой автограф), № 5 — „Дневник партизанских действий 1812 года“ (список с поправками автора; встречаются существенно важные поправки и дополнения), № 6 — „1812-й Год“ (список с поправками автора, последние страницы — черновой автограф), № 7 — „1812-й Год“ (перебеленный



Элегія IX. 1818

Два раза я вамъ руку жалъ;
два раза, молча вы, любовію вздохнули....
И дѣвственный огонь ланиты пробѣгалъ
и въ пламенной слезѣ рѣсницы потонули!
Неужто я любимъ? — мой другъ, мой юный другъ
О усмири послѣднимъ увѣреньемъ
сей колеблемый сумнѣньемъ
Мой ~~пылкой~~, безпокойный духъ!
Скажи что сердца ты познала цѣнную мною,
что перваго къ любви біенія его
я былъ виновникомъ!... ненадо ничего
ни рая, ни земли! мой рай вездѣ съ тобою
А что .... любимъ ...
Погибните на вѣкъ мечты предразсужденій
И ты, причина заблужденій
Чадъ упоительный и славы и побѣдъ!
Въ уединеньи спокойный домосѣдъ
И мирный семьянинъ, непостыжусь порою
поднять смиренный плугъ солдатскою рукою,
Иль поселянъ въ кругу, въ день лѣтній, золотой
Всмахнуть среди луговъ желѣзною косой.
Но съ кѣмъ сравню себя какъ въ полѣ утомленный
Я возвращусь подъ кровъ дубами осѣненный,
Увижу юную подругу предъ собой
Съ плодами зрѣлыми, съ водою ключевой
И съ сокомъ пѣнистымъ Донскаго винограда,
Когда вечерній часъ — трудовъ отрада
На ложѣ радости ....

[illegible]
Но сбудится ль когда мечтаемое мною?
Иль я опредѣленъ въ мечтательной жизни сей
неслышать отзыва нигдѣ души моей!

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ДЕНИСА ДАВЫДОВА «ЭЛЕГИЯ IX»
Ленинградское отделение Центрархива

писарем текст с многочисленными исправлениями Давыдова), № 8 — „Отрывки из партизанского дневника" (список с авторскими ремарками), № 9 — „Дневник поисков и набегов, 1814 г." (черновой автограф), № 11 — „Опыт теории партизанских действий", (список с поправками автора и купюрами), № 12 — „Опыт о партизанах" (то же, с запиской Давыдова к неизвестному: „Поправь эту тетрадь по той, которая поправлена Жуковским красными чернилами и отдай последнюю мне, а эту оставь у себя — если тебе все равно. Д. Давыдов"), №№ 13 и 14 — „Опыт теории партизанских действий" (текст, подготовленный для 3-го издания, с поправками автора), № 15 — „Черновые листы Опыта" (автограф), № 16 — „Воспоминание о Кульневе. Занятие Дрездена. Встреча с Суворовым. Замечания на некрологию Раевского. Переписка с Вальтер Скоттом. Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году" (парадный список с редкими исправлениями автора), № 17 — „Письмо к Вальтер Скотту" (черновики), № 18 — „Отрывки из военных записок Дениса Давыдова" (парадный список; сюда вошли: „Встреча с Суворовым", „Встреча с Каменским", „Урок повесе", „Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау", „Тильзит в 1807 году", „Воспоминание о Кульневе", „Отрывки из Партизанского Дневника", „Занятие Дрездена", „Мороз ли истребил французскую армию"), № 19 — „Записки (Дневник) партизана Дениса Давыдова. № 1. 1812-й год" (парадный список с пометками автора), № 20 — „Записки партизана Дениса Давыдова. Приведенные в порядок 1828-го года. Часть 4-я — Записки 1812 года" (беловая рукопись с поправками), № 21 — „Материалы для современной Военной Истории. Записки Дениса Давыдова. 1812 год" (беловая рукопись), № 22 — „Взгляд на отдельные действия Генерал-адъютанта Чернышева во время кампании 1812, 1813 и 1814 гг." (неизданная статья Давыдова с замечаниями Сабанеева), № 23 — „Examen critique de trois articles inserés dans les Mémoires de Napoleon publiés par le Général Montholon, par Denis Davidoff" (французский перевод брошюры Давыдова „Разбор трех статей, помещенных в Записках Наполеона", напечатанный в „Bulletin du Nord" 1828, t. I, № 1, pp. 145—158 и № 3, pp. 257—279), № 24 — „Три письма на 1812 года кампанию, писанные русским офицером, убитым в сражении при Монмартре, 1814 года" (статья неизвестного автора с замечаниями Давыдова), № 27 — „Разбор действий наших армий от Смоленска. Общие рассуждения о войне 1812 г. Отрывки из журнала военных действий Главнокомандующего Кутузова в связи с действиями партизанов и проч." (здесь же отрывки из неизданного военного дневника Давыдова), № 31 — „Военные заметки 1814 г., в Париже" (черновые автографы неоконченных статей, „Опыт теории партизанского действия", разного рода выписки, замечания, справки, денежные расчеты, медицинские рецепты, рисунки, также черновики некоторых писем и стихотворений. См. ниже), № 32 — „Воспоминания, Документы и Материалы, собранные во время поездки моей в Грузию, в годах 1826-м и 1827-м" (черновой автограф статьи „Воспоминания о 1826 г." с многочисленными купюрами, сделанными сыновьями Давыдова; здесь между прочим обширные цитаты из писем Давыдова к жене от 1826 г.), № 37 — „Записки о Кавказе" (неизданная рукопись Давыдова), №№ 39—42 и 50 — „Воспоминания о польской войне 1831 года", „Записки о польских событиях 1831 г.", „Описание похода корпуса генерала Ридигера против польских мятежников", „Материалы для современной военной истории. Записки Д. В. Давыдова о 1831 годе" (писарские списки с поправками автора, купюрами и вариантами; также текст, подготовленный к печати в 1871 г. сыном Давыдова Василием Денисовичем, с письмом его в редакцию „Русской Старины"), № 58 — „Замечания об Индии" (неизданная рукопись Давыдова повидимому конца 20-х годов, содержащая географический и историко-этнографический очерк Индии; здесь же „Описание берега Черного моря от Константинополя до Требизонда" и „ Исчисление русских войск в кампанию 1831 г."). Тетради и связки №№ 49 51—57 — с материалами по истории польской кампании 1831 г. — утрачены.

Богатый рукописный фонд прозаических сочинений Дениса Давыдова должен быть подвергнут детальному текстологическому изучению. Рукописи не только содержат десятки неизвестных доселе страниц, но и буквально испещрены поправками, внесенными сыновьями автора. Этот „исправленный", а в иных случаях и искаженный до неузнаваемости текст перепечатан во всех изданиях сочинений Давыдова.

Вторую группу материалов составляют автографы и авторизованные списки поэтических произведений Давыдова, сосредоточенные в тетрадях №№ 31, 63 и 69 (к ним примыкает тетрадь № 64, куда Давыдов переписал все стихотворения, посвященные ему).

Наибольшее из них значение имеет переплетенная в зеленый сафьян тетрадь № 63. На первом листке выписано заглавие: „Договор. Элегия, и мелкие стихотворения Дениса Давыдова" и эпиграф из Мильвуа: „... et mon coeur et ma vie — tout est là!" Здесь рукой Давыдова записано т р и д ц а т ь с е м ь его стихотворений и набросков. Расположение пьес и изменения почерка заставляют предположить, что заполнялась эта тетрадь в разное время (но не ранее 30-х годов). Открывается она самым крупным поэтическим произведением Давыдова — элегией „Договоры" (1807). Далее шли подряд девять „Элегий" (1814—1818), перебиваемые стихотворением „И моя звездочка" (1818); элегии VI и VIII из тетради были вырваны и сквозная нумерация соответственным образом изменена (таким образом сохранилось в тетради только семь элегий). Далее идут стихотворения разных годов, а заключается тетрадь „Челобитной" (1836). Повидимому Давыдов предполагал составить рукописное собрание всех своих произведений в определенном порядке — жанровом и хронологическом, — но впоследствии оставил это намерение и начал записывать в тетрадь новые стихотворения (30-х годов). Почти все стихотворения, переписанные Давыдовым набело, носят следы дальнейших исправлений, а в иных случаях кардинальной переработки („Договоры").

Столь же крупное значение для редактора поэтического наследия Давыдова имеет тетрадь № 69, куда в 1836—1837 гг. Давыдов переписал стихотворения, предназначенные для задуманного им нового издания своих сочинений. На обложке тетради рукой Давыдова сделана карандашная надпись: „ 21 п ь е с а. Для прибавления к тем, которые находятся в первом издании". Здесь же позднейшая запись рукою сына Давыдова Дениса Денисовича: „Все сии стихотворения, как кажется, проданы уже Смирдину, однакожь надобно справиться. 30 мая 1840". К сожалению сохранились не все листы тетради: в ней только с е м н а д ц а т ь стихотворений; порядок их не соответствует расположению пьес в издании 1840 г. Здесь же находится черновой прозаический текст Давыдова „Покорность к Провидению" (начало „восточной" сказки; повидимому 10-х годов).

Наконец в тетради № 31 („Военные Заметки 1814 г."), заполнявшейся во время заграничного похода во Франции, обнаружено несколько ценных стихотворных автографов Давыдова.

Во всех трех указанных тетрадях встречаются неизвестные доселе стихотворения и наброски Дениса Давыдова. Так, например, в тетради № 63 имеется два вполне законченных новых стихотворения, написанных очевидно во вторую половину 30-х годов. Приведем их полностью.

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН.

В е ч е р н и й з в о н, в е ч е р н и й з в о н, —
К а к м н о г о д у м н а в о д и т о н!
Не тот, что на закате дня
Гудит в стенах монастыря,
Но тот, что пасмурной порой
Поется девой молодой...
В е ч е р н и й з в о н, в е ч е р н и й з в о н, —
Как много дум наводит он!

Как он мучителен и мил!
Как он мне чувства возмутил,
Когда впервые звук его
Коснулся слуха моего!..
То был не звук, но глас страстей,
То говор был с душой моей!

Вечерний звон, вечерний звон, —
Как много дум наводит он!

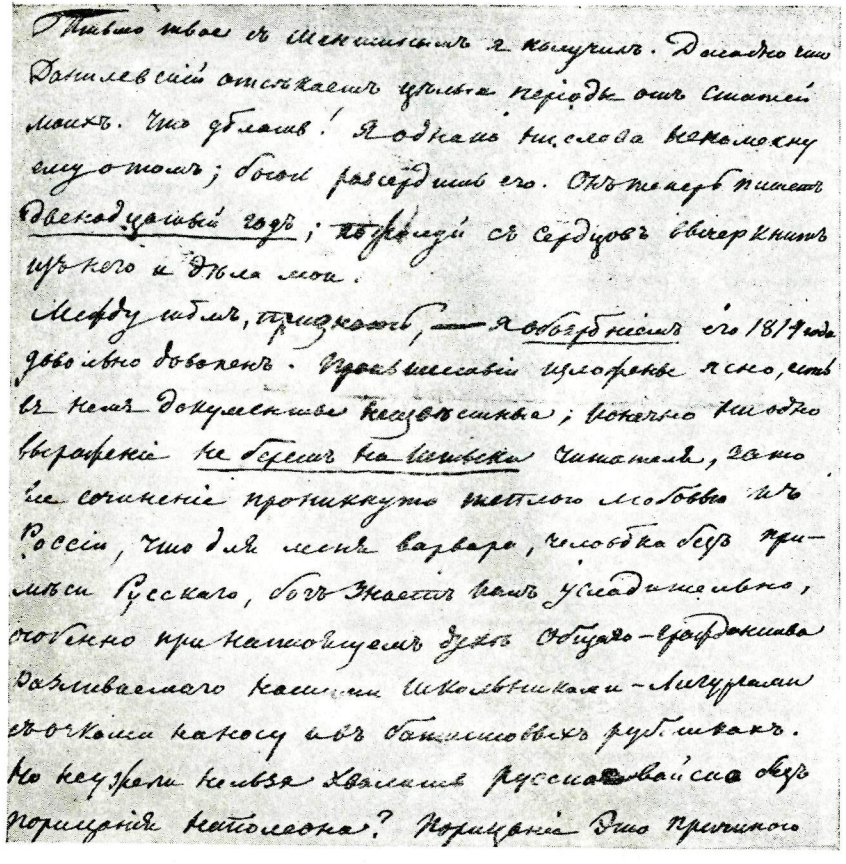
Все вторило в природе Ей:
Луна средь облачных зыбей,
Пустыня в сумрачной тиши,
И ропот девственной души,
Терзаемой любви тоской —
И очи, полные слезой!..
Вечерний звон, вечерний звон, —
Как много дум наводит он! [33]

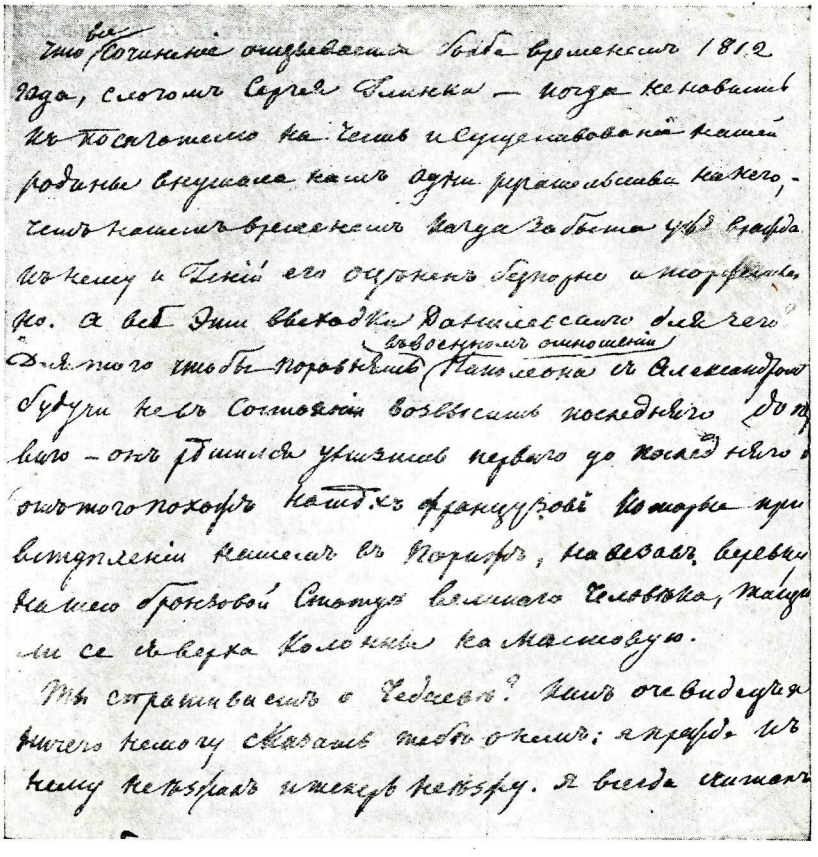
МАША и МИША.
Шутка.

Как интересна наша Маша!
Как исстрадалася по Мише!
Но отчего же ехать к Маше
Так медлит долговязый Миша?
Быть может, занимаясь Машей,
На Сахарном заводе Миша
Готовит карамельки Маше, —
Но станется и то, что Миша
Забыл о нашей бедной Маше.
И, может быть, неверный Миша
Целует уж другую Машу,
Вы знаете какую, — Миша!
Опомнись, Миша! — наша Маша
Жива лишь памятью о Мише,
А новая красотка Маша
Грызет одни конфеты Миши —
В провинциях, где нынче Миша; —
И в ус не дует эта Маша,
Что слаще их лобзанья Миши!
Когда, когда же к нашей Маше
Ты возвратишься, длинный Миша,
И сквозь очки увидишь Машу —
Глядящею в лорнет на Мишу?.. [34]

В той же тетради находим неизданную „Элегию IX“, не вполне законченную:

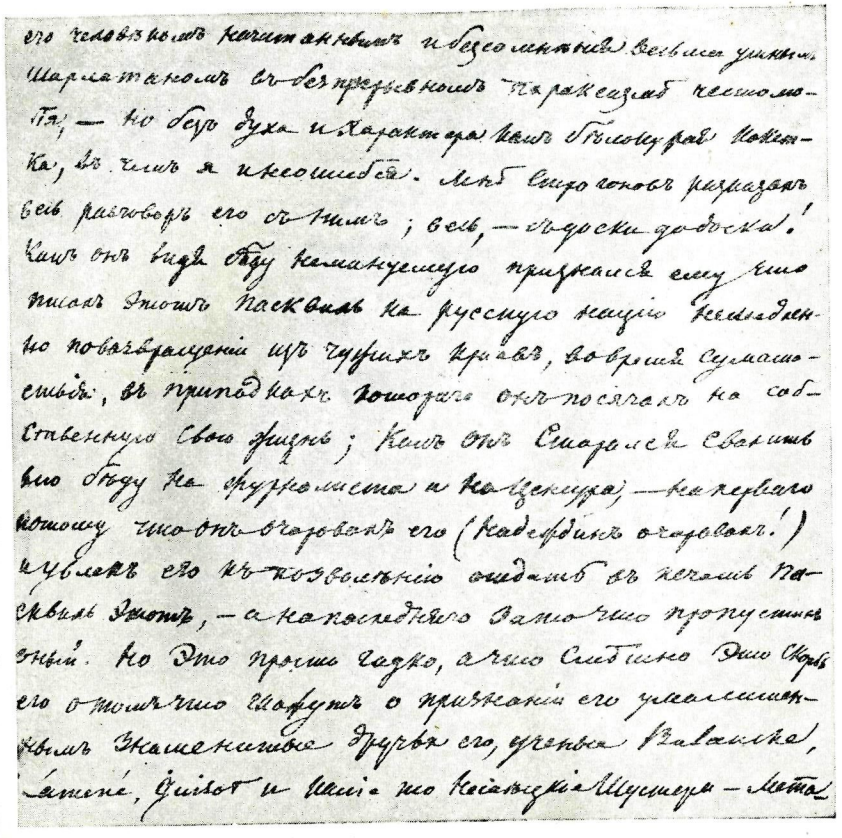
Два раза я вам руку жал;
Два раза молча вы любовию вздохнули...
И девственный огонь ланиты пробежал
И в пламенной слезе ресницы потонули!
Неужто я любим? — Мой друг, мой юный друг,
О, усмири последним увереньем
Еще колеблемый сомненьем
Мой пылкой, беспокойной дух!
Скажи, что сердца ты познала цену мною,
Что первого к любви биения его
Я был виновником!.. Не надо ничего —
Ни рая, ни земли! Мой рай найду с тобою.
А что——————любим...
Погибните навек мечты предрассуждений
И ты, причина заблуждений,
Чад упоительный и славы и побед!

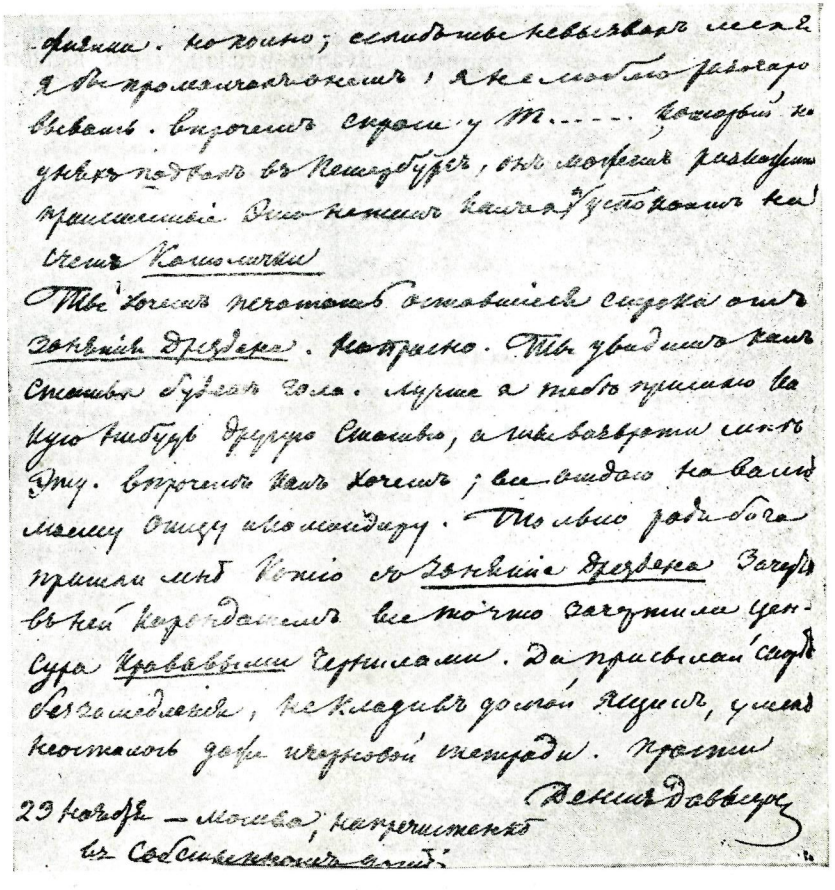




ПИСЬМО ДЕНИСА ДАВЫДОВА К ПУШКИНУ ОТ 23 НОЯБРЯ 1836 г. ПЕРВАЯ—ВТОРАЯ СТРАНИЦЫ

Ленинградское отделение Центрархива





ПИСЬМО ДЕНИСА ДАВЫДОВА К ПУШКИНУ ОТ 23 НОЯБРЯ 1836 г. ТРЕТЬЯ—ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦЫ

Ленинградское отделение Центрархива

В уединении спокойный домосед
И мирный семьянин, не постыжусь порою
Поднять смиренный плуг солдатскою рукою,
Иль, поселян в кругу, в день летний, золотой
Взмахнуть среди лугов железною косой.
Но с кем сравню себя, как в поле утомленный,
Я возвращусь под кров, дубами осененный,
Увижу юную подругу пред собой
С плодами зрелыми, с водою ключевой
И с соком пенистым Донского винограда.
Когда вечерние часы — трудов отрада
На ложе радости . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Я часто говорю, печальный, сам с собою,
О, сбудется ль когда мечтаемое мною?
Иль я определен в мятежной жизни сей
Не слышать отзыва нигде душе моей! [35]

Там же отрывок (начало) стихотворения

1811-го ГОДА.

Толстой молчит! — неужто пьян?
Неужто вновь закуралесил?
Нет, мой любезный грубиян
Туза бы Дризену отвесил.
Давно б о Дризене читал:
И б и т ы й и с к л ю ч е н и з с п и с к о в —
Так видно он не получал
Толстого ловких зубочистков.
Так видно, мой Толстой не пьян
. . . . . [36]

В тетради № 31 Давыдов набросал начало песни об Ахтырских гусарах, которыми он командовал в походе 1814—1815 гг.:

Ахтырские Гусары,
О, храбрые друзья!
Простите! — на удары
И бранные пожары
Ходить не буду я!
Довольно пламень ярый
. . . . . .
Вот кивер мой
Примите от меня.
. . . . . .

Вероятно Давыдов сочинил эти стихи, когда оставил командование Ахтырским полком.

Там же находится не вполне обработанное четверостишие:

К МОЕЙ ПУСТЫНЕ.

Пустыня тихая, сует уединенна,
В тебе я позабыл все горести мои!
Но будь ты на холмах А и, —
Тогда была бы совершенна!

написанное во время заграничного похода 1814 г., и наброски послания к В. А. Жуковскому (очевидно в ответ на известную строфу о Давыдове в „Певце во стане русских воинов“):

Жуковской, милой друг! Долг красен платежом:
Я прочитал стихи, тобой мне посвященны;
Теперь прочти мои, биваком окуренны
И спрысканы вином!
Давно я не болтал ни с Музой, ни с тобою,
До стоп ли было мне?..
———————————————————
Но и в грозах войны, еще на поле бранном,
Когда погас Российский стан,
Тебя приветствовал с огромнейшим стаканом
Кочующий в степях нахальный Партизан!

Заодно сообщим двустишие Давыдова, обнаруженное в неизданном письме его к Н. В. Шимановскому от 7 декабря 1830 г., где читаем: „Ты знаешь уже, что в Варшаве суматоха и верно будет стукотня, я на сей раз пишу графу Чернышеву [военному министру. — *В. О.*], чтобы он походатайствовал мне быть употребленным. Мочи нет, как хочется побить эту польскую каналью, в честь которой я написал это двухстишие, которое должно быть им памятно:

Поляки, с Русскими вы не вступайте в схватку:
Мы вас глотнем в Литве, а в< . . . . . >м в Камчатку“ [37].

Кроме того сохранившиеся автографы стихотворений Давыдова дают возможность восполнить цензурные и авторские купюры, учесть существенно важные варианты и разночтения, а также освободить текст от многочисленных искажений, описок переписчиков и типографских опечаток, нарушающих в иных случаях самый смысл стихотворения. Так например, в басне „Река и Зеркало“ последние четыре стиха печатались в таком маловразумительном виде:

Монарха речь сия так сильно убедила,
Что он велел ему и жизнь, и волю
Постойте, виноват! — велел... сослать,
А то бы эта быль на басню походила.

В действительности же строфа эта под пером Давыдова имела не только грамматическую и рифмическую стройность, но и „русский адрес“, в значительной степени углубляющий ее политический смысл:

Монарха речь сия так сильно убедила,
Что он велел ему и жизнь, и волю д а т ь...
Постойте, виноват! — велел в С и б и р ь сослать,
А то бы эта быль на басню походила.

В известном послании Бурцову („Бурцов, ёра, забияка“) третий стих, как выясняется, печатался в цензурованной редакции:

Ради рома и... арака,

— тогда как Давыдов писал:

Ради б о г а и... арака.

В элегии „Договоры“ во всех печатных ее редакциях пропущенным оказался целый стих (148-й):

Могу ли быть тебе несносен от того,

благодаря чему нарушалась рифмовка и терялся смысл строфы.

Одну из „Эпиграмм" печатали в такой бессмысленной редакции:

Остра твоя, конечно, шутка,
Но мне прискорбно видеть в ней
Несчастье твоего рассудка
И счастье памяти твоей,

тогда как Давыдов писал:

Не счастье твоего рассудка,
А счастье памяти твоей.

В послании „Другу-повесе" печатали:

И важных Муз пеньё,
С Харитами житье,

а нужно печатать:

И важных Муз синклит
И троица Харит.

Там же, в стихе „Меж радостей небесных", последнее слово обычно заменялось: „чудесных".

„Элегия IV" печаталась с пропуском семи стихов и с грубыми ошибками. В стихотворении „После разлуки" последние три стиха печатались так:

Гуляющий на вале сорванец —
Встречается солдат-беглец
С своим суровым капитаном,

тогда как Давыдов писал:

Гуляющий на воле удалец —
Встречается солдат-беглец
С своим безбожным капитаном.

В „Речке" вместо „Как херувима сновиденье" печаталось всюду „Как непорочно сновиденье", потому что сравнивать любимую женщину с ангелом цензурой не разрешалось.

В „Челобитной" стихи: „И сенатор, и делец" и „Полицейской саранчи" были заменены цензурой на „Озабоченный делец" и „Благочиний саранчи".

Особый интерес вызывает авторизованный список знаменитой „Современной песни". Как известно, в этой сатире Давыдовым был осмеян ряд видных представителей московского общества середины 30-х годов. Современники безошибочно угадывали, кого именно имел в виду автор „Песни". К сожалению до настоящего времени не удалось установить, кто именно скрывается за образами „сухого паука-длинного лазарони", „плюгавого жука", „комара, студента хромого, в кучерской прическе" (это может быть В. Г. Белинский), „мурашки-филантропа" и др. Известно было только, что в лице „утописта-идеолога", „духовника старых барынь", „маленького аббатика" Давыдовым выведен П. Я. Чаадаев, а вообще „Современная песня" имела в виду круг москвичей, собиравшихся в салоне Е. Г. Левашевой. Авторизованный список „Песни" (тетрадь № 69) позволяет раскрыть еще одно зашифрованное имя: вместо стиха „И Иван Иваныч клоп" здесь стоит:

И Филипп Филиппыч клоп,
Муж.... женоподобный.

Здесь имеется в виду известный Ф. Ф. Вигель.

В архиве сохранилась также первая редакция перевода стихотворения Арно „Листок", настолько отличающаяся от общеизвестной, что имеет смысл привести ее целиком:

Листок от стебля отлученный
И ветром яростным влеченный,
Куда несешься средь степей? —
Как знать мне! Вихря грозна сила
Могучий дуб переломила —
Защиту слабости моей;
С тех пор, игралище Эола,
Кружусь печально среди дола,
Несусь с горы на бурный ток;
Несусь, куда несет суровой
Всему неизбежимый рок;
Куда летит и лист лавровой,
Летит и розовой листок.

К собранию стихотворных автографов Давыдова примыкает тетрадь № 64, на первом листе которой рукою автора выписано следующее заглавие: „Собрание стихов и прозы мне и обо мне писанных. — Переписанное рукой моею, для сыновей моих Васи, Николеньки, Дениса, Ахилла и Вадима". Здесь кроме выписок из различных русских и французских сочинений, официальных писем, рескриптов и аттестатов переписано двадцать стихотворений, посвященных Давыдову (Арно, Пушкина, Языкова, Вяземского, Ф. Толстого, Жуковского, Баратынского, Зайцевского, Воейкова, Алексея Бестужева, Ф. Глинки и Стромилова).

В тетради № 61 собраны „Бумаги разного содержания и времени"; здесь, среди копий со всевозможных документов, находятся биографические (словарного типа) заметки Давыдова о Бензераде и Беннигсене, неоконченная черновая рукопись „Рассуждение о войне с турками, 1769 г.", замечания по поводу французского сочинения ген. Водонкура об адмирале Чичагове и интересная неизданная рукопись (черновой автограф) „Письма о военном поселении". Рукопись эту Давыдов предполагал в 1822 г. напечатать анонимно, о чем свидетельствует черновик его письма к А. Ф. Воейкову:

М. Г. Александр Федоровичь!

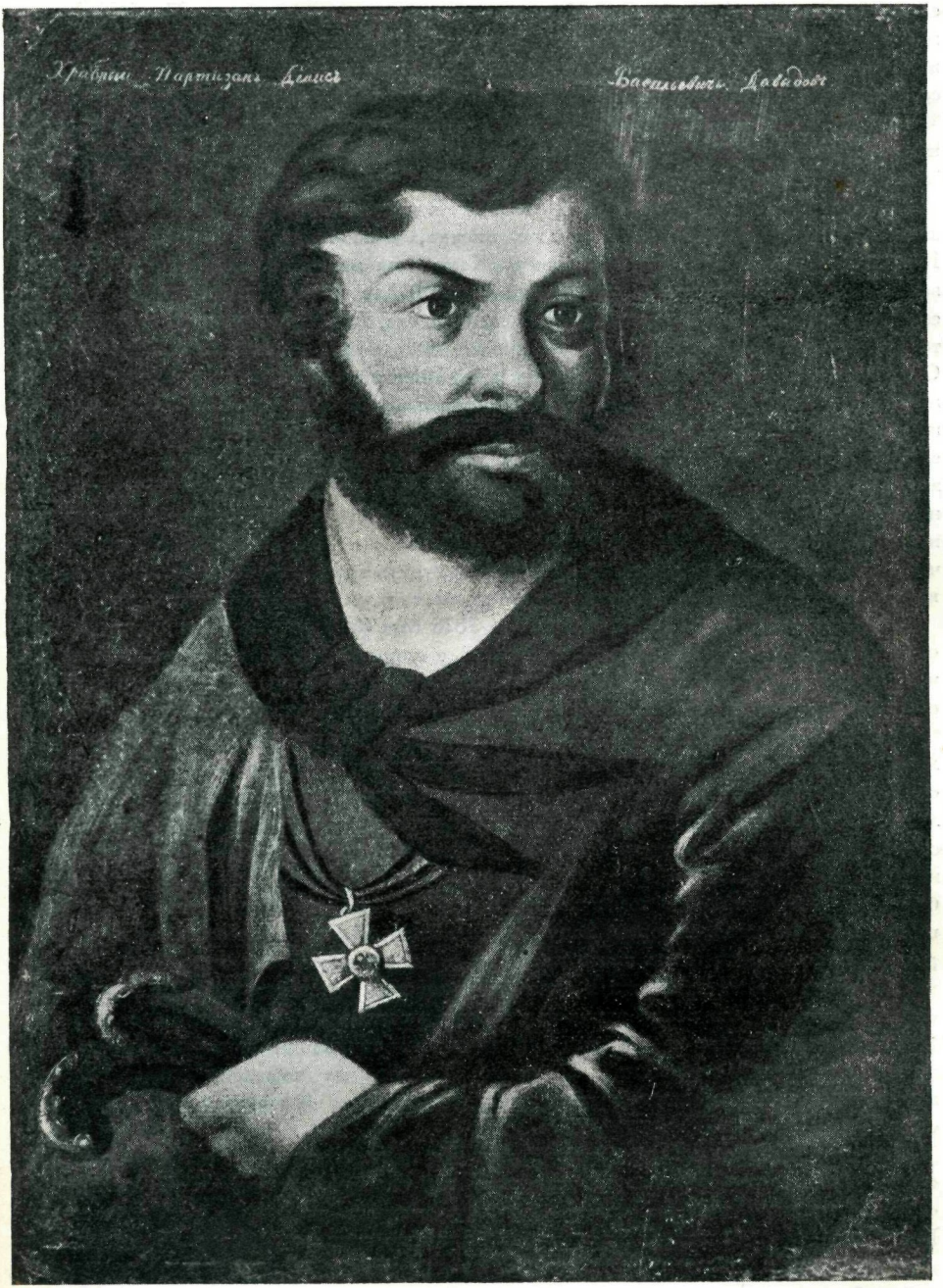
Разные вздорные и неприятные слухи, распространенные повсюду о военных поселениях, побудили меня изъяснить, сколько от меня зависело, существующую цель и правила, на коих оные устраиваются, равно пользу, которая от сего учреждения произойтить может; я старался также по возможности опровергнуть неосновательность многих суждений о сем установлении. Сочинение мое в виде писем, при сем имею честь препроводить с покорнейшею просьбою поместить оное в Русском Инвалиде, журнал сей известен более прочих и в особенности военным, которым одним прежде, другим после, но всем предстоит служить в сих поселениях. Предоставляю вам полное право располагать рукописью по собственной воле. Ежели вам угодно будет напечатать письма сии особенною книжкою, и вырученные от продажи деньги обратить в пользу какого-нибудь бедного инвалида...

Я ничего не ищу, ничего не хочу, кроме общей пользы, которая, как мне кажется, от объявления к общему сведению настоящей цели военных поселений произойтить может. — Не нахожу нужным подписывать мою фамилию, я мог бы скрыть ее под каким-нибудь вымышленным именем, но и ето почитаю излишним, еще повторяю, что предаю сочинение мое в полное и непосредственное ваше распоряжение. Располагайте, как вам угодно".

. . . . . .

Письмо помечено: „С. Якшино. Августа 2-го дня 1822-го года" [38].

В этой же тетради находится между прочим „Письмо Жуковского к отцу Пушкина" (известный рассказ о дуэли и смерти Пушкина) с приложением плана пушкинской



«ХРАБРЫЙ ПАРТИЗАН ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ ДАВЫДОВ»
Лубочный портрет маслом
Исторический Музей, Москва

квартиры и записки Николая I („1. Заплатить долги..." и т. д.) и „Записка Даля о последних часах А. С. Пушкина". И то, и другое в писарских копиях. Подобная же копия с так называемого „Письма Вяземского к А. Я. Булгакову" (о смерти Пушкина, — впервые появилось в „Русском Архиве" 1879, № 6) находится в тетради № 68. Адресатом письма здесь назван не Булгаков, а Д. В. Давыдов [39].

Третью группу материалов в архиве Давыдова составляет его переписка, сохранившаяся частью в оригиналах, частью в копиях (переплеты №№ 65, 66, 67 и 68). Большинство неизданных писем Давыдова адресовано к жене (1818—1838) и старшим сыновьям Василию и Николаю (1837—1839). Из писем Давыдова к жене сохранилось далеко не все; утрачены все р а н н и е письма, за исключением одного (из Киева, от 1821 г.), в котором Давыдов сообщает о „Каменских жителях". Приведем из него отрывок: „Приехали сюда Александр Львович, Василий Львович [Давыдовы] и [С. Г.] Волконской, [М. Ф.] Орлова с женою ждут с часа на час, Аглаю [Давыдову] с детьми ждут также сегодня вечером. Я обедал у Николая Николаевича Раевского... Какая жалость! Слух носится, что будто бы Князь Александр Ипсиланти, будучи не в состоянии снести несчастие быть праздным тогда как его соотечественники сражаются за свободу Греции, принял яду. Однако эта новость требует подтверждения. Николай Николаевич Раевский переменил дом и живет в прекраснейшем, подлинно в барском доме. У него готовятся вечера попрежнему, здесь множество съехалось артистов и уже начались споры насчет протекции, тот того протежирует, а тот другова. Я намерен провести здесь время как прошлого года, т. е. ездить каждый вечер к Николаю Николаевичу на полчаса, а там воротиться домой, писать к тебе, курить трубку и болтать с Васильем Львовичем, который неисчерпаемый источник веселости, ума и прекрасных чувств".

В черновых тетрадях „Воспоминаний о 1826 годе" Денис Давыдов приводит много отрывков из своих писем к жене, писанных с дороги на Кавказ (самые письма утрачены). Письма эти (как впрочем и вся остальная семейная переписка) неожиданно рисуют Давыдова в высшей степени сантиментальным и даже плаксивым человеком. Огромные письма-дневники целиком заполнены изъявлениями „тоски", „печали по милым" и проч. В черновой рукописи „Воспоминаний" Давыдов следующим образом объясняет включение в статью своих интимных писем: „В то время Москва кипела миллионом людей, прибывших из отдаленнейших краев России, праздники, балы, спектакли, собрания разного рода влекли толпы от радости к радости, от забавы к забаве, каждый встречался с людьми, — а я скакал от шума чаш к шуму оружия. — Лишнее было бы более распространяться о тоске моей в течение всей дороги, но так как я пишу не для публики, а для детей, которым хочу показать себя, в моральном смысле, к а к м а т ь р о д и л а, то и выписываю нечто из писем к жене моей, а их матери. Там они увидят часть того, что в течение пути я видел и чувствовал: пусть они познают сколько честь служить отечеству на войне тяжка для человека семейного, любящего свое семейство. Старший сын извлечет из сей книги и из других сочинений моих ум и душу мою и познакомит меня с меньшими". Сыновья Давыдова не пожелали однако разрушать канонизированный традицией образ „певца-гусара" и исключили письма из текста статьи.

Приведем для образца одну цитату: „Милый друг, бесценный друг! ты видела, что бросаясь в коляску я не мог отвечать тебе ни голосом, ни словами. Одни слезы мои отвечали твоим слезам. Дай бог возвратиться, никогда не решусь уже тебя оставить. Бог с ней — и со славой, и с почестями, ничего не хочу кроме тебя!.. Боже мой! с каким восторгом я полечу обратно к тебе, мой милый друг. Теперь всякой коляске, всякой кибитке, всякому прохожему, мне встречающимся, я завидую. Что бы я дал, чтобы иметь право воротить оглобли и явиться к тебе в Мышецкое!" (Письмо от 14 августа 1826 г. из Подольска.)

Из Тулы (16 августа) Давыдов пишет: „Паскевич только что нынче в ночь выехал из Тулы, я может быть догоню его, а Грибоедова верно перегоню, — ибо мне теперь товарищи дорожные не нужны, напротив они свяжут меня—я при них должен быть не я, а другой, теперь же я сам с собою, я то что есть".

Грибоедова Давыдов нагнал только 28 августа, уже на Кавказе, и дальше продолжал

путь с ним вместе. В печатном тексте „Воспоминаний" (по изд. 1893 г., т. II, стр. 195) суждение Грибоедова о Паскевиче передано неверно: сыновья Давыдова изменили текст, выбросив резкости по адресу Паскевича. В рукописи этот абзац читается так: „Он [Н. В. Шимановский . — *В. О.*] нам сказывал, что Ермолов хотя и видел в нем [Паскевиче. — *В. О.*] надзорщика, но принял его весьма ласково — тогда Грибоедов сказал: „как вы хотите чтоб етот дурак взял преимущество над умнейшим в России человеком — верьте, что тем кончится, что наш его проведет, и что Паскевич; приехав сюда впопыхах, уедит со срамом!" Сколь он обманулся в пророчестве своем, столько мы, в последствии, обманулись в Грибоедове!.." (В печатном тексте фамилия Шимановского обозначена только первой буквой.)

Из остальных писем мы узнаем точный маршрут путешествия Давыдова и Грибоедова; между прочим „от Гут-Горы на 7-й версте" путешественники „догнали батальон гвардейцев, сосланных на службу в Грузию за бунт 14 декабря 1825-го года. Ими командовал Подполковник Махов, человек без образования, но весьма неглупой и ловкой". Интересен рассказ о первой встрече с Ермоловым: „Грибоедов, ехавший верхом в скок и рысью, обогнал меня и явился к Ермолову прежде меня. Ермолов любил его очень, к тому же ето было первое их свидание после увоза фельдъегерем и заточения его в Петербурге по делу 14 декабря. Итак Грибоедов был принят, как брат родной. Со мной было иначе: Ермолов хотя всегда любил меня и несколько раз просил под свою команду, но теперь огорченный письмами, повелениями и даже запросами высшего начальства, и видя меня присланным без его согласия на службу в его корпус почти вместе с Паскевичем, который видимо прислан был в досаду ему — он принял меня хорошо, но не с тем дружелюбием, как принимал меня прежде... Мы обедали однако втроем и целый день никого в беседу к себе не принимали: к концу дня откровенность заменила недоверчивость, и старинная ласка — холодность приема. Тут Ермолов рассказывал нам, что он уже два года тому назад предвидел вторжения персиан и показывал донесения свои покойному императору и Нессельроду, в коих он ежегодно по нескольку раз остерегает их на сей счет и просит о приготовлении продовольствия в Астрахани и в Баке, по той причине, что во время войны число войск должно будет умножиться в Грузии, и что Грузия не в состоянии будет пропитать то число войск, которому необходимо будет собраться в сей области. На сие в ответ были уверения, что Шах не помышляет о войне, а что она в мыслях одного Ермолова, потому что он желает ее, и что снабжение запасами Астрахани и Баки возбудит в Персии опасение, которое скорее может причинить подъятие оружия против нас, нежели спокойное наше положение..."

Богатый и не лишенный интереса материал по истории польской кампании 1831 г. заключается в с о р о к а с е м и письмах Давыдова к жене от февраля—сентября 1831 г. (переплет № 65).

Т р и д ц а т ь п я т ь писем к жене, писанных во время поездок в Москву и Петербург (в 1833, 1836, 1837 и 1838 гг.), сохранившиеся в автографах и в копиях (переплет № 66, тетрадь № 67), имеют важное биографическое значение и содержат много любопытных данных о различных событиях столичной общественной и литературной жизни. Подробно сообщает Давыдов о встречах с старыми друзьями и о новых знакомствах. „Орлова [Михаила Федоровича] дом можно сказать есть первый дом здесь, — пишет о из Москвы в январе 1833 г., — и все стараются туда попасть, делая, — как то делают в Москве в подобном случае, всевозможные подлости. К[атерина] Н[иколаевна] Орлова вообще очень любима, pour la manière de recevoir pour les provenances и пр. и точно, я вчера видел, что она принимает очень благородно и б о н т о н н о". В одном из следующих писем находим любопытные строчки о стихотворце К. Бахтурине, прошумевшем (очень недолго впрочем) в московских салонах: „Поутру был у меня... молодой улан Бахтурин, который поэт не выше ли самого Пушкина". В письмах 1836 г. из Петербурга есть много упоминаний о встречах с П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, С. А. Соболевским. С восторгом отзывается Давыдов о К. П. Брюллове: „Третьего дня я обедал у Вяземского и был с ним у Брюллова, с которым познакомился. Он весьма приятный человек". Давыдов, как это видно из писем, часто посещал Брюллова и тесно с ним сблизился. И в 1838 г. он сообщает жене о встрече с Брюлловым: „Оба

мы очень друг другу обрадовались... чудный человек! Полный ума и оригинальности и с таким необычайно огромным талантом!"

В январе 1836 г. Давыдов в Петербурге часто встречался с Пушкиным: „Вчера из театра я провел вечер у Вяземского. Он получает до 20 тысячь жалованье и живет очень приятно. Я у него нашел Пушкина и Жуковского, которые для меня туда приехали... Il parait que je suis vraiment une figure poétique, car voilà que le Grand Pouschkin même vient de me faire de ucren m'enorgant sou Histoire de Pougatcheff; стихи прелестные, как все что выходит из-под его пера" (письмо от 22 января), „25-го... вечером был у Пушкина, dont la femme est vraiment est d'une beauté extraordinaire... Пушкин мне подарил экземпляр Истории Пугачевского бунта и при нем прислал стихи, вот они [приводится текст послания „Тебе певцу, тебе герою"]... Вечер проводил у Жуковского, у которого собираются каждую субботу его приятели и литераторы. Там я нашел Крылова, Плетнева, Пушкина, Вяземского, Теплякова и множество... Этот вечер был моим триумфом. Вообрази, что из 25 умных, я один господствовал. Все меня слушали et je tenais le dé de la conversation pendant toute la soirée" (письмо от 25—28 января). 26 января Давыдов слушал у Жуковского „Ревизор" Гоголя, а в это время художник Григорий Чернецов рисовал его портрет (воспроизведенный в „Ниве" 1911 г., стр. 496).

Письма Давыдова к учившимся в Петербурге сыновьям — Василию и Николаю — за 1837—1839 гг. (числом с о р о к с е м ь) интересны преимущественно изложением его педагогических мнений; письма эти — своего рода катехизис, „правила поведения благородного юношества", основанные на преувеличенных понятиях о военной чести и дворянском звании.

Для примера приведем одно письмо к сыну Василию (от 26 декабря 1837 г.), в котором Давыдов, предостерегая сына от „вздорных замечаний" по адресу „православной церкви" и „царской службы", возводит в степень „священного и непорицаемого" то, что высмеивал всю свою жизнь, — бессмысленную плацпарадную шагистику. Жизнь научила партизана осторожности. Вот текст письма:

„Мы собираемся, милой мой Вася, к выезду в Москву и я только что и жду время поздравить тебя с новым годом и со днем твоего ангела. Этот год для тебя важный год. Это ступень с которой, в нравственном отношении, ты можешь сходить вверх ногами в пропасть, — или пойти вверх с одной ступеньки на другую и приобресть себе имя надежного человека.

Ты пишешь, что тебя учат маршировать и vous n'etes pas cela pas embête. Чтоб я таких выражений на счет какой-либо части военного дела и не слыхал от тебя. В ремесле этом все должно быть равно Священно и непорицаемо, от вытягивания ноги и понижения носка до высшего стратегического соображения. Иначе ты не будешь истинным Солдатом. Повторяю тебе не гляди на других, уважай ремесло свое как нашу православную церковь и ни на какой обряд службы и церкви не делай вздорных замечаний.

Прости. Обнимаю тебя и посылаю тебе родительское мое благословение.

Отец твой Денис Давыдов".

Письмо это (единственное из переписки с сыновьями) сохранилось не в архиве Давыдова, а в Рукописном отделении Государственной Публичной Библиотеки им. В. И. Ленина.

Из остальной переписки обращают на себя внимание п я т н а д ц а т ь писем к саратовскому губернатору кн. Александру Борисовичу Г о л и ц ы н у и п я т ь писем к гр. Федору Ивановичу Т о л с т о м у (и те и другие — 30-х годов), письма к И. В. В а с и л ь ч и к о в у, художнику Д о у, А. А. З а к р е в с к о м у, А. Я. Б у л г а к о в у, Д. П. Б у т у р л и н у и др. [40]

Особое значение имеют подлинники десяти писем Давыдова к Пушкину, опубликованные, как уже было сказано выше, в крайне искаженной редакции. Не имея возможности целиком привести их подлинный текст в данной статье, ограничимся одним

примером, из которого ясным становится, что сын Давыдова Денис Денисович не только занимался „исправлением" слога, но и выбрасывал из писем все „опасные" строчки. Вот подлинный текст письма от 23 ноября 1836 г. (ср. № 1107 в академическом издании переписки Пушкина):

„Письмо твое с Шеншиным я получил. Досадно, что Данилевский отсекает целые периоды от статей моих. Что делать! Я однако ни слова не намекну ему о том; боюсь рассердить его. Он теперь пишет двенадцатый год; пожалуй, с сердцов вычеркнет из него и дела мои.

Между тем, признаюсь, — я обозрением его 1814 года довольно доволен. Происшествия изложены ясно, есть в нем документы неизвестные; конечно, ни одно выражение не берет на штыки читателя, за то все сочинения проникнуты теплою любовью к России, что для меня, варвара, человека без примеси Русского, бог знает как усладительно, особенно при настоящем духе общего гражданства, разливаемого нашими школьниками-Ликургами с очками на носу и в батистовых рубашках. Но неужели нельзя хвалить Русское войско без порицания Наполеона? Порицание это причиною того, что все сочинение более отзывается временем 1812 года, слогом Сергея Глинки, когда ненависть к посягателю на честь и существование нашей родины внушала нам одни ругательства на него, чем нашим временем, когда вражда к нему забыта и Гений его оценен бесспорно и торжественно. А все эти выходки Данилевского для чего? Для того чтобы поравнять в военном отношении Наполеона с Александром: будучи не в состоянии возвысить последнего до первого — он решился унизить первого до последнего и оттого похож на тех Французов, которые, при вступлении нашем в Париж, навязав веревку на шею бронзовой статуе великого человека, тащили ее с верха колонны на мостовую.

Ты спрашиваешь о Чедаеве? Как очевидец, я ничего не могу тебе сказать о нем: я прежде к нему не езжал и теперь не езжу. Я всегда считал его человеком начитанным и, без сомнения, весьма умным шарлатаном в беспрерывном пароксизме честолюбия, — но без духа и характера, как белокурая кокетка, в чем я и не ошибся. Мне Строгонов рассказал весь разговор его с ним; весь, — с доски до доски! Как он, видя беду неминуемую, признался ему, что писал этот пасквиль на русскую нацию немедленно по возвращении из чужих краев, во время сумасшествия, в припадках которого он посягал на собственную свою жизнь; как он старался свалить всю беду на журналиста и на цензора, — на первого — потому, что он очаровал его (Надеждин очаровал!) и увлек его к дозволению отдать в печать пасквиль этот, — а на последнего — за то, что пропустил оной. Но это просто гадко, а что смешно — это скорбь его о том, что скажут о признании его умалишенным знаменитые друзья его, ученые Ballanche, Lamené, Guizot и какие-то немецкие шустера-метафизики! Но полно, еслиб ты не вызвал меня, я бы промолчал о нем, потому что не люблю разочаровывать; впрочем, спроси у Т. . . , который на-днях поехал в Петербург, он, может, расскажет происшествие это не так, как я, и успокоит на счет католички.

Ты хочешь печатать оставшиеся строки от Занятия Дрездена. Напрасно. Ты увидишь, как статья будет гола. Лучше я тебе пришлю какую-нибудь другую статью, а ты возврати мне эту. Впрочем, как хочешь, все отдаю на волю моему отцу и командиру. Только, ради бога, пришли мне копию с Занятия Дрездена, зачертя в ней карандашом все то, что зачертила цензура кровавыми чернилами. Да присылай скорее без замедления, не клади в долгий ящик, потому что у меня не осталось даже черновой тетради. Прости.

Денис Давыдов.

23 Ноября — Москва, на Пречистенке в собственном доме".

Из писем к Давыдову, сохранившихся в его архиве, отметим огромное письмо И. Г. Бурцова (из Тульчина от 5 октября 1821 г.), содержащее подробный разбор „Опыта теории партизанского действия", — указания Бурцова Давыдов принял во внимание при переработке „Опытов" для 3-го издания [41]. Там же письма М. В. Юзефовича, Петра Ивашева (1836), С. Н. Марина (1812) и др.

Автографы Дениса Давыдова имеются и в других архивных собраниях Ленинграда и Москвы. В Рукописном отделении Ленинградской Государственной Публичной Библиотеки хранится тридцать автографов, из них семнадцать неизданных (преимущественно письма к В. Н. Каразину, М. Н. Загоскину, сыну Николаю Денисовичу, А. С. Норову, Н. И. Кривцову, А. И. Михайловскому-Данилевскому и проч.). Большинство из них незначительно по содержанию.

Интереснее их три стихотворных автографа — элегии „Ивановой" („Возьмите мечь — я недостоин брани!"), эпиграммы „К портрету Бонапарте" и неизданного стихотворения „Племяннице".

Элегия, как выясняется из автографа, в первой редакции имела заключительную строфу (о счастьи любовников), выброшенную Давыдовым по настоянию Жуковского, усмотревшего в ней „вольность" по адресу царей земного и небесного. Вот эта строфа:

Чего ему тогда останется желать?
Чего искать ему? — он все уже имеет!
Он выше всех Царей достоин восседать!
Он бог, пред коим Мир, склонясь, благоговеет!

Давыдов послал Жуковскому свою элегию со следующей припиской:

„Посылаю любезному Василию Андреевичу последние стихи мои — с тем же уговором как и прежние —

ваш слуга Денис Давыдов.

NB: Иванова танцовщица в которую влюблен Партизан".

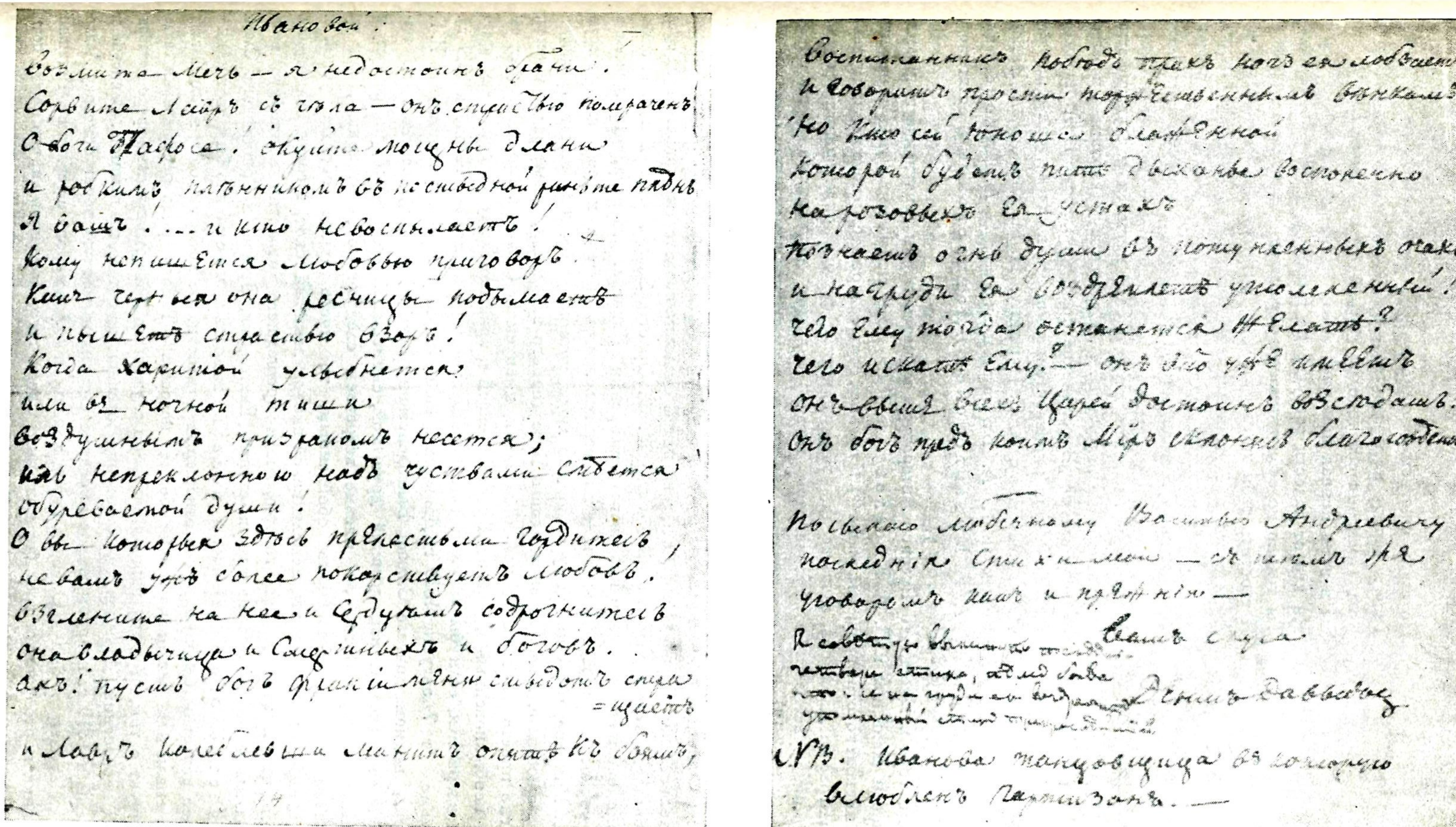
Тут же ответ Жуковского: „Я советую выкинуть последние четыре стиха, тем более что: и на груди ее воздремлет утомленный — стих прекраснейший".

Эпиграмма „К портрету Бонапарте" была уже в печати, но без последнего стиха [42]. Вот ее полный текст:

Сей Корсиканец целой век
Гремит кровавыми делами.
Ест по сту тысяч человек
И с< . . . > королями.
Давыдов Поэт и Партизан.

Неизданное стихотворение „Племяннице" посвящено Аглае Антоновне Давыдовой:

Любезная моя Аглая,
Я вижу Ангела в тебе,
Которой, с неба прилетая,
С венцом Блаженства на главе,
Принес в мое уединенье
Утехи, щастье жизни сей
И сладкой радости волненье
Сильней открыл в душе моей!
Любезная моя Аглая,
Я вижу Ангела в тебе!
Ах! как нам Праздник сей приятен,
Он мил домашним и друзьям,
Хоть не раскошен и незнатен,
Зато в нем места нет льстецам.
Тебя здесь Дружба — угощает,
Веселость — на здоровье пьет,
Родство — с восторгом обнимает,
А Искренность — сей стих поет!
Любезная моя Аглая,
Я вижу Ангела в тебе!



Ивановой.

Возьмите Меч — я недостоинъ брани.
Сорвите Лавръ съ чела — онъ страстью помраченъ
О боги Пафоса! окуйте мощны длани
И робкимъ пленникомъ въ постыдной риньте пленъ
Я вашъ! ... и кто не воспылаетъ!
Кому не пишется любовью приговоръ
Какъ черныя она ресницы подымаетъ
И пышетъ страстью взоръ!
Когда Харитой улыбнется
Или въ ночной тиши
Воздушнымъ призракомъ несется;
Какъ непреклонно надъ чувствами смеется
Обуреваемой души!
О вы, которые здесь прелестьми гордитесь,
Не вамъ уже собою покорствуетъ Любовь.
Взгляните на нее и будучи содрогнитесь
Она владычица и смертныхъ и боговъ.
Ахъ! пусть ... свидетель ...
= щастіе
И Лавръ колеблющи манитъ опять къ бранямъ,

Воспламененной вновь такъ къ ея лобзанью
И говорить прости торжественнымъ вещаньемъ;
Но кто сей юноша блаженной
Которой будетъ пить дыханье восхищенно
На розовыхъ ея устахъ
Познаетъ огнь души въ потупленныхъ очахъ
И на груди ея вздремлетъ упоенный!
Чего ему тогда останется желать?
Чего искать ему? — Онъ это уже имеетъ
Онъ выше всехъ Царей достоинъ возседать!
Онъ богъ предъ коимъ Міръ склонясь благоговеетъ.

Посылаю любезному Василью Андреевичу последніе стихи мои — съ ними зря уговоромъ нашъ и прежніе —
Къ советуя ... Вашъ слуга
...
... Денисъ Давыдовъ
...

N.B. Иванова танцовщица въ которую влюбленъ Гарнизонъ. —

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ДЕНИСА ДАВЫДОВА «ИВАНОВОЙ»
Ленинградское отделение Центрархива

Но если щастием картины
Твое я сердце не прельстил,
Коль Праздник сей тебе не мил,
Ты в этом первая причина!
Ни кто от радости рассудка не имел,
Ты только на себя вниманье обратила;
Я угостить тебя хотел,
А ты собой нас угостила!
Любезная моя Аглая,
Я вижу Ангела в тебе! [43]

В Институте Русской Литературы Академии Наук СССР имеются следующие автографы Дениса Давыдова: стихотворение „Графу П. А. Строганову" (вариантов и разночтений с печатным текстом нет), элегия „Бородинское поле" (в альбоме П. Л. Яковлева, помечено: „Саратов, 1830, 19 Генваря"; разночтений нет [44]) и двадцать писем — двенадцать изданных (к А. А. Бестужеву, А. С. Пушкину, Н. М. Языкову, А. И. Якубовичу) и восемь неизданных (к Е. А. Баратынскому, В. А. Жуковскому, Ф. Л. Переверзеву, А. И. Михайловскому-Данилевскому, архитектору Шенкелю и неизвестному) [45].

Кроме того в Институте Русской Литературы имеются копии девятнадцати неизданных писем Давыдова к П. Д. Киселеву за 1815—1819 гг. (из них в печати известно всего несколько отрывков; см. выше [46]). В письмах этих содержится много ценных данных для биографии Давыдова, а также для характеристики целого ряда видных офицеров 2-й армии, в частности о „Тульчинском гнезде" будущих декабристов. В письме от 2 августа 1818 [?] из Умани находим следующее любопытное замечание: „Сожалею, что будущий прусский король умен и напитан Ансиньоном, сожалею, душевно сожалею. Какая перспектива пруссакам! Considerations sur la revolution de France я ожидаю на днях из Франции, а драгоценную рукопись читаю вместо „Акафиста". Многие письма свидетельствуют об увлечении Давыдова идеей создания солдатских ланкастерских школ и особенно деятельностью в этой области М. Ф. Орлова. Заслуживает внимания отзыв об Ермолове и его политике кровавого „замирения" Кавказа. „Я знал, что побывав в краю черкесов, — пишет Давыдов, — ты уверишься, что система истребления, которую избрал Ермолов, прилична тому краю, ибо люди, которые тебе говорили противное, — все миролюбивые, иначе из инвалидного Богоугодного заведения, называемого Советом, а другие просто из гражданской богадельни, именуемой Сенатом. Ермолов, брат, человек необыкновенный и при всей страсти своей к христианскому истреблению, право бы воздержался, если бы видел в том бесполезность" (письмо от 14 июня 1819 г.). В письме от 7 августа 1819 г. Давыдов с большим сочувствием упоминает об И. Г. Бурцове, видном деятеле Союза Благоденствия, называя его „известным по знаниям и уму своему, как древний друг мой, соименитый ему герой, по разврату и собутыльничеству". В том же письме встречаем следующую сентенцию: „Если уж назначено мне судьбою быть обойденным, то пусть лучше обойдет умный и деятельный человек, как ты, нежели какой-нибудь ленивый скот, в грязи валяющийся. Божусь, что я это от души говорю. Люди прошедшего столетия не поймут меня, ибо их мысль и чувства падали к стопам Екатерины, Зубова и Грибовского. Слова: Отечество, общественная польза, жертва честолюбия и жизни — для нее известны были только в отношении к власти, от которой они ждали взгляд, кусок емали или несколько тысяч белых негров..." Такого рода рассуждения свидетельствует о том, что, очутившись во время службы во 2-й армии в атмосфере декабристских настроений, Давыдов до некоторой степени испытал их влияние. В письме от 25 октября 1819 г. находим живое описание Одессы и меткую характеристику Ланжерона: „Наконец я был в Одессе. Город хорош, но Ланжерон еще лучше. Истинный начальник порто-франко, врет без пошлины. Сверх того, поверишь ли, что в день почти его найти нельзя. Он прячется и, скакавши из дома в дом, уверяет каждого хозяина, что он dans les horreurs de la poste и что едет домой, тогда как его целый там день не

бывает дома. Назвал одну улицу Софиевской в честь двум Софьям Потоцким; назвал другую улицу Ланжероновской как будто он так отягчен бессмертием, что может бросать его на улицу". В письмах к Киселеву Давыдов часто жалуется на свои служебные неудачи, досадует на более счастливых теварищей, но вместе с тем скрывает свою досаду под маской напускного равнодушия. В этом отношении характерно письмо от 2 декабря 1819 г. (из Кременчуга), где Давыдов пишет о наслаждении спокойной семейной жизнью (в 1819 г. он женился); „Я врубил имя свое в 1812-й год — я каждый день счастливее и новом быту своем — имею угол, где не только на соломе, но и на диване могу лежать, курить трубку и читать, — перо, чернильница, бумага и ум — чего мне более? Скоро вступит в свет наследник моих добродетелей, которому уже четыре месяца, — и счастье мое удвоится — это ощутительное счастье, а не наш дым! Что мы? Когда и Суворов на одре смерти сказал: „70 лет гонялся я за славою; стою у гроба и узнаю мечты ее!" Не думай однако же, чтобы намерение мое было совершенно оставить службу, сохрани меня бог! Пока буду в силах ездить верхом, мыслить и рубить, я всегда буду солдат. Но я хотел показать тебе, что если забудут меня к войне — я имею чем утешиться и не буду просить милостыню у славы".

Во Всесоюзной Публичной Библиотеке им. В. И. Ленина находится четыре письма Давыдова: к Е. А. Баратынскому (от 9 мая 1835), частично опубликованное Барсуковым („Жизнь и труды Погодина", т. IV, стр. 277), к М. Н. Загоскину (без даты)—неопубликованное, к сыну Василию (от 26 декабря 1837 г.) — впервые публикуемое в настоящем обзоре (см. выше, стр. 37) и к М. П. Погодину, также неопубликованное и любопытное только содержащимся в нем свидетельством о том, что у Давыдова хранились автографы Грибоедова („Посылаю Вам, любезнейший Михайла Петрович, отысканные мною почерки Грибоедова и светлейшего князя Потемкина...").

В московском Историческом музее имеются: рукопись „Материалы для современной военной истории. Записки о 1831 годе", записанное рукой Давыдова стихотворение Вяземского „К Ним" („За что служу я целью мести вашей?") и письма его к Н. А. Муханову, Н. И. и Н. Н. Похвисневым и А. А. Наумову, опубликованные в „Сборнике старинных бумаг" П. И. Щукина (см. выше).

В архиве Мурановского музея им. Ф. И. Тютчева найдено три письма Давыдова к Н. В. Путяте и французская записка к С. Л. Энгельгардт (позднее жена Путяты). Вот текст записки:

„Chère Sophie — n'oubliez pas de me copier ou plutôt de me faire copier [sic!] cinq à six pièces de vers de la C—sse Rostopchine. Vous m'obligerez. Denis Davidoff".

Одно письмо к Путяте (от 23 марта 1838 г.) мы уже цитировали выше. В другом письме (из с. Мазы от 10 октября, повидимому также 1838 г.) Давыдов пишет:

„Что касается до меня, то я только что отдохнул от вашего душного Петербурга. Наслаждаюсь моими необозримыми степьми и дышу свободно. Скачу за волками, лисицами и зайцами, сломя голову и успеваю в этих атаках порядочно. В ненастные дни сижу дома и кончаю переправляемый и совершенно переделываемый мной Опыт Партизанского действия для русской армии. Думаю его кончить к Генварю и отдать в печать немедленно".

В третьем письме (от 28 января 1839 г.) интересны строки, свидетельствующие о предсмертных литературно-журнальных интересах Давыдова: „Как идет журнал Одоевского и Краевского? [т.е. „Отечественные Записки". — *В. О.*]. Много ли у них подписчиков? Я здесь для них работаю, всем журнал их рекомендую и некоторые подписались на него полагаясь на мои слова".

В архиве французского эмигранта Теодора Этье, находившегося одновременно с Грибоедовым в Персии в должности инструктора персидских войск, имеется три неизданных письма Дениса Давыдова к нему. В неизданном же дневнике Этье имеется запись о его знакомстве с Давыдовым на Кавказе. Впоследствии Этье переселился в Россию; его архив ныне находится в Москве в частных руках.

Дальнейшие архивные разыскания могут дополнить еще фонд рукописного наследия Давыдова новыми материалами, преимущественно письмами; следует поискать их в

Остафьевском архиве князей Вяземских, среди бумаг К. П. Брюллова, А. И. Тургенева и др. Неизвестно, где находится ныне пятьдесят четыре французских письма Давыдова к Е. Д Золотаревой (в 1890 г. письма эти были в руках А. А. Осипова) [47]. В свое время в печати появилось известие о неизданных письмах Давыдова к его дальнему родственнику Н. П. Воейкову [48].

* * *

Из всего вышеизложенного можно сделать два вывода: 1) прежние издания сочинений Дениса Давыдова ни в какой мере не могут быть признаны удовлетворительными ни в отношении полноты, ни в отношении достоверности текстов; 2) сохранившиеся рукописные материалы позволяют существенным образом дополнить литературное наследство Давыдова и привести его в надлежащий порядок. В части поэтического наследства это уже сделано мною для „Полного собрания стихотворений Дениса Давыдова", изданного в серии „Библиотека поэта". Но также имеет очевидный смысл переиздать мемуарные статьи Давыдова, занимающие видное место в ряду памятников русской прозы 1820—1830 гг., и избранные его письма, заключающие богатый материал для социально-политической, военной и культурно-бытовой истории дворянской России.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Сведениями о некоторых автографах Дениса Давыдова, хранящихся в московских архивах, я обязан И. С. Зильберштейну и И. В. Сергиевскому, которым пользуюсь случаем выразить свою благодарность.

[2] Вероятно об этом издании Давыдов писал Н. А. Муханову: „Итак, позволяю тебе и уполномачиваю тебя взять у Лариона Васильевича [Васильчикова] рукопись мою и отдать оную в цензуру... Но кто будет смотреть за корректурою? Не попросишь ли ты от меня Рылеева? я надеюсь, что он мне не откажет. Мне хочется напечатать полный завод, т. е. 1200 экземпляров, из коих сто на велиновой английской бумаге, а протчие на белой; мне также хочется, чтобы литеры были самые лучшие" (письмо неизвестного года — „Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина", ч. IX, 1901, стр. 323). Судя по этому письму, Давыдов предполагал сперва печатать свой „Опыт" в Петербурге.

[3] „Русский Архив" 1874, II, стр. 732.

[4] „Старина и Новизна", XXII, 1917, стр. 45.

[5] Неизданное письмо от 24 февраля 1836 г. из Москвы. Архив Давыдова в Ленинградском отделении Центрального Исторического Архива, Военный отдел, фонд № 717, тетрадь № 66.

[6] „Старина и Новизна", XXII, стр. 49—50.

[7] „Русский Зритель", ч. I, М., 1828, стр. 42—52.

[8] „Московский Телеграф" 1828, XX, № 7, стр. 371—372.

[9] „Северные Цветы на 1829 год", стр. 25 — 26. — Из позднейших догадок см. рецензию на сочинения Давыдова, изд. 1840 г. в „Литературной Газете" 1840, № 69, стр. 1564.

[10] Сочинения и переписка П. А. Плетнева, III, 1885, стр. 523.

[11] „Старина и Новизна", XXII, стр. 53.

[12] „Русский Архив" 1900, № 3, стр, 365.

[13] „Сборник Русского Исторического общества", т. 73, 1890, стр. 540.

[14] „Русский Архив" 1889, I, стр. 399—403.

[15] „Остафьевский Архив", II, стр. 234; Ibid. на стр. 235—ответное письмо А. И. Тургенева.

[16] Сочинения Давыдова, 1893, III, стр. 204.

[17] См. письма Давыдова к А. М. и Н. М. Языковым.—Ibid., стр. 187 и 191.

[18] Архив Мурановского музея им. Ф. И. Тютчева.

[19] „Литературные Прибавления к Русскому Инвалиду" 1838, № 30, стр. 596.

[20] Денис Денисович Давыдов (род. в 1826 г.) — в ту пору штабс-капитан гвардейской артиллерии. См. о нем „Полный Список... офицерами лейб-гвардии 2-ой артиллерийской бригады", СПБ., 1898, стр. 156. — Объявление Д. Д. Давыдова о предпринятом им „полном издании сочинений покойного отца его" см. в „Библиографических Записках" 1858, т. I, стр. 248.

[21] См. „Журнал заседаний Санктпетербургского цензурного комитета" 1859 г., лл. 104 об. — 105, — в составе архива Министерства народного просвещения, ныне в ЛОЦИА (за сообщение этого сведения приношу благодарность И. Г. Ямпольскому).

[22] „Старая Записная книжка" в Полном собрании сочинений П. А. Вяземского, т. VIII, 1883, стр. 492.

[23] „Чтения в Обществе истории и древностей Российских", 1874, I, отд. V, стр. 98.

[24] Ср. „Русское Обозрение" 1897, № 5 и „Литературная Мысль", II, 1923, стр. 233—235.

[25] „Старина и Новизна", IV, 1901, стр. 99.

[26] „Русский Архив" 1869, стбц. 2094. — Ср. М. А. Дмитриев, Мелочи из запаса моей памяти, 2-е изд. 1869, стр. 111, где указанная эпиграмма приписана А. Д. Курбатову.

[27] Сочинения Давыдова, 1893, III, стр. 196.

[28] Полное собрание сочинений кн. П. А. Вяземского, т. X, 1886, стр. 220.

[29] Сочинения Давыдова, 1893, III, стр. 203.

[30] „Русская Старина" 1872, т. VI, стр. 400.

[31] О судьбе давыдовского архива см. заметку П. Н. Давыдова „По поводу архива партизана Д. В. Давыдова" в „Историческом Вестнике" 1907, т. 109, стр. 1054—1055; ср. В. В. Жерве, Партизан-поэт Д. В. Давыдов, 1913, стр. 166.

[32] См. протокол заседания академической пушкинской комиссии от 8 января 1906 г. в сб. „Пушкин и его современники", вып. VIII, 1908, стр. XII и XV.

[33] Стихотворение это вероятно обращено к Евгении Дмитриевне Золотаревой. Выделенные курсивом строки взяты из известного романса И. И. Козлова „Вечерний звон", тему которого варьирует стихотворение Давыдова.

[34] Первоначально стихотворение это называлось „Лиза и Гриша" и везде вместо „Маши" и „Миши" были проставлены эти имена. Стихотворная шутка Давыдова посвящена неудачному роману пензенской помещицы Елизаветы Александровны Евреиновой и Григория Александровича Римского-Корсакова — приятеля Давыдова, Пушкина, Вяземского (см. о нем подробнее в наших комментариях к Полному собранию стихотворений Дениса Давыдова 1933 г.). В неизданных письмах к жене Давыдов часто упоминает о Евреиновой, „страдающей любовью к неукротимому", роман ее с Корсаковым тянулся много лет и окончился полным разрывом (виною была „убийственная холодность" Корсакова). В начале 30-х годов Корсаков завел в своем пензенском поместьи большой свеклосахарный завод, славившийся производством „карамелек".

[35] Датируется условно концом 10-х годов, обращено повидимому к Софье Николаевне Чирковой, на которой Давыдов женился в 1819 г. Четыре стиха этой элегии (18—24) Давыдов процитировал в письме к А. А. Бестужеву (1824 г.).

[36] В отрывке этом речь идет несомненно о гр. Федоре Ивановиче Толстом-„Американце", в 1811 г. дравшемся на дуэли с командиром Преображенского полка полковником Е. В. Дризеном. В неизданном послании к петербургским друзьям Ф. И. Толстой, сосланный в нейшлотский гарнизон, писал:

Давно-ль, давно-ль, друзья, приятели, я с вами
Питался сладкими свидания слезами?!
И будто не видал щастливых тех часов,
Когда с тобою был Марин! Аргамаков!
С тобой, о пламенный Наташки полюбовник,
Арсеньев, старый друг и прежний мой полковник!
Но, ах! исчезло все, исчезло будто сон!
С немецкой харею не зрю тебя, барон...

К последней строке в списке сделана сноска: „Дризен".

[37] Письмо сохранилось в архиве Давыдова (тетрадь № 68) в копии Д. Д. Давыдова.

[38] Рукопись „Письма о военном поселении" подготовлена нами к печати.

[39] Ср. заметку М. Светловой в сб. „Московский Пушкинист", II, 1930, стр. 156—162.

[40] Отметим ошибку В. В. Жерве, называющего адресатом писем к Толстому известного художника-медальера гр. Ф. П. Толстого (см. его книгу „Партизан-поэт Д. В. Давыдов", стр. VIII).

[41] См. письмо Давыдова к А. А. Закревскому (1829) в „Сборнике русского исторического общества", т. 73, 1890, стр. 558.

[42] „Столица и усадьба" 1915, № 42, стр. 4. Датировать эту эпиграмму можно только предположительно, вероятнее всего она написана была в 1806—1807 гг., когда Наполеон возвел своих братьев Жозефа, Людовика и Жерома на неаполитанский, голландский и вестфальский престолы.

[43] На обороте автографа рукой Давыдова написано: „Графу Александру Николаевичу от покорного слуги Дениса Давыдова обещанные стихи для Польского". Граф Александр Николаевич — Самойлов, дальний родственник Дениса Давыдова и дядя А. Л. Давыдова, мужа Аглаи Антоновны Давыдовой (урожд. герц. Граммон), которой посвящено стихотворение. В киевском поместьи А. К. Давыдова Каменке часто устраивались семейные праздники в честь Аглаи Антоновны, которая „как истая француженка, искала в шуме развлечений средство не умереть со скуки в варварской России". Повидимому для одного из таких праздников Давыдов и написал свои куплеты, по просьбе гр. Самойлова и от его имени, — отсюда и заглавие стихотворения: „Племяннице".

[44] В том же альбоме — записанное рукой Давыдова двустишие Н. М. Карамзина:

Мы вечно то, чем нам быть в свете суждено,
Гони природу в дверь, она влетит в окно.

Двустишие это процитировано между прочим в книге П. Л. Яковлева „Чувствительное путешествие по Невскому проспекту", 1828 (стр. 59). В том же альбоме — прозаическая запись Давыдова и карикатура, изображающая его во фраке, танцующим с дамой. О знакомстве Давыдова с П. Л. Яковлевым до настоящего времени не было известно; Яковлев описал Давыдова в своей книге „Удивительный человек", ч. III, 1831, стр. 33—35. — С альбомом П. Л. Яковлева ознакомила меня И. Н. Медведева, которой выражаю свою благодарность.

[45] В собрании ИРЛИ имеется еще записочка, адресованная В. Г. Теплякову и написанная в третьем лице от имени „Генерала Давыдова" (почерк не Дениса Давыдова).

[46] Оригиналы этих писем по всей вероятности хранятся в Ленинградском отделении Центрархива в составе бумаг П. Д. Киселева, к которым я не мог получить доступа (ср. „Дела и дни", I, 1918, стр. 506).

[47] См. „Исторический Вестник" 1890, т. 41, стр. 86.

[48] См. некролог Н. П. Воейкова, написанный кн. Куракиным, в „Московских Ведомостях" 1872, № 4. — Николай Павлович Воейков (умер в декабре 1871 г.) был медынским уездным предводителем дворянства.

СУДЬБА ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА Н. М. ЯЗЫКОВА

Обзор М. Азадовского

I

Среди поэтов пушкинского окружения Языков является наименее исследованным и изученным. Дореволюционная историография не оставила нам ни полного критического издания его стихотворений, ни исследовательски выполненной биографии, ни какого-либо монографического исследования.

Господствующая в истории литературы либеральная историко-культурная школа точно не знала, что делать с этим не укладывающимся в обычные рамки поэтом. Единственная же монография научного типа, посвященная Языкову, вышла уже из откровенно реакционной среды и была настолько беспомощна методологически, настолько элементарно безграмотна с филологической точки зрения, что ее просто никак не приходится принимать всерьез [1].

Только в начале XX в. появляется более глубокий интерес к Языкову. Этот интерес стоит в тесной связи с общим процессом предпринятой символистами литературной реставрации стародворянской культуры. Вожди символистов выступают не только пропагандистами старых поэтов, но и исследователями, биографами, редакторами текстов. Брюсов изучает Пушкина и Баратынского, издает Тютчева, Каролину Павлову. Блок—Аполлона Григорьева. Интерес к Языкову—в этом же общем процессе, но в ином плане. Если культ Баратынского или Тютчева знаменует собою некие вершинные пункты символизма, то с именем Языкова связывается процесс его кризиса и распада. К Языкову тянулась поэтическая молодежь, стремящаяся выбиться из становящихся уже тесными канонов символистской поэтики. Исследователями и апологетами Языкова становятся С. Бобров, В. Шершеневич, Н. Асеев—будущие деятели имажинизма и футуризма.

Но, в сущности, в своей борьбе против символизма они все же составляли только один из участков фронта буржуазной литературы — и притом далеко не передовой. Их поэзия была выражением настроений деклассирующейся буржуазной интеллигенции,— отсюда их формальное бунтарство, богемные настроения, равнодушие, а порой и прямая враждебность к общественным вопросам. Поэтому вполне понятно, что вовлеченные в общий процесс реставрации старой дворянской культуры они тянулись не к холодному мастерству Каролины Павловой, не к философской поэзии Баратынского, культ которых вводил и учреждал метр символизма—Брюсов, но к стремительной и богемной лирике Языкова.

С. Бобров восторгается „дифирамбической константой" песен Языкова, он считает его „декадансом пушкинской школы", в которой дошли до крайних ее пределов все ее достоинства и недостатки. „Его широкий дух,— пишет С. Бобров,—раздвигал, разламывал, разбрасывал рамки современного стихотворчества". В. Шершеневич особенно подчеркивает „самобытность" Языкова: „Языков стал самобытен, как может быть самобытен только русский поэт, совершенно игнорирующий все законы и предписания теории поэзии, кроме закона новизны и силы". Учеником Языкова объявляет себя и Н. Асеев [2].

С этого времени Языков начинает вновь входить в русскую литературу и в историко-литературную науку. В. Шершеневич издает томик избранной лирики Языкова (1916 г.) с боевым предисловием, направленным как против символизма, так и против тех, кто требовал от поэзии определенного символа веры [3]. Оживляются и академические,

историко-литературные изучения Языкова. Академия Наук приступает к изданию огромного архивного наследия Языкова, в издательстве „Мусагет" готовится книга „Неизданных стихов" Языкова, намечается полное академическое его издание и т. д. В силу целого ряда внешних причин эти начинания оборвались, и имя Языкова встает вновь только теперь, в связи с общей проблемой культурного наследства, в свете тех требований, которые ставит новая обстановка перед историко-литературной наукой. Это заставляет поставить и вопрос о степени изученности Языкова: в первую очередь, вопрос о состоянии его текстологии и эпистолярного наследия.

II

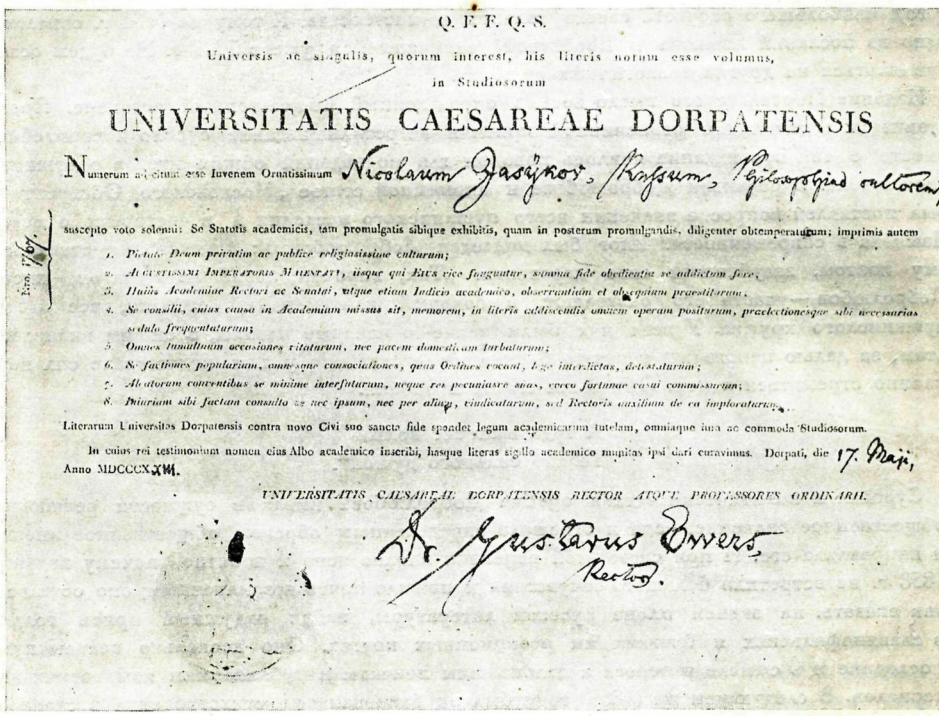
Внешняя история языковских текстов сводится к очень немногим моментам. При жизни поэта вышли три издания—три книжки стихотворений: 1833, 1844 и 1845 гг.[4] Так как издание 1844 г. носило несколько случайный характер и почти целиком вошло в издание 1845 г., то можно говорить о прижизненном фонде всего из двух книг. Эти книги конечно не охватывали всецело наследия поэта. После смерти Языкова появилось несколько неопубликованных стихотворений в различных славянофильских органах, но затем интерес к нему быстро замирает, и только почти через 15 лет имя Языкова вновь привлекает к себе внимание общества в связи с первым собранием его стихотворений, вышедшим в 1858 г. под редакцией одного из славянофильских деятелей—проф. Перевлесского[5].

Издание Перевлесского было задумано и выполнено как издание критическое, научного типа. Редактор произвел большую работу по обследованию старых журналов и альманахов, извлек оттуда ряд пьес, не входивших в прижизненные издания Языкова, ввел ряд новых материалов из рукописного наследия и привлек довольно значительный материал для уяснения творчества Языкова и отношения к нему современников. Кроме вступительной статьи о поэзии Языкова, принадлежавшей самому редактору, Перевлесский перепечатал ряд критических отзывов о поэте, перепечатал ряд посвященных ему стихотворений и в примечаниях привел разночтения. Однако за этой внешне научной и аккуратной работой скрывалась большая неряшливость и небрежность. Современная цеховая критика отнеслась к изданию очень сочувственно, весьма преувеличивая его значение и качество его работы и только вскользь отмечая те или иные дефекты. Это была по преимуществу *с в о я критика, для которой издание* Перевлесского было своего рода партийным делом и которой естественно было невыгодно чрезмерно останавливаться на ошибках и промахах редактора. Другой характер носила критика из противоположного политического лагеря, проявившая гораздо большую зоркость и остроту. Отчетливее всего это сказалось в рецензии Добролюбова, который обнаружил здесь не только большое политическое, но и специфическое историко-литературное чутье. „Языков—тоже славянофил в своем роде,—писал он в рецензии „Современника",—и вот почему нисколько не удивительно, что г. Перевлесский, издавший уже славянскую грамматику и хрестоматию (в которую, впрочем, не попал Языков), издает, между прочим, и Языкова. Стихотворения этого „певца вина и страсти нежной" до того нравятся Перевлесскому, что он, не довольствуясь одним разом, считает нужным для удовольствия читателей напечатать некоторые из них два раза в одной книжке. Так напр., в 1-й части на стр. 4 напечатаны три элегии, а на стр. 94—95 той же части—те же элегии, только уже каждая порознь. На стр. 96 1-й части—послание Т-ву, а на стр. 296 2-й части—то же послание с заглавием „Татаринову". Из этого видно, что желание некоторого библиографа, чтобы все русские поэты изданы были так же тщательно, как теперь Языков, не совсем справедливо"[6]. К этому перечню ошибок можно добавить еще ряд аналогичных. Дважды опубликована пьеса „Аделаиде" (т. I, стр. 65: под заглавием „Аделаиде" и там же, стр. 136: „А—е"), включена пьеса, принадлежащая Вронченко (т. I, стр. 39: „Уж я не то, что был"), и т. д.

Перевлесский при работе над изданием пользовался указаниями и материалами еще бывшего тогда в живых брата поэта Александра Михайловича Языкова, в распоряжении которого находился и весь архив поэта, однако, несмотря на это, издание было очень далеким от полноты. В частности, в нем еще не нашли места и знаменитые полемич-

ские послания Языкова, что конечно вполне понятно. В конце 50-х годов эти послания еще не могли быть приняты только в историческом плане и сразу сделали бы издание одиозным для очень широких кругов читателей. Но и помимо этого многое, что было найдено позже в языковских архивах, также почему-то не было передано редактору (или не было им обнаружено).

Недостаточно внимательно обследовал Перевлесский старые журналы и альманахи. Обследование альманахов в 50-х годах конечно было делом трудным; ошибки и пропуски в этой области вполне естественны и понятны, но Перевлесский оставил без внимания и ряд журналов из числа самых близких поэту, в которых тот был постоянным сотрудником, как например „Славянин“ Воейкова, „Европеец“ Ив. Киреевского



Q. F. F. Q. S.

Universis ac singulis, quorum interest, his literis notum esse volumus, in Studiosorum

UNIVERSITATIS CAESAREAE DORPATENSIS

Numerum adscitum esse Iuvenem Ornatissimum Nicolaum Jasykov, Russum, Philosophiae cultorem,

Nro. 1767.

suscepto voto solenni: Se Statutis academicis, tam promulgatis sibique exhibitis, quam in posterum promulgandis, diligenter obtemperaturum; imprimis autem

1. *Pietate Deum privatim ac publice religiosissime culturum;*
2. *Augustissimi Imperatoris Maiestati, iisque qui Eius vice funguntur, summa fide obedientia se addictum fore;*
3. *Huius Academiae Rectori ac Senatui, atque etiam Iudicio academico, observantiam et obsequium praestiturum;*
4. *Se consilii, cuius causa in Academiam missus sit, memorem, in literis addiscendis omnem operam positurum, praelectionesque sibi necessarias sedulo frequentaturum;*
5. *Omnes tumultuum occasiones vitaturum, nec pacem domesticam turbaturum;*
6. *Se factiones popularium, omnesque consociationes, quas Ordines vocant, lege interdictas, detestaturum;*
7. *Aleatorum conventibus se minime interfuturum, neque res pecuniasve suas, coeco fortunae casui commissurum;*
8. *Iniuriam sibi factam consulto se nec ipsum, nec per alium, vindicaturum, sed Rectoris auxilium de ea imploraturum.*

Literarum Universitas Dorpatensis contra novo Civi suo sancta fide spondet legum academicarum tutelam, omniaque iura ac commoda Studiosorum.

In cuius rei testimonium nomen eius Albo academico inscribi, hasque literas sigillo academico munitas ipsi dari curavimus. Dorpati, die 17. Maji, Anno MDCCCXXIII.

UNIVERSITATIS CAESAREAE DORPATENSIS RECTOR ATQUE PROFESSORES ORDINARII.

Dr. Gustavus Ewers, Rector.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДИПЛОМ Н. М. ЯЗЫКОВА
Институт Русской Литературы, Ленинград

и др.; даже „Москвитянин“, ближайший Языкову журнал в последние годы его жизни, был просмотрен не целиком, что и повело к ряду пропусков, восстановленных только позднейшими изданиями.

Материал в издании Перевлесского был распределен в хронологическом порядке, но приурочение стихотворений к определенным датам было крайне неудовлетворительно. Нужно попутно заметить, что вопрос о хронологии языковских пьес вообще чрезвычайно труден и сложен. Прежде всего он запутан самим Языковым. Большинство его пьес сопровождено указанием на дату и место написания: „Дерпт 1824 г.“, „Елань 1835 г.“, „Ганау. Золотой Сарай, 1839 г.“, „Ница. Предместье мраморного креста, 1839 г.“ и т. д. Очевидно, по замыслу Языкова, это должно было вместе с заглавием составлять единое целое. Но внимательная проверка этих обозначений обнаруживает, что в значительном числе случаев они неправильны. Имела ли здесь место простая ошибка памяти или некоторое сознательное нарушение истины (как например бывало у Гоголя)—сказать конечно трудно, но для редактора каждый раз при датировке той или иной пьесы возникает большая трудность. Вполне понятно, что в 50-х годах этого вопроса еще не могло существовать, доверие редактора к обозначениям самого поэта

вполне понятно и законно, но плохо было то, что для редактора вообще не существовало проблемы датировки. Если не было даты под пьесой, он датировал ее годом опубликования, что приводило не только к простым ошибкам, но даже порой к курьезам и нелепостям. Так например, „Послание к Пушкину" („Не вовсе чуя бога света") помещено под 1837 г. только потому, что было опубликовано в этом же году в „Современнике", хотя эта книжка составлялась и вышла уже после смерти Пушкина (да и само собой очевидно, что такого рода послание не могло быть адресовано к Пушкину в последний год его жизни). Самое первое печатное выступление Языкова „Послание к Кулибину", опубликованное в „Трудах Вольного Общества российской словесности за 1819 г." и перепечатанное в 1831 г. в „Невском Альманахе", отнесено к последнему году, хотя также совершенно очевидно, что т а к Языков не мог уже писать в 1831 г.— в год наибольшего расцвета своего таланта и мастерства. К тому же 1831 г. отнесено одно из посланий Языкова к Воейковой, скончавшейся уже в 1829 г. Не будем останавливаться на других аналогичных ошибках.

Издание Перевлесского имело весьма определенный общественный резонанс. Представители радикальной разночинной критики встретили издание сурово и враждебно; вместе с тем это издание явилось поводом для подведения общих итогов о пушкинской школе. В рецензии Добролюбова и анонимной статье „Московского Обозрения"[7] был поставлен вопрос о значении всего пушкинского наследия и в частности о месте Языкова в современности. Итог был подведен Добролюбовым: Языков представлялся ему поэтом, загубившим свое дарование. „Так, впрочем, погиб не один он,—писал Добролюбов,—участь его разделяют, в большей или меньшей степени, все поэты пушкинского кружка. У всех них были какие-то неясные идеалы, всем им виднелась „там, за далью непогоды" какая-то блаженная страна. Но у них недоставало сил неуклонно стремиться к ней. Они были слабы и робки...

А туда выносят волны
Только сильного душой".

Суровая и политически четкая оценка Добролюбова имела в сущности решающее общественное значение,—она и отражала определенным образом общественное мнение и направляла его. И при свете этой рецензии вполне ясно и понятно, почему издание 1858 г. не встретило большого сочувствия и прошло почти незамеченным; оно осталось, так сказать, на заднем плане русской литературы, найдя радушный прием только в славянофильских и близких им реакционных кругах. Оно несколько всколыхнуло последние и в смысле интереса к дальнейшим поискам и публикациям языковских материалов. В следующем же (1859) году был опубликован ряд стихотворений в славянофильском журнале „Русская Беседа", издававшемся Кошелевым; в альманахе „Утро" была помещена стихотворная повесть „Липы", запрещенная при жизни Языкова цензурой; ряд стихотворений был опубликован в издававшейся одно время еженедельной газете Ив. Аксакова „Парус", но эти публикации в общем были малозначительны и мало прибавили нового к известному уже облику поэта[8].

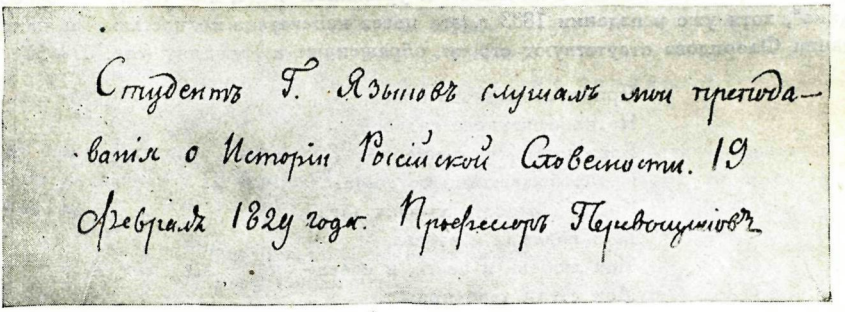
Наиболее крупным приобретением языковской текстологии явилась публикация М. И. Семевского (1866—1867). Интерес к Языкову у последнего вырос в сущности не непосредственно и до некоторой степени случайно: на почве интереса к Пушкину. В этих целях Семевский предпринял поездку в Тригорское, где тогда еще был жив сам владелец его, приятель Пушкина и Языкова, воспетый ими Алексей Николаевич Вульф. Но оказалось, что поездка в Тригорское дала гораздо больше материалов об Языкове. Вульф передал Семевскому письма к нему Языкова, послания к нему и его матери, ряд автографов и списков, кроме того в распоряжении М. И. Семевского был рукописный сборник стихотворений Языкова. Сюда рукою А. Н. Вульфа и его матери, П. А. Осиповой, еще при жизни Языкова внесено 72 стихотворения (рукопись в 4-ку, 134 стр. с общим эпиграфом: „Идеже дух господень, ту свобода")[9].

Из этих 72 пьес сборника 20 не появлялись ни разу в печати, остальные давали большое количество разночтений. Полученные материалы—не всегда исправно и далеко не полностью—Семевский опубликовал сначала в виде фельетона в „Санкт-Петербургских

Ведомостях" (1866), а затем специальной статьей в „Русском Архиве" (1867)[10]. В первый вошли главным образом письма и семь небольших отрывков, во вторую—тексты. Правда, не все из опубликованного М. И. Семевским действительно впервые появилось в печати: кое-что еще было напечатано самим Языковым в различных журналах и альманахах, но таких специальных розысков не делалось, Семевский же, естественно, исходил из текста издания Перевлесского и считал неизданным все, что отсутствовало в последнем. Для современных же читателей все эти сообщенные Семевским стихотворения представлялись конечно новыми. Семевский опубликовал впервые пьесу „Клятвенное обещание"—пародия на присягу; два послания к Шепелеву („Ты, мой приятель задушевный" и „Счастлив, кому дала природа"), ряд посланий к П. А. Осиповой, к А. М. Языкову („Теперь, когда пророчественный дар") и др. В этой же статье появилось и знаменитое послание к Пушкину:

О ты, чья дружба мне дороже
Приветов ласковой молвы...

Но эта богатая публикация надолго оставалась единственным полным собранием такого рода, в дальнейшем в печать проскальзывали только небольшие отдельные заметки случайного типа. Так например, в „Русском Архиве" (1871) было опубликовано два


Студентъ Г. Языковъ слушалъ мои преподаванія о Исторіи Россійской Словесности. 19 Февраля 1829 года. Профессоръ Перевощиковъ

СПРАВКА, ВЫДАННАЯ ПРОФЕССОРОМ ПЕРЕВОЩИКОВЫМ Н. М. ЯЗЫКОВУ О ПРОСЛУШАНИИ ИМ КУРСА УНИВЕРСИТЕТСКИХ ЛЕКЦИЙ
Институт Русской Литературы, Ленинград

стихотворения дерптским товарищем Языкова В. М. Княжевичем[11]: одно из них, посвященное автору публикации, появилось в печати впервые, другое — лишь восстанавливало забытый текст из старого „Благонамеренного"; в „Русской Старине" сын Ивана Киреевского напечатал послание Языкова к его отцу, записанное в альбом последнего[12]; из той же среды Киреевских вышла публикация стихов Языкова, посвященных М. В. Киреевской во время совместного пешеходного путешествия из Москвы в Лавру (летом 1830 г.), и пр. Наиболее интересными и исторически ценными явились публикации знаменитых полемических посланий Языкова. Первым появилось „Послание к Чаадаеву", внесенное Жихаревым в текст биографии Чаадаева[13], затем вторично оно появилось в „Русском Архиве" (1875) со следующей припиской редактора: „Прошло более 30 лет с тех пор, как написаны эти стихи, и от борьбы, их вызвавшей, не осталось ныне никаких личных следов, почему они и становятся достоянием словесной истории"[14]. Текст „Послания к Чаадаеву" Бартенев опубликовал по списку (или автографу), сообщенному А. М. Языковым[15].

Но вообще нужно отметить, что семья Языковых в 60—70-х годах очень неохотно соглашалась на опубликование полемических посланий, не без основания считая, что это может окончательно оттолкнуть от поэта современных читателей. Ода „К не нашим" впервые появилась также в упомянутой статье Жихарева и потом вторично была опубликована в 1879 г. Бартеневым по списку Н. Ф. Эмина[16]; послание „К Константину Аксакову" увидело свет уже только в 90-х годах в одном из томов огромной барсуковской биографии Погодина[17].

Сводки же воедино всех этих разбросанных по разным изданиям материалов никем не предпринималось. Лишь в 1898 г., т. е. через 40 лет после издания Перевлесского, появилось новое полное издание стихотворений Языкова,—на этот раз в очень скромном виде, в известной суворинской серии „Дешевая библиотека", под скромным названием „Стихотворения Н. М. Языкова". Выполнено это издание было под редакцией А. А. Флоридова, но имя редактора (как это вообще было принято в этой серии) нигде не названо и не указано [18].

По сравнению с изданием Перевлесского издание Флоридова представляло шаг вперед только разве в смысле полноты, но совершенно полным оно также не могло быть названо, как не могло быть названо и критическим. В заслугу редактору следует поставить более тщательную проверку хронологии, при чем он не побоялся прямых и заведомых расхождений с обозначениями самого поэта. Однако например „Послание к Пушкину" и у него датировано 1837 г. Что же касается текстологических принципов редактора, то они не совсем понятны и убедительны. Иногда он пользовался текстом отдельного издания, иногда текстом первой журнальной редакции, но чем обусловлен в каждом отдельном случае его выбор—судить довольно трудно. Является подозрение, что в ряде случаев им руководили чисто субъективные соображения эстетического характера, что по большей части и приводило к крупнейшим ошибкам. Самый яркий пример—текст „Тригорского", напечатанный в неполном и урезанном виде, по тексту „Московского Вестника", хотя уже в издании 1833 г. эта пьеса напечатана полностью. Так например, в издании Флоридова отсутствуют строки, обращенные к Пушкину (стр. 47—54):

Приют свободного поэта,
Не побежденного судьбой,
Благоговею пред тобой—
И дар божественного света,
Краса и радость лучших лет,
Моя надежда и забава,
Моя любовь и честь, и слава—
Мои стихи тебе привет.

В следующем абзаце искажен конец:

Когда душе не утомленной
Житейских бременем трудов,
Доступен жертвенник священной
Богинь кастальских берегов,
Когда родимая природа
Ее лелеет и хранит
И ей, р о с к о ш н а я, д а р и т
В с е, ч е м в о з в ы ш е н н а с в о б о д а.

Строки, набранные у нас разрядкой, в тексте суворинского издания отсутствуют. Искажен пропуском замечательный абзац в этой же поэме, посвященный описанию грозы:

Уже безмолвие лесное
Налетом ветра смущено;
Уже немирно и темно
Реки течение ночное;
Широко зыблются на нем
Теней раскидистые чащи,—
Как парус, в воздухе дрожащий,
Почти упущенный пловцом,
Когда внезапно буря встанет,
Покатит мутные струи,
Рванет крыло его ладьи
И над пучиною растянет.

Ст. 200—207 у Флоридова отсутствуют. Упущено также и начало последнего абзаца (стр. 234—238):

Как сладко узнику младому,
Покинув тьму и груз цепей,
Взглянуть на день, на блеск зыбей,
Пройти по брегу луговому,
Упиться воздухом полей.

В результате эта—одна из лучших, а может быть и самая лучшая—пьеса Языкова опубликована в совершенно искаженном виде.

В распоряжении Флоридова был уже и некоторый архивный фонд, как материалы Публичной Библиотеки, однако он ими совершенно не воспользовался и не произвел никакой, хотя бы самой минимальной, проверки печатных текстов, вследствие чего был узаконен ряд ошибок прежних публикаций. Очень любопытный пример в послании к А. Н. Вульфу („Помнишь ли, мой друг застольной"); стихи 33—39 у Суворина (так же, как и в издании 1833 г.) читаются так:

И порой, как в мой приют
Загулявшиеся други
Ненароком забредут—
Молодцов любезных шайка
Станет в круг, середь двора:
Нашу праздность тешит свайка...
Право, славная игра.

Между тем в автографе, который во время работы Флоридова над языковскими текстами уже находился в Публичной Библиотеке, последние два стиха читаются следующим образом:

Нашу праздность тешит свайка,
Православная игра.

В некоторых случаях редактор заметно выправлял Языкова, устраняя то, что ему казалось неправильностью или отклонением от каких-то норм. Например в поэме „Услада" стих:

Но кто, певец, любви не воспевал

исправлен на

Какой певец любви не воспевал.

Исчезли некоторые характерные для Языкова неологизмы: так в „Баян к русскому воину" вместо: „врагов тьмочисленные рати" читаем:

Врагов бесчисленные рати.

Число таких примеров можно значительно умножить.

Но при всех своих дефектах это издание все же явилось единственным, которое могло бы уже служить основой для дальнейшей работы. Его появление значительно оживило и языковские изучения, и, главное, архивное собирание.

Языковиана этой эпохи начинается с 1901 г., когда в „Новом Времени" было опубликовано письмо некого Юкельсона о принадлежащем ему большом собрании материалов, связанных с Языковым. Позволим себе привести пространную выдержку из этого письма: „Гостя несколько времени назад в деревне Колоды, Гдовского уезда, Петербургской губ., я получил от владелицы этой деревни, вдовы контр-адмирала М. А. Сарычевой, сверток бумаг. При осмотре свертка я заметил много стихотворений, несомненно автографов: Языкова, Жуковского, Козлова, Судовщикова, графа В. Соллогуба и др. Относительно стихотворений Н. Языкова (их свыше тридцати) можно à priori сказать, что большая часть их еще не была напечатана, так как многие из них обращены к А. С. Дириной и ее дочери М. Н. Дириной (бабушке и матери г-жи Сарыче-

вой), впоследствии жене дерптского профессора славянского права фон Рейц, в семье которого Жуковский и Языков были своими людьми, а граф Соллогуб жил пансионером. Послания Языкова к А. С. Дириной и ее дочери М. Н. Дириной носят по большей части шуточный характер и несомненно представляют большой интерес как характеристика далеко не блестящего материального положения, в котором вечно находился беспечный студент-поэт. Очень любопытны две поэмы Языкова, посвященные той же М. Н. Дириной, к которой, судя по нескольким стихотворениям, поэт был неравнодушен. Они носят такое заглавие: „Мой апокалипсис. Издание второе, исправленное и примечаниями умноженное. 1825 г. Дерпт", с эпиграфом из Lafontain'a и 2) с таким курьезным заглавием: „Путешествие на чухонской паре из Дерпта в Ревель, в стихах лирико-романтических, а пуще всего разномерных. Сочинил пребывающий у Дерптских муз, но намеревающийся со временем водить их самих за нос, Негуляй Язвиков, а примечаниями дополнил Дилитант Петербургского Парнасса Велиглав Кузинок, Reval 1823". Среди остальных автографов Языкова много элегий, посланий к друзьям и других стихотворений. Все это несомненно писано собственноручно поэтом и имеет даже точные даты годов (с 1823 по 1826 включительно), месяцев и чисел" и т. д. [19]

М. Н. Дирина была одной из ближайших дерптских знакомых Языкова. В 20-х годах (годы студенчества Языкова) она жила вместе с матерью и братом в Дерпте, и их дом, *наряду с домом Мойеров, был одним из центров, где собиралась русская молодежь.* В хорошенькую Марию Дирину были влюблены многие из языковского кружка, и сам Языков, слегка прикидываясь влюбленным, писал ей неоднократно послания, мадригалы, вписывал в ее альбом свои стихи, посвящал ей поэмы и пр. Таким образом понятно, какой огромный интерес должны были представлять бумаги М. Н. Дириной.

Материалы, о которых сообщил Юкельсон, вскоре же были приобретены Публичной Библиотекой: в отчете за 1902 г. дано полное описание их. Однако оказалось приобретенным не все, о чем сообщал владелец. В частности отсутствует автограф (или список) „Путешествия в Ревель". Эти материалы были опубликованы И. А. Бычковым: сначала в 1903 г. в „Русской Старине" несколько стихотворных записок к А. С. Дириной, элегия „О деньги, деньги", стихотворение „Зима пришла", к ним же редактор присоединил и несколько писем Языкова из архивных собраний Рукописного отделения (к Вульфу, Очкину и Пушкину). Более богатой была вторая публикация в „Известиях Отделения русского языка и словесности Академии Наук" (1911), где были даны остальные материалы, переданные Юкельсоном. Здесь был опубликован ряд студенческих песен, упомянутая в письме Юкельсона поэма „Мой апокалипсис", пьеса „Вторая присяга", написанная под впечатлением присяги Николаю после бывшей уже присяги Константину, и др. [20]

Но этими бумагами не ограничивалось языковское богатство, находившееся в семье Сарычевых. Кроме серии бумаг, переданных Юкельсону (в том числе был и один альбом), у Сарычевых находился еще ряд альбомов М. Н. Дириной с большим количеством автографов и списков пьес Языкова. Эти альбомы оставались совершенно неизвестными, и только в 1910 г. при работе над подготовкой к печати писем Языкова их обследовал и частично опубликовал проф. Е. В. Петухов. Е. В. Петухов дал в своем издании писем (о котором еще неоднократно будет речь ниже) подробнейшее описание всех альбомов. К сожалению он не воспроизвел всех пьес Языкова, находящихся в этих альбомах, а ограничился только воспроизведением стихотворений, не бывших до того времени в печати. Однако в числе последних оказалась почему-то и пьеса „Завещание" („Когда умру, смиренно совершите"), хотя последняя является только разночтением, но отнюдь не новым текстом. Текст ее опубликован в издании 1833 г. под заглавием „Песня". Очевидно редактора ввело в заблуждение заглавие.

Конечно приходится весьма сожалеть и досадовать, что редактором не были хотя бы указаны все разночтения, — судьба этих альбомов в настоящее время неизвестна; возможно, что они погибли. Таким образом утрачен исключительный по ценности материал для истории текста. Очень вероятно, что редактором и не производилась сверка текста и он просто механически отметил (ограничившись голой регистрацией) то, что было помещено в издании Суворина. Это привело между прочим к исключительно крупной

Н. М. ЯЗЫКОВ
Портрет неизвестного художника
Институт Русской Литературы, Ленинград

и грубой ошибке. Е. В. Петухов в своем описании сообщает о вложенных в альбомы нескольких стихотворениях Языкова, писанных им самим или другими лицами на отдельных листах. В числе этих стихотворений имеется список пьесы „Извинение. 20 декабря 1825 г." Редактор дает ссылку на издание Суворина (т. II, стр. 157) и этим ограничивается. В суворинском же издании текст перепечатан из названной выше статьи Семевского, который опубликовал его не в полном виде. Свою публикацию Семевский сопроводил следующей заметкой:

„Альбомные стихи, которыми Языков не мало платил дань современной моде, не все и не всегда гласили у него о любви. Некоторые из них, напротив, выражают мысли и чувства поэта по поводу различных жизненных вопросов. Перед нами, напр., в е с ь м а з а м е ч а т е л ь н о е рукописное его стихотворение „Извинение", написанное им в альбом М. Н. Дириной „20 декабря 1825 г." К сожалению, мы можем привести только начало стихотворения:

Я не исполнил обещанья:
Не все и плохо написал;
Но я прекрасного желал,
Но я имею оправданья
Во глубине моей души.
Они довольно хороши:
Я жажду славы и свободы.
Но что пророчат мне мечты?
— Предвижу царство пустоты
И прозаические годы—...

Содержание отрывка, многозначительная дата: д е к а б р ь 1825 г., невозможность его полной публикации совершенно отчетливо свидетельствуют о политическом характере этого стихотворения. Политическая лирика молодого Языкова так мало известна, что нельзя не посетовать на совершенно непростительную небрежность редактора, вследствие которой теперь затерялся — может быть уже навсегда — один из интереснейших памятников языковской лирики.

Другим гнездом языковских текстов является альбом Светланы—Александры Андреевны Воейковой. Культ Воейковой в стихах Языкова известен достаточно. Биографы наперебой говорят об исключительном увлечении поэта Воейковой, его глубокой любви к ней и проч. Так например, А. С. Поляков пишет: „Почти весь дерптский, самый продуктивный, период творчества Н. М. Языкова прошел под огромным влиянием Воейковой. Ради нее разгульный молодой поэт просиживал дни и ночи за стихами, посвящал „божественной" свои элегии, послания, повести, которые потом тщательно переписывал для „Светланы" и которые мы теперь можем читать в подлинниках в ее альбомах и видеть среди ее бумаг. Н. М. Языков был очарован Воейковой: „и все было в ней прекрасно, и тайна в ней великая жила". Как поэт он создан был для „Светланы", она ему „песни первые внушила и светлый указала путь". Всю свою жизнь Языков не мог забыть

Огонь ее приветливого взора,
И на челе избыток стройных дум,
И сладкий звук речей, и светлый ум
В лиющемся кристале разговора.
(Н. В. Соловьев. „История одной жизни".)

Во всем этом несомненное преувеличение и биографизирование литературных фактов. Переписка поэта, некоторые воспоминания заставляют иначе расценивать этот момент в биографии поэта. Скорее всего это было чисто головное увлечение, литературная влюбленность, создание поэтического образа, как бы объединяющего жизнь и поэзию, но тем значительнее ее роль в истории его творчества, и альбомы Воейковой несомненно имеют огромнейшее значение для языковской текстологии. Так же, как и Дириной, Языков очень много писал и для нее, и ради нее, и также неоднократно пере-

писывал в ее альбомы свои стихи, написанные по другим поводам, и наконец она сама неоднократно (так же, как и М. Н. Дирина) вписывала в свои альбомы его стихи. Помимо романтики здесь была и некоторая практическая сторона, так как Воейкова являлась, в известной степени, агентом своего мужа А. Ф. Воейкова и усердно вербовала для его изданий стихи Языкова. И за этот период очень значительное количество стихов Языкова появилось в журналах Воейкова.

Альбом Воейковой был опубликован в 1915 г. и тогда же вышел отдельно как вторая часть монографии Н. В. Соловьева („Бумаги А. А. Воейковой")[21]. В настоящее время этот альбом находится в Рукописном отделении Института Русской Литературы Академии Наук. Сопоставление текста альбома с печатным его воспроизведением обнаруживает некоторые ошибки в последнем, но не слишком значительные и существенные: кое-что должно несомненно отнести за счет опечаток. В основном же издание А. С. Полякова выполнено весьма добросовестно и четко. Из текстов альбома наибольший интерес представляли: автограф „Новгородской песни", печатавшийся обычно с теми искажениями, которые внес Булгарин при печатании пьесы в „Северной Пчеле" (без ведома Языкова) и которые остались неисправленными в издании 1833 г. *, и автограф поэмы „Ала", до того времени известной только в отрывке. Остальное — „Воейковская лирика", мало что прибавлявшая к известному облику поэта.

Альбом Воейковой, описанный А. С. Поляковым, конечно не являлся единственным Вероятно имелись и другие, оставшиеся и остающиеся нам неизвестными; по крайней мере в Рукописном отделении ИРЛИ хранится еще небольшой альбомчик, принадлежавший А. А. Воейковой, в котором находится автографическая запись одной из студенческих песен Языкова.

Но самым главным и основным фондом для изучения является языковский архив, хранящийся в ИРЛИ. Ниже мы подробнее остановимся на нем, пока же только отметим, что в настоящем своем виде он состоит из двух источников: бумаги А. М. Языкова, находившиеся до осени 1931 г. в Рукописном отделении Библиотеки Академии Наук, в которых имеется огромная переписка поэта — письма его и к нему, различные личные документы, ряд автографов и списков стихотворений, в том числе тетрадь списков, очевидно подбиравшаяся при подготовке Языковым издания 1833 г. В текстологическом отношении первостепенное значение имеют письма Языкова к родным, главным образом к брату Александру Михайловичу, которые заключают большое количество стихотворений. Языков все время держит брата в курсе своих литературных работ, сообщая ему о своих планах и замыслах, ему же первому сообщал он и посылал на отзыв законченные свои вещи. Иногда эти стихотворения прилагались на отдельных листках, иногда включались в текст письма и благодаря этому почти все сохранились. Автографы же стихотворений, прилагавшихся на отдельных листках, в подавляющем большинстве случаев до нас уже не дошли.

Для текстологии Языкова представляют интерес и письма его брата к родным и друзьям, например к В. Д. Комовскому, так как в них он также очень часто сообщает тексты каких-либо новых пьес брата.

Другая часть этого архива — бумаги Д. Н. Садовникова, приобретенные покойным академиком Н. А. Котляревским для Пушкинского Дома. Известный волжский поэт и фольклорист-собиратель Д. Н. Садовников был одним из первых биографов поэта. Весь тот архив А. М. Языкова, который хранился в Рукописном отделении Библио-

---

* 2-я строфа в изд. 1833 г. и всех последующих читается:

Не так ли, о други! К отчизне любовь,
Краса благородного сердца,
На битве за славу и честь
Смела, и сильна, и победна?

В автографе альбома Воейковой:

Не так ли, о други, к отчизне любовь,
Краса благородного сердца,
На битве за вольность и честь
Смела и сильна и победна!

теки Академии Наук, находился долгое время в его распоряжении, кое-что он собрал и сам, получил некоторые воспоминания об Языкове и т. д. По его просьбе например написал свои воспоминания об Языкове университетский товарищ и земляк поэта А. Н. Татаринов. Смерть оборвала работу Садовникова, как ранее оборвала аналогичную работу Ф. В. Чижова (и как, добавим попутно, оборвала позже работу А. С. Полякова), а при жизни он успел опубликовать только письма Пушкина к Языкову.

После смерти Садовникова бумаги вернулись обратно в семью, но видимо не целиком. По крайней мере в бумагах садовниковского архива кроме ряда копий сохранилось и большое количество подлинных материалов как из эпистолярного, так и из поэтического наследия Языкова. В частности, наряду с отдельными автографическими списками, сохранился и альбом А. М. Языкова, состоящий всецело из стихов его брата. Большей частью они переписаны рукой владельца альбома, но там же находится и ряд пьес, записанных самим поэтом.

В 1913 г. вышел в свет первый выпуск предпринятого Академией Наук издания языковского архива под ред. проф. Е. В. Петухова, посвященный письмам поэта за студенческий период его жизни [22]. Поскольку письма, как уже сказано выше, заключали в себе обширный текстовой (стихотворный) материл, это издание оказалось и ценнейшим источником для изучения поэтического творчества Языкова. Чтобы дать представление о значении этого издания, достаточно сказать, что в нем опубликовано 43 автографа, из которых около десятка являлось совершенно новыми текстами, но помимо этого в „Приложениях" редактор ввел ряд текстов из других источников. Целью его было собрать воедино все неизвестные до того времени пьесы поэта, относящиеся к дерптскому периоду. С этой целью помимо упомянутых уже материалов, извлеченных из альбомов М. Н. Дириной, были использованы и материалы архива.

Однако выбор был не совсем удачен и точен. Из двух опубликованных пьес (стихотворение „Я помню был весел и шумен мой день" и неизвестно против кого направленная эпиграмма „Увы, я убежден решительно и верно") первая была уже известна в печати, хотя и не вошла в издание Суворина [23], вместе с тем некоторые действительно неопубликованные пьесы, находившиеся среди бумаг языковского архива, остались им незамеченными. Так например, большой интерес представляет ряд неизвестных студенческих песен.

Студенческие песни—„бурсацкая лирика"—занимают очень видное место в творчестве молодого Языкова. Это объясняется обстановкой и специфическими условиями Дерптского университета, где господствовали нравы и обычаи германских университетов. И Языков был не единственный поэт — создатель песен дерптского студенчества, но конечно крупнейший среди них, и многие из его песен скоро стали очень популярны и в других университетах. Товарищ Языкова по университету А. Н. Татаринов рассказывает в своих воспоминаниях о поэте: „В последнее время на всех наших сходках, в особенности по настоянию Языкова, пелись вместо немецких преимущественно наши народные и цыганские песни... На всех пирушках всегда пелись с особенным восторгом и песни Языкова, некоторые из них были переведены на немецкий язык и доселе [писано в 1855 г.] поются в Дерпте не только русскими, но и немецкими буршами".

Позже Языков явился основателем русской корпорации „Рутения", и это снова вызвало потребность в специальных „своих" песнях. Одна из песен Языкова надолго пережила свою эпоху и, слегка изменившись, вошла в репертуар демократического студенчества. Это знаменитая

Из страны, страны далекой,
С Волги-матушки широкой...

До последнего времени всего было известно около пятнадцати студенческих песен Языкова: можно было с уверенностью утверждать, что это далеко не исчерпывало всего его песенного наследства. И действительно в бумагах Языкова нашелся еще ряд пьес, не известных исследователям и не вошедших ни в одно из прежних изданий. И без сомнения эти находки — не последние, и можно смело рассчитывать на дальнейшие поиски в этом направлении. В частности, некоторые мемуаристы утверждают, что

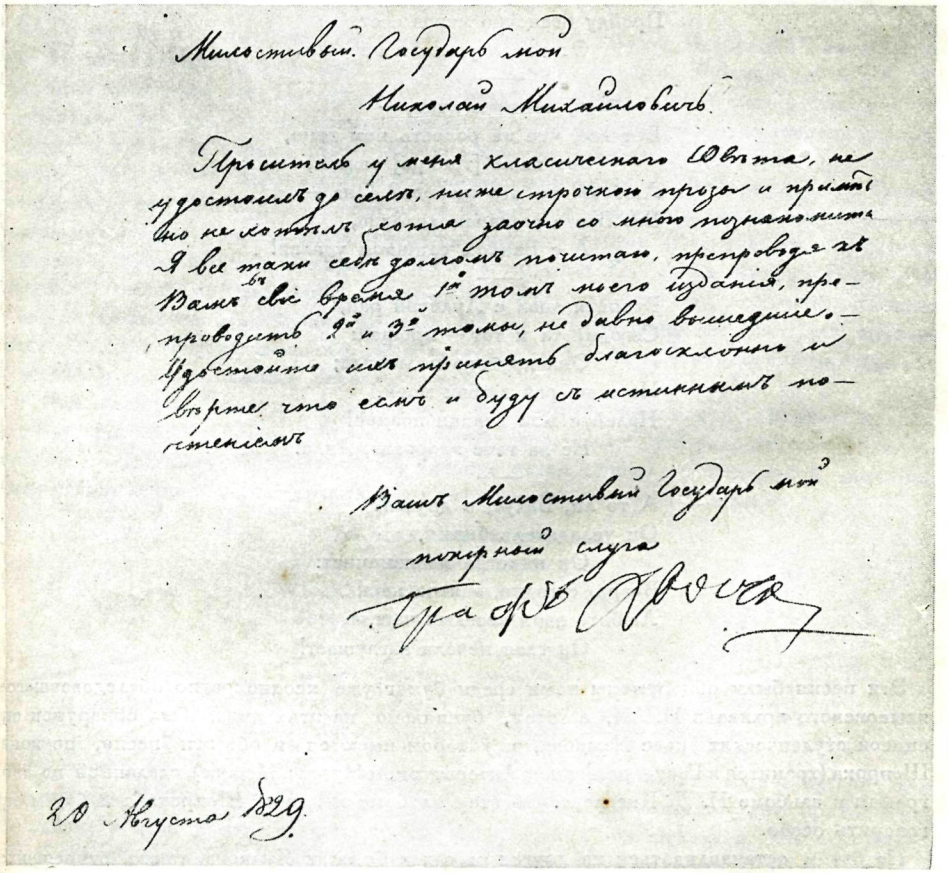
Языковым был переведен ряд немецких студенческих песенок, в том числе и знаменитая „Крам-бам-були“ („Крамбамбули, отцов наследство, питье любимое у нас...“).

В качестве примера приводим две студенческие песенки Языкова из вновь найденных:

I

От сердца дружные с вином,
Мы вольно, весело поем:
Указов царских не читаем,
Права студентские поем,
Права людские твердо знаем,
И жадны радости земной —
Мы ей — и телом и душой!

Когда рогатая луна
На тверди пасмурной видна, —
Обнявши деву молодую,
Лежим — и чувствует она
Студента бодрость удалую.
И, суеверие людей,
Не ожидай от нас мощей!



Милостивый Государь мой
Николай Михайловичь.

Проситель у меня класическаго Овѣта, не удостоилъ до селѣ, ниже строчкою прозы и примѣтно не хотѣлъ хотя заочно со мною познакомиться. Я все таки себѣ долгомъ почитаю, препроводя къ Вамъ въ свое время 1й томъ моего изданія, препроводить 2й и 3й томы, не давно вышедшіе. — Удостойте ихъ принять благосклонно и вѣрте что есмь и буду съ истиннымъ почтеніемъ

Вашъ Милостивый Государь мой
покорный слуга
Графъ Хвостовъ

20 Августа 1829.

ПИСЬМО Д. И. ХВОСТОВА К Н. М. ЯЗЫКОВУ ОТ 20 АВГУСТА 1829 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград

Наш ум свободен: и когда,
Как не гремит карет езда,
И молчаливо пешеход
Глядит, как вечера звезда
Сребрит стихающие воды;
Бродя по городу гурьбой,
Поем и вольность и покой!

От сердца дружные с вином,
Мы шумно, весело живем;
Добро и славу обожаем,
Чинов мы ищем не ползком,
О том, что будет, не мечтаем;
Но радость верную любя
Пока мы живы для себя!

II

Налей и мне, товарищ мой,
И я, как ты, студент лихой:
Я пью вино, не заикаясь,
И верен Вакху мой обет:
Пройду беспечно через свет,
От хмеля радости качаясь.

Свобода, песни и вино, —
Вот все, что на радость нам дано,
Вот наша [троица] святая!
Любовь! но что любовь? Она —
Без Вакха слишком холодна,
А с Вакхом слишком удалая!

Вчера я знал с Лилетой рай,
Сегодня та и тот — прощай:
Она другого полюбила;
Но я не раб любви моей,
Налейте мой стакан полней!
Не за твое здоровье, Лила!

А то ли, Бахус, о друзья?
Он усладитель бытия,
Он никогда не изменяет:
Вчера, сегодня, завтра наш!
Любите звон веселых чаш,
Он глас печали заглушает!

Эти песни были обнаружены нами среди бумаг уже неоднократно обследовавшегося языковского архива в ИРЛИ, а затем, буквально на этих днях, был обнаружен еще список студенческих пьес Языкова, в котором имеются и обе эти песни, по копии Шенрока (хранится в Государственном Литературном Музее в Москве), сделанной по автографам в альбоме Н. Д. Киселева. Об этом альбоме и копии Шенрока мы будем ещё говорить особо.

Не будем останавливаться на других пьесах в бумагах Языкова, также относящихся к дерптскому периоду и также не вошедших в орбиту внимания редактора „Языковского архива". Попутно отметим, что в тех же бумагах поэта и брата его, которые сохранились в Академии Наук, имеется целый ряд неопубликованных текстов, относящихся

уже к более поздним годам (1831—1846). Несколько эпиграмм и посланий рассыпано в письмах, есть ряд посланий на отдельных листках — в автографах и копиях, — среди последних: к Ив. Киреевскому (1831), к Маркевичу (1831), к Петру Киреевскому (1845), к проф. Иноземцеву (1844). Особенно примечательно послание к Маркевичу как характерный памятник националистских тенденций, тесно связывавших будущих московских славянофилов с деятелями украинского движения.

В АЛЬБОМ МАРКЕВИЧУ

Украйны, некогда свободной—
И поэтически живой—
Цевницы хитрою игрой
Вы предаете дух народный.
Как чуден новый ваш рассказ,
Как просты древние напевы.
Но в наши дни поймут ли вас
Украйны юноши и девы?
Так не к пленительным мечтам
Меня будили вы, и втайне
Хотя завидовал я вам,
Но не завидовал Украйне.

После выхода первого тома „Языковского архива" и „Бумаг Воейковой" сколько-нибудь крупных публикаций не появилось. В. В. Буш в „Русском Библиофиле" (1916, IV) напечатал найденное им „Послание к Кулибину" из альбома последнего [24]. Находка эта очень важна, так как она несколько обогатила наше представление о раннем периоде творчества поэта (за период 1819—1821 гг. мы располагаем всего тремя пьесами); в том же 1916 г. Ю. Н. Верховский опубликовал одну пьесу из собрания С. А. Рачинского[25]; за время революции, несмотря на целый ряд открытых заново архивов и огромное количество впервые опубликованных текстов поэтов пушкинского окружения, языковских среди них нет. Правда, в 1927 г. в журнале Гос. Акад. Худож. Наук „Искусство" было опубликовано в качестве неизданного послание Языкова к сестре Екатерине Михайловне Хомяковой[26], но к сожалению оно было уже опубликовано—и даже трижды: сначала в „Москвитянине" (1845, № 4) и оттуда вошло в издание Суворина и ранее в издание Перевлесского[27].

В этот же период появилась еще одна „языковская публикация". В еженедельном журнале „Красная панорама" была помещена небольшая историко-литературная заметка Н. П. „Из короба собирателя", в которой автор сообщал о подлинной „автобиографической записи" Языкова в альбоме московского мецената Шеншина:

Уважь поклоном горделивца,
Уйми пощечиной сварливца,
Подмажь судейский скрип ворот,
Заткни куском собаке рот—
И смело бейся об заклад,
Что все четыре промолчат.
(Н. П. „Из короба собирателя".—„Красная панорама" 1927, № 41.)

Не видя этого альбома, трудно утверждать, действительно ли эта запись сделана собственноручно Языковым, но стихи во всяком случае не языковские. Они принадлежат Державину и помещены в III томе гротовского издания под заглавием „Правило жить".

Единственным очень важным приобретением языковианы за этот период было только обнаруженное в бумагах архива Семевского стихотворение, посвященное памяти Рылеева (опубликовано Н. В. Измайловым в „Атенее"). Находка эта была еще и потому важна, что распутывала один любопытный вопрос, связанный уже с наследством Рылеева. Найденное стихотворение читается так:

Не вы ль, убранство наших дней,
Свободы искры огневые—
Рылеев умер, как злодей.—
О, вспомяни о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей.

7 августа 1826.

Это стихотворение, как замечает редактор, не совсем неизвестно. Два стиха из него в несколько иной редакции:

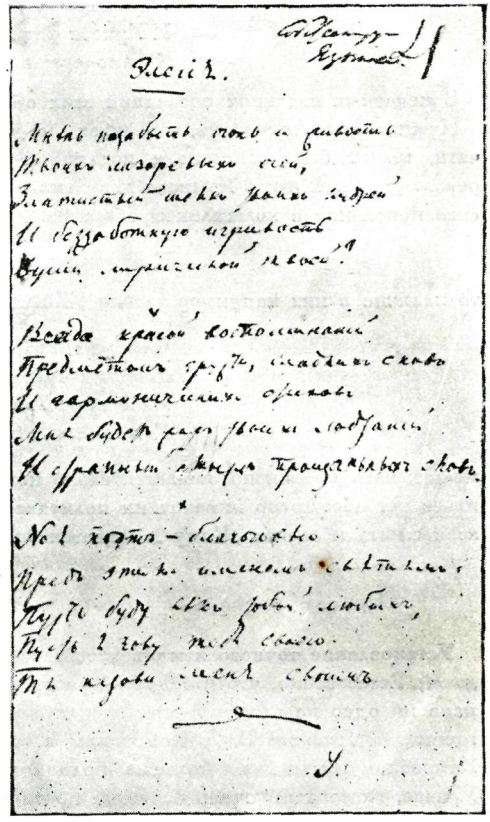
Рылеев умер, как злодей,
Да вспомянет его Россия

печатались в заграничных изданиях, как якобы сказанные самим Рылеевым перед казнью на эшафоте.

П. А. Ефремов еще в 1872 г. указывал на несостоятельность этой легенды и утверждал, что цитируемые два стиха принадлежат Языкову, являясь отрывком цельного стихотворения („Два стиха, сказанные будто бы на эшафоте, составляют начало пятистишия, написанного Н. М. Языковым"). Однако ни Ефремовым, ни кем-либо другим текст полностью не был опубликован, и утверждение Ефремова осталось недоказанным,—тем более, что некоторые текстологи чрезмерно подчеркивают недоверие к сообщениям и утверждениям Ефремова. Достоверность же обнаруженного в бумагах Семевского текста бесспорна, ибо он переписан из рукописного сборника М. И. Осиповой—дочери владелицы Тригорского, известной приятельницы Пушкина и самого Языкова П. А. Осиповой. Сообщение же Ефремова видимо опирается на другой источник, так как ему было известно не семистишие, а пятистишие. Измайлов полагает что первые два стиха как они даны в списке, извлеченном из сборника Осиповой, кажутся как будто испорченными, и в подлиннике быть может стихотворение „звучало иначе".

Наконец, как уже было только что отмечено, совсем надавно был найден еще один богатый источник языковских текстов. Это тетрадь Шенрока, в которой находятся и упомянутые выше списки студенческих песен. Тетрадь эта обнаружена среди бумаг Бартенева; она состоит из подробного описания альбома Н. Д. Киселева, копий с писем Языкова к Киселеву и целого ряда его стихотворений, записанных в этот альбом. Н. Д. Киселев—впоследствии известный дипломат, посол в Париже и Италии, в 20-х годах либеральный студент Дерптского университета—принадлежал к числу ближайших друзей Языкова в этот период. Известны три послания Языкова к Киселеву. Альбом (в копии Шенрока) дает еще несколько, а кроме того ряд новых разнообразных пьес поэта. Правда, многое из того, что находится в этом альбоме, уже обнаружено по другим источникам, но известно по спискам, авторитет которых не всегда был бесспорен, список же Шенрока, восходящий к такому первоклассному источнику, как альбом Киселева, устраняет всякие сомнения и является ценнейшим подтверждением авторства многих вещей Языкова, которые до сих пор приходилось приписывать ему только предположительно. Так например, в списках известен ряд эротических элегий Языкова, из которых некоторые сочетаются и с религиозным вольнодумством (списки—в бумагах Краевского, Помяловского, Ф. Кони); присутствие этих пьес в тетради Шенрока окончательно решает вопрос, устраняя всякие сомнения в их подлинности. В той же тетради, наряду со списком одиннадцати студенческих песен, находятся, что исключительно важно, копии подлинных автографов революционных стихотворений Языкова, напечатанных в свое время в „Полярной Звезде" Герцена, известных по многим спискам, также не всегда достоверным, а иногда и путавшим Языкова с Рылеевым. Наконец имеется несколько совершенно новых, по другим источникам неизвестных пьес, в том числе две шутливых поэмы: „Дом сумасшедших в Дерпте"—сатира на дерптских профессоров, подражание знаменитому „Дому сумасшедших" Воейкова, и „Валдайский узник"—пародия на „Шильонский узник". Обе эти поэмы конечно шутливые шалости,

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ Н. М. ЯЗЫКОВА «ЭЛЕГИЯ»
Институт Русской Литературы, Ленинград



которым и сам поэт видимо не придавал серьезного значения, но как свидетельство литературных вкусов и общественных интересов молодого Языкова они приобретают несомненный интерес *.

Обзор языковских текстов был бы неполон, если бы мы не коснулись также текстов Языкова, не входящих в издания его стихотворений, но известных по различным нелегальным сборникам. Впервые ряд стихотворений Языкова был помещен в „Полярной Звезде“ Герцена (1859, V). Здесь было напечатано восемь пьес Языкова, среди них: „Н. Д. Киселеву“, „К халату“, „Свободы гордой вдохновенье“, „Еще молчит гроза народа“, „Кому достанется она“, „Гимн (Боже, вина, вина)“ и др. Отсюда позже они перепечатывались и в других заграничных изданиях: почти целиком они были включены в известный сборник Огарева „Русская потаенная литература“; стихотворение „Гимн“—пародия на „Боже, царя храни“—в первом русском революционном песеннике, изданном также Герценом, но с ложным обозначением места издательства на обложке („Свободные русские песни“, Кронштадт, 1863); ряд пьес перепечатывался в лейпцигских сборниках Каспровича „Лютня“. Из всех этих пьес в легальной печати было известно только стихотворение „Дерпт“, печатавшееся обычно с пропуском одного стиха; в „Полярной Звезде“, как и автографах, читается:

* Уже когда настоящая статья была написана, удалось ознакомиться и с подлинником альбома, принадлежащего внуку Киселева—Н. П. Киселеву и переданного им на хранение в Ленинскую библиотеку. Таким образом все новые тексты удостоверяются автографически; при этом нужно добавить, что, как выяснилось при сличении автографов из собрания Киселева и списков Шенрока, последние не всегда безукоризненно точны.

Здесь гений жаться не обязан,
И Христа ради не привязан
К самодержавному столбу.

В печатных изданиях последний стих обычно заменялся точками.

Нужно однако отметить, что далеко не все из того, что появилось в нелегальной печати, может быть отнесено к подлинной революционной лирике; в действительности революционный фонд Языкова довольно скромен. Если например „Дерпт" оправдывал свое появление в нелегальном сборнике крамольной строчкой

К самодержавному столбу—

то наличие в них например элегии „Жизнь" (в сборнике „Лютня"):

Счастлив, кто с юношеских дней,
Живыми чувствами убогой,
Идет проселочной дорогой
К мете таинственной своей... и т. д.

может быть объяснено исключительно недоразумением: в этой любовной лирической пьесе нет абсолютно никаких ни политических, ни атеистических моментов. Не вполне ясен смысл и элегии „Кому достанется она, нерукотворная Мария".

III

Установление точного языковского текста в основном представляется не легкой задачей. Естественно, что в основу должны быть положены прижизненные издания; однако ни одно не является вполне достоверным. Издание 1833 г. велось в Петербурге приятелем Языкова В. Д. Комовским, в то время как сам поэт жил в Симбирской губ. Комовскому были даны большие полномочия вплоть до права на переделки текста. Правда, Комовский очень бережно, почти пиэтически относился к тексту Языкова, но все же кое-какие правки были им сделаны; более основательно пострадало издание от цензурного вмешательства; наконец, как ни внимательно и тщательно работал Комовский, отсутствие личной корректуры автора чувствуется неоднократно. Издание 1844 г. („56 стихотворений Н. М. Языкова") было предпринято племянником поэта Д. А. Валуевым, и сам Языков позже неоднократно уверял, быть может несколько и преувеличивая, что он не принимал абсолютно никакого участия в этом издании. „Это изданьице—маленькое,—писал он Гоголю,—тут кое-что, не знаю как и не знаю зачем, собрано". Видимо более личного внимания было проявлено к книге стихов 1845 г. („Новые стихотворения"), но тяжелая болезнь Языкова мешала ему отдаться всецело делу издания. Таким образом тексты всех изданий, особенно издания 1833 г., не могут считаться вполне достоверными. Сохранившиеся же автографы относятся по большей части к первым редакциям, зачастую весьма отличным от дефинитивного языковского текста.

В письмах к родным, как и к В. Д. Комовскому (период 1831—1832), Языков неоднократно сообщает о своей работе над переделкой своих стихов, и эта работа, как свидетельствует сопоставление вариантов, действительно была очень значительна, но автографы этих поздних редакций отсутствуют почти начисто. Сохранилась только одни тетрадь копий, видимо предназначенная к печати, но она относится к более раннему, еще дерптскому, периоду и едва ли может быть датирована позже 1828 г. Кроме того и тот оригинал, который был послан Комовскому для печати, был не автографичен, а видимо писарской и едва ли тщательно выверенный. По крайней мере Пушкин, при самом беглом просмотре (вернее проглядывании, так как Комовский „боялся" доверить ему рукопись), обнаружил несколько ошибок. Затем во всех изданиях мы имеем дело с цензурными искажениями и снять их удается далеко не всегда. Так например, пьеса „На смерть А. А. Дельвига" и в „Северных Цветах" (1832), где она помещена первоначально, и в издании 1843 г. печаталась в следующем виде (приводим первую строфу):

Там, где картинно обгибая
Брега, одетые в гранит,
Нева, как небо, голубая,
Широководная шумит,
Жил-был поэт. В соблазны мира
Не увлеклась душа его;
Ни в чем не видел он кумира
Для вдохновенья своего,
И независимая лира
Чужда была страстям земным,
Звуча наитием святым.

Однако эта редакция явилась вынужденным изменением под давлением цензуры. Об этом свидетельствует сам поэт в письме к В. Д. Комовскому. В подлинной редакции стихотворения ст. 7—11 читались так:

Шелом и царская порфира
Пред ним сияли: он кумира
Не замечал ни одного:
Свободомыслящая лира
Ничем не жертвовала им.

Стихотворение „Кудесник" в издании 1833 г. начинается следующим образом:

На месте священном, где с дедовских дней
Счастливый дарами природы,
Народ Ярославов по воле своей
Себе избирает и ставит князей...

В „Невском Альманахе" (1827) второй стих читался иначе:

По праву наследной свободы.

Цензурная замена в изд. 1838 г. настолько очевидна, что, казалось бы, исправлением стиха по первоначальной печатной редакции вопрос о точном тексте этой пьесы вполне решается, но оказывается (свидетельства писем и других источников), что и первая редакция (т. е. редакция „Невского Альманаха") является также вынужденной. Подлинный же текст поэта сохранился только в одном из ранних списков (в альбоме А. М. Языкова), где он читается:

Счастливый дарами свободы.

Возьмем еще одно начало. Первые четыре строфы в „Тригорском" в печатных редакциях всюду читаются:

В стране, где вольные живали
Сыны воинственных славян,
Где гордо именем граждан
Они друг друга называли...

В автографах же „Тригорского" (их сохранилось два) третий стих читается: „Где сладким именем граждан". Что здесь: исправление автора? Поправка чисто эстетического порядка? Такое объяснение было бы вполне законным, однако переписка поэта дает возможность установить и в данном случае цензурное вмешательство, Языков же все время стремился сохранить первоначальную редакцию этого стиха.

Кроме цензуры немалую роль играла и цензура редакторская,—и в дальнейшем не всегда эти „исправления" оказывались устраненными. Так например, в „Деннице" 1834 г. было помещено одно из посланий к Вульфу, позже перепечатанное в издании 1845 г.:

Прошли младые наши годы.
Ты, проповедник и герой
Академической свободы,
И я—давно мы жребий свой,
Немецки-шумный и живой,
Переменили на иной.

По поводу этого послания редактор „Денницы" М. А. Максимович писал Языкову: „Мне очень жаль, что нельзя напечатать двух стихов противоцензурных: академической свободы (уж не природы ли опять курсивом?) и „как раба не угнетай". Проповедник свободы академической есть контрабанда в нашей литературе, особенно в текущую минуту... да уж поступитесь мне и словом „ночные". Это уж для меня собственно, ибо я помешался на целомудрии". Все эти поправки были сделаны, при чем Языков выправил только две первые, что же касается стиха со словом „ночные", то его он предоставил всецело усмотрению Максимовича: „Впрочем, во всем этом да будет воля ваша, особенно же в слове „ночные", которое вовсе предаю вашему литературному целомудрию".

В издании 1845 г. текст уже частично освобожден от вынужденных исправлений, однако же „целомудренная" поправка Максимовича, в которой конечно не было никакой нужды, сохранена и в этой редакции, и подлинное чтение можно восстановить только по сохранившемуся списку (рукой А. М. Языкова):

Поклон вам, прежние мои,
Пляшите, пойте, процветайте,
Великолепно оживляйте
Ночные шалости любви.

Вместо последнего стиха в „Деннице" и издании 1845 г.—„Пиры и шалости любви".

Можно привести и другие примеры такого типа. К сожалению не все поддается выправлению,—сплошь и рядом мы встречаем в переписке жалобы поэта на допущенное по тем или иным причинам искажение, однако подлинный текст при этом не приводится, или он утерян.

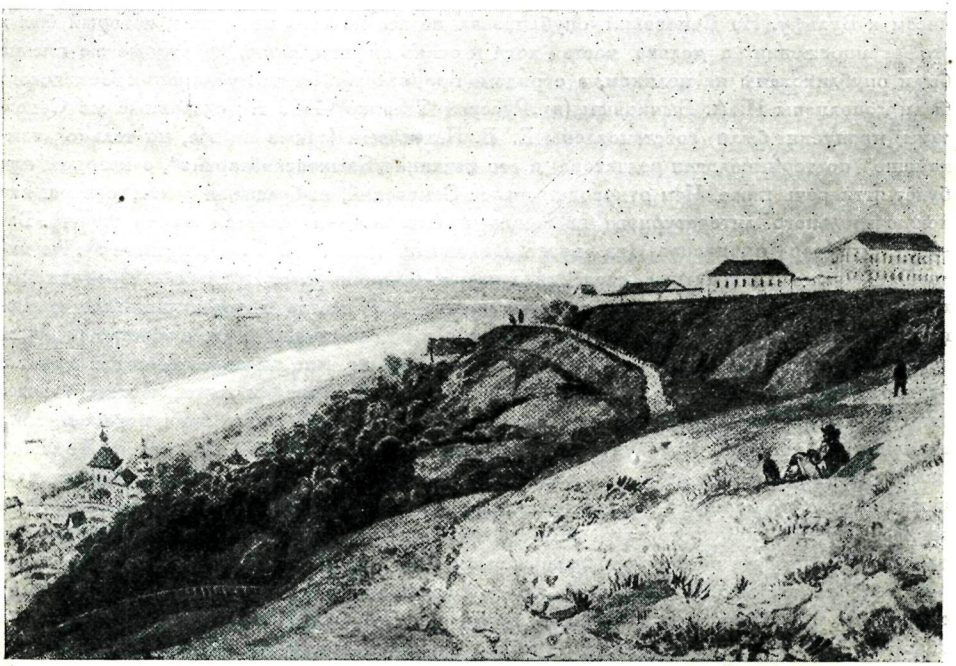
Попыткой собрать воедино и дать возможно полное собрание языковских текстов является издание, подготовленное к печати автором настоящего обзора (изд. „Academia"). Оно явится и первым критическим изданием, с привлечением всего первопечатного и доступного рукописного материала. В новое издание входит все, что входило в прежние издания, и то, что было опубликовано различными исследователями на страницах научных изданий или журналов. Конечно включен весь доступный редактору рукописный материал, обнаружены некоторые стихи Языкова в старых альманахах и т. д. И все же, нужно совершенно определенно заявить, и это издание ни в коем случае не может считаться окончательным ни в смысле критической проверки текста, ни в смысле полноты. Мы уже указали на те трудности, которые стоят на пути исчерпывающей проверки и установления дефинитивного текста; еще большие трудности стоят на пути установления исчерпывающего списка всех произведений Языкова. Далеко еще не все источники вскрыты и определены, и несомненно еще неоднократно будут всплывать новые языковские находки. Как пример можно указать, что известен не весь архив Елагиных; в частности нет (или почти нет) писем Языкова к Петру Киреевскому, письма же к близким друзьям часто сопровождались стихами (например письма к Вульфу, к Киселеву), не сохранилось архива корпорации „Рутения", первым председателем которой был Языков и для которой он написал ряд песен, не сохранилось архива фон дер Борга (во всяком случае о нем ничего неизвестно) и мн. др. Наконец могут оказаться находки также и в печатных изданиях: в журналах и альманахах 20—30-х годов Языков очень часто помещал свои стихотворения или совсем без подписи или подписывая какими-нибудь буквенными обозначениями, очень далекими от его подлинных инициалов. „Песнь Баяна" в „Благонамеренном" была подписана буквой „О"; элегия („Мне ль позабыть огонь и живость") в Московском Вестнике"—буквой „У". Первая пьеса вклю-

чена в издание 1833 г., но вторая так бы и могла остаться утраченной, если бы не обнаружение автографа этой элегии в альбоме А. Е. Комаровской (опубликована Б. Л. Модзалевским) [28].

Знаменитое послание к Вульфу, известное также под заглавием „Послание о журналистах", опубликовано впервые в альманахе „Эхо" без подписи. Там же была помещена следующая эпиграмма:

Прочь с презренною толпою!
Цыц, схоластики, молчать!
Вам ли черствою душою
Жар поэзии понять?
Дико, бешено стремленье,
Чем поэт одушевлен:
Там в безумном упоенье
Бог поэтов, Аполлон,
С Марсиаса содрал кожу!
Берегись его детей:
Епиграммой хлопнут в рожу,
Рифмой бешеной своей
В поэтические плети
Приударят дураков,
И—позор ваш, мрака дети,
Отдадут на свист веков!

Эта эпиграмма имеет любопытную историко-литературную судьбу. Ее считали направленной и против Белинского, и против Надеждина, и против Каченовского: авторство же ее приписывалось П. А. Вяземскому. С таким приурочением помещена она и в недавно вышедшем сборнике, посвященном русской эпиграмме и сатире [29]. Не будем



АКВАРЕЛЬНЫЙ РИСУНОК В. А. ЖУКОВСКОГО, ИЗОБРАЖАЮЩИЙ СИМБИРСК
Институт Русской Литературы, Ленинград

останавливаться подробно на аргументации в пользу такого приурочения. Заметим только, что оно очень сомнительно и само по себе, без какого бы то ни было сопоставления с другом лицом. Но есть факты, позволяющие иначе поставить вопрос об авторе. В известной статье „Русская литература в 1845 году" Белинский делает очень прозрачный и ясный намек на принадлежность этой эпиграммы Языкову. „Нельзя не согласиться,—писал он,—что это немножко пошло, немножко грязно, отчасти даже глуповато; но нельзя не согласиться и с тем, что это только доведенная до последней крайности та м и л о-з а б у б е н н а я поэзия, которая воспевала удаль бурсацкой жизни и возвышенные стремления разума к чаше с шипучим,—та разудалая поэзия, которою мы с вами, читатель, так восхищались во время оно и которая теперь еще имеет простодушие претендовать на внимание и почет..." Выражения: „бурсацкая жизнь", „бурсацкая поэзия" и „мило-забубенная жизнь"—это терминология самого Языкова, и Белинский неизменно пользовался ими, когда говорил и писал об Языкове. Таким образом вопрос об авторстве остается совершенно решенным: Белинский несомненно в данном случае был превосходно осведомлен, тем более, что был период, когда он был близок с языковским окружением (период работы в „Московском Наблюдателе").

Есть ряд и других неподписанных пьес в альманахах и журналах 20—30-х годов, которые также с весьма солидными основаниями могут быть приписаны Языкову; в нашем издании они включены в отдел „Dubia" конечно с подробной аргументацией в примечаниях.

IV

Весьма недостаточно изучено и эпистолярное наследие Языкова [30], хотя первое появление его писем относится уже к концу 50-х годов. Так в 1856 г. было опубликовано несколько писем Языкова к Гоголю в известной биографии последнего, составленной Кулишем; в 1858 г. на страницах „Библиографических Записок" появилось два письма Языкова к известной Н. Н. Шереметевой, теще декабриста И. Д. Якушкина и приятельнице Гоголя. Но все это конечно были мелочи. Крупным и ценным вкладом в эту область языковианы явились в этот период только сделанные Семевским публикации писем к Вульфу. Но Семевский опубликовал не все из того материала, который был в его распоряжении, а только часть, хотя и очень значительную, некоторые же письма были опубликованы не целиком, а с рядом пропусков. Позже публикации Семевского были дополнены И. А. Бычковым (в „Русской Старине" 1903 г.); сделанные же Семевским пропуски были восстановлены Е. В. Петуховым (также не все, но только „важнейшие" по терминологии редактора) в его издании „Языковский архив", о котором еще будет итти речь ниже. Чем руководствовался Семевский, выбрасывая места ,совершенно исключительного литературного значения и интереса,—догадаться очень трудно. Вот яркий пример пропусков (из восстановленных позже Е. В. Петуховым): „Ты мне сообщил очень любопытные сведения о нашем Бейроне [т. е. Пушкине]. Продолжай и впредь это делать. Само собой разумеется, что мне всегда хочется знать все касающееся до человека, с которым я так роскошно и весело пьянствовал в стране, видевшей лучшее, т. е. счастливейшее время моей жизни. Он ко мне писал из Москвы: манит и блазнит меня посылать стихи мои в „Московский Вестник" и хочет, кажется, вовсе втянуть меня в эту единоторговицу словесности русской. Говорит, что пора задушить альманахи и, конечно, этот будущий удушитель сих пигмеев есть „Московский Вестник". Замечу мимоходом, что едва ли альманахи вредят успехам Парнаса более, нежели журналы, потому что первые никак не останавливают хода учености, будучи делом мелочных своих издателей, напротив того, человек издающий журнал, по необходимости должен работать к спеху не в своем околотке и, таким образом, покидать свой предмет на поле просвещения, где мог бы он сделать что-либо знаменитое, занимаясь однако частию не опрометью и не без оглядки. Пример этому сам Полевой, из которого теперь именно ничего не выдет достославного, потому что он кидается и туда, и сюда по наукам, как угорелая кошка, потому что издает журнал".

Начиная с 80-х годов стали появляться и публикации языковских писем из его архива. История этого архива чрезвычайно любопытна. Начало ему в сущности положил

сам Н. М. Языков. Еще в 1823 г., т. е. двадцатилетним юношей, он писал брату, что их совместная переписка „должна быть хранима для современников и для потомства". „Не правда ли?—спрашивал он.—Так при свидании нашем мы расположим соответственно и хронологически мои и твои письма: после будет самим приятно видеть, что мы думали и чувствовали во время нашей разлуки". Вскоре после смерти Языкова вся его огромная переписка с родными, вместе с ответными письмами последних и письмами его различных знакомых (главным образом литературных), была передана Ф. В. Чижову, предполагавшему составить биографию поэта. Особенно хлопотал о приведении архива в порядок и пополнении его А. М. Языков. Но Ф. В. Чижов умер, не успев довести до конца начатой им биографии, архив же вернулся в семью Языковых. Затем им заинтересовался, как уже упоминалось выше, Д. Н. Садовников. После смерти последнего эти бумаги были переданы Петром Павловичем Языковым (внуком Александра Михайловича Языкова) одному из языковских родственников по женской линии—камергеру В. Н. Поливанову, от которого уже затем и поступили в Академию Наук. Садовников также со своей стороны сделал некоторые пополнения, и, когда удалось приобрести и его архив, в Академии образовалось значительное собрание бумаг Языкова: основная часть (собственно языковский архив) хранилась в Рукописном отделении Библиотеки (БАН), часть же бумаг Садовникова—в Пушкинском Доме. В 1931 г. обе эти части объединены в одно хранилище и находятся в Институте Русской Литературы (ИРЛИ).

Архив этот содержит огромнейшую семейную переписку: письма Н. М. Языкова к родным (1822—1846)—к братьям, матери и сестрам; письма к нему сестер и братьев, особенно А. М.; письма братьев Языковых к В. Д. Комовскому и ответные письма последнего; ряд писем к Языкову крупнейших русских писателей: Пушкина (в копиях), Гоголя, Баратынского, Киреевских, кроме того письма Даля, Воейкова, Сомова, художника Иванова, Максимовича и др. Ниже мы приведем подробный перечень корреспондентов Языкова.

Первыми биографами и исследователями поэта эта огромная переписка была использована весьма незначительно. Д. Н. Садовников опубликовал только письма Пушкина к Языкову и кроме того сделал сводку из упоминаний и высказываний в письмах о Пушкине. Позже материалами этого архива пользовался В. И. Шенрок, первоначально ради работ по Гоголю, а затем работая и над биографией самого поэта, интерес к которому вырос у него из занятий Гоголем. В биографии Языкова, опубликованной в 1897 г., Шенрок весьма широко использовал переписку, часто приводя огромные куски из последней, а кроме того опубликовал позже ряд выдержек из писем Языкова (за 1831—1846 гг.), касающихся литературных тем и интересов. До этого им были напечатаны целиком письма Языкова к Гоголю (по материалам архива Гоголя). Эта переписка—один из существеннейших памятников для истории творчества Языкова и его мировоззренческого пути. Гоголь чрезвычайно высоко ценил поэзию Языкова, в его письмах неоднократно встречаются самые восторженные отзывы. В статье „В чем же, наконец, сущность русской поэзии и в чем ее особенность" Гоголь писал об Языкове: „Имя Языкова пришлось ему не даром. Владеет он языком, как араб конем своим, и еще как бы хвастается своею властью. Откуда ни начнет период, с головы или с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный". Позже, когда в лирике Языкова начинают звучать религиозные и славянофильские настроения, отношение Гоголя становится еще серьезнее; в Языкове он видет уже союзника и в дальнейшем стремится сделать из него ученика и адепта своих религиозно-мистических идей. В этом сущность их переписки. С этой стороны чрезвычайно характерно письмо Гоголя из Баден-Бадена (1843 г.): „Тебе нужно освежение духовное,—пишет он поэту. — Дай мне слово говеть, приехавши в Москву, при первом случае, — если в великий пост, то на первой неделе. В продолжение говения займись чтением церковных книг. Это чтение покажется тебе трудным и утомительным, — примись за него с карандашом в руке, читай скоро и бегло и останавливайся только там, где поразит тебя величавое слово и наоборот записывай и замечай их себе в материал. Клянусь, это будет дверью в ту великую дорогу, на которую ты выйдешь. Лира твоя наберется там

неслыханных миром звуков и, может быть, затронет те струны, для которых она дана тебе богом" и т. д. В этом же письме Гоголь советует Языкову служить у себя на дому каждую субботу всенощную и пр.

Конечно не следует преувеличивать значения гоголевского влияния и приписывать ему какую-нибудь решающую роль в том направлении, которое приняла поэзия Языкова в 40-х годах; конечно и без Гоголя он пришел бы к тем реакционно-консервативным позициям, но Гоголь сыграл некоторую роль в их укреплении, а пожалуй и в заострении. Переписка очень отчетливо вскрывает этот момент: так например, Гоголь решительно приветствовал весь полемический цикл посланий Языкова (к Аксакову, Шевыреву, Чаадаеву, „К не нашим").

В 900-х годах Академия Наук приступила к систематическому изданию языковского архива. В 1913 г. вышел первый, оставшийся к сожалению единственным неоднократно упоминавшийся том писем Языкова под редакцией проф. Е. В. Петухова, который охватил письма к родным за дерптский период его жизни (1822—1829). Это издание имеет огромнейшее значение и не только в языковиане, но оно является важным памятником литературно-общественных настроений 20-х годов. Ценнейшим материалом служит оно и для понимания характера студенческой жизни в Дерпте во время пребывания там Языкова. Наконец эти письма дают возможность по-новому подойти к облику самого поэта и во всяком случае значительно изменить некоторые традиционные представления о нем.

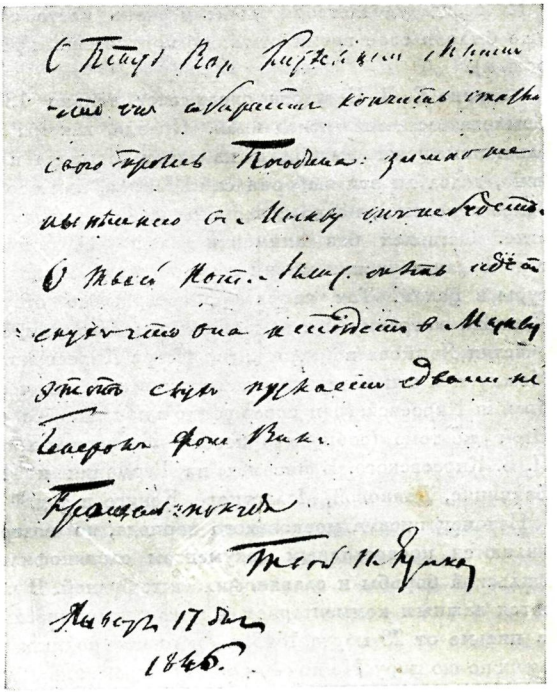
„Вакхическая" и „эротическая" поэзия Языков очень часто понималась и трактовалась в узко биографическом плане. За поэтическим образом в изображении биографов вставал образ самого поэта. Так например, В. Шенрок, в биографическом очерке Языкова, говорит об отрицательном влиянии студенческой среды, о природной лени поэта как об основных факторах биографии и творческой деятельности „поэта разгула и свободы", как именует он Языкова.

Однако эту биографическую легенду о недоучившемся студенте нужно решительно снять. Отчасти это уже сделано, хотя быть может еще недостаточно вошло в литературный оборот. Так еще Геннади отмечал несостоятельность таких утверждений. „Читая большую часть стихотворений Языкова, нужно думать, что его только и вдохновляли вино да девы (но не парнасские), да забубенные песни поэтов... Но поэтам не всегда надо и можно верить. Нам кажется, что для того, чтобы написать стихи складно и ладно, прежде всего надо быть т р е з в ы м. И когда ч у д н о п ь я н с т в у е т поэт, он пишет не стихи, а вензеля". Опровержению этой легенды посвятил специальный этюд Е. Бобров. На основании изучения архивных университетских материалов он сумел достаточно отчетливо показать, что среди дерптских студентов Языков скорее был одним из наиболее передовых, много читавших и работавших. Возможно, что Е. Бобров, как часто бывает в таких случаях, несколько перегнул палку в другую сторону, невольно преувеличив размеры и характер студенческих занятий Языкова. Но по существу он несомненно прав, и письма (с которыми Е. Бобров не был знаком, когда писал свою статью) вполне подтверждают его основные положения. Письма эти заставляют совершенно иначе взглянуть на общепринятое мнение о недоучившемся студенте, малообразованном кутиле и пр. Его письма к братьям полны упоминаний о разного рода планах работы, о прочитанных и купленных книгах, просьбами о присылке книг, отчетами о прочитанном и т. п. Словом, свидетельствуют о большой умственной работе поэта и о большой работе над собой. Он много читает по истории, по эстетике и особенно по литературе; не говоря уж о том, что Языков прекрасно знал всю современную русскую литературу и беспрерывно следил за ней, он внимательно следил за западноевропейской литературой и очень хорошо знал ее. В его письмах мы встречаем суждения о прочитанных сочинениях Вергилия, Тибулла, Шекспира, Шиллера, Гете, Тасса, Ариоста, Байрона, Альфиери, Стерна, Бенжамена Констана, Вальтер Скотта, Иммермана, Кальдерона, Лессинга, Мицкевича, Нодье и т. д., и т. д. На огромное значение этих писем для истории творчества и в частности текста Языкова мы уже указывали выше.

С текстологической стороны издание Е. В. Петухова не свободно от значительных ошибок. Конечно в основном редактор очень успешно справился с достаточно нелег-

ПИСЬМО Н. М. ЯЗЫКОВА К БРАТУ ОТ 17 ЯНВАРЯ 1845 г.

Институт Русской Литературы, Ленинград



кой задачей расшифровки почерка Языкова — Шенрок называл его „убийственным". Но очень много ошибок допущено в коньектурах редактора. Например на стр. 216 (письмо от 1 ноября 1826 г.) Языков пишет брату: „Радуюсь сердечно, что Амплий опять вышел на свет литературы, что он теперь может сторицею отомстить Шаплету за съедение Жук[овского]", но в автографе совершенно отчетливо Жу и. Редактор же принял последнее за сокращенное написание фамилии Жуковского (Жук), что однако невозможно и по самому контексту. Аналогичная ошибка на стр. 221. В письме от 4 января 1828 г. Языков пишет: „Мне любопытно узнать причины, побудившие тебя дать Ив. моего Арана и еще что-то: думаю, что это одна братская дружба, а отнюдь не определение вкуса". Сокращенное написание "Ив." редактор расшифровывает: Ивану хотя сам же ставит рядом вопросительный знак, ибо никакого Ивана, к которому можно было бы отнести это упоминание, он не знает. Однако совершенно несомненно, что в данном случае речь идет об Ивашевых — семья декабриста В. П. Ивашева, с которой Языковы были связаны родственными узами (брат поэта Петр Языков был женат на сестре декабриста) и которая принадлежала к числу культурнейших семей в Симбирске.

Совершенно невероятную ошибку делает редактор при попытке расшифровать одно неразборчиво написанное собственное имя в письме от 10 октября 1823 г.: „Я получил Вальтер Скота и..... и уже начал читать последнего: он — бравый малый, как кажется благодарю, но думаю, что он слишком наг для того, чтоб я позволил себе давать читать его части прекрасных моих знакомок" (стр. 99). В подстрочном примечании редактор предлагает читать неразборчивое слово, как „Гирея", „под которым, — поясняет он, — Языков мог разуметь поэму А. С. Пушкина „Бахчисарайский фонтан", но так как эта поэма была напечатана только в 1824 г., то Е. В. Петухов предполагает, что речь идет о рукописной копии этого произведения.

Список „Бахчисарайского фонтана" действительно был в руках Языкова — об этом свидетельствует письмо от 2 марта 1824 г., но почему эту поэму нельзя было давать читательницам, почему можно сказать о Гирее, что он „слишком наг"? Думается, что никакого удовлетворительного ответа на эти вопросы не может быть и что эта догадка совершенно лишена какого бы то ни было основания.

Не всегда удовлетворительны и очень часто совершенно скудны комментарии, — это уже было в свое время отмечено критическими рецензиями (напр. Н. Лернером, С. Бобровым).

Издание Е. В. Петухова охватывает только 1822—1829 гг.; остальная часть писем Языкова остается неизданной. Правда, как мы уже упоминали, в „Русской Старине" были помещены выдержки из писем Языкова к братьям за 1831—1846 гг. Не совсем ясно, делал ли эти выборки сам Шенрок, или это сделал редактор журнала (последнее более вероятно), но во всяком случае эти „сливки" сняты очень небрежно и поверхностно. Оставлен без внимания целый ряд ценнейших фактов, имеющих значение не только для изучения жизни и творчества Языкова, но и для истории русской литературы в целом. Так например, совершенно отсутствуют письма, касающиеся встреч Языкова за границей с немецкими литераторами; опущены все упоминания, касающиеся участия Языкова в предприятии Петра Киреевского (собирание памятников фольклора). Между тем эти материалы дают огромное количество новых сведений по истории собрания Киреевского и совершенно в новом свете рисуют нам роль Языкова в этом деле. Этой же теме (собирание песен) посвящены хранящиеся в языковском архиве письма П. В. Киреевского. В письмах из Германии и Италии находим упоминания о Гоголе, Бакунине, Дьяковой, Мельгунове, Кениге и т. д. [31]

Наконец письма московского периода, по возвращении из-за границы (1843—1846), являются превосходным документом славянофильской Москвы—памятником славянофильской борьбы и славянофильских будней. В частности письма этого периода являются важным комментарием к циклу полемических посланий Языкова. Так например, в письме от 28 марта 1845 г. он пишет родным в Симбирск: „Грановский сердит на меня по сю пору. Не по сердцу ему выражение „блистательный лакей" [32]. Пусть сердится: эти стихи сделали свое дело; разделили то, что не должно быть вместе, отделили овец от козлищ—польза большая".

Недавно в Москве у одного частного лица была обнаружена серия писем Языкова к Ф. В. Чижову, также относящихся к этому периоду и значительно дополняющих ту картину жизни московского славянофильства, которая рисуется в языковских письмах. Они же дают и новый штрих в облике Языкова, показывая его как энергичного и деятельного члена партии [33]. Другая часть переписки—ответные письма Чижова—находится в архиве Садовникова (ИРЛИ).

В связи с этим циклом писем Языкова находится и его переписка с Максимовичем, недавно напечатанная на страницах украинского историко-литературного журнала В. Петровым, сопроводившим их публикацию интересным очерком о взаимоотношении этих двух деятелей. „Листування Языкова и Максимовича,—пишет он,—мий цінуемо, як листування „людей 20-х рр.", що показуе, як у конкретных життьових обставинах особистих зносинах ці „поетичні" идеи 20-х рр. оформились протягом двох десятиліть у певні ідеологічні напрямки—киевського „украінофільства" та моськовського „славянофільства", що здійснити іхне орган заційко—ідеологічне объединания, за допомогою особистих звязків Язикова, так уперто ввесь час намачався Максимович".

Огромное место в языковском архиве занимают письма к поэту. Языков очень бережно хранил эти письма и так же, как и сам, считал необходимым хранить их для будущего. Пересылая брату письмо, полученное им от Сомова, Языков писал: „у тебя да собираются послания ко мне литераторов". А. М. Языков, со своей стороны, также очень заботился о хранении и собирании таких „литературных писем". В настоящее время в архиве сохранились письма к Языкову следующих лиц: Е. Аладьина (издатель „Невского Альманаха"), И. С. Аксакова, Е. Баратынского, Д. Валуева (племянник поэта, талантливый археограф, рано скончавшийся, издатель „Симбирского Сборника"), П. Висковатова, А. Воейкова, Гоголя, кн. Голицыной (одна из „воспетых" Языковым), Дениса Давыдова, Даля, М. Дмитриева („Ажедмитриева", как называл его Вяземский в отличие от „Дмитриева настоящего"—И. И. Дмитриева), А. П. Елагиной, художника А. А. Иванова, декабриста В. П. Ивашева, В. Карлгофа (второстепенный литератор 30-х годов), П. А. Катенина, И. и П. Киреевских, Н. Д. Киселева, В. Княжевича (товарищ Языкова по университету), В. Д. Комовского, Крузе, Ливена, М. А. Максимовича,

Н. Мельгунова, Мещерского, С. Николаевского (провинциальный литератор, редактор-издатель „Ярославского литературного сборника", где поместил воспоминания об Языкове), П. А. Осиповой, К. Павловой (автографы посланий Языкову), П. А. Плетнева, А. Петерсона (родственник Елагиных-Киреевских), Я. Полонского, М. П. Розберга (издатель „Одесского Альманаха"), барона Розена (литератор, автор либретто оперы „Жизнь за царя"), М. Н. фон Рейц, рожденной Дириной, декабриста С. М. Семенова, И. Селиванова (одного из многочисленных альманашников), Ореста Сомова, А. И. Тургенева, А. Н. Тютчева (товарищ Языкова по университету), А. Фукс (казанская поэтесса), П. Ханенко, графа Хвостова, А. С. Хомякова, С. П. Шевырева, В. Федорова (товарищ Языкова по университету, впоследствии профессор астрономии) и мн. др.

Некоторые из этих писем являются большими гнездами, как например письма В. Д. Комовского, Гоголя, Петра Киреевского, Семенова. Но в основном это—одно-два письма. Изредка больше. Таковы письма: Баратынского, Даля, Иванова, декабриста Ивашева, Катенина.

Но конечно нет никаких оснований рассчитывать, что в архиве сохранилась вся переписка. В частности письма Пушкина сохранились только в копиях. Подлинники были у Садовникова, который и опубликовал их в „Историческом Вестнике". Письма Языкова к Пушкину опубликованы в академическом издании пушкинской переписки. М. А. Цявловский полагает, что напечатанными письмами исчерпан весь фонд переписки Пушкина и Языкова. Однако это определенно не так. Наоборот, можно предполагать, что первое время по возвращении переписка их носила очень интенсивный характер. В сентябре 1826 г. он пишет брату: „У меня завелась переписка с Пушкиным — дело очень любопытное. Дай бог, чтоб только земская полиция в него не вмешалась". Очень вероятно, что эта переписка шла через Вульфов-Осиповых. В частности первое послание Языкова к Пушкину („Не вовсе чуя бога света") было переслано в письме к Вульфу. Это письмо до нас не дошло, как не дошел и автограф (или полный список) самого послания, опубликованный же журнальный текст имеет цензурные точки и пропуски[34].

Из писем Дельвига, о которых Языков неоднократно упоминает в переписке, сохранилось только одно, воспроизведенное автографически в известном труде П. Полевого. Из писем Жуковского известны только фрагменты; есть достаточные основания предполагать, что Языков был в переписке с издателями „Полярной Звезды", но ни писем Бестужева, ни писем Рылеева в его архиве не сохранилось.

Недавно обнаружено несколько писем Языкова к Елагиным (ИРЛИ) и письма к Вяземскому (Центрархив, Москва); кроме того следует добавить еще, что в Публичной Библиотеке СССР им. Ленина хранятся письма к Погодину, использованные в известной биографии последнего, составленной Барвуховым.

Из этого большого архивного богатства опубликовано весьма мало. Кроме уже упомянутых публикаций писем Гоголя и Максимовича можно указать еще только две. В „Литературных Портфелях" Б. Л. Модзалевский опубликовал письма Воейкова и кроме того были опубликованы письма Баратынского. Последним особенно „повезло", так как они были опубликованы дважды. В 1917 г. А. С. Поляковым (в „Литературно-библиологическом Сборнике") и в 1924 г. Е. В. Петуховым—в „Историко-литературном Сборнике", посвященном В. И. Срезневскому. Это совпадение объясняется тем, что последний сборник находился в печати несколько лет. Наконец несколько писем университетских товарищей Языкова включил особым приложением в свое издание Е. В. Петухов.

Некоторые материалы из этой части архива использовались частично и, так сказать, попутно, в виде примечаний и упоминаний в статьях. Так например, В. Петров в примечаниях к письмам Максимовича цитирует некоторые куски из писем П. Киреевского; А. С. Поляков в комментарии к письмам Баратынского приводит выдержки из письма А. А. Фукс; в комментарии Е. В. Петухова приведено письмо А. Тютчева с замечаниями об „Андромахе" Катенина, отрывок письма Н. Д. Киселева, письма Е. Аладьина, П. А. Осиповой и ряд выдержек из писем Хвостова.

Не все в этом эпистолярном наследстве имеет одинаковую ценность, но в основном „Языковский архив" является весьма значительным и важным историко-культурным памятником, отражающим в разнообразных литературных и бытовых документах различные стадии общественно-литературного процесса на протяжении трех десятилетий. Поэтому опубликование этого архива целиком должно несомненно явиться одним из существенных desiderata нашего литературоведения.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Смирнов, В. Я., Жизнь и поэзия Н. М. Языкова. Пермь, 1900.

[2] Из этой среды вышли следующие работы, посвященные Языкову:

Бобров, С., Лирическая тема. М., 1914.

Бобров, С., Записки стихотворца. М., 1916 (статья „Дерптские письма Н. М. Языкова").

Бобров, С., Н. М. Языков о мировой литературе. М., 1916.

Асеев, Н., Ночная флейта. Стихи. Предисловие С. Боброва. М., 1914.

Языков, Н. М., Лирические стихотворения. Со вступит. статьей В. Шершеневича. М., 1916.

[3] См. предыдущее примечание.

[4] „Стихотворения Н. Языкова". СПБ., 1833. На титуле эпиграф:

Wer das Dichten will verstehen,
Muss in's Lang der Dichtung gehen;
Wer den Dichter will verstehen,
Muss in's Dichters Lande gehen.
Goethe.

„56 Стихотворений Н. М. Языкова". М., 1844.

„Новые стихотворения Н. М. Языкова". М., 1849.

[5] „Стихотворения Н. М. Языкова". При них приложены его портрет, факсимиле, сведения о его жизни и значении и написанное о нем в разных периодических и других изданиях. Ч. I—II, СПБ., 1858 (предисловие и редакция проф. П. Перевлесского).

[6] Рецензия Добролюбова—„Соврем." 1858, кн. III, стр. 43—49.

[7] Штрандман, Лирическая поэзия последователей Пушкина. — „Московское Обозрение" 1859, № 2.

[8] В „Русской Беседе" были опубликованы следующие пьесы: „Послание о журналистах", „Я помню был весел и шумен мой день", „К баронессе Вревской". Любопытна судьба этих публикаций. Они не вошли в последующее полное собрание стихотворений Языкова и остались неизвестными редактору „Языковского архива", это тем более странно, что в языковской литературе имеются неоднократно ссылки на эти публикации, например у Семевского (см. ниже) и в книге В. Я. Смирнова.

[9] По сообщению редактора „Русского Архива" П. И. Бартенева у Н. М. Языкова была печать с вырезанным на ней этим текстом по-гречески.

[10] Семевский, М. И., Поездка в Тригорское.—„СПБ. Ведом." 1866, №№ 139, 146, 157, 163, 168, 175.

Семевский, М. И., Н. М. Языков. Новые стихотворения и письма.—„Русск. Архив" 1867.

[11] Княжевич, В. М., Два стихотворения Н. М. Языкова.—„Русск. Архив" 1871, № 7—8, стр. 712—748.

[12] Киреевский, С. И., Н. М. Языков.—„Русск. Стар." 1886, № 6, стр. 171—172.

[13] „Из собрания автографов В. Н. Поливанова".—„Русск. Стар." 1887, IX, стр. 224—225.

[14] Жихарев, С. П., П. Я. Чаадаев.—„Вестн. Евр." 1871, IX, стр. 43—48.

[15] „Русский Архив" 1875, № 5, стр. 111.

[16] „Русский Архив" 1879, № 8, стр. 398—399.

[17] Барсуков, Н., Жизнь Погодина, т. VIII.

[18] „Стихотворения Н. М. Языкова", т. I—II.—„Дешевая Библиотека" А. С. Суворина. СПБ., 1898.

[19] „Литературная находка".— „Ист. Вестн." 1901, X (перепечатка заметки Юкельсона из „Нов. Врем." 1901, № 9148).

[20] Бычков, И. А., Из неизданных стихотворений и писем Н. М. Языкова. — „Русск. Стар." 1903, № 3, стр. 477—496.

Бычков, И. А., Из неизданных стихотворений Н. М. Языкова и В. А. Жуковского.— „Изв Отд. Русск. языка и слов." 1911, т. XVI, в. 2, стр. 1—41.

[21] Соловьев, Н. В., История одной жизни. П., 1915 (первоначально в „Русск. Библиоф." 1915).

[22] „Языковский архив", вып. I. Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1827). Под ред. Е. В. Петухова. СПБ., 1913, стр. VIII+302.

[23] Стих. „Я помню был весел и шумен мой день" было опубликовано в „Русской Беседе" 1859, № 4.

[24] Буш, В. В., Альбом Кулибина.—„Руск. Библиоф." 1916, IV, стр. 79—82.

[25] Верховский, Ю. Н., Е. Баратынский. М., 1916, стр. 18.

[26] Шапошников, Б. В., Письма Е. М. Языковой о Пушкине. — „Искусство" 1928, № 1—2, стр. 153—168.

[27] Языков, Н. М. Стихотворение памяти Рылеева. С примечаниями Н. В. Измайлова. — „Атеней". Историко-литературный временник под ред. Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана, кн. III, Л., 1926, стр. 11, 30—33.

[28] Модзалевский, Б. Л., Альбом Анны Евграфовны Шиповой, рожденной гр. Комаровской. — „Пушкин и его соврем.", в. XI, СПБ., 1909, стр. 79—84.

[29] Эпиграмма и сатира. Из истории литературной борьбы XIX века. Том I., 1800—1840. Составил В. Орлов Изд. „Academia", 1931.

[30] Библиография писем Языкова сводится в основном к следующим материалам:

Кулиш, П., Записки о жизни Гоголя. Т. II СПБ., 1856, гл. XXII.

Письма Языкова к Н. Н. Шереметьевой. — „Библ. Зап." 1858, № 20.

Семевский, М. И., Н. М. Языков. Новые стихотворения и письма. — „Русск. Архив" 1867, № 7, стр. 712—748.

Семевский, М. И., Поездка в Тригорское.— „СПБ. Вед." 1866, №№ 139, 146, 157, 163, 168, 175.

Шенрок, В. И., Письма М. Н. Языкова к Гоголю. — „Русск. Стар." 1896, № 12, стр. 617—647.

Шенрок, В. И., Из писем Н. М. Языкова к брату его Александру Михайловичу. — „Русск. Стар." 1903, № 3, стр. 529—539.

Бычков, И. А., Из неизданных стихотворений и писем Н. М. Языкова.—„Русск. Стар." 1903, № 3, стр. 477—496 (письма к Очкину, Вульфу. А. С. Пушкину).

Сочинения А. С. Пушкина. Изд. Академии Наук. Переписка под. ред. и с примеч. В. И. Саитова, т. I—III. СПБ., 1906 (письма Языкова к Пушкину и Пушкина к Языкову).

„Языковский архив", вып. I. Письма Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829) под ред. и с объяснительными примечаниями Е. В. Петухова. СПБ., 1913.

Петров, В., Листування М. О. Максимовича та Н. М. Языкова. — „Литература" 1928, № 1, стр. 131—144.

Садовников, Д. Н., Письма Пушкина к Языкову. — „Ист. Вестн." 1884, № 4, стр. 323—328.

Письма Ден. Вас. Давыдова к А. и Н. М. Языковым.—„Русск. Стар." 1884, № 1.

Письма А. С. Хомякова.—„Русск. Арх." 1884, № 35, стр. 202—210.

Шенрок, В. И. и Гатцук, А. Л., Н. В. Гоголь в его неизданных письмах.— „Русск. Стар." 1889, № 1.

Письма Н. В. Гоголя под ред. В. И. Шенрока, ч. I—IV. СПБ., 1902. См. также Полное собрание соч. Н. В. Гоголя, изд. „Просвещение" и др. изд.

Сочинения Пушкина. Переписка. См. выше.

Поляков, А. С., Н. М. Языков и Е. А. Баратынский.—„Литер.-Библ. Сборн." под ред. Л. К. Ильинского. П., 1918.

Воейков, А. Ф., Два письма к поэту Языкову. Приготовил к печати Б. Л. Модзалевский.—„Литературные Портфели". П., 1923 (письма А. Ф. Воейкова), стр. 63—69.

Петухов, Е. В., Два письма Е. А. Баратынского к Н. М. Языкову.—„Истор.-литер. Сборник". Посвящается В. И. Срезневскому. Л., 1924, стр. 11—14.

Письма И. В. Киреевского.—„Русск. Арх." 1907, № 2.

[31] Приведем один отрывок из заграничных писем, чтобы наглядно охарактеризовать тот интерес, какой представляют некоторые из них для разных сторон истории литературы и общественного развития: „Гоголь получает отовсюду известия, что его сильно ругают русские помещики: вот яркое доказательство, что портреты его списаны им верно и что подлинники задеты за живое. Таков талант. Многие прежде Гоголя описывали житье-бытье российского дворянства, но никто не рассерживал его так сильно, как он. Жаль еще, что эти портреты писаны не во весь рост. Но ведь тогда не можно бы [нрзб.] М. Д. [Мертвые Души]. Продолжение М. Д. должно быть важнее по части искусственной и творческой, чем эта первая часть". Письмо к сестре из Рима от 1 декабря 1842 г.

[32] См. „Константину Аксакову"

. . . . . Но ту же руку
Ты дружелюбно подаешь
Тому, кто гордую науку
И торжествующую ложь
Глубокомысленно злословит
И ненавидит всей душой,

И кто неметчине лукавой
Передался.—И вслед за ней,
За госпожею величавой,
Идет блистательный лакей...
А православную царицу,
А матерь русских городов,
Сменить на пышную блудницу
На Вавилонскую готов!

Прежние комментаторы относили эти стихи к Герцену (например В. Я. Смирнов, стр. 229—230).

[33] Письма эти публикуются в настоящем номере „Литературного Наследства".

[34] „Современник" 1837, № 6; в выпуске XXIX—XXX „Пушкин и его современники" Н. О. Лернер сообщил, что в случайно приобретенной им книжке „Современника", чьей-то рукой вписаны недостающие стихи (отмечаем их разрядкой):

Певец единственной забавы,
Певец вакхических картин
И дерптских дев, и дерптских вин,
И прозелит журнальной славы!
Как тароватому царю
За чин почетный благодарен
Его не стоящий боярин,
Так я тебя благодарю.

СУДЬБА ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА Ф. И. ТЮТЧЕВА

Обзор К. Пигарева

В наши дни, когда проблема освоения культурного наследия прошлого поставлена во всей своей широте, самого серьезного внимания заслуживают различные «судьбы» тех литературных наследств, которые нам надлежит пересмотреть и переоценить. С этой точки зрения немалый интерес представляет своеобразная судьба литературного наследия Ф. И. Тютчева.

Отношение к Тютчеву, как его современников, так и последующих поколений, характеризуется, с одной стороны, — восторженными оценками меньшинства читателей, с другой, — малознаемостью в широких кругах. Причины этого следует искать прежде всего в «специфически-классовой оболочке» (по выражению современного критика) тютчевского творчества и в реакционной направленности его политических стихов. Было бы однако ошибкой думать, что поэзия Тютчева была достоянием тех великосветских и придворных гостиных, в которых он — увлекательный собеседник и «жемчужноуст»-острослов — являлся всегда желанным гостем. Между тем, по отзыву стороннего наблюдателя, «никто из посещаемых им мужчин и дам, никто из окружающих его не чувствовал и не понимал поэзии его стихов» [1]. Правда, его политические стихотворения переписывались нарасхват этими мужчинами и дамами, но ценили их исключительно за содержание, наравне с подобными же по теме, но бессильными в поэтическом отношении потугами салонных рифмачей.

Жуковский, Пушкин, Некрасов, Тургенев, Фет, Достоевский, Л. Толстой — вот далеко не полный перечень настоящих ценителей подлинного Тютчева. Но и этот перечень уже достаточно знаменателен. Поэзия Тютчева ранее всего оказалась доступной избранным представителям того же класса, к которому принадлежал сам поэт, в большей или меньшей степени носителям традиций той же заходящей дворянской культуры, ярким выражением которой и явилось творчество Тютчева. «Истинные любители изящного» высокомерно отмежевывали Тютчева от «толпы»: «популярности мы не предсказываем г. Тютчеву, — писал И. С. Тургенев, — той шумящей сомнительной популярности, которой, вероятно, г. Тютчев нисколько не добивается. Талант его, по самому свойству своему, не обращен к толпе и не от нее ждет отзыва и одобрения» [2]; «немалого требует г. Тютчев от читателей, обращаясь к их сочувствию, — заявлял Фет. — До сих пор большинство не отозвалось, да и не могло отозваться на его голос» [3]. Отбрасывая политические стихи Тютчева, те же Тургенев и Фет воспользовались «чистой лирикой» Тютчева как оружием в литературно-классовой борьбе с «антихудожественной» гражданственностью представителей революционной демократии. В эпоху русского освободительного движения поэзия Тютчева естественно не могла перешагнуть через круг «самых строгих и рьяных эстетиков» (как презрительно отозвался о почитателях Тютчева Скабичевский) [4] — и этот факт был в то время неизбежным и исторически оправданным. Но одиноко прозвучавший в нашей разночинской критике отзыв Добролюбова (отметившего, что Тютчеву доступна «и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума, возбуждаемая не одними стихийными явлениями, но вопросами нравственными и интересами общественной жизни») [5], свидетельствовал о том, что поэзия Тютчева имеет не узко-классовое значение, что в истории литературы Тютчев со временем займет место не среди мертвых, а среди живых.

Символистам принадлежит воскрешение Тютчева как своего «родоначальника». Они много потрудились над изучением жизни и творчества поэта, но, восприняв его не только как своего литературного «предтечу», но и как «учителя жизни», они внесли в это изучение не мало крайнего субъективизма и внеисторичности.

Ныне Тютчев предстал перед судом нового читателя. И последний не оттолкнул этого «великого мастера» и «учителя поэзии для поэтов». Если в свое время политические стихотворения Тютчева не раз служили знаменем в руках реакции, то теперь мы обязаны взглянуть на творчество Тютчева с подлинно научной точки зрения и взять у него то, что он нам может дать. Славянофильство Тютчева не мешало Ленину относиться к его поэзии «с преимущественным расположением», «восторгаться» ею и включить Тютчева в список тех авторов, которых он желал иметь под рукой в своем кабинете в Совнаркоме [6]. Поучительный в наши дни опыт представляют в глазах современного критика и политические стихотворения Тютчева. А. Старчаков на страницах «Известий» впервые обратил на них внимание с совершенно новой стороны — со стороны ф о р м ы. «Для нас в слове «агитка» есть что-то пренебрежительное, — пишет он. — Но Тютчев сумел дать ряд агиток, согретых пламенем подлинного вдохновения... Творчество Тютчева — блестящее доказательство того, что поэт может и должен быть бойцом» [7].

Работы, появившиеся за послереволюционные годы, свидетельствуют о коренных сдвигах во всех областях изучения Тютчева. Крупным событием в нашем литературоведении является недавно вышедшее в издательстве «Academia» новое собрание стихотворений поэта. Тютчевский текст в полной мере испытал на себе превратности судьбы. Подробный обзор этой своеобразной судьбы может оказаться своевременным именно теперь, в связи с выходом в свет этого издания, представляющего до некоторой степени итог тех изысканий, которые произведены за последние десять-пятнадцать лет в области тютчевской текстологии.

Проблема тютчевского текста чрезвычайно осложнена тем подчеркнутым безразличием, которое сам поэт внешне проявлял к печатной судьбе своих произведений. Это отношение, однако, не было свойственно ему от природы. «Одобрение ближнего» не раз вызывало с его стороны искреннее удовлетворение. Конечно, Тютчев не был и по самому складу своего характера никогда бы не мог быть литератором. Но корни почти легендарного равнодушия Тютчева к своей литературной собственности кроются, прежде всего, в отсутствии той «животворной, воодушевляющей среды» [8], в которой поэт постоянно нуждался. Отсюда — его болезненное недоверие к какому бы то ни было значению своих стихов, его пренебрежительные отзывы о своем «пустозвонном безделье», на ряду с «ребячески-отеческой заботливостью» об его «окончательном округлении» [9]. Этой заботливости все же недоставало на то, чтобы самому быть своим редактором и тем самым оставить нам окончательно утвержденный авторской волею печатный текст. Посмотрим, какова вследствие этого оказалась судьба тютчевского текста.

I. ТЮТЧЕВ В ПУШКИНСКОМ «СОВРЕМЕННИКЕ». — НЕКРАСОВ И СУШКОВ — РЕДАКТОРЫ ТЮТЧЕВА. — ТУРГЕНЕВСКОЕ ИЗДАНИЕ

Тютчев, как известно, рано выступил на литературном поприще. Четырнадцати лет он уже был автором печатного произведения — переложенного с латинского языка «Послания Горация к Меценату» [10]. Живя за границей, он продолжал делиться с «друзьями», главным образом со своим бывшим «ментором» С. Е. Раичем, своими новыми «поэтическими упражнениями». Печатались они почти исключительно в журналах и альманахах Раича и его круга. Однако говорить о сколько-нибудь широкой известности Тютчева в эти годы не приходится. За 1824—1831 гг. стихотворения его вызвали восемь скупых отзывов, из которых первый принадлежит не русскому, а иностранному журналисту: рецензент «Revue encyclopédique» сочувственно отозвался о тютчевском переводе из Ламартина «Одиночество», помещенном в альманахе «Новые Аониды» на 1823 г. [11]. Первая действительная попытка ознакомления русских читателей

с творчеством Тютчева относится к 1836 г. В этом году в третьем томе пушкинского «Современника» появился цикл «Стихотворений, присланных из Германии», с подписью «Ф. Т.» и пометою после текста: Мюнхен. Вслед за этими шестнадцатью стихотворениями было напечатано еще восемь в четвертом томе журнала. Пушкин получил стихи Тютчева через посредство его мюнхенского приятеля кн. Ивана Сергеевича Гагарина, замышлявшего издать их отдельной книжкой.

Если последнее и осталось в то время неосуществленным, то нельзя не отметить, что в «Современнике» стихам Тютчева было предоставлено столько места, сколько не уделялось ни одному из поэтов, сотрудничавших в журнале. Вопрос об отношении Пушкина к Тютчеву, вызвавший было литературную полемику, в настоящее время может считаться решенным в положительном смысле. Наиболее убедительным в данном случае является сообщение Ю. Ф. Самарина: «Мне рассказывали очевидцы, в какой восторг пришел Пушкин, когда он в первый раз увидал собрание рукописное его стихов... Он носился с ними целую неделю...» Да и самый факт помещения в «Современнике» *двадцати четырех* стихотворений «присланных из Германии» уже достаточно красноречив [12].

Стихотворения «Ф. Т.» продолжали появляться на страницах «Современника» и после смерти Пушкина, вплоть до 1840 г., но любопытно, что за все это время они не вызвали в печати *ни одного даже беглого упоминания*. С 1840 г. инициалы «Ф. Т.» исчезают со страниц «Современника». Для Тютчева начинается период десятилетнего молчания. Он пишет, но не печатает.

Период этот прерывается в 1850 г. появлением статьи Н. А. Некрасова «Русские второстепенные поэты» в XIX томе «Современника» [13]. Статья посвящена стихотворениям «Ф. Т-ва», некогда помещенным в том же самом журнале, и является одной из самых восторженных оценок, когда-либо данных поэзии Тютчева в нашей критике. «Мы решительно относим талант г. Ф. Т-ва к русским первостепенным поэтическим талантам», — заявляет Некрасов, — приводя в подтверждение целый ряд стихотворений поэта. При этом он распределяет их согласно установленному им самим делению тютчевских стихов по жанрам.

Обращая исключительное внимание на критическую часть статьи, исследователи до сих пор проходили мимо опубликованных Некрасовым текстов, вполне полагаясь на добросовестность перепечатки. Между тем значение некрасовской статьи отнюдь не исчерпывается критической ее стороной. Если Некрасов давно нам известен как критик Тютчева, то пора ему предстать перед нами и в качестве редактора Тютчева. Просмотр напечатанных Некрасовым стихотворений поэта приводит нас к самым истокам традиционного тютчевского текста. О поэтических произведениях Тютчева Некрасов судил исключительно по тем образцам, которые попались ему на глаза при перелистывании старых томов «Современника». «Поэтическая деятельность г. Ф. Т-ва, — отмечает Некрасов, — продолжалась пять лет, начиная с 1836 по 1840 год включительно. Впрочем, не можем сказать наверное, печатал или нет г. Ф. Т-в где-нибудь свои стихотворения прежде, чем начал издаваться «Современник». Тексты «Современника» следовательно были для Некрасова единственным источником для ознакомления с творчеством Тютчева. В своей статье он перепечатывает двадцать четыре стихотворения поэта целиком. При этом, не ограничиваясь простой перепечаткой, он подвергает некоторые из них редакторской переработке. Не всегда легко разгадать, какими соображениями руководствовался Некрасов, внося те или иные изменения в тютчевский текст; в каких случаях он считался со своим личным вкусом, и в каких — с желанием приблизить редактируемого им поэта к пониманию рядового читателя. Не исключена возможность совпадения того и другого. Так, например, явным желанием устранить смелую необычность образа вызвано исправление одной строки в стихотворении «Осенний вечер»: «Порывистый, *холодный* ветр порою...» вместо «Порывистый и *ясный* ветр порою...». В то же время совершенно непонятно, чем руководствовался редактор, заменяя в том же стихотворении предыдущую строку: «И как *предвестье близящихся* бурь» — иной: «И как *предчувствие сходящих* бурь...» Последнюю строку стихотворения: «*Божественной* стыдливостью страданья...» Некрасов также

приводит в измененной редакции: «Возвышенной стыдливостью страданья...». В стихотворении «Не то, что мните вы, природа...» Некрасов подверг переработке заключительную строфу. Из двух внесенных в нее исправлений одно произведено несомненно с целью уточнения рифмы, другое, повидимому, в целях упрощения синтаксического оборота.

ТЮТЧЕВСКАЯ РЕДАКЦИЯ	НЕКРАСОВСКАЯ РЕДАКЦИЯ
Не их вина: пойми, коль можешь,	Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь, глухонемой!	Органа жизнь глухо-немой!
Души его, ах, не встревожит	Увы! души в нем не встревожит
И голос матери самой!..	И голос матери самой!

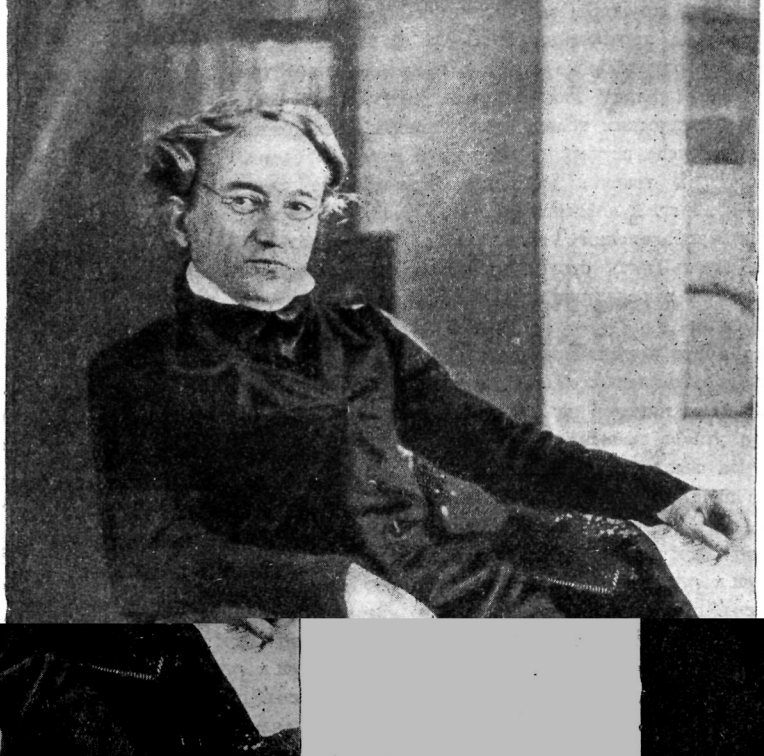
Последнее изменение стерло интересный пример одновременного воздействия на творчество Тютчева русской классической поэтики и поэтики немецкого романтизма (ср. напр. «Прогулка» Державина: «Не мысля, ах! о том...» и известный стих Гете «Zwei Seelen wohnen, ach, in seiner Brust...»). Исправление одной строки в стихотворении «Снежные горы», смягчившее первоначальную резкость образа, придало совершенно новую окраску всей последней строфе стихотворения:

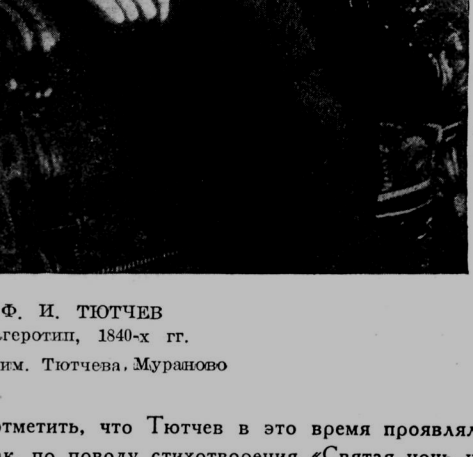
ТЮТЧЕВСКАЯ РЕДАКЦИЯ	НЕКРАСОВСКАЯ РЕДАКЦИЯ
Горе, как божества родные,	Горе, как божества родные,
Над издыхающей землей	Над усыпленною землей
Играют выси ледяные	Играют выси ледяные
С лазурью неба огневой.	С лазурью неба огневой.

Между тем тютчевский вариант не только более выразителен, но и композиционно более оправдан, перекликаясь со строкой «Наш дольний мир, лишенный сил» — в предыдущей строфе. Нельзя также признать удачным допущенное Некрасовым изменение одного стиха в стихотворении «В душном воздуха молчанье...»: «Чу! за белой, душной тучей...» вместо: «Чу, за белой, дымной тучей...», приведшее к совершенно ненужному — и притом на очень близком расстоянии — повторению однородного эпитета. Непонятны также причины, побудившие Некрасова внести две поправки в стихотворение «Давно ль, давно ль, о юг блаженный...»: «Родные призраки скользят...» вместо: «Святые призраки» и «Один господствует вполне...» вместо: «Один здесь царствует...». Уж не уступка ли это цензуре?..

Статья Некрасова занимает исключительно видное место в судьбе литературного наследия Тютчева. Если, с одной стороны, появлением этой статьи было положено начало традиционному тютчевскому тексту, скрывшему на многие годы истинное письмо подлинника, то, с другой стороны, это была первая действительная попытка сделать творчество Тютчева достоянием «каждого любителя отечественной литературы», канонизовать этого заживо погребенного поэта. Некрасов при этом высказывает пожелание «чтобы стихотворения г. «Ф. Т.» были изданы отдельно». Загадочные инициалы скоро были разгаданы читателями «Современника». Так под непосредственным впечатлением от перепечатанных Некрасовым стихов «Ф. Т.» А. С. Хомяков писал А. Н. Попову: «Видите ли Тютчева? Разумеется, видите. Скажите ему мой поклон и досаду многих за его стихи. Все в восторге от них и в негодовании на него. Не стыдно ли молчать, когда бог дал такой голос?.. Он же насквозь поэт (durch und durch). У него не может иссякнуть источник поэтический. Пристыдите его молчанием» [14]. «Досада многих» расшевелила поэта. Он послал через кн. П. А. Вяземского ряд своих стихотворений в редакцию «Москвитянина». Три из них были напечатаны в первой апрельской книжке журнала со следующим несколько неожиданным примечанием: «Мы получили все эти стихотворения (вместе с десятью, которые будут помещены в следующем номере) от поэта, слишком известного (?!) всем любителям русской словесности. Пусть читатели порадуются вместе с нами этим звукам и отгадывают имя» [15]. Во второй апрельской книжке «Москвитянина» действительно появилось восемь стихотворений Тютчева и три вошли в июльский выпуск журнала. Почти через год, в июне 1851 г., в том же «Москвитянине» напечатано еще три стихотворения, а две пьесы были помещены в авгу-

стовской и ноябрьской книжках. Кроме того, в мае 1850 г. М. А. Максимович напечатал два стихотворения Тютчева в «Киевлянине», а Н. В. Сушков включил якобы «случайно попавшийся» ему перевод шиллеровских «Поминок» (в подлиннике «Das Siegesfest», что точнее передано Жуковским: «Торжество победителей») в свой «Раут» — литературный сборник на 1851 г. Согласно пояснению редакции, «Поминки» помещены в «Рауте» «без ведома автора» [16]. Большинство этих стихотворений написано





Ф. И. ТЮТЧЕВ
геротип, 1840-х гг.
им. Тютчева, Мураново

Да
Музей

тметить, что Тютчев в это время проявлял явный ак, по поводу стихотворения «Святая ночь на небо- вероятности М. П. Погодину: «В числе сообщенных четырех стихов. Вот вам она сполна» [17]. Прямым ного отношения Тютчева к своим стихам служат Н. В. Сушкову: «...Я сердечно умилился при виде быток христианской любви — неутомимая, неисто- сть... От кедра до иссопа, от блатнины поучений

в период 1848—1851 гг. Следует о интерес к изданию своих стихов. Та «склон взошла...», он писал, по всей вам пьес была одна с пропуском свидетельством отнюдь не безучаст и следующие строки в его письме к вашего писания, в вас по истине из щимая, всеобъемлющая попечительно

1851 г.)[18]. Речь идет о предполагавшемся отдельном издании стихотворений Тютчева, которое должно было быть выпущено редакцией «Раута». Издатель последнего Николай Васильевич Сушков был женат на сестре поэта. Ему легко было получить контрабандным путем для своего «Раута» тютчевские «Поминки». В следующем году сам Тютчев принес ему свою «лепту», состоявшую из пяти стихотворений, появившихся в «Рауте» на 1852 г. со следующим сообщением: «В нынешнем году будет напечатано полное собрание стихотворений Тютчева» [19]. Однако это издание также не состоялось, как не состоялось задуманное некогда издание Гагарина. И то и другое объясняется однородными причинами. Если появление стихов Тютчева в пушкинском «Современнике» было встречено дружным и упорным молчанием критики, то новые стихотворения его, печатавшиеся на протяжении 1850—1852 гг., вызвали не только сдержанно-холодные, но и прямо отрицательные отзывы, принадлежащие тому же «Современнику», на страницах которого талант Тютчева незадолго до того был провозглашен «русским первостепенным поэтическим талантом». Нельзя не согласиться с Д. Д. Благим, что «поддерживать в Тютчеве первый его порыв к изданию своих стихов... такое отношение никак не могло» [20]. В течение двух лет он вовсе не дает своих стихотворений в печать. В 1850—1851 гг. в «Москвитянине», «Киевлянине» и «Рауте» напечатано ровно столько же новых произведений Тютчева, сколько за весь период 1820-х годов. В 1852 г. появилось лишь пять стихотворений в сушковском «Рауте», при чем все эти пьесы были отосланы в редакцию еще в 1851 г. Наконец в 1853 г. не напечатано ни одного стихотворения.

Видимо в это время Тютчевым начинает овладевать то самое настроение, под влиянием которого он (по свидетельству А. А. Фета) «тщательно избегал не только разговоров, но даже намеков на его стихотворную деятельность» [21]. Не трудно поверить тому же Фету, утверждавшему впоследствии, что в 1854 г. И. С. Тургеневу «стоило большого труда выпросить у Тютчева» согласие на отдельное издание его стихов [22]. Сам Тургенев писал 10 февраля 1854 г. С. Т. Аксакову: «Я здесь уговорил Тютчева Ф. И. издать в свет собрание своих стихов» [23], а несколько лет спустя в шутливом экспромте заявил об этом как об одной из главных своих литературных заслуг: «Я Тютчева з а с т а в и л расстегнуться...» [24]. Однако это единственное, чего мог добиться Тургенев от Тютчева. Никакого участия, никакого интереса к этому изданию Тютчев, повидимому, не проявлял. На это указывает краткое предисловие открывающее маленькую книжечку его стихов, выпущенную в 1854 г. Тургеневым и заключавшую сто одиннадцать пьес, предварительно напечатанных в XLIV и XLV томах «Современника» [25]: «Получив от Ф. И. Тютчева право на издание его стихотворений, — читаем мы в этом предисловии, — редакция «Современника» поместила в этом собрании и те стихотворения, которые принадлежат к самой первой эпохе деятельности поэта и теперь были бы, вероятно, им самим отвергнуты» (достаточно убедительное свидетельство того, что составитель готовившегося первого издания его стихотворений оставался Тютчеву неизвестным).

Если поэт действительно не принимал в нем никакого участия, — а это, повидимому, несомненно, — то кому же принадлежат те многочисленные изменения, с которыми появились его стихотворения в издании 1854 г.? Этому вопросу посвящены две статьи: «Тургенев — редактор Тютчева» Д. Д. Благого [26] и «Судьба рукописей Тютчева» Г. И. Чулкова [27]. Оба исследователя пришли к заключению, что встречающиеся в издании 1854 г. разночтения по сравнению с рукописями поэта и предыдущими печатными текстами представляют собою результат редакторской работы Тургенева. Поводом к этому предположению послужила склонность Тургенева исправлять чужие стихи и соответствие внесенных в текст изменений эстетическим взглядам редактора [28].

Теперь, однако, нам стал известен другой редактор Тютчева — Некрасов. Целый ряд приписывавшихся Тургеневу исправлений тютчевских стихов оказался принадлежащим Некрасову. В настоящее время вопрос о Тургеневе нуждается в новых уточнениях в связи с обнаруженными в Мурановском архиве материалами.

Исследователям Тютчева осталась неизвестной тетрадь тютчевских стихов, с которой должно было печататься второе неосуществившееся их издание, а именно издание Н. В. Сушкова. На первой странице карандашом рукою Н. В. Сушкова набросан сле-

дующий «проспект» издания: «1) Взять тетрадь у Анны, 2) Соврем[енник] 1836—1837 гг., 3) Галатею, 4) Бумага, как в «Рауте», 5) 12 стихов на страницу, 6) Каждую пьесу отдельно, 7) Все окрестить, 8) Кой что в «Раут», с объяснением». В этой тетради переписано 93 стихотворения Тютчева: 70 — неизвестной писарской рукой и 23 — рукой сестры поэта Д. И. Сушковой. Тетрадь открывается двадцатью четырьмя стихотворениями, перенумерованными римскими цифрами. Далее следует отдел, озаглавленный «Новые стихотворения» и заключающий произведения 1840-х—1850-х гг. Начиная со страницы 70-й, где между копиями писарской рукой встречается список рукой Д. И. Сушковой, хронологическая выдержанность нарушается и среди поздних стихотворений Тютчева попадаются стихотворения раннего времени [29]. Находка этой тетради, очевидно относящейся к 1851—1852 гг., не только вносит ряд разъяснений в запутанную историю тютчевского текста, но и позволяет исправить ошибочную датировку некоторых стихотворений поэта.

Переходя к текстологическому рассмотрению сушковской тетради, следует отметить, что она заслуживает внимания прежде всего потому, что тетрадь эта была в руках Тютчева и имеет его поправки. На странице 12-й переписано стихотворение «Не то, что мните вы, природа...», но без третьего и четвертого стихов первой строфы. На этой же странице рукою Н. В. Сушкова написано карандашом несколько строк, обращенных к поэту, которому тетрадь была послана или дана на просмотр: «2 и 4 строфы пропущены. Не вспомните ли или не отыщет ли Плетнев в типогр[афии] «Современника». Сушков указывает на то, что в пушкинском «Современнике», где стихотворение было впервые напечатано, после каждой из двух первых строф поставлено четыре строки точек, обозначающих цензурный пропуск. Недостающие в первой строфе строки вписаны самим поэтом; им же сделаны и другие исправления: «чуждых сил» вместо «чудных» и «солицы» вместо «солнце», но пропущенных в «Современнике» 1836 г. двух строф он не вспомнил. Интересно, заметил ли он, что стихотворение было переписано в некрасовской редакции? Кстати сказать, этим и объясняется пропуск двух строк в первой строфе стихотворения: именно так перепечатал его Некрасов. Другие исправления сделаны Тютчевым в тексте стихотворения «О волна моя морская...», переписанном рукой Д. И. Сушковой на 43—44 страницах тетради. Стихотворение это в издании 1854 г. было напечатано со следующими отступлениями от автографа:

строка 1	текст авт.:	О, волна моя морская,
	изд. 1854 г.:	Ты, волна моя морская,
строка 4	текст авт.:	Чудной с и л ы ты полна,
	изд. 1854 г.:	Чудной ж и з н и ты полна,
строка 14	текст авт.:	Б у д ь угрюма и л ь светла,
	изд. 1854 г.:	Т о угрюма, т о светла.

В издании «Избранных стихотворений Ф. И. Тютчева» Г. И. Чулков впервые напечатал стихотворение по автографу, отвергнув принятый всеми предыдущими изданиями текст «Современника», полагая, что эти изменения принадлежат И. С. Тургеневу. Однако в нашем списке все эти исправления сделаны самим поэтом; им же вписан и эпиграф: «Mobile comme l'onde». И. С. Тургенев не воспользовался только одной поправкой Тютчева в первом стихе четвертой строфы: «Будь ж е т ы в стихии бурной...» и предпочел первоначальное чтение: «Будь в е р н а стихии бурной...» [30].

Рассматривая сушковскую тетрадь, мы воочию убеждаемся в том, что Тургенев неповинен в целом ряде изменений тютчевских стихов. Не менее видную роль в печатной судьбе тютчевского текста сыграл Николай Васильевич Сушков. Оставляя в стороне те исправления Сушкова, которые не пошли далее страниц его тетради, остановимся на тех его поправках, которые перешли в издание 1854 г. и таким образом надолго вкоренились в традиционный тютчевский текст.

Прежде всего обращают на себя внимание поправки, касающиеся ритмической стороны стиха. Сиротливые вольные метры Тютчева, не принятые при строфическом построении пьесы, но столь характерные для поэта, были подвергнуты суровому изгнанию. Так

последняя строфа стихотворения «Чему молилась ты с любовью...» в первоначальной записи сушковской тетради читалась так:

Ах, к о г д а б живые крылья
Души парящей над толпой
Ее спасали от насилья
Б е з м е р н о й пошлости людской.

Против первой строки рукой Сушкова карандашом отмечено: «нет меры» и тут же предложено два варианта: «Ах, и к о г д а ж живые крылья...» и «Ах, е с л и б ы живые крылья...». Второй вариант был впоследствии принят в тургеневском издании, а подлинный тютчевский текст оставался неизвестным до обнаружения настоящей тетради. Кроме указанного изменения в приведенной строфе рукой Сушкова сделана еще одна поправка: «б е с с м е р т н о й пошлости» вместо «б е з м е р н о й». Однако в последнем случае трудно вполне ручаться за то, что это изменение принадлежит Сушкову, хотя и вписано его рукой. Дело в том, что слово «бессмертной» написано непосредственно под словом «безмерной» и представляется не столько поправкой, сколько вторым вариантом — на выбор. Совершенно так же в стихотворении «Колумб» над двенадцатой строкой: «С т в о р я щ е й силой естества...» вписан другой вариант: «ж и в о ю силой». Между тем чтение это совпадает с автографом Тютчева. Возможно, что кроме рукописей, положенных в основу сушковской тетради, редактор пользовался дополнительными текстами некоторых стихотворений и иногда склонялся к комбинированному их тексту. Предположение же, что все поправки сделаны Сушковым совместно с Тютчевым, может быть по его указаниям, должно быть безусловно отвергнуто. Против этого говорят хотя бы отметки Сушкова в роде: «нет меры» или письменное обращение к поэту: «не вспомните ли?». Надо думать, что тетрадь была в руках Тютчева после того, как ее корректировал Сушков, распространивший свои редакторские права не только на исправление описок переписчика, но и на устранение поэтических вольностей автора. По той же причине, что и стихотворение «Чему молилась ты с любовью...», обратило на себя внимание Сушкова знаменитое «Silentium !», переписанное в редакции пушкинского «Современника»: Сушков отметил крестиками все те строки, которые в издании 1854 г. превратились в правильный ямб, но сам исправил только один: «Дневные р а з г о н я т лучи...» в «Дневные о с л е п я т лучи...». В большинстве случаев не трудно угадать, чем руководствовался редактор: таковы, например, следующие исправления, явно произведенные с целью выравнивания скандовки: «П р о к а т и л с я г л у х о гром...» вместо «Г л у х о п р о к а т и л с я гром...» («В душном воздуха молчанье...»), «К а к п р е ж д е м н о ю дорожит...» вместо «М н о й, к а к и п р е ж д е, дорожит...» («Не говори: меня он, как и прежде, любит»), «О т р у к и т ы п а л своей...» вместо «П а л т ы — о т р у к и своей...», «Д ы м и п а р з д е с ь все земное...» вместо «Д ы м, п а р д ы м н ы й все земное...» («Поминки»). В стихотворении «О, как убийственно мы любим...» Сушков заменил чисто тютчевское слово «слепость» («Как в буйной с л е п о с т и страстей...») общепринятым «слепота» («Как в буйной с л е п о т е страстей...»). По всей вероятности попытку уничтожения так называемого зияния или, как выражались в первой половине XIX столетия, «неприятного стечения гласных», представляют две поправки Сушкова: «Я т а м заслушивался пенья...» вместо «И я заслушивался пенья...» («Давно ль, давно ль, о юг блаженный...») и «Е г о д у ш и не озарила...» вместо «Д у ш и е г о не озарила...» («Наполеон»).

Что составляет несомненную ценность сушковской тетради — это возможность установить происхождение большей части помещенных в ней текстов. Первые двадцать четыре стихотворения списаны с копий, снятых Э. Ф. Тютчевой с некрасовских текстов и сохранившихся в альбоме семейного архива Тютчевых[31]. Двенадцать стихотворений, открывающих отдел «Новые стихотворения», переписано с собственноручных подлинников поэта, имеющихся в том же альбоме. В сушковской тетради они следуют в том же порядке, что и в альбоме, и дают наиболее значительные особенности пунктуации подлинников. Некоторые несущественные отступления от автографов объясняются тем, что в рукописи поэта отдельные слова при недостаточной внимательности могут быть

прочитаны двояко. Так перешло из сушковской тетради в издание 1854 г. неправильное чтение двух строк в стихотворении «Итак опять увиделся я с вами...» («То, чем жил и чем я дорожил...» вместо «Все, чем я жил...») и «Вновь твои я вижу очи...» («Вдруг развеял сонный хлад...» вместо «Вдруг рассеял...»). По всей очевидности с того же альбома переписаны в сушковской тетради «Наполеон», «И опять звезда играет...» и «Под дыханьем непогоды...». Остальные копии, выполненные писарской рукой, сняты частью с автографов семейного архива Тютчевых и в таких случаях вполне с ними совпадают, частью с недошедших до нас текстов, несомненно вполне достоверных. Такие строки, как «... в буйной слепости страстей», или метрическая вольность в стихотворении «Чему молилась ты с любовью», не могут принадлежать никому, кроме самого поэта. Из списков Д. И. Сушковой семнадцать выполнены с печатных текстов «Современника» 1836—1839 гг., «Галатеи» 1829 г. и «Москвитянина» 1850—1851 гг., один («О волна моя морская...») с автографа и два («Первый лист» и «Дума за думой...») с неизвестных нам текстов. Особенного внимания заслуживает текст «Сна на море», со всей очевидностью свидетельствующий о том, что Тургенев неповинен в разрушении своеобразного тютчевского ритма. «Сон на море» в тексте сушковской тетради оказывается уже «вправленным» в традиционный амфибрахий, и, если не считать «свистали» вместо «свистели» в четвертом стихе, отличается от «тургеневской» редакции лишь чтением двух строк:

строка 14
- сушк. тетр. И сонмы кипели безмолвной толпы...
- изд. 1854 г. И чудился шорох несметной толпы...

строка 17
- сушк. тетр. По высям твореньья, как бог, я шагал.
- изд. 1854 г. По высям творенья я гордо шагал...

Открытым остается вопрос, принадлежит ли эта новая редакция «Сна на море» самому Тютчеву или же Сушкову. Поскольку тут приходится иметь дело с одними предположениями, характер внесенных в текст изменений скорее говорит в пользу второго. «Сон на море» переписан среди пьес, приложенных к сушковской тетради дополнительно к писарской копии. Весьма вероятно, что Н. В. Сушков предварительно подверг переработке текст «Сна на море», напечатанный в «Современнике» 1836 г., и лишь затем он был переписан Д. И. Сушковой. Во всяком случае «Сон на море» — пожалуй, единственный спорный текст сушковской тетради.

Несравненно сложнее обстоит дело с тургеневским изданием стихотворений Тютчева, появившимся в 1854 г. Какими текстами пользовался Тургенев? Не исключена возможность, что он имел в своих руках сушковскую тетрадь, и почти несомненно — альбом, происхождение которого не вполне выяснено и который хранится теперь в Мурановском архиве. Копии стихотворений, внесенные в этот альбом писарской рукою за редкими исключениями совпадают с текстами сушковской тетради, но отличаются большей небрежностью. Списки альбома сделаны позже сушковских: это доказывается наличием в них почти всех поправок Сушкова (пропуск некоторых — повидимому знак невнимательности переписчика, незаметившего или не разобравшего его карандашных пометок на полях). Кроме того в двух-трех местах встречаются собственноручные поправки поэта, вошедшие в издание 1854 г., но явно позднейшие, чем его же исправления в сушковской тетради. Поправки эти отнюдь не говорят за то, чтобы поэт просмотрел весь альбом, изобилующий многочисленными описками, как то: замена одних букв другими с искажением смысла, перестановка или пропуск слов. Любопытно, что за редкими исключениями ошибки эти не попали в тургеневское издание. Так, например, вовсе не Тургенев, а переписчик выкинул одно слово из первой строки «Видения» («Есть некий час (в ночи) всемирного молчания...») — вряд ли для того, чтобы сознательно уровнять количество стоп по образцу рифмующейся с ней строки. Но если ряд подобных искажений текста и может быть отнесен за счет неисправности списков, встречается в тургеневском издании не мало умышленных изменений. Исследователи, как

известно, склонялись видеть в этом редакторскую руку Тургенева. И действительно, в двух приглаженных строках «Silentium!»:

Пускай в душевной глубине
И всходят и зайдут оне
Как звезды ясные в ночи

(в автографе, «Современнике» 1836 и 1850 гг. и сушковской тетради:

Встают и заходят оне
Безмолвно как звезды в ночи...)

чувствуется как бы постороннее вмешательство, не столько даже из-за разрушения ритмических перебоев, сколько из-за несоответствия зрительного эпитета «звезды ясные» первоначальному образу (*ср. также в тексте «Мослвы» 1833 г.: «звезды мирные»*) [32]. По тем же причинам, коими руководствовался Сушков, новый редактор мог заменить необычный эпитет «долгий цвет» общепонятным «ранний» («Так здесь-то суждено нам было...») или в угоду цензуре изменить строку «По высям творенья, как бог, я шагал...» («По высям творенья я гордо шагал...» — «Сон на море»), мог умышленно пропустить смелое сочетание «С их ветхим листьем изнуренным...» («Первый лист») и нарушить композиционный замысел автора заменой не менее смелого образа «И сонмы кипели безмолвной толпы...» («И чудился шорох несметной толпы...» — «Сон на море») [33].

Однако может ли быть безоговорочно отвергнут текст тургеневского издания? В настоящее время среди некоторых наших литературоведов возникает стремление восстановить доверие к этому тексту, поколебленное работами Благого и Чулкова. Стремление это обнаружилось с достаточной определенностью, во-первых, в прениях по поводу нового издания на специально ему посвященном совещании при издательстве «Academia», и во-вторых, в статье Н. К. Гудзия [34]. Имеются ли в действительности какие-либо веские доводы в пользу того, что не все отличия «тургеневских» текстов от других, может быть более авторитетных редакций — дело рук Тургенева? Наиболее существенные варианты встречаются в тексте тех стихотворений, которые, как сказано в предисловии, «принадлежат к самой первой эпохе деятельности поэта и теперь были бы, вероятно, им самим отвергнуты». Последние слова казалось бы свидетельствуют о том, что Тургенев включил в свое издание такие произведения поэта, о которых сам автор в то время может быть даже и не помнил. В таком случае редактор должен был иметь в своем распоряжении печатные тексты «Северной Лиры», «Урании» и «Галатеи», и, следовательно, все расхождения новых редакций с первопечатными текстами не могут приниматься во внимание, как плоды редакторского произвола. Между тем в издании 1854 г. впервые появился общеизвестный текст «Весенней грозы», напечатанной ранее в «Галатее» 1829 г. в иной, более краткой редакции. Однако стоит привести параллельно оба текста, чтобы не осталось малейшего сомнения в принадлежности Тютчеву второй редакции, столь богатой чисто тютчевскими аллитерациями и ассонансами:

ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ

Люблю грозу в начале мая:
Как весело весенний гром
Из края до другого края
Грохочет в небе голубом.

С горы бежит ручей проворный,
В лесу не молкнет птичий гам;
И говор птиц, и ключ нагорный,
Все вторит радостно громам.

ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

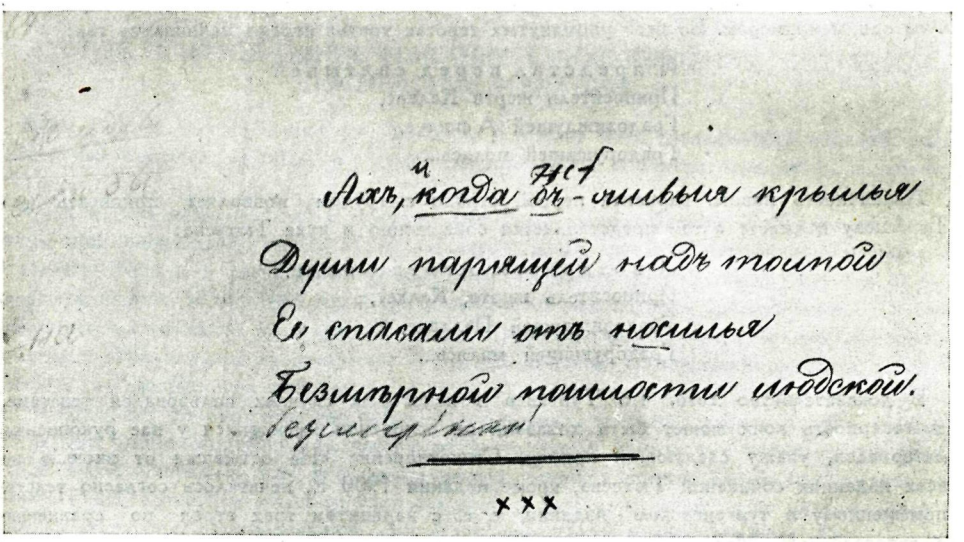
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный
Все вторит весело громам.

Последняя строфа («Ты скажешь: ветренная Геба...» и т. д.) осталась без изменений. Редактор нового полного издания стихотворений Тютчева Г. И. Чулков на этот раз перепечатывает в основном тексте редакцию тургеневского издания. «Как ни вольно обращался И. С. Тургенев с текстом редактируемых им поэтов, — пишет Чулков, — но едва ли и он посмел бы сочинить целую строфу, которой нет в «Галатее». Очевидно он пользовался каким-то автографом или списком, нам неизвестным» [35]. В данном случае мы вправе поставить вопрос несколько иначе: важно не то, посмел ли бы Тургенев присочинить лишнюю строфу, а мог ли бы он или кто-либо другой, кроме самого автора, написать именно т а к у ю строфу. Ответ, кажется, ясен. Труднее, за неимением рукописей, датировать вторую редакцию «Весенней грозы». Нет никаких указаний на сношения Тургенева с поэтом в процессе подготовки и печатания его издания.

Цитированные строки тургеневского предисловия казалось бы свидетельствуют о полном безучастии, проявленном Ф. И. Тютчевым к этому изданию. Нам известен, однако,



ПРАВКА Н. В. СУПКОВА В ТЕТРАДИ СТИХОТВОРЕНИЙ Ф. И. ТЮТЧЕВА, ПРИГОТОВЛЕННОЙ ДЛЯ ПЕРВОГО НЕОСУЩЕСТВЛЕННОГО ИЗДАНИЯ
Музей им. Тютчева, Мураново

один случай переработки поэтом своего старого стихотворения, произведенной, повидимому, под живым еще впечатлением от статьи Некрасова. Я имею в виду впервые напечатанное в «Москвитянине» 1851 г. стихотворение 1820-х годов «Еще шумел веселый день...» Переработка его, насколько можно судить по автографу [36], относится уже к 1850-м годам, следовательно, к 1850—1851 гг. Если нет никаких оснований предполагать, чтобы первоначальная редакция «Весенней грозы» была заново переработана в расчете на тургеневское издание, то самый факт ее переработки именно в начале 1850-х годов представляется весьма вероятным. Нам остается только пожалеть, что Тургенев «пользовался каким-то автографом или списком, нам неизвестным». Г. И. Чулков прав, принимая в данном случае «тургеневский» текст, но настоящий пример заставляет притти к следующим выводам: текст издания 1854 г. целиком не может быть отвергнут; всякий раз, как исследователю придется иметь дело с этим изданием, он должен взвешивать все данные, за и против того или иного текста, так как не лишено вероятия, что Тургенев располагал вполне достоверными, хотя и недошедшими до нас текстами и некоторых других стихотворений. С этой стороны убедительными представляются соображения Н. К. Гудзия насчет новой редакции пьесы «Могила Наполеона». Из

разночтений тургеневского издания по сравнению с первопечатным текстом наиболее существенным является вариант 9—10 стихов:

ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ	ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ
Еще гремит твоих побед	Давно ль умолк Перун его побед,
Отзывный гул в колеблющемся мире...	И гул от них стоит доселе в мире...

«Тургенев, да еще в 1854 году, — замечает Н. К. Гудзий, — никак не мог ввести в стихотворение слово «Перун». Это слово раннего Тютчева, еще не отделавшегося от классической поэтики...» Хотя подобные архаические выражения не удивляют нас и под пером зрелого Тютчева, соображения Гудзия в пользу принадлежности второй редакции стихотворения самому Тютчеву подкрепляются еще тем, что «Могила Наполеона» впервые появилась в «Галатее» 1829 г., где была напечатана и «Весенняя гроза». Весьма возможно, что к одному и тому же времени относится и переработка обоих стихотворений. Отмечу еще одно стихотворение Тютчева, помещенное в тургеневском издании в редакции, отличающейся и от автографа, и от первопечатного текста «Раута» 1851 г., и от списка сушковской тетради. Это перевод из Шиллера—«Поминки». Ограничусь одним примером. Во всех упомянутых текстах третья строфа начиналась так:

И предстал перед святыней
Приноситель жертв Калхас,
Градозиждущей Афине,
Градорушащей молясь...

Архаичность нового варианта первой строки с трудом позволяет приписать его Тургеневу и вместе с тем представляется совершенно в духе Тютчева:

И воздвигся, жертвы ради,
Приноситель жертв, Калхас,
Градозиждущей Палладе,
Градорушащей молясь...

В доказательство того, что Тургенев в некоторых случаях пользовался текстами, достоверность коих может быть доказана на основании имеющихся у нас рукописных материалов, укажу следующий пример. Стихотворение «Не остывшая от зною...» во всех изданиях сочинений Тютчева, кроме издания 1900 г., печаталось согласно тексту, помещенному в тургеневском издании, т. е. с вариантом трех строк по сравнению с автографом [37]. Между тем оказывается, что два из них имеются в автографе, но зачеркнуты и заменены иными. В рукописи вторая строфа стихотворения читается так:

Словно тяжкие ресницы
[Разверзалися порою]
Подымались над землею...
И сквозь беглые зарницы
Чьи-то грозные зеницы
[Загорались над землею]
Загоралися порою.

Третий вариант тургеневского текста — «От зарниц все трепетало...» вместо «Все в зарницах трепетало...» — правда, не находит подтверждения в автографе. Все же «тургеневская» редакция, не будучи окончательной, в целом не может возбуждать подозрений в ее «действительной принадлежности Тютчеву» [38]. И Брюсов, следовательно, был прав, ссылаясь именно на это стихотворение, как на пример существенных изменений, которым Тютчев подвергал иногда первоначальные тексты своих стихов [39].

В итоге — высказанные здесь соображения в пользу некоторых отдельных текстов тургеневского издания отнюдь не исключают необходимости чрезвычайно осторожного отношения к нему. С выходом в свет издания 1854 г. устанавливается традиционный, но недостоверный текст значительнейших стихотворений, поэта. В особенности произведения, относившиеся к «времени золотому» его жизни, оказались подновленными целым

слоем позднейших подправок. Над этим постарались Некрасов, Сушков и редактор издания 1854 г. Все они, повидимому, так же разумели свои права редактора, как и П. И. Бартенев — известный издатель «Русского архива», предлагавший однажды В. Я. Брюсову исправить стихотворение Тютчева, ибо «издатель должен быть другом автору» [40]. И если автор в данном случае мирился с тем, Сушков ли или «рука забвенья» исправляет его стихи, то современным исследователям Тютчева его прижизненные друзья-издатели задали нелегкую задачу восстановления подлинного тютчевского текста. В издании же 1854 г., на ряду с достоверными тютчевскими текстами, мы должны различать целый ряд некрасовских, некрасовско-сушковских, просто сушковских, сушковско-«тургеневских» и наконец «тургеневских» редакций. Наиболее неопределенным остается попрежнему вопрос относительно последних, поскольку нам известны далеко не все тексты, находившиеся в руках Тургенева. Вот почему, очищая тютчевский текст от посторонних наслоений, исследователь обязан проявлять сугубую осторожность и чуткость в отношении так называемых «тургеневских» редакций. Его работа должна быть работой опытного реставратора, чтобы, снимая «чуждые краски», не повредить и самой живописи подлинника.

II. ВТОРОЕ ПРИЖИЗНЕННОЕ ИЗДАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ ТЮТЧЕВА. — ПОСМЕРТНЫЕ ИЗДАНИЯ

Текст тургеневского издания был положен в основу всех последующих изданий стихотворений Тютчева, начиная со второго прижизненного и кончая берлинским изданием 1921 г.

В московское издание 1868 г., выпущенное сыном поэта Иваном Федоровичем Тютчевым при ближайшем участии И. С. Аксакова, вошли все стихотворения, помещенные в издании 1854 г. и сверх того семьдесят четыре пьесы, в большинстве случаев написанные в период 1854—1867 гг. (При этом в сборнике сделана попытка—весьма несовершенная — соблюсти хронологическое расположение материала). Сам поэт никакого участия в этом издании не принимал. «Не было никакой возможности, — рассказывает Аксаков, — достать подлинников руки поэта, для стихотворений еще не напечатанных, ни убедить его просмотреть эти пьесы в тех копиях, которые удалось добыть частью от разных членов его семейства, частью от посторонних. Между тем некоторые из этих копий были ошибочны, или несогласны между собой. Пришлось выбирать лучшие и печатать без всякого участия со стороны самого автора» [41]. Поэт даже не мог принудить себя перелистать присланное ему оглавление готовившейся книжки. «Оно пролежало у него месяц и было возвращено — не просмотренное; он даже и не взглянул на него» [42]. Однако ему пришлось-таки если не раскаяться в своей беспечности, то, по крайней мере, посетовать на свою лень. В Мурановском архиве сохранилось неизданное письмо самого поэта к дочери Е. Ф. Тютчевой от 26 марта 1868 г., написанное по получении первого присланного ему экземпляра. Привожу в переводе интересующий нас отрывок:

«... Повидимому мне суждено было испытать на себе истину изречения, что предает человека домашний его — и вот на такого-то рода предательство, без сомнения совершенно неумышленное, я и собираюсь тебе жаловаться. Речь идет о только-что появившемся, весьма ненужном и весьма бесполезном издании сборника виршей, которые были годны разве лишь на то, чтобы их забыли. Но так как, несмотря на все отвращение, которое я принципиально к этому питал, я кончил тем, что дал на него свое согласие — из чувства лени и безразличия, то я и не имею права на это сетовать. Все же я имел основания надеяться, что издание будет сделано с известным разбором и что не напихают в один жиденький томик целую кучу мелких стихотворений «на случай», всегда представлявших лишь самый преходящий интерес данного момента; вновь же воспроизведенные, они тем самым становятся совершенно смешными и неуместными. Я отделаюсь тем, что окажусь в роли тех жалких рифмачей, которые глупо влюблены в малейший вырвавшийся у них стишок — и хоть я, пожалуй, и не совсем в таком положении, но уж примирюсь, без особого труда, из одного отвращения и безучастия,

даже с этой нелепой бессмыслицей. Но что в этой несчастной книжонке воспроизвели несколько строк по адресу князя Вяземского, позаботившись проставить в заголовке его имя, его собственное имя! — это, признаюсь, я нахожу уже слишком... и я умоляю настоятельно, чтобы, если возможно, меня избавили от неминуемых последствий этой проделки... Я попытаюсь временно приостановить продажу издания у здешних книготорговцев до тех пор, пока не будет исправлена эта удивительная оплошность, сохранив, если возможно, злосчастное стихотворение, но без упоминания Вяземского. Следовало бы позаботиться внести ту же поправку и в оглавление... И столько возни по поводу такого совершенно ненужного пустяка, от которого так легко было воздержаться! Бедный, милый Аксаков! Вот вся благодарность, которую он получит от меня за все свои старания...».

Стихотворение, о котором идет речь в этом письме, было написано Тютчевым в 1866 г. в ответ на стихи Вяземского, направленные против Каткова, но не были сообщены адресату. Тютчев поэтому имел особенные основания опасаться ссоры с Вяземским. По его настоянию стихотворение это было исключено из сборника, так же как и три других: «К N. N. при получении от него в подарок очков», эпиграмма «Как верно здравый смысл народа...» и «К портрету». Стихотворение «К N. N. при получении от него в подарок очков» было написано в результате следующего недоразумения. 20 декабря 1859 г. Тютчеву вручили от имени вел. кн. Константина Николаевича пакет, заключавший очки «для будущего бала». Этот непонятный подарок заставил его предположить, что по своей рассеянности он не заметил великого князя на одном балу и не поклонился ему. Задетый мнимым «уроком» Тютчев ответил Константину Николаевичу стихами, которые и были ему доставлены. Только тогда выяснилось, что присылка очков объяснялась предстоявшим костюмированным балом, на котором и Тютчев, и Константин Николаевич должны были появиться в розовых домино. Отличаясь слабым зрением и не желая быть узнанным по своим очкам, последний предписал всем розовым маскам надеть очки. Что касается двух стихотворных эпиграмм, исключенных из издания 1868 г., то хотя первая из них — направленная против гр. С. Г. Строганова — и была напечатана без всякого заглавия, но содержание ее легко могло быть понято в том самом кругу, к которому принадлежали и Тютчев, и Строганов; к тому же эпиграмма была помещена непосредственно вслед за стихотворением «На кончину е. и. в. государя наследника Николая Александровича», воспитателем коего был Строганов. Другая эпиграмма — «К портрету» — метила в князя А. А. Суворова; отнюдь неприкрашенный портрет последнего оказался, повидимому, слишком похожим, чтобы выставить его напоказ.

Любопытно, что сам Тютчев, несмотря на всю свою досаду, ограничился только приведенным выше письмом к Е. Ф. Тютчевой, всю остальную переписку по этому поводу вели его близкие.

При оценке издания 1868 г. следует принимать во внимание те весьма неблагоприятные условия, при которых оно готовилось. Если в нем мы и не находим намеренных изменений текста (пропуск последней строфы стихотворения «Певучесть есть в морских волнах...», в которой Аксакову не нравилось иностранное слово «протест» — чуть ли не единственное на что решились редакторы), то наличие разных — часто не согласных между собою и не всегда исправных — копий не могло не стразиться на текстологической ценности издания. И в отношении некоторых напечатанных в нем стихотворений мы в праве повторить то, что сказал сам поэт о всей книжке. Посылая ее Погодину, он писал:

Стихов моих вот список безобразный,
Не заглянув в него, дарю им вас.
Не мог склонить своей я лени праздной,
Чтобы она хоть вскользь им занялась.
В наш век стихи живут два-три мгновенья,
Родились утром, к вечеру умрут...
Так что ж тут хлопотать? Рука забвенья
Свершит и здесь свой корректурный труд.

Издание 1868 г. вызвало несколько сочувственных отзывов, но творчество Тютчева попрежнему продолжало оставаться достоянием избранных. Достаточно сказать, что издание это не было распродано еще в конце 70-х годов [43]. Отчасти в силу этого обстоятельства новое собрание его стихотворений вышло лишь через десять лет после смерти поэта.

Семидесятые годы являются годами собирания литературного наследия Тютчева, что осуществляется преимущественно стараниями его близких. Немалую услугу в этом деле оказала выпущенная в 1874 г. биография Тютчева, написанная И. С. Аксаковым. Именно благодаря этой книге перешел в Россию основной фонд рукописного наследия Тютчева — и притом раннего периода его творчества. «Биография» была прислана кем-то мюнхенскому приятелю поэта кн. И. С. Гагарину, тогда священнику ордена иезуитов, проживавшему в Париже. Чтение книги Аксакова навело его на мысль, что среди хранившихся у него рукописей Тютчева могут находиться многие ни разу не напечатанные. Он списал две пьесы и послал их Аксакову. Как видно из дошедших до нас бумаг последнего, эти два стихотворения были: «Вас развратило самовластье...» и «Как дочь родную на закланье...» — оба действительно неизданные. Вслед за этим Гагарин переправил Аксакову целый пакет с автографами и списками тютчевских стихотворений, копию одной составленной Тютчевым дипломатической депеши, копии с нескольких писем поэта к нему и с двух своих писем к Тютчеву.

По непонятным причинам Аксаков далеко не сразу воспользовался присланным ему сокровищем. Только два стихотворения — «Ты зрел его в кругу большого света...» и «Из чьей руки свинец смертельный...» — были, повидимому тотчас по получении, отданы в редакцию «Гражданина» и появились в номере от 13 января 1875 г. Лишь через четыре года, в пятом выпуске «Русского Архива», Аксаков поместил тридцать одно стихотворение Тютчева (перепечатав среди них и две пьесы, опубликованные в «Гражданине») со своим предисловием, а одно стихотворение — «Как дочь родную на закланье...» — было незадолго до того напечатано в третьем выпуске того же журнала. Эти тридцать два стихотворения вышли затем отдельной брошюрой (в настоящее время весьма редкой) под заглавием «Новонайденные стихотворения Ф. И. Тютчева» (М., 1879).

Далеко не во всех случаях стихотворения Тютчева были напечатаны Аксаковым согласно с подлинниками. Следует только различать, когда перед нами сознательные редакторские переправки и когда — результат недостаточно внимательного чтения. В общем же аксаковские поправки (принадлежность их именно ему, мне кажется, не подлежит сомнению) не столь существенны, но знаменательно, что и после смерти Тютчев не сразу освободился из под опеки своих редакторов.

«Новонайденными стихотворениями Ф. И. Тютчева», однако, вовсе не исчерпывалось неизданное стихотворное наследие поэта, собранное тогда уже в руках его семьи. Еще долгое время оставалось ненапечатанным многое из присланного Гагариным. Кое-что вошло в издание 1886 и 1900 гг., остальное было опубликовано лишь в течение последнего десятилетия Г. И. Чулковым и мною.

Первое посмертное собрание стихотворений Тютчева было выпущено в 1883 г. П. И. Бартеневым («Стихотворения Федора Ивановича Тютчева. Новое издание, значительно дополненное. М., 1883»). В основу этого издания положен был сборник 1868 г., расширенный «Новонайденными стихотворениями» и некоторыми пьесами, опубликованными после смерти поэта преимущественное в «Русском Архиве». Не включены в издание переводы и ряд стихотворений раннего времени, в том числе «Могила Наполеона». Стихотворения размещены по тематическому признаку, что отмечено в оглавлении соответственными рубриками: «Природа», «Любовь», «Жизнь, История, Политика». Не отвечающее современным редакционным требованиям, издание это может быть признано удовлетворительным только в том отношении, что новым заведомым изменениям редактируемый текст подвергнут не был.

В конце 1885 г. П. И. Бартенев вторично выпустил сборник стихотворений Тютчева того же типа, что и предыдущий («Стихотворения Федора Ивановича Тютчева. Новое издание. М., 1886»). Стихотворения распределены по тематическим отделам: «Природа»,

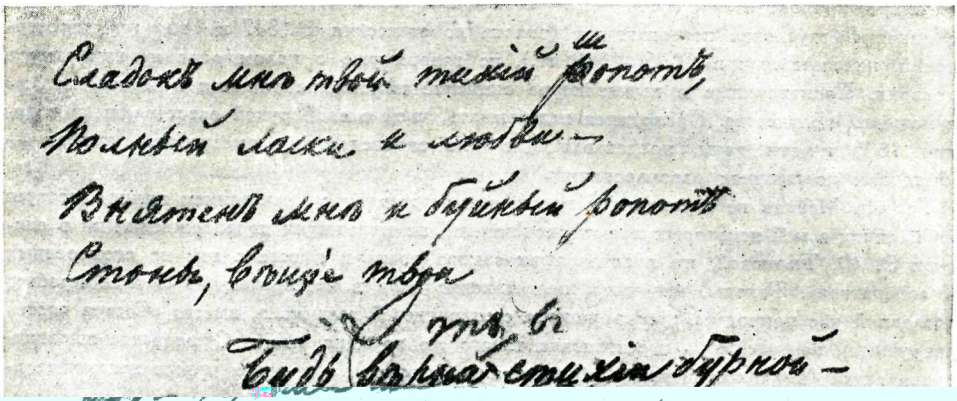
«Любовь», «Жизнь», «История, Политика», при чем заглавия отделов указаны и в тексте. Порядок стихов иной, чем в издании 1883 г. В отделе «История, Политика» стихотворения расположены хронологически, «так что (как сказано в предисловии) отдел этот представляет собою последовательную поэтическую летопись. В остальных отделах трудно, да и нет особой нужды, держаться хронологического порядка». Издание это немного полнее издания 1883 г., но в текстологическом отношении значительно ему уступает. Так например, стихотворения, состоящие из правильных строф, сплошь да рядом напечатаны слитно и, наоборот, в других случаях допущено совершенно произвольное деление пьес на строфы. Попадаются и небрежности иного рода. Так например, под заглавием «Наполеон» объединено три стихотворения, относящихся к Наполеону: «Сын революции, ты с матерью ужасной...», «Ты ль это, Неман величавый...» и перевод оды Манцони» «Il cinque maggio» — «Высокого предчувствия...». При этом три части первого стихотворения напечатаны как три разные пьесы и между двумя из них помещено стихотворение «Ты ль это, Неман величавый...».

Все недостатки этого издания повторены впоследствии в третьем бартеневском издании 1899 г.

Вскоре после появления рассмотренного издания вышло другое, подготовленное вдовой поэта Э. Ф. Тютчевой («Сочинения Ф. И. Тютчева. Стихотворения и политические статьи, СПБ, 1886»). Издание это далеко от полноты, хотя ряд весьма значительных стихотворений и был в нем опубликован впервые. Впервые нашли место в собрании сочинений Тютчева и его четыре французские политические статьи. Первая из них первоначально была напечатана отдельной брошюрой под заглавием «Lettre à Monsieur le d-r Gustave Kolb, rédacteur de la Gazette Universelle (Munich, 1844)». Один экземпляр этой редкой брошюры имеется в Публичной Библиотеке СССР имени В. И. Ленина. Статья эта была перепечатана под заглавием «Россия и Германия» в 10-м выпуске «Русского Архива» за 1873 г., с русским переводом Ф. И. Тимирязева, проредактированным И. С. Аксаковым. Вторая статья, вызванная революционными событиями 1848 г., появилась впервые так же за границей — отдельной брошюрой, выпущенной в количестве 12 экземпляров [44] под следующим заглавием, явно придуманным издателем: «Mémoire présenté à l'empereur Nicolas depuis la révolution de fevrier par un russe employé supérieur aux affaires étrangères (Paris, 1849)». Статья сопровождалась комментарием французского политического деятеля бар. П.-Ш. де-Бургуэна. В 1873 г. она была перепечатана в 5-м выпуске «Русского Архива» под заглавием «Россия и революция» с переводом того же Тимирязева. Третья статья — «La Papauté et la Question Romaine» — была первоначально помещена в 1-м томе журнала «Revue des deux Mondes» за 1850 г., вторично — с русским переводом В. Н. Лясковского, частично переделанным Аксаковым [45], — в 5-м выпуске «Русского Архива» за 1886 г. Четвертая статья — «Lettre sur la censure en Russie», записка о цензуре, адресованная кн. А. М. Горчакову в 1857 г., — была опубликована еще при жизни Тютчева в 4-м выпуске того же журнала за 1873 г. — во французском подлиннике и в переводе Тимирязева.

В издании 1886 г. все эти статьи перепечатывались в тех же переводах, а в приложении был дан их французский подлинник.

Свои услуги для наблюдения за печатанием книги предложил поэт А. Н. Майков. Задачу свою он выполнил на редкость плохо. Издание во-первых изобилует опечатками. Далеко не полный список их приложен в конце книги. Вопреки предположению Г. И. Чулкова [46], основанному на встречающихся в рукописях Тютчева чужих пометах, Майков не имел в своем распоряжении автографов поэта. Весь текст был доставлен ему в копиях, выполненных Э. Ф. Тютчевой [47], которая в свою очередь лишь в единичных случаях прибегала к подлинникам и почти исключительно руководствовалась печатными текстами. О каком бы то ни было критическом с ее стороны отношении к тексту говорить, конечно, не приходится. И все же нельзя не отметить, что дошедшие до нас списки тютчевских стихов, сделанные Э. Ф. Тютчевой и составляющие целую объемистую тетрадь [48] (ею повидимому и пользовался Майков), несравненно чище нежели тексты издания 1886 г. В отношении же датировок и расположения пьес в издании наблюдается существенное расхождение с этой тетрадью, при чем всегда



Сладокъ мнѣ твой тихій шопотъ,
Полный ласки и любви —
Внятенъ мнѣ и буйный ропотъ
Стоны, вѣщіе твои
Будь вѣрна ты въ стихіи бурной —
Но въ ночи твоей лазурной
Сбереги что ты взяла —

кольцо, какъ даръ завѣтной —
Зыбь твою я опустилъ

в ущерб хронологической точности. В издании 1886 г. насчитывается до тридцати с лишним безусловно неверных дат (вплоть до отнесения к 1847 и 1863 гг. стихотворений, напечатанных в 1836—1839 гг.), не говоря уже о целом ряде не внушающих *доверия. Произвольные и вызывающие сомнение* пометы попадаются и в тетради, но в меньшем количестве. Приходится недоумевать, чьей смелой рукой расставлены в издании 1886 г. эти даты, представляющие — по справедливому замечанию Чулкова — «источник постоянных разочарований» [49].

То, что Майков не ограничился простым наблюдением за печатанием книги, явствует из наличия в ней некоторых новых разночтений, не находящих подтверждения ни в списках Э. Ф. Тютчевой, ни в автографах самого поэта и вместе с тем не оговоренных в «опечатках». Таковы, например, перестановка слов в четверостишии «Когда пробьет последний час природы...»: «Разрушится состав частей земных...», вместо «Состав частей разрушится земных...» — перестановка такого же порядка, что и Сушковское выравнивание стиха (в данном случае — уничтожение инверсии), или новое чтение заключительной строки «Сна на море»:

И в тихую область видений и снов
Врывалися тени ревущих валов

(*вместо: «Врывалася пена ревущих валов»*).

Вряд ли тут не сознательное изменение. В этом, к тому же, не было бы ничего удивительного: Майков находил, что поэтическое наследие Тютчева нуждается в строгом «отборе» для печати [50]. Не его ли вмешательством объясняется исключение из нового издания четырех стихотворений поэта, печатавшихся в предыдущих изданиях? Эти четыре пьесы, переписанные Э. Ф. Тютчевой вместе со всем остальным, но пропущенные в издании 1886 г., следующие: «Неохотно и несмело...», «Уж третий год беснуются языки...», «Ты взял свой день... Замеченный от века...» и «Как насаждения Петрова...» Между тем попало в сборник два стихотворения, не принадлежащих Тютчеву: отрывок из стихотворения П. А. Вяземского «Ночь в Венеции» («По зеркалу зыбкого дола...»), когда-то переписанное Э. Ф. среди стихов мужа и теперь принятое ею за его собственное произведение, и «Подражание Арабскому», напечатанное в альманахе «Северные Цветы» на 1827 г. с подписью Тютчева, но по печатному разъяснению А. А. Дельвига принадлежащее поэту А. Г. Ротчеву [51]; неверная подпись — результат оплошности редактора.

Что касается расположения материала, то в издании 1886 г. стихотворения разбиты на три отдела: произведения 1820—1836 гг., 1837—1873 гг. и переводы. Согласно пояснению редакции «в отделе 1820—1836 гг. помещены стихотворения, относящиеся к этому периоду жизни Ф. И., которых даты не могут быть определены с точностью, или совсем неизвестны». В конце книги помещены политические статьи. К изданию приложены портрет поэта и снимок с его автографа.

Существенные недостатки издания 1886 г. не укрылись и от самой издательницы. Неудовлетворенная своим изданием Э. Ф. Тютчева занялась разбором и приведением в порядок рукописей поэта в расчете на новое издание. Оно было осуществлено в 1900 г. — уже после ее смерти.

В 1899 г. вышло третье бартеневское издание стихотворений Тютчева («Стихотворения Федора Ивановича Тютчева. Издание «Русского Архива», М., 1899»), составленное по тому же типу, что и два его предшественника и соединившее все недостатки московского издания 1886 г. с некоторыми недостатками петербургского. Стихотворения разбиты по тем же трем тематическим отделам, что и в издании 1883 г. После текста в скобках помечена дата пьесы или время ее первого появления в печати — не всегда точно. Маленькое предисловие представляет собою переработку предисловия к предыдущему изданию. Сборник дополнен рядом стихотворений, извлеченных из петербургского издания 1886 г. (вплоть до перепечатки стихов Вяземского) и других источников, но далеко не исчерпывает всего стихотворного наследия Тютчева, опубликованного к этому времени. Переводы снова остались за пределами книжки. Бесцеремонность в обращении с текстом доведена в ней до крайних пределов: наблюдаются случаи слияния

двух стихотворений в одно, наряду с произвольным отсечением нескольких строк и даже строф. Очевидно все это редактор считал знаком своей «дружбы» к автору.

Некоторым шагом вперед в деле редактирования Тютчева является издание 1900 г., выполненное по завещанию Э. Ф. Тютчевой и посвященное ее памяти («Сочинения Ф. И. Тютчева. Стихотворения и политические статьи. С портретом и снимком с рукописи автора. Издание второе, исправленное и дополненное. СПБ., 1900»). Издание это, как сказано в предисловии, подписанном И. Ф. и Д. Ф. Тютчевыми, «составлено при просвещенном содействии библиографа А. А. Флоридова, по рукописям, тщательно собранным и приведенным в порядок женой поэта...». Стихотворный текст открывается шестью стихотворениями, посвященными Э. Ф. Тютчевой. За ними следует основной отдел книги — «Стихотворения 1820—1873 гг.», а затем «Переводы», «Стихотворения на французском языке», «Политические статьи», «Приложения (политические статьи в подлиннике)» и наконец «Краткие примечания к стихотворениям», занимающие всего лишь шесть страниц и ограничивающиеся самыми сжатыми библиографическими данными. В расположении стихов сделана попытка выдержать хронологический порядок: многие стихотворения снабжены датами; при этом пометы, заключенные в скобки, «означают лишь приблизительную дату». Издание 1900 г. значительно полнее предыдущих: ряд стихотворений напечатан в нем впервые, другие были отысканы в старых повременных изданиях. Стихотворения Вяземского и Ротчева — теперь однако в последний раз — снова перепечатывались как тютчевские.

При всей своей методологической невыдержанности издание 1900 г. все же выгодно отличается от предшествующих. Правда, настоящей серьезной работы над редактируемым текстом в нем еще не заметно; от тех выводов, к которым пришли позднейшие исследователи — отчасти путем изучения именно этих рукописей — редактор еще очень далек, в основном оставаясь верен традиционному тексту. Но нельзя не признать несомненной заслугой Флоридова, что, несмотря на это, он счел возможным отступить от него в целом ряде отдельных случаев и предпочесть записанному тексту подлинное чтение автографа или иного печатного текста — в наших глазах более авторитетного. Благодаря этому ему удалось избежать различных умышленных изменений или случайных погрешностей прежних изданий и дать вполне достоверные редакции некоторых тютчевских стихотворений («Снежные горы» — без поправки Некрасова, «Не остывшая от зною...» — окончательная редакция по автографу, «Не говори: меня он, как и прежде, любит...» — без поправки Сушкова, и др.). Флоридов, как видим, был близок к тому пути, по которому пошли современные исследователи тютчевского текста, но он сбился с дороги и повернул в опасную сторону. Не принимая целиком традиционной редакции того или иного стихотворения, он прибегал к сводке традиционного текста с автографом или первопечатной редакцией. Никаких поправок от себя он при этом, повидимому, не допускал (спорным в данном случае является разве лишь происхождение приглаженных редакций предсмертных стихов поэта). При всей неприемлемости флоридовского метода в его комбинированных редакциях (см напр. «В душном воздухе молчанье...», «Осенний вечер», «Итальянская вилла») было все же несравненно больше подлинного Тютчева, чем в традиционном тексте, долгое время еще внушавшем к себе безграничное доверие.

С этой стороны весьма любопытна статья В. Я. Брюсова «По поводу нового издания сочинений Ф. И. Тютчева» [52]. «Новое издание сочинений Тютчева, — пишет Брюсов, — поставило себе задачей дать полное собрание его стихов. Полнота собрания, *повидимому достигнута; конечно, могут еще найтись затерянные стихи* Тютчева, но надо думать, что их осталось немного... Гораздо меньше сделано для установления верного чтения стихов Тютчева; можно сказать, что новое издание внесло в этом отношении новую смуту». Критик досадует на то, что «целый ряд общеизвестных стихотворений появился в новом издании в совершенно необычном виде», тогда как «во всех предыдущих собраниях за основное чтение принималось всегда позднейшее чтение изданий». В полной достоверности этого позднейшего чтения, в том, что первоначальные редакции стихотворений были впоследствии отвергнуты и переделаны самим поэтом, Брюсов ни минуты не сомневался. Поэтому отступления Флоридова от

традиционного текста к автографу или тексту первопечатному рассматриваются Брюсовым как примеры «особенно чувствительных» изменений. Правда, Флоридов, за редкими исключениями, не указывает, по какому тексту печатается то или иное стихотворение, и совершенно утаивает основания, побуждавшие его предпочесть один текст другому. Так, например, печатая по автографу стихотворение «Не остывшая от зною...», он не отметил в примечаниях, что сохранившийся своеручный подлинник Тютчева по всем вероятиям является последней редакцией стихотворения, помещенного в издании 1854 г. с двумя строками, явно отвергнутыми автором, так как в автографе они зачеркнуты и заменены иными. Между тем скрыв от читателей «происхождение» новой редакции, он тем самым навлек на себя нарекания со стороны Брюсова за то, что стихотворение «Не остывшая от зною...» напечатано не в той обработке, которую «все знают из школьных хрестоматий». Несправедливые сами по себе нападки Брюсова оказываются тем не менее вполне понятными.

Точка зрения Брюсова была целиком принята редактором первого «полного собрания» сочинений Тютчева П. В. Быковым. В предисловии к выпущенному в 1912 г. изданию Тютчева («Ф. И. Тютчев, Полное собрание сочинений с критико-биографическим очерком В. Я. Брюсова, библиографическим указателем, примечаниями, вариантами, факсимиле и портретом. Издание шестое [53], исправленное и дополненное, редакция издания П. В. Быкова, СПБ., издание т-ва А. Ф. Маркс») он писал: «...текст стихотворений вновь тщательно проверен и исправлен, при чем руководящим изданием принято вышедшее в 1854 году, при участии И. С. Тургенева, и уже получившее право гражданства». Стихотворный текст разбит в новом издании на четыре отдела: лирические стихотворения (1820—1873), политические стихотворения, французские стихотворения и переводы и подражания (1819—1869). В трех первых отделах стихотворения размещены более или менее в хронологическом порядке, в четвертом — по авторам. После политических стихотворений напечатаны — по ошибке без шмуцтитула — три пьесы, посвященные Э. Ф. Тютчевой и почему-то (очевидно по примеру предыдущего издания) выделенные из отдела лирических стихотворений; после переводов помещено случайно пропущенное в основном тексте четверостишие «Нам не дано предугадать...» Далее идут: политические статьи — в переводе и в подлиннике, приложения (из «тютчевианы» — различные остроты Тютчева), примечания и варианты (за исключением примечаний к политическим статьям, следующих непосредственно после текста подлинников) и библиография произведений Тютчева.

«Полное собрание сочинений» Тютчева под редакцией Быкова выдержало четыре издания. Вторично оно было переиздано в виде приложений к журналу «Нива» на 1913 г. в трех выпусках (издание т-ва А. Ф. Маркс, СПБ., 1913; без факсимиле стихотворений). При перепечатке произведена была некоторая перегруппировка материала, в приложении помещены стихотворения Полонского, Фета, А. Майкова и Апухтина, посвященные поэту, и несколько дополнены отдел «тютчевианы» и библиографический указатель.

Такое же расположение материала произведено и в двух последующих изданиях — седьмом, вновь пересмотреннном, и восьмом. Оба издания совершенно тождественны. Повидимому эти два издания на самом деле являются одним и лишь на титульном листе помечены как два разных.

Что касается самого текста, то полного совпадения между этими четырьмя или, вернее, тремя изданиями нет. На первый взгляд может показаться, что новый пересмотр текста привел к его действительному уточнению и упорядочению, но впечатление это ошибочно. Не говоря уже о множестве простых небрежностей редактора, иногда доходящих до прямых нелепостей (в роде, например, чтения 85 строки стихотворения «Урания»: «...оратай бесплодно ноющий во пламенных песках» ...вместо «роющий»; чтение это попало во все издания под редакцией Быкова и позднее в берлинское издание 1921 г.), в новом издании наблюдается не мало случаев заведомого искажения тютчевского текста, конечно под видом его «тщательной проверки и исправления».

Так, например, в стихотворении «Сей день, я помню, для меня...» в двух строках

произведена перестановка эпитетов, вследствие чего смелые и свежие образы превратились в изношенные литературные штампы:

И вдруг, как солнце золотое, (вместо «молодое»)
Любви признанье молодое... (вместо «золотое»)

В приложении к «Ниве» изменена начальная строка стихотворения «Первый лист»: «Лес зеленеет молодой...» вместо «Лист зеленеет...»; в примечаниях при этом отмечено: «В «Современнике» 1854 г. в первом слове первой строки явная опечатка, повторенная во всех изданиях («Лист» вместо «Лес»), которая и исправляется в нашем издании». Такое же примечание сделано и в седьмом (восьмом) издании, но в текст исправление не внесено. Утверждение Быкова опровергается наличием подлинной рукописи поэта. Таких «явных опечаток» П. В. Быков заметил и «исправил» несколько: во всех случаях его замыслы не выдерживают критики. Нельзя при этом не отметить, что, ссылаясь на какую-нибудь рукопись, редактор далеко не всегда в точности ей следовал.

Сказанного достаточно, чтобы судить о научной ценности марксовских изданий Тютчева. Между тем внушительная внешность объемистого тома, снабженного всеми атрибутами «академического» издания (и надо сказать, что библиографический указатель и произведенная Быковым сводка вариантов, при всех своих погрешностях — недостаточной полноте, неточности ссылок и пр. — все же значительно облегчили работу позднейших исследователей), явным образом подкупила рецензентов. Тютчев, казалось, был издан по всем правилам самой строгой редакционной техники. «Сверка текста с подлинными рукописями, — заявлял один рецензент, — едва ли внесла бы какие-либо существенные изменения в ныне установленный текст» [54].

Совершенно понятно, что выпущенное берлинским книгоиздательством «Слово» собрание стихотворений Тютчева («Ф. И. Тютчев. Стихотворения. Книгоиздательство «Слово», 1921») явилось в сущности простой перепечаткой с шестого издания Маркса, с той только разницей, что политические стихотворения не были выделены в особый отдел. Примечания и варианты отсутствуют, но многие стихотворения снабжены датою после текста. Все издание, начиная с вступительного очерка носит вполне дилетантский характер.

Однако не нужно было обращаться и к рукописям поэта, за немногими исключениями оставшимися вне поля зрения Быкова, чтобы вскрыть всю научную шаткость нового издания. Д. Д. Благому первому принадлежит честь критического отношения к традиционному тютчевскому тексту. В своей университетской диссертации, послужившей материалом для ряда его позднейших статей о Тютчеве, путем сопоставления первопечатных текстов с их последующими редакциями — в глазах Брюсова и Быкова «уже получившими право гражданства» — Благой доходит до выводов о постороннем вмешательстве в тютчевский текст [55]. Правда, не догадываясь о поправках, произведенных Некрасовым, и не зная ничего о роли Сушкова как редактора Тютчева, он приписывает «выправление» тютчевского текста всецело одному Тургеневу. Но нельзя не признать, что точка зрения Благого являлась значительным шагом вперед в области изучения тютчевского текста. Окончательный и коренной поворот в этом отношении происходит уже в послереволюционные годы.

III. ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ ТЮТЧЕВСКИХ ТЕКСТОВ. — НОВОЕ ИЗДАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ ТЮТЧЕВА

Критическое отношение ко всем перечисленным выше изданиям Тютчева неизбежно должно было привести к выводу о необходимости нового пересмотра тютчевского поэтического текста с целью его переиздания. Первые же годы после революции создают для этого чрезвычайно благоприятные условия.

Прежде всего оказалась разрушенной создавшаяся в литературных кругах легенда об отсутствии — за очень небольшими исключениями — подлинных рукописей стихотворений Тютчева. Г. И. Чулков получил доступ к крупнейшему фонду его стихотворного наследия — семейному архиву Тютчевых. Открытие музея имени Тютчева в Муранове,

подмосковной усадьбе, с обширным архивом, являющимся основным хранилищем эпистолярного наследия поэта, не только ускорило, но и придало известную планомерность сложной задаче выявления и разработки архивных материалов, касающихся жизни и творчества Тютчева.

Пятидесятилетний юбилей со дня смерти поэта (1923) также не мало способствовал оживлению интереса к поэзии Тютчева и к постановке ее изучения на действительно научную основу. Госиздат поручает Г. И. Чулкову подготовить полное собрание его стихотворений, первое критически-проверенное издание, дополненное рядом новооткрытых произведений. По техническим причинам издание это не было выпущено к юбилею и выход его затянулся ровно на десять лет. Вместо него появился сборник «Избранные стихотворения Тютчева» (редакция, примечания и биография Георгия Чулкова, М.-П., ГИЗ, 1923). Хотя издание это и не давало цельного поэтического облика Тютчева (в сборник не были включены ни политические, ни переводные его стихотворения; Тютчев — лирик — однако был представлен в нем с достаточной полнотой), но зато оно обнаружило совершенно новые редакционные принципы, в корне отличающиеся от тех, коими руководствовались прежние редакторы Тютчева. В основу нового издания был положен текст автографов поэта, лишенный чьих бы то ни было позднейших поправок. В тех случаях, когда автографа того или иного стихотворения не сохранилось, Чулков предпочитал первопечатное чтение и лишь в единичных случаях давал «традиционный» текст, т. е. текст установившийся с тургеневского издания 1854 г.

Не вхожу здесь в подробное рассмотрение юбилейного издания, так как итогом текстологических работ редактора, исправившим некоторые недочеты других его публикаций тютчевских текстов, явилось двухтомное собрание стихотворений поэта, которое я и подвергаю ниже обстоятельному разбору.

За пределами «Избранных стихотворений» остались однако все те новинки тютчевского стихотворного текста, которые, начиная с 1922 г., появлялись на страницах советских изданий. В том же 1922 г. пятнадцать эпиграмм и стихотворных шуток были опубликованы в специальном сборнике, подготовленном к печати внуками поэта, под заглавием «Тютчевиана. Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева» (предисловие Георгия Чулкова. М., изд. «Костры», 1922). Из этих пятнадцати летучих стихотворений только одно уже было напечатано ранее, но не попало в старые издания.

Более полная сводка новонайденных стихотворений поэта дана в книге «Новые стихотворения Тютчева» (редакция и примечания Георгия Чулкова, М.—Л., изд. «Круг», 1926). В это издание вошло тридцать девять пьес, не включенных в старые издания. «Новым стихотворениям» предпослана статья Чулкова «Судьба рукописей Тютчева», первоначально напечатанная в «Тютчевском сборнике». Тексты разбиты на три отдела: основной («тексты»), «fragmenta et dubia» и «senilia»; каждый из двух первых отделов снабжен примечаниями.

Не останавливаясь на этом издании по тем же причинам, что и на «Избранных стихотворениях», перехожу к новому изданию Тютчева («Ф. И. Тютчев. Полное собрание стихотворений. Редакция и комментарии Георгия Чулкова, вступительная статья Д. Д. Благого, т. I—II, М.—Л., изд. «Academia», 1933—1934»), появление которого нельзя не признать крупным литературным событием.

Прежде всего, — это самое полное из всех существующих изданий Тютчева, хотя может быть правильнее было бы, в виду необозримости наших архивных недр, не писать на заглавном листе «Полное собрание стихотворений», принимая во внимание всю условность этого обозначения. Возможность новых единичных находок не исключена и впредь. Доказательством тому служит стихотворение «Императору Николаю I» (см. выше в моей работе «Тютчев и проблемы внешней политики царской России»), обнаруженное уже по выходе этого издания.

Каковы же новые приобретения тютчевского поэтического текста, сделанные за последние двадцать лет, т. е. за период истекший со времени появления марксовского издания?

В недавно вышедшем издании «Academia» включено шестьдесят стихотворений, не

входивших в прежние собрания, не считая одиннадцати пьес, отнесенных к разряду dubia и целого ряда неизданных вариантов, имеющих самостоятельное художественное значение.

Поэтическое наследие Тютчева обогатилось, во-первых, шестью юношескими стихотворениями; произведения этих годов дотоле оставались нам почти неизвестными. Наиболее интересным из них является ода «На новый 1816 год» — яркий образец воздействия классической традиции на творчество молодого Тютчева. Г. И. Чулков

Н. В. СУШКОВ — РЕДАКТОР ПЕРВОГО НЕОСУЩЕСТВЛЕННОГО ИЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ ТЮТЧЕВА
Миниатюра Муратова, 1852 г.
Исторический Музей, Москва

с достаточным основанием склонен видеть в этой оде считавшееся утраченным стихотворение «Вельможа», за которое поэт был избран сотрудником Общества любителей российской словесности.

Вторым существенным приобретением следует признать переводы (три перевода из 1-й части «Фауста» Гете, два перевода из Гейне: «Закралась в сердце грусть — и смутно...» и стихотворное переложение одной из глав 3-й части прозаических «Reisebilder», отрывок из «Todtenkränze» Цедлица и др.), нисколько не уступающие ранее

известным и во многих отношениях заслуживающие самого пристального внимания.

Наконец, в-третьих, мы — имеем несколько новых эпиграмм, ярко дополняющих различные высказывания Тютчева на общественно-политические темы: таковы, например, эпиграмма-эпитафия Николаю I «Не богу ты служил и не России...» или эпиграмма на цензурное ведомство «Печати русской доброхоты...» Гораздо менее значительны более крупные по размеру политические и лирические стихотворения и совсем относительную ценность представляют многочисленные стихотворные шутки, поздравительные телеграммы, альбомные записи.

Особо следует остановиться на отделе dubia. Некоторые пьесы, по моему мнению, отнесены туда по не совсем понятной осторожности. Бесспорно должна быть изъята из отдела dubia следующая эпиграмма:

Затею этого рассказа
Определить мы можем так:
То грязный, русский наш кабак
Придвинут к высотам Кавказа.

Эпиграмма эта напечатана по списку М. Ф. Тютчевой, имеющему перед текстом помету: «На Казаки (повесть Толстого)», а после текста дату: 1862. Если заключающаяся в этой эпиграмме оценка «Казаков» и поражает своей субъективностью, то нет никаких оснований сомневаться в ее принадлежности Тютчеву. Г. И. Чулков сопровождает помету «1862» вопросительным знаком, т. е. принимает ее условно и предположительно. Эта осторожность также не оправдывается, ибо как раз в 1862 г. «Казаки» появились в печати. Примечание Г. И. Чулкова: «Повесть Толстого «Казаки» относится к 1852 г.» — не совсем верно. «Казаки» были начаты в 1852 г., но завершены лишь в 1861—1862 гг. Последний аргумент в пользу отнесения пьесы к разряду dubia — недоверие к точности записи — здесь также не может иметь места. Целый ряд неизданных стихотворений Тютчева (например, эпиграмма на Николая I), извлечен из того же альбома его дочери и списки ее являются их единственным рукописным источником, не подающим повода к сомнениям и в остальных случаях не возбуждавшим подозрений со стороны редактора. Столь же мало оснований сомневаться в принадлежности Тютчеву французского четверостишия «Lamartine» и отрывка «За нашим веком мы идем...». *Недоверие к достоверности текста на этот раз вовсе исключается в виду* наличия автографов.

Из стихотворений, отнесенных к разряду dubia, действительно большие сомнения вызывает пьеса «Я не ценю красот природы...», напечатанная впервые П. В. Быковым в его воспоминаниях о Тютчеве. Автограф будто бы был вручен ему самим поэтом, когда последний был «глубоко удручен потерею дочери и особы, горячо им любимой» (Е. Ф. Тютчевой и Е. А. Денисьевой), т. е. в 1865 г. Ничто однако не подтверждает близости Тютчева с Быковым. В то же время представляется весьма странным, что Быков не включил этой пьесы в редактированное им «полное» собрание сочинений поэта. Во всяком случае, до тех пор, пока автограф этого стихотворения остается неизвестным, вряд ли можно — несмотря на некоторые «тютчевские» строки — с уверенностью считать его действительно тютчевским.

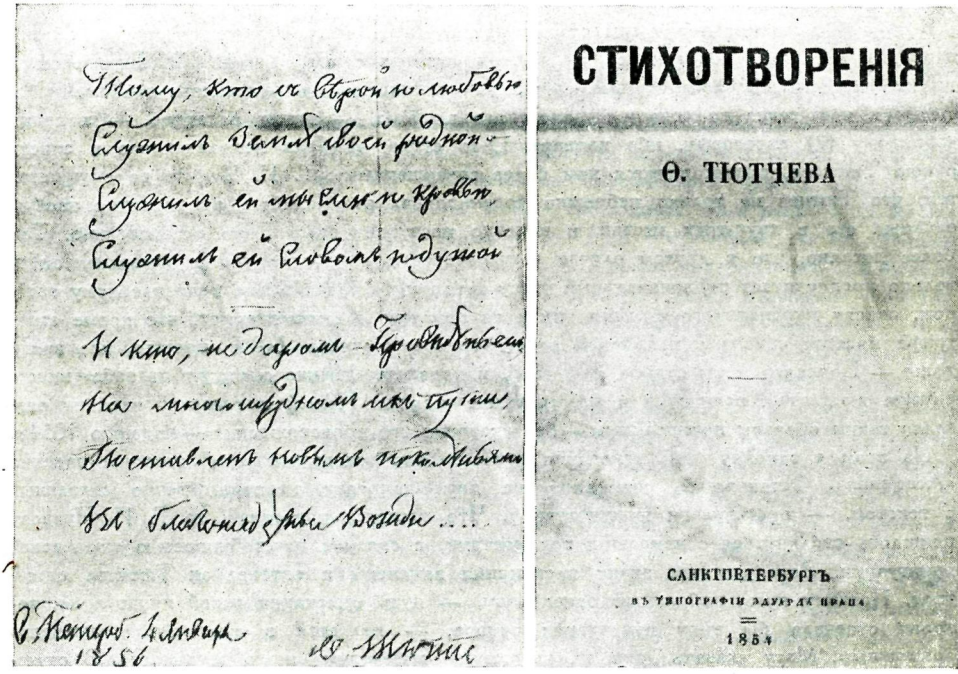
Перейдем теперь к критике нового издания с текстологической точки зрения.

«Главною целью нашего труда, — сообщает редактор в предпосланной I тому статье «Об издании стихов Тютчева», — является опубликование по возможности совершенного, критически-проверенного текста стихотворений Тютчева. Само собою разумеется, что эта возможность определяется прежде всего теми материалами, которыми в настоящее время мы располагаем... Мы поставили себе задачу проследить тщательно историю текста каждого стихотворения как рукописную, так и печатную, взвесить все данные в пользу той или иной редакции и принять для основного текста ту, которая наиболее была бы гарантирована от иных «нетютчевских» исправлений или искажений». Отмечая, что по отношению к стихотворениям Тютчева общий редакционный принцип, «требующий опубликования п о с л е д н е г о прижизненного текста», оказывается неприемлемым, в виду текстологической недоброкачественности второго прижизненного

издания Тютчева 1868 г., Г. И. Чулков ищет «не столько последней редакции той или иной пьесы, сколько подлинной тютчевской редакции». Он предпочитает поэтому напечатать иногда «первоначальный тютчевский текст, чем иной позднейший, опасаясь, что эта позднейшая редакция заключает в себе что-либо нетютчевское, какие-либо «исправления», сделанные редакторской рукой». Особо останавливается редактор на своем методе печатания текста. «Мы всегда старались дать текст цельный, в одной из тех редакций, которые были приняты самим поэтом. Мы решительно отказались от каких-либо исканий комбинированного текста, и в тех, правда редких случаях, когда мы не могли дать по автографам единой законченной

перевод по незавершенному автографу на том основании, что рукописная редакция другого должна быть предпочтена печатной? Заключительное четверостишие перевода «Кто хочет миру чуждым быть...» настолько важно, что отсечение его просто лишает стихотворение смысла. Правильнее было бы печатать первый перевод по рукописи, как и делает Чулков, а второй по первопечатному тексту «Сиротки».

Если таким образом в некоторых случаях колеблется уверенность в том, оказывать или не оказывать предпочтение автографу перед печатным текстом, то можно указать еще на ряд примеров, когда автограф определенно должен уступить место авторизованному списку. С этой стороны в новом издании наблюдается некоторая непоследовательность. Так, например, стихотворение «Ты волна моя морская...» дошло до нас в трех редакциях: раннего белового автографа, исправленного Тютчевым списка сушковской



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ «СТИХОТВОРЕНИЙ» Ф. И. ТЮТЧЕВА, СО СТИХОТВОРНЫМ ПОСВЯЩЕНИЕМ А. С. НОРОВУ

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

тетради и комбинированного текста издания 1854 г. Ниже я подробно останавливаюсь на тексте этого стихотворения. Совершенно очевидно, что последняя т ю т ч е в с к а я редакция пьесы дана в списке сушковской тетради. В новом издании, однако, в основном тексте помещена редакция автографа, а варианты, внесенные поэтом в текст сушковской тетради, отнесены в примечания. «В виду того, что Тютчев весьма небрежно просматривал сушковскую тетрадь,—замечает при этом редактор,—мы предпочли текст автографа, а не списка». Аргумент этот лишен достаточных оснований. Если в тех случаях, когда достоверность позднейшей редакции возбуждает какие-либо сомнения, Г. И. Чулков прав, печатая первоначальный подлинный текст, то настоящий пример не подает никакого повода к подобного рода подозрениям. Во-первых, нельзя сказать a priori, чтобы Тютчев небрежно просматривал сушковскую тетрадь. На чем можно было бы обосновывать это утверждение? На неисправленных поэтом описках переписчика? Но ведь «техническая редакция» тетради принадлежала Сушкову, и Тютчев получил тетрадь уже прокорректированную последним; к тому же некоторые неточ-

ности текста (в стихотворении «Не то, что мните вы, природа...») он как раз поправил. То, что поэт не отвергнул и не зачеркнул сушковских исправлений, также еще ничего не доказывает. Наконец, что касается некрасовских поправок, то их Тютчев мог попросту не заметить. В самом деле, если он не припомнил двух целых строф, пропущенных цензурою в стихотворении «Не то, что мните вы, природа...», то неужели же он обратил внимание на то, что две строки читаются в этом списке иначе, чем он сам их когда-то написал? Во-вторых, речь идет не о принятии текста всей сушковской тетради (некоторые стихотворения, напр., «О как убийственно мы любим...» и «Чему молилась ты с любовью...» в будущем, конечно, должны печататься по спискам этой тетради), а о тексте одного стихотворения. И оставляя открытым вопрос, тщательно или нет просмотрел Тютчев в с ю тетрадь, мы обязаны в данном случае считаться с его поправками, поскольку тем самым зачеркивается редакция белового автографа.

В другом месте редактор сам отдает предпочтение авторизованному списку. Стихотворение «Рассвет» сохранилось в беловом автографе альбома М. Ф. Бирилевой и позднейшем, исправленном поэтом, списке так называемого мурановского альбома. «Мы печатаем наш текст по списку мурановского альбома, — пишет редактор, — а не по черновому (?) автографу, ибо вариант 15-го стиха, как раз исправленного в списке рукою Тютчева, представляется нам более совершенным». Г. И. Чулков не смущается тем, что Тютчев не только небрежно просматривал этот альбом, но вероятно наобум раскрыл его в двух-трех местах, и конечно поступает совершенно основательно. Тем более досадно, что в другом случае (стихотворение «Там, где горы, убегая...») он не только предпочитает первоначальный текст автографа позднейшему, исправленному автором, списку мурановского альбома, но и не отмечает в комментариях, что кроме автографа имеется список с поправкой рукой самого Тютчева («Все прошло, все взяли годы — Поддался и ты судьбе, О Дунай, и пароходы Нынче р ы щ у т по тебе» вместо «нынче х о д я т»), вошедший в тургеневское издание. Новый тютчевский вариант оказался таким образом приписанным — без указания его происхождения — изданию 1854 г.

На этом я закончу свои замечания относительно текстологической стороны издания «Academia». Остановлюсь еще лишь на двух вопросах, непосредственно связанных с текстом, — орфографии и пунктуации. Что касается последней, то Г. И. Чулкову пришлось столкнуться с немалыми трудностями, в связи с неустойчивостью тютчевской пунктуации. Зачастую все знаки препинания заменены в автографах Тютчева одним тире. Поэтому путь, избранный редактором, — путь отыскания такой пунктуации, которая отвечала бы типу пунктуации автора, — является в сущности единственно возможным. Могу указать лишь на следующие замеченные мною неточности. В стихотворении «Саконтала», печатающемся по списку архива Тютчевых (ныне в Мурановском архиве), редактор напрасно заменил точки с запятой во 2-й и 4-й строках точками, вследствие чего относительное местоимение «что» в двух предшествующих стихах приняло характер вопросительного (это смысловое нарушение в результате изменения пунктуации уже имело место в изданиях Тютчева). Второй пример может подать повод к разочарованию. В русской критике неоднократно цитировались 5-я и 6-я строки стихотворения «Как птичка с раннею зарей...», при этом данные строки всегда читались так (начиная с текста пушкинского «Современника»):

Хоть свежесть утренняя веет
В моих всклокоченных власах...

Между тем оказывается, что все редакторы, включая Чулкова, не обратили внимания на стоящую в подлиннике запятую после 5-го стиха (автограф — единственный достоверный текст стихотворения). Правильное чтение, следовательно, таково:

Хоть свежесть утренняя веет,
В моих всклокоченных власах,
На мне, я чую, тяготеет
Вчерашний зной, вчерашний прах...

Но это, конечно, мелочи. Гораздо существеннее вопрос орфографии, вообще говоря один из самых сложных вопросов современной редакционной техники. В новом же издании Тютчева — это то, что вызывает единодушные и справедливые возражения.

Вот как разрешает эту трудную задачу Г. И. Чулков: «Что касается правописания, — пишет он во вступительной статье к редактируемому им тексту, — то мы вынуждены были модернизировать его согласно общим требованиям современности и не сохраняли таких особенностей орфографии, как буква «щ» в слове «счастие», или окончание «ой» вместо «ый» в именительном падеже прилагательного. Мы не решились даже следовать примеру некоторых текстологов, которые сохраняют для рифмы такие формы, как е я вместо е е, или окончание прилагательных женского рода во множественном числе на букву я, ибо рифма не важнее вообще инструментовки стиха, а такие детские компромиссы, как сохранение для рифмы прежней транскрипции, вносят только путаницу в восприятие читателя».

Вопрос о том, сто́ит или не сто́ит сохранять старинное правописание в слове «счастие» (щастие) — вопрос сложный. Если в своих юношеских опытах Тютчев писал «щастие», «щастливый», то в 30-х годах он уже пишет «счастлив» (см. например, факсимиле стихотворения «Цицерон» в I томе издания «Academia»). Неустойчивость орфографии в окончаниях прилагательных именительного падежа мужского рода (славянское «ый» и русское «ой»), наблюдаемое в рукописях молодого Тютчева, с течением времени окончательно уступает место современному правописанию («ый»). При строго хронологическом распределении материала точное соблюдение всех этих особенностей орфографии приобретает известную закономерность. При отступлении же от хронологического принципа естественно появляется сомнение. Правда модернизация орфографии в указанных случаях сравнительно незначительно отражается на произношении. Гораздо отчетливее зато начинает влиять на произношение славянское правописание «ий» вместо русского «ой» в окончаниях прилагательных именительного падежа мужского рода после согласных «г», «к», «х» (убогий, одинокий). Надо поэтому признать совершенно правильным принцип сохранения вообще прежнего правописания в тех случаях, когда этого требует рифмовка или фонетические особенности стиха. Этот принцип в настоящее время делается господствующим в нашей редакционной практике. Метод Г. И. Чулкова, до сих пор еще не нашедший ни одного сторонника, возбуждает заслуженные нарекания не только со стороны исследователей, но и со стороны читателей. Нельзя согласиться и с заявлением редактора о том, что рифма «не важнее вообще инструментовки стиха». Рифма и инструментовка — явления различного порядка. Вот что пишет по этому поводу Б. В. Томашевский в своей работе «Русское стихосложение»: «Обычно рифму изучают в ряду приемов «благозвучия», эвфонии, вместе с так называемой «инструментовкой», ассонансами, аллитерациями и другими спорадическими явлениями упорядочения качественного построения звуков стихотворной речи. На самом деле роднит рифму с «инструментовкой» только средство ее образования — созвучие, звуковой параллелизм. Но организующая роль рифмы в стихе выходит за пределы простого качественного упорядочения звукоречи: роль рифмы — краесловия (по старинной русской терминологии) — в том, что она есть знак ритмической законченности стихотворного члена. Ее функция — в ритмическом членении. Звуковой повтор рифмы не аналогичен звуковым повторам иного порядка, наблюдаемым в поэтической речи» [58].

Опасаясь внести «путаницу в восприятие читателя», Чулков достиг как раз обратного. Читатель с недоумением останавливается на следующих строках «Silentium!»

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Всходят и заходят они (оне)
Безмолвно как звезды в ночи —
Любуйся ими — и молчи.

Или еще:

И вдруг как солнце молодое,
Любви признанье золотое

Исторглось из груди ее... (ея)
И новый мир увидел я.
(«Сей день, я помню, для меня...»)
По небу много облак бродит,
Но эти облака ее (ея)
Она ни следу не находит
Отцветших весен бытия.
(«Весна»).

Для читателя, не знакомого с особенностями прежней орфографии, зрительное восприятие рифмы чрезвычайно важно. Поэт нашего времени не станет рифмовать «бытия» с «ея» и «глубине» с «оне», ибо с изменением орфографии мало-помалу совершенно исчезает это произношение и в живой речи. Формы эти являются для нас мертвыми формами и как таковые должны восприниматься читателем. Но модернизация орфографии в этих случаях просто недопустима. Напрашивается предположение, что если бы подобные рифмы встречались нам в сонете или в терцине, форма которых определяется рифмою? Ведь от нарушения рифмовки сонет перестал бы быть сонетом, а терцина — терциною. Правда, обе эти строфические формы отсутствуют у Тютчева, но критика чулковского метода имеет безотносительное, принципиальное значение. И если новый редактор Тютчева не придает особенного значения рифме, то сам поэт жертвовал ей иногда грамматическими правилами. Это не мешает отметить. Как известно, местоимение третьего лица среднего рода принимало во множественном числе то же окончание, что и местоимение мужского рода. Вопреки этому Тютчев рифмует:

В ее душевной глубине
Ей оставались вспоминанья,
Но изменили и оне (они).
(«О как убийственно мы любим...»).
Есть много мелких безымянных
Созвездий в горней вышине,
Для наших слабых глаз туманных
Недосягаемы оне... (они).
(«N. N.»)

Как видим, Тютчев позволял себе ради рифмы не считаться с грамматическими правилами. Поэтому модернизация правописания в таких случаях представляется с нашей стороны непростительным посягательством на авторский текст. И это новое искажение Тютчевского текста гораздо острее поразит и зрение, и слух читателя, на которого в первую голову рассчитано это издание, чем некоторая неизбежная невыдержанность новой орфографии. Читатель видит в рифме прежде всего то, чем она и является на самом деле, то-есть — «не простое «украшение» стиха, а одно из средств, создающих стих» [59].

Кроме трудностей текстологического порядка немалую сложность представляет для редактора Тютчева и проблема расположения стихотворного материала. Господствовавший долгое время в изданиях классиков хронологический принцип, в настоящее время подвергнут переоценке. В последнем издании Пушкина мы наблюдаем уже выделение в особые отделы не только коллективных произведений и dubia, но и незавершенных. Г. И. Чулков, считающий хронологическое распределение материала «основным принципом, отвечающим требованиям научной текстологии», также оказывается вынужденным «ограничить в известной мере» этот принцип, принимая во внимание то обстоятельство, что издание его «рассчитано не столько на специалистов-исследователей, сколько на читателей и ценителей поэта». Поэтому он устанавливает следующее деление текстов: 1) детские и юношеские стихотворения 1813—1823 гг., 2) стихотворения «зрелого поэта» 1824—1872 гг., 3) immatura, fragmenta et senilia и 4) dubia. Ограничение хронологического принципа, допущенное Г. И. Чулковым, вполне целесообразно. Можно спорить только насчет принятия 1824 г. в качестве грани между юношескими произве-

дениями Тютчева и творчеством «зрелого поэта». Печатая все стихотворения, написанные до 1824 г., мелким шрифтом, редактор тем самым намеренно снижает их поэтическую ценность и заставляет читателя видеть в них какие-то ученические опыты, лишенные для нас особого интереса. Среди них помещены между тем такие пьесы, как вовсе не ученическое «Послание к А. В. Шереметеву» или чрезвычайно важное для понимания молодого Тютчева стихотворение «Нет веры к вымыслам чудесным...». Избежать этого можно было бы, приняв за начальную веху для творчества «зрелого поэта» дату чисто биографическую — окончание Тютчевым университета в 1821 г. Во всяком случае дата эта была бы более оправдана, чем дата, принятая Г. И. Чулковым. Стихотворение «Твой милый взор, невинной страсти полный...», открывающий в его издании основной отдел стихов, не заключает в себе ничего такого, что давало бы право считать его мерилом «зрелости» тютчевского творчества. Впрочем хронологический принцип в применении к стихотворениям Тютчева всегда будет неизбежно условен, поскольку то, что составляет теперь первый том, является лишь незначительной частью написанного им в заграничный период, счастливо уцелевшею от учиненного самим поэтом аутодафе. В силу этого обстоятельства в глазах читателя может образоваться несколько ошибочное представление о творческом пути Тютчева, в частности, о преобладании в его творчестве этих годов переводных произведений.

Целесообразность или нецелесообразность выделения переводов в особый отдел зависит от того, какие задачи преследуются изданием. Не возражая принципиально против соединения переводов Тютчева с оригинальными произведениями в издании академического типа, к которому приближается издание Чулкова, нельзя не признать большим упущением то, что редактор не отмечает перед текстом переводное происхождение пьесы. Ведь, по его словам, новое издание Тютчева рассчитано главным образом на читателя не специалиста. Такой читатель не станет смотреть в примечания, тем более в примечания текстологическо-библиографического характера. И он очень легко примет большинство тютчевских переводов за оригинальные произведения, тем более, что в некоторых случаях — очень редких — Чулков сохранил в скобках подзаголовки: (из Гете), (из л. Байрона), (из Гейне). Однако, тут же помещена переведенная из Гете баллада «На старой башне, у реки...» без всякого указания, что это перевод. Во всех случаях, когда свидетельство о переводном происхождении пьесы имеется в рукописях поэта перед текстом и заключено в скобки, Чулков, как правило, опускает его, ссылаясь на то, что это не заглавие, а помета (для обозначений, не заключенных в скобки, редактор делает исключение и печатает их как заглавие). Лучше было бы сохранить ее так, как она дана в подлиннике — в скобках, перед текстом, напечатав ее мелким шрифтом или курсивом. Тем самым не вносилась бы путаница, в восприятие читателя. Равным образом следовало бы отмечать иностранный источник даже и тогда, когда он не указан в автографе, пользуясь при этом редакторскими ломаными скобками.

В заключение вкратце коснусь комментария. Редактор преследует прежде всего текстологические и библиографические цели, давая подробную историю текста каждого стихотворения, указывая известные ему рукописные источники и проч. Большое значение для исследователя Тютчева представляет обширная, хотя и не исчерпывающая сводка рукописных и печатных вариантов. Бесспорной заслугой Г. И. Чулкова является основательная и не легкая работа, произведенная им над датировкой тютчевских стихотворений. Как мы знаем, во всех прежних изданиях Тютчева это было одним из самых больных мест. Правда, далеко не все стихотворения получили в новом издании точную датировку: многие пьесы датированы гадательно и условно, но можно сказать почти с уверенностью, что новые данные не изменят существенно ныне установленную датировку и смогут лишь несколько уточнить ее. В издании оказалась лишь одна ошибочная дата, которая и исправляется здесь на основании картотеки Мурановского музея. Французское четверостишие «Ah quelle meprise...», которое по предположению Чулкова относится к старшей дочери Тютчева Анне и вызвано ее желанием поступить в сестры милосердия во время Крымской кампании, на самом деле обращено к младшей дочери поэта Марии и написано в 1870 г.

Слабее реальный комментарий. Чувствуется, что редактор был несколько стеснен рамками своего издания. Нельзя поэтому не пожалеть, что Чулков не прибегнул к условным обозначениям в истории текста при ссылках на часто упоминаемые источники; это позволило бы ему значительно расширить реальный комментарий и тем самым одновременно удовлетворить запросы и читателя, и исследователя. Комментарий, предложенный Г. И. Чулковым, не всегда отвечает тем требованиям, которые мы в праве к нему предъявлять. С одной стороны, в нем выяснена подробно не только история текста того или иного стихотворения, но и повод, послуживший к его написанию, приведены любопытные параллели из писем и политических статей поэта ко многим его стихотворениям, установлено — иногда на основании свежих архивных материалов — не самостоятельное происхождение некоторых пьес Тютчева (см., например, «Святые горы»). С другой стороны, попадаются в комментарии излишние буквальные повторения (напр., т. II, стр. 363 и 476 — о М. Ф. Тютчевой-Бирилевой; т. I, стр. 403 и т. II, стр. 493—494 — об Э. Ф. Тютчевой), чрезмерная лаконичность (таково примечание о ничего не говорящей читателю леди Бьюкенен, о которой сказано только, что ее имя встречается в письмах Тютчева — т. II, стр. 423), наконец некоторая устарелость сведений. Примером последнего может служить примечание к стихотворению «На древе человечества высоком...», написанному по поводу смерти Гете. Г. И. Чулков приводит легендарные сообщения Р. Ф. Брандта и В. Я. Брюсова о знакомстве Тютчева с Гете, основанные на весьма недостоверном свидетельстве Н. В. Гербеля. Однако отсутствие имени Тютчева в исчерпывающем перечне русских писателей — гостей Гете, данном С. Н. Дурылиным в гетевской книге «Литературного Наследства», было бы достаточным основанием, чтобы взять под большое сомнение этот источник. Данные Мурановского архива, обнаруженные за последние годы, опровергают версию Гербеля.

Понятие об о к о н ч а т е л ь н о с т и издания классика — понятие неизбежно условное. Не будучи окончательным, новое издание Тютчева, повторяю, остается первым критическим изданием, с которым обязаны считаться будущие исследователи. Своим быть может чересчур подробным разбором я нисколько не хотел снизить значение этого издания. И если, отдавая должную дань заслугам и трудам Г. И. Чулкова, принимая в основном его редакционные принципы, я в своих замечаниях иногда останавливался на мелочах, так это оттого, что в пределах тех возможностей, которыми располагал редактор, мы в праве были ожидать от него большего.,

IV. РУКОПИСНОЕ НАСЛЕДИЕ ТЮТЧЕВА

Рукописное наследие Тютчева в настоящее время в основном приведено в известность, благодаря предпринятому Мурановским музеем учету рукописей поэта и розыскам, произведенным в советских архивах по заданию «Литературного Наследства». Полный по возможности обзор рукописного наследия Тютчева является весьма своевременным и необходимым, особенно же в виду его сравнительной разбросанности.

Рукописное наследие поэта может быть разбито на четыре раздела: стихотворное наследие, эпистолярное наследие, документы официального характера и varia. Соответственно этим разделам я и даю обозрение учтенных до сих пор рукописных материалов.

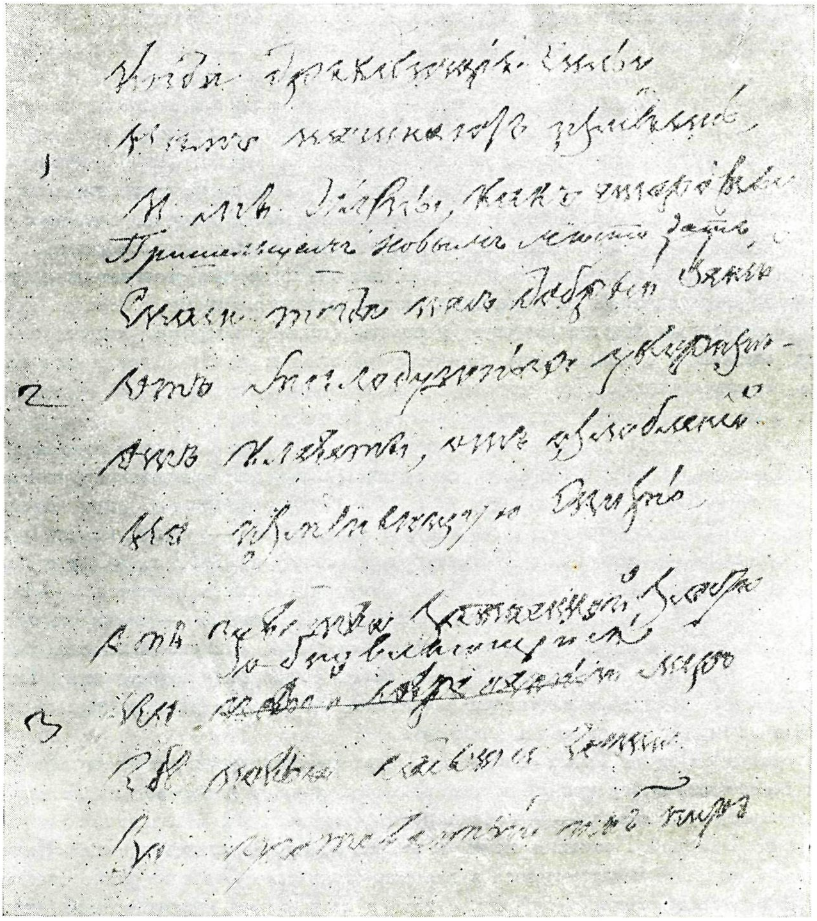
СТИХОТВОРНОЕ НАСЛЕДИЕ

На первом месте по обилию и ценности собранного в нем поэтического наследия Тютчева стоит Государственный Литературный музей (ЛМ).

В 1933 г. музеем приобретен основной фонд стихотворного наследия поэта — семейный архив Тютчевых, заключающий автографы свыше двухсот стихотворений Тютчева, при чем многие из них представлены в различных редакциях. Рукописи эти развертывают перед нами весь творческий путь поэта, начиная с каллиграфически выведенных отроческих опытов и кончая последними записями, начертанными во время предсмертной болезни. Неизданных стихотворений или каких-либо новых неизвестных в печати редакций в этом архиве, правда, уже не осталось. Могу указать лишь на один автограф, ускользнувший от внимания редакторов Тютчева: это — единственный, хотя и не

любопытный сам по себе отрывок тютчевской художественной прозы, несомненно переводный. Написан он на оборотной стороне автографа «Над виноградными холмами...» (шифр 1133 61/10) и, следовательно, относится к первой половине 30-х годов.

Среди других приобретений ЛМ имеются автографы стихотворений: «Давно ль, давно ль, о юг блаженный...», «Итальянская вилла», «Так здесь то суждено нам было...», «Сентябрь 1866» («Небо бледно голубое») и копия стихотворения «Так здесь то суждено нам было...» в альбоме А. Н. Бахметевой, рожд. Ховриной.



АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ТЮТЧЕВА «КОГДА ДРЯХЛЕЮЩИЕ СИЛЫ»

Государственный Литературный Музей, Москва

В этой копии — двенадцать начальных стихов, отсутствующих в общеизвестном тексте. Принадлежность последних Тютчеву не вполне очевидна. Копия к тому же относится к довольно позднему времени.

Из московских архивов на втором месте по количеству хранящихся в нем стихотворных автографов поэта должен быть поставлен Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ). Обследованные мною автографы Тютчева находятся: в Горчаковском фонде («Вы не родились поляком...», «Нет — не могу я видеть вас...», две редакции «Да, вы сдержали ваше слово...», две редакции «Когда свершится искупленье...», «Он, умирая, сомневался...» и «К портрету Государственного Канцлера князя А. М. Горчакова»), в Остафьевском архиве кн. Вяземских («Наполеон», «Lamartine»,

«Теперь не то, что за полгода...», «Неохотно и несмело...», «Вновь твои я вижу очи...», «Итак опять увиделся я с вами...», «Венеция», «По равнине вод лазурной...». «Нерешенный вопрос» — отрывок из стихотворения «Наполеон», «Не в первый раз кричит петух...». «Когда в кругу убийственных забот...» и «Слезы людские, о слезы людские...»)

и в Татевском архиве Рачинских — в собрании автографов С. А. Рачинского («Современное»). В составе Горчаковского фонда хранится еще ряд современных списков тютчевских стихов (среди них до последнего времени неизданное восьмистишие «Велели вы — хоть, может быть, и в шутку...» — в одном из альбомов кн. А. М. Горчакова) и литографированные копии двух стихотворений, посвященных Горчакову.

В архиве Мурановского музея имеется шесть стихотворных автографов поэта: «Из Гейне» («Как порою светлый месяц...»), «Обеих вас я видел вместе...», «О вещая душа моя», «На гробовой его покров...», «Умом — Россию не понять...» и «Вы не родились поляком...», из них четвертый подклеен под литографированным портретом гр. М. Н. Муравьева, а шестой находится в письме Тютчева к дочери А. Ф. Аксаковой от 18 января 1869 г. В том же архиве хранятся: описанная ниже сушковская тетрадь с копиями тютчевских стихов и собственноручными поправками поэта, альбом с выполненными писарской рукой и рукой Э. Ф. Тютчевой списками стихотворений Тютчева, в некоторых местах исправленными им самим, две стихотворные телеграммы поэта и до двухсот пьес, переписанных на отдельных листах разными лицами и нередко представляющих несомненную текстологическую ценность (таковы, например, списки кн. И. С. Гагарина, сделанные с недошедших до нас автографов и в настоящее время имеющие значение первоисточника). Две тетради с позднейшими копиями Э. Ф. Тютчевой любопытны лишь для истории печатного текста Тютчева.

В Рукописном секторе Публичной Библиотеки СССР имени Ленина рукописи стихотворений Тютчева имеются в Погодинском архиве («Харон и Каченовский») и в письмах Тютчева к жене («Que l'homme est peu réel, qu'aisement il s'efface...» — при письме без даты под № 204, «В разлуке есть высокое значенье...» — в письме от 6 августа 1851 г., «Неман» — в письме от 27 сентября (9 октября) 1853 г., «О это лето, это лето...» — в письме от 11 августа 1854 г., «Увы, что нашего незнанья...» — в письме от 11 сентября 1854 г., «Гуманный внук воинственного деда...» — в письме от 13 ноября 1863 г., «Доехал исправно усталый и целый...» — стихотворная телеграмма от 14 сентября 1870 г.). В собрании Музея Книги хранится поднесенный Тютчевым

плоть, а дух растлился в наши дни...»). Из различных копий тютчевских стихотворений некоторые («Он прежде мирный был казак...» — эпиграмма, записанная в дневнике Н. Н. Боборыкина под 5 октября 1861 г.; «Хотел бы я, чтобы в своей могиле...» — архив С. П. Фролова) являются единственными рукописными источниками.

В Публичную Библиотеку подлые автографы Тютчева поступили [illegible] 1952 [illegible]

Одновременно с работой над «Биографией» Аксаков замышлял отдельное издание писем своего тестя и первый заговорил о необходимости собирания эпистолярного наследия Тютчева. «Жаль, что Карл Петерсон (пасынок поэта, сын его первой жены, служивший в министерстве иностранных дел. — *К. П.*), так болен, — пишет он 23 [illegible] 1873 г. Ф. Тютчевой

Георгиевским — 8 писем (1864—1866 и без даты). ЛМ. 14) М. А. Георгиевской — 21 письмо (1865—1866). ЛМ. 15) А. И. Георгиевскому —

Ф. И. ТЮТЧЕВ
Фотография конца 1860-х гг.
Музей им. Тютчева, Мураново

писном секторе Публичной Библиотеки имени Ленина, одно — в собр. С. рылина, остальные в автографах не известны. 18 писем 1820—1822 гг., рису вольно ярко облик юного Тютчева, опубликованы Д. Д. Благим в «Красном (т. IV, 1923, стр. 386—391). Два интересных письма (1855 и 1857 гг.) бы щено Н. П. Барсуковым в его издании «Жизнь и труды М. П. Погодина» (СПБ, 1900, стр. 111—112; не ясно, является ли опубликованный там же на отрывок частью того же письма или извлечен из другого; кн. XV, СП стр. 110—111 и 105—106 — в двух отрывках). Там же (кн. XIX, СП стр. 486—487) напечатано еще одно короткое письмо, незначительное по со (1862). Записка (1850), находящаяся теперь в собр., С. Н. Д была опубликована в «Новом Пути» (1903, ноябрь, стр. 15) ка к неизвестному. 40) Я. П. Полонскому — 5 писем (1864, без даты); из них 4 — в ИРЛИ (опубликованы: одно Г. И. Чулковым в газ сковский Понедельник» 1922, № 2, стр. 3, три — в «Урании», стр. 79—81 с тариями С. Коплан-Шахматовой) и одно — в ГАФКЭ среди бумаг Остр архива. Последнее письмо см. ниже. Наиболее интересно опубликованное письмо по поводу смерти Е. А. Денисьевой. 41) М. Н. Похвисневу — из них 3 (1868—1869) — в архиве Государственного Исторического музея (1870) — в ЛПБ. Не изданы. Письма полуофициального характера: Тютч по службе был подчиненным Похвиснева. 42) О. Н. Путяте — 1 письмо грамма (1868). Собр. К. В. Пигарева. Не изданы. 43) Бар. К. фон Пфеф 13 писем: подлинники 10 писем (1847, 1848, 1850, 1860, 1862, 1870, в собр. Н. И. Тютчева, автографы трех писем (1851, 1855 и 1856) не Десять из этих писем напечатаны в сборнике «Старина и Новизна» (к П., 1917, стр. 278—293), но далеко не исправно, а некоторые в отрывках. При сличении с подлинниками в печатном тексте обнаружен ря тельных стилистических изменений, вплоть до вставок новых слов, не говор пропуске или замене одних слов другими. В основу печатного текста положен Э. Ф. Тютчевой, при чем сверки с подлинниками не производилось. Письма фелю почти сплошь на политические темы, представляют первоклассный мате характеристики политического мировоззрения Тютчева, принадлежа в то к числу наиболее отделанных образцов тютчевского эпистолярного стиля. Три ных письма (1860, 1862 и 4 августа 1870 г.) по содержанию наименее интере письма из числа помещенных в «Старине и Новизне» были уже напечатаны одно (1873) в аксаковской «Биографии Ф. И. Тютчева» (М., 1886, стр. 1

другое (от 20 февраля 1855 г.) в «Русском Архиве» (1900, № 11, стр. 418—419), по недоразумению как письмо к Чаадаеву. 44) Ю. Ф. Самарину — письмо по поводу славянского съезда в России в 1867 г. Мурановский архив. Печатается выше в моей работе «Тютчев и проблемы внешней политики царской России». 45) Д. И. Сушковой — 8 писем (1846, 1850, 1851, 1860 и 1863); из них 7 — в Мурановском архиве и одно — в Рукописном секторе Публичной Библиотеки имени Ленина (в письмах Тютчева к жене за 1851 г.). Не изданы. 46) Н. В. Сушкову — 5 писем (1836, 1847, 1851, 1857 и 1858). Мурановский архив. Два интересных в литературном отношении письма (1847 и 1851) опубликованы Д. Д. Благим в «Мурановском сборнике» (вып. I, 1928, стр. 64—68). Остальные не изданы. 47) Кн. Е. Э. Трубецкой — 12 писем: подлинники шести из них (1867 и 1870) находятся в ИРЛИ, куда переданы из Рукописного отдела Библиотеки Академии Наук СССР; автографы четырех (1871 и 1872)— в Мурановском архиве; два письма (1871 и 1872) в автографах не известны (в Мурановском архиве имеются копии с них рукою Трубецкой). Два письма из собр. Мурановского архива были напечатаны в небольших извлечениях И. С. Аксаковым («Биография Ф. И. Тютчева», стр. 145—146, 163), 5 писем из собр. Библиотеки АН опубликованы Е. П. Казанович в «Урании» (стр. 114—118). Не включено лишь одно письмо, ранее помещенное в «Русском Архиве» (1911, № 6, стр. 274) и перепечатанное в книге Казанович «Федор Иванович Тютчев в своих письмах к Е. К. Богдановой и С. П. Фролову» (стр. 62—63). Остальные письма будут опубликованы в одном из ближайших выпусков «Литературного Наследства». 48) А. Ф. Тютчевой-Аксаковой—144 письма (1838, 1839, 1841, 1842, 1844—1846, 1852, 1859—1873 и без дат). Мурановский архив. Первые извлечения из этих писем появились в аксаковской «Биографии» (стр. 197—198, 311—313). Ранние письма (1838—1852) использованы внуком поэта Ф. И. Тютчевым в его статье «Ф. И. Тютчев и его дети» («Урания», стр. 180—218). Наиболее обширная и безусловно самая интересная часть остается неизданной. О характере этих писем можно судить по некоторым из них, приведенным выше в моей работе «Тютчев и проблемы внешней политики царской России». Письма Тютчева к дочери Анне заслуживают публикации вместе с письмами к И. С. Аксакову как взаимно дополняющие друг друга. С этой стороны в особенности любопытны две группы этих писем: первая (1867—1869), рисующая Тютчева в качестве негласного руководителя московской славянофильской печати, и вторая (1871—1872), посвященная движению так называемых старо-католиков. В настоящее время Мурановским музеем ведется подготовка к печати всех писем Тютчева к А. Ф. и И. С. Аксаковым. 49) Д. Ф. Тютчевой — 50 писем и 2 телеграммы (1857—1860, 1862—1865, 1867—1870, 1872, 1873); из них 46 писем и телеграммы — в Мурановском архиве и 3 письма при различных стихотворениях — в собр. Н. И. Тютчева. Не изданы. Письма к Д. Ф. Тютчевой, носящие более интимный характер, чем письма поэта к другим дочерям (и тем самым не безинтересные для внутренней его характеристики), в целом представляют более узкое значение. 50) Е. Л. Тютчевой, матери поэта, — 13 писем (1846, 1847, 1860 и 1861). Мурановский архив. Не изданы. 51) Е. Ф. Тютчевой — 58 писем (1855, 1856, 1858, 1859, 1862—1864, 1866—1873); из них 57 — в Мурановском архиве, одно — со стихами «Брат, сколько лет сопутствовавший мне...» — в собр. Н. И. Тютчева. Не изданы. Отрывок из одного письма см. выше в настоящем обзоре. Среди этих писем, в общем не равноценных, встречаются блестящие характеристики лиц и событий. 52) М. Ф. Тютчевой-Бирилевой — 9 писем (1856, 1857, 1863, 1867, 1868 и 1870). Мурановский архив. Не изданы. Менее значительные письма, чем к другим дочерям, за исключением одного письма, извлечение из которого помещено выше в моей работе «Тютчев и проблемы внешней политики царской России». 53) О. А. Тютчевой — 4 письма (1869, 1870, 1872). Собр. К. В. Пигарева. Не изданы, за исключением одного отрывка из письма от 13/25 июля 1870 г. («Урания», стр. 176 — в комментарии к письму Тютчева к брату). 54) Эл. Ф. Тютчевой, первой жене поэта — 1 письмо-приписка к письму Тютчева к родителям от 13/25 декабря 1837 г. Мурановский архив. Помещено в переводе в статье О. В. Пигаревой «Из семейной жизни Тютчева» («Звенья»,

№ 3—4, М.-Л., изд. «Academia», 1934, стр. 283); 55) Э. Ф. Тютчевой, второй жене поэта—484 письма (1840—1843, 1846, 1847, 1851—1864, 1866—1872); из них—435 в Рукописном секторе Публичной Библиотеки имени Ленина и 49 (за 1868 и 1869 гг.) в Мурановском архиве. По многообразию тем и эпистолярному стилю это бесспорно наиболее интересная часть тютчевской переписки. О судьбе печатного текста этих писем см. выше в настоящем обзоре. Значительное количество писем вовсе не издано. 56) Д. Ф. Тютчеву — 5 писем (1867—1868). Собр. К. В. Пигарева. Не изданы. 57) И. Ф. Тютчеву — 9 писем и 1 телеграмма (1869—1873). Собр. К. В. Пигарева. Письма на редкие для Тютчева деловые хозяйственные темы. Не изданы. 58) Н. И. Тютчеву — 5 писем (1832, 1844, 1867 и 1868). Мурановский архив. Одно письмо (1868), содержащее между прочим резкий отзыв о цензурном ведомстве, опубликовано в «Урании» (стр. 172—174) с комментариями внука поэта — Н. И. Тютчева. В комментарии приведен отрывок из другого письма Тютчева к брату. Остальные не изданы. 59) И. Н. и Е. Л. Тютчевым — 34 письма (1836—1845). Мурановский архив. При сравнительной скудности сведений, касающихся личной жизни Тютчева за границей, письма его к родителям представляют не безинтересный материал для биографа поэта. Некоторые из них использованы в статьях О. В. Пигаревой «Из семейной жизни Тютчева» («Звенья», № 3—4) и Ф. И. Тютчева «Ф. И. Тютчев и его дети» («Урания»). 60) А. Ф., Д. Ф. и Е. Ф. Тютчевым — 1 письмо (1844). Мурановский архив Не издано. 61) А. Ф. и Д. Ф. Тютчевым — 1 письмо (1853). Мурановский архив. Не издано. 62) Д. Ф. и Е. Ф. Тютчевым — 6 писем (конец 1840-х, 1860, 1863). Мурановский архив. Не изданы. 63) Д. Ф. и М. Ф. Тютчевым — 1 письмо. Мурановский архив. Не издано. 64) Гр. С. С. Уварову — 1 письмо. Архив Государственного Исторического музея. Печатается ниже. 65) С. П. Фролову — 8 писем (1868, 1869 и 1871). ИРЛИ. Опубликованы вместе с письмами к Е. К. Богдановой в указанном ниже издании, с предисловием и примечаниями Е. П. Казанович. 66) П. Я. Чаадаеву — 2 письма (1847 и без даты). Рукописный сектор Публичной Библиотеки имени Ленина. Письмо 1847 г. напечатано в «Русском Архиве» (1900, вып. 11, стр. 411—412) вместе с отрывками трех писем, из которых одно обращено к Пфеффелю, а адресат двух других еще не выяснен. Копии этих отрывков имеются в бумагах Чаадаева, чем и был введен в заблуждение В. Я. Брюсов, опубликовавший эти письма, как письма к Чаадаеву. Письмо, оставшееся неизданным, см. ниже. 67) Кн. В. А. Черкасскому — 1 письмо. Собр. А. С. Голицыной. Не издано. 68) П. И. Щебальскому — 1 письмо. ИРЛИ. Печатается ниже. 69) Н. Ф. Щербине — 1 письмо (1856). ИРЛИ. Опубликовано Г. И. Чулковым в сборнике «Феникс» (кн. I, М., изд. «Костры», 1922, стр. 151).

Если полное собрание писем Тютчева заняло бы несколько объемистых томов (к тому же большая часть этих писем писана на французском языке и нуждается в переводе), то письма к Тютчеву свободно могли бы уместиться в одной книжке. Поэт был вообще не бережлив и обычно не хранил получаемых писем. Вот почему то, что дошло до нас, представляет лишь незначительную часть его корреспонденции, при чем настоящее местонахождение некоторых опубликованных писем остается неизвестным.

До сих пор письма к Тютчеву почти не появлялись в печати. Исключение составляют: отрывок из письма гр. Д. Н. Блудова (1857 — Н. Барсуков, «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. XV, СПБ, 1901, стр. 109—110), записка С. П. Боткина (1867? — ИРЛИ — «Ф. И. Тютчев в своих письмах к Е. К. Богдановой и С. П. Фролову», стр. 63), отрывок из письма кн. И. С. Гагарина (1836 — черновой подлинник в Славянской Библиотеке в Париже, фотокопия с него в ЛМ — «Русский Архив», 1879, вып. 5, стр. 120), письмо Г. Гейне (конец 20-х годов — A. Strodtman, «H. Heine's Leben und Werke», 2 Ausgabe, B. II, 1875, S. 96; вошло в выпущенное F. Hirth издание писем Гейне: «H. Heine's Briefwechsel», B. I, München und Berlin, 1914, S. 529—531; отрывок напечатан в русском переводе П. Ч-вым в «Русском Архиве» 1875, № 1, стр. 128, и перепечатан Г. И. Чулковым в журн. «Искусство», 1923, № 1, стр. 361—362), письмо И. А. Гончарова (ИРЛИ — «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев по неизданным материалам Пушкин-

ского Дома». С предисл. и примеч. Б. М. Энгельгардта, П., 1923), отрывок из письма М. П. Погодина (1862—Рукописный сектор Публичной Библиотеки имени Ленина—Н. Барсуков, «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. XV, СПБ, 1901, стр. 109—110), письмо кн. Е. Э. Трубецкой (1866 — ИРЛИ — «Ф. И. Тютчев в своих письмах к Е. К. Богдановой и С. П. Фролову», стр. 19).

На страницах настоящего выпуска «Литературного Наследства» печатаются письма следующих лиц к Тютчеву: И. С. Аксакова (1), герцога Н. М. Лейхтенбергского (1), гр. А. К. Толстого (1), И. С. Тургенева (1), П. Я. Чаадаева (2) — из архива ИРЛИ и 3 письма гр. П. А. Валуева — два из собр. ИРЛИ и одно ЛОЦИА. В ИРЛИ имеется еще три черновика письма А. Н. Майкова к Тютчеву (1864). В письме этом содержится объяснение по поводу стихотворения Майкова «Послание к Илье Ильичу», в котором был усмотрен намек на Александра II. К Тютчеву Майков обращается как к посреднику в деле его реабилитации.

В Мурановском архиве хранятся письма к Тютчеву А. Н. Муравьева (1—1869), епископа Nardi (1—1864), бар. К. фон Пфеффеля (15—1847, 1852, 1854, 1855, 1860, 1862, 1869 и 1870), Н. В. Сушкова (1—1857), Д. И. Сушковой (3—1857 и 1861), кн. Е. Э. Трубецкой (5—1872 и 1873), Н. И. Тютчева (2—1859), А. Ф. Тютчевой (2—1855, 1863; второе — на обороте письма Тютчева к ней же от 3 мая 1863), Д. Ф. Тютчевой (8—1859, 1860, 1863, 1868 и 1872), Е. Л. Тютчевой (21—1856—1861), Е. Ф. Тютчевой (1—1856), М. Ф. Тютчевой-Бирилевой (19 писем и 1 телеграмма—1857, 1858, 1861, 1863, 1864, 1866—1868, 1870—1872 гг. и без дат) и Э. Ф. Тютчевой (8—1853, 1855, 1858, конец 1860-х, 1872 гг.). На одном из писем М. Ф. Бирилевой (от 9 августа 1867 г.), заключающем неприглядную картину быта сельского духовенства, имеется пометка рукою Тютчева на французском языке: «Посылаю тебе это письмо Мари, которое со стороны содержащихся в нем подробностей местного характера сможет заинтересовать твоего мужа» (письмо было переслано А. Ф. Аксаковой).

Из всех писем к Тютчеву наибольший интерес представляют письма кн. Е. Э. Трубецкой и бар. К. фон Пфеффеля. Писанные из Парижа и посвященные преимущественно политике Тьера, письма Трубецкой войдут в один из ближайших выпусков «Литературного Наследства».

Из писем Пфеффеля в особенности любопытны шесть, относящиеся к периоду франко-прусской войны.

ДОКУМЕНТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Третью часть рукописного наследия Тютчева составляют документы официального характера, распадающиеся на две группы. Первая касается дипломатической службы Тютчева, вторая — его цензурной деятельности. Тютчев-дипломат и Тютчев-цензор до сих пор в равной мере оставался нам неизвестным. В этом отношении задача, выпавшая на долю современных исследователей поэта, как нельзя более благодарна.

До последнего времени мы располагали только одной дипломатической депешей Тютчева, составленной им в конце 1833 или в начале 1834 г. по поручению русского посланника в Мюнхене кн. Г. И. Гагарина. Депеша эта не была отправлена, так как «она показалась ему недостаточно серьезной» [66]. Черновик сохранился в бумагах кн. И. С. Гагарина, который впоследствии прислал копию с него И. С. Аксакову. По этой копии, находящейся в Мурановском архиве, депеша была опубликована Ф. И. Тютчевым, внуком поэта, в «Известиях ОРЯС Академии Наук СССР» (1928, т. I, кн. 2, стр. 525—535). При сличении с подлинником, хранящимся в Славянской Библиотеке в Париже (фотокопия с него имеется в ЛМ), в этой копии обнаружен ряд мелких неточностей.

Основной фонд документов, относящихся к дипломатической службе Тютчева, в настоящее время хранится в Архиве Внешней Политики и в свою очередь разделяется на две части: дипломатические документы, вышедшие из рук Тютчева и находящиеся в архиве канцелярии Министерства иностранных дел, и различные документы, лично касающиеся Тютчева и его службы в министерстве, сохранившиеся в бумагах Департамента хозяйственных и счетных дел.

Из всех этих материалов наибольший интерес представляют дипломатические депеши Тютчева, посылавшиеся им в Петербург в 1838—1839 гг. в бытность его русским поверенным в делах при Сардинском дворе. Эти 42 депеши писаны не рукою Тютчева, но подписаны им собственноручно. Однако официальный стиль этих депеш, беспрестанно сбивающийся на эпистолярную манеру частных писем Тютчева, ex ungue leonem выдает их автора. Точно так же с достаточной уверенностью можно приписать Тютчеву и составление целого ряда дипломатических депеш русских посланников в Мюнхене и Турине, под начальством коих служил поэт. Тютчев начал свою дипломатическую карьеру в 1822 г. сверхштатным чиновником миссии в Мюнхене. Среди дипломатических депеш тогдашнего посланника в Баварии гр. Воронцова-Дашкова встречается 9 депеш, несомненно написанных рукою Тютчева. Все они относятся к 1823 г. Депеши эти невелики и незначительны по содержанию. Приписывать составление их Тютчеву нет достаточных оснований, и, повидимому, на первых порах обязанности поэта были скромнее: возможно, что он был тогда лишь простым переписчиком. Документы не только переписанные, но и составленные поэтом начинают попадаться позднее. К 1828—1833 гг., когда русским посланником в Баварии был И. А. Потемкин, относится 58 депеш, являющихся автографами Тютчева. Последний состоял в это время вторым секретарем при миссии. Из депеш кн. Г. И. Гагарина, сменившего Потемкина, только 4 депеши 1833—1834 гг. писаны Тютчевым. Наконец к 1837 г. принадлежат 3 депеши, явно составленные поэтом и подписанные русским посланником в Турине А. М. Обрезковым. Тютчев был только что назначен старшим секретарем миссии.

В архиве канцелярии Министерства иностранных дел имеются еще черновики четырех депеш гр. К. В. Нессельроде за 1837—1839 гг., адресованных Тютчеву.

В бумагах Департамента хозяйственных и счетных дел сохранилось 55 дел, касающихся службы поэта в министерстве. Среди этих документов находится свыше двадцати различных донесений, клятвенных обещаний, расписок и тому подобных бумаг, писанных или подписанных Тютчевым. Все эти материалы представляют немаловажное значение для биографии поэта.

Документы, относящиеся к деятельности Тютчева-цензора, — хранятся в Ленинградском отделении Центрального Исторического архива в бумагах Главного Управления по делам печати. Материалы эти обследовались М. Брискманом. Результатом этих работ является печатающееся ниже сообщение Брискмана «Тютчев в Комитете Цензуры Иностранной», где даны извлечения из подписанных Тютчевым годовых отчетов Комитета. Заключения этих отчетов, как не без оснований предполагает комментатор, могли редактироваться самим поэтом. Кроме подписей на отчетах, автографы Тютчева встречаются и на журналах заседаний.

VARIA

Группу Varia составляют следующие автографы Тютчева: 1) французский прозаический отрывок политического содержания, помеченный 13 сентября 1849 г. и, повидимому, относящийся к неосуществленному труду Тютчева «La Russie et l'Occident» (ГАФКЭ; Остафьевский архив); 2) переписанные рукою поэта чужие стихотворения: отрывок из пушкинской оды «Вольность» (Рукописный сектор Публичной Библиотеки СССР имени Ленина; Погодинский архив), четверостишие Гете «Alle das Neigen...» из стихотворения «Rastlose Liebe» (собр. Н. И. Тютчева), первая строфа стихотворения Пушкина «Твоих признаний, жалоб нежных...» (Мурановский архив); 3) записи имен иностранных писателей, выписанные в параллельные столбики; цель этих записей неизвестна (подобные автографы имеются в Погодинском и Мурановском архивах); 4) надписи на книгах (библиотека Мурановского музея: пометы на книгах «M. Tullius Cicero's sämmtliche Briefe, übersetzt und erläutert von C. M. Wieland. Stuttgart, 1814» и «Jocelyn. Par Alphonse de Lamartine. Paris, 1836» и дарственные надписи дочерям на книгах «Auswahl deutscher Gedichte fur höhere Schulen, von Dr. K. S. P. Wackernagel. Berlin, 1838» и «Littérature de la jeunesse et de l'age mur. Par A. Vinet. Lausanne, 1857»). К этому же отделу может быть отнесен юношеский рисунок поэта «Муза и Амур» (Мурановский архив), единственный сохранившийся.

УТРАЧЕННЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ РУКОПИСИ

Несмотря на то, что в деле выявления рукописного наследия Тютчева мы имеем уже возможность подвести довольно солидные итоги, все-таки наша работа ни в коем случае не может считаться завершенной.

В обзоре эпистолярного наследия Тютчева мне не раз приходилось указывать письма, настоящее местонахождение коих не выяснено. Остается еще целый ряд неразысканных тютчевских рукописей. Таковы, например, автографы некоторых стихотворений, печатавшихся в «Современнике» 1836—1840 гг., но отсутствующих среди рукописей, пересланных И. С. Гагариным И. С. Аксакову, между тем, как мы знаем, в одном из них («Не то, что мните вы, природа...») цензурою вымараны две строфы.

Совершенно исчезли из поля зрения исследователей и подготовительные наброски незавершенного труда Тютчева «La Russie et l'Occident» («Россия и Запад»), находившиеся в распоряжении И. С. Аксакова и частично приведенные в его «Биографии Ф. И. Тютчева» (стр. 199—227). Вовсе неизвестна одна записка Тютчева политического содержания, представленная поэтом Николаю I через гр. А. Х. Бенкендорфа в 1843 г. Рукописи четырех статей Тютчева также пока не обнаружены.

Не удалось до сих пор установить, куда поступили письма Тютчева к гр. В. П. Орлову-Давыдову, ранее находившиеся в архиве усадьбы «Отрада».

В Мурановском архиве, в письме Д. Ф. Тютчевой к Э. Ф. Тютчевой (от 11 ноября 1878 г.), имеются сведения об одном неизданном стихотворении поэта, посвященном кн. О. В. Барятинской. Существует указание на то, что в 1873 г. полуразбитый параличем Тютчев пытался откликнуться стихами на смерть вел. кн. Елены Павловны. Эти стихи (или вернее стихотворная попытка) еще не разысканы. Возможно, что будущее таит для нас и ряд других неожиданных находок.

Если, таким образом, мы должны с прежной настойчивостью продолжать розыски тютчевских материалов, то теперь уже может быть поставлен вопрос и о дальнейшей разработке выявленного до сих пор.

Прежде всего самое серьезное внимание должно быть уделено эпистолярному наследию Тютчева. Представляющие выдающийся интерес не только для литературоведа, но и для историка, письма Тютчева заслуживают скорейшего вовлечения их в научный оборот. Равным образом чрезвычайно интересный материал исторического и бытового характера представило бы полное собрание дипломатических донесений Тютчева. Само собой разумеется, что все эти материалы требуют самого углубленного комментария. Большим подспорьем в этой работе послужит составляемая Мурановским музеем имени Тютчева картотека материалов для изучения жизни и творчества поэта. Картотека эта, хотя далеко еще не завершенная, распадается на следующие разделы: летопись жизни Тютчева, хронологический указатель его произведений, библиографический справочник (дополнительный к печатным источникам) и каталог рукописей Тютчева. Наиболее разработанным является первый раздел картотеки, в некоторых своих частях представляющий последовательный «дневник» Тютчева, составленный по переписке и памятным книжкам его близких. Естественно встает вопрос о своевременности подробной биографии Тютчева. Блестящая в чисто-литературном отношении биография поэта, написанная его зятем И. С. Аксаковым, с фактической стороны — в силу различных условий — страдает неточностями и пробелами. Недостатки этого труда не искупаются теми дополнениями и поправками, которые были сделаны к нему В. Я. Брюсовым в его статьях о Тютчеве. Конечно по целому ряду вопросов книга Аксакова, появившаяся в 1874 г., останется первоисточником, с которым обязаны считаться будущие исследователи, но в 1935 г. читатель в праве требовать от нас новой биографии Тютчева — новой по методу и по материалу[67].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Письмо В. П. Боткина А. А. Фету — Фет, «Мои воспоминания», т. I, стр. 448.
[2] «Современник», 1854, т. XLIV.
[3] «Русское Слово», 1859, № 2, стр. 84.
[4] «История новейшей русской литературы», СПБ., 1890, стр. 566.
[5] «Современник», 1859, № XII, стр. 320.

[6] См. П. Н. Лепешинский, «На повороте» П., ГИЗ, 1922, стр. 97; В. Бонч-Бруевич, «Ленин о художественной литературе» — журнал «Тридцать дней», 1934, № 21, стр. 15.

[7] А. Старчаков, «Литературные заметки. Ф. И. Тютчев» — «Известия ЦИК и ВЦИК», 9 декабря 1928, № 286.

[8] Письмо Тютчева к И. С. Аксакову от 13 марта 1870 г. — И. С. Аксаков, «Биография Ф. И. Тютчева», М., 1886, стр. 185.

[9] Неизданное письмо Тютчева к И. С. Аксакову от 16 мая 1867 г. — Собрание Н. И. Тютчева.

[10] «Труды Общества Любителей Российской Словесности», 1819, ч. XIV, стр. 32—36.

[11] «Revue encyclopédique», 1824, t. XXII, p. 136—137.

[12] См. статью Г. И. Чулкова «Стихотворения, присланные из Германии» (К вопросу об отношении Пушкина к Тютчеву) — «Звенья», № 2, М.-Л., изд. «Academia», 1933, стр. 255—267.

[13] «Современник», 1850, т. XIX, отд. VI, Смесь, стр. 55—74.

[14] Хомяков, А. С., Полное собрание сочинений, т. VII, 1917, стр. 200—201.

[15] «Москвитянин», 1850, № 7, апрель, кн. I, стр. 162—163.

[16] «Раут», литературный сборник в пользу Александринского детского приюта, изд. Н. В. Сушкова, М., 1851, стр. 76.

[17] «Новый путь», 1903, ноябрь, стр. 15.

[18] «Мурановский сборник», вып. I, 1928, стр. 67.

[19] «Раут на 1852 год», исторический и литературный сборник в пользу учебного заведения для благородных девиц ведомства дамского попечительства о бедных в Москве, изд. Н. В. Сушкова, М., 1852, стр. 201.

[20] «Тютчев, его критики и читатели», — «Тютчевский сборник», П., изд. «Былое», 1923, стр. 79—80.

[21] Фет, А. А., «Мои воспоминания», т. I, стр. 134.

[22] Там же, стр. 134—135.

[23] «Вестник Европы», 1894, кн. 2, стр. 482.

[24] Фет, А. А., «Мои воспоминания», т. I, стр. 135.

[25] «Современник», 1854, т. XLIV. Приложение с особой пагинацией; т. XLV, стр. 1—14.

[26] «Тургенев и его время», ГИЗ, М.-П., 1923, стр. 142—163.

[27] «Тютчевский сборник», стр. 48—62. Перепечатано в «Новых стихотворениях» Тютчева, М.-Л., изд. «Круг», 1926, стр. 13—29.

[28] Стихотворения Фета были в корне переработаны для печати самим автором, но по указке Тургенева. См. статьи: Д. Д. Благого «Тургенев — редактор Фета». — «Печать и Революция», 1923, III, стр. 45—64 и Н. Колпаковой «Из истории фетовского текста» — «Поэтика. Временник Отд. Словесных Искусств ГИИИ». Л., изд. «Academia», 1927, стр. 168—187.

[29] Из переписанных в сушковской тетради стихотворений Тютчева в тургеневское издание 1854 г. не вошли: «Как он любил родные ели...», «Близнецы», «Не знаешь, что лестней для мудрости людской...», «Русская география», «Не гул молвы прошел в народе...», «Нет, карлик мой, трус беспримерный...», и «Олегов щит». Не включены в сушковскую тетрадь следующие стихотворения, напечатанные в издании 1854 г.: «Весенняя гроза», «Последняя любовь», «Проезжая через Ковно» («Ты ль это, Неман величавый?...», «На смерть Жуковского», «День вечереет, ночь близка...», «Сияет солнце, воды блещут...», «Не остывшая от зною...», «Из Гете» («Ты знаешь край, где мирт и лавр растет...»), «Из Шиллера» («С озера веет прохлада и нега...») и семнадцать пьес, относящихся к заграничному периоду жизни поэта и напечатанных подряд на страницах 110—132.

[30] Кроме указанных изменений в тексте стихотворения «О волна моя морская...» рукою Тютчева исправлены две описки в последней строфе: «прелести» вместо «прелестью», и «думу, думу» вместо «душу, душу». Возможно, что им же исправлена буква Г на Ч в одной строке стихотворения «Сон на море»: «В лучах огневицы...» вместо «В лугах...», а также в дате «1 дек. 1827», сопровождающей стихотворение «Так здесь то суждено нам было...», перемена цифры 2 на 3.

[31] То, что копии сушковской тетради выполнены не непосредственно с некрасовских текстов, а со списков Э. Ф. Тютчевой, доказывается тем, что различные небрежности последних попали в сушковскую тетрадь, в том числе и пропуск двух слов в «Итальянской вилле»; пропущенные слова вставлены над строкой Н. В. Сушковым.

[32] См. статью Д. Д. Благого «Тургенев — редактор Тютчева», — «Тургенев и его время», стр. 155—156.

[33] Относительно композиции «Сна на море» см. там же, стр. 157—159.

[34] Н. Гудзий, «Новое издание стихотворений Тютчева» — «Литературная газета» от 14 декабря 1933 г., № 58 (313), стр. 3.

[35] Ф. И. Тютчев. «Полное собрание стихотворений», т. I, М.-Л, изд. «Academia», 1933, стр. 323.

[36] Хранится в Государственном Литературном Музее.
[37] Там же.
[38] Чулков Г. И., «Судьба рукописей Тютчева». — «Тютчевский сборник», стр. 61.
[39] «Новый Путь», 1903, ноябрь, стр. 26.
[40] «Русская Мысль», 1912, кн. XII, стр. 116.
[41] «Биография Ф. И. Тютчева», стр. 324.
[42] Там же.
[43] Картотека Мурановского музея, запись под 8 марта 1879 г.
[44] См. Картотеку Мурановского музея, запись под 16 мая 1849 г. Ср. Чулков, «Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева», М.-Л., изд. «Academia», 1933, стр. 75.
[45] См. Картотеку Мурановского музея, запись под 26 февраля 1886 г.
[46] Ф. И. Тютчев. Полное собрание стихотворений, т. I, стр. 74.
[47] См. Картотека Мурановского музея, запись под 30 декабря 1885 г.
[48] Мурановский архив.
[49] Ф. И. Тютчев. Полное собрание стихотворений, т. I, стр. 74.
[50] См. Картотеку Мурановского музея, запись под 11 декабря 1893 г.
[51] Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений, 8-е издание, под редакцией П. В. Быкова, П., изд. т-ва А. Ф. Маркс, стр. 666.
[52] «Русский Архив», 1900, вып. 3, стр. 405—420. Все приводимые из статьи Брюсова цитаты взяты со стр. 415—416.
[53] Редактор, повидимому не считал трех бартеневских изданий и имел в виду издания 1854 и 1868 гг., «Новонайденные стихотворения» и издания 1886 и 1900 гг.
[54] «Русское Богатство», 1912, № 9, стр. 215.
[55] См. «Записи Харьковского университета», 1917, кн. I и II, стр. 60—64 — отзыв проф. Н. Ф. Сумцова о работе «Жизнь и поэзия Тютчева».
[56] См. Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 491 — комментарий к стихотворению «Наполеон III».
[57] Г. И. Чулкову остались неизвестными между прочим хранящиеся в ИРЛИ автографы стихотворений «Наш век» и «Бывают роковые дни...». Между тем в обоих автографах имеются разночтения с традиционными редакциями, при чем разночтения эти должны были бы войти в основной текст. В первом автографе, по сообщению, сделанному мне Е. П. Казанович, начальная строка последней строфы читается: «Не скажет ввек с молитвой и слезой...» (т. е. не скажет человек), а не «Не скажет век с молитвой и слезой...». Варианты второго автографа сообщены мне В. В. Гиппиусом: строка 8 — «Неоценимый, лучший дар...» (вместо: «Неоцененный...»), строка 9 — «Сочувственную руку друга...» (вместо: «... душу друга»), строка 10 — «Кого живая, теплая рука...» (вместо: «... чистая рука»).
[58] Томашевский Б., «Русское стихосложение. Метрика», П., изд. «Academia» 1923, стр. 92.
[59] Там же.
[60] «Revue des deux Mondes», 1854, t. VI, pp. 871—872, 886—893.
[61] Собрание Н. И. Тютчева.
[62] Письмо от 26 декабря 1873 г. — Там же.
[63] Письмо от 28 июня 1875 г. — Там же.
[64] Картотека Мурановского музея, запись под 5 октября 1893 г.
[65] Из писем Ф. И. Тютчева — «Русский Архив», 1898, вып. 12, стр. 556—568; 1899, вып. 2, стр. 269—280; вып. 3, стр. 505—520; вып. 4, стр. 648—657; вып. 5, стр. 92—105; вып. 6, стр. 241—286; вып. 8, стр. 584—606; вып. 9, стр. 150—169; вып. 11, стр. 423—436.
[66] Письмо кн. И. С. Гагарина к А. Н. Бахметевой от 28 октября 1874 г. — «Известия ОРЯС Академии Наук СССР», 1928, т. I, кн. 2, стр. 526.
[67] За послереволюционные годы появился ряд статей, посвященных отдельным вопросам тютчевской биографии (Г. И. Чулкова «Тютчев на смертном одре» — «Шиповник», 1922, № 1; его же «Последняя любовь Тютчева», изд. М. и С. Сабашниковых, 1928; Н. И. Тютчева «Тютчев и его дети» — тютчевский альманах «Урания», Л., изд. «Прибой», 1928; О. В. Пигаревой «Из семейной жизни Ф. И. Тютчева» — «Звенья», № 3—4, М.-Л., изд. «Academia», 1934). Все эти работы основаны на неизданных архивных материалах. В 1933 г. издательством «Academia» выпущена составленная Г. И. Чулковым «Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева», в которой впервые приведены извлечения из картотеки Мурановского музея. Все эти работы однако не устраняют нужды в новой полной биографии поэта.

СУДЬБА ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Обзор И. Айзенштока

I

Вопрос о судьбе литературного наследства Шевченко представляет далеко не только „академический", историко-литературный интерес. В течение десятилетий вокруг имени поэта, вокруг его литературного наследства (в особенности это относится к сборнику его поэтических произведений — „Кобзарю") велась и, в сущности, еще не закончена и в настоящее время жестокая классовая борьба, временами как бы затухавшая, принимавшая скрытые формы, прикрывавшаяся „беспартийными", „аполитическими" лозунгами, временами же разгоравшаяся во-всю, непосредственно, ближайшим образом смыкавшаяся с общей политической борьбой, так сказать — обнажавшая свою классовую сущность.

Шевченко — поэт огромной революционной силы, гениальный выразитель освободительных стремлений обездоленного крестьянства, развернувший в своей поэзии знамя протеста против феодально-крепостнической России Николая I, — этого „неудобозабываемого тормаза", как его неоднократно, вслед за Герценом, называл поэт в своем дневнике, — для того, чтобы повести под этим знаменем „громаду в сіряках", но не назад в прошлое, а вперед — к социализму (В. Затонский). Т а к о г о Шевченко, н а ш е г о Шевченко, мы узнаем лишь теперь, смывая с него накопившиеся десятилетиями напластования либеральной ретуши, „скромных", но многозначительных умолчаний, националистических искажений и злостных передержек всего того, что исподволь создавало обычное и очень мало похожее на действительность читательское представление о Шевченко. Несколько примеров охарактеризуют эту „работу" буржуазных интерпретаторов над великим украинским поэтом.

Тотчас после смерти Шевченко один из его „приятелей" — Костомаров, типичнейший представитель того гнусного и подлого либерализма, о котором неоднократно писал Ленин, сделал попытку смазать революционное содержание поэзии Шевченко, примирить его, хотя бы за гробом, с самодержавием, поставить его в ряд „народных" поэтов типа Кольцова и др. Отсюда — формула: Шевченко — „поэт сельского народа, воспитавший в себе поэтическое вдохновение его существом и передавший его образованному миру в прекрасных безыскусственных образах, добытых им из сокровищницы своей богатой природы" [1] (мне вспоминаются вышедшие кажется в 1926 г. „Очерки по истории русской литературы XIX в." Л. Войтоловского, где Шевченко разбирался наряду с Кольцовым и Никитиным: старая либеральная костомаровская фразеология была полностью сохранена, хотя самая книга и имела почему-то претензию называться марксистской). Или в другом месте: „Шевченко как поэт — это был сам народ, продолжавший свое поэтическое творчество. Песня Шевченко была сама по себе народная песня, только новая — такая песня, какую мог бы запеть теперь целый народ, какая должна была вылиться из народной души в положении народной современной истории. С этой стороны Шевченко был избранник народа в прямом значении этого слова, народ как бы избрал его петь вместо себя" [2]. В дополнение к этой формуле, выхолащивавшей революционную классовую сущность поэзии Шевченко (которую, как увидим далее, „друзья" поэта отчетливо сознавали и всеми силами боролись с нею), Костомаров дал еще вто-

рую формулу, непосредственно вытекающую из первой и уничтожающую национальное своеобразие творчества украинского поэта во имя пресловутых „общенародных", „общерусских" идеалов. „Будучи малорусским поэтом по форме и языку, — писал Костомаров в только что цитированной статье, — Шевченко в то же время и поэт общерусский. Это именно оттого, что он — возвеститель народных дум, представитель народной воли, истолкователь народного чувства"[3].

Костомаровские формулы сохраняли свою действенность, находили общественный резонанс в течение нескольких последующих десятилетий. Оформляющееся классовое сознание украинского буржуазного национализма внесло конечно в них некоторые поправки, однако поправки эти не меняли основного характера самых формул. В основном поправки эти сводились, во-первых, к сугубому подчеркиванию украинского национального характера творчества Шевченко (т. е. к подчеркиванию националистических моментов, занимавших в творчестве Шевченко — особенно раннем — заметное место), во-вторых, — к столь же усиленному выпячиванию злободневности и даже символичности поэзии Шевченко для „судьбы всего украинского народа". Теоретик и публицист украинской националистической буржуазии первой четверти нашего века, позднее один из главных подсудимых в процессе контрреволюционной организации „Союз Вызволения Украины" С. Ефремов так прямо и писал: „Для Украины значение гения Шевченко выходит за пределы, поставленные даже великим писателям на их родине: он сам был для нее тем солнцем, которое „за собою день ведет", — день нового рождения на свет великим культурным народом; его поэзия стала наилучшим выражением национального самосознания на Украине, как его личную судьбу можно считать символом судьбы всего украинского народа" [4]. Поэтому для Ефремова, как и для всей социальной группы, выразителем которой он являлся, Шевченко далеко не был только литературным явлением. „Шевченко еще не классик, — писал он по случаю 100-летия со дня рождения поэта, — Шевченко принадлежит еще не истории, но живой жизни. Великое имя его встречает не одно только холодное, обидное почтение и патетические и неискренние дифирамбы, но и горячую любовь всего честного и столь же горячую ненависть всего темного, не смеющего поднять глаз на ясный лик великого поэта" [5]. „Для нас, — заявлял Ефремов в другом месте, — Шевченко не только историческая личность". И музу поэта он характеризовал следующим образом: „Она творит жизнь там, где последняя угасает, она соединяет в единое целое разодранные и разъединенные массы людей, она даже в опустошенную грудь вкладывает душу новую и зажигает ее любовью к родному народу и желаньем жить для него, на него работать. И вместе с красою поэзии Шевченко, упиваться которой без запретов смогут уже последующие поколения, еще долго не сойдет с очереди и эта ее творческая с общественной точки зрения функция, — функция человека на страже интересов родного края, функция громкого колокола, зовущего все живое к жизни и труду"[6].

Подлинный смысл этих звонких фраз и характеристик, истинный их классовый, контрреволюционный характер мы особенно можем оценить надлежащим образом в настоящее время, учитывая примеры националистической фальсификации Шевченко в период гражданской войны и позднее. Кто только не тянул Шевченко к себе, кто только не пытался использовать его стихи для лозунгов на своем знамени, кто не клялся его именем, не стремился подтверждать его произведениями правильность своей политической программы! Портреты Шевченко, украшенные традиционными „рушниками" (вышитыми полотенцами), вешались на почетных местах и в гайдамацких лагерях, и в петлюровских штабах, и в немецких комендатурах (в почетном соседстве с портретами Вильгельма и гетмана Скоропадского!). Портреты Шевченко любезно разрешали вывешивать (весьма впрочем осторожно) даже „едино-неделимые" деникинцы: Шевченко, „шевченковский язык" служил для них одним из средств агитации против „украинства", „сепаратизма", хотя для этого приходилось подкрашивать поэзию украинского поэта густочерными красками по рецептам дореволюционных черносотенных публицистов, также в свое время доказывавших „истинно-русские" убеждения Шевченко.

О характере реализации ефремовских „общечеловеческих" оценок поэзии Шевченко украинскою контрреволюцией может дать представление хотя бы брошюра небезызвест-

АВТОПОРТРЕТ Т. Г. ШЕВЧЕНКО
Рисунок пером 1843 г.
Частное собрание, Москва

ного Никиты Шаповала — одного из лидеров украинских эсеров, активнейшего врага украинских рабочих и крестьян, — „Шевченко і самостійна Україна" (Киев, 1918); в брошюре этой авторитетом Шевченко, его „священным именем" прикрывается подготовка к беспощадной борьбе с революционными рабочими и беднейшим крестьянством. „Национально-политическое мировоззрение поэта, — провозглашает Шаповал, — можно уложить в небольшую схему: что нужно для Украины? — своя хата. Кто виноват в том что ее нет? — изменники, отступники, общественные мертвецы и слепцы. Кто враг Украины? — Московщина. Что нужно делать? — освобождаться из ярма. Какими способами? — вооруженное восстание, ненависть к врагу. Нужно уметь жертвовать всем собою, душою, богом, людьми, вообще всем". Подобной жульнической стряпнею пытались украинские контрреволюционеры завоевать доверие украинских трудящихся масс. Смазывая классовый характер всего творчества украинского поэта в целом, подчеркивая отдельные националистические места, преимущественно в ранних его произведениях, перенося безудержным полетом фантазии отзывы Шевченко о России XVIII—XIX вв. на Москву — центр мировой революции, — такими не очень хитрыми, но явно мошенническими приемами обосновывалась близость „самого Шевченко" петлюровской контрреволюции. И из всей этой стряпни делался „практический" вывод: „Если бы поэт был жив, — мы увидели бы его среди вольных казаков, или гайдамаков, или „січових стрільців".

Махровый петлюровец А. Тисовский доказывал — несомненно также с агитационной целью — наличие в стихах Шевченко, в частности в его „Заповіті", отчетливо выраженного идеала, самостоятельной („самостійної") Украины. „Наилучшим доказательством того, что у Шевченко уже выкристаллизовался идеал „самостійної" Украины, является его „Заповіт". „Семья великая, свободная, новая" — ведь это совершенно ясный намек в „Заповіті" на определение самостоятельной Украины, которой нельзя добиться, пока не польется вражеская кровь Днепром в море. Об этом считал необходимым напомнить землякам тяжело больной, почти умирающий поэт"[7]. Можно было бы конечно с большой долей вероятия счесть эту тираду бредом сумасшедшего, однако типичность подобных толкований заставляет отнестись к ней с полной серьезностью. Например акад. М. Грушевский писал о том же „Заповіті" в одну из шевченковских годовщин (1925) следующее: „Какие глубокие переживания мы прошли с „Заповітом" на устах в течение этих восьми лет и какие еще ожидают всех тех, кто пойдет с этим пением вдаль, тяжелым и долгим путем, начертанным условиями бытия нашего Народа! Напрасны были мечты тех, кто надеялся на осуществление воззваний поэта одними декларациями или пением его „Заповіту". Мы видим, что кровь действительно должна была политься так, как он сказал, — не только на словах, но и на деле!" И дальше: „В настоящее время мы переживаем минуты передышки. Как долго они продлятся — неизвестно. Но вот „Заповіт" непреклонной воли и неустанного дела, до полного осуществления поставленной задачи... — создания „новой свободной семьи" на всей Украине, он стоит и будет стоять над нашими душами, ожидая своего исполнения и приказывая работать для него всеми силами, при всяких обстоятельствах и по всем направлениям, приближающим нас к нему"[8]. Буржуазно-националистическая сущность взглядов Грушевского не может вызвать каких-либо сомнений. Украинская буржуазия, отношения которой к советскому государству, строящему социализм, всегда были определенно враждебными, проникнутыми неискоренимою ненавистью, стремилась представить „Заповіт"—да и все творчество украинского поэта в целом—символом борьбы все с тою же ненавистной Москвой, с советской властью, с коммунизмом, символом борьбы „за воссоединенную Украину", за буржуазную украинскую республику под „покровительством" одного из европейских государств.

Нельзя ни на мгновение забывать, что за всеми этими националистическими бутадами крылась и кроется активная политическая работа украинских националистов, направленная против „взаимного доверия и братского сближения рабочих и крестьян национальностей СССР" (Сталин). Как отметил в своей резолюции ноябрьский (1933 г.) объединенный пленум ЦК и ЦКК КП(б)У, последние годы, годы относительной стабилизации капитализма и перехода к новому туру революций и войн, „вызвали беше-

ный рост антисоветской активности со стороны западноукраинской буржуазии, со стороны продавшихся польским и немецким помещикам и капиталистам остатков прежних мелкобуржуазных украинских партий социалистов-революционеров, социал-демократов и др., которые всегда находились в самой тесной связи с кулацко-петлюровскими элементами на Советской Украине и вели свою контрреволюционную работу на деньги иностранных контрразведок". А ослабление большевистской бдительности украинского Наркомпроса не только дало возможность широко разрастись националистическому уклону, но и увлекло Скрыпника, непосредственно смыкавшегося с подрывной контрреволюционной работой украинских националистов.

И неудивительно поэтому, что в писаниях о Шевченко национал-уклонистов и разоблаченных двурушников-контрреволюционеров, пробравшихся в коммунистическую партию

«МАРИЯ». ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОЭМЕ ПУШКИНА «ПОЛТАВА»
Акварельный рисунок Т. Г. Шевченко 1840 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

же интересы; малорусский поселянин и польский поселянин имеют совершенно одинаковую судьбу" [12]. Как видим, Чернышевский еще в начале 60-х годов вернее и глубже подошел к пониманию классового смысла поэзии Шевченко, чем всякие Ефремовы и Речицкие, фальсифицировавшие Шевченко.

Несколько предварительных слов о фальсификации. Много говорилось и писалось о „борьбе за Шевченко", борьбе, начавшейся еще при жизни поэта и незаконченной до сих пор. До революции борьба эта изображалась как непримиримая коллизия между царским правительством, в частности его органами — жандармским отделением и цензурой, с одной стороны, и „общественной мыслью", „общественностью" в лице исследователей и издателей Шевченко, которые должны были как бы представлять самого поэта, — с другой. В этом примитивном и схематическом представлении, находившем к сожалению свое отражение в шевченковской литературе вплоть до самого последнего времени, конечно была некоторая доля истины: царизм прекрасно понимал революционное значение поэзии Шевченко и лишь весьма постепенно ослаблял цензурные запреты и жандармские преследования ее, еще больше повышая этим авторитет поэта в глазах широких масс трудящихся.

Однако при таком примитивном представлении борьбы за Шевченко совершенно упускалось из виду то обстоятельство, что либералы, а позднее националисты б о р о л и с ь з а с в о е г о Ш е в ч е н к о, что подлинный Шевченко — революционер и демократ—был им так же ненавистен, как и органам правительства. Упускалась из виду вторая цензура — цензура редакторов и издателей, цензура „дружеская". Как правильно замечают тезисы Культпропа ЦК КП(б)У, „начиная от откровенных черносотенцев и кончая разного сорта либералами, господствующие классы царской России и Украины руками своих „культурных деятелей" — опытных шарлатанов-фальсификаторов — принимались за литературное наследство Шевченко и беспощадно вычеркивали из него все, что пылало „мужицким" бунтом, комментируя в свою пользу все, что так или иначе поддавалось „обработке".

История этой двойной цензуры, история борьбы за Шевченко до Октябрьской революции еще не написана, хотя необходимость ее в настоящее время едва ли может быть оспариваема. Настоящая статья является попыткой проследить эту борьбу на материале собственно литературного наследства украинского поэта.

II

Свою поэтическую деятельность Шевченко начал, по собственному признанию, в 1837 г., „в... Летнем саду, в светлые безлунные ночи". Несмотря на сочувственные и даже восторженные отзывы некоторых „земляков" (Е. Гребенка) [13], познакомившихся с первыми опытами молодого поэта, последний вряд ли склонен был на первых порах относиться серьезно к своему поэтическому творчеству, считая основным своим призванием живопись. П. Мартос в своих воспоминаниях (вообще говоря, мало достоверных и классово враждебных к Шевченко) рассказывает о том, как, при его посещениях комнаты поэта, на полу и на столе „разбросаны были, в живописном беспорядке, принадлежности артистических занятий хозяина, р а з н ы е п о л у и з о р в а н н ы е, и с п и с а н н ы е б у м а г и" и т. д., как, случайно заинтересовавшись стихами, прочитанными на одном из валявшихся на полу клочков бумаги, Мартос после некоторых отговорок Шевченко о том, что он, дескать, „п а ч к а е т бумагу, когда нападет хандра", получил от него вытащенный из-под кровати „лубяной ящик, наполненный бумагами в кусках"; содержимое ящика после тщательного отбора самим Мартосом и Гребенкой составило содержание „Кобзаря" (СПБ., 1840) [14].

Как сказано, воспоминания Мартоса проникнуты неистовой классовой ненавистью к Шевченко и содержат немало подлейшей клеветы, однако приведенный эпизод не вызывает существенных возражений: и случайное происхождение первого издания „Кобзаря", и легкомысленное отношение поэта к своим рукописям подтверждаются и рядом других свидетельств. Посылая например в начале 1842 г. А. А. Корсуну первую часть

поэмы „Черниця Маріяна“, Шевченко писал в коротком постскриптуме: „Кажется, и трубки не курю — а лоскутки бумаги, где была написана „Черниця“, растерялись, — нужно будет снова сочинять“ (перевод с украинского).

С появлением „Кобзаря“ связана одна националистическая легенда, разоблаченная лишь совсем недавно, — легенда о глумлении русской критики в целом над первым опытом поэта. Еще один из первых биографов Шевченко, М. Чалый, в книге „Жизнь и произведения Тараса Шевченко“ (Киев, 1882) заметил, что „появление „Кобзаря“

[illegible]

в печати встречено российскими критиками единодушным глумлением над малорус

[illegible]

знакомстве с отдельными оценками и на резко выраженной шовинистической

[illegible]

всему русскому, пришлось особенно по вкусу всему буржуазно-националисти-

[illegible]

Для полноты картины можно добавить, что и рядовые читатели, в особенности провинциальное украинское помещичество (довольно долгое время отравлявшее Шевченко ядом националистической романтики) с восхищением приняло „Кобзаря". Мы упоминали выше о восторженном отзыве Гребенки; в письме к И. И. Срезневскому другой украинский поэт, А. Метлинский, говорил о „необыкновенном даровании поэта Шевченко" (письмо от 26 августа 1840 г.), а престарелый Г. Ф. Квитка (Основьяненко) следующим образом описывал самому Шевченко впечатление от его первых опытов: „...як почали вірші читати... так ну!... Бодай ви мене не злюбили, коли брешу: (волосся в мене на голові, що вже його і не багацько, та і те навстопужилося [волосы встали дыбом. — *И. А.*], а біля серця так щось і щемить, ув очах зеленіє... Дивлюсь... жіночка моя хусточкою очиці втира..." (23 октября 1840 г.).

В течение самого непродолжительного времени Шевченко приобрел широкую популярность как украинский поэт: уже в начале 1842 г., рецензируя поэму Шевченко „Гайдамаки", Белинский называет его „привилегированным малороссийским поэтом". Вслед за быстро разошедшимся „Кобзарем" Шевченко сам издает поэмы „Гайдамаки" (СПБ., 1841) [19] и „Гамалія" (СПБ., 1844), а в 1843 г. продает „Кобзарь" и „Гайдамаки", принужденный к тому тяжелыми материальными обстоятельствами, „в вечное и потомственное владение" книгопродавцу И. Т. Лисенкову, который и выпустил их в следующем году в одной книге (так называемый „Чигиринский Кобзарь") [20]. Наконец в 1845—1847 гг., незадолго до ареста, Шевченко задумывает новое издание своих стихов, предполагая очевидно использовать и наиболее приемлемые с цензурной точки зрения свои произведения, написанные после „Кобзаря" и названных двух поэм. Вместе с тем во время неоднократных поездок по Украине поэт охотно делится с многочисленными приятелями своими бунтарскими, нецензурными стихами, которые расходятся по рукам во многих списках, в еще большей степени усиливая его популярность. В известном деле Кирилло-Мефодиевского общества стихи Шевченко, найденные в копиях почти всех братчиков, явились одним из главных козырей обвинения. Следователь III Отделения отмечал, что стихи эти „исполнены ненавистью к правительству и, вероятно, сочинены с... целью посеевать неудовольствие к властям в народе".

1847 год в судьбе литературного наследства Шевченко является переломным. Поэт на десять лет совершенно исчезает из литературы, самое имя его подвергается запрещению. Бумаги его (к тому времени он уже весьма аккуратно собирал свои рукописи, переписывая стихотворения в особые тетради, подчас иллюстрируя их, сохранял отдельные листки и наброски, переписку и т. д.) в основной массе попали в III Отделение и сделались доступны для исследования лишь после революции 1905 г. [21] Наконец большинство автографов Шевченко и списков его произведений, находившихся у его почитателей, подверглись массовому уничтожению, либо, в лучшем случае, были спрятаны под спудом и обнаружены лишь много лет спустя. Сам же поэт вынужден был тщательно таиться со своим писательством, в особенности на украинском языке: для стихов он заводит маленькие самодельные книжечки, удобные для конспирации (так называемые „захалявные" книжечки, т. е. такие, которые легко можно спрятать в сапоге; впоследствии все эти книжечки были переплетены в одну). Несколько же лет (1850—1857) он вовсе не пишет по-украински и лишь в последние годы ссылки (с 1855) начинает писать русские повести и уже перед самым освобождением (с июня 1857)—дневник.

Как сказано выше, на десять лет (1847—1857) имя Шевченко совершенно исчезает из литературы, становится запрещенным. В 1857 г. П. Кулиш в своих „Записках о Южной Руси" — сборнике украинских этнографических и исторических материалов — напечатал поэму Шевченко „Наймичка" не только без имени автора, но и с тщательной зашифровкой его: „В затасканном и весьма неправильно исписанном альбоме, — писал он в предисловии, — какой-то уединенной мечтательницы, а, может быть, и веселой подруги целого общества сельских красавиц я нашел поэму, о которой до сих пор не слышал ни от кого ни слова. Имя автора на ней не обозначено, и я даже не знаю, кто бы мог быть ее автором" [22]. Несколько позднее тот же Кулиш печатает несколько стихотворений Шевченко в своем альманахе „Хата", а в 1860 г., после долгих цензурных мытарств, Шевченко удается выпустить новое издание „Кобзаря".

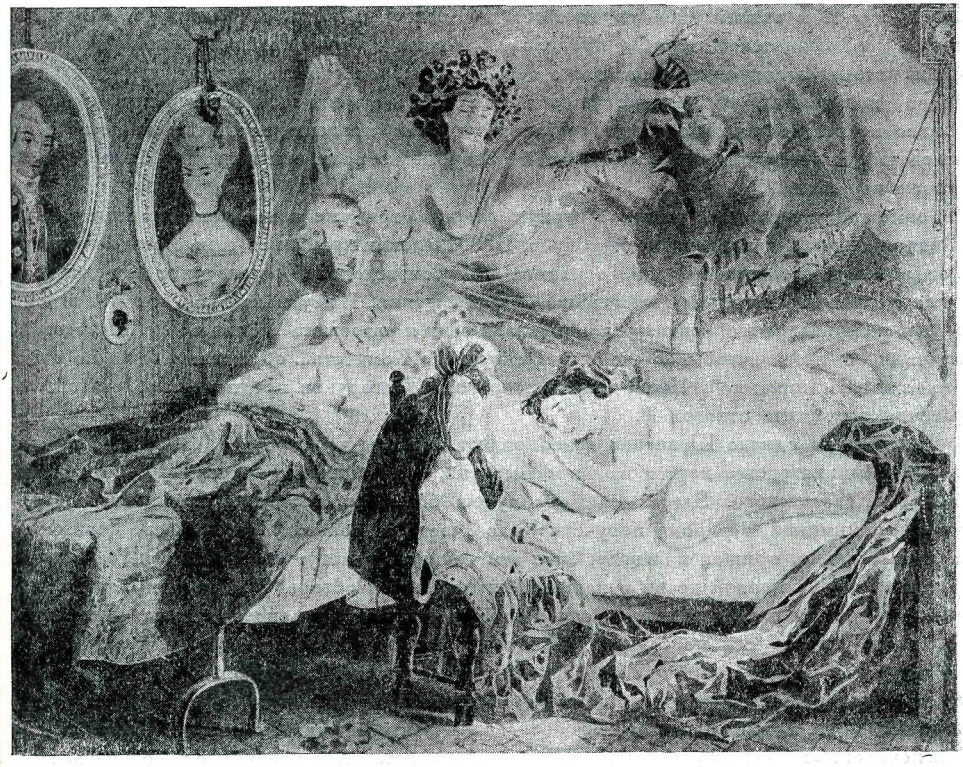
«ЦЫГАНКА, ГАДАЮЩАЯ МАЛОРОССИЯНКЕ»
Акварельный рисунок Т. Г. Шевченко 1841 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

Кулиш явился первым редактором и интерпретатором Шевченко, и потому на нем мы несколько задержимся.

Фигура Кулиша — идейного родоначальника современного украинского фашизма и воинствующего национализма — в настоящее время в достаточной степени выяснена. Даже в личных отношениях Кулиш и Шевченко всегда были классовыми антиподами. И может быть именно поэтому Кулиш во все время знакомства и приятельства с Шевченко стремился к опеке над поэтическим творчеством последнего, стремился во что бы то ни стало повернуть его по наиболее желательному для него, Кулиша, руслу. Попытки эти начались еще до ссылки [23] и приобрели особенно упорный и систематический характер в 1857—1861 гг., когда Кулиш оказался на ролях редактора шевченковской поэзии. Мы упоминали уже о напечатанной Кулишом поэме Шевченко „Наймичка". Узнав о том, что какой-то московский журнал (очевидно „Русская Беседа") предполагает поместить еще несколько стихотворений украинского поэта, Кулиш решительно настаивает на предварительной присылке посылаемых стихотворений ему на просмотр: „Если... у тебя имеются хорошие стихотворения... то пришли сперва мне их на просмотр, чтобы пошли они из моих рук, как Наймичка, которую — сам видишь — я не испортил. Искренне люблю твою музу и не пожалею времени переписать то, что она тебе внушила, — пусть не является среди людей растерзанной и растрепанной цыганкой; пусть явится миру красивой девушкой, отцовой дочерью, чтобы по дочери можно было узнать и отца" (письмо от 22 декабря 1857 г.; перевод с украинского). Совершенно понятно, что причесывая и принаряжая „наймичек", „покрыток" Шевченко, делая их „отцовыми дочерьми", Кулиш искажал классовый смысл и характер его поэзии, искажал совершенно сознательно, во имя своих националистических идеалов. Недаром в только что цитированном письме он усиленно просит Шевченко возобновить в памяти поэму „Іван Гус", отобранную при аресте и считавшуюся безвозвратно утерянной [24]: поэма эта при всем своем антиклерикализме проникнута славянофильскими тенденциями, которые увлекали Шевченко недолгое время в 40-х годах и от которых он впоследствии отошел навсегда. И недаром, несколько позднее, познакомившись с новой поэмой Шевченко „Неофіти", где под видом „первомучеников христиан" были выведены декабристы, а в лице кровожадного Нерона — сам „неудобозабываемый тормаз". Николай I, Кулиш решительно восстал против печатания ее. „Твои Неофиты, брат Тарас, — писал он (20 января 1858 г., перевод с украинского), — хорошая вещь, да не для печати... Не годится напоминать сыну об отце, ожидая от сына какого бы то ни было добра. Он ведь у нас теперь первый человек: если бы не он, то и дохнуть нам не дали бы. А освобождение крепостных — тоже его дело. Ближайшие теперь к нему люди душою — мы, писатели, а не пузатые чины. Он любит нас, он нам верит, и вера не посрамит его". И снова он обращает внимание своего корреспондента на „Гуса", соблазняя его: „там бы тебе было где разгуляться; а панство — такая никчемность, что оскорбляй его сколько хочешь — всякий скажет спасибо. Тут же и рыцарство у тебя под боком, и вассалы, и славяне с немцами, и богатое еврейство — широкая выйдет поэма". В этих отрывках — весь Кулиш: либерал с „монаршьего соизволения", ибо таков принятый государственный курс, он стремится избегать всего, что может повредить миражу единения царя с писателями; последние же его слова нельзя толковать иначе, как желание отвлечь поэта-революционера от „опасных" тем: уж если тот, дескать, во что бы то ни стало желает бранить панство, — пусть лучше упражняется на панах, рыцарях и евреях XV в., где никто не будет затронут персонально и никаких опасных аналогий с современностью как будто не предвидится [25].

„Никто выше меня не ценил этот дивный стих", заявлял впоследствии Кулиш, добавляя в другом месте, что относился к стихотворениям Шевченко так, словно это были его, Кулиша, собственные стихотворения. Приведенные выше справки показывают тенденции редакционной работы Кулиша. При жизни самого Шевченко тенденции эти проявлялись преимущественно в советах, которыми Шевченко не воспользовался; зато тотчас после смерти поэта Кулиш приступил к публикации его литературного наследия (в „Основе") и здесь имел полную возможность осуществить на деле все свои советы и настояния. Он произвольно снабжал отдельные стихотворения собственными заголов-

ками, сокращал их, выбрасывая по своему усмотрению отдельные строки и целые эпизоды, иногда исправлял ритмические или стилистические „неправильности". В предисловии к незаконченной поэме Шевченко „Черниця Мар'яна" он пишет, что „списал ее с оригинала, часто очень нечеткого и сбивчивого, собственноручно, и некоторые места редактировал, заменяя, по возможности, авторскую работу" [26]. Наконец целый ряд произведений Шевченко был им вообще устранен от публикации, частью по художественно-стилистическим соображениям („необработанность", „незаконченность", „слабость" стиха или выдумки и т. д.), частью по соображениям цензурным; цензура дружеская" в данном случае предупреждала правительственную и часто оказывалась значительно строже и неуступчивее последней. Интересен в этом отношении эпизод с „Неофітами": уступая желанию кое-кого из друзей поэта напечатать ее в „Основе".



КОПИЯ С КАРТИНЫ К. БРЮЛЛОВА «СОН БАБУШКИ И ВНУЧКИ»
Акварель Т. Г. Шевченко
Музей изобразительных искусств, Москва

Кулиш постарался елико возможно обезвредить ее, он не только произвел в ней ряд сокращений, но и написал к ней „несколько предварительных слов", тщательно подчеркивая, что поэма „относится к временам первых мучеников за веру в живую Истину" что в поэме „главную роль играет сердце матери" и что „интерес этой поэмы — общечеловеческий". Только какому-то неизвестному нам счастливому случаю обязаны мы тем, что этот „дружеский" комментарий, выхолащивавший (даже после цензурных урезок) подлинный классовый смысл поэмы, не увидел в свое время света [27].

Последние годы жизни Шевченко (1858—1861) заняты борьбой с цензурой и III Отделением за право печатания своих произведений. Еще возвращаясь из ссылки, в Нижнем-Новгороде, а потом в Москве, он переписывал начисто свои произведения „для печати", беспокоясь о том, „как-то примут земляки мои мою невольническую Музу" (записи в дневнике от 4, 5, 6, 18 марта 1858 г. и др.). Одновременно и „друзья" (М. Максимович, П. Кулиш, Н. Костомаров) выражали пожелания увидеть в печати как „Коб-

зарь" и „Гайдамаки", так и написанное поэтом за десять лет неволи. Экспансивный настойчивый Кулиш даже создавал план издания книги „Думи, пісні і поеми Шевченка", не забывая при этом добавить, что „всякое твое писание нужно процедить сквозь решето [редакторское! — *И. А.*], чтобы не осталось шелухи" (письмо от 9 февраля 1858 г., перевод с украинского). Тотчас же по приезде в Петербург Шевченко записывает в своем „Дневнике": „Поручил Каменецкому хлопотать в Цензурном Комитете о дозволении напечатать Кобзаря и Гайдамаки под фирмою: Поэзии Т. Ш." (11 апреля 1858 г.). Прошло однако свыше полугода, пока это поручение претворилось в дело: лишь 27 октября 1858 г. поэт подал на имя шефа жандармов кн. В. А. Долгорукова прошение о разрешении перепечатать новым изданием ранее изданные книги, которые еще в 1847 г. „высочайше повелено" было „запретить и изъять из продажи". „Я потерпел наказание, — писал он, — собственно за мои рукописи, которых никогда не пожелаю видеть в печати. Что же касается до печатных моих сочинений, то они и во время моей солдатской службы продолжали ходить по рукам и продаваться разными букинистами, а запрещение наложено было на них, так сказать, зауряд, для усиления моего наказания". И дальше: „прося Вас снять с моих книг запрещение, я прошу только позволить мне пользоваться литературными правами предшествовавшего царствования и постановлениями тогдашней цензуры, которая, как известно, была гораздо строже нынешней".

Возможно, что хлопоча издать в первую очередь свои уже ранее напечатанные книги, Шевченко делал тактическую ошибку: в III Отделении хранились самые резкие отзывы жандармских следователей даже о ранних его произведениях [28]; цензурное же ведомство было устрашено жупелом „высочайшего" запрещения. И неудивительно, что оба ведомства в официальных справках рекомендовали если и разрешать „сочинения г. Шевченко", то лишь с тем, „чтобы со стороны Цензурного Комитета... обращаемо было на оные строжайшее внимание". После таких „справок" Долгоруков предпочел на ходатайство Шевченко ответить отказом [29].

Вслед затем однако Шевченко возобновляет хлопоты через более „либеральное" ведомство министерства народного просвещения, — персонально через И. Д. Делянова и Е. П. Ковалевского. Здесь дело обернулось более благоприятно, и один из цензоров — Тройницкий, которому поручено было „частным образом" рассмотреть произведения Шевченко, пришел к выводу, „что эти сочинения могут быть одобрены к новому изданию, кроме первой песни в поэме „Чигиринский Кобзарь" [30]. Так как этим отзывом возможная вина за пропуск сочинений вчерашнего ссыльного солдата переклады-валась на другое ведомство, то и Долгоруков на этот раз „не встретил препятствий" „к изданию напечатанных прежде сочинений художника Шевченко... с тем, чтобы оные были вновь подвергнуты цензурному рассмотрению и чтобы при этом обращено было особенное внимание на поэму [так! — *И. А.*] „Чигиринский Кобзарь". Однако вместо „напечатанных прежде сочинений" Шевченко представил в цензуру рукопись, куда включил и „Наймічку", и „Псалми Давидові", и пролог к поэме „Іван Гус", и „Невольника", и еще несколько стихотворений, написанных в ссылке. Цензор Петербургского цензурного комитета Палаузов, рассматривавший рукопись и получивший, нужно думать, определенные инструкции со стороны цензурного начальства, отнесся к произведениям „отставного солдата" и недавнего изгнанника довольно милостиво. „Общий характер поэзии Т. Шевченко, — писал он, — за исключением некоторых повестей и баллад, как то: Катерина, Наймичка, Утоплена и др., относится не столько к бывшей независимости Малороссии, сколько к минувшей ее славе, выражавшейся в ее походах на Цареград, как напр. Гамалия, в ее повсеместном восстании на жидов и польское иго, как напр. Гайдамаки. Воинская слава Малороссии, перешедшая в народную думу и предание, составляет неотъемлемую собственность этой страны, признанную за ней самой историей... Сглаживать подобный колорит в произведениях литературных из опасения, чтобы не возбудить местный патриотизм, было бы излишним опасением, потому что все доселе изданные малороссийские думы еще в большей мере пропитаны тем же духом воинственной эпохи Малороссии". Подобный „либеральный" для цензора подход не помешал однако Палаузову исключить из рукописи ряд

мест и отдельных стихотворений „как резкое противоречие современного развития общества". „Если поэт, — пишет Палаузов,—восклицает с сожалением:

Не вернеться воля,
Не вернуться запорожці
Не встанут гетьмани,
Не покриють Україну
Червоні жупани!..—

то едва ли можно допустить, чтоб большинство искренне желало возвращения того дикого состояния Украины, в каком она находилась во время гетманщины. Без всякого патриотического лицеприятия можно сказать утвердительно, что Малороссия только со времени ее присоединения к Великороссии отдохнула от постоянных бичеваний, которые она терпела то со стороны татар, то от Польши". „По моему мнению, — заканчивал цензор свое заключение, — самая незначительная часть представленного собрания стихотворений Т. Шевченко, и то мною указанных мест, может быть подвергнута вторичному рассмотрению Главного управления цензуры. Остальные же пьесы не заключают в себе ничего противного общим правилам цензурного устава и к напечатанию их никакого препятствия не встречается".

Главное управление цензуры, куда, для апробации, было передано дело, отнеслось к „Кобзарю" строже Петербургского комитета. Тот же Тройницкий, к которому снова попала рукопись, потребовал исключить 8 стихотворений целиком, 44 стиха из „До Основьяненка", 59 стихов из поэмы „Невольник", пролог к поэме „Гайдамаки", не говоря уже о множестве более мелких урезок; с большинством требований Тройницкого согласилось и Главное управление, и 28 ноября 1859 г. было подписано цензурное разрешение. Впечатление, произведенное на поэта цензурными операциями, выражено в письме к предполагавшемуся издателю книги П. Симиренко, следующим образом: „Сегодня,— писал Шевченко 26 ноября 1859 г.,—получил я мои сочинения из Цензурного Комитета, сильно пострадавшие от долговременной пытки". В начале 1860 г. новое издание „Кобзаря" увидело свет далеко не в том виде, в каком желал бы видеть его автор. В процессе печатания удалось, правда, внести в текст отдельные незначительные поправки и изменения, а в нескольких экземплярах были восстановлены даже цензурные пропуски [31]. Имеются сведения, что корректуру книги правил сам поэт, и это в глазах некоторых позднейших редакторов (в частности и автора настоящей статьи; см. дальше) придавало ему особенное значение — последнего (и, как думалось, канонического) текста; имелось в виду при этом и существование экземпляра „Кобзаря" (так называемый экземпляр Ю. Цветковского) с многочисленными авторскими исправлениями и восстановлением цензурных пропусков. Подробнее об этом еще будет речь дальше.

Следует однако со всей категоричностью признать, что „Кобзарь" 1860 г. в судьбе литературного наследства Шевченко является лишь случайным, не имеющим большого значения эпизодом; сам поэт в значительной степени был склонен смотреть на него лишь как на источник известного материального благополучия (Варфоломею Шевченко он писал 1 февраля 1860 г., что „Кобзарь хороший чинш платит") и не оставлял мысли об издании своей „Поэзии" если не в полном виде, то с меньшими цензурными исключениями. В свое время один из первых исследователей шевченковского текста, В. Доманицкий, выражал удивление по поводу того, что большая часть очень ценных поправок и текстологических новелл, внесенных поэтом в подготовленное издание 1858 г. (ныне находится в Институте Шевченко, Харьков), игнорируется всеми позднейшими издателями, в первую очередь самим Шевченко в „Кобзаре" 1860 г. [32] О. Дорошкевич недавно пытался всю вину свалить на Кулиша, который, дескать, и провел все сокращения и изменения в книге без согласия самого поэта. „Ведь цензура, — писал Дорошкевич, — разрешила перепечатать „текст напечатанной уже книги Шевченко"... т. е. этот экземпляр 1858 г.; очевидно Кулиш использовал удобные условия печатания в своей типографии, чтобы внести в текст некоторые коррективы" [33]. Знакомство с цензурным делом (а Дорошкевич на него ссылается!) совершенно убе-

дительно доказывает, что соавтором поэта в издании 1860 г. в действительности была цензура: в ряде мест цензор просто заставил Шевченко возвратиться к текстам 1840 и 1843 гг. (как текстом печатным): ряд же мест поэт вынужден был редактировать иначе, опять-таки чтобы удовлетворить взыскательную цензуру. Нельзя конечно отбрасывать и какого-то участия „друзей" и „приятелей" Шевченко (в том числе конечно и Кулиша) в „обезвреживании" „Кобзаря"; думается однако, что участие это в данном случае было незначительно. По выходе книги в свет Шевченко внес в свой экземпляр (позднее перешедший к Ю. Цветковскому) ряд поправок, возможно желая приблизить текст к обработанному им для издания 1858 г.; однако сделано это было очевидно по памяти, более или менее случайно, — и это обстоятельство отнимает у „Кобзаря Цветковского" право на канонический текст „Кобзаря", хотя и не позволяет совершенно игнорировать его в истории шевченковских текстов [34].

III

Выше мы неоднократно упоминали о „приятелях" и „друзьях" Шевченко, заключая в большинстве случаев эти определения в кавычки и желая этим подчеркнуть условный, иллюзорный их характер. Шевченко быстро и охотно сходился с людьми, и диапазон его друзей был поистине огромен—от безвестного солдата Скобелева, трогательную биографию которого он записал в своем дневнике, и до генерала Кухаренко, верного орудия империалистической политики Российской империи на Кавказе, от демократа-революционера Сераковского до братьев Лазаревских, исполнительных чиновников, сочетавших дружбу с опальным поэтом и преданную службу „царю и родине". При этом состояние документальных и мемуарных данных таково, что о знакомстве Шевченко с теми же Лазаревскими, Кухаренко, либералом Костомаровым, семейством графа Ф. П. Толстого мы знаем неизмеримо больше и полнее, чем о связях его с революционными кругами и их отдельными представителями — петрашевцами, Сераковским, Чернышевским и др. Последние конечно идейно были ближе Шевченко, знакомство с ними оказывало могучее влияние на его творчество, стимулируя бунтарские, революционно-демократические порывы и настроения самого поэта: однако лишь теперь, лишь постепенно удается выявить в творчестве поэта эти влияния и на основании их, на основании отдельных, отрывочных мемуарных замечаний и документальных упоминаний реконструировать революционные связи Шевченко.

Дворянско-помещичьи знакомства поэта высоко превозносились буржуазным шевченковедением, отдельные „приятели" (кн. Репнина, Лазаревские, Костомаров и др.) возводились чуть ли не в перл создания. Редактор переписки Шевченко, контрреволюционер С. Ефремов, не находит похвальных слов для характеристики П. Симиренко, богатого украинского сахарозаводчика, одолжившего поэту деньги на издание „Кобзаря" 1860 г. Княгиня В. Репнина и графиня А. Толстая также рисовались иконописными чертами... А между тем, оценивая в настоящее время роль всех этих „искренних" и „единственных" друзей поэта в его биографии, в его творчестве, нельзя характеризовать ее в общем и целом иначе как отрицательную, тормозившую развитие его творческих сил и возможностей. За свою дружбу „друзья" требовали вознаграждения — отказа от революционного бунтарства, от заострения социальных мотивов, требовали либо аполитичности в творчестве, „искусства для искусства", либо возвращения к тем националистическим и славянофильским темам и настроениям, которым поэт отдал дань в ранние годы своей деятельности и к которым впоследствии уже не хотел возвращаться. Пускались в ход прямые советы и рецепты, что и как писать (Кулиш; см. выше), делались попытки ввести Шевченко в „благопристойную" (resp. консервативную) литературную среду [35]. Наконец особенно поощрялись занятия Шевченко живописью как более безопасные политически, не сулящие тех „неприятностей", какие постигли его за поэтическое творчество. И, кто знает, не влиянию ли „друзей" поэта обязаны мы тем, что он в последние годы жизни писал так мало сравнительно с годами, предшествовавшими солдатчине и ссылке.

Во избежание недоразумений считаем нужным оговориться, что мы вовсе не предполагаем огульно брать под подозрение искренность чувств к поэту всех его „друзей"

КОПИЯ С КАРТИНЫ К. БРЮЛЛОВА «ПРЕРВАННОЕ СВИДАНИЕ»
Акварель Т. Г. Шевченко
Музей изобразительных искусств, Москва

и „приятелей": их поступки, советы и влияния, несомненно, диктовались любовью и уважением к поэту, но — продукты своей социальной среды и обстановки — они стремились и Шевченко, человека классово и идейно им чуждого и даже в большинстве случаев полярного, вовлечь в сферу с в о и х настроений, ощущений и переживаний. Здесь мы снова встречаемся с „борьбой за Шевченко": в данном случае борьбою между самим поэтом, писавшим для тысяч и миллионов трудящихся, боровшимся за свободную и независимую Украину без „холопа и без пана", боровшимся против социального гнета и насилия, и буржуазно-помещичьим, националистическим лагерем окружавшим поэта и стремившимся притупить социальную заостренность поэзии Шевченко, обезвредить ее, низвести до роли усладителя своих буржуазно-помещичьих будней.

С особенною яркостью это обнаружилось тотчас же после смерти Шевченко. Выполняя неписанную волю поэта, „друзья" решили все его имущество (одежду, книги, картины и рисунки) реализовать и вырученную сумму переслать его нуждавшимся родственникам, лишь незадолго перед тем выкупленным из крепостной зависимости. Благодаря этому мы в настоящее время имеем два таких ценных документа, как опись вещей поэта, его картин и библиотеки [36], позволяющих в значительной степени воссоздать бытовую обстановку, окружавшую поэта в последние годы его жизни. Что же касается наиболее ценной и существенной части шевченковского имущества — его рукописей и бумаг, то последние б е з в с я к о й о п и с и были взяты на сохранение ближайшими „друзьями" и попросту разделены ими между собой! Правда, основную часть архива поэта оставил у себя его душеприказчик М. М. Лазаревский, но ряд автографов был раздарен им „на память о поэте". Да и основная часть архива не сохранилась полностью: позднее ее, в свою очередь, поделили между собой братья Лазаревские (Михаил, Василий, Александр), часть рукописей была продана известному собирателю В. В. Тарновскому в Чернигов, часть оказалась в Киеве, в руках редактора „Киевской Старины" В. П. Науменко (две рукописные книги, о которых упоминалось выше, содержащие все поэтическое творчество Шевченко за 1847—1861 гг.). Лишь в настоящее время удалось снова воссоединить эти разрозненные части в Харьковском институте шевченковедения, воссоединить далеко не полностью, ибо например несколько автографов, принадлежавших А. М. Лазаревскому, его наследниками были увезены за границу, отдельные автографы, заведомо, по прежним публикациям, находившиеся в руках Лазаревских, оказались утраченными и т. д.

Для характеристики отношения „друзей" поэта к его рукописному наследству показательна судьба рукописей его русских повестей. Как вполне убедительно показал Е. С. Шаблиовский, обращение к творчеству на русском языке во время ссылки вызвано было желанием Шевченко как можно полнее использовать все средства, находившиеся в его распоряжении, для революционной борьбы: „русское слово наряду с украинским было для Шевченко... существенным орудием в борьбе единым фронтом, с русскими демократами против царской России" [37]. Напротив, для буржуазных националистов, начиная с „друзей" поэта, самый факт существования русских рукописей Шевченко (кроме ряда повестей по-русски написан также дневник поэта) представлялся фактом настолько неприятным, разрушающим созданный ими канон „национального гения", что они стремились — раз нельзя было совершенно скрыть его существование — всячески замазать его и завуалировать. Наиболее откровенно выявил это в письме к самому Шевченко еще П. Кулиш. Доказывая поэту, что тот „оскорбляет" себя русскими повестями перед людьми, что для того, „чтобы писать... по-русски нужно жить среди русских писателей и многому научиться", Кулиш заявляет: „Если бы у меня были деньги, я купил бы их [повести русские. — *И. А*] у тебя и все сразу и сжег" (письмо от 1 февраля 1858 г., перевод).

К счастью сжечь русские рукописи Шевченко „друзья" его все же не решились и ограничились „полумерами". В мартовской книге „Основы" за 1862 г. было напечатано следующее „Извещение о прозаических сочинениях Т. Г. Шевченко на великорусском языке":

„По смерти украинского поэта Т. Г. Шевченко осталось одиннадцать рукописей,

в которых заключаются литературные (довольно слабые) сочинения поэта, писанные на великорусском языке, прозою.

Из этих рукописей девять переписаны рукою Шевченко вполне, одна — наполовину, а другая ее половина и еще одна рукопись только исправлены автором. Все они переписаны на серой плохой бумаге и большей частью не сшиты в тетради, а только сложены в четверть и полулиста.

Сочинения эти как редкость продаются все вместе и каждое отдельно (но без права издания, которое остается за наследниками) по следующей цене:

1) Наймычка, написанная 25 февраля 1844 года, в Переяславле, на 15½ листах, сложенных в ¼ листа — 50 р.

2) Варнак, 1845 г., в Киеве, 13½ листов — ¼ л. — 40 р.

3) Княгиня, 1853 г., подписано Дармограй (псевдоним Шевченко); без конца, 3 листа — ¼ л. — 10 р.

4) Музыкант — 28 ноября (начата), 15 января (окончено), 10 листов — ¼ л. —30 р.

5) Несчастный, 24 января и 20 февраля 1855 г., 7¾ л. — ¼ л.—25 р.

6) Капитанша, 5 марта, 4½ л. — ¼ л. —15 р.

7) Близнецы, 10 июня и 21 июля, 13⅓ л.—¼ л. — 40 р.

8) Художник, 25 января и 4 октября 1856 г., 10 л. —¼ л.—30 р.

9) Драматическое произведение без названия и конца, неизвестно какого времени, 3 л.—½ л.—10 р.

10) Прогулка с удовольствием и не без морали, в двух частях. Первая часть, на 22½ листах, переписана не Шевченко, а только им исправлена (30 ноября 1856 года); вторая же часть, на 23 листах, переписана самим Шевченко. Под обоими подпись Дармограй — ½ л. —100 р.

11) Повесть о безродном Петрусе, неизвестно какого времени, переписанная не Шевченко, а им только исправленная, 23½ л. — ½ л. — 25 р.

Желающие приобресть эти рукописи могут адресоваться к доверенному от наследников Шевченко, Михаилу Матвеевичу Лазаревскому, в Москву, на Сивцовом Вражке в доме Дымковой, с приложением денег, для доставления их наследникам покойного поэта.

Мы были бы весьма благодарны за перепечатку этого извещения и в других изданиях" [38].

Все примечательно в этом объявлении: и заботливая оговорка о „слабости" повестей, и другая оговорка о том, что они продаются „как редкость", „без права издания", и наряду с этим тщательное, подробное описание рукописей, и наконец упоминание о продаже оптом и в розницу. Во всяком случае свое дело это объявление сделало: в течение двадцати с лишним лет об этих рукописях ничего не было известно, пока в 80-х годах часть их не была опубликована—сперва в ряде журналов и газет („Труд", „Исторический Вестник", „Киевская Старина"), а затем и отдельно [39]. И выяснилось, что рукописи никуда не были проданы, но мирно покоились под спудом у одного из ближайших „друзей" Шевченко—Костомарова, и „мысль об издании их принадлежит не покойному нашему историку, но близким к нему почитателям памяти славного поэта, по просьбе которых они и переданы были Николаем Ивановичем для приведения их путем печати во всеобщую известность". И еще выяснилось, что из перечисленных в объявлении „Основы" произведений бесследно пропали два: „Отрывок драматического сочинения" и „Повесть о несчастном Петрусе"...

Совершенно очевидно, что объявление было лишь своеобразным маневром для сокрытия рукописей. В действительности деньги за рукописи, для пересылки родственникам Шевченко, были собраны среди „своих", сами же рукописи спрятаны до поры до времени у Костомарова, который лишь со временем, под натиском общественного мнения, согласился (да и то не сразу) опубликовать их; недостающие же две рукописи по-видимому следует считать безвозвратно утерянными [40].

Эпизод с русскими повестями Шевченко, как сказано, чрезвычайно типичен для судьбы всего вообще его литературного наследства. С украинскими произведениями „друзья" Шевченко не могли конечно проделывать подобных манипуляций, но и здесь мы встре-

чаемся с сознательным припрятыванием тех произведений, которые, дескать, пятнают славу поэта (точнее говоря, не отвечают буржуазно-националистическому канону „народного поэта"), с не менее сознательным редакторским вмешательством в издаваемые тексты. Как видно из приведенных выше цензорских отзывов Тройницкого и Палаузова, при жизни Шевченко увидели свет преимущественно ранние его произведения с националистическо-романтическими тенденциями и некоторые бытовые произведения, в которых социальные мотивы не слишком бьют в глаза. Антирелигиозные же и революционные произведения, в том числе и те, за которые поэт поплатился ссылкой, конечно оставались неизданными и ходили по рукам в ряде списков. И перед первыми редакторами Шевченко естественно встал вопрос—*что* и *как* издавать.

„В наших руках теперь,—писала редакция „Основы" тотчас после смерти поэта,—находится драгоценное собрание неизданных его стихотворений, лично нам переданных поэтом при первой вести об осуществлении южнорусского вестника" [41]. Однако „Основа", как мы уже знаем, опубликовала лишь некоторую часть переданных ей рукописей, да и к тому, что было в ней опубликовано, приложил руку Кулиш... Несколько лучше обстояло дело с затеянным в 1867 г. изданием „Кобзаря", вышедшим под редакцией Н. Костомарова и Г. Вашкевича; для него были собраны все известные рукописи Шевченко и проведена, вообще говоря, добросовестная текстологическая работа; однако классовая ограниченность редакторов и здесь проявилась. „Некоторые стихи,—писали редакторы в предисловии,—быть может и не кстати; это потому, что покойный кое-что не окончил, кое-что не исправил, а кое-что и вовсе не хотел печатать; но, добыв писанные собственноручно его произведения от искреннего его друга, покойного М. М. Лазаревского, мы, чтя имя и память Тараса, хотели, чтобы каждая иота, им писанная, насколько возможно, сделалась известна без всякого изменения; ибо кто же отважится поправлять Шевченко?" [42] Таким образом сами редакторы подчеркивали *неполноту* своего издания, сами они, в первую очередь, устанавливали степень цензурности отдельных произведений и вариантов, сами они стремились в максимальной степени обезвредить книгу, автор которой и за гробом продолжал быть опасным: недаром в одном анонимном письме, полученном шефом жандармов кн. Долгоруковым (март 1863 г.), писалось, что „из праха Шевченко возродилась целая шайка самых рьяных сепаратистов и ненавистников России"—самое тяжкое обвинение, какое только могла изобрести буржуазно-помещичья фантазия в своей классовой ненависти.

Впрочем и заранее принятые предосторожности все же не уберегли книгу от обвинения в неблагонадежности. Цензор Смирнов в специальном, чрезвычайно характерном заявлении Петербургскому цензурному комитету докладывал о „бесцензурной книге" следующее: „Предметом песнопений Шевченко исключительно служит его родная Украйна. Он с особенным сочувствием вспоминает о минувших временах казацкой воли, оплакивает падение этой воли, тягости крепостного состояния (все стихотворения его относятся к временам до 19 февраля 1861 г.) и клянет тиранство помещиков-ляхов. Поэт касается исключительно только мрачных сторон быта Малороссии и поэтому, в цензурном отношении, неодобрительны места, как будто пробуждающие стремление к сепаратизму сравнением жалкого позднейшего состояния Малороссии с прежним, до слияния с Россией; равно—места, где с ожесточением говорится о зверстве панов, помещиков в сопоставлении с страданиями крепостных людей, причиняемыми тем зверством. Но все сии места не представляют достаточных поводов к судебному преследованию книги как потому, что песни Шевченко суть только грустные воспоминания без всякой тенденции, так и потому, что с 19 февр[аля] 1861 г. состояние крестьян в Юго-Западном крае совершенно изменилось, и элегии Шевченко могут производить впечатление только как предания. По цене (1 р. 25 к.) книга может быть доступна только людям достаточным, которые знают об участи Малороссии может быть больше, нежели сколько можно узнать из элегий Шевченко" [43]. Каких-либо комментариев это „заявление" вряд ли требует. Помимо „критических замечаний" цензора, помимо сожаления о невозможности возбудить против книги судебное преследование оно свидетельствует о том, что усилия редакторов приспособить тексты Шевченко к цензурным российским условиям в общем оказались небезуспешными.

СТРАНИЦА ИЗ АЛЬБОМА ХУДОЖНИКА Н. А. СТЕПАНОВА

Зарисовки и карикатуры на художников Штернберга, Петровского, Шевченко (два грифонажа) и др.

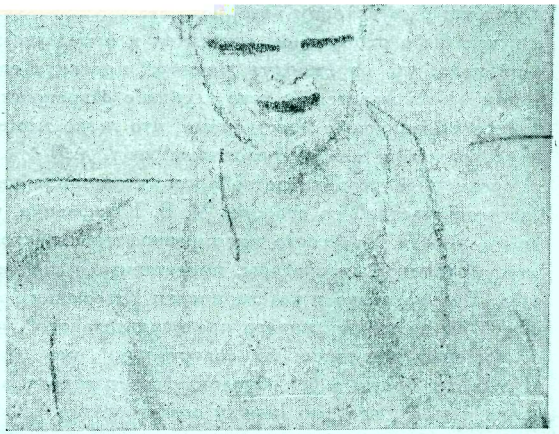
Институт Русской Литературы, Ленинград

В том же 1867 г. появилось двухтомное издание „Кобзаря" за границей, во Львове. Более полное, чем кожанчиковское, по количеству напечатанных в нем произведений Шевченко (217 против 182), оно замечательно разве как классический образец редакторской беспомощности, граничащей с подлинным недомыслием. Как вспоминал впоследствии один из редакторов, „автографов шевченковских у нас для проверки текстов не было, а вследствие переписки его произведений случайными людьми, попадали в текст, всевозможные ошибки и извращения или пропуски. К тому же еще мы и не знали как готовиться к критическому изданию" [44]. Если к этим признаниям добавить еще, что группу редакторов этого издания составляло несколько представителей консервативно-клерикальной молодежи,—картина будет в достаточной степени полная. Среди произведений Шевченко фигурируют и стихотворения, ему не принадлежащие (между прочим „Ще не вмерла Україна" П. Чубинского,—впоследствии гимн украинской националистической буржуазии); в угоду клерикальным настроениям редакторов и тех читателей, для которых они предназначали свою книгу, сделаны соответственные купюры; не говорим уже о качестве самих текстов, которое весьма категорически оценил один из редакторов в приведенной выше цитате.

Следующее издание „Кобзаря" появилось лишь спустя десять лет—в 1876 г.—за границей, в Праге. Существуют указания на то, что в течение этих десяти лет несколько раз делались попытки издания, попытки бесплодные вследствие упорного противодействия цензуры. Поэтому украинские либералы, скрепя сердце, решились перенести издание „Кобзаря" за границу, а верные своей излюбленной тактике „золотой середины", заигрывания, так сказать, „на два фронта"—с правительством и с демократами они решили весь накопившийся текстологический материал разделить на два тома по признаку его цензурности. „В первом томе,—писали издатели,—мы поместили все, что издавалось и до настоящего времени в России без изменений; во... второй том мы отнесли все те пьесы, которых либо вовсе не было в подцензурных русских изданиях, либо которые были в них испорчены цензорами" [45]. Легко можно представить себе происшедшую из этого путаницу, усугублявшуюся еще крайней неопытностью редакторов (Ф. Волкова и А. Русова) в текстологических и эдиционных вопросах. Редакторы замахнулись очень широко: использовали богатый рукописный материал (автографы самого поэта и списки-копии), привлекли предшествовавшие издания, но подали все это в сыром, почти необработанном виде, наряду с ценными вариантами, извлеченными из рукописей, печатали такие, за которые, по собственному их признанию, отказывались нести какую-либо ответственность. Наконец примечания редакторов о происхождении того или иного варианта были настолько общи и неточны, что способны были лишь запутать читателя, взявшегося за их изучение. Прав был М. Драгоманов (также представитель украинской либеральной буржуазии, что увеличивает ценность даваемой им оценки), называя это издание „глупым", говоря, что „это издание станет памятником оппортунизма, приспособления „духовных сынов" Шевченко к российским казенным порядкам" [46].

Приспособлялись впрочем редакторы не только ко вкусам российской цензуры, но и к настроениям украинского буржуазного читателя. И если в первом томе они сохраняли в полной неприкосновенности изуродованный цензурой текст, то во втором они обращались с шевченковским текстом гораздо свободнее, в ряде случаев отдавая предпочтение редакторским конъектурам, неизвестно откуда взятым и весьма колоритным по своей классовой направленности. Чрезвычайно характерна в этом отношении „поправка" (в стихотворении „До Основьяненка") в стихе „Поборовся б з москалями", который заменен ярко националистическим вариантом: „Поборовся б з кацапами". Определенно националистический характер имеют и три стихотворения („В альбом", „Гарно твоя кобза граэ" и „Полуботко"), приписанные Шевченко и в действительности ему вовсе не принадлежащие.

Мы не пишем сейчас истории „Кобзаря". Отдельные издания его интересуют нас лишь как известные этапы судьбы литературного наследия Шевченко, как этапы борьбы за Шевченко. Не будем поэтому останавливаться на отдельных изданиях последующего тридцатилетия: о каждом из них пришлось бы повторить, почти без вариаций сказанное нами выше о кожанчиковском, львовском и пражском „Кобзарях": тексты



избирались случайно, искажались переписчиками, редакторами, типографиею, цензурой, ошибки и искажения переходили из одного издания в другое, так сказать канонизиро-

ком прозрачный намек на то, что пострадал единственно за страсть свою слагать стихи", „Послание Н. И. Костомарову", ибо „хотя в выноске к сему стихотворению и значится, что оно было напечатано в „Русской Старине" 1880 г., № 3 (март), но едва ли оно может быть дозволено к напечатанию под цензурою, так как в нем как бы чувствуется та мысль, что автор был скорее невинным мучеником, чем преступником, заслужившим наказание", „Хіба самому написать", „в котором автор прямо высказывает, что ему неизвестна причина его ссылки, указывая как бы на то, что он неправильно был осужден", „Як би тобі довелося в нас попанувати", „в котором автор, с ожесточением грозя панам за насилие их над девушками, как бы с одобрением относится к передаваемому им случаю, как один хлопец, застав пана, что он „мордуэ дівчину", проткнул его как жабу вилами", „П. С.", „в котором высказывается до того глубокое отвращение к панам помещикам за их нечеловечное обращение с крестьянами, что легко может послужить поводом к возбуждению неудовольствия между сословиями", и т. д. [49]

Чрезмерное усердие петербургских цензоров на этот раз вызвало даже своеобразное „заступничество" со стороны М. В. Юзефовича, члена Совета Главного управления по делам печати, известного инспиратора пресловутого указа 1876 г., направленного против украинской литературы, представителя махрово-консервативного украинского панства. Весьма резко и категорически Юзефович заявлял, что в „Послании к Козачковскому" он не видит „ничего предосудительного", что „Послание к Костомарову" также совершенно невинное по содержанию", что „заключение комитета о стихотворении „Згадайте, братія моя" обусловливается вероятно недостаточным пониманием малорусского языка", что „по поводу стихотворения „Хіба самому написать" заключение Цензурного комитета ставит меня втупик" и т. д. [50] Одновременно Юзефович делает попытку навязать свое толкование отдельных стихотворений Шевченко, толкование конечно в сугубоконсервативном духе. Так в стихотворении „П. С.", классовый смысл которого, неизбывная ненависть к панам, в общем верно разгадан Петербургским цензурным комитетом, Юзефович увидел следующее: „Здесь изображен в смешном виде „пан-народолюбец, потомок гетмана, предвзятый патриот и христианин к тому же, в Киев ездит каждый год, ходит между панами в свитке, пьет водку с мужиками и вольнодумствует с ними в кабаке". Тут не возбуждение одного сословия против другого, а возбуждение народа против типа, к которому весьма желательно возбудить в нем недоверие". То-есть Юзефович сатирическое изображение пана, которому „народолюбство" не мешает истязать крестьян и насиловать девушек, переносит на „хождение в народ" 70—80-х годов, предлагает использовать произведения Шевченко для борьбы с революционной опасностью и для компрометации отдельных участников революционного движения, выходцев из дворянской среды.

Примечательно общее заключение Юзефовича о цензируемом издании: „Вообще сборник стихотворений Шевченко не заключает в себе ни одного из известных мне стихотворений этого поэта, предосудительных по содержанию. Очевидно составители сборника сами старались очистить его от всего, что могло бы вызвать цензурные стеснения. Поэтому я положительно утверждаю, что можно совершенно безопасно разрешить его к выпуску в свет без всяких изъятий". Похвала ревностного гасителя украинского слова „стараниям" „составителей сборника", украинских либералов, конечно оказала свое действие: урезанный и общипанный „Кобзарь" был выпущен в свет.

Это впрочем не помешало цензуре в следующие годы обратить свое внимание на отдельные произведения Шевченко. Так в 1885 г. по представлению киевского отдельного цензора В. Рафальского была запрещена перепечатка поэмы „Катерина" отдельной брошюрой, так как „поэма эта вся проникнута нерасположением к „москалю" и „Московщине" и, распространяемая в Малороссии между простым народом, будет только способствовать поддержанию племенного антагонизма" [51]. В 1886 г. тот же Рафальский настоял на исключении из отдельного издания поэмы „Невольник" нескольких строк об „ограблении москалями" (солдатами) церкви Покрова и упоминания о Екатерине" [52] В 1887 г. Петербургский цензурный комитет запретил помещение в сборнике украинских песен начала „Катерины" („Кохайтеся, чорнобриві..."), распеваемого в некоторых

ХУДОЖНИК-БАТАЛИСТ К. А. ЗАУЭРВЕЙД
Акварельный портрет Т. Г. Шевченко, 1843 г.
Государственный Литературный Музей, Москва

местах крестьянами как песня, так как в этой песне развивается неприязненное чувство ко всему русскому" [53]; им же (в 1888 г.) запрещены как „явно тенденциозные" два романса М. Лысенко на слова Шевченко: „Минають дні, минають ночі...", „Не женися на агатій... ": „в первом... говорится между прочим, что если страшно быть закованным в кандалы и умирать в неволе, то „горше того спать, спать и спать на воле". Во втором певец говорит, что надо жениться на „вольной воле, на козацкой доле" [54]. В другом месте, о романсе „Минають дні, минають ночі", сказано, что „хотя это стихотворение и вошло в собрание сочинений Шевченко, но как текст к нотам оно по своей тенденциозности... представляется неудобным. Ибо для каждого украинофила понятно, о тяжести каких кандалов, о страхе какой неволи говорит здесь Шевченко" [55].

В 1891 г. подверглась запрещению поэма Шевченко „Іван Підкова": цензурный комитет признал, что появление в печати этого стихотворения, „всего проникнутого сожалением об утраченной Украиной независимости, крайне нежелательно". По своему небольшому объему как копеечная брошюра стихотворение будет иметь „несомненно самое широкое распространение и может возбудить в народных массах весьма опасные воспоминания" [56]. Тогда же вторично было запрещено отдельное издание „Катерины"; цензор Фрейман признал, что „рассказы подобного содержания и притом написанные в таком растлевающем духе, должны угнетающим образом влиять на читателя из простонародья; они не только не могут доставлять здоровой пищи их умам, но скорее извращают в них понятие о нравственности". Петербургский же цензурный комитет, „вполне разделяя" взгляд цензора, присоединил к нему следующее замечание „общего" характера, к которому присоединился и всемогущий начальник Главного управления по делам печати Е. Феоктистов: „Украинофильские тенденции Шевченко слишком известны, как и его влияние на малороссов в сепаратистском направлении, почему, по мнению комитета, целесообразнее новые издания маленьких брошюр с тенденциозными произведениями этого писателя, подобно рассматриваемой, не допускать" [57]. В 1892 г. тот же цензор Фрейман (а за ним и Петербургский цензурный комитет) исключил из сборника украинских песен пять стихотворений и стихотворных отрывков Шевченко „В стихотворении „Ой, гляжу я, подивлюся...",—писал цензор в своем докладе,—автор высказывает глубокую гражданскую скорбь по поводу бывшего закрепощения крестьян... За уничтожением крепостного права стихотворение это, помимо того, что в настоящее время представляется крайне неуместным, оно, восстановлением в памяти печальных событий давно минувшей эпохи открывает повод к насильственному возбуждению страстей". В таком же роде отзывы и об остальных стихотворениях [58]. В 1893 г. Главное управление по делам печати „признало необходимым" „воспретить на будущее время выпуск в свет отдельным изданием поэмы „Гайдамаки", о чем и сообщило циркулярно всем своим учреждениям без всякой мотивировки [59].

В 1896 г., в связи с представленным в цензуру новым дешевым (цена 35 коп.) „Кобзарем", у ретивых стражей государственного благополучия снова возникло беспокойство и как результат—стремление еще более обкарнать его. „После того как десятки тысяч экземпляров „Кобзаря" успели уже проникнуть в среду читателей малороссийской публики,—докладывал цензор Коссович,—было бы конечно не совсем удобным отнестись в настоящее время с подобающей строгостью к содержанию всего вообще разбираемого сборника, потому даже, что имя Шевченко стало слишком известным далеко за пределами империи. Но всему есть мера. Культом знаменитого писателя все же невозможно прикрывать злобные выходки, явно оскорбляющие честь России, нельзя наконец дозволять кому бы то ни было дерзко заявлять в печати, что наступит пора, когда Украина воспрянет, оживет". Предлагая к исключению из „Кобзаря" 15 отрывков, цензор следующим образом аргументирует это: „Наиболее убедительным мотивом настоятельной необходимости исключения вышеозначенных мест может послужить главным образом необычайная дешевизна (35 коп.) и быстрое распространение предполагаемого к напечатанию вновь сборника стихотворений Т. Г. Шевченко, ибо едва ли удобно способствовать широкому распространению „Кобзаря" в первоначальном его виде". Со своей стороны Петербургский комитет добавлял, что „уже одно быстрое распространение дешевого издания „Кобзаря", разошедшегося в течение двух лет при относи-

тельной ограниченности круга читающих малороссийские произведения, говорит за то что идеи Шевченко об Украине свободной, о ее угнетении воспринимаются". Представление это было целиком поддержано Главным управлением по делам печати, и понадобилось два года хлопот и ходатайств, обращения к министру внутренних дел и очевидно каких-то закулисных нажимов, чтобы исключенные места было разрешено восстановить [60].

Упомянем наконец о запрещении трех брошюрок с шевченковскими произведениями в 1900 г. Две из них („Невольник" и сборничек под названием „Було колись", куда вошли „Іван Підкова", „Тарасова ніч", „Гамалія", „Чернець" и т. д.) были запрещены потому 1) что входящие в состав рукописи стихотворения носят украинофильскую тенденциозную окраску и 2) что небольшой объем рукописи и вероятная ее дешевизна заставляют предполагать, что она предназначена для широкого распространения среди малорусского простого люда" [61]. В отзыве о третьей брошюре, содержавшей поэму „Княжна", цензор Воршев особенно подчеркнул социальные ее мотивы. „Покойный поэт Шевченко,—писал он,— происходил из крестьян, страдал от помещичьего гнета и потому во многих своих произведениях старался излить всю свою ненависть к помещикам. Хотя это небольшое по объему стихотворение и вошло в общее собрание сочинений поэта, но издание такового в отдельности цензор полагал бы неудобным потому что написанное в форме популярной оно предназначается дешевым изданием для широкого распространения среди простого народа, при чем может и в настоящее время возбудить неприязнь последнего к дворянскому сословию" [62].

В своей совокупности приведенные материалы дают весьма примечательную картину. Если учесть специфическую терминологию жандармско-цензурного ведомства, то во всех цензорских докладах и „донесениях" проглядывает нескрываемая боязнь революционизирующего влияния шевченковского творчества на читающую публику, в особенности же на „простой люд", на крестьянство. А ведь не следует забывать, что выбор произведений, представляемых в цензуру, принадлежал издателям—представителям „сознательной" украинской буржуазии,—которые также предварительно препарировали тексты соответственным образом... И здесь мы снова должны остановиться на роли издателей Шевченко, сменивших постепенно вымерших его „друзей" и также считавших себя непосредственными преемниками, хранителями и распорядителями его творческого наследия. Из приведенных материалов с полной очевидностью явствует, что в течение нескольких десятилетий украинская буржуазия не сделала никаких попыток добиться расширения количества дозволенных цензурой шевченковских произведений и отдельных стихов. Больше того: один из издателей „Кобзаря", К. М. Гамалия, редактор „Киевской Старины" и видный деятель украинского буржуазно-помещичьего просветительства, в жалобе министру внутренних дел на предположенные дальнейшие сокращения в издаваемом им „Кобзаре" (см. выше) ставил себе в особую заслугу, что его издание „не привело ни к каким вредным для государства или общественных нравов последствиям", но, наоборот, „служило до известной степени препятствием к проникновению в наше отечество „Кобзаря" заграничных изданий, удовлетворяя эстетическим запросам читателей в соответствии с отечественными законами, к сему предмету относящимися". Похвальба, заслуживающая внимания и соответственной оценки! [63]

Что же касается заграничных изданий „Кобзаря", то и они не могли принести чего-либо нового, так как их редакторы были оторваны от первоисточников и в лучшем случае могли добросовестно использовать существующие печатные издания. Не без основания обрушивался М. Драгоманов на одно из таких изданий: „Предназначено оно, как говорится, „для цели пропаганды", и в нем избрано только „нецензурное" из „Кобзаря" уже без всякого хронологического порядка, так что в конце читатель теряет представление о том, что в действительности думал Шевченко, напр. хотя бы о вере: ибо напр. на стр. 80 Шевченко хочет „трубки от кадил закуривать", а на стр. 114 сердится на тех земляков, которые говорят: „Нет ни ада ни рая" [64]. Сам Драгоманов также пытался издать бесцензурный „Кобзарь", и его переписка хранит следы весьма пессимистического отношения к возможности дать что-либо оригинальное. „Во всяком случае,—пишет он 1 апреля 1890 г. И. Франко,—хорошего издания не будет, а если

бы хотя повторить глуповатое пражское издание, но без вопиющих его глупостей" [65]. В весьма значительной степени вина за неудачи заграничных изданий „Кобзаря" падает все на тех же украинских либералов, которые отказывались от всякой поддержки „нелегальщины". Еще в конце 70-х годов Драгоманов просил у Костомарова уделить для издания „Кобзаря" за границей часть фонда, собранного в начале 60-х годов для печатания украинских народных книг. Костомаров ответил отказом, ибо, писал он, „я надеюсь, что еще доживу до того времени, когда можно будет употребить эти деньги на то, на что они присылались, то-есть на печатание Евангелия, а если не доживу до того, то другие доживут". И дальше: „Ваших планов о печатании за границей с целью—служить Малороссии—я не разделяю. Публики малороссийской—нет, а есть—народ, которому нужны элементарные книги, а не публицистика. Такая литература нужна, которая возможна только при полном согласии с властью, а ни при какой бы то оппозиции" [66]. Подобного же взгляда придерживалась и вся украинская „громада" (полулегальная буржуазно-националистическая организация), оказывавшая Драгоманову материальную поддержку. В цитировавшемся уже выше письме к Франко Драгоманов с горечью воспоминает о том, что „земляки" в свое время не захотели окончить предыдущее женевское издание „Кобзаря" (1881 г.), признав его „вредным". Сам же Драгоманов не нашел в себе достаточных моральных сил, чтобы резко порвать с „земляками" и самому поднять издание; этим он, само собой разумеется, лишний раз продемонстрировал принадлежность к тем же либералам, несмотря на весь свой кажущийся радикализм. А корреспондент Драгоманова И. Франко в одном из ответных писем сообщал, что „киевляне" (т. е. та же „громада") очень неприветливо встретили и мысль издать полный „Кобзарь" во Львове (издание было осуществлено в 1893 г., в 2-х томах). „Из письма, писанного к Огоновскому [предполагавшийся редактор львовского издания.—*И. А.*] Науменко,—писал Франко,—можно вычитать такую суть, что лучше вам не браться за это дело, так как вы, галичане, все же сделаете его скверно,—а оставьте его нам. Я не настаиваю на том, что мы сделаем его хорошо, у нас нет и десятой части тех вспомогательных средств (рукописей, первых изданий и т. д.), что у киевлян, но все же вопрос, сделают ли киевляне in abschbarer Zeit [в непродолжительном времени.—*И. А.*] и то, что мы сделаем, т. е. подадут ли хотя бы голый текст всего „Кобзаря" [67].

Мы уже знаем, что „громада" так и не собралась подготовить новое издание „Кобзаря", ограничившись общими размышлениями одного из деятельнейших своих членов, В. Науменко, о пользе подобного издания (см. выше) и восставая против всякой инициативы извне осуществить это предприятие.

Все это лишь дорисовывает двурушническую подлую роль украинской либеральной буржуазии в деле сохранения и публикации литературного наследства Шевченко [68].

IV

В новую фазу своего развития вопрос о литературном наследстве Шевченко вступил с революцией 1905 года. К этому времени в среде украинской буржуазии окончательно выкристаллизовалось ее „левое", „социалистическое" крыло. В противовес старым „громадянам", крепко державшимся легальных методов действия и узких рамок просветительной работы в пределах, дозволенных правительством, это „левое" крыло не чуждалось „подпольной работы" и „пропаганды", разрабатывало свою политическую программу и непрочь было при случае щегольнуть „социалистическими" убеждениями. Подчеркивая свой „социализм" и националистическое „народолюбство", это „левое" крыло, выражавшее стремления и чаяния украинского националистически настроенного кулачества, оформляло „социалистическую украинскую партию" „без того узкого доктринерства и догматизма, которым выделяются социал-демократы", партию, которая „представляла бы интересы всех трудящихся людей на Украине, независимо от степени их пролетаризации, и прежде всего интересы многочисленного нашего трудящегося крестьянства" [69]. В поисках средств влияния на „трудящееся крестьянство" в качестве могущественного агитационного средства был выдвинут и „Кобзарь" Шевченко. „Старая Громада", как мы видели, боялась революционности „Кобзаря", боялась револю-

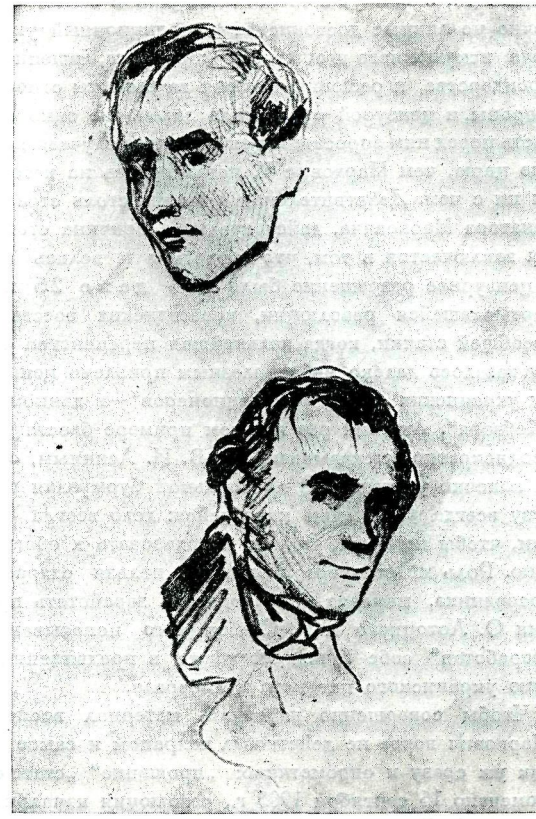
В. Н. РЕПНИНА
Портрет маслом Т. Г. Шевченко
Третьяковская галлерея, Москва

ционизирующего влияния его на массы и в тесном единении с царской цензурой весьма активно препятствовала его продвижению в широкие массы читателей. Напротив того, кулацкие „народолюбцы" стремились активно использовать в своих целях расплывчатую бунтарскую терминологию „Кобзаря" (преимущественно в ранних, националистических его произведениях); подлинно революционное, мужицкое бунтарство Шевченко стремились они соответственной интерпретацией ввести в русло собственных политических надежд и чаяний, в среду собственного политического расчета.

Этот процесс расслоения украинской буржуазии, в частности вокруг понимания и толкования Шевченко (именно в это время на смену эпитету „народный поэт" было выдвинуто новое определение—„национальный поэт"), проходил далеко не безболезненно: антагонизм обоих классовых буржуазных группировок нашел свое выражение даже в печати, например в нападках молодых „народолюбцев" на „Кобзарь", изданный „Старой Громадой" (в лице упомянутого выше К. М. Гамалии). „Мы должны,—писал один из активных представителей кулацкого „народолюбства" С. Ефремов, впоследствии прекрасно доказавший свое „народолюбство" на скамье подсудимых в процессе контрреволюционного „Союза вызволения Украины" (СВУ),—констатировать тот факт, что новое издание „Кобзаря" полно ошибок, что недосмотр бьет в глаза с каждой страницы... Видно, что у редакции нехватило времени для того, чтобы издать произведения нашего национального гения соответственно их ценности и тому значению, какое они имеют в жизни и литературе украинского народа. Новое издание—это как бы перепечатка предыдущего с теми же самыми недостатками и ошибками" [70]. И в другом месте, после детального перечисления всех погрешностей рецензируемого издания: „Издатели не выполнили обязанностей, лежавших на них,—дать критически проверенное... издание стихотворений Шевченко: хронология перепутана, текст не проверен и не выполнен по лучшим вариантам, много типографских опечаток. Так издать „Кобзарь" мог бы каждый книгопродавец, которому и не снится о каких-либо обязательствах, лежащих на издателе произведений Шевченко. Все эти ошибки доказывают, что издатели страшно небрежно вели издание и не приложили своего труда, чтобы оно могло удовлетворить, если не все, то первоочередные требования. А Шевченко кажется имеет уже право на более внимательное отношение к своим произведениям... Редакция „Киевской Старины" имела все средства к тому, чтобы устранить ошибки, проверить текст, исправить хронологию, и не сделала этого. Чего ж ожидать от рядовых издателей!" [71]

И как практический результат подобных попреков и обвинений, неоднократно появлявшихся в печати, как ответ на классовый заказ кулацко-буржуазного „народолюбства" явились новые хлопоты (увенчавшиеся в конце концов успехом) о разрешении издать полный „Кобзарь" и работа В. Доманицкого над созданием буржуазно-националистического канона „Кобзаря".

Неожиданное и безусловное разрешение „Кобзаря" в 1905 г. имеет уже целую литературу [72]. Захлебываясь от восторга и умиления, на разные лады рассказывают националистические зубры о том, как в дело вмешался сенатор А. Н. Маркович, „личность, очень влиятельная и безукоризненная с точки зрения всякой административной благонадежности" и к тому же лично известная Николаю II и уважаемая им. „В Марковиче,—пишет О. Лотоцкий,—заговорило истинное высокое чувство украинского патриотизма [73], вызвавшее его на самые решительные меры для получения разрешения на запрещенные произведения Шевченко. Из административного опыта он хорошо понимал, что разрешение этих произведений, имея в виду их содержание и характер, превышает степень полномочий, принадлежащих высшим чиновникам цензурного управления. Поэтому, чувствуя искренний пиэтет к особе царя, он решил обратиться к нему лично, чтобы путем „высочайшего повеления" был закончен акт высокого культурного значения—освобождение произведений гениального поэта от цензурного запрещения, именно принимая во внимание их мировую культурную ценность. Но сенатор был вместе с тем и в большой мере тактичным человеком и менее всего хотел при этом оскорблять чью-либо административную амбицию. Поэтому он перед аудиенцией у царя считал должным побывать у начальника управления по делам печати, уведомить его о предпринимаемом... А. Н. Маркович лично поехал к начальнику Главного управления по



ЛИСТ ИЗ АЛЬБОМА Г. И. ДУНИН-БАРКОВСКОЙ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ Т. Г. ШЕВЧЕНКО
Частное собрание, Москва

делам печати, уведомил его о намерении... издать полное собрание произведений (Шевченко)... и мотивировал это желание кроме поданной официальной бумаги еще и личными аргументами, которые, сколько помню, выглядели так: произведения гениев человечества не могут подлежать тем формальным предписаниям, которые обязательны для людей обыкновенных, и он, сенатор, предполагает представить свое намерение милостивому вниманию самого монарха; но раньше он считает своей обязанностью сообщить об этом „по принадлежности" начальнику Главного управления по делам печати, на случай, если он признает нежелательным беспокоить этим делом особу его величества, а вместо этого найдет возможным лично разрешить это дело в положительном смысле. Председатель цензуры попал в критическое положение. С одной стороны, существовала известная опасность в том, чтобы разрешить печатанье произведений, доселе запрещавшихся, а с другой—авторитет сенатора Марковича, возможно даже преувеличенный по слухам, создавал уверенность в успешности затеянного им дела; поэтому положение начальника цензурного ведомства было бы весьма неприятно, если бы он безосновательно допустил беспокоить особу его величества, имея возможность и без того устроить дело. Балансируя между первой и второй опасностью, он счел все же более безопасным понести ответственность за разрешение нецензурных произведений Шевченко, чем заслужить хотя тень царской немилости". „Можно с уверенностью предполагать,—продолжает Лотоцкий,—что он собственно и не представлял себе, о чем именно идет речь, ибо с запрещенными произведениями Шевченко он очевидно не был до того знаком"; получив же от Марковича экземпляр „Кобзаря", он, по уверению Лотоцкого, тотчас же положил резолюцию с предписанием цензору ускорить рассмотрение книги и выдачу разрешения.

Мы привели длинный рассказ Лотоцкого почти без сокращений; своим хвастливым умилением и восторженным сюсюканьем о доблести Марковича он в достаточной мере

выдает то, о чем умалчивает Лотоцкий в самом тексте своих воспоминаний. Ибо конечно не личные достоинства и традиционный украинский патриотизм привели Марковича, искушенного и опытного бюрократа, лишенного и признаков какого бы то ни было фрондерства, к решению взяться за хлопоты относительно полного „Кобзаря". С другой стороны, и цензурой руководило далеко не одно стремление угодить царю и боязнь попасть перед ним впросак: мы знаем много случаев, когда ходатаи, не менее сановные и близкие царю, чем Маркович [74], наталкиваясь на категорическое упорство цензуры, отходили ни с чем. Действительная причина столь странного усердия и пылкого патриотизма сенатора Марковича, действительная причина столь необычайной покладистости цензуры заключается в том, что хлопоты эти велись в сентябре-октябре 1905 г., а цензурное разрешение было дано даже 25 ноября 1905 г. Перед лицом развертывавшейся революции, крестьянских восстаний (между прочим и на Украине), всеобщей стачки, когда дальнейшая перспектива событий была весьма неясна, царизму казалось далеко небесполезным привлечь ценою некоторой уступки на свою сторону украинских „тоже революционеров"—в данном случае ценою разрешения полного „Кобзаря". Лишний раз на этом примере блестяще подтвердилась правильность мысли, неоднократно высказывавшейся В. И. Лениным, о том, что „оппозиционность" русской (и конечно украинской) либеральной буржуазии по отношению к царскому правительству всегда была лишь кажущейся: дело всегда шло о степени взаимных уступок, о том, чтобы возможно полнее использовать к обоюдному удовлетворению данную ситуацию. Роль же сенатора Марковича нельзя охарактеризовать иначе как роль делового посредника, маклера, старающегося заработать при сделке у обеих сторон; воспоминания О. Лотоцкого и П. Стебницкого показывают, что в этом он вполне преуспел „заработав" себе (очевидно также в предвидении надвигавшейся революции) репутацию украинского патриота и либерала.

Чтобы совершенно исчерпать материал воспоминаний О. Лотоцкого, заметим, что Маркович вовсе не действовал нахрапом и самое цензурное разрешение было дано не так уж сразу и опрометчиво: „прошение" „статс-секретаря и сенатора А. Марковича" помечено 15 сентября 1905 г., резолюция начальника Главного управления по делам печати А. Бельгарда—3 октября, цензурное же разрешение—25 ноября. Таким образом давая распоряжение цензору „ускорить" дело, Бельгард уже несомненно успел познакомиться если не с самими произведениями Шевченко, то во всяком случае с соответствующими материалами о них и мог здраво оценить предлагаемую ему сделку.

Как бы то ни было „Кобзарь" был дозволен к печати безусловно, и это подало издателям мысль наново проделать всю подготовительную текстологическую работу, использовав все доступные материалы—как печатные, так и в особенности рукописные. Эта работа была поручена В. Н. Доманицкому.

Деятельность последнего, его роль в создании буржуазно-националистического канона „Кобзаря" неоднократно освещалась в литературе—критической, мемуарной и научной. Единомышленники Доманицкого высоко поднимали его на щит, рисуя его личность и деятельность чуть ли не житийно-иконописными чертами. О. Белоусенко (псевдоним знакомого уже нам националистического зубра Лотоцкого) писал о нем, выражая очевидно не только свое личное мнение: „Без преувеличения можно сказать, что Доманицкий впервые выявил перед нами чистый образ Шевченко, которого в течение свыше полустолетия одинаково старательно закрывали от нас—и цензура своим красным чернилом, и издатели своей классической небрежностью" [75]. Современные исследователи (И. Айзенштok, М. Новицкий) отметили в работе Доманицкого много методологических ошибок; как говорит например Новицкий, „в одно и то же произведение он вносил варианты из различных автографов этого произведения", он „позволял себе поправлять и дополнять шевченковские тексты", и таким образом самый „метод издания текста „Кобзаря", употребленный им, был совершенно ошибочен" и т. д. [76] Однако ни один из исследователей—отмечаем это в порядке самокритики—не определил классового, буржуазно-националистического характера всей работы Доманицкого, не отметил, что все „текстологические" его ошибки вызваны в действительности выполнявшимся им классовым заданием; лишь в настоящее время, в процессе работы над ака-

демическим изданием сочинений Шевченко, удалось вскрыть националистически-фальсификаторскую роль Доманицкого в полном ее объеме [77].

В деле приведения в известность и описания поэтического наследия Шевченко Доманицкий сделал очень много, в особенности принимая во внимание разбросанность в то время местонахождения автографов и почти полную в то время недоступность многих из них, а также полулегальное положение самого Доманицкого [78]. Он в значительной степени привел в порядок хронологию „Кобзаря", до того чрезвычайно путанную и случайную: впервые опубликовал ряд неизвестных дотоле произведений Шевченко, извлеченных им из рукописей. Наконец он опубликовал большое текстологическое разыскание— „Критичний розслід над текстом „Кобзаря" (Киев, 1907), использовав в нем и рукописи поэта, отобранные при аресте в 1847 г. и обнаруженные П. Е. Щеголевым во время занятий в архиве департамента полиции. При всем том работу Доманицкого мы не можем расценивать иначе как кустарную по своим методологическим принципам и националистическую по своим политическим тенденциям. Для Доманицкого одинаково ценным являлся в с я к и й автограф поэта, в с я к а я копия, сделанная кем-либо из его „друзей", всякий печатный вариант. Исследуя (в сущности же лишь описывая) текстовой материал какого-либо произведения, он не задавался целью проследить характер и тенденцию поэтической работы Шевченко над ним, не пытался устанавливать основной текст и варианты к нему; отдельные строки (в лучшем случае небольшие отрывки) брались им обособленно, сличались по всем рукописям (автографам и копиям) и печатным изданиям (независимо от степени их авторитетности) и из ряда вариантов им выбирался наиболее „у д а ч н ы й", „л у ч ш и й", который и должен был составить основной текст, канон. Основным методологическим критерием для Доманицкого таким образом являлись владевшие им националистические тенденции и стремление не портить отношений с властями предержащими из-за слишком вольных выражений „Кобзаря", а также собственное эстетическое чувство исследователя. Все это рождало в ряде случаев сознательную фальсификацию текста. Приведем несколько примеров.

ЛИСТ ИЗ АЛЬБОМА Г. И. ДУНИН-БАРКОВСКОЙ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ В ЛЕВОМ УГЛУ Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Частное собрание, Москва

В стихотворении „Чигирин" имеются такие строки:

За що боролись ми з панами?
За що ми різались з ордами?
За що скородили списами
Татарські ребра?

В некоторых заграничных изданиях „Кобзаря" вместо „Татарські ребра" стояло „Московські ребра". Принимая первое (и правильное) чтение, Доманицкий обосновывал его следующим образом: „Этот вариант непременно следует взять, если взято перед тем „...з панами", ибо иначе о борьбе с татарами вовсе не будет упомянуто... Что же касается „московських ребер", то их не так-то уже много приходилось „скородити" [бороновать.—*И. А.*], чтобы специально на этом останавливаться"[79]. В стихотворении „Холодний Яр" Доманицкий отдает предпочтение ненадежному печатному варианту перед автографом („Чи то загатили" вместо правильного: „засадили"), так как „тогда становится неясным, почему дальше... поэт говорит: не гатіте! бо над яром..."[80] В балладе „Лілея" отмечается вставка случайного автографа „очень хорошая, которой нигде нет и которую следовало бы взять в „Кобзарь"[81]. поэме „Кавказ" отдается предпочтение зачеркнутому Шевченко варианту („Догматами не просвіщенні") перед позднейшим и классово более выразительным: „Святим хрестом не просвіщенні"[82]. Совершенно правильно объясняет современный исследователь эту поправку сознательным желанием „затуманить ясное выражение Шевченко и к тому ж ограничить протест Шевченко лишь догматическим православием, не затрагивая христианства в целом"[83]. Пример подлинной фальсификации мы встречаем в тексте „Сна"—одного из наиболее ярких революционных произведений Шевченко. Говоря о „землячках", которые, попав в бюрократические петербургские канцелярии сделались „пьявками", поэт восклицает:

Україно, Україно!
Оце твої діти.
Твої квіти молодії
Чорнилом политі,
Московською блекотою
В німецких теплицях
Заглушені.

Ясно, что „теплицами" поэт высмеивает эти „квіти", которые в стремлении сделать карьеру готовы на всякие унижения. Между тем Доманицкий печатает последние две строки так:

В німецких петлицях
Замучені—

т. е. заставляет поэта выставлять „землячков" мучениками царизма. Яркий и убедительный пример подхалимства и трусости Доманицкого встречаем в упоминавшемся уже стихотворении „Холодний Яр", где отчетливое написание рукописи:

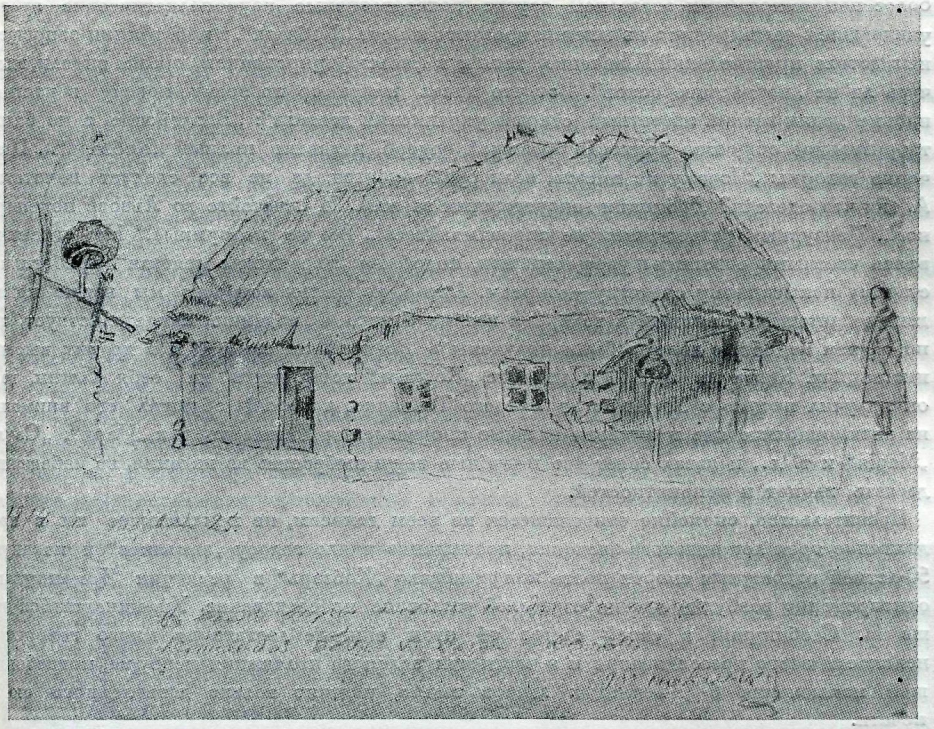
Не зовіте преподобним
Миколу-Нерона,—

он прикрывает фиговым листком фальсификации:

Лютого Нерона,—

то-есть дает чтение, совершенно сглаживающее политическую направленность вещи.

При всем том (или, точнее сказать, вследствие всего этого) и текстологическое исследование Доманицкого, и в особенности „Кобзарь" в его редакции были восторженно встречены всем буржуазно-националистическим лагерем. Один из признанных вождей украинской либеральной буржуазии М. Грушевский подчеркивал, что „это громад-



КАРАНДАШНЫЙ РИСУНОК Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Хата, в которой родился поэт. Фигура рядом с домом — автопортрет. Под рисунком двустишие из русской поэмы Шевченко «Тризна» и дата его рождения «1814, февраля 25»
Частное собрание, Москва

ный шаг вперед в критической проверке текста „Кобзаря", и Доманицкий достоин искренней благодарности за ту работу и любовь, которую он вложил в это дело Теперешнее издание „Кобзаря" таким образом становится не просто первым изданием „Кобзаря" в России, но полнейшим и авторитетнейшим из всех предыдущих"[84]. А единомышленник и ближайший друг Доманицкого С. Ефремов трубами и фанфарами возвещал о новом издании „Кобзаря": „Это та вновь найденная книга, которая на целые десятилетия пропала было. Теперь мы уже имеем полного, не искалеченного Шевченко и может быть хотя теперь минулись для „гениального горемыки" те муки, которые и после смерти его не покинули. Общество в России и за границей впервые имеет возможность взять в руки не фальсифицированный, а подлинный „Кобзарь" [!?—*И. А.*] и упиваться вдохновенным словом его... Книга нашлась"[85]. Эти похвалы и утверждения после приведенных выше замечаний вряд ли нуждаются в дальнейших комментариях и специальных возражениях.

Как упомянуто выше, текст „Кобзаря" в редакции Доманицкого на ряд лет сделался каноническим, перепечатывался (особенно в первые годы после революции 1917 г.), зачастую без имени редактора, и выдержал общим счетом до двух десятков изданий. Этой популярности не помешало даже новое цензурное гонение на „Кобзарь", воздвигнутое в 1911 г. Следует заметить, что крупная украинская буржуазия, забыв былые либеральные увлечения, была против издания полного „Кобзаря". В. П. Науменко, приехав в Петербург, с возмущением допытывался: „Да неужели же вы будете печатать всех „Царей" и тому подобное даже без точек?"—„А как же иначе?—возражали издатели.—Мы верим цензуре, вот и все..."—„И думаете, что так оно вам и пройдет?" В конце концов Науменко не только примирился с печатаньем „Царей без точек", но даже предоставил Доманицкому ряд принадлежавших ему автографов Шевченко. Гораздо

более непримиримыми оказались другие консервативные националистические зубры, увидевшие в расширении и изменении прежнего канона „Кобзаря", в публикации запрещенных дотоле произведений Шевченко (хотя и в фальсифицированном, как мы видели, виде) чуть ли не „потрясение основ". Вот что писал например по этому поводу в частном письме „один весьма известный старый украинский деятель": „Злодейское, а не благотворительное общество принесло большой ущерб, издавши полный „Кобзарь"... Шевченко говорил: „Почему не писать, если руки чешутся, да не все следует печатать". А они что сделали? Дубинами запорожскими за это!.. И печатайте во Львове нецензурное!.. Цензурным разрешением не оправдывайтесь!.. Вы не малоумные!" Не ограничиваясь частными советами и увещеваниями, подобные „украинские деятели" прибегали к старому испытанному средству—доносам. Автор, из статьи которого мы взяли приведенные цитаты[86], стоявший в то время весьма близко к изданию, свидетельствует, что по слухам подобные доносы были получены в „святейшем синоде" и в других высших инстанциях. Когда же в 1910 г. издание „Кобзаря" хотел взять на себя Сытин, то и он получил письмо с Украины от некоего Ткаченко, который обращал его внимание на антимонархические и антирелигиозные произведения Шевченко, как „Цари", „Саул", „Марія" и т. д., и давал совет все подобные вещи выбросить из издания, во избежание, дескать, хлопот и неприятностей.

Правительство, спокойно относившееся ко всем доносам, не придававшее им в продолжение трех лет никакого значения, неожиданно вняло голосу „земляков" и накануне 50-летней годовщины смерти поэта конфисковало „Кобзарь" в редакции Доманицкого, одновременно возбудив против издателей уголовное преследование. Упоминавшийся выше П. Стебницкий в своей статье об этом эпизоде достаточно много говорит о нелепости этого преследования и в частности нелепого положения цензуры, потребовавшей исключения $6^1/_2$ печатных листов текста, недавно только дозволенного ею к печати.

Между тем в данном случае мы встречаемся только с лишним проявлением общей политической реакции после спада революционной волны 1905—1907 гг. Наряду с ликвидацией многих других „уступок" правительство поспешило снова обкарнать текст „Кобзаря" и сделало это накануне юбилея, когда как раз можно было ожидать выхода ряда новых изданий массовыми тиражами.

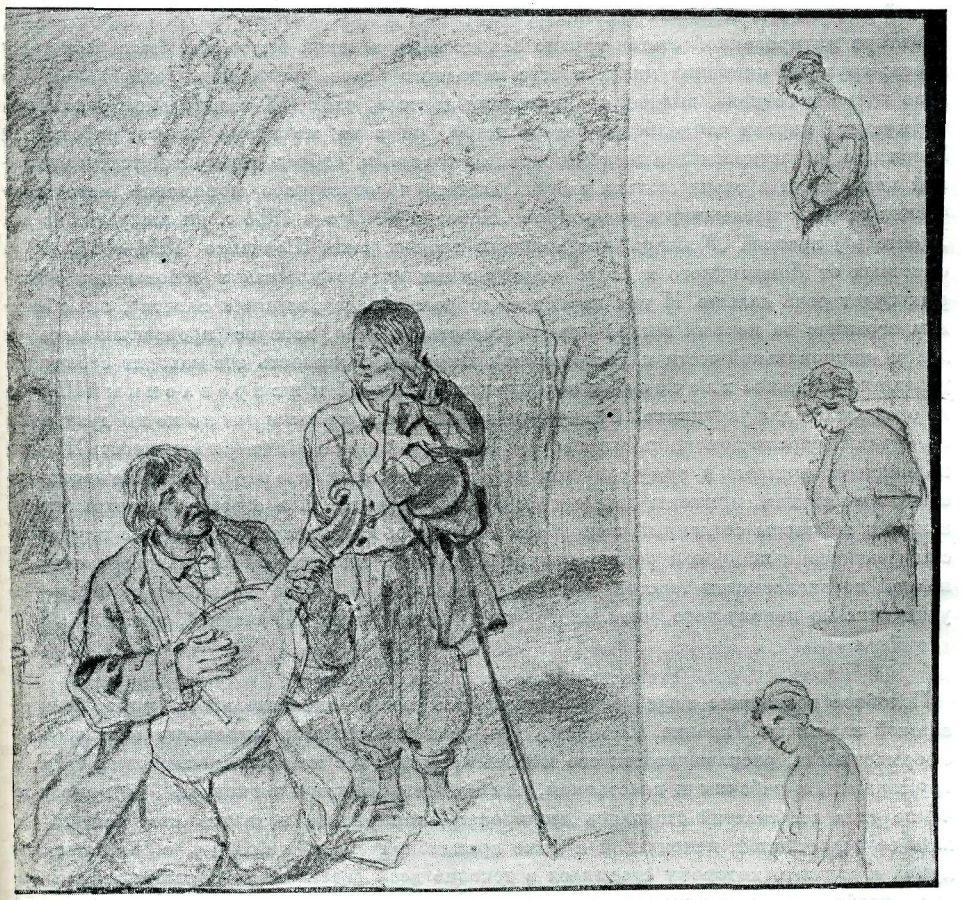
Следует заметить, что привлеченные к суду издатели „Кобзаря" остались верными испытанной десятилетиями либеральной тактике: всеми способами выгораживать себя из неприятной истории. Поэтому например защитник издателей О. О. Грузенберг краеугольным камнем защиты сделал „соответственное толкование политических стихотворений Шевченко" и требовал разрешения (которое очевидно и получил) „в особенно острых местах ставить вместо „царей" многоточия, так как без того дело будет небезопасно". Персональная же защита строилась на том, что вся вина возлагалась на сенатора Марковича и самого Доманицкого, которые оба к тому времени уже умерли. По справедливому признанию самого Стебницкого, такой способ защиты не обнаруживал в участниках процесса большого гражданского мужества, и вряд ли могут их оправдать в глазах истории маловразумительные ссылки на то, что „здесь приходилось защищать не только тех или иных живых людей, но и сами общества, существованию которых приговор мог серьезно повредить".

Годы, непосредственно предшествовавшие империалистической войне и революции, прошли для литературного наследства Шевченко под знаком возрастающих цензурных запрещений и полицейско-бюрократических преследований. Если в ноябре 1910 г., накануне 50-летия со дня смерти Шевченко, которое украинская буржуазия проектировала отметить деловито, скромно и торжественно,—с традиционными панихидами по рабе божием Тарасии, киевская охранка только мечтала о том, чтобы „парализовать *деятельность ныне действующего украинофильского комитета по организации шевченковских* торжеств, не дав возможности ему сорганизовать противогосударственную манифестацию с участием общественных и городских организаций"[87], то три года спустя, в предвидении надвигающейся революционной опасности департаментом полиции были категорически запрещены вообще всякие чествования 100-летнего юбилея со дня рожде-

ния Шевченко. Запрещение это, явившееся, по словам Ленина, „такой превосходной, великолепной, на редкость счастливой и удачной мерой с точки зрения агитации против правительства, что лучшей агитации и представить себе нельзя", не послужило однако препятствием для широких и многолюдных демонстраций пролетариата, трудящейся интеллигенции и студенчества, прошедших под знаком революционной борьбы против царизма. Само собой разумеется, что украинская буржуазия, свято придерживавшаяся „принципов законности", никакого участия в демонстрациях протеста не принимала, ограничиваясь показыванием правительству „кукиша в кармане"—принятием благонамеренных резолюций с либеральным хныканьем и нытьем о стеснениях легальной культурной работы и т. д.

Зато пышным цветом расцвел украинский буржуазный национализм после революции 1917 года, особенно в период националистической, помещичье-буржуазной и буржуазно-кулацкой контрреволюции 1918—1919 гг. (Центральная Рада, гетманщина, петлюровщина). Мы приводили уже выше примеры контрреволюционной националистической интерпретации поэзии Шевченко в писаниях петлюровских идеологов. Здесь остановимся на положении литературного наследства Шевченко в этот период.

В высшей степени примечательно то, что, провозглашая Шевченко с в о и м, клянясь его именем и используя как политические лозунги отрывки из его произведений, украинская контрреволюция одновременно выказала чрезвычайное равнодушие к судьбе



АВТОИЛЛЮСТРАЦИЯ К ПОЭМЕ «ЧЕРНИЦЯ МАР'ЯНА» ИЛИ «ПЕТРУСЬ»
Рисунок карандашом Т. Г. Шевченко на обороте автопортрета 1843 г.
Частное собрание, Москва

„Кобзаря", к судьбе прочих сочинений поэта. Многочисленные издатели продолжали переиздавать еще и еще „Кобзарь" в редакции Доманицкого, переиздавать не только без исправления ошибок последнего, но и с вящим усугублением их; работа редактора была заменена работой малоквалифицированного корректора, доводившего текст „Кобзаря" подчас до полной бессмысленности. Перелистывая „Книгар" („Книжник"), специальный украинский библиографический журнал того времени, наталкиваешься то на чувствительные убеждения в необходимости („для блага народа украинского!") приступить наконец к подготовке новой редакции текста „Кобзаря", то на лицемерное возмущение выходящими халтурными изданиями. „Стоим перед изданием академическим, которого желает воскресшая нация. И верим, что такое издание национального клада в скорости появится. Должно появиться, поборов все технические препятствия, это издание Великой Книги, Великого творца, сына Великого народа", пишет один из сотрудников журнала в начале 1918 г.[88] Но и год спустя, в марте 1919 г., оказывается, что „и доныне мы не имеем полного научного, со всеми редакциями и вариантами издания текста хотя бы одних его стихотворений". „Повсюду читаются курсы украинской литературы, ведутся семинарии по теории поэтического творчества, а весь Шевченко и доныне неприступен для целей изучения". „Правда,—продолжает тот же автор,—научное издание произведений—вещь сложная, нелегкая, но в отношении Шевченко мы должны преодолеть все трудности и препятствия и дать народу полный текст произведений гения нашего слова. Это—национальная обязанность, это—вопрос чести для историков нашей литературы и наших филологов"[89].

Автора цитированной статьи трудно заподозрить в какой бы то ни было пристрастности: крупный чиновник министерства народного просвещения при Центральной Раде и во времена гетмана, видный политический деятель, член ЦК влиятельной украинской буржуазной партии социалистов-федералистов, он в то же время много работал над Шевченко, в частности над шевченковскими текстами, собрал обширный текстологический материал и в своих статьях выявил достаточно отчетливое понимание методологических ошибок предыдущих редакторов „Кобзаря"[90]. Еще в 1914 г. он выпустил (в изд. „Деятель") краткий „Кобзарь" (охвативший произведения Шевченко 1834—1842 гг.) на отличных от Доманицкого и более выдержанных методологических основаниях, о которых будет речь дальше. И тем не менее, добравшись до „кормила власти", он обнаружил странное на первый взгляд невмешательство в дело, которое провозглашалось им делом „национальной чести и достоинства". Впрочем странность эта находит себе вполне удовлетворительное к л а с с о в о е объяснение: п о л н ы й и и с п р а в л е н н ы й Шевченко оказывался для украинской буржуазии, добравшейся к власти, так же не по духу, как в свое время и царско-помещичьим цензорам. Революционность и антирелигиозность Шевченко слишком выпирали наружу, слишком явно обнаруживали свое несоответствие националистическим схемам, примеры которых мы приводили выше. И в стремлении сохранить для влияния на массы созданный ими образ Шевченко украинские буржуазные националисты фактически поощряли распространение подчас искаженных и исковерканных дополной неузнаваемости текстов „Кобзаря", выражая в то же время еще лицемерное удивление по поводу того, что „много учителей не читало Шевченко", и т. д.

V

Подобное положение вещей резко изменилось после окончательного упрочения советской власти на Украине. Шевченко, при всех его идейных шатаниях, при всей неоформленности, расплывчатости его миросозерцания, все же был неизмеримо ближе к трудящимся, к рабочим и крестьянам, чем ко всем „панам і підпанкам", которые в течение ряда десятилетий старались изолировать, припрятать, исказить его поэзию, сделать ее недоступной, непонятной и даже враждебной тому н а р о д у, о котором поэт думал и служить которому стремился в течение всей своей жизни. Прежде всего оказалось необходимым уничтожить, искоренить вавилонскую башню националистической лжи в характеристике Шевченко, оказалось совершенно необходимым л и к в и д и р о в а т ь с о з д а в а в ш и й с я д е с я т и л е т и я м и к у л ь т Ш е в ч е н к о. Ибо, как замечал современный критик, „за почитанием мощей Шевченко не было вре-

мени изучать его". „Нам же, — продолжает критик, — нужен Шевченко живой, реальный, такой, каким он был в действительности, каким дала его та историческая эпоха и тот класс, откуда он вышел. Мы не нуждаемся в подмалевке его, в переодевании в современные одежды, либо в навязывании ему наших современных взглядов. Он—наш, таков, каков он был, со всеми своими предрассудками и своей суровой горячей душою"[91].

В области текстологической на смену нерешительным и половинчатым намерениям и опытам П. Зайцева, не нашедшим себе к тому же сколько-нибудь полного и конкретного выражения, явились попытки по-новому, на более твердых методологических основаниях построить собрания стихотворных произведений Шевченко. Из этих попыток остановимся здесь на двух, наиболее значительных.

Автор настоящей статьи в ряде печатных выступлений [92] и в редактированном им собрании поэтических произведений Шевченко [93] в основу организации текста положил принцип последних редакций. „На основании рукописей, разных изданий и исследований над текстом Шевченко" пытался он „выяснить и определить последние и позднейшие редакции стихотворений поэта, хотя на этом пути и пришлось... кое в чем порвать с многолетней традицией". Напротив, М. Новицкий и С. Ефремов выдвинули иной принцип организации шевченковского текста [94]. „За исходную точку,—писали они,—мы берем собственные редакторские указания и пожелания поэта, считаемся прежде всего с богатым рукописным наследством Шевченко, а потом уже руководствуемся теоретическими соображениями о последней редакции. Какие рукописи и печатные тексты „Кобзаря" считал основными сам поэт? Очевидно это были не те случайные автографы, которые поэт, часто по памяти, записывал в альбомы или дарил своим приятелям. Шевченко подобным рукописям не придавал особого значения последней, дефинитивной редакции. У поэта была характерная для него, а для нас чрезвычайно ценная привычка собирать свои стихотворения в отдельные книжечки-альбомы, объединять их в определенные циклы или сборники. Эта манера Шевченко — переписывать свои стихотворения в книжечки-альбомы — очень характерна для него... Сам автор дает своим циклам по большей части и специальные названия..., кроме последнего периода, для которого такого названия у Шевченко нет".

На первый взгляд может показаться, что между первым и вторым редакционными принципами нет существенных методологических расхождений, что они, в сущности, дополняют друг друга. В самом деле, если понимать предлагаемую Новицким—Ефремовым цикличность как композиционный принцип организации текста, то он вовсе не будет противоречить поддерживаемому Айзенштоком (по существу конечно далеко не новому в текстологии) принципу последней редакции. Именно так и понимал вопрос Айзеншток, когда, отмечая появление редактированного Новицким—Ефремовым текста, он писал следующее: „Цикличность творчества Шевченко... явление настолько характерное и доказательное, что именно его и следует отныне положить в основу „Поезії" Шевченко как художественного целого. Однако должен заметить (в связи с несколько полемическим тоном приведенной цитаты), что цикличность эта вовсе не противоречит попыткам давать окончательные по времени редакции отдельных произведений: с одной стороны, текст, который поэт заносил в свои тетради-альбомы, в громадном большинстве случаев и является дефинитивным (окончательным), а с другой—сами редакторы вынуждены время от времени отступать от своих принципов" [95]. Хотя эти теоретические признания и не отразились в дальнейшей редакторской работе Айзенштока (следующие издания „Кобзаря" продолжали выходить без изменений,—главным образом в силу издательских требований использования готовых стереотипов), однако весьма показательной для „методологии" буржуазных текстологов является намечавшаяся возможность примирения обоих принципов, установление некоей средней равнодействующей линии.

Между тем тщательный анализ обоих принципов легко доказывает их абсолютную неприемлемость в качестве основного методологического обоснования организации шевченковского поэтического текста; тщательный анализ вскрывает буржуазно-формалистическую основу обоих принципов,—во втором случае с довольно ощутительной примесью

зоологического национализма. Текстологический формализм, стремление отыскать или реконструировать именно последние по времени редакции стихотворений Шевченко (безотносительно к их художественной и классово-идеологической ценности) привели Айзенштока к тому, что за основу в ряде случаев им были взяты мало авторитетные записи Шевченко, сделанные по памяти. В некоторых случаях, за невозможностью точно установить позднейший текст, предпочтение отдавалось случайным редакциям, авторитетность которых также иногда подлежит сомнению. Таким образом стремление к формальному проведению текстологического принципа фактически привело редактора к беспринципному искажению подлинного шевченковского текста. Наконец, вслед за П. Зайцевым, в качестве одного из основных текстологических источников был использован упоминавшийся выше экземпляр „Кобзаря" 1860 г. с поправками поэта („экземпляр Цветковского"), поправками, как мы указывали выше, случайными и не проведенными систематически до конца.

В издании Ефремова—Новицкого правильный в своей основе композиционный принцип организации текста („цикличность") был смазан „принципиальным" отказом от какой бы то ни было критики текста, беспомощным стремлением фотографически передать все особенности шевченковской лексики и даже орфографии (свято сохранены даже все описки и орфографические ошибки оригинала). С другой стороны, слишком буквальное, формальное понимание „альбомности" вызвало включение в основной текст редакций и вариантов, позднее заведомо откинутых поэтом; и наряду с этим, в случаях отсутствия белового альбомного текста,—текстологический эклектизм, смешение различных черновых редакций и т. д.

Дело однако не только в неудовлетворительности редакционной работы: даже и при более тщательном исполнении работа Айзенштока и Ефремова—Новицкого все же дала бы отрицательные результаты, так как ошибочны были основные текстологические установки редакторов. Не будем говорить о пресловутой „цикличности": совершенно очевидно, что она имеет существенное, но только композиционное значение (как мы и указывали в рецензии на издание Ефремова—Новицкого). Что же касается собственно установления и критики текста, то она должна вестись на основе возможно более полного учета биографических, исторических и социальных моментов творческой жизни поэта. А те особенности этой творческой жизни, о которых мы упоминали выше (арест, ссылка, неоднократные конфискации рукописей, необходимость прятаться с писательством, цензурные запрещения, борьба с цензурой „друзей" и т. д.), заставляют с особою осторожностью подходить к установлению текста каждого отдельного произведения без заранее выработанных схем. Мы упоминали выше о поэме Шевченко „Эретик" („Іван Гус"), написанной в 1845 г. и отобранной при аресте в 1847 г. По возвращении из ссылки поэт—отчасти по настоянию „друзей"—усердно разыскивал списки хотя бы отрывков этой поэмы, надеясь восстановить и исправить ее по памяти; однако получив такую копию от известного собирателя П. Бартенева, Шевченко внес в нее лишь несколько случайных поправок (случайность доказывается тем, что ряд грубейших описок переписчика остался неисправленным) и затем оставил ее без внимания в своих бумагах [96]. Текстологическая малоценность этой рукописи слишком очевидна, и никто из издателей не решился счесть ее за „позднейшую редакцию" (исправлена поэтом в 1858 г.) и принять текст ее за основной. Между тем пресловутый „экземпляр Цветковского" не одному редактору вскружил голову и привел к случайным исправлениям ряда шевченковских произведений, т. е. фактически к порче шевченковского текста. И наряду с „канонизацией" „экземпляра Цветковского" почти без внимания оставлялся текст тщательно приготовленной Шевченко к печати „Поезії Т. Ш." (1858). Можно ли однако безоговорочно принять за канонический и этот последний текст (как то предлагает например О. Дорошкевич)? Мы на этот вопрос ответим отрицательно, учитывая, что Шевченко, подготовляя свои произведения к печати и естественно ожидая жестоких придирок цензуры, сам редактировал соответственным образом некоторые места, отбрасывая или смягчая все, что, казалось ему, могло бы обратить на себя внимание цензора. И наиболее правильным будет, думается, взяв за основу (условно) текст 1858 г., внести в него те поправки, изменения и дополнения из других авторитетных

«СПЯЩИЙ МАЛЬЧИК»
Акварельный этюд Т. Г. Шевченко
Третьяковская галлерея, Москва

источников, которые наиболее будут соответствовать историческому, марксистско-ленинскому пониманию Шевченко; иными словами, за один из решающих моментов в установлении шевченковского канона мы должны принять, откинув всякие формальные и формалистические принципы, принцип классовой значимости вариантов. И не следует опасаться, что этот принцип возвращает нас к опасным контаминациям, какие мы имели у Доманицкого и более ранних редакторов. Контаминации Доманицкого и иже с ним опасны и вредны не потому, что они суть контаминации, а потому, что они построены на неприемлемой и методологически неверной, эклектической и националистической основе. Доманицкий, нанизывая один за другим и связывая воедино варианты из различных рукописей, руководствовался единственно собственной интуицией буржуазно-националистического деятеля; для нас включение отдельных классово ценных вариантов, характерных для исторического Шевченко в определенный период, в основной текст, установленный также на основании тщательного изучения всех относящихся сюда источников, является лишь последовательным, логическим звеном на пути восстановления подлинного образа поэта, искажавшегося и фальсифицировавшегося на протяжении десятилетий.

Остановившись подробнее на указанных двух попытках модернизации текстологической традиции в шевченковедении (считаем нужным заметить, что сделанные здесь и в других местах настоящей статьи самокритические замечания вовсе не претендуют заменить собой развернутую самокритику шевченковедческих работ автора; цель этих замечаний—подчеркнуть те взгляды на задачи шевченковедения, которые выкристаллизовались у автора за последние три года), нельзя не упомянуть также об академическом издании произведений Шевченко: краткая история этого издания является наглядной иллюстрацией маневров классового врага, направленных к сокрытию от украинских трудящихся масс действительно полного собрания текстов великого украинского поэта, революционера и демократа. Всеукраинская Академия Наук, основанная в 1918 г. при Скоропадском и получившая при советской власти колоссальные возможности дальнейшего развития, далеко оставляющие за собою весьма ограниченные перспективы гет-

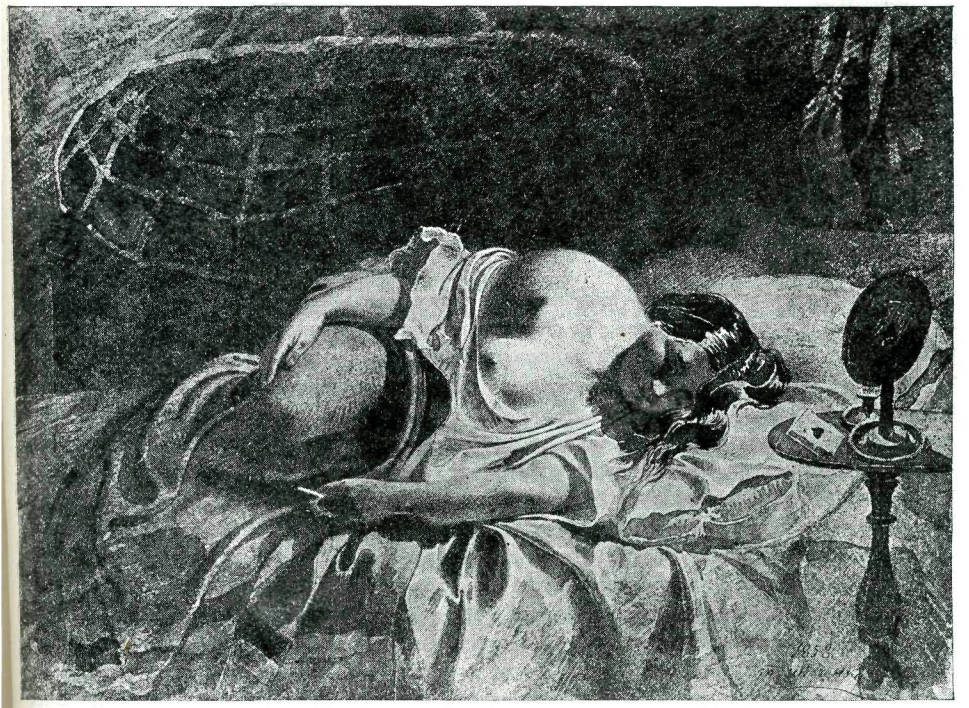
манских „деятелей", в течение многих лет являлась одним из тех учреждений, куда „националистическим элементам в значительном количестве удалось проникнуть .., расставить... своих людей для организации саботажа и вредительства, прикрываясь для осуществления своих контрреволюционных целей флагом украинизации", создав таким образом из советской Академии подлинное „контрреволюционное националистическое гнездо" [97]. Работа над академическим изданием Шевченко (точнее организованный многолетний саботаж этого большого культурного дела) явилась одной из составных частей общей деятельности контрреволюционных вредителей во Всеукраинской Академии Наук. Этот саботаж достаточно характеризуют следующие факты. Еще в 1919 г. при ВУАН была организована „Комиссия для издания произведений Т. Шевченко проф. М. П. Драгоманова, проф. В. Б. Антоновича и Ив. Франко". Как говорит академический отчет, „первоначально возникла эта комиссия не в Украинской Академии Наук, а совсем осторонь Академии; она была основана при „Всеукраинском Издательстве" („Всеиздат"), чтобы продвинуть как можно скорее научное критическое издание Шевченко, Драгоманова, Антоновича и Франка. В августе 1919 г. украинский „Всеиздат" просил Академию Наук взять критическое опубликование этих четырех писателей под свой присмотр и ассигновал необходимые средства на оплату сотрудников и на печать" [98]. Тогда же были определены приблизительные сроки выполнения этого задания; тот же академический отчет пишет об этом следующее: „...следует думать, что работы хватит более, чем года на два-три, так как материал, подлежащий критической обработке, чрезвычайно велик" [99]. Действительность однако показала, что и этот ориентировочный срок указан лишь для отвода глаз. Ибо лишь в 1923 г. „перед Комиссией реально встала возможность академического издания произведений Шевченко", лишь в 1923 г. „Комиссия приступила к окончательному упорядочению собранного уже шевченковского материала", лишь в 1923 г. был разработан „следующий план академического издания сочинений Шевченко: тт. I—II—стихотворения, т. III—переписка, т. IV—дневник, тт. V—VI—русские повести и поэмы, т. VII—рисунки, тт VIII—X—новые материалы для биографии Шевченко, исследования о нем и возможно полная биография" [100]. Достижения, как видно, весьма невелики и ни в малейшей степени не соответствовавшие тем клятвам и уверениям в своей любви и преданности Шевченко, которые щедро рассыпали тогдашние заправилы ВУАН. „Достижения" эти нельзя характеризовать иначе как стремление бывшего фашистского нацдемовского руководства ВУАН, и прежде всего главного редактора сочинений Шевченко С. Ефремова, возможно более отдалить то время, когда украинские трудящиеся массы получат возможность познакомиться с полным изданием шевченковских текстов. И неудивительно, что первый по времени том академического издания (т. IV—дневник) вышел лишь в 1927 г., следующий (т. III—переписка)—в 1930 г. Исходя из этих принятых темпов, окончания издания можно было ожидать лишь к столетию со дня смерти Шевченко, т. е. к 1961 г.! [101]

Характерно еще вот что. Как только что сказано, первыми томами академического издания явились IV и III, выбранные потому, „что они должны были содержать материал менее всего пожалуй известный нашему обществу и потому наиболее пригодный для начала издания" [102]. Дальнейшими томами должны были явиться—т. VII, посвященный художественно-изобразительным произведениям Шевченко, тт. V—VI, содержащие русские повести и поэмы. А то, что наиболее ценно из всего шевченковского наследия—его украинские произведения,—откладывалось на позднейшее время, т. е. предположительно на десятки лет... Штрих также небезынтересный для характеристики вчерашних тоже „социалистов", „народолюбцев" и болетелей за Шевченко, искажавшегося и запрещавшегося царскими цензорами и жандармами.

И этого однако мало. Даже вышедшие томы редакция академического издания—и прежде всего С. Ефремов, полновластно и безраздельно распоряжавшийся им, постаралась сделать недоступными для широкого читателя: шевченковские тексты буквально терялись среди пухлых и многословных комментариев (в большинстве принадлежащих тому же Ефремову) „в форме материалов историко-литературного и общественного значения". На чрезмерную перегруженность комментаторского материала, которая доходила до курьеза, граничащего с редакционной безграмотностью (в примечаниях к

т. IV например приводились даже географические координаты всех местностей, упоминаемых в шевченковском дневнике!), указывали еще рецензенты академического издания. Однако совершенно недостаточно отмечены в литературе те политические тенденции, которые в более или менее замаскированной форме протаскивались в комментариях и которые делают вышедшие тома фактически вредной и вредительской макулатурой. Несколько примеров помогут осветить эти тенденции.

27 августа 1857 г., на волжском пароходе, Шевченко заносит в свой дневник замечательное „пророчество". „Пароход в ночном, погребальном покое,—пишет он,—мне представляется каким-то огромным, глухо ревущим чудовищем с раскрытой огромной пастью, готовой проглотить помещиков-инквизиторов. Великий Фультон и великий Ватт! Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя, в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется, как школьник леденцом. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное гениальное дитя. Мое пророчество несомненно". Казалось бы, это место требовало от комментаторов особенно тщательной и подробной экскурсии в область развития шевченковской идеологии, в область всех возможных идеологических и политических влияний, которые могли породить в душе поэта это пылкое и взволнованное „пророчество". Справедливо замечает исследователь-марксист, что „нельзя понять этих гениальных, напоенных революционным огнем строк, если не учесть, что как раз в то время с новой силой вспыхнули многочисленные бунты по всему Поволжью, начались новые грандиозные возмущения рабочих, строивших железную дорогу. Раскаленная социальная атмосфера окутывала путь, которым следовал Шевченко, возвращаясь из ссылки. Она и породила эти огнем написанные строки" [103]. Из того, что было выше сказано об академическом издании и его руководителе С. Ефремове, совершенно очевидно, что такого комментария мы в нем не найдем. Действительно в соответствующем месте (стр. 517—518) мы находим несколько



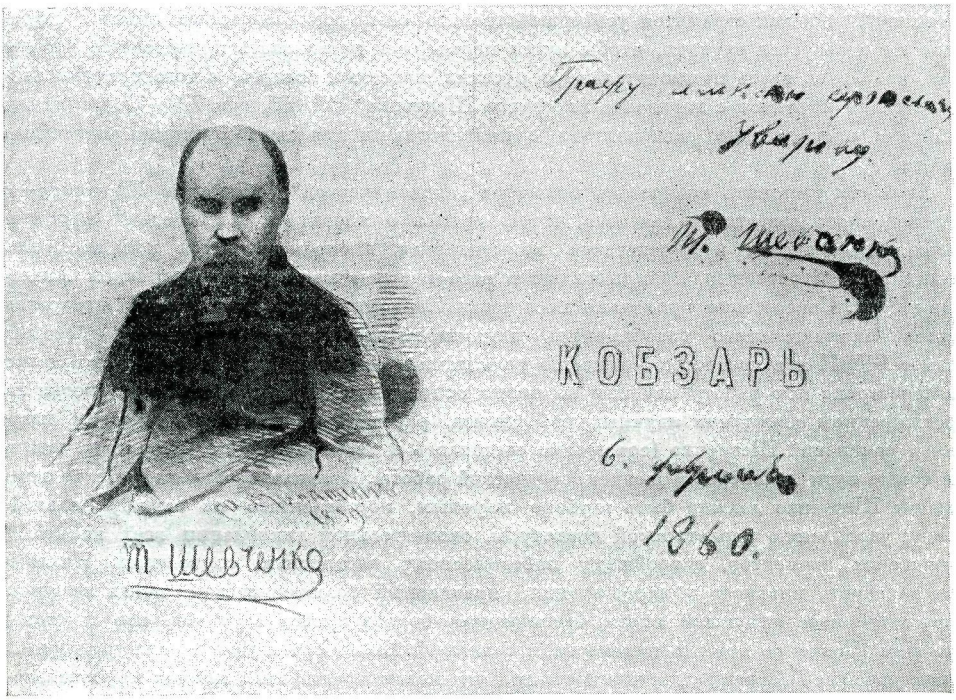
«СПЯЩАЯ ЖЕНЩИНА»
Рисунок сепией Т. Г. Шевченко, 1858 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

строк, посвященных Ватту, и довольно обширную заметку об энциклопедистах. А так как совершенно обойти молчанием классовый смысл высказывания Шевченко было невозможно, то С. Ефремов кисло замечает буквально следующее: „Изобретение Ватта чрезвычайно повлияло на развитие техники и промышленности,—это и отмечает здесь Шевченко, прилагая к изобретениям Ватта (и Фультона) эпитет „ваше не по дням, а по часам растущее дитя" и ожидая от новой техники и нового социального строя" [подчеркнуто нами.—*И. А.*]. Таким образом краткими фактическими данными (заимствованными из старого „Брокгауза и Ефрона") и общими пустыми, ничего не говорящими фразами о „новом социальном строе" пытался Ефремов замазать один из характернейших для понимания классового лица Шевченко текстов. Точно так же смазан и революционный характер записи 29 августа 1857 г. о бугре Стеньки Разина, „этой ничтожной твердыне славного рыцаря Стеньки Разина, этого волжского барона, и, наконец, пугала Московского царя и Персидского шаха. Открытые большие грабители испугались скрытого ночного воришки! Так белоголового великана хищника беркута пугает иногда ничтожный нетопырь". Несколько строк, комментирующих эту запись, заключают ссылку на „популярное" стихотворение А. Навроцкого „Есть на Волге утес" и краткую (четыре стиха) цитату из него. Между тем первой обязанностью комментатора было вскрыть влияния в данном случае на поэта официальных, дворянско-помещичьих характеристик Степана Разина, степень прочности и сознательности этого влияния, ибо дальше Шевченко упоминает о крестьянском революционере с явным сочувствием. Умолчание обо всем этом также является свидетельством сознательного желания фашистского зубра обойти места, характерные для революционного и классового самосознания поэта.

Не менее показательными в комментариях являются и наддемовская контрреволюционная контрабанда и даже откровенные националистические вылазки. Систематически например проводится идея единого потока развития украинской литературы. Заговорив о Г. Ф. Квитке-Основьяненке, типичнейшем представителе крепостническо-помещичьей литературы, комментаторы спешат подчеркнуть, что Квитка был очень близок к Шевченко (?!), любим им и почитаем. И тут же следует „лирическое отступление": „Закат жизни у престарелого автора повестей совпал с восходом на украинском горизонте новой поэтической силы,—и старый Квитка, тихо доживавший тогда свой век в Харькове, когда начали появляться стихотворения Шевченко, приветствовал их с юношеским энтузиазмом: старый писатель видел в талантливом новичке своего хорошего последователя" (IV, 603). Демократ и революционер Шевченко как непосредственный продолжатель деятельности крайнего реакционера-крепостника Квитки—может ли быть что-нибудь нелепее подобной схемы?! А комментаторы не только выставляют ее в качестве одного из подтверждений фашистской теории „единого национального потока" украинской литературы, но и аргументируют легендой о существовании между обоими писателями „большой и интересной переписки, полной и личной, хотя и заочной, приязни, и литературных новостей и планов, и интересных черточек общественного быта тех времен" (III, 374), легендой, которая лишь в незначительной степени подтверждается наличным фактическим материалом. Подобным же образом затушевывают академические комментаторы классовые противоречия между Шевченко и Кулишом. Вопреки упрямым фактам доказывают они, что „Кулиш, с его глубоким умом, не мог не понимать всей силы таланта Шевченко и его значения для возрождения Украины [!!—*И. А.*] и в своих надеждах на него был склонен этот талант еще преувеличивать, не останавливаясь перед восхвалением, а может быть и перебарщиванием" (IV, 279). А об опеке Кулиша, о его творческих советах и стремлении по-своему исправлять произведения Шевченко (мы об этом подробно говорили выше) комментаторы замечают: „Нельзя сказать, чтобы эта опека только вредила Шевченко,—нет: иногда она выходила к лучшему" (IV, 283); к лучшему, добавим, по мнению комментатора, потому что текстологические „поправки" националиста Кулиша ближе национал-фашисту Ефремову, чем подлинные стихи Шевченко.

Усердно затушовывая в своих комментариях социальные моменты жизни и творчества Шевченко, комментаторы, наоборот, усиленно выпячивают моменты национальные,

придавая им также ярко националистическую окраску. Они например особенно подробно останавливаются на знакомых Шевченко украинских помещиках, хотя бы те играли в жизни поэта лишь случайную малозаметную роль (срв. о В. Тарновском, III, 763—765, о Г. П. Галагане, IV, 703—704 и др.). Но особенно показательны эти националистические тенденции в вопросе о русских произведениях Шевченко. Выше мы коротко упоминали о причинах, побудивших поэта обратиться к творчеству на русском языке, равно и об отношении к этому творчеству его украинских „друзей". В 20-х годах XX столетия да еще в академическом издании сочинений Шевченко замалчивать его русские повести конечно было невозможно. И вот на сцену появляется новая формула, сочиненная Ефремовым: „Для поэта в его тогдашних несчастных обстоятельствах это была единственно возможная отдушина, и что удивительного, если



ЭКЗЕМПЛЯР «КОБЗАРЯ» Т. Г. ШЕВЧЕНКО С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА А. С. УВАРОВУ
Исторический Музей, Москва

он хватается за нее с того времени, как украинская муза снова отлетела от него в неволе". И несколько дальше: „русское писательство было для Шевченко спутником несчастий, признаком и показателем психической депрессии" [104] [подчеркнуто мною.—*И. А.*]. Под этот тезис, зоологически-националистический характер которого едва ли нуждается в дальнейших пояснениях, подводятся затем все факты шевченковского дневника и переписки. Нужды нет, что сам Шевченко смотрел на дело глубже и вовсе не считал свое русское писательство случайным эпизодом; в письме к С. Т. Аксакову (16 февраля 1858 г.) он просит искренней и беспристрастной оценки посланной повести („Прогулка с удовольствием и не без морали"): „Судите вы меня, и судите искренно и милостиво. Я дебютирую этой вещью в великорусском слове. Но это не извинение. Дебютант должен быть проникнут своей ролью, а иначе он шарлатан. Я не шарлатан, я—ученик, жаждущий дружеского искреннего суда и совета... Нужно работать, работать много, внимательно и, даст бог, все пойдет хорошо. Трудно мне одолеть великороссийский язык, а одолеть его необхо-

димо... Мне необходим теперь труд, необходима упорная тяжелая работа, чтобы хоть что-нибудь уметь сделать". Таким образом по возвращении из ссылки и по возобновлении творчества на украинском языке Шевченко все же ставил перед собою задачу сделаться и русским писателем—„иначе будет перед богом грешно и перед добрыми людьми стыдно". И своего намерения он не оставил даже после осторожного, но отрицательного отзыва С. Т. Аксакова; отвечая на этот отзыв (15 июля 1858 г.), Шевченко писал: „Вы мне сказали то, о чем я сам давным давно думал, но, не знаю почему, не решался сказать... Теперь думаю отложить всякое писание в сторону и заняться исключительно гравюрою, называемой аква-форта". Совершенно очевидный смысл этого письма тот, что письмо Аксакова окончательно убедило Шевченко в слабости написанных им и посланных для отзыва прозаических русских опытов, в необходимости оставить мысль о напечатании их—и т о л ь к о. Он „откладывает в с я к о е писание в сторону", так как стремится усовершенствовать свои гравировальные опыты. Ефремов же пользуется случаем, чтобы путем передержек истолковать приведенные цитаты так, что „речь здесь исключительно о русских повестях, которые с того времени действительно исчезают с горизонта интересов Шевченко" (III, 805, срв. 770—771), и таким образом окончательно расправиться с ненавистными для него русскими повестями поэта.

Не будем умножать количества примеров „академической" обработки Шевченко—и приведенного достаточно для того, чтобы судить о характере и „методах" ефремовских, нардемовских и фашистских комментариев, преподносившихся как последнее слово шевченковедения, прикрывавшихся авторитетной маркой Всеукраинской Академии Наук. Совершенно правильно поступили Наркомпрос УССР и ВУАН, прекратив (после окончательного разоблачения националистов-контрреволюционеров, обсевших самое ВУАН и в частности Комиссию по изданию сочинений Шевченко) это издание и перестроив всю работу над ним на новых основаниях. „Большевистские установки на расширенном совещании научных работников, работающих над академическим изданием сочинений Шевченко (совещание состоялось в декабре 1933 г.), наметили четкие и ясные пути дальнейшей шевченковедческой работы. Правильное большевистское освещение Шевченко должно быть глубоко научным, поставленным на службу дальнейшему укреплению пролетарской диктатуры, окончательной ликвидации всех капиталистических элементов, скорейшему победоносному построению социализма. Никакой идеализации, никакого прикрашивания,—правильный большевистский показ великого революционера минувшей эпохи; беспощадная борьба против всех тех, кто пытается именем Шевченко посеять недоверие к советской власти среди украинских трудящихся масс, именем Шевченко противопоставить эти массы трудящимся прочих национальностей, входящих в состав СССР" [105]. Эти слова, принадлежащие одному из руководителей обновленного академического издания сочинений Шевченко, дают вполне отчетливое представление о характере будущего издания, его редакционной и комментаторской обработке; темпы же работы над этим изданием (первый том был подготовлен к печати ударно, в течение н е с к о л ь к и х м е с я ц е в!) и внимание, уделяемое ему партийной и советской общественностью Украины, дают полную гарантию того, что мы получим наконец полного, неискаженного и нефальсифицированного Шевченко [106].

VI

В предыдущем изложении мы преимущественно останавливались на судьбе собственно поэтических, т. е. стихотворных, произведений Шевченко (и отчасти русских его повестей) и лишь попутно касались прочих составных частей его литературного наследства. Для полноты картины остановимся здесь на этом вопросе.

Говоря выше о русских повестях Шевченко, мы упоминали о ряде тактических маневров украинской буржуазии, направленных к сокрытию самого факта их существования, а затем к вящему умалению их историко-литературного значения как определенного этапа в творческом развитии поэта. Сказанным однако не исчерпываются „заботы" националистических зубров: убедившись, что прискорбного для них стремления

Шевченко к писательству на русском языке ни обойти, ни замолчать невозможно, они решили ввести их в читательский обиход в украинских переводах. Вообще говоря, против этого вряд ли можно что-либо возразить: подобного рода переводы вполне законны в собраниях сочинений писателя, предназначенных для широкого читателя, при том однако условии, что они передают оригинал так точно, насколько это только возможно при переводе. Фактически этого конечно не было и не могло быть.

Впервые украинские переводы русских повестей Шевченко были сделаны в середине 90-х годов А. Конисским. Идеолог украинского буржуазного национализма, в рамках дозволенных катковско-победоносцевской правительственной программой, Конисский много труда положил на то, чтобы за гробом примирить Шевченко с официальной Россией. В ряде текстологических и биографических „исследований", в пухлой биографии поэта [107] он исподволь творил образ поэта соответственно заданиям и стремлениям своего класса. Тягуче жевал он достаточно пресные „откровения" о том, что „нельзя указать другого поэта в истории всемирной литературы, который был бы народу более близок во всех отношениях, более понятен народу,—более, так сказать, народен, чем Шевченко". „Как бы высоко в своих произведениях ни поднимался Шевченко в сферу общечеловеческих идеалов гуманности, он нигде не отрывается от народа, нигде не теряет своей народности, он везде и всегда глубоко и истинно народен, потому что он родился и вырос на почве народной истории; он сосредоточил в себе все дурные и хорошие свойства своего народа, в нем выразилась вся национально-народная душа. Вот почему в среде народной массы ни один поэт не был так понятен, как Шевченко, и так популярен „под сельской стрехой"... как он" [108]. Ограничение сферы воздействия шевченковской поэзии лишь областью „народной массы", как известно, являлось одной из составных частей той фальсификации поэта, которой он подвергался на протяжении ряда лет. Ибо соответственно этому толкованию препарировался (фальсифицировался) весь творческий облик поэта, все его литературное наследие. Неудивительно, что взявшись за перевод русских повестей Шевченко, написанных в стиле русской повествовательной прозы 40—50-х годов и не содержащих в себе ничего специфически „простонародного", Конисский изложил их тем сюсюкающим „ядреным" сказом, который в украинской литературе 80—90-х годах считался обязательным признаком литературы для народа.

Не будем приводить здесь примеров этой языковой обработки Шевченко,—они чрезвычайно многочисленны и потребовали бы дополнительных лингвистических экскурсов; в своей же совокупности они ясно обнаруживают перед нами определенное классовое задание, выполненное Конисским и почти без изменений повторявшееся буквально до вчерашнего дня. Достаточно сказать, что только в 1925—1930 гг. вышли три издания украинских переводов повестей Шевченко, при чем все они, повторяя в основном перевод Конисского, не шли дальше третьестепенных, мелких и несущественных стилистических поправок, ни в какой степени не менявших общего характера перевода. Редактор последнего по времени издания националист А. Шамрай даже берет переводы Конисского под свое покровительство, снисходительно прощая ему все искажения. „Старые переводы повестей,— пишет он,— отличаются изысканным языком (!), правда, с примесью некоторых ненужных уже провинциализмов, но зато то и дело мы встречаемся с пропусками отдельных фраз, с ненужной „украинизацией" стиля Шевченко, и это в значительной степени обесценивает их достоинство" [109]. Однако А. Шамрай в редактированном им издании пошел все же следом за Конисским, лишь кое-где заменивши слишком уж „изысканные" выражения (вроде например „утерти свічці носа" в значении „снять со свечи нагар") более простыми и соответствующими шевченковскому оригиналу.

Как упоминалось выше, автографы русских повестей Шевченко, в течение многих лет скрывавшиеся украинскими националистами и буржуазными либералами, в настоящее время доступны для исследования и подготовляются к печати в академическом издании сочинений Шевченко. В связи с этим неизбежно должен будет возникнуть и вопрос о новом украинском переводе повестей, сделанном нашими советскими художниками слова в соответствии с теми задачами, какие ставит перед художественным переводом наша социалистическая современность.

Иною была судьба дневника Шевченко, замечательнейшего памятника революционного духа и классовой ненависти, сохранившихся в ссыльном поэте даже после десяти лет подневольной солдатчины и связанных с нею унижений и лишений. Велся дневник немного более года (с 12 июня 1858 г. по 13 июля 1859 г.) и был задуман для коротанья последних дней неволи, особенно тягостных в ожидании почты, которая должна была привезти долгожданный указ об отставке. Продолжал его поэт, возвращаясь на родину по Волге, ожидая в Н.-Новгороде разрешения въезда в столицы и в первое время пребывания в Москве и в Петербурге. Но с каждым днем темп жизни Шевченко становился все бурнее и кипучее, дневник явно не поспевал за жизнью, о многих же знакомствах, разговорах и мыслях поэт очевидно просто не решался упоминать, памятуя бдительность и вездесущность III Отделения. При таких условиях дневник становился лишним и поэт просто оборвал его, подарив „за тайну" М. М. *Лазаревскому*. Последнему мы и обязаны первой публикацией дневника (точнее отрывков из него) в „Основе", начиная с майской книги 1861 г. Как писал позднейший исследователь, „это был слишком интимный и слишком уже недавно писанный документ, чтобы можно было тогда опубликовать его целиком перед свежей еще могилой автора: едва ли не все упоминаемые в дневнике лица были еще живы и многие из них могли бы справедливо обидеться, если бы некоторые места этого документа, писанные поэтом для себя и поэтому без всякой внутренней цензуры, увидели бы свет и их скомпрометировали"[110]. Однако кроме этих этических мотивов издателей толкало на сокращения и стремление дать читателю лишнее документальное подтверждение тому творимому образу Шевченко—благочестивого и прекраснодушного Тараса,—который только начинал складываться усилиями „друзей"—первых интерпретаторов поэта. На это с полной определенностью указывает следующий отрывок из редакционного примечания к публикации дневника в „Основе": „Только из „Дневника" можно узнать, сколько детской искренности и мужественного самосознания, сколько человечности, можно сказать благости, было в чистом сердце нашего Тараса. Из „Дневника" и некоторых поэтических его откровений становится ясно, что дало ему силы вынести горестную свою долю: безграничная любовь к народу, непрестанное сочувствие ко всему страждущему в этом чудном мире, красота которого была неизменно присуща ему как художнику: вот что увлекало его до забвения о себе самом, о своей собственной участи..."[111]

В таком урезанном и этими урезками фальсифицированном виде дневник Шевченко был известен читателю в течение нескольких десятков лет. Правда, в 90-х годах XIX столетия известный уже нам А. Конисский напечатал в Галиции украинский перевод дневника[112] и в предисловии заверял, что „в переводе пропусков почти нет, кроме разве двух-трех фраз таких, которых печатать никоим образом нельзя и которые значения не имеют", однако внимательная проверка текста показывает, что пропусков этих значительно больше и притом весьма существенных; не говорим уже об особо оговоренном переводчиком пропуске русских стихотворений, переписанных Шевченко в свой дневник, на том основании, что они, дескать, „как бы ни были хороши—для биографии нашего поэта значения не имеют". Между тем как раз стихотворения эти (отчасти принадлежащие к „потаенной музе" 50-х годов) особенно показательны для характеристики настроений поэта. Выброшены же они были просто потому, что не гармонировали с фальсифицированными усилиями Конисского образом Шевченко—„сознательного" украинца, болельщика за „родной народ" и конечно последовательного националиста. Следует заметить, что перевод Конисского был еще относительно полон, так как позднейшие галицкие издатели (например Ю. Романчук, 1912) умудрялись исключать едва ли не треть всего текста дневника[113].

В 1911 г., к 50-летней годовщине со дня смерти поэта, была сделана попытка издать дневник (в русском оригинале) с возможной полнотой (*изд.* В. Яковенко). Как сообщал издатель, текст был заново сверен с оригиналом (который к тому времени был передан в Черниговский Музей украинских древностей В. В. Тарновского), однако страх перед цензурой, обрушившейся на „Кобзаря", заставил и здесь прибегнуть к сокращениям: „Конфискация полного „Кобзаря",—говорит издатель в предисловии,—показала, что полного текста дневника также нельзя еще опубликовать, поэтому пришлось делать

ВЫДУБЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ ПОД КИЕВОМ
Офорт Т. Г. Шевченко, 1844 г.
Государственный Литературный Музей, Москва

пропуски, всюду обозначенные". Заметим впрочем, что „за компанию" оказались исключенными—уже без всякой мотивировки—и некоторые стихотворения, вписанные в дневник. Несколько лет спустя Павел Зайцев в отдельной статье опубликовал главнейшие цензурные исключения, заметив, что они являются поводом „пересмотреть наново и наново оценить все политические, общественные и религиозные взгляды Шевченко, приведя их в определенную систему"[114]. В этой же статье он сообщал о том, что им подготовлено к печати новое полное издание дневника, которое однако не увидело света,—вероятно по тем же причинам, что и полное, исправленное издание „Кобзаря", над которым также работал П. Зайцев (см. выше).

Первое почти полное издание дневника было сделано автором настоящей статьи[115]. Мы называем его почти полным, так как редактором при сверке текстов дневника с рукописью были пропущены некоторые мелкие, но весьма досадные подчас искажения предыдущих изданий („кандалы" вм. „кайданы"; „пропустить рюмку" вм. „пропустить рюмочку"; „старик" вм. „старичок"; „милосердный" вм. „милосердый"; „январь" вм. „генварь" и др.), отчасти отмеченные критикою[116]. Вообще же издание было встречено читателями и критикою весьма приветливо, и это следует отнести главным образом насчет того значения, какое имеет и может иметь дневник в наши дни для уразумения подлинного и неприкрашенного Шевченко. К сожалению следующее академическое издание дневника (1927)—о нем мы уже говорили выше—в сущности похоронило этот замечательный памятник за толщей пухлых комментариев, за текстологически малограмотным стремлением фотографически отобразить в печатном тексте оригинал со всеми его орфографическими ошибками, путанной пунктуацией, неправильным написанием многих

слов и т. д. В лучшем случае оно могло явиться „сырьевой базой" для нового издания дневника, которое сделало бы текст его удобочитаемым для широкой публики. Таким изданием явился дневник под ред. С. Шестерикова („Academia", 1931); быстрота, с какой последняя книга, несмотря на выраженные в комментариях к ней великодержавные тенденции, исчезла с книжного рынка, безусловно свидетельствует о далеко еще не удовлетворенных читательских интересах к этому замечательнейшему и ценнейшему документу классовой борьбы и ненависти. Новое будущее издание, появления которого повидимому не придется долго ожидать, должно будет закрепить этот интерес и направить его по правильному руслу. Ибо общим недостатком всех трех названных изданий является фактографичность развернутого в них комментария (в академич. издании эта фактографичность принимает даже курьезный характер, служащий однако прикрытием фашистской нацдемовской идеологии комментария, см. выше), между тем как читатель в праве требовать социально-удовлетворительных объяснений к размышлениям самого Шевченко и к тем фактам, которые он приводит в своем дневнике. Думается, что такое издание дневника уже не за горами, независимо от подготовляемого к печати нового академического издания.

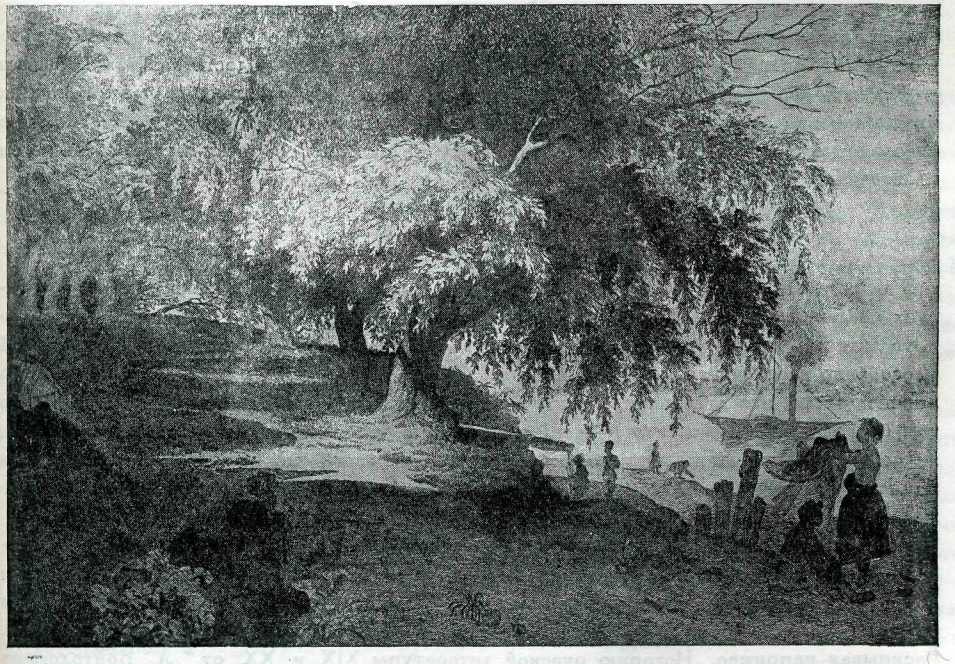
Особо в нашем обзоре судьбы литературного наследства Шевченко следует упомянуть его переписку. Необычайная общительность поэта, заложенный в нем громадный интерес к людям и способность быстро сходиться с ними—все это делает его переписку особенно интересной и ценной не только для историка литературы, но и для рядового читателя. К тому же Шевченко любил писать письма и был очень аккуратным корреспондентом. „Я имею благодарную привычку отвечать сейчас же на полученное письмо,—писал он в одной из автобиографических повестей („Прогулка с удовольствием и не без морали").—Под влиянием прочитанных известий, какие бы они не были, как-то легче пишется: не чувствуешь работы, не замечаешь того томительного труда, который сопряжен с ответом запоздалым, где необходимо извиняться, а нередко и врать, а это мне пуще ножа острого. Самая невинная ложь в моих глазах уголовное преступление". К сожалению общеизвестные обстоятельства жизни Шевченко совсем не способствовали столь же аккуратному сохранению материалов переписки: и сам поэт, в предвидении жандармских обысков, бывал вынужден безжалостно сжигать адресованные ему письма[117], и адресаты его неоднократно, под угрозой репрессий за переписку с ссыльным солдатом, уничтожали получаемые письма.

Первые и довольно активные попытки собирания и публикации эпистолярного наследия Шевченко были сделаны тотчас же после его смерти. Уже первый краткий некролог поэта, помещенный в „Основе", содержит следующий призыв ко всем владельцам каких-либо бумаг Шевченко: „Усердно просим многочисленных друзей и почитателей Тараса Григорьевича и вообще всех, кому дорога память о нем, сообщать нам его стихотворения, письма и вообще биографические сведения о поэте, а также и о родных его. Редакция с благоговением сохранит подлинные письма и другие бумаги Шевченко и по требованию будет в целости возвращать подлинники тем, кто их доставит"[118]. А в октябрьской книге редакция „Основы" уже печатала „дорогие письма незабвенного нашего Кобзаря" к Я. Г. Кухаренко и М. С. Щепкину и обращалась ко всем, „кто имеет у себя письма Тараса Григорьевича", с призывом „пойти следом за Я. Г. Кухаренком и М. С. Щепкиным, так как письма Шевченко теперь уже сделались собственностью всей родной земли,—всего славянского мира"[119]. Всего за неполные два года существования „Основы" в ней было опубликовано 64 письма Шевченко—более четверти всего известного нам в настоящее время количества писем поэта. Нужно однако заметить, что несмотря на уверения редакции в том, что опубликованные письма списаны с оригиналов „слово в слово", в них имеется много пропусков, неверно прочитанных мест и дат, в некоторых случаях не указаны адресаты и т. д.

К сожалению и активность „Основы" имела, так сказать, весьма ограниченный диапазон: собирание писем и бумаг Шевченко шло преимущественно среди ближайших его знакомых, лиц, близких к журналу, которые и без того с уважением относились к реликвиям поэта. Более деятельные раскопки в провинции и за границей явились значительно позднее, лишь в 80-х годах, когда многое уже было утеряно безвозвратно[120].

Значительную коллекцию писем Шевченко и разных лиц к нему собрал и опубликовал первый его биограф М. Чалый[121], многое сделал журнал „Киевская Старина" (1882—1906), традиционно помещавший шевченковские материалы в февральских книжках. В среде „Киевской Старины" возникла также впервые мысль собрания и издания всего эпистолярного наследства поэта. „Нельзя не выразить,—читаем в одной из книг журнала,—большого сожаления о том, что не существует до сих пор хронологически изданной переписки Шевченко. Его писем разновременно напечатано было не мало; но разные периоды жизни поэта представлены в них чрезвычайно неравномерно, и эти пробелы при дальнейших поисках могли бы быть еще значительно пополнены, а главное—получилась бы та цельность впечатления, которая так важна при изучении всякого большого писателя и так значительна, когда дело идет о поэте столь искреннем, каким был Шевченко"[122]. Однако именно систематических разысканий новых писем и не производилось, основная установка делалась на публикацию материалов, добываемых и присылаемых в редакцию самотеком, без необходимой проверки публикуемых текстов, без сопроводительных, хотя бы кратких комментариев и примечаний. Попытку такого систематического обследования переписки поэта сделал было (уже в 90-х годах) А. Конисский: работая над биографией Шевченко, он свел знакомство с рядом его современников, добыл кое-какие неизвестные дотоле материалы и по собственному признанию сконцентрировал в своих руках 174 письма Шевченко. Напечатана эта работа не была и после смерти Конисского бесследно исчезла.

Первое издание переписки появилось лишь в 1911 г. в упоминавшемся уже выше яковенковском издании, вместе с дневником. Как сообщает сам издатель, „письма Т. Г. Шевченко, собранные впервые в настоящем издании и расположенные в хронологическом порядке, требуют еще дальнейшей работы над собою при последующих изданиях. Письма эти извлечены из различных повременных изданий. Необходимо их конечно проверить по подлинникам, установить в некоторых случаях точные даты и лиц, к которым они адресованы, и, когда это будет сделано, дать комментарии. Мне же в пер-



«ПОД КИЕВОМ»
Офорт Т. Г. Шевченко
Государственный Литературный Музей, Москва

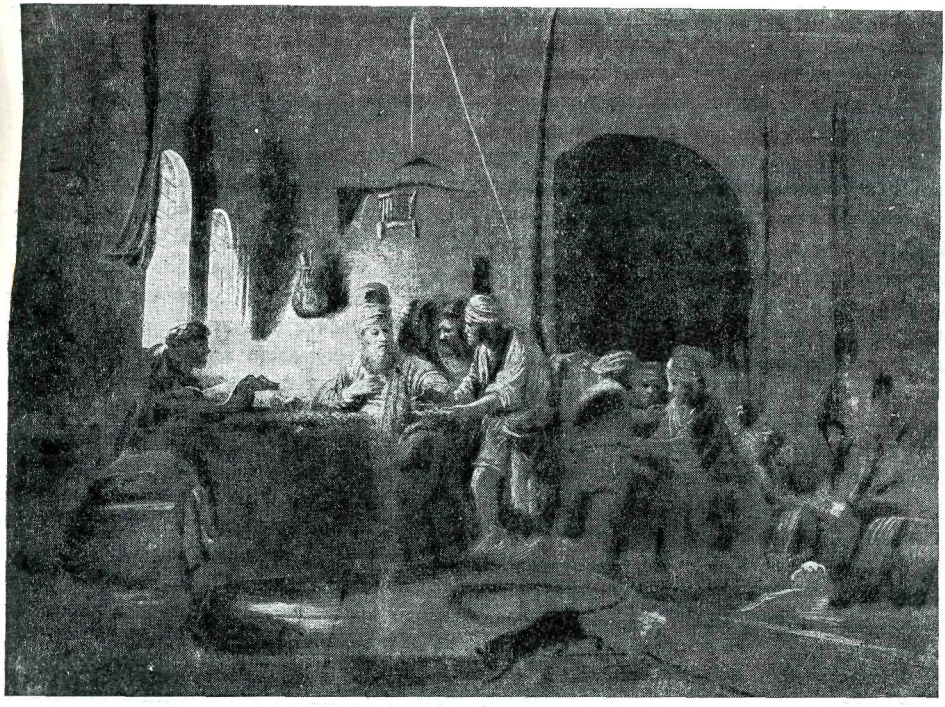
вом издании и по условиям и по характеру этого издания пришлось ограничиться лишь собиранием писем, разбросанных не только в разных русских повременных изданиях, но и заграничных". Эти вынужденные признания не искупают впрочем классической небрежности, с какою напечатаны письма и в которой повинен уже сам издатель. Последний не дал себе труда даже проследить за точной хронологией писем, и в результате письма последних трех лет жизни поэта (в особенности 1859—1860) оказались совершенно перепутанными, не говорим уже о том, что целый ряд писем остался просто неизвестен издателю (издание В. Яковенко содержит 156 писем против 174, собранных в свое время Конисским). Пользоваться этим изданием приходилось только ввиду недоступности многих изданий, где в свое время были напечатаны те или иные письма; да и пользоваться приходилось с оглядкой, рискуя приписать Шевченко то, чего он никогда не думал писать.

Таким образом наиболее исправным и почти полным на сегодня оказывается только академическое издание переписки, вышедшее в свет в 1930 г. Если отбросить громадный, но совершенно неприемлемый методически и классово враждебный комментарий (на нем мы остановились выше), мы в этом издании имеем удовлетворительную полноту собрания (в книге помещено 225 писем Шевченко—из них 12 напечатано впервые—и 201 письмо разных лиц к поэту), проверенный в большинстве случаев по оригиналам или, при отсутствии таковых, по другим первоисточникам текст, установленную в сомнительных случаях хронологию переписки и раскрытие инициалов и криптонимов, разбросанных в переписке. Впрочем исчерпывающей полноты в данном издании все же достигнуть не удалось. По неизвестным причинам оказалось например пропущенным давно известное в печати письмо Шевченко к Г. Ф. Квитке-Основьяненку (от 28 марта 1842 г.: см. „Русская Старина" 1880, № 3, стр. 593); ряд писем оказалось невозможным проверить по оригиналам, несмотря на очевидную неточность и испорченность опубликованных текстов (письма к Варфоломею Шевченко, Брониславу Залесскому и др.; см. т. III, стр. XXVI); некоторые письма напечатаны с ошибками против оригиналов. Произведенное нами в 1930 г. с аспирантами Института Шевченко (на занятиях текстологического семинара) специальное обследование этого тома академического издания обнаружило весьма значительное количество более или менее существенных отклонений от оригиналов. Однако и при всех этих недостатках том переписки еще некоторое время, повторяем, сохранит значение для работающих над Шевченко: академические вредители напортили в текстологической части немного, перенеся все свое внимание на комментарий и повидимому не считая переписку поэта столь ярким классовым документом, как например „Кобзарь" или дневник.

VII

В нашем обзоре мы пытались, не увлекаясь сообщением отдельных библиографических сведений, обрисовать на конкретном материале ту горячую классовую борьбу вокруг литературного наследства Шевченко, которая длилась на протяжении десятилетий и особенно заострилась в последние годы. (Вопросов изучения поэта мы касались лишь попутно: это отдельная, хотя и близкая нашей тема.) Сделать это нам казалось тем более необходимым, что русский читатель, в частности и наш советский читатель, знакомился с поэтом по источникам, которые по своей некритичности, а зачастую и национал-фашистским тенденциям способны были только дезориентировать его в понимании творчества украинского поэта-революционера.

Ибо все, что писалось о Шевченко в русской советской прессе,—берем только послереволюционный период,—никак не было увязано с проводившейся на Украине „борьбой за Шевченко" и зачастую являло образцы самого нежелательного повторения старых буржуазно-либеральных характеристик Шевченко как „народного поэта" и т. д. Раскрывая например „Историю русской литературы XIX и XX ст" Л. Войтоловского (1925), читатель находил там Шевченко в одной главе с Кольцовым, Никитиным и Огаревым и читал о нем следующее: „Два обстоятельства навеки связали творчество Тараса Шевченко с судьбами русского народа: русская литература и русская неволя. Шев-



КОПИЯ С КАРТИНЫ РЕМБРАНДТА «ПРИТЧА О ВИНОГРАДНОМ САДЕ»
Офорт работы Т. Г. Шевченко с дарственной надписью К. Т. Солдатенкову, 1858 г.
Музей изобразительных искусств, Москва

ченко—художник с душою Чехова(?!), мечтательною и нежною.—Велика тяжесть взятого им на себя креста. И если он молча проносил в груди все свои поэтические думы, если он все-таки оставил в наследие миру такую гордую и прекрасную книгу, как „Кобзарь", то этим Шевченко обязан своему поэтическому таланту, помогшему ему до конца дней сохранить такую гордую и свободную душу". И дальше: „Если Кольцов был поэтом крестьянского труда, а Никитин—певцом голодных подвалов, то Шевченко является одним из самых талантливых глашатаев крестьянского голоса и крестьянской мечты о воле. В его даровании соединились склад мыслей Кольцова (!!), мятежный патриотизм Мицкевича(?!) и мстительная ярость Некрасова". И еще: „Тех, кто не знает Украины, ее широких просторов и синего неба, поэзия „Кобзаря" подготовляет к слиянию с ее *природой, людьми, преданиями и могильной стариной*".

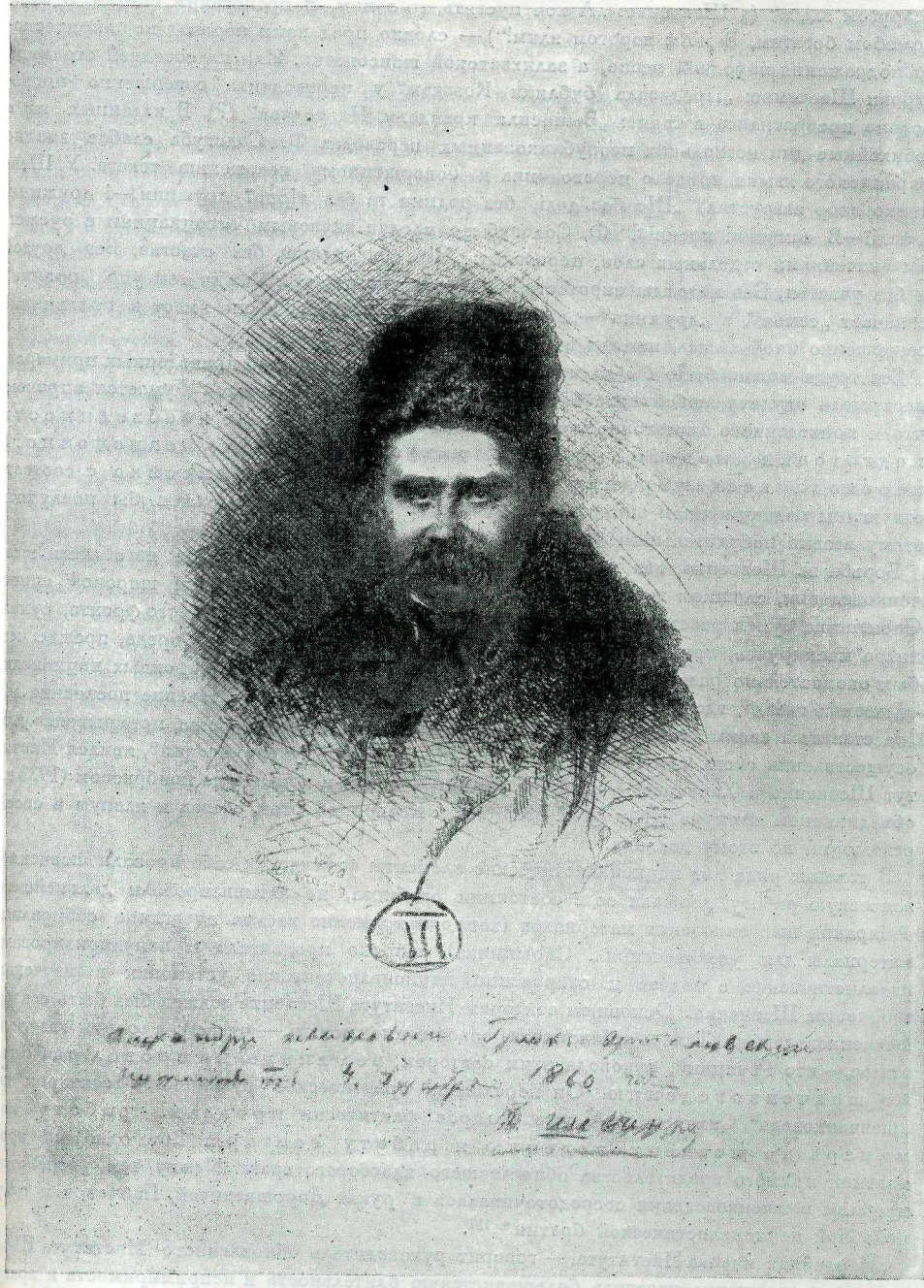
Можно было бы конечно отмахнуться от этих исключительных по своей развязной пошлости высказываний именно указанием на их исключительность и нехарактерность для всей русской советской литературной науки и критики в целом. К сожалению однако Войтоловский далеко не одинок: буквально до последнего времени можно было встретить в печати патетические слова о том, что „Кобзарь" Шевченко возник у самых „истоков народного творчества", что „он отражал настроения и думы многомиллионного русского крестьянства, он говорил с ними на родном, единственно понятном языке",—слова неграмотные политически и зачастую трактующие Шевченко с снисходительно-великодержавных позиций как „тоже русского" поэта [123]. Доказывать же ошибочность и вредность подобных позиций и трюизмов в настоящее время вряд ли необходимо.

Русское литературоведение и русская критика—в большом долгу перед Шевченко. С большим удовлетворением можно констатировать, что этот свой долг они начинают

уплачивать: 120-летие со дня рождения поэта, отмеченное недавно советской общественностью, явилось в этом отношении переломной датой [124]. Можно ожидать, что советский читатель получит наконец правильную ориентировку в творчестве великого украинского поэта, получит наконец возможность познакомиться с его творчеством в полном объеме и в нефальсифицированном виде.

Здесь кстати будет остановиться вкратце на русских переводах Шевченко. Отнюдь нельзя пожаловаться на их недостаточность: количественно их было очень много, отдельные произведения даже переводились до десятка раз. Н. В. Гербель, Л. А. Мей, В. С. Курочкин, А. Плещеев, П. Вейнберг, М. И. Михайлов, Н. Берг, И. Бунин, Ф. Сологуб—вот далеко не полный перечень поэтов и переводчиков, в разное время и в различной степени интересовавшихся Шевченко. А. Н. Чмырев, М. Славинский, А. Колтоновский и в особенности И. Белоусов перевели даже собственными силами целые сборники стихотворений Шевченко. Нельзя пожаловаться и на прием, который встречали эти переводы: „Кобзарь" Тараса Шевченко в переводе русских поэтов", изданный под редакцией Н. В. Гербеля, выдержал четыре издания (1860, 1869, 1876, 1905), И. А. Белоусов, по словам некрологиста, переводам Шевченко „посвятил всю свою литературную жизнь" и в течение сорока с лишним лет своей литературной деятельности выпустил д е с я т ь отдельных изданий своих переводов из Шевченко. Недавно появился в серии „Дешевая библиотека классиков" ОГИЗ „Кобзарь" в переводе А. Колтоновского. Следует думать, что эти переводы выполняли и какую-то эстетическую функцию, в какой-то степени удовлетворяли эстетические запросы читателя. Ведь именно сборник переводов под редакцией Гербеля вызвал у такого взыскательного читателя, каким был Герцен, самый восторженный отзыв: „Боже, что за прелесть,—говорил он Н. Н. Ге,—так и повеяло чистой нетронутой степью, это ширь, это свобода!" [125] Главным образом на всех этих переводах целый ряд поколений русских читателей знакомился с творчеством Шевченко, приучался любить и ценить его.

Между тем из всей массы существующих переводов вряд ли можно после тщательного отбора найти три-четыре десятка—не скажем хороших, но хотя бы удовлетворительных. Не говоря уже об искажениях украинского текста, с которого делались переводы, сами переводчики относились к переводимому с большим своеволием: почти никем из них не передан тонкий сложный ритмический рисунок шевченковского стиха, трудно поддающиеся переводу строки безжалостно исключались и наоборот дописывалось то, что считалось подходящим к данному случаю; многочисленные смысловые ошибки возникали из-за недостаточного понимания украинского оригинала. В качестве иллюстрации приведем несколько примеров из перевода поэмы „Неофиты" Н. Пушкарева. Описывая римскую оргию, Шевченко говорит, что все участники, перепившись, „поклялись Приапу"; переводчик, очевидно поняв последнее выражение буквально, пишет: „Все сплошь кругом (!) перепились. Все, пав, Приапу поклонились" и неожиданно прибавляет от себя: „И вдруг все разом отрезвились"... Или в описании торжества обожания кесаря Пушкарев пишет: „Все мира древнего столпы—Весь цвет патрициев, п л е б е и (!), Сатрапы Фив и Иудеи". Хороши эти п л е б е и, попавшие в столпы! У Шевченко конечно нет этого слова. Не угодно ли далее понять следующее место: „Кто в те годы был император—враг свободы и бога, Деций иль Нерон—забыл, не помню. Пусть хоть он, Да он и точно!" (У Шевченко: „Не в нашим краї, богу милім, Не за гетьманів і царів, А в римській ідольській землі Се беззаконіе творилось: Либонь, за Децію-царя, Чи за Нерона-сподаря.—Сказать запевне не зумію; Нехай за Нерона!"). Чтобы покончить с „Неофитами", прибавим, что в переводе и стих иногда небрежен до чрезвычайности. например: „Нет в Риме дома... где б здесь не плакались о женах, там не скорбели о мужьях". А вот примеры благозвучия: „в мрак катакомб пошла", „страж уж не неофит был", „вкруг кровь" [126]. И если нас упрекнут в нарочитом подборе примеров из анекдотически слабого перевода (хотя перевод Пушкарева таким быть назван не может—существуют и еще более слабые, и еще более фантастические), то мы укажем на переводы А. И. Колтоновского, вообще говоря добросовестные, хотя мало художественные. При всей добросовестности переводчика, при всем его искреннем желании сохранить все особенности украинского оригинала, мы найдем у него следующие стихи: „Мать с



АВТОПОРТРЕТ-ОФОРТ Т. Г. ШЕВЧЕНКО С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
А. И. ГУЛАК-АРТЕМОВСКОЙ, 1860 г.
Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

отцом и (?) не спят, Да за мною следят, По садочку в одиночку Мне гулять не велят. А велят только с ним—Старикашкой (!!) своим, С моим нелюбом богатым—Моим недругом злым" (у Шевченко: „А хоч пустять, то з ним, З препоганим старим, З моїм нелюбом богатим, З моїм ворогом злим!"),— словно пред нами перевод не лирического подражания народной песне, а залихватской шансонетки. Или на соседней странице строки Шевченко: „Продавала бублики Козакам" у переводчика совершенно произвольно превратились в такие: „Выносила крендели На толчок" (?). В изданных же в юбилейные дни нескольких неопубликованных переводах Ф. Сологуба слабое знание украинского языка привело переводчика к совершенному искажению текста. У Шевченко явор загрустил, „Що без долі, без родини та без вірної дружини,—і дружини, і надії—В самотині посивів!" Ф. Сологуб же, следуя звуковым ассоциациям с русскими значениями отдельных слов, переводит: „Что без родины, без счастья, Без друзей и без участья, Без надежды сиротеет, В одиночестве седеет". Между тем укр. „родина" означает „семья", а „дружина"—„жена", т. е. все четверостишие имеет в подлиннике совершенно иной смысл, нежели в переводе.

Без труда можно было бы во много раз увеличить количество приведенных примеров, раскрывая наудачу любой перевод и сравнивая его с оригиналом. Думается впрочем, что и приведенного достаточно для обоснования нашего вывода — о необходимости подготовки нового полного и художественно полноценного перевода всех украинских стихотворений Шевченко с соответствующим редакционным аппаратом. Недавний юбилей поэта должен бы послужить этому весьма побудительным основанием.

Борьба за Шевченко, как мы видели на приведенных выше фактах из области шевченковедения, слишком затянулась, классовый враг под прикрытием широкой спины Скрыпника сумел расставить свои силы на многих участках культурного фронта, сумел, хитро маскируясь, прикрываясь партийным билетом, принести много вреда, прежде чем был окончательно разоблачен. В частности одним из „контрреволюционных националистических гнезд", где „националистическим элементам" удалось в течение последних лет „расставить... своих людей для организации саботажа и вредительства, прикрываясь для осуществления своих контрреволюционных целей флагом украинизации", явился Институт Шевченко в Харькове, — об этом упоминал в своем докладе на ноябрьском (1933 г.) объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б)У т. Косиор, об этом сказал и пленум в своей резолюции по этому докладу.

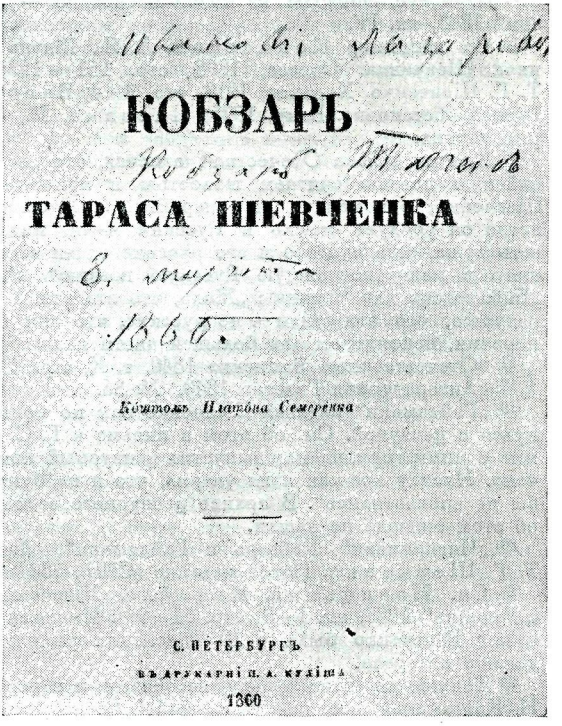
В течение ряда лет националистические элементы фактически саботировали шевченковедческую работу, держали ее в состоянии анабиоза, не активизировали дальнейшего собирания шевченковских материалов (хотя одновременно весьма энергично собирались материалы для увековечения... Скрыпника), широко продвигали и популяризировали идеалистические, а подчас и откровенно националистические установки в изучении творчества Шевченко. Основным сектором Института Шевченко должен был быть сектор шевченковедения. „Теперь становится совершенно ясным, — читаем в одной газетной статье,— что Речицкий, руководя этим сектором, вел линию на провал работы по шевченковедению. Он переложил практическое руководство сектором на „шевченковеда" Склярова... А уже Скляров фактически провалил работу семинара по шевченковедению и работу сектора. Вот одно из проявлений прямого вредительства обнаглевшего классового врага. Между тем разработка проблем шевченковедения сосредоточивалась в руках Дорошкевичей, Панченок и тому подобной националистической братии" [127].

„Партийная ячейка Института, — говорит руководитель обновленного Института Шевченко, — совершенно утратила большевистскую бдительность и непримиримость к врагу и его лазутчикам, пролезшим даже на руководящие участки партийной работы, а ряд членов ячейки, изменив партии, переродился в охвостья засевших в Институте классово враждебных элементов. Вместо того чтобы стать боевым проводником линии партии, организованным центром собирания лучших советских шевченковедческих сил, партячейка Института, большинство ее, утратив большевистскую бдительность, растворилось в окружении и стало на путь прикрывания и покровительства той вредительской ра-

боты, которую „тихою сапою“ проводили разного рода контрреволюционеры в Институте“. Этот классовый враг всевозможным образом маскировался цитатами из „классиков марксизма“, коммунистической фразеологией, становясь иногда в позу „критиков“ Ефремова, Никовского и других уже разоблаченных партией контрреволюционеров (вспомним хотя бы выступления Дорошкевича, Речицкого, Загула, Барана). Украинские националисты, российские великодержавники, польские контрразведчики и шпионы рассматривали Институт Шевченко как одну из своих надежнейших крепостей, как тихое пристанище для контрреволюционной работы. Тут они находили себе трибуну для устных выступлений и страницы журналов и сборников для печати. Тут они находили своих „рецензентов“ и „критиков“. Тут они „перевооружались“ и „перестраивались“. Тут они находили и молодые надежные националистические кадры[128].

В настоящее время партия очистила Институт Шевченко от засевших в нем националистических, контрреволюционных элементов, партия укрепила Институт подлинным большевистским руководством и свежими коммунистическими силами. И уже теперь мы имеем первые положительные результаты перестройки шевченковедческой работы: открыта шевченковская галлерея-выставка, быстрыми шагами подвигается вперед подготовка и печатанье академического издания сочинений Шевченко, осуществляется ряд других научно-исследовательских шевченковедческих тем и предположений.

И — самое главное — работа ведется в соответствии с теми задачами, которые поставили перед партией, перед всей советской общественностью недавно прошедшие партийные съезды. „Непрерывное повышение настороженности и бдительности партийных организаций в отношении националистических элементов“, „разоблачение и разгром до конца националистического уклона в КП(б)У, не ослабляя ни на минуту борьбы с великодержавным шовинизмом“, „развертывание работы по воспитанию КП(б)У и широких рабочих и колхозных масс Украины в духе пролетарского интернационализма“, „развертывание еще шире и глубже созидательной работы в области строительства советской украинской культуры“—таковы четыре задачи в области национальной политики на Украине, выдвинутые на XII съезде КП(б)У т. Постышевым[129]. Вся важность этих



ЭКЗЕМПЛЯР «КОБЗАРЯ»
Т. Г. ШЕВЧЕНКО
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
АВТОРА
И. Л. ЛАЗАРЕВСКОМУ
Публичная Библиотека СССР
имени Ленина, Москва

задач становится особенно ясной в свете указаний т. Сталина на XVII съезде ВКП(б) о том, что „пережитки капитализма в сознании людей гораздо более живучи в области национального вопроса, чем в любой другой области".

Таким образом борьба за Шевченко на новом этапе—составная часть всей созидательной работы в области строительства советской украинской культуры—является одним из элементов борьбы за осуществление задач всей второй пятилетки—построения бесклассового социалистического общества.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] „Основа" 1861, № 3, стр. 8. Слово над гробом Шевченко.

[2] Костомаров, Н., Воспоминание о двух малярах. — „Основа" 1861, № 4, стр. 51.

[3] Там же, стр 52—53.

[4] Эфремов, Сергій, Шевченко.—„Збірка". Київ, 1914, стр. 36.

[5] Там же, стр. 261.

[6] Там же, стр. 44, 45.

[7] Тисовський, Олександер, Ідея самостійності України в творах Шевченка. Станиславів, 1921.

[8] Грушевський, Михайло, В шістдесят четверті Шевченкові роковини. — „Україна" 1925, кн. 1—2, стр. 4, 5.

[9] Кроме двух украинских изданий (1922 и 1925 гг.) существует русское издание ее: Речицкий А., Тарас Шевченко в свете эпохи. Критический очерк. ГИХЛ, 1931.

[10] См. впрочем статью И. Пискуна „Контрреволюційні праці Річицького" („За марксо-ленінську критику" 1934, № 1, ст. 77—90).

[11] „Комуніст" 1934 от 9/III, № 57 (4429).

[12] Запрещенные цензурой тексты Н. Г. Чернышевского. „Н. Г. Чернышевский о национальном вопросе и классовой борьбе на „Украине".—„Литерат. Наследство" 1932, кн. 3, стр. 101—102.

[13] В письме к Г. Квитке (Основьяненко) от 18 ноября 1838 г. Гребенка следующим образом отзывается о Шевченко: „А ще тут у мене один земляк Шевченко, що́ то за завзятий писати вірші, то нехай йому сей та той! Як що попише, тільки цмокни, та вдар руками об поли!" (Данилевский, Г. П., Украинская старина. Харьков, 1866, стр. 275).

[14] П. М — с, Эпизоды из жизни Шевченко. — „Вестн. Юго-Западн. и Западной России" 1863, кн. IV.

[15] Ср. например Конисский, А. Я., Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченка. Одесса, 1898, стр. 151 — 153; Зайцев, Павел, Русские поэмы Т. Г. Шевченко. Харьков, 1913, стр. 3—4; Багрий, А. В, Т. Г. Шевченко в литературной обстановке. Баку, 1925; Плевако, М., Шевченко й критика. Харків, 1924, и ряд других.

[16] Критик „Сына Отечества", отмечая, что „всю нынешнюю искусственную Малороссийскую поэзию считаем шалостью и прихотью", подчеркивал одновременно талант Шевченко, рекомендуя ему перейти на русский язык: „Жаль видеть г-на Шевченко, когда он уродует мысль и Русский язык, подделываясь под хохлацкий лад. У него есть душа, есть чувство и его русские стихи вероятно могли бы прибавить долю хорошего в нашу настоящую Русскую поэзию". Подобное же сожаление высказывала и „Библиотека для Чтения": „Жаль, что эта книга не может быть принята нашею литературою, что эти стихи — не русские, что они писаны на особенном провинциальном наречии, непонятном для большей части наших читателей".

[17] «Отечественные Записки» 1840, т. X, стр. 23.

[18] «Литературная Газета» 1840, № 36.

[19] „Гайдамаки" издавал Шевченко сам по подписке; при издании он впервые столкнулся с цензурой. См. об этом в письме к Г. С. Тарновскому (26 марта 1842 г.): „Было мне с ними горя, насилу выпустил цензурный комитет,—возмутительно, да и кончено. Насилу кое-как я их уверил, что я не бунтовщик. Теперь спешу разослать, чтобы не спохватились". В архиве цензурного ведомства (ЛОЦИА) мы никаких сведений об этом эпизоде не нашли.

[20] „Чигиринский Кобзарь и Гайдамаки". Две поэмы на малороссийском языке Т. Г. Шевченка. Новое издание (СПБ., 1844).

[21] См. Новицький, Михайло, Шевченко в процесі 1847 р. і його папери („Україна" 1925, кн. I—II, стр. 51—99). Имеются все основания предполагать, что часть бумаг Шевченко была в III Отделении уничтожена как не представлявшая для жандармов интереса.

[22] Такую же зашифровку встречаем и в рецензиях на „Записки о Южной Руси". Н. Костомаров, восхищаясь поэмой („Давно уже лира такого певца, каков автор „Най-

мички", не услаждала малороссийского слуха"), высказывал пожелание, чтобы „стих этого поэта без имени прозвучал для нас не в последний раз" („Отечественные Записки" 1857, кн. 9, стр. 26). А. Н. Ригельман попытался лишь туманно намекнуть на имя автора: „Автор стоит далеко выше малороссийских поэтов-писателей прошлого времени (конечно за исключением творений Кобзаря)" („Русская Беседа". 1857, № 4, стр. 4).

[23] Сохранилось чрезвычайно любопытное письмо Кулиша к Шевченко (от 25 июля 1846 г.), написанное в связи с задуманным последним новым изданием „Кобзаря". Восхваляя всячески стихотворения с политически нейтральной тематикой („Тополя", „Думка"), либо с ярко выраженной национальной романтикой („Тарасова ніч", „Перебендя"), Кулиш крайне отрицательно отнесся к двум поэмам—„Катерина" и „Гайдамаки", из которых в первой уже намечены мотивы социального неравенства женщины, впоследствии развитые поэтом в ряде произведений, а во второй нашли свое отражение развивавшиеся антиклерикальные и бунтарские настроения молодого поэта. Советы Кулиша и направлены главным образом к смягчению, а подчас к полному уничтожению ряда мест. В особенности восстал он против сцен расправы гайдамаков с польским панством, убеждая Шевченко, что „читатель не сочувствует торжеству победителей, ибо это торжество мясников, а драма ваша—кровавая бойня, от которой поневоле отворачиваешься". „Дайте побольше человечества вашим гайдамакам,—взывал Кулиш.—Посмотрите у Шекспира: одно лицо в слепоте звериной ярости проливает кровь своих врагов, а другое говорит голосом человечества; иногда то же самое лицо содрагается и тем доказывает истину, что человеческое начало никогда не подавляется зверским".

[24] Она была полностью опубликована лишь после революции 1905 г. по автографу, обнаруженному в архиве департамента полиции.

[25] Ответ Шевченко на это письмо Кулиша показывает, что поэт прекрасно сознавал нецензурность „Неофитов" и что Кулиш таким образом ломился с своими советами в открытые двери. „Какой там тебе нечистый говорил, что я приготовил свои „Неофиты" для печати?—писал Шевченко 26 января 1858 г. (перевод с украинского).—И помысла и намерения не было. Я послал их тебе только прочитать, чтобы ты видел, что я тут не сижу, сложа руки". И дальше: „Для печати есть у меня приготовленного на добрых две книги: только переписать, да и в типографию; но я и с этим добром не спешу, не только с „Неофитами".

[26] „Основа" 1861, сентябрь, стр. 1.

[27] Опубликован П. Зайцевым в заметке „Нові матеріали до біографії й творчості, Шевченка. IV. Передмова Куліша до „Неофітів" („Наше Минуле" 1919, кн. 1—2, стр. 23—24).

[28] „Автор постоянно следует принятому направлению: беспрерывно жалуется на страдания Украйны в настоящем ее положении; желает возбудить ненависть к владычеству русских и, вспоминая о прежней свободе, подвигах и славе козаков, упрекает нынешнее поколение в равнодушии" (Новицький, Мих., Шевченко в процесі 1847 р. і його папери.—„Україна" 1925, кн. I—II, стр. 55).

[29] 22 ноября 1858 г. Шевченко писал М. А. Максимовичу: „Книгопродавец Кажанчиков решил было печатать мою „Поэзию", но шеф жандармов запретил. Возмутительна, говорит" (перевод с украинского). А 25 мая 1859 г. в письме к М. А. Маркович (Марко Вовчку) он жаловался: „Печатать не дают. Не знаю, что и делать. Уж не повеситься ли часом?" (перевод с украинского).

[30] Речь идет о стихотворении „Думи мої, думи мої".

[31] Историю „Кобзаря" 1860 г., изложенную нами по необходимости сжато и схематически, см. Стороженко, Н. И., Мелочи для биографии Т. Шевченко.—„Русская Мысль" 1898, кн. VI; Данилов, В. В., Цензурная история „Кобзаря".—„Начала" 1922, кн. II, стр. 239—255; примечания М. Новицкого в академ. издании сочинений Шевченко („Твори", т. III, стр. 849—853); дело Главного управления цензуры 1858 г. „О дозволении художнику Тарасу Шевченко напечатать новым изданием сочинения его: Кобзарь и Гайдамаки" (ЛОЦИА). Об экземплярах „Кобзаря" без цензурных поправок см. Каминский, Ф., Еще щепотка на могилу Шевченко.—„Киевская Старина" 1885, № 3, стр. 521—522.

[32] Доманицький, В., Критичний розслід над текстом „Кобзаря". Киев, 1907, стр. 5—6.

[33] Дорошкевич, Олександер, Принципи організації тексту Шевченкової поезії.—„Життя й Революція" 1932, кн. 6—7, стр. 190—191.

[34] В 1859 г. вышла за границей книжечка „Новые стихотворения А. Пушкина и Т. Шевченка" (Лейпциг, 1859). Из шевченковских стихотворений в ней напечатаны находившиеся в то время под строжайшим запретом „Кавказ", „Розрита могила" и др. Точных сведений о происхождении этой книжечки мы не имеем; можем лишь предполагать участие в ее издании М. А. Маркович (Марко Вовчка), ездившей в то время за границу; с лейпцигскими издателями был также связан Н. В. Гербель, издавший там в 1861 г. Рылеева.

[35] Еще в 1856 г. С. Аксаков пытался пристроить русские повести Шевченко в „Русский Вестник" Каткова, позднее (1858) М. Максимович усиленно сватал его в аксаковский „Парус", и вызвал этим резкий отказ поэта (письмо от 22 ноября 1858 г.).

[36] Опись вещей и картин не издана (хранится в Харьковском Институте шевченковедения), опись библиотеки см. Айзеншток І., Заметки про Шевченка. ІІІ. Книгозбірня Т. Шевченка („Червоний Шлях" 1923, № 8, стр. 231—240).

[37] Шабльовський, Є. С., Добити національзм і на ділянці шевченкознавства. — „Культура і пропаганда" 1934, № 1, стр. 54.

[38] „Основа" 1862, кн. III, стр. 142—143. Перепечатки этого объявления в других изданиях нам неизвестны.

[39] „Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченко, писанные на русском языке". Киев, 1888, V + 745 стр.

[40] Любопытно, что после опубликования рукописей в „Киевской Старине" они снова исчезли из поля зрения исследователей и были обнаружены лишь в 1920-х годах. В настоящее время они находятся в Институте Шевченко и подготовляются к печати.

[41] „Основа" 1861, кн. II, вкладной листок с кратким некрологом Шевченко, стр. 2.

[42] Шевченко, Т., Кобзарь. Коштом Д. Е. Кожанчикова. СПБ., 1867, стр. V, перевод с украинского. См. об этом издании Вашкевич, Г., Из воспоминаний о Н. И. Костомарове.—„Киевская Старина" 1895, № 4, стр. 34—62; Н. Ш[угуров], Сведения по вопросу о месте погребения Т. Шевченко и о первом посмертном издании его сочинений.—„Киевская Старина" 1899, № 2, стр. 168—194.

[43] Протоколы С.-Петербургского цензурного комитета 1867 г., 4 января, ст. 1. По заявлению Смирнова комитет вынес следующее „определение": „Не возбуждая судебного преследования против издателя книги, принять заявление цензора к сведению".

[44] Барвінський, Олександер, Спомини з мого життя, ч. І, Львів, 1912, ст. 113.

[45] Т. Г. Шевченко. Кобзар з додатком споминок про Шевченка Костомарова й Мікешина (т. II). У Празі 1876, ст. III; цитату даем в переводе.

[46] Драгоманов, М., Шевченко, українофіли й соціалізм. Львів, 1906, стр. 24—25. Драгоманов, М., Листи до Ів. Франка і інш. 1887—1895. Львів, 1908, стр. 177—178. О „пражском" издании „Кобзаря" см. Русов, О., Спомини про празьке видання „Кобзаря".—„Україна" 1907, № 2; Богацький, Павло, „Кобзарь" Тараса Шевченко в Празі.—„Студентський Вісник" (Прага) 1926, № 3, стр. 8—14; Савченко, Ф., Листування О. О. Русова з Я. П. Полонським в справі споминів про Шевченка для празького видання „Кобзаря".—„Україна" 1929, травень—червень, стр. 95—100 и др.

[47] Науменко, В., К вопросу о научном издании „Кобзаря" Т. Г. Шевченко.—„Киевская Старина" 1892, № 2, стр. 314—315.

[48] Т. Г. Шевченко. Збирнык творив, т. І, СПБ., 1883, 576 стр.

[49] Дело Главного управления по делам печати 1880—1884 гг., № 28, ч. I. лл. 179—180.

[50] Журналы заседаний Совета Главного управления по делам печати за 1882 г. 13 апреля, № 17, ст. 1.

[51] Дело Главного управления по делам печати за 1884 г., № 28, ч. II, лл. 233—234.

[52] Дело Главного управления по делам печати, 1886—1888 гг., № 21, ч. III, л. 134.

[53] Там же, л. 310.

[54] Там же, л. 521.

[55] Дело Главного управления по делам печати 1888—1890 гг., № 28, ч. IV, л. 232; ср. также л. 225.

[56] Дело Главного управления по делам печати 1890 — 1891 гг., № 28, ч. V, л. 302; запрещение состоялось вопреки мнению киевского цензора Б. Юзефовича, „полагавшего возможным" разрешить поэму к печати.

[57] Там же, лл. 320—321.

[58] Журнал заседаний С.-Петербургского цензурного комитета 1892 г., 12 февраля, ст. 2. В том же году категорическое запрещение вызвала биография Шевченко, написанная В. Яковенко для павленковской серии „Жизнь замечательных людей". Как докладывал цензор Коссович, „написанная г. Яковенко биография Шевченко, этого великого народного поэта, воплотившего в себе, по словам автора, все думы Малороссии, от начала до конца представляет собою нескончаемый мартиролог крепостничества и украинофильства". „Жизнь Т. Г. Шевченко послужила автору биографии удобным только поводом для проведения доходящих до чудовищных размеров демократических украинофильских тенденций" (там же, Журнал заседаний, 29 июля, № 31, ст. 7).

[59] Дело Главного управления по делам печати 1892 г., № 28, л. 260.

[60] Дело Главного управления по делам печати 1896—1898 гг., № 31, лл. 20—26, 70—71.

[61] Дело Главного управления по делам печати 1900—1902 гг., № 6, лл. 158, 232—233, 258.

[62] Там же, л. 178.

[63] Столь же любопытный пример преданности цензурным законам и традициям мы встречаем в делах 1882 г. Один из „друзей" Шевченко В. М. Лазаревский, бывший в то время членом Совета Главного управления по делам печати, не решился сам пропустить нескольких писем Шевченко, предположенных к напечатанию в „Киевской Старине" (писем совершенно невинных даже по тому времени—см. Пономарев, С., Восемь писем Шевченко.—„Киевская Старина" 1883, № 2, стр. 401—408), и лишь вме-

шательство министра (гр. Толстого) решило это дело в положительном смысле (Журналы заседаний Совета Главного управления по делам печати 1882 г., 30 ноября, № 53, ст. III).

[64] Драгоманов, М., Шевченко, українофіли й соціалізм. Львів, 1906, стр. 25; цитата дана в переводе.

[65] „Матеріали для культурної й громадської історії Західньої України. Том І. Листування І. Франка і М. Драгоманова". Киев, 1928, ст. 318. Речь идет об издании: Т. Шевченко. Поезії (заборонені в Росії)" (Женева, 1890, Українська печатня). Перед тем Драгоманов принимал некоторое участие в подготовке двух женевских изданий „Кобзаря"—1878 и 1881 гг.

[66] Батуринский, В., К биографии Н. И. Костомарова.—„Былое" 1907, № 10,стр. 92.

[67] „Листування І. Франка і М. Драгоманова". Киев, 1928, стр. 321.

[68] Мы не останавливались на отдельных публикациях шевченковских текстов (в заграничных украинских изданиях и в „Киевской Старине"), так как публикации эти, за исключением русских повестей, о чем упоминалось выше, носили совершенно случайный характер и таким образом не меняют нарисованной нами общей картины.

[69] Єфремов, Сергій, З громадського життя на Україні. Київ, 1909, стр. 59—60 („программа" эта написана в 1907 г.).

[70] Єфремов, Сергій, Недбале видання—„Шевченко". Збірка, Київ, 1914, стр. 181 (статья написана в 1901 г.).

[71] Там же, стр. 188.

[72] См. напр. Стебницький, П., Повний „Кобзарь" в Росії.—«Літературно-Науковий Вісник» 1914, кн. II, стр., 277—281; Лотоцький, О., Як появилося повневидання „Кобзаря".— „Тризуб" 1926, № 23. Ограничиваемся этими статьями, не упоминая ряда статей, пересказывающих факты, добытые из вторых рук, в том числе и из названных воспоминаний, имеющих значение первоисточника (правда, весьма хвастливого и зачастую лживого).

[73] Другой „воспоминатель", П. Стебницкий, называет А. Марковича „человеком широких взглядов и с определенными национальными симпатиями по традиции рода".

[74] Заметим кстати, что и самая близость Марковича к царю вызывает сомнения; вряд ли эта близость превышала ту степень, какая должна была существовать для сенатора и статс-секретаря.

[75] Єфремов, Сергій, Чистому сердцем. Пам'яті Василя Доманицького. Київ, 1912, стр. 35.

[76] Новицький, Михайло, До тексту Шевченкового „Кобзаря".—„Україна" 1924, № 4, стр. 75; ср. Айзеншток, І., Шевченкознавство—сучасна проблема. І. До тексту Шевченкових творів. Харків, 1922, стр. 10—16.

[77] См. статью Н. Кагановича „Як українські націоналісти фальсифікували Тараса Шевченка".—„Вісті" 1934, 8 января, № 7.

[78] „Не знаю,—писал Доманицкий в письме к И. Франко (недатиров.; перевод с укр.),—приходилось ли кому-нибудь писать или делать какую-либо серьезную работу в таких обстоятельствах, как мне теперь: беспрестанные обыски и конфискации материалов (все мои материалы и выписки забраны еще в декабре) привели к тому, что я едва не остановился на полдороге, едва не оборвалась моя статья на 8 листе. Да и так пришлось, начиная с 9 листа и до конца, печатать без возможности проверить свои ошибки или недосмотр" (Возняк, Михайло, З приводу двадцятиліття „Кобзаря" в редакції В. Доманицького. — «За сто літ», кн. V, 1930, стр. 286). И в другом месте еще: „Жандармы украли все мои „кобзарные" материалы,—ни одной справки нельзя было навести" (там же, стр. 292).

[79] Доманицький, В., Критичний розслід над текстом „Кобзаря". Київ, 1907, стр. 62.

[80] Там же, стр. 133.

[81] Там же, стр. 145.

[82] Там же, стр. 124.

[83] Шевченко, Т., Кавказ. Передмова, примітки, редакція А. Панова.—„Радянська Література" 1934, стр. 27.

[84] „Літерат.-Науковий Вістник" 1907, кн. II, стр. 368.

[85] Єфремов, Сергій, Шевченко. Київ, 1914, стр. 200.

[86] Стебницький, Петро, „Кобзар" під судом. — „Записки Історично-Філологічного Відділу" ВУАН, кн. IV, 1924, стр. 36—48.

[87] Из „отношения" („совершенно секретного", „личного") начальника киевской охранки подполковника Кулябко киевскому губернатору (22 ноября 1910 г., № 4087).

[88] Тисяченко, Гр., Історія Великої Книги. — „Книгар" 1918, № 6, февраль, стр. 307—308.

[89] Зайцев, Павло, Два „Кобзарі".—„Книгар" 1919, № 19, март, стр. 1161.

[90] Наиболее отчетливо это выражено в статье, писанной за границей: „То, что мы обычно читаем как Шевченко, это—не его только личное творчество, это либо, Шевченко + Романчук, либо Шевченко + Франко, либо Шевченко + Доманицкий, либо Шевченко + Лепкий, так как ни один из теперешних редакторов „Кобзаря" не

издал правильного текста стихотворений Шевченко, приняв одну редакцию за основную, а всегда каждый из них к тексту одной, выбранной как основная, добавлял из других редакций отдельные „лучшие" или подходящие фразы, соединяя таким образом в одном произведении элементы, возникавшие в иных психологических условиях и неодновременно". И несколько дальше: „Их работа над текстом Шевченко методологически была ошибочной, а иногда и непонятно наивной" (Зайцев, Павло, Наш долг перед Шевченком.—„Стара Україна" 1925, кн. III—IV, стр. 41).

[91] Коряк, В., Ліквідація культу Шевченка.—„Вісті" 1922, № 58 и в сборнике статей „Боротьба за Шевченко", ДВУ, 1928, стр. 69.

[92] Айзенштok, І., Habent sua fata... Харьков, 1922, стр. 8—10; Айзенштok, І., Шевченкознавство—сучасна проблема. І. До тексту Шевченкових творів. Харьков, 1922; Айзенштok, І., Кобзарева повідь. — „Червоний Шлях" 1927, № 4, стр. 247—249 и др.

[93] Т. Шевченко. Поезії „Кобзар". Зредагували та примітки додали І. Айзенштok та М. Плевако. ДВУ, 1925 (дальнейшие издания—1927, 1930, 1931, 1932). Работа между редакторами была поделена таким образом, что работу над текстом вел И. Айзенштok, комментарий составлял М. Плевако.

[94] Новицький, Михайло, До тексту Шевченкового „Кобзаря". — „Україна" 1924, № 4, стр. 75—83; Т. Шевченко, Поезія. Під редакцією акад. С. Єфремова і М. Новицького, тт., I—II, Київ, 1927 и сл. Считаем нужным заметить, что установление принципа цикличности поэзии Шевченко принадлежит единолично М. Новицкому; участие Ефремова в редактировании шевченковских текстов выразилось в нарочитом стремлении сохранить в неприкосновенности все описки и ошибки Шевченко (что нельзя расценивать иначе как культурное вредительство и редакторскую безграмотность), а также в составлении нацдемовских, фашистских примечаний.

[95] „Червоний Шлях" 1927, № 4, стр. 248.

[96] Ныне—в Харьковском Институте им. Шевченко.

[97] Косиор, С., Итоги и ближайшие задачи проведения национальной политики на Украине. Доклад на объединенном пленуме ЦК и ЦКК КП (б)У 22 ноября 1933 г. Харьков, 1933, стр. 32.

[98] „Звідомлення про діяльність Української Академії Наук у Києві до і січня 1920 року", стр. XIX—XX.

[99] Там же, стр. XX.

[100] „Звідомлення Всеукраінської Академії Наук у Києві за 1923 рік". К., 1924, стр. 72.

[101] Этот вредительский саботаж „почтенных академиков" не был разгадан рецензентами академического издания, в частности автором настоящей статьи, который, отметив медленные темпы издания, объяснял их сложностью работы и т. д. (см. Айзенштok, І., Академічний Шевченко. — „Червоний Шлях" 1929, № 4, стр. 110—117.) Сейчас, после процесса СВУ и в особенности после разоблачения деятельности украинских националистических контрреволюционных организаций и националистического уклона ВКП(б)У, возглавлявшегося Скрыпником, вряд ли могут возникнуть сомнения в истинных причинах всех этих задержек, оттяжек и т. п.

[102] Тарас Шевченко. Твори, т. IV, ДВУ, 1927, стр. V.

[103] Шабльовський, Є. С., Т. Г. Шевченко. Його життя та творчість. Київ, 1934, стр. 189.

[104] Єфремов, Сергий, Спадщина Кобзаря Дармограя.—„Україна" 1925, кн. 1—2, стр. 13.

[105] Шабльовський, Є. С., Добити націоналізм і на ділянці шевченкознавства.— „Культура і пропаганда" 1934, № 1, стр. 61.

[106] Мы остановились подробнее на ефремовских комментариях к академическому изданию потому, что считаем их особенно характерными для буржуазно-националистической интерпретации Шевченко. Вообще же следует особенно помнить, что „наряду с физическим истреблением произведений Шевченко одновременно проводилась фальсификация Шевченко. Начиная от открытых черносотенцев и кончая разного рода либералами, господствующие классы царской России и Украины руками своих „культурных деятелей" и опытных шарлатанов-фальсификаторов принимались за литературное наследство Шевченко и беспощадно вычеркивали из него все, что полно „мужицким бунтом", комментируя в свою пользу все, что так или иначе поддавалось „обработке" („Тезисы Отдела культуры и пропаганды ленинизма ЦК КП(б)У к 120-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко"). В частности буржуазно-националистический характер имеют примечания в редактированном нами совместно с М. А. Плевако издании „Поезій" Шевченко (см. выше). Автор настоящей статьи проявил в данном случае гнилой либерализм, не решившись приложить руки к этим примечаниям, составленным единолично М. А. Плевако, и оговорив лишь свою непричастность к ним (см. например „Критика" 1928, № 3, стр. 18).

[107] Конисский, А. Я., Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко (Критико-биографическая хроника). Одесса, 1898. Ср. также: Коніський, Олександер, Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя, т. I, Львів, 1898; т. II, Львів, 1901.

[103] Конисский, А. Я., назв. соч., стр. 2.
[109] Тарас Шевченко, Проза. Редакція і примітки А. Шамрая.—„Рух" 1930, стр. 556.
[110] „Наше Минуле" 1919, кн. 1—2, стр. 3.
[111] „Основа" 1861, № 5, стр. 6.
[112] В журнале „Правда" 1893, кн. VIII—XII; 1894, кн. I—X; в 1895 г. перевод этот вошел в т. III собрания сочинений Шевченко под ред. О. Одоновского (Львов).
[113] По этому поводу М. Плевако с показной наивностью удивляется: „Пропуски эти невозможно ни оправдать, ни даже объяснить, как оправдываем мы и объясняем их в напечатанном в „Основе" тексте: австрийская цензура наверно не прицепилась бы к острым выражениям в „Дневнике" против российского правительства, к тому же еще и прошлого, или против российского православия и т. д." (вступ. статья к изданию избранных отрывков из „Дневника".—„Книгоспілка", Харків, 1924, стр. VI). Ограниченный буржуазный гелертер не может представить себе, что кроме цензуры правительственной существует во много раз более жестокая и неумолимая цензура классовая, которая стирает государственные границы!
[114] Зайцев, Павел, Недруковані місця з Журналу (Шоденника) Т. Шевченка. — „Наше Минуле" 1919, кн. 1—2, стр. 3—16.
[115] Т. Шевченко. Дневник. Редакция, вступительная статья и примечания И. Я. Айзенштока. Изд. „Пролетарий", 1925.
[116] См. напр. „Червоний Шлях" 1925, № 8, стр. 234—236.
[117] Один из приятелей Шевченко, Ф. Лазаревский, сохранил в своих воспоминаниях картину уничтожения бумаг перед обыском в 1850 г. Предупрежденный о предполагаемом обыске Лазаревский „бросился к знакомым, забрал Тараса и помчался с ним на Слободку. Он был совершенно покоен и даже подшучивал над собой. Приехали. Вывалил он мне целый ворох бумаг и несколько портретов...
— Ну, що ж тут палить?—обратился он ко мне. Я, хотя и знал содержание чуть ли не всех писем к нему, но стал их пересматривать. Все они, по моему мнению, были самого невинного свойства.
— І я тебе питаю,—отвечал я вопросом на его вопрос,—що палить?
— Пали усі письма кн. Репніної.
И все драгоценные для Тараса послания Варвары Николаевны, конечно самые невинные, брошены в камин. Туда же полетели и еще некоторые бумаги, по выбору самого Тараса.
Пытливо прочел я письма брата Василия, свои письма, письма Левицкого, Александрийского и др., но ровно ничего, по-моему, в них не было недозволенного, а тем более преступного, но Тарас командовал: „пали!"
— Но послухай же, мій голубе, як ми все спалимо, то догадаються, що нас предупредили об обыске, да и станут искать виноватого...
— І то правда,—согласился Тарас,—буде! Поідем до тебе та ще там що небудь спалим" (Чалый, М., Из воспоминаний Ф. М. Лазаревского о Шевченко. Киев, 1899, стр. 12—13).
[118] „Основа" 1861, кн. II, вкладной листок.
[119] „Основа" 1861, кн. X, стр. 3.
[120] Впрочем еще в 1876 г. галицкий журнал „Правда" сделал попытку возобновить собирание и публикацию переписки Шевченко. В специальном воззвании „Ко всем живым украинским людям!" редакция журнала писала: „Мы с большой радостью открываем двери нашего журнала и приглашаем всех, у кого имеются письма Шевченко, прислать нам для печати... Ни одно письмо, написанное поэтом, ни одно слово его не должно оставаться где-то под спудом, потому что его письма, его слова являются собственностью всего украинского народа, и тот, кто прячет у себя письма Шевченко или материалы для его биографии, чинит большое преступление как перед украинским народом, так и перед целым миром" („Правда" 1876, № 23, стр. 923—924). Какие бы то ни было конкретные результаты этого обращения нам однако неизвестны.
[121] См. его книгу „Жизнь и произведения Тараса Шевченка" (Киев, 1882) и последующие публикации (особенно „Киевск. Старина" 1897, № 2—3).
[122] „Киевская Старина" 1885, стр. 333.
[123] Уже после того, как наша статья была закончена, нам попалась недавно вышедшая статья В. В. Данилова „Социальные основы жизни Шевченко" („Труды Института Славяноведения Академии Наук СССР", т. II, 1934, стр. 103—113), в которой, наряду с верными, хотя и поданными чрезвычайно упрощенно положениями, встречаем нелепые замечания, вроде того, что „в Шевченке—борьба с дворянским строем, это—не идея, а физиология" (?!), или аналогии с Кольцовым и Слепушкиным, которые имеют совершенно отличную от Шевченко классовую принадлежность.
[124] См. например статьи, Заславского, Д., Поэт крестьянской революции („Правда" 1934, 10 марта, № 68); Старчакова, А., Фашизм и Шевченко („Известия" 1933 г., 4 декабря, № 294); его же, Поэт-невольник („Известия" 1934, 9 марта, № 58); Шабліовского, Е. С., Тарас Шевченко („Комсом. Правда" 1934, 9 марта, № 58); Лейтеса, А., Шевченко и современность („Литерат. Газета" 1934, № 30, 12 марта); статьи

Старчакова, А. в „Новом Мире“ 1934, кн. 2 и А. Хвыли, в „Красной Нови“ 1934, кн. 5 и др. Недавно вышел и сборник русских переводов из „Кобзаря“ Ф. К. Сологуба; при всех отмеченных выше недостатках переводов они несомненно являются лучшими и серьезнейшими из всех существовавших переводов.

[125] Стасов, В. В., Николай Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка. М., 1904, стр. 161.

[126] См. А. Е. Грузинский в „Русской Мысли“ (1907, № 2, стр. 30).

[127] Цапир, Я., Грудницька, М., Про одне кубло націоналистичної контрреволюции.—„Вісті“ 1933, 25 декабря, № 283.

[128] Шабльовский, Є. С., Добити націоналізм и на ділянці шевченкознавства.—„Культура и пропаганда“ 1934, № 1, ст. 48, 49.

[129] Постышев, П., Советская Украина на новом подъеме. Партиздат ЦК КП(б)У, 1934, стр. 107—109.

Воспроизводимые в настоящем обзоре картины, офорты и рисунки Т. Г. Шевченко и автографы его дарственных надписей на книгах, а также изображения Шевченко работы Н. А. Степанова и Г. И. Дунин-Барковской, выявлены редакцией «Литературного Наследства» в различных московских и ленинградских хранилищах, и публикуются, за единичными исключениями, впервые.

В своей статье, посвященной литературному наследию Шевченко, я, естественно, обошел его наследие как художника и гравера, наследие, которое вынуждены были высоко оценить современники (Академия Художеств даже «удостоила» его в 1859 г. звания академика гравирования) и которое особенно высоко ценим мы, имеющие возможность охватить значительно большее количество художественных работ Шевченко, нежели то, какое было в свое время доступно современникам. До революции художественные работы Шевченко были разбросаны по различным музеям и частным собраниям и лишь отчасти были собраны в черниговском музее им. В. В. Тарновского и в киевском Художественно-промышленном музее. В настоящее время большая часть художественного наследия Шевченко (примерно до 90%) сосредоточена в Институте Шевченко, куда передано и большинство шевченковских экспонатов из государственных музеев УССР и РСФСР. Однако и по сейчас отдельные рисунки и картины Шевченко встречаются и в музеях и у частных лиц, и редакции «Литературного Наследства» удалось обнаружить значительное, сравнительно, количество неизвестных дотоле художественных работ Шевченко.

Первое место среди них должен занять автопортрет Шевченко (масло), воспроизводимый четырехцветкой. Автопортрет, правда, не является совершенной новостью: он *неоднократно воспроизводился по авторской копии, сделанной для «друзей» поэта, находившейся* в течение ряда лет в семье Лазаревских и ныне хранящейся в Институте Шевченко. Однако сравнение этой известной копии с новонайденным оригиналом обнаруживает ряд существенных деталей последнего (в частности замечательное выражение глаз), лишь отчасти переданных в автокопии; последняя — совершено очевидно — делалась наспех и без особенного внимания. Найденный оригинал портрета позволяет, кстати, рассеять одну легенду, созданную досужими «друзьями» и биографами поэта,— легенду о сочувственном якобы отношении к нему великой княгини Елены Павловны. Один из биографов, упоминавшийся уже П. Зайцев, сообщил, что этот свой автопортрет Шевченко написал для благотворительной выставки (или лотереи) и что великая княгиня купила его за 200 рублей, выявив таким образом «демонстративно сочувственное *отношение... к такой ярко-определенной фигуре, как Шевченко*» («Русск Библиофил» 1914, кн. 1, 20). Увы, умиление буржуазного биографа решительно безосновательно: заплатив за портрет 200 рублей, Елена Павловна никакой демонстрации производить не предполагала; можно с большой долей вероятия утверждать, что портрет приобретен ею по совету Ф. П. Толстого, семье которого она немедленно и подарила его. По крайней мере настоящий владелец портрета приобрел его от лиц, близких к семье Толстых.

Второй воспроизводимый в настоящей книге автопортрет Шевченко — 1843 г., пером — неоднократно воспроизводился, начиная с 1882 г., но самый оригинал, пода-

ренный автором В. Н. Репниной, оставался недоступным исследователям. В настоящее время он находится в частном собрании, в Москве, репродукция его в нашей книге обнаруживает ряд деталей, ускользавших при прежних воспроизведениях, когда портрет не вынимался из рамки (срв. напр. в книге Ол. Новицький «Тарас Шевченко як маляр». — Львов 1914, стр. 2). Как выяснилось на обороте его имеется карандашный рисунок поэта, представляющий собою автоиллюстрацию к поэме «Черниця Мар'яна».

Третий автопортрет — 1860 г. — является одним из наиболее популярных изображений поэта; по словам дочери Ф. П. Толстого, мемуаристки В. Ф. Юнге, «это лучший и наиболее похожий из всех его портретов» (Ол. Новицький, 80). Не воспроизводилась до сих пор дарственная подпись Шевченки на одном из экземпляров офорта: «Александри Ивановни Гулак-Артемовской на память 4 декабря 1860 года. Т. Шевченко». А. И. Гулак-Артемовская — жена артиста и композитора, С. С. Артемовского, приятеля Шевченко. Последний познакомился с ней по возвращении из ссылки в 1858 г. и неоднократно упоминал о ней в своем дневнике, называя ее «милейшей» и «очаровательной» (см. записи 3, 18, 20 мая 1859 г.).

Любопытен рисунок хаты, в которой родился поэт и с его фигурой сбоку (стр. 453). Набросок фигуры известен по воспроизведению в книге Ол. Новицького (стр. 28), весьма впрочем несовершенному технически.

Переходя к рисункам Шевченко, необходимо отметить серию акварелей, относящихся к годам учения его в Академии Художеств и носящих яркие следы ученичества у К. Брюллова. К коследнему Шевченко в продолжение всей своей жизни относился с большим пиэтетом (хотя и не мог простить ему впоследствии, что он ничем не помог своему бывшему ученику в ссылке); в годы же учения в Академии Художеств Брюллов был для него непревзойденным классическим образцом. Следы этого поклонения сохранились в позднейшей автобиографической повести Шевченко «Художник» («Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченко, писанные на русском языке», Киев, 1888, стр. 265 — 363), дающей много интересных зарисовок как самого «Великого», так и ряда его учеников и товарищей по Академии в 30—40-е годы. Большая часть академических и послеакадемических работ Шевченко (до ссылки 1847 г.) носит явственные следы влияния Брюллова, от которого Шевченко избавился лишь с годами. Из непосредственных же шевченковских копий работ Брюллова до сих пор была известна одна: «Итальянка возле фонтана» (см. В. Г. Картины, рисунки и офорты Шевченко. — «Киевская Старина» 1888, № 6, стр. 80—85). В Музее изобразительных искусств нашлись еще две акварельные копии, воспроизводимые здесь: «Сон бабушки и внучки» и «Прерванное свидание». Можно думать, что копии сделаны не с оригиналов, находившихся в недоступных конечно Шевченке частных коллекциях (первая — у в. к. Екатерины Михайловны, вторая — у гр. Ферзена), но с гравюр, помещенных в альманахе «Утренняя Заря» на 1840 г.; это определяет и датировку рисунков. (См. Сомов А., Карл Павлович Брюллов и его значение в русском искусстве. СПБ., 1876, стр. 25, 26, 27). Родственны им по манере исполнения и технике также иллюстрации к пушкинской «Полтаве» — «Мария» и «Цыганка, гадающая малороссиянке». Следует отметить, что «Малороссиянка» последней акварели чрезвычайно близко напоминает «Катерину» известной картины маслом Шевченко и, возможно, послужил для последней подготовительным этюдом.

К годам академической учебы Шевченко относится также акварельный этюд «Спящий мальчик». Возможно, что это — первоначальный вариант несохранившейся небольшой картинки масляными красками — «Сиротка мальчик делится милостыней с собакою под забором», о которой сам Шевченко упоминает в повести «Художник» (стр. 314; срв. также «Сборник материалов для истории Академии Художеств», т. II, СПБ., 1865, стр. 406).

Портретная живопись Шевченко, особенно ценимая современниками, — кроме упомянутых автопортретов, — представлена двумя замечательными работами: акварельным портретом художника-баталиста К. А. Зауэрвейда, одного из профессоров Академии Художеств во времена Шевченко и портретом-маслом В. Н. Репниной, невыска-

занный роман которой с поэтом был психологически освещен М. О. Гершензоном («Русские Пропилеи», кн. 2). Первый портрет до сих пор вовсе не был известен и приобретен Государственным Литературным Музеем за границею (см. «Литературное Наследство» кн. 15, стр. 310), второй — известен по авторской копии, находившейся во Всеукраинском Историческом Музее (Киев).

Коллекция иллюстраций завершается несколькими офортами Шевченко. Техникой офорта он овладел уже в последние годы жизни, по возвращении из ссылки, и в короткое время достиг высокой степени совершенства: в 1859 г. ему было даже присуждено звание академика гравирования. Исследователи высоко ценят офорты Шевченко и не без основания считают, что ему «по справедливости может быть приписана слава едва ли не первого русского офортиста в современном значении этого слова» Е. М. Кузьмин, Т. Г. Шевченко как живописец и гравер. — «Искусство и художественная промышленность» 1900, № 3, стр. 61 — 75; срв. также Ол. Новицький, Тарас Шевченко як моляр. — Львов-Москва, 1914; К. Широцкий, Гравюра Т. Шевченко. — «Украинская Жизнь» 1914, № 2, стр. 49—57 и др.). К офортам примыкает и рисунок сепией «Спящая женщина» (в украинской традиции называемый «Сама соби господиня в хати») — оригинал известного офорта; самый рисунок воспроизводится впервые.

С О О Б Щ Е Н И Я

О ТЕКСТАХ ЛЕРМОНТОВА

Сообщение Б. Эйхенбаума

I

Дореволюционная история „полных собраний сочинений" Лермонтова связана с двумя датами: 50-летия со дня его смерти (1891 г.) и 100-летия со дня рождения (1914 г.). С первой датой связано появление трех главных изданий: под редакцией П. А. Висковатова, А. И. Введенского и И. М. Болдакова [1]; со второй—появление издания „Разряда изящной словесности Академии Наук" под ред. проф. Д. И. Абрамовича („Академическая Библиотека Русских Писателей", вып. 2—6). Это последнее, повторенное перед самой революцией издание [2] продолжает считаться до сих пор единственно научным и вполне авторитетным.

Между тем за последние 15 лет наша текстологическая техника значительно шагнула вперед и теоретически, и практически. Работа над новыми изданиями классиков началась уже в 1918 г. в тогдашнем Литературно-издательском отделе Наркомпроса (под руководством К. И. Халабаева) и была продолжена в Ленгизе. Появились отдельные выпуски и собрания сочинений Пушкина, Гоголя, Тургенева, Островского, Достоевского, Толстого, Салтыкова. Тексты этих изданий были заново (а некоторые впервые) проверены по рукописям и печатным источникам: многое было заново разобрано и исправлено. Эта широко, не по-коммерчески поставленная практическая работа привела и к осознанию ряда текстологических проблем—к развитию текстологической методологии.

В числе этих новых изданий было и полное собрание сочинений Лермонтова (первое издание—1926 г., последнее, пятое,—1931 г.), но выпущено оно было, по техническим причинам, в виде однотомника, в два столбца. В состав этого издания были введены все новинки лермонтовского текста (очень немногочисленные), а в примечаниях была сделана текстологическая сводка прежних изданий, обнаруживавшая, что по количеству всякого рода ошибок и недоразумений академическое издание стоит ниже всех предыдущих.

Но примечаний, особенно текстологических, у нас не читают, а однотомный („школьный") тип издания не внушает к себе уважения. В результате не только читатели, но и специалисты прошли мимо этого издания. Так например, в „Книге о Лермонтове", составленной П. Е. Щеголевым („Прибой", 1929), все цитаты приведены по академическому изданию, как будто издание Ленгиза не существует. Таким образом репутация академического издания осталась как бы незыблемой.

Необходимо преодолеть эту традицию, а кстати и разъяснить некоторые проблемы текстологической редактуры, которая для большинства читателей представляется делом таинственным, а для иных и подозрительным. Что значит „редактировать" классиков? Ведь их сочинения печатались при жизни авторов и потом издавались множество раз. Не достаточно ли в этом случае хорошего корректора? Так думают не только многие читатели, но и некоторые руководители издательств. Между тем дальнейшее развитие текстологической редактуры, а тем самым и повышение уровня наших изданий классиков сильно зависит от сочувствия этому делу со стороны читателей; сочувствие же зависит от понимания.

II

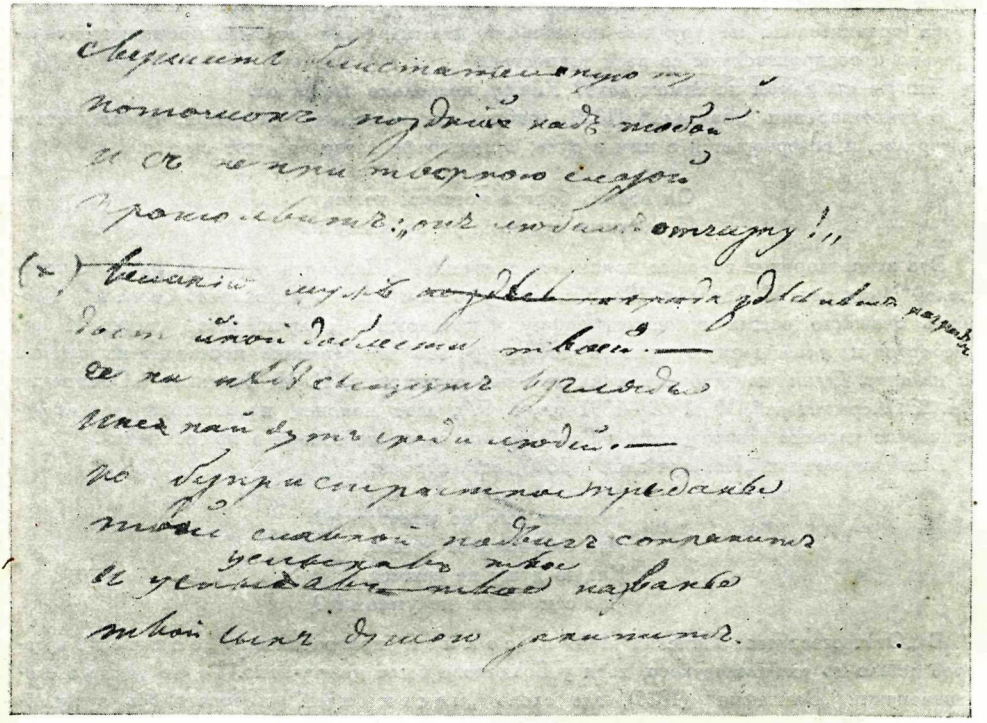
Основной рукописный фонд Лермонтова, принадлежавший прежде Лермонтовскому Музею при Николаевском кавалерийском училище, находится теперь в Рукописном отделении Института Русской Литературы (ИРЛИ, Ленинград). Этот фонд состоит из 22 тетрадей, заключающих в себе автографы и копии большинства произведений Лермонтова—лирики, поэм, драм и прозы. Дополнением к этому фонду является собрание рукописей Лермонтова Гос. Публичной Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, в составе которого имеются последние стихотворения 1841 г. (в альбоме, подаренном В. Ф. Одоевским), наброски „Сашки", автограф „Боярина Орши", авторизованная копия „Демона" (1838), автограф драмы „Menschen und Leidenschaften", авторизованные копии „Княгини Лиговской" и „Тамани", а также письма Лермонтова. Небольшие собрания автографов Лермонтова имеются кроме того в б. Чертковской Библиотеке (ныне—в Московском Историческом Музее) и в Рукописном отделении Публичной Библиотеки им. В. И. Ленина.

Все перечисленные рукописи Лермонтова были давно собраны и использованы редакторами его сочинений (их более подробное описание см. в т. V академического издания).

Но за последние годы, и даже в самое последнее время, найдено несколько новых его рукописей, одни из которых только восполняют пробелы рукописного фонда (самые тексты были известны по печатным источникам), а другие являются новинками в полном смысле этого слова. Среди первых укажем на автографы стихотворений „А. О. Смирновой" (альбом А. О. Смирновой в ИРЛИ), „Благодарность" (Исторический Музей в Москве), „На севере диком" (альбом Юсуповой в ИРЛИ), „К портрету" (черновой автограф—в собрании С. А. Рачинского (Центрархив, ГАФКЭ), беловой в Государственном Литературном Музее), „Посреди небесных тел" (там же), „И скушно и грустно" (там же), „Ашик-Кериб" (собственность А. С. Голицыной). Укажу еще, что Государственным Литературным Музеем приобретена копия стихотворения „Тучи" (под заглавием „Тучки"). Копия сделана кем-то из близких к Лермонтову лиц: той же рукой (повидимому—женской) сделана копия „Последнего новоселья" (авторизованная), хранящаяся в ИРЛИ (тетрадь 15-я). Что касается совершенных новинок—таковы, во-первых, 5 писем: одно, нижепубликуемое письмо к Е. А. Арсеньевой от конца апреля—начала мая 1836 г., одно к П. И. Петрову (1838), впервые опубликованное в „Литературном сборнике" (Кострома, 1929), два—к С. А. Соболевскому (подлинники—в Центрархиве ГАФКЭ; одно из них напечатано в книге А. К. Виноградова „Мериме в письмах к С. А. Соболевскому", М., 1928, стр. 72) и одно, нижепубликуемое, к С. Н. Карамзиной от 10 мая 1841 г. (найдено в архиве Н. С. Голицына в ИРЛИ). Затем в архиве Долгорукова (Гос. Публ. Библиотека) найдена копия очерка „Кавказец", оставшегося ненапечатанным при жизни Лермонтова повидимому по цензурным причинам (опубликовано Н. О. Лернером в журнале „Минувшие дни" 1929, № 4). Наконец совсем недавно в архиве семьи Якушкиных, приобретенном Обществом политкаторжан, найдена авторизованная копия ранней редакции „Маскарада", проливающая новый свет на историю текста этой пьесы. Обычный ее текст, всем известный по собраниям сочинений и по театральной постановке,—это текст так называемой „второй редакции", написанной Лермонтовым после запрещения первой. Первая редакция, о существовании и содержании которой известно только из доклада цензора, не отыскана, но найденная в архиве Якушкиных рукопись очень близка к ней, представляя собой предшествующую ей стадию. Здесь нет фигуры Неизвестного и нет всего четвертого акта, развивающего тему „возмездия" (по требованию цензуры). Пьеса кончается смертью Нины: надеясь на обещанное Арбениным спасение, она признает себя виновной („Все правда, я преступна, изменила") на что следует беспощадная реплика Арбенина: „Прощай, мой друг—ты умереть—должна". Фигура Казарина как вождя шулеров дана ярче и определеннее. Сцена Арбенина с Звездичем в комнате игроков совсем другая: по просьбе Арбенина игроки напаивают Звездича—и он проигрывает все свое состояние. Есть и другие, более мелкие варианты. Новая редакция дает вообще около 600 новых строк Лермонтова[3]

В архиве Е. А. Карлгоф-Драшусовой оказался листок с двумя стихотворениями, относящимися повидимому к 1837 г.: „Никто моим словам не внемлет" и „Мое грядущее в тумане" (см. ниже сообщение Н. Пахомова). В одной частной коллекции обнаружена странная альбомная запись, сделанная рукой Лермонтова, на отдельном листке, ныне переданная в Государственный Литературный Музей. Текст записи следующий

Благодарим тебя,
И будем помнить вечно ямки,
Где каждый неудачно влез
На брюхо оскорбленной самки
И где потом, потупив взор,
Он возвратился к мирной келье
И утопил он свой позор
В веселом дружеском похмелье.



АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА «БЛАГОДАРНОСТЬ»
Исторический Музей, Москва

Под этой записью стоят две подписи: Лермонтов и Гринев (?). Смысл записи неясен. Надо полагать, что „Ямки"—название места (имения?), в котором произошло описанное приключение.

III

На первый взгляд может показаться, что издание Лермонтова не ставит никаких особенных текстологических затруднений. Большинство его произведений печатается либо прямо по рукописям (ненапечатанное при жизни), либо прямо по печатным источникам. Единственной сложной и неизбежно спорной проблемой является текст „Демона".

Положение и в самом деле было бы не очень сложным, если бы оно не было запутано целым рядом более или менее кустарных изданий, накопивших огромное количество всякого рода ошибок и недоразумений. Причин было много: и методологическая

неопытность, и теоретическое неуменье, и простая небрежность, и откровенная фальсификация (у П. А. Висковатова). Издание классиков было делом коммерческим — это положение развращало не только издателей, но и редакторов.

Академическое издание к сожалению закрепило эту кустарную традицию и под маркой авторитетнейшего ученого учреждения ввело в оборот совершенно негодный текст Лермонтова. С внешней стороны имеющее вид научного, критически проверенного (текстовые примечания, указания источников, варианты и пр.), издание это сделано и небрежно, и неумело — без осознания текстологических проблем, без всякой методологии, без всяких принципов.

Возьмем самый простой случай — когда имеется один рукописный источник (автограф или копия), который и надо воспроизвести. К этому случаю относятся очень многие вещи Лермонтова: вся юношеская лирика, многие поэмы, все драмы, вся ранняя проза. Начиная от издания 1860 г. и кончая академическим, Лермонтов прошел сквозь руки шести редакторов. Казалось бы, что в результате этой работы рукописи Лермонтова (сравнительно не трудные по почерку) должны были бы быть прочтены окончательно и воспроизведены со всей точностью.

Что же мы имеем на самом деле? Укажу несколько примеров.

В стихотворении „Баллада" (1829) юноша опускается на дно моря, чтобы достать ожерелье, и возвращается с ним в руке; в автографе затем следуют строки:

Он верить боится усталым ногам,
И влажные кудри бегут по плечам...

Это стихотворение впервые появилось в издании „Шиллер в переводе русских писателей" (под ред. Н. Гербеля, 1863): вместо „н о г а м" здесь напечатано „о ч а м". Гербель очевидно решил исправить рифму и предложить „улучшенное" чтение. И вот, несмотря на совершенную ясность автографа, это исправление переходит из издания в издание. Один из наиболее внимательных редакторов, И. М. Болдаков („Сочинения М. Ю. Лермонтова", М., 1889—1891 гг., т. IV), дает наконец по автографу; но академическое издание возвращается к Гербелю, ни слова не говоря в примечаниях.

В стихотворении „Как луч зари" (1830) есть строки:

Но свет чего не уничтожит?
Что благородное снесет,
Какую душу не сожмет,
Чье самолюбье не умножит?

В „Отечественных Записках" 1859 г. „с о ж м е т" превратилось в „с о ж ж е т", которое дошло до академического, хотя у Болдакова было исправлено. То же самое в стихотворении „Эпитафия" (1830), где слово „н е д в и ж н ы й" превратилось в „н е б р е ж н ы й".

В стихотворении „Булевар" (1830) есть строки:

О женихи! о бедный Мосолов;
Как не вздохнуть, когда тебя найду,
Педантика, из рода петушков,
Средь юных дев как будто бы в чаду.

Вместо этого „в ч а д у" у Висковатова, вероятно по типографской небрежности, появилось бессмысленное „в с а д у", которое благополучно доехало до академического издания.

В стихотворении „Баллада" (1830, из Байрона) выражение „родимый д о л", рифмующее со стоящим внутри стиха „пришел", превратилось в „родимый д о м", хотя при первом издании (Ф. Шнейдера — „Стихотворения М. Ю. Лермонтова, не вошедшие в последнее издание его сочинений", Берлин, 1862) напечатано было верно.

В стихотворении „1831-го июня 11 дня" слово „п е н и л а с ь" превратилось в „н е ж и л а с ь", которое и прошло по всем изданиям.

СТИХОТВОРЕНІЯ

Графини Е. Ростопчиной.

Михаилу Юрьевичу Лермонтову,
в знакъ удивленія къ его таланту
и дружбы искренней къ нему
самому, 1841. Петербургъ, 20-е апрѣля.
1841.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Цѣна 1 руб. сер.

ЭКЗЕМПЛЯР «СТИХОТВОРЕНИЙ» ГР. Е. РОСТОПЧИНОЙ С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА ЛЕРМОНТОВУ

Институт Русской Литературы, Ленинград

В стихотворении „Когда надежде недоступный" (1833/34 г.) слова „Ты жить, устал?" печатались двояко: у Ефремова — „Ты, бедный пал", у других — „Ты низко пал".

В стихотворении „Опять, народные витии" (1835) вместо слов „Безумцы мелкие" в печати явилось „жалкие".

В стихотворении „Слышу ли голос" (1837) слова „Лазурно-глубокие" превратились в „Лазурью глубокие".

В стихотворении „Они любили" (1841) начало второй строки во всех изданиях, кроме „Отечественных Записок" 1843 г. (т. XXXI), печаталось „С тоскою глубокой" вместо „С тоской глубокой". Не разбираясь в метрике, редакторы очевидно считали нужным заполнить „недостающий" слог, не замечая, что в этом „недостатке" — особенность ритма всего стихотворения.

Наконец — стихотворение, всегда печатавшееся под заглавием „Валерик" (1840). Автограф этого стихотворения очень черновой и поэтому довольно трудный для чтения. Но, во-первых, никакого заглавия нет — оно очевидно придумано издателем альманаха „Утренняя заря" (1843), и придумано неудачно: стихотворение написано в форме послания („Я к вам пишу") и никакого заглавия поэтому не требует. Во-вторых, многие слова читаются совершенно убедительно и ясно, а в печати, начиная с альманаха, утвердились в неправильном чтении: вместо „темный" печатается „томный", вместо „братний зов",—„бранный зов", вместо „и с лева" (по старинной орфографии — отдельно) — „из леса", вместо „остатки" — „останки". Мало того: после стиха 215 („Но вечно гордой и спокойной") Ефремов вставил стих „В своем наряде снеговом". Вставка эта сделана была Ефремовым очевидно потому, что стих 213 („Синел в дыму пороховом") не имеет соответствующего отклика в рифме. Но стихотворение это осталось в черновом виде — и спасать положение вставкой несуществующего в автографе стиха более чем наивно. Академическое издание повторило все ошибки предшественников — начиная с заглавия и кончая вставкой стиха.

Элементарными ошибками, искажающими смысл и язык, пестрят также тексты тех поэм Лермонтова, которые не были напечатаны при его жизни. Строка „Еще не все ты потерял" („Кавказский пленник") была прочитана Висковатовым неверно — „Еще невесты не терял" и в таком виде перешла в академическое издание; слово „прошлец" превратилось в „пришлец" („Джюлио"), „клевы"—в „клювы" („Литвинка"), „насытит"—в „но сытит" („Последний сын вольности"), „след"—в „свет" („Ангел смерти"), „ради"—в „рады" и т. д.

Из этого обзора видно, что в академическом издании не было сделано самой необходимой работы — проверки текста по рукописям. Из прежних изданий академическое роковым образом следует обычно именно тому, где текст искажен. Отметим кстати, что редактор академического издания настолько не свыкся с почерком Лермонтова, что воспроизвел в виде факсимиле копии, приняв их за автографы (см. факсимиле из „Боярина Орши", „Сказки для детей", „Любовь мертвеца", „На севере диком", „Испанцы").

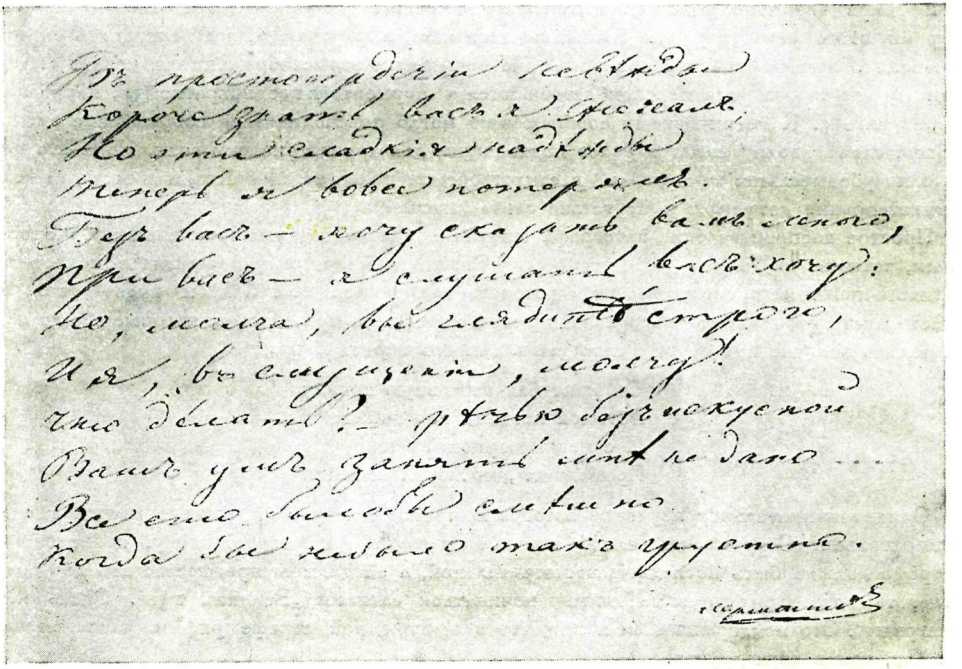
В одном случае редактор академического издания оказался совершенно самостоятельным и оригинальным, но тоже не к добру: в стихотворении „Чума" (1830), написанном октавами, он решил отступить от традиции и прибавить к третьей строфе неполный 9-й стих: „И наконец ударил час"; на самом деле — это черновой вариант к стиху „И час пробил" (5-я строфа), что видно хотя бы из того, что он отсутствует в беловой копии.

IV

Часто редактору приходится иметь дело с такими случаями, когда рядом с авторизованной копией сохранился и черновой автограф, с которого была сделана копия. В этих случаях редактор должен сверить копию с автографом, потому что переписчик всегда ошибается, а автор очень часто не замечает многих ошибок. При редактировании многих авторов тщательная сверка копий с автографом составляет самую сложную и вместе с тем самую главную задачу редактора. Так например, произведения Л. Тол-

стого переписывались на машинке последовательно по 10—15 раз, после каждой новой правки. Каждая новая копия прибавляет некоторое количество ошибок, незамеченных автором; последний текст (последняя авторизованная копия) оказывается таким образом насыщенным ошибками, исправить которые можно только последовательным движением назад — к автографу.

„Испанцы" Лермонтова печатаются по авторизованной копии, но черновой автограф частично сохранился. При сверке обнаруживаются ошибки переписчика: вместо „стонет"—„стоит", вместо „укор"—„урок", вместо „спасенья нет"—„спастися чем", вместо „схватите"—„свяжите" и т. д. Эти ошибки переписчика перешли в печатные издания, а к ним прибавились еще редакторские ошибки, особенно многочисленные в академическом издании. В результате текст „Испанцев" оказывается очень далеким от подлинника.



АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА «В ПРОСТОСЕРДЕЧИИ НЕВЕЖДЫ...» В АЛЬБОМЕ А. О. СМИРНОВОЙ

Институт Русской Литературы, Ленинград

В „Боярине Орше" переписчик написал „Т о с к о й н е в о л ь н о с т и томим" вместо „п о в о л ь н о с т и", незамеченная автором ошибка прошла по всем изданиям именно потому, что копию (хотя и авторизованную) не сверяли с автографом.

Надо кстати сказать, что академическое издание часто отступает от всех предыдущих, опуская какое-нибудь слово, прибавляя новое или заменяя прежнее новым; при проверке оказывается, что все это — просто фантазия академического наборщика, почему-то одобренная академическим редактором. В „Menschen und Leidenschaften" например „мальчишка" заменен „мальчиком", „смех" превратился в „хохот", „далекой"—в „дальний", „долгую"—в „добрую" и т. д. В „Вадиме" „остановившаяся" превратилась в „окаменевшая", „несколько грошей" — в „несколько медных грошей", „вокруг церкви" — в „вокруг деревни", „голода" — в „холода" и т. д. Очевидно корректуры издания не сверялись редактором с подлинниками, в результате чего в одном „Вадиме" оказалось около ста ошибок.

При наличии одной копии без автографа редактор оказывается иногда в трудном положении именно потому, что не может установить ошибок переписчика, хотя и предполагает их. В стихотворении Лермонтова „Волны и люди" (1830) есть такой случай, до сих пор остающийся спорным. Единственный источник этого стихотворения—копия (тетрадь XX, № 40); строки 5—6 написаны так:

Волнам их неволя и холод дороже
Знойных полудня лучей.

При первом печатании (посмертном — в „Библ. для Чтения" 1845, т. 68) текст не был изменен и в таком виде был повторен в ряде изданий (у Дудышкина, у Висковатова и в первом издании Введенского); но Ефремов заподозрил здесь ошибку и вместо слова „неволя" напечатал „воля". Это чтение принято и в академическом издании (без всякой оговорки в примечаниях).

Ефремов вероятно руководствовался метрическими соображениями: все остальные строки этого стихотворения написаны дактилем, а строка 5-я, если сохранить слово „неволя", оказывается амфибрахием. Но решающим это соображение не может быть, потому что такого рода перебои встречаются у Лермонтова неоднократно (ср. например в „Русалке"). К метрическому соображению могло присоединиться соображение смысловое: слово „воля" кажется более подходящим для характеристики волн. Но и это не вполне убедительно: тема „воли" в стихотворении никак не раскрыта, и поэтому смысл стихотворения допускает присутствие слова „неволя".

Простое воспроизведение автографа оказывается иногда делом тоже сложным и спорным, хотя бы он даже не был черновым. Среди ненапечатанных самим Лермонтовым стихотворений есть одно, автограф которого сохранился не в полном виде — верхняя часть листа оторвана, так что начала нет. Сохранились три строфы, которые всегда печатались так, как они стоят в автографе, так что первой была:

Свершит блистательную тризну
Потомок поздний над тобой
И с непритворною слезой
Промолвит: „он любил отчизну!"

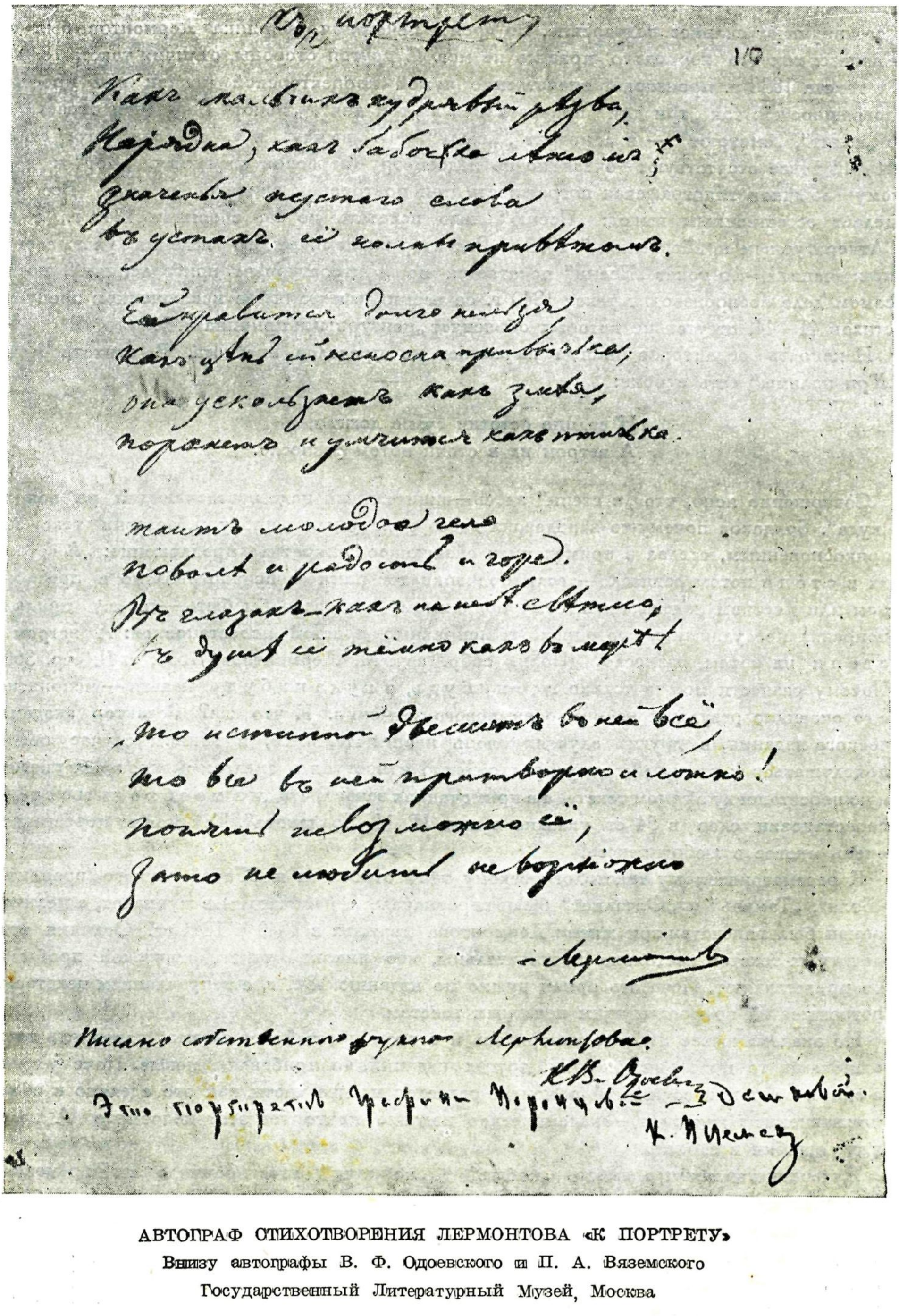
Однако внимательное изучение автографа приводит к выводу, что это расположение неправильно. Сохранились следы значков, указывающих перестановку: приведенная строфа должна быть последней, заключительной, а ей должны предшествовать две другие, так что стихотворение должно начинаться словами „Великий муж!. Здесь нет награды". Это поддерживается и тем, что в приведенной строфе рифмы расположены иначе, чем в двух других.

V

Перейдем к другим текстологическим типам.

У Лермонтова есть произведения, не сохранившиеся в рукописях, но напечатанные им самим дважды или трижды. При сличении этих печатных текстов оказываются некоторые различия, и редактору приходится решать природу или происхождение этих различий, учитывать возможность типографских погрешностей, корректорских исправлений и пр. При этом положении первопечатный текст до известной степени заменяет рукопись.

Есть у Лермонтова стихотворение, всегда печатающееся под заглавием „1-ое января" (в акад. изд.—„Первое января"). Впервые оно появилось в „Отечественных Записках" (1840, т. III): здесь вместо заглавия стоят три звездочки, а „1-ое января" стоит сбоку, как дата. Вторично это стихотворение, без всяких текстовых изменений, появилось в сборнике 1840 г. Здесь, по мотивам оформления, устранены все звездочки, так что стихотворение начинается прямо первой строкой: „Как часто, пестрою толпою окружен"; но при этом дата „1-ое января" недостаточно сдвинута вправо (как было в журнале) и отпечатана жирным шрифтом, почему и выглядит заглавием. Это типографское недоразумение было канонизовано всеми изданиями, и стихотворение стало называться „Первое января".


Къ портрету

Какъ мальчикъ кудрявый рѣзва,
Нарядна, какъ бабочка лѣтомъ;
Значенья пустаго слова
Въ устахъ ея полны привѣтомъ.

Ей нравиться долго нельзя:
Какъ цѣпь ей несносна привычка,
Она ускользнетъ какъ змѣя,
Порхнетъ и умчится какъ птичка.

Таитъ молодое чело
По волѣ и радость и горе.
Въ глазахъ — какъ на небѣ свѣтло,
Въ душѣ ея темно какъ въ морѣ!

То истиной дышитъ въ ней всё,
То всё въ ней притворно и ложно!
Понять невозможно её,
Зато не любить невозможно.

Лермонтовъ

Писано собственною рукою Лермонтова.
Кн. В. Одоевскій
Это портретъ графини Воронцовой-Дашковой.
К. Вяземскій

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА «К ПОРТРЕТУ»

Внизу автографы В. Ф. Одоевского и П. А. Вяземского

Государственный Литературный Музей, Москва

Другой случай—„Песня про царя Ивана Васильевича". Это произведение было напечатано при жизни Лермонтова тоже дважды: в „Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду" (1838, № 18) и в сборнике 1840 г. Отличия последнего текста от журнального внушают сильное подозрение. Во время печатания сборника Лермонтов был на Кавказе, так что корректур править не мог. С другой стороны, отличия текста 1840 г. от текста 1838 г. производят впечатление чужой корректорской правки или простых погрешностей: так „три дни" превратились в „три дня", „ходют" (народная окраска)— в „ходят", „смотрют" — в „смотрят", „выду" — в „выйду" и т. д. Мало того: стихи 41—44 вовсе отсутствуют—очевидно по недосмотру (перескок от одного „Вот" к другому—обычная типографская погрешность при повторении одинаковых слов). Все это делает естественным вывод: „Песню" надо печатать не по сборнику 1840 г., а по „Литературным прибавлениям" 1838 г. Редактор академического издания указывает в примечаниях, что текст „Песни" печатается по „Литературным прибавлениям", но на самом деле воспроизводит текст 1840 г. со всеми дефектами (за исключением пропуска стихов 41—44, отсутствие которых объясняет „цензурными причинами").

Наивность редакторов иногда вырастает до пределов анекдота. В стихотворении „Три пальмы" есть строки:

И солнце остатки сухие дожгло,
А ветром их в степи потом разнесло.

Совершенно ясно, что „в степи" здесь—винительный падеж, отвечающий на вопрос „куда". Болдаков почему-то заподозрил здесь описку или ошибку и, оставив текст неприкосновенным, сделал в примечаниях следующее конкретное предложение: „А ветром их в с т ѐ п и потом разнесло— если подчеркнутое нами слово употреблено в предложном или местном падеже,—как тому повидимому следовало бы быть,—то ему придано неправильное ударение, что однако ж исправимо простой перестановкой: А ветром в с т е п и их потом разнесло" (Полн. собр. соч. М. Лермонтова, 1891, т. II, стр. 366.) Почему разнести можно только г д е-н и б у д ь, а к у д а-н и б у д ь нельзя — непонятно. Это очевидно результат какого-то языкового затмения. И что же? Редактор академического издания, в других случаях очень невнимательный, в данном случае решил прислушаться к этому мудрому предложению и поступить смелее: он произвел указанную перестановку в самом тексте, а в примечаниях заявил, что „н а н е о б х о д и м о с т ь (!) перестановки слов в 54 ст. указано в изд. И. М. Болдакова". Так можно переставить очень многое в любом тексте!

К рассматриваемому текстологическому типу относится и „Герой нашего времени". „Бэла", „Тамань" и „Фаталист" были первоначально напечатаны в журналах, а целиком роман был напечатан при жизни Лермонтова дважды: в 1840 и 1841 гг. Отличия этих печатных текстов настолько незначительны, что никакой текстологической проблемы не представляют. Печатать роман нужно по изданию 1841 г. с исправлением некоторых погрешностей по предыдущим печатным текстам.

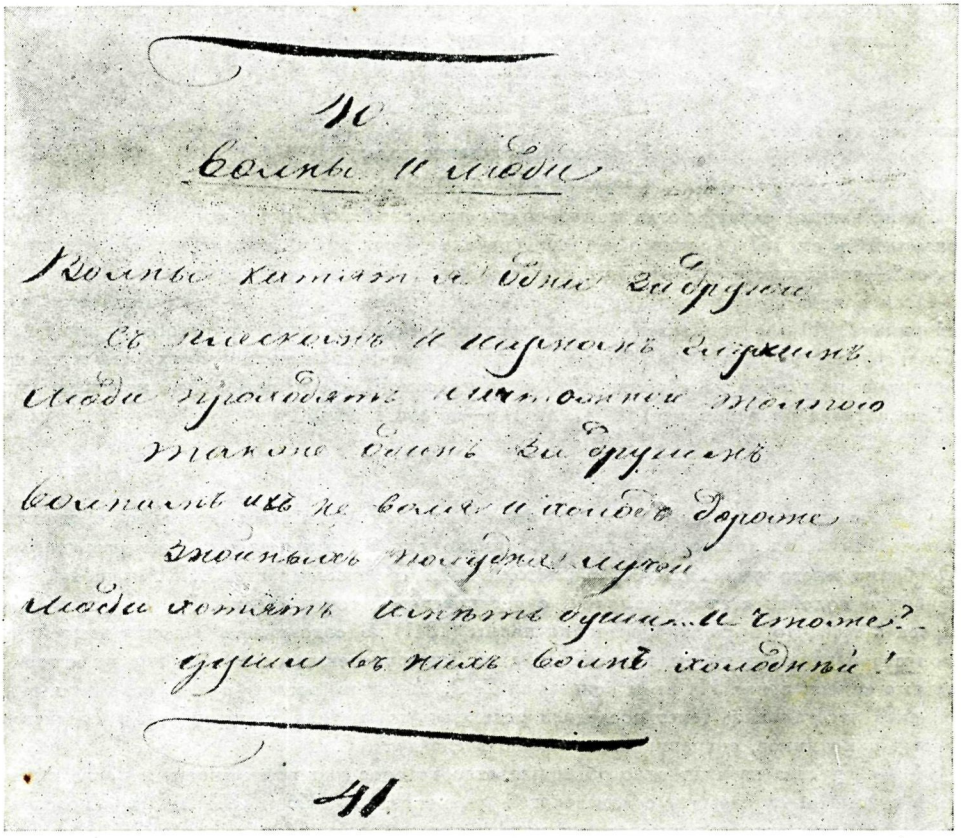
Но академическое издание ухитрилось и в этом простейшем случае наполнить текст ошибками, то повторяя ошибки других изданий, то прибавляя новые. Почему-то ни в одном собрании сочинений роман не разделен на две части, как это сделано в обоих прижизненных изданиях,—академическое издание повторяет этот недосмотр. А далее идут ошибки в словах.

Дудышкин напечатал вместо „кобыл" — „кобылиц"; это проникло к Ефремову и Введенскому и конечно повторено редактором академического издания (хотя было исправлено у Висковатова и Болдакова). „Хорошей" во всех собраниях превратилось в „хорошенькой". Старинное „между них" у Ефремова превратилось в „между ними", а отсюда перешло в академическое издание. „Размена чувств" во всех собраниях превратилось в „размен чувств" и т. д. К этому присоединились оригинальные ошибки академического издания (главным образом — пропуски слов), и в результате текст „Героя нашего времени" оказался в нем менее удовлетворителен, чем во всех предшествовавших изданиях.

VI

Теперь остановлюсь на тех произведениях Лермонтова, которые кроме прижизненных печатных текстов сохранились и в рукописном виде. В этом случае у редактора есть возможность выправить дефекты печатного текста и использовать авторскую пунктуацию, обычно искаженную в печати.

О пунктуации редактор академического издания вовсе не думал или, наоборот, думал слишком много: она дается не по рукописям, а по соображениям редактора или корректора—и в результате часто не толко искажена интонация, но и нарушен смысл. Но это уже общий дефект наших изданий классиков, который только в последнее время начали осознавать. А вот примеры, касающиеся слов.



АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА «ВОЛНЫ И ЛЮДИ»
Институт Русской Литературы, Ленинград

В стихотворении „Русалка" стих 19-й и в журнале, и в сборнике 1840 г. напечатан так:

И в чело и в уста мы в полуденный час.

В копии (сохранившейся в Рукописном отделении ИРЛИ) этот стих написан иначе:

В чело и в уста мы в полуденный час.

Печатный стих содержит типичную для Лермонтова и для этого стихотворения анакрузу (ср. „И старалась она", „И шумя и крутясь" и т. д.). Но Введенский решил почему-то следовать в данном случае копии (приняв ее очевидно за автограф, в чем не сомневается и редактор академического издания), а редактор академического издания—

следовать Введенскому. С другой стороны, в стихе 17-м печатные тексты дают „кольца", тогда как в копии—„кольцы". Такого рода формы множественного числа у Лермонтова часты, и есть полное основание считать, что в этом случае копия воспроизводит автограф правильно.

В стихотворении „Журналист, читатель и писатель" стих 86-й всегда печатался так: „Живое, с в е т л о е творенье". Между тем в автографе, с которого делался набор в сборнике 1840 г., он читается иначе: „Живое, с в е ж е е творенье". Ясно, что здесь—обыкновенная опечатка.

Наконец „Мцыри". Поэма была впервые напечатана в сборнике 1840 г. (как я уже говорил, в отсутствии Лермонтова и потому с несомненными дефектами), но сохранилась рукопись (частью—авторизованная копия, частью—автограф). При сравнении рукописи с печатным текстом обнаруживаются некоторые отличия, но почти все они должны быть отнесены за счет типографских погрешностей: „дальные" превратились в „дальние", „горючею"—в „горячею", „лицо к лицу" — в „лицом к лицу", а строки:

Ты помнишь: в детские года
Слезы не знал я никогда.

напечатаны так:

Ты помнишь детские года:
Слезы не знал я никогда.

Единственный случай, когда можно подозревать авторскую поправку,—это слово „бессильный" в ст. 167 (в автографе было сначала „бессильный", исправленное на „напрасный",—возможно, что Лермонтов потом вернулся к первому варианту).

Итак вопрос об издании „Мцыри" очевидно должен решаться так: печатается по сборнику 1840 г. с исправлениями по рукописи. Редактор академического издания избрал другой более мудрый путь: в первом издании он в примечаниях ссылается на автограф, во втором на сборник 1840 г., а на самом деле печатает одни из указанных выше случаев по сборнику 1840 г., другие—по автографу.

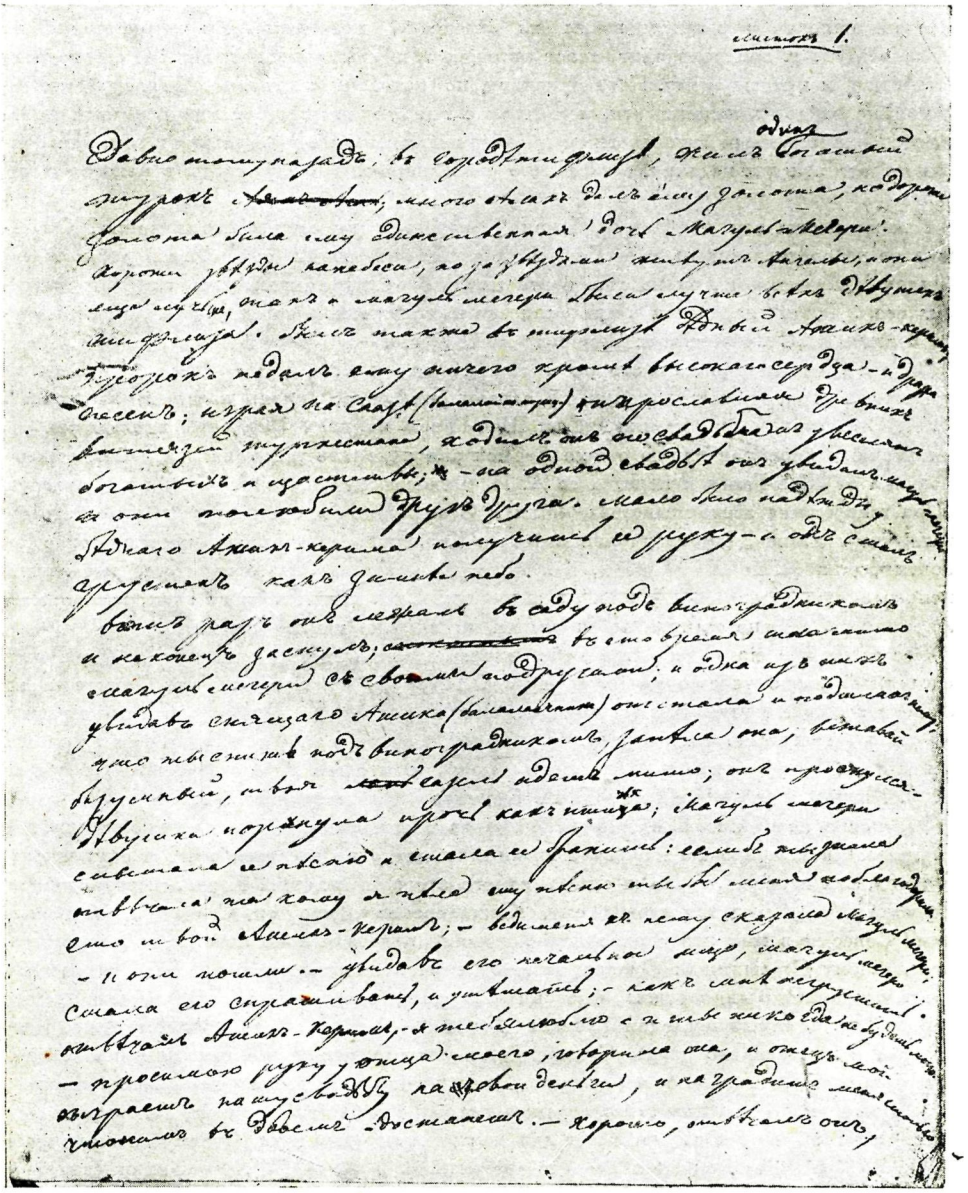
VII

Остается вопрос о „Демоне". По этому вопросу накопилась довольно обширная текстологическая литература, которая однако скорее запутала его, чем разъяснила. Особенно много тумана напустило „методологическое" исследование Е. В. Аничкова[4], решившего подойти к этому вопросу с средневековой точки зрения. Вся сложность вопроса в том, что последняя редакция поэмы (1841) не сохранилась и при жизни Лермонтова напечатана не была, а сохранились многочисленные и совершенно не авторитетные списки с нее. На этом основании Е. В. Аничков решил путем сопоставления списков восстановить текст последней редакции (по методу восстановления средневековых памятников, сохранившихся только в списках).

Но он упустил из виду одно обстоятельство, которое дает возможность и право обойтись в данном случае без средневековой учености. В 1856 и 1857 гг., в Карлсруэ, „Демон" был напечатан отдельными изданиями, история которых, к счастью, довольно точно раскрывается благодаря свидетельствам близких родственников Лермонтова—А. П. Шан-Гирея и Д. А. Столыпина[5]. Эти свидетельства совершенно неопровержимо доказывают, что карлсруйские издания, и т о л ь к о они, печатались по авторитетным рукописям, которые и затерялись в процессе печатания поэмы. Дополнительные указания имеются еще в письмах к П. А. Висковатову (хранящихся в Рукоп. отд. Гос. Публ. Библ.) дочери А. М. Верещагиной-Гюгель (1884) и священника И. Базарова, принимавшего участие в издании 1857 г.

Не буду приводить здесь самый материал—ему место не в общем обзоре, а в специальном комментарии к „Демону". Вместо сопоставления списков, предложенного Е. В. Аничковым, достаточно сопоставить все факты и свидетельства, касающиеся карлсруйских изданий,—и вывод напрашивается сам собой.

Карлсруйские издатели (А. И. Философов) имели в руках сначала копию с последней редакции „Демона", подаренную Лермонтовым В. А. Бахметьевой, а потом полу-



АВТОГРАФ ПОВЕСТИ ЛЕРМОНТОВА «АШИК-КЕРИБ». ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
Собрание А. С. Голицыной, Дмитров

чили и самый автограф (от Д. А. Столыпина, которому А. П. Шан-Гирей отдал его после смерти Лермонтова). Издание 1856 г. воспроизводит текст копии, поэтому в нем отсутствует часть диалога Тамары с Демоном (о боге—„Зачем мне знать твои печали" и т. д.), исключенная Лермонтовым по цензурным соображениям; приведенные в списках варианты взяты из автографа, полученного во время набора. Издание 1857 г. воспроизводит текст автографа и тем самым является своего рода поправкой к предыдущему. Пока рукописи, по которым печатались карлсруйские издания, не найдены, издания эти, и т о л ь к о они, заменяют собой эти рукописи и являются единственным авторитетным источником текста. Вопрос только в том, как комбинировать эти два издания, естественно расходящиеся между собой в некоторых деталях.

Как же *решил эту проблему „Демона" редактор академического издания*? Он решил ее не средневековым, а еще более древним—античным способом: подобно Александру Македонскому, он не стал развязывать этот запутанный узел, а просто разрубил его. „Демон" напечатан в академическом издании по корректурным листам январской книжки „Отечественных Записок" за 1842 г.

Какова же мотивировка этого неожиданного решения?

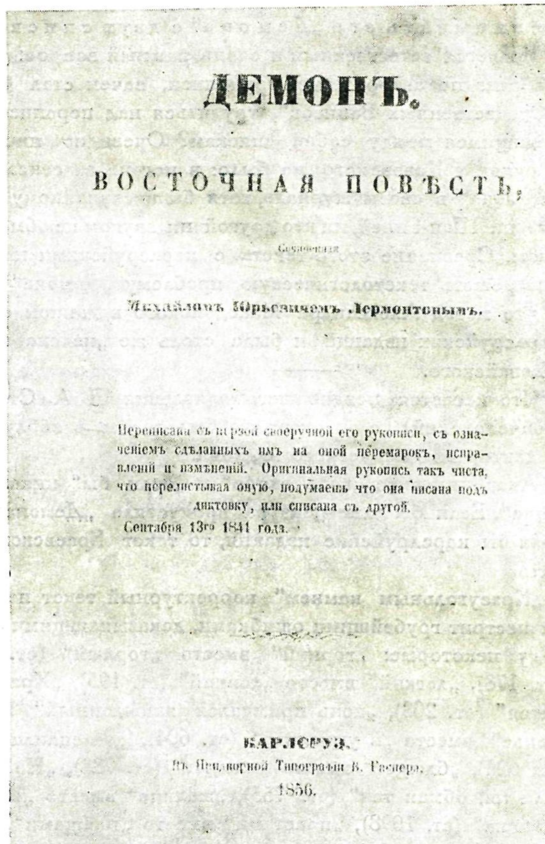
История карлсруйских изданий, по словам редактора, „очень неясна и загадочна"; Д. А. Столыпин, *по прочтении статьи Шан-Гирея*, написал Фету, что *последнюю*, написанную и переправленную рукою Лермонтова рукопись „Демона" он действительно получил от Шан-Гирея и передал ее А. И. Философову для напечатания в Карлсруэ. „При теперешних обстоятельствах,—пишет Столыпин,—я один могу засвидетельствовать, что издание „Демона", появившееся в Карлсруэ, есть именно перепечаток с рукописи, данной мне Шан-Гиреем, и которая представляет, по словам его, последнюю исправленную редакцию „Демона", а авторитет А. П. Шан-Гирея во всем, касающемся Лермонтова, должно считать неоспоримым по их близким отношениям".

Это заявление не содержит в себе ничего „загадочного" и вполне поддерживает сделанный выше текстологический вывод. Но далее оказывается, что Столыпин „по ошибке сообщил неправильные сведения Фету о рукописи „Демона" и ч т о с а м ы й в е р н ы й т е к с т и м е н н о т о т, к о т о р ы й с о х р а н и л с я в к о р р е к т у р н ы х л и с т а х „О т е ч е с т в е н н ы х З а п и с о к". Эти слова Д. А. Столыпина сообщил П. П. Кончаловский в письме к П. А. Ефремову (24 февраля 1891 г.)[6].

Это новое заявление Столыпина несколько неожиданно, но оно не вносит никакой „загадки" в историю карлсруйских изданий и даж е не касается их. Уж если что загадочно, так скорее история и смысл самого этого заявления. Кончаловский сообщил Ефремову, что Столыпин заявил ему, Кончаловскому, что он, Столыпин, ошибся...в чем? Вовсе не в том, что карлсруйские издания печатались по автографу Лермонтова, переданному Столыпиным Философову,—об этом в письме нет ни слова. Под чьим-то воздействием Столыпин решил выступить в роли текстолога и заявить, что „самый верный" (т. е. самый последний?) текст „Демона"—корректурный. Возможно, что Кончаловский неправильно понял Столыпина; возможно что Столыпин получил ложную информацию относительно корректур „Отечественных Записок"; несомненно наконец, что Столыпин был плохим текстологом, а потому суждение его о том, какой текст „Демона" с а м ы й в е р н ы й, не имеет для нас никакого значения. Почему в этом вопросе Д. А. Столыпин должен быть для нас авторитетом и судьей? От него как от свидетеля нам достаточно одного факта, нигде не опровергнутого: автограф Лермонтова, исправленный автором в 1841 г., он передал Философову для напечатания в Карлсруэ.

Но редактор академического издания решил действовать иначе. Не вникнув даже в действительный смысл сообщения Кончаловского Ефремову, он решил, что заявление Столыпина снимает все проблемы: корректуры „Отечественных Записок" сохранились—по ним и надо печатать „Демона"!

Какова же история этих корректур? Она гораздо более „неясна и загадочна", чем история карлсруйских изданий. Известно только одно: Лермонтов собирался печатать „Демона" в „Отечественных Записках", но потом раздумал и взял рукопись обратно. Что осталось в руках у Краевского (издателя „Отечественных Записок")—неизвестно. По-


ДЕМОНЪ.

ВОСТОЧНАЯ ПОВѢСТЬ,

Сочиненiя

Михайломъ Юрьевичемъ Лермонтовымъ.

Переписана съ первой своеручной его рукописи, съ означенiемъ сдѣланныхъ имъ на оной перемарокъ, исправленiй и измѣненiй. Оригинальная рукопись такъ чиста, что перелистывая оную, подумаешь что она писана подъ диктовку, или списана съ другой.

Сентября 13го 1841 года.

КАРЛСРУЭ.

Въ Придворной Типографiи В. Гаспера.

1856.

ЭКЗЕМПЛЯР «ДЕМОНА» ЛЕРМОНТОВА, ИЗД. 1856 г.
Публичная Библиотека, Ленинград

сле смерти Лермонтова он хотел сейчас же напечатать „Демона“, но цензура не пропустила полного текста. К этому моменту и относятся корректурные листы поэмы, датированные 9 декабря 1841 г. Самая эта дата и некоторые другие факты склоняют к выводу, что набор поэмы делался в „Отечественных Записках“ по какому-нибудь совершенно неавторитетному списку, после смерти Лермонтова, и что поэтому сохранившиеся корректурные листы не имеют никакого текстологического значения.

Но редактор академического издания думает иначе. Он даже не задается вопросом о происхождении корректуры, а просто заявляет: „Коль скоро корректура поэмы была в руках редактора 9 дек. 1841 г.“, то не появилась она в журнале не по воле Лермонтова, а по цензурным причинам. Отсюда вывод: „если бы не простая случайность в виде цензурного запрещения, то „краеугольным камнем“ всех дальнейших изданий „Демона“ послужили бы „Отечественные Записки“ за январь 1842 г. с их „первопечатным текстом“.

Увы! Так мог думать старик Д. А. Столыпин, но ведь он и не был текстологическим редактором. Дело обстоит совсем не так просто.

VIII

„Коль скоро корректура поэмы была в руках редактора 9 дек. 1841 г.“, толь же скоро мы можем предполагать, что набор делался по какому-нибудь посмертному списку. И в самом деле, 8 февраля 1842 г. Белинский сообщал И. И. Ханенке, что „Демон Лермонтова запрещен в „Отечественных Записках“, где был напечатан целиком“ [7], а 17 марта того же года он писал В. П. Боткину: „Знаешь ли, с чего мне вздумалось разглагольствовать о Лермонтове? Я только вчера кончил пе-

переписывать его „Демона" с двух списков, с большими разницами"[8].

Является естественный и очень важный вопрос: если бы корректура Краевского была набрана по авторитетной рукописи, зачем стал бы Белинский, ближайший сотрудник „Отечественных Записок", трудиться над перепиской „Демона" по каким-то двум расходящимся между собой спискам? Очевидно ничего подлинного или авторитетного в руках у Краевского не было: в погоне за сенсацией он решил поскорее напечатать „Демона" в своем журнале, хотя бы по случайному неавторитетному списку. Характерно, что ни Шан-Гирей, ни кто другой ни звуком не обмолвились об этой корректуре и о Краевском. Сравнение этого текста с карлсруйскими изданиями должно привести к выводу, что решать текстологическую проблему „Демона" по Д. А. Столыпину не приходится и что метод Александра Македонского в данном случае неприменим, хотя бы история карлсруйских изданий и была столь же „неясна и загадочна", как история мидян у Иловайского.

Что касается позднейшего заявления Д. А. Столыпина (если его правильно понял Кончаловский), то он очевидно был введен в заблуждение, как и его последователь — редактор академического издания.

Академические „коль скоро" и „если бы" никак не решают вопроса о тексте „Демона". Если бы даже цензура пропустила „Демона" в журнале, а в 1856—1857 гг. вышли бы карслруйские издания, то текст Краевского все равно пришлось бы забраковать.

„Краеугольным камнем" корректурный текст не мог бы стать просто потому, что и он пестрит грубейшими ошибками, доказывающими недоброкачественность списка. Приведу некоторые: „горний" вместо „гордый" (ст. 55), „призрак" вместо „признак" (ст. 178), „легкий" вместо „ловкий" (ст. 195), „Храпя несется с крутизны" вместо „косится" (ст. 208), „конь примчался запыленный" вместо „запалёный" (ст. 290), „в утешенье" вместо „в умиленье" (ст. 604), „затеплила земля" вместо „затеплился живей" (ст. 624), „блещет" вместо „плещет" (ст. 738), „Но если ты—обман, то я" вместо „Но если ты, обман тая" (ст. 755), „жалкие" вместо „женские" (ст. 765), „дальних" вместо „давних" (ст. 1098), „пластами" вместо „плащами" (ст. 1107). Наконец диалог Тамары с Демоном о боге, отсутствовавший в списке для „высоких особ", отсутствует и в тексте академического издания, а стихи 657—716 взяты из карлсруйского издания 1857 г. без всяких объяснений. Вот вам и „краеугольный камень"! Уж если называть корректурный текст „Демона" камнем, то скорее могильным.

Д. А. Столыпин был очевидно плохим текстологом и слушаться его было рискованно. Ни в одном издании Лермонтова нет тех нелепостей, которые явились в академическом — вроде „запыленного" коня, который удивительным образом несется с крутизны, или вроде слов Тамары: „Но если ты — обман (?), то я... (?)". Самое обыкновенное „читательское" сопоставление (не „средневековое") этого текста с текстом карлсруйских изданий достаточно, чтобы признать корректурный текст недоброкачественным.

Много вопросов возникает еще по поводу датировок лермонтовских произведений. Совершенно неясна например датировка поэмы „Сашка" (текст которой, надо кстати сказать, тоже очень неавторитетен). Датировалась поэма обычно 1836 г., но дата эта очень подозрительна; есть основания относить ее к 1839 г. Подозрительна также датировка „Измаил-Бея" 1832 г., неясны даты некоторых лирических стихотворений и т. д.

Многие стихотворения Лермонтова остаются до сих пор загадочными, потому что неизвестны их адресаты. Так например, не установлено, кто такая Н. Ф. И. (Иванова?), к которой обращен целый цикл стихотворений 1831 г. и которая сыграла в эти годы не менее важную роль в жизни Лермонтова, чем впоследствии В. А. Лопухина. Относительно одного стихотворения 1836 г., остававшегося до сих пор тоже загадочным, можно высказать довольно убедительную и интересную догадку. Я имею в виду стихотворение начинающееся словами: „Великий муж! Здесь нет награды" (первая строфа оторвана). Сопоставление разных фактов приводит к тому, что это стихотворение обращено к П. А. Чаадаеву и написано после известной истории по поводу его „Философического письма"[9]. Прежними биографами и редакторами вообще не учтена связь Лермонтова с кругом лиц, образовавших в конце 30-х годов „кружок шестнадцати", свя-

ванных через И. С. Гагарина, с Чаадаевым. Обследование этого кружка — очередная задача биографии Лермонтова. Здесь разрешение вопроса о среде Лермонтова, оставшейся до сих пор загадкой.

Для подлинно-научного издания Лермонтова требуется еще много редакторской работы. Ощущается нужда и в новом историко-литературном исследовании творчества Лермонтова. Его личность и биография привлекли к себе на протяжении последних лет внимание многих беллетристов (Павленко, Большаков, Сергеев-Ценский и др.), но научных работ было очень мало и все они более или менее устарели. Между тем поэзия Лермонтова совсем не устарела и продолжает воздействовать на новых поэтов (например на Пастернака). То же самое относится и к его прозе. Надо надеяться, что подготовляемое к печати новое издание (уже не в одном томе, а в пяти), во-первых, преодолеет наконец традицию дореволюционного академического издания и, во-вторых, послужит поводом для исследований вопросов литературной биографии и творчества Лермонтова.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] До того были неполные собрания: 1842 г., 1847 г. (Смирдина), 1860 г. (под ред. С. Дудышкина, повторенное в 1863 г.), 1873 г. (под ред. Ефремова, повторенное в 1880, 1882, 1887 и 1889 гг.).

[2] В 1916 г. (успели выйти вторым изданием тт. I, II, и III).

[3] Эта новая редакция „Маскарада" напечатана в т. III „Полного собрания сочинений М. Ю. Лермонтова", выпускаемого изд-вом „Academia" (под редакцией Б. М. Эйхенбаума).

[4] „Методологические замечания о тексте" „Демона", („Известия Отд. русск. яз. и слов." 1913., т. XVIII, кн. 3).

[5] См. статью А. П. Шан-Гирея — „М. Ю. Лермонтов" („Русское Обозрение" 1890, т. IV, август) и две статьи П. К. Мартьянова — „Новые сведения о М. Ю. Лермонтове" и „Висковатовский список поэмы М. Ю. Лермонтова „Демон" (в книге „Дела и люди века", т. II, 1893 г. и т. III, 1896 г.). Статьи Мартьянова сами по себе — источник не авторитетный, но в них приведены не внушающие сомнений и совпадающие с сообщениями Шан-Гирея показания Д. А. Столыпина.

[6] Цитаты из писем Столыпина к Фету и Кончаловского к Ефремову приведены в академическом издании без указания источников. Надо полагать, что письма эти находятся в чьих-нибудь частных руках.

[7] „Письма", т. II (СПБ., 1914), стр. 278.

[8] Там же, стр. 284. Первая цитата в академическом издании есть, а второй нет.

[9] Подробную аргументацию см. в комментарии к этому стихотворению т. II „Полного собрания сочинений" М. Ю. Лермонтова, выходящего в издательстве „Academia".

НОВОЕ О ЛЕРМОНТОВЕ

I. ДВА НОВЫХ АВТОГРАФА ЛЕРМОНТОВА

Сообщение Н. Пахомова

В то время как пушкинское наследство непрерывно растет, внося страницы новых стихов и прозы, мы — несмотря на широкое опубликование массы архивных документов за последние 15 лет — почти не встречаем среди них имени Лермонтова. Поэтому всякие сведения о Лермонтове и каждая его новая строчка особенно ценны для нас.

Публикуемые ниже автографы двух набросков стихотворений М. Ю. Лермонтова [1] попали ко мне в руки среди других архивных материалов, принадлежавших ранее Елизавете Алексеевне Карлгоф, по второму мужу Драшусовой. Среди этих материалов, состоящих из писем Дениса Давыдова, Е. Баратынского, пачки писем и стихотворений В. Бенедиктова, центральное место занимает альбом самой Е. А. Карлгоф, в котором встречаются имена всех тогдашних знаменитостей литературного и артистического мира.

Елизавета Алексеевна Ашанина, вышедшая затем замуж за писателя Вильгельма Ивановича Карлгофа, а после его смерти за профессора астрономии Московского университета А. Н. Драшусова, оставила свои воспоминания, напечатанные в «Русском Вестнике» за 1881—1884 гг. под заглавием «Жизнь прожить — не поле перейти. Записки неизвестной».

После замужества она попадает в Петербург и оказывается невольной хозяйкой литературного салона, который посещает весь литературный и артистический Петербург.

Впрочем я должен оговориться, что название салона пожалуй и не совсем подходит к тем литературным обедам и вечерам, которые устраивали у себя Карлгофы, так как эти вечера не носили того регулярного характера, как например вторники Каролины Павловой, среды Карамзиных, пятницы Краевского, субботы Жуковского и т. п.

Дом Карлгофов был очевидно тем гостеприимным домом, куда охотно съезжались

Воспоминания пестрят подобными заметками:

«19 октября, день нашей свадьбы, мы праздновали вечером, на котором было более ста человек». «7 ноября у нас был обед, на котором присутствовали Крылов, Кукольник, К. Брюллов, барон Розен, барон Зебах, Н. Полевой и многие другие».

Обратившись к воспоминаниям Драшусовой, мы сразу видим, какая огромная разница существует между ними и воспоминаниями хотя бы Смирновой и Панаевой. Там целый ряд метких, порой несправедливых, но подсказанных умом, желчью, темпераментом характеристик, масса интересных бытовых деталей и подробностей. Здесь — сухое, кичливое перечисление великих имен и ни одного штриха, ни об одном человеке, попавшем в поле зрения автора воспоминаний.

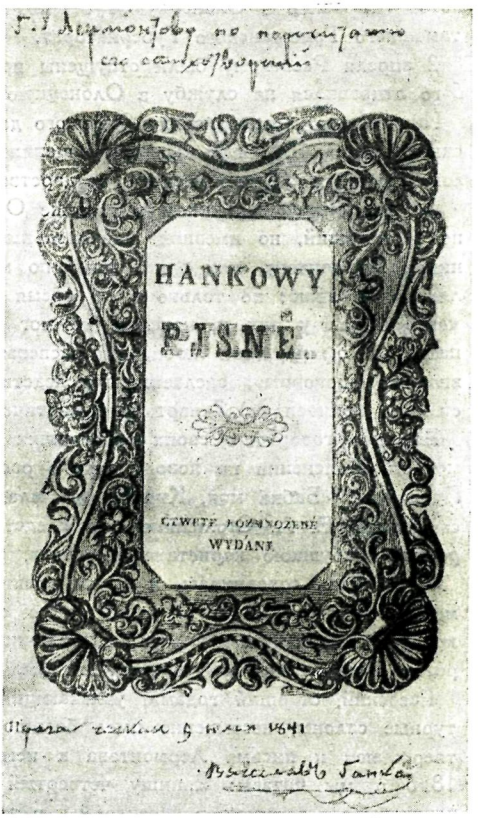
Она видела Крылова, Сенковского, Давыдова, Жуковского, Брюллова, Вяземского, Полевого, Булгарина, наконец Пушкина, но ничего, кроме сухого перечисления этих имен вы не найдете в ее воспоминаниях.

Если о смерти Пушкина у автора воспоминаний находится только несколько сухих строк, то понятно, что смерть другого поэта — Лермонтова — должна была пройти и вовсе незамеченной. Действительно в воспоминаниях о нем нет ни строчки.

И только мысль, что без этого имени ее альбом будет неполным, заставляет ее обратиться к С. А. Раевскому, другу Лермонтова, с просьбой прислать ей какой-либо автограф покойного поэта.

ЭКЗЕМПЛЯР КНИГИ
ВЯЧЕСЛАВА ГАНКИ «ПЕСНИ»
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
АВТОРА ЛЕРМОНТОВУ

Публичная Библиотека СССР
им. Ленина, Москва



Святослав (Святополк) Афанасьевич Раевский (1808—1876) был крестником Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, урожденной Столыпиной, бабушки М. Ю. Лермонтова, и в детские годы долго жил в имении Арсеньевой в с. Тарханах, Пензенской губернии, вместе с Лермонтовым, который был моложе его на 6 лет. По окончании курса в Московском университете в 1828 г. он переехал в Петербург, где и служил сначала в Министерстве финансов, а с 1836 г. в Департаменте Государственных имуществ.

П. А. Висковатов в своей биографии Лермонтова [2] пишет, что Раевский был старше Лермонтова года на три. На самом деле Раевский родился в 1808 г., а Лермонтов в 1814 г. Таким образом разница в возрасте была не на три года, а на шесть. Также неверно утверждение Висковатова, что Раевский был университетским товарищем Лермонтова. Раевский окончил Московский университет уже в 1828 г., в то время как Лермонтов поступил в него, согласно прошения, лишь 1 сентября 1830 г., получив свидетельство об увольнении 18 июня 1832 г.

Раевский был близок к литературе и хотя сам ничего не писал, но бывал в кругу литераторов, был довольно близок с А. А. Краевским, издателем «Отечественных Записок» и «Литературных прибавлений» и «Русскому Инвалиду».

К сожалению сведений о Раевском до нас почти не дошло. Все, что мы знаем о нем, — это то, что связано с его именем по делу «О непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского Полка Лермонтовым — «На смерть Пушкина».

21 февраля 1837 г. Раевский был арестован по распоряжению графа П. А. Клейнмихеля за распространение стихотворения Лермонтова.

25 февраля состоялось высочайшее повеление: «лейб-гвардии Гусарского полка корнета Лермонтова перевести тем же чином в Нижегородский Драгунский полк», а губернского секретаря Раевского «выдержать под арестом в течение одного месяца, а

потом отправить в Олонецкую губернию для употребления на службу по усмотрению тамошнего Гражданского Губернатора».

2 апреля Раевскому были отпущены прогоны на три лошади — 83 р. 58 к. — и он 5-го отправился на службу в Олонецкую губернию.

Интересную характеристику Раевского дает в своих записках В. А. Инсарский («Русский Архив» 1873 г.): «По возвращении моем в Петербург, я скоро был сделан столоначальником (Департамента Государственных Имуществ).

Другим столоначальником в том же Отделении был Раевский, кажется, сам ничего не написавший, но имевший значительные литературные связи. Был ли он родственником Лермонтову, или однокашник по месту образования, или, наконец, просто земляк, я не знаю; но только в то время они жили вместе с Лермонтовым. Я весьма часто бывал у них и, конечно, не мог предвидеть, что этот некрасивый, мало симпатичный офицер, так любивший распевать тогда не совсем скромную песню, под названием «поповны», сделается впоследствии знаменитым поэтом. Этот Раевский постоянно приносил в Департамент поэтические изделия этого офицерика».

Вот как говорит о своих отношениях к Лермонтову сам С. А. Раевский в письменном объяснении по поводу дела о распространении стихов Лермонтова «На смерть Пушкина»: «Бабка моя, Киреева, во младенчестве воспитывалась в доме Столыпиных, с девицею Е. А. Столыпиною, впоследствии по мужу Арсеньевою, (дамою 64-х лет, родною бабушкою корнета Лермонтова, автора стихов на смерть Пушкина).

«Эта связь сохранилась и впоследствии между домами нашими, Арсеньева крестила меня в июне в 1809 г. и постоянно оказывала мне родственное расположение, по которому — и потому что я, отличные способности в молодом Лермонтове, коротко с ним сошелся — предложены были в доме их стол и квартира».

Раевский, старший годами, увлекающийся литературой и вхожий во многие литературные салоны, несомненно имел большое влияние на Лермонтова. Это же нам подтверждают и письма Лермонтова к нему. Так в письме из Тархан от 16 января 1836 г. мы читаем: «...пишу четвертый акт новой драмы, взятой из происшествия, случившегося со мною в Москве» [3] и в том же письме: «Я опасаюсь, что моего «Арбенина» [4] снова не пропустили и этой мысли подало повод твое молчание. Но об этом будет». И значительно позже в письме от 8 июня 1838 г. Лермонтов снова сообщает о ходе своих литературных работ своему другу: «Роман, который мы с тобой начали [5], затянулся и вряд ли кончится, ибо обязательства, которые составляли его основу, переменились, а я, знаешь, не могу в этом случае отступить от истины».

Крайне досадно, что не сохранилось писем Раевского к Лермонтову, а его письма к другим адресатам не опубликованы, хотя они могли бы дать много сведений о Лермонтове.

Сам Раевский, хотя и дожил до 1876 г., ни разу печатно не пожелал поделиться своими воспоминаниями о Лермонтове, а биограф и редактор Лермонтова П. А. Висковатов, когда стал работать над Лермонтовым, уже не застал его в живых.

Раевский лишь раз, в 1860 г., узнав, что А. П. Шан-Гирей, родственник и близкий друг Лермонтова, собирается опубликовать материалы о Лермонтове, счел своим долгом прислать письмо Шан-Гирею, в котором благородно умаляет вину Лермонтова перед ним, объясняя, что показания Лермонтова были даны уже после снятия допроса с него и ничего не прибавили к тому, что он сам сказал о себе.

Многое сообщил Раевский словесно Хохрякову, который собирался писать биографию Лермонтова, но так и не написал ее.

Материалами Хохрякова пользовался П. А. Висковатов в своей работе над биографией Лермонтова. Часть этих материалов Хохряков передал в Гос. Публичную Библиотеку, часть подарил Висковатову, который собирался позже передать их той же Публичной Библиотеке.

Как бы то ни было свидетельств Раевского о Лермонтове почти не осталось и Висковатов, собирая материалы для биографии Лермонтова и посетив сестру Раевского — Соловцову, смог прибавить лишь небольшую черточку к взаимным отношениям двух друзей. Вот что пишет он по этому поводу: «Во время поисков за материалами для

биографии Лермонтова, пришлось нам проездом по Мариинско-Сызранской дороге встретиться с сестрою Святослава Афанасьевича, Анной Афанасьевной Соловцовой, рожденной Раевской. Она помнила, как брат ее вернулся из ссылки в Петербург, как была обрадована старушка-мать и как через несколько часов вбежали в комнату Лермонтова и бросился на шею к ее брату. Я помню, как он его целовал и потом все гладил и говорил: «Прости меня, прости меня, милый». Я была ребенком и не понимала, что это значило, но как теперь помню растроганное лицо Лермонтова и его большие, полные слез, глаза. Брат был тоже растроган до слез и успокаивал друга своего» [6].

На просьбу Карлгоф-Драшусовой С. А. Раевский ответил в 1844 г. следующим письмом [7].

«Соображения Лермантова сменялись с необычайною быстротой и как ни была бы глубока, как ни долговременно таилась в душе его мысль, он обнаруживал ее кистью или пером изумительно легко и я бывал свидетелем, как во время размышлений противника его в шахматной игре, Лермантов писал драматические отрывки, замещая краткие отдыхи своего поэтического пера быстрыми очерками любимых его предметов: лошадей, резких физиогномий и т. п.

Для сохранения воспоминаний об этой отличительной черте, Раевский с отличным почтением, посылает Ее Превосходительству Елизавете Алексеевне собственноручный листок Лермонтова, согласно желанию Ее.

10 июля 1844

с. Раевка» [8].

При этом послании был приложен отдельный листок Лермонтова, который мы воспроизводим ниже. На одной стороне этого листка, с несколько оборванными краями, имеются два наброска стихотворений, а другая заполнена неоконченными рисунками, изображающими типичные для Лермонтова головы, наброски лошадей, ружья и всадника, исполненные пером и чернилами.

Никто моим словам не внемлет... Я один.
День гаснет... Красными рисуясь полосами
На запад уклонились туч[ь]и* и камин
Трещит передо мной — я полон весь мечтами,
О будущем... и дни мои толпой
[Безмолвною]** Однообразною проходят предо мной
[С них время]** И тщетно я ищу смущенными очами
Меж них хоть день один отмеченный судьбой!

Мое грядущее в тумане
Было[е]*** полно мук и зла
Зачем [так поздно иль так рано]**** не позже иль не ране
Меня природа создала?
К чему творец меня г о т о в и л
З а ч е м т а к г р о з н о п р е к о с л о в и л
Н а д е ж д а м ю н о с т и м о е й?
Добра и зла он дал мне чашу
Сказал: я жизнь твою украшу
Ты будешь славен межь людей.

[Огонь в уста твои вложу я]****
[Дам власть мою твоим словам]****

---

* В рукописи „тучь" — явная описка: по смыслу следует: „тучи".
** Взятое в квадратные скобки в рукописи зачеркнуто.
*** Буква „е", взятая в квадратные скобки, в рукописи отсутствует. Явная описка.
**** Взятое в квадратные скобки в рукописи зачеркнуто.

И я словам его поверил
И полный волею страстей
Я будущность свою измерил
Обширностью души своей;
С святыней зло во мне боролось
Я удержал святыни голос,
Из сердца слезы выжал я,
Как юный плод лишенный сока,
Оно увяло в бурях рока[х]*
Под знойным солнцем бытия.

Тогда для поприща готовый
Я дерзко вник в сердца людей
Сквозь непонятные покровы
Приличий светских и страстей.

Первый набросок «Никто моим словам не внемлет» является совершенно новым и не имеет отражения ни в одном из опубликованных до сего времени стихотворений Лермонтова.

Что касается второго стихотворения «Мое грядущее в тумане», то его близость с напечатанным во всех изданиях сочинений Лермонтова «Гляжу на будущность с боязнью» совершенно несомненна.

Привожу целиком это последнее, так как для нас интересно и важно их сопоставление.

Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной.
Придет ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей,
Поведать, что мне бог готовил,
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей?

Земле я отдал дань земную
Любви, надежд, добра и зла;
Начать готов я жизнь другую,
Молчу и жду... Пора пришла...
Я в мире не оставлю брата;
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя:
Как ранний плод, лишенный сока,
Она увяла в бурях рока,
Под знойным солнцем бытия

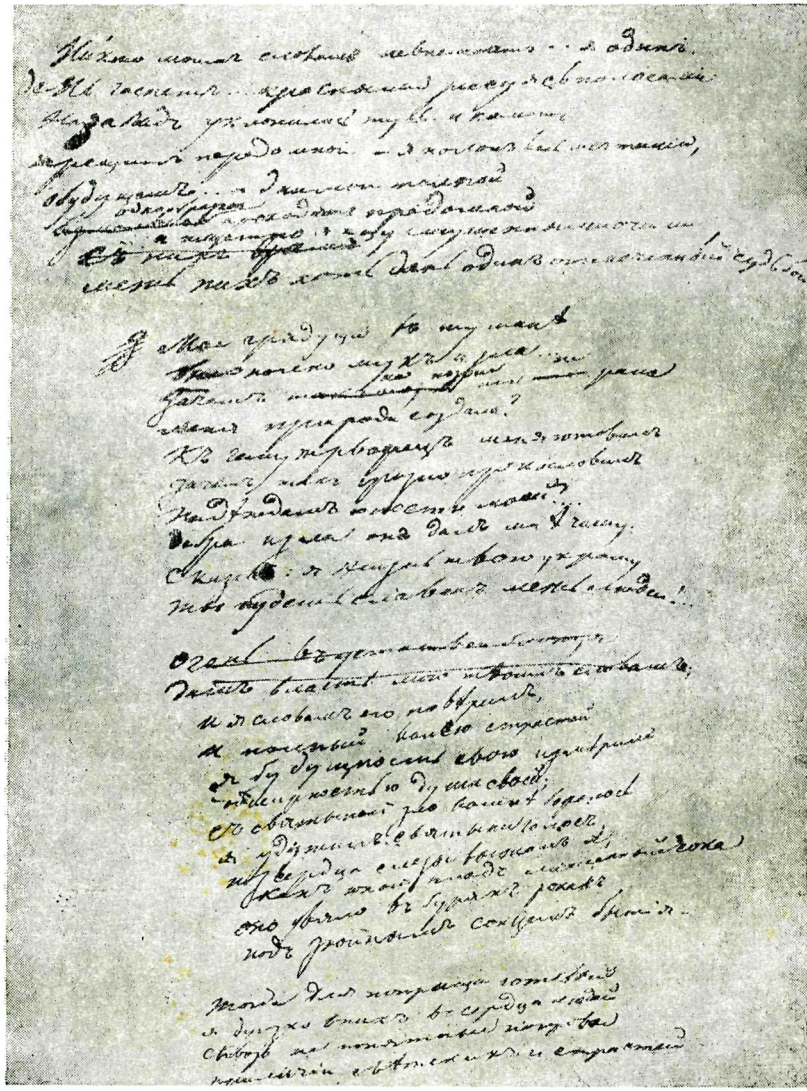
Даже беглое сопоставление этих стихотворений с полной убедительностью показывает, что мы имеем здесь новое стихотворение Лермонтова, написанное ранее и послужившее для возникновения через некоторое время другого, близкого по тематике к первому.

Мы знаем, что Лермонтов вообще в процессе своего творчества сплошь да рядом обращался к своим более ранним творениям, используя их тематику и иногда даже словесные образы.

* В рукописи: „роках" — описка.

Часто одна и та же тема проходит у него период длительного вынашивания и обработки, что мы имеем например с творческой историей «Демона», «Маскарада» и других вещей, до тех пор пока не отольется окончательно в более совершенные и законченные формы.

Иногда он берет целые фразы из своих ранних стихов и набросков и вставляет их в более поздние, иногда тематически довольно отдаленные.



АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА «НИКТО МОИМ СЛОВАМ НЕ ВНЕМЛЕТ...»

Государственный Литературный Музей, Москва

С. Н. Дурылин в своей последней работе «Как работал Лермонтов» (М., 1934) достаточно полно и подробно остановился на вопросе о лермонтовских самозаимствованиях, почему я и не касаюсь этого.

Остается установить, к какому году следует отнести публикуемые нами стихотворения, так как на самом листке нет даты и в сопроводительном письме Раевского на имя Е. А. Карлгоф об этом ничего не говорится.

Поскольку оба стихотворения написаны на одном и том же черновом листке, тем же почерком и чернилами, — мы считаем возможным датировать их одним и тем же годом.

Стихотворение «Гляжу на будущность с боязнью» отнесено и в Академическом издании под редакцией Д. И. Абрамовича и в однотомном издании Государственного

РИСУНКИ ЛЕРМОНТОВА НА ОБОРОТЕ АВТОГРАФА СТИХОТВОРЕНИЯ «НИКТО МОИМ СЛОВАМ НЕ ВНЕМЛЕТ...»
Государственный Литературный Музей, Москва

издательства 1928 г. к 1837 г. Следует отметить, что почти все издания Лермонтова относят его именно к этому году и только в 5-томном издании Елизаветы Гербек, вышедшим в 1891 г. под редакцией И. М. Болдакова, оно отнесено к 1835—1836 гг.

Основанием для такой датировки (к 1837 г.) служит то обстоятельство, что автограф этого стихотворения в тетради Чертковской библиотеки, находящейся в Истори-

ческом музее в Москве, помещен на листе 42-м вместе со стихотворениями: «Она поет и звуки тают», «Кинжал» и посвящением к «Казначейше», которые датируются 1837 г., почему приходится отнести и это стихотворение с весьма большой вероятностью к тому же году.

Публикуемое нами стихотворение «Мое грядущее в тумане» весьма близко к автографу Чертковской библиотеки: совпадающие строчки написаны почти так же, с теми же например башенками над «ятями» и другими особенностями лермонтовской палеографии.

Считать наш отрывок более поздним, чем «Гляжу на будущность с боязнью», у нас нет никаких оснований, так как он гораздо слабее своего опубликованного собрата.

Однако едва ли мы можем отнести наши наброски к 1837 г., году написания «Гляжу на будущность с боязнью», так как мы знаем, что уже в начале этого года, 21 февраля, Раевский был арестован, а затем отправлен в ссылку в Олонецкую губернию, из которой возвратился в Петербург лишь в декабре 1838 г.

Правда, 29 мая 1838 г. ему дается отпуск в Петербург и «к водам морским в Эстляндии», но в это свое посещение Петербурга он очевидно с Лермонтовым не встречался.

По крайней мере рассказ Соловцовой о трогательном свидании ее брата Раевского с Лермонтовым, в котором М. Ю. просил прощения у Раевского, датирует эту встречу концом 1838 года, т. е. временем окончательного возвращения Раевского в Петербург. Психологическая обстановка этой встречи исключает возможность предварительного свидания, так как вся острота и напряженность ее проистекает именно из непосредственности первого свидания.

Таким образом, Раевский с февраля 1837 года и до конца 1838 г. разъединенный с Лермонтовым не мог, естественно, подбирать черновых листков с лермонтовскими набросками.

Однако значительная разница между этими двумя стихотворениями, значительно более слабая редакция первого, заставляют предположить между ними промежуток не менее, чем полгода.

Итак, если, с одной стороны, можно считать доказанным, что сообщаемые стихотворения не могут быть отодвинуты далее начала 1837 г., то, с другой строны, для установления границ на первый взгляд нет никаких оснований.

Здесь приходится обратиться за помощью к биографии Лермонтова, знакомство с которой и документальная датировка многих произведений Лермонтова дают нам возможность определить и эту границу.

Вопреки мнению, высказанному С. Н. Дурылиным в его книге «Как работал Лермонтов», что творчество М. Ю. не распадается, как у Пушкина, на периоды, мы считаем, что и у Лермонтова, хотя и не так четко, как у Пушкина, можно проследить в творчестве несколько совершенно различных периодов.

Годы 1833—1835 падают сначала на пребывание Лермонтова в школе гвардейских прапорщиков, а затем, по выходе из нее корнетом Лейб-гвардии гусарского полка, на усиленную светскую жизнь, когда он, по собственному выражению, не пишет романы, а переживает их.

К этому времени относится и заключительная, довольно неблаговидная концовка его романа с Е. А. Сушковой.

В годы 1833—1834 написаны все его неприличные «юнкерские» поэмы: «Гошпиталь», «Уланша», «Петергофский праздник» и совсем отсутствуют лирические стихотворения.

Но к 1835 г. в нем уже снова пробуждаются основные мотивы его творчества и он работает над «Маскарадом», пишет «Боярина Оршу» и стихотворение «Опять народные витии».

В 1836 г. он пишет «Умирающего гладиатора», «Русалку», «Ветку Палестины», «Как одинокая гробница», «Молитва странника», «Еврейскую мелодию», наконец драму «Два брата» и повесть «Княгиня Лиговская».

Во всех этих произведениях уже звучат мотивы раздумья, горести, ирония против окружающей пошлой действительности и намечается тот перелом, который охарактеризован самим Лермонтовым в его словах «Мое грядущее в тумане, былое полно мук и зла».

Но это мироощущение еще туманно, еще не достаточно выкристаллизовалось, не столь четко и законченно, как в стихотворении «Гляжу на будущность с боязнью» и вообще в целом ряде других стихов того же 1837 г.

Таким образом мы, мне кажется, не ошибемся, если отнесем сообщаемые нами стихотворения именно к 1836 г. Второе из них («Мое грядущее в тумане») является заключительной концовкой к тому, с чем порвал к 1837 г. Лермонтов, и как бы выступлением к тому периоду, который открывается стихотворением «На смерть Пушкина».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В настоящее время автографы эти хранятся в Государственном Литературном Музее.

[2] Сочинение М. Ю. Лермонтова. Первое полное издание В. Ф. Рихтера, под ред. П. А. Висковатова, т. VI., Биография, составленная П. А. Висковатовым М., 1891.

[3] Имеется в виду драма „Два брата".

[4] Первоначальное название „Маскарада".

[5] Речь идет о „Княгине Лиговской".

[6] См. „Вестник Европы" 1887, т. I, стр. 345.

[7] Приводим с сохранением пунктуации и особенностей правописания подлинника.

[8] Письмо Раевского к А. П. Шан-Гирею от 1860 г., опубликованное в „Русском Обозрении" за 1890 г., носит ту же пометку „с. Раевское".

II. НОВЫЕ ПИСЬМА ЛЕРМОНТОВА

Сообщения В. Мануйлова и А. Михайловой

1. ПИСЬМО к Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ

Уволенный „в отпуск по домашним обстоятельствам" приказом по Отдельному гвардейскому корпусу 9 декабря 1835 г. „лейб-гвардии гусарского полка корнет Лермонтов" почти всю зиму пробыл в Тарханах — Пензенском имении своей бабушки Е. А. Арсеньевой и только с 14 марта 1836 г. был опять „зачислен налицо" в полку [1], Гусары в это время стояли в Царском Селе; старая петербургская квартира на Мойке, в доме Ланскова, где с 1832 г. жила бабушка до ее отъезда в Тарханы, теперь была оставлена, и Лермонтову предстояло устраиваться заново. В дни приезда в Петербург он останавливался обычно у известного весельчака и хлебосола Никиты Васильевича Арсеньева, родного брата деда Лермонтова, в доме за Никольским мостом в Коломне. [2]

Повидимому отсюда, вскоре после приезда в Петербург, Лермонтов писал бабушке: „насчет квартиры я еще не решился, но есть несколько на примете; в начале мая они будут дешевле по причине отъезда многих на дачу" и тут же сообщал о покупке лошади у генерала Хомутова за 1580 рублей и, прилагая письмо Григория Васильевича Арсеньева, брата Никиты Васильевича, спрашивал у бабушки, что ему лучше отвечать [3].

Продолжение этой переписки, до сих пор бывшее неизвестным, теперь восполняется письмом Лермонтова, находящимся ныне в Государственном Литературном Музее. Письмо не датировано, но несомненно относится к концу апреля или началу мая 1836 г.

Приводим его текст, сохраняя пунктуацию подлинника и некоторые особенности правописания:

Милая бабушка.

Полагая что вы уже в дороге пишу к вам в Москву; последнее мое письмо от 25-го Апреля я думаю вас не застанет в деревне судя потому как вы хотели выехать и к томужь Андрей получил письмо от жены где она пишет что вы думали выехать 20-го Апреля, также и то что не получаю от вас писем заставляет меня думать что вы уже в дороге. Также я думаю милая бабушка что вы не получили моего письма где я писал вам о письмах ко мне Григорья васильевича,— я все еще жду вашего разрешения если вы получили.— Квартиру я нанял на Садовой улице в доме князя шаховского, за 2000 рублей — все говорят что недорого, смотря по числу комнат.— Карета также ждет вас... а мы теперь все живем в царском; государь и великий князь здесь; каждый день ученье, иногда два.

Ожидаю от вас письма милая бабушка оно разрешит мое недоумение.

Прощайте. Целую ваши ручьки, прошу вашего благословения и остаюсь покорный внук

М. Лермантов.

Письмо писано на обыкновенной почтовой бумаге без водяных знаков; почерк и подпись не вызывают сомнения в его подлинности[4].

Это письмо Лермонтова сообщает несколько новых деталей из его петербургской жизни до первой ссылки. Мы знали раньше со слов А. П. Шан-Гирея о том, что „в 1836 году бабушка, соскучившись без Миши, вернулась в Петербург“ [5]. Теперь мы можем предположить, что она выехала из Тархан в конце апреля, и знаем, что в это время Лермонтов уже приготовил для нее в Петербурге квартиру с каретой.

Речь идет о квартире на Садовой улице, которая также была уже знакома нам по указателю адресов на 1837 год, а также по адресу на записке С. А. Раевского, посланной Лермонтову из-под ареста во время следствия по делу о стихах на смерть Пушкина [6]. На основании этих данных А. Г. Яцевич установил, что дом кн. Шаховского находился на Садовой улице против пожарной части (ныне д. № 61 по ул. 3 Июля). Тогда это был трехэтажный, с небольшим фронтоном дом, надстроенный четвертым этажем в 1875 г. и пятым в 1903 г. [7] Теперь мы находим еще одно подтверждение уже рукою Лермонтова. В этой квартире были написаны знаменитые стихи на смерть Пушкина. Сообщение цены за квартиру — 2000 рублей в год — любопытная деталь для характеристики материального быта Лермонтова.

В письме упоминается Андрей Соколов — камердинер Лермонтова из тарханских крепостных. Он был безотчетным казначеем Лермонтова и сопровождал поэта не только до его смерти, но и в 1842 г. перевозил гроб Лермонтова из Пятигорска в Тарханы. Андрей Соколов был повидимому хорошо грамотным человеком. 18 октября 1835 г. Арсеньева писала о нем Лермонтову: „Скажи Андрею, что он так давно к жене не писал. Она с ума сходит, все плачет, думает, что он болен. В своем письме его письмо положи“ [8].

Григорий Васильевич Арсеньев [9] (р. 15 сентября 1777 г. — ум. 21 сентября 1850 г.), родной брат деда Лермонтова Михаила Васильевича, был елецким помещиком и в 1836 г. по всей вероятности жил уже на покое в отставке, женатый на Наталье Алексеевне, урожденной Викулиной. В цитированном выше предыдущем письме к бабушке Лермонтов между прочим писал: „Лизавета Аркадьевна (Столыпина, дочь Аркадия Алексеевича) едет нынче весной с Натальей Алексеевной в чужие края на год; теперь это мода, как было некогда в Англии; в Москве около двадцати семейств собираются на будущий год в чужие края“.

Мы в праве предположить, что в письме Григория Васильевича, которое так озадачило Лермонтова, шла речь именно об отъезде его жены и племянницы, но к сожалению писем Григория Васильевича Арсеньева к Лермонтову не сохранилось.

Не дошло до нас также и письмо Лермонтова от 25 апреля. Впрочем не исключена возможность того, что эти письма будут обнаружены, ибо нет ничего более ошибочного, чем обычное мнение, что по Лермонтову все открыто и изучено. Значительная часть материалов, в том числе может быть и переписка Лермонтова с А. А. Краевским, несомненно существовавшая, все еще ждет своей очереди. Но к сожалению многое гибнет, так и не увидев света. Так например, сгорел в Тифлисе архив кавказского сослуживца Лермонтова К. Х. Мамацева, в котором были неопубликованные письма Лермонтова [10].

2. ПИСЬМО к С. Н. КАРАМЗИНОЙ

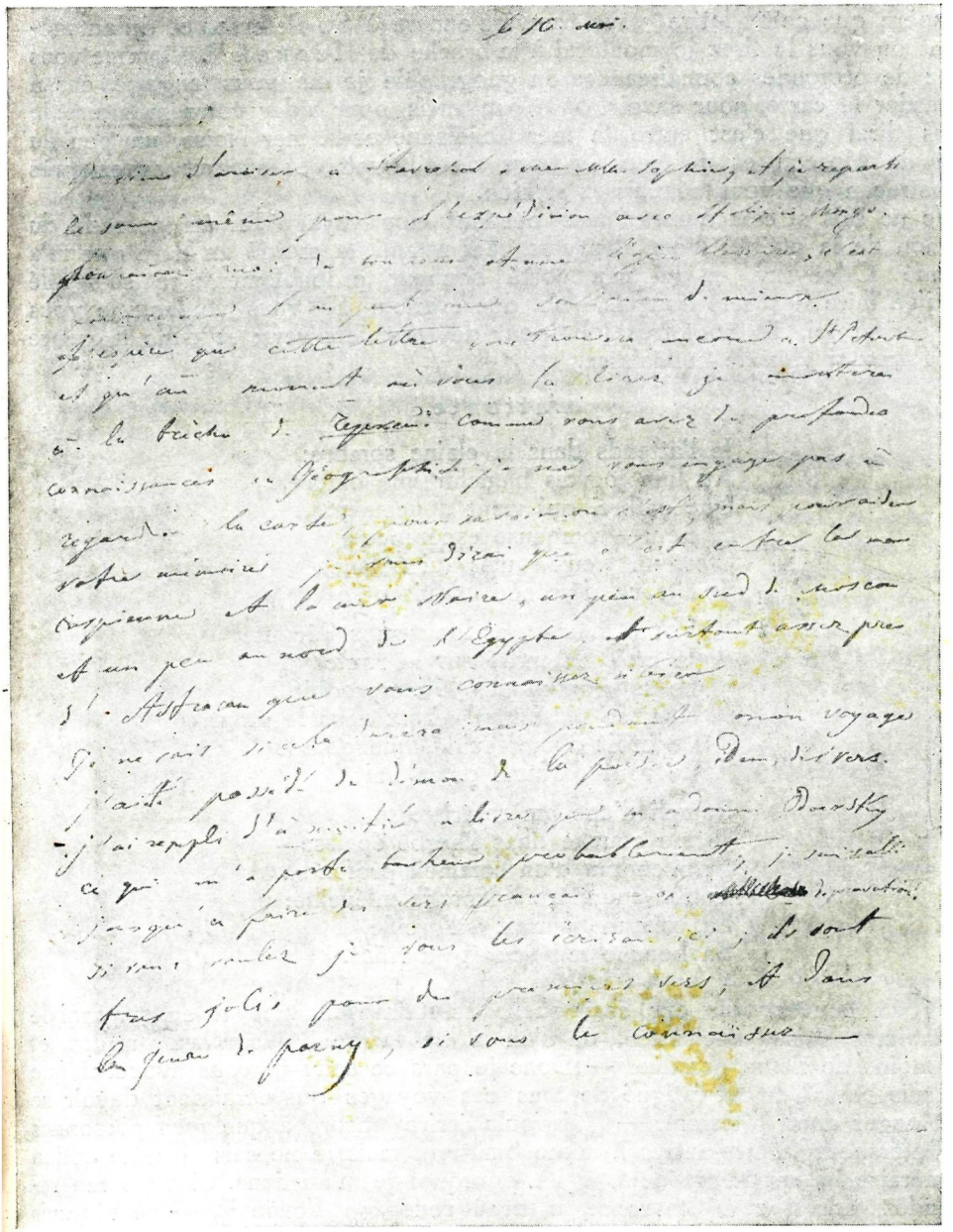
Публикуемое здесь впервые письмо М. Ю. Лермонтова найдено в собрании кн. Н. С. Голицына, принадлежащем архиву Института Русской Литературы при Академии Наук СССР. Хотя конверта при нем не сохранилось, но, без всякого сомнения, оно обращено к Софье Николаевне Карамзиной (1802—1865), дочери писателя и историографа Н. М. Карамзина, умной, образованной женщине, с которой, по свидетельству П. А. Висковатова, поэт „был особенно дружен" в последний период своей жизни. К Карамзиным, в их интимный кружок, состоявший из высоко интеллигентных лиц, *людей мысли и таланта, Лермонтов приезжал „освежиться" от скуки и пошлости так* называемого „высшего света".

„Люблю я разговоры ваши
и „ха-ха-ха" и „хи-хи-хи",
Смирновой штучки, фарсы Саши
и Ишки Мятлева стихи" [11]

признавался Лермонтов, дружески характеризуя этот симпатичный ему, тесно спаянный кружок („Из альбома С. Н. Карамзиной", 1840 г.). Напомним, что из гостеприимного дома Карамзиных опальный поэт отправился и в свое последнее, роковое путешествие—ссылку на Кавказ, где тщетно надеялся укрыться от „всевидящего глаза" и „всеслышащих ушей" царских жандармов. Уже с дороги, из Ставрополя, где он остановился на день, Лермонтов пишет С. Н. Карамзиной. Несмотря на общий шутливый тон, в конце письма явственно звучат нотки горечи и душевной усталости. Очевидно поэта не покидало то угнетенное состояние, в котором он оставил Петербург. По времени написания (10 мая 1841 г., за два месяца до смерти) это — последнее из дошедших до нас писем Лермонтова, вернее—одно из последних, так как письмо без даты, адресованное бабушке, Е. А. Арсеньевой, тоже из Ставрополя, и до сих пор считающееся последним письмом безвременно погибшего поэта, написано в один день с письмом к С. Н. Карамзиной, что становится ясным из сравнения обоих писем.

Приводимое в письме к Карамзиной стихотворение на французском языке представляет собою воспройзведенйе текста этих стйхов впервые опубликованных П. А. Висковатовым в 1887 г. (в „Русской Старине", кн. V), после чего неизменно помещалось в каждом собрании сочинений поэта. Интересно, что до появления статьи Висковатова самая принадлежность его Лермонтову оспаривалась, так как предполагали, что автором его был какой-то неизвестный французский поэт, Лермонтов же якобы только списал это стихотворение с целью перевести его. Сравнительно с обычно печатаемым по автографу Государственной Публичной Библиотеки (альбом кн. В. Ф. Одоевского) текстом, в письме к Карамзиной в данном стихотворении есть лишь две незначительные особенности: оно имеет заглавие — „L'attente" (обычно называется по первой строфе — „Je l'attends") и в первой строфе вместо „un vieux b o u l e a u" (старая береза) — „un vieux s a u l e (старая ива). В остальном тексты целиком совпадают.

Письмо написано на французском языке, на почтовой бумаге большого формата и содержит $2^1/_2$ страницы, исписанных мелким почерком. Внизу письма — надпись чернилами, вероятно, рукою С. Н. Карамзиной: „в Тингинском" [12]. Очевидно, это памятная заметка (Лермонтов служил на Кавказе в Тенгинском пехотном полку с 13 апреля 1840 г. и умер в чине поручика этого полка).



ПИСЬМО ЛЕРМОНТОВА С. Н. КАРАМЗИНОЙ ОТ 10 МАЯ 1841 г. ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

Институт Русской Литературы, Ленинград

Le 10 mai

Je viens d'arriver à Stavropol, chère m-lle Sophie, et je reparts le jour même pour l'expédition avec Stolipin Mongo. Souhaitez moi le bonheur et une légère blessure, c'est tout ce que l'on peut me souhaiter de mieux. J'éspère que cette lettre vous trouvera encore à St. Petersb. et qu'au moment où vous la lirez je monterai à la breche de Черкей [13]. Comme vous avez de profondes connaissances en géographie je ne vous engage pas à regarder la carte, pour savoir où c'est; mais pour aider votre mémoire je vous dirai que c'est entre la mer Caspienne et la mer Noire, un peu au sud de Moscou et un peu au nord de l'Egypte, et surtout assez près d'Astracan que vous connaissez si bien.

Je ne sais si cela durera; mais pendant mon voyage j'ai été possédé du démon de la poésie, idem, des vers. J'ai rempli la moitié un livre que m'a donné Odoevsky, ce lui m'a porté bonheur probablement; je suis allé jusqu'à faire des vers français,—oh! dépravation! Si vous voulez, je vous les écrirai ici; ils sont très jolis pour des premiers vers; et dans le genre de Parny si vous le connaissez.

L'attente.

Je l'attends dans la plaine sombre;
Au loin je vois blanchir une ombre,
Une ombre, qui vient doucement....
Et non!—trompeuse espérance—
C'est un vieux saule, qui balance
Son tronc désséché et luisant.

Je me penche, et longtemps j'écoute:
Je crois entendre sur la route
Le son, qu'un pas léger produit...
Non, ce n'est rien! C'est dans la mousse
Le bruit d'une feuille, que pousse
Le vent parfumé de la nuit.

Rempli d'une amère tristesse,
Je me couche dans l'herbe épaisse
Et m'endors d'un sommeil profond...
Tout-à-coup, tremblant, je m'éveille:
Sa voix me parlait à l'oreille,
Sa bouche me baisait au front.

Voux pouvez voir par ceci quelle salutaire influence a eu sur moi le printemps, saison enchantée, où l'on a de la boue jusqu'aux oreilles, et le moins de fleurs possible. — Donc je pars ce soir: je vous avouerai que je suis passablement fatigué de tous ces voyages qui paraissent devoir se prolonger dans l'éternité. — J'ai voulu écrire encore à quelques personnes à Petersbourg, outre-autres à m-me Smirnoff, mais je ne sais si cette action téméraire lui serait agréable, voilà pourquoi je m'abstiens. Si vous me répondez, adressez à Stavropol, в штаб генерала Грабе [14], — je me suis arrangé pour qu'on m'envoye mes lettres — adieu; mes respects je vous prie à tous les votres; et encore adieu—portez vous bien, soyez heureuse et ne m'oubliez pas.

t. à v. Lermontoff.

Перевод:

10-го мая.

Я только что приехал в Ставрополь, дорогая m-lle Sophie, и отправляюсь в тот же день в экспедицию с Столыпиным Монго [15]. Пожелайте мне счастья и легкого ранения,

это самое лучшее, что только можно мне пожелать. Надеюсь, что это письмо застанет вас еще в С.-Петерб. и что в тот момент, когда вы будете его читать, я буду штурмовать Черкей. Так как вы обладаете глубокими познаниями в географии, то я не предлагаю вам смотреть на карту, чтобы знать, где это; но, чтобы помочь вашей памяти, скажу вам, что это находится между Каспийским и Черным морем, немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта, а, главное, довольно близко от Астрахани, которую вы так хорошо знаете.

Я не знаю, будет ли это продолжаться; но во время моего путешествия мной овладел демон поэзии, или — стихов. Я заполнил половину книжки, которую мне подарил Одоевский [16], что вероятно принесло мне счастье. Я дошел до того, что стал сочинять французские стихи, — о разврат! Если позволите, я напишу вам их здесь; они очень красивы для первых стихов и в жанре Парни [17], если вы его знаете.

ОЖИДАНИЕ

Я жду ее в сумрачной равнине; вдали я вижу белеющую тень, тень, которая тихо подходит... Но нет! — обманчивая надежда! — Это старая ива, которая покачивает свой ствол, высохший и блестящий.

Я наклоняюсь и долго слушаю: мне кажется, я слышу с дороги звук, производимый легкими шагами. Нет, не то! Это во мху шорох листа, поднимаемого ароматным ветром ночи.

Полный горькой тоски, я ложусь на густую траву и засыпаю глубоким сном... Вдруг я просыпаюсь, дрожа: ее голос говорил мне на ухо, ее уста целовали мой лоб.

Вы можете видеть из этого, какое благотворное влияние оказала на меня весна, чарующая пора, когда по уши тонешь в грязи, а цветов меньше всего. — Итак, я уезжаю вечером; признаюсь вам, что я порядком устал от всех этих путешествий, которым, кажется, суждено продлиться вечность. — Я хотел написать еще кое-кому в Петербург, в том числе и г-же Смирновой [18], но не знаю, будет ли ей приятен этот дерзкий поступок, и потому воздерживаюсь. Если вы ответите мне, пишите по адресу: в Ставрополь, в штаб генерала Грабе [19], — я распорядился, чтобы мне пересылали письма — прощайте; передайте пожалуйста всем вашим мое почтение; еще раз прощайте — будьте здоровы, счастливы и не забывайте меня.

Весь ваш Лермонтов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Д. В. Ракович, Тенгинский полк на Кавказе. Тифлис. 1900 г. Приложения, стр. 29 и П. Е. Щеголев. „Книга о Лермонтове" вып. I, 1929 г., стр. 226.

[2] М. Н. Лонгинов, Сочинения, 1915 г., т. I, стр. 292—293.

[3] М. Ю. Лермонтов, Полное собрание сочинений под ред. Б. М. Эйхенбаума. 3-е изд. М.-Л. 1929 г., стр. 630.

[4] Установить точную историю письма нам не удалось. В. А. Флёров получил его вместе с другими автографами в 1928 г. от Серафимы Петровны Мошиной, вдовы беллетриста Алексея Николаевича Мошина (1870—1928).

[5] „Русское Обозрение" 1890 г., кн. 8, стр. 738.

[6] П. А. Висковатов, М. Ю. Лермонтов, 1891 г., стр. 247.

[7] А. Г. Яцевич, Пушкинский Петербург, ч. II, Л. 1931 г., стр. 201.

[8] П. Е. Щеголев, Книга о Лермонтове, вып. I, 1929 г., стр. 225.

[9] В лермонтовской литературе о Григории Васильевиче Арсеньеве никаких сведений не сообщается, а вместе с тем точные данные о нем можно найти в „Московском Некрополе", т. I, 1907 г., стр. 57, а также в книге В. С. Арсеньева, Род дворян Арсеньевых (1389—1901 г.) Изд. М. Т. Яблочкова, 1903 г. Тула, стр. 54.

Основные даты его биографии таковы: в 1798 г. — выпущен поручиком в Козловский полк; в 1799 г. — произведен в поручики; в 1803 г. — в штабс-капитаны. В 1805—1806 гг. — капитаном принимал участие в походе Неаполитанского корпуса и был на острове Корфу; затем участвовал с эскадрой Сенявина в десанте и в сражении при взятии крепости и отражении турок на острове Тенедосе в 1807 г., где был контужен. За участие в делах при взятии Измаила и Базарджика награжден орденом Владимира 4 степени, затем находился при блокаде Шумлы и взятии Рущука в 1809—1810 гг. Тогда же Г. В. был переведен майором в Куринский полк и произведен в подполковники в 1811 г.

[10] Известие о гибели архива К. Х. Мамацева получено нами от И. Л. Андроникова.

[11] А. О. Смирнова, урожденная Россет (см. дальше).

Саша — брат Софьи Николаевны, Александр Николаевич Карамзин (1816 — 1888), поэт (стихи в „Современнике" 1843 г., в „Отечественных Записках" 1839 г. и повесть в стихах „Борис Ульин" 1839 г.)

Поэт Иван Петрович Мятлев (1796—1844)—автор юмористической поэмы „Сенсации и замечания г-жи Курдюковой" и ряда песенок. К нему обращено стихотворение Лермонтова „В альбом автору Курдюковой", на которое Мятлев ответил стихотворением „Мадам Курдюкова Л-ву".

[12] Орфография подлинника.

[13] Подчеркнуто Лермонтовым.

[14] Орфография подлинника.

[15] Алексей Аркадьевич Столыпин, прозванный „Монго", — двоюродный брат матери М. Ю. Лермонтова, товарищ по юнкерской школе и близкий друг поэта.

[16] Князь Владимир Федорович Одоевский (1803—1869) — писатель и философ, автор „Русских ночей", друг Лермонтова, подаривший ему 13 апреля 1841 г. свою старую любимую записную книгу с тем, чтобы Лермонтов возвратил ему ее, всю исписанную. Записная книга эта была возвращена Одоевскому 30 декабря 1843 г. родственником убитого поэта Е. Е. Хвостатовым. Теперь находится в Государственной Публичной Библиотеке в Ленинграде.

[17] Парни (1753—1814) — французский поэт, представитель так называемой „легкой поэзии" (poésie légère), отличавшейся эпикурейским настроением. Оказал между прочим влияние на раннее творчество Пушкина.

[18] Александра Осиповна Смирнова-Россет (1809—1882), член кружка Карамзиных, известная в истории русской литературы по своим дружеским связям с Жуковским, Пушкиным и Гоголем. Посетителем ее салона был и М. Ю. Лермонтов, посвятивший ей стихотворение („Без вас хочу сказать так много").

[19] Граббе, Павел Христофорович (1789—1875)—член Союза Благоденствия, привлекался по делу о декабрьском восстании 1825 г. Впоследствии (во времена Лермонтова) —командующий войсками на Кавказской линии и в Черноморьи. Его „Записки" — в „Русском Архиве" (1873 и 1888—1889 гг.).

ПОРТРЕТЫ ЛЕРМОНТОВА

Сообщение Н. Пахомова

Лермонтовская иконография до настоящего времени разработана довольно плохо. Литературы о ней почти не существует, а все заметки, которые появлялись в печати, касались либо отдельных портретов, либо были столь отрывочны и неполны, что не давали возможности составить какое-либо представление об имеющихся материалах.

Многие заметки о портретах Лермонтова пестрели различными ошибками и даже такие серьезные труды как «Подробный словарь русских гравированных портретов» Ровинского, или «Каталог русских иллюстрированных изданий» Обольянинова, не свободны от них.

Вышедшее в 1910 — 1912 гг. академическое издание сочинений Лермонтова под ред. проф. Д. И. Абрамовича, поместив целый ряд обзоров, вроде «Рукописи Лермонтова», «Обзор изданий сочинений Лермонтова», «Обзор художественных работ Лермонтова», «Лермонтов и русская музыка», — обошло совершенно молчанием иконографию Лермонтова, ничего не дав, кроме сухого перечисления воспроизведенных в издании портретов.

Между тем, в лермонтовской иконографии осталось до настоящего времени много невыясненного и спорного.

Портретов Лермонтова до нас дошло вовсе не так уж мало, как это может показаться на первый взгляд. Впрочем, с легкой руки издателя сочинений Лермонтова Глазунова, в руках которого было авторское право до 1891 г., в широкой публике обращались в сущности лишь два портрета Лермонтова. Первый из них — литография с портрета худ. К. А. Горбунова — был приложен впервые к первому тому трехтомного издания «Стихотворений Лермонтова» 1842 г., а затем к изданиям сочинений 1860 г. и 1863 г.

Портрет этот писан акварелью и Лермонтов изображен на нем $^{3}/_{4}$ вправо, по пояс, в армейском мундире, без эполет, с шашкою.

Редактор издания сочинений Лермонтова 1873 г. П. А. Ефремов в своей заметке о портретах Лермонтова ошибочно указывает, что портрет этот писан маслом. Ефремов впадает еще и в другую ошибку, которую вслед за ним повторяют и другие авторы сообщений о портретах. Так, указывая на литографию Pohl in 8^{0} с портрета Горбунова, он говорит, что она приложена к изданию сочинений 1856 г.

На самом деле к этому изданию никакого портрета приложено не было.

В 1883 г. вышел каталог Лермонтовского Музея, составленный А. Бильдерлингом, в котором были перечислены все оригиналы портретов, их копии, имеющиеся в Музее, и изданные с них к этому времени гравюры и литографии. Бильдерлинг, однако, впадает в другую ошибку и приписывает изданию 1856 г. наличие горбуновского, гравированного Иорданом портрета. Так в списке портретов Лермонтова (отдел IX) мы читаем: «№ 10 с того же оригинала гравюра на стали Ф. Иордана 1859 г., приложенная к изданиям сочинений Лермонтова с 1856 г. по 1863 г.».

Сам собой напрашивается вопрос, как может прилагаться гравюра, изданная в 1859 г. к сочинениям, вышедшим в 1856 г.?

В отделе V того же каталога в списке отдельных изданий сочинений Лермонтова при описании издания 1852 г. отмечено: «Недостает портрета, экземпляр ветхий», а при издании 1856 г. «Недостает портрета».

Позднее Обольянинов в своем труде «Русские иллюстрированные издания» в перечне книг, вышедших с портретами авторов, указывает сочинения Лермонтова 1852 и 1856 гг.

Между тем, еще в 1882 г. В. К. Шульц поместил небольшую заметку о лермонтовских портретах, в которой справедливо указал, что, очевидно, при изданиях сочинений Лермонтова 1847, 1852 и 1856 гг. портрета не было; по крайней мере, ни при одном из многих просмотренных им экземпляров изданий этих годов портрета не оказалось.

Пишущий эти строки также просмотрел ряд экземпляров изданий 1847, 1852 и 1856 гг. и тоже портретов не обнаружил. Не были они обнаружены и во всех экземплярах, попадавшихся за все послереволюционные годы у букинистов. Наконец, встретившиеся экземпляры этих изданий в обложках, а 1852 г. и 1856 г. даже необрезанные, окончательно доказали, что их никогда при этих изданиях и не существовало.

Другой, пожалуй, еще более распространенный портрет — акварель работы худ. Клюндера — гравированный на стали у Брокгауза в Лейпциге — был приложен ко второму тому сочинений Лермонтова, изданных под ред. Дудышкина в 1863 г., а затем прилагался не только ко всем глазуновским изданиям Лермонтова вплоть до 1891 г., но и после 1891 г. продолжал быть неизменным спутником большинства лермонтовских изданий сочинений, словно примирив на себе вкусы почти всех издателей.

Лермонтов изображен на нем по пояс в гусарском расстегнутом сюртуке с эполетами, $^3/_4$ вправо.

Художник Клюндер, мы знаем, рисовал для взаимного обмена между офицерами, между прочим для Лермонтова, Хомутова, Потапова, кн. Абамелек и кн. Меньшикова, портреты товарищей по полку. Таким образом должно существовать несколько акварельных портретов Лермонтова работы Клюндера.

Вот что рассказывает П. А. Ефремов по поводу желания Глазунова дать этот новый клюндеровский портрет к изданию сочинений Лермонтова 1863 г.:

«Так как в это время генерал Хомутов жил далеко, кн. Абамелека не было в Петербурге, кн. Меньшиков был за границей, то обратились к Потапову, который и согласился любезно выписать портрет из своего имения. Управляющий спутал и прислал другой портрет, но получен он был в таком испорченном виде, что я не решился подвергать риску портрет Лермонтова. В это время вернулся кн. Меньшиков, который предоставил свой экземпляр для репродукции и с него была дана гравюра в 1863 г.»

Надо сказать, что и относительно этого портрета было допущено несколько ошибок.

У Ровинского в его «Подробном словаре русских гравированных портретов» при описании гравюры Брокгауза в Лейпциге, сделанной с этого клюндеровского портрета, говорится, что она приложена ко всем глазуновским изданиям, начиная с 1860 г., тогда как она первый раз появилась при втором томе издания 1863 г.

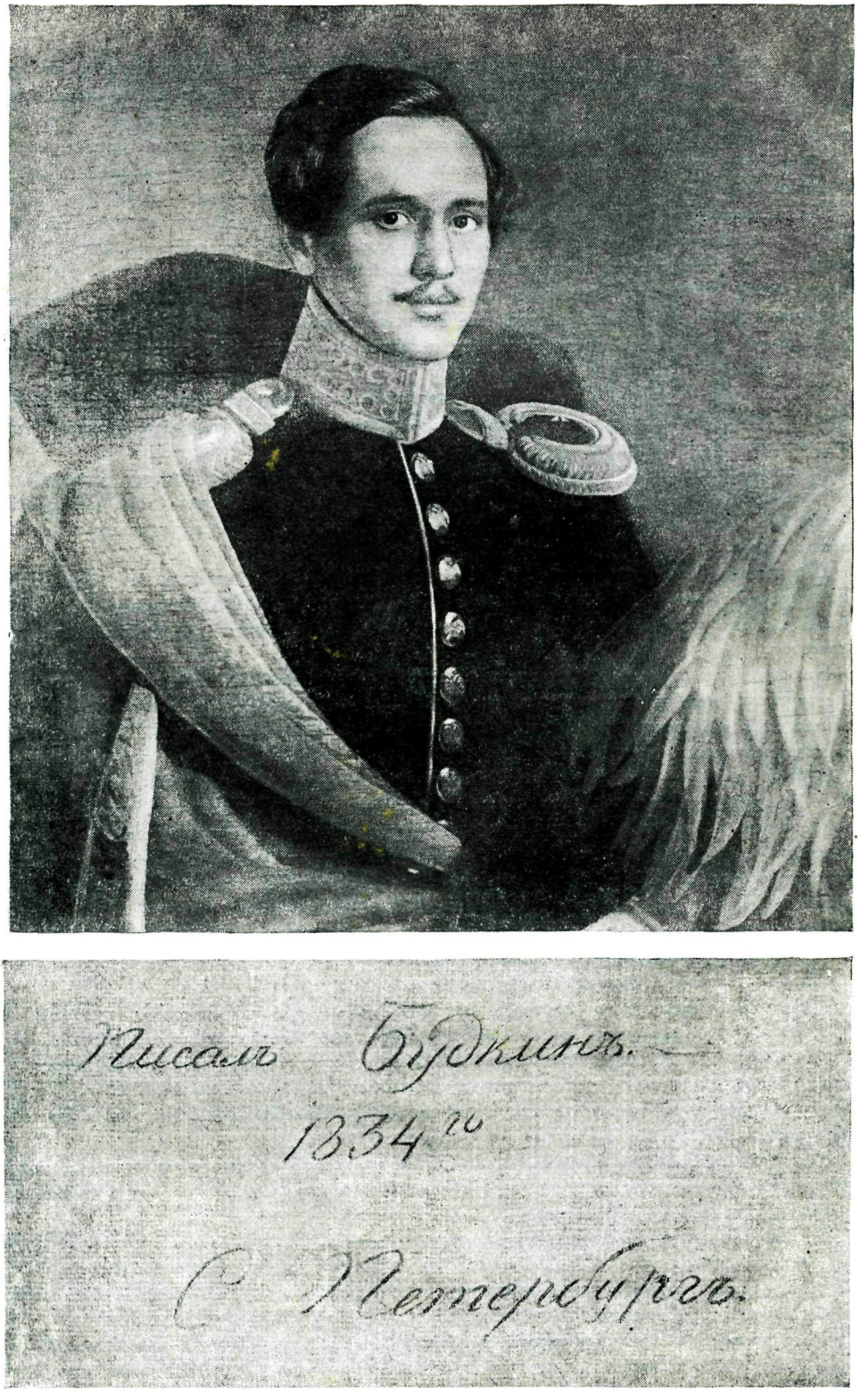
В 1865 г. появился новый портрет Лермонтова, приписывавшийся художнику Захарову, гравюра с фотографии которого, исполненная Брокгаузом в Лейпциге, была приложена к изданию «Песни про купца Калашникова». Лермонтов изображен в мундире, с накинутой на плечи шинелью, с треугольной шляпой с плюмажем около левой руки.

Портрет этот Глазунов хотел было издать отдельно, но так как отдельно изданные портреты в России вообще не расходились, а изданий Лермонтова тогда не предполагалось, Ефремов уговорил Глазунова издать его при «Песне».

Однако портрет этот, несмотря на восторженный отзыв М. Лонгинова, успеха не имел и остался как-то незамеченным и во всех дальнейших изданиях никогда почти не воспроизводился, кроме издания «Печатника» под ред. Каллаша.

Отсутствует он и в академическом издании, в котором даже не упомянут. Совсем недавно портрет этот был издан открыткой.

В 1873 г. в «Русской Старине» была помещена следующая заметка: «Известно, что все изданные до сих пор портреты нашего знаменитого поэта, не выключая и того, который гравирован с акварели, принадлежащей кн. Меньшикову, и приложен к по-



М. Ю ЛЕРМОНТОВ
Портрет работы Будкина, 1834 г.
Музей им. Тютчева, Мураново

следним изданиям сочинений Лермонтова, — весьма плохи. Выразительное лицо автора «Героя нашего времени» и полные ума и прелести глаза его вовсе не переданы гравюрами и литографиями, до сих пор печатающимися с наименованием портрета Лермонтова: на них является какой-то дюжинный офицер, с самой пошлой физиономией. В виду этого, читателям «Русской Старины», конечно, приятно будет узнать, что наше собрание портретов обогатилось совершенно случайно превосходным подлинным акварельным портретом Лермонтова. Портрет этот сделан, как значится из подписи на нем, в сентябре месяце 1839 г. художником Клюндер. Этот подлинник в общей коллекции трех акварельных портретов офицеров лейб-гусарского полка 1838 — 1849 гг. принадлежал товарищу Лермонтова по полку В. Д. Бакаеву (ум. в 1871 г.). Бакаев незадолго до своей кончины подарил все собрание Николаю Петровичу Васеньеву, который весьма обязательно предоставил эту интересную коллекцию в собственность «Русской Старины».

В 1875 г. к «Русской Старине» был приложен этот портрет в виде хромолитографии, исполненной у Лемерсье в Париже. Хромолитография эта мало удачна и не очень близка к оригиналу.

Ефремов писал по поводу этого портрета: «Между тем этот портрет, схожий по одежде с оригиналом Меньшикова, существенно отличается в рисовке лица и оборота. Клиндера более сыскать не удалось и выяснить происхождение этой разницы стало невозможно».

В бывшем Лермонтовском Музее имеется лишь портрет Клюндера из коллекции Бакаева, местонахождение же оригинала, принадлежавшего кн. Меньшикову, с которого была сделана гравюра, приложенная затем к изданиям сочинений Лермонтова, нам неизвестно.

Недавно Литературным Музеем в Москве был приобретен акварельный портрет Лермонтова, хотя и не подписной, но, очевидно, работы того же Klündera, но происхождения его выяснить не удалось. Во всяком случае этот последний очень близок к меньшиковскому.

В 1884 г. к «Русской Старине» был приложен портрет Лермонтова, гравированный И. Матюшиным с карандашного наброска, сделанного Д. И. Паленом в июле 1840 г. на Кавказе. На этом портрете Лермонтов изображен по грудь в профиль, в военной фуражке, с чуть пробивающимися усиками и небольшими бачками. Портрет этот находится сейчас в ИРЛИ в Ленинграде, перейдя в него со всем собранием Лермонтовского Музея, куда был пожертвован П. А. Висковатовым.

Вот в сущности почти все портреты, которые были известны на протяжении первых пятидесяти лет со дня смерти поэта. Я говорю почти все, так как я нарочно оставил в стороне некоторые из них.

Так я не упомянул о портрете, написанном масляными красками художником Р. Шведе, на другой день после смерти Лермонтова. Лермонтов лежит мертвым на кровати в рубашке, покрытый простыней. Портрет этот, воспроизведенный литографским способом, был приложен к «Художественному Листку» Тимма (1862 г., № 7). Оригинал был пожертвован Д. А. Столыпиным Лермонтовскому Музею и в настоящее время находится в ИРЛИ в Ленинграде.

Кроме этого портрета имелось в обращении несколько гравюр и литографий, которые, восходя по своему типу к горбуновскому портрету, кое в чем существенно от него отличались.

К таковым относятся прежде всего литография В. Бахман, разрешенная цензором П. фон Крузе к печати 21 января 1858 г. в Москве, на которой изображение Лермонтова очень близко к горбуновскому портрету, но изображен поэт в волосатой бурке, накинутой на плечи.

Затем имеется силуэт Лермонтова с шашкой, в армейском сюртуке, без эполет, близкий тоже к горбуновскому, вошедший в серию «Теневые портреты русских писателей (для вырезывания и отражения на стене или потолке). Второе значительно улучшенное издание В. А. Попова. Цена 40 коп. Дозволено цензурой. Москва 27 февраля 1885 г.».

АВТОПОРТРЕТ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
Акварель, 1837 г.
Третьяковская Галлерея, Москва

На листке с силуэтом поэта цензурная помета: «1 декабря 1884 г. Москва, типолит. И. Н. Кушнерева и К-°».

Помимо этих «разночтений», если можно так выразиться, горбуновского портрета, существуют два гравированных портрета, которые, если и сделаны под влиянием уже известных портретов, то все же являются достаточно самостоятельными. Первый из них приведен у Ровинского под № 5: «Гравюра по способу Колласа, отпечатанная в Экспедиции заготовления государственных бумаг. Лермонтов изображен по грудь, 1/2 влево, в сюртуке с эполетами. Второй — фотогравюра Шерера и Набгольца (ценз. разреш. 29 декабря 1884 г.) с портрета, рисованного И. Астафьевым. Лермонтов изображен молодым, почти en face в бурке, из-под которой видны газыри черкески. Вдали в тумане горы».

Большинство портретов Лермонтова воспроизводилось без указания, с оригинала, с копии, или с фотографии дается репродукция, а в тех случаях, когда это и приводилось, никогда не указывалось местонахождение оригинала. Благодаря этому невозможно определить точное количество портретов Лермонтова, не говоря уже о том, что копии портретов в некоторых случаях считались за оригиналы и т. д. Когда в печати проскальзывало какое-либо сообщение о портрете Лермонтова, трудно было сразу сказать, известный ли это уже портрет, затерянный ли это оригинал, или какая-либо новая копия.

Не было сделано ни одной попытки систематизировать весь имеющийся до сего времени материал и составить его описание.

При воспроизведениях того или иного портрета, атрибуция этого портрета какому-либо художнику, дата написания, техника исполнения, наконец местонахождение оригинала, как правило, указывались небрежно, неполно, а иногда и с ошибками, что в дальнейшем только запутывало подлинную историю портрета. Интересно отметить, например, что ни одно из изданий не указывало размер оригинала. Для многих портретов, однако, до сих пор, к сожалению, приходится довольствоваться этими мало авторитетными указаниями.

Ниже, при перечислении портретов, я привожу в некоторых случаях текст этих указаний из разных изданий, при чем для удобства прибегаю к следующим условным сокращениям:

Бильдерлинг — Каталог Лермонтовского Музея Николаевского кавалерийского училища, СПБ., 1883 г.

Академич. — Академические издания сочинений Лермонтова в 5 томах, СПБ., 1910 — 1912 гг.

Щеголев — П. Е. Щеголев — «Книга о Лермонтове», т. I и II. — Л., «Прибой», 1929 г.

Памятка — М. Ю. Лермонтов 1814 — 1914. Издание высоч. утвержд. Комитета по сооружению при Николаевск. кавалер. училище памятника М. Ю. Лермонтова, СПБ., 1914 г.

I. Лермонтов — ребенком. Изображение в натуральную величину поколенное, почти en face в открытом белом платье, в левой руке держит полуразвернутый свиток, в приподнятой правой — карандаш. Холст. Масло. 62 × 52,5. Бильдерлинг: «Кабинетная карточка с портрета писан. маслян. красками в нат. велич. Оригинал принадлежит Столыпину». Академич. Щеголев. Памятка: «по фотогр. с портрета масл. красками, принадлеж. Н. А. Шереметьевой». Оригинал в настоящее время находится в Мурановском Музее (инв. № 82/935), поступив туда от последней владелицы — М. В. Катковой. В ИРЛИ имеется копия масляными красками.

II. Лермонтов — студентом. Лермонтов изображен в штатском двубортном платье; поясной, 3/4 вправо, овал. Бильдерлинг. «Фотография с портрета, рисованного тушью, принадлежавшего Е. А. Хвостовой. Оригинал у А. А. Милюковой, урожденной Хвостовой». Памятка и Академич. «Лермонтов студентом 1831 — 1832 гг. (по фотографии с оригин. портрета тушью)».

Местонахождение оригинала в настоящее время неизвестно.

III. Лермонтов — студентом. Худ. П. Е. Заболотского. Лермонтов изображен сидящим в штатском глухом сюртуке темнозеленого цвета, с красными отворотами на обшлаге. Спиной прислонился к красной подушке, в правой руке сигара. Изображение поясное; 3/4 вправо. На подушке подпись «Заболотский» и славянскими буквами 1840. Холст. Масло. 11 × 9. Оригинал находится в ИРЛИ.

На обороте «Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю», затем другим почерком «Портрет Михаила Юрьевича Лермонтова». Снова первым почерком «писанный в 1839 году г-м Заболотским». Таким образом, на самом портрете есть славянская дата 1840 г., а на обороте год написания указан 1839 г. У Щеголева под воспроизведением этого портрета сказано: «По копии с портрета работы Заболотского из собраний Пушкинского Дома». Прежде всего не совсем понятно, что здесь имеется в виду — копия ли работы Заболотского с чьего-то портрета, или же чья-то копия с портрета работы Заболотского. Заболотский ни в 1839 г., ни в 1840 г. не мог писать этого портрета с натуры, так как портрет этот изображает Лермонтова в 1831 — 1832 гг. Близость этого портрета к другому, рисованному тушью, на котором Лермонтов изображен тоже в штатском платье и в тот же период, говорит за то, что вернее всего Заболотский скопировал этот первый, находившийся у Хвостовой, но внес некоторые отступления.

IV. Портрет работы Будкина, 1834 г. Поясной, 3/4 вправо. Лермонтов изображен в виц-мундире Лейб-гвардии гусарского полка, с эполетами, в накинутой шинели, с бобровым воротником, с треугольной шляпой с перьями около левой руки. Холст. Масло. 79 × 64.

Портрет этот, как я уже указал выше, впервые был издан при «Песне о купце Калашникове» в 1865 г. Об этом портрете М. Лонгинов, лично знавший поэта, писал: «Нам случилось уже указывать в печати на существование оригинала этой гравюры, изображающей Лермонтова в виц-мундире Лейб-гвардии гусарского полка, драпированным шинелью. Мы видали тот оригинал в Саратовской губернии в селе Нееловке, у владельца его, покойного Афанасия Алексеевича Столыпина, родного брата бабки Лермонтова Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Оригинал писан масляными красками, в натуральную величину худ. Захаровым, а гравюра сделана в Лейпциге со снятой с него г. Муренко фотографии. Мы коротко знали Лермонтова, можем отнести этот

портрет к 1839 г. и засвидетельствовать, что он (хотя несколько польщенный, как обыкновенно бывает), очень похож и один может дать истинное понятие о лице Лермонтова. Почитатели его таланта должны быть признательны г-ну Глазунову за такой прекрасный подарок».

П. А. Ефремов — редактор издания сочинений Лермонтова 1873 г. — пишет о нем в своей заметке: «Оригинал, писанный масляными красками около 1836 — 1837 года худ. Захаровым для Столыпина в лейб-гусарском мундире и с треугольной шляпой в руке. 3/4 вправо. Оригинал указан нам Муренко, приславшим потом фотографическую с него копию из Саратова. С него сделана гравюра на стали у Брокгауза in 4^0, приложенная к изданию «Песни про царя», СПБ., 1865 г.». Мнения о схожести этого портрета сильно расходились. Так Лонгинов находил его очень похожим, а Меринский прикрашенным, отдавая предпочтение, как более схожему клюндеровскому из собрания кн. Меньшикова.

Оригинал этого портрета принадлежал А. А. Столыпину и дальнейшая судьба его была неизвестна. Только в недавнее время он поступил в Мурановский Музей от М. В. Катковой из села Тархан.

Обнаружение оригинала дает совершенно новые данные о портрете, в виду того, что на обороте холста оказалась следующая надпись: «Писал Будкин 1834-го. С. Петербург». Надпись эта совершенно противоречит, как мы видим, атрибуции этого портрета кисти художника Захарова. Прежде всего возникает вопрос, ошибочно ли Муренко, снимая с портрета фотографию, приписал портрет без особенных оснований кисти Захарова, не обратив внимания на надпись на обороте холста, или же существовал какой-то захаровский портрет, который исчез, а Будкин писал с него копию. При этом положении, однако, становится совершенно непонятным, как может портрет относиться к 1836 — 1837 гг., когда копия с него сделана в 1834 г. Попробуем разобраться в этой путанице. Припомним, что Лонгинов относит этот портрет к 1839 г., Ефремов к 1836—1837 гг., а портрет Будкина имеет на обороте холста точную дату 1834.

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

Портрет-миниатюра работы неизвестного художника

Государственный Театральный Музей им А. А. Бахрушина, Москва

КАРИКАТУРА
НА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
РАБОТЫ Н. И. ПОЛИВАНОВА

Институт Русской Литературы.
Ленинград

Обратимся к хронологической канве Лермонтова.

22 ноября 1834 г. состоялся приказ о производстве Лермонтова в корнеты Лейб-гусарского полка, в котором поэт и состоял до 27 февраля 1837 г., когда за стихи «На смерть Пушкина» был переведен в Нижегородский Драгунский полк прапорщиком.

11 октября 1837 г. был дан приказ о переводе Нижегородского Драгунского полка *прапорщика* Лермонтова в Лейб-гвардейский Гродненский гусарский полк корнетом.

9 апреля 1838 г. приказом Лермонтов был переведен снова в Лейб-гвардии Гусарский полк.

6 декабря 1839 г. был произведен из корнетов в поручики. В полку этом Лермонтов состоял до 13 марта 1840 г., когда за дуэль с Барантом был переведен в Тенгинский пехотный полк.

На портрете этом Лермонтов изображен в вицмундире Лейб-гвардии гусарского полка с треугольной шляпой с плюмажем, т. е. в той форме, в которой появлялись на балах и вечерах гусары, избегая надевать свой доломан, чтобы не казаться «красными попугаями» в гостиных.

Таким образом, судя по форме, портрет этот может относиться к одному из двух отрезков времени, либо к первому периоду, т. е. с 22/IX 1834 г. по 28/II 1837 г., либо ко второму, т. е. с 9/IV 1838 г. по 13/III 1840 г.

Подпись на портрете «Будкин. 1834-го С.-Петербург», вполне соответствует послужному списку Лермонтова и логически является вполне обоснованной, так как вполне понятно желание бабушки запечатлеть внука в только что надетой офицерской форме блестящего гвардейского полка.

Но как быть со свидетельством Лонгинова, относящего этот портрет к 1839 г., и с указанием Ефремова, относящего его к 1836 г.? Как мы могли уже убедиться из вышеприведенной хронологической канвы Лермонтова, портрет этот к 1836 г. относиться не может. Свидетельство же Лонгинова не противоречит послужному списку Лермонтова.

На гравюре, приложенной к «Песне о купце Калашникове», изданной в 1865 г., Лермонтов изображен с тремя звездочками на эполетах, что свидетельствует о том, что перед нами изображен поручик, а не корнет. Чин этот Лермонтов получил лишь 6 декабря 1839 г.

На портрете Будкина у него одна звездочка, т. е. он изображен в чине корнета, что вполне соответствует надписи на обороте, так как 22 ноября 1834 г. состоялся приказ о производстве Лермонтова в корнеты.

При сличении гравюры 1865 г. с портретом Будкина можно отметить очень небольшие расхождения. На портрете видна левая рука, держащая треуголку с плю-

КАРИКАТУРА НА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА РАБОТЫ Н. И. ПОЛИВАНОВА

Институт Русской Литературы, Ленинград

мажем, на гравюре она не дана. На гравюре воротник виц-мундира расшит шнуром только по концам, а на портрете значительно больше. Наконец на гравюре на эполетах три звездочки, а на портрете — одна.

Однако такие противоречия вполне объяснимы. Граверы часто несколько видоизменяли оригинал. Самой существенной является лишь разница в количестве звездочек. Но это можно объяснить либо тем, что отсылая фотографию с лермонтовского портрета, кто либо из родных подрисовал звездочки, так как Лермонтов умер в чине поручика, либо тем, что гравер не совсем разобрал на фотографии количество звездочек и от себя нарисовал их три, что для иностранца, не разбирающегося в смысле этих звездочек, надо считать вполне возможным.

V. Портрет П. Е. Заболотского 1837 г. Поясной. 3/4 влево. Лермонтов изображен сидящим в кресле, в расстегнутом гусарском, расшитом золотыми шнурами доломане. Справа внизу подпись «Заболотский. 1837 г.». Дерево. Масло. 36 × 28,5. В Памятке инициалы автора портрета указаны ошибочно, как Г. Е. Нигде не указано местонахождение оригинала, ничего не сказано и о том, что существует ко-

пия с этого портрета масляными красками работы известного художника В. Перова, находящаяся в Третьяковской Галлерее.

В каталоге Третьяковской Галлереи указано, что оригинал принадлежит М. В. Катковой. Копия Перова несколько отличается от оригинала. Левая рука не положена на спину стула, как это сделано у Заболотского, а прижата к туловищу. Весь портрет выдержан в более ярких светлых тонах. Все детали проработаны более тщательно, особенно лицо стало более живым. Размер копии 28 × 23, и написана она маслом на холсте.

И копия, и оригинал находятся в настоящее время в Третьяковской Галлерее.

Портреты Заболотского, как и другие портреты Лермонтова, попали к Марье Владимировне Катковой, рожденной кн. Щербатовой, по боковой линии состоящей в родстве со Столыпиными, из села Тархан, которым она владела до революции.

VI. Автопортрет. — 1837 г. Поколенный, 3/4 влево. Лермонтов изображен в черкеске с эполетами, с газырями на груди и накинутой на левое плечо бурке; в правой руке шашка. Сзади в голубой дымке кавказские горы. Акварель. В Памятке: «М. Ю. Лермонтов в 1837 году (с акварельного портрета, сделанного самим автором)». У Щеголева и в Академич.: «Автопортрет Лермонтова в 1837 году (акварельный оригинал хранится в Пушкинском Доме)». На самом деле местонахождение оригинала неизвестно.

В ИРЛИ имеется копия с него, присланная Хохряковым для Висковатова. На этом портрете имеется надпись Висковатова: «Портрет этот представляет копию с собственноручного портрета, сделанного поэтом для Варвары Александровны Лопухиной. Копия удачна вполне, немного разве усилены бугры лба над бровями. Портрет можно считать из самых схожих по уверению Шан-Гирея и Краевского, хотя последний заметил, что в Петербурге Лермонтов не носил столь длинных волос и чесался иначе. Сделан на Кавказе. Пав. Висковатый». Размер 4,8×3,5.

Портрет воспроизведен в красках в Академическом издании Лермонтова (т. I) и при поэме «Демон» с илл. Эберлинга, изд. Голике и Вильборг. СПБ., 1910 г.

Датировка этого портрета 1837 г. не возбуждает никакого сомнения, так как поэт изображен на нем в форме Нижегородского драгунского полка, со столь характерными для него газырями на груди. Это единственный драгунский полк, которому по форме были присвоены с 1834 г. газыри.

Формулярный список Лермонтова подтверждает дату написания этого портрета. Как известно 27/II 1837 г. состоялся приказ о переводе Лермонтова из Лейб-гвардии гусарского полка в Нижегородский драгунский полк, а приказ о переводе в Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк помечен 11/X 1837 г. Таким образом почти весь 1837 г. Лермонтов состоял в Нижегородском драгунском полку.

VII. Автопортрет 1837 г. На этом портрете Лермонтов изображен по пояс, чуть влево, в синем халате с меховым серым воротником с трубкой в руке. Акварель. Налево внизу подпись: «Лермонтов, 1837». 14,5 × 10,5.

История этого портрета довольно интересна. Перед войной в Париже вышел альбом под заглавием «Сто русских деятелей искусства» изд. Lapina. Среди портретов, вошедших в это издание, находился и портрет М. Ю. Лермонтова, дотоле нигде неопубликованный и совершенно неизвестный. Краткая биография поэта, которой был снабжен портрет, была составлена искусствоведом Н. Врангелем. Однако ни в тексте, сопровождающем портрет, ни под самым портретом никакого указания на фамилию художника, исполнившего этот портрет, не имеется.

Портрет прошел почти незамеченным, ни в одном издании, не исключая и академического, он не воспроизведен, нигде не указан и только в академическом в статье Н. Врангеля «Лермонтов-художник» вскользь говорится об «Автопортрете» Лермонтова, без всяких ссылок на размер и местонахождение оригинала, почему и невозможно установить, о каком автопортрете идет речь, так как их два и оба относятся к 1837 г. Самое издательство Лапина не внушало доверия, но участие Врангеля заставляло предполагать, что очевидно имелись какие-то основания считать этот портрет лермонтовским. Наконец, каталог Цветковской Галлереи пролил некоторый свет на

этот таинственный портрет. В каталоге он указан, как автопортрет Лермонтова, а знакомство с самим портретом доказало, что для воспроизведения в альбоме Lapina оригиналом служил, именно, он.

Однако воспроизведение, значительно увеличенное (31 × 18 против 14,5 × 10,5 оригинала) и к тому же отвратительно исполненное, настолько изменило черты поэта, что этот портрет только с натяжкой можно было признать за лермонтовский. Воспроизведение срезав нижнюю часть, на которой находилась подпись, сделало портрет и вовсе загадочным.

Портрет этот в настоящее время находится в Третьяковской Галлерее. Внизу на картоне, на который наклеен портрет, написано: «Мих. Юр. Лермонтов 1814 — 1842 [sic!] с самого с себя» и справа: «Сам М. Ю. Лермонтов, 1837». На обороте портрета, который, к сожалению, обрезан, почему части надписи нехватает, написано:

«Портрет М. Ю. Лермо
исанный собственноручно
амим с самого себя
ред его ссылкою на Кавк
в 837 году
собрание . . . . П. А. Кики
приобретено . . . .
26 августа 18 . . .»

Портрет этот несомненно имеет черты Лермонтова, но представляет нам облик поэта, сильно разнящийся с другими портретами Лермонтова и, главное, далекий от известного уже нам автопортрета, сделанного для В. А. Лопухиной. Однако подпись на акварели «М. Лермонтов — 1837» очень близка к его автографам и не возбуждает особых сомнений, да и наличие на обороте надписи, что портрет этот идет из собрания Петра Андреевича Кикина, с которым был близко знаком поэт, и портрет которого он даже написал, еще раз заставляет поверить в его подлинность.

VIII. Портреты работы Клюндера. Погрудное изображение, 3/4 вправо, в гусарском расстегнутом сюртуке, в эполетах. Акварель. Как я уже сказал, Клюндер сделал несколько портретов Лермонтова для товарищей по полку. Так нам известны следующие его портреты, все близкие друг другу:

а) Портрет из собрания кн. Меньшикова, гравюра с которого, сделанная на стали у Брокгауза в Лейпциге, была сначала приложена ко второму тому дудышкинского издания 1863 г., а затем прилагалась ко всем глазуновским изданиям сочинений Лермонтова. Местонахождение оригинала неизвестно.

КАРИКАТУРА
НА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
РАБОТЫ Н. И. ПОЛИВАНОВА

Институт Русской Литературы,
Ленинград

б) Портрет из собрания В. Д. Бакаева. Был приложен к «Русской Старине» в 1875 г. хромолитографией, сделанной у Лемерсье в Париже. Портрет этот имеет дату и подпись: «Klünder». Оригинал находится в ИРЛИ.

в) Портрет из неизвестного собрания, очень хорошей сохранности, близок к меньшиковскому, без подписи. 19,5 × 15,7. Оригинал в Государственном Литературном Музее в Москве.

IX. Портрет работы П. Е. Заболотского, 1839 г. Карандаш. Портрет этот упомянут в списке портретов Лермонтова в пятом томе академического издания с такой ремаркой: «Не воспроизведен, так как не удалось получить на то право от владельца (П. П. Заболотского)». Местонахождение оригинала неизвестно.

X. Портрет работы Д. П. Палена. Июль 1840 г. Лермонтов изображен по грудь, в профиль, в военной фуражке, с чуть пробивающимися усиками и небольшими бачками. Карандаш. Слева подпись: «Рис. Пален.» Гравированный И. Матюшиным, был приложен к «Русской Старине» в 1884 г.

Непозволительная неряшливость, с какой воспроизводились лермонтовские портреты, блестяще подтверждается еще раз и на этом примере. В «Литературной энциклопедии», изданной уже в наше время, в статье «Лермонтов» воспроизведен этот портрет с безграмотной надписью «С автопортрета».

XI. Портрет работы К. А. Горбунова, 1841 г. — Акварель. У Бильдерлинга об этом портрете сказано: «Оригинал, рисованный акварелью в 1841 году художником К. А. Горбуновым: в армейском сюртуке, без эполет, с шашкою. Портрет этот, сделанный с натуры для А. А. Краевского, остался неоконченным за отъездом Лермонтова на Кавказ и докончен художником уже после смерти поэта. Пожертвовал К. А. Горбунов». У Щеголева: «Лермонтов в 1841 году. С акварельного портрета, исполненного К. А. Горбуновым (портрет испорчен самим Горбуновым, ныне хранится в Пушкинском Доме)».

С него было исполнено много литографий и гравюр. Впервые приложен был к изд. 1842 г., затем к 1860 г. и 1863 г. Кроме того, в «Иллюстрации» за 1861 г.; в «Портретной галлерее русских деятелей» — изд. А. Мюнстера. СПБ., 1869 г., т. II; «Альбоме русских писателей Н. Полевого». М., 1860 г.; в книге «Наши деятели. Галлерея замечательных людей России в портретах и биографиях. Изд. Баумана. СПБ., 1879 г., т. V» и во многих других. Были изданы и отдельные листы с этого портрета, среди которых была литография, очень близкая к нему, но на ней фигурирует отсутствующая в оригинале бурка.

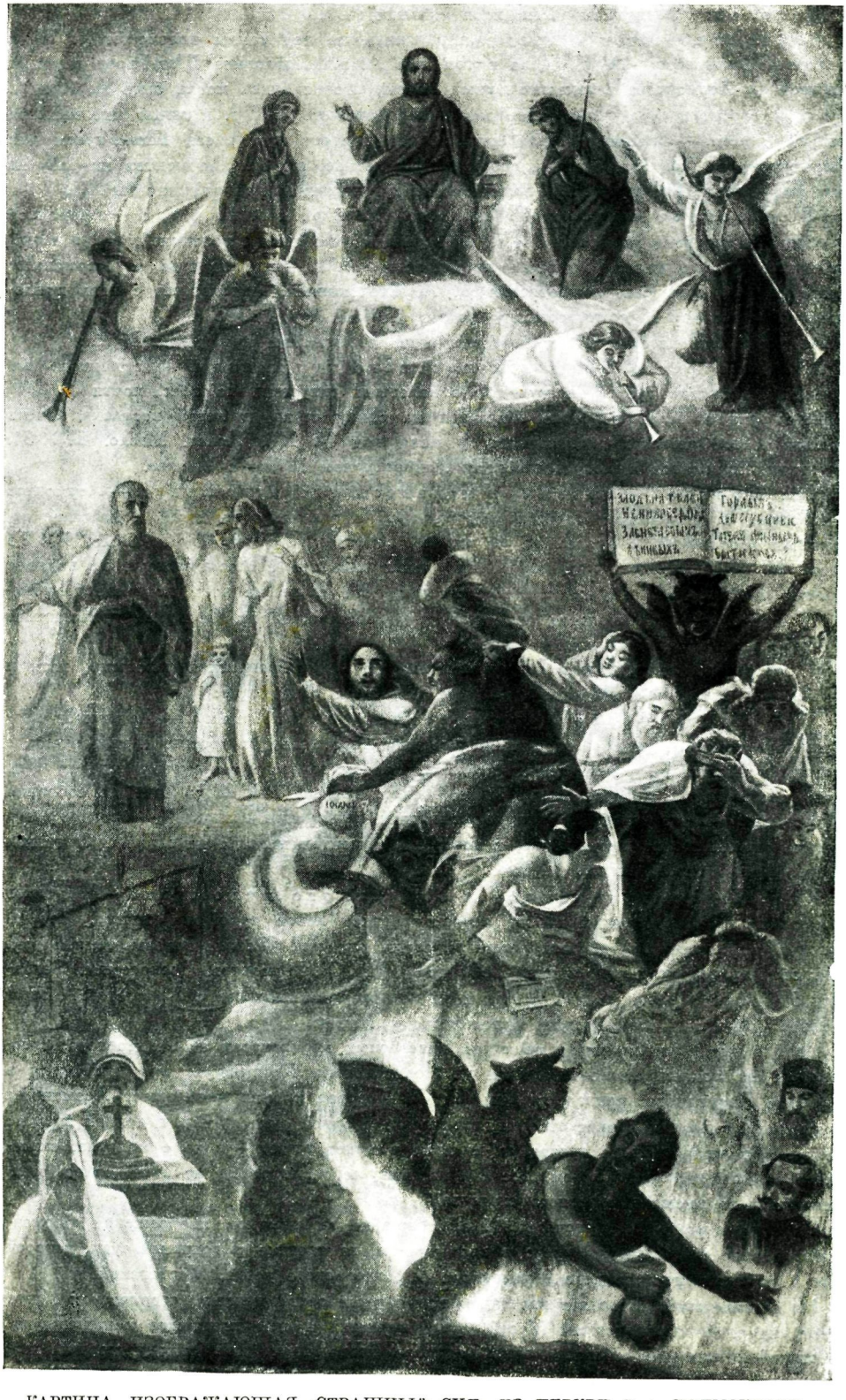
XII. Портрет работы К. А. Горбунова, 1883 г. Лермонтов изображен по пояс, в застегнутом доломане лейб-гвардии гусарского полка, с золотыми шнурами.

Академ. Памятка: — «С портрета маслян. красками работы К. А. Горбунова 1841 г.». У Бильдерлинга в каталоге Лермонтовского Музея такого портрета вовсе не значится, а есть портрет, писанный масляными красками, тем же художником К. А. Горбуновым в 1883 г. в натуральную величину, в том же мундире. Про этот портрет сказано, что он «писан с эскиза, сделанного Горбуновым с натуры в 1841 году и пожертвован музею офицерами лейб-гусарского полка». В Лермонтовском Музее существует лишь этот портрет. О существовании другого ничего неизвестно, и надо думать такого и не было.

С этого портрета была сделана гравюра у Брокгауза в Лейпциге и приложена к четырехтомному изд. сочинений Лермонтова А. Ф. Маркса в 1891 г. Кроме того та же гравюра была издана в большом формате, отдельно, Фельтеном.

XIII. Портрет работы А. П. Шан-Гирея 1841 г. Поясной, ¾ вправо. Лермонтов сидит на стуле в красном лейб-гусарском мундире, левая рука чуть откинута, опирается на спинку стула. Холст. Масло.

Бильдерлинг: «Оригинал, писанный масляными красками в 1841 г. Я. П. Шан-Гиреем, поясной портрет, в одну четверть натуральной величины, Лермонтов сидит в мундире лейб-гусарского полка, расстегнутый. Портрет этот писан Шан-Гиреем на Кавказе для Лермонтова, который подарил его кн. С. И. Ухтомской, урожд. Арнольди, которая пожертвовала этот портрет музею».



КАРТИНА, ИЗОБРАЖАЮЩАЯ «СТРАШНЫЙ СУД» ИЗ ЦЕРКВИ В с. ПОДМОКЛОВЕ
В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ — ЛЕРМОНТОВ
Антирелигиозный Музей, Москва

Щеголев: — Инициалы Шан-Гирея указаны А. П.

Академич. — Как и у Бильдерлинга, инициалы под самим портретом Я. П., а в перечне портретов — А. П. Дело в том, что Акима Павловича Шан-Гирея звали и Якимом (у Лермонтова в письмах Еким), почему первая буква могла быть А, Я и Е.

Портрет этот весьма схож с портретом Заболотского 1837 г. и лично мне кажется копией с него. — Заявление Бильдерлинга, что портрет этот писан Шан-Гиреем для Лермонтова на Кавказе, едва ли соответствует истине, так как Лермонтов ни разу не был на Кавказе, состоя в Лейб-гусарском полку. Оригинал принадлежит ИРЛИ.

XIV. Портрет работы Р. Шведе, 16 июля 1841 года. — Лермонтов изображен мертвым на кровати в белой рубашке, покрытым простыней, в 1/4 натур. величины. Холст, масло. Оригинал находится в ИРЛИ, поступив туда из Лермонтовского Музея, куда был пожертвован Д. А. Столыпиным. Литография с него приложена к «Русскому Художественному Листку» Тимма № 7, 1862 г.

Из портретов, которые стали известны лишь в последнее время, укажем на:

XV. Портрет работы неизвестного художника. — Лермонтов изображен в красном гусарском мундире с золотыми шнурами, по пояс, почти en face, правая рука в белой перчатке опирается на спину стула, в левой перчатка. Очень близок к горбуновскому, описанному у меня под № XII. Холст. Масло. 37 × 31. Оригинал находится в Государственном Литературном Музее в Москве.

XVI. Портрет-миниатюра неизвестного художника. — Лермонтов изображен в офицерском, расстегнутом мундире, с белыми отворотами и красным отложным воротником, с эполетами, 3/4 вправо, погрудный. Овал. Медь. Масло. 9 × 7,5 (инв. № 582). Портрет этот несомненно имеет сходство с Лермонтовым, не подходя близко ни к одному из известных портретов, хотя глаза на этом портрете голубые, в то время как у Лермонтова они были, как известно, карие. Оригинал принадлежит Государственному Театральному Музею.

К портретам, считающимся лермонтовскими, но не являющимися таковыми, хотя и имеющими отдаленное сходство с поэтом, относятся следующие:

XVII. Портрет работы неизвестного художника. — Лермонтов изображен в темном мундире, со стоячим красным воротником, с красными отворотами, с плоскими эполетами, с вензелем Николая I. Волосы зачесаны на височки вперед. Усы чуть пробиваются. Погрудный, 3/4 влево. Холст. Масло. 29 × 24,5. Идет из собрания Щербатова. Очень слабый в художественном отношении. Сходство с Лермонтовым весьма отдаленное и форма полка, в котором Лермонтов никогда не служил. Оригинал принадлежит Историческому Музею.

XVIII. Портрет-миниатюра неизвестного художника.—Лермонтов изображен 3/4 влево, сидящим на стуле, опираясь левой рукой на спинку. Черный сюртук с золотыми пуговицами, белый воротник, эполеты. Темные волосы, темные усы. На обороте надпись: «31 августа 1886 года. М. Ю. Лермонтов. Воскресенье. Заплачен 5 рублей.» Гуашь. 11,5 × 9. Как и на предыдущем сходство с Лермонтовым отдаленное. Оригинал принадлежит Историческому Музею.

Необходимо еще упомянуть об очень интересных карикатурах на Лермонтова, рисованных его товарищем по школе Н. И. Поливановым. Карикатуры эти находятся в альбоме Поливанова, принадлежащем ИРЛИ.—Первая из них изображает Лермонтова в ермолке, в халате, в виде старика, держащего в одной руке рюмку, в другой бутыль; вторая — в виде пьяного гусара со штофом в руке; третья — в виде монгола, скачущего на лошади с пистолетом. Все эти карикатуры очень слабы по своей живописной технике и не имеют портретного сходства.

Остается сказать еще несколько слов о крайне любопытном изображении Лермонтова, в виде грешника, горящего в адовом огне, на картине «Страшный суд», которой была украшена церковь села Подмоклова б. Подольского уезда, Московской губ.

На картине этой, которая в настоящее время после реставрации в Историческом Музее передана в Антирелигиозный Музей, среди горящих в огне грешников помещены известная артистка Семенова и внизу направо гусар с усиками, напоминающий Лермонтова.

ПРИПИСЫВАЕМЫЕ ГОГОЛЮ РИСУНКИ К „РЕВИЗОРУ“

Сообщение А. Некрасова

Гоголю приписываются известные три рисунка к последней сцене «Ревизора»: сложная композиция, краткая композиция и группа Анны Андреевны с Марией Антоновной. Оригиналы их еще в 1915 г. находились в руках наследников Гоголя Быковых и неоднократно воспроизводились, особенно в изданиях сочинений Гоголя под редакцией Тихонравова.

М. Н. Сперанский собрал ряд данных, устанавливающих несомненный интерес Гоголя к живописи и его попытки обучиться последней, оставшиеся незавершенными. Рисунки Гоголя не собраны, почти не изданы и не всегда могут достоверно быть приписаны Гоголю; *приходится доверять лишь рукописям Гоголя и семейным преданиям; ошибки* последних в интересующем нас отношении удостоверены [1].

Сперанский, Лернер и Гнедич усомнились в принадлежности Гоголю рисунков к последней сцене «Ревизора» в виду их весьма высокого качества сравнительно с другими рисунками, приписываемыми Гоголю. Мы в своей статье об Иванове не только отказали в принадлежности этих рисунков Гоголю, но и высказали мысль, что автором их был А. Иванов [2]. Здесь даем нашему суждению более подробное истолкование. Предварительно же заметим, что сам Гоголь дает основание искать автора рисунков. В «Предуведомлении для тех, которые пожелали бы сыграть, как следует, «Ревизора» (полный черновой текст) Гоголь говорит: «Чтобы завязалась группа ловче и непринужденней, всего лучше поручить (искусному) художнику, умеющему сочинять группы, сделать рисунок и держать рис...» (фраза оборвана) [3]. Вряд ли Гоголь под искусным художником в данном случае разумел себя.

Так как «Предуведомление» было написано в конце 1842 г., [4] то вряд ли мы можем относить ко времени более раннему и интересующие нас, к слову сказать весьма искусные, рисунки.

Эта датировка следует также из истории работы Гоголя над текстом «Ревизора», продолжавшейся от 1834 г. по средину июля 1842 г. и составившей шесть редакций, из которых первая была поставлена на сцену в 1836 г., а три позднейшие напечатаны при жизни автора в 1836, 1841 и 1842 гг. Тихонравов, твердо веривший, что рисунки были выполнены Гоголем, также датирует их годом «Предуведомления», т. е. 1842 г. [5]

Гоголь, после постановки «Ревизора» на сцене Александринского театра 19 апреля 1836 г. и на сцене московского Малого театра 25 мая 1836 г., в июне 1836 г. отправился за границу, стремясь прежде всего в Италию, куда, однако, попал лишь в марте 1837 г. За границей Гоголь прожил много лет, с перерывами приездов в Россию. М. Н. Сперанский предполагает, что рисунки к «Ревизору» выполнены в Риме вскоре после 1836 г. [6] В этом предположении излишне лишь слово «вскоре»; оно не идет к протяжению шести лет. Обратим внимание на датировку и содержание «приложений» к «Ревизору». Так отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору, был впервые набросан в апреле 1836 г., т. е. *еще до московской постановки пьесы*, но датирован 25 мая 1836 г., т. е. днем этой московской постановки. Отделан для печати «Отрывок» был в начале 1841 г. [7]. Известно, как ценил Гоголь московскую постановку с М. С. Щепкиным в роли городничего, посвятив этой постановке два этюда: «Развязку Ревизора», написанную в

РИСУНОК К «РЕВИЗОРУ», ПРИПИСЫВАВШИЙСЯ ГОГОЛЮ. МАРЬЯ АНДРЕЕВНА И АННА АНТОНОВНА
Местонахождение оригинала неизвестно

октябре 1846 г., и «Дополнение к Развязке Ревизора», написанное во второй половине 1847 г.[8]. В «Отрывке» 1836—1841 гг. характер последней сцены «Ревизора» слегка намечен автором. Подчеркивая необходимость представить сцену как живую картину, Гоголь предлагает: «Пусть даже балетмейстер сочинит и составит группу». О рисунке, выполненном художником, речи еще нет, как почти нет и подробных указаний на позы каждого из действующих лиц. Упомянуто, что испуг каждого лица должен быть своеобразен. Конкретные указания на группировку даны лишь по отношению к гостям, которые должны представить «даль в картине» и могут остолбенеть однообразно; указания же на позу отмечены только в отношении Добчинского и Бобчинского, обратившихся с онемевшим на губах вопросом друг к другу[9]. Первое указание не находит себе соответствия в рисунках к последней сцене «Ревизора», а второе весьма обще и до некоторой степени соответствует лишь изображению в сложной композиции.

Исходя из этих наблюдений, есть основание думать, что рисунки возникли после «Отрывка» 1836 — 1841 гг., т. е. действительно относятся не ранее, как к 1842 г.

Нет основания относить появление рисунков ко времени создания «Развязки Ревизора» и «Дополнения» к ней, т. е. 1846—1847 гг. В этих этюдах заключается аллегорическое истолкование последней сцены, но нет никаких указаний на сценическое, «живописное» разрешение картины. Еще менее к конкретным образам пьесы относится «Предуведомление к предполагавшимся изданиям «Ревизора» в пользу бедных», написанное в октябре 1846 г.[10].

Гоголь в сентябре 1841 г. уехал из Италии в Россию для издания «Мертвых душ», которые вышли в 1842 г., и вернулся за границу лишь в июне этого года, где и работал над окончательной редакцией «Ревизора» — до средины июля; в Рим Гоголь попадает лишь в начале октября, все время озабоченный печатанием в России «Ревизора» и мелких своих пьес. Очевидно вряд ли раньше этого времени могли появиться рисунки: мы должны связывать рисунки с вышеупомянутым «Предуведомлением» конца 1842 г. Затем Гоголь впадает в пиэтизм и лишь в его плоскости возвращается к «Ревизору» в этюдах 1846 — 1847 гг.

«Предуведомление» 1842 г. дает подробные указания на композицию и позы действующих лиц в немой сцене «Ревизора»[11]; однако, они не соответствуют рисункам.

У городничего, по Гоголю, должны быть распростерты руки и закинута назад голова. В краткой композиции все иначе, в сложной — лишь руки распростерты, вся фигура, с головой вместе, сильно наклонилась вперед. Городничий не откинулся в испуге, а присел.

Затем мы видим указание на компановку сцены: «Посреди городничий, по правую руку за ним жена и дочь, обращенные к нему с испугом на лице; за ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям. За ним Лука Лукич». В сложной композиции жена и дочь находятся по левую руку городничего, почтмейстер же помещен за последним, а не за первыми, при чем фигура почтмейстера обращена не к зрителям и хотя согнута, но не в виде знака вопроса. Такими скорее являются Земляника и судья (слева) и Гибнер (справа).

Лука Лукич действительно изображен на рисунке за почтмейстером, если последовательность изображения считать параллельно протяжению рампы. Все эти фигуры расположены не по правую руку городничего, а по левую.

Хотя краткая композиция не дает подписей под действующими лицами, однако не трудно видеть несоответствие ее описанию Гоголя. По правую руку городничего нет ни жены, ни дочери (которых вообще нет в этой композиции, как и гостей); почтмейстер имеется налицо и даже обращен к зрителям, но вряд ли может быть признан за вопросительный знак. Стоящий влево, вслед за почтмейстером и в непосредственной связи с ним, может быть признан за Луку Лукича Хлопова. По левую сторону (т. е. руку, см. выше) городничего, в описании Гоголя, стоят «Земляника с приподнятыми кверху бровями и пальцами, поднесенными ко рту... За ним судья, присевший почти до земли и сделавший губами гримасу... За ним Добчинский и Бобчинский, уставивши глаза и разинувши рот, глядят друг на друга». В сложной композиции все эти лица стоят по правую руку городничего вместе с другими главными чиновниками города и в ином порядке. Позы их иные: Земляника присел, растопырил руки и сделал гримасу, будучи схож с судьей в описании Гоголя; судья, обратно, несколько похож на Землянику гоголевского описания, но пальцы поднимает не ко рту, а на высоту уха. Добчинский и Бобчинский далеко не обратились друг к другу, не разинули рта и не уставили глаз; последнее может быть отнесенно лишь к одному из них.

Из сказанного очевидно полное несоответствие поз названных лиц описанию Гоголя.

Гости, по Гоголю, должны образовать две группы, из которых одна заглядывает в лицо городничему. На рисунке таковой до некоторой степени является правая группа, однако в этом тоне не выдержанная: во-первых, там есть лица, вовсе не обращенные в сторону городничего, во-вторых, трудно сказать, на кого смотрят некоторые из гостей — на городничего или на его жену и дочь.

Единственным приближением к указаниям Гоголя можно считать третий рисунок, изображающий жену и дочь городничего, может быть обратившихся к нему и стоящих от

РИСУНОК К «РЕВИЗОРУ», ПРИПИСЫВАВШИЙСЯ ГОГОЛЮ. ФИНАЛЬНАЯ СЦЕНА

Местонахождение оригинала неизвестно

него вправо, если только не предположить, что они обращаются к находящемуся в глубине жандарму (Анна Андреевна повернута почти спиной к зрителям). В сложной композиции ни жена, ни дочь к городничему не обращаются; жена к тому же закрыла лицо руками. Достойно замечания, что о жандарме в описании Гоголя не говорится, хотя он-то и должен быть осью сцены, что особенно ясно в сложной композиции, относительно которой даже трудно говорить словами Гоголя: по правую руку городничего, по левую сторону городничего.

Таким образом в описании Гоголя нельзя усмотреть ни текста, по которому делались рисунки, ни текста, выполненного по рисункам. И текст и рисунки вполне независимы друг от друга и восходят лишь к тексту «Ревизора». Но подробности «Предуведомления» 1842 г. и пожелание Гоголя иметь рисунок искусного художника говорят за почти одновременное и несколько более позднее происхождение рисунков, чем текст «Предуведомления». Конечно допустимо предположение, что рисунки представляют новую редакцию сцены, выполненную самим Гоголем.

Под сложной композицией мы находим подписи действующих лиц: Земляника, судья, почтмейстер, Гибнер, сделанные рукой Гоголя. Что означенные рисунки не являются иллюстрацией к тексту издания, а имеют практическое значение помощи для артистов — несомненно. Для полного выяснения вопроса, кому же принадлежат рисунки, следует обратиться к сравнению наших рисунков с другими рисунками, с достаточной достоверностью приписываемыми Гоголю. Один из ранних рисунков Гоголя это — чертеж по фортификации 1828 г., бывший на выставке рисунков Гоголя в 1902 г. в Нежинском лицее и тогда же изданный [12]. Насколько нам известно, этот школьный рисунок является единственным подписным живописным произведением Гоголя из числа сохранившихся; справа в углу мы находим подпись: «чертил N. Гоголь-Яновский». Чертеж этот лишь в деталях сопровождается тем, что может быть названо рисунком, например, маленькими деревьями для обозначения леса и пр. Не может быть речи о художественном моменте в исполнении. Чертеж может быть назван лишь довольно аккуратным, но вполне школьным. Не лишено возможности, что рисунок сделан не Гоголем, что он использовал чужой чертеж, лишь подписав к нему свое имя. Несомненными рисунками Гоголя от поры его ученичества являются кальки и перерисовки в рукописи, называемой «Книга всякой всячины, или подручная энциклопедия, составил Н. Г. Нежин 1826» и хранящейся в Рукописном отделении Библиотеки им. Ленина в Москве.

Кальки сделаны прямо пером; зарисовки — сперва карандашом, а затем уже пером. Но и то и другое выполнено дрожащей, робкой рукой в одних контурах, но без понимания его силы и выразительности. Лишь в немногих случаях мы имеем фигуры людей, — на стр. 217 перерисовку из Мейерберга фигур в одеждах XVII в., значительно понизившую качество оригинальных рисунков, на л. 100 — даму в шляпе, стоящую опершись на пьедестал канделябра. Рисунок крив и кос, совершенно бесхарактерен и детски беспомощен. Нет ни человеческой фигуры, ни ее сочленений, форм и движений, ни пропорций, ни моделировки, ни выразительности. Пьедестал, относящийся к излюбленным архитектурным рисункам Гоголя, столь плохо выполнен, что отлично доказывает удачность этих рисунков Гоголя лишь в случае их копировки с чужих оригиналов. Позднее те же недостатки, что в вышеупомянутом рисунке дамы, обнаруживаются в рисунке куклы под колпаком (см. ниже). Над дамой набросок головы старика, выполненный с тем же качеством. Проф. Зуммером недавно были изданы кальки Гоголя с священных фигурных изображений церковного характера, выполненные весьма грубо и робко, совершенно не идя в уровень даже с дюжинными кальками иконописцев. Все указанные рисунки, особенно копии, взятые из различных альбомов и изданий, говорят лишь об юношеском интересе Гоголя к рисованию, но более, чем посредственны. Наиболее любопытно то, что Гоголь особенно интересовался архитектурными рисунками, в частности готическими. Сюда относятся, например, сделанные им чертежи готических фасадов дома в Васильевке, также повидимому принадлежащие к юношеским работам [13], датируясь 1830 г. [14]. Выполненные акварелью фасады показывают полную беспомощность автора. Бросается в глаза кривизна форм, дрожание и неуверенность руки, полная растерянность перед линией, которая автору положительно не дается. Однако пятна

и мазки также не складываются в согласованный рисунок. Лернер справедливо подобное рисование называет плохим искусством.

Известны и другие архитектурные рисунки и чертежи Гоголя; таковы дорический антаблемент и рисунок цветных стекол на окнах готического стиля, изданные при статье Чаговец «На родине Гоголя» [15], и архитектурные наброски и план усадьбы, изданные в альбоме Хмелевского [16]. Опять мы имеем здесь дело или с посредственными чертежами, или с копированием, или же, в набросках отдельных зданий, с совершенно неумелыми произведениями, обнаруживающими полное отсутствие какой-либо выучки и дарования. Установить дату этих рисунков трудно; лишь интерес к архитектуре вообще и готической в частности говорит за период около того же 1830 г.

Рядом с архитектурными чертежами следует поставить орнаментику. Сюда относится, возможно, выполнение «пестрой» обложки выходившего под присмотром Гоголя издания: «Одоевский. Пестрые сказки. СПБ. 1833 г.»; выполнение — корректное, но не более. Приписывать, как хотят некоторые, Гоголю отдельные мало удачные иллюстрации этого издания нет никаких оснований. Очень плоха по выполнению и крайне бедна по изобретательности известная виньетка титульного листа к изданию «Мертвых душ» 1842 г. Составленная из однообразных и неуклюжих завитков, тяжеловесная виньетка имеет несколько фигурных изображений совершенно кукольного характера, исполненных с тщательностью робких самоучек.

Эти фигурки по их манере весьма близки к рисунку «П. О. Трушковский на охоте», приписываемому Гоголю [17]. Общность руки исполнителей виньетки и указанного рисунка несомненна; стоит посмотреть на трактовку лошади и собак. Рисунок, в сущности, ниже даже дилетантизма, равно как и виньетка.

Мы не знаем даты рисунка; скорее он также принадлежит юности Гоголя — около 1830 г. В эту эпоху Гоголь ходил в рисовальные классы Академии Художеств. Виньетка вполне обнаруживает, что это хождение никакого следа в смысле выучки на рисовании Гоголя не оставило.

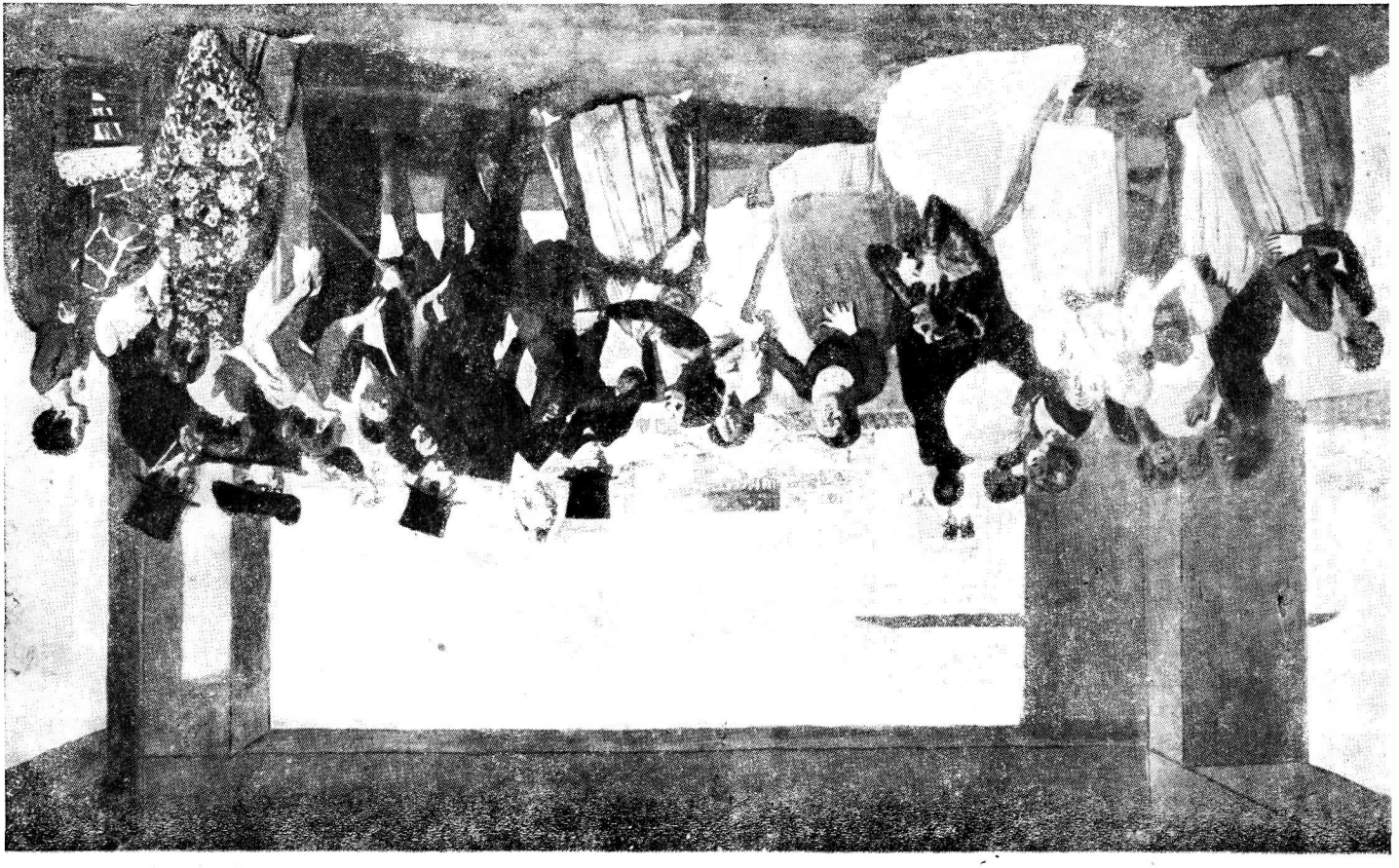
Ко времени после 1831 г. относится набросок портрета Пушкина [18]. Уловив типический профиль Пушкина, Гоголь совершенно не сумел поставить и вообще передать глаз, а также подбородок, хотя и пытался набросать профиль несколько раз. Как и в других случаях, мы видим робость и неуверенность линий и полное отсутствие моделированной формы.

Чрезвычайно типичен в этом отношении рисунок, изображающий куклу под стеклянным колпаком, изданный Сперанским и относимый Лернером к 1833 г.

Все линии дрожат и нередко переходят в сплошные пятна, на фоне которых рисуется форма. Это, впрочем, не значит, что рисовальщик отрицает выражение контурности через линию. Просто мы видим отсутствие какой-либо личной системы или стиля автора. Очень слаба моделировка, что заметно как в передаче юбки, так особенно в передаче изгиба стеклянного колпака справа вверху. Рисунок является небрежным не потому, что автор не был тщателен, а потому, что четкость для него не была доступной. Немногим лучше кавалер и дама из «Всякой всячины». Таким образом с 1826 по 1846 г. рисунки Гоголя обнаруживают единство своего выражения и своих недостатков; не имея своей манеры в смысле сознательного выбора форм или в смысле стиля, эти рисунки все обнаруживают сходственный почерк. Мы вполне присоединяемся к мнению Лернера, что колебаний стиля или, лучше сказать, пестроты техники (по выражению М. Н. Сперанского) у Гоголя нет, как нет и отделывания мелочей. Правда, иногда какая-либо частность вылезает вперед, как это бывает у дилетантов, *не владеющих выражением образа.*

Мы не знаем рисунков Гоголя 1837 и 1839 гг., которые он делал с архитектуры Страссбурга и Рима, в частности, восхищая А. О. Смирнову [19]. Последнее не может служить подлинным доказательством высоты художества Гоголя, так как дело идет об обмене светскими любезностями. Характерно, что и в данном случае мы имеем дело с архитектурными эскизами, выполнение которых более поддается выучке, чем сюжетов фигурных. Их качество не выше того, что дают и другие рисунки в письмах из Германии.

Мы должны как нечто особенное отметить два рисунка Гоголя на библейские темы (сон Иосифа и Моисей), из которых последний был издан [20]. Дело не в том, что ри-



сунок является сухо академичным, а в том, что он значительно грамотней всего того, что мы уже видели, и составляет, таким образом, исключение среди рисунков Гоголя. Исключением является и сама тематика со всем отсюда следующим, т. е. необходимостью *компановки, рисунка фигур, моделировки, света и проч. и проч.* В 1830 г. Гоголь ходил в рисовальные классы Академии Художеств; к этому времени справедливо относят вышеупомянутые рисунки, оставшиеся незаконченными. Вопрос в том, сколько в этих рисунках гоголевского? Нет ли здесь корректур преподавателя, а еще скорее — того оригинала, с которого возможно копировал Гоголь?

Тем не менее и в этих рисунках видна робость в передаче формы и линии и большеголовость коротких фигур, что так типично для ученического рисунка. Однако отмывка рисунка представляется удачной и вероятно мало самостоятельна.

Не представляет трудности видеть, что рисунки к последней сцене «Ревизора» решительно во всем противоречат всем остальным рисункам Гоголя.

Следует указать, что обычно издающиеся рисунки представляют копировку Тарасенкова, исказившую форму. В своем подлинном виде рисунки были изданы раз [21]; все три рисунка помещены на одном листе; внизу сложная композиция, вверху: слева краткая, справа — городничиха с дочерью. Искажение Тарасенкова заключается в том, что он все фигуры сделал более четкими, более графичными, что повело даже к некоторому искажению в выражении лиц. Также Тарасенков позволил себе внести ряд внутренних контуров и изменить беглость и незаконченность подписей Гоголя под сложной композицией, закончить их и даже в одном случае превратить в каллиграфическую надпись (справа слово «гости»).

Тем не менее в рисунках поражает нечто, другим, подлинным произведениям гоголевского рисования несвойственное: 1) исключительная виртуозность композиции; 2) соразмерность в структуре каждой фигуры; 3) типическая выразительность при передаче мгновенно застывшего движения; 4) равновесие в постановке фигуры (см. например две фигуры, опирающиеся на иллюзорно воспринимаемую стену в сложной композиции справа); 5) строгое единство техники рисунка, построенного главным образом на внешних контурах, с немногими внутренними и почти вовсе без оттушовки. Было высказано правдоподобное предположение, что рисунки подготавливались для акварелей.

Совершенно очевидно, что рука Гоголя в этих рисунках авторства не имела. Все влечет к какому-то крупнейшему художнику, и этим художником мог быть только Иванов. На эту мысль наталкивают отношения Иванова и Гоголя между собой, на чем мы должны несколько остановиться, ограничиваясь впрочем лишь интересом к «Ревизору».

Весной 1837 г. Гоголь уже был в Риме и, уже тогда познакомился с Ивановым, но сошелся с ним не ранее как к осени 1838 г. [22]. Их связывало наличие у обоих больших замыслов, большой работы; один писал поэму «Мертвые души», другой — «Явление Христа народу». Но в этом факте лежит большее, чем только простое хронологическое совпадение создания двух крупных произведений искусства. Сам Иванов в своих письмах зафиксировал свое отношение к Гоголю, как к необыкновенному человеку и знатоку искусства, лишь в 1841 г. [23]. Как раз к этому времени относятся первые занятия Иванова акварелью (1839 г. [24]), его портрет Гоголя (1840—1841 гг.) и жанровые сцены в альбомы [25]. Из воспоминаний гравера Иордана, мы знаем, что Гоголь и Иванов в 30—40-х годах были неразлучной парой, сторонившейся других художников [26]. Некоторое исключение Гоголь делал лишь для Моллера. Как раз на эти годы падает работа Гоголя над «Ревизором», что было известно Иванову и живо его интересовало. В 1841 г. произошла с Гоголем неприятность: провал на публичном чтении «Ревизора» у Зинаиды Волконской. Иванов не ожидал такого результата и заранее уверял, что чтение будет *блестящим. Устроено это чтение было для* благотворительной помощи одному художнику. В 1842 г. Гоголь вновь в Риме работает над «Ревизором», пишет свое «Предуведомление», и тогда же появляются рисунки к последней сцене. В 1843 г. весной Гоголь покидает Рим и Иванова до осени 1845 г. Но за этот период у Гоголя с Ивановым начинаются недоразумения, а заатем в 1846 г. наступает почти полный разрыв [27]. Об этом разрыве Иванова и Гоголя писалось много и порой слишком мудрено. Но стоит лишь просмотреть их письма, чтобы видеть весьма простую вещь. Непрактичный в жиз-

ни Иванов начал обращаться за советами к Гоголю; Гоголь же возомнил себя высшим ментором Иванова и начал читать ему наставления; это не могло понравиться взрослому человеку, тем более, что этот «благочестивый» тон у Гоголя с течением времени усиливался, а у Иванова отмирал. Гоголь стал Иванову надоедать и Иванову не о чем стало с Гоголем говорить. Вопрос, в чем заключалась дружба Гоголя и Иванова, не так ясен. Одновременная работа над значительными созданиями не может ли нам дать каких-либо указаний? Было высказано мнение: что Иванов совсем не влиял на Гоголя [28]. Мы держимся иной точки зрения. Стоит присмотреться, как Гоголь относился к «Ревизору» и его последней сцене.

В «Отрывке из письма» 1836 г. Гоголь определяет последнюю сцену по отношению ко всей пьесе почти только формально, указывая на то, что здесь кончается драма и начинается мимика, для которой много простора в «живой картине».

Но уже в «Театральном разъезде», начатом в 1836 г., а оконченном в 1846 г., звучат морализирующие, символизирующие и теологические моменты [29]. В «Предуведомлении» Гоголь начинает с предостережения против карикатуры в последней сцене, указывая на ее трагический характер [30]. Суждение о «Ревизоре», как карикатуре, Гоголь отмечает как пошлость в устах литератора «в Театральном разъезде» [31] и словами «очень скромно одетого человека» определяет смысл пьесы: поразить смехом лицемерие и возбудить веру в недремлющий высший закон [32]. При таком противоположении карикатуре своей пьесы Гоголь влагает одному из зрителей, сочувствующих пьесе, замечание, что комедия эта вовсе не картина, а скорее фронтиспис [33]. Мысль эта по существу является прямо ивановской. Достаточно известно, как Иванов был настроен против карикатуры и даже жанра [34]. Самая же картина Иванова с самого ее появления была признана «барельефом», «гобеленом», «образом» [35], т. е. чем-то по существу плоскостным, фронтисписным.

В «Развязке Ревизора» 1846 г. и в «Дополнении к Развязке Ревизора» 1847 г. Гоголь говорит об особом намерении автора произвести впечатление трагического появлением жандарма, как какого-то палача, который оказывается нашей совестью, а душа

Н. В. ГОГОЛЬ СРЕДИ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ В РИМЕ
Дагеротип 1844 г.
Институт Русской Литературы, Ленинград

ПРИПИСЫВАЕМЫЙ ГОГОЛЮ РИСУНОК К «ПЕСТРЫМ СКАЗКАМ» ОДОЕВСКОГО

Местонахождение оригинала неизвестно

РИСУНОК ГОГОЛЯ, ИЗОБРАЖАЮЩИЙ КУКЛУ ПОД СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ

Местонахождение оригинала неизвестно

РИСУНОК ГОГОЛЯ ИЗ «КНИГИ ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ»

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

перед смертью — провинциальным городом. А еще далее этот палач (т. е. жандарм) уже бог, и притом бог христианский [36]. Так немая сцена «Ревизора» превращается у Гоголя в «Явление Христа народу», даже в тех же категориях реализма (но не карикатуры) и монументальности фронтисписа.

Что у Гоголя и Иванова было много психологически общего — несомненно. Достаточно заглянуть в записную книжку Иванова конца 40-х годов, где художник говорит о Христе в сознании умирающего человека, кающегося в своих мерзостях, чтобы понять, насколько общей была даже фразеология этих двух людей, одинаково настроенных. Общим является у них сознание какого-то избранничества, далекого от земных тягот. Иванов не хуже Гоголя пишет ему в 1851 г. о христианской покорности, а в 1848 г. собирается вместе с ним ехать в Палестину. Сходство между натурами Иванова и Гоголя, все же в результате разошедшихся, иногда переносят даже на судьбу их основных произведений, одинаково неудавшихся в некоторых отношениях. Оба художника сопоставляли свои произведения, которые они так долго писали и все никак не могли кончить. «Хорошо бы было, если бы и ваша картина и моя поэма явились вместе», пишет Гоголь Иванову в декабре 1850 г. [37]. Иванов в одном черновом наброске говорит о роли русского народа в познании христианства и ставит вопрос, возможно ли в настоящее время людям избранным добиваться житейских блаженств? Под избранными Иванов разумеет и себя. «Вот вопрос, который решит Гоголь напечатанием своего сочинения, который решу и я окончанием своей картины», заключает Иванов. Под блаженством житейским Иванов разумел женитьбу, от которой его отвращал Гоголь.

РИСУНОК ГОГОЛЯ ИЗ «КНИГИ ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ, ИЛИ ПОДРУЧНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СОСТАВИЛ Н. Г [ОГОЛЬ]. НЕЖИН, 1826»

Публичная Библиотека СССР им. Ленина, Москва

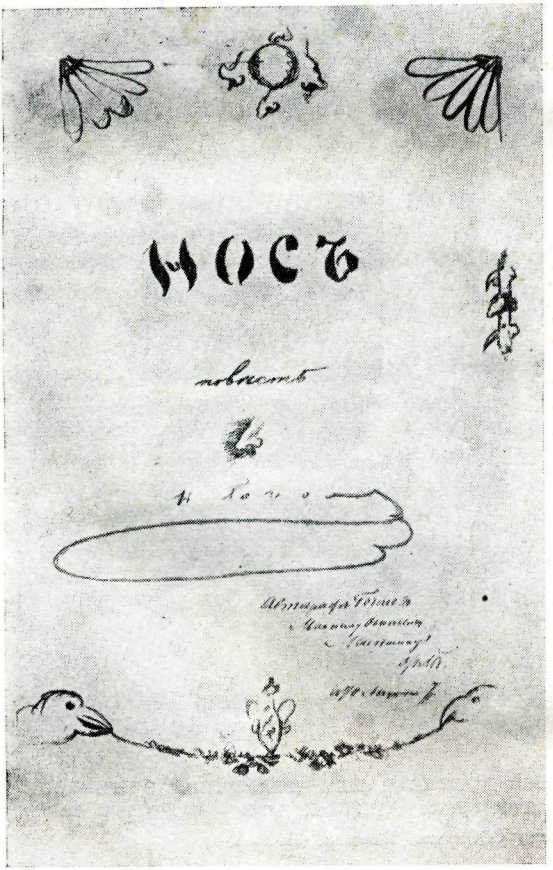
В указанном отрывке и в ряде других фактов усматривают, что Иванов не был уж под столь большим влиянием Гоголя, как это иногда допускают.

Следует обратить внимание на те стороны характеров и Иванова и Гоголя, которые несомненно различны. Гоголь не был непосредственной натурой, в нем довольно черствый практицизм уживался с романтической мечтательностью и чрезвычайным самомнением. Иванов был житейски наивен и целен по натуре; его мечтательность обнимала равно мелочи окружающей жизни и нечто целое, не менее романтическое, чем у Гоголя, однако, при большой личной скромности.

Уже это одно не могло не импонировать Гоголю, который, как известно, оттого и мучился, что в окружении вещей не улавливал их смысла, пусть хотя бы и фантастического. Но ведь и в реализме Гоголя было то же свойство. Ведь не Гоголь, а Пушкин сказал «Как печальна наша Россия», когда Гоголь прочел ему отрывки из первого тома «Мертвых душ», и не это ли общее заключение заставило Гоголя итти к созданию чего-то более общего, где была бы не только печаль, но и «светлые образы»?

Характерно, что идеалистическая и пиэтическая интерпретация «Ревизора» и его последней сцены начинается у Гоголя лишь после сближения с Ивановым. Цельность и непосредственность пиэтического настроения последнего должны были воздействовать на Гоголя. Следует ставить вопрос, не подталкивал ли к развитию свойственного Гоголю пиэтизма Иванов грандиозной фантастичностью своей, в то же время «натуральной», картины?

Возможны были и обратные влияния. Не под воздействием ли Гоголя Иванов в своем альбоме № 9 пометил, рядом с предположением выполнить виды губернских городов России и костюмы всех губерний, отдел «сцены из отечественных поэм», что, как



ОБЛОЖКА ГОГОЛЯ К ПОВЕСТИ «НОС»
Институт Русской Литературы, Ленинград

мы думаем, вовсе не говорит об интересе к жанру, а предполагает какие-то монументальные повествовательные композиции. Слово «поэмы» явно идет от Гоголя, пытавшегося «жанр» превратить в «поэму»; но это воздействие Гоголя не поддерживалось ли склонностью самого Иванова к тем повествовательным картинам, какими должна была быть задуманная им роспись некоего «храма», множество замечательных этюдов к которой до нас дошло?

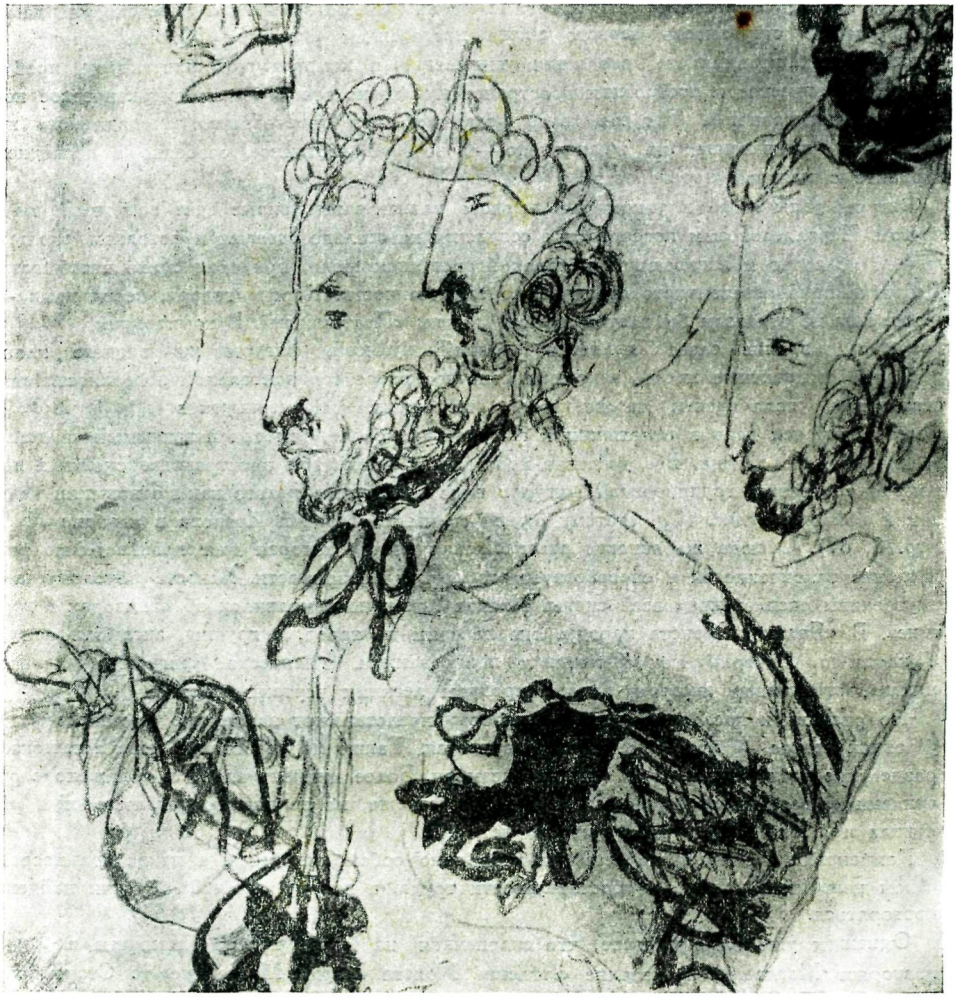


РИСУНОК ГОГОЛЯ, ИЗОБРАЖАЮЩИЙ ПУШКИНА
Местонахождение оригинала неизвестно

Так взаимно обусловливалось творчество Гоголя и Иванова. Идеологические сближения, датировка фактов, невозможность приписать Гоголю рисунки к немой сцене «Ревизора», отсутствие какого-либо иного художника, столь выдающегося и столь близкого к Гоголю, все это заставляет заподозрить работу Иванова в наших рисунках.

Но надо привлечь и самые рисунки Иванова.

Непосредственно к «Явлению Христа народу» примыкают бытовые сцены, исполненные Ивановым в 1838—1842 гг. в альбомы различным лицам, приезжавшим в Рим. Именно тогда-то Иванов занялся впервые акварелью и произвел ею на окружающих хорошее впечатление. Темами являлся римский быт: „Ave Maria“, «Жених, выбирающий

серьги для своей невесты» и «Октябрьский праздник в Риме» (три мотива: у Monte Testaccio, у Ponte Molle в трех вариантах и в loggia в двух вариантах).

Характерно, что сцена к «Ревизору» имеется также в вариантах, при чем в двух мы видим изъятые из целого группы, что имеет особое значение, как увидим далее. Иванов, как известно, любил подготавливать свои композиции в нескольких вариантах.

Обратимся прежде всего к композиции и пространству в «Октябрьских праздниках» Иванова.

Было однажды высказано мнение, что вслед за плоскостным или, лучше сказать, дающим особую ощутимость первого плана построением «Явления Христа народу» в «Октябрьских праздниках», вводящих умышленно в композицию архитектуру, пробуждается физическое в построении пространства. Однако это — весьма дидактическое построение пространства. Тот же автор указывает, что пространство «Праздников» не есть сцена, выхваченная из жизни; это — нечто разработанное, особенно в последнем варианте с мотивом пространства в loggia. [38]

Фигуры даны лишь в узком слое первого плана, размещенные едва заметным полукругом. Параллелограмм пространства создается не столько стенами и потолком, сколько линией пола; но и нависающий потолок играет свою роль, придавая сцене интимность. Действие приобретает чисто сценическую законченность. Короче говоря, перед нами — театр. Мы не отказали бы в этом и двум другим «Праздникам». В композиции „Monte Testaccio" здание слева является прямой кулисой, фигуры же заднего плана образуют компактные массы, закрывая конечное ребро горизонтальной поверхности действия, т е. пола сцены; та же черта еще сильнее подчеркнута в „Ponte Molle". Расстилающаяся даль в отношении к фигурам—не более, чем так называемый «задник» театральной декорации. Все действие протекает в замкнутом пространстве сцены, а потому определяется группировкой фигур в виде замкнутого целого как в отношении дали, так и боковых кулис. (Ср. систему рампы сцены в рисунках Иванова в альбоме № 9, стр. 8, 87). Отсюда же ясность расположения фигур, которая дает произведению впечатление законченности и способствует его легкой обозримости. Ясность обусловлена и внутренним расчленением всей сцены. Иванов однажды обмолвился об «эпизодах в картине». В «Явлении Христа народу» мы находим не народ, а группы, ансамбли фигур, с каким-то подчеркнутым, фатальным позированием. Типические фигуры в «Праздниках», отмеченные юмором, кое-где тронуты легкими чертами шаржа.

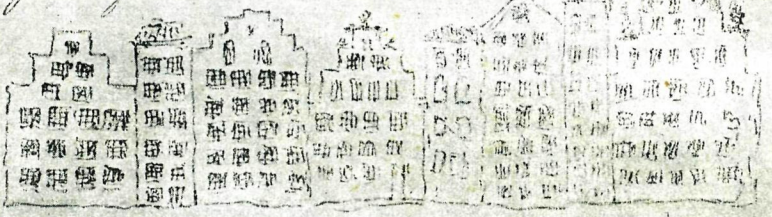
Что рисунки к последней сцене «Ревизора» представляют замкнутую группировку в условиях театра — это само собою разумеется. Также из требований театра вытекает разделение всех действующих лиц на ансамбли. Более индивидуально, и сближено с рисунками «Праздников» выражение некоторого шаржа, но не карикатуры, которой в рисунках и «Праздников» и «Ревизора» нет.

Компановка ансамблей не есть что-либо само собою дающееся, а найденное посредством известных усилий, изобретательности труда, а потому склонное, будучи найдено, повторяться.

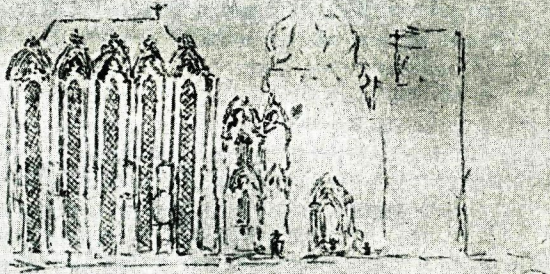
Однажды уже было указано, что склоненная на одно колено женщина в loggia повторяет Магдалину в картине «Явление Христа Марии Магдалине» [39]. Стоит сравнить «Праздник в loggia» с рисунками к «Ревизору».

Все три композиции более или менее построены от центра. В loggia этот центр сдвинут несколько вправо, где находится появившийся англичанин, господствующий над всеми группами не хуже жандарма в «Ревизоре»; к нему обращены все лица в характере пантомимы.

Замечательны две женские фигуры слева, — одна налегла на спину другой, будучи к зрителям в профиль; та же глядит повернув голову вправо. Оба мотива мы трижды встречаем в рисунках к «Ревизору» — в ансамбле Бобчинского и Добчинского на обеих композициях и двух чиновников слева в краткой композиции. Близкие пары женских фигур мы находим в рисунках Иванова (альбом № 10, стр. 11; альбом № 2, стр. 3). Фигуры двух женщин справа, протягивающих руки, сближаются с Марьей Антоновной и Анной Андреевной; в роль последней прямо просится короткая и толстая фигура слева, с руками опущенными вниз, вперед.



РИСУНКИ ГОГОЛЯ В ПИСЬМЕ к А. О. СМИРНОВОЙ
Институт Русской Литературы, Ленинград



РИСУНКИ ГОГОЛЯ В ПИСЬМЕ к А. О. СМИРНОВОЙ
Институт Русской Литературы, Ленинград

Нельзя не отметить, что Гибнер, не ростом, но позой, миной и костюмом смахивает на англичанина; немец и англичанин на обоих рисунках явно шаржированы. Нельзя не обратить внимания на отдельную группу жены и дочери городничего, где Анна Андреевна повернута почти спиной, — вещь, невозможная для театра 30—40-х годов, да еще в заключительной немой сцене, но повторяющаяся в «Праздниках» Иванова, как и в «Явлении Христа народу».

Рисунки к «Ревизору» выполнены в контурах, которым копировальщик Тарасенков *придал несколько сухо каллиграфический, непрерывный характер.* Однако и в подлиннике мы видим, что все базируется на «жизни контурной», по выражению Иванова, к которой он был склонен. Эта черта также владеет и рисунками «Праздников», особенно в loggia, внося тот характер абстрактности и необычайности, который склоняет бытовую картину к странной пантомиме или фронтиспису, которым в сущности является последняя немая сцена «Ревизора».

Ни один жанрист не примет «Праздники» и, добавим, рисунки к «Ревизору» за жанр. Иванов не дошел до натурализма и шел не к передвижникам, всегда давая не чувственно-пластическое, а абстрактно-пластическое. Поэтому Иванов выделяется из ряда реалистов 40-х годов с Федотовым во главе. Против Н. И. Романова мы утверждаем, что ничего общего с Федотовым у Иванова не было, как это можно видеть и по тем этюдам с натуры, которые лишь по теме можно принимать за жанр, которого Иванов так не любил. Это не мешало Иванову, замечательному этнографу в создании еврейских типов, остаться им и в создании типов русских чиновников и их костюмов, равно как в типе англичанина в «Празднике в loggia». Русские типы Иванов очевидно изучал в своем стремлении изобразить русскую провинцию (см. выше).

«Жизнь контурная», ансамбль фигур, легкий шарж, оживляющий абстрактную «театральную» компановку, блестящий рисунок и система группировок по две-три фигуры, наконец соотношение с подлинными произведениями Иванова и датировка рисунков к «Ревизору» убеждают нас, что сделаны они никем иным, как Ивановым, занимая своеобразное положение среди его так называемых «жанров».

Ни Иванов, ни Гоголь рисунков к последней сцене «Ревизора» конечно за жанр не считали. Рисунки эти были созданы Ивановым в те годы, когда его приподнятое настроение не только соответствовало, но и способствовало развитию в Гоголе морализирующих и символизирующих настроений.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Сперанский, М. Н. К рисунку Н. В. Гоголя („Беседы". Сборн. Общ. Ист. Лит., I. М., 1915). Лернер, Н. О. О рисунках Гоголя („Биржевые Ведомости" 1915, № 15257, 8 дек., утренн. выпуск).

[2] Некрасов. К вопросу о стиле картины Иванова „Явление Христа народу" (Труды Секции Искусствозн. Инст. Арх. и Иск., II, М, 1928), стр. 172.

[3] Гоголь. Сочинения, изд. XII, т. III, СПБ., 1894, стр. 301.

[4] Гоголь. Сочинения, т. I, стр. X—XII.

[5] Гоголь Сочинения, т. III, стр. 578. Пыпин. История русской литературы, т. V, СПБ., 1907, стр. 506, 525.

[6] Сперанский. Н. с., стр. 54.

[7] Гоголь. Сочинения, т. III, стр. 581.

[8] Ibid, стр. 289, 290.

[9] Ibid, стр. 581.

[10] Пыпин. Н. с., стр. 525.

[11] Гоголь. Сочинения, т. III, стр. 299—301.

[12] Сперанский. Н. с., стр. 52, примеч. 2.

[13] Гоголевский сборник Нежинского Лицея. Киев, 1902, стр. 215—216. Альбом выставки в память Гоголя и Жуковского. М., 1902, стр. 23.

[14] Сперанский. Н. с., стр. 55.

[15] Памяти Гоголя. Сборник Общества Нестора-Летописца. Киев, 1902, стр. 36—37.

[16] Альбом Хмелевского. Полтава. 1902, л. 33, 34.

[17] Сперанский. Н. с., стр. 54.

[18] Лернер. Н. с.

[19] Лернер. Н. с.,

[20] Альбом выставки, стр. 32.

[21] Альбом Хмелевского, табл. 32.
[22] Боткин, А. А. Иванов, его жизнь и переписка. СПБ., 1880, стр. 137.
[23] Ibid, стр. 112
[24] Собко. Словарь русских художников, т. II, вып. I, стр. 54—55.
[25] Боткин. Н. с., стр. 398—399.
[26] Шенрок. Н. с., стр. 220—221.
[27] Боткин. Н. с., стр. 137—138. Шенрок. Н. с., стр. 347—348. Гоголь. Письма, т. II, стр. 130—132.
[28] Боткин. Н. с., стр. 2447.
[29] Шенрок. Н. с., стр. 464.
[30] Гоголь. Сочинения, III, стр. 291, 293, 299.
[31] Ibid, стр. 535.
[32] Ibid, стр. 540—541.
[33] Ibid, стр. 556.
[34] Собко. Н. с., стр. 9, 116. Стасов. Соч., т. II, стр. 239, 240.
[35] Некрасов. К вопросу о стиле картины Иванова. Стр. 164 и далее (там же библиография).
[36] Гоголь. Сочинения, V, стр. 66.
[37] Гоголь. Письма, IV, стр. 363.
[38] Романов. Эскизы genre'а и этюды А. Иванова („Аполлон", 1912, № 8, стр. 9).
[39] Машковцев. Н. Творческий путь Александра Иванова („Аполлон", 1916, № 6—7).

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОРТРЕТ ГОГОЛЯ РАБОТЫ Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Сообщение А. Вейнберг

Тарас Григорьевич Шевченко всю жизнь смотрел на живопись как на свою основную профессию, хотя никогда себя не считал великим мастером. Когда он по свирепому приговору Николая I сослан был на десять лет без права писать и рисовать, его сильнее тяготило последнее: «Это самое большое из моих несчастий! — пишет он Жуковскому. — Умоляю вас, сжальтесь надо мной, исходатуйствуйте мне позволение. Вы это можете — только рисовать! Оживите меня убитого!»[1] Мы у него встречаем самые разнообразные виды живописи: бытовую, жанровую, пейзажную, но главным образом портретную. К ней он возвращается и после того, как жизнь жестоко выбила его из колеи, когда, после долголетней суровой ссылки, разочаровываясь в своих силах, он решает посвятить себя гравюре. За последнее время в Новопетровской крепости, на обратном пути — на волжском пароходе, в Нижнем-Новгороде в ожидании правительственного разрешения о праве въезда в столицу и уже после возвращения туда исполнен им ряд портретов его друзей, приятелей и знакомых. К довольно раннему периоду его творчества принадлежит публикуемый в настоящем сборнике портрет Гоголя.

Как это ни странно, но Шевченко и Гоголь, эти два великих украинца, не были знакомы друг с другом, хотя с 1831—1836 гг. они одновременно проживали в Петербурге, хотя в их жизни мы сталкиваемся со следующим явлением: почти одни и те же лица стали близкими друзьями того и другого. Через Жуковского Гоголь познакомился с Плетневым, Пушкиным и другими представителями литературного мира и Жуковский деятельнейшим образом способствовал выкупу Тараса из неволи. И на всех смежных этапах, ведущих к заключительному моменту — к освобождению Шевченко, действовали люди, близкие к Гоголю. Тут мы имеем дело с Гребенкой, его лицейским товарищем, тут его земляк В. И. Григорович, конференц-секретарь Академии Художеств, с которым он встречался у скульптора Федора Толстого, тут придворный живописец Венецианов, автор его в 1834 г. литографированного портрета, тут граф Вьельгорский, тут можно бы назвать целую галлерею лиц общих знакомых и друзей Шевченко и Гоголя. Не состоялось личное знакомство конечно не по вине Тараса Григорьевича, всю жизнь преклонявшегося перед гениальностью своего компатриота. Об этом говорит стихотворение «Н. В. Гоголю», посвященное ему в 1844 г., об этом свидетельствуют отзывы о нем на страницах дневника, об этом читаем мы в письме к Варваре Николаевне Репниной, их общей приятельнице[2]: «...Перед Гоголем должно благоговеть, как пред человеком, одаренным самым глубоким умом и самою нежною любовью к людям!» И дальше: «...Гоголь истинный водитель сердца человеческого! Самый мудрый философ и самый возвышенный поэт должен благоговеть перед ним, как перед человеколюбцем! Я никогда не перестану жалеть, что мне не удалося познакомиться лично с Гоголем. Личное знакомство с подобным человеком неоцененно. В личном знакомстве случайно иногда открываются такие прелести сердца, что не в силах никакое перо изобразить»[3]. Но «в прелести сердца» Гоголя, в сердечность в отношении к нему Тарас Григорьевич до конца повидимому не верил. В глубине души осталась повидимому какая-то незабытая обида — чувство обойденного, вызванное быть может индиферентным отношением к нему, бывшему крепостному помещика Энгельгардта, представителя привилегированно-дворянского класса, всю жизнь стремившегося в высшее общество.

И в тяжелую минуту в жизни, в ссылке, когда он, лишенный права рисовать, обращается к влиятельным столичным друзьям о помощи и, по ассоциации вспоминая Гоголя, *просит княжну Репнину о присылке его адреса, он горестно, тоном глубокой обиды* замечает: «...Я напишу ему по праву малороссийского виршеплета, а лично его не знаю», и тут же прибавляет: «я теперь, как падающий в бездну, готов за все ухватиться — ужасна безнадежность» [4].

В 1839 г., по возвращении из-за границы, Гоголь после короткого пребывания в Москве [5] вместе с Аксаковым, *его сыном и дочерью совершили путешествие в северную столицу*. Здесь Тарас второй год уже учится в Академии Художеств. 22 апреля 1838 г. он получил отпускную и в тот же день туда был принят. Его уже отличили серебряной медалью второго достоинства за рисунок с натуры [6]. Он выдвигается в области портретной живописи и несколько лет как пишет на заказ акварельные портреты.

В *этот свой приезд в столицу* Гоголь, по словам Аксакова [7], *находился в большом* денежном затруднении, все ожидал каких-то благ от императрицы для устройства и экипировки своих сестер, кончивших Патриотический институт. Гоголь остановился в Петербурге в Зимнем дворце у Жуковского [8], с которым еще больше сблизился за последний год в Риме [9], и тот для него был связующим звеном с высшим обществом. Кроме того здесь процветал нежинский кружок. Неужели ни в Риме, ни тут, в Петербурге, ни Жуковский, ни Гребенка, ни другие земляки не сообщили Гоголю о сложном выкупе Тараса, об его успехах, тем более, что интерес Жуковского к своему протеже не пропал? Во время своего последнего заграничного путешествия — в Риме и Германии [10] — Жуковский увлекся искусством назарян и рисунки представителей этой группы *художников — Корнелиуса и Гесса* [11], привезенные им оттуда, он показывал у себя на дому Тарасу и лучшему его другу Штеренбергу [12]. Гоголь не мог не знать об «Овидиевом превращении» [13] своего земляка, но ему, баловню высшего общества, было не до этого, и Шевченко опять не удостоился его внимания, так же как в следующее его пребывание в Петербурге в 1842 г., когда ему в последний раз представилась возможность лично познакомиться с тогда уже известным автором «Кобзаря». Дальше уже их пути не скрещивались. Шевченко с 1847 по 1857 г. изнемогает в ссылке, а Гоголь с 1842 по 1848 г. разъезжает по Западу, паломничает в Палестину и, вернувшись в Россию, кончает свою жизнь в Москве 21 февраля 1852 г.

* * *

«Последнее мое свидание с Гоголем было в 1839 г. в Петербурге, — рассказывает его *приятель и биограф* Анненков, — *когда он остановился в Зимнем дворце у Жуковского*. Первые главы «Мертвых душ» уже были написаны и однажды вечером, явившись в голубом фраке с золотыми пуговицами с какого-то обеда к старому товарищу своему Н. Я. Прокоповичу, он застал там всех скромных безызвестных друзей и почитателей, которыми еще дорожил в то время» [14]. «Гоголь оставил Петербург в *двадцатых числах декабря* 1830 г. К *этому времени, или быть может к самому началу* 1840 г. — в дальнейшем мое предположение будет мотивировано — я отношу его портрет работы Шевченко, находившийся в Московском Государственном Историческом Музее. Портрет поступил туда вместе с автопортретом Тараса Григорьевича масляной живописью 1840 г. и с портретом его друга Михаила Семеновича Щепкина его же *работы* (карандаш, белила) 1858 г. [15] *из коллекции Бахрушина*. Так как *изображенное* лицо и художник лично не были знакомы, то возникает вопрос, какими данными пользовался Шевченко, т. е. какие изображения Гоголя могли быть ему известны? Во-первых, литографированный портрет работы Венецианова, относящийся к 1834 г. Даже если его отпечатали, как полагает П. А. Ефремов, первый исследователь иконографии Гоголя, и *в крайне ограниченном числе экземпляров и может быть для самых близких* и знакомых друзей Гоголя [16], то Тарас Григорьевич мог видеть его у самого автора, у близко стоявшего к нему Гребенки, у кого-нибудь из членов украинского землячества. Во-вторых, зарисовка артиста П. А. Каратыгина во время генеральной репетиции «Ревизора» 18 апреля 1836 г. [17] В-третьих, групповой портрет 1835 или 1836 г. в кабинете Жуковского вместе с последним, Пушкиным, Одоевским и Кольцовым [18]. В-чет-

ПОРТРЕТ Н. В. ГОГОЛЯ РАБОТЫ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
Исторический Музей, Москва

вертых, акварельный портрет работы Жерена, который я считаю прототипом нашего портрета [19]. В альбоме Пушкинской юбилейной выставки в Петербурге (май 1899 г.) про него сказано: «Гоголь, Николай Васильевич. Портрет акварелью времен Пушкина, раб. академика Жерена».

При жизни Пушкина, т. е. до 1837 г., портрет работы Жерена не был написан, так как не соответствует облику Гоголя того времени. До отъезда в Италию тип его нам известен: гладко выбритое лицо, коротко стриженые волосы, хохол. Таким изобразил его Венецианов, таким мы его знаем на групповом портрете в кабинете Жуковского, таким зарисовал его Каратыгин в *день генеральной репетиции «Ревизора» 18 апреля 1836 г.* Через 1½ месяца приблизительно — 6 июня — Гоголь, издерганный, усталый от всех волнений, связанных с постановкой «Ревизора», оставляет Россию. Из Италии он возвращается *с округленным лицом, с длинными волосами*, с эспаньолкой, с усами. Про внешность его после приезда из-за границы в 1839 г. передает нам С. Т. Аксаков: «Наружность Гоголя так переменилась, что его можно было не узнать: следов не было прежнего, гладковыбритого и обстриженного (кроме хохла) франтика в модном фраке! Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение: особенно в глазах, когда он говорил, выражалась доброта, веселость и любовь ко всем; когда же он молчал и задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное стремление к чему-то высокому. Сюртук, вроде пальто, заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности. Самая фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее» [20]. Все это совпадает с портретом работы Жерена.

Н. М. Сперанский в своей статье «Портреты Н. В. Гоголя» делит всю иконографию его на три группы: портреты ранние, изображающие Гоголя жизнерадостным, претендующим на элегантность и внешний лоск, портреты переходного периода и наконец, *начиная с 40-х годов, портрет зрелого возраста* [21]. *По поводу датировки портрета* работы Жерена Н. М. Сперанский к определенному заключению не приходит, но не сомневается, что тут перед нами изображение Гоголя переходного периода. Не ясно ему все-таки, почему портрет, если он исполнен до 1836 г., т. е. до смерти Пушкина [22], не похож ни на венециановский 1834 г., ни на зарисовку Каратыгина 1836 г., а носит все черты «позднейшей физиономии Гоголя» [23] — усы, эспаньолку и характерную прическу. И еще одно сомнение у него насчет даты: в те годы, к которым, по его мнению, относится портрет — 1835 — 1836 — Гоголь в Москве не бывал, а миниатюрист Жерен проживал постоянно в старой столице, где был преподавателем рисования. Дело обстоит по-иному: портрет писал не Иван Жерен-старший [24], как сказано у Сперанского, а сын его — Иван Жерен-младший. Портрет Гоголя — единственная достоверная работа Ивана Жерена-младшего [25], получившего в 1842 г. звание неклассового художника по миниатюрной живописи. В 1839 г., в момент возвращения Гоголя из-за границы, его, по всей вероятности как миниатюриста, уже знали, тем более, что он с этим видом живописи по традиции был связан. Писал ли Жерен портрет в Москве или Петербурге, писал ли его по собственному желанию или по заказу — это из-за скудости биографических данных, имеющихся о нем, установить трудно. Скорее всего портрет был заказан *Гоголем для одного из его многочисленных петербургских друзей.*

На основании вышеуказанных соображений, можно предположить, что Жерен писал Гоголя в 1839 г., а наш портрет был заказан по всей вероятности одним из его почитателей у Шевченко уже после его отъезда из Петербурга (*если бы портрет был* исполнен при нем, то старались бы писать его с натуры), т. е. на вторую половину декабря того же 1839 г. или в начале следующего года. Шевченко взял у Жерена все черты внешнего облика Гоголя, вернувшегося из-за границы, — длинные волосы, эспаньолку, усы, задумчивое и спокойное выражение лица и ту же одежду—платочный галстук и сборчатые рукава сюртука. Только самый сюртук передан Тарасом Григорьевичем — его портрет поясной, а жерновский оплечный — более ясно: однобортный с отложным воротником по моде того времени. В таком сюртуке мы видим Гоголя в Риме на вилле Зинаиды Волконской, беседующим с хозяйкой дома и с Шевыревым (рисунок пером, исполненный Жуковским [26] приблизительно за год до нашего портрета).

* * *

Тарас Григорьевич был принят в Академию не без соответствующих знаний, не без соответствующего опыта. Об этом говорят его мастерски исполненные акварельные портреты доакадемического периода, из которых самый ранний нам известный — портрет Энгельгардта [27] — датирован 1833 г. Не подлежит сомнению, что Тарас до поступления в унизительные условия к петербургскому живописных дел мастеру Ширяеву (ок. 1831—1832 г.) кистью уже владел, так как художник только постепенно доходит до такого мастерства, только постепенно овладевает такой художественной культурой, какой отличается его акварельный портрет 1833 г. и все остальные следующих лет [28]. Если его первые учителя, у которых он систематически занимался, как полагают, действительно были Рустем [29] в Вильне и Франц Лампи [30] в Варшаве, то он может назваться достойным их учеником.

Через год после поступления в Академию — в 1839 г. — Тарас, как уже упомянуто было, получил серебряную медаль за рисунок с натуры и снова через год — вторую. 27 сентября 1840 г. на заседании, состоявшемся в Академии по поводу присуждения наград ученикам, запротоколировано в журнале под графой: «Второго достоинства» Тарас Шевченко за первый опыт его живописи масляными красками — картину «Нищий мальчик, дающий хлеб собаке»; сверх того положено объявить ему, Шевченко, похвалу» [31]. После акварельной живописи, где достиг он большого мастерства, Шевченко только в Академии знакомится с техникой масляной живописи. Об этом он сам рассказывает в своей автобиографической повести «Художник» [32]: «...по утру в девять часов я ухожу в живописный класс (я уже делаю этюды масляными красками и прошедший экзамен получил третий номер...)». Наш портрет — это первый нам известный из его портретов масляной живописи или скорее — вообще первый портрет, исполненный им этой техникой. Я его отношу к концу 1839 г. — к самому началу 1840 г. по двум причинам: во-первых, мы уже имели возможность убедиться, что Гоголь со своей измененной внешностью, каким он изображен у Шевченко, только в октябре 1839 г. появился в Петербурге и что заказан портрет после его отъезда [33], а во-вторых, что произведения Шевченко масляной живописью, исполненные им в продолжение 1840 г., более высокого качества, чем наш портрет. Значит возникновение нашего портрета относится к промежутку времени между отъездом Гоголя и появлением следующих шевченковских работ этой техники. К 1840 г. принадлежит его премированная картина «Нищий мальчик, дающий хлеб собаке» и кроме того его автопортрет [34]. Но какая колоссальная разница между последним и нашим портретом! Автопортрет — типичная академическая работа, исполненная под непосредственным влиянием обожаемого им учителя Карла Брюллова. Тут все имеет свое место, все выполнено, как требовалось, но чувствуется и сам автор: смелый мазок, карнация, посадка головы, свободно падающие пряди волос — во всем жизнь, движение, даже в плаще с как будто бы вибрирующими лацканами.

Наш портрет лишен свободы, размаха. В формате автор еще придерживается привычного ему до сих пор размера акварельной миниатюры [35]. Медленно и робко он водит кистью по небольшому пространству холста [36]. Чувствуются первые шаги в области новой техники. Волосы не разработаны, они действуют как сплошная масса, а под синевато-зеленоватым сюртуком чувствуется не промоделированное тело, а манекен. Невольно вспоминаем мы тут его ранние акварельные портреты, где умело переданы им смелый поворот головы, оживленные лица и женское тело, просвечивающее сквозь воздушные ткани [37]. Отрицательные стороны нашего портрета объяснимы, во-первых, непривычкой пользоваться масляной живописью и, во-вторых, еще тем, что художник писал не с натуры. Он нам дал портрет синтетический. Выше перечислены те образцы, которыми Шевченко, по моим предположениям, мог пользоваться, но весьма возможно, что имелись в его распоряжении еще и другие изображения Гоголя, не дошедшие до нас. Эта компиляция, хотя и художественная, лишает наш портрет непосредственности, свежести, экспрессии, динамики. Глаза как будто бы стеклянные, вставленные, улыбка застыла на губах. Вся поза жеманно-провинциальная. Удачно исполнен галстух, но осо-

бенно хорошо — в типично шевченковской манере — проработан подбородок. Дугообразные брови, миндалевидный разрез глаз также отличительная черта Шевченко-портретиста. Надо только вспомнить портреты г-жи Горленко, г-жи Маевской, княгини Кейкуановой, даже портреты, писанные им после ссылки, чтобы убедиться, как глубоко определенные приемы сидели в художнике. Фон на нашем портрете однотонный, темно-зеленый, почти плоскостный, только наложенный на нижнюю часть слой коричневой краски придает ему иллюзорную выпуклость. Овал, вписанный в прямоугольник, обрамляет портрет. И тут типично шевченковская черта: портреты овальные, но еще больше— портреты овальные, вписанные в прямоугольник, встречаются у него на протяжении всего его творчества. В этой манере исполнены портреты Закревской и Закревского, *упомянутые уже изображения Маевской и Кейкуановой*, несколько его автопортретов и еще многие другие. Наш портрет подписной. Слева внизу обычным шевченковским бисерным почерком помечено: «Т. Шевч.»

Слава Шевченко-портретиста публикацией нашего портрета не увеличится, так как последний принадлежит к слабым его произведениям. Но зато он проливает свет на определенный этап творчества Тараса Григорьевича, на момент перехода его к новой технике — масляной живописи — и к новому формату. Огромные полотна и в будущем у него не встречаются, но к настоящей миниатюрной живописи, которая культивировалась им в начале его художественной деятельности, он впоследствии только изредка возвращается. И еще в одном отношении наш портрет достоин быть извлеченным из недр музейного хранения и стать достоянием широких масс, а именно: из-за любопытного сочетания изображенного лица и автора, из-за сплетения имен двух великих людей, земляков и современников, но выразителей двух диаметрально противоположных классов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Переписка Шевченко». Изд. Укр. Ак. Наук 1929, стр. 46. Письмо к Жуковскому относится к первым числам января 1850 г.

[2] Репина, кн., Варвара Николаевна (1808—1891). Гоголь с ней познакомился в 1836 г. в Баден-Бадене, Шевченко — в 1843 г. в Яготине, в имении ее отца Николая Григорьевича Репнина (генерал-губернатора Малороссии с 1816 по 1834 г.) и с тех пор их объединяла искренняя дружба.

[3] «Переписка», стр. 47—48. Письмо от 7 марта 1850 г.

[4] Там же, стр. 42. Письмо от 1 января 1850 г.

[5] Гоголь пробыл в Москве с 26 сентября по 26 октября 1839 г.

[6] 29 сентября 1838 г. «Сборник материалов для истории Импер. Акад. Худ. за сто лет» под ред. П. Н. Петрова. СПБ., 1865 г., т. II, стр. 384.

[7] Аксаков, С. Т., История моего знакомства с Гоголем.

[8] Жуковский в то время был воспитателем наследника, в будущем Александра II.

[9] В Риме Жуковский пробыл с конца ноября 1838 г. по 1839 г.

[10] В продолжение 1838 и 1839 гг. Жуковский путешествовал со своим воспитанником-наследником по Западу.

[11] Корнелиус, Петер (1783—1867) — знаменитый в свое время немецкий художник. Принадлежал к группе так называемых назарян, ставивших своим идеалом древненемецкую религиозную живопись и итальянскую времен прэрафаэлитов. Его творчество, пропитанное глубокой религиозностью, лишено живописности. Преобладает графический элемент, с годами ставший более сухим, почти схематичным. С 1836 г. работает в Риме по поручению баварского короля Людвига I. — Гесс (а не Гессе, как сказано у Шевченко), Генрих (1798—1863) — живописец и литограф, также принадлежавший к группе назарян. См. «Дневник», стр. 43. В 1839 г. Жуковский, возвратившись из Германии с огромным портфелем, наполненным произведениями Корнелиуса и Гесса, писал: «Оба юноши с здоровыми задатками живописцев-реалистов скептически отнеслись к длинным безжизненным мадоннам, окруженным готическими тощими херувимами немецких идеалистов-живописцев» (там же, стр. 43).

[12] Штернберг, Василий Иванович (1818—1845) — талантливый художник, близкий друг Шевченко. Как пенсионер Академии Художеств послан в Италию. Умер в Риме.

[13] «Киевская Старина» 1887, т. I, стр. 222. «Художник» — автобиографическая повесть Шевченко. «Овидиево превращение» — выражение его, относящееся к быстрой и счастливой перемене его жизни.

[14] Анненков, П. В., Воспоминания, стр. 28.

[15] Последние оба портрета переданы в Музей им. Шевченко в Харькове.

[16] «Русская Старина» 1879, сентябрь, стр. 173—174.

[17] «Исторический Вестник» 1883, сентябрь, стр. 734. П. Каратыгин, Портрет Гоголя, рисованный П. А. Каратыгиным. «Во время одной репетиции «Ревизора» Каратыгин, находясь за кулисами, набросал карандашом на обертке своей роли, сложенной пополам, тот самый портрет Гоголя, каллиграфическая копия с которого, сделанная в Париже известным гравером Панкемакером, прилагается к настоящей книжке «Исторического Вестника». По рассказам покойного П. А. Каратыгина это было на утренней репетиции в воскресенье 18 апреля 1836 г., т. е. накануне первого представления «Ревизора»: на этой зарисовке дата «1835», но она неправильна и должна быть более позднего происхождения».

[18] Первый приезд Кольцова в Петербург относится к 1835 г., второй к 1836 г. Все указанные здесь портреты воспроизводились в книге М. Н. Сперанского «Портреты Н. В. Гоголя». Москва, 1909 г.

[19] Вскоре после приезда Гоголя из Италии, т. е. в октябре 1839 г., его знакомым, художником Мамоновым, был исполнен его портрет карандашом во время чтения «Мертвых душ» в доме П. В. Нащокина в Москве. Даже если Шевченко, что весьма сомнительно, с этим изображением Гоголя был знаком, оно на наш портрет никакого влияния иметь не могло, так как оно с ним абсолютно расходится.

[20] Аксаков, С. Т., История моего знакомства с Гоголем, стр. 16.

[21] «Гоголевский сборник», Киев, 1902 г. М. Н. Сперанский, Портреты Н. В. Гоголя, стр. 123.

[22] На грани находится портрет работы Мазера 1840 г., написанный в Москве уже после приезда Гоголя из Петербурга, а дальше идут портреты работы Молера, Иванова, относящиеся ко второму пребыванию Гоголя в Италии, и др.

[23] Гоголь оставил Россию за год до смерти Пушкина — в 1836 г.

[24] Жерен, Иван (старший). В 1808 г. избран Академией Художеств в «назначенные» по миниатюрной живописи, в 1809 г. получил звание академика. Оба — отец и сын — умерли около 1850 г.

[25] Thieme-Becker. Allgem. Künstlerlexikon. Leipzig. 1920, т. XIII, стр. 463.

[26] Оригинал находится в Публичной Библиотеке в Ленинграде и воспроизведен в гетовском сборнике, изданном «Литературным Наследством», стр. 483.

[27] Находится в Музее им. Шевченко в Харькове.

[28] Портреты Гребенки и молодой женщины из семьи Абаза 1837 г. и портрет Лунина 1838 г. находятся в Музее им. Шевченко в Харькове. Тут повидимому сказывается также влияние Петра Федоровича Соколова (1787—1848), талантливого акварелиста, с которым Шевченко считался: «Я больше придерживаюсь Соколова; Гау мне не нравится: приторно-сладкий». См. «Художник», стр. 203.

[29] Рустем, Иоанн (род. в Пере — ум. в Вильне в 1836 г.) — ученик Норблина и Баччиарелли.

[30] Лампи, Франц (1782—1852) — младший сын Лампи-старшего. Учился в Вене у Фюгера; с 1815 г. в Варшаве. Баталист, портретист. Писал также пейзажи и пасторали.

[31] «Сборник материалов Имп. Ак. Худ.» под ред. П. И. Петрова, т. II, стр. 406.

[32] «Художник», стр. 200.

[33] Гоголь оставил Петербург в 20-х числах декабря 1839 г.

[34] Речь идет об автопортрете, находившемся раньше в Московском Гос. Историческом Музее.

[35] Размер 20 × 17 см.

[36] Портрет исполнен на холсте, бывшем уже в употреблении. На обороте изображены золотом на голубом фоне в аляповатой манере мигра и крест.

[37] Портрет женщины из семьи Абаза. 1837 г.

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА Т. Г. ШЕВЧЕНКО

Сообщение И. Айзенштока

В статье «Судьба литературного наследства Т. Г. Шевченко» автор настоящей заметки останавливался на публикациях писем поэта, отметив между ... ченность эпистолярного наследия Шевченко и причины этой ограниченности, сделавшие мало вероятными новые сколько-нибудь значительные приобретения в этой области. Действительно, за последние 10—15 лет опубликовано не более двух десятков писем Шевченко, из которых в сущности только письма к С. Т. Аксакову (Н. К. Гудзий «Письма Шевченко к С. Т. Аксакову» — «Искусство» 1928, кн. 1—2) представляют подлинный исследовательский интерес. Тем большее значение приобретают находящиеся в Государственном Литературном Музее и публикуемые дальше два письма и один конверт от недошедшего третьего — к некоему Филиппу Николаевичу Королеву. Письма эти поступили в Музей от наследников А. Н. Пыпина; более ранней судьбы их проследить не удалось, как не удалось обнаружить и каких-либо сведений об адресате писем. Последнее обстоятельство, впрочем, существенной роли не играет, так как содержание писем теснейшим образом связано исключительно с самим Шевченко; отдельные же упоминания об адресате и об общих знакомых расшифровываются без всякого труда.

Вот эти письма (с сохранением орфографии оригинала).

I

СПБ, 22 маія 1842.

До Королева.

Спасыби тоби, добрый чоловиче, за ласкаве слово, за гроши, и за Старину Запорозьку. Спасыби и тилько шо спасыби, и бильше ничого я не маю. Прыйми, не гниваючись, Гайдамаки, а на Кобзари выбач. Нема ни одного. Як надрюкую вдруге, то пришлю не одын экз. з дякою. Шлю вам 6-ть экз. Гайдамаки—и семый вам на памьять, не забувайте [и] мене, колы маете чим поминать.

Лежу оце пяти сутки та читаю Старину, добра кныжка, спасыби вам и Срезневскому. Я думаю дещо з неи зробить, колы здоров буду, там бачите е де чого такого, шо аж губы облызуешь, спасыби вам.— Напиши, будь ласкав, земляче, колы будеш мать час, як там у вас, у Харькови, привиталы мои Гайдамаки, чи лають, чи ни, напиши щиру правду, и за щиру правду скаже щире спасиби Т. Шевченко.

II

Ноября 18—1842.

Спасыби тоби, мій голубе, шо хоч ты мене не забуваш. Прочитав я твое ласкаве письмо тилько позавчора, бо позавчора вернувся в Петербург,—мене носыв проклятущій пароход у Шведчину и Датчину. Плывше в Стокгольм я скомпонував Гамалія, невелычку поэму. Та так занедужив, шо ледви привезлы мене в Ревель, там трошки очуняв, прыихав у це прокляте болото, та й не знаю, чи вже й выйду. Хоч ликар и говорить, шо ничево, одначе так кивне головою, шо аж сумно дывиця. Сегодни оце трошки легше стало, можно хоч перо в руках удержать.

А, лебедыку, як не хочиця кидать землю, хоч вона й погана! а треба буде, хоч воно ще й рано. Молю тилько милосердного бога, шоб помиг мыни весны диждаты, шоб хоч умерты на Украини.

Заставилы мене злыдни продать свои компонованьня, вси, и дрюковани, и не дрюковани. Як побачите Корсуна, то скажить ему, шо Марьяна продана, колы дрюкуе вин тепер, то нехай, а колы ни, то шоб и не зачинав. Бо с перших чисел Декабря купець зачинае дрюковать. Хоч бы бог привив подывиця на свои слёзы, до купы зибрани. Поклониця старому Грицькови, як побачите И Петрови Гулаку. Скажить Грицькови, шо я змалював его панну Сотныкивну, и може на цим тыжни пошлю ему, як здужатыму письмо написать. Не забувайте мене, будьте ласкави. Напишить, колы матемете час, швыденько до мене, бо вже спив року, як нычую ничого из риднои моеи Украины, може вже и николы не почую. Прокляте море, шо воно мыни наробило.

Бувайте здоровы, не забувайте мене.

Щирий ваш Т. Шевченко.

Поклониця, будьте ласкави, — Метлинскому. Спасеть его бог за его Думки и ще дещо; тиль[ки] и полегкости, шо воны.

III

[Конверт]:

Его Высокоблагородію Филиппу Ныколаевічу Королеву
Прохвесору Грігорістского Иситута в Местечке Горки Могилевской Губерніи
[Почт. шт.: Ахтырка, Харьковск. губ. Августа 14, 1846].

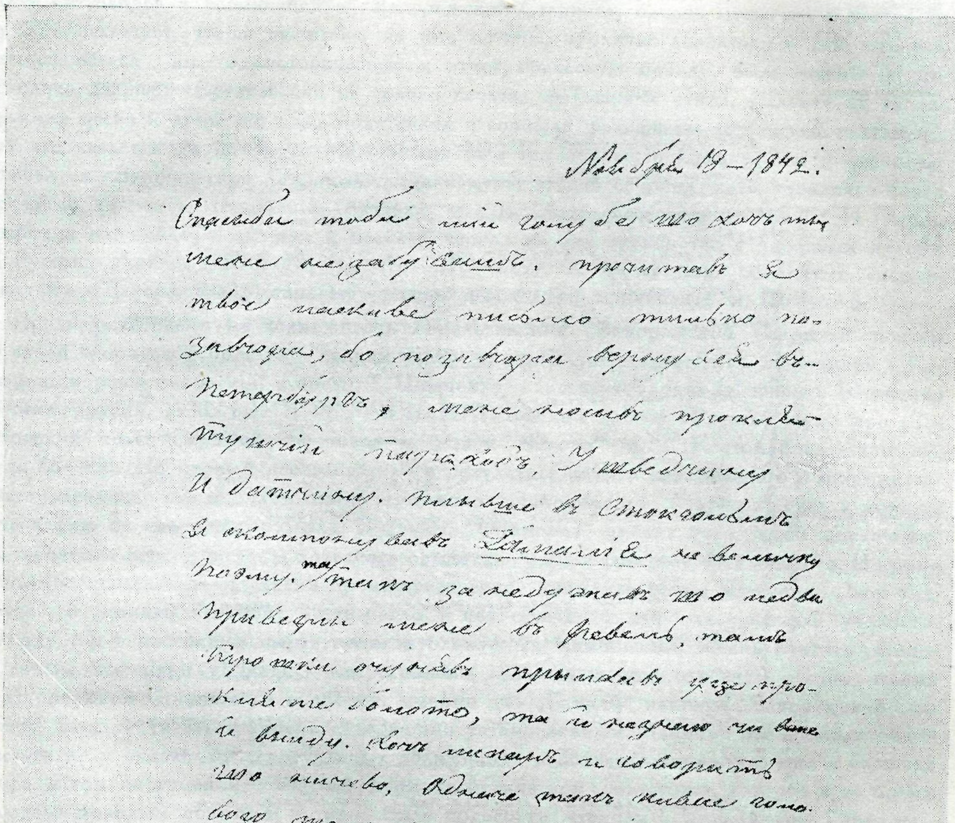
Ценность публикуемых писем начинается с того, что они относятся к началу сороковых годов: эпистолярное наследие Шевченко до ссылки сохранилось лишь в самой незначительной степени; в частности за 1842 г. мы имели только 2 письма. Но и кроме того письма наши сообщают ряд любопытных фактов биографии и творческой работы Шевченко.

В особенности неожиданен, даже „сенсационен" сообщаемый Шевченко в письме 18 ноября факт морской поездки в Швецию и Данию; до сих пор об этой поездке не было известно даже намеком, хотя намерение ехать за границу Шевченко лелеял в продолжение всего своего академического учения. Так, 19 февраля 1841 г. он писал Г. Ф. Квитке: „я Академію нешвыдче покину як через два годи. Через два годи як прочитаєте в якім-небудь журналі — шо якійсь то Шевченко намалював картину дуже до ладу! а за таке малювання Академія його (мене б то) посилає в Італію, в самий Рим. Весело, батьку, дуже весело!" Затем уже в в феврале 1843 г., Шевченко сообщает Я. К. Кухаренко: „Я в марті місяці їду за-границю, а в Малоросію не поїду, цур їй, бо там окрім плачу нічого не почую". Однако еще и 28 декабря 1843 г., в письме к В. И. Григоровичу, Шевченко говорит лишь о предположении ехать за границу. Таким образом данные переписки поэта как будто свидетельствуют о том, что в течение трех лет слишком мечта о заграничной поездке оставалась неосуществленной, и что упоминание о морском путешествии в письме к Королеву есть основание считать дружеской мистификацией, которой аналогии можно найти в переписке Шевченко (например возвращаясь из ссылки, томясь морально и бедствуя материально в Нижнем Новгороде, он, 12 ноября 1857 г., пишет коменданту Ново-Петровского укрепления, где отбывал ссылку: „Мне здесь пока хорошо. Ниже городская аристократия принимает меня радушно и за работу платит, не торгуясь 25 рублей серебром за портрет, нарисованный карандашем. Деньги у меня есть. Костюм себе построил первого сорта, начиная с голландского белья, и в добавок запустил бороду, настоящее помело. Теперь мне только не достает столицы, а то все слава бегу, имею, начиная с здоровья").

Думается, однако, к сообщению Шевченко можно и следует отнестись с полной серьезностью и доверием и первоначальные соображения о мистификации значительно ослабить. Во-первых, в данном случае повидимому отсутствует внешний повод для мистификации, для хвастовства, какой, например, имел место в цитированном письме к коменданту И. А. Ускову: там Шевченко сознательно писал совершенно противоположное тому, что было с ним в действительности, стремясь подчеркнуть в глазах своего корреспондента разницу между своим положением ссыльного солдата и «свободного» художника и поэта. Кроме того приводимые из переписки Шевченко цитаты о предполагаемой поездке, если вчитаться в них, далеко не однородны: если в письме к Г. Ф. Квитке эта поездка рисуется лишь как очень отдаленная мечта, то в двух других письмах единственным препятствием к осуществлению этой мечты оказывается отсутствие денег, при чем служебное положение адресата второго письма, В. И. Григоровича, конференц-секретаря Академии Художеств, совершенно исключает какую бы то ни было мысль о мистификации. Таким образом в 1843 г. вопрос о заграничной поездке для Шевченко стоял вполне реально; можно высказать предположение, что готовясь к длительному заграничному путешествию, Шевченко, не дождавшись оформления соответственных документов, рискнул контрабандой проехаться на судне, совершающем рейсы между портами Балтийского моря; поездка, как явствует из письма, была прервана болезнью поэта, не позволившей ему познакомиться с теми местами, куда заходило судно. Это обстоятельство вместе с опасением суровой административной кары за незаконную поездку явилось причиной того, что Шевченко молчал о последней и обмолвился о ней лишь в случайном письме к случайному провинциальному знакомому. Несмотря на всю голословность этого нашего предположения, нуждающегося в документальных подтверждениях, оно оказывается вполне возможным не только так сказать психологически, но и хронологически: поездка эта полностью укладывается в промежуток полутора месяца — между известным уже раньше письмом Шевченко к Я. Г. Кухаренко, 30 сентября 1842 г. и публикуемым нами письмом к Ф. Н. Королеву, 18 ноября 1842 г. Как раз эти полутора месяца до сих пор в хронологической канве Шевченко оставались незаполненными.

Не противоречит нашему предположению о действительности заграничного рейса Шевченко и приурочение к этому времени поэмы «Гамалия», рисующей в тонах казацкой националистической романтики, владевшей в то время поэтом, один из запорожских набегов на Константинополь. До сих пор поэма, напечатанная отдельным изданием в 1844 г. датировалась весьма приблизительно: концом 1842 — началом 1843 г. На основании письма к Королеву мы можем установить более точную дату — октябрь 1842 г. — и кроме того установить источник поэмы: «Запорожскую Старину».

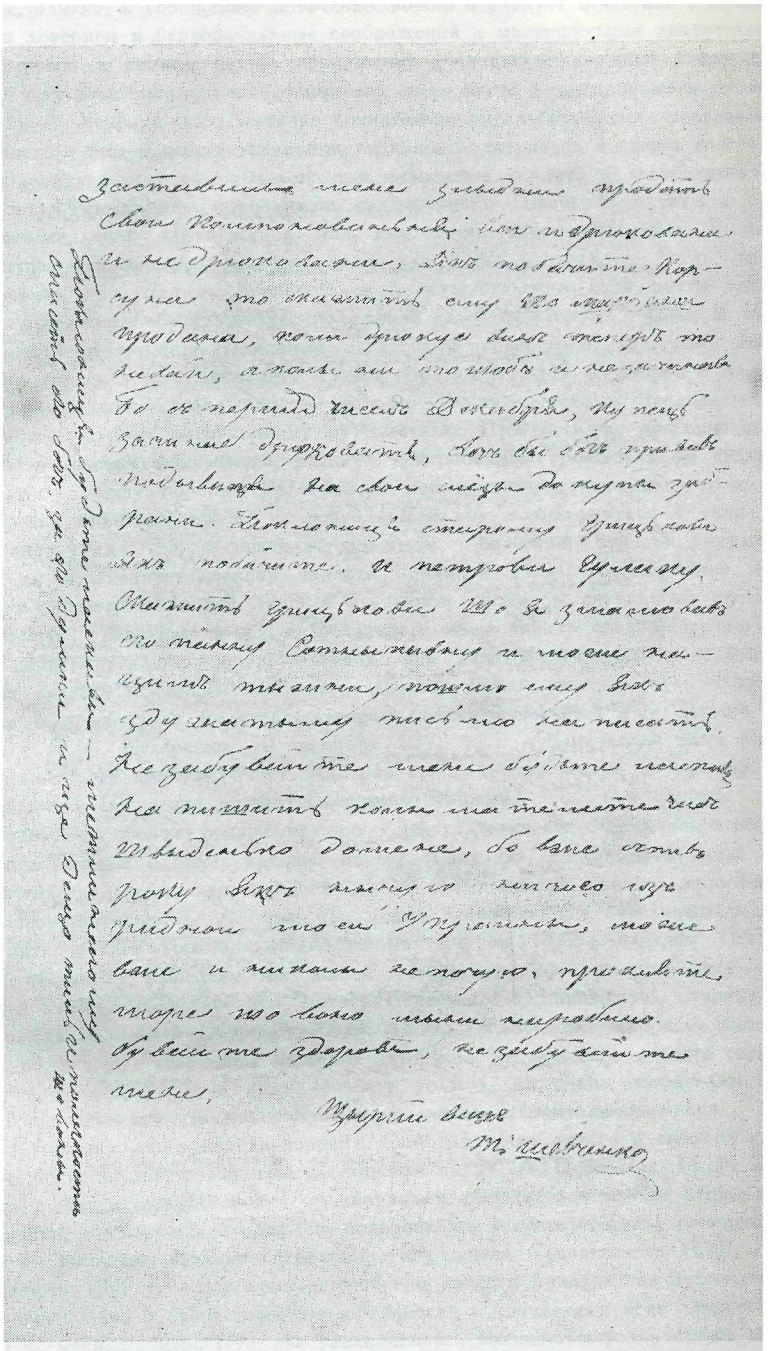
«Запорожская Старина» (Харьков, 1833—1836, 6 выпусков), «собрание запорожских песен и дум», а также старинных казацких летописей, по заявлению самого составителя, И. И. Срезневского, имела в виду «оказать услугу... не одним любителям народной поэзии, но преимущественно любопытствующим знать старину запорожскую,— быт, нравы, обычаи, подвиги этого народа воинов». Сообщая массу нового и свежего материала (по сравнению с предшествовавшими сборниками кн. Н. А. Цертелева, М. А. Максимовича и др.), хотя и подавая его в традиционном дворянско-казацком националистическом освещении, «Запорожская Старина» пользовалась у современников громадным успехом. «Где вы выкопали столько сокровищ? — спрашивал Срезневского Н. В. Гоголь в письме 6 марта 1843 г. — Все думы и особенно повести бандуристов ослепительно хороши! Из них только 5 были известны мне прежде, а прочие для меня новость!» Лишь с течением времени, по мере того, как увеличивалось количество фольклорных записей и уточнялись методы записывания все чаще стали раздаваться голоса сомнения в подлинности и добросовестности ряда текстов «Запорожской Старины» (см. например М. Драгоманов и В. Антонович «Исторические песни малорусского народа», Киев, 1875, т. I, стр. XVIII—XXXII; Н. Костомаров. «Историческая поэзия и новые ее материалы» — «Вестник Европы» 1874, № 12, стр. 573—629): «Українські народні думи», т. I, 1927, стр. XXXVI—XXXIX). «Много вреда, — писал Костомаров в одном частном письме, затрагивая вопрос острее и категоричнее, нежели в печатных высказываниях, — наделал



Ноября 19—1842.

Спасибі тобі мій голубе що хоч ти
мене не забуваєшь. прочитав я
твоє ласкаве письмо тілько по-
завчора, бо позавчора вернувся въ
Петербургъ, а мене носило прокля-
тущим пароходомъ, у Шведчину
и Датчину. пливши въ Стокгольмъ
я скомпонувавъ Гамалію невеличку
поэму. та так занедужавъ що ледви
привезли мене въ Ревель, там
трохи очунявъ приїхавъ уже про-
клятое болото, та й нездужаю ще й до-
сі в виду. Хоч лікарь и говоритъ
що нічого, однако таки хилиться голо-
ва що аж страшно довелися. сльози
оце трошки пишу тяжко тілько
хоч перо в руках удержати.
А невеличку вже не докінчу, надати
зиску хоч вона не поможе. а треба
буде хоч волоцюги рано. тілько
милосердного Бога щоб
поміг мині весни дождати
щоб хоч умерти на Україні.

ПИСЬМО Т. Г. ШЕВЧЕНКО к Ф. Н. КОРОЛЕВУ ОТ 18 НОЯБРЯ 1842 г
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
Государственный Литературный Музей, Москва



ПИСЬМО Т. Г. ШЕВЧЕНКО к Ф. Н. КОРОЛЕВУ ОТ 18 НОЯБРЯ 1842 г.
ВТОРАЯ СТРАНИЦА
Государственный Литературный Музей, Москва

малорусской истории и этнографии этот человек... [т. е. Срезневский. — *И. А.*]. Он, конечно, сам сознает грех свой и удаляется не только от повторения его, но даже избегает разговоров и упоминаний о «Запорожской Старине», однако мужества и честности у него нехватает, чтобы решиться, во имя истины, публично сознаться в том, что все, выдававшееся им за историческую и этнографическую правду, была ложь!» И несколько дальше: «Срезневский не только печатал фальшивые стихи, выдавая их за народные песни и думы, но даже подставлял и сообщал фальшивые летописные сказания... А что касается до песен, то Максимович был так обольщен Срезневским и перепечатывал из «Запорожской Старины» песни и думы в свой сборник, хотя, незадолго перед смертью, бывши в Петербурге, сознавал, что был тогда бессовестно обманут. И Гоголь верил в народность этих дум и песен и черпал из них знакомство с народным духом» («Русский Архив» 1890, № 10, стр. 218—219). К числу лиц, обманутых «народностью» «Запорожской Старины», теперь необходимо причислить и Шевченко.

Предположительно на возможность использования „Запорожской Старины" поэтом в своей творческой практике сравнительно недавно указывали Б. А. Навроцкий („Козацькі морські експедиції в поезії Т. Шевченка — Інститут Тараса Шевченко. Шевченко річник другий, 1930, стр. 70—85") и П. И. Тиховский („Іван Підкова", дума про „Татарський похід Серпіги" та епізод із „Сави Чалого" М. І. Костомарова — там же, стр. 86—92). Но первый исследователь в результате весьма велеречивого и многоцитатного „анализа" все использование Шевченко „Запорожской Старины" свел к позаимствованию из нее имени Ивана Подковы, „установив" вместо того, иной „источник" вдохновения поэта—романы польского романтика-националиста А. Чайковского. И кроме того оба исследователя, уделяя преимущественное внимание поэме Шевченко „Іван Підкова", о „Гамалії" говорят лишь бегло и без обычного для них арсенала учености. Между тем в настоящее время после публикуемых нами писем можно считать установленным, что „Іван Підкова", написанный в 1839 г., не мог отразить следов чтения „Запорожской Старины", и наоборот, именно для „Гамалії" влияние „Запорожской Старины" может считаться теперь совершенно установленным. Влияние это приходится отмечать не в отдельных текстуальных сближениях и сопоставлениях, но, еще в большей мере, в том настроении казацкой националистической романтики, которое в то время владело молодым поэтом и которое было подогрето чтением „Запорожской Старины". Однако очень существенно отметить, что по верному замечанию современного комментатора „Кобзаря", „молодой поэт-крепостной Шевченко... и в данном произведении обнаруживал стихийное возмущение закрепощенных масс, их горячее стремление освободиться из ярма „злой неволи" дворянско-помещичьего самодержавия" (Поезія Т. Г. Шевченко. Під редакцією А. А. Хвилі и Є. С. Шабліовського. Харків, 1934, стр. 119).

Нуждаются в расшифровке передаваемые во втором письме приветы, вводящие нас в круг тогдашних украинских литературных отношений Шевченко. „Старий Грицько"— Григорий Федорович Квитка (Грицько Основьяненко), Петро Гулак — Петр Петрович Гулак-Артемовский, Метлинский — Амвросий Лукьянович, автор сборника стихотворений „Думки і пісні та ще дещо" (Харьков, 1839), о котором также упоминается в письме. Мы уже отмечали заботливое стремление буржуазных историков литературы установить „единый поток" развития украинской литературы и тесно связать поэта-революционера и бунтаря Шевченко с предшествовавшей дворянско-помещичьей литературой и отдельными ее представителями (см. выше в статье „Судьба литературного наследства Шевченко"), на всю беспомощность и нелепость этих попыток. Знакомство (заочное) с Квиткою, Гулаком-Артемовским, Метлинским, интерес, проявляемый молодым поэтом-крепостным к творчеству поэтов-дворян и помещиков, отнюдь не препятствовал ему весьма трезво, со здравым классовым смыслом оценивать их творчество. В 1846 г., в предисловии к задуманному сборничку своих поэм, Шевченко писал о Квитке и Гулаке: „Покійний Основ'яненко дуже добре приглядався на народ та не прислухався до язика, бо може не чув у колисці од матері, а Гулак-Артемовський хотьі чув, так забув, бо в пани постригся. Горе нам! Безуміє нас обуяло отим мерзеннимі богу противним панством".

Упоминаемая в письме 18 ноября „панна Сотниківна"—очевидно, недошедшая до нас иллюстрация Шевченко к повести Г. Ф. Квитки „Панна Сотниковна". Об этом замысле Шевченко неоднократно упоминает в своих письмах к Квитке, обещая ему нарисовать „панну Сотниківну як вона, богобоязлива, сидя у вікна, орар лагодить" (19 февраля 1841 г.) сообщал позднее о том, что работа уж начата: „Малюю вашу панну Сотниківну. Хотив кончить до різдва та й не знаю, бо тут теперь ні день, ні ніч — так, чорт-зна що: прокинешся рано, тілько що заходишся малювать, дивишся вже й ніч" (8 декабря 1841 г.)

К литературным знакомствам Шевченко следует отнести и упоминаемого в письме 18 ноября — Корсуна, Александра Алексеевича, поэта и издателя альманаха «Сніп» (Харьков, 1841), для проектированного второго выпуска которого Шевченко прислал поэму «Черниця-Мар'яна» и стихотворение «Човен» (см. об этом в воспоминаниях Корсуна — «Русский Архив» 1890, № 10). Издание это в свое время не осуществилось и поэма в течение ряда десятилетий пролежала под спудом, сперва у самого Корсуна, затем у его наследников, пока не была опубликована по автографу, поступившему вместе со всем архивом Корсуна в Пушкинский Дом, М. М. Новицким («Записки Исторично-Филологичного Виддилу УАН», кн. IV, 1924).

Заслуживают внимания также упоминания в публикуемых письмах относительно издательских дел Шевченко. Поэма «Гайдамаки» (СПБ., 1841) была издана самим поэтом: *предполагалось осуществить предварительную подписку на книгу, однако* подписка далеко не покрыла всех расходов и не оправдала материальных расчетов автора, заинтересованного в скорейшей ликвидации своего предприятия еще и из опасения, чтобы цензура не конфисковала книгу. 26 марта 1842 г. Шевченко писал по этому поводу Г. С. Тарновскому — «Было мне с ними годя, насилу выпустил цензурный комитет: возмутительно да и кончено. Насилу кое-как я их уверил, что я не бунтовщик. Теперь спешу разослать, чтобы не спохватились». Действительно, только счастливой случайностью можно объяснить то обстоятельство, что «Гайдамаки», поэма о кровавой расправе восставших крестьян с помещиками-угнетателями (так наз. Колнивщина, восстание 1768 г.), хотя и обвеянная еще национально-романтическими настроениями, но насквозь проникнутая неизбывною классовою ненавистью вчерашнего крепостного к панам, поработителям миллионов закрепощенного крестьянства, увидела в конце концов свет. Уже после первого своего письма к Королеву, Шевченко получил восторженный отзыв о «Гайдамаках» от Квитки и Гулака-Артемовского. «Ну, вже так що порадовали ви нас своїми Гайдамаками! — писал Квитка (29 апреля 1842 г.). — Як кажу: читаєш, та і облизуєшся. Як раз к великодню прислали ви нам сюю писанку; а я зараз і розіслав по рукам. Пан Артемовський аж пидскакує, та хвалить». Однако уж несколько лет спустя, П. Кулиш упрекал Шевченко в «чрезмерной жестокости» «Гайдамаков», требуя, якобы во имя «художественной правды», нивелирования, ослабления того бунтарства, того противопанского духа, который даже и после цензурных упражнений бил из поэмы. «Дайте побольше человечества вашим «Гайдамакам», — взывал он в письме к Шевченко и, в подкрепление своего требования, ссылался на Шекспира, у которого «одно лицо в слепоте зверской ярости проливает кровь своих врагов, а другое говорит голосом человечества; иногда то же самое лицо содрогается, *и тем доказывает истину, что человеческое начало никогда не подавляется зверским*» (письмо 25 июля 1846).

Последний момент, на котором следует остановиться, комментируя письма Шевченко к Королеву — это сообщение о продаже, в тяжелую минуту, всех своих произведений, настоящих и будущих. Сохранившееся условие Шевченко с книгопродавцем И. Т. Лисенковым было оформлено несколько позднее, 8 февраля 1843 г., но касалось только двух книг: «Кобзаря» и «Гайдамаков», которые «ни я сам, Шевченко, *ни даже никто из моих наследников... печатать права не имеет*». Осуществляя свои права, Лисенков выпустил второе издание «Кобзаря» под заголовком: «Чигиринский кобзарь и Гайдамаки. Две поэмы на малороссийском языке Т. Шевченко. Новое издание» (СПБ., 1844); впоследствии, в 60-х годах, Лисенков выступил в суде с доказательством своих исключительных и преимущественных прав на публикацию литературного наследства Шевченко, но суд в иске ему отказал.

Ф. И. ТЮТЧЕВ В КОМИТЕТЕ ЦЕНСУРЫ ИНОСТРАННОЙ

Сообщение М. Брискмана

В дневнике Я. П. Полонского есть следующая запись: «Некто Степанов (карикатурист) подал в цензуру сочинения отца своего. Цензура держит их 9 месяцев, т. е. три срока, назначенных законом. Степанов подал на цензуру жалобу министру Перовскому. Перовский велел сделать через Мусина-Пушкина строжайший выговор и прочесть при всех в Комитете. Цензор Ахматов, выслушав выговор, по глупости забылся и всех насмешил восклицанием: «Господи, боже мой, экая напасть, если литератор да вдруг сделается министром» («Голос Минувшего» 1919 г., № 1—4, стр. 102).

Полонский был прав: цензор Ахматов действительно сказал глупость. Министров, а особенно цензоров-литераторов в России было достаточно, радости от этого литературе было немного. Все же некоторым из них в пределах своего, как правило, весьма умеренного «литераторского либерализма» кое-что сделать удавалось.

После смерти небезызвестного цензора Красовского, министр народного просвещения А. С. Норов представил Александру II три кандидатуры в председатели Комитета цензуры иностранной (дело мин. нар. просв. по Главному управлению цензуры № 133). Выбор Ф. И. Тютчева несомненно был следствием появления в ноябре 1857 г. его письма Горчакову о цензуре в России, письма, соответствовавшего в какой-то мере тенденциям правительства к смягчению цензурного гнета последних лет николаевского царствования [1].

Сохранилось резкое высказывание Тютчева, характеризующее его отношение к цензурной деятельности еще в бытность цензором министерства иностранных дел. «Недавно у меня были мелкие неприятности в министерстве, все по поводу этой злосчастной цензуры. Конечно, в этом не было ничего особенно важного... На развалинах мира, который обрушится под тяжестью их глупостей, они, по роковому закону, останутся жить и умирать в постоянной безнаказанности их идиотизма. Что за отродье, боже мой! Однако, чтобы быть вполне искренним, я должен сознаться, что эта беспримерная, эта ни с чем не сравнимая недалекость не опечаливает меня за судьбу самого дела настолько, насколько казалось должна была бы опечалить. Когда видишь, насколько все эти люди лишены всяких мыслей и всякой сообразительности, следовательно и всякой самодеятельности — становится невозможным приписывать им малейшее участие в чем либо: в них можно видеть только безвольные колесики, приводимые в движение невидимой рукой» (письмо 1854 г. См. «Русский Архив» 1899 г., № 2, стр. 275. Цитирую по переводу.) Не слишком был доволен Тютчев результатами и своей новой служебной деятельности. Отношение его к русской цензуре не изменилось. Помимо письма 1873 г., в котором Тютчев, незадолго до смерти, констатировал, что его записка о цензуре в России «и в настоящий миг трепещет современным интересом» и что «самая бесполезная вещь на сем свете быть правым» (И. С. Аксаков. Биография Ф. И. Тютчева. М., 1886, стр. 313. Цитирую по переводу), можно привести еще его слова из письма Аксакову в 1867 г.: «Для совершенно честного, совершенно искреннего слова в печати требуется совершенно честное и искреннее законодательство по делу печати, а не тот лицемерно-насильственный произвол, который теперь заведывает у нас этим делом» («Мурановский сборник», вып. I, 1928 г., статья Г. Чулкова «Тютчев и Аксаков в борьбе с цензурой» стр. 19).

До сих пор фигура Тютчева-цензора известна лишь по некоторым отрывочным воспоминаниям да по его собственным словам в стихотворении в альбом П. А. Вакара. («Веленью высшему покорны...»). Задача настоящего сообщения — иллюстрировать первый этап цензурной деятельности Тютчева. Публикуемые ниже заключения подписанных Тютчевым отчетов по Комитету цензуры иностранной за 1858, 1860, 1863 и 1865 гг. дают некоторый материал для освещения вопроса — как и насколько удавалось Тютчеву приложить в своей служебной деятельности высказанные им в письме Горчакову мысли о цензуре и свободе печати [2]. Ряд любопытных характеристик иностранных литератур, отдельных книг и заграничных русских изданий не только дополняет и конкретизирует оценку Тютчева как цензора, но и является богатым материалом для характеристики его литературных и общественно-политических взглядов. Здесь между прочим стоит отметить неизменность и настойчивость нападок на «школу рационалистов и материалистов» и на Штрауса, Ренана и других, «низводящих спасителя на степень человека». Несомненно, эти «литературные обзоры», как названо одно из заключений отчетов Комитета, должны быть использованы в специальной работе (все дела Комитета Цензуры Иностранной хранятся в Ленинградском Отделении Центрархива).

Отчеты эти в целом перу самого Тютчева конечно не принадлежат. Однако сравнение их с отчетами предыдущих лет и с отчетом за 1864 г., подписанным временно заменявшим Тютчева гр. Комаровским, с одной стороны, и с письмами и статьями Тютчева — с другой, позволяет считать по крайней мере з а к л ю ч е н и я этих отчетов принадлежащими Тютчеву лично. Правда, официальный характер бумаг дал себя знать. В письме Горчакову Тютчев говорит об изданиях Герцена: «Это явление бесспорно важное, и даже весьма важное, заслуживающее самого глубокого внимания... он служит для нас представителем свободы суждения, правда, на предосудительных основаниях, исполненных неприязни и пристрастия, но тем не менее настолько свободных (отчего в том не сознаться?), чтобы вызывать на состязание и другие мнения, более рассудительные, более умеренные и некоторые из них даже положительно разумные» (перевод письма — Полное собрание сочинений, 8-е изд., стр. 513—514). Вот во что превратилось это в отчете за 1858 г.: «Открытие во многих европейских городах русских типографий, в которых издаются возмутительные сочинения». Ср. также резкую характеристику в отчете за 1863 г. (что, понятно, не случайно). «Возмутительные сочинения» — конечно термин, *официальное наименование, да и подразумевается здесь не один Герцен.* Но и вся деятельность Тютчева-цензора могла соответствовать его мыслям о цензуре в той же степени, как термин «возмутительные сочинения» соответствует «явлению бесспорно важному и даже весьма важному ...на предосудительных основаниях».

Приняв Комитет иностранной цензуры, Тютчев рьяно взялся за дело.

В Комитете иностранной цензуры еще с 1850 г. было введено разделение запрещенных книг на *запрещенные безусловно* и *запрещенные для публики*, разделение, не предусмотренное уставом 1828 г. Безусловное запрещение применялось, правда, крайне редко, даже при Красовском. Характерно однако, что вместе с появлением в Комитете Тютчева эти запрещения почти совершенно исчезают и соответствующие представления цензоров постоянно отклоняются [3].

«Я старался дать больший простор и иностранной (литературе), не выходя впрочем при этом из законных пределов и держась точного смысла устава о цензуре», «все внимание цензуры должно было обратиться на действительно вредные сочинения, не придираясь к мелочам или отдельным словам», писал Тютчев в отчете за 1858 г.

В делах Комитета находим многочисленные доказательства этому заявлению Тютчева. В 1850 г. Главное управление цензуры, озабоченное огромным количеством поступавших к нему от Комитета сомнительных книг, напомнило последнему о его праве «в тех случаях, если сочинение написано с благонамеренной целью, но в нем встречаются места непозволительные, с согласия хозяина оного, уничтожать сии слова или выражения, посредством вырезания страниц или иным способом» (дело 1850 г., № 43). Комитет стал широко применять это предложение. Как видим, Главное управлени

цензуры рассматривало это как своего рода облегчение, необходимое в свою очередь «в видах облегчения оборотов книжной торговли» (указан. дело). Тютчев однако справедливо определил практику этого «облегчения» как придирки. С апреля—мая 1858 г. Комитет начинает регулярно отказываться от применения этого правила и разрешать в иных случаях весьма предосудительные места. В 1858—1863 гг. Комитет все чаще отклоняет предложения цензоров о запрещении книг. Любопытно, что разногласие вызывают главным образом рапорты цензоров провинциальных, т. е. далеких от влияния Тютчева. В том, что число запрещенных книг уменьшается, Тютчев вынужден оправдываться — см. отчет за 1863 г. Получено было также разрешение, «не стесняясь, пересматривать запрещенные прежде сочинения». Ср. в отчете за 1860 г. упоминание Тютчева о старых исторических сочинениях.

«БОЛЬШОЙ СОВЕТ ЦЕНЗУРНОГО ОЛИМПА»
СЛЕВА НАПРАВО: АПРАКСИН, ТЮТЧЕВ, МУХАНОВ, ТИМАШЕВ, АДЛЕРБЕРГ

Карикатура П. Федро

Институт Русской Литературы, Ленинград

В связи с пересмотром цензурного устава Комитету было предложено составить проект изменений Устава иностранной цензуры. Основной вопрос, интересовавший Комитет, — нельзя ли вернуться к порядку, существовавшему до 1850 г., когда на Комитете не лежала обязанность распаковывать и рассматривать укладки с книгами и это доверялось книгопродавцам, поднят был еще до назначения Тютчева председателем. При Тютчеве Комитет вновь настойчиво и не раз возвращается к этому вопросу, не нашедшему однако желательного разрешения. В представленном Ковалевскому проекте следует отметить ряд предложений, в сущности возвращавших к Уставу 1828 г. (неизменный припев всех проектов этого времени): восстановление прав научных и учебных учреждений получать книги без цензуры, уничтожение разделения на безусловно запрещенные и запрещенные для публики и др. Составлен был также «Проект правил о выдаче книг без подробного рассмотрения», предоставлявший много возможностей для выдачи книг без цензуры. В Главном управлении цензуры проект этих правил подвергся однако значительному сужению [4].

Впрочем и весь проект Комитета, войдя в известный проект цензурного устава Ковалевского, так и не был воплощен в жизнь (Журнал заседаний Комитета 1858 г., дела Главного управления цензуры № 214 и 245, отчет за 1861 г.).

В дальнейшем, особенно после перехода цензуры в министерство внутренних дел, возможностей у Тютчева оставалось все меньше и меньше. Через несколько лет, за год до упоминавшегося выше письма к Аксакову, Тютчев продолжал твердить: «Но как умственный уровень с каждым годом возвышается, то и естественно, что цензурные действия должны быть весьма осмотрительны и уже никак не иметь характер чисто запретительный, как это было в прежние годы. Цензура будет действовать только тогда с пользой, если она, не выходя из пределов закона и из солидарности с правительством, постоянно соображается с разумом закона, требованиями века и общества» (из отчета за 1866 г.). Но отчет был адресован начальнику Главного управления печати и через него Валуеву[5], а их даже такой умеренный и верноподданический «либерализм» не убеждал.

ОТЧЕТ О ДЕЙСТВИЯХ ИНОСТРАННОЙ ЦЕНСУРЫ ЗА 1858 ГОД

(Из дела канцелярии Министра Народного Просвещения по Главному Управлению Цензуры, 1859 г., № 152103/25)

Заключение. При назначении меня в Апреле месяце 1858 года Председателем Комитета Цензуры Иностранной, я считал первою обязанностью привести в более рациональное положение действия иностранной Цензуры. Желая удовлетворить потребностям читающей публики и принимая в соображение развитие русской литературы, я старался дать больший простор и иностранной, не выходя впрочем при этом из законных пределов и держась точного смысла Устава о Цензуре. Более снисходительному действию Иностранной Цензуры служила поводом и современная иностранная литература. Произведения ее с 1848 года, наполненные революционными, рациональными и социальными идеями, подали повод весьма естественно к репрессивным мерам во всех благоустроенных государствах, а с тем вместе и у нас. Но со временем, когда страсти в Европе утихли, все пришло в обыкновенный порядок и литература вступила на законную деятельность, должны были смягчиться и эти меры и все внимание Цензуры должно было обратиться на действительно вредные сочинения, не придираясь к мелочам или отдельным словам. В особенности с большею строгостию старался я действовать относительно так называемых легких произведений литературы, по этому запрещению для публики и позволению с исключениями подверглись более романы, повести и детские книги[6].

Сверх того одно обстоятельство, не существовавшее прежде, должно было обратить на себя особенное внимание и бдительность Иностранной Цензуры, это — открытие во многих европейских городах русских типографий, в которых издаются возмутительные сочинения. Разумеется, что с ними поступается самым строгим образом и они не выдаются никому, ни под каким видом[7]. Но это самое заставило чиновников усилить труды свои и рассматривать укладки с привозимыми книгами с возможною осторожностию, так как в числе книг совершенно невинного по заглавию содержания могут быть вклеены или листы, или даже незначительного объема брошюры.

Из Отчета о действиях Иностранной Цензуры в Империи за 1858-й год Ваше Превосходительство изволите усмотреть, что деятельность чиновников, как Комитета Цензуры Иностранной, так и иногородных Цензурных Комитетов, а равно и Отдельных цензоров в Ревеле и Дерпте, занимающихся рассматриванием поступающих из-за границы иностранных книг, и в этом году не уменьшалась, а напротив увеличилась числом

рассмотренных книг в значительном количестве, сравнительно с предыдущими годами и что в означенный год число книг позволенных более, нежели в последние годы.

При сем долгом считаю донести Вашему Превосходительству, что главная деятельность по цензурованию иностранных книг лежала на Комитете Цензуры Иностранной и что Чиновники оного исполняли свои обязанности со всем усердием и добросовестностию. Но несмотря на усиленные труды их, все количество неизвестных книг не могло быть рассмотрено, а при увеличивающейся литературной деятельности, нужно ожидать в будущем еще большего привоза. Для успешного действия Иностранной Цензуры необходимо сделать значительные преобразования в оной, о чем я и имел честь сделать представление Вашему Превосходительству. От преобразований этих будет зависеть дальнейший ход действий иностранной цензуры.

Председатель Ф. Тютчев

ОТЧЕТ О ДЕЙСТВИЯХ ИНОСТРАННОЙ ЦЕНСУРЫ ЗА 1860 ГОД

(Из дела Главного Управления Цензуры, 1861 г., № 69/70)

...В заключение этого отчета считаю не лишним бросить взгляд на Иностранную литературу в 1860 году по отношению ее к цензурным постановлениям в России.

Давно уже литература народов западных не представляла такого брожения, такой борьбы совершенно друг другу враждебных начал или убеждений религиозных, философских и политических. Эта борьба не может быть тайной для образованного класса русских читателей, для большинства которых западные теории или увлечения партии служат более предметом любопытства, нежели насущной потребности. Русский не может принять никакого живого деятельного участия в той борьбе например, какую ведут Легитимисты с Бонапартистами, Клерикалы с светской властию, протестантизм с католицизмом и так далее — но борьба эта и для русских, во многих отношениях, может быть полезна как урок, предлагаемый историей современного нам человечества. В совершенной слепоте и неведении нет и возможности оставлять русскую публику — Иностранная Цензура в России должна была только, тщательно отличая в массе книг, идущих к нам из-за границы, сочинения положительно вредные для всех по своему влиянию, не допускать их в публику.

К числу таковых вредных сочинений принадлежали в прошлом 1860 году: Во-первых, книги философского содержания с крайне рациональным или материальным направлением, отвергающие всякую возможность существования бога и всякую надежду на бессмертие души за гробом. Таких сочинений более всего оказывалось на немецком языке, ибо в Германии рационализм стал духом, господствующим почти что во всех слоях общества. Во-вторых, книги религиозные, с полемическим характером или направленные против догматов русской церкви, которая, по словам фанатических проповедников католицизма, называется мертвою, еретическою, преданною проклятию — или направленные против западного католицизма, стремящегося доказать, не только фактами, но и текстами св. писания, всю несостоятельность римско-католической церкви, при чем, разумеется, уничтожается всякое значение Папы, не только светское, но и духовное, описывается разврат Ватиканского двора, лицемерие духовенства и проч., — такого рода сочинения в прошлом году были по большей части на французском языке и авторы их были не только протестанты, но и католики. В-третьих, книги исторические, в которых говорилось о России. Вообще историки последних

годов стали гораздо беспристрастнее и умереннее в своих выводах: уже никто из них не проповедует революции, как единственного спасительного исхода для всех народов, напротив смотрят на такие потрясения, как на болезнь тяжкую и опасную для организма и развития народов. Не то было тому назад 10 или 15 лет — и множество исторических сочинений того времени до сих пор еще находятся под цензурным запрещением, хотя уже и утратили значительную часть своего влияния.

Комитет Цензуры Иностранной, рассматривая сочинения историческия, по большей части старался обращать внимание на места, относящиеся к Русской истории, и исключал их, если находил их противными уставу о цензуре — наибольшее число исключенных мест заключало в себе описание кончины императоров Петра III и Павла I.

В-четвертых, брошюры, заключающие в себе воззвания к польскому народу, писанные по большей части на польском языке польскими эмигрантами, или сборники патриотических стихотворений в том же духе. Вызвать проклятия на Россию — страну кнута, как ее называют ее ненавистники, доказать отсутствие всяких человеческих качеств, как в народе, так и в его государях, составляет главную цель их. Таких брошюр в прошлом году было заметно много — Комитет Цензуры Иностранной не допускал их к обращению в публике, и

В-пятых, безнравственные романы и повести, которыми по большей части отличалась литература французская.

Книги же на русском языке, неизвестные цензуре, посылались на рассмотрение духовной и внутренней Цензуры.

В прошлом году из числа книг на Английском языке запрещенных было немного — а именно: несколько сочинений, заключающих в себе или путешествия по России или пристрастное описание Крымской Кампании — или анекдоты и рассказы, относящиеся к царствованию императора Николая I-го. Вообще же большинство Английских писателей постигло вполне назначение литературы способствовать нравственному развитию общества, ни на один безнравственный роман или повесть не может указать Цензура; ни на одно философское сочинение, которое бы с полным отрицанием смотрело на христианство; ни на одну политическую брошюру, которая проповедывала бы ненависть к России, войну или революционные движения. В историческом отношении Английская литература прошлого года особенно умеренна. Она признавала уже совершившиеся факты, сочувствовала совершающимся, но не проповедывала ни восстаний, ни новых разграничений Европы.

Вообще сочинений серьезных, научных было в прошлом году, так же как и в 1859 году, ввезено в Россию гораздо более, чем сочинений легких и для приятного препровождения времени написанных. Комитет Цензуры иностранной не был так строг в рассматривании тех книг, которых тяжелый, сухой, метафизический или философский язык не может быть доступен поверхностно-образованной массе читателей и стало быть не можеть иметь на нее такого влияния, как сочинения о тех же предметах, но изложенных на языке легком и популярном.

Из сравнения числа ввезенных в 1860 году книг с числом ввезенных в 1859 году — Ваше Высокопревосходительство изволите усмотреть значительную разницу — в 1859 году ввезено было 1.422.157 томов, а в 1860 году 2.255.359 томов — в числе которых неизвестных Цензуре книг возрастало постепенно с прошлого года, что и требовало особенной деятельности, усердия и добросовестного исполнения своих обязанностей со стороны всех Чиновников Комитета Цензуры Иностранной. О таковой деятельности и усердии мне особенно приятно свидетельствовать перед Вашим Высокопревосходительством.

В заключение имею честь донести Вашему Высокопревосходительству, что все действия Цензуры Иностранной, осторожно приноравливаясь к духу и потребностям современного нам русского общества и устраняя все положительно для него вредное или не своевременное, вполне были согласны с видами нашего Правительства.

Председатель Комитета Цензуры Иностранной Ф. Тютчев

ОТЧЕТ О ДЕЙСТВИЯХ ИНОСТРАННОЙ ЦЕНСУРЫ ЗА 1863 ГОД

(Из дела Центрального Управления по Цензурному ведомству, 1864 г. № 1)

...Нет сомнения, что по мере постепенного распространения в России образования и привоз иностранных книг постоянно увеличивался. Нераздельно с сим должен был, конечно, и круг действий Иностранной Цензуры с каждым годом расширяться. Двадцать лет тому назад, а именно в 1843 году, как видно из дел Комитета, ввезено в Россию иностранных книг 534.372 тома, десять лет спустя, в 1853 году,—958.533 тома, еще через пять лет ввоз увеличился до цифры 1.614.874 и наконец в 1862 году дошел до цифры 2.727.302 тома и номера. Таким образом привоз подлежащих рассмотрению иностранных сочинений в последние двадцать лет постоянно возрастал и в настоящее время увеличился вчетверо. Сравнительный этот вывод лучше всего доказывает, что Россия на пути образования не останавливалась, а в последние годы шла быстро вперед. В подтверждение этой истины можно указать на большое число ввезенных иностранных книг по механике, технике и естественным наукам, из них очень многие доступны массе русской публики в переводе на русском (языке).

Конечно, в таком большом количестве привозных книг находилось прежде и ныне много запрещенных; но замечательно то явление, что число запрещенных сочинений с каждым годом постоянно уменьшалось. Так, например, в 1862 году Комитет Цензуры Иностранной запретил 285 сочинений, тогда как 10 лет тому назад количество запрещенных Комитетом заграничных изданий доходило до цифры 464. В истекшем же 1863 году число запрещенных сочинений еще значительнее уменьшилось, а именно: из неизвестных и подвергнутых рассмотрению 3.670 сочинений Комитет Цензуры Иностранной запретил в целости 142 и позволил 87 сочинений с исключением из них мест и страниц.

Такое постепенное уменьшение запрещенных книг, сравнительно с увеличивающимся привозом из-за границы нельзя отнести к послаблению со стороны Комитета Цензуры Иностранной, от внимания которого ни одна вредная книга не могла скрыться; а обстоятельство это и причины тому объясняются как историческими событиями на Западе, так и более либеральным взглядом нашего Правительства на отечественную и иностранную литературы.

В 40-х и 50-х годах, когда умы на Западе сильно волновались, иностранная литература представляла борьбу крайне враждебных убеждений в религии, философии и политике. Волнение тогда было возбуждено такими политическими явлениями, как напр. низложением Людовика-Филиппа, провозглашением республики, общим брожением Германских народов, восстанием Венгрии, Coup d'Etat, новой империей и наконец Восточной войной. Нельзя отвергать и то, что такие политические события были подготовлены литературою, потому что учение Фейербаха, Штрауса, Луи-Блана, Прудона, идеи Ламартина, Гейне и образовавшаяся в Германии школа рационалистов и материалистов не могли не поколебать основания заграничного общества. Новые теории и учения пу-

стили свои корни в литературу, и западный человек, начитавшись новых идей в романах, повестях и газетах, должен был после тяжких уроков убедиться, что революция в церкви и государстве не спасение, а страшный недуг и язва для человеческого рода. Борьба эта должна была неминуемо вызвать со стороны русского Правительства возможную бдительность, для ограждения государства от водворения таких идей, которые могли бы потрясти общественное здание; необходимым следствием такого положения была особенная строгость как цензуры книг русских, так и иностранных. Но когда потом французское общество успокоилось при правлении императора Наполеона III, а в Германии то время миновало, где идеи Гейне, Фохта, Бюхнера и тому подобных писателей читались и поглощались с жадностию, считая их непогрешимыми, то и литература этих народов стала надежнее и полезнее для России, нежели она была прежде. По сей самой причине иностранная цензура в последние года могла быть снисходительнее в своих решениях, не выходя впрочем из пределов законности и строго соображаясь с видами Правительства. К сожалению в то же время образовалась за границею особенная русская литература, имеющая во многих городах русские типографии, и в особенности в Лондоне, где известные выходцы русские составили план посредством печати действовать революционной пропагандой в России; на этого рода сочинения Иностранная Цензура обращает и ныне особенно строгое внимание, употребляя все зависящие от нее средства к воспрепятствованию водворения в Империи подобного рода изданий.

Обозрев заграничную литературу по ее отношению к цензуре за последние двадцать лет, мне остается теперь указать на те из ее произведений, которые в прошлом 1863 г. подверглись запрещению в целости и исключениям мест и страниц.

Все вообще запрещенные прежде и ныне иностранные сочинения можно разделить на следующие пять разрядов.

1. Сочинения философские, отвергающие рациональными и материальными доводами бытие бога, свободу воли, бессмертие души. В Германии выходило в прежние годы много подобных произведений из печати, в прошлом же году поступило в Комитет незаметное число их, потому что корифеи этой школы большею частию исписались, и если еще пишут, то далеко не так резко, как прежде.

2. Сочинения религиозные, с полемическим направлением против библии, личности спасителя, коренных христианских верований и догматов православия. Такого рода положительно вредных сочинений Комитет Цензуры Иностранной подверг 44 названия запрещению. Цифра эта довольно знаменательная для духа нашего времени; она доказывает, что на Западе настала для общества новая опасность, грозящая отнять у человека самые дорогие и заветные верования. Первое место между этими произведениями занимает книга Ренана „Vie de Jésus“, написанная популярно и потому могущая принести более вреда, нежели строго научная книга Штрауса „Das Leben Jesu“. Комитет Цензуры Иностранной выдавал Ренана только немногим лицам, пользующимся по своему положению доверием Правительства. Из числа показанных 44-х названий были некоторые на Польском языке, в коих восхвалялся католицизм, с бранью на грекороссийскую церковь и ее обряды. Комитет вообще строго преследовал все книги изложенной выше категории.

3. Сочинения политические, поступавшие томами, брошюрами, журнальными и газетными статьями на не-

мецком, французском и польском языках. В них, вследствие современных обстоятельств и событий, преимущественно в Польских брошюрах, заключались воззвания к Польскому народу, проклятия на Россию, предосудительные рассказы и отзывы о государях ее и все то, что только может внушить самая отчаянная ненависть. Этих сочинений было: немецких 5, французских 20 и польских 57 в большом количестве экземпляров, которые все удержаны цензурою. К ним не причисляются прежде запрещенные и положительно вредные сочинения Мицкевича, Хойецкого, Красинского и подобных польских писателей, о непропуске которых цензура при досмотре укладок должна иметь постоянную заботливость и осторожность. При рассмотрении Французских сочинений по Польскому вопросу Комитет Цензуры Иностранной соображал свои решения с внутреннею цензурою и по мере того, как притязания и клеветы Поляков критически разбирались русскою прессою, в той самой мере Иностранная Цензура делалась снисходительнее и уступчивее. Таким образом напр. известная резкая речь графа Монталамбера была пропущена после отзыва о ней русских журналов[8].

Но и Английская литература, столь полезная прежде по своему положительному характеру и безвредному направлению, выступила в прошлом году враждебно против России. Там во многих повременных изданиях и даже журналах для юношества появлялись статьи, проповедывавшие ненависть к России, с предосудительными анекдотами и неприличными отзывами о великом князе Константине Николаевиче, покойном императоре Николае и теперешних государственных деятелях наших. Комитет Цензуры Иностранной удерживал подобные статьи и места английских изданий, коих рассмотрено около 22-х названий в значительном числе экземпляров.

4. Сочинения исторические, как напр. учебники, романы исторические и жизнеописания. Из них в прошлом году запрещены только 10 названий в целости и то преимущественно Польских, не имеющих общего литературного интереса. Сверх сего, подверглось подобного рода книг около 62 названий запрещению мест и страниц, в коих описывалось в мрачных красках жизнь императриц Анны, Елизаветы и Екатерины II, рассказывались с подробностию смерть Петра III и кончина Императора Павла. В новейших легких произведениях—именно в романе историческом встречались неприличные анекдоты или непочтительные отзывы об императоре Николае. Сочинений таких поступало заметное число экземпляров как в прошлом году, так и в прежнее время. Комитет Цензуры Иностранной всегда пропускал издания этой категории не иначе, как с помарками или вырезками означенных предосудительных мест и страниц.

5. Сочинения памфлетические и эротического содержания; из них поступало в Комитет Цензуры Иностранной незначительное количество, потому что строгость Цензуры относительно таких книг известна книгопродавцам. Особенное внимание Комитета обратили на себя два сочинения: „Napoleon III et ses complices“ и памфлеты Мирекура против того же императора Наполеона III и его дома [9].

К вышеизложенным 5-ти разрядам запрещенных книг Комитет Цензуры Иностранной не причисляет русских заграничных изданий, вышедших в прошлом году из-под типографических станков во Франции, Германии, Швейцарии.

Таковых сочинений поступило: 28 названий в 1.652 томах и номерах; из них оказалось по рассмотрении позволенными: 8 названий в 90 томах, которые выданы; и запрещенными: 20 названий, в 1.542 томах и номерах, удержанных в Комитете. Сверх того поступило и выдано Ко-

митетом напечатанные в 1859 году и позволенные 2 заграничные русские сочинения в 3.729 томах. Если прибавить к показанным 28-ми русским сочинениям еще 54, вышедшие за границею с 1856 по 1862 год (не считая изданий Лондонских), то можно вывести заключение, что русская заграничная пресса с каждым годом увеличивает свою деятельность. Но деятельность эта отрицательная и вредная, она преимущественно направлена против русской внутренней политики, духовенства и государственных деятелей наших. Отсюда и понятно, что из известных цензуре этих всех 82 сочинений, 12 только позволены. Но как ни вредна для русской литературы в России заграничная русская печать,—она далеко уступает по своему вреду подобным писателям-эмигрантам, каковы Герцен, Огарев, Блюмер и Долгоруков, которые, как Вашему Высокопревосходительству известно, избрали девизом своей литераторной деятельности революцию и разрушение. Комитет Цензуры Иностранной при досмотре ящиков строго наблюдает, чтобы подобные возмутительные издания не провозились. По сему каждая книга, каждый пакет и конверт выпускается не иначе, как только по тщательном осмотре и соблюдении всех цензурных формальностей....

Председатель Ф. Тютчев

ОТЧЕТ О ДЕЙСТВИЯХ ИНОСТРАННОЙ ЦЕНСУРЫ ЗА 1865 ГОД

(Из дела № 17 Канцелярии Главного Управления по делам печати)

... Литературный обзор. — Что бы придать надлежащее значение этим числовым данным, я считаю необходимым бросить здесь беглый взгляд на иностранную литературу по отношению ее к цензурным постановлениям нашим.

Все вообще запрещаемые произведения заграничной печати удобно разделимы на следующие пять разрядов.

1. Сочинения философские, отвергающие рациональными и материальными доводами бытие бога, свободу воли, бессмертие души. Если под идеалом вполне образованного человека должно разуметь гармоническое развитие всех нравственных сил, применение их к жизни по требованиям разума и сердца, то в истинах философии и религии имеются все данные к достижению такого высшего блага. Но философия и религия не всегда поддерживали друг друга, не всегда шли рука об руку, а потому и не мирили человека с его настоящим и будущим. Напротив, изучая законы разума и природы, человек уже с самых давних пор не только отделялся от религиозных верований своей среды, но очень часто вступал даже в спор и борьбу с верованиями. Такого рода стремления не могли, конечно, не сопровождаться ошибочными результатами. История философии, начиная с Фалеса и Пифагора и оканчивая ее Гегелем и Контом, представляет целый ряд систем и школ, которые удобно могут быть названы историей ошибок и неудачных попыток стать в области мышления на почву твердую. Сократ и Кант, — и тем не удалось создать науку, которая была бы вечна, как вечна и непреложна истина. А что же сказать о других мыслителях?—Истина и ложь, дух и материя, вера и знание, случайность и закон, — вот противоположные начала различных философских взглядов и систем. Но как бы то ни было,— в системах философских все же заключается и доля истины. Системы и взгляды замечательных мыслителей переходили из века в век, передавались от рода в род и, как плод вековых трудов, принадлежат ныне истории цивилизации народов. По этому и цензуре не удобно продолжать, на основании устава, подвергать запрещению этого рода книги, которые, по содер-

жанию и изложению, недоступны для массы публики, привозятся сюда в малом числе экземпляров, и то только для специально-ученых.

Обращаясь за сим к цензурной деятельности, я нахожу, что специальных сочинений по различным философским системам было в прошлом году весьма немного. Из них только шесть обратили внимание цензуры: четыре рационалистические и два о материализме. Все шесть отнесены к запрещенным для публики и вошли в вышеприведенный отдел сочинений по религии, потому что в них обсуждались также вопросы о религии и церкви. Отсюда ясно, что литература эта представляет теперь мало производительности. Она переходит в область истории и анализа, а кружок ее почитателей видимо редеет. Так по крайней мере можно судить по тому обстоятельству, что из прежде запрещенных сочинений таких авторов, как Бюхнер, Фогт, Конт, известных своим смелым учением против авторитета Библии, в последнее время поступало в Комитет весьма незаметное число экземпляров. К тому же и голос материалистов, если он не совсем замолк, а иногда еще слышен, то все же не так резко, как это прежде было. Вековой спор их с богословами перенесен теперь на другую почву, именно на религиозную, что и видно из запрещенных в прошлом году 70-ти сочинений по религии.

В заключение обзора сей литературы, остается еще сказать, что подобно тому как лет шесть тому назад в Англии сочинением „Essays and Reviews“[10] была сделана попытка примирить науку с библейским учением, так равно и в Германии появилась в прошлом году книга подобного же направления. Именно в книге „Der Materialismus vom Standpuncte der atomistisch-mechanischen Naturforschung“[11] проводилась мысль, что успехи в естественных науках не должны вести к атеизму, так как, кроме материи и силы, есть еще, по мнению автора, атомический принцип, который ни в материи, ни в душе не исчезает бесследно. Такой взгляд хотя и несогласен с библейским учением, но он собственно не имеет ничего враждебного к Библии и не оскорбителен для чувства верующих.

2. Сочинения религиозные, с полемическим направлением против личности спасителя, заветных христианских верований и догматов православия. После попыток Штрауса, Ренана и Шенкеля низвести спасителя на степень человека, многие последователи сих авторов пошли дальше. Они обратились против учения христианской религии, представляя ее отжившею свой век и отвергаемою просвещенными современниками. Таким образом, скептицизм рационалистов и материалистов заменен ныне уже полным отрицанием. Наука и знание должны стать выше всякой религии, человек образованный может обойтись без учения церкви, нужной теперь только для массы народа и вообще для людей, стоящих на самой низкой степени развития. Таковы начала этой новой школы, если только можно назвать ее школой, потому что вымысл и ложь доходили до богохульства, как это видно из драмы Дулька „Iesus der Christ. Ein Stück für die Volksbühne“. В этой драме воображение автора рисует зачатие Иисуса не от св. духа, а от юноши Эссейца, подкравшегося будто к деве Марии, когда она лежала в полусне, в восторженном состоянии. Рожденный, по такому вымыслу, от Эссейца Иисус принимается в секту Эссейцев, которая посвящает своего воспитанника в разные науки и между прочим в терапевтику, помощью которой он и исцеляет потом страждущих. Точно такие же фантазии автора представляют смерть и воскресение спасителя. Старшины Эссейцев приводят снятого с креста полумертвого Иисуса в жизнь; а чтобы удостоверить апостолов в действительности воскресения и вознесения, они прибегают

к оптическому обману, к миражам и другим хитростям. Таковы главные черты драмы, предназначенной автором для народной сцены!

Драма эта запрещена Комитетом безусловно. Она, конечно, в литературе не займет места, но все же ею наглядно представлены результаты как современного безверия, так и трудов прочих писателей новейшего направления по вопросам о религии. Посему и цензура должна была обращать особенное внимание на произведения сей заграничной литературы. Из таких произведений, как уже в предыдущем представлено, запрещены в прошлом году 70 сочинений в целости, и с исключениями мест и страниц—27 на всех новейших языках. К сему следует еще пояснить, что эти 27 сочинений должно отнести не к книгам, а к периодическим изданиям.

Что же касается до сочинений против православия, то их было в прошлом году только три, включенных в число показанных здесь 70-ти.

3. Сочинения политические, поступавшие томами, брошюрами, журнальными и газетными статьями. Современная заграничная пресса по вопросам политическим общим и местным не отличалась особенною производительностью. Но за то литература эта, как прежде, так и в последние годы, постоянно обращала внимание цензуры по вопросам о России. Сперва выходили за границей такие, запрещению подвергнутые книги, как напр. „La Cour de Russie il y a cent ans“[12], „Der Russische Hof, von Crusenstolpe“[13] и другие о государях наших. В последствии же времени литература та начала принимать все большие размеры,—следя со вниманием за нашими делами. Такое явление можно отчасти объяснить тем, что сила и могущество нередко порождают зависть. Как бы то ни было, и какими мотивами заграничная пресса ни побуждалась,—все же нельзя отрицать, что почти каждое важное событие для России вызывало уж непременно за границей то ложные советы, превратные толки, то нарекания на нас. Так напр., по вопросам восточному и крестьянскому было в свое время много говорено там,—но либо не в видах Правительства, как преждевременное и потому вредное, либо с явною враждебною политическою целью. Враждебность эта нагляднее всего обнаруживалась по так называемому польскому вопросу.

В настоящее время, когда политические обстоятельства уже изменились, можно бы предположить, что голос польской пропаганды в литературе замолк. А между тем действия Иностранной Цензуры говорят о совершенно противоположном. Цензура должна была в прошлом году запретить 69 политических сочинений в целости и 39 повременных изданий подвергнуть исключениям мест и страниц. В сочинениях тех, в польских и французских брошюрах в особенности, говорилось много оскорбительного для государей наших, для особ императорской фамилии, государственных деятелей и народа. Кроме того, в такого рода сочинениях заключались воззвания к Полякам, похвалы повстанцам и героиням Полькам. В подтверждение сего стоит только открыть запрещенную в прошлом году любую брошюру, например, хоть бы „Ultimatum dans les questions Polonaises et Européennes. Bruxelles“, наполненную ругательствами и клеветою против государей наших и русского народа. Совершенно подобное можно бы также прочесть в некоторых повременных изданиях, между прочим в „Revue de Paris. 23 Livraison. 11 Décembre 1864“, в помещенной там статье, „Les Femmes Polonaises“. Направление это так установилось, что даже в английской литературе, отличающейся своею трезвостию и положительностию, весьма часто встречались неприличные рассказы, намеки и анекдоты в журналах и

даже в детских книгах. Цензуре по этому предстоит в будущем еще много дела по статьям и книгам чисто политическим, или с колоритом политическим.

4. Сочинения по истории, а также романы, повести и жизнеописания. Сочувствие к польскому делу обнаружилось также в историческом романе, в повести и исторических заметках, помещенных в некоторых периодических изданиях. Цензура в отношении сих произведений печати не могла не быть строга, так как в них вымысл не только представлял русского человека в ненавистном виде, но и о государях наших, особах императорской фамилии и правительственных лицах заключались в тех сочинениях брань и клевета, предосудительные анекдоты и намеки. Кроме того, в учебниках исторических, изданиях полиграфических, журналах и газетах встречались нередко рассказы и заметки о кончине императоров Петра III и Павла I. Предосудительности такие, как вообще все неприличное и вредное, цензура тщательно устраняла от общества запрещением таких сочинений в целости или выдержками мест и страниц. Действия цензуры по отношению к разряду сей литературы усматриваются из цифр выше приведенного цифирного обзора, именно из отдела б и II, где между прочим в отделе по истории значится цифра 53. Эту цифру следует также отнести и сюда.

5. Сочинения памфлетические и эротического содержания. Таких сочинений вообще (было) немного в литературе французской и немецкой. В прошлом году обратили внимание цензуры: четыре политических памфлета, в том числе Рожара „Les propos de Labiénus", и три книжки против нравственности. Всех же 7 сего рода сочинений поступило в Комитет весьма незаметное число экземпляров, потому что книгопродавцам достаточно известна строгость цензуры.

К этим 5-ти разрядам сочинений не отнесены произведения русской заграничной печати. Равным образом сюда не входят Лондонские русские издания и других русских эмигрантов, потому что издания такие по своему известному возмутительному содержанию, не подлежат цензурному рассмотрению. В прежние годы обе те русские заграничные литературы имели много общего между собой в отношении враждебности против России и ее властей. В настоящее же время литература Герценская представляет мало опасного, она, как известно Высшему Начальству, исписалась и потеряла всякое значение. А остальная заграничная русская пресса приняла теперь уже более одобрительное направление, как это видно из следующих данных. Именно: из 23 русских заграничных сочинений, поступивших в прошлом году в Комитет Цензуры Иностранной, 5 запрещены С.-Петербургским Цензурным Комитетом, 2—духовною цензурою, а 16 позволены вполне.

Имея честь о вышеизложенных трудах Иностранной Цензуры представить Высшему Начальству на благоусмотрение, считаю долгом при этом случае еще засвидетельствовать, что вверенный мне Комитет, при решениях о книгах, действовал то умеренно, если это представлялось возможным и безвредным, то строго, когда рассматриваемое сочинение подавало к тому справедливые поводы. Таким образом Устав Цензурный служил основанием действий Комитета, но в применении Устава к частным вопросам, к политическим в особенности, Комитет соображался иногда также и с заявлениями внутренней прессы, имея притом в виду, что по внутренней цензуре делались Высшим Начальством иногда особые распоряжения.

Председатель Комитета Цензуры Иностранной Тютчев.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Тютчев назначен был в Комитет в апреле 1858 г., а не в 1857 г., как указывает И. С. Аксаков („Биография Ф. И. Тютчева", М., 1886, стр. 39). Тем более ошибается М. К. Лемке, говоря, что Горчаков поделился с Тютчевым мыслью о создании правительственного органа только тогда, когда тот вступил в должность председателя Комитета („Очерки по истории русской цензуры и журналистики", стр. 353).

[2] В просмотренных мною отчетах за 1861 и 1866 гг. заключения ничего нового по сравнению с публикуемыми не содержат; одна выдержка из отчета за 1866 г. приводится ниже.

[3] Что это проводилось сознательно, можно судить по тому, какое внимание было уделено защите тезиса о необходимости вовсе уничтожить это разделение в проекте изменения Устава иностранной цензуры, составленного в Комитете при Тютчеве.

[4] Возможно что именно к этому относятся слова Никитенко в сентябре 1858 г: „Был у меня председатель Комитета иностранной цензуры Ф. И. Тютчев и жаловался, что министр на словах решает одно, а на бумаге другое" („Моя повесть о самом себе", 2-е изд., т. I, стр. 527).

[5] Ср. с этим: „Ф. И. Тютчев рассказывал мне о своем разговоре с Валуевым о делах печати. Он откровенно объяснил министру, что репрессивная система, принятая им, ни к чему хорошему не поведет" (Никитенко. Назв. соч., т. I, стр. 265).

[6] Требования большей строгости к иностранной художественной литературе сохранились в цензурном уставе до самой революции 1917 г.

[7] Сравним это с письмом Горчакову: „За исключением мер положительно стеснительных и тиранических было бы весьма трудно существенным образом воспрепятствовать... привозу и распространению этих изданий". (Полное собр. соч., стр. 513).

[8] Le comte de Montalembert, L'insurrection polonaise. Paris. 1863. То же—переводы на нем., англ., и польский яз.

[9] Eugène de Mirecourt, Les femmes galantes des Napoléons. Secrets de cour et de palais. Berlin. 1862. То же—Londres. 1862.

При запрещении в 1860 г. его книги „Napoleon III nach dem Leben gezeichnet" цензор отозвался о нем: „автор представляет (Наполеона) в виде какого-то выродка рода человеческого".

[10] „Essays and Reviews. London. 1861".

[11] O. Flügel, Der Materialismus vom Standpunkte der atomistisch-mechanischen Naturforschung. Lpz. 1865.

[12] La Cour de Russie il y a cent ans. 1725–1783. Berlin. 1858. 2-е изд. 1858, 3-е изд. 1860 г.

[13] Magnus Jacob von Crusenstolpe, Der russische Hof von Peter I bis Nicolaus I. Mit einer Einleitung. „Russland vor Peter dem Grossen". 1855—1860.

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА ТЮТЧЕВА И К ТЮТЧЕВУ

Сообщения П. Кириллова, Е. Павловой и Д. Шаховского

I. ПИСЬМА Ф. И. ТЮТЧЕВА: П. В. АННЕНКОВУ, М. И. ЖИХАРЕВУ, А. С. МЕНШИКОВУ, НЕИЗВЕСТНОМУ, А. В. ПЛЕТНЕВОЙ, Я. П. ПОЛОНСКОМУ, С. С. УВАРОВУ и П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ.

II. ПИСЬМА К Ф. И. ТЮТЧЕВУ: И. С. АКСАКОВА, П. А. ВАЛУЕВА, П. М. ЛЕЙХТЕНБЕРГСКОГО, А. К. ТОЛСТОГО, И. С. ТУРГЕНЕВА и П. Я. ЧААДАЕВА.

Эпистолярное наследие Тютчева довольно велико, но в высшей степени неравноценно. На ряду с материалами безусловно интересными и значительными, оно содержит не мало писем и записочек, совершенно ничтожного содержания, вроде приглашений на обед, тех или иных проявлений светской любезности и т. д., любопытных только тем, что они определяют круг и характер знакомств Тютчева в разных слоях общества или позволяют уточнить те или иные даты его биографии.

Круг адресатов Тютчева весьма разнообразен. Среди них встречаются лица официальные, к которым Тютчев обращался в разных случаях по вопросам делового характера, служебные знакомые, светские приятели и приятельницы, представители науки и литературы, с которыми Тютчев быстро сблизился после своего окончательного возвращения в Россию, близкие и родные и т. д.

Настоящая публикация как раз и интересна тем, что она показывает все это многообразие тютчевских адресатов. Из помещаемых ниже писем № 1—2, 4 и 7—9 хранятся в архиве Института Русской Литературы Академии Наук СССР, № 3 — в архиве Государственного Исторического Музея, № 5 — в рукописном отделении Публичной Библиотеки им. Ленина, № 6 — в Государственном архиве феодально-крепостнической эпохи. Все письма Тютчева прокомментированы Е. Павловой за исключением № 3 и 5—9, которые прокомментированы П. Кирилловым.

Если письма самого Тютчева стараниями его адресатов или друзей сбереглись в значительном количестве, нельзя, к сожалению, сказать того же о письмах различных его корреспондентов. Произошло это конечно не оттого, что они были немногочисленны; такое предположение исключается обширностью круга знакомств Тютчева и большим количеством его собственных писем. Объясняется это скорее всего небрежностью Тютчева и его нелюбовью ко всякого рода исписанной бумаге, отслужившей свою службу. «Мне противен вид старой исписанной бумаги, особенно исписанной мною. Это так пахнет гнилью, что делается дурно» — говорил Тютчев. Легко допустить поэтому, что, прочтя обращенные к нему строки, Тютчев, если не тут же уничтожал их, то бросал их куда попало и они, естественно, затеривались, если только чья-нибудь заботливая рука не принимала своевременных мер к их сохранению; а так как последнее случалось повидимому не часто, то до нас дошло самое ничтожное количество обращенных к Тютчеву писем; тем большую ценность приобретает для нас каждое из таких писем.

Печатаемые ниже письма разных лиц к Тютчеву хранятся в Институте Русской Литературы Академии Наук, № 1—2 — в копиях рукою М. И. Жихарева, остальные — в оригиналах. № 1—2 прокомментированы Д. Шаховским, остальные — Е. Павловой.

I. ПИСЬМА Ф. И. ТЮТЧЕВА

1. К НЕИЗВЕСТНОМУ.

Милостивый Государь, вот в немногих словах теперешнее положение молодого Петерсона[1], о котором я имел честь говорить с вами сегодня утром. В продолжение нескольких месяцев этот молодой человек находится в состоянии очень сильного умственного возбуждения. С ухудшением за последнее время этого душевного состояния была произведена попытка поместить его в психиатрическую больницу, чтобы предохранить его от опасности, какую могло бы иметь для него пребывание на полной свободе. Посетившие его в этом учреждении врачи, после установления природы его болезни, признали, во всяком случае, что род безумия, которым он был поражон, не носил характера настолько серьезного, чтобы сделать изоляцию необходимой, и что отныне, далекая до того, чтобы быть для него благоприятной, она могла бы только ухудшить его состояние, усиливая до крайности раздражение больного. С другой стороны, следовало бы не раз еще подумать, прежде чем вернуть ему полную и всецелую свободу действий, в особенности в Петербурге, где было бы труднее, чем где-либо, иметь над ним достаточно бдительный надзор.

Тогда мы подумали, что самое лучшее, что можно было сделать в данном положении, это — препроводить его в Ригу, где он мог бы быть поручен попечению своего дяди, графа Ботмера[2], живущего в окрестностях этого города, так же как и заботам своего опекуна господина Гея. У них он нашел бы то, что было бы так трудно предоставить ему здесь, то-есть: достаточную свободу, соединенную с постоянным надзором, — двойное условие, полагаемое равно необходимым врачами того учреждения, в котором находится больной.

Вследствие этого я беру на себя, милостивый государь, смелость обратиться к испытанной благожелательности вашего превосходительства, чтобы просить вашего благосклонного ходатайства перед государем великим князем наследником о получении для молодого Петерсона такого отпуска, какого требует его печальное положение. Не смею ничего уточнять на этот счет, но не могу не выразить пожелания, чтобы отпуск, который я для него испрашиваю, предоставив ему достаточно продолжительное время, необходимое для его выздоровления, не был такого рода, чтобы мог повредить его служебному будущему. Более того: поскольку в том состоянии здоровья, в котором он находится, было бы невозможно позволить ему совершить совершенно одному путешествие из Петербурга в Ригу, было бы очень желательно, чтобы его младший брат[3], как и он — морской офицер, получил бы разрешение сопровождать его до конца его путешествия.

Не скрою от вас, милостивый государь, что по мнению врачей состояние больного требует, чтобы отъезд его мог совершиться как можно скорее.

С доверием отдаю все это дело в руки вашего превосходительства, уверенный к тому же, — как и имею к тому все основания, — что положение, столь печальное, как то, о котором я вам только что рассказал, имеет законные права на столь великодушное и всегда такое отзывчивое участие его императорского высочества.

Примите, милостивый государь, искреннейшее уверение в моем высоком уважении и полной преданности.

Ф. Тютчев

С.-Петербург, 14 марта 1847.

Подлинник (рукою Э. Ф. Тютчевой; самому Тютчеву принадлежит только подпись) по-французски.

Адресовано очевидно одному из приближенных к будущему Александру II, в то время — наследнику, лиц, точно определить которое не беремся. Возможно, что это правитель канцелярии наследника генерал С. А. Юрьев, возможно — кто-нибудь из адъютантов наследника.

[1] Оттон (а по принятии православия — Георгий) Александрович Петерсон (1820—1883) — второй сын Э. Ф. Петерсон-Тютчевой, первой жены поэта. Получил образование в Петербургском Морском корпусе и по окончании его служил морским офицером. Позднее был субъинспектором в Петербургском университете. Его психическое заболевание, о котором идет речь в настоящем письме, не раз возвращалось к нему и впоследствии. Петерсон не был лишен некоторого художественного дарования: в Музее им. Тютчева в Муранове сохранилось несколько акварелей его работы. За любезное сообщение некоторых из этих сведений приносим благодарность Н. И. Тютчеву.

[2] Здесь упоминается повидимому гр. Феликс-Карл Ботмер (1804—1876), брат Э. Ф. Тютчевой.

[3] У О. А. Петерсона было два младших брата — Альфред и Александр; о котором именно идет речь здесь — сказать затрудняемся.

2. Н. А. МЕНШИКОВУ[1].

Князь, участие, которое ваша светлость пожелали принять в прискорбном положении молодого Оттона Петерсона, оправдает, я надеюсь, в ваших глазах смелость, которую я беру на себя, обращаясь к вам в интересах этого молодого человека.

Я получил только что известие, что, по прибытии его в Ригу, членами его семьи, находящимися там в сборе, было решено, чтобы больной был отвезен в Прагу с тем, чтобы поместить его там в психиатрическую лечебницу, и что на старшего брата его Карла Петерсона[2], служащего в настоящее время в нашем данцигском консульстве, будет возложена забота сопроводить его туда. Вследствие этого мне пишут из Риги, чтобы я умолял вашу светлость приказать дать необходимое разрешение на выезд из России молодого Петерсона, и я, князь, не скрою от вас, что было бы важно, чтобы это разрешение было дано ему без промедления, в виду того, что его брат Карл, который должен поехать за ним в Ригу и который является единственным из его семьи лицом, могущим взять на себя эту заботу, располагает только очень ограниченным, по причине своей службы, временем, чтобы заняться этой печальной миссией.

Я не посмел, князь, добиваться любезности особого приема, не имея чести быть лично известным вашей светлости, но то, что я знаю о доброжелательном великодушии вашего характера, в соединении с печальным обстоятельством, объясняющим мое ходатайство перед вами, заставляет меня надеяться, что вы не найдете его нескромным и что вы с добрым расположением примете просьбу, которую я к вам обращаю.

Пребываю, князь, с глубоким уважением вашей светлости нижайший и покорнейший слуга

Ф. Тютчев

С.-Петербург, 16 апреля 1846.

Подлинник по-французски.

[1] Светлейший князь Александр Сергеевич Меншиков (1787—1869) — известный государственный деятель николаевского царствования. С 1828 г. состоял начальником Главного Морского Штаба; непосредственно от него таким образом зависела судьба ходатайства Тютчева за Петерсона, как морского офицера.

Надо думать, что после того, как первое письмо Тютчева было доложено наследнику, оно было направлено к Меншикову; как видно из второго письма Тютчев тогда не был лично знаком с последним, почему вероятно и обратился сначала к лицу ему более знакомому, с которым мог иметь предварительный личный разговор.

[2] Петерсон, Карл Александрович (1819—1875) — старший брат Оттона. Был русским вице-консулом в Данциге и не раз по поручению родственников отвозил за границу или привозил оттуда своих сестер и братьев; так еще до этого случая, К. А. Петерсон перевез в сентябре 1845 г. из Мюнхена в Петербург своих сестер по матери, тогда малолетних Анну, Дарью и Екатерину Тютчевых («Урания, Тютчевский альманах. 1803—1928». Л., 1928, стр. 200—202). Оставив дипломатическую службу за границей, К. А. Петерсон был в 70-х годах директором канцелярии при министре иностранных дел, канцлере кн. А. М. Горчакове.

3. Гр. С. С. УВАРОВУ[1]

С.-Петербург, 20 августа 1851.

Граф,

Мне редко доводилось браться за перо, чтобы выразить более искренние и более чистосердечные сожаления, чем те, кои я выражаю вам в настоящую минуту... Вы, вероятно, известились через графа Блудова[2] об испытанном мною разочаровании, когда недель пять или шесть тому назад, в ту самую минуту, когда я располагал отправиться на поклон к гостеприимным богам Поречья[3], я был внезапно вызван в Петербург по якобы служебным надобностям. Эта служба, надо сознаться,— создание воображения, зачастую весьма неразумное[4]. Однако я до сих пор сохранял надежду вернуться в Москву в течение этого месяца и, следственно, иметь возможность съездить в Поречье, дабы лично принести вам, граф, мои поздравления и пожелания по случаю 25-го[5]. Но сейчас и эта надежда ускользает, и я вынужден отложить на неопределенный срок исполнение намерения, так давно меня пленявшего и занимавшего. Все вести, стороною дошедшие до меня за последнее время об этом приюте, который мне суждено лишь предвкушать, только усилили мои сожаления и укрепили меня во мнении, что на свете нет ничего более насмешливого и более неуслужливого к некоторым лицам, нежели судьба, вопреки ее мнимой безличности.

Возможно, граф, что даже это письмо, коему я препоручаю передать вам изъявление моих сожалений и пожеланий, не застанет вас в Поречьи. Быть может вы поддались нынешней притягательной силе Москвы. Действительно, то, что Москва приблизилась к Петербургу на 15 часов езды, является не только любопытным и интересным фактом, но может по справедливости считаться важным политическим событием[6]. Это достойное завершение и в то же время, необходимое исправление дела Петра Великого... Что до меня, я далеко не разделяю того блаженного доверия, которое питают в настоящие дни ко всем этим чисто материальным способам, чтобы добиться единства и осуществить согласие и единодушие в политических обществах. Все эти способы ничтожны там, где недостает принципа морального единства, и часто даже они действуют противно смыслу своего естественного назначения. Доказательством может служить то, что происходит сейчас на Западе. По мере того, как расстояния сокращаются, умы все более и более расходятся. И раз люди охвачены этим непримиримым духом раздора и борьбы — уничтожение пространства никоим образом не является услугой делу общего мира, ибо ставит их лицом к лицу друг с другом. Это — все равно, что захотеть успокоить раздражение посредством трения...

Мне сдается, что мы с полным смирением в праве думать, что не то ожидает нас в России, где нам всем предстоит бороться с одним действительным врагом — пространством. Следственно, мы можем льстить себя надеждой, что по милости этого принципа морального единства, в котором у нас, поистине, нет недостатка, все, что способствует нашему материальному сближению, послужит лишь к укреплению подлинного единства и мощи целого. Достаточно говорили о Русском Колоссе. В конце концов признают, я надеюсь, что это Великан, и Великан хорошо

сложенный...[7] О скольких вопросах, граф, надеялся я услышать ваше мнение и рассуждения под гостеприимным кровом Поречья... Благодаря вам, я полагал вполне естественно им воспользоваться. Но мой расчет на любезного хозяина ни к чему не привел[8]. Судьба, менее благосклонная, нежели он, судила иначе... Позвольте мне надеяться, по крайней мере, что будущая зима вознаградит меня за разочарования этого лета. — Благоволите, граф, принять уверение в моем уважении и преданности.

Ф. Тютчев

Подлинник по-французски.

[1] Уваров, Сергей Семенович (1786—1855), с 1846 г. граф, с 1834 по 1849 г. министр народного просвещения, с 1818 г. до своей смерти президент Академии Наук. Создатель реакционной формулы «православие, самодержавие и народность», Уваров был уволен в отставку в связи с усилением правительственной реакции в 1848—1849 гг., так как был признан недостаточно способным для борьбы с «якобинством» в учебных заведениях. Яркую характеристику Уварова дал в своих «Записках» историк С. М. Соловьев: «...Уваров не имел в себе ничего истинно-аристократического; напротив, это был слуга, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра I), но оставшийся в сердце слугою; он не щадил никаких средств, чтобы угодить барину (императору Николаю I); он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, т. е. слова: православие, самодержавие, народность... Люди порядочные, к нему близкие, одолженные им и любившие его, с горем признавались, что не было никакой низости, которой бы он не был в состоянии сделать, что он кругом замаран нечистыми поступками. При разговоре с этим человеком, разговоре очень часто блестяще умном, поражали однако крайнее самолюбие и тщеславие...» («Записки С. М. Соловьева», 1907, стр. 58—59). Повидимому закрепленная за Уваровым репутация интересного собеседника, тонкого ценителя искусств и высоко образованного человека заставляла Тютчева сожалеть о том, что ему не удалось побывать в Поречьи, где, со времени своей отставки, Уваров проводил летние месяцы. По крайней мере у нас нет решительно никаких указаний на то, чтобы Тютчев сочувственно относился к политической деятельности Уварова. Иронический отзыв о «господике Уварове и братии» встречается в одном из писем поэта к кн. И. С. Гагарину; письмо это, относящееся к 1836 г. и до сих пор известное лишь в отрывке, *в ближайшее время будет опубликовано полностью*. Позднее, в 1846 г., Тютчеву довелось беседовать об Уварове с П. А. Плетневым. «Долго разговаривали о нашем министерстве просвещения и университетах; побранили порядочно Уварова» — писал Плетнев Я. К. Гроту («Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. II, СПБ., 1896, стр. 677).

[2] Блудов, гр. Дмитрий Николаевич (1785—1864), министр юстиции с 1837 по 1859 г., в 1855 г. заменивший Уварова на посту президента Академии Наук. Летом 1851 г. Блудов вместе с М. П. Погодиным гостил у Уварова в его подмосковной (см. Н. Барсуков, «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. II, СПБ., 1897, стр. 499). Тютчев, как известно, находился в приятельских отношениях с Блудовым.

[3] Поречье — усадьба Уварова в Можайском уезде, Московской губернии. Там было сосредоточено уваровское собрание древностей. 28 марта 1850 г. Плетнев писал В. А. Жуковскому об Уварове: «...говоря, как будет он доволен своим летним пребыванием в подмосковной своей, прибавил: там нельзя не чувствовать, до какой степени приятно быть богатым» (там же, стр. 46). Научные познания Уварова различно оценивались современниками. Если Сперанский отзывался о нем, как о «первом ученом человеке в России» («Русский Архив» 1870, вып. 6, столб. 1149), то Евгений Болховитинов иронически замечал: «Уварову... не устоять на своем месте; да он его и не стоит, ибо ученый только шарлатан... Во всех государствах случается, что жалуют в чины и не по заслуге; а в одной России жалуют даже и в ум и в знания без ума и знаний» (там же, 1889, кн. II, стр. 368).

[4] В подлиннике непереводимая игра слов: «Ce service il faut bien le dire, est un être de raison souvent assez peu raisonable».

[5] Тютчев повидимому ошибся или числом или месяцем: 15 августа — день рождения Уварова, 25 сентября — день его именин.

[6] Тютчев намекает на завершение работ по прокладыванию б. Николаевской железной дороги. Официальное открытие железнодорожного сообщения между Петербургом и Москвою состоялось 1 ноября 1851 г.

[7] Это место письма чрезвычайно характерно для общеполитических взглядов Тютчева в период, предшествовавший Крымской кампании.

[8] В подлиннике непереводимая игра слов: «... il ne m'a servi du rien de compte avec mon aimable hôte».

4. П. К. ЩЕБАЛЬСКОМУ[1]

[1861—1863 гг.?]

Страшно жалко, почтеннейший Петр Карлович, о моей неудаче в отношении к вам. Я жажду вас видеть.—Что же до дела, то, разумеется, вы можете располагать безусловно всем нашим добром. Не посетите ли вы нас, в Комитете[2], в среду. Это день нашего заседания—от двух до четырех часов. Но я надеюсь видеться с вами прежде и у вас.—Меня же вы всегда можете застать дома часу в 12-ом.

Вам искренно и совершенно преданный
Ф. Тютчев

На 4-й странице адрес: «Его Превосходительству П. К. Щебальскому».

[1] Петр Карлович Щебальский (1810—1886) — историк, сотрудник «Русского Вестника», «Русского Архива», «Зари» и др. С 1859 г. состоял чиновником особых поручений при министре народного просвещения, когда и написал свою «Историю цензуры в России» и занялся другими историческими разысканиями, печатавшимися в виде статей в разных журналах. Может быть о предоставлении Щебальскому по его просьбе и для этой его работы материалов по иностранной цензуре говорит Тютчев в своем письме. Вероятно Щебальский приезжал к Тютчеву просить об этом, но не застав его дома и оставив ему, можно думать, недошедшую до нас записку, вызвал это ответное письмо.

[2] В Комитете Цензуры Иностранной, председателем которого был Тютчев с 1858 по 1873 г. См. ниже письма П. А. Валуева к Тютчеву и комментарии к ним, а также сообщение М. Брискмана «К характеристике Тютчева-цензора».

5. М. И. ЖИХАРЕВУ[1]

С-Петербург, 30 ноября 1863

Милостивый государь,

от души благодарю вас за драгоценный подарок. Не без умиления узнал я в присланной вами фотографии знакомую, памятную местность—этот скромный ветхий домик, о котором незабвенный жилец его любил повторять кем-то сказанное слово, что весь он только одним духом держится[2].

И этим то его духом запечатлены и долго держаться будут в памяти друзей все воспоминания, относящиеся к замечательной, благородной личности одного из лучших умов нашего времени[3]. Еще раз благодарю вас усердно.

С истинным уважением пребываю
вашим покорным слугою
Ф. Тютчев

На 4-й странице адрес: «Милостивому государю Петру Яковлевичу Чаадаеву от Тютчева».

Подлинник по-французски.

[1] Жихарев, Михаил Иванович (р. 1820—ум. после 1883), двоюродный племянник П. Я. Чаадаева, автор статьи о нем, напечатанной в «Вестнике Европы» (1871, кн. 7 и 9).

[2] Тютчев благодарит Жихарева за фотографический снимок с картины художника К. П. Бодри, изображающей кабинет П. Я. Чаадаева в его квартире на Новой Басманной. Фотография эта находится в Мурановском Музее. Подлинник хранится в Публичной Библиотеке СССР имени Ленина. В своей статье о Чаадаеве Жихарев пишет следующее о «скромном ветхом домике»: «С течением времени квартира, никогда не бывшая прочно отделанною, очень состарилась; пришедши почти в ветхость, сделалась для житья не совсем удобною, и про нее то пустил в свет Жуковский в то время довольно известную шутку, что она «давным-давно уже держится не на столбах, а одним только духом» («Вестник Европы» 1871, кн. 9, стр. 21).

[3] Эти строки лишний раз свидетельствуют о той глубокой симпатии, которую питал Тютчев к столь противоположной ему личности Чаадаева. По свидетельству того же Жихарева «наиболее несогласные [с Чаадаевым] были с ним и наиболее дружными. Решительный его противник Ф. И. Т[ютчев] часто говаривал: «l'homme que je contredis le plus et aussi celui que j'aime le mieux» человек, с которым я согласен менее, чем

с кем бы то ни было, и которого однако я люблю больше всех — *П. К.*). По словам Аксакова, Чаадаев в свою очередь «*не мог не ценить ума и дарований* Тютчева, не мог не любить его, не мог не признавать в Тютчеве человека вполне европейского», но он «глубоко огорчался и даже раздражался таким неприличным, непостижимым именно в Тютчеве заблуждением, аберрациею, руссоманией ума, просветившегося знанием и наукою у самого источника света, *непосредственно* от самой Европы» («Биография Ф. И. Тютчева», М., 1886, стр. 70). В 1847 г. Чаадаев прислал Тютчеву свой портрет, повидимому нарочно для него писанный, за который Тютчев благодарил его длинным и интересным письмом («Русский Архив» 1900, кн. III, стр. 411—412). К сожалению *местонахождение этого портрета* в настоящее время неизвестно. В бумагах Жихарева сохранилась еще одна записка Тютчева к Чаадаеву. Ввиду того, что записка эта не представляет самостоятельного интереса, приводим ее здесь:

«*Я в отчаянии, дорогой друг, что покидаю Москву, не имев возможности* проститься с вами и не выразив вам вновь своей благодарности за вашу любезную услужливость. Но так как я очень надеюсь вернуться сюда к концу августа месяца, то и рассчитываю иметь случай исправить это упущение. Пока что благоволите сохранить *ко мне дружеское расположение и примите уверение в моей* искренней преданности. Ф. Тютчев — Суббота, 14 июля [1850]».

6. Я. П. ПОЛОНСКОМУ[1]

Суббота, 15 Августа [1864] [2]

Что с вами, друг мой Яков Петрович, что ваше здоровье?—О как мне больно, и за вас и за себя, что вы не здоровы.

— Мне с каждым днем хуже—надо ехать, бежать—и не могу решиться—воля убита, все убито —

Знаете ли, что мне пришло в голову в моем тупом отчаянии? — Что, если бы вы мне дали увезти себя заграницу—хоть на несколько недель? Отпуск получить не трудно — а вы бы спасли меня — в буквальном смысле спасли? — Подумайте и отвечайте — Еще почти неделя до моего отъезда[3].

Вам от души преданный
Ф. Тютчев

[1] Полонский, Яков Петрович (1820—1898), поэт. Кроме печатаемого здесь письма известно еще четыре письма Тютчева к нему: из них одно было опубликовано впервые в газете «Московский Понедельник» (1922, № 2, стр. 3) и три — в юбилейном тютчевском альманахе «Урания» (Л., изд. «Прибой», 1928, стр. 79—81). О дружеских отношениях Тютчева и Полонского, помимо этих писем, свидетельствуют еще два стихотворения, которыми обменялись оба поэта в 1865 г. («Ночной костер зимой у перелеска...» Полонского и «Нет боле искр живых на голос твой приветный...» Тютчева). Памяти Тютчева Полонский посвятил стихотворение «Оттого ль, что в божьем мире...»

[2] Письмо это относится к 1864 г. и написано через десять дней после смерти Е. А. Денисьевой. Четырнадцатилетний роман Тютчева с нею не был тайной для Полонского — не потому, что он вообще получил огласку, а потому, что сам Тютчев в порыве откровенности рассказал ему об этом. 8 декабря 1864 г. он писал Полонскому: «С той минуты, как я прошлым летом встретил вас в Летнем саду и в первый раз высказался перед вами о том, что мне претило, и до сей минуты, если б год тому назад все мною пережитое и перечувствованное приснилось мне с некоторою живостью, то, мне кажется, я, не просыпаясь, тут же на месте и умер [бы] от испуга». О романе Тютчева с Денисьевой см. книжку Г. И. Чулкова «Последняя любовь Тютчева», изд. М. и С. Сабашниковых, 1928. Некоторые новые сведения об этом эпизоде биографии поэта сообщила Е. П. Казанович. См. «Звенья» № 1, М.-Л., изд. «Academia», 1932, стр. 86—91.

[3] Полонский не дал Тютчеву «увезти себя заграницу». Тютчев уехал один (точная дата его отъезда неизвестна) и пробыл за границей до весны следующего года. В Петербург он вернулся 26 марта 1865 г. Из Ниццы Тютчев послал только что цитированное письмо к Полонскому (полный текст в книжке Чулкова «Последняя любовь Тютчева», стр. 50—52).

7—9. П. В. АННЕНКОВУ[1]

I

[30 ноября—1 декабря 1866[2]]

Из пяти билетов, переданных мною Графине Блудовой[3], она благоволила мне уступить один, прося доставить вам по означенной цене прилагаемые 5 р[ублей] с[еребром]. Вы просили у меня стихов для вашего вечера, почтеннейший Павел Васильевич, посылаю вам несколько беглых незатейливых вирш, предоставляя их в совершенное ваше распоряжение[4].

Душевно преданный
Ф. Тютчев

На 4-й странице адрес: «Его Превосходительству Павлу Васильевичу Анненкову от Ф. И. Тютчева».

II[5]

Вот как можно бы изменить последний стих:

Царю быть другом до конца
И до конца служить России[6].

Впрочем еще раз повторяю вам, почтеннейший Павел Васильевич, все это предаю в ваше полное распоряжение.

Ф. Тютчев

III

Суббота [3 (?) декабря 1866]

Майков[7] предлагал мне свою поправку. Но она, по моему, хуже моей. Что такое искренний сын Р[оссии]? Все это не по русски. Главное тут в слове служить, этом, по преимуществу, русском понятии — только кому служить?

Мне, право, смешно и совестно занимать вас такими пустяками.

Ф. Тютчев

На 4-й странице адрес: «Павлу Васильевичу Анненкову».

[1] Анненков, Павел Васильевич (1812—1887), критик, известный пушкинист.

[2] Записка эта поддается более или менее точной датировке. В автографе стихотворения «Великий день Карамзина», хранящемся в Государственном Литературном Музее, имеется дата рукой М. Ф. Бирилевой: 1 декабря 1866 г. В архиве Анненкова находится копия, помеченная 30 ноября 1866 г. В списках Мурановского архива встречается и та, и другая даты. Можно предположить, что к 30 ноября относится первоначальная редакция стихотворения, а к 1 декабря — вторая, отличающаяся от предыдущей наличием двух строф. Эти две строфы — четвертая и пятая строфы традиционного текста — написаны на отдельном листке рукою поэта и приложены к автографу. Анненкову они сообщены не были, вследствие чего отсутствуют и в его копии, и в тексте «Вестника Европы». Вероятнее всего, что печатаемая здесь записка Тютчева к Анненкову относится к 30 ноября или 1 декабря 1866 г., но во всяком случае послана до написания двух дополнительных строф.

[3] Блудова, гр. Антонина Дмитриевна (1813—1891), дочь гр. Д. Н. Блудова, камер-фрейлина, автор «Записок» (М., 1889). Была близка с семьей Тютчевых.

[4] «Беглые незатейливые вирши» « стихотворение Тютчева «На юбилей Н. М. Карамзина» (Великий день Карамзина...), написанное для литературного вечера в память столетия со дня его рождения. Вечер этот состоялся 3 декабря 1866 г. в Обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Стихотворением Тютчева закончил свою вступительную речь М. М. Стасюлевич. Стихи были напечатаны впервые в декабрьской книжке «Вестника Европы» за 1866 г. (стр. I—XII).

[5] Записка не поддается точной датировке. В случае, если условно принятая нами датировка третьей записки верна, то настоящая записка, как явно предшествующая ей, должна быть отнесена ко 2 или также 3 декабря 1866 г.

[6] Третья и четвертая строки заключительной строфы стихотворения. В автографе строфа эта читается так:

Умевший, не сгибая выи
Пред обаянием венца,
Царю быть другом до конца
И верноподданным России...

По требованию цензуры последний стих был изменен Тютчевым и напечатан с этим изменением. Неизвестно, было ли стихотворение прочтено именно в такой редакции на карамзинском вечере 3 декабря или же изменение было внесено только в печатный текст. В первом случае следующая записка может с полной точностью датироваться 3 декабря, приходившимся в субботу. Принимаем эту дату предположительно.

[7] Майков, Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт, близкий знакомец Тютчева.

10. А. В. ПЛЕТНЕВОЙ[1].

Берлин, 7/19 июля 1870

Где вы, и если вы еще в Эмсе, что вы делаете среди этой ужасной сумятицы, которая начинается? Если бы я знал наверное, что вы в Эмсе, я не мог бы устоять против искушения отправиться разыскивать вас там. Но после вашего отъезда я не имел от вас, как и должен был этого ожидать, ни малейшего признака жизни... Но если бы случайно эти строки имели удачу дойти до вас, подайте мне знак жизни, адресовав мне его в Карлсбад, куда я еду завтра. — Еще несколько дней, и мы будем в полном катаклизме. Да хранит вас особенно господь[2].

Ф. Тютчев

Подлинник по-французски.

[1] Плетнева, Александра Васильевна (1826—1901), — рожд. кн. Щетинина, жена приятеля Пушкина и наследника его «Современника». Как известно, в пушкинском «Современнике» появился первый крупный цикл стихотворений Тютчева (т. III за 1836 г., стр. 5—22 — 16 стихотворений и т. IV, стр. 34—41 — 8 стихотворений) после отдельных пьес, разбросанных в разное время по разным альманахам; участие Плетнева в напечатании Пушкиным стихотворений Тютчева никем не засвидетельствовано, но после смерти Пушкина стихотворения Тютчева продолжали помещаться в «Современнике» за 1837 г. (т. VI, стр. 393—398), 1838 г. (т. IX, стр. 131, 138; т. X, стр. 184; т. XI, стр. 181; т. XII, стр. 91) и последующие годы, когда Плетнев сделался уже единоличным хозяином журнала; поэтому естественно думать, что переселившись в Россию, Тютчев мог пожелать познакомиться, и действительно познакомился с Плетневым, с которым к тому же имел общий круг знакомых. В переписке Плетнева с разными лицами (главным образом с Я. К. Гротом) остались следы этого знакомства и различных встреч его с Тютчевым; из них мы видим, что знакомство их при жизни Плетнева (ум. 29 декабря 1865 г.) не носило оттенка ни близости, ни теплоты, ни особой симпатии, какими отличалось отношение Тютчева ко многим другим представителям русского литературного мира (например к Полонскому, к Майкову, даже к В. И. Ламанскому и др.), и причину этого надо искать вероятно в несколько чиновничьем искательном характере, в довольно ограниченном, догматически-узком, нежизненно-рутинном и сухом уме Плетнева. Гораздо симпатичнее, как это по всему видно, самого Плетнева была Тютчеву его жена. После смерти мужа между нею и семьей Тютчева завязались более близкие отношения, следами которых является как известное стихотворение Тютчева, ей посвященное («Чему бы жизнь нас ни учила...») так и помещаемое здесь письмо, помеченное тем же 1870 годом, что и стихотворение.

[2] Любопытно сопоставить беглые отзывы Тютчева в этом письме о франко-прусской войне 1870 г. с отзывами его за это же время в письмах к жене («Старина и Новизна», кн. 22) и к Е. К. Богдановой (в нашей работе «Федор Иванович Тютчев в своих письмах к Е. К. Богдановой и С. П. Фролову», Л., 1926).

II. ПИСЬМА К Ф. И. ТЮТЧЕВУ

1—2. ПИСЬМА П. Я. ЧААДАЕВА

I

Басманная, 10 мая [1847]

Я в восхищении, дорогой *** [Тютчев][1], что вы удовлетворены моим портретом[2]. Он должен был быть литографирован в Москве, но так как

здесь не нашлось хорошего литографа, то он был послан в Петербург, и я полагал, что вы столь же охотно примете оригинал, как приняли бы и копию. Если бы вы согласились принять на себя труд справиться, какой литограф наиболее славится в Петербурге и какова его цена и сообщить мне об этом в двух словах, я был бы вам бесконечно обязан. Как вы знаете, не раз ко мне обращались с просьбой дать мое несчастное изображение: поэтому поневоле приходится постараться пойти навстречу этой настойчивой приязни. Я собирался писать об этом Вяземскому в момент получения вашего письма: как раз намереваюсь писать ему с тем, чтобы похвалить его статью о Гоголе[3]; я нахожу ее отличной в противность мнению почти всей нашей литературной братьи, озлобление которой против этого несчастного гениального человека не поддается описанию. Один только Хомяков остался ему или, лучше сказать, самому себе верен.

Так как вас несомненно интересуют наши домашние дела, то вам не безразлично будет узнать, что последний сейчас ввязался в очень серьезную полемику с Грановским по поводу Бургиньонов и Франков[4]. Как вы видите, мы не теряем своего времени попустому и вопросы текущего дня занимают нас не менее, чем остальной мир. Правда, нам не хватает времени слишком много возиться со всеми нелепостями, происходящими в Европе, такими, как, например, Прусские дела и другие им подобные, но у нас его больше, чем надо, чтобы достойно готовиться, в качестве нового народа божия, к великой предназначенной нам миссии, руководить умственным и общественным движением человеческого рода. Многозначительному спору, о котором я вам сообщаю, придает еще большую значительность то, что с этим связано нравственное положение друга нашего Хомякова, среди представителей одной с ним масти, а вы знаете, каково это положение[5]. Впрочем, что бы с ним при этом не случилось, он, по моему мнению, всегда сохранит ту долю уважения, которой заслуживает, потому что по счастью в людях всегда имеется нечто более важное, чем их знание.

Что сказать мне про себя и про свое жалкое здоровье? Мы постоянно раскачиваемся между благом, которое я не почитаю благом,и злом, которое, говорят, вовсе не есть зло. Я прозябаю таким образом в обманчивости духа и плоти. Все это, как вы легко поймете, делает меня отнюдь не забавным для других, за исключением редкой дружбы, забредшей в глушь и столь же упорной, как ваша, но приходится поневоле мириться с тягостью обманного существования, которое сам себе создал. Ваша дружба, несмотря на разделяющие нас пространства, составляет одно из самых моих отрадных утешений, а ныне, в виду обещанного нам близкого вашего прибытия в наши широты, я прибавлю еще, что оно поддерживает во мне самую пленительную надежду. Приезжайте же, вы на деле убедитесь, какое важное значение могут иметь подлинные симпатии одного разумного существа для другого такого же или по крайней мере таким когда-то почитавшегося.

Но только торопитесь, потому что чем больше я об этом думаю, тем сильнее убеждаюсь, что пора мне сгинуть со света тем или другим путем, через бегство или могилу. Что ни день, я вижу, как возникают вокруг меня какие-то новые притязания, которые выдают себя за новые силы, старые обманы, которые принимаются за старые истины, шутовские идеи всякого рода, которые признаются серьезными делами; и все это принимает осанку авторитета, власти, высшего судилища, выносит вам приговоры осуждения или оправдания, лишает вас слова или разрешает говорить. Чувствуешь себя как бы в исправительной полиции в каждый час своей жизни. Что прикажете делать в этом новом мире,

где ничто мне не улыбается, ничто не протягивает мне руку и не помогает жить? В конце концов я все же предпочитаю погибнуть от скуки, порожденной унынием одиночества, чем от руки тех людей, которых я так любил, которых я и теперь еще люблю, которым я служил по мере сил и готов был бы еще послужить.

Прощайте, дорогой друг. Верьте, прошу вас, моему чувству глубокой привязанности, с нетерпением жаждущей отрадного общения с вами.

Петр Чадаев.

II

[Июль (?) 1848]

Я только что прочитал, дорогой*** [Тютчев] вашу интересную записку о текущих событиях: прежде всего позвольте мне высказать то удовольствие, которое я испытал при ее чтении; затем я, быть может, смогу еще кое что к этому прибавить. Как вы очень правильно заметили, борьба, в самом деле, идет лишь между революцией и Россией: лучше невозможно охарактеризовать современный вопрос. Но, признаюсь вам, меня повергает в изумление не то, что умы Европы под давлением неисчислимых потребностей и необузданных инстинктов не постигают этой столь простой вещи, а то, что вот мы, уверенные обладатели святой идеи, нам врученной, не можем в ней разобраться. А, между тем, ведь мы уже порядочно времени этой идеей владеем. Так почему же мы до сих пор не осознали нашего назначения в мире? Уж не заключается ли причина этого в том самом духе самоотречения, который вы справедливо отмечаете, как отличительную черту нашего национального характера? Я склоняюсь именно к этому мнению, и это и есть то, что, на мой взгляд, особенно важно по настоящему осмыслить.

Нельзя достаточно настаивать на том, что социальная драма, при которой мы в настоящее время присутствуем, есть прямое продолжение религиозной драмы XVI века, этого гордого протеста человеческого разума против авторитета предания и против духовного принципа, — разума, стремящегося владычествовать над обществом. И вот вскоре обнаружилось, что этот протест, казавшийся самым зрелым умам эпохи столь законным и который действительно был таковым, но от которого тем не менее зависело все будущее народов Европы, сперва внес анархию в религиозные идеи, а затем обрушился на самые основы общества, отвергнув божественный источник верховной власти. Мы были свидетелями великого события, не принимая в нем участия: мы имели возможность оценить его со спокойствием беспристрастного разума; мы могли, мы должны были воспользоваться поучением, которое в нем заключалось; мы ничего этого не сделали.

Катастрофа произошла у нашего порога и ничему нас не научила, и немедленно вслед за тем мы сами отправились к их очагам в поисках за рожденными ею идеями и за созданными ею ценностями. И заметьте, что тот день, когда мы предприняли это паломничество в святые места иноземной цивилизации в лице изумительного человека, который представлял тогда сердце и душу народа подобно тому, как человек, являющийся сейчас носителем его звания, их ныне представляет[6], день этот наступил непосредственно после того, в который завершилось полное развитие нашей религиозной идеи, ибо это произошло на другой день после учреждения патриаршества.

По милости небес мы принесли с собой лишь кое-какую внешность этой негодной цивилизации, одни только ничтожные произведения этой пагубной науки: самая цивилизация, наука в целом остались нам чужды[7]. Но все же мы достаточно познакомились со странами Европы, чтобы

иметь возможность судить о глубоком различии между природой их общества и природой того, в котором мы живем. Размышляя об этом различии, мы должны были естественно возыметь высокое представление (opinion) о наших собственных учреждениях, еще глубже к ним привязаться, убедиться в их превосходстве, равно как и в могуществе тех начал, на которых покоится наш социальный строй; мы должны были отыскать в наших традициях, в наших нравах, в наших верованиях, в выражении нашей внутренней жизни, в выражении нашей жизни общественной, даже и в наших предрассудках, словом во всем, что составляет наше национальное бытие, все необходимые условия превосходного развития, все источники бесконечного усовершенствования, все зародыши необъятного будущего: этого не произошло. Совсем напротив, с того часа, как мы оказались в соприкосновении с иноземными идеями, мы поспешили отказаться от наших старинных туземных идей, мы сразу изменили нашим старинным обычаям, мы забыли наши почтенные традиции, мы преспокойно претерпели ниспровержение одного за другим наших вековечных учреждений: мы почти целиком отреклись от всего нашего прошлого, мы сохранили одни только наши религиозные верования. Правда, эти верования, составляющие самое сокровенное нашего социального бытия, были достаточны, дабы оградить нас от нашествия самых негодных принципов иноземной цивилизации, против дыхания самых зловредных ее истечений, но они были бессильны развить в нас сознание той роли, которую мы были призваны выполнить среди народов земли[8].

И вот, подчинившись игу этой цивилизации, мы все же сохранили доблести наших отцов, их дух покорности, их привязанность к государю, их пристрастие к самоотвержению и самоотречению, но, в то же время, идея, заложенная в нашей душе рукой провидения, в ней не созревала[9]. Совершенно не сознавая этой великой идеи, мы изо дня в день все более поддавались новым влияниям и когда наступил новый катаклизм, вторично потрясший мир, мы и им не воспользовались, мы еще раз не сумели обнаружить преимущества социального существования, которым мы имели счастие обладать, и теми преимуществами, которые провидение нам даровало во внимание к чистоте наших верований, к глубокой вере, преисполнявшей наши сердца. Удивительное дело: чем больше развертывавшиеся перед нашими глазами события, так сказать, разъясняли социальную задачу мира и раскрывали перед нами высокие предназначения, для нас уготованные, тем менее мы их понимали. Очевидно, все эти революции, при которых мы присутствовали в течение полустолетия, не только не уяснили нам состояние стран, в которых они происходили, равно как и состояния нашей собственной страны, а лишь еще затемнили наше сознание. И если в настоящее время некоторое пробуждение национального начала, некоторый возврат к старым традициям, которые составляли счастье наших отцов и были источником их доблестей, обнаруживаются среди нас более или менее явственно, приходится сознаться, что это явление лишь назревает и что оно в настоящее время носит лишь характер исторического изыскания, литературного течения, совершенно неведомого стране.

Подлинники обоих писем по-французски.

[1] По обыкновению своему Жихарев, копируя письма, заменил в обращении фамилию адресата тремя звездочками, но нет конечно никакого сомнения, что звездочки скрывают здесь именно фамилию Тютчева. Первое письмо служит прямым ответом на письмо Тютчева к Чаадаеву от 13 апреля 1847 г., напечатанное еще Брюсовым в «Русском Архиве» 1900 г., второе письмо всецело посвящено известной записке Тютчева «Россия и революция», написанной по-французски с датой 12 апреля 1848 г. и напе-

чатанной в Париже в 1849 г. Она и по-французски и в русском переводе перепечатывается с 1886 г. в собрании сочинений Тютчева.

Оба письма без полных дат, но даты могут быть установлены с большой точностью. В первом письме указаны число и месяц: 10 мая; год написания конечно 1847. Это вытекает не только из указанного выше письма Тютчева к Чаадаеву, а еще из двух событий, о которых говорится в письме Чаадаева: и полемика Хомякова с Грановским по поводу «Бургиньонов и Франков», и статья Вяземского о вышедших в 1846 г. «Выбранных местах из переписки с друзьями» — относятся именно к 1847 г. (подробности ниже). Дата второго письма определяется временем написания записки Тютчева: письмо не могло быть написано ранее 12 апреля 1848 г., даты записки Тютчева. Чаадаеву, благодаря его близким отношениям с московскими родными Тютчева — Сушковыми, записка поэта стала известна еще в рукописи. Это подтверждается документальным свидетельством: 22 июля 1848 г. Шевырев писал Погодину: «У Чаадаева есть мемория, Тютчевым написанная... Чаадаев хотел бы тебе сообщить эту меморию» (Барсуков, «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. IX, стр. 243). Сохранилось и напечатано также письмо Чаадаева к Шевыреву (без даты) о посылке ему «мемории» Тютчева и о желании, чтобы ее прочел Погодин, но с тем, чтобы к понедельнику, т. е. в приемный день Чаадаева, она опять к нему вернулась («Сочинения и письма Чаадаева», М., 1913, т. I, стр. 288). Очевидно мемория должна была, как интересная новинка, служить предметом беседы в салоне Чаадаева. Письмо написано немедленно после прочтения «Записки»; последняя, как новинка, была в руках Чаадаева около 22 июля 1848 г. Это и определяет дату письма. Содержание обоих писем, каждого по своему, чрезвычайно важно. Они хорошо друг друга дополняют, освещая разные стороны отношений между Чаадаевым и Тютчевым. В письме 1847 г. Чаадаев раскрывает перед Тютчевым свое тяжелое настроение и делает это с редкой для него искренностью. Жутко становится от резкой критики окружающей среды, в которой именно и развертывалась в это время славянофильская доктрина, подвергаемая здесь злому осуждению, но еще более жуткое впечатление выносишь от вырвавшихся у Чаадаева слов о собственном его «обманном существовании», „existence menteuse"... Легко понять его страстное влечение к возобновлению бесед с таким интересным собеседником, как Тютчев. Конечно не было в то время ни одного человека, столь ценного в этом отношении для Чаадаева, как именно Тютчев.

Второе письмо, напротив, все от первого до последнего слова посвящено общим соображениям и представляет огромный интерес для определения позиции Чаадаева после февральской революции и после пересмотра им своей доктрины. Может даже показаться, что он круто изменил все свое мировоззрение и является более славянофилом чем сами славянофилы, он как бы жалеет, что наш возврат к старине все еще недостаточен и пока не имеет настоящего отклика в обществе и народе. На самом деле это конечно не так. Чаадаев в восхищении от того, что наконец имеет перед собой попытку широкой концепции русской истории с освещением ее с мировой точки зрения. Правда, Тютчев в своей «Записке» с широких линий, в которых он набрасывает первую часть, скоро съезжает к практической политике текущего дня с довольно односторонней и весьма спорной окраской положения вещей, при чем католические и революционные элементы в его рассуждении о столкновении славян с венграми как-то перекрещиваются между собою, а о судьбах Германии он рассуждает с чрезвычайно узкой точки зрения необходимости сохранить в неприкосновенности весь ее иерархический строй. Но все же в «Записке» давался богатейший материал для дискуссии и по самым общим вопросам и по жгучим вопросам современности. Чаадаев, конечно, далеко не во всем мог с ним согласиться. Коренное различие их взглядов выразилось особенно ярко через несколько лет, перед началом крымской войны, когда Чаадаев особенно решительно оспаривал именно тютчевские мечты о «Великой греко-российской восточной империи». Свое несогласие с общей мыслью Тютчева Чаадаев в полуприкрытой форме выражает и в этом письме. Во многих местах его сквозит явная ирония. Чаадаев знает, что на одном «смирении» и «самоотречении», которые Тютчев считает коренными чертами русской идеи, далеко не уедешь, и указывает уже в начале письма, что, может быть, эти-то черты и мешают нам самим разобраться в преимуществах нашего положения и понять смысл исторического хода событий. Но Чаадаев, наученный горьким опытом, в этот период своей жизни старается найти общую почву при полемике и проводить свою точку зрения, исходя из посылок, признаваемых противником, только бы этот противник достаточно широко ставил вопрос и заслуживал внимания... И можно с уверенностью утверждать, что если бы ему удалось сойтись лицом к лицу с Тютчевым при обсуждении «Записки» в целом, то у них должен был бы возгореться один из тех споров, когда оба столь обычно сдержанные и уравновешенные собеседника доходили в московском Английском клубе до крика, на который прибегал швейцар, в испуге, не происходит ли там какая-то потасовка (см. «Вестник Европы» 1871, № 9, стр. 41).

Надо еще принять во внимание, что письмо Чаадаева писано как раз в момент жестокого полицейского террора после февральской революции во Франции; в фев-

рале 1848 г. утвержден так называемый Бутурлинский комитет и последовал затем целый ряд мер, стесняющих всякое проявление радикальной мысли в печати. Некоторые намеки во втором письме легко расшифровать как решительную критику славянофильских и шовинистических устремлений Тютчева. Но особенно убеждаешься, что перед нами и здесь прежний Чаадаев, только введший в свою систему некоторые существенные фактические поправки из сопоставления с первым из печатаемых писем, которое решительно не допускает и мысли о возможности примирения с русской действительностью второй половины сороковых годов. Чаадаев собирается бежать из Москвы несмотря на то одиночество, которое после его удаления из общества может угрожать ему смертью; но конечно он и в Москве не менее одинок, и это именно и составляет вечную трагедию его жизни. Никакого примирения с национальной ограниченностью и застоем, которые роковым образом мертвили славянофильскую доктрину, Чаадаев конечно не допускал.

[2] О письме Тютчева с благодарностью за присылку портрета см. выше. Через несколько лет Чаадаеву удалось через посредство С. Д. Полторацкого заказать в Париже гравированный свой портрет, который получил широкое распространение.

[3] Это намерение свое Чаадаев, как известно, выполнил: он написал письмо Вяземскому об его статье о Гоголе, помещенной в № 90 и 91 «С.-Петербургских Ведомостей», и вышедшей затем отдельной брошюрой. Получению Чаадаевым статьи Вяземского предшествовало написание своей обстоятельной статьи о столь нашумевшей книге Гоголя. Получив статью Вяземского, Чаадаев прибавил к своей свой отзыв о ней. Он датирован 29 апреля 1847 г. Этой дате противоречит дата письма Тютчеву — 10 мая — так как из этого письма выходит, что Чаадаев еще только с о б и р а е т с я ответить Вяземскому. Письмо Чаадаева ходило по рукам, прежде чем попало в руки Вяземского. Пожалуй, он узнал об нем позже всех других приятелей Чаадаева. Еще в феврале следующего 1848 года он требует от Чаадаева присылки письма ему («Старина и Новизна», кн. I, 1897, стр. 210).

[4] Полемика между Грановским и Хомяковым по поводу Бургиньонов и Франков, времени и месте их передвижения и поселения в эпоху переселения народов возгорелась по поводу статьи Хомякова, служившей предисловием к изданию Д. А. Валуева «*Сборник исторических и статистических сведений о России и народах, ей единоверных и единоплеменных*», М., 1845. После рецензии на статью в «Отечественных Записках» 1846 г., Хомяков ответил на нее в одной статье своей в «Московском Сборнике» 1847 г.; *это вызвало новое возражение Грановского в «Отечественных* Записках» того же года: статья датирована 25 марта. Затем последовала дальнейшая полемика в московских газетах. Хомяков поместил две статьи в «Московском городском Листке», Грановский — столько же статей в «Московских Ведомостях» Корша. Отзыв Чаадаева об этой буре в стакане воды, конечно, иронического характера; спор казался ему слишком мелочным и заслонившим более важные вопросы современности. Полемические статьи обоих диспутантов помещены в собрании сочинений Хомякова (в издании 1900 г., том III), а также и в «Сочинениях» Грановского.

Под «прусскими делами» Чаадаев разумеет, очевидно, неожиданно изданный в начале 1847 г. королем Фридрихом-Вильгельмом IV указ о созыве ландтага, с весьма, правда, ограниченными правами и с совещательным голосом. Из этой попытки обновления государственного строя Пруссии, как известно, ничего не вышло, но в свое время, в ожидании либерального курса со стороны этого «короля-романтика» указанная мера расценивалась как весьма важное событие.

[5] Говоря о положении Хомякова, Чаадаев имеет здесь в виду его бесспорное главенство среди славянофильской школы. Он при этом довольно справедливо дает понять, что разгоревшаяся полемика по частному вопросу из эпохи переселения народов, породившая по четыре выступления с каждой стороны в течение двух лет, на деле имела значение не столько по существу вызвавшего спор вопроса, сколько в смысле обнаружения своей правоты и больших знаний со стороны того или другого из представителей двух московских течений.

[6] Под «изумительным человеком» Чаадаев разумеет здесь конечно Петра I, перед которым он продолжает преклоняться. «Преемником его звания» он называет Николая I. В своей «Записке» Тютчев выставляет Николая выразителем «русской идеи», Чаадаев противопоставляет ему Петра, который имеет на это такое же право.

[7] В отзыве Чаадаева о поверхностном усвоении нами европейской культуры и о ничтожестве наших научных знаний, как явлениях положительных, звучит явная ирония. О том, как мы легко поддались чужому влиянию говорится обстоятельно в «Апологии безумного», написанной в 1837 году. О поверхности наших заимствований красочно говорится в «I философическом письме».

[8] Центральный пункт прикрытого потоком восхвалений возражения Чаадаева Тютчеву заключается именно в этом утверждении, что в результате всех наших преимуществ мы, при сопоставлении основ нашей культуры с культурой европейской, не имеем никакого определенного представления о нашем положении в мировом развитии и о нашей исторической миссии.

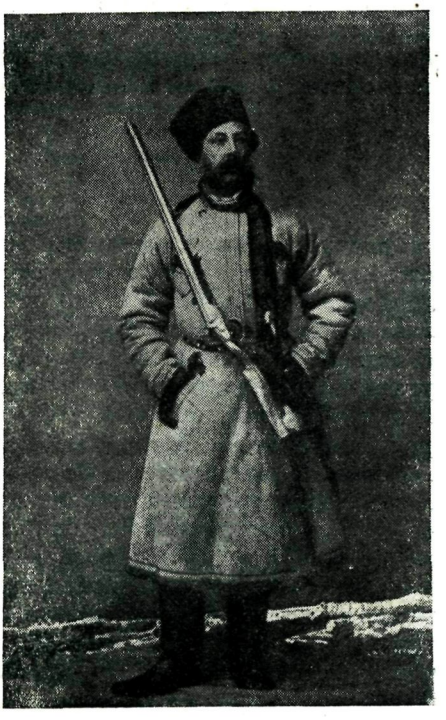
[9] Употребленное здесь выражение, что мысль, положенная в основу нашего развития, не созревала в нас по мере нашего роста, прямо перенесено из «I философического письма» Чаадаева.

3. ПИСЬМО гр. А. К. ТОЛСТОГО[1]

11/23 октября 1860. Лондон

Многоуважаемый господин Тютчев, около двух месяцев назад полагая вас находящимся, по ошибочному указанию, в Содене, я писал вам туда, чтобы просить вас извинить меня за то, что я адресовал на ваше имя в Петербург ящик с книгами. После того я узнал, что вы не были в Содене, но, не зная вашего теперешнего местопребывания, пишу на всякий случай в Петербург, чтобы объяснить вам свой поступок и за него извиниться. Так как вы стоите во главе иностранной цензуры и, рано или поздно, мои книги должны были пройти через ваши руки, я подумал, что было проще послать их прямо к вам. Если вы их еще не получили, вы не преминете их получить, и я рассчитываю на вашу снисходительность и на вашу хорошо известную любезность, чтобы быть оправданным в своей нескромности. Прилагаю здесь список книг, который не совсем полон, но он будет достаточен для того, чтобы доказать идентичность моей посылки. Вы меня бесконечно обяжете, если, проценсуровав эту посылку, вы разрешите ее взять г-ну Благовидову, моему уполномоченному, проживающему на Надеждинской, в доме Фоминой. Г-н Благовидов предупрежден уже давно и не должен допустить, чтобы вам была предъявлена какая бы то ни было накладная на расходы по пересылке.

Надеюсь увидеть вас в Петербурге в конце этой зимы или в начале весны и просить у вас разрешения прочесть вам драму[2], которую я написал частью в России, частью за границей и мысль о которой зани-



А. К. ТОЛСТОЙ
Фотография 1850 гг.
Собрание Н. И. Тютчева, Москва

мала меня много лет. Остается узнать, соответствует ли результат моим усилиям. Примите еще раз, дорогой господин Тютчев, мои извинения, так же как и выражение моего глубокого уважения. Весь ваш гр. Алексей Толстой.

Если вы заблагорассудите почтить меня словом ответа, соблаговолите адресовать его в Дрезден, в посольство.

В ящике с книгами имеются ноты и гравюры.

Подлинник по-французски.

[1] Толстой, гр. Алексей Константинович (1817—1875) — поэт и романист.

[2] Здесь говорится вероятно о «Дон-Жуане», появившемся в апрельской книжке «Русского Вестника» за 1862 г. (стр. 581—692) и озаглавленном так: «Дон-Жуан. Драматическая поэма. Посвящается памяти Моцарта и Гофмана».

4—6. ПИСЬМА гр. П. А. ВАЛУЕВА[1]

I

Сожалею, что два раза пропустил удовольствие видеть ваше превосходительство. Соизвольте определить сами продолжительность вашего отпуска[2]. Полагаю, что мы можем обойтись без всякой формальности на этот счет и прошу вас заместить себя гр. Комаровским[3], согласно с упоминаемым вами обыкновением. Тысячу выражений почтения и пожеланий в вашем путешествии.

Валуев

Острова, 10/VI. 63

II

Острова, 10/VI. 64

Спешу уведомить ваше превосходительство, что я не вижу препятствий к поездке в Москву[4], которую вы предполагаете совершить. Гр. Комаровский[5] получит ваши инструкции на счет временного исполнения им должности. Прошу ваше превосходительство благоволить принять повторные уверения в моем высоком уважении.

Валуев

III

Среда, 7 Декабря [1866]

Господин тайный советник. Давно уже ваше превосходительство высказали мне то малое сочувствие, которое внушает вам направление, данное делам печати, и что вы сознаете трудность продолжать участвовать в этой отрасли служебного поприща[6]. Со своей стороны я также составил себе на этот счет совершенно определенное мнение. Личное уважение, отдаваемое вам мною, чувства искреннего почтения, которое я вам засвидетельствовал и очень естественное отвращение к принятию решения, которое могло бы быть вам мало приятным, не позволяли мне до сих пор привести в действие намерение, которое я давно уже довел до сведения государя императора. Изменения, происшедшие в личном составе управления по делам печати[7], принуждают меня тем не менее приступить к этому. Я желаю сделать это в форме и с материальными условиями, которые наиболее подходили бы для вас. Ваше превосходительство обяжете меня, почтив меня посещением по этому поводу сегодня от 7 до $8^1/_2$ ч. вечера. Благоволите принять уверения в моих чувствах отличнейшего уважения.

Валуев

Подлинники всех трех писем по-французски.

[1] Валуев, Петр Александрович (1814—1890) — видный государственный деятель николаевской и александровской России. С 1861 г. был поставлен во главе министерства внутренних дел, в ведение которого в 1863 г. была передана цензура. В 1865 г. им была проведена цензурная реформа, заключавшаяся в установлении, на ряду с прежней предупредительной цензурой, цензуры карательной, чрезвычайно тяжело отразившаяся на положении печати; с 1866 г. начали появляться различные дополнения к цензурному уставу, еще более ухудшавшие его.

Относительно либеральные позиции, занимаемые в этом вопросе Тютчевым, занимавшим пост председателя Комитета Цензуры Иностранной, стояли таким образом в некотором противоречии с валуевскими тенденциями, и этим обстоятельством объясняются его довольно неровные отношения с Валуевым, которые можно проследить по публикуемым письмам.

Неровности эти начались однако не тотчас после перевода цензуры из министерства народного просвещения в ведение Валуева. Вначале отношения их были вполне мирными, свидетельством чему служит первое письмо Валуева к Тютчеву от 10 июня 1863 г., вызванное просьбой Тютчева о разрешении ему отпуска.

Разногласия их начались повидимому позднее, в связи с цензурным преследованием аксаковского «Дня», взятого Тютчевым под свою защиту; кроме того, поводом к обострению отношений могли служить «Московские Ведомости», встречавшие не менее подозрительное отношение Валуева и также отстаиваемые Тютчевым.

А. В. Никитенко в своем дневнике от 19 декабря 1865 г. (т. II, стр. 265—266) записывает: «Тютчев, Ф. И. рассказывал мне о своем разговоре с Валуевым о делах печати. Он откровенно объяснял министру, что репрессивная система, принятая им, ни к чему хорошему не приведет. Тютчев с негодованием рассказывал мне также о Совете, от участия в делах которого он решительно отказался... Министр сам смотрит на дело, как чиновник, а не как государственный человек и, кажется, не имеет понятия о значении мысли, которую думает подавить канцелярскою рутиною и канцелярскими мерами». И под 23 декабря (там же): «Министр смотрит на вопросы мысли и печати, как полицейский чиновник; председатель совета Щербинин есть ничтожнейшее существо, готовое подчиниться всякому чуждому влиянию, кроме честного и умного, а всему дает направление Ф. [Фукс] и делопроизводитель [гр П. И. Капнист]. Они доносят Валуеву о словах и мнениях членов и предрасполагают его к известным решениям, настраивая его в то же время против лиц, которые им почему-нибудь неугодны». Таковы иллюстрации хорошо осведомленного современника к нашим словам.

Естественно, что последовавшая через год после первой вторая просьба Тютчева об отпуске встретила уже гораздо более официальный ответ со стороны Валуева. И наконец в третьем письме, последовавшем еще два с половиной года спустя, их отношения вырисовываются как уже почти откровенно враждебные.

[2] Отсутствие Тютчева в заседаниях Комитета Цензуры Иностранной, где он был председателем, началось еще до этого письма Валуева, именно с 5 июня, и продолжалось до 14 августа, когда снова начинает появляться его подпись под журналами заседаний. Почти все это время Тютчев провел в Москве, где проходил курс лечения гомеопатией; прибыл он туда 15—16 июня, а в Петербург вернулся 10 августа, в субботу. Повидимому тогда же началось сближение Тютчева с Катковым, о котором он часто упоминает с чувством симпатии в письмах к жене за эти месяцы.

[3] Комаровский, Егор Евграфович (1803—1875) — был в 50-х годах чиновником особых поручений при Главном Управлении Цензуры. В 1859 г., не без давления Тютчева, был назначен старшим цензором в Комитет Цензуры Иностранной, на место уволенного Дукшты-Дукшинского, и в этой должности умер, действительно всегда замещая Тютчева во время его отпусков и отлучек.

[4] На этот раз Тютчев пробыл в Москве меньше месяца (с 14 июня), а в Комитете отсутствовал в трех заседаниях его: 10, 17 и 24 июня, так как под журналом от 1 июля подпись его уже стоит. Здесь мы наталкиваемся на некоторое противоречие: в письме к Эрнестине Федоровне от 10 июля 1864 г. из Петербурга Тютчев пишет, что «водворился опять здесь с 5 числа»; остается предположить, что журнал за 1 июля Тютчев подписал позже, фактически на заседании не присутствуя. В Петербург Тютчев торопился, как он писал жене, для того, чтобы «завладеть князем Горчаковым тотчас по его приезде» из-за границы, и с его помощью — будучи председателем Цензурного комитета, Тютчев продолжал числиться в службе и по министерству иностранных дел — устроить себе самому продолжительную командировку за границу, где в то время находилась его семья. Горчаков пошел навстречу его желанию, и 14 августа Тютчев подписал официальное отношение на имя министра внутренних дел о назначении, по случаю его отъезда «по делам службы» за границу, на время его отсутствия председательствующим в Комитете «по бывшим примерам» гр. Комаровского, на что 22 августа последовало официальное согласие Валуева за № 384, вместе с добавлением, что с его стороны не встречается препятствий к тому, чтобы

следуемое Тютчеву по Комитету содержание выдавалось в его отсутствие казначею Комитета Добровольскому. С 25 августа 1864 г. и по 17 марта 1865 г. подписей Тютчева под журналами Комитета нет, а появляются они снова 24 марта 1865 г. В промежуток между двумя поездками Тютчева — в Москву и за границу — скончалась 4 августа Е. А. Денисьева, чем и объясняется лихорадочное, мятущееся состояние Тютчева, не позволявшее ему спокойно оставаться на месте.

[5] Получив это письмо, Тютчев тотчас отправил вместе с ним гр. Комаровскому следующую собственноручную записку (подлинник по-французски):

«Таков, дорогой граф, ответ министра на мое предложение. Мне остается только еще раз поблагодарить вас, и очень искренно, за ваше любезное доброе желание, которым я не злоупотреблю. Тысяча свидетельств почтения и преданности. Ф. Тютчев».

[6] Так как Тютчев служил одновременно в двух министерствах: иностранных дел и внутренних (по цензуре), то слова Валуева могли относиться только к последнему; но что имелось им при этом в виду: Комитет Цензуры Иностранной, или только Совет Главного Управления по делам печати, или и то и другое вместе, — точно установить пока не удалось; судя по словам письма, отмеченным в следующем (7-м) примечании, можно думать, что речь шла только о Совете.

[7] Изменения в личном составе Совета Главного Управления по делам печати состояли в том, что председательствующим в Совете начальником Главного Управления вместо сенатора М. П. Щербинина был в начале декабря 1866 г. назначен М. Н. Похвиснев (подпись его в первый раз встречается под журналом заседаний Совета 12 декабря 1866 г.), в свою очередь смененный в конце сентября 1870 г. свиты е. в. генерал-майором М. Р. Шидловским, которого через год, в ноябре 1871 г., заменил М. Н. Лонгинов; кроме председательствующего, прибавилось еще 2 или 3 новых члена Совета.

7. ПИСЬМО И. С. ТУРГЕНЕВА[1].

Баден-Баден 29 сент. 1867

Дорогой господин [Тютчев], податель этого письма, г-н Евгений Скайлер[2] из Нью-Йорка, отправляется в Москву, где он только что назначен в Американское консульство. Он владеет нашим языком, изучил нашу литературу и желает лично познакомиться с нашими наиболее выдающимися людьми. Было вполне естественно, что я подумал о вас, и я не сомневаюсь в том, что вы примете его со свойственной вам сердечной благожелательностью. Искренне благодарю вас заранее и прошу вас принять уверение в моих чувствах отличнейшего уважения.

И. Тургенев

P. S. Г-н Евгений Скайлер только что выпустил перевод моих „Отцов и Детей“[3].

Подлинник по-французски.

[1] И. С. Тургенев был, как известно, в числе первых, признавших и отметивших поэтический талант Тютчева, и первый осуществил в 1854 г. издание его стихотворений отдельной книжкой. Тем не менее ни близких, ни даже просто дружеских отношений, какие были например между Тютчевым и Полонским или Майковым, между ними не установилось. Причиной тому была конечно слишком большая разность идейного склада того и другого: национализм Тютчева был совершенно чужд Тургеневу; с другой стороны, Тютчеву претил резко выраженный «европеизм» Тургенева, его насмешливо-ироническое отношение к славянофильской доктрине. После появления «Дыма», кроме известного стихотворения Тютчева и его эпиграммы на этот роман, появившийся в библиографическом обзоре газеты «Голос» от 22 июня 1862 г., без упоминания имени Тютчева, вот что писал он В. И. Ламанскому в марте или в апреле 1867 г.: «Ваше предисловие к книге Штура превосходно, и желательно было бы при случае перепечатать его, хотя бы сокращенно, в политической газете (в «Голосе» например). Весьма кстати щелчок Тургеневу, как последнему выражению худшего из русских нигилизмов, — нигилизма нравственного и душевного бессилия». («Русская Мысль» 1915, кн. XI, стр. 130). — Точное название русского перевода книги Штура следующее: «Славянство и мир будущего. Послание к Славянам с берегов Дуная Людевита Штура (1855). Перевод неизданной немецкой рукописи с предисловием и примечаниями В. Л.» — «Чт. О. И. Др.», 1867, кн. I, отд. III, стр. 1—190.

П. А. ВАЛУЕВ
Карикатура И. А. Всеволожского
Исторический Музей, Москва

[2] Скайлер, Евгений (1840—1890) — американский писатель и дипломат. Кроме «Отцов и Детей» Тургенева он перевел также «Казаков» Толстого.

[3] Tourgéneff (Iwan S.). Fathers and Sons, from the Russian, by E. Schuyler, New-York, 1867.

8. ПИСЬМО И. С. АКСАКОВА[1]

В одно время с этим письмом, многоуважаемый Федор Иванович, получите Вы и Москву от вторника, с длинною и, как мне кажется, громовою статьею для предостерегателя[2]. Статья эта такого рода, что не может вызвать предостережения: или что-нибудь хуже, или полнейшее мое оправдание. Отделаться молчанием ему, т. е. Ва[луеву], также нельзя. Но что бы он ни сделал, эта статья компрометирует его окончательно в общественном мнении России. Едва ли, однако, можно будет придраться к ее форме. Хорошо ли, благоразумно ли поступлено с моей стороны? Вы упускаете из виду, что это второе предостережение, данное в самый момент подписки, убивает материально газету. Она и без того понесла за нынешний год большие убытки, отчасти по новости дела, а главное по недоверию к прочности ее существования. Подписывались на год очень немногие, больше на короткие сроки,— некоторые вперед, подписываясь, делали оговорки на случай прекращения газеты. После же второго предостережения, как в первой половине года, так и теперь, подписка даже на короткие сроки прекращается. Пять предостережений, три месяца прекращение и постоянное ожидание 6-го предостережения[3], от получения которого я ничем не застрахован, и все это в течение $10^1/_2$ месяцев, — все это, в глазах публики, является таким систематическим преследованием, что возбуждает сожаление и сочувствие, в то же время подрывает у газеты значение прочной, установившейся силы: перестают обращаться к ней с предложениями

статей, корреспонденций, правильных сношений и т. д. Редактор же является каким-то жалким, забитым, его положение выходит трагикомическим. Из него надо выдти так или иначе. Если настоящая моя статья и погубит мою газету, то она значительно подорвет и самую систему предостережений и окажет несомненную пользу литературе. Я желаю, конечно, чтобы ей был дан самый обширный ход, для чего приняты мною уже некоторые меры. Посылаю вам два экземпляра. Думаю однакож, что общее сочувствие будет на моей стороне. Очень бы нужно добиться, чтоб ее прочли в самых высших местах, и хотя косвенными путями там уже предупреждены об этой статье, и экземпляры этого № будут доставлены, но прочтут ли—это еще бог весть[4]. А это было бы всего нужнее. Может быть я ошибаюсь, но кажется впечатление от статьи в мою пользу. Впрочем там другая оптика и другая акустика. Приятнее было бы, конечно, для меня явиться защитником по поводу моей собственной статьи, а не Бабста[5], и о другом предмете,—в статье есть некоторая тривиальность дурного тона, но делать нечего, я все же перед правительством ответственный редактор. Впрочем все здесь убеждены, что предостережение дано не за статью о тарифе, а за статью против Северной Почты[6], к которой придраться было нельзя.

Не худо бы, кажется, пустить в оборот мысль о необходимости поступить по примеру прошлого года, т. е. к 1 Января снять со всех газет предостережения. Теперь их накопилось довольно: у Пб. ведомостей два, у Голоса одно, или два...

Надеюсь получать от вас подробные сведения о судьбах этой статьи, и желаю знать ваше собственное впечатление[7]. Полонский утром завез мне ваше письмо. Благодарю Вас. Статью, которой содержание Вы очерчиваете, я постараюсь написать, но она не будет иметь никакого практического результата. От кого его ждать? От В.? Но мало ли уж ему объясняли и доказывали,—он не способен убедиться. От высших? Но они даже не прочтут.

Анна поправляется, но медленно[8]. Все ее местные недуги прошли, кроме залегания носа и небольшой, остающейся еще опухоли в носу. Но она вообще слаба, а главное нервы ее очень расстроены. На будущей неделе доктор хочет ее выпустить на воздух, чего она с нетерпением жаждет. 2-ое предостережение не очень ее взволновало; в настоящем ее положении она даже улыбается перспективе моей совершенной свободы, поездке со мною вместе на Юг, и т. д. Бедная Анна! Этот снег, это серое бессолнечное небо, этот зимний холод ее тяготят невыразимо.

Прощайте, Федор Иванович. Alea jacta est* кстати теперь сказать, как это ни пошло.

Крепко вас обнимаю и всех ваших.

Ваш Ив. Аксаков

28 ноября
1867 Москва.

[1] Аксаков, Иван Сергеевич (1823—1886) — публицист, поэт, один из виднейших идеологов славянофильства.

[2] Предостережение, вызвавшее упоминаемую здесь статью Аксакова, появилось в № 187 выпускаемой им газеты «Москва» от 25 ноября 1867 г., и формулировано было так: «Принимая в соображение, что предоставленное печати право обсуждения современных вопросов и выражения мнений о правительственных распоряжениях не может быть правом систематического охуждения действий правительства и возбуждения к нему недоверия и неуважения; что возбуждение таких чувств нередко составляет отличительный характер статей и корреспонденций, печатаемых в газете «Москва»; что таким именно характером отличается передовая статья в № 183 означенной газеты, в особенности в местах от слов: Удивительное время до слов: поэ-

* Жребий брошен.

мельного кредита, и от слов: Более неудобного времени до слов: нужд народных; и что далее в той же самой статье, в месте от слов: когда повсеместно до слов: Германских фабриках, заключается направленное к возбуждению страстей и общественного неудовольствия сопоставление некоторых тарифных статей о привозимых из-за границы съестных припасах, очевидно не имеющих никакого отношения к продовольственным нуждам рабочего населения, с преувеличенным изображением этих нужд по случаю бывшего в некоторых губерниях неурожая; — Министр внутренних дел, на основании ст. 29, 31 и 32 высочайше утвержденного, 6 апреля 1865 года, мнения Государственного совета, и согласно заключению Совета Главного Управления по делам печати, определил: объявить второе предостережение газете «Москва», в лице издателя-редактора надворного советника Ивана Аксакова». Отмеченные в предупреждении места инкриминируемой Аксакову статьи, написанной, как он ниже сообщает Тютчеву, Бабстом, заключают в себе следующий текст: «Удивительное время мы переживаем! Никто не в состоянии сказать — при чем он, где он и имеет ли возможность и право пользоваться своим трудом, своим капиталом! Никто не чувствует под собой твердой почвы. Колеблется кредит, потому что нет веры ни во что, ибо самые торжественные заявления, хотя бы напр. о водворении русского землевладения в Западном крае, — оказываются совершенной тщетой, как это можно видеть из отчета о последнем общем собрании Общества взаимного поземельного кредита». Дальше, собираясь говорить о только что открывшихся заседаниях комиссии по пересмотру тарифа, автор начинает с примера одного собрания на нижегородской ярмарке этого года, имевшего место сейчас же после обнародования докладной записки министра финансов. «Обнародование ее в то время, — пишет Бабст, — когда дела на этом всероссийском торжище шли дурно, когда расчеты были туги, когда приходили известия из Европы о состоянии хлопкового рынка самые печальные, когда политический горизонт был покрыт мрачными тучами и известия из средней Азии были еще менее успокоительны, — обнародование это поразило всех как громом. Более неудобного времени нельзя было выбрать, и нам весьма понятно, почему в одно из собраний задан был такой вопрос: «какой недруг мог решиться на подобного рода заявление? или люди намеренно желающие подорвать материальные средства нашего отечества, или люди решительно ничего непонимающие, люди совершенно чуждые интересам народа и — не во гнев будь сказано — совершенно незнающие нужд народных?» И дальше. опустив несколько абзацев: «Читая же известия о заседаниях [тарифной комиссии], мы не можем не сознаться, что самый отъявленный пессимист не мог бы придумать тех результатов, какие дали нам первые заседания комиссии... [следует ряд примеров]. Что же это такое? Неужели же комиссия собрана для того, чтобы заниматься праздными разговорами и проводить время в шутливых беседах и веселой болтовне? И в какое же время! Когда из Шуи пишут, что рабочие сидят без дела, не знают, чем заплатить подати и на что купить хлеба; когда из Вичуги и из Сев. Края известия приходят еще печальнее; когда повсеместно в центральной полосе недостает хлеба до декабря и народ повсеместно ищет заработков, ради насущного пропитания! Ей-богу не время облизываться при мысли о дешевых страсбургских пирогах, устрицах и консервах [в комиссии ставился вопрос о понижении заграничной пошлины на кофе, напитки, пикули, страсбургские пироги и т. п.] и вести прения о понижении пошлины с шампанского, фабрикуемого на Германских фабриках».

Еще до статьи 28 ноября, Аксаков поместил, в коротенькой передовой в следующем после предупреждения № 188 от 26 ноября, несколько слов предуведомления читателям, в котором говорил, что «важность и торжественность нынешнего дня заставляют нас отложить до следующего № объяснение с Министерством внутренних дел и с читателями по личному нашему вопросу. Мы не можем не отозваться на новый, пятый по счету, знак внимания, явленный нам со стороны санктпетербургского литературного начальства, — и отзовемся»; а статью от 28 ноября (№ 189) он начинает так: «Дающая предостережения рука не оскудевает. Из непроницаемой выси «личного усмотрения», от щедрот поставленной над литературою власти ниспослано на нас, в течении $10^1/_2$ месяцев, три предостережения, три месяца вынужденного молчания, и, по возобновлении «Москвы» с 1-го июля, — два предостережения снова. Такое внимание, такое «систематическое охуждение» (выражаясь языком пятого предостережения), затрудняя издание, нанося ему значительный ущерб имущественный и нравственный, не смутило бы, однако, нас в отправлении нашего редакторского долга, не побудило бы нас к напрасному ропоту или немощному отпору. Но на сей раз предостережение, данное нам, такого свойства, что мы не можем молчать, не должны молчать: молчание с нашей стороны было бы преступлением. Мы вполне сознаем опасность, которой подвергаем свою газету, но тем не менее мы обязаны перед собой, перед обществом, перед правительством, перед всей Россией, поднять голос в защиту нашей долгой общественной, всем ведомой, всем открытой, ныне оклеветанной деятельности. Со всею силой негодования оскорбленного чувства чести, мы громко, во всеуслышание, протестуем против несправедливого, оскорбитель-

ного обвинения. Мы оскорблены в нашем достоинстве гражданина, писателя, Русского. Предостережение обвиняет нас... Следует повторение слов предостережения, разбор их, опровержение и ответ на них в их последовательности; в одном месте между прочим говорится: «мы, правда, систематически отделяли понятие о правительстве от понятия об администрации..... Признавая неприкосновенность [верховного правительственного принципа], мы пользовались правом обсуждения во всей широте пределов, законом дозволенных. Эти пределы довольно просторны; они не обязывают нас относиться сочувственно к тому, что нам несочувственно, ни тем менее благоговеть сердцем и словом перед всяким распоряжением администрации». Заканчивает Аксаков свою длинную возмущенную статью так: «Мы кончаем. Мы отнеслись, как видит предостерегающая власть, с полным вниманием к данному нам предостережению. Мы не остались равнодушными к нанесенному ею оскорблению нашей публичной чести... Мы не принимаем, не можем и не должны принять, — мы с негодованием отвергаем обвинение в «систематическом охуждении действий правительства и возбуждении недоверия к нему и неуважения. Конечно, не предупреждению поколебать, говорим это с гордостью, доверие к нашему имени русского общества, приобретенное долголетнею публичною деятельностью, — но самая попытка заклеймить наше имя подобным обвинением, исходящим не от суда, а от административной власти, на которую нет ни суда, ни апелляции, исполняет нас понятного негодования и дает законное основание нашему протесту. Говорим — законное, ибо такие обвинения, на основании формального закона, произносят только судом и подвергают обвиненного установленному наказанию. Мы готовы предстать суду; мы желаем суда.

Мы ответили на предостережение. Мы достаточно привели доказательств и доводов в защиту своей газеты, и будем спокойно ожидать решения ее участи от предостерегающей власти, — конечно довольно сильной, чтобы пренебречь всякими доводами и доказательствами, но, — мы обязаны полагать, — и довольно разумной, чтобы признать их справедливость и уважать наши законные требования».

Ссылка на административный разум Валуева оказалась напрасной, и через несколько дней, именно 2 декабря, «Москва» выпустила свой последний за этот год номер — № 193.

[3] Предостережения «Москве» в 1867 г. были следующие: 20 января в № 16, за передовую статью в № 8, «исполненную резких суждений о существующих у нас отношениях между церковью и правительством» — первое предостережение; 23 февраля в № 44, за передовую статью в № 35, которая, «обсуждая распоряжения местной полиции... о мерах взыскания с содержателей гостиниц, за несоблюдение ими полицейских правил о прописке паспортов — называет эти меры вредными и произвольными и т. д.», — второе; третье предостережение и распоряжение о приостановке газеты на три месяца, датированное 26 марта 1867 г., было получено Аксаковым в среду 29 марта через полицейского пристава его участка, вероятно когда № 70 газеты за это число был уже отпечатан, и потому появилось на отдельном добавочном листке; оно было вызвано целым рядом статей, касающихся дел Прибалтийского края, а именно: передовых в № 57, 62, 63 и 64 и статьи, непосредственно следующей за передовой в № 65; все они признаны были возбуждающими вражду в одной части населения против другой. По возобновлении газеты 1 июля номером 72-м, в котором Аксаков благодарил подписчиков за оказанное ему доверие во время постигшей его газеты кары, — в № 79 от 9 июля, воскресенье, объявлялось первое (четвертое) предостережение за означенную передовую статью «по поводу выпуска ее после трехмесячного приостановления на основании правительственного распоряжения», в которой «оказано неуважение к этому распоряжению, а равно и к закону, в силу которого оно последовало», и мн. др. О следующем, втором (пятом) предостережении сказано в примечании 2; после него «Москва» была закрыта на 4 месяца и, возобновленная 3 апреля 1868 г., среда, № 1, уже 11 апреля (напечатано 14 апреля в № 11) вызвала первое предостережение за передовую статью в № 1, в которой Аксаков, по примеру прошлого года, отвечал на административное распоряжение; в этот 4-месячный промежуток времени Аксаков пытался продолжать издание своей газеты под измененным названием «Москвич», но ее вышло только 38 номеров, и она также была закрыта. Ни за этим изданием, ни за «Москвой» в дальнейшем ее существовании мы уже следить не будем, потому что они выходят из рамок содержания интересующего нас здесь письма Аксакова.

[4] Под «самыми высшими местами» Аксаков разумел, надо полагать, царскую семью, а под «косвенными путями» — прежних придворных знакомых жены своей Анны Федоровны, которые вероятно подробно осведомлялись ею обо всем ходе дела с «Москвой».

[5] Бабст, Иван Кондратьевич (1824—1881) — экономист и историк, с 1857 г. — преемник проф. И. В. Вернадского по кафедре политической экономии в Московском университете, где он и продолжал читать до 1874 г. Бабсту принадлежат труды:

«Публичные лекции политической экономии» (1867), «Изложение начал народного хозяйства» (1872) и ряд статей в «Русских Ведомостях», «Русском Вестнике», «Атенее»; в «Вестнике Промышленности» он вел весь отдел «Обзор промышленности и торговли в России» и был соредактором с Ф. И. Чижовым как этого журнала, так и еженедельной газеты «Акционер»; с 1864 по 1868 г. Бабст был директором Лазаревского института восточных языков. О статье Бабста, упоминаемой в письме — см. прим. 2.

[6] «Северная Почта» была ежедневной правительственной газетой-официозом, издававшимся Министерством внутренних дел с 1862 по 1868 г., т. е. как раз во время министерства Валуева. Упоминаемая Аксаковым статья «против Северной Почты» — вероятно его статья в № 179 «Москвы» от 14 ноября, вторник, касающаяся дел Прибалтийского края, по поводу которых правительственный орган дал свои разъяснения; разбору статьи «Северной Почты» и посвящена статья Аксакова.

Ф. И. ТЮТЧЕВ И Е. Е. КОМАРОВСКИЙ
Карикатура П. Фредро
Музей им. Тютчева, Мураново

[7] Ответил ли Тютчев Аксакову на это письмо — мы не знаем, но вот что, например, писал он жене 6 июля 1867 г. по поводу вызвавшей первое предостережение после приостановки газеты на 3 месяца статьи Аксакова: «Аксаков, как я и предчувствовал, уже получил предостережение за свою первую статью. Есть что-то ребяческое в упорстве в этой невозможной борьбе против грубой силы и в намерении повалить стену вместо того, чтобы, сделав несколько шагов в сторону, обойти ее». По другому случаю, в письме от 17 августа того же года: «Здесь я застал власти очень раздраженными против Аксакова по поводу одной из его последних статей, и если ему удастся избегнуть второго предостережения, то он, конечно, будет этим обязан мне. У него необыкновенная способность возбуждать против себя самые досадные предубеждения». О ноябрьской статье Аксакова никаких отзывов Тютчева нет, потому что в это время Эрнестина Федоровна была в Петербурге и письма Тютчева к ней прекратились.

[8] Анна — жена Аксакова, Анна Федоровна Аксакова (1829—1889), дочь Тютчева от его первого брака с Э. Ф. Петерсон.

9. ПИСЬМО ГЕРЦОГА Н. М. ЛЕЙХТЕНБЕРГСКОГО [1]

Многоуважаемый Федор Иванович,

Надежда Сергеевна[2] поручила мне написать вам, что она просит вас не передавать никому того разговора, который имела с вами по поводу действий г-на Акинфова. Это только может повредить нашим интересам, чего вы конечно не желаете.

Я буду вам благодарен если вы разорвете или лучше сожжете эти строки.

Герцог Н. Лейхтенбергский

[1] Николай Максимилианович Лейхтенбергский (1843—1890) был известен Тютчеву, как один из героев шумного великосветского романа, развернувшегося в Петербурге в конце 60-х годов, о котором см. в следующем примечании.

[2] Акинфова, Надежда Сергеевна (1839—1891), играла довольно видную роль в петербургских дипломатических кругах той эпохи. По словам Тютчева «она вертела, как хотела, дипломатическим клубком». Разойдясь со своим первым мужем В. Н. Акинфовым (ум. в 1900-х гг.), она *готовилась стать женою* канцлера А. М. Горчакова, которому приходилась внучатой племянницей. «Никогда еще не совершался более глупый поступок с меньшим увлечением», писал по этому поводу Тютчев жене 8 октября 1867 г. («Старина и Новизна», кн. 21); но — «будущая супруга канцлера все еще не вполне решилась стать ею и ждет для принятия окончательного решения приезда некоего герцога» (там-же), т. е. Н. М. Лейхтенбергского. Однако приезд последнего только запутал и осложнил дело. Следя за развитием *романа и всеми перипетиями его, являясь поверенным всех действующих лиц*, Тютчев 19 октября 1867 г. пишет жене: «Грустный роман бедного канцлера с его внучатой племянницей близится к развязке благодаря скорому приезду герцога Лейхтенбергского. Вот три человека, затеявшие без всякого убеждения глупость, которою все одинаково тяготятся» (там-же); 5 июня 1868 г.: г-жа Акинфова «все еще здесь [т. е. в доме кн. Горчакова], пребывая с беспечностью дикаря в таком положении, которое должно привести к катастрофе. Во всяком случае кризис недалек, потому что в *конце недели ожидается приезд сюда* в. кн. *Марии Николаевны с сыном. Я очень опасаюсь*, что мой бедный князь окажется запятнанным всем тем, что произойдет» («Старина и Новизна», кн. 22); 12 июля 1868 г.: «В. кн. Мария Николаевна приехала со своим сыном, и уверяют, что это она теперь настаивает на свадьбе. Потому есть вероятие, что дело близится к концу» (там-же). Мы не знаем точно, когда состоялся развод Акинфовой с ее первым мужем и брак с герцогом Лейхтенбергским; дальнейшие сведения об ней в письмах Тютчева прекращаются, а из письма Лейхтенбергского можно заключить лишь о том, что Акинфов ставил повидимому какие-то препятствия к разводу, стараясь вероятно выторговать себе возможно большую сумму отступного; в дальнейшем известно только, что в 1878 г. Акинфова получила титул графини Богарне и что Лейхтенбергский тогда же уехал с нею за границу.

БИБЛИОТЕКА В. Г. БЕЛИНСКОГО

Сообщение А. Путинцева

В Тургеневском музее в Орле хранится в настоящее время поступившая сюда из барской усадьбы Тургеневых-Лутовиновых библиотека Белинского. Библиотека эта была приобретена И. С. Тургеневым у вдовы Белинского и затем была перевезена им в свое имение. Все это вероятно произошло в 1848 г., вскоре же после смерти Белинского.

Н. Н. Тютчев, один из друзей Белинского, в своих воспоминаниях о нем [1] сообщает нам некоторые сведения об этой библиотеке. После смерти критика (28 мая 1848 г.) семья его осталась без средств, и друзья решили помочь [2]. Чтобы усилить материальное обеспечение семьи Белинского, решено было разыграть его библиотеку в лотерею. По тому времени на такой пустяк требовалось разрешение правительства. Переговоры от имени друзей Н. Н. Тютчева с III Отделением С. Е. И. В. Канцелярии кончились плачевно: жандармы взглянули на эту затею как на организацию помощи „государственному преступнику". Тогда остался один исход—продать книги, что и удалось сделать при отзывчивости И. С. Тургенева. Разумеется Тургенев, купивший книги из великодушия, не мог смотреть на эту покупку как на коммерческую сделку и предоставил семье покойного своего друга возможность взять из купленной библиотеки нужные книги. Этим в известной степени (могли быть утечки и потом) объясняется то, что в библиотеке Белинского не оказалось многих таких книг, которых не могло не быть среди книг критика, как например собственной его грамматики, сочинений Кольцова дважды изданных при его ближайшем участии (издания 1835 и 1846 гг.), Пушкина, Лермонтова, Гоголя и проч., а также некоторых рукописных вещей вроде лермонтовского „Демона", составленного по разным спискам (тогда запретного), хранящегося в настоящее время в Рукописном отделении Всесоюзной Публичной Библиотеки им. Ленина, памфлетов на рептильных журналистов и др.[3] Словом, для нас совершенно ясно, что так называемая библиотека В. Г. Белинского до нас в полном виде не дошла. Сколько книг и какие именно утрачены, судить нет возможности, так как никакого списка книг не было у В. Г. Белинского, не завел его и Тургенев. О том, что перед нами лишь часть и, возможно, незначительная часть личной библиотеки критика, говорит также письмо вдовы его к художнику Астафьеву, собиравшемуся писать портрет Белинского на фоне его рабочего кабинета. М. В. Белинская в письме к этому художнику между прочим сообщает, что шкафы с книгами ее мужа занимали всю стену его кабинета и сверх того с двух сторон большого письменного стола стояли две этажерки со справочными изданиями [4]. Как видно из этих слов вдовы критика, библиотека его превышала по количеству книг по крайней мере в 4—5 раз то, что мы имеем в данный момент.

В. Г. Белинский начал накопление книг еще с юношеских лет [5] и приобретал их потом как в книжных магазинах, так и на толкучке (он между прочим коллекционировал старые гравюры). Кроме того по заведенной традиции у него оставались книги из числа присылавшихся авторами и издателями для отзыва. Так сохранились из этого числа, кроме подписных экземпляров, пустяшные книги вроде „Дворянских выборов" Ч. А.[6] и т. п. Книги, приобретавшиеся без переплета, как правило, отдавались переплетчику и переплетались более или менее однообразно: ценные книги в коленкоровый, а обычные в бумажный переплет почти всегда с инициалами на корешке: В. Б. Сохра-

нялись книги у Белинского, вообще державшего у себя в квартире большой порядок, весьма бережно, вследствие чего у него в книгах пометок очень мало, и все они связаны только с чтением книги; посторонних записей нет.

Составлял ли критик свою личную библиотеку по какому-нибудь плану или же она у него росла из случайных приобретений? Конечно случайный прирост был даже из книг, присылавшихся для отзыва, но вообще план несомненно имелся. В статье о стихотворениях В. А. Жуковского (1844), критик, жалуясь на непомерную дороговизну русских книг, говорит о трудности, с какою приходится составлять библиотеку лицам интеллигентного труда, связанным с книгой в силу своей профессии: „...Представьте себе журналиста, рецензента, критика, которому необходимо иметь не только замечательнейших, но и всех сколько-нибудь известных писателей, не исключая из их числа ни Тредиаковского, ни Сумарокова,—необходимо иметь их для справок, указаний, ссылок, выписок...“[7] Это говорит критик после десяти лет работы в качестве профессионала-журналиста и говорит конечно опираясь на собственный опыт. Можно думать после этого, что у Белинского план был, и план этот вытекал из его жизненных условий. Как журналист, затрогивавший в своих статьях о литературе ряд самых разнообразных вопросов из различных областей, он несомненно имел свой план. И план этот чувствуется даже теперь,—в тех книгах, которые дошли до нас; самые важные и значительные отделы здесь: периодика, литературоведение и художественная литература, а также справочные издания. Возможно, что его бывшая библиотека не была большою по количеству книг (может быть около двух-трех тысяч книг), но она сильна была своим подбором нужных изданий, без которых была бы невозможною работа профессионала-журналиста. Она и в теперешнем своем составе довольно отчетливо—в общем конечно—отражает интересы и вкусы Белинского в области литературы, понимая последнюю в широком смысле, а не в узком—художественную литературу.

Библиотека критика, как выше сказано, никогда не имевшая списка на книги, войдя в состав „библиотеки Тургенева“, не была в последней изолирована, почему и восстанавливать ее было довольно трудно, тем более, что музейский список „библиотеки Тургенева“, составленный когда-то студентами под руководством заведующего Тургеневским музеем М. В. Португалова, отличается большою запутанностью в деле определения принадлежности книг. Приходилось тщательно взвешивать признаки каждой отдельной книги, принимать в соображение высказывания критики и проч. В конечном итоге, думается, что библиотека Белинского среди прочих книг Тургенево-Лутовиновского собрания выделена правильно, хотя единичные случаи ошибок и не исключены.

Количество книг Белинского, на основании тщательного разбора их, определяется числом—180 названий. Количество томов указывать нет смысла, так как значительное число серийных изданий, например собраний сочинений писателей, разрознено.

* * *

„Пожалуйста, книги, книги, книги шлите!“[8]—вот вопль „неистового Виссариона“, проносящийся через всю его короткую, но бурную жизнь. И в детские годы, и в юности и в зрелую пору жизни он со страстью отдается чтению книг. Книга, чтение для него в жизни значило очень многое,—с книгой он пережил все важнейшие моменты своей жизни, вплоть до сердечных увлечений[9]. Даже театр, о котором Белинский написал много поистине вдохновенных страниц, так не увлекал его, как чтение. Мы разумеем под чтением здесь не обязательное чтение всего присылавшегося для отзыва, а ознакомление с теми произведениями, которые влекли знаменитого критика сами собою. Иногда из-за невозможности прочитать, за загруженностью журнальной работы, то, что интересовало, Белинский испытывал моральное мучение[10].

Сам Белинский различает свои чтения, отделяя в последних группу книг, читаемых ex officio („по должности“, выражаясь словами критика), от группы, читаемых для себя. Книги как из той, так и из другой группы были неодинакового достоинства, пожалуй даже большинство книг ex officio были близки к макулатуре, и „читателю“

часто приходилось „погрязать в тине расейской словесности“[11]. С другой стороны, отражалась на чтении его срочность, не позволявшая углубляться, как иногда нужно бы было, в содержание книги. Наконец, как всякая работа „по должности“, чтение ex officio не могло служить удовольствием, что не раз утверждает сам критик. Другое совсем дело,—когда приходилось читать книгу „для себя“: уже самая книга, выбранная самим, поневоле к себе влекла; затем чтение ее в спокойной обстановке, без спеха, когда можно было углубиться в ее содержание, прочувствовать и обдумать, может быть даже поделиться с близкими друзьями по поводу прочитанного, составляло большое интеллектуальное наслаждение. Впрочем по отношению к Белинскому, „человеку экстремы“, по меткой характеристике Герцена, нельзя так уж резко разграничивать эти чтения. Довольно многие книги, присылавшиеся для обязательного отзыва, его не меньше увлекали, чем выбранные им самим. Таковы, для примера, „Мертвые души“ Гоголя, „Тарантас“ и „На сон грядущий“ В. А. Соллогуба, ряд книг о Петре I, стихотворения А. Н. Майкова, даже „Герои преферанса“ П. Григорьева, „Трактат о преферансе“[12] С. К. и др. Об этом говорит не раз и сам критик.

Говоря о чтениях Белинского, необходимо сказать о том, как он читал. Его манера чтения обнаруживается как по его многократным высказываниям об этом, так и по наблюдениям над книгами его библиотеки. Серьезное вдумчивое чтение он отличал от скоропалительного, поверхностного, или, как он называл, „пробегания“ книг, при чем последнее относится к чтениям тех книг ex officio, бессодержательность которых критику как опытному судье книг бросалась с первого же взгляда на книгу. Серьезное отношение применялось обязательно им к чтению книг, заслуживающих того по своему содержанию, будь это чтение для себя или же ex officio. При серьезном чтении, в особенности же, когда критик готовился писать большую статью о прочитанном с детальным ее разбором, он делал предварительные пометки на книге, которые и старался использовать при писании статьи: об этих пометках речь будет несколько ниже.

Вернемся к „пробеганию книг“. Избежать его в тех каторжных условиях, в которых приходилось работать Белинскому у А. Краевского, было невозможно: раз книга присылалась в контору журнала, ее надо было рецензировать. Иногда скоплялось такое количество книг всяческих графоманов, что и пробегать-то их он едва успевал. Судя по некоторым книжкам „Отечественных Записок“, Белинскому так или иначе приходилось иногда прочитывать до 4 000 страниц[13] в месяц, при чем самые книги иной раз достойны были только одного отзыва, самого жестокого, по мнению Белинского,—полного молчания[14]. После этого нам станет понятно, что „Пробегание“ было неизбежно и вполне извинительно; оправдывал его и сам критик[15]. Повторяем, что „пробегание“ ни в какой степени не применялось к серьезным книгам, присылавшимся для отзыва. И мы знаем, что для написания статей о книгах, посвященных Петру I, Белинский прочитывает в целях наилучшего отзыва более тысячи страниц; для отзыва о нравственной философии А. Дроздова он серьезно готовится в Премухине, куда приехал для отдыха, под руководством М. А. Бакунина, и т. д.

Что касается пометок Белинского на книгах, то они, во-первых, имеют словесное выражение, что бывает все-таки редко (например „Вздор!“), и во-вторых, выражены особыми знаками, без слов, что встречается гораздо чаще; они представляют в своем роде систему, в которой впрочем разобраться нетрудно; они вроде той, которой пользовался герой пушкинского романа, отмечая в книге

„То кратким словом, то крестом,
То вопросительным крючком“.

Система значков такова:

а) крестик (×), или короткая линия наискось (/), чаще всего при заголовке статьи, чтобы обратить внимание на отмеченное, как на важное, заслуживающее внимания (так отмечен, например, ряд стихотворений А. Н. Майкова в его книге, вышедшей в 1848 г., рецензированной в „Отечественных Записках“ 1842 г., кн. III);

б) NB (нотабене) — употребляется с тем же значением (так например отмечены сти-

хотворения в „Oeuvres complètes de Béranger", 1837 г.: „Le Bon Dieu", „Le censeur" и др.);

в) восклицательный знак;

г) вопросительный знак;

д) подчеркивание простой чертой;

е) отчеркиванье на полях против строк вертикальной чертой;

ж) подчеркиванье волнистой чертой.

Значение всех этих пометок понятно без пояснений; укажем только, что волнистой чертой Белинский обозначает ошибки и выражения, показавшиеся ему неудачными.

Словесные замечания конечно понятны сами по себе.

Повторяем чтения Белинского при его обязанности писать отзывы о всяких книгах, будь то Гоголь, снотолкователь или какая-нибудь хозяйственная книжка, приобрели громаднейший размах. О чем только ему не приходилось писать статьи, а, следовательно, каких только книг ему не приходилось читать! Так или иначе — вдумчиво или пробегая — приходилось прочитывать за всю свою жизнь великое множество разнообразных книг. Разумеется нет возможности да и нужды в настоящей статье затрагивать всех чтений Белинского в связи с описанием его книг. Задача настоящей статьи скромнее — охватить в связи с личными книгами знаменитого критика наиболее существенное и интересное в его чтениях.

Во главу угла ставим отдел философии, впрочем очень маленький по своей численности; в нем всего книг — 6 названий. Это — сочинения Вольтера и Руссо (подарок Герцена), а также 1—2 книги богословского характера (Ф. Прокоповича). Ни одна из этих книг пометок не имеет.

Получается большая неувязка: бедность по части философских книг у человека, который по отзывам его друзей — А. И. Герцена и В. Ф. Одоевского и др.— был человеком философского склада, который много у философов получил, хотя бы от Гегеля, написал не один десяток отзывов о философских книгах, наконец писал свои письма к близким друзьям — М. А. Бакунину, Н. В. Станкевичу, В. П. Боткину и др.— в виде целых философских диссертаций. Едва ли здесь неувязку можно объяснить утратой книг. Почему именно эти книги должны утеряться? Повидимому приблизительно столько книг и было. Разгадка заключается очевидно в том, что русских философских книг он за немногими исключениями, вообще не признавал, французскими философами не интересовался, а по-немецки читать многотомные работы из-за недостаточного знания немецкого языка не решался[16]. Что же касается ознакомления Белинского с философией, то почти единственным источником были его беседы со Станкевичем, Бакуниным, Катковым и др. Дополнением к философским беседам служили статьи по философии, печатавшиеся в наших журналах того времени, в частности о Шеллинге и Гегеле, даже в тех журналах, где сотрудничал Белинский, они были.

В своей деятельности Белинский считал себя прежде всего журналистом — полемистом и памфлетистом,— а потом уже критиком в более узком значении этого слова. Своему другу В. П. Боткину в 1840 г. (впрочем в том же духе и раньше и потом) он пишет: „Мне остается одно — объективный интерес моей литературной деятельности. Тут только я сам уважаю себя и сознаю не дрянью, потому что вижу в себе бесконечную любовь и готовность на все жертвы; только тут я и страдаю и радуюсь не о себе, не за себя... И потому я больше всего горжусь какой-нибудь удачной выходкой против Булгарина, Греча и подобных сквернавцев, нежели дельной критической статьей[17]. Исходя из этого самопризнания Белинского, после отдела философии переходим к отделу периодики, который связан с „его ремеслом и призванием вместе". К этому отделу надо отнести как все собрание периодических изданий в библиотеке критика, так и все те книги, которые служили для него настольными пособиями в его журнальной работе. Этот отдел, как и надобно ожидать,— самый большой по количеству названий, при этом серийных и вдобавок иногда очень солидных; так „Вестник, Европы", с 1805 г. по 1848 г., содержал, когда еще не был разрознен, т. е. при жизни критика, около 300 томов. Всего в этом отделе состоит 57 названий, в подавляющем большинстве конечно относящихся к серийным изданиям.

Этот отдел даже и теперь, когда налицо явные утечки в виде неполных годовых комплектов журналов, весьма богат. Рано, еще с гимназических лет пристрастившийся к журналам, он уже в эти годы начинает их собирать[18], при чем собирает, как русские, так при случае и иностранные, почти исключительно французские, но с особенным интересом подбираются им в течение всей жизни русские журналы, современные и прежних лет, даже XVIII в.

Его собрание периодики — 49 преимущественно русских журналов старого и своего времени — заключает все наиболее существенное и интересное в области русской журналистики. Из периодических изданий XVIII в. мы находим почти все новиковские журналы (сатирические видимо уже утрачены; судя по высказываниям, он их хорошо знал); любопытный, целиком переводный с немецкого „Политический журнал" (1790) весьма ценный по своему времени „С.-Петербургский Журнал" известного И. П. Пнина и А. Ф. Бестужева (1798); „Приятное и полезное препровождение времени" В. С. Подшивалова (1794—1798) и др. Журналы начала XIX в. представлены „Вестником Европы" в изданиях последовательных редакций (Карамзина, П. П. Сумарокова, Жуковского и Каченовского), „Драматическим вестником" (И. А. Крылова и С. Н. Марина), „Московским Журналом" Карамзина, „Почтой Духов" Крылова и др. И затем журналы эпохи Белинского: тут „Вестник Европы" Каченовского, „Московский Телеграф" Н. А. Полевого, „Телескоп" Н. И. Надеждина (кстати,—„Философическое письмо" Чаадаева вышло в свет в книжке, выпущенной Белинским в отсутствие Надеждина), „Библиотека для Чтения" О. И. Сенковского (Брамбеуса), „Сын Отечества" братьев-разбойников: Булгарина и Греча; журналы, которые велись при сотрудничестве Белинского: „Молва", „Отечественные записки", „Современник" и др. Из иностранных изданий сохранились: том „Hallische Jahrbücher" за 1838 г., „Deutsche-Französische Jahrbücher" 1844 г. (вышла всего одна книжка)[19] и разрозненный „Revue de deux Mondes".

Словом, перед нами чуть не целиком кабинет по истории русской журналистики. На некоторых книжках журналов, даже старых, есть пометки. Пометки эти (Белинский был скуп на пометки) весьма любопытны. Читая статью анонима „Хитрости английских журналистов" в „Вестнике Европы" 1803 г., он ставит NB против такого места статьи: „Славный Кант есть сын шведского капрала, таким образом и Сократ родился от бедного резчика и повивальной бабки" и еще другого: „На свете только одна хорошая партия — друзей человечества и добра!". Демократ-разночинец выступает в них довольно явственно. В статье „Некрология за 1832—33 гг." „Московского Телеграфа" Н. А. Полевого Белинский делает едкое замечание редактору, напечатавшему в своем журнале о смерти четырех ориенталистов (тогда как их на самом деле трое умерло а 4-й в журнале появился вследствие того, что длинное имя третьего было разделено на два имени): „Где же 4-й ориенталист? Верно, Иоанн-Петр Абель-Ремюза идет за двух — Иоанн и Петр.— Ну, так это так!".

В некоторых журнальных книжках найдем обычную корректурную правку, явно конечно бесцельную. Для чего это? — Очевидно след профессиональной привычки.

В сборнике „Deutsche-Französische Jahrbücher" 1844 г. отмечены как важные и интересные статьи: 1) К. Маркса „Zur Kritik der Hegel'schen Rechtfilosophie" (стр. 71—85); Г. Гейне: „Lobgesänge auf König Ludwig" (Похвала королю Людвигу).

Первая имеет пометку „NB" при заглавии, и кроме того в ней отчеркнуты вертикальною линией на полях первые семь абзацев[20].

Судя по несохранившемуся письму Н. Х. Кетчера к А. И. Герцену, упоминаемому В. Г. Белинским в своем письме к последнему от 26 января 1845 г., весь „Ярбухер" (а в особенности конечно речь может итти об отмеченных статьях К. Маркса и Г. Гейне), по сообщению Кетчера, произвел громадное впечатление на критика. Последний впрочем, не отрицая по существу сообщения Кетчера, отвечает Герцену, несколько ослабив силу впечатления от „Ярбухера", что в Белинском, „человеке экстремы", бывало сплошь и рядом: „Кетчер писал тебе о Парижском Ярбухере, и что будто я от него воскрес и переродился. Вздор! Я не такой человек, которого тетрадка может удовлетворить. Два дня я от него был бодр и весел,— и все тут. Истину я взял себе,

и в словах бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь два слова как следующие за ними четыре. Все это так, но ведь я попрежнему не могу печатно сказать все, что я думаю и как я думаю. А чорт ли в истине, если ее нельзя популяризировать и обнародовать? — Мертвый капитал!"[21]. Это — единственный след в письмах Белинского о впечатлении, произведенном на него Deutsch-Französische Jahrbücher'м.

О чем говорят указанные слова Белинского? По нашему мнению, они вполне определенно говорят о том, что марксовы рассуждения о религии и ее значении привлекли самое серьезное внимание с его стороны; других статей, кроме статьи К. Маркса, на эту тему в сборнике нет. Ясно, что в центре внимания Белинского стояла именно она. Далее, судя по словам Белинского о том, что он из статьи „истину взял", говорят о приятии им мыслей К. Маркса, при чем дальнейшие слова приведенного письма определенно указывают на то, что „истина" воспринята читателем, как и подобает, т. е. „бог и религия" поняты в неразрывности с „тьмою, мраком, цепями и кнутом", религия понята как орудие угнетения в руках господствующего феодально-буржуазного общества, направленное им против пролетариата, и что борьба против религии должна по существу вестись в виде грядущих боев с властью, одурманившей трудящихся „опиумом".

В унисон со статьею могла подействовать на Белинского „Хвалебная песнь королю Людвигу" Г. Гейне, поэзию которого критик ставил высоко и любил ее, называл его „милым Гейне"[22]. Стихотворение это не менее зло и остроумно вышучивает нелепости религии, в особенности в сочетании с прелестями тогдашнего немецкого режима, как и песни Беранже, восторженно принятые Белинским в 1841 г., в период увлечения „новым христианством" правых гегельянцев.

Выразилось ли в чем-нибудь влияние идей великого основоположника научного социализма, высказанных им в вышеуказанной статье, на произведениях знаменитого нашего критика?

Принимая во внимание условия тогдашней российской действительности и вытекавшие из нее непомерно жестокие цензурные требования, особенно же по отношению к „Отечественным Запискам" и „Современнику", в частности к статьям самого Белинского[23], трудно, даже прямо невозможно и ожидать, чтобы в какой-нибудь ощутительной форме „неистовый Виссарион" мог высказывать мысли о религии в связи с ее политикой хоть приблизительно в том виде, как их высказал К. Маркс в интересующей нас статье. Эту невозможность печатно высказать „что я думаю и как я думаю" сознавал и сам критик, высказавшись в приведенном выше отрывке из письма его к Герцену, при чем, не имея возможности высказаться „печатно", он горько жалуется: „А чорт ли в истине, если ее нельзя популяризировать и обнародовать? Мертвый капитал!" Высказываться по данному вопросу Белинский мог только намеками, и то отдаленными, и не всегда даже в письмах, не говоря уже про статьи: ведь он, как и все тогда, отлично знал, что всюду сидят „Шпекины, распечатывающие чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов"[24].

Но все же, как ни жестока, как ни „проницательна", выражаясь словами Чернышевского, была цензура, отзвуки марксовской статьи слышатся у Белинского. Берем наиболее сильные, выраженные в знаменитом письме „неистового Виссариона" к Гоголю по поводу „Выбранных мест из переписки с друзьями" (вышли в 1847 г.) от 3 июля 1847 г. В своей книге, как известно, Гоголь довольно часто говорит о религии, высказываясь о ней в тоне, весьма угодном для охранителей, и призывая ее таким образом к выполнению своей обычной „священной" роли как „опиума народа".

Возмущенный до глубины души „пакостной" книгой Гоголя, Белинский, стоявший в тот момент уже одною ногой в могиле, отвечает с бешеной страстью автору книги в форме письма (из-за границы), рискуя попасть в лапы кого-либо из породы Шпекиных.

Нет нужды, особенно в виду огромных размеров этого замечательного письма, приводить его целиком; оно общеизвестно; достаточно привести наиболее выпуклые места из него, необходимые для наших целей, и кратко остановиться на них.

Белинский в указанном письме к Гоголю, отвечая последнему по поводу „Выбранных мест из переписки с друзьями", рассуждает о вопросах религии в связи с политикой, как ставил эти вопросы и Гоголь в своей книге. Возможно, что, желая нанести сокрушительнее удар своему прежде любимому писателю за его гнусный поступок, „неистовый Виссарион", „страстный и страшный полемист", по выражению Г. В. Плеханова, касается лишь основных идей Гоголя, не затрагивая второстепенных, а именно говорит о неразрывности религии и политики, о политическом значении религии в жизни людей, о необходимости бороться с религиозным дурманом ее, а не укреплять его, в целях человеческого блага, и отчасти—о значении философии в ее борьбе с религией. О неразрывности религии и политики Белинский, говоря, что православное русское духовенство, от патриарха до попа, всегда было „слугою и рабом светской власти", пишет Гоголю: „Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов—что вы делаете! Взгляните себе под ноги,—ведь вы стоите над бездною.

Было бы, конечно, безосновательно утверждать, что эти страстные тирады являются прямым результатом знакомства Белинского со статьей Маркса. Следующие далее рассуждения о том, что православная церковь одно, а Христос — другое („Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма, но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение *свободы, равенства и братства*[25]..."),— достаточно наглядно показывают, что так ставить вопрос нельзя. Но предположение что развиваемая Белинским мысль о православной церкви как орудии русского самодержавия можно рассматривать как какой-то отзвук его знакомства с марксовской статьей,—вполне вероятно.

О политическом значении религии в жизни людей, как несущей угнетенным трудящимся от их классовых притеснителей — земных владык — цепи и кнут, Белинский отчасти говорит конечно и в приведенных отрывках, а более подробно так: России „нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и соре,—правда и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их исполнение..."[26] За недостатком места опускаем довольно значительную по объему тираду об „ужасном зрелище страны", угнетаемой царским правительством. Здесь мы тоже можем наблюдать близость В. Белинского к К. Марксу. Что касается мысли о необходимости борьбы с религией, а не поддержки ее, то в сущности этою идеей проникнуто все это письмо, а в особенности его заключительные строки с обращением к Гоголю «искупить тяжкий грех изданий" гнусной книги „новыми творениями"[27], напоминающими прежние, т. е. проникнутые проповедью действительно полезных человечеству идей.

Есть и другой случай, характеризующий воздействие идей Маркса на Белинского, относящийся к тому же 1847 году, к начальной поре сотрудничества критика в „Современнике" Некрасова и Панаева. Как известно, первые четыре книжки этого журнала во всем обязаны работе Белинского: он не только дал громадный художественно-литературный материал, собранный им для затевавшегося альманаха „Левиафан", но и приложил свою руку ко всем отделам журнала, а в особенности к отделу критики и библиографии, находившемуся всецело в его заведывании. Чтобы представить отчетливо положение Белинского в кругу только что сформировавшейся редакции „Современника", необходимо обратиться к письмам самого критика данной поры, где дана полная и яркая картина. Между прочим он писал Тургеневу в письме от 1 марта 1847 г. (в момент выхода в свет книги № 3 и подготовки к печати кн. № 4) об этом: „Современник"—журнал без редактора, без главы. Первый год, благодаря случайному запасу статей для моего альманаха, первый год сгоряча пройдет как-нибудь еще недурно; но о втором страшно мне и подумать. Некрасов—золотой, неоцененный сотрудник для журнала, но распорядитель сквернейший, хуже которого разве только Панаев. А между тем за все взялся сам. Теперь он видит, что без меня шагу сделать нельзя..."

Есть замечание и касательно критико-библиографического отдела журнала: „Библиография состоит только из моих и Кавелина статей; от этого она страшно однообразна и весьма серьезна". О том же отделе в письме к В. П. Боткину, от 22 апреля 1847 г., Белинский высказывается также с недовольством: ..." у нас вовсе нет критики (которая после русских повестей, важнейший отдел в журнале), да и библиография-то не совсем такова, как следует быть. На основании этих слов Белинского мы имеем полное основание утверждать, что ни одна из статей критико-библиографического отдела журнала не могла войти без воли критика; вполне возможно даже, что статьи, не имевшие никаких подписей и даже инициалов, значит, по тогдашнему обычаю, как редакционные, принадлежали самой редакции, в частности Белинскому.

В отделе критики и библиографии „Современника", именно в кн. № 4 за 1847 г., наше внимание не может не остановить рецензия без подписи на книгу В. Григорьева „Еврейские секты в России" (Спб., 1847), судя по письму критика к В. П. Боткину, от 4—8 ноября 1847 г., его заинтересовавшую. В данной рецензии мы находим не столько разбор самой книги В. В. Григорьева, сколько высказывания общего характера по вопросу о религии и ее связи с политикою и т. п. Здесь между прочим есть такое рассуждение, каким-то чудом проскочившее чрез цензурные рогатки (хотя статья, судя по противоречивости мыслей ее начала, даже отсутствию ясного смысла, носит тяжелый отпечаток палаческой правки цензора): „История религиозных переворотов разрешает много социальных вопросов и бросает новый свет на историю развития гражданского общества. В религиозном завете предстают ярко и выпукло те положения общественной жизни, с которыми люди никогда не могли примириться, но которым те же люди покорялись,—положения, которых нельзя вывести из свойств человеческой природы, и в то же время нельзя не признать за факты. Поэтому к р и т и к а р е л и г и о з н о г о з а к о н о д а т е л ь с т в а многих народов е с т ь в т о ж е в р е м я и к р и т и к а о б щ е с т в е н н о г о у с т р о й с т в а: в н е м л е ж и т з а л о г, п р и ч и н а м н о г и х н е р а з р е ш и м ы х, а н о р м а л ь н ы х я в л е н и й о б щ е с т в е н н о й ж и з н и" (разрядка наша—*А. П.*). Не выделенные слова „многих народов", очевидно были поставлены ради цензуры, ибо они ничем не мотивированы. Это напрашивается потому, что в статье видна корректурная спешная правка: в цитированных строках 4 грубых ошибки, не говоря о всей статье, из которой цензор, ставя вне критики „истинную религию, не подлежащую критике", изгонял всякие зловредные даже намеки.

Повторяем, что, вне всякого сомнения, если эта мысль о неразрывности религии и политики, так выпукло подчеркнутая К. Марксом, не принадлежит здесь самому Белинскому, как автору рецензии, то она разделялась им, как руководителем отдела критики и библиографии „Современника"; ни Некрасов, ни тем более Панаев указанным отделом, да и вообще журналом в данный момент совершенно не интересовались и рецензий не редактировали; кстати в этой же книжке помещены отзывы Белинского, уже вошедшие в венгеровское издание сочинений (№№ 968 и 969, помещ. в XI томе). Словом, мысль, выраженная в этой рецензии о тесной связи религии и политики, если и не была высказана самим критиком, то вполне разделялась им. И это тоже есть вполне вероятный отзвук воздействия статьи Маркса на мировоззрение „неистового Виссариона".

Но может быть на Белинском сказались другие воздействия приблизительно в том же духе, что и учение К. Маркса? Проследив, при изучении чтений Белинского, по связи с обследованием его личной библиотеки, за всем тем, что он читал до знакомства и после знакомства с „Ярбухером" по вопросам религии, можно сказать, что указать других влияний мы не можем. Действительно вышло так, как и писал „неистовый Виссарион" в своем письме к А. И. Герцену от 26 января 1845 г.: „Истину я взял себе,—и в словах б о г и р е л и г и я вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как следующие за ними четыре"... И охранители царского „правопорядка", никогда не отделявшие от самодержавия православия, были правы по своему, обвиняя Белинского в том, что он „своими статьями подрывает народность, семейную нравственность и православие".

Таков факт одного из самых ранних воздействий учения Карла Маркса на русскую радикальную интеллигенцию в лице В. Г. Белинского, открывшийся благодаря крат-

кому замечанию последнего о „Парижском Ярбухере" и случайно сохранившейся в личной библиотеке критика означенной книги с его пометками.

И думается, этот факт не единственный, возможно даже, что он—один из многих. И наша обязанность—собирать и изучать эти факты, чтобы мы могли нарисовать полную картину распространения в России идей К. Маркса.

* * *

Кроме периодики в этот же отдел должны быть отнесены и те справочные издания, которые были настольными у Белинского. Это содержательная группа солидных книг: „Энциклопедический лексикон" Плюшара, выходивший в эпоху Белинского; „Всеобщий географ. и статист. словарь" С. Гагарина (1834—1843), весьма капитальный по своему времени; знаменитый „Опыт российской библиографии" В. Сопикова (1813—1816) и т. п. В своих рецензиях, даже из областей, будто бы далеких от Белинского, последний почти всегда поражает своею осведомленностью даже в мелочах. Одною громадной начитанностью при весьма хорошей памяти трудно было бы объснить осведомленность Белинского в разных областях знания без пользования справочниками в затруднительных случаях. И он видимо широко пользовался ими.

Таким образом в своей „журнальной лаборатории" Белинский имел надлежащее оборудование для своей деятельности журналиста и, нужно сказать по справедливости, использовал его с большим успехом.

Неразрывно связанный с работой в журналах и следовательно с отделом журнальным отдел ф и л о л о г и и в ш и р о к о м с м ы с л е (критика, литературоведение, лингвистика), невелик: в нем лишь 14 названий, но во времена Белинского, когда данная отрасль науки была еще в зачаточном состоянии, и это число можно считать значительным, тем более, что подбор книги был хороший. Не надо упускать здесь из виду и того, что немало относящихся сюда статей Белинский мог разыскивать в современных ему журналах, охотно печатавших статьи по литературе и языку.

Что здесь имеется?.

О статьях Ломоносова, Сумарокова, Тредиаковского и др. не говорим; они есть в собраниях сочинений этих писателей. Была из старых книжка, частенько вспоминаемая не без иронии Белинским: „Правила пиитические в стихотворении Российском и Латинском" (1785), затем—позднейшие: „Главное начертание теории и истории изящных наук" Мейнерса (1803 г.), „Краткое начертание теории изящной словесности" А. Мерзлякова (1822), „Словарь древней и новой поэзии" Н. Остолопова (1821 г.), „Систематическое обозрение литературы в России" А. Штерха и Ф. Аделунга (1810—1811), Сочинения А. С. Шишкова, серия И. А. Кронеберга „Брошюрки" (по эстетике, литературоведению и проч.)—всего семь—очень серьезные, хотя и небольшие по объему труды харьковского профессора и известного переводчика (1830—1831), „История древней и новой литературы" Фр. Шлегеля (1834), „История древней русской словесности" М. Максимовича 1838), „Die origine, natura et fatis poëseos. quae Romantica audit... Dissertatio... Conscripsit mag. Nicolaus Nadezdin (Mosquae, 1830 г.)", „Очерки русской литературы" Н. А. Полевого (1839), „Œuvres de Boileau Despréaux (1716) и словари русских писателей—новиковский и болховитиновский. Наконец для библиографических справок могла быть использована упомянутая в отделе периодики книга В. Сопикова.

Эти книги конечно не соответствуют объему чтений Белинского: в своих критических статьях он ссылается и упоминает значительно большее число книг по литературоведению: Баттэ, Лагарпа, Лессинга и др.

Из названных книг пометки имеют книги—Н. А. Полевого, И. Кронеберга и А. Шишкова. В брошюрках И. Кронеберга, которого Белинский ценил за ученость, мы находим отметки о важных сочинениях по эстетике и литературе; это очевидно — себе на память, на предмет ознакомления с отмеченными статьями; любопытно, что отмечено „Ars poëtica" Горация, „L'art poétique par T. Sibilet", „Опыт науки изящного" Галича, Батте, Шлегель, Винкельман, Генденрейх и др. Пометки в книге Шишкова интереса не представляют. Очень много пометок в двух томах книги Н. А. Полевого, касающихся

разбора последним литературной деятельности Жуковского, Батюшкова, Пушкина, В. Скотта, Байрона и проч., но на них нет нужды останавливаться потому, что данные пометки использованы критиком для статьи об этой книге [28].

Отнесенные к этому же отделу книги по лингвистике, в количестве 7 названий, заключают кроме словарей (для переводов) французско-русского и немецко-русского, а также „Словаря Российской Академии", несколько сочинений по лингвистике: „Филологические наблюдения" Г. Павского (1842), Максима Грека „Беседование о пользе грамматики" (1782) и статьи в сочинениях Шишкова, Ломоносова и других старых авторов. Пометки есть только на статьях А. С. Шишкова. Пометок много, но все они более или менее однообразны: критик отмечает все, что связано с филологическими построениями Шишкова. Отмечен также ряд ошибок Шишкова в статье о „Слове о полку Игореве", впрочем не всегда правильно. Принимая во внимание, что Белинского русское языкознание сильно интересовало и что он даже сам является автором русской грамматики, нужно признать, что книг по лингвистике все же маловато, тем более что критик, автор многих рецензий на русские грамматики [29], прочитал гораздо больше книг, чем их собрал у себя. Он знает не только Ломоносова и Востокова, но также Греча и других как авторов русской грамматики.

Отдел художественной литературы совсем не велик; в нем 55 названий. *Судя по тому, что отсутствуют книги, несомненно бывшие в библиотеке Белинского,* как например сочинения Кольцова, дважды (в 1835 и 1846 гг.) изданные под редакцией критика, а также его любимые поэты: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Гейне и др., можно определенно говорить, что от прежнего состава остался только некоторый след. И немудрено: такие книги больше других „зачитывались" берущими их.

Здесь осталось немногое и несущественно типичное для Белинского. Из писателей XVIII в. имеем: Ломоносова, Сумарокова, Екатерину II, Богдановича и Капниста (Державин не сохранился тоже). А из XIX в. уцелели: Карамзин, Жуковский, Баратынский, А. Н. Майков, Николай и Ксенофонт Полевые, и потом уже мелкота: В. Тепляков, П. Макаров. Ч. А. и проч. Все книги этих „неких" — разумеется присланные для отзыва, а не купленные критиком: слишком злы и резки отзывы об их книгах Белинского. Вот и все из русской литературы. Оно в самой ничтожной доле соответствует тому, что прочитал Белинский даже ex officio, не говоря уже об его чтениях для себя.

Из иностранных литератур тоже немного, и причиною бедности в этой части, думается,—та же утечка книг. Здесь уцелело: Wilhelm Meister par Goethe (trad. T. Constenel), Oeuvres complètes — Shakspeare (trad. F. Guisot), — de W. Scott (trad. F. Guisot),— de la Fontaine,—de F. Rabelais,—de Béranger; Histoire de Gil-Blas par Lessage; Contes et nouvelles par A. Dumas; Les mysteries de Paris par E. Sue, Le dernier Aldini par G. Sand, ее же—Le piccinito и др.; большая коллекция пьес французских и немецких драматургов (последние во франц. переводах)—целая библиотека в издании Лепентра (1812—1823); большая серия переводов из античных литератур (Гомер, Пиндар, Софокл, Анакреон и др.) Ив. Мартынова, Вергилий, некоторые драмы Шекспира и Мольера в русских переводах, также Байрон. И эти иностранные писатели тоже конечно лишь в малой степени покрывают чтения Белинского из данной области.

Из книг этого отдела пометки имеются на книгах: „Oeuvres complètes de Béranger" (1837), „Гамлет" Шекспира в переводе Н. А. Полевого (1832), сочинения А. Кантемира (1762) и Ломоносова (1776). Не все пометки имеют большой интерес; за исключением книги Беранже, пометки поставлены при писании критических статей и конечно в существенной части использованы Белинским в его критических статьях; по своему характеру они типичны: отмечены места для цитат, неудачные выражения и т. п. Важно здесь только отметить то, что Белинский, составляя статью, далеко не всегда считался со своими отметками: некоторые из них оставлял неиспользованными, затем вносил новое, не нашедшее отражения в отметках, очевидно возникшее у него в момент писания статьи, когда в руках его находилась рецензируемая книга.

Иначе дело обстоит с Беранже, которого он читал в 1841 г., когда в Петербурге только что появилось новое издание его песен с гравюрами (гравюры — слабость Белинского). Это был момент, когда он начал проникаться религиозным вольномыслием

и усваивать социализм. И религиозное вольномыслие, и социализм критика нашли свое отражение в пометках к стихотворениям: „Le Bon Dieu" (т. II, стр. 73—75), в Notes к стих. „Le suisid" заметки о Сен-Симоне и Фурье (т. III, стр. 189—190), стих. „Le censeur" (т. II, стр. 183—185) и др. Стихотворения отмечены просто значками: NB и крестиком.

* * *

В историческом отделе книг—25 названий, из которых 13 падают на исторические труды, а 12 на мемуары, памятники истории и т. п. Если принять во внимание, что история в кружке Станкевича отводили очень большую роль и ею интересовались, поскольку материал для упражнения в диалектике брался отсюда, то количество книг данной группы незначительно. Впрочем для упражнения в диалектике служили исторические книги общего характера, не громоздкие, которые легко ходили от одного к другому; это иногда почти конспекты, примером которых служит застрявшая среди книг Белинского ранее принадлежавшая Н. В. Станкевичу (есть его собственноручная подпись) брошюра „Chronologischer Abris der Weltgeschichte" von F. Kohlrausch (1832). В этом отношении Белинский не отставал от прочих. Но собственно таких-то книг здесь нет, кроме названной. Здесь мы находим ряд книг, относящихся к Петру, его любимому историческому деятелю: „Деяния Петра Великого" с „Дополнениями" И. Голикова, „История императора Петра Великого" Ф. Прокоповича (1788), „Житие Петра Великого" (1788), „Любопытные и достопамятные сказания о императоре Петре Великом" Якова Штелина, „Кабинет Петра Великого" О. Беляева (1793), „Записки исторические, политические и военные о России с 1727 г. по 1744 г." Г. Манштейна (1810), „О России в царствование Алексея Михайловича" Гр. Котошихина (1840) и „Древняя Российская Вивлиофика", изд. Н. Новиковым (1788—1791). Подбор большой и, нужно сказать так или иначе использованный. Об этом достаточно говорят его статьи о Петре, с которыми теперь можно познакомиться без цензурных купюр [30]. В. Г. Белинский, „вечно в экстреме" находившийся, по характеристике А. И. Герцена, всегда интересовался переломными эпохами в истории человечества. Следы этого увлечения отразились и в его библиотеке, в которой мы находим по французской революции книги: Тьера, Блана, „Dix ans d'études historiques" par A. Thierry (1835) и др. Сюда же нужно отнести „Плутарховы сравнительные жизнеописания" [31] в перев. Спир. Дестуниса, по признанию критика, открывшие ему ключ к пониманию французской революции, а также „История упадка и разрушения Римской истории" Гиббона (1824). К этой же эпохе — мемуары: „Memoires secrets sur la règne de Louis XIV, la Régence et la règne de Louis XV" par Duclos" (1846—1847).

Интересовало Белинского революционное движение и в России. Следом этого интереса являются книги, касающиеся революционных движений в русском народе: „Краткая повесть о бывших в России самозванцах", 2-е изд. (1778) и „Histoire des révolutions de l'empire de Russie" par M. Lacombe, Avocat (1760). В последней книге, очевидно купленной из-под полы на толкучке (книжка в самодельном переплете; пожелтела, видимо запрятывалась в сыром месте, изъедена молью), есть пометки, а именно отмечены крестиком и отчеркнуты вертикальной линией на полях страницы события под годами: 1584, 1606, 1683, 1700, 1702, 1721 и 1725; на заднем вклеенном листе эти же годы с указанием страниц книги записаны в табличке. О других книгах по истории как имеющих малое значение не упоминаем.

Что воспринял отсюда Белинский? Прежде всего перечисленные книги о Петре I послужили ему материалом при написании статей о последнем; критик даже в восторге от Голикова, автора, внесшего в свои книги немало непроверенных сведений; Белинского очевидно подкупало чувство пиэтета в авторе „Деяний Петра Великого" к его любимому деятелю.

Что касается чтений по истории Французской революции, то они были ярким отзвуком страстной пытливости Белинского: разъяснить не только ход революционных событий во Франции, но также диалектику революции, политическую и экономическую ее основу. Думается, что в связи с историческими чтениями он принялся за чтение

„Политической экономии" Сэя, о которой мы упоминаем ниже [32]. Ошибки Л. Блана, не сумевшего понять диалектику революции, Белинскому были ясны, и по адресу французского историка критиком были высказаны ядовитые, ругательные слова: „Ежеминутно плюю в рожу дураку, ослу и скоту Луи Блану".

Если сравнить список исторических книг библиотеки Белинского с его действительными чтениями, то последние значительно превышают первые; см. например рецензии, помещенные лишь в т. XII его „сочинений" (изд. 1926 г.).

Совсем почти нет книг по вопросам о б щ е с т в е н н ы м; всего две книги, из которых одна разрезана только в самом начале — дарственный экземпляр К. Д. Кавелина „Основные начала русского судоустройства и гражданского судопроизводства, в период времени от Уложения до Учреждения о губерниях" (1844), а другая прочитана вся — „Cours complèt d'économie politique pratique „par Jean-Baptiste Say", sixième édition (1845), *конечно в эпоху увлечения социализмом. И в письмах его мы наблюдаем ту же* картину: из данной отрасли книгами Белинский интересуется мало (однако о сенсимонизме и фурьеризме он знает; об этих двух теориях, как указано выше, есть пометки на книжке Беранже). Видимо свои интересы в данном отношении Белинский вполне удовлетворял отчасти чтением журналов и газет, а самое главное — в тесном дружеском кружке откровенными беседами на вопросы общественной злобы дня, единственно, что было возможно в тяжелую эпоху реакционной политики Николая I.

Отдел е с т е с т в е н н ы х н а у к и г е о г р а ф и и видимо не был в почете у Белинского; здесь всего четыре названия, хотя среди них есть два весьма солидных издания. Это „Histoire naturelle générale et particulière" par Georges Louis de Buffon (A Paris, 1798—1799 an), свыше ста томов и его же атлас с великолепными рисунками „Histoire naturelle des oiseaux" (A Paris, 1744—1777 an). Но книги Бюффона—вероятно случайной покупки („за дешевку") на толкучке из-за рисунков; Белинский на толкучке покупал гравюры, литографии и т. п. для своей коллекции [33].

Данная отрасль знания Белинского интересовала мало, но все же писать рецензии на книги по этой части ему приходилось нередко. Обязанный писать обо всем, что присылалось в редакцию, он в этих случаях говорил не о самой книге по существу, а по поводу ее или же об ее грамотности и пр. Что касается переводных статей Белинского из этой области, то здесь он конечно больше считался с интересами читателей, хотя в его переводах мы встречаем статьи, в которых художественный элемент играет важную роль, что не могло не быть во вкусе самого критика. Таковы „Гора Гемми" (у Венгерова т. I, № 34), „День в Калькутте" (там же, т. I, № 16).

* * *

Наконец—отдел детских книг, а вместе с ними и учебных, заключающий почтенное (сравнительно) количество 12 названий, из которых лишь одно — для детского чтения. Здесь сплошь гимназические учебники, да и то преимущественно латынь; среди этих же учебников довольно распространенная в первой трети XIX в. литературная хрестоматия, огромная по количеству книг: „Образцовые сочинения в прозе знаменитых древних и новых писателей" (М., 1811), „Собрание образцовых сочинений в стихах и прозе" (1815—1817) и „Новое собрание сочинений" (1824—1826) А. Ф. Воейкова, — книга, о которой без иронии не мог вспоминать знаменитый критик. Латинские авторы (учебники) испещрены переводами, вокабулами, грамматическим разбором; это — заметки, относящиеся к учебным годам Белинского. Судя по этим заметкам, Белинский неважный латинист; вот поэтому-то, при его любви к древним языкам [34], у него не встречается даже в письмах цитат из античных авторов в подлиннике.

Детских книг — одна; это Кампе „Новый Робинзон", вызвавшая в свое время отрицательный отзыв Белинского [35], но она здесь не в том издании, которое рецензировалось. Белинский знал и любил детскую и юношескую книгу; ему принадлежит множество рецензий на книги подобного рода, даже более того: у него в статье о „Сказках дедушки Иринея" (В. Ф. Одоевского) [36] есть очень обстоятельное рассуждение о детской литературе общего характера, которое он собирался обработать в отдельную книгу;

он сам и в зрелые годы увлекался Ф. Купером, Бульвером и другими авторами приключенческих повестей; наконец он сам собирался писать „робинзонаду" или же переделки исторических книг для юношества [37]. И в то же время — один Кампе, которого критик ставил очень низко. Явно, что здесь утечки (возможно при покупке Тургенев оставил все детские книги для сирот своего друга), и они ни в какой мере не только не покрывают чтений Белинского, но даже ничем и не напоминают об интересах и вкусах его в данной отрасли литературы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] „Мое знакомство с В. Г. Белинским", напечат. в „Письмах В. Г. Белинского", изд. под. ред. Е. А. Ляцкого (СПБ., 1914), т. III, стр. 444—451.

[2] „Переписка Т. Н. Грановского" (М., 1897), т. II, стр. 273.

[3] Упоминания об этих произведениях есть в письмах Белинского: т. II, стр. 293—295 и пр.

[4] Венгеров, С. А. Последние дни Белинского, в „Былом" 1917 г., кн. 4 (26); здесь приведено целиком письмо М. В. Белинской. Кстати популярная по многократным репродукциям картина А. И. Наумова „Белинский перед смертью" в смысле исторической верности не имеет ценности: это — вымысел художника.

[5] См. например просьбы Белинского (1831 г.) о присылке ему в Москву его книг „Российской Вивлиофики" и „Journal des Débats" („Письма", т. I, стр. 28).

[6] Отзыв о ней в „Молве" 1835 г., № 5 (у Венгерова в „Собр. соч. Белинского" статья № 50), т. II, стр. 59.

[7] „Отечественные Записки" 1844 г., кн. XI; „Собр. сочин. Белинского", т. IX, статья № 808.

[8] „Письма", т. I, стр. 28.

[9] Так увлечение А. А. Бакуниной связано с увлечением Ж. Занд (получила от него в подарок парижский альбом „Les femmes de Georges Sand"); своей невесте М. В. Орловой дарит лермонтовского „Демона", собственноручно переписанного. — „Письма", т. II, стр. 352; т. II, стр. 294.

[10] „Письма", т. II, стр. 337.

[11] „Письма", т. II, стр. 335.

[12] По характеристике И. И. Панаева, Белинский был завзятый преферансист.

[13] См. например „Отечественные Записки" за август 1842 г.

[14] „Письма", т. I, стр. 72.

[15] „Письма", т. II, стр. 210.

[16] Немецкий язык он более или менее сносно изучил в середине 1837 г. („Письма", т. I, стр. 125, 156 и др.), но книжный, а не разговорный.

[17] „Письма", т. II, стр. 89.

[18] „Письма", т. I, стр. 28.

[19] К. Маркс и Ф. Энгельс. — Сочинения, изд. ГИЗ, т. I, 1928 г., стр. 13.

[20] См. Собр. соч. К. Маркса и Ф. Энгельса, т. I, изд. 1928 г. (стр. 399—412).

[21] „Письма", т. III, стр. 87.

[22] Белинский впервые познакомился со стихами Гейне в 1838 г. („Письма", т. I, стр. 349—350), продолжал читать его новые стихи и далее („Письма", т. I, стр. 259—307, 339, 379; т. II, стр. 203—209 и пр.).

[23] Напомним, что по отношению к Белинскому внимание охранителей царского „правопорядка" как официальных (жандармов), так и добровольцев из лагеря рептильной прессы в описываемое время усиливалось с каждым годом: в 1844 г. мин. нар. просв. граф Уваров обвинял „Отечественные Записки", где главным лицом был Белинский, в своей докладной записке о „социализме и коммунизме"; в 1846 г. Л. В. Дубельту Ф. В. Булгарин доносил о „социализме, коммунизме и пантеисме" критика; в 1848 г. в докладной записке шефа жандармов гр. А. Ф. Орлова Белинский среди прочих литераторов был признан особо опасным в отношении „коммунизма" и пр. См. у М. К. Лемке — „Николаевские жандармы и русская литература 1826 — 1855 гг." (СПБ., изд. 1909 г.).

[24] „Письма", т. III, стр. 238.

[25] „Письма", т. III, стр. 232—233.

[26] „Письма", т. III, стр. 231.

[27] „Письма", т. III, стр. 283.

[28] Соч. Белинского, т. V, статья № 443.

[29] „Основания русской грамматики для первоначального обучения. Часть I. Грамматика аналитическая. Этимология. М., 1837 г." (Перепечатана в Собр. соч. Белинского под ред. С. А. Венгерова, т. III, ст. № 233).

[30] Полное собрание сочинений В. Г. Белинского (продолжение венгеровского издания), т. XII, 1926 г. (Ред. В. С. Спиридонова), статья № 1012, стр. 256—291.

[31] Отзыв о Плутархе, вовсе не настроенном революционно, как полагал Белинский—

„Письма", т. II, стр. 246—251, — не совсем верен; Белинский от Плутарха в восторге См. о Плутархе К. Маркса „Из подготовительных работ по истории эпикурейской и стоической философии", Сочинения, т. I.

[32] „Письма", т. III, стр. 338.

[33] О принадлежности этих книг Бюффона Тургенев говорит в письме к Анненкову от 1 ноября 1854 г., напечатанном в „Новом Мире" 1927 г., кн. IX, статья „Письма Тургенева к Анненкову" с предисловием П. Е. Щеголева и комментариями И. С. Зильберштейна.

[34] „Письма", т. II, стр. 245—246 (1841 г.).

[35] „Отечественные Записки" 1842 г., кн. VI; тоже у Венгерова, ст. № 620.

[36] „Отечественные Записки" 1840 г., кн. IX; Собр. соч. Белинского, т. V, ст. № 449.

[37] „Письма", т. II, стр. 228.

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Статья В. Десницкого

I

В № 9—10 „Литературного Наследства", посвященном XVIII веку в истории русской литературы, кроме краткого редакционного предисловия, правильно в общем ставящего задачи более усиленного внимания, с марксистскими методологическими установками, к литературе феодально-крепостнической эпохи, имеются две статьи общего характера о направлении и пределах изучения литературы XVIII в. Статьи эти — Г. Гуковского „За изучение восемнадцатого века" и Д. Мирского „О некоторых вопросах изучения русской литературы XVIII века" — на первый взгляд производят впечатление резко и принципиально противопоставленных друг другу. Но это только на первый взгляд. При более внимательном отношении читатель легко заметит, что эта противопоставленность — чисто словесная. Статья Г. Гуковского — я говорю о ее принципиальном установочном содержании, оставляя в стороне ее „обзорность", — насыщенная конкретным материалом, и статья Д. Мирского, которая поражает до беспредельности свободным отношением к конкретному материалу (и общеисторическому, и литературному), обе развернуты вне какой-либо систематически сформулированной концепции русского исторического процесса, обусловливающей необходимость коренной перестройки работы литературоведов на данном участке. Общее для них и единство в конечных выводах — в обосновании усиленного внимания к литературе XVIII в. ее эстетической переоценкой. Эта неожиданная близость непримиримых противников с особенной четкостью выявилась на той дискуссии, которая имела место в Институте Русской Литературы Академии Наук, когда ни у Д. Мирского, ни у Г. Гуковского не оказалось в руках оружия для настоящей борьбы друг с другом; но эта близость чувствуется и в тех статьях, о которых нам придется говорить, поскольку дискуссия в ИРЛИ осталась недокументированной.

Аргументация Г. Гуковского „за изучение XVIII века" идет от обличения „слепоты буржуазного индивидуализма к фактам, порожденным другой системой мысли, выросшей в условиях другой социальной обстановки".

Критике второй половины XIX в., как заверяет Г. Гуковский, „нечего было делать с поэзией, законом которой был не буржуазный индивидуализм, а рационалистическая концепция прекрасного, понятого вне зависимости от места и времени". „Люди, создававшие искусство в середине XVIII в., по своему социальному и мировоззрительному облику, — аргументирует он, — слишком отличались от тех, которые руководили литературной мыслью капиталистической России". „Поэты русского классицизма, — заверяет Г. Гуковский, — *писали о любви вообще, об отвлеченной морали, обосновывая свою* художественную манеру не личным (будто бы внеобщественным) вкусом, а например законом жанра как одной из схем закономерно должного в искусстве".

Всю „буржуазную слепоту" к XVIII в. Г. Гуковский удобно для себя воплотил в трех именах — Пыпина, Булича и Незеленова. Игриво затушевав ту социально-педагогическую классовую роль „рационалистической эстетики" XVIII в., которая так усиленно насаждалась в школе весь XIX в. (оказывается, по Г. Гуковскому, „еще прежняя царская школа задушила возможность активного переживания литературы XVIII в."), Г. Гуковский за этими именами забыл весьма осмысленное отношение революци-

онно-демократической мысли „средины XIX в." к литературе XVIII в. И совершенно напрасно. Правда, это осложнило бы его задачу и сделало не такой легкой победу над „слепотой литературного сознания эпохи буржуазного индивидуализма". Но в то же время обращение хотя бы к Добролюбову избавило бы его от необходимости сражаться с „литературными крохоборами". Правда, Добролюбов имел отчасти в виду как будто и литературоведов типа самого Г. Гуковского. Но это ему можно и простить за давностью лет. Вот что например писал Добролюбов в своей юношеской работе „Собеседник Любителей Российского Слова": „Теперь дорожат каждым малейшим фактом биографии и библиографии. Где первоначально были помещены такие стихи, какие в них были опечатки, как они изменены при последних изданиях, кому принадлежит подпись А или Б или В в таком-то журнале или альманахе, в каком доме бывал известный писатель, с кем он встречался, какой табак курил, какие носил сапоги, какие книги переводил по заказу книгопродавцев, на котором году написал первое стихотворение — вот важнейшая задача современной критики, вот любимые предметы ее исследований, споров, соображений. Верх ее искусства, апогей ее благотворности — если она хочет и сумеет показать значение произведений того или другого писателя для его времени и потерю этого значения в наше время". Эти библиографы для Добролюбова „жалкие рудокопы, копающие землю, чтобы отыскать в ее грудах зернышко золота". „Они полезны, они необходимы, они даже достойны уважения", но себе он просит у читателя позволения „более уважать архитектора, распоряжающегося стройкой, геолога, указывающего руду" (Н. А. Добролюбов. Сочинения под ред. М. К. Лемке, СПБ., 1911 г., т. I, стр. 115 — 116). В своих статьях, посвященных XVIII в., он резко противопоставляет себя ученым и доброго старого времени, и современным ему. Он вскрывает классовый характер буржуазной науки и пишет: „До недавнего времени наше внимание привлекалось только светлою стороною последней половины прошлого столетия. Созвание депутатов со всей России, наказ, учреждение о губерниях, громы Суворовских и Румянцевских побед, приобретение Крыма и Польши, развитие народного просвещения, процветание наук и художеств, оды Державина, поэмы Хераскова, комедии Фон-Визина и самой Екатерины — все это преисполняло благоговением даже самую нечувствительную душу". Утверждая, что „Россия вступает в новый период существования", он призывает к „беспристрастному и спокойному рассмотрению фактов того времени во всей их полноте", приветствует опубликование „Записок" Державина, извлечений из сочинений кн. Щербатова, допросов Пугачева и документов, относящихся к истории Пугачевского „бунта", устанавливает связь по-новому оформляемого интереса к XVIII в. с тем обстоятельством, что „крестьянский вопрос принял уже такие обширные размеры" („Русская сатира в век Екатерины", соч., т. III, стр. 645).

Таким образом „слепота" к XVIII в., по крайней мере у некоторых критиков средины XIX в., была совершенно иного свойства, чем та, которой так возмущен Г. Гуковский. И может быть он несколько поторопился с утверждением, что „слепота и узость взглядов той эпохи не могут быть уже законом нашего времени, и мироощущение буржуазного индивидуализма должно быть преодолено нами".

Преодолевать и преодолеть „буржуазный индивидуализм" вещь вообще полезная. Но надо хорошо договориться о том, что такое буржуазный индивидуализм и во имя чего его нужно преодолевать.

На условиях преодоления „буржуазного индивидуализма" Г. Гуковский обещает, что пред вами раскроется „весь сложный мир искусства XVIII в.", „конечно,— оговаривается он, — отнюдь не на правах солидарности с нами, но на правах истории, чуждой нам, но значительной".

Правда, Г. Гуковский говорит и о необходимости изучения „сложной борьбы внутри дворянства", об исследовании „судьбы, расслоения и творчества зарождавшегося в конце века „третьего сословия"; „все это,— полагает он,— смогло бы насытить историю литературы XVIII в. содержанием". Но эти задачи по существу являются для него второстепенными дополнениями, сделанными из своего рода приличия. Основное для него в другом: в воскрешении интереса к дворянскому XVIII в. как к эпохе, создавшей значимые

и для нас эстетические ценности. К их усвоению он и призывает широкого читателя. Он патетически восклицает: „довольно прятать (?—*В. Д.*) целую эпоху русской литературы" и предлагает „в первую очередь дать возможность широкому читателю узнать Державина, узнать Сумарокова, Ломоносова, Хераскова, всю плеяду (разрядка моя.—*В. Д.*) сумароковской школы и последователей Державина" и т. д. Только наконец „между тем,— вспоминает он,— мы должны показать XVIII век не только в его официально надежном благополучии, но и в его протесте, в его фронде, в его сатире и литературном бунте".

Таким образом его интересует не столько переосмысление XVIII в., не столько изучение его в плане марксистского понимания историко-литературного процесса, сколько восстановление интереса и вкуса к искусству, в основе которого лежала „рационалистическая концепция прекрасного, понятого вне зависимости от времени и места". Нельзя сказать, чтобы такое отношение к XVIII в. было абсолютно новым. Если действительно русская революционно-демократическая критика подходила к литературе XVIII в. прежде всего с точки зрения учета ее „отчужденности" от интересов „народа", то буржуазные критики начала XX в. пытались поднять на щит это искусство как искусство „прекрасного вне зависимости от места и времени". Прежде всего это имело место конечно в отношении буржуазной эстетской критики к изобразительным искусствам („Старые Годы" и т. п.), но и в области литературы мы знаем такие явления, как I том академического издания Карамзина, усилившийся эстетический интерес к поэзии Державина, появление таких пропагандистских сборников, как „Любовная лирика XVIII века", и т. п. Внимание к эстетической „вневременной" значимости искусства XVIII в. не было чуждо и раннему русскому формализму, и не вина его представителей, если этот интерес их не дал до сих пор возможности „активного переживания литературы XVIII в.", что она не вошла в размерах, желанных для Г. Гуковского, „в массовую библиотеку, на витрину книжного магазина, в школу", что она не открыта для „широкого читателя", в том числе и для „рабочего, которого интересуют судьбы нашей литературы".

Что именно в этом плане движется пропагандистский пафос Г. Гуковского, об этом говорит и его богатый материалом „обзор" изучения XVIII в. за последние годы. Здесь характерно отношение к „Русской литературе" Сакулина. Гуковского не интересуют принципиальные установки Сакулина, исходя из которых он вводит материал в поле зрения науки, его понимание историко-литературного процесса как имманентного процесса развития „культуры" вне классовой борьбы. Сакулинское понимание в конце концов не чуждо очевидно и самому Г. Гуковскому, поскольку он воздает хвалу Сакулину на языке самого Сакулина. Так например, положительно расценивая то, что Сакулин обратил внимание на „мещанскую" литературу, на „низшие" слои литературы, он говорит об этом следующим образом: „Сакулин обратил внимание на ту книгу, которую потреблял читатель, не овладевший дворянской культурой (разрядка моя.—*В. Д.*),—мещанин, дворовый, мелкий (а может быть и не только мелкий) купец, иной раз и малообразованный помещик-дворянин". Не говоря уже о всей наивности предположения, что „мещанин, дворовый" могли „овладеть дворянской культурой", насквозь классовой, характерно здесь это представление об истории развития культуры и литературы, чисто сакулинское: господствующий класс (его интеллигенция) создает культуру, литературу, а все остальные более или менее успешно „усвояют" ее. Никакой классовой борьбы на участке культуры и не оказывается; оставалось бы только включить в число „усвояющих" дворянскую культуру крепостное крестьянство.

Д. Мирский, в отличие от Г. Гуковского, в своей статье выступает не только как литературовед, но и как историк. В том и другом качестве он дает целый фейерверк утверждений, поражающих, осторожно выражаясь, своей смелостью, в которых совершенно тонут отдельные правильные положения.

Как „историк" он утверждает: „в основном помещик и крестьянин стояли друг к другу в тех же отношениях в 30-х годах как и в 80-х годах", что в XVIII в. Россия была „чисто крепостническая, без каких бы то ни было элементов буржуазного прогресса, Европа же была уже в живой и жизнеспособной своей части вполне буржуазной"; „Россия XVIII в., чужеродное тело, присосавшееся к буржуазной по своим движущим

силам Европе"; „борьба внутри дворянства (в XVIII в.) не отражала никаких классовых противоречий"; „русский феодализм XVIII в. был феодализм без традиции, без обычая, ориентированный (почему? — *В. Д.*) на хищническую экспансию, поэтому он был восприимчив на известные стороны буржуазной культуры, т. е. те, которые облегчали эту экспансию; поэтому же он был относительно свободен от поповщины".

В XVIII в. „борьба шла даже не между экономически различными группами дворянства, как она шла например в эпоху крестьянской реформы. Это были чисто технические (?! — *В. Д.*) вопросы: как наиболее целесообразно организовать дворянское государство".

Рядом с историческими „афоризмами" идут откровения историко-литературного порядка: „Литература XVIII в. отделена от литературы XIX в. глубоким качественным изменением, сопровождавшимся фактически полным разрывом литературных традиций". Д. Мирский „знает", что в „допетровской России не было художественной литературы как обособленной и устойчивой деятельности"; для него „очевидно", что „не всякое общество, и в частности не всякое феодальное общество, в состоянии создать свою литературу". Он знает также, что Киевской Русью „византийская художественная литература не была воспринята вовсе", что „феодализм XVIII в. мог... обходиться безо всякой полемической, самооправдывающейся идеологии".

Вопреки всякой очевидности Д. Мирский „знает", что Новиков в своей позднейшей деятельности, приведшей его в Шлиссельбург, „является предшественником первых шагов демократической мысли", что Радищев „ни словом не упоминал о Пугачевщине, как будто не в России развернулась эта грандиознейшая из крестьянских войн".

В конечной оценке Д. Мирского дворянская литература XVIII в. „подражательна и бессодержательна, т. е. дает мало адэкватное и скудное выражение идеологии и психологии своего класса". А в результате Д. Мирский подает руку „уничтоженному" Г. Гуковскому. И для него „русское искусство XVIII в... было основано на заданной, традиционной, условной форме, тесно связанной с условным же, ограниченным традицией содержанием", а посему... „эта своеобразная атмосфера (русского „феодального варварства" XVIII в. — *В. Д.*) в специфической области искусства... давала возможность развития весьма своеобразных явлений, сближающих вершины дворянской поэзии XVIII в. с прогрессивными эпохами человечества, с Ренессансом". Таким образом под потоком отрицающих все и вся фраз—то же признание, что и у Г. Гуковского, „рационалистической концепции прекрасного, понятого вне зависимости от места и времени", признание абсолютной „внеклассовой" эстетической значимости искусства XVIII в.

Разными путями, но враги „буржуазного индивидуализма", „враги" между собой пришли к очень и очень сходному заключению: воскресить литературу XVIII в. (в разных дозах) во имя принципов „вневременной" и „внеместной" рационалистической концепции прекрасного. Мне нет никакой необходимости вскрывать корни этой „концепции" в наши дни, возводить ее к первоисточникам, но достаточно констатировать факт, что и „друг" и „враг" литературы XVIII в. почтительно склонили свои выи пред Державиным. Отличие Д. Мирского от Г. Гуковского только в том, что суровый марксист Д. Мирский и здесь счел нужным поклясться на Марксе. По его авторитетному объяснению, „на Державине наше литературоведение может учиться тому, что Маркс признавал самой трудной задачей в отношении к классово чуждому искусству прошлого — объяснить, почему оно может „доставлять художественное наслаждение", „несмотря на свою классовую враждебность и идейную примитивность".

Я далеко не исчерпал всей глубины откровений Г. Гуковского и Д. Мирского. Особенно содержательна конечно статья Д. Мирского, представляющая какую-то своеобразную и пожалуй оригинальную в своей новизне веселую вариацию беззаботного „марксиста", которому ясно решительно все. Да в этом и нет никакой надобности. Мне хотелось только показать, что ревизия „буржуазно-индивидуалистического" отношения к литературе XVIII в. привела непримиримых, казалось бы, противников к одному и тому же выводу: наше отношение к ней должно строиться не на вскрытии ее классовой противоречивой сущности, а на основе „рационалистической концепции прекрасного". Оба исследователя не хотят видеть „классовой борьбы" на фронте литературы XVIII в.;

Гуковский готов видеть эту борьбу внутри дворянства, а Мирский даже и на это не согласен. Мирский „признает", что „крестьянское восстание (Пугачева) поколебало самое основание крепостнического государства и" — не удивляйся, читатель, это все тот же Мирский пишет — „имело реальные шансы на победу", но... „культурная монополия безраздельно принадлежала крепостникам", но... „единственный серьезный фронт классовой борьбы пролегал вне „культурного общества", но... для нас Щербатов или Екатерина II так же безразличны, как У-Пей-Фу или Ень-Си-Шань", а посему и нет надобности классовую борьбу „искать там, где ее нет" (т. е. в литературе XVIII в.).

II

По существу вопрос об отношении к литературе XVIII в., о задачах и принципах ее изучения может быть решен правильно только тогда, когда он будет правильно поставлен. Правильно же поставленный — это вопрос о литературе феодально-крепостнической России, литературе дореформенного периода. Выделение литературы XVIII в. может быть сделано только условно, по традиции, по тем граням различия, которые имеются и в пределах одного периода, выражающего в себе общие черты конкретного социально-экономического и культурного явления, но в процессе его диалектического развития. Резкой гранью между феодально-крепостнической и капиталистической буржуазной Россией является крестьянская реформа, если и не ликвидировавшая полностью феодальный строй — это могла сделать крестьянская революция, а фактически сделала только пролетарская, — то во всяком случае создавшая предпосылки более свободного и ускоренного развития капитализма, чем до юридической отмены крепостного права. Для последующего за реформой периода резко поставлена задача уничтожения всех пережитков крепостничества, всех пут, связывающих развитие капитализма, поставлен вопрос — в ленинской формулировке — двух путей пореформенного капиталистического развития. Этот вопрос становится стержневым в классовой борьбе после реформы — в том или ином отношении к нему происходит расстановка политических партий и группировок. Этот же вопрос, формы его решения — находит себе выражение и в научной, и в публицистической, и в художественной мысли эпохи.

Вопрос о связях с прошлым, о „наследстве" ставится только в разрезе непосредственного разрешения очередных задач нынешнего и завтрашнего дня. Опора на прошлое — в культуре, искусстве — является естественной монополией представителей крепостнического мира, который, опираясь на длительные традиции своего „культурного" господства, вместе с элементами „культуры" протаскивает в новый мир и основы этой культуры — социально-экономические, политические права и преимущества вчера еще нераздельно господствовавшего сословия. Старая „культура", воспринимаемая и изображаемая как всецело дворянством созданная, даже со всеми ее, „освободительными", „общечеловеческими" мыслями и образами является острым оружием в руках защитников старого. Молодая революционно-демократическая Россия заявляет свои права на унаследование из прошлого только того, что может быть использовано в борьбе непосредственно, что наиболее действенно в борьбе нынешнего дня, что наносит прямые удары самому создателю этой классовой культуры — дворянству[1]. Литература прошлого как отражение и выражение вчерашнего дня крепостнической и самодержавной эксплоатации „народа" воспринимается под знаком отрицания, при чем в пылу боевых настроений некоторыми представителями буржуазно-демократической мысли выбрасывается за борт — по крайней мере на нынешний день — даже и Пушкин (Писарев и его последователи, „отрицавшие" Пушкина даже в годы оформления рабочего движения). В первую очередь под знаком „отрицания" шла литература XVIII в., которую, осторожно присоединяя к ней и литературу начала века (Карамзин, Крылов — басни, Жуковский, Баратынский и Батюшков, Пушкин), царская школа упорно противопоставляла литературе новой буржуазно-демократической России. И либерально-буржуазная наука второй половины XIX в. ни в какой мере не забывала XVIII век, и Г. Гуковский говорит абсолютные пустяки, когда упрекает в „слепоте и узости мироощущения" Пыпиных, для которых в XVIII в. якобы в их сознании „все слилось... в одну массу". Нет, в своей расчистке прусского пути ка-

питалистического развития России они очень успешно и классово сознательно выполняли функцию препарирования дворянской классовой культуры под культуру „общечеловеческую", „внеклассовую", и вполне естественно, что они и в литературе XVIII в. осторожно выискивали „освободительные" мотивы, занося их на счет неизменно двигающегося по пути „культуры" дворянства; с другой стороны, они тщательно затирали всякую связь этих „освободительных" идей с реальными классовыми противоречиями, настолько притом успешно, что даже такой острый марксист, как Д. Мирский, нашел возможным в XX в. повторить буржуазную легенду о демократизме „позднего" Н. Новикова и по рецепту либерально-буржуазной науки не постеснялся оторвать Радищева от крестьянского движения XVIII в.

Носители идей прусского пути не слепо, а вполне классово сознательно „обходили молчанием" многие „литературные факты эпохи классицизма", представляя дело изучения их своему обозу-арьергарду, ученым типа Лонгинова, Грота, Сухомлинова, Саитова и иных. Курьезно, что именно к этой „плеяде в своем роде замечательных деятелей" у Г. Гуковского сохранились добрые, теплые чувства. Правда, он этих „замечательных деятелей", на правах непомнящего родства потомка, безжалостно кастрировал: они у него якобы „сознательно и решительно отказались от... активного воздействия на общественную жизнь передовых социальных групп средствами научного слова", они просто „эрудиты и филологи, герои факта, даты, комментария".

Борьба шла за завтрашний день, и именно с ним прежде всего устанавливалась связь только что осуществленной реформы. Передовой демократической интеллигенции 60-х и 70-х годов конечно ясна была связь реформы с прошлым, ей было ясно, что реформа не с неба свалилась, а была подготовлена предшествующим социально-экономическим развитием страны, что реформа явилась выражением и результатом борьбы противоречивых общественных сил. Но теоретический и исторический интерес к прошлому у народнической интеллигенции концентрировался на вопросе, минует или не минует русского крестьянина, полуосвобожденного от крепости, историческая необходимость пройти через все ужасы капитализма западноевропейского типа, с обезземелением, пролетаризацией крестьянина, со всеми формами капиталистической эксплоатации фабрично-заводского рабочего. Ей мерещился иной тип развития, якобы заложенный и обоснованный в особых судьбах русского крестьянина, в отсутствии у нас предпосылок капиталистического развития западноевропейского типа, в возможностях широкого развития у нас „народного производства".

Вполне естественно поэтому, что у идеологов революционного крестьянства не было никакого вкуса к установлению связей пореформенного капитализма с его зачаточными образованиями в первой половине XIX в. и ранее в XVIII в. Они, с их идеями утопического социализма, отрицали пореформенное капиталистическое развитие России. Поэтому и имел место такой исторический парадокс, что даже Чернышевский использует откровение прусского барона Гакстгаузена для защиты и обоснования своих пожеланий к будущему развитию России. Чернышевский превосходно знает, что „Гакстгаузен по своим политическим мнениям не только не республиканец или хотя бы либерал, но даже не просто консерватор, а такой реакционер, какие в Германии могут быть встречаемы только между помещиками некоторых прусских провинций". Но Гакстгаузен „открыл" в России крестьянскую общину, и Чернышевский использует его „открытие", считая его показания особенно убедительными, так как „такой человек конечно не может быть заподозрен в особенном сочувствии к социализму или коммунизму"; аргументирует показаниями Гакстгаузена, несмотря на то, что цитируемый им популяризатор баронских откровений Тенгоборгский прямо утверждает, что община „одно из лучших предохранительных средств против вторжения пролетариатства и коммунистических идей"[2], а сам Гакстгаузен прямо ставит вопрос: „Как уничтожить или преобразовать крепостное право без социальной революции? В этом заключается великий вопрос дня"[3].

Даже Чернышевский проглядел, что „статистика" 40-х годов, в том числе и прежде всего баронская, была преимущественно выражением дворянской подготовки к неизбежной „реформе", она классово сознательно подчеркивала преимущественно „сельский"

характер России, тем самым призывая к особенно бережному отношению к „самобытным" особенностям русской экономики и культуры. В этом бережном отношении к русской якобы исконной „деревенской" самобытности, идущем конечно из разных социальных побуждений, и лежит объяснение той „близости" славянофилов и народников, которая так часто и многих соблазняла и путала. Традиционное представление о русском дореформенном развитии сложилось в пору 40-х и 50-х годов, в предвестиях реформы (в страхе перед несостоявшейся крестьянской революцией). Промышленно-капиталистическое развитие западноевропейского типа изображалось тогда не только нежелательным, „не соответствующим" русскому национальному „духу", но и не имеющим корней в прошлом историческом развитии. От Гакстгаузена („Studien über die innern Zustände Russland", Berlin, 1852), от Тенгоборгского („Etudes sur les forces productuves de la Russie", Paris, 1852), от Корсака („О формах промышленности вообще и о значении домашнего производства", Москва, 1861) идут позднее речи об искусственном и слабом развитии фабрик („насаждены" правительством), об особом развитии в прошлом русского города (деревянный русский город не город в западноевропейском смысле слова), о не-капиталистическом характере русской кустарной промышленности („народное производство") и т. д. Все это было направлено или непосредственно или в конечном счете к крепостническому кабальному решению крестьянского вопроса (вместе с тем и рабочего вопроса). Если Чернышевский не боялся подозрительного соседства, если он позволял себе пользоваться показаниями Гакстгаузенов и Тенгоборгских, то это потому, что он верил в крестьянскую революцию и, не имея возможности прямо сказать это в 1857 г. (в том году им была написана статья о „Studien" Гакстгаузена), он напоминал своим читателям, что „земледельческий класс... не всегда являлся в русской истории с тем неподвижным характером, каковой воображает видеть в нем Тенгоборгский", что „козаки были большею частию из поселян, и что с начала XVII века почти все драматические эпизоды в истории русского народа были совершены энергиею земледельческого населения"[4].

Эпигоны народничества, с которыми упорно боролся В. И. Ленин, таких „напоминий" уже не делали, а просто ссылались, когда требовалось, на предреформенную „статистику" как на хранилище непререкаемых истин. И еще вопрос, насколько буржуазная историческая наука конца XIX и начала XX в. была вполне свободна от давления именно предреформенной „статистики" в своих характеристиках русской экономической действительности дореформенной России.

Статистические работы конца XVIII и начала XIX в. были более свободны от давления на „статистику" предреформенных настроений. И детальный анализ их в наши дни является насущной необходимостью для конкретизации показа тенденций развития дореформенной России. Между тем даже в 1921 г. И. Кулишер, сопоставляя суждения историков о промышленности XVIII в. (Туган-Барановского, Струве, Милюкова, Лаппо-Данилевского, Фирсова, Рожкова, Покровского), говорит следующее: „Мы ограничиваемся... этими немногими сочинениями, посвященными истории промышленности или затрагивающими вопросы развития последней. Мы не упоминаем о старых работах Кириллова, Чулкова, Шторха, Семенова, Германа, ибо во всех этих сочинениях имеется в сущности лишь сырой материал, хотя несомненно весьма ценный, но не приведенный в стройную систему"[5].

III

Ряд блестящих работ Ленина посвящен анализу экономических отношений пореформенной России. И это вполне естественно, так как ему, представителю революционного рабочего класса, нужно было утверждать идеи марксизма на русской почве в атмосфере народнического отрицания самой возможности (и „желательности") промышленного капитализма в России. Капитализм отрицался не в прошлом даже, а в современности, поэтому и естественно сосредоточение внимания Ленина на экономических отношениях пореформенной России. В. И. Ленин многократно подчеркивает, что он анализирует отношения только пореформенной России.

Но было бы ошибкой думать, что в его работах мы не найдем достаточных указаний на те или иные особенности и дореформенной экономики, которые — сведенные в систему и правильно понятые — могут нам дать принципы и направление наших работ по изучению и культурного развития России до 1861 г., с которого он отмечает резко выявленные тенденции двух путей капиталистического развития.

Уже в одной из ранних своих работ, посвященных разоблачению экономических „утопий" эпигонов революционного народничества, В. И. Ленин писал о русском капитализме: „Начало товарного производства относится к дореформенной эпохе... и даже капиталистическая организация хлопчатобумажной промышленности сложилась до освобождения крестьян. Реформа дала толчок окончательному развитию в этом смысле: она выдвинула на первое место не товарную форму продукта труда, а товарную форму рабочей силы; она санкционировала господство не товарного, а уже капиталистического производства". „В пореформенной России крупнейшим фактом выступило внешнее, если можно так выразиться, проявление капитализма, т. е. проявление его „вершин" (фабричного производства, жел. дорог, банков и т. п.), и для теоретической мысли тотчас же встал вопрос о капитализме в России. Народники старались доказать, что эти вершины случайны, не связаны со всем экономическим строем, беспочвенны и потому бессильны; при этом они оперировали с слишком узким понятием „капитализма", забывая, что порабощение труда капиталу проходит очень длинные и различные стадии от торгового капитала до „английской формы". Марксисты и должны доказать, что эти вершины — не более как последний шаг развития товарного хозяйства давно сложившегося в России повсюду во всех отраслях производства, порождающего подчинение капиталу труда"[6]. „Независимо от тех общественных отношений, которые выражались в крепостном праве, население было связано и тогда (до реформы. — *В. Д.*) обменом: „отделение обрабатывающей промышленности от земледелия, — справедливо говорит автор (П. Струве. — *В. Д.*), — т. е. общественное, национальное разделение труда, существовало и в дореформенную эпоху"[7]. И еще в той же работе: „Непонимание связи капитализма с „народным производством" порождало у народников идеи о не-классовом характере крестьянской реформы, государственной власти, интеллигенции и т. д. Материалистический анализ, сводящий все эти явления к классовой борьбе, должен показать конкретно, что наш русский пореформенный, социальный прогресс был только следствием капиталистического „экономического прогресса"[8].

В другой работе тех же 90-х годов В. И. Ленин говорил о крепостном праве, что оно „было сломлено только товарным хозяйством и капитализмом, сделавшим эту связь (связь крестьянина с землей, которую хотели сохранить народники. — *В. Д.*) невозможной"[9].

Ряд общих принципиальных теоретических положений и конкретно-исторических указаний к анализу хозяйственного развития дореформенной России дает классическая работа В. И. Ленина „Развитие капитализма в России" (ниже цитирую по собр. соч., изд. 2-е, т. III).

Прежде всего напомним такие методологические принципы исследования В. И. Ленина, которые иногда забываются и в наши дни. „У нас нередко, — пишет В. И. Ленин, — сущность вопроса о „судьбах капитализма в России" изображается так, как будто бы главный вопрос: как быстро? (т. е. как быстро развивается капитализм?). На самом же деле несравненно более важное значение имеет вопрос: как именно? и вопрос: откуда? (т. е. каков был докапиталистический хозяйственный строй в России?)"[10]. В. И. Ленин как бы заранее полемизирует с М. Н. Покровским, который, характеризуя социальные отношения России второй половины XVIII и начала XIX в., писал в „Русской истории": „Какую роль вообще мог играть промышленный капитал: что значили сто, даже двести тысяч фабричных рядом с девятью миллионами душ крепостных крестьян, занятых почти исключительно земледельческим трудом" (т. III, 7-е изд., стр. 235). Повторяем, как бы предвидя такие суждения, Ленин высмеивает их: „Смешно сводить вопрос о развитии крупной машинной индустрии к одной фабрично-заводской статистике. Это вопрос не только статистики, а вопрос о формах и стадиях (разрядка моя. — *В. Д.*), которые проходит развитие капитализма в промышленности данной страны". И еще: „Сводить всю миссию капитализма к увеличению числа „фабрично-заводских" рабочих, значит проявлять столь же глубокое понимание теории, какое проявил г. Михайловский,

удивлявшийся, почему это толкуют люди об обобществлении труда капиталом, когда все это обобществление сводится-де к тому, что несколько сот или тысяч рабочих пилят, рубят, режут, строгают и т. д. в одном помещении"[11].

На ряду с положением В. И. Ленина, что „в вопросе о развитии капитализма едва ли не наибольшее значение имеет степень распространения наемного труда" (453), для нас имеют особую ценность его общие суждения о мануфактуре и переходе ее в „фабрику": „переход от мануфактуры к фабрике имеет особенно важное значение в вопросе о развитии капитализма" (359). В. И. Ленин говорит, что по своему возникновению мануфактура непосредственно примыкает к... „первым стадиям капитализма в промышленности... Торговый капитал в мелких промыслах, достигая высшей ступени своего развития, сводит у нас производителя на положение наемного рабочего, сбрабатывающего чужое сырье на сдельную плату. Если дальнейшее развитие ведет к тому, что в производство вводится систематическое разделение труда, преобразующее технику мелкого производителя... если наряду с раздачей работы на дома и в неразрывной связи с ней появляются крупные мастерские с разделением труда, ... то мы имеем перед собою... процесс возникновения капиталистической мануфактуры... С фабрикой мануфактуру сближает образование крупного рынка, крупных заведений с наемными рабочими, крупного капитала, в подчинении у которого находятся массы неимущих рабочих" (298 — 299).

В ряде мест „Развития капитализма в России" В. И. Ленин дает и исторические справки к истории дореформенного хозяйственного строя России. Так он говорит например о наличии противоречий капиталистического порядка уже в дореформенной России: „...Вся пестрота форм зависимости прикрывает только ту основную черту мануфактуры, что здесь уже раскол между представителями труда и капитала проявляется во всей силе. Ко времени освобождения крестьян этот раскол в крупнейших центрах нашей мануфактуры был уже закреплен преемственностью нескольких поколений" (338).

Не посвящая специального внимания вопросу о развитии капитализма в дореформенной России, он отмечает наличие в ней капиталистической мануфактуры. „Особенно замечательный пример капиталистической мануфактуры, — пишет он, — представляет знаменитый сапожный промысел села Кимры, Корчевского уезда, Тверской губ. и его окрестностей. Промысел этот исконный, существующий с XVI века. В пореформенную эпоху он продолжает расти и развиваться" (318). Еще: „Самоварный и гармонный промыслы города Тулы и его окрестностей представляют чрезвычайно типические образчики капиталистической мануфактуры. Вообще „кустарные" промыслы этого района отличаются большой древностью: начало их восходит к XV веку. Особенное развитие они получили с XVII века... В 1810/20 году возникли первые самоварные фабрики" (329)[12]. Текстильную индустрию начала пореформенной эпохи Ленин характеризует как „довольно высоко развитую в капиталистическом отношении (мануфактура, начинающая переходить в фабрику)", как уже „вполне овладевшую рынком центральной России" (471).

В. И. Ленин отмечает также важное значение „подготовления искусных рабочих мануфактурой. Крупная машинная индустрия не могла бы так быстро развиться в пореформенный период, если бы позади ее не стояла продолжительная эпоха подготовки рабочих мануфактурой" (333).

IV

Не искушенный в области социально-экономических отношений российской действительности—современной и прошлой—акад. В. М. Истрин в одной из своих давних работ обронил любопытное наблюдение. В „Опыте методологического введения в изучение русской литературы XIX в". (СПБ., 1907, вып. I) он писал: „Было бы очень благодарной задачей уловить то настроение, с которым жили десятки литераторов, независимо от того или другого историко-литературного направления, определить ту нравственную атмосферу, которая окружала их, или, применяя опять новый термин, выяснить ту психическую организацию, которая отличала бы людей последних десятилетий XVIII века и первого десятилетия XIX века. Это была какая-то особая сфера совершенно непонят-

ная нам теперь. С психологической стороны нам понятнее, т. е. доступнее для нашего восприятия, сфера даже XV—XVI веков, или эпохи Петра, потому что настроение этих эпох может быть охарактеризовано резкими чертами. Но эпоха последних десятилетий XVIII века и начала XIX века носит какой-то особый стиль" (71).

В этом недоумении почтенного академика перед психической организацией людей указанной эпохи несомненно нашло выражение сознание недостаточности исторических четких сведений и представлений о тех сдвигах в экономике и культуре страны, которые имели место во второй половине XVIII и в начале XIX в. и которые только со времени восстания декабристов и после него стали видимыми и для невооруженного глаза. Эти сдвиги—нарастание предпосылок развития капитализма в еще крепкой феодально-крепостнической России, усиление и рост капиталистических отношений в сельском хозяйстве и в промышленности, распространение наемного труда, все более обостряющееся восприятие крестьянами тяжести крепостного права, отмирание старой „патриархальности", нарастание и обострение классовых противоречий в недрах феодальных сословий; все это на фоне того культурного „взаимодействия" России и Западной Европы, которое так расширилось и социально заострилось в эпоху революции и наполеоновских войн, и создало, надо полагать, „какой-то особый стиль", вызвавший недоумение В. М. Истрина.

Не претендуя на какую-либо полноту и законченность, в развитие положений нашей вступительной статьи к сборнику „Ирои-комическая поэма", мы позволим себе привести несколько цифр, фактов, а также наблюдений современников, характеризующих те сдвиги в экономике страны, которые в порядке прямого или косвенного отражения находили разумеется отклики и в литературе.

Прежде всего еще раз напомним, что число наемных рабочих на фабриках неизменно растет в XVIII и первой половине XIX в. Так для средины XVIII в. Лаппо-Данилевский, заявив, что „наряду с крепостными контингент вольнонаемных рабочих постепенно увеличился", сообщает, что по данным 1760 г. на фабриках, состоявших в ведомстве мануфактур-коллегии, из общей цифры 38 000 рабочих около 14 000 было казенных и приписных по ревизиям, 11 500 собственных и купленных и около 12 500 вольнонаемных [13]. „Астраханские ткацкие мануфактуры,—сообщает о второй половине XVIII в. П. Любомиров [14], — были построены главнейшим образом на эксплоатации вольного наемного труда". „Вольным же трудом,—добавляет он,—жила главным образом и шелкоткацкая промышленность центра". Любопытны его наблюдения над организацией производства на этих предприятиях: „Капитал, концентрируя производство шелковых тканей в мануфактурах, объединял при этом все стадии производства, в отдельных случаях и выработку шелка-сырца даже под руководством владельца мануфактуры и обычно в стенах мануфактуры, кроме размотки шелка, сдаваемой на дом, но по найму же мануфактуриста".

С. Г. Томсинский, отрицая „капиталистические элементы в мануфактуре 30—40-х гг. XVIII в.", не отрицает и для нее „наличности определенных кадров вольнонаемных рабочих". Общие же его выводы об элементах капитализма в промышленности XVIII в. следующие: „Разложение крепостной мануфактуры начинается... во второй половине XVIII века. В социальной структуре мануфактуры были заложены элементы, ее разлагавшие. Значительные массы рабочих (6,5%), работавшие в других мануфактурах до поступления на основную работу, незначительный процент занимавшихся сельским хозяйством, продолжительный рабочий стаж, связь с городом, частые стачки и волнения— все эти факторы содействовали разложению крепостной мануфактуры и созданию новой капиталистической фабрики. Если же напомнить, что в 30-х годах XVIII в. мы имели большие кадры рабочих со стажем в 20—30—40 лет, то станет ясно, что наш рабочий имеет очень глубокие корни в истории" [15].

По подсчетам Туган-Барановского („Русская фабрика в прошлом и настоящем", СПБ., 1898), в 1804 г. на 2 423 фабриках из общего числа 95 202 рабочих вольнонаемных было 45 625 человек; в 1825 г. фабрик—5 261, рабочих—210 568, из них вольнонаемных—114 515. Туган-Барановский уверен, что число несвободных рабочих (сведений нет) продолжало падать и после 1825 г. Общее число рабочих на 1836 г.—324 203, из

них на бумаготкацких, бумагопрядильных и ситценабивных 105 878. Между тем на фабриках бумажных материй уже в 1804 г. было 82,8% вольнонаемных рабочих, а в 1825 г.—94,7%. Такой же высокий процент и тот же рост вольнонаемных рабочих был и на шелковых, кожевенных, канатных фабриках. Рост вольнонаемных рабочих наблюдался даже на суконных и полотняных фабриках. Так на суконных и шерстяных вольнонаемных в 1804 г.—9,7%, в 1825 г.—18,4%; на полотняных в 1804 г.—60,4%, в 1825 г.—70%. О 40-х годах говорит Гакстгаузен: „В настоящее время на большинстве фабрик употребляются не собственные крепостные, но рабочие, добровольно нанимающиеся за определенную плату" (1,190). Одновременно уменьшается и число дворянских фабрик. И если на первой промышленной выставке экспонаты знатных фабрикантов занимали еще значительное место, то к 1832 г., по подсчету Туган-Барановского, дворянские фабрики составляли всего около 15% (862 из 5 559), а в конце 40-х годов, по Гакстгаузену, всего 5% (500 из 10 000). „Число посессионных фабрик,—отмечает П. Кеппен,—постепенно уменьшается, что объясняется между прочим и введением машинного производства... При прекращении действий посессионных фабрик приписанные к ним крестьяне обращаются в свободное состояние. С 1840 г., сколько мне известно, упразднено более ста таких заведений, и с лишком 19 300 посессионных крестьян мужск. пола перешли в другие состояния (13 200—в состав городских сословий, остальные 6 080—в государственные крестьяне") [16].

Любопытные сведения о вовлечении в зависимость от капитала соседнего фабрике населения дают указатели дореформенных промышленных выставок. Правда, эти сведения случайны, разрознены (не о всех экспонатах даны подобного рода сведения), но они очень показательны. Приведем несколько примеров из „Указателя третьей в Москве выставки Российских мануфактурных изделий 1843 года". Мы выбрали только несколько фабрик, притом таких, которые ведут свое начало с XVIII или начала XIX в

№ 209 „Указателя". Фабрика шелковых изделий Ефимовых в с. Фрянове, Богородского у., Московской губ., учреждена с XVIII в.; рабочего народа на посессионном праве до 670 душ... вольнонаемных, смотря по надобности, до 500 человек.

№ 731. Фабрика бумажных изделий Трусова в с. Красном, Москов. губ., с конца XVIII в.; рабочего народа в Москве 300, в уездах 2000 и размотчиц бумаги 300.

№ 431. Бумажная фабрика Третьякова в Серпухове, с 1809 г.; рабочего народа в Серпухове 832, по домам 320 и в разных уездах 1400 человек.

№ 100. Фабрика Гарелиных в с. Иванове, Владим. губ., с 1792 г.; рабочего народа на фабрике и по уездам 5 296 человек.

№ 74. Полотняная фабрика Темерина в Переяславле-Залесском, с 1781 г.; рабочих на посессионном праве 664, вольнонаемных до 400 человек.

№ 418. Железоделательный завод Пономарева в Слободском у., Вятской губ., с средины XVIII в.; „рабочего народа крепостного 1 544, горнозаводского—55 и вольнонаемного до 3 400 душ", и т. д.

Следует отметить, что официальная статистика плохо учитывала изменения в хозяйственной жизни страны и нередко давала ложные представления о тех или иных явлениях, вносивших новое в традиционные представления о хозяйственной и социальной структуре страны. Это особенно должно отметить об официальной статистике городского населения. Обычно исчислялось население городов—административных центров, между тем как города—промышленные центры, официально носившие название сел и слобод, как правило, не учитывались. Так П. Кеппен, определив для 1838 г. городское население в 9%, разъясняет, насколько условны показания „Статистических таблиц о состоянии городов Российской империи, составленных в Статистическом отделении Совета Мин. Вн. Дел (СПБ., 1840)". Отметив, что „Таблицы" показывают для Таврической, а также Астраханской губерний городское население в 20%, Кеппен продолжает: „Эти отношения (городского и сельского населения) ясно показывают, что по ним (по крайней мере у нас) нельзя делать заключение о степени развития материальной культуры; несомненно, такая промышленная (industriose) губерния, как Владимирская, в этом плане должна быть поставлена на одно из первых мест, между тем городское население в ней (в „Таблицах") показано только в 5%, как и в Западной Сибири. Это

оказалось возможным потому, что промышленность не ограничена городами, но распространена по деревням во всем ройоне, плотность населения которого несравненно выше, чем в Таврической или Астраханской губерниях. И какой город... в отношении промышленной деятельности может померяться с Ивановым, селом графа Шереметева, которое одно на фабриках и вне их занимает свыше 42 000 человек". И далее Кеппен называет еще несколько сел подобного же типа: Яковлевскую слободу в 6 верстах от Ярославля, жители которой все рабочие (alle Fabrikanten); Холуйскую слободу, 900 чел. мужского населения которой, занимаясь иконописным делом как основной профессией, производят в год от 400 000 до 500 000 икон; село Павлово с его производством мыла, свечей, голиц и стальных изделий; село Богородское с кожевенной промышленностью (см. Koeppen: „Ueber Russlands Städte"—tiré du Bulletin scientifique publié par l'Acad. Imp. des Sciences de St.-Pétersburg, t. VIII, № 10—11).

В тех же „Указателях" выставок, о которых мы говорили выше, можно найти указания, опять же разрозненные и случайные, на применение в производстве машин. Приведем для иллюстрации показания на применение паровых машин „Указателя выставки мануфактурных изделий в Москве 1853 года". Указатель не дает даты постановки машин. Надо полагать, что в большинстве случаев это имело место в 30-х и 40-х годах; дату основания сравнительно молодых фабрик вероятно надо считать и датой начала применения на них силы пара.

№ 66. Бумагопрядильня А. Мальцова в с. Гусь, с 1844 г., три пар. машины в 110 сил.

№ 411. Бумагопрядильня Мазурина в с. Реутове, Моск. губ., с 1842 г., 2 паровые машины в 30 сил каждая.

№ 329. Бумагопрядильня А. Новикова в Москве, с 1847 г., паровая машина в 60 сил.

№ 300. Горенковская мануфактура Н. Волкова, с 1831 г., три отделения—бумагопрядильное, механическое для постройки новых и починки старых машин, механическо-ткацкое; три паровые машины в 74 силы.

№ 150. Суконная фабрика П. Цурикова в Звенигород. у., Моск. губ., с 1833 г. паровая машина в 16 сил.

№ 276. Фабрика бумажных изделий братьев Прохоровых в Москве, с 1804 г., паровая машина в 30 сил.

№ 277. Ткацкая фабрика Я. Гарелина, с 1752 г., паровая машина в 30 сил.

Паровые машины отмечены также на химических заводах, на свечном (в Одессе), на сахарных заводах и т. д.

В „Указателе СПБургской выставки русских мануфактурных произведений 1861 г." (года крестьянской реформы) я насчитал 138 предприятий, на которых указаны паровые машины, при чем эти предприятия охватывают различные отрасли промышленности. На первом месте идут разумеется бумагопрядильни, хлопчатобумажные, ткацкие фабрики и т. д. (39 предприятий), затем шерстопрядильные и суконные фабрики (24), сахарные заводы (16), чугуноплавильные и железоделательные (8), химические (7), машиностроительные, льнопрядильные, писчебумажные и фабрики шелковых изделий (по 5); встречаются также указания на паровые машины и в таких предприятиях, как фабрики серебряных, бронзовых и других металлических изделий, кожевенные заводы (4), лесопильные заведения (3), канатные, кирпичные, резиновых изделий, столярные, корковых пробок и т. д.

Большинство предприятий, отмеченных как применяющие силу пара, основано в 40-е и 50-е годы, частью в 30-е, но много и таких, которые основаны еще в XVIII в. Таковы например канатная фабрика Казалета в Петербурге („со времени основания Петербурга"), чугуноплавильные заводы Губиных в Пермской губ., чугуноплавильные и железоделательные заводы Шиповых в Нижегородской и Тамбовской губ., суконная фабрика Жукова в Москве, бумагопрядильные фабрики Гарелиных во Владимирской губ., набивно-ткацкая Розанова в Москве и т. д. Что паровая машина не была уже диковинкой на русских фабриках и в 30-х годах, об этом говорит такой документ, как „Прейскурант ценам, по которым как продаются разные машины и инструменты, так и принимаются на них заказы, в фабрике Польского банка в Варшаве на Сольце"

(Варшава, 1839 г.). „Прейскурант" предлагает русским клиентам между прочими машинами и инструментами на первом месте паровые машины „с высоким давлением без уравнительного коромысла" в 4, 6, 8, 10, 12 лошадиных сил, „с высоким давлением и уравнительным коромыслом" в 15, 20, 30 лошадиных сил, „с низким давлением" в 6, 8, 10, 12, 16, 20, 30, 40, 60, 100 лошадиных сил и выше (последнее по особому соглашению). Об этом же говорит и то, что в „Указателе... выданных в России привилегий с 1814 по 1871 год" (СПБ., 1871) имеются указания на взятие привилегий и на паровые машины в первые десятилетия XIX в. [17]

Курьезно, что „преклонных муза лет" гр. Хвостова восславила в торжественных стихах паровую машину на выставке 1833 г.; „все наше в выставке", восклицает престарелый поэт, „машину зрю паров" („По случаю второй выставки российских изделий в Санкт-Петербурге 1833 г.", СПБ., 1833).

Восторженный панегирик паровой машине в прозе еще ранее Хвостова, в 1815 г., воспел известный защитник запретительной системы тарифа для произведений иностранной промышленности Н. С Мордвинов. „Каждая паровая машина,—писал он,—вновь где-либо введенная, сотворяет вдруг 1000 человек в прибавку к существующим и таковых, притом работников, кои не требуют ни пищи, ни платы, ни отдохновения, кои не знают ни юности, ни старости, ни увечьев и кои не умирают; для коих в сутки находится 24 рабочих часа, в году 365 рабочих дней; у коих сила всегда единообразна, всегда неизменна, всегда равнодеятельна. Посредством машин воздух, огонь и вода становятся сотрудниками человеку, исполинские силы к слабой руке его приобщают" („Некоторые соображения по предмету мануфактуры в России и о тарифе", СПБ., 1815, стр. 35).

Паровая машина была конечно только последним звеном в процессе перехода в дореформенную эпоху фабрик на машинное оборудование. И передовой отраслью промышленности в этом отношении была хлопчатобумажная. „Ни одна мануфактура,—говорит Е. Зябловский,—не сделала столь важных успехов в короткое время, как бумажные фабрики. Не более как за 50 лет перед сим (т. е. в 80-х годах XVIII в.—*В. Д.*) не умели иначе прясть хлопчатую бумагу, как ручною работою... Прядильная машина нового устройства англичанина Аркрайта ускорила прядение неимоверно... Успехи химии в последние годы имели решительное влияние на крашение... На некоторых фабриках производится уже печатание тканей цилиндрами" [18].

Конечно большинство сведений, приведенных нами, характеризует нарастание предпосылок развития капитализма в позднюю сравнительно пору дореформенной эпохи, относится к XIX в. Но нам важно показать тенденции развития, единство процесса, начавшегося задолго до крестьянской реформы. Эти тенденции особенно ощутительны тогда, когда они выражены не мало говорящими цифрами, а подмечены в изменяющемся быту, подмечены на высоком уровне давно уже развивающегося явления.

Вот С. Глинка вспоминает Москву после 1812 г.: „Ступайте от Смоленского рынка на Девичье Поле: держитесь правой руки. Пройдя несколько деревянных домов, вы увидите за ними и рядом с ними к монастырю огромные каменные здания, заселенные фабричною промышленностью. А тут до 1812 г. были глухие пустыри. А это видимое на том же поле в левой стороне указывает на упадок быта вельможеского. Идя с Пречистенки и держась левой руки, вы увидите дома два каменные и почти опальные и пустые. Где же другие п о д д е в и ч е с к и е дома?... Они были, их нет. Следы их под грядами огородов или под безжизненной крапивой и лопушником. Они истлели на берегах тенистых прудов, в которые уныло смотрятся высокие деревья, расщепленные и разбитые неугомонною рукою времени" [19]. Эти же впечатления, только еще более обострение через два десятка лет после Глинки испытывает и Пушкин, отметивший в „Мыслях на дороге" упадок дворянской Москвы и рост купеческой, промышленной („Ныне в присмиревшей Москве огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травою, и садом одичалым... Но Москва, утратившая свой блеск Аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая в ней оживилась и развилась с необыкновенной силой. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством".

Особенно показательны бытовые картины, нарисованные П. Сумароковым в его книге „Прогулка по 12 губерниям с историческими и статистическими замечаниями в 1838 году" (СПБ., 1839). Показательны они потому, что, с одной стороны, говорят о промышленных—еще с XVIII в.—районах России и потому, с другой, что описывают такие явления, которые создаются не годами, а рядом десятилетий, т. е. восходят своими корнями к XVIII в. Нужно предупредить читателя, что П. Сумароков не может быть отнесен к числу безусловных и восторженных поклонников „фабричности": он прекрасно понимает, чем грозит развитие промышленности существующему строю. Он пишет: „Фабрики в Европейских столицах вредны для общества... Сволочь та (рабочие) всегда готовы пристать к возмущениям, бунту, что мы видели в Париже. Напротив, учреждение фабрик в департаментах, или губерниях, отстранит то зло и послужит к процветанию их. Семейства близки... прокормление, содержание себя дешевле. Сохранят прежний образ мыслей, не отделятся от сограждан своих" (24—25). И он показывает нам, какая „культура" рабочих ему приятна, с удовлетворением описывая виденных им рабочих в Туле: „Работники молодые, бреются, подбирают волосы в скобку, собираются в летние вечера на берег Упы и поют хором псалмы, кантаты Ломоносова, Польский, Александр и Елисавета" (118—119).

Тем, повторяю, показательнее даваемые им картины быта промышленного населения, широты охвата промышленностью населения описываемых им районов. О Москве и ее окрестностях он пишет: „Вкруг Москвы, верст на 30 и далее по сторонам, в редком селении нет фабричных работ. Где красят, разматывают, прядут бумагу, шерсть, где делают галуны, бахромы, ленты, полосушки, тафты, везде станы, стук от берд, и если бы соединили все изделия, оказался бы большой город, как Манчестер, Бюрмингам" (97).

О промышленном населении Ярославской губ.: ярославцы „находятся при биржах артельщиками, в конторах банкиров, купцов прикащиками, имеют свои трактиры лавки, нанимаются сидельцами. Люди посредственных состояний разнощики, извощики, каменьщики, маляры, штукатуры, печники, плотники, столяры, каретники, в городах маркитанствуют, отправляют ремесла. Почти все такие мужчины умеют читать, писать, выкладывать на счетах... Женщины стройны телом, любят наряды, многие из их пригожи собою и тотчас различишь Ярославку от других. Они носят шелковые, ситцевые длинные платья, браслеты, заплетают волосы по моде... Кажутся деревни их местечками, крестьяне купцами и жены их провинциальными щеголихами. Они живут лучше дворян с 50 душами и несравненно просвещеннее французских поселян вообще" (304—305).

О населении Костромского фабричного района: „Народ... крупный, чистый, мужчины ходят в сибирках, синих кафтанах, редко увидишь кого в лаптях. Женщины носят повойники Московки, сарафаны ситцевые, с рукавами тонкого коленкора, передники... Красота, свежесть лиц даны обитателям по Волге, и вы найдете здесь много красавиц. Избы по большей части в два жилья, с красными окнами, трубами, опрятны внутри и приятно войти в них.

...Наречие их по-книжному несколько смягчается, и они живут в довольстве. Какая противоположность с Тамбовским краем! Там крестьянин существует среди навоза, закоптел от дыма, мало просвещен, нелюдим, и богатый закромами нуждается в деньгах" (275—276).

В. И. Ленин, говоря о ходячих сравнениях России с Западной Европой, о культурной отсталости России, спрашивает: „Но в чем же состоят материальные основания этой культуры, как не в развитии капиталистической техники, в росте товарного хозяйства и обмена, приводящих людей в более частые столкновения друг с другом, разрушающих средневековую обособленность отдельных местностей? Не была ли во Франции, напр., культура не выше нашей перед Великой революцией, когда еще не завершился раскол ее полусредневекового крестьянства на деревенскую буржуазию и пролетариат? И если бы автор („Хроники внутренней жизни" в „Р. Богатстве") повнимательнее присмотрелся к русской жизни, он не мог бы не заметить того, напр., факта, что в местностях с развитым капитализмом потребности крестьянского населения стоят значительно выше, чем в чисто земледельческих местностях. Это отмечается

единогласно всеми исследователями наших кустарных промыслов во всех случаях, когда эти промыслы достигают такого развития, что кладут промысловый отпечаток на всю жизнь населения". И в пример В. И. Ленин приводит павловских кустарей (В. И. Ленин. „Что такое „друзья народа", собр. соч., т, I, стр. 152—153).

V

Д. Мирский решительно заявляет, что XVIII в. не „знал никаких классовых противоречий" внутри дворянства, что не было классовой борьбы и „между дворянством и третьим сословием, как полагается в сословной монархии", он знает для XVIII в. классовую борьбу только „на полях битв пугачевцев с царскими войсками". В полном противоречии с собственными утверждениями он однако предлагает изучать не только литературу крестьянскую, но и литературу „плебейскую", литературу „предков рабочих", предлагает выяснить „роль предпролетариата" в составе „городского плебейства", предлагает изучать „подлинное творчество городских разночинцев" и т. д., и т. п. С его „исторических" позиций эти задачи повисают в воздухе как явно навязанные той действительности XVIII в., которую нарисовал себе Д. Мирский („в основном помещик и крестьянин стояли друг к другу в тех же отношениях в 30-х годах, как и в 80-х", „в XVIII в. Россия была чисто крепостническая, без каких бы то ни было элементов буржуазного прогресса" и т. д.). Самую крестьянскую борьбу XVIII в., восстание Пугачева, он рисует только как „страшный кошмар (для крепостника) между двумя долгими периодами относительного классового благополучия", утверждает, что у крестьян-пугачевцев не было союзников, что у них не было своего „Мюнцера", и т. п.

Наша задача в том и заключается, чтобы призвать к конкретности анализа социально-экономических отношений дореформенной эпохи, в частности XVIII в., нащупать отношение „третьего сословия" и намечающихся в нем классовых групп к господствующему сословию, а также к закрепощенному крестьянству, отношение к борьбе дворянства и крестьянства, вскрыть тенденции исторического развития, наметить возможные линии классовых противоречий и столкновений. Только в этих условиях, полагаем мы, и возможна настоящая марксистская постановка задач и определение объекта изучения литературы дореформенной эпохи и прежде всего XVIII в., на который до сих пор не было направлено внимание литературоведов-марксистов.

В. И. Ленин так характеризовал дореформенное общество в его классовых взаимоотношениях и настроениях: „Крепостное право стесняло одинаково всех—и крепостного бурмистра, накопившего деньжонки и желавшего пожить в свое удовольствие, и хозяйственного мужика, ненавидевшего барина за поборы, вмешательство и отрывание от хозяйства, и пролетария—дворового, и обедневшего мужика, которого продавали в кабалу купцу; от него страдали и купец-фабрикант, и рабочий, и кустарь, и мастерок. Между всеми этими людьми только та связь и была, что все они были враждебны крепостничеству: за пределами этой солидарности начинался самый резкий хозяйственный антагонизм" („Что такое „друзья народа", 190).

Разумеется эта характеристика прежде всего и полностью относится к десятилетиям кануна реформы; но конечное оформление этих классовых отношений и настроений могло иметь место только в результате длительного исторического процесса, и забывать об этом никогда не следует, спускаясь даже и в дебри таинственного XVIII в.

При наших обобщающих суждениях о литературе XVIII в. мы сплошь и рядом забываем о целом ряде деталей и „мелочей", которые между тем необходимы для правильного понимания эпохи. Так например, дворянское религиозное „свободомыслие" XVIII в. принято относить за счет „моды", поверхностного увлечения „передовыми идеями" Запада и т. п., вообще не имеющим под собой социальной почвы, или, как это делает Д. Мирский, даже объяснять „наивностью" дворянства. „Победоносный дома и за границей феодализм XVIII в.,—утверждает он,—мог позволить себе большую наивность, предаваться квази-материалистическим настроениям, игнорировать поповщину (курсив мой.—*В. Д.*), заигрывать с Вольтером" и т. д.

Между тем эта „наивность" имела под собой весьма реальную почву. Недаром Екатерина II в Большую комиссию 1767 г. пригласила депутатов от „всех", кроме

крепостных крестьян и духовенства. Здесь конечно говорили и современность, и воспоминания о недавней социально-экономической мощи первого сословия феодального общества, которую дворянское государство еще продолжало доламывать в XVIII в. Но с князьями церкви дворянское государство так или иначе договорилось, отдав им на поток и разграбление белое духовенство, особенно сельское. Но совсем другое дело вот это городское и особенно сельское духовенство, традиции выборности которого еще не были изжиты в XVIII в.

В своей утопии „Путешествие в землю Офирскую г-на С...Швецкого дворянина" князь Щербатов мечтает о священниках-полицейских, верных стражах идеального дворянского государства („одежда его—священника была так как на офицерах полиции", „Полиция... есть для сохранения нравов", а посему „главные надзиратели частей... определяются быть священниками единого Бога" и т. д. Соч., т. II. стр. 891). Но современным ему русским духовенством Щербатов весьма недоволен: „Наши попы и церковники, имеющие малое просвещение без нравов, суть наивреднейшие люди в государстве: разбои, бунты, корчемства и прочее суть их обыкновенные преступления" (Соч., т. I, СПБ., 1896, стр. 618). Его раздражение, недовольство сельским духовенством идет так далеко, что в „Проекте о народном изучении" он предлагает упразднить как можно больше приходов, при сохраненных церквах сократить число духовных лиц (вместо двух священников оставить одного, а „дьяконов и везде в селах не иметь") и т. д. Все эти меры он рекомендует проводить „тихостью", „тайно", чтобы „совсем о сем поселяны известий не имели" (I, 739). Он боится, что „духовные чины"—„более дворян связаны с нижними чинами людей, коих могут ввергнуть в бесноверие" (II, III). И он имел основание бояться поповского „бесноверия". Приходское духовенство, зависимое от помещиков и угнетенное своей духовною властью, а сельское и по роду занятий (хлебопашество) близкое крестьянству нередко было близко к нему и по своим настроениям.

Участие сельского духовенства в крестьянских восстаниях XVIII в. и первой половины XIX в.—нередкое явление, которое отмечалось и современниками, и правительственными распоряжениями. Так например, указ от 14 ноября 1762 г. об укрощении заводских крестьян в восточном крае России вину возникновения бунта возлагает на духовенство, от которого исходили ложные разглашения и копии с фальшивых манифестов; один дьячек Казанской губ. на допросе в казанской консистории сам повинился в составлении подложного манифеста о крестьянской свободе. Духовные лица нередко писали крестьянам жалобы на помещиков, давали им даже фальшивые паспорта для проезда в Петербург с этими жалобами; бывали случаи, что священники покрывали убийство крестьянами своих жестоких помещиков, хороня их как умерших естественною смертью. Указ Синода 1781 г. строжайше запрещает всем священно- и церковнослужителям писать и подписывать крестьянские жалобы на помещиков.

В городах, в особенности в Москве, беспокойным элементом было безместное духовенство, которое толпилось по площадям, у церквей, по кабакам, постоянно входя в непосредственное общение с крестьянами и городской беднотой. В пору восстания Пугачева „праздные попы и дьяки" толпами бродили по Москве. Эти церковники-бродяги беспокоили и правительство, и духовное начальство. Против безместного духовенства принимались меры полицейского порядка. Бантыш-Каменский в своей „Жизни преосвященного Амвросия" (М., 1813) с раздражением рассказывает, как во время моровой язвы один поп с помощью фабричного выдумал чудо для смущения народа, как „мерзкие козлы, оставив свои приходы, стояли у Варварских Ворот с налоями, делая торжище, а не моление, городские домовые и уездные попы толпами бродили".

Необходимо указать на участие духовенства в Пугачевском восстании. „Пугачев,— пишет П. Знаменский, — хорошо понимал важное значение духовенства в народе и для привлечения его на свою сторону сосредоточил на нем все свое внимание и вместе с тем всю жестокость мер, какие обыкновенно употреблял против непокорных". Таких „непокорных" лиц духовного звания по подсчету Знаменского погибло (казнено) во время Пугачевского восстания 237 человек. „Цифра громадная и притом едва ли еще полная"; но, продолжает он, „еще выше была цифра духовных лиц, увлек-

шихся общим народным движением своего края". Синод издал объявление, что каждый служитель алтаря лишается священства и передается гражданскому суду „в самый тот час", как пристанет к бунтовщикам. И вот, как сообщает П. Знаменский, „виновных оказалось так много, что например в Пензе гр. Панин—усмиритель Пугачевщины—застал все церкви запертыми, потому что в городе не оказалось ни одного священника, не подпавшего под строгие запрещения Синода". Граф Панин писал Екатерине: „Если бы духовный чин, хотя мало инаков был, злодеяния не возросли бы до такой степени".

Дворянское государство, сумевшее договориться с князьями церкви, все время пытаясь превратить сельских попов в полицейских и жандармов духовного чина, в сущности до падения крепостного права далеко не полностью разрешило эту задачу. Даже и после реформы сельское духовенство, особенно центральной России, не обеспеченное материально правительством и в своем существовании целиком зависевшее от „щедрот" прихожан—крестьян, было питательной средой, поставлявшей широкие кадры „разночинной" демократической интеллигенции.

Тургеневское же барственное отношение к „клоповоняющим" (Чернышевскому, Добролюбову и др.) остается характерным для дворянства XIX в., каковым оно было для Щербатовых, Болотовых и иных в XVIII в. И при всех рассуждениях о „наивности" дворянского вольнодумства и „вольтерианства" XVIII в. об этом никогда забывать не следует.

Известный масон-крепостник Поздеев, в вологодском имении которого тогда имели место крестьянские волнения, писал масону Лопухину: „в крестьянах видим явно готовящийся бунт, весьма похожий на пугачевский, ибо все крестьяне имеют оставшегося от времен Пугачева духа, дабы не было дворян". В возникновении бунта он винит духовенство: „Здесь в Вологде, в новый год (1797) в соборе и вне оного великое было, какого никогда не запомнят, стечение простого народа и п о п о в, к о и, т. е. д е р е в е н с к и е, т е ж е м у ж и к и, т о л ь к о ч т о г р а м о т н ы е (разрядка моя.—*В.Д.*), в ожидании, что читать будут указ о вольности крестьян и якобы соль будет дешевле и вино продаваться по 2 рубля ведро,— приехали слушать из селениев, верст за 100 от Вологды отстоящих".

Вопрос о том, какое выражение в литературе XVIII в. (устной и письменной) нашла эта связь духовенства и крестьянства, совсем не изучен; даже произведения духовной лиры—дьяков, саминаристов (не официальная печатная литература „речей", „од" и „приветствий" на разных языках, а рукописная)—совсем не обследована. Считаем поэтому не лишним привести одно такое произведение дьяка, найденное в ирмологии 1757 года:

Хто в NN не бував,
Той и лыха не знавав;
Я в NN проживав
И много бед приняв.
Дякував и паламарював
И попа до церкви рано пробуждав;
И М... панщину работав.
Ище ж до того и людям угождав,
Бо чуть свит свитае,
То асаул Кирнос до школы прихожая и глашая:
Дяче! на панщыну! косить,
Або будешь брусья носыть.
Ище крипче гонить
На лен панский
Иван Пивторацкий.
Люди говорят:
Горе тоби, горе, дяче!

Згынешь ты в нас,
Небораче!
Зде, читатель, мени извини
И назад листок переверни...

А там им же написано:

Хто хоче лыхо знаты,
Не хай иде в NN дякуваты;
То буде панщыну в будни робыты,
А в субботу ходить звонаты,
Сала по селу про хаты
И скрозь за хлибом шмаруваты,
В церкви давно горшка не маем,
И покрышку для вогня позычаем...
Сие вам изображаю,
И сам з NN утикаю [21].

VI

Неконкретность, чрезмерная суммарность наших представлений о XVIII в. может быть отмечена не только в полном забвении судеб социально-экономического положения духовенства, его культурного значения в XVIII в. Эта суммарность, например в суждениях Д. Мирского, может быть отмечена и по ряду других вопросов. А между тем только в условиях учета всех сложных и противоречивых социальных отношений XVIII в. мы можем правильно понять и движение литературы той эпохи. И это тем более, что процесс оформления идеологии каждого класса, подавленного и эксплоатируемого, совершается очень медленно и на первых своих стадиях дает зачаточные и неразвернутые формы. Это относится ко всякой идеологии, относится и к литературе, высокие создания которой предполагают своим условием общий широкий подъем культуры данного класса. Но и эти зачаточные формы, являющиеся нередко отражением (в ленинском понимании слова) изменений, происходящих в действительности (Белинский с его письмом Гоголю и крестьянское движение—у Ленина), для нас представляют большую ценность. Но притом не только в общем историческом плане, но и в плане историко-литературном как явления, намечающие тенденции дальнейшего движения, как связи между сегодня и завтра. Иначе нам нередко придется слышать речи о „полном разрыве литературной традиции", как это сделал Д. Мирский по отношению к XVIII и XIX вв.

Примеров „неконкретности" исторической, о которой мы говорили выше, в статье Д. Мирского можно указать немало. Так для наивящего меня посрамления он оперирует приводимыми мною фактами, в частности моим указанием на то, что в Комиссии 1767 г. купцы заявляли претензии на владенье крепостными крестьянами. И делает отсюда о б о б щ а ю щ и й вывод к „характеристике русской буржуазии". Между тем один факт, взятый сам по себе, еще ничего не говорит или говорит очень мало. О праве владения крепостными в Комиссии, несмотря на свое недопущение в нее, заявляло и духовенство (в городских наказах), желая иметь крепостных для домашних услуг. Но не нужно забывать при этом, что, когда купцы и церковники просили себе крепостных, они не столько и не только говорили о создании нового права, сколько о сохранении бытовой социально-экономической „старины". Правда, для крестьян это было безразлично—крепость ли по старине или вновь созданная свяжет их, но для бытовой характеристики „купечества" это известное значение имеет.

Еще вторая ревизия не приурочивает владение крепостными исключительно к одному сословию. Инструкция 1743 г. позволяет писать крепостных за солдатами и приказными, лишь бы они платили за них подушную подать. Закон 1746 г. отдает приемышей в крепостную зависимость от их воспитателей: попов, церковников, купцов и разночинцев. При самом производстве ревизии оказалось, что многие купцы и раз-

ночинцы владели крепостными. Так в Ельце купеческая вдова дала отпускную 20 крепостным, у 44 нижегородских посадских оказалось 127 крепостных дворовых людей и т. д. Только с межевой инструкции 1754 г. владение крепостными окончательно приурочено к дворянству, но и после этого были бытовые поправки к юридическому положению вещей [22].

Не в достаточной мере конкретны—а максимальная конкретность особенно важна для литературоведа—наши представления даже и о Пугачевском восстании: упрощается, схематизируется та социальная атмосфера, в которой оно протекало. Мы уже указывали на связь крепостничества и белого духовенства. Для других групп „третьего сословия" мы не можем указать таких широких связей. Но и рисовать восстание как прошедшее в обстановке полного безразличия к двум борющимся классам нет решительно никакой надобности. И—что для литературоведа особенно важно—воспоминания о „кошмаре", в течение века не терявшие своей свежести, у разных общественных групп могли быть далеко не одинаковые.

Повторяем, Пугачевское движение в известной мере раскалывало не одно только духовенство. Для казанского дворянства например — и русского и татарского—Екатерина была действительно своей царицей. Казанские дворяне боролись с „врагом отечества" и, в ответ на объявление Екатерины себя казанской помещицей (в рескрипте на имя А. И. Бибикова), в речи, произнесенной в Казанском дворянском собрании 1 февраля 1774 г., могли искренне провозгласить: „Дражайшее нам и потомкам нашим неоцененное слово, сей приятный и позднейшего рода Казанского дворянства фимиам, сей глас радости... Признаем Тебя своей помещицей! принимаем Тебя в свое сотоварищество: где угодно Тебе, равняем Тебя с собой"... Татарская же буржуазия Казани, в отличие от татарского дворянства, с радостью приняла Пугачева. К Пугачеву и к пугачевцам с трепетом и надеждой тянулись помыслы многих представителей других групп „третьего сословия". Для характеристики этих настроений приведем любопытное описание одного иностранца своих московских впечатлений в дни Пугачевского восстания. Этот иностранец—Ф. А. Т. де Белькур, капитан французских войск, поступивший на службу к польским конфедератам в 1769 г. Он был взят русскими в плен и отправлен в Тобольск. Возвращаясь оттуда в 1773/74 г., попал в Москву 19 февраля 1774 г.—в дни восстания Пугачева. Свои воспоминания о России описал в книге: „Relation ou journal d'un Français au service de la Confédération de Pologne, pris par les Russes et relégué en Sibérie. Amsterdam, 1776".

Вот как он описывает московские настроения этих дней: „В то время (конец февраля и начало марта 1774 г.) дух смуты распространился и в Москве. Стали громко говорить в пользу мнимого Петра III. Весь город был в волнении. Во всех съезжих домах постоянно секли, но и это строгое наказание никого не устрашало. Во всех концах города громко кричали: „Да здравствует Петр III и Пугачев". Казалось, грозило общее восстание. У графа Толстого люди натворили столько излишеств, что он был вынужден отдать их в руки полиции. Они были приговорены к битию кнутом, но и под ударами кричали ура Петру III. Чтобы успокоить умы и затушить огонь, грозивший всеобщим пожаром, распустили слух, что Пугачев совершенно разбит. На почте вскрыли все письма и перехватили те, которые казались подозрительными; каждого домохозяина заставляли снова принести присягу и, несмотря на то, 6 марта, около шести часов вечера, раздался во всех частях города всеобщий крик: „Да здравствует Петр III и Пугачев". Можно себе вообразить, какое смущение он произвел. Все бросились бежать, куда попало. Но твердость князя Волконского успокоила умы, и этот великий пожар потух без всяких дурных последствий" (цит. по „Очеркам" Л. Майкова, стр. 353—354). Но еще в сентябре 1774 г. были произведены в Москве аресты за распространение „Пугачевских листов".

Бедны конкретным содержанием и наши представления о позднейшем крестьянском движении в XVIII в. Разумеется все последующие крестьянские волнения и по размаху, и по содержанию не могут итти в сравнение с тем величайшим потрясением дворянского государства, которое было вызвано Пугачевским движением. Но крестьян-

ские волнения имели место, и они создавали определенную атмосферу беспокойства и для дворянства, находили тот или иной отклик и в других слоях общества. Крестьянские волнения XVIII в. и после подавления Пугачевского восстания принимали иногда широкие размеры.

Так в январе 1797 г. Тайной экспедицией были получены от местных властей донесения о крестьянских восстаниях в целом ряде губерний: Орловской, Московской, Псковской, Новгородской, Новгород-Северской, Ярославской, Нижегородской, Пензенской, Калужской, Костромской, Вологодской. Какой характер принимали эти восстания, для усмирения которых приходилось посылать воинские команды, мы имеем показания современников. Один из очевидцев рассказывает например о восстании крестьян в Орловской губернии, в Брасове, главном селе имения С. С. Апраксина, куда он попал после усмирения крестьян в Вологодской губернии. „Скопилось до 12 000 крестьян своих и пришлых: бросили господские работы... провозгласили себя государевыми; убили управителя, а присланного на следствие советника губернского правления держали в кандалах под караулом; проведав о войске, что шло к ним, устроили батарею на погосте против главной улицы селения, отыскали на господском дворе порох и полдюжины пушек и открыли огонь, как только войско показалось“ [23].

Социальный характер конечно носил и разбой, во второй половине XVIII в. принявший характер бытового явления. Август Коцебу на своем пути в Сибирь и обратно видевший непрерывный поток ссылаемых людей всякого чина—и пеших, и конных (царствование Павла),—отметил любопытные явления: „Между Казанью и Нижним-Новгородом,—вспоминает он,—видел я так часто по обе стороны дороги около огня расположившиеся толпы вооруженных людей, что наконец полюбопытствовал узнать, зачем они тут. Объяснение было не очень утешно. Эти люди были тут на карауле по поводу многих случившихся здесь разбоев“ [24].

Иногда „разбойники“ в своей деятельности руководились весьма определенными социальными симпатиями и антипатиями. Так например, А. Болотов рассказывает об одном „разбойнике“, оперировавшем притом под самой Москвой. „Кажется года за три,—пишет он,—был за Москвой вор-разбойник, прославившийся весьма особливыми своими делами. Он, имея превеликую партию, разбивал многие дворянские дома и ограбливал, а в иных наказывал только господ и госпож за жестокость к людям и делал многие пакости“ [25].

Нет сомнения, что именно крестьянские настроения находили свое выражение и в ряде „ненормальных“ явлений в жизни войск, которые должны были охранять устои дворянской общественности. Весьма любопытный факт сообщает официальный орган польского революционного правительства, который оно издавало в 1794 г. на французском языке для информирования преимущественно „иностранной публики“ о ходе борьбы польской нации за свободу. Бюллетень охватывает события с 27 мая по 22 октября 1794 г. Приводимое нами сообщение дано в последнем (21-м) номере „Бюллетеня“, говорящем о событиях, которые имели место уже после поражения Косцюшки при Мацеевицах и взятия его в плен русскими войсками.

„22 мая текущего года,—читаем мы в „Бюллетене“,—нам представилось зрелище, весьма отрадное для людей, которые умеют ценить свободу. 250 русских пленных, тронутые великодушным гуманным обращением с ними поляков, убежденные добрыми целями нашего дела, исполненные ужаса перед несчастной страной, в которой они рождены, поклялись разделить с нами сладости свободы; предпочитая рисковать своей жизнью в надежде на лучший жребий, чем жить в постоянном отчаянии, они включились в войска Республики и принесли клятву верности. Им дали заверения, что по окончании войны они получат участки земли в наследственное владение и будут допущены ко всем правам Граждан. Они потребовали и получили право не сражаться с русскими; эта деликатная чувствительность по отношению к своему прежнему отечеству сделала их в наших глазах еще более заслуживающими уважения. Им обещали использовать их только против пруссаков; обещано также, что те из них, которые дадут доказательства своей сообразительности и отваги, будут произведены в офицеры, как

один из соотечественников, который, особенно отличившийся в последнем деле под Сохачевом, был произведен в прапорщики и получил денежную награду в 50 дукатов" [26].

И впечатления от известий о Французской революции падали в России далеко не на такую безразличную почву, как это можно было думать сообразно обычным представлениям о полном дворянском благополучии. Вот что сообщает в своих мемуарах граф Сегюр о петербургских настроениях после получения известий о взятии в Париже Бастилии: „Новость быстро распространилась и была принята различно, смотря по положению и настроению каждого. При дворе она вызвала сильное волнение и общее неудовольствие. В городе было впечатление совершенно обратное, и хотя Бастилия не грозила никому из жителей Петербурга, я не могу передать энтузиазма, вызванного среди негоциантов, купцов, мещан и нескольких молодых людей из более высокого класса падением этой государственной тюрьмы, этим первым триумфом бурной свободы. Французы, русские, датчане, немцы, англичане, голландцы — все, посреди улицы, поздравляли друг друга, обнимались, точно их избавили от тяжелой цепи, сковывавшей их самих. Это увлечение, которому я сам едва верю теперь, продолжалось очень недолго. Страх скоро погасил первую вспышку. Петербург не был ареной, на которой можно было безопасно обнаруживать подобные чувства".

Совсем иные чувства вызвали события Французской революции у представителей правящего дворянского сословия. Вот что например писал в секретном письме 2 декабря 1792 г. своему брату Александру русский посол в Лондоне Семен Воронцов: „Я вам говорил: это борьба не на живот, а на смерть между имущими классами и теми, кто ничего не имеет. И так как первых гораздо меньше, то в конце концов они должны быть побеждены. Зараза будет повсеместной. Наша отдаленность нас предохранит на некоторое время: мы будем последние, но и мы будем жертвами этой эпидемии. Вы и я ее не увидим, но мой сын увидит. Я решил научить его какому-нибудь ремеслу, слесарному, что ли, или столярному: когда его вассалы ему скажут, что он им больше не нужен и что они хотят поделить между собой его земли,—пусть он по крайней мере будет в состоянии заработать хлеб собственным трудом и иметь честь сделаться членом будущего муниципалитета в Пензе или Дмитрове. Эти ремесла ему больше пригодятся, чем греческий, латинский и математика".

Характерно письмо другого представителя дворянства, генерал-поручика П. С. Потемкина, отправленное им из Бреста 22 сентября 1794 г. И. И. Шувалову. Потемкин, очевидец революционных событий в Польше, пишет своему знатному адресату, в свое время имевшему личные отношения с французскими „философами": „Муж благости и друг Муз!.. Вы провели многие годы в столице просвещения—в Париже, знаменитом науками и художествами, а паче того знаменитом ныне варварством. Вы, будучи знакомы всем философам нашего века, Вольтеру, Руссо, Рейналю, Даламберту и грубому Дидероту, почерпнув не из сочинений их, но в беседах, где образ мыслей можно видеть живее, где одно иногда слово означает часто человека и часто открывает самые сокровенные изгибы сердца, вразумите меня, как могли они, столь знаменитые разумом люди, возбуждая народ к своеволию, не предвидеть пагубных последствий оного; как могли они не предузнать, что человек может быть премудр, но люди бывают буйны.

...Последователи их учения, обаятели слепых умов народа мнимою вольностью, умножаются. Дантон, Робеспьер, орудия и жертва зверских намерений, от своих казнены, но зло и яд зла существуют". Вспоминая очевидно о своей стране, он всего более „удивляется" тому, что „мятеж Варшавский так скоро разлил тонкий яд по всей земле, а еще удивительнее, что все шляхетство слепо этому предано, не чувствуя в энтузиазме своем того, что наивящая народная Рада Варшавская, во всем подражая Парижскому конвентному собранию, употребляя ныне руки ослепленных шляхтичей, кончит тем, что они-то и останутся жертвами новой системы". „Энтузиазм в дворянах,— возмущается он,—слепо действует" [27].

Разумеется такие оформленные мысли и чувства были свойственны далеко не широким слоям населения Москвы и Петербурга, тем более провинциальных городов. Но были в городе люди, которые радовались Французской революции, были люди, которые—купцы например—платили по 25 рублей за возможность прочитать „Путешествие"

Радищева, были люди из городской буржуазии, которые плакали, узнав об его аресте, были несомненно люди в городах, которые со вниманием и сочувствием прислушивались и приглядывались к тому, что происходит в деревнях, где сидели барин и мужик.

У нас нет, вопреки утверждениям Д. Мирского, никаких оснований и желания утверждать революционность русской дореформенной буржуазии, сравнивать и сближать в какой бы то ни было мере русское „третье сословие" с французским tiers état. Я неоднократно в своих работах указывал на то, что русская дореформенная буржуазия в своей верхушке великолепно уживалась с дворянством и царским правительством и „мужественно" мирилась с муками крепостного крестьянства. Но мы утверждаем, что тенденции капиталистического развития в XVIII в. и начале XIX в. были более значительны и более действенны, чем это обычно изображается. В быту, в художественной литературе эти тенденции буржуазного порядка, на фоне никогда не затихавшего крестьянского „беспокойства", несомненно должны были находить свое выражение. И „Путешествие" Радищева было только наиболее ярким, наиболее развернутым и смелым выражением крестьянских чувств и настроений, но в то же время оно было в известной мере и отражением настроений значительных „третьесословных" слоев городского населения. В „Почте Духов" Крылова (1789 г.) имеется такой разговор: „Как, — спросил, я, — кто ж у вас читает Платоновы сочинения о должностях, Наставления политикам, О состоянии землевладельцев и о Звании вельмож? — Купцы и мещане, — отвечал автор; а вельможи читают веселые сказки, детские выдумки и шутливые басенки".

Для литературоведа-марксиста не может быть безразличен тот факт, что издания XVIII в. относимые обычно к „низовой", „мещанской" литературе — романы, сатирические журналы, комедии буржуазной направленности, песенники и т. д., — зачитаны до ненаходимости, между тем как многие произведения „высокой" дворянской литературы, имевшие в отличие от произведений „низовой" литературы одно-два издания, дошли до нашего времени в большом количестве. Эта „мещанская" литература — печатная и рукописная, так слабо изученная, связанная и со старой русской письменностью, и с фольклором, оказывала влияние и на „высокую" литературу. И, влияя, создавала в ней новые качества, намечая новые пути литературного развития, расходившиеся с основным потоком дворянской литературы.

„Биографические" справки разумеется включают например В. Майкова в тесный круг отношений дворянской литературы, хотя он и связан в известной мере и с ярославским „купечеством", и с „промышленными" тенденциями века. Но „биографическая справка" не решает вопроса о характере и социальной действенности ряда его произведений. М. Дмитриев вспоминал в свое время, что „Майков никогда не считался на ряду с лучшими поэтами; он имел особый, не высший круг читателей". И недаром Л. Майков, издатель и комментатор в XIX в. сочинений В. Майкова, описав отношение В. Майкова к „источникам чисто народным", продолжает: „...факт замечательный в русской литературе по своей исключительности, эти отношения объясняют нам, почему Майков не поддался вполне ложно-классическому влиянию: писатель, знакомый с жизненными произведениями народного юмора и наблюдательности, не мог замкнуться в тесную рамку образов и форм, узаконенных условною теорией; его талант искал проявления свободного и сообразного с духом окружающей его народной жизни". Примеры стремлений к „народности" Л. Майков видит на страницах „Елисея", в „некоторых баснях", в них В. Майков изображает „жизнь... с меткостью и правдой, не затуманенной никакими предрассудками". С „русскими новеллами XVII—XVIII столетия..., с этой своеобразной ветвью нашей литературы, соприкасаются поэма „Елисей", басни и сказки Майкова".

Для иллюстрации того, насколько „своеобразно" звучат например некоторые басни В. Майкова, приведем басню Майкова и басню Сумарокова на одну и ту же тему. Басня В. Майкова „Господин с слугами в опасности жизни":

Корабль, свирепыми носим волнами в море,
Лишася всех снастей, уж мнит погибнуть вскоре.

В нем едет господин, при коем много слуг.
А этот господин имел великий дух,

Спросил бумаги в горе
И, взяв ее, слугам отпу́скную писал,
А написав ее, сказал:
„Рабы мои, прощайте,
Беды не ощущайте,

Оплакивайте вы лишь только смерть мою,
А вам я всем отпу́скную даю".

Один из них сказал боярину в ответ:

„Велик нам дар такой, да время грозно;
Пожаловал ты нам свободу, только поздно,
С которой в скорости мы все оставим свет".

В награде таковой не много барыша,
Когда она дается
В то время, как душа
Уж с телом расстается.

(В. И. Майков, Соч. и переводы, ред. П. А. Ефремова, СПБ., 1867, стр. 203).

Сумароковская басня на ту же тему: „Отпускная".

Корабль от бури в море тонет;
Народ на судне стонет:
Слуге хозяин тут отпу́скную дает;
Но в ней уж пользы нет;
И без отпускной льзя ийти на оный свет.
Нет места благости фортуны, нет и злобе;
Когда моя нога уже во гробе.

(Сумароков, Соч., ч. VII.)

Эти влияния имели место и в XIX в.; в плане усвоения или в плане отталкивания от них развивалась и русская литература первой половины XIX в., а не только в плане связей или разрыва с основным дворянским потоком литературы XVIII в.

Мы должны конкретизировать наши представления о дореформенной эпохе; мы должны помнить, что многое забыто, многое не отмечено, не сопоставлено с движением „высокой" литературы, останавливавшей на себе исключительное внимание науки прошлого. Многое уничтожено „традицией", которая во многих случаях однозначна с мерами полицейского воздействия на искусство. Так например, мы совсем не имеем тех „сатирических картин" конца XVIII в., о которых рассказывает А. Болотов в „Памятнике протекших времян". А между тем эти „картины" восполняют наше представление о наличии „буржуазных" чувств и их выражении в искусстве XVIII в. А. Болотов рассказывает:

„Никогда не было в народе и в Москве столько едких сатир и пасквилей, как ныне. Вошел и у нас манер осмеивать и ругать знатных картинками. Они были рисованные и с девизами карикатуры, но так, что по сходству лиц, стана, фигуры и платья можно тотчас распознавать, о ком шло дело. Все и многие знатнейшие фамилии были перебраны и начато с главнокомандующего Москвы, г. Измайлова. Он изображен был в своем точном виде, как по утрам сидит в шлафроке; в руки дана ему азбука с указкою, указывающею на литеру „глаголь"; генерал Михаил Львович Измайлов стоит с хлыстом и учит будто его грамоте; секретарь предлагает ему бумаги для подписывания, а другой рукой зажимает ему глаза; женщина с мешком денег тут же изображена, подающая онные и старающаяся подкупить.

Другая карикатура изображала генерала князя Юрия Володимеровича Долгорукова, во всех его орденах и нарядах, покрытого смурым кафтаном, сидящего на бочке вина

и окруженного подлым народом, которому будто кричит: „Сюда, сюда, ребята! Вино дешевое, хорошее. Авось не узнают, что я генерал". Друг и сообщник его, князь Сергей Сергиевич Гагарин, выгребает у него из-под ног деньги. Оба они наказаны по достоинству.

Третья карикатура изображала графа Орлова (Чесменского), гоняющего своих лошадей и занимающегося сим делом, с подписью: „Гоняю лошадей, могу гонять и людей".

Сим и подобным тому образом изображаемы были многие и другие из знатных, отличавшихся какою-нибудь особенностью; и более сорока фамилий сим образом разруганы. О всех сих карикатурах говорили, что они якобы были присланы из Петербурга и продавались в нюренбергской лавке; и всех их с строгостью отыскивали и отбирали" (91—92).

Нужно проследить, как отзвуки живой действительности или восприятие далекого прошлого находят себе последовательное выражение в литературе, выражение осмысленное в плане движения, проследить, как почти деловая регистрация явления развертывается — на высотах классового сознания — в содержательное, идеологически художественное произведение. Такие сдвиги в художественной литературе как отражение и выражение изменений реальной действительности проходят в язык художественной литературы, в тематику, в жанровые образования, при чем каждый сдвиг идеологизирован в линии развития той или иной линии классовой направленности. Разрыв и полная противопоставленность литературы XVIII в. с ее „рационалистической концепцией прекрасного" и литературы XIX в. — „буржуазно-индивидуалистической" — только тогда может быть декретирован, когда и та и другая берутся в их стилистических (и тем самым идеологических) завершениях, а не в длительном процессе противоречивого развития. Внимательный же анализ процесса дает не разрыв, а накопление нового качества.

Возьмем для иллюстрации тему Пугачева из крестьянского бунта, занявшую такое видное место в творчестве Пушкина. Обычное представление — эта тема снята для литературы после разгрома восстания; дворянство победившее не любило вспоминать о днях ужаса, о страшном „кошмаре". Но этот „кошмар" — непримиримость классовых противоречий — остался. И он находит свое выражение в движении к пушкинской постановке проблемы.

Свидетель и современник „кошмара", князь Щербатов, в год Французской революции (1789) не может забыть пережитых ужасов, не может простить „власти" ее „беспечности" и классовой „мягкости": „Охуляю я беспечность правления во время бунта Пугачева, отчего более тысячи дворянских фамилий и множество народа истреблено было, и многие области разорение претерпели. Охуляю я самую его казнь, яко весьма облегченную по соразмерности его преступления" (II, 255—256).

Вот в „Московском Курьере" 1806 г. Д. Зиновьев в очерке „Михельсон в бывшее в Казани возмущение " восклицает: „Сограждане! Тридцать лет прошло после истребления Самозванца; но грозного феномена черты, преисполненные беззакония и адской злобы, вечно будут презрением и отвращением потомства, и в самом непроницаемом мраке времен не перестанет поражать гром проклятий" (III, 242—243). С возмущением рассказывает автор об „изменнике"-подпоручике Минееве, перешедшем на сторону Пугачева, о рабочих казенных Ижевского и Воткинского винокуренных заводов („работников большая часть по своему произволению записались злодею в службу"). Здесь же, в романе „Модест и Муза", рассказывается чувствительная история дворянской девочки Музы, которую дворовые спасли от Пугачева, переодев ее крестьянкой; живет она у крестьян, но в конце концов тайна раскрывается, и она возвращается в свое сословие.

Детские впечатления арзамасца Д. Н. Блудова пропитаны жуткими воспоминаниями прошлого и предчувствиями новых ужасов: „в то время (конец XVIII в., в Казанской губернии) еще свежи были следы Пугачевщины и волжских разбойников, которые, как бы по завещанию Пугачева, наследовали его занятие и эту местность... Две небольшие пушченки, служившие при обороне деревни и барского двора, существуют только где-то в отвале, заброшенные, а еще во время детства Дмитрия Николаевича они играли важную роль" [28].

Но не везде старинные пушки лежали „в отвале". Вот например какую картину рисует ученый путешественник, казанский профессор, искавший за Камой „цельтические древности". За Камой, около Лашева, на винокуренном и поташном заводе подполковника Кандалинцова, в доме его управляющего, „весьма приятного и образованного человека", заснул он „с Сенекою в руках". „Поутру, — повествует он, — обозревая из окна моей спальни окрестности, я заметил на дворе перед воротами небольшую с н а р я ж е н н у ю п у ш к у, н а п р а в л е н н у ю п р о т и в в х о д а в з а в о д (курсив мой.— *В. Д.*); вправе маленькое озеро, образованное источником, на коем плавали величественные лебеди; покатость горы усажена была кустарниками в английском вкусе; словом, я нашел все, что в уединении могло бы расположить человека к истинному душевному удовольствию" [29].

Кое-кто видел еще „живых" пугачевцев. Так Ф. Булгарин видел их в Кронштадте „на каторжном дворе", видел он здесь и „человека замечательного, племянника казака Шелудякова", „бывшего секретаря пугачевской канцелярии"; в 1809 г. ему было около 60 лет, он „был удален от всякого сообщества с каторжными", „не пил водки, не курил и не нюхал табаку", „толковал" Булгарину Ветхий завет. Что и как ему „толковал" Шелудяков, какой разговор он вел о пугачевском бунте с вкравшимся к нему в доверие Булгариным, мы не знаем, об этом мудрый Булгарин не сообщает. Но вот его конечное впечатление: „Я видел еще в н а т у р е настоящих разбойников и Пугачевских сподвижников!!! И вспомнить страшно! Что за фигуры, что за ухватки, что за язык!" [30]

Но видим мы оттенки „воспоминаний о Пугачеве" и иного порядка. Вот на старости лет „Бобровский гражданин Севостьянов", из купцов, родившийся около 1780 г., защищает тезис „сердцу человеческому свойственна любовь" и аргументирует воспоминаниями юности: „Возьмем в пример мятежного Пугачева. Ожесточенный против всего человечества, заглушивший все почти нежные чувствования к ближним и потушивший кровью нежных жертв, принесенных своему бесчеловечию, весь пламень любви к родным, он не совсем был бесчувствен к любви и дружеству в минуты пробуждения в нем человеческой природы" [31].

Н. Страхов, в XVIII в. издатель сатирических журналов, в 1810 г., в очерке „с натуры" „Благодарность", разрабатывает пушкинскую тему „заячьего тулупчика". Содержание очерка следующее: помещик Петр Яковлевич К. приехал в свои пензенские деревни во время восстания Пугачева. Собственные крестьяне К. „остригли его в кружок, надели крестьянскую рубаху и платье, потом велев священнику приобщить его святых таинств посадили в телегу и везли верст около ста", везли „к батюшке" (Пугачеву). Спас помещика начальник одного из отрядов Пугачева, крестьянин соседнего имения, которого П. Я. К. часто избавлял „от побоев и сечения" его сурового господина. Съездив к более высокому начальству, вероятно к самому Пугачеву, начальник отряда отпустил помещика со словами: „... Твоя жизнь дарована мне. Вот тебе краюха хлеба и жестяной билет, с которым тебя никто наши тронуть не смеет. Ступай! Держись правой стороны, где находится с войсками ваш граф Панин" [32].

Здесь, как видим, гораздо раньше Пушкина сделана попытка „снятия" противоречия между барином и крестьянином, снятия возможного повторения „бунта" призывом к гуманности, к „добрым" отношениям между господином и крепостным, указанием на общую всем врожденную доброту человеческой „природы".

Любопытна попытка романтического „осмысления" Пугачева, сделанная неизвестным казанским поэтом в „повести" „Мятежник Пугачев". В журнале помещен только „отрывок из повести". Отец Пугачева, по отрывку, — герой, погибший „на поле чести", сам Пугачев — храбрый воин, в битве с турками он „первый по геройству был", но „честолюбием сгорал". Повесть — в стихах. Вот как описывает Пугачева автор:

Его природа полюбила
И при рожденьи наградила —
Прекрасным мужеским лицом,
Высоким станом, гибким, стройным

И взором огненным, проворным
И проницательным умом.
. . . . . .
Рожденный с пламенной душой,
Себя желаньем славы мучил, и т. д.[33]

Не знаем, как развернул бы судьбу своего героя автор; но и по отрывку видно, как *далеки черты этого романтического персонажа от „феномена, преисполненного беззакония и адской злобы"* „Московского Курьера" 1806 г.

VII

Классовая противопоставленность и классовая направленность литературных явлений XVIII в. будет для нас ощутительнее и яснее, когда мы всю литературу XVIII в. подвергнем изучению как выражение действительности противоречивой и сложной, как выражение общества не застывшего, а находящегося в движении, в развитии. Если крестьянство *не победило* в XVIII в., *если буржуазные тенденции* в XVIII в. не нашли и не могли найти революционного выражения, то это еще не означает, что дворянство в области художественного творчества жило на каком-то острове идеального благополучия и спокойствия, которое давало ему возможность абсолютной „эстетизации искусства", свободного от необходимости быть искусством классово направленным. Можно конечно написать и такую фразу, что феодализм XVIII в. мог „обходиться безо всякой полемической, самооправдывающейся идеологии", как это сделал Д. Мирский. Но чтобы согласиться с этим, нужно забыть русскую историографию XVIII в., подготовившую Карамзина, забыть образы „честных" и „добрых", дворян в литературе XVIII в., противопоставляемых дворянам „злонравным", нужно забыть литературно „просвещенного монарха" XVIII в., вкупе с мудрыми советниками и помощниками устрояющего „благо народное", нужно забыть таких литературных деятелей, как Щербатов, Болотов и т. д. Олимпийского спокойствия не знала дворянская литература XVIII в. Разумеется классовая тревога не принимала в литературе XVIII в. таких размеров, как в XIX в., накануне реформы, но и замалчивать ее, чтобы затем установить к ней отношение как к искусству исходившему только из „отвлеченных рационалистических концепций прекрасного", мы не можем. „Поэты русского классицизма, — заверяет Г. Гуковский, — писали о любви вообще, об отвлеченной морали", обосновывали свою „художественную манеру... например законом жанра как одной из схем закономерно должного в искусстве", следовали „императиву рациональной закономерности". Но ведь и Г. Гуковский не должен бы забывать того, что эти „закономерность должного" и „рациональная закономерность" понятия идеалистической, формалистической эстетики. „Буржуазному индивидуализму, — говорит он, — нечего было делать с поэзией, законом которой была... рационалистическая концепция прекрасного". Это не совсем то, что было в исторической действительности.

И „буржуазный индивидуализм" знал, что делать с „вневременной" концепцией прекрасного, а революционно демократическая мысль XIX в. боролась с ней как с теорией и практикой классово направленного искусства. Нашему времени Г. Гуковский предлагает преодолеть „слепоту и узость" буржуазного индивидуализма. Но марксистский путь преодоления этой „слепоты" — совсем не тот путь эстетического вкусового вчувствования в искусство XVIII в., который предлагает Г. Гуковский, а совсем другой. Ведь не так далеко еще то время, когда преодолевший „слепоту" буржуазного индивидуализма русский формализм под знаком этой слепоты „преодолевал" не только буржуазную „узость", но и марксистскую материалистическую „ограниченность".

В том-то и заключается шаткость и слабость принципиальных позиций и Г. Гуковского, и Д. Мирского, что свою борьбу „за" и „против" литературы XVIII в. они ведут в конце концов с идеалистических позиций.

Правда, они благосклонно разрешают изучать и литературу „низов", но их чисто эстетский вкусовой подход к литературе XVIII в. этим разрешением нисколько не сни-

мается. Нет никакого сомнения, что „рационалистическая концепция прекрасного" и до сих пор еще, в значительной мере, определяет направление историко-литературных изысканий и симпатий Г. Гуковского.

Задачи марксистского литературоведения, задачи усвоения наследия прошлого гораздо сложнее, чем это думает Г. Гуковский. Переосмысление должно итти в плане детального изучения прошлого. Разумеется в результате этого переосмысления марксистская наука и из литературы XVIII в., как и из всей русской и мировой литературы прошлого, отберет и наследует наиболее исторически значимое, наиболее художественно ценное. Но отбор будет дан не с позиций вневременной рационалистической концепции прекрасного; сама эта „рационалистическая концепция", меняющая свои очертания в разных исторических классовых отношениях, должна явиться также объектом исторического изучения — в ее обусловленности, в классовой направленности, в социальной действенности для эпохи строительства социалистической культуры.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Вот что мы читаем в „Современнике" по поводу выхода первого тома сочинений Державина под ред. Я. Грота:

„Люди могут дорожить только тем наследством, которое важно для их собственного успеха и благополучия.

... Когда общество забывает „наследие" прошедшего, это значит только, что наследие его далеко не удовлетворяет, и винить его за это невозможно: чем же виновато общество в этом забвении, если прошедшее ничего ему не представляет кроме отживших традиций, кроме неутешительных фактов невежества и грубости. Собственные его стремления не находят в прошедшем никакой поддержки и общество по необходимости обращается в другую сторону".

„Современник" 1864 г., № 1, „Новые книги", стр. 107.

[2] Чернышевский, Н. Г. Соч., т. III, стр. 276 и далее.

[3] Haxthausen, Stadien, т. I, стр. 118.

[4] Чернышевский, Н. Г. Соч., т. III, стр. 279.

[5] Кулишер, И., Вопросы истории русской промышленности и промышленного труда (в дореформенное время), постановка их в нашей исторической литературе.— „Архив истории труда в России", ч. 1-я, Петроград, 1921 г., стр. 29. Разрядка в цитате моя. — *В. Д.*

[6] Цитирую по собр. соч., т. I, стр. 353.

[7] Там же, стр. 323.

[8] Там же, стр. 311.

[9] Там же, стр. 147. Там же, говоря о „создании национальных связей" в России, „примерно с XVII века", В. И. Ленин говорит, что „создание этих национальных связей" („концентрирование небольших местных рынков в один всероссийский рынок") „было ничем иным, как созданием связей буржуазных", стр. 73.

[10] „Развитие капитализма в России," собр. соч., т. III, стр. 295.

[11] Там же, стр. 354.

[12] „Многие тульские оружейники имеют собственные разного рода фабрики и некоторые из них даже довольно значительные; так например, у Петра и Сергея Гайдаровых есть для переплавки чугуна и для отливания из оного разных вещей завод, действующий паровою машиною". (Курсив мой. — *В. Д.*) I. Гамель. Описание Тульского оружейного завода. Москва, 1826 г., 86 стр. „К 1826 году, — сообщает Гамель, — собственные „фабрики" были уже у 49 тульских оружейников". См. прибавление к „Описанию", стр. 67 — 69, где дан поименный список этих „фабрикантов" с указанием спецификации фабрик.

[13] „Русские промышленные и торговые компании в первой половине XVIII столетия". СПБ., 1899., 64 стр. и след.

[14] Любомиров, П., Ткацкая промышленность Астрахани в XVIII и первой половине XIX в. Астрахань, 1926 г. (оттиск из журнала „Наш Край" 1926 г., № 2).

[15] Томсинский, С. Г., Крепостной или вольнонаемный рабочий. См. издание Ак. Наук. „Крепостная мануфактура в России, ч. IV: Социальный состав рабочих первой половины XVIII века", Л., 1934 г., стр. XXXIX — XLII.

[16] Кеппен, П., Девятая ревизия. Исследование о числе жителей в России в 1851 году. СПБ., 1857 г., стр. 293.

[17] Механик Ползунов построил на калыванских заводах паровую машину в 1766 г. („первая паровая машина для действия заводского"); паровая машина в Кронштадте, при канале Петра Великого, построена в 1777 г. См. Меньшенина, Д., О успехах горного промысла в России. СПБ., 1829 г., стр. 55 — 56.

[18] Зябловский, Е., Российская статистика, ч. II, СПБ., 1832 г., стр. 119 — 120.

[19] Глинка, С., Записки о Москве и заграничных путешествиях от исхода 1812 до половины 1815 года. СПБ., 1837 г., стр. 125 — 126 (главка: „Движение гражданского и промышленного сословия").

[20] Болотов, добавим мы к характеристике П. Знаменского, говоря даже о ценимых им лицах духовного звания, не забывает всегда сказать при этом: „не взирая на его породу".

[21] Напечатано в „Вестнике Географ. Общества" 1859 г., кн. 7-я, стр. 52 — 53.

[22] См. у Е. Романович-Славатинского. „Дворянство в России". СПБ., 1870 г., стр. 280 и др.

[23] Лубяновский, Ф. П., Воспоминания (1777 — 1834). М., 1872 г., стр. III.

[24] „Достопамятный год жизни Августа Коцебу или заточение его в Сибири и возвращение оттуда, писанное им самим," пер. с немецк. М., 1806 г., ч. II, стр. 165.

[25] Болотов, А. Т., Памятник протекших времен или краткие исторические записки о бывших происшествиях и носившихся в народе слухах. М., 1875 г., стр. 57.

[26] „Bulletin national hebdomadaire" (без места и года печати), № 21, le 28 octobre (28 октября 1794 г.), p. 245.

[27] „Северная Минерва". Журнал, изд. Ир. Ветринским. СПБ., 1832 г., ч. I, стр. 104 — 108. Письмо было доставлено в редакцию графом Д. И. Хвостовым в копии, полученной им от Потемкина в 1795 г.

[28] Ковалевский, Е г., Граф Блудов и его время. СПБ., 1886 г., стр. 11.

[29] „Заволжский Муравей " Казань, 1834 г., № 2: „Замечания во время путешествия по берегу Камы и в Оренбургской губернии", стр. 83.

[30] Булгарин, Ф., Воспоминания, ч. VI, СПБ., 1849 г., стр. 141 — 144.

[31] „Досуги в стихах и прозе Бобровского гражданина Константина Севостьянова". М., 1850 г., стр. 33. Вспоминая свой „путь к словесности", автор сообщает: „Сумароков в театре своем очищал мою нравственность; Ломоносова Грамматика и Риторика, при помощи Рижского Логики, показывали мне правила, как сознавать красоту и силу словесности в стихах и прозе".

[32] Страхов, Н., Мои петербургские сумерки. СПБ., 1810 г., ч. I, стр. 86 — 87.

[33] „Заволжский Муравей". Казань, 1833 г., № 14, стр. 169 — 170.

ОТВЕТ И. СЕРГИЕВСКОМУ и В. ДЕСНИЦКОМУ

Статья Д. Мирского

Моя статья «О некоторых вопросах изучения русской литературы XVIII в.» вызвала дискуссию в ИРЛИ Академии Наук и статьи И. Сергиевского и В. Десницкого. Материалы дискуссии остаются неопубликованными и поэтому мне придется их оставить в стороне. Замечу только, что хотя при обсуждении моей статьи и моего доклада некоторые из выступавших правильно указывали на отдельные ошибки, однако ни одного сколько-нибудь убедительного возражения против моей концепции в целом выдвинуто не было.

Что же касается до статей Сергиевского и Десницкого, то я должен с сожалением отметить, что оба мои оппонента в ряде случаев не точно передают мои слова, а иногда приписывают мне утверждения, которых в моей статье нет. Сергиевский например приписывает мне утверждение, «что Европа XVIII в. была страной уже вполне буржуазной». Не говоря о том, что я Европу «страной» никогда не называл, я на самом деле говорил, что в XVIII в. «Европа была уже в живой и жизнеспособной своей части вполне буржуазной». Сергиевский имел право меня не понять, он имел право найти мою формулировку неясной, но он не имел права молчаливо выбрасывать из нее ее существеннейшую часть. В другом месте Сергиевский утверждает, что, «говоря о буржуазно-демократической оппозиции в русской литературе XVIII в.», я называю «одного только Радищева», тогда как на самом деле в инкриминируемом месте я называю кроме Радищева, Новикова и Крылова. Опять-таки Сергиевский имел право оспаривать мое сближение Новикова и Крылова с Радищевым, но утверждение, что я называю «одного только» Радищева, есть утверждение ложное.

Десницкий цитирует фразы из разных мест моей статьи и ставит их в произвольную связь. Так он приписывает мне утверждение, что русское искусство XVIII в. было основано на заданной традиционной форме, тесно связанной с условным традиционным содержанием, и что поэтому («посему», как с тонкой иронией пишет Десницкий) в специфической области искусства «создавалась возможность явлений, сближающих вершины дворянской поэзии XVIII в. с Ренессансом» хотя я и говорю об этой «возможности» совершенно в иной связи и обосновываю ее совершенно другими соображениями.

Положительное значение статьи Десницкого в том, что он молчаливо отказывается от худшей стороны концепции, развернутой им во вступительной статье к «Ирои-комической поэме». В новой статье нет ни безоговорочного отождествления развития производства на вывоз с развитием капитализма, ни лирических восторгов перед крепостной промышленностью, доходящих до утверждения, что «в развитии уральской промышленности XVIII в.» были даны предвестия «того места» (что значит «предвестия места»?), на который поднимает Урал советская власть, ни упорного стремления уравнять «торгово-промышленную буржуазию» с крестьянством как врагов дворянства. Ни слова об отказе от всего этого в новой статье нет, но уже отсутствие всех этих нелепостей есть некоторый шаг вперед. Но с их исчезновением улетучилась и вся концепция Десницкого. В новой статье нет никакой концепции и поэтому спорить с ней нельзя. Как спорить с автором, который, чтобы обосновать то положение, что капиталистическая

промышленность играла значительную роль в XVIII в., нагромождает целые страницы цитат, доказывающих ее быстрый рост в первой половине XIX в.? Если он думает, что этим материалом он опровергает меня, я могу только заметить, что я указываю именно на последнее десятилетие XVIII в. как на время перелома, с которого начинается ускоренное развитие предпосылок капитализма.

Вообще, несколько раз обвиняя меня в неконкретном подходе к эпохе, Десницкий сам проявляет чудовищное отсутствие конкретности. Весь период крепостничества до 1861 г. сливается у него в одно. Говоря о борьбе классов в XVIII в., он цитирует как относящиеся сюда слова Ленина о последних десятилетиях перед крестьянской реформой. Для характеристики отношения русского сельского духовенства к помещикам он цитирует украинские стихи об украинских отношениях, повидимому даже не заметив, что стихи написаны по-украински. Издеваясь над моим марксизмом, который ему кажется «оригинальным» и «веселым», сам Десницкий дает меру своего понимания марксизма в том «объяснении», которое он находит дворянскому вольнодумству XVIII в. Оказывается, что это вольнодумство было следствием вражды дворянства к сельскому духовенству, которое он представляет чуть ли не как идеологический авангард революционного крестьянства, при чем на помощь призывается даже духовное происхождение Чернышевского и Добролюбова. Правда, прямо утверждать такую нелепость и прямо предлагать такое объяснение Десницкий не решается, но весь пятый раздел его статьи явным образом приглашает читателя сделать такие выводы.

Кроме передержки и нагромождения цитат не по существу единственное орудие полемики, которым он пользуется, — «убийственная» ирония. Найдя в моей статье ряд положений, которые ему самому никогда не приходили в голову, он считает достаточным их просто цитировать, снабдив соответствующими ужимками, чтобы меня «убить». Он пишет например: «Д. Мирский знает, что в допетровской России не было художественной литературы как обособленной и устойчивой деятельности... Он знает тоже, что Киевской Русью «византийская художественная литература не была воспринята вовсе»... Десницкий этого не знает; что ж, это факт его биографии, за который я не отвечаю. Но для человека, претендующего на звание литературоведа, не знать таких вещей довольно стыдно.

Статья Сергиевского посвящена нахождению в моей статье «путаницы» и «недомыслия». При помощи того приема неточных цитат, которым к сожалению пользуется Сергиевский, можно найти у меня какую угодно путаницу. Все рассуждение Сергиевского о «грубой ошибке», которую я совершаю, «утверждая, что Европа XVIII в. была страной (!) уже вполне буржуазной», висит на такой неточной цитате. Я допускаю, что Сергиевский мог не понять, что значит «в живой и жизнеспособной своей части» (конечно это для него не оправдание — не поняв фразы, он должен был на ней тем более критически остановиться) и что это выражение недостаточно конкретно. В моем докладе в ИРЛИ я развернул и конкретизировал это положение. Поскольку этот доклад остается неопубликован, я вкратце повторю, что я тогда говрил.

В Западной Европе в XVIII в. рост производительных сил происходил уже исключительно на основе буржуазного способа производства. Феодализм был еще силен и политически (кроме Англии) был господствующей силой. Но экономически он был уже бесплоден. В России, наоборот, крепостничество в течение всего XVIII в. экономически усиливалось. Феодальный способ производства рос экстенсивно, распространяясь на новые территории и на новые отрасли хозяйства (промышленность), и интенсивно, безмерно усиливая барщинную эксплоатацию крестьян. Причиной этого была не только отсталость страны в сравнении с Западом, но и главным образом те исключительные возможности территориальной экспансии, которые Ленин считал моментом, в огромной мере задерживающим развитие капитализма и ликвидацию господства феодализма на всех этапах истории царской России. Русский феодализм «учился» у Запада, заимствуя у него не столько технику, сколько техников. Но в течение долгого времени все буржуазного происхождения заимствования шли на службу крепостничества и укрепляли его экономические позиции. Все это создавало отношения в достаточной степени «самобытные» — эпитет, примененный Лениным к наиболее характерному проявлению этой

фазы русского феодализма — крепостной промышленности. Конечно в этом запоздалом «расцвете» феодализма были заложены противоречия, неизбежно приведшие его в тупик (из экономических процессов, которые вели в этот тупик, одним из главных был рост оброчной эксплоатации крестьянства в центральных районах, протекавший одновременно с ростом барщины в районах черноземных и льноводческих). Но перелом наметился только на рубеже XVIII и XIX в. Еще в 80-х годах купцы, не добившись крепостных рабочих, закрывали заводы (олонецкая металлургия). В 90-х же годах начинается рост — незначительный сперва по абсолютным цифрам — вольнонаемного фабричного труда. В 1810-х годах барщинное хозяйство, уже зашедшее в тупик, начинает пытаться перестроиться в капиталистическом направлении. Эпоха феодальной экономической экспансии кончена. Дальнейшее экономическое развитие становится возможно только на капиталистических путях, и Россия «в живой и жизнеспособной своей части» становится столь же буржуазной, как Западная Европа.

Сергиевский пишет, что «элементы капиталистического развития, хотя и в весьма неразвернутом виде, были и в XVIII в.». Конечно были. «Неразвернутые элементы капитализма» появляются очень рано в человеческой истории. Вольнонаемная мануфактура существовала и в Вавилоне при царе Хаммураби, и в рабовладельческих Афинах, и в ранне-феодальной империи Карла Великого. На этом основании буржуазные историки вроде Допша пытаются доказать, что «капитализм существовал всегда»: и является не исторической категорией, а свойством человеческой природы. Для того чтобы говорить об этих элементах как зародышах капитализма, надо, чтобы эти элементы развивались. А в XVIII в. элементы капитализма были не только в «неразвернутом», но и в неразвертывающемся виде. В этом все дело. «Буржуазия» же, лишь в совершенно ничтожной своей части промышленная, вела трудную оборонительную (и совершенно лойяльную) борьбу против феодального дворянства. Борьба эта была более сословная, чем классовая. Среди основных домогательств купечества было стремление сохранить право на крепостной труд и всячески препятствовать торговой конкуренции крестьян, которой покровительствовали помещики, взимавшие с нее жирные оброки.

Что же касается до «европеизации» крепостнического дворянства, я никогда не утверждал, что она была «наносной». Для его «европеизации» были основания в самой природе русского феодализма XVIII в. Это был феодализм своеобразный в том отношении, что он не опирался на традицию и обычное право, а наступал, разрушая традиционные формы жизни, феодализм расширяющийся, которого консервативная традиция стесняла. Отсюда же его — впрочем весьма относительное — вольнодумство.

Европейские идеологии, акклиматизируясь в России, получали иной смысл. Технически крепостная мануфактура была сходна с капиталистической, но социально это было совершенно инородное явление. Также и русское дворянское вольтерьянство при всем внешнем сходстве с французским (даже с дворянским французским) было по существу нечто совершенно иное.

Из других «недомыслий», которые у меня находит Сергиевский, остановлюсь на трех. Во-первых, ему очень не нравится мое положение, что борьба внутри дворянского лагеря была прежде всего борьбой клик без всяких принципиально-классовых разногласий. Экономическая подоплека v этой борьбы конечно была, но весьма специфического характера: одну клику (напр. Екатерину до ее царствования) субсидировали англичане другую, скажем, австрийцы. Когда одна клика приходила к власти, ее члены получали населенные имения, а у побежденной клики населенные имения отнимались. Борьба клик в феодальном государстве играет ту же роль, что коммерческая конкуренция в буржуазном. Когда в США две компании строили две параллельные ж.-д. линии из Балтиморы в Цинцинати, они боролись между собой не менее ожесточенно, чем Орловы с Петром III. Но это не значит, что эти две компании были экономически разнородные группы. Конечно и в XVIII в. была и принципиальная борьба за разные пути развития крепостной империи. Так борьба шляхетства с верховниками была принципиальная политическая борьба.

«Монаршическая» оппозиция Щербатова диктатуре Потемкина была тоже принципиальной борьбой. Но борьбой не социальной и не экономической, а чисто администра-

тивно-политической. Сергиевский приписывает мне стремление свести всю внутридворянскую борьбу к борьбе между дворянами умными и глупыми. Очевидно Сергиевский считает, что все дворяне были одинаково умны, и притом так умны, что все от природы понимали лучший способ обеспечить свои классовые интересы. Он очевидно представляет себе, что политика возникает сама собой, как Паллада из головы Зевса, и что каждому интересу каждой группы и прослойки соответствует одна единственная и совершенно очевидная политика. Представление довольно наивное. Всякая политика вырабатывается в борьбе, в борьбе между течениями, представляющими те же интересы, но разно оценивающие пути их достижения. Там, где классовая борьба сложна и где между основными борющимися классами имеются многочисленные политически активные промежуточные прослойки, или где часть революционного класса находится под влиянием классово чуждых элементов (социал-фашисты), борьба внутри господствующего класса за ту или другую политику сводится в значительной степени к борьбе за тот или иной способ маневрирования господствующего класса между промежуточными группами за тот или другой вид демагогии. Но одни и те же группы, одни и те же заправилы монополистического капитала будут сегодня заигрывать с социал-фашизмом, а завтра пользоваться фашистами. Группы социально совершенно тождественные, но персонально разные могут это делать одновременно. В России XVIII в. не было политически активных прослоек между крепостниками и крестьянством (только в колониях были подобные прослойки). Поэтому борьба за выбор политики не принимала формы маневрирования, а чисто внутреннего спора об административно-политической организации. Вопрос шел о том, как согласовать максимальную «вольность» дворянства с прочной системой подавления масс. Позиция Щербатова была по существу утопическая, так как он игнорировал реальную угрозу крестьянской революции. С точки зрения интересов своего класса он был глупым, а Потемкин и Екатерина умными. Но утопичность его позиции позволяла ему с некоторой смелостью критиковать своих противников, реальных руководителей класса, и поэтому его публицистика с нашей точки зрения умнее литературных упражнений Екатерины. Впрочем у Сергиевского обо всем этом деле весьма туманные представления. Цитаделью всякого фрондерства ему кажется «придворная знать». Мы привыкли думать, что именно придворная знать управляла страной. Мелкое и среднее дворянство, по Сергиевскому, было постоянной опорой самодержавия против происков «придворной знати». А кто же были ярославские дворяне, избравшие Щербатова в Комиссию? Или маршал комиссии Бибиков, всячески саботировавший ее работу, был представителем «мелкого и среднего дворянства», а уездные депутаты были ставленники «придворной знати»?

Второе замечание — о реализме. У нас все еще употребляют этот термин в двух смыслах — в смысле «верности изображения деталей» (реалистическая манера) и в смысле изображения «действительности в ее революционном развитии». Я виноват, что в моей статье не оговорил, в каком именно смысле я употребляю этот термин. Сергиевский же сам не знает, в каком смысле его употребляет. Сначала он говорит, что «самый факт реалистичности, обращенности к жизненной действительности... имел определенное революционирующее значение». Из контекста ясно, что «обращенность к действительности», противопоставляемая «идеалистическому, абстрактному» искусству классицизма, означает именно то, что Энгельс называл «верность деталей». Но несколькими строчками раньше Сергиевский говорит, что «подлинно реалистично искусство, не просто тяготеющее к реально-бытовому материалу, а искусство исторически правдивое, верное жизненному процессу». Т. е., иначе сказать, простая «обращенность» к действительности еще не есть реализм. Тут элементарная логическая ошибка quatermio termimorum. Может быть Сергиевский думает, что совершение ошибок против элементарной логики — необходимое условие диалектического мышления? По существу вопроса надо заметить следующее: реалистическая литература XVIII в., о которой идет речь, может называться реалистической только в первом смысле, в смысле «верности деталей», «простого тяготения к реально-бытовому материалу». В высшем «бальзаковском» смысле она не реалистична. Несмотря на это, она при прочих равных условиях значительно ценней «абстрактного искусства классицизма», так как имеет больше познавательной

ценности, хотя и ограниченной отсутствием подлинного понимания того, что Сергиевский называет «жизненным процессом». К этому надо прибавить, что эта реалистическая литература остается в пределах «искусства классицизма», к «низшим» жанрам которого она принадлежит; основное в классицизме — его «сословно-жанровая иерархия», при которой реальные люди-плебеи (и даже мелкие дворяне) могут быть изображаемы только в низших родах и только комически или сатирически.

Наконец последнее, более частное замечание. Сергиевский называет «беспредметным» мое положение о разрыве литературной традиции между XVIII и XIX в. Чтобы опровергнуть мою мысль, ему кажется «достаточным» указать «на витийственную, прямо опирающуюся на философскую оду Державина лирику поэтов-любомудров типа Шевырева или Хомякова». Утверждать связь Шевырева, а тем более Хомякова с Державиным можно только если считать, что всякая «витийственная» поэзия восходит к Державину, а утверждать это можно только если упрямо ограничивать свой кругозор одной русской литературой. Поэзия любомудров развивалась под очень сильным иностранным влиянием. На нее имела большое влияние лирика Шиллера и его немецких современников, тоже витийственная и гораздо более философская, чем державинская; лично Шевырев воспринял сильнейшие итальянские влияния, особенно влияние «витийственных» поэтов XVII в. (Кьябрера, Филикайя); Хомяков прежде всего ученик французских романтиков и «преромантиков» (Делавинь, ранний Гюго). Кроме того Хомяков очень близок к Бенедиктову, т. е. принадлежит к тому «декадентскому» течению, которое органически развивалось из распада пушкинской системы.

Я вполне признаю, что моя статья, даже дополненная моим докладом в ИРЛИ, не дает развернутого обоснования всех выдвинутых мной положений. Такое развернутое обоснование я постараюсь дать, если обстоятельства позволят, в близком будущем. В этой заметке, вызванной двумя не слишком серьезными полемическими статьями, давать такое обоснование было бы неуместно. Дать его мне придется уже не в полемической форме по той простой причине, что ни одного серьезного возражения против моих положений до сих пор выдвинуто не было.

Справедливость требует прибавить, что в статье Сергиевского есть одно правильное замечание: Герцена действительно нельзя было безоговорочно называть либералом. Либерализм, как показал Ленин, был преходящей фазой в его деятельности, снятой его революционно-демократической работой после 1862 г.

ИСТОРИЯ У ИСТОРИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ

Статья Г. Гайсиновича

Это уже стало традицией: писатель пишет исторические романы, повести и рассказы, а историк их критикует. Мало исторических художественных произведений, которые удовлетворили бы научным требованиям историка. Пушкин и Кукольник, Загоскин и Мордовцев, А. Толстой и А. Толстой (один — автор „Князя Серебряного", другой — наш современник, автор „Петра I") — все они подвергались более или менее строгой, более или менее справедливой критике.

Скажем прямо, в этой критике многое объяснялось непониманием особенностей художественной литературы, стиранием граней между наукой и искусством. Такое непонимание обнаруживают порой и специалисты-литературоведы и литературные критики. Когда В. Перцов в связи с „Историей заводов" выступил недавно на страницах „Литературной Газеты" с положением о „стопроцентном историческом романе", то защищал он явно неверный тезис. Исторический роман не может быть историческим на все сто процентов, а если он стопроцентно-исторический, то это не роман со всеми присущими этому виду литературы особенностями, резко отличающими его от научно-исторического произведения, с вымыслом, с выдуманными героями и ситуациями и т. д. Хуже с литературоведением. Когда историк литературы объясняет литературные явления прошлого из неверно понятых исторических особенностей эпохи, то тут никаких „оправдывающих" обстоятельств нет.

Можно выставить такое печальное, но, думается, правильное положение: литературоведение, черпающее значительную часть своего материала из арсенала исторической науки, слишком часто отстает от последней. Литературоведение прибегает нередко к отжившим историческим теориям, к устаревшим взглядам. Здесь не только простое незнание. В неверных исторических теориях Переверзева и его школы не одно лишь невежество, а определенная политическая установка, в свое время получившая достаточно четкую квалификацию.

Что в литературоведении необходима особенная тщательность в объяснении исторического материала — вряд ли нужно доказывать; что и в наши дни здесь далеко не все благополучно, мы увидим ниже на примере нескольких упражнений литературоведов на поприще истории России XVIII и первой половины XIX в.

Вообще говоря, литературе XVIII в. за последнее время везет чрезвычайно. Специальный № 9—10 „Литературного Наследства", план издания Радищева, издание Пнина, издание Державина, сборник „Ирои-комическая поэма", книга В. Шкловского „Чулков и Левшин" — не исчерпывают списка работ, относящихся к XVIII в. Мы остановимся лишь на последних двух и разберем их общеисторические установки.

* *
*

В. Шкловский ставит перед собой задачу доказать, „что развитие России XVIII в. имело не ту последовательность, как развитие Англии" (5). Задача столь же трудная, сколь и невыполнимая, ибо последовательность истории России при всех ее своеобразных особенностях — та же, что и Англии. Мысль об „особенной стати" Руси имеет весьма порядочную давность, была в свое время ареной ожесточенных политических боев. Мысль эта давным давно отвергнута по причине ее неправильности и принци-

пиальной негодности. Как же В. Шкловский доказывает „обратную последовательность"? Впрочем он не столько доказывает, сколько заявляет. А заявляет он следующее:

„Классическое представление о том, что „товарность хозяйства все время возрастает" (9) неправильно. В XVIII веке в России была развита промышленность, многолюдные города, влиятельное купечество, сильно диференцированное крестьянство. Крепостническая Россия XVIII века была государством с большой торговлей и промышленностью... на почве этой торговли появилось крупное купечество. Рядом с ним работало и конкурировало торгующее крестьянство" (28). „Что же произошло дальше?" спрашивает В. Шкловский (17). И отвечает, что дальше, в первой половине XIX в., все пошло вспять: „Переход с XVIII века на XIX век это не только рост вывоза русского хлеба, но и упадок русской промышленности, исчезновение начавшего складываться городского населения" (18).

И потом: „... в XVIII веке барщинное хозяйство на земле крупных помещиков не было преобладающей формой хозяйства... Крепостное хозяйство XIX века основывалось главным образом на барщине. XVIII век дает более пеструю картину" (19). И опять: „... в конце XVIII века дворянин позволяет торговать своему крестьянину и еще чаще позволяет ему работать в городе. В начале XIX века крестьянин перестает приносить оброк. Тогда его сажают в деревне на барскую запашку" (32).

В XVIII в. „намечалось два пути. Либо путь крушения, путь перестройки всей жизни, тот путь, по которому шла Франция. Либо путь прусский с сохранением дворянства" (38).

В другом месте В. Шкловский называет оба пути иначе: „В XVIII веке шел спор о двух возможностях развития России... Первый путь развития России мы можем назвать „американским".. Была другая линия развития — „прусская", с установкой на бюрократический способ развития, на сохранение феодальных отношений. В результате развитие пошло по этому пути" (147).

Не будем искать у автора четкой терминологии. Для В. Шкловского что́ „американский", что́ „французский" путь — все равно. „американским" он один из путей называет потому, что „шло широкое наступление к Тихому океану. Голиковы, Шелехов, Баранов мечтали о Калифорнии" (147). Это уж очень элементарно, чисто географически и слишком далеко от того, что писал Ленин об американском пути, основанном на революционной ломке крепостнических пережитков, самодержавия, помещичьего землевладения, на снятии феодальных перегородок, мешавших капитализму, на буржуазно-демократической революции, перерастающей в революцию социалистическую. Стоит ли говорить о том, что в XVIII в. вопрос об „американском" и „прусском" пути не стоял. Оба эти пути суть варианты капиталистического развития, борьба их становится фактом, определяющим общественное развитие, когда сам капитализм становится фактом, когда буржуазные отношения производства уже пришли на смену феодализму. В XVIII же веке господствовал феодализм, капиталистические элементы в конце столетия только начали проникать в крепостническую толщу.

Давным давно отвергнут тот взгляд, что рассматривал XVIII в. с точки зрения борьбы двух путей капиталистического развития а Пугачевщину — как „раннюю буржуазную революцию" (Меерсон). А Шкловский воскрешает эти никому не нужные отходы исторических „теорий", далеко отстоящих от ленинского понимания русского исторического процесса.

Продолжим однако основную нить рассуждений В. Шкловского. Почему же первая половина XIX в. это эпоха упадка? Потому что, говорит автор, „Россия не принимала участия в промышленной революции" (18), „перестроить ее на новую технику крестьянская Россия не могла". В результате „регресс промышленности" (235), „история первой половины XIX века — это история упадка страны" (229), „разорилась страна" (236), „XVII век по хозяйственному своему строю более схож с николаевской Россией, чем XVIII век", „в XIX веке, в его начале, мы видим все элементы упадка. Элементы выпадения России из числа руководящих держав... Россия становится колониальной страной. Она ограждается от других стран пошлинами" (247). Последние две фразы страдают таким непониманием элементарных вещей, таким внутренним проти-

воречием, что диву даешься, как они вышли из-под пера исследователя! Россия — колониальная страна и в то же время ограждается пошлинами. Автору даже неизвестно, что одна из особенностей колониальной страны в том и состоит, что она пошлинами не ограждена и открыта для метрополии. Кто же был метрополией России? Вряд ли Шкловский ответит на этот вопрос. В. Шкловскому видимо неизвестно, что взгляд на Россию как на страну колониальную в корне неверен и служил обоснованием теории „перманентной революции" в троцкистском ее извращении, отрицавшем внутренние силы социалистической революции и возможность победоносного строительства социализма в России. Но это попутно. Центральная же мысль В. Шкловского заключается в том, что XIX в. представляет собой упадок по сравнению с веком XVIII, что страна аграризировалась; вместо стимулировавшего товарные отношения денежного оброка возобладала барщина, города пали, фабрики и заводы находились в состоянии кризиса, Россия превратилась в колонию.

Последовательность, что и говорить, не такая, как в Англии, но и с историей России эта новоявленная „последовательность" ничего общего не имеет. Неверно, что „хозяйство XVIII века большею частью не было натуральным" (20). В XVIII в. Россия была феодальной страной, а одним из основных признаков феодализма-крепостничества, как это указал Ленин, является натуральное хозяйство. Неверно, что „систему натурального хозяйства мы встречаем позднее и в XIX веке" (20). Делаемая В. Шкловским ссылка на деревню Обломовку, описанную Гончаровым, как на „типичный образец натурального хозяйства" первой половины XIX в. явно недостаточна. Прав Шкловский — „здесь нужен конкретный анализ". А конкретный анализ говорит как-раз о том что в первые десятилетия XIX столетия натуральное хозяйство под влиянием промышленного переворота в Европе, под влиянием роста общественного разделения труда и первых шагов капитализма все больше уступает дорогу хозяйству товарному. Впрочем В. Шкловский ссылается на Ленина в подкрепление своей не-ленинской теории. Он приводит классическую ленинскую характеристику барщинной системы, одним из основных признаков которой, по Ленину, является натуральное хозяйство, и утверждает что эта характеристика относится только к эпохе перед реформой 1861 г. В угоду своей „теории", В. Шкловский сужает общий ленинский анализ барщины, относящийся совершенно очевидно, ко всей эпохе феодализма, и приурочивает его лишь ко времени перед „крестьянской" реформой. Между тем Ленин десятилетия перед 1861 г. характеризует совершенно иначе, чем это хотелось бы Шкловскому: „производство хлеба помещиками на продажу, особенно развившееся в последнее время существования крепостного права, было уже предвестником распадения старого режима". Как видим, Ленин описывает предреформенный период совсем не так, как это хотелось бы В. Шкловскому.

* *
*

В чем корень ошибки В. Шкловского, приведшей его к совершенно превратному толкованию исторической последовательности? „Надо взять не примеры и не отдельные данные (при громадной сложности явлений общественной жизни можно всегда подыскать любое количество примеров или отдельных данных в подтверждение любого положения), а непременно с о в о к у п н о с т ь данных об основах хоз. жизни", писал Ленин (т. XIX, стр. 74).

В. Шкловский взял одну категорию фактов и обобщил ее, отнес процессы, характерные для одного ряда явлений, ко всей совокупности явлений. Картина получилась односторонней, неверной. В действительности картина развития России в описанную нашим автором эпоху выглядит совсем иначе.

В первой половине XIX в. в России начинается вызревание капиталистических отношений. При всей слабости и подспудности этого процесса, развивающегося в условиях господства крепостничества, он наложил свою печать на все явления эпохи. Вне этого непонятны декабристы и Пушкин, непонятно общественное движение 40—50-х годов, славянофилы и западники, Герцен и Чернышевский, непонятна внешняя и внутренняя

политика самодержавия: протекционистский тариф 1822 г. и завоевание Кавказа, учреждение Мануфактурного совета и основание Технологического института в Петербурге.

И наконец, откуда пришла буржуазная, при всей своей ничтожности, реформа 1861 г., если капитализм не начал заявлять свой голос в предшествующие десятилетия? Все это настолько элементарно, что нет нужды вдаваться в подробные объяснения. Но если капитализм рос, то ясно, что первая половина прошлого столетия являет собой шаг вперед по сравнению с XVIII столетием, а не наоборот. Промышленность падала — говорит Шкловский. Неверно. Общий итог промышленного развития был поступательный. Это видно из следующей таблицы:

Годы	Количество предприятий	Число рабочих
1804	2 423	95 202
1814	3 731	169 530
1825	5 261	210 568
1850	6 472	352 500

Однако проникновение капитализма протекало неравномерно и вызывало неодинаковые результаты. При общем поступательном ходе отдельные отрасли могли испытывать застой и даже упадок. Это именно те отрасли промышленности, которые были основаны на крепостном труде и на рутинной технике, унаследованной от XVIII в. Такова полотняная промышленность, таков горнозаводский Урал. Первая пала потому, что пароходный транспорт сократил потребность в парусном полотне, второй — потому, что не мог устоять перед более совершенной английской железоделательной техникой, улучшившей благодаря промышленному перевороту методы производства.

Нельзя обобщать упадок полотняной и металлургической индустрии на все отрасли промышленности, как это делает наш незадачливый — при всей своей „оригинальности" — автор.

Упадок в одной отрасли перекрывался ростом другой, в первую очередь хлопчатобумажной. Последняя развивалась бурными темпами и, что самое важное—развивалась как промышленность капиталистическая, основанная на машинной технике, на вольнонаемном труде. Отсюда, из роста капитализма, и рост городов нового типа, центров торговли и промышленности, городов, пришедших на смену городам XVIII в., представлявшим собой зачастую больше военно-бюрократические, чем экономические центры. Отсюда и углубление диференциации крестьянства, выделявшего из своей среды новые классы капиталистического общества — буржуазию и пролетариат. Эти новые классы в корне отличаются от купцов и промышленников, от работных людей и приписных крестьян XVIII в., представлявших собой плоть от плоти и кость от кости феодального общества, стоявших на почве крепостных отношений. Поэтому мы можем с полным основанием утверждать, что 40-е и 50-е годы XIX столетия, когда намеченные процессы развивались особенно быстро, были годами первой стадии российского промышленного переворота.

Только с точки зрения промышленного переворота мы поймем целый ряд явлений, для которых В. Шкловский подыскал свои доморощенные и весьма неудачные объяснения.

Причину „неудачности оброчной системы" В. Шкловский усматривает в том, что „заработная плата упала вместе с ослаблением обрабатывающей промышленности, вместе с падением фабрик и заводов" (234). Очевидно автор предполагает, что регресс промышленности вызвал отлив оброчных крестьян с фабрик и заводов и как результат — понижение их оброчной платежеспособности. Но мы видим, что промышленность не пала, значит отпадает объяснение, даваемое нашим историком литературы. Зарплата пала в хлопчатобумажной промышленности, т. е. в том, что развивалось всего быстрей. Зарплата пала не вследствие отлива рабочих, а наоборот — вследствие их массового прилива, вследствие увеличившегося применения женского и детского труда.

Мы видим тут то же самое понижение жизненного уровня рабочих в связи с промышленным переворотом, какое установили Маркс и Энгельс для Англии.

Промышленный переворот объясняет также взаимоотношения фабрики и кустарной избы. В свое время Туган-Барановский совершенно неправильно толковал эти взаимоотношения, говоря, что в России, не в пример Западной Европе, кустарь победил фабрику.

В. Шкловский полностью соглашается с мнением Тугана-Барановского, сожалеет, что у последнего „объяснения этому явлению нет" (238) и придумывает сам объяснение. „Это явление, — пишет Шкловский, — связано с регрессом промышленности. Заводы оказались нежизнеспособными, благодаря неблагоприятному положению России на международном рынке. Некоторые навыки, которые остались от заводов, смогли удовлетворить, перейдя в кустарную избу, сузившиеся потребности страны" (235). Напрасно трудились, т. Шкловский! Вы пытались объяснить неверно истолкованные Туган-Барановским факты. В известной XIII главе I тома „Капитала" Маркс показал, что уничтожение „кустаря" вовсе не непременное следствие первых стадий промышленного переворота. „Если машина, — пишет он, — овладевает предварительными или промежуточными ступенями производства", то вместе с материалом труда увеличивается и спрос на труд в тех отраслях труда, которые ведутся еще ремесленным или мануфактурным способом и в которые поступает машинный фабрикат. Например машинное прядение доставляло пряжу так дешево и в таком изобилии, что ручные ткачи без всякого увеличения затрат сначала могли работать полное время". И дальше Маркс, проводя различие между современной и старинной домашней промышленностью, указывает, что „она (домашняя промышленность эпохи капитализма.—*А. Г.*) превратилась во внешнее отделение фабрики, мануфактуры или торгового заведения. Кроме фабричных рабочих... капитал... приводит в движение целую армию домашних рабочих, рассеянных в больших городах и деревнях".

Итак, машина не сразу вытесняет „кустаря", она может даже способствовать его росту, но она подчиняет домашнюю промышленность капиталу.

Факты, приведенные Туган-Барановским, имели место, но говорят они не о „победе" домашней промышленности над мануфактурой, а о том, что последняя в борьбе с машинной фабрикой пытается удержаться путем эксплоатации „кустарных светелок", которые насадила сама мануфактура, как свои внешние отделения. Происходит таким образом превращение одного типа мануфактуры в другой: мануфактуры централизованной в „рассеянную", децентрализованную.

Некоторый рост домашней промышленности мог иметь место также и потому, что, как это показал Маркс, машина не сразу овладевает всеми ступенями производственного процесса; до поры до времени машинной фабрике выгодно ряд операций переложить на плечи „кустаря". В том и в другом случае мы имеем не победу мелкого производства над крупным, а подчинение первого последнему. И связано это явление вовсе не с „регрессом промышленности", как полагает Шкловский, а с ее прогрессом с первой стадией все того же промышленного переворота.

* * *

Как обстоит дело с другой стороной устанавливаемого В. Шкловским регресса хозяйства России в первой половине XIX в. Как помним, показателем этого регресса является господство барщины в десятилетия перед реформой, в то время как в XVIII в. преобладающей формой эксплоатации был якобы оброк. И в этом отношении наш изобретательный автор неоригинален и повторяет... Петра Струве. Преемственность не лестная, но таков факт. Приведем несколько цитат из Струве: „Денежно-оброчная система энергично развивалась во все продолжение XVIII века" (П. Струве, «Крепостное хозяйство» 1913, стр. 34). „Во второй половине XVIII в. и в первой четверти XIX в. эти декламации крепостных моралистов... служат идеологическим выражением подготовляющейся в среде дворянского класса сознательной реакции в пользу барщинного режима". В XIX в. „русский дворянин оседает на землю и, становясь сельскохозяйственным предпринимателем, в значительной мере вместе с собой осаждает и крестьян". Помещичий класс в целом поступал в смысле прямо противоположном образу действий Онегина:

оброчные крестьяне сажались на барщину". И наконец—„оброк в сфере земледелия бесспорно пасовал перед барщиной".

Теперь ясно, чьи взгляды унаследовал В. Шкловский в этом вопросе. Разница только та, что у Струве преобладание барщины служит показателем прогресса помещичьего хозяйства, у Шкловского же — свидетельством регресса. Но оценка значения факта в данном случае не играет роли, ибо самый факт вовсе не имел того общего характера, какой ему приписывается обоими авторами. Дело в том, что формы приспособления помещичьего сельского хозяйства к возникающим капиталистическим отношениям не всюду были одинаковыми и не везде приводили к одним и тем же результатам. В иных местах помещики действительно приспосабливаются к выросшим рыночным возможностям путем нажима на барщинный пресс. Но барщина в дальнейшем своем развитии приводила к обезземелению крестьян, к превращению их в дворовых людей и „месячников". Так неограниченное увеличение барщины приводило к отказу от нее, ибо дворовый человек не похож на отбывающего барщинные повинности крестьянина. Последний наделен землей, орудиями производства, первый же не имеет ни того, ни другого.

Другая сторона вопроса заключается в том, что для многих помещиков уже тогда ясна была непроизводительность, нерациональность барщины. Денежные расчеты, производившиеся некоторыми помещиками и доказывавшие выгодность вольнонаемного труда перед обязанным, имели под собою вполне реальную почву и свидетельствовали о поисках иных форм эксплоатации, приближающихся к капиталистическим. Недаром уже в это время наблюдается применение батрацкого труда и чисто крепостнические методы эволюционируют в направлении к капитализму.

Что касается оброка, то вряд ли он уменьшился в своем значении в XIX в. В тех районах, где земледелие было малодоходным, где распространена была городская и деревенская промышленность, помещик предпочитал выжимать из крестьян прибавочный труд и продукт в форме оброка. А невыгодность оброка объясняется вовсе не упадком промышленности и соответственным отливом оброчных крестьян из индустрии в сельское хозяйство, как думает В. Шкловский, а тем, что перед лицом усложнившейся экономики, вступившей на путь капитализма, такой чисто феодальный прием эксплоатации, как оброк, не мог не предстать как некая устарелая форма.

* * *

Совсем недалеко от В. Шкловского ушел В. Десницкий. Во вступительной статье к сборнику „Ирои-комическая поэма", вышедшем в „Библиотеке Поэта", Десницкий утверждает: „Россия второй половины XVIII века — страна с значительными предпосылками к развитию капиталистической промышленности" (18). В такой общей форме с этим утверждением можно согласиться. Но когда Десницкий переходит к разъяснению своего мнения, то он утрирует всю картину развития России.

„Новое в истории России XVIII века — это... новое в производстве и производственных отношениях" (24). Фраза, заставляющая насторожиться. Так оно и есть. Десницкий приводит цифры развития промышленности XVIII в. и русского промышленного вывоза и изображает все отношения так, как будто в России уже складывалась буржуазия и пролетариат, как будто в это время уже оформилась и определилась борьба между капитализмом и крепостничеством. Недаром и отнюдь не в условном смысле Десницкий употребляет для XVIII столетия такие термины, как „торгово-промышленная буржуазия", „фабрично-заводской пролетариат", „крестьянская революция", „третье сословие". Особенно часто он прибегает к последнему понятию, употребляя его по различным поводам.

Русское „третье сословие", говорит Десницкий, аналогично французскому. Историческая миссия русского третьего сословия аналогична исторической миссии французского. В одном месте ситуация перед Первой французской революцией прямо сравнивается с тем, что было в России XVIII в. (33). В русское „третье сословие", по Десницкому, совсем как во французское, входят „крупная торгово-промышленная буржуазия, городская мелкая буржуазия и служилая интеллигенция, городское и сельское белое духо-

венство, свободное крестьянство, фабрично-заводской и ремесленный пролетариат" (17). По классовым своим устремлениям сюда же примыкает и крепостное крестьянство. И вот это-то „третье сословие" и крепостная масса, говорит Десницкий, стояли „в целом и в отдельных своих классовых группах в тех или иных формах и степенях" в противоречии с крепостным строем и крепостническим дворянством. „Буржуазия" XVIII в. и крепостная масса заодно выступали против помещиков-крепостников. Для Десницкого в этом нет ничего удивительного. Раз в XVIII в. была буржуазия (без кавычек) на манер французской, что же удивительного в том, что она выступала, совсем по-французски, против феодализма?

На самом же деле мысль эта воистину чудовищна. Она обнаруживает абсолютное непонимание азбучных истин марксизма. Десницкий увидел заводскую трубу, привел вывоз железа — значит был капитализм, значит была буржуазия и пролетариат.

Нам очень не хотелось бы напоминать несколько тривиальных положений, но придется. Не всякое, даже крупное, промышленное предприятие есть фабрика в капиталистическом смысле этого понятия; не всякий владелец промышленного заведения есть буржуа в точном обозначении этого термина; не всякий работающий в промышленном предприятии есть пролетарий.

Уральская промышленность XVIII в. капиталистической не была, ибо работали в ней крепостные, лично несвободные крестьяне, еще не ставшие пролетариями. Она не была капиталистической еще и потому, что не имела капиталистической техники. Владельцы уральских заводов и других крепостных или полукрепостных предприятий не были представителями буржуазии. То же самое относится и к упоминаемой Десницким мануфактуре Затрапезного в Ярославле и ко многим другим предприятиям той эпохи. „Буржуазия" XVIII в. стояла вполне на почве феодализма, она была органическим продуктом крепостной России, а не чужеродным телом, не к л а с с о в ы м врагом дворянства. „Буржуазия" XVIII в., та, что эксплоатировала труд приписных, посессионных или отпущенных на оброк крестьян, если и выступала против крепостников, то не во имя другого строя отношений, не под флагом капитализма, а за равноправное место в феодальном обществе, за дележ с дворянством права и возможности эксплоатации крепостного труда.

Это особенно ярко видно на примере екатерининской комиссии по составлению проекта нового уложения. В. Десницкий исполнен всяческого уважения к этой комиссии. Неудивительно! Ведь он свалил в одну кучу антифеодального „третьего сословия" „буржуазию", „пролетариат" и крепостное крестьянство, те самые „пролетариат" и крестьянство, которые выступили против „буржуазии" Урала в великой крестьянской войне XVIII в. — Пугачевщине. В. Десницкий говорит о „третьесословных настроениях", „нашедших себе выражение и в комиссии 1767 г., и в Пугачевском восстании" (65). Для него равны екатерининская комиссия с ее спорами между дворянскими и купеческими депутатами о том, кому иметь монопольное право на владение и эксплоатацию крепостных „душ", и Пугачевщина, пытавшаяся уничтожить всякий крепостной гнет. Это превращение „буржуазии" XVIII в. в революционную силу имеет вполне определенный политический смысл и вызывает вполне основательные ассоциации с меньшевистской оценкой роли русской буржуазии как движущего класса революции.

Недаром В. Десницкий полагает, что „Рылеев, певец крестьянской неволи, явился и певцом буржуазной хищнической эксплоатации Сибири" (39), превращая тем самым героев „первоначального накопления", неслыханного грабежа колонии в поборников крестьянской свободы. *И напрасно В. Десницкий бросает направо и налево обвинения* литературоведам в буржуазном подходе, в меньшевизме. „А судьи — кто?" Во всяком случае не Десницкому, совершенно извратившему ленинское учение о русском феодализме и марксистское понимание XVIII в., судить и приклеивать политические ярлыки.

В своем увлечении „третьим сословием" В. Десницкий договаривается до того, что „сама Екатерина II и как литератор („Всякая Всячина"), и как политический деятель (комиссия 1767 г., Наказ) пробовала быть, в известной мере, выразительницей этих третьесословных устремлений" (65). Что касается комиссии 1767 г., то ее истинную крепостническую суть мы уже знаем. То же самое надо сказать о Наказе. Идеализируя

ого, В. Десницкий следует взглядам буржуазных историков, например С. М. Соловьева. Как можно этот типично дворянский документ, шедший в известной мере по линии устремлений дворянской, среднепомещичьей оппозиции, выдавать за документ „третьесословного" порядка — это секрет В. Десницкого.

Но и этого мало! В назойливом стремлении прикрасить XVIII в. наш автор договаривается до следующего откровения: „И только советская власть с ее лозунгом „догнать и перегнать" поднимает Урал с его громадными естественными богатствами на то место, предвестия которого были даны в развитии уральской промышленности конца XVIII века" (18). „Предвестия" социалистического Урала наших дней в развитии крепостного Урала XVIII в. — что может быть чудовищнее этой мысли, столь нелепой, что и опровергать ее не стоит.

Полное единодушие между Шкловским и Десницким наблюдается и в понимании первой половины XIX в. В. Шкловский берется прямо опровергать М. Н. Покровского, В. Десницкий выражается деликатнее: „он (М. Н. Покровский — *А. Г.*) мог бы сказать больше". Что же должен был, по В. Десницкому, сказать М. Н. Покровский? А вот что: „Только быстрый ход великого промышленного переворота на Западе... отбросил феодальную, крепостную Россию на позиции страны, вывозящей преимущественно хлеб, произведенный в помещичьих латифундиях. Нам кажется, что не только крепостное право задерживало развитие русского капитализма; нам кажется, что пар, новый мощный двигатель в промышленности, каменный уголь, пришедший на смену древесному топливу, отодвинули например на задний план уральскую железоделательную промышленность в XIX веке" (18).

Конечно английский паровой двигатель отодвинул назад уральскую железоделательную промышленность. Но отодвинул он ее потому, что Урал не мог завести у себя паровых двигателей, а не мог он сделать этого потому, что крепостное право стояло поперек пути техническому прогрессу. Таким образом вопрос стоит не так, как он поставлен В. Десницким, что, мол, не только крепостное право отодвинуло Урал назад, но и английская передовая техника, а английской технике удалось задержать развитие Урала в виду господства на нем крепостных форм эксплоатации, а значит и технической рутины. Все это вещи друг с другом связанные, а не механически дополняющие.

В. Десницкий приводит цифры, показывающие, что если в XVIII в. вывозились преимущественно „товары, требующие промышленной переработки" (20) и предметы обрабатывающей промышленности, то в первой половине XIX в. вывоз этих товаров упал.

Факт бесспорный, но он не говорит о том, что в XIX в. Россия пошла вспять. Во-первых, методологически и исторически неверно в основу экономической характеристики страны класть торговлю. Надо отправляться от производства, а не от обращения. Тут-то мы и увидим, что если крепостная, в первую очередь уральская крепостная, промышленность впала в полосу длительного застоя, то очень быстро развивались новые отрасли капиталистической индустрии, в первую очередь — хлопчатобумажной. Это говорит о возникновении в стране в первой половине XIX в. промышленного капитализма, чего нельзя сказать о XVIII столетии.

Во-вторых, почему В. Десницкий берет только вывоз? А где же ввоз? Если бы он обратился к ввозу, то увидел бы, что именно в первой половине XIX в., особенно с 40-х годов, когда в Англии отменен был запрет на вывоз прядильных машин, растет ввоз машин в Россию, что тоже является несомненным показателем прогресса.

В-третьих, картину экспорта для первой половины XIX в. Десницкий тоже дал односторонне. Если выросло значение хлебного вывоза в Европу, то одновременно увеличился экспорт промышленных товаров на Восток. И если своим лицом, обращенным на Запад, Россия была страной аграрной, то она выступала в известной мере как страна индустриальная по отношению к Востоку. Русские хлопчатобумажные ткани получили широкое хождение на восточных рынках. Здесь один из мотивов Персидской и Турецкой войн второй половины 20-х годов XIX в. Русский товар успешно выдерживал конкуренцию английского в Персии, Турции, на Кавказе. Здесь один из мотивов русско-английских столкновений в Персии, которые сыграли не последнюю роль в трагической гибели Грибоедова.

Несомненно, что зарождение промышленного капитализма относится к десятилетиям перед реформой 1861 г., а не к XVIII в. В связи с этим происходит ряд изменений в роли и значении отдельных отраслей промышленности, в связи с этим же меняется несколько расстановка классовых сил. Черты новой капиталистической эпохи оказывают свое влияние на всю сферу общественных и политических отношений, вплоть до высоких областей идеологии.

Больше того: 40-е и 50-е годы в России проходят под знаком начинающегося „промышленного переворота". Именно в это время намечается самый существенный момент „промышленного переворота" — переход от мануфактуры к фабрике. Об этом говорят хотя бы такие факты: в 1841 — 1845 гг. ежегодно ввозилось машин на 668 тыс. руб., в 1846—1850 гг.—на 168 тыс. руб., в 1851—1855 гг.—на 2 103 тыс. руб., в 1856—1860 гг.—на 7 513 тыс. руб. В 1847 — 1848 гг. в Московской губ. было 67 паровых машин, в 1858 г.—152. Характерно, что первая паровая машина появилась на Урале еще в XVII в., но при застойности уральской техники нашла применение и вошла в обиход позднее.

Особенно быстро росло бумагопрядильное производство. В 1843 г. в России было 35 тыс. бумагопрядильных веретен, в 1853 г. их насчитывалось уже миллион.

В 1851 г. Энгельс писал Марксу: „Русские теперь уже не получают из Англии ни одного аршина бумазеи, очень мало готовых хлопчатобумажных изделий, очень много сырого хлопка: 2000—3000 кип в неделю и несмотря на то, что пошлина на пряжу понижена с 7 и до 5 пенсов за фунт, ежегодно все еще возникают новые прядильни. Николай очевидно начинает бояться этой индустрии и хочет еще больше понизить эту пошлину, но так как в этом деле заинтересовано все его богатое дворянство и вся буржуазия, то, если он будет на этом настаивать, дело может принять серьезный оборот" (Маркс и Энгельс. Собр. соч., т. XXI, стр. 274).

Английский промышленный переворот не отбросил Россию назад по сравнению с XVIII в., как думают В. Шкловский и В. Десницкий. Англия пыталась это сделать: она хотела превратить Россию в свой аграрный придаток, в колонию. Но это ей не удалось. Отставая от Англии, Россия все же не стала ее колонией. В России, в значительной мере именно благодаря английскому промышленному перевороту, начинает расти своя капиталистическая фабрика в первой половине XIX в.

* * *

Из сказанного не следует, что можно чрезмерно упрощать экономические и общественные отношения XVIII в., представлять их как сплошь феодальные, не видеть в феодально-крепостной России антагонистических элементов. „Экономическая структура капиталистического общества выросла из экономической структуры феодального общества, — писал Маркс. — Разложение последнего освободило элементы первого". Это значит, что внутри феодализма были известные проблески капиталистических отношений. Очередная задача марксистской исторической науки состоит в том, чтобы изучить роль тех слоев и групп, тех хозяйственных явлений, которые боролись с феодализмом, хотя и порождены были им. От дворянских дворцовых переворотов, интересовавших буржуазных историков, марксистская историография обращается к изучению крестьянских и городских движений. От истории помещиков должен быть сделан и уже делается поворот к изучению истории крестьянства и городского плебса, городских низов.

Аналогичная тенденция наблюдается и в литературоведении. От дворянской литературы, от произведений феодальных верхов литературная наука обращается к изучению литературы низов феодального общества. Поэтому нужно всячески приветствовать активизацию интереса именно к „низовой", литературной линии, выразившегося в выходе указанных в начале настоящей статьи книг и сборников. Только осмысливание этих литературных процессов находится на очень низком уровне. Историки, литераторы, подобные В. Шкловскому и В. Десницкому, находятся во власти собственных весьма неудачных домыслов, находящихся в противоречии с тем, что прочно завоевано марксистско-ленинской исторической наукой.

ОБ ИДЕОЛОГИИ КНЯЖНИНА *

Статья Н. Гудзия

Русскому XVIII в. в нашей литературоведческой науке особенно не повезло. Она мало им интересовалась, еще меньше занималась. Ученый интерес к нему был значительно слабее, чем интерес к предшествующим векам и последующему — XIX. Причина такого равнодушия к литературе XVIII в. крылась в очень распространенном мнении о ней как о литературе преимущественно подражательной, неорганически усваивавшей себе западно-европейские образцы и потому художественно и идейно в своей массе неполноценной. Отголоском такой ее расценки является и точка зрения Д. Мирского, высказанная им в № 9—10 „Литературного Наследства" и грешащая прежде всего отсутствием исторического отношения к вопросу. А между тем в свете истории литературный XVIII в., как можно судить даже по тому, что в этом направлении уже сделано, начиная с Плеханова, представляет собой исключительный интерес. Едва ли какая-либо другая литературная эпоха, если не считать нашей современности, была так злободневна и исторически актуальна, как именно XVIII в. Это эпоха крупнейших социальных формирований и социальных сдвигов, привлекшая к себе на службу все области культуры, в том числе и литературу. Незамаскированная или слабо замаскированная публицистическая тенденция в литературе XVIII в. обнаруживает себя гораздо ощутительнее, чем это было в следующем веке, и роль этой тенденции здесь может итти в сравнение лишь с тем, что мы имеем в этом отношении в нашей старинной литературе. Вообще в плане сугубой практической направленности следует провести аналогию между русской литературой XVIII в. и веков предшествующих.

Максимально благоприятные условия для развития в XVIII в. создались по понятным историческим причинам для литературы дворянской, явившейся проводником идеологии создавшего ее класса. Поскольку однако дворянство в XVIII в. по своему социальному бытию и своим устремлениям было неоднородно даже в пределах одного и того же периода времени, идеология его не была однообразной. Различие интересов внутри единого господствующего класса неизбежно вело к различию идеологических позиций, нашедшему себе выражение и в художественной литературе. Уяснение этих позиций у того или иного писателя облегчается в том случае, когда мы располагаем, помимо материала художественного творчества, еще и прямыми высказываниями писателя по вопросам идеологического порядка, данными биографии и т. д. Неполное или одностороннее использование всего необходимого и пригодного для этой цели материала часто влечет за собой шаткость и большую спорность построений. Для примера достаточно указать хотя бы на попытку переоценки идеологических позиций И. Майкова, сделанную в последнее время В. А. Десницким преимущественно на основе одностороннего анализа его пародической поэмы „Елисей, или раздраженный Вакх". Еще более шаткой и еще менее обоснованной является попытка М. О. Габель перерешить вопрос об идеологическом содержании литературного наследства Княжнина в связи с анализом его „Вадима" и рукописной трагедии „Ольга"

---

* По поводу статьи М. Габель „Литературное наследство Я. Б. Княжнина", напечатанной в № 9—10 „Литературного Наследства".

Большинство исследователей и комментаторов некогда опального „Вадима" видело в нем апофеоз гуманной власти просвещенного монарха (к этому большинству нужно присоединить и имя не упомянутого Габель Плеханова) и лишь незначительное меньшинство — пропаганду республиканских идей. И потому непонятными являются прежде всего заключительные строки статьи Габель, в котором она рекомендует раз навсегда покончить с „буржуазным мифом" о Княжнине-революционере и заявляет, что нет нужды фальсифицировать наследство писателя, чтобы мнимой его революционностью протащить его в нашу эпоху". Как будто такой миф когда-либо всерьез пользовался популярностью и как будто наша эпоха, если бы за этим мифом крылось какое-либо правдоподобное основание, как-то практически заинтересована в том, чтобы Княжнин был непременно революционером, и рада была бы в том случае „протащить" к себе лишнего выразителя революционной дворянской идеологии. В свое время еще Герцен в „Былом и Думах" с иронией, направленной по адресу Екатерины, говорил о якобы „зажигательной трагедии якобинца Княжнина".

Собственная точка зрения Габель на Княжнина такова, что он является идеологом дворянской аристократии, оппозиционной екатерининскому самодержавию, поддерживавшемуся средним поместным дворянством, и что „Вадим", точно так же как и „Ольга", представляет собой своего рода политический трактат-памфлет, скрытый под формой трагедии и перекликающийся с политическими настроениями враждебной Екатерине аристократической фронды, в частности с публицистикой Щербатова. Этот тезис Габель пытается обосновать путем идейного анализа „Вадима" и „Ольги", оставляя почти совсем в стороне всю остальную литературную продукцию Княжнина, не касаясь вовсе его биографии и отождествляя высказывания княжнинских персонажей с мыслями самого Княжнина, заранее предположив, что все симпатии писателя на стороне именно его свободолюбивых героев.

Остановимся прежде всего на интерпретации Габель „Вадима".

Утверждая, что персонажи трагедии Вадим и Пренест являются защитниками аристократической формы правления, характеризующейся властью вельмож, Габель продолжает: „являясь ярым противником самодержавия, Вадим готов все же его признать в том случае, если монарх делит свою власть с вельможами — единственными защитниками свободы; иначе неограниченная монархия приведет к рабству граждан, но каких граждан? Тех же вельмож, о вольности которых и печется Вадим". В подтверждение последней мысли следует цитата из монолога Вадима:

Что вижу здесь? Вельмож утративших свободу,
В подлейшей робости согбенных пред царем
И лобызающих под скиптром свой ярем.

Здесь все сказанное Габель вызывает решительное возражение. Вадим прежде всего отнюдь не апологет власти вельмож и аристократии, а защитник идеи народоправства. Вельможи в его представлении лишь действуют именем народа и действуют в той мере, в какой их власть народом санкционирована. В одном месте он говорит:

И се те славные, священные чертоги,
Вельможи наши где, велики, будто боги,
Но равны завсегда и меньшим из граждан*,
Ограды твердые свободы здешних стран,
Народа именем, который почитали,
Трепещущим царям законы подавали.

Сам Вадим мыслит себя как радетеля о благе народа вообще, а не только вельмож:

* Разрядка всюду наша—*Н. Г.*

Я подвигов моих плоды несу народу

— говорит он. Восставая против Рурика, Вадим надеется на поддержку всего народа. Он кончает самоубийством прежде всего потому, что, вопреки его ожиданиям, народ, ставший на сторону Рурика, оказался „гнусными рабами, оков себе просящими". Его свободолюбивая душа не в силах перенести это разочарование. Он восклицает:

... мир любит пресмыкаться;
Но миром таковым могу ли я прельщаться?

Вряд ли он так трагически воспринял бы рабские инстинкты народа, если бы в своей государственной политике полагался исключительно на силу и авторитет одной лишь аристократии. Высшим благом для его противника Рурика было бы, по его мнению, полное равенство его со всеми гражданами:

Блажен бы Рурик был, когда б возмог он стать,
В порфиру облечен, гражданам нашим равен.

Пренебрегая тиранами-царями, добивавшимися руки его дочери Рамиды, он готов отдать ее тому, кто, стремясь к спасению отечества от рабства, в благородстве своей души превзойдет всех смертных. Он, „гражданин", в зятья себе „хотел лишь только гражданина". Мы разумеется в праве социологически осмыслять свободолюбивые позиции Вадима, усматривая в нем замаскированного идеолога аристократии, как это делает Габель, но такое осмысление тут решительно ни к чему: сам-то Княжнин ни явно, ни скрыто такого осмысления разумеется не делал и вряд ли подозревал его возможность. Далее — решительно неверно утверждение, что Вадим готов признать самодержавие в том случае, если монарх делит свою власть с вельможами. Когда Рурик предлагает народу возложить царский венец на голову своего противника, Вадим с негодованием протестует:

Вадима на главу! Сколь рабства ужасаюсь,
Толико я его оруднем гнушаюсь!

Совершенно очевидно, что принципиальный республиканец Вадим является решительным противником царской власти вообще, независимо от того, ограничена она властью вельмож или ничем не ограничена. Иначе что же ему мешало бы, приняв предложение Рурика, самоограничить себя как ему заблагорассудится?

Габель сама указывает на то, что в трагедии, в словах союзника Вадима Вигора (не только Вигора — *Н. Г.*), заключена отрицательная оценка власти вельмож. В параллель к этой оценке Вигора приводится высказывание Щербатова об отрицательных сторонах аристократического правления, при чем сам Щербатов характеризуется Габель как приверженец такого именно правления и тем самым отождествляется с противником монархической системы — Вадимом. Между тем Щербатов идеальной формой государственной власти считает отнюдь не аристократическую власть, а монархическую, связанную однако „основательными" законами и советом „именитейших людей", и притом так, чтобы „каждый гражданин, по силе и могуществу своему, мог полезный совет дать: ибо все под законом должны жить, все и участие в нем должны иметь". Габель приписывает Щербатову утверждение, что „несть ничего прекраснее" аристократического правления. Взятые в кавычки слова, относящиеся к аристократическому правлению, действительно имеются у Щербатова, но они предваряются у него такими словами, которые совершенно опрокидывают толкование Габель. Щербатов пишет: „С п е р в о г о в з г л я д у несть ничего прекраснее главностей сего (аристократического — *Н. Г.*) правления"... И далее следует указание существенных недостатков аристократической системы, если судить о ней не „с первого взгляду". Такую же силу убедительности имеют и остальные сопоставления Габель между отдельными местами „Вадима" и высказываниями Щербатова; они до очевидности натянуты и искусственны, примером чему может служить хотя бы приведенная параллель из „Вадима" к фразе Щербатова, начинающейся словами: „Общим образом сказать, что жены более имеют склонности к самовластию, нежели мужчины" и т. д.

Все писавшие о „Вадиме" указывали на то, что Рурик изображен в нем исключительно положительными чертами. Это не только идеальный монарх, но и идеальный человек, не имеющий ни одного отрицательного качества. Он принял власть вопреки своему желанию, по просьбе вельмож и народа, и пользуется ею для блага своих подданных. Она для него не столько источник радости, сколько тяжелое бремя, которое он несет прежде всего по чувству долга. По тому же чувству он защищает ее в борьбе с восставшим Вадимом, но когда Вадим побежден, он готов власть уступить ему, если суеверный народ этого пожелает. Обвинения Рурика в тирании и коварстве, идущие от его противников, никак не оправданы самим его образом, как он дан Княжниным. С полным сознанием своей правоты Рурик спрашивает Вадима:

Чем трон я помрачил? Где первый судия?
Вы вольны, счастливы; стонаю только я!
Который гражданин, хранящий добродетель,
Возможет укорить, что был я зла содетель?
Единой правды чтя священнейший устав,
Я отнял ли хотя черту от ваших прав?

Нет таким образом никаких оснований оспаривать господствующую точку зрения на „Вадима" как на произведение, основной смысл которого—апология просвещенной монархической власти, воплощавшейся на практике для Княжнина в деятельности Екатерины II, и нет никаких поводов подозревать в трагедии наличие какого-либо скрытого критического отношения к этой власти. Торжество Рурика над Вадимом обусловлено не преимуществами силы, а преимуществом объективной политической целесообразности, поддержанной высокими моральными качествами реального носителя монархического начала, как их мыслил себе Княжнин. Так как в трагедии показана не личная борьба, а борьба принципов—монархизма и республиканизма, одинаково для Княжнина морально оправданных в их существе, но лишь безотносительно к конкретной исторической действительности, то оба борющиеся героя наделены положительными чертами, так как только таким путем могла обнаружиться не чисто внешняя и случайная коллизия, а коллизия внутренняя, органическая и потому подлинно глубокая и подлинно трагическая. Именно такого рода трагическую коллизию видимо стремился показать Княжнин в своем „Вадиме". Не забудем и того, что на ряду с Вадимом и Руриком одним из центральных персонажей трагедии является Рамида, дочь Вадима, любящая Рурика. Трагедия ее судьбы становится столь безысходной именно потому, что она вовлечена в борьбу двух противников, не уступающих друг другу в душевном величии. Если бы явно скомпрометированный Княжниным с политической точки зрения Вадим был наделен какими-либо отрицательными качествами, борьба долга и любви, происходящая в душе Рамиды, много потеряла бы в своей силе и остроте. Не следует упускать из виду, что идейные позиции Княжнина не могли вытеснить у него чисто художественных задач, которые диктовали ему определенные соображения при наделении его персонажей теми или иными чертами характера, усиливавшими драматизм положения.

Как известно, Княжнин находился под сильным влиянием западноевропейских образцов, заимствуя из них не только драматические ситуации, но и идейное наполнение для своих пьес. В частности „Вадим" написан под сильным воздействием вольтеровской трагедии „Смерть Цезаря". Как и у Княжнина, у Вольтера здесь сталкиваются два противника, являющиеся идейными носителями двух враждебных друг другу государственных систем,—идеальный монарх Цезарь, спаситель и благодетель римского народа, и убежденный и бескорыстный республиканец—сын Цезаря Брут. Как и у Княжнина, у Вольтера борьба противников, взаимно признающих один у другого высокие нравственные качества, стимулируется таким образом не их личной враждой, а глубоким идейным расхождением в понимании государственного блага. Наконец, как и княжнинский Рурик, вольтеровский Цезарь выступает в трагедии в качестве лица, действующего по велениям исторической необходимости и тем самым явно оправдываемого автором.

Столь же мало убедительна попытка Габель усмотреть отражение оппозиционного якобы отношения Княжнина к Екатерине в его рукописной трагедии „Ольга". Только допустив большую натяжку, можно видеть в этом подражание вольтеровской „Мерope" основной сюжет которой—трагедия материнской любви, проявление аристократической дворянской идеологии. Параллель, проводимая автором между Малом и Екатериной, настолько обща и случайна, что положительно ничего не дает для подтверждения основного тезиса статьи. Откуда видно, что Княжнин на стороне именно Святослава, а не Мала. Неужели только из того, что Мал гибнет, а Святослав остается жить? Но сама Габель в своих соображениях о „Вадиме" указывает на то, что в классических трагедиях протагонист гибнет чаще, чем антагонист. В чем усматривает Габель авторское негодование по отношению к Малу? Ведь эпитеты „злодей" и „тиран" по адресу Мала расточает не Княжнин, а персонажи трагедии, за суждения которых драматург не несет никакой ответственности.

Для того чтобы определить идеологию Княжнина, необходимо привлечь к анализу всю совокупность его произведений и учесть все его высказывания, дающие материал для суждения об его идейных позициях. Между тем Габель, сосредоточившись на „Вадиме" и „Ольге", игнорирует все прочие трагедии Княжнина, в которых он является совершенно очевидным апологетом Екатерины. Особенно показательна в этом отношении написанная очень незадолго до „Вадима" трагедия „Титово милосердие", в которой восторженная оценка Екатерины выступает почти не прикрыто. Не говорим уже о „Дидоне", „Рославе", „Владисане", в которых легко усмотреть такое же положительное отношение Княжнина к Екатерине. Оно наличествует и в его официальных речах. Для того чтобы заподозреть Княжнина в двойной игре, нужны были бы гораздо более существенные факты, чем те, которые приводятся Габель, и в первую очередь—документальные данные, абсолютно отсутствующие в распоряжении автора. Позиции апологета родовитого дворянства Щербатова—последовательного противника Екатерины и ее обличителя—с позициями Княжнина—друга и деятельного сотрудника Бецкого—до очевидности не имеют ничего общего.

Единомышленник Щербатова никак не мог бы вложить в уста положительного героя-ревонера Честона (комедия „Хвастун") следующих слов:

А впрочем род мечта; и что дворянство есть?
Лишь обязательство любить прямую честь.

Такой единомышленник не вывел бы в карикатурном свете родовитую дворянку Лентягину (комедия „Чудаки"), выдающую себя такой жалобой:

Я с досады умираю!

Я будто всем равна. Как можно то сказать?
Я дочь, племянница князей и генералов,
Могу ль я быть равна с женами всех капралов.
Ты хочешь, муж, меня до смерти затерзать.

Для обоснования своей мысли о Княжнине как об идеологе аристократическо-дворянской фронды Габель использует даже идущее от С. Н. Глинки предание о написании Княжниным статьи под заглавием „Горе моему отечеству", из-за которой у него были серьезные неприятности. Но содержание рукописи, как о нем говорит Глинка, как-раз направлено против догадки Габель. Глинка пишет: „В этой рукописи страшно одно только заглавие. Я читал несколько черновых листов. Главная мысль Княжнина была та, что должно сообразоваться с ходом обстоятельств и что для отвращения слишком крутого перелома нужно это предупредить заблаговременным устроением внутреннего быта России, ибо французская революция дала новое направление веку". Совершенно очевидно, что совет реформировать внутренний быт России с оглядкой на французскую революцию, прокладывающую новые пути общественной жизни, не мог быть дан лицом, примыкавшим в своих социальных позициях к щербатовской идеологии. Очевидно позиции Княжнина иные. Это позиции в основном лояльного к екатерининскому режиму либерального дворянина, затронутого однако процессом бур-

жуазного перерождения, явственно обнаруживавшегося в среде дворянства второй половины XVIII в. Об этом свидетельствуют больше всего комедии и комические оперы Княжнина, в особенности „Сбитенщик" и „Несчастье от карьеры". В последней к тому же—неприкрытый протест против уродливостей крепостного права.

Едва ли нужно сколько-нибудь обстоятельно останавливаться на причинах, вызвавших со стороны Екатерины ее расправу с „Вадимом". Причина эта давно уже была указана. Если Княжнина трудно было заподозрить в том, что он отдает преимущество Вадиму перед Рюриком, то все же республиканец Вадим наделен у него столь положительными качествами, и сам он и его единомышленники произносят по адресу монархии как государственной системы столь категорические приговоры, что в пору разгара французской революции пьеса оказывалась объективно небезопасной для монархических устоев, ревниво оберегаемых запуганной Екатериной. Это понимал и сам Княжнин. Недаром, передав ее в 1789 г. в театр для постановки, он взял ее назад, как только заслышались первые шумы революционной бури.

Идейная двусмысленность трагедии бросалась в глаза ближайшему литературному потомству Княжнина. Это ощущение двусмысленности лучше всего выражено поэтом Воейковым, очень ценившим „Вадима" и так резюмировавшим смысл столкновения князя и посадника-республиканца:

Обоим славная, ужасная судьба!
И нерешенною осталася борьба
Величья царского с величьем гражданина...
Корнелева пера достойная картина!

Но современникам драматурга, и в первую очередь санкционировавшей напечатание „Вадима" Дашковой, хорошо знавшей умонастроение Княжнина, пьеса отнюдь не представлялась направленной против екатерининской монархии. Не напрасно поэтому Дашкова утверждала, что княжнинская трагедия без сомнения менее вредна, чем французские пьесы, которые идут в Эрмитаже, и усиленно рекомендовала подозрительно к ней настроенным, и в первую очередь Екатерине, прежде, чем выносить приговор о ней, внимательно прочесть ее. Этот совет Дашковой, к которому следует присоединить еще совет учитывать всю литературную продукцию Княжнина и его биографию, остается в силе и для современных исследователей, пытающихся пересматривать литературное наследство некогда очень популярного драматурга.

ИТОГИ ДИСКУССИИ

От редакции

I.

Развернувшаяся на страницах нашего журнала дискуссия о принципах изучения литературы XVIII века, имеет свое положительное значение. Литература XVIII века незаслуженно оставлялась в стороне, игнорировалась при изучении развития русской литературы. Дискуссия закрепляет тот интерес к изучению XVIII века, который наметился за последнее время. Положительной стороной дискуссии является то, что — при всех своих ошибках — она обязывает подойти к литературному процессу XVIII века более сложно и диференцированно, чем это делалось раньше, с учетом тех антагонистических элементов, которые наличествовали в России XVIII века. Весьма существенным является сосредоточение внимания на литературе низов феодального общества, вносящее значительные коррективы в наше представление о литературе XVIII века, обогащающее нас литературными фактами крупного значения. Важно и то, что центральным моментом дискуссии явился вопрос о принципах изучения литературы этого периода, т. е. вопрос об установлении концепции развития этой литературы, о создании большого историко-литературного обобщения, которое позволило бы ориентироваться в массе литературных фактов, избежав примитивного фактографизма, господствовавшего до сих пор в этой области.

В статье т. Панкратовой «За большевистское преподавание истории» («Большевик» 1934, № 23, стр. 37) отчетливо ставится вопрос о задачах нашей исторической науки: «В своей критике существующих стабильных учебников и конспектов будущих учебников истории т. Сталин нагляднейшим образом показал, что надо включать в требование подлинной и высокой научности марксистского учебника истории. Основная критика нынешних стабильных учебников шла по линии их схематизма, перегруженности социологизмом, недостаточности в них конкретного, фактического, исторического материала. Однако представленные конспекты выявили преобладание в них исторического эмпиризма, голой конкретики. Товарищ Сталин развернул решительную и резкую критику конспектов за отсутствие в них ясно выраженных принципиальных проблем, четких историко-методологических установок, необходимых политических выводов и обобщений. Неправильно понятая «социология» привела одних авторов к фактической ликвидации изучения конкретной истории и к замене ее изучением общественно-экономических формаций. Увлечение конкретным материалом, без соответствующей и вытекающей из нее принципиальности, без общих выводов на основе уже изученных фактов, могло привести авторов учебников к вредным извращениям марксизма, идущим по пути эмпиризма буржуазных историков».

Дискуссию о путях развития русской литературы XVIII века и надлежит рассматривать в свете тех общих задач, которые поставлены т. Сталиным перед нашей исторической наукой.

Нужно со всей прямотой сказать, что если по самой постановке спорных вопросов дискуссия заслуживает положительной оценки, то в разрешении их она обнаружила наиболее слабые стороны нашего литературоведения, демонстрировала его болезни.

II

Понятно, что наметить сейчас, хотя бы в предварительном порядке, основные линии литературного процесса можно лишь на основе тщательного изучения уже имеющегося

фактического материала. Без этого условия мы будем иметь дело лишь с абстрактным теоретизированием. Примером его может служить выступление Д. Мирского в «Литературном Наследстве» № 9/10 и напечатанный выше «ответ» его тт. Сергиевскому и Десницкому.

Д. Мирский исходит из положения, что «литература XVIII века отделена от литературы XIX века глубоким качественным изменением, сопровождавшимся фактически полным разрывом литературной традиции». Объясняется это по Д. Мирскому тем, что «в XVIII в. Россия была чисто крепостническая (очевидно, страна, т. е. страной Р е д.), без каких бы то ни было элементов буржуазного прогресса» или, как повторяет Д. Мирский в своем «ответе» «элементы капитализма были не только в «неразвернутом», но и в неразвертывающемся виде». Очевидно поэтому по Мирскому «литература чисто крепостнической России XVIII века стоит к западу в отношении подражания, в отношении неорганического усвоения социально чуждых форм... Эта неадэкватность заимствованной литературной традиции той действительности, которую требовалось выражать, и составляет основной характер русской литературы до начала XIX века... уже Жуковский стилистически не имеет ничего общего с XVIII веком» и т. д., и т. д. Подобные утверждения, которыми наполнена статья — не могут быть, конечно, признаны соответствующими действительности.

Ставя проблему взаимоотношения культуры феодального и капиталистического общества, Мирский не уяснил того, как происходит процесс столкновения, борьба этих двух культур.

«Одно из основных отличий между буржуазной и социалистической революцией, — указывает Ленин, — состоит в том, что для буржуазной революции, всегда вырастающей из феодализма, новые экономические организации постепенно создаются в недрах старого строя путем развития хотя бы торговых отношений, которые изменяют постепенно все стороны феодального общества. Отличие социалистической революции от буржуазной состоит именно в том, что есть готовые формы организаций капиталистических, а советская пролетарская революция этих отношений не получает готовыми» (Ленин, т. XXII, стр. 315). В свете этих определений понятна вся неисторичность и порочность концепции Д. Мирского, заявляющего о «полном разрыве» между XVIII и XIX веками и т. п. Одновременно с этим обнаруживается неосведомленность в самом фактическом материале. Только самое поверхностное представление о литературе XVIII века может привести к заявлению, что ее отличают «безыдейность, бессодержательность, характер забавы» — близость к идеологии «чистого искусства». Для литературы XVIII века в особенности характерна ее политическая насыщенность, ее публицистичность. Не говоря о сатирической журналистике 70-х годов, не говоря о сатире, комедиях, баснях, мы и в оде и трагедии XVIII века все время сталкиваемся с большим общественным содержанием, которое прекрасно видел Плеханов, при всех грехах его «Истории русской общественной мысли». Дидактичность и просветительство пронизывают все жанры литературы XVIII века, и Д. Мирскому отнюдь не следует полагаться на общеизвестное сравнение поэзии со сладким лимонадом, как на универсальную отмычку к XVIII веку.

Делая в общем правильные замечания, например о существенности изучения творчества крестьянства в XVIII веке, Д. Мирский придает им неприемлемую форму.

Так в трактовке Д. Мирского крестьянство в XVIII веке является «единственным революционным классом».

Характеризуя эпоху реформ, Ленин подчеркивает, что хотя «революционные мысли не могли не бродить в головах крепостных крестьян», но «века рабства настолько забили и притупили крестьянские массы, что они были неспособны во время реформы ни на что, кроме раздробленных, единичных восстаний, скорее даже бунтов, не освещенных никаким политическим сознанием» (Ленин, т. XV, стр. 143).

В то время, — указывает Ленин, — «революционного класса среди угнетенных масс еще не было» (там же, стр. 142). Речь идет о крестьянском движении того периода, когда «крестьянские «бунты» возрастали с каждым десятилетием» (там же, стр. 143), когда даже правительство считало, что «крепостное состояние есть пороховой погреб

под государством» (см. сб. Центрархива «Крест. движения 1827—1869 гг.», в. I, 1931 г.). Поэтому неверна оценка Мирским социально-политических отношений в XVIII веке; неверен также и ультралевый вывод Д. Мирского о том, что «основной задачей марксистского изучения XVIII века должно быть исчерпывающее изучение социально близкой нам литературы крестьянской».

Выступления В. Десницкого несоизмеримы с позициями Д. Мирского и по серьезности постановки проблемы изучения литературы XVIII века и по той фактической базе, на которой он обосновывает свои взгляды. Однако и они не лишены исторического и социологического упрощенчества. О его исторических ошибках достаточно подробно сказано в статье т. Гайсиновича. Совершенно правильно показывает т. Гайсинович, в какой мере свободно обращается В. Десницкий с историческими фактами. В применении непосредственно к литературе взгляды В. Десницкого вызывают решительные возражения. В основе его подхода к литературе лежит стремление установить прямолинейную связь между фактами экономического и идеологического порядка. Изучение литературы сводится преимущественно к установлению социального эквивалента: кто такие интересы выражает. А так как сами-то классовые отношения в XVIII веке мыслятся В. Десницким упрощенно и «модернизованно», то ярлыки наклеиваются неверно, благодаря чему например В. Майков и даже Екатерина II превращаются в идеологов третьего сословия и т. п. В. Десницкий отчетливо не ставит центрального вопроса о литературе как отражении определенного исторического периода, — о ее познавательной и воспитательной ценности. Благодаря этому теряется самый критерий оценки литературных фактов, кроме критерия «социальной близости». Какая-нибудь сказка о мужике и барине безусловно социально нам ближе, чем «Война и Мир» Толстого, это не значит, однако, что «Война и Мир» имеет для нас меньшее значение.

Литература XVIII века в значительной мере ускользает из поля зрения В. Десницкого, его статьи загромождены статистическими данными и им нехватает полноценного анализа литературных фактов.

Выступления Г. Гуковского, богатые фактическим материалом, не представляют собой глубокой попытки наметить принципы изучения литературы XVIII века. Необходимо констатировать несомненный отход его от формалистических позиций, на которых стоял он прежде. Но отход этот еще половинчатый; рецидивы формализма, отмеченные В. Десницким, несомненно наличествуют в его статье. Судя по статье о «Недоросле», помещенной в журнале «Русский язык и литература в средней школе» 1935 г., № 1, Г. Гуковский, отходя от формализма, идет пока что вульгарно социологическими путями. Только преодоление формализма и вульгарного социологизма может дать полновесность нередко ценным изысканиям конкретного порядка, которые имеются в работах Гуковского. Отмечая основные недостатки дискуссии, — существенно подчеркнуть необходимость решительного поворота дискуссии на новый путь.

III

Нужно прежде всего поставить вопрос о значении литературы XVIII века как определенной формы отражения тогдашней действительности, т. е. вопрос о познавательной ее ценности. Эта литература дает нам большой и существенный материал для суждения о XVIII веке и этот материал нужно серьезно освоить. В ряде произведений литературы XVIII века мы найдем весьма яркие обнаружения крепостнического отношения к жизни, яркие проявления рабовладельческой идеологии, которые помогут нам сейчас отчетливо осмыслить характерные черты общественного уклада, быта, психологии того времени. Уже в этом отношении творчество Сумарокова, Державина, Карамзина и других дворянских писателей представляет определенный интерес и значение сейчас.

Но понятно, что отражение жизни выступает всегда в определенной классовой форме, в пределах его заинтересованности, в правдивом отражении жизни. Отсюда — необходимым условием правильного осмысления использования литературы XVIII века является определение тех пределов жизненной правды («относительной истины»), которых достигал данный писатель как классовый идеолог. И здесь мы прежде всего

сталкиваемся с необходимостью постановки большой творческой проблемы — проблемы реализма в XVIII веке, на которой с наибольшей отчетливостью и может быть осмыслено и относительное историческое значение тех или иных писателей, классовое расслоение литературы, взаимодействие литературы XVIII века с литературой XIX века. В этой связи может быть намечена периодизация литературного процесса. Понятна условность исторических граней — литература первой четверти XVIII века ближе к XVII веку и в значительной мере отлична от послепетровской литературы периода утверждения господства дворянства. В свою очередь характерные черты литературы XVIII века во многом дают себя знать и в первой четверти XIX века. Поэтому 30—40-е годы XVIII века являются тем пунктом, с которого следует начинать изучение литературы XVIII века, как литературы определенного исторического периода. В этот момент, с одной стороны, происходит подспудный процесс крестьянского творчества, которое в условиях исключительной эксплоатации не в состоянии создать произведений, подымающихся на высоту больших обобщений. В крестьянском творчестве проявляется глубокая жизненная правда, революционные порывы, но даны они в широком смысле слова натуралистически, т. е. недостаточно обобщенно. Этот характер крестьянского творчества нужно учесть с достаточной ясностью, чтобы не впасть в неправильную его оценку. Нам нужно не либерально-народническое восхваление творчества низов за то, что оно — творчество низов, а серьезная постановка проблемы его ценности, определение того, что в нем имеет положительное значение, что является продуктом того культурного гнета, о котором не следует забывать, и который в ряде случаев приводил к возникновению в творчестве низов и нездоровых явлений. Поэтому-то, хотя именно это творчество относительно наиболее революционно, мы находим более широкие и более обобщенные картины тогдашней действительности у писателей, принадлежащих к господствующим классам, и здесь перед нами вырастают новые проблемы в связи с тем, что во второй четверти и в начале второй половины XVIII века писатели дворянства, или ассимилировавшиеся с дворянством (Тредиаковский, Ломоносов, Ермил Костров), выступают как носители реалистических тенденций. Реализм этот чрезвычайно своеобразен, однако это несомненный реализм, если понимать его не как метафизически сформулированный комплекс признаков, а как определенный тип творчества, как принцип отношения писателя к жизни, характеризующийся утверждением (исторически весьма разнообразным) реальной жизни и наличием известных обобщений (опять-таки конечно исторически условных в своем качестве).

Этот дворянский реализм крайне ограничен. Господство дворянства в этот период настолько прочно, что оно мало заинтересовано своим социальным окружением, точнее пренебрегает им. Дворянские писатели ставят ряд проблем, вполне реальных и актуальнейших для дворянства, но оформляют их условно, рисуя образы дворян вне их реального жизненного окружения. Встает вопрос о том, к какому типу творчества можем мы отнести русский классицизм, можем ли мы, например, сказать, что своеобразие русского классицизма — в том, что он выступает как творчество реалистическое по содержанию и условное по форме. К 70-м годам обстановка начинает меняться. С одной стороны, в «ортодоксальной дворянской литературе начинается большая творческая перестройка. Смысл ее станет нам понятен, если мы вспомним ту официальную доктрину благополучия и благоденствия, которая систематически и последовательно насаждалась правительством Екатерины II. Известны ее письма к Вольтеру и Гримму, в которых она заявляла, что «у нас умирают от объядения, а иногда от голода. У нас вовсе не видно людей худых и ни одного в лохмотьях, а если есть нищие, то по большей части это ленивцы», и она добавляла, что в России «нет мужика, который не ел бы курицы, с некоторого времени они предпочитают индеек курам». И если Безбородко составлял Екатерине для Гримма своеобразный «реестр» достижений, то Потемкин строил по пути ее следования в отдалении от дороги деревни, состоявшие из фасадов в доказательство этого благополучия. И дворянская литература выходит за пределы узкого круга дворянских образов, отказывается от условных классических форм, вводит в литературу крестьянские образы, выдвигает требования простоты и естественности, но эта тяга к известной внешней реалистичности прикры-

вает постепенный отход от реалистичности содержания. Возникает необходимость осмысления сентиментализма в связи с проблемой реализма и на основе новых исторических тенденций, усиливающихся начиная с 70-х годов. Очевидно, с одной стороны, расширение творческого кругозора дворянской литературы, которое приносит с собой сентиментализм, на основе взаимодействия дворянства с элементами капиталистического развития. Но, с другой стороны, дворянские писатели (наиболее отчетливо — карамзинисты) идут по линии идиллического изображения деревни, создают фальсифицированный образ дворянина, который, как Юлия Карамзина, живет, любуясь натурой и занимаясь «осматриванием цветов». Создав крайне узкий и ограниченный реализм, дворянская литература быстро отходит и от него и идет по линии антиреалистического искусства, — четкое определение художественного метода сентиментализма внесет ясность в наше понимание литературного процесса этого периода. В то же время принципы реалистического искусства получают новое развитие и здесь — новая задача нашей истории литературы: понять тот решающий сдвиг, который им дает сатирическая журналистика 1770 гг. и в первую очередь новиковские журналы. Именно в них мы находим стремление действительно правдиво показать жизнь. Достаточно назвать такие произведения, как письмо старосты Андрюшки и ответный «указ» помещика, как письма к Фалалею, как «Путешествие И... Т...», чтобы убедиться в совершенно ином отношении к жизни, которое начинает проникать в литературу. Изучение, в частности деятельности Новикова, находящего себе прямо противоположные оценки нашей литературы, представляет существенную задачу историков литературы XVIII века.

1770 гг. с несомненностью обнаруживают наличие в литературном процессе реалистических и антиреалистических тенденций, определенную их борьбу, которая осознается и в чисто литературном плане, вплоть до пародий («Автор к самому себе» в «Живописце» Новикова, «Каиб» Крылова и т. д.).

На основе чего возникает это противоречие в литературном процессе? В чем связь его с жизненным процессом?

Легко заметить, что одной из центральных творческих проблем, на разрешении которой обнаруживается борьба этих тенденций, — является проблема отражения крепостного права. И если, с одной стороны, оно избражается как идиллия, с другой — оно обличается с большой силой и резкостью, как в «Путешествии И... Т...».

Проблема крепостного права привлекает не только благодаря нарастающим волнениям крестьянских масс, но и потому, что крепостное право есть проблема рабочих рук, освобождение которых является необходимым условием развития капиталистических отношений. Нет никакой необходимости настаивать на том, что промышленный капитализм развернулся уже в XVIII веке, как это почему-то обязательно хочется В. Десницкому, ибо для возникновения в XVIII веке идеологических явлений, связанных с капиталистическими отношениями, вовсе не нужно было развернутых форм капиталистической деятельности в России. Литература не развивается прямо пропорционально экономическим предпосылкам; наличие, с одной стороны, в недрах старого строя «хотя бы торговых отношений, которые изменяют постепенно все стороны феодального общества», а с другой, постоянное взаимодействие с странами, где уже развилась буржуазная культура, — все это позволяло оформляться еще в условиях феодального общества настроениям, выражавшим передовые тенденции капиталистического развития. Закладывались основы критического отношения к старому строю, стремление к той относительной жизненной правде, носителем которой являлся выраставший на этой почве новый прогрессивный и по содержанию и по форме реализм, к которому примыкали в той или иной мере наиболее дальновидные представители сближавшихся с капиталистическими элементами слоев дворянства. В этом — смысл изучения влияний заказа, которые совершенно искаженно понимает Д. Мирский. Та база, которую стремится найти для объяснения развития третьесословной идеологии в России XVIII века В. Десницкий, гораздо сложнее, чем ему представляется. Она определяется не прямолинейно действующим русским промышленным капитализмом XVIII века, а чрезвычайно сложным взаимодействием развернутого капиталистического развития на западе и его оформившейся идеологии с элементами капиталистического развития в России. Поэтому-то русские идеологи капита-

листического развития могли итти в своих взглядах дальше, чем это позволяло непосредственное состояние этого развития в России. Поэтому-то в литературе XVIII века мы находим ту сложность, которая всегда будет путать слишком прямолинейно мыслящих литературоведов.

Таким образом, мы подходим к новой существенной проблеме — к вопросу о социальных основах реализма в русской литературе. В связи с этим литература XVIII века должна мыслиться нами не в «полном разрыве» с литературой XIX века, а, наоборот, именно в ней мы сможем установить те две творческие струи, которые позволяют с большой глубиной, с одной стороны, проследить рост антиреалистических тенденций от сентиментализма к Жуковскому, Озерову, вплоть до раннего Гоголя, а с другой стороны, — мы увидим как на основе складывающегося в конце XVIII века реализма, достигающего своей вершины в лице Радищева, развивается реалистическая литература начала XIX века. Понятна проблемность этих соображений, но лишь при такой постановке изучения литературы XVIII века, в связи с ведущими историческими и творческими проблемами этого периода, мы можем установить критерий оценки и отбора произведений этого периода, можем разобраться в творческой идеологической, классовой их диференциации, в характере литературного процесса, в отношениях литературы XVIII и XIX века и т. д., и т. д.

Изучение литературы XVIII века должно итти именно путем постановки больших творческих проблем, на основе серьезного отношения к литературным фактам и преодоления вульгарного социологизма, только тогда оно сможет притти к действительным серьезным научным обобщениям, только тогда оно сможет создать базу для действительного освоения нами литературы XVIII века и свяжет ее с творческими интересами нашей литературы.

ХРОНИКА

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ Л. Н. ТОЛСТОГО

В РЕДАКЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ТОЛСТОГО

В 1928 г., в целях ознаменования 100-летия со дня рождения Л. Н. Толстого, Государственное издательство РСФСР, на основании решений высших правительственных органов, предприняло юбилейное академическое издание полного собрания сочинений Л. Н. Толстого. В качестве главного редактора этого издания был утвержден, согласно завещательным распоряжениям Л. Н. Толстого, его ближайший друг и душеприказчик В. Г. Чертков. Правительственный контроль по изданию был поручен особой Государственной редакционной комиссии, первоначально в составе: А. В. Луначарского, В. Д. Бонч-Бруевича, М. Н. Покровского и И. И. Степанова-Скворцова. Впоследствии в число членов Госредкомиссии были введены И. К. Луппол и М. А. Савельев. Главному редактору была предоставлена полностью организация всей редакционной стороны предприятия. Им были привлечены к разработке и редактированию текстов Л. Н. Толстого выдающиеся научные силы СССР, специалисты по текстологии, эдиционной технике и толстоведению: М. А. Цявловский, Н. К. Пиксанов, В. И. Срезневский, П. Н. Сакулин, А. Е. Грузинский, Н. К. Гудзий, Л. Я. Гуревич, В. С. Спиридонов, Б. М. Эйхенбаум, А. И. Никифоров, Н. М. Мендельсон, В. Ф. Саводник, В. О. Нилендер, А. С. Петровский, Л. П. Гроссман, С. Д. Балухатый, К. С. Шохор-Троцкий, М. В. Муратов, Н. Н. Гусев и др. Для разрешения общих по изданию научно-принципиальных вопросов, выработки его плана и характера а также в целях редакционного контроля сдаваемых редакторами томов Чертковым был организован Редакторский комитет в составе: В. Г. Черткова (председатель), П. Н. Сакулина, Н. К. Пиксанова, Н. Н. Гусева, А. Е. Грузинского, М. А. Цявловского, А. Л. Толстой и К. С. Шохор-Троцкого. Этот первоначальный состав Редакторского комитета был впоследствии пополнен В. И. Срезневским, Н. К. Гудзием и Н. С. Родионовым. Вопросы финансового и хозяйственного порядка были предоставлены ведению особого комитета из пяти лиц. Вся текущая административно-техническая работа сосредоточилась в главной редакции, в постоянно действующем при главном редакторе аппарате, состоящем из небольшой группы штатных сотрудников.

Договор на академическое 95-томное издание Л. Н. Толстого был заключен Государственным издательством с В. Г. Чертковым 2 апреля 1928 г.; текст договора был также санкционирован Совнаркомом СССР.

Перед редакцией стояла задача исключительной сложности и ответственности — дать критически выверенный, свободный от цензурных и иных искажений текст произведений Толстого, его дневников и писем, исчерпывающе прокомментированный с биографической, библиографической и творческой стороны, включая в круг изучения тексты Толстого в их максимальной полноте.

Прежние издания Толстого не отличались ни полнотой, ни авторитетностью текста. Помимо прямых цензурных, издательских и редакторских искажений, толстовский текст пестрел ошибками переписчиков и типографии, часто совершенно затемнявшими смысл написанного Толстым. К тому же значительная часть литературного и эпистолярного материала не печаталась вовсе: так оставались неопубликованными почти полностью дневники и записные книжки (печатались лишь небольшие отрывки из них), большая часть писем Толстого, значительное количество неоконченных или неотделанных его произведений, не говоря уже о массе первоначальных их редакций и черновых, оставшихся совершенно неизвестными не только широким читательским кругам, но и узкому кругу специалистов.

Главнейшим практическим затруднением, с которым столкнулась редакция на первых же шагах своей работы, явилась чрезвычайная распыленность толстовских рукописных фондов. Помимо двух основных центров — Рукописного отделения Публичной Библиотеки им. Ленина и архива Го-

сударственного Толстовского Музея, рукописи Толстого находились в различных архивохранилищах Москвы и Ленинграда, в провинциальных музейных центрах и наконец в руках частных держателей. Из этой последней категории самая значительная коллекция рукописей принадлежала В. Г. Черткову и долгое время хранилась им в Англии, в специально устроенном для того огнеупорном помещении. В 1928 г. эта коллекция, состоящая из ста с лишком тысяч листов, была привезена в СССР и передана В. Г. Чертковым в дар Государственному Толстовскому Музею. Дальнейшей концентрации толстовских рукописей провести не удалось. Наркомпрос обратился ко всем ему подведомственным музеям и архивохранилищам циркулярно с предложением всемерно содействовать работам редакции академического издания Толстого, предоставляя свободный доступ ее редакторам и сотрудникам к рукописям Толстого и перебрасывая эти последние из одного хранилища в другое по первому требованию редакции для временного их использования. Эта мера имела известное значение, однако более моральное, чем практическое, так как переброска рукописей неизменно была сопряжена с такими техническими затруднениями, которые чрезвычайно тормозили и тормозят до настоящего времени работу редакции, в значительной мере замедляя ее темпы.

Учет и регистрация всех имеющихся в наличности рукописных, корректурных и печатных толстовских фондов и включение их в круг редакторских работ были первым шагом деятельности редакции. Эта работа была выполнена наличными силами ее сотрудников при содействии музейной администрации. Разумеется, что в дальнейшем процессе работы то там, то сям, в СССР и за границей, обнаруживаются залежи толстовских документов, которые приходится при помощи тех или иных путей привлекать к разработке. Большую помощь в этом деле за последнее время оказывает редакции недавно организованный в Москве Государственный Литературный Музей, приобревший за короткий срок в СССР и за границей от частных держателей значительное количество толстовских документов и предоставляющий редакции все возможности их широкого использования.

Учет и регистрация толстовских фондов дали возможность редакции в первые же месяцы ее существования составить подробный проспект издания, напечатанный Госиздатом в 1928 г., к сожалению только на русском языке. В проспекте был дан перечень всех произведений Толстого как законченных и напечатанных, так не опубликованных и не законченных и распределение всего этого материала по томам, по трем основным сериям: 1-я серия — произведения (художественные и теоретические), 2-я серия — дневники и записные книжки и 3-я серия — письма. Внутри каждой серии строго выдерживается принцип хронологической подачи материала.

Одновременно с этими подготовительными работами Редакторским комитетом было поручено проф. М. А. Цявловскому составление инструкции по приготовлению к печати томов академического издания Толстого, каждый пункт которой был проведен через обсуждение и утверждение Редакторского комитета в его полном составе. Эта инструкция, в процессе редакторских работ пополнявшаяся и уточнявшаяся, в настоящее время составляет свыше двух печатных листов и по своей научной ценности несомненно является значительным вкладом в текстологию классиков.

В рамках, установленных инструкцией, развернулась работа редакторов одновременно по всем трем сериям. Тома первой серии включают канонические тексты одного или группы произведений определенного хронологического отрезка, печатные и рукописные варианты к ним и редакторские статьи: описание рукописей, историю писания и печатания и указатели. К произведениям теоретического характера дается также реальный комментарий, отсутствующий по отношению к художественным произведениям и заменяемый здесь аннотированным указателем. Основным моментом в редакторской обработке произведений является установление канонического, т. е. наиболее авторитетного и авторизованного, текста. Выбор такого текста определяется тщательным изучением всех рукописей, относящихся к кругу работ над данным произведением, определение их основных этапов или редакций и установление их генезиса, т. е. усвоение творческого процесса по его конкретным выявлениям. Эта большая и кропотливая работа усложняется тем обстоятельством, что Толстой обычно долго и тщательно работал над своими произведениями, по многу раз их переделывая, то дополняя, то сокращая в целях получения наибольшего художественного эффекта. Все его произведения имеют многочисленные редакции, количество которых у некоторых произведений доходит до 30-ти и выше.

Изучение рукописей позволяет сделать выбор наиболее авторитетных из имеющихся печатных текстов того или иного произведения и положить его в основу текста академического издания. Этот основной текст тщательно очищается от всех наслоений не авторского происхождения, цензурных и иных искажений, описок переписчиков, типографских ошибок; в него вводятся исправления по рукописям. В отдельных случаях печатные тексты всех прежних изданий оказываются в целом недостаточно авторитетными; тогда редактору приходится возвращаться к корректурам и рукописям и давать или контаминированный текст или полностью восстанавливать его по моментам допечатного периода. Так канонический текст романа «Воскресенье» в академическом издании дает-

ся по корректурным гранкам и листам, к счастью целиком сохранившимся; текст пьесы «Живой труп» — по рукописям.

Рукописные варианты к произведениям не воспроизводятся полностью вследствие их колоссального для всего издания объема. В целях необходимой экономии места редакторы вынуждены делать отбор вариантов; тем не менее можно с уверенностью сказать, что все наиболее интересные в художественном отношении, крупные по объему и различные по содержанию от общеизвестных печатных текстов рукописные варианты будут представлены в академическом издании.

Тома второй серии, включающие дневники и записные книжки, составляют 13 томов издания. Воспроизведение этого почти полностью неопубликованного материала представляет исключительные трудности. Почерк Толстого, вообще неразборчивый, в дневниковых его записях, делающихся поспешно, для себя, с трудом поддается прочтению. Особенные трудности представляют интимные записные книжки — маленькие тетрадки, удобные для ношения в кармане, записи в которые делались большей частью карандашом в течение дня — на прогулке, верхом, в постели. Тексты записных книжек, с их лаконическим стилем, с инициалами вместо фамилий и имен, походят на ребусы, и от редактора требуется большое знание стиля и почерка Толстого, его биографии, ближайшего окружения за данный период, ежедневных постоянных посетителей, наконец много внимания и терпения, чтобы расшифровать и прокомментировать записанное Толстым. Тексты дневников и записных книжек как впервые публикуемые даются транскрибированными — с соблюдением орфографии и всех особенностей оригинала, с факсимильным воспроизведением рисунков и чертежей, сделанных рукой Толстого, прерывающих текст и наглядно поясняющих какую-нибудь его мысль. Эти тринадцать томов дневниковых записей, которые вел Толстой изо дня в день, с несколькими лишь небольшими перерывами, в течение 60-ти с лишним лет, данные в хронологической последовательности и исчерпывающе прокомментированные, вскрывают внутренний интимный мир Толстого и вводят читателей в сокровенную лабораторию его интеллектуальной и творческой жизни.

Третья серия заключает письма Толстого и составляет 31 том: 24 тома писем его к разным лицам, 2 тома писем к жене, С. А. Толстой, и 5 томов писем к ближайшему и долголетнему другу В. Г. Черткову. Письма даются в строго хронологическом порядке; выделение из общей хронологической цепи писем к С. А. Толстой и В. Г. Черткову в особые группы было вызвано тем соображением, что обе группы эти, чрезвычайно крупные по объему (писем к жене 840, к В. Г. Черткову—928), загромоздили бы всю остальную переписку и, растворенные в общем потоке писем, потеряли бы свой специфический интерес для читателя.

Л. Н. ТОЛСТОЙ С БРАТОМ В 1847 г.
Из иллюстраций к 46 тому академического издания Толстого

Эпистолярная продукция Толстого огромна. Письма его, к самым разнообразным лицам всевозможных классов и профессий, на различных европейских языках, превышают цифру 10 тысяч. Содержание их чрезвычайно разнообразно: семейные, литературные, хозяйственные, учительские, мировоззренческие, ответы на всевозможные запросы и просьбы, иногда самые неожиданные и невыполнимые, советы на всевозможные случаи жизни, часто самые интимные,— все эти письма, характеризуя Толстого с биографической и бытовой стороны, рисуют его фигуру и в общественно-социальном разрезе.

Для комментирования писем Толстого привлекаются письма его адресатов, представляющие в своей совокупности такую необозримую массу, которая не поддается учету (в одной Ленинской Библиотеке зарегистрировано около 30 000 писем к Толстому). Отрывки из встречных писем, в виде цитат, даются в комментарии, петитом, в том размере, какой необходим для понимания текстов писем Толстого. Простое использование встречных писем не может однако удовлетворить в полной мере редактора-исследователя; ему нужны хотя бы самые краткие биографические сведения об адресатах Толстого, подробности, сопровождавшие их обращение к нему, историю их знакомства; его интересует местонахождение подлинного письма Толстого, если таковое не имеется в доступных

ему архивохранилищах. Получение всех этих сведений является делом не легким. В первую половину жизни Толстого его адресаты составляли более или менее постоянный круг его родных и знакомых, лиц известных или доступных для изучения. Но в последний, «учительский» период его жизни круг его адресатов чрезвычайно расширяется, охватывая чуть не весь мир; на место прежних добрых знакомых появляется множество случайных, в большинстве лично ему совершенно неизвестных лиц, представителей самых разнообразных общественных слоев, профессий и настроений. Прокомментировать весь этот пестрый калейдоскоп и является задачей редактора. С этой целью приходится обращаться к местным государственным учреждениям (большое содействие оказывают краевые музеи), разыскивать знакомых, родных, земляков: в отдельных случаях удается разыскать и самого адресата. Тем или иным путем, но необходимые сведения получаются, и неуловимым и непрокомментированным остается очень незначительное количество лиц.

Сами адресаты как в пределах СССР, так и за границей обычно охотно идут навстречу запросам редактора. Так например, Ромэн Роллан по просьбе редакции выслал фотоснимок с текста известного письма к нему Толстого и дал исчерпывающие ответы на все обращенные к нему по этому поводу вопросы в своем письме в редакцию от 23 сентября 1929 г. В другом письме от 13 февраля 1930 г. Р. Роллан благодарит редакцию за присылку трех тогда вышедших из печати томов академического издания Толстого в следующих выражениях: „Je vous remercis beaucoup de l'envo des trois beaux volumes de votre grande édition des oeuvres de Tolstoy. J'en ai été très heureux".

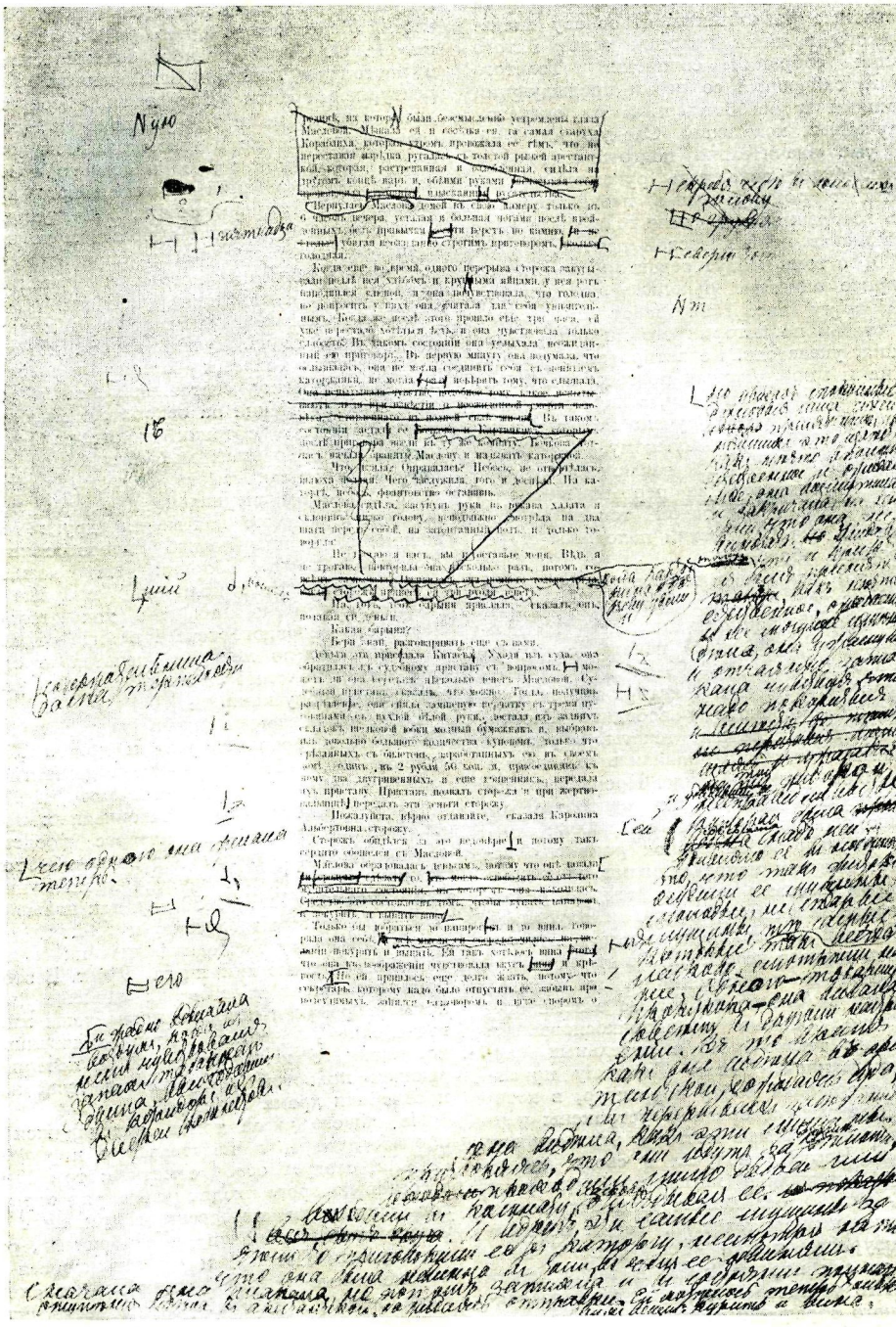
Известный французский публицист и переводчик Шарль Саломон в своем письме в редакцию от 4 апреля 1932 г., отвечая на запрос редакции, с мельчайшими подробностями вспоминает свое посещение Толстого в Ясной Поляне в 1910 г.; и этот рассказ позволил уточнить и прокомментировать неясные намеки писем и дневниковых записей Толстого.

Так, в самых сжатых чертах, идет редакторская работа по трем основным сериям издания. В результате семилетней напряженной работы к 1 июня 1935 г. редакция сдала через Госредкомиссию в ГИХЛ 67 томов,—в общей сложности свыше двух тысяч печатных листов: 32 тома серии произведений (1 000 печ. листов), 26 томов писем (700 печ. листов) и 9 томов дневников (350 печ. листов). Темпы печатания томов академического издания Толстого далеко отстают от темпов редакторской работы. К 1 июня 1935 г. ГИХЛ выпустил в свет только 24 тома; в производстве находится 4 тома и остальные 39 томов—издательском портфеле ГИХЛа.

Из напечатанных томов восемнадцать относятся к первой серии, два ко второй (дневники) и четыре тома к третьей (письма).

1-й и 2-й тома (по общей нумерации издания) заключают в себе впервые публикуемые юношеские произведения, роман «Детство, отрочество и юность» и первую редакцию этого романа, под особым заголовком: «Четыре эпохи развития», никогда не публиковавшуюся и представляющую собой тот зародыш, из которого развился вышеназванный роман Толстого. Этот том приготовлен к печати А. Е. Грузинским и М. А. Цявловским. 3-й том, отредактированный Н. М. Мендельсоном и в некоторой части С. Л. Толстым, заключает ранние произведения Толстого («Набег», «Рубка леса», «Разжалованный», «Записки маркера» и др.) и два неопубликованных его отрывка художественного жанра: «Поездка в Мамакай-юрт» и «Дяденька Жданов». Приводимые к печатным текстам трех вышеназванных произведений варианты дают представление о тех исключительно суровых цензурных условиях, при которых они впервые увидели свет. Рассказу «Разжалованный» был дан цензурой даже другой заголовок: «Встреча в отряде с московским знакомым». 4-й том составляют произведения севастопольского периода под редакцией В. И. Срезневского; кроме трех общеизвестных, так называемых «Севастопольских рассказов» сюда входят написанные Толстым в осажденном Севастополе и впервые публикуемые по автографам: солдатские разговоры, «Отрывок из дневника штабс-капитана А. пехотного Л. Л. полка», донесение о последней бомбардировке и взятии Севастополя союзными войсками и др. В тот же том входит «Утро помещика» (ред. М. А. Цявловский). Кроме обычного печатного текста этого произведения дается впервые полностью первая его редакция с первоначальным названием «Роман русского помещика». Том 5-й составляют произведения конца 50-х годов — «Люцерн», «Альберт», «Семейное счастье» и др. (ред. Н. М. Мендельсон и В. Ф. Саводник). Из неопубликованных материалов в этот том входят небольшие произведения и отрывки художественного характера: «Отъезжее поле», «Записки мужа», «Начало фантастического рассказа», «Отрывки без заглавия» и публицистического: «Записки о дворянстве», проекты освобождения яснополянских крестьян, путевые записки по Швейцарии.

6-й том составляют «Казаки» с вариантами (ред. А. Е. Грузинский). В 7-й том входят произведения 60-х годов: «Поликушка», «Тихон и Маланья», «Идиллия», «Зараженное семейство» и др. Этот том характеризуется значительным количеством неопубликованного материала, из которого следует особо отметить четыре драматических отрывка: «Практический человек», «Дворянское семейство», «Дядюшкино благословение» и «Свободная любовь». Тома 9, 10, 11, 12 заключают в себе роман



КОРРЕКТУРНАЯ ПРАНКА «ВОСКРЕСЕНЬЯ» С ИСПРАВЛЕНИЯМИ РУКОЙ ТОЛСТОГО, А. А. РУСАНОВОЙ и А. П. ИВАНОВА

Из иллюстраций к 32 тому академического издания Толстого

«Война и мир». В этих вышедших в свет четырех томах дается только текст романа и печатные разночтения. В основу академического издания положен текст пятого издания собрания сочинений Толстого 1886 г., сличенный со всеми предыдущими изданиями и освобожденный от опечаток и случайных искажений. Следующий, 13-й, том, уже значительно подготовленный к печати, будет заключать рукописные варианты к роману, лишь незначительная часть которых за последние годы была опубликована в периодической печати; в состав 14-го тома войдут редакторские статьи: обширное описание рукописей, относящихся к кругу авторских работ над романом, статьи по истории его писания и печатания, указатели. Редактирование романа «Война и мир», сначала подготовлявшегося к печати А. Е. Грузинским, вследствие смерти последнего было поручено Редакторским комитетом М. А. Цявловскому.

Тома 18, 19 и 20 заключают роман «Анну Каренину». Два первых, в состав которых входит основной текст романа, вышли из печати. Третий находится в редакторской обработке.

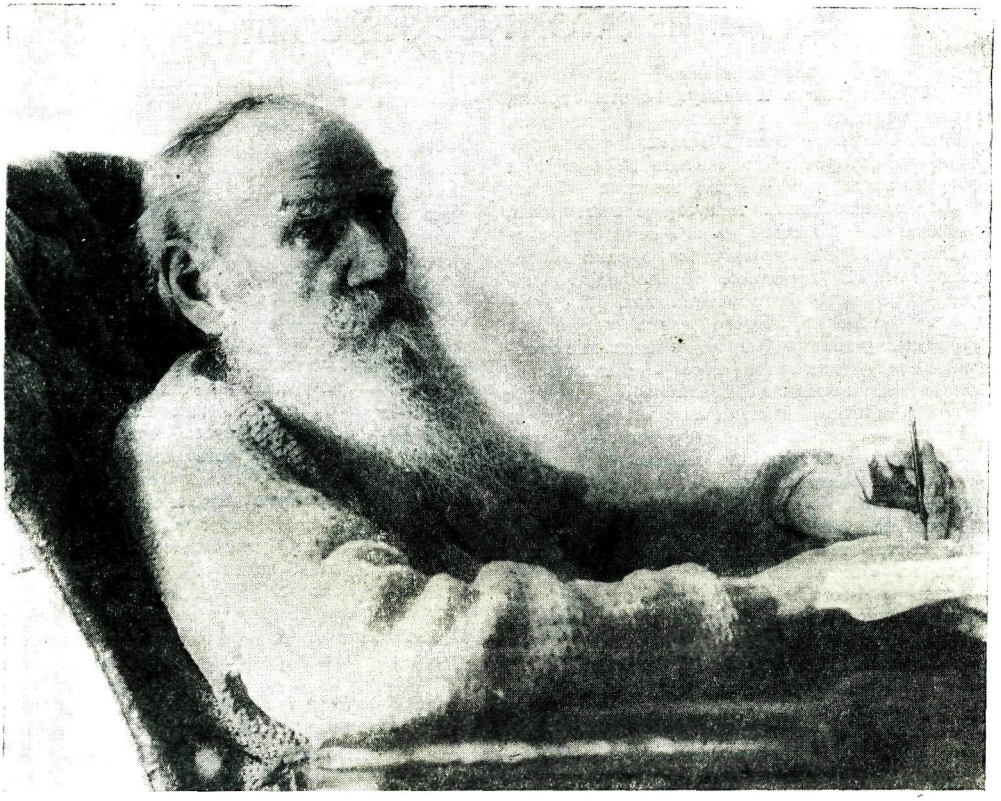
32-й том заключает в себе текст романа «Воскресенье» (ред. Н. К. Гудзий), воспроизводимый, как сказано выше, по корректурам. «Воскресенье» печаталось одновременно в течение 1899 г. в России, в журнале «Нива», и в Англии, в издательстве В. Г. Черткова «Свободное Слово». Оба эти первопечатные тексты, в различной лишь степени, появились в свет в искаженном цензурой виде. Произошло это в результате следующих обстоятельств. Обычно редакция «Нивы» отправляла Толстому первый набор гранок романа с зачеркнутыми или исправленными синим карандашом местами текста, которые редакции представлялись цензурно недопустимыми. Толстой исправлял корректуру, в большинстве случаев не считаясь с этими зачеркиваниями и исправлениями, и посылал Черткову в Англию дублетные экземпляры корректур, обычно с неприкосновенным авторским текстом. Но в отдельных случаях редакцией «Нивы» Толстому присылался вторичный набор корректур, в котором были уже совершенно устранены цензурно неприемлемые места; в этих случаях и В. Г. Чертков получал в своем дубликатном экземпляре искаженный цензурой текст, однако без всяких видимых следов цензурного вмешательства. Таким образом бесцензурного текста «Воскресенья» читатель до сих пор не имел, и такой текст мог быть установлен лишь путем непосредственного обращения к корректурным гранкам. Необходимость печатания романа по корректурным гранкам диктуется еще и тем обстоятельством, что оба его первопечатные тексты—и «Нивы» и «Свободного Слова»—содержат в себе отступления от авторского текста, сделанные редакторами без активного участия Толстого и сводящиеся главным образом к стилистическим и грамматическим исправлениям текста. Все эти исправления, весьма значительные по количеству (исправлений одного редактора «Нивы» Р. О. Сементковского больше тысячи) в настоящем издании исключаются. Корректурные гранки «Воскресенья» сохранились, если и не в исчерпывающем своем составе, то все же в таком большом количестве, что дают вполне надежную основу для сконструирования окончательного, критически проверенного текста. В следующем, 33-м, томе будут даны в большом количестве черновые редакции и варианты романа (150), обширная история создания его и печатания и описания рукописей.

43 и 44 тома заключают «На каждый день» (ред. Н. Н. Гусев), второй из трех составленных Толстым сборников, представляющих попытку составления книги для ежедневного чтения на основе его мировоззрения. В этот сборник входят наряду с избранными Толстым мыслями из разных авторов и мысли самого Толстого, частью написанные им специально для этого произведения, частью взятые из других его сочинений и значительно переработанные для этой книги. Сборник «На каждый день» публикуется полностью впервые в академическом издании, так как только часть его основного текста в виде отдельных книжек (по месяцам) печаталась еще при жизни Толстого со значительными цензурными пропусками.

О недавно вышедших в свет томах — 27-м («Крейцерова соната» и др.) и 72-м (письма 1899 — 1900 гг.) — ниже даются подробные сведения их редакторами.

Из томов, только что законченных производством, особенный интерес представляют два больших тома дневника—46-й том, заключающий в себе первый хронологически дневник (1847—1853 гг.), так называемый «Дневник молодости», и 58-й том, в который входит последний дневник и интимные записные книжки за 1910 г. В этом томе на основе толстовских записей, для комментирования которых привлечены многочисленные, частью неопубликованные источники, с исключительной и исчерпывающей полнотой раскрывается душевная и семейная драма Толстого.

Из общего числа томов, находящихся в производстве и в издательском портфеле ГИХЛа, следует особо отметить: том 17-й, в состав которого входит целый ряд отрывков широко и интересно задуманных и незаконченных романов—«Декабристы», роман времен Петра I и «Труждающиеся и обремененные» — многочисленными вариантами, имеющими высокую художественную ценность, в большинстве своем неопубликованными (ред. М. А. Цявловский и П. С. Попов); том 25-й, заключающий так называемые народные рассказы, в редакторской обработке В. И. Срезневского; приводимые здесь черновые варианты, обильные документы по истории писания, установление ближайших источников—все эти материалы рисуют интересную картину попыток Тол-



Л. Н. ТОЛСТОЙ ЗА РАБОТОЙ «НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ», 28 АВГУСТА 1908 г.

Из иллюстраций к 43 тому академического издания Толстого

стого к созданию своеобразного художественного жанра; том 26-й, подготовленный к печати целым рядом специалистов (Н. К. Гудзий, Л. П. Гроссман, Б. М. Эйхенбаум, А. И. Никифоров, П. В. Булычев) и заключающий в себе такие произведения, как «Холстомер», «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы», неопубликованные этюды художественного характера—«Аггей», «Миташа», «Жил в селе человек» и обширную теоретическую часть с философским трактатом «О жизни»; том 36-й, в состав которого входят так называемые посмертные произведения — «Алеша Горшок», «Фальшивый купон», «Посмертные записки старца Федора Кузьмича», «Отец Василий» и др. (ред. Н. К. Гудзий). Особое место в творчестве Толстого занимает обширный труд «Соединение, перевод и исследование 4-х Евангелий», составляющий 22 и 23 тома (ред. В. О. Нилендер). Здесь Толстой впервые выступает в качестве ученого исследователя-филолога, специально для того изучив греческий язык и упорно работая над материалом в течение двух лет; этот труд Толстой считал поворотным пунктом в своей творческой жизни. Изучение многочисленных черновых рукописей с обращением к греческим первоисточникам позволяет вскрыть различные погрешности в филологических построениях Толстого, вытекающие главным образом из несовершенного знания языка, и вместе с тем очистить текст от многочисленных ошибок переписчиков и наборщиков, вследствие которых до настоящего времени печатный текст этого произведения подавался в несовершенном и частью искаженном виде.

Работа над остальными томами издания ведется непрерывно с той интенсивностью, которая только возможна для редакторской обработки такого обильного и сложного материала, как печатные и рукописные тексты Толстого. В ближайшее время к сдаче в Гослитиздат редакцией подготовляются следующие тома: 34 («Живой труп», «После бала» и др. произведения 1900—1903 гг.), 35 («Хаджи Мурат», с главой «Николай Палкин», статья «О Шекспире и о драме» и др.), 30 (трактат «Об искусстве») и др. тома.

Осуществление в ближайшем будущем в полном объеме академического издания сочинений Толстого будет несомненно иметь исключительное, общеевропейское культурное значение.

М. Чистякова

ТОМ 8-й. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

8-й том, приготовленный к печати В. Ф. Саводником и пишущим эти строки, занят прежде всего текстами из журнала «Ясная Поляна». Уже в издании сочинений 1864 г., которое надо считать первым, под общим заглавием «Педагогические статьи» были перепечатаны некоторые материалы, извлеченные Толстым из его педагогического журнала. Он ограничился однако пятью статьями: «О народном образовании» (январь), «О методах обучения грамоте» (февраль), «Проект общего плана устройства народных училищ» (март), «Воспитание и образование» (июль) и «Прогресс и определение образования» (декабрь). Издание 1873 г. прибавило сюда еще «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?» (сентябрь) и «Ясно-Полянская школа за ноябрь—декабрь месяцы» (январь, март и апрель).

Этим на долгие годы определился в основном состав тех перепечаток, которые делались из «Ясной Поляны» и обычно включались в 4-й том собрания сочинений, посвящавшийся всегда специально педагогическим работам Толстого.

Через тридцать лет после издания 1873 г., в одиннадцатом издании 1903 г., С. А. Толстая дополнила тексты, взятые из «Ясной Поляны», перепечаткой того обращения «К публике», которым открывалась первая книжка журнала.

Отмеченные опусы не исчерпали всего напечатанного Толстым в «Ясной Поляне». Не могло похвалиться такой полнотой и большинство специальных сборников педагогических произведений Л. Н. Толстого: ни «Педагогические статьи» изд. «Посредник» (1911 г.), ни «Педагогические статьи трех периодов: 60-х, 70-х годов и последнего времени» под редакцией П. И. Бирюкова (1912 г.), ни «Педагогические сочинения» изд. газ. «Школа и Жизнь» (со вступительной статьей проф. С. А. Венгерова и очерком педагогической деятельности Толстого и библиографическими указаниями А. Г. Фомина. М., 1912).

1914 год явился переломным: в издательстве К. И. Тихомирова в Москве вышли в свет «Педагогические сочинения Л. Н. Толстого» под редакцией и с приложением критического очерка П. А. Буланже.

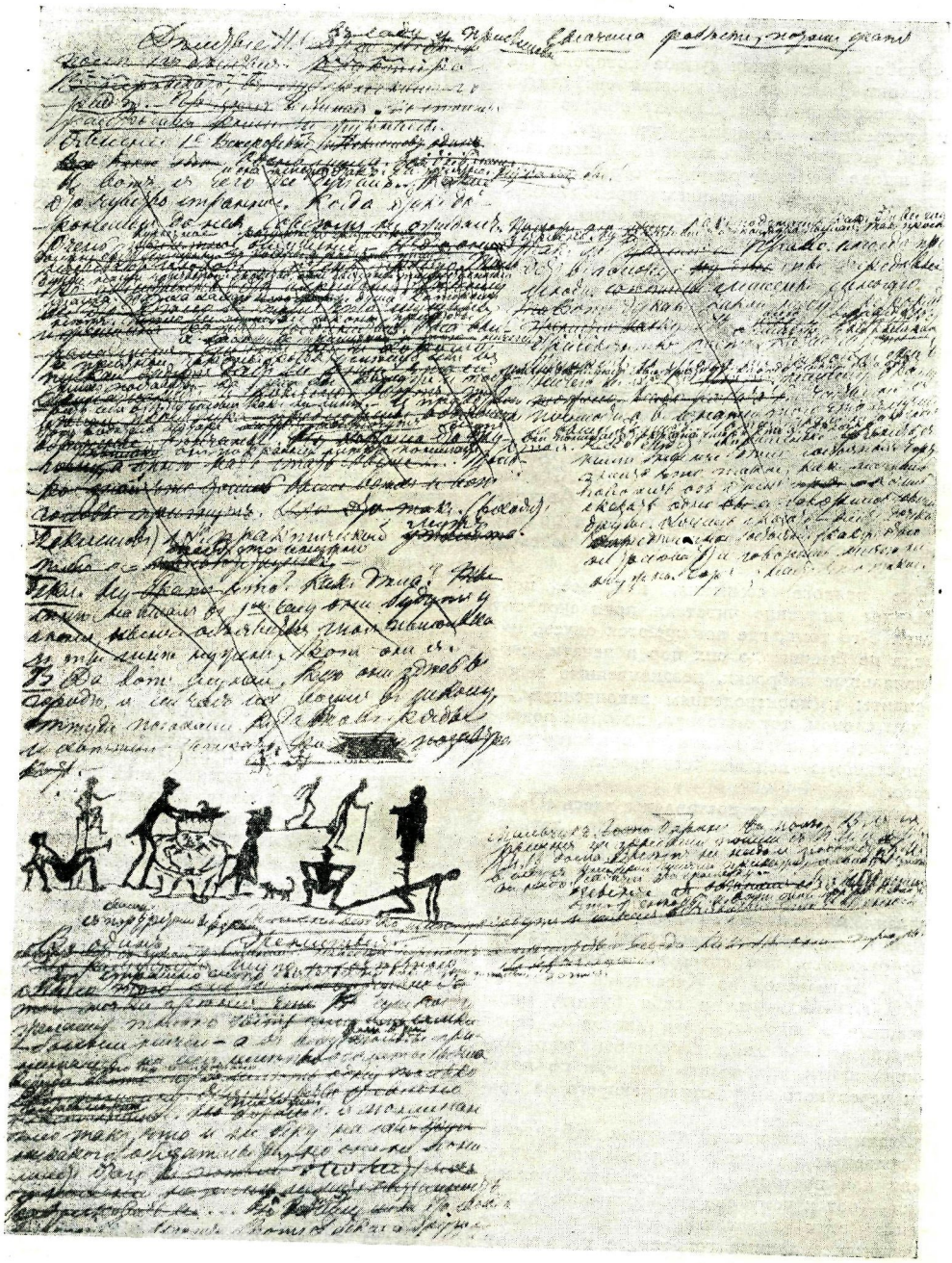
Редактор сборника вновь пересмотрел тексты журнала и извлек оттуда три анонимно напечатанных и прочно забытых педагогических работы Толстого: «О значении описаний школ и народных книг» (январь), «О свободном возникновении и развитии школ в народе» (февраль) и «Об общественной деятельности на поприще народного образования» (август).

В определении состава крупных статей Толстого, которые берутся из «Ясной Поляны», 8-й том идет по дороге, проложенной уже П. А. Буланже. Но он не ограничивается этим, а в законном стремлении собрать воедино все высказывания Толстого, рассеянные им на страницах «Ясной Поляны» и «Книжек Ясной Поляны», дает никогда не включавшуюся ни в собрание сочинений, ни в специальные сборники небольшую статью Толстого — вступительную заметку к истории о «Матвее», открывающую собой январскую «Книжку Ясной Поляны» и носящую программно-теоретический характер по вопросу о народном чтении.

Наряду с этим редакция 8-го тома не могла пройти мимо разнообразных редакционных заметок и примечаний, то и дело встречающихся и в «Ясной Поляне», и в «Книжках». Журнал дал таких номеров 13, книжки — 2. Пять из них напечатаны за подписью Л. Н. Толстого, четыре за подписью Ред[акции], остальные — анонимны. Принадлежность Л. Н. Толстому всех редакционных заметок, даже и не подписанных его именем, весьма вероятна, но разумеется не может быть утверждаема безусловно, тем более, что в редакционных делах и заботах у Толстого были помощники. Это прежде всего не раз упоминавшийся им и в объявлениях о журнале, и в письмах к А. Е. Берсу студент Вас. Мих. Попов. Помогали ему и учителя его школ и деятельнее других повидимому Александр Павлович Сердобольский.

В комментариях 8-го тома специальные страницы отведены для того, чтобы собрать, по возможности все уцелевшие фактические указания на школьно-педагогическую и журнальную деятельность Л. Н. Толстого. На этих страницах нельзя было пройти мимо Попова и Сердобольского. К сожалению, данные о первом обидно скупы. Поиски в архиве I МГУ оказались почти безрезультатны. Там нашлось лишь за интересующее нас время глухое упоминание о Попове Василии (без отчества), стипендиате Тверского Дворянского Депутатского Собрания, студенте физико-математического факультета. Рукописные материалы, связанные с изданием «Ясной Поляны» и хранящиеся в Толстовском кабинете Всесоюзной Публичной Библиотеки им. Ленина, чуть-чуть щедрее по части сведений о Попове. Пользуясь ими, 8-й том дает прежде всего неизвестное до сих пор в печати письмо Л. Н. Толстого к Попову по редакционным делам. Письмо находится в рукописи второй статьи «Ясно-Полянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», напечатанной в мартовской книжке журнала с цензурной пометкой 2 апреля 1862 г. Это приблизительно определяет дату письма. Вот его текст, с полным сохранением орфографии и всех особенностей подлинника (в квадратных скобках недописанные части слов, в ломанных скобках — зачеркнутый текст).

Вас[илій] Ми]хайловичъ]. Первая статья разборъ предоставлена на съѣденье цензуры, но наберите ее — можетъ и пройдетъ. Если очень изуродуютъ, не печатайте. 2) Я[сно] П[олянская] школа посылается только ма



СТРАНИЦА РУКОПИСИ ПЬЕСЫ «ЗАРАЖЕННОЕ СЕМЕЙСТВО» С РИСУНКАМИ ТОЛСТОГО

Из иллюстраций к 7 тому академического издания Толстого

лая часть. <«Еще буде»> 3) Томашевской, 4) Лукашевичь, 5) будетъ Ив[анъ] Ил[ьичь]. О статьѣ «разборъ» напишите тотчасъ же.

В случаѣ неустойки часть Я[сно]-П[олянской] школы можетъ быть напечатана к к цѣлое.

«Разбор», цензурная судьба которого так беспокоит Толстого, разумеется его статья в мартовской книжке: «Проект общего плана устройства народных училищ». Под «малой частью» своей статьи об Яснополянской школе Толстой разумеет страницы рукописи, занятые описанием преподавания священной истории: первоначальная самостоятельная пагинация остальной части рукописи ясно указывает на то, что она была дослана впоследствии.

Из работ авторов-учителей, упомянутых Толстым, в мартовскую книжку попала только статья учителя Колпенской школы А. К. Томашевского, подписанная инициалами А. Т. и озаглавленная: «К—ая школа». Статья городненского учителя Влад. Павл. Лукашевича «О необходимости контроля общества над школами» за подписью В. Л. напечатана в апрельской книжке. Статья житовского учителя Ивана Ильича Авксентьева «Заметки о народном чтении», подписанная И. А., появилась лишь в майской книжке.

Вне всякого сомнения, наиболее пристальное внимание читателя привлечет тот отдел 8-го тома, где помещаются опусы, никогда не бывшие до сих пор в печати, первоначальные наброски, незаконченные вещи, варианты к произведениям законченным, — одним словом, тот материал, который позволяет хоть немного заглянуть в мастерскую, выпустившую педагогические статьи Толстого.

На первом месте поставлены здесь «Педагогические заметки и материалы», датированные Толстым 5 марта 1860 г., т. е. написанные еще до отъезда во вторую заграничную поездку, когда он был занят усиленными педагогическими наблюдениями. Судя по некоторым признакам, это та самая рукопись, про которую Толстой писал Т. А. Ергольской из Киссингена в августе 1860 г.: «Я забыл у себя бумаги, мною писанные о школах, — это листов 6 серой бумаги во весь лист. Ежели бы было возможно найти и прислать мне или по почте или через кого-нибуд отъезжающего за границу».

Взаимные отношения частных наблюдений и делаемых из них обобщений как фундамент для построения рациональной педагогики — вот к чему сводится основное содержание этих заметок. Некоторые палеографические данные говорят за то, что рукопись была переслана Толстому за границу и что там — и во всяком случае в другое время по сравнению с основным текстом «заметок» — был прибавлен следующий, наскоро набросанный и совершенно не отделанный план журнала:

«Весь круг наук вместе первоначально. Журнал будет выходить 3 раза в год, ежели <богатство> по 2 книги — 10 печатных листов. Первый отдел будет заключать в себе сведения о школах, заметки учителей, мысли о педагогии вообще, оригинальные и переводные. 2-й отдел будет заключать Руководства по разным наукам «Поэзию» Повести и рассказы. Сказки и песни.»

В непосредственной связи с только что отмеченными материалами и заметками стоит, во-первых, незаконченный проспект журнала под заглавием «Сельский учитель», а во-вторых, незаконченный отрывок под заглавием «Вступление». Он не датирован, но по некоторым признакам можно безошибочно утверждать, что «Вступление» тоже писано за границей.

Оно начинается так:

«Мне кажется, что во время моих занятий воспитанием детей вообще, и ‹детей› в особенности русских крестьянских детей, мне пришли в голову некоторые мысли, не вошедшие еще в убеждение ‹общества› правительств и обществ о значении народного образования в наше время и о новых основаниях, которые должны быть положены для него. Эти-то мысли я постараюсь изложить в этом писании, в той бессознательной связи, в которой они выросли во мне.»

Очевидно это должно было быть предисловием к большой работе. А из другого места «Вступления» видно, что какая-то большая работа, с огромным захватом, была начата Толстым раньше, но оставлена им. Вот как он делает это признание, ценность которого в биографическом и литературном отношении трудно преувеличить:

«Я знаю, что в моих выводах много и много будет ошибок и невольной лжи, происходящих от недостатка знаний и ложной точки зрения, и потому, сколько возможно, буду стараться избегать построения теории, в которую бы были включены все возможные стороны предмета. Я начал было такого рода сочинение, в котором, постанавливая аксиомы о человечестве, движении развития, о душе и т. п. я старался захватить все в свой круг суждения. Но опыт убедил меня, что как не (*так!*) льстивы для самолюбия такого рода категорические сочинения, в которых мысли так общи, что охватывают все и вместе с тем для каждого представляют особенную неясную идею, что такие сочинения, несмотря на внешнюю логичность, имеют менее убедительности и влияния, чем скромные представления хотя не всесторонних фактов, но таких, из которых сам читатель делает тот вывод, который ‹уже› побудил автора к выставлению этих фактов.»

Вслед за «Вступлением» 8-й том помещает рассказ Л. Н. Толстого о встрече его и беседе с Прудоном. В связи с некоторыми материалами из портфеля редакции «Литературного Наследства» этот рассказ использован пишущим эти строки в отдельной заметке (см. № 7—8 «Литературного Наследства»).

Следующее место занимает отрывок без

заглавия, по содержанию как будто связанный со статьей «Воспитание и образование» и в то же время говорящий об «ошибке в перед[овой] статье «Ясной П[оляны]», т. е. в статье первого номера «О народном образовании».

Останавливает здесь внимание такое признание Толстого:

«Образоваться из книг народ не может. Либо он не понимает, либо подделка под него. А подделываться и творить вместе нельзя. Лучшая подделка Я[сная] П[оляна] ничтожна.»

Совершенно особняком среди вновь публикуемых материалов стоит «Дневник Ясно-Полянской школы».

В этих дневниковых записях с 26 февраля по 17 марта 1862 г. включительно — живые черты из жизни знаменитой школы. Все записи обвеяны прелестью непосредственности, кто бы ни записывал, — учитель ли П. В. Морозов, учитель ли Г. Ф. Келлер, священник ли Пашковский, старшие ли из учеников, наконец сам ли Лев Николаевич.

Морозов видимо немудрящий человек и побаивающийся графа. Он откровенно признается, как ему трудно с русской историей: он ее очень плохо знает, — приходится просто брать учебник Водовозова или Погодина и читать его вместе с учениками. «Каллиграфия в упадке, — записывает он, — замечено графом обратить на это внимание. Да, я боюсь за себя, потому — сам не далек».

Г. Ф. Келлер, любимец Толстого, немец, вывезенный им из Германии, большинство записей делает по-немецки, и лишь дверти — на ломаном русском языке. Его записи касаются рисования, черчения и разнообразных опытов по естествознанию.

Помимо ряда списков учеников, сделанных рукой Л. Н. Толстого, с аттестацией учеников по пятибалльной системе, вот несколько его заметок, вводящих в самую практику его школьной работы.

26 февраля. Морозов был услан. Надо останавливать игранье. Попробовал всех вместе, но меньшие — не только меньшие, но и 2-е отделение, страшно слабы — механизм и только.

Математика самые младшие. Начал с деления—не знают и боятся меня—умноженье, вычитанье, сложенье, нумерация — тоже. Механизм в формах сознания. Я был обманут. Поручил Ромашке. Он вел класс необычайно — спокойно, толково и не скучно. Сам выдумывал задачи из жизни и недурно.

П[етр] В[асильевич] Прошу — заставляйте из старшего класса по переменкам учить математике младших. Ежели я не приду, присылайте их — очередных учителей — ко мне за наставлением.

28 февраля. Старший класс. Сочиненья.

Писали сочиненья — все о театре. Васька — о том, что бы он сделал, коли бы попался в плен.—Радуются на тетради — надо поддерживать эту охоту. Пожалуйста, Петр Васильевич. Ром[ашка] о ученьи. Кир[юшка] ни на шаг не уступал Успенскому — в Андр[оне] безчастном.

1 марта. Математика. Старший класс. I отделение.

Сначала всегда плохо — пока не расходятся — а я хуже всех — сержусь.

6 марта. Математика. Старший класс.

Сашка в толпе ничего не может делать. Я вел дело плохо. Как будто ничего не вышло.

В одном месте, среди этих записей учителя, подкупающих своей искренностью, строго деловых, такая заметка художника: «Часто в мл[адшем] кл[ассе] М. (особенно когда я в[хожу?]) позовет меня, посмотрит, улыбнется и больше ничего.»

Работая над 8-м томом, трудно было отделаться от впечатления, что проблемы, поставленные и с толстовской своеобразностью решенные в программно-теоретических статьях яснополянского великого педагога, сохраняют свой жгучий, злободневный интерес и для наших дней, когда революция вывела наконец русскую школу на путь правильного развития. В этом особый интерес 8-го тома, представляющего законченное, самостоятельное целое.

Н. Мендельсон

ТОМ 17-й. НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ

Семнадцатый том юбилейного издания Толстого охватывает четыре неоконченных исторических романа Толстого. Известно, что после написания «Войны и мира» Толстой неоднократно приступал к обработке исторических тем. При этом он шел вглубь русской истории (за исключением «Декабристов», начатых еще в 1863 г.): его интересовал XVIII век и конец XVII и в первую голову время Петра. Уже записная книжка 1870 г. свидетельствует о живом интересе Толстого к эпохе преобразований, пестря записями исторического содержания. В качестве одного из редакторов семнадцатого тома я в настоящем обзоре коснусь трех неизданных исторических романов Толстого, мною приготовленных к печати. Сюда относятся: роман времен Петра, «Труждающиеся и обремененные» («1757 г.») и «Князь Федор Щетинин». Если первый роман известен и в небольшой части (правда, очень незначительной) опубликован, то два других романа не только никогда не печатались, но их названия вовсе неизвестны в литературе и о приступах к работе над ними нет речи ни в одной из биографий

Толстого. Разумеется следует прежде всего оговориться, что все три романа остались незавершенными, от них мы имеем лишь отрывки, варианты и довольно значительные записи, свидетельствующие о предварительной работе Толстого, связанной с изучением соответствующих исторических материалов.

Изучая отрывки исторического романа Толстого эпохи Петра, мы наталкиваемся на особый жанр в его творчестве. Толстой в конце концов отказался от мысли писания романа времени конца XVII — начала XVIII в. в связи с тем, что он, при его повышенных требованиях к художественным произведениям, считал возможным описывать лишь то, что он в состоянии созерцать в конкретных, живых образах. Он говорил: «Никак не могу живо восстановить в своем воображении эту эпоху, встречаю затруднения в незнании быта, мелочей обстановки». Не удовлетворяясь ни одним планом из многочисленных предносившихся ему замыслов романа времен Петра, он все время только пробовал, как лучше начать. Все сохранившиеся художественные наброски и представляют собой такого рода «приступы», «начала». Каждая такая проба отменяет другую; таким образом отрывки не являются продолжением друг друга (за двумя исключениями). Всех сохранившихся отрывков романа времен Петра—35; из них до настоящего времени опубликовано всего три («Новый Мир» 1925 г., № 5; перепечатано библиотекой «Огонек»). Можно наметить шесть исторических циклов, которые объединяют все начала романа времен Петра: 1) Семья Алексея Михайловича и происхождение Петра — два начала; 2) Переход власти от Софьи к Петру (1689 г.) — семь начал; 3) Кожуховский поход (осень 1694 г.) — восемь начал; 4) Азовские походы — семь начал; 5) Разгар Великой северной войны (1708—1709 гг.) — два начала; 6) Конец царствования Петра (1723 г.) — девять начал. Работая над романом с 1870 по 1879 г. (самый значительный перерыв составили годы писания «Анны Карениной» — 1873—1877 гг.), Толстой постепенно переносил свой взор с одних годов на другие — от семнадцатого столетия он постепенно перешел к восемнадцатому. Этот путь этапов писания романа времен Петра претерпевает определенную эволюцию и по содержанию. Если вначале Толстой исключительно интересовался верхами тогдашнего общества — жизнью царей, царской семьи и боярско-дворянской среды, то в дальнейшем он перешел к «низам» общества, — его стало интересовать, как исторические явления отражались в жизни народа, и он носителем исторических событий хотел сделать тогдашнюю крестьянскую Русь. Соответствующие отрывки (последние два цикла) представляют наибольший интерес. Эти отрывки не были выявлены, и прежние редакторы и толстоговеды их не учитывали, считая даже, что в 1873 г. Толстой вовсе прекратил свои занятия над эпохой конца XVII—начала XVIII в. На самом деле интерес остался, но он сильно модифицировался, так что два последних цикла можно обозначить как замыслы крестьянского романа. Фигура самого Петра отпала; к концу 70-х годов Толстой стал относиться к исторической личности Петра резко отрицательно. Зато интерес к эпохе обратился в сторону раскольников, вольницы и т. п.— тех масс населения, которые начинали искать жизненное пристанище в лесах и степях. В одном из наиболее отделанных отрывков этого цикла «Корней Захаркин» действие происходит в 1723 г. в деревне Сидоровой, Мценского уезда. Дана картина деревенской жизни и психологии угнетенных крестьян. Описывается отец братьев — Захар, потом жизнь крестьянина Корнея после смерти отца. Далее дана картина родов его жены в рабочую пору и разговор Корнея в ночном с мужиками. Разговор сначала касается политических событий того времени (что Петр в Стекольном и что теперь другой царь, подменный), потом переходит на личную и семейную жизнь Корнея. Толками о «подменном царе», Петре как антихристе Толстой продолжает интересоваться в 1879 г., когда занимался материалами Преображенского приказа в Архиве министерства юстиции. Самый отрывок писался в 1877 г. или несколько позднее, судя по относящейся к нему следующей дневниковой записи С. А. Толстой от 26 октября 1877 г.: «Сегодня он [Лев Николаевич] мне говорил, — один сын не сын, два сына — полсына, а три сына — сын. Вот для моего начала эпиграф». Эта мысль о многосемейности есть элемент той идеи «силы завладевающей» русского народа, которую Толстой, по собственным словам, хотел изобразить в своем несостоявшемся крестьянском романе, как изобразил начало семейное в «Анне Карениной» и начало народное в «Войне и мире». В своих черновых выписках (большое их количество входит также в состав XVII тома) Толстой намечал для широких масс населения начала XVIII в. два возможных исхода из условий невыносимого гнета, наложенного государственной властью: 1) уход в степи, объединение в казачество, бунты — активное сопротивление, 2) бегство в леса, раскол, молитвы и тяготение к старине — пассивная реакция. Показательно, что в сохранившихся крестьянских отрывках «Корнея Захаркина» Толстой развернул повествование в сторону пассивно-созерцательного изживания русским человеком XVIII в. невзгод жизни; это Толстому было свойственно по натуре и находится в соответствии со словами В. И. Ленина: «большая часть крестьянства плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, совсем в духе Льва Николаевича Толстого».

Очень ярко представлена Толстым картина рождения мальчика в крестьянской семье, фигурирующая с различными подробностями в ряде отрывков. К ним при-

мыкает набросок (вариант № 30), начинающийся словами: «В то время как родился в Вяземской слободе Иван Анисимов, самое Вяземское и все его обыватели перешли к другим помещикам». Описывается дележ имения после смерти помещика Вяземского, ссора новой владелицы Настасьи Федоровны Горчаковой («Баскачихи») с Вяземским, арест сына Баскачихи в результате этой ссоры и поездка Баскачихи в Петербург на выручку сына. Баскачиха шлет письма родным, едет сначала в Москву, не застает царя и направляется в Петербург. Она пишет донос «со своим любезным поповичем, подъячим», и в результате Вяземский также попадает в тюрьму. В крытом рыдване в шесть лошадей с четырьмя повозками Баскачиха направляется в новую столицу. С ней воспитанница Ольга, прижитая после брака, две девки, на запятках — Алешка и Митька. Отрывок кончается картиной приготовления к въезду в Петербург, парадного приближения к городу и описанием, как весь цуг следует по новому «прешпекту».

Была у Толстого сделана попытка выйти за пределы первой четверти XVIII в. Ему предносился грандиозный план, исходя из того же материала, построить рассказ о жизни русского человека, охватывая период в сто лет (начиная с 1723 г. и кончая последним десятилетием перед восстанием декабристов). Сохранился фрагмент этого романа «Сто лет». Наиболее интересно введение к этому роману, в котором Толстой устанавливает две основных пружины деятельности людей: «похоть» (страстей) и «совесть»; по мнению Толстого, в жизни скрещиваются оба эти пути, борьбой обоих начал и движется история. О характере своего повествования Толстой пишет так: «Судить людей я не буду. Я буду описывать только борьбу между похотью и совестью как частных лиц, так и лиц государственных, которых мне необходимо описывать для того, чтобы составить более полную картину жизни всего народа, но для того, чтобы описывать их действия, выражающиеся в этой борьбе, я должен устранить суждения, уже готовые о большинстве государственных лиц». Затем следует рассуждение о причинах, благодаря которым составляются ложные суждения об исторических деятелях: 1) преклонение перед властью, 2) психологическая причина, заставляющая людей, находящихся около человека, имеющего власть, писать о нем только положительное, 3) государственные деятели сами пишут свою историю и подготавливают для нее материал, 4) причина, которую можно назвать диалектической, — желание историков слить достоинство народного деятеля с достоинством общечеловеческим.

Особняком от охарактеризованных выше отрывков стоят два варианта предпоследнего (пятого) цикла, описывающие действительность русской жизни в самые тяжелые годы Северной войны—1708—1709 гг. Подход в этих началах у Толстого исключительно субъективен. Толстой замыслил изобразить средостение между велениями власти и преломлением распоряжений Петра в трудовых условиях жизни народной толщи. Местом действия он избрал свою родную Ясную Поляну. Восстановив исторические имена тех пяти помещиков, которые хозяйствовали в то время в Ясной Поляне, Толстой дает в своем наброске описание местности, населения, дает картину быта, заработков и крестьянских порядков. В другом отрывке рассказывается о том, как в чистый четверг 1708 г. в Ясную Поляну возвращается крестьянин Василий, Меньшовской барщины; он должен попасть в набор: с 1705 по 1708 г. было пять наборов солдат. Отрывок обрывается перед описанием драки.

Печатающиеся в томе наряду с художественными набросками материалы и выписки к роману, сделанные Толстым, представляют особый интерес, вводя в лабораторию творческой работы Толстого. По этим черновым записям, по пометам, по занесенным для памяти историческим данным можно судить о том кругозоре, который характеризует Толстого как историка-романиста, свидетельствуя о степени начитанности Толстого. В отношении к «Войне и миру» такие записи не сохранились, вследствие чего некоторые исследователи делали ошибочные заключения (Щкловский, отчасти Эйхенбаум). Нельзя судить о степени углубленности архивных занятий Толстого по количеству посещений; Н. П. Чулков в своей статье «Л. Н. Толстой в московском архиве министерства юстиции» приводит список всех дел, затребованных Толстым из архивохранилища во время его занятий в октябре 1879 г. Если иметь в виду, что Толстой был в архиве не более восьми раз, то являлось естественное предположение, что Толстой мог лишь бегло просмотреть эти материалы. И вот оказывается, что эти сравнительно объемистые дела в количестве 92-х документов сохранились в копиях в нижней части яснополянского кожаного дивана Толстого, доныне стоящего в его кабинете. Эти копии и изучались Толстым, о чем свидетельствуют его пометки. Разумеется в подготовленном нами к печати томе приводится лишь перечень этих материалов — целиком публикуются лишь записи и выписки, сделанные рукой самого Толстого. Сюда относятся: 1) отдельные рукописные листы в общей обложке с надписью «бумаги Петра»; 2) тетрадка в виде записной книжки и отдельные листки с заметками, хранившиеся в Ясной Поляне. В том виде, в котором эти заметки набросаны Толстым, они представляют ряд обрывочных, часто бессвязных записей, не представляющих вразумительного материала для чтения. Работа редактора заключалась в том, чтобы выявить, откуда что было взято Толстым, и путем приведения соответствующих мест из исторических источников, привлекавшихся Толстым (печатается

это наиболее экономным способом), сделать осмысленными все записи Толстого. Несмотря на почти полное отсутствие указаний на книги и страницы, из которых Толстой извлекал свои данные, и большое количество комбинированных извлечений (из разных источников), редактору удалось вскрыть и осмыслить почти все записи Толстого, — процент невыявленного сравнительно незначителен.

О материалах, к которым прибегал Толстой при своих выписках, следует сказать, что это не столько первоисточники, сколько научные труды по эпохе Петра I. Сюда прежде всего относятся исторические исследования Соловьева, Устрялова и Забелина. В научном отношении Толстой обращался к наиболее фундаментальным трудам, не устаревшим и поныне, даже после капитальной работы М. М. Богословского «Петр Великий. Материалы для его биографии, 1925 (машинопись)». Но в своих выписках Толстой отмечает также и такие моменты, которые не были бы выделены историком-ученым в его выписках из прочитанного: выписки Толстого имеют подчас чисто художественное значение; так он отмечает то обстоятельство, что лампада Головкиной была наполнена рыбьим жиром, что у дам были черные зубы, что Петр поцеловал отлично приготовленный после анатомирования труп ребенка, что боярыня Морозова виделась со старицами в нужнике, что, когда Шакловитого везли на розыск, стояла пыль на дороге. Примечательно, что оба писателя, интересовавшиеся Петром, — Пушкин и Толстой — обратили внимание на одну и ту же деталь при допросе Шакловитого, которую не найти в многотомных материалах «Розыскных дел Шакловитого», а именно, — что Шакловитый попросил есть, когда был снят с дыбы. Пушкин это заимствовал из Голикова, на которого он по преимуществу опирался, Толстой — из Желябужского.

Второй исторический роман, печатающийся в XVII томе, — «Трудящиеся и обремененные» — писался в начале 1879 г. Толстой, часто придававший героям своих произведений черты, свойственные тому или иному из его предков (старик Болконский, княжна Марья, Николай Ростов), заинтересовался в этот раз судьбой и личностью брата своей бабки, Василия Николаевича Горчакова, самонадеянного искателя приключений, афериста и прожектера, попавшего в конце концов в Сибирь за фальшивый вексель. Увлеченный замыслом романа, в котором должен был фигурировать Горчаков, Толстой стал энергично собирать архивные и другие материалы о нем и ряде лиц родословной Горчаковых, — об этом свидетельствует переписка Толстого того времени с рядом корреспондентов: Н. Н. Страховым, Е. С. и Д. С. Горчаковыми и И. А. Толстым. В своем романе Толстой отнюдь не предполагал быть апологетом своего рода, наоборот — тенденции Толстого здесь явно демократические. Замысел, развиваемый во всех сохранившихся отрывках, таков: кн. Николай Иванович Горчаков томится в ожидании наследника, наконец после разных вещаний и предсказаний юродивых в 1757 г. родится долгожданный сын. Это рождение обставляется всяческим вниманием и торжествами. На крестины собираются все почетные родственники, закладывается храм с приделом во имя Василия и т. п. И в тот же день крестьянка родит незаконного сына. Его подбрасывают на княжеский двор. В одних вариантах он зовется Васькой, в других это — Терентий Николаев (этим именем и озаглавлен третий отрывок). Судьба князя Василия и жизнь незаконнорожденного, никому ненужного Васьки, сплетаются, — эти фигуры должны были оттенять друг друга, при чем явно не в пользу кн. Василия. Характерно в этом отношении заглавие последнего, наиболее полного отрывка: «Груждающиеся и обремененные» (другое заглавие — «1757 год»). От романа сохранилось пять вариантов и один конспект.

Замысел третьего романа «Князь Федор Щетинин» стоит в связи с историческими работами Толстого над «Декабристами» и эпохой Николая I. В конце 1877 г. он заинтересовался Турецкой войной 1828—1829 гг. В январе 1878 г. он писал А. А. Толстой: «У меня давно бродит в голове план сочинения, местом действия которого должен быть Оренбургский край, а время — Перовского». Граф Василий Алексеевич Перовский (1794—1857 гг.) и представлен в лице «Федора Щетинина». Всего Толстой сделал четыре наброска к роману. В отрывках ряд очень ярких сцен с описанием военного быта в южном городе, где находился штаб войск. Приведем отрывок, в котором описывается столкновение Федора Щетинина с главнокомандующим:

«Как только эти два человека увидали друг друга, во взглядах их произошла борьба. Начальник очевидно хотел, чтобы отношения были те же, как всегда, ласковые, приличные. Князь Федор хотел решительного объяснения и выхода из этих отношений. Одну минуту на его лице отразилась улыбка начальника; но вдруг лицо вытянулось, нахмурилось, нижняя губа дрогнула и стала искать левый ус.

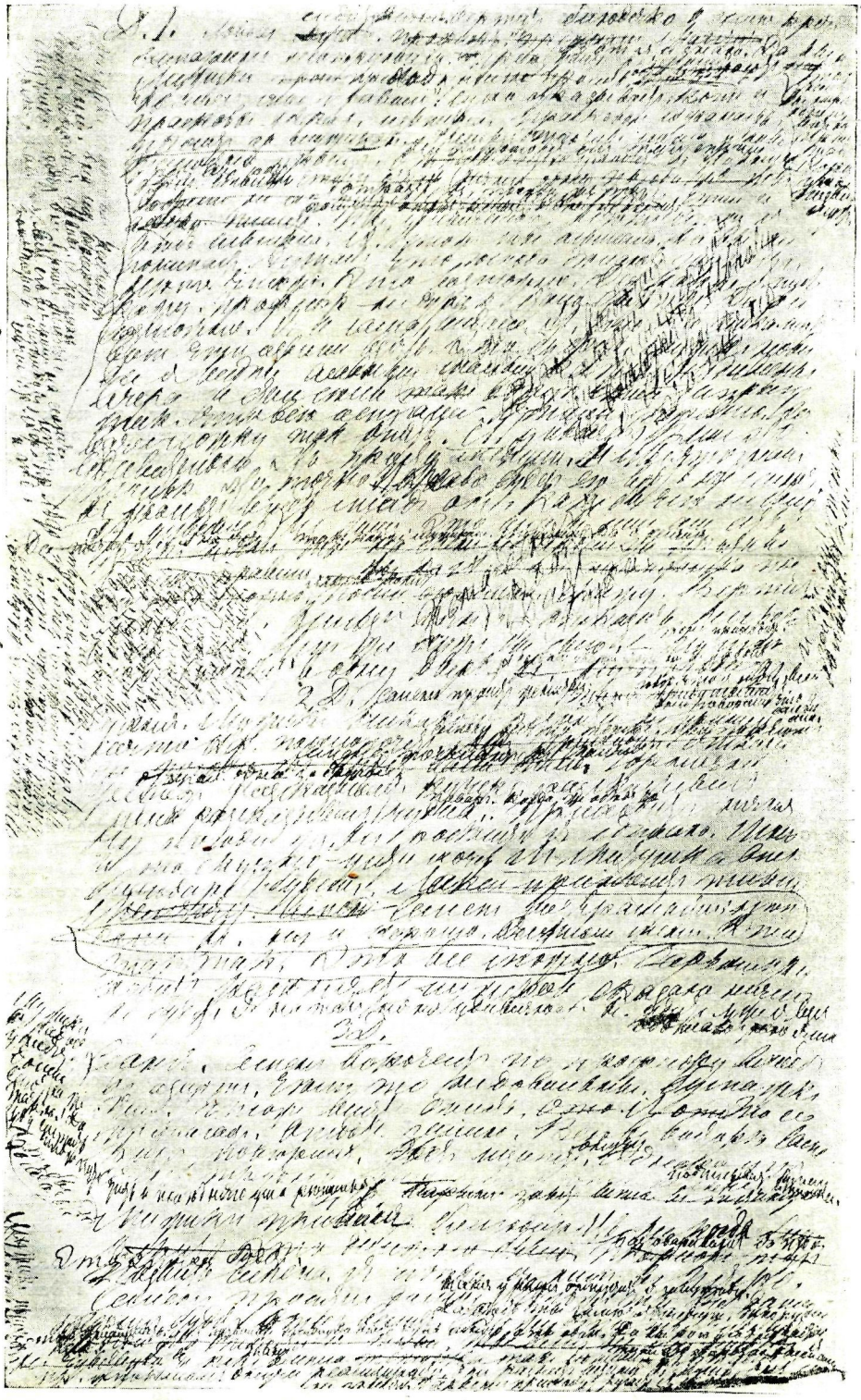
— Очень рад вас видеть, князь, — сказал Начальник, медленно опускаясь в кресло и вытянутой рукой берясь за край стола, как будто для того, чтобы придержаться, садясь, и потом подать ее.

— Князь, я прочел приказы и приехал сказать вам...

Князь двумя пальцами как бы ощупывал кончики бакенбард и приподнял брови с спокойным удивлением.

— ...сказать вам, что я не того ожидал и, что — губа дрогнула — хотя официально я не имею никакого права ничего требовать, но что мера неофициальных гадостей, которые мне делаются, — переполнена и что я считаю своим долгом высказать это все тому, кто их делает.

— Вы разумеете меня, князь, — с нахму-



НАБРОСОК ПЕРВОГО ПЛАНА «ПЛОДОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Из иллюстраций к 27 тому академического издания Толстого

ренными бровями, не сердитым, но таким, как будто он говорил: «сердиться и оскорбляться я не могу, но должен показать, что я не позволяю».

— Вас! — Волк вдруг оскалился.

— Я знаю, что есть мир официальный, в котором все правы, я про него говорить не хочу, но есть другой мир частных людей, и я говорю не с командующим Войсками, а с князем П. Б. и я вам в этом качестве говорю, что вы поступили со мной не честно.

— В качестве Начальника вашего я должен отдать вас под суд, но в качестве П. Б. я прошу вас удалиться и прислать мне извинение, — сказалось само собою, он не думал, но как птица соловей поет по-соловьиному, так он нечаянно говорил, как главнокомандующий.

— Но не прежде, чем я выскажу все, что я имею сказать.

Кн. Б. стоял и рука его стучала нервно по столу, лицо выражало высоту, до которой нельзя достать.

— Я был в отставке, когда началась война, я поступил не для честолюбия, а потому, что долг каждого человека был жертвовать собой. Как я служил знает вся армия и государь, и товарищи, и начальники — не вы, который приехал после. — Я бы сказал: свидетели моей службы — 5 чинов, золотая сабля, георгий и 3 раны, если бы не знал, что чины и ордена дают не по заслугам, а раны — случай, и что я только требовал по статуту георгия, получил его, когда я заслужил его 3 раза; но правда это не к делу (отвечая на его движение). Дело в том, что на службе в мирное время теперь, когда все, что сидело, спрятавши под хвост голову, — служба возможна только на «войне». Я отдался весь службе. Я призван на то. Я все принесу в жертву. (Еще злобнее, дрожит губа именно потому, что чувствует это не к делу). Я имею право на повышение. И это первый случай...» (На этом рукопись обрывается).

П. Попов

ТОМ 27-й. „КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА“, „ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ“, „ДЬЯВОЛ“ и др.

27-й том содержит в себе «Крейцерову сонату» и «Послесловие» к ней, «Плоды просвещения», «Дьявол», рассказы «Франсуаза», «Дорого стоит» и несколько статей («Об отношениях между полами», «По поводу дела Скублинской» и др.). Редакция художественных произведений Н. К. Гудзия, статей Н. Н. Гусева, в сотрудничестве с В. Д. Пестовой. Рядом с основными текстами в томе напечатаны в большом количестве относящиеся к ним черновые редакции, варианты и планы, в большинстве случаев публикующиеся впервые. Как правило окончательные тексты даются в результате изучения всего относящегося к ним рукописного материала. Необходимость тщательного контроля над рукописными материалами даже прижизненных толстовских публикаций лучше всего уясняется на примере «Крейцеровой сонаты». Эта повесть в процессе работы над ней прошла через восемь редакций, над которыми Толстой трудился упорно и напряженно, радикально перерабатывая их, исправляя, дополняя и сокращая неоднократно переписанные различными переписчиками тексты повести. Переписчики далеко не всегда разбирали как следует трудный почерк Толстого и делали ошибки, которых Толстой не замечал и которые переходили из копии в копию. Вместо «заманчивом свете» они писали «обманчивом свете»; вместо «несвойственное» — «неестественное»; вместо «попался» — «пропал»; вместо «выражений взглядов» — «выражения взглядов»; вместо «она взяла первый аккорд» — «он взял первый аккорд»; вместо «шины выпечатываются на масляной дороге» — «шины выпечатываются на заселенной дороге»; вместо «дружны» — «друзья» и т. д., и т. д. Часто они исправляли, иногда быть может бессознательно, а чаще сознательно, своеобразие толстовского языка, подгоняя его под общепринятые литературные шаблоны: вместо «ярманка» писали «ярмарка»; вместо «ворочались» — «возвращались», вместо «ты не слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное» — «ты не слушаешь и не слышишь глупости, а слышишь умное»; вместо «а мне заседанье» — «а у меня заседанье»; вместо «страшно острый» — «очень острый» и т. д.

Набор текста «Крейцеровой сонаты» для тринадцатой части сочинений Толстого (1891 г.), где она впервые была напечатана, производился с оригинала, переписанного рукой Софьи Андреевны и содержавшего огромное количество ошибок, отступлений и пропусков сравнительно с последней авторизованной рукописью повести, которая, в свою очередь, как сказано, заключала в в себе немало искажений подлинного авторского текста, незамеченных Толстым. В правке корректуры «опротивевшей» Толстому повести он не принимал никакого участия, а Софья Андреевна правила ее исключительно по оригиналу, сданному в набор, в редких случаях внося исправления по собственному почину и тем еще более увеличивая количество отступлений от толстовских автографов.

В результате текст «Крейцеровой сонаты» в тринадцатой части издания 1891 г. — сплошь дефектный. Его многочисленные изъяны частично устранены Софьей Андреевной в тексте двенадцатого издания

1911 г. Искажения делались Софьей Андреевной частично намеренно, большей же частью не намеренно, по рассеянности.

Сознательные искажения вызывались прежде всего ее стремлением избежать рискованных и в печати неудобных с ее точки зрения выражений. Так в словах «как же, я знаю, несколько высшего света девушек выданы родителями за сифилитиков» слово «сифилитиков» исправлено на «больных известной болезнью». Слова «нашлепки на зады» и «нашлепки» заменены словом «турнюры». В словах «в вызывающих чувственность проституточных нарядах» слово «проституточных» исключено. В словах «вы видите, что женщина есть орудие наслаждения; она такова на Трубе и на Грачевке, и на придворном бале» слово «придворном» заменено словом «утонченнейшем», «блудники» заменено словами «безнравственные люди», вместо «публичные дома»—«известные дома». По тем же видимо соображениям сделаны пропуски целых фраз, восстановленных лишь в двенадцатом издании 1911 г.

В некоторых случаях текст искажен Софьей Андреевной видимо по мотивам субъективного свойства. Так еще в одной из ранних копий ею не переписана следующая фраза: «Я не знал тогда изречения Лессинга, который говорит, что суждение каждого мужа о своей жене такое: была одна скверная женщина в мире, и она-то и моя жена». В VI главе, говоря о разочаровании в том, что называется «медовым месяцем», и сравнивая это разочарование с отвращением к курению человека, только лишь начинающего курить, Толстой пишет:

«Наслаждение от курения, так же как и от этого, если будет, то будет потом: надо, чтоб супруги воспитали в себе этот порок».

Последнее предложение Софья Андреевна исправляет так: «надо, чтоб супруг воспитал в жене этот порок». В XVI главе, говоря о болезнях детей от неправильного ухода, Толстой пишет: «и оказывается, что виновата она, сделала не то, что надо делать». Софья Андреевна исправляет: «виноваты мы, сделали не то». В нескольких случаях Софья Андреевна, видимо также намеренно, сделала некоторые исправления слога повести с целью «улучшить» его.

Общее количество бессознательных искажений, допущенных Софьей Андреевной в переписанной ею копии, достигает двухсот. В комментарии к повести дан исчерпывающий список всех искажений печатавшихся до сих пор ее текстов.

Рассказ «Франсуаза» был напечатан впервые в «Новом Времени» от 5 февраля 1891 г. Получив от Толстого carte blanche по части необходимых цензурных его исправлений, издатель газеты Суворин широко этим разрешением воспользовался. Так слово «девка» он в большинстве случаев заменил словом «женщина», исключив такие выражения, как «и их мучила похоть», «от похоти», «полных женскими телами». Слова «по спальным комнатам» заменены словами «по отдельным комнатам», а рядом стоящие слова «Из спальных комнат» заменены словами «Оттуда». Исключены слова «У каждого на коленях спала девка». Слова «верхом у него на коленке сидела» заменены словами «С ним сидела». Кроме того, быть может по небрежности корректора, допущены некоторые ошибки по сравнению с подлинным текстом Толстого. В огромном большинстве изданий, в том числе и в ленгизовском 1928 г., текст «Франсуазы» печатался по тексту «Нового Времени». В 1913 г. П. И. Бирюков в редактировавшемся им издании сочинений Толстого напечатал «Франсуазу» по искусственному тексту, представлявшему собой комбинацию текста «Нового Времени», подлинного текста Толстого и отчасти текста в незаконченной редакции. В настоящем издании рассказ впервые печатается по бесспорно достоверному и авторитетному авторскому тексту.

Сверка печатных публикаций толстовских статей с рукописями также дала возможность исправить много ошибок, вкравшихся в печатные тексты по вине переписчиков (ср. например статью «Для чего люди одурманиваются»).

Комментарий содержит в себе исчерпывающую историю писания и печатания входящих в том произведений, прослеживающую эволюцию текста в его постепенном формировании, а также описание всех рукописей, относящихся к тому или иному произведению. Он основывается преимущественно на дневниках, записных книжках и письмах Толстого, в большинстве неизданных, а также на письмах близких Толстому лиц и их дневниках и воспоминаниях, частично также неизданных. Весь этот материал во многом по-новому освещает историю возникновения создания ряда толстовских вещей. Так например, устраняется первоначальное предположение о том, что Толстой в своих дневниковых записях повесть «Дьявол», называл «Историей Фридрихса» для того, чтобы скрыть от Софьи Андреевны автобиографический элемент повести. Привлеченное к комментарию письмо А. М. Долинина-Иванского к толстоведу П. С. Попову убеждает в том, что Фридрихс был реальное лицо, и его судьба и характер во многих подробностях совпадает с судьбой и характером героя «Дьявола» Иртенева. Становится таким образом несомненным, что «Дьявол» представляет собой своеобразное переплетение лично пережитого и испытанного Толстым с фактами биографии известного ему постороннего лица. Знакомство с неопубликованными дневниковыми записями Толстого и анализ почерка заставляют утверждать, что второй вариант конца повести, по которому Иртенев не кончает самоубийством, а убивает Степаниду, написан Толстым не-

задолго до смерти, в 1909 г. Тогда же повесть впервые получает и свое заглавие «Дьявол». Тщательный и детальный комментарий к вставке Толстого в брошюру Е. А. Покровского «Об уходе за малыми детьми» всесторонне характеризует Толстого как редактора чужих работ.

Н. Гудзий

ТОМ 46-й. ДНЕВНИКИ 1847—1854 гг.

Помещенные в 46-м томе (ред. А. С. Петровский) дневниковые материалы охватывают период с 27 января 1847 г. по 18 февраля 1854 г. и состоят из двух частей: из собственно «дневника» и из так называемых автобиографических записей, куда входит ряд тетрадок с «Правилами», с выделенными из дневника «Мыслями», «Наблюдениями», «Сведениями» и отрывками дневникового характера, не включенными в дневник.

Сюда относится прежде всего и так называемый «Журнал ежедневных занятий», представляющий собой тетрадку с расписанием по часам занятий на каждый день и с отметками об исполнении или неисполнении предположенного. «Журнал» этот начинается 27 января 1847 г. и обрывается 7 июня того же года. Это—первый зачаток, из которого впоследствии развился дневник. Мыслей, оценок, рассуждений мы здесь еще не встречаем. Но он дает нам точную картину учебных университетских и домашних занятий Толстого, его чтения, переписки, передвижений и т. д. Толстой усердно читает «Фауста» Гете, Руссо (вероятно—«Об общественном договоре»), Гоголя, переводит с немецкого главы из «Учебника германского уголовного права» популярного в то время профессора Ярке, усиленно занимается языками: немецким, английским латинским и итальянским; из университетских предметов—энциклопедией права, римским правом («Институциями» Юстиниана), так называемым публичным, т. е. европейским, государственным правом, теорией уголовного права, историей гражданского права, общей и русской историей. Занятия эти продолжаются и после оставления университета в апреле 1847 г. и переселения в Ясную Поляну для занятия сельским хозяйством и исполнения обязанностей «русского помещика». Но главным занятием Толстого в это время была заданная профессором Д. И. Мейером работа над сравнением «Наказа» Екатерины II с сочинением «О духе законов» Монтескье. Мы не знаем, была ли эта работа представлена в университет. До нас дошла только черновая тетрадка с довольно подробным и последовательным, по главам, разбором «Наказа», перебиваемым кое-где записями и рассуждениями дневникового характера. Заключает Толстой свой разбор «Наказа» словами: «Вообще мы находим в этом произведении более мелочности, чем основательности, более остроумия, чем разума, более тщеславия, чем любви к народу... В заключение скажу, что Наказ этот принес больше славы Екатерине, чем пользы России».

Дневник в собственном смысле слова Толстой начинает вести только с 7 апреля 1847 г., когда он уже решил покинуть совершенно не удовлетворявший его университет и переселиться в деревню, и ведет его до 16 июня 1847 г. Затем следует трехлетний перерыв до 14 июня 1850 г. «Последние три года, проведенные мною так беспутно, иногда кажутся мне очень занимательными, поэтическими и частью полезными; постараюсь пооткровеннее и поподробнее вспомнить и записать их», записывает Толстой в этот день. Но к сожалению это намерение осталось неисполненным, и об этом периоде жизни Толстого мы знаем только по дошедшей до нас его переписке (см. т. 59) и архивным документам. С 14 июня, или точнее с 8 декабря 1850 г., так как с 19 июня мы опять имеем перерыв в пять с половиной месяцев, начинается уже систематическое ведение дневника, продолжающееся, с небольшими перерывами, до конца 1865 г., когда он опять обрывается, и на этот раз уже на 13 лет—до 1878 г.

Лето 1850 г. Толстой занимается в Ясной Поляне хозяйством, немного чтением («теперь читаю Montesquie») и усиленно музыкой, испытывая «счастье артиста» (стр. 101)—не только техникой фортепианной игры, но и теорией. От этих занятий сохранился отрывок «Основных начал музыки и правил к изучению оной» (см. т. I, стр. 244—245). В начале декабря он переезжает в Москву и отдается прежней «беспутной» жизни с посещением светских знакомых, карточной игрой, «цыганерством», но с постоянным сознанием пустоты этой жизни, недовольством собой и тщетными попытками наладить систематическое чтение и занятия. К этой зиме 1850/51 г. относятся и первые попытки литературной работы: замысел (повидимому неосуществленный) «повести из цыганского быта», писание «Истории вчерашнего дня» (см. т. I, стр. 279—294) и начало работы над «Детством». Дневник этого периода очень лаконичен и заполнен главным образом записями разных неоднократно составлявшихся Толстым для себя правил как внешнего поведения (вплоть до правил карточной игры), так и внутренней жизни (работы над своим характером) и отметками об исполнении или нарушении этих правил.

Глубокое неудовлетворение этой жизнью и бессилие изменить ее, оставаясь в тех же внешних рамках, приводит Толстого к решению одним ударом вырваться из нее и перенестись в совсем другую обстановку. 20 мая 1851 г. он внезапно уезжает на Кавказ вместе с братом Николаем Нико-

лаевичем, в то время офицером 4-й батареи 20-й артиллерийской бригады, входившей в состав действующей кавказской армии, и 30 мая приезжает в хорошо знакомую читателям по поэтическому описанию в «Казаках» станицу Старогладковскую (в «Казаках»—Новомлинскую), где квартировала эта батарея. «Пишу 30 июня [описка, вместо 30 мая] в 10 часов ночи в Старогладковской станице. Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже». И далее, 11 июня: «Уже дней пять я живу здесь [в Старом Юрте, куда он поехал вслед за братом], и одержим уже давно забытой мною ленью. Дневник вовсе бросил...—Ночь ясная, свежий ветерок продувает палатку и колеблет свет нагоревшей свечи. Слышен отдаленный лай собак в ауле, перекличка часовых. Пахнет засыхающими дубовыми и чинаровыми плетьми, из которых сложен балаган. Я сижу на барабане в балагане, который с каждой стороны примыкает к палатке, одна закрытая, в которой спит Кнорринг (неприятный офицер), другая открытая и совершенно мрачная, исключая одной полосы света, падающей на конец постели брата. Передо мной ярко освещенная сторона балагана, на которой висит пистолет, шашка, кинжал и подштанники. Тихо. Слышно—дунет ветер, пролетит букашка, покружит около огня, и всхлипнет и охнет около солдат».—Начинается новый период жизни Толстого, характеризующийся отрывом от тяготившей его и в то же время неизменно привлекавшей рассеянной, светской жизни, близостью к природе, большим досугом для чтения, самоуглубления и творческой работы, но также и большим душевным одиночеством, на которое он обрек себя своим внезапным порывом. Все это отразилось и на характере дневника его кавказской жизни. Это уже не таблица поведения, не голый перечень нарушений очередных светских визитов, как в зиму 1850/51 г. Мы находим здесь и описания природы, и художественные характеристики личностей (напр. офицера Кнорринга, стр. 67—68, казака Луки, стр. 83—86), и лирические излияния (стр. 79—80), и описания волновавших его душевных переживаний, и обильное чтение, переходящее порой в систематическое изучение и—главное—осознание своего призвания как писателя, и упорная, систематическая творческая работа. Перед нами проходит в дневнике весь ход работы Толстого над последовательными редакциями «Детства», «Отрочества», над кавказскими рассказами, «Набегом», «Рубкой леса», над началом «Казаков», задуманных было сначала в форме стихотворений «Казачьей поэмы», над «Романом русского помещика», «Записками маркера», проходят перечни осуществленных и неосуществленных замыслов.

Из внешних событий за этот период надо отметить поездки на Каспийское море, в Тифлис, в Пятигорск и записи об участии в военных походах под начальством генерала кн. А. И. Барятинского, в Большую Чечню в июне 1851 г., в январе—феврале 1852 г. и в январе—марте 1853 г. В этих походах, записанных к сожалению очень кратко, Толстой не раз подвергался серьезной опасности. Так в деле 17—18 февраля 1852 г. он едва не был убит снарядом, ударившим в колесо орудия, около которого он стоял.

Значительное место отводится в кавказском дневнике суждениям по поводу прочитанных книг и выпискам из них. Из русской литературы мы встречаем упоминания о Лермонтове: «Читал Лермонтова 3-й день» (стр. 154), о Тургеневе («читал «Записки охотника» Тургенева и как-то трудно писать после него», стр. 170), о Д. В. Григоровиче («Проселочные дороги» очень хорошо, но жаль, что подражание», стр. 100; «Разве Антона-Горемыку... поймет народ», стр. 71) с замечательным суждением по поводу его романа «Рыбаки»: «Простой народ так много выше нас стоит своей исполненной трудов и лишений жизнью, что как-то нехорошо нашему брату искать и описывать в нем дурное. Оно есть в нем, но лучше бы говорить про него (как про мертвого) одно хорошее. Это достоинство Тургенева и недостаток Григоровича и его Рыбаков» (стр. 184); о А. Ф. Писемском («Читал рассказ Писемского Леший. Что за вычурный язык и неправдоподобная канва!» — стр. 210); М. В. Авдеева (роман «Огненный змей»), М. Л. Михайлова («Повесть М. Михайлова «Кружевница» очень хороша, особенно по чистоте русского языка», стр. 125), о повестях П. Л. Кулиша, М. С. Жуковой, И. И. Панаева, В. Р. Зотова и др. Систематически прочитываются новые книжки «Современника», «Отечественных Записок», «Библиотеки для Чтения» с выписками в дневник останавливавших на себе внимание мест. Из иностранной литературы: Гете («Страдания молодого Вертера»), Бернарден де Сен-Пьер («Поль и Виржини»), Жорж Санд («Орас»), Эжен Сю («Вечный жид»), Эмиль Сувестр, Ламартин (поэма «Жоселен», роман «Мадлен»), Фенимор Купер, Бичер-Стоу, Дизраэли и др.; но в особенности оказавший на Толстого значительное влияние английский писатель Лоренс Стерн («Сентиментальное путешествие», «Тристрам Шенди», «Мемуары»), и прежде всего Руссо, которого Толстой, по собственному признанию, «прочел всего, все двадцать томов, включая словарь музыки», и многие страницы которого были так близки ему, что, казалось, он «написал их сам». Разбору и обсуждению «Исповеди» Руссо и «Исповедания веры савойского викария» (IV книга «Эмиля») посвящены многие страницы дневника. Большое впечатление произвели на Толстого «Записки флота капитана В. М. Головнина в плену у японцев»; в 1862 г. он вспомнил о них и отвел сокращенному изложению их 12-ю книжку «Ясной Поляны».

Особое место занимает историческое чтение Толстого, временами чрезвычайно

захватывавшее его и переходившее в систематическое изучение. Им прочитаны в бытность на Кавказе (отчасти еще может быть и в Москве): «История жирондистов» Ламартина, «История французской революции» Тьера, «История Англии» Давида Юма, «История крестовых походов» Мишо, «История государства российского» Н. М. Карамзина, «Русская история» Н. Г. Устрялова и «Описание войны 1913 года» А. И. Михайловского-Данилевского, официальный патриотизм которого произвел на Толстого отрицательное впечатление («читал Михайловского-Данилевского—плоско», стр. 133) и внушил ему мысль «составить истинную, правдивую историю Европы нынешнего века. Вот цель на всю жизнь. Есть мало эпох в истории столь поучительных, как эта, и столь мало обсуженных—обсуженных беспристрастно и верно, так, как мы обсуживаем теперь историю Египта и Рима. Богатство, свежесть источников и беспристрастие историческое, невиданное—совершенство. Перед тем, как я задумал писать, мне пришло в голову еще условие красоты, о котором и не думал—резкость, ясность характеров» (стр. 141—142).

Еще надо упомянуть о записи в дневнике 1 февраля 1852 г. двух чеченских песен, имеющей большую научную ценность как первого по времени письменного памятника чеченского языка в ряду немногих других, по которым мы можем судить о диалектах и об истории этого языка за истекшее столетие. При этом надо отметить удивительную в тогдашних условиях точность записи и передачи непосредственного акустического впечатления чеченской речи, поскольку это можно было сделать, пользуясь знаками русского алфавита. В примечаниях к дневнику помещена произведенная проф. Н. Ф. Яковлевым по просьбе редакции реконструкция текста этих песен в упрощенной латинской транскрипции и выполненный им же буквальный подстрочный перевод.

Одновременно с писанием дневников Толстой несколько раз принимался за составление так называемых «Правил жизни». Таких правил, не считая вкрапленных в самый текст дневника, за период 1847—1854 гг. сохранилось пять тетрадок: три, относящихся к весне 1847 г., и две—к осени 1853 и зиме 1853/54 г. В октябре 1853 г. Толстой задумал выписывать в отдельные тетради накоплявшиеся у него ежедневно и разбросанные раньше по страницам дневника «Наблюдения», «Мысли» и «Сведения», но провел это только в течение нескольких дней, с 15 по 22 октября. Эти записи напечатаны в 46-м томе на стр. 277—288.

К дневнику молодости приложены составленные С. Л. Толстым и М. А. Цявловским при участии Н. П. Чулкова шесть генеалогических таблиц: I) предков Л. Н. Толстого; II) рода графов Толстых (в таблицу введены лица, родившиеся по год смерти Толстого); III) рода князей Волконских (род матери Толстого); IV) рода князей Горчаковых (род бабки Толстого по отцовской линии); V) рода князей Трубецких (род бабки Толстого по материнской линии) и VI) потомков Толстого (сведения даны, кончая августом 1928 г.).

Том 46-й уже весь набран и должен выйти в непродолжительном времени.

А. Петровский

ТОМ 54-й. ДНЕВНИКИ И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ 1900—1903 гг.

Включенный в 54-й том (ред. К. С. Шохор-Троцкий) дневниковый материал разнообразен. Основную часть толстовского текста составляет дневник за четыре года, занимающий почти тринадцать печатных листов. Наибольшее количество записей Толстого относится к 1900 г., наименьшее—к 1902 г. К собственно дневниковому тексту примыкает первый черновой набросок рассказа, озаглавленный «Человеческое и Божеское». Набросок сделан в тетради дневника после записи 30 декабря 1903 г. и замыкает эту тетрадь. Вторую часть текста составляют шесть записных книжек разного типа и отдельные записи, в том числе список художественных сюжетов и записи в сувенирные альбомы. Сюда же входит текст двух газетных вырезок. Толстой не имел обыкновения вклеивать вырезки в текст своих записей, как это делал Короленко, а сохранял вырезки в кармашке записной книжки. Все содержание второй части текстов занимает около восьми печатных листов. Полнее всего представлен в записях 1902 г. Вследствие болезней Толстой чаще и более систематично делал записи вне дневника. Временами он пользовался для этого двумя «книжечками», а иногда даже тремя. «Записываю в той книжечке—события, здесь мысли». Формально две «книжечки» были печатными календарями: календарный блок-нот при настольном бюваре и «Настольный иллюстрированный календарь Т-ва «Просвещение». Записи делались и в самые тяжелые периоды болезней Толстого. Когда он бывал не в состоянии сам записывать и много диктовать, то дежурившие у его постели в немногих словах записывали об его самочувствии и поведении (февраль, март и декабрь 1902 г.). И эти записи, и главное записи самого писателя, изо дня в день на протяжении ряда месяцев отмечавшего не только факты, но и течение своей твор-

ческой работы, имеют исключительную ценность, несмотря на их лаконичность. Редакторы известных публикаций записных книжек и дневников Чехова выпустили из них многие деловые записи, в частности— адреса. Комментарий к записным книжкам Толстого доказывает, что это несомненная ошибка. Все записи писателя представляют интерес. Адрес иного лица неожиданно оказывается связанным и с неизвестными фактами из жизни писателя, и—что особенно ценно—с его творческими замыслами и работой. И текст дневника, записных книжек и других записей Толстого, сделанных «для себя», «для памяти», должен печататься и печатается полностью.

Как дневник Толстого эпохи создания «Крейцеровой сонаты» (1888—1889) не похож на дневник молодого Толстого, так и дневник начала XX в. отличается от дневника конца 80-х и начала 90-х годов. Если в эти годы Толстой немало посвящал места внешним событиям своей и окружающей жизни, то к началу нового века он стал все реже, меньше отмечать в дневнике факты и больше излагать свои мысли. Еще с конца 80-х годов он стал развивать у себя привычку записывать мысли в карманных записных книжках и затем переносить многие из этих записей в тетрадь дневника. Благодаря этому многие из записей Толстого сохранились в двух редакциях. Первоначальная редакция, набросанная нередко на ходу или на прогулке верхом, в записной книжке, дает часто только эмбрион мысли и состоит из одного, двух, пяти слов, много из нескольких строк. При перенесении же мысли в дневник она не только заново оформлялась, но и приобретала нужную ясность, а иногда получала совсем другой, неожиданный смысл.

Записная книжка

Я чужой...

Дневник

Странное мое положение в семье. Они мож[ет] б[ыть] и любят меня, но я им не нужен, скорее encombrant; если нужен, то нужен как всем людям. А им в семье меньше других видно, чем я нужен всем. От этого: несть пророка без чести... (21 августа 1900).

Л. Н. ТОЛСТОЙ В ГАСПРЕ В 1902 г.
Из иллюстраций к 54 тому академического издания Толстого

Записная книжка

Литераторы подняли значение литературы.

Дневник

Литераторам, их трудам приписывается неподобающее им значение и важность, потому что в руках литераторов пресса, устанавливающая общественное мнение. Только этим можно объяснить эти странно серьезные рассуждения критиков о значении героев, поэм, романов... Тем же объясняется и преувеличенное значение, придаваемое искусству. Они все одной клики. (10 октября 1900.)

Записная книжка

19 кабаков у Вяземской.

Дневник

Поразило меня известие, что кн. Вяз[емская], квинтэссенция будто бы аристократии: упряжки à la Daumon, и французский лепет, и на ее имя в Тамбовской губернии 19 кабаков, приносящих по 2000 р[ублей]. И они говорят—не о чем писать, и описывают прелюбодеяния. (12 ноября 1900.)

В некоторых случаях заметки, сделанные в записной книжке, пространно развертывались Толстым в дневнике. Так заметка в шесть слов «Есть религия, философия, наука, искусство боль[шинства]» развита им на протяжении 34 строк, при чем подробнее всего Толстой остановился на Дарвине и дарвинизме. Встречается случай, когда он не только радикально изменил одну часть мысли, но даже сделал и в дневниковой редакции вымарки и добавил в конце записи «Листок этот надо вырвать». Объясняется это вероятно нежеланием, чтобы данная запись, затрагивающая вопрос о браке, стала известна Софье Андреевне. Однако все записи этой мысли уцелели и полностью, включая и вымаранное, расшифрованы.

Как правило, дневниковая запись состоит из краткого сообщения о некоторых фактах личной и творческой жизни писателя и затем из ряда мыслей, большей частью основанных на заметках в записной книжке. И дневник, и записные книжки Толстого замечательны прежде всего исключительной искренностью. Наряду с ценнейшими сообщениями из области своей внутренней жизни, наряду с самообличением Толстой иногда делает поразительные записи о самом себе. 5 августа 1902 г. он пишет: «Удивительное дело: я знаю про себя, как я плох и глуп, а между тем меня считают гениальн[ым] человеком. Каковы же остальные люди?» А в июне 1903 г. пишет, что «хорошо бы» «описать себя во всей правде, какой я теперь, со всеми моими слабостями и глупостями, в перемежку с тем, что важно и хорошо в моей жизни» (запись 18 июня).

В дневниковых записях конца 80-х и первой половины 90-х годов многие записи, относящиеся к тяжелейшим переживаниям Толстого, оказались вымараны Софьей Андреевной, а в некоторых случаях и самим Толстым. Из дневника 1897 г. Толстой вырезал и решил сжечь два листка с такими записями. В самые последние годы своей жизни он прибегал иногда к ведению отдельного интимного «дневничка» (см. статью о т. 58-м). В 1900—1903 гг., которыми датируются материалы 54-го тома, Толстой постоянно скрывал или если упоминал, то в замаскированной форме, о том тяжелом, что им переживалось. И читателю его дневника, желающему подойти к Толстому серьезно, придется не только обращаться к комментарию, но прежде всего научиться правильно понимать условный, для самого себя выработанный словарь Толстого, которым он пользовался почти исключительно в дневнике и в записных книжках. Толстой скрывал например под словами «старый соблазн» желание уйти из мучительных для него условий жизни. Или же он называл «экзаменом» возникавшие усложнения и обострения в отношениях с Софьей Андреевной и с некоторыми другими членами своей семьи. Нередко за словами о «дурном расположении», о борьбе с «нехорошими чувствами» им скрыты те же осложнения. И только сопоставление мало говорящей записи «Грустно вечером» с документами позволило установить, что этими двумя словами Толстой отметил взволновавший его исключительно тяжелый конфликт между Софьей Андреевной и Марией Львовной из-за его завещания, хранившегося у последней втайне от матери. Замаскирован Толстым и бурный инцидент в январе 1900 г., когда к гостившей у него сестре приехала по ее вызову престарелая ее горничная, в молодости, до женитьбы Толстого, бывшая с ним в связи. Немногие места в этом дневнике вымараны самим Толстым. В редких случаях, записывая о том или ином лице, Толстой вместо имени ставил NN. Например: «NN очень неприятен мне».

Том 54-й открывается 1900 годом, который был встречен Толстым в Москве. Освобожденный от физических страданий (в конце 1899 г. он тяжело болел) и от вынужденной, в силу обязательства перед «Нивой», срочной работы над «Воскресеньем», Толстой стал изучать бытовую обстановку и условия работы вокзальных грузчиков и фабричных рабочих и, возмущенный, взялся за писание статьи «о 36-часовом труде», которую впоследствии озаглавил «Рабство нашего времени». Посещение же новых постановок Московского Художественного театра вызвало у Толстого желание работать в драматической форме. «Ездил смотреть Дядю Ваню и возмутился. Захотел написать драму Труп, набросал конспект» (27 января 1900 г.) Вскоре, повидимому в связи с работой над этой пьесой, в которой по черновому плану была намечена сцена «Свидетельств[ование]» (трупа), Толстой внес в записную книжку два имени и адрес—«в Университетском анатомическом театре». Затем в течение 1900 г. он набросал пьесу.

3 мая Толстой уехал из Москвы к дочери в тульскую деревню и сразу, по его словам, «ожил от деревни». Этим летом в Ясной Поляне его «до умиления трогает природа: луга, леса—хлеба, пашни, покос» (23 июня). И он записывает мысль: «Разрушаем миллионы цветков, чтобы воздвигать дворцы, театры с электр[ическим] освещением, а один цвет репья дороже тысяч дворцов» (12 июля). В деревне у него рождаются новые замыслы. Он записывает: «Думаю о крестьянском романе» (5 мая). «Ужасно хочется писать художественное, и не драматическое, а эпич[еское]—продолжение Воскр[есенья]: крестьянская жизнь Нехлюдова» (23 июня). Хотя он и позднее воз-

вращается к этим мыслям, замыслы эти остались неосуществленными. В Ясной Поляне, в которой он прожил почти безвыездно с 18 мая до середины октября, он продолжал работать над статьей «Рабство нашего времени» и драмой «Живой труп». Написал небольшие предисловия к политико-экономическим исследованиям англичанина Джона Кенворти («Анатомия нищеты») и японца Тентиаро Макато («Японский обзор политико-экономических теорий нашего мира»), задумал обращение к «царю и его помощникам», работал и над другими статьями. Он откликается на политические события. Возмущенный устроенной европейцами «дерзкой бесчеловечной китайской резней» (подавление в Китае так называемого боксерского восстания), Толстой стал набрасывать обращение «Христиане—китайскому народу». И позднее записывает в связи с этим в «книжечке»: «Ne pas se laisser imposer par le jargon diplomatique. Просто грабители—в Китае. И когда подавляют восстание просто разбойники душащие отбивающуюся жертву». Осенью Толстой обсуждает программу и следит за судьбой затеянного П. А. Буланже журнала, не разрешенного цензурой. В ноябре он в последний раз приезжает в Москву на зиму. Эту зиму 1900/01 г. он проводит в напряженной работе. Возобновляются его занятия китайской философией, и он пишет на страницах своего дневника и тут же отделывает изложение «Великого (китайского) учения» и «Учения середины». Затем он возвращается к мыслям написать «царю и его помощникам». Он заносит ряд сильных мыслей анархиста о «разбойничьем гнезде»—государстве, замысел писать «обличение неверия и разбойничьего царства» и записывает интереснейшие «программы» желательных для русского народа реформ. Вот последняя из них (третья):

I
1) Уничтожение крестьян[ского] управ[ления] — розги,
2) смертную казнь,
3) преследо[вание] вер,

II
Уничтож[ение] 1) винной торговли,
2) пошлин,
3) земельной собств[енности] — единый налог,

III
1) Уничтожение 1) <зачеркнуто: Империализма: самоуправление Финл[яндское], Остз[ейское], Польск[ое], Грузинское>.
1) Особых политич[еских] преследов[аний],
2) тюрем, ссылок,
3) свободу печати,

IV
Уничтоже[ние] 1) <зачеркнуто: империал[изма]> набора,
2) Церкви госуда[рственной],
3) Управление Пол[ьши], Финл[яндии] и др.

Под этой программой проведена черта и затем приписано:

Представит[ельство].
Федерация.

Эти «программы» несомненно не полностью соответствовали взглядам самого Толстого и вероятно имели несколько, еще не установленных, источников. Выяснение их войдет вероятно в специальные исследования редактора обращения «Царю и его помощникам» и неизданной «программы» под заглавием «Чего желает прежде всего большинство людей русского народа». Их Толстой писал в марте и апреле 1901 г. В это же приблизительно время, в начале апреля, он внес в записную книжку такие наброски:

«Кого вы усмиряете. Мы не бунтовщики, а просим только, чтобы нас крестьян перестал[и] обижать, сравняли с др[угими] русск[ими] жител[ями], чтобы нас не секли, не закабаляли в работе, не отдавали нас во власть особых начальников, а взыски[вали] с нас по общим зак[онам], чтобы не запрещали бы нам читать книги, какие нам нужно, не запрещали заводить школы и учить в них наших детей, как нам надо, не запрещали веровать и молиться по своей совести. Мы не бунтуем, а просим только, чтобы переста[ли] обижать нас, как обижали и обижают до сих пор.—

Мы хотим того что всем [?] нужно, а вы готовит[есь] стрелять нас. Мало того что это греш[но]. Вы себя губите. Брос[ьте] ружья».

В феврале того же года, совместно с П. В. Безобразовым (византинист и литератор) и по инициативе последнего, Толстой вновь разрабатывает программу журнала, сохраняя в то же время до конца в полной тайне эту затею из опасения новой неудачи при исхлопотании разрешения на журнал. Он делает заметки в связи с планом журнала, содействует изысканию на него средств. Однако и на этот раз осуществить издание не удалось.

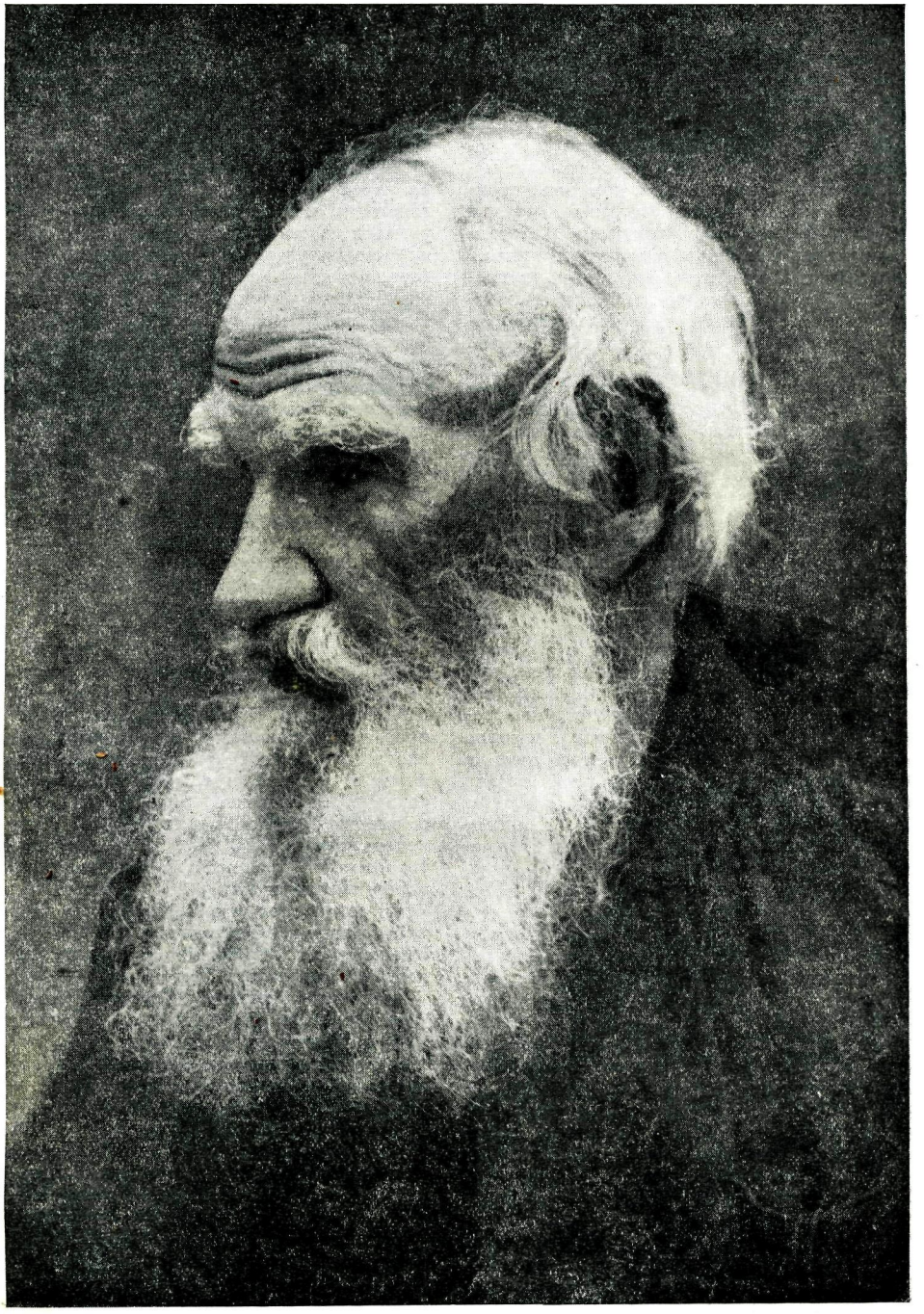
Распубликованное в феврале 1901 г. историческое «определение» Синода «с посланием верным чадам православныя греко-россииския церкви о графе Льве Толстом», понятое всеми как отлучение его от церкви, возбудило небывалый дотоле по своим размерам интерес к Толстому. Он стал предметом горячих споров. Ему лично выражали сочувствие публичными демонстрациями, адресами, письмами. С другой стороны, он получал и ругательные, в буквальном смысле, письма от некоторых приверженцев церкви. Все это отразилось в записях Толстого и вызвало знаменитый его «ответ» Синоду. Тогда же он откликается на события русской общественной жизни—избиение демонстрантов на Казанской площади в Петербурге, «студенческие истории», закрытие Союза взаимопомощи русским писателям и др.

Ранней весной 1901 г. Толстой, как всегда, уехал в Ясную Поляну. Здесь он вновь взялся за предисловие к «Крестьянину» Поленца. В связи с этой работой он записал в дневнике: «Вписать в предисловие

о Bütnerb[auer'e], что Орлову [художнику] есть что сказать, и он умеет сказать. А сказать ему есть то, что он любит мужика, того, кто кормит нас. От этого же обратили внимание на Горького. Мы все знаем, что босяки—люди и братья, но знаем это теоретически; он же показал нам их во весь рост, любя их, и заразил нас этой любовью. Разговоры их неверны, преувеличены, но мы все прощаем за то, что он расширил нашу любовь» (11 мая 1901). Эти мысли в предисловие не включены.

В конце июня он тяжело заболел, вызвав серьезные опасения как у близких, так и в русском обществе. Выражения сочувствия и приветствия посыпались в Ясную Поляну. Вскоре его увезли в Крым ради лучшего восстановления сил. В Гаспре, из-за новых заболеваний, он прожил десять месяцев. Накануне тяжелейшей из болезней (ползучее воспаление легких), уже больной, Толстой закончил и отослал письмо к Николаю II о положении России. Через три недели в серьезный момент болезни, после первого кризиса, он продиктовал предисловие к солдатской и офицерской «памяткам», в котором говорил уже о бесполезности обращения к царю. Позднее он записал: «Обращаются к царю, советуя ему сделать то то и то то для общего блага. И я делал это. От него ждут помощи, действий, а он сам чуть держится. Все равно, как человеку, который еле-еле руками, зубами держится за сук над пропастью, советовать помочь поднять бревно на стену» (25 июня 1903). В момент, когда жизнь Толстого была в опасности и правительство уже давало распоряжения на случай его смерти, митрополит Антоний пытался через С. А. Толстую вернуть умирающего в «лоно» церкви. Были и другие подобные «увещевания». В связи с этим Толстой продиктовал: «Говорят: вернитесь к церкви. Но ведь в церкви я увидал грубый, явный и вредный обман. «Продолжайте у нас покупать муку»,—но ведь я знаю, что ваша мука—с известкой, вредна».—Выздоровление шло очень медленно. Весь март Толстой провел еще в постели. 1 марта он впервые смог сам прочесть письма и газеты, 23 марта впервые сам написал письма. За время болезни он беспрестанно диктовал отдельные мысли и «невольно обдумывал самые разнообразные начатые вещи, которые, вероятно, никогда не будут кончены». В апреле, еще слабый, он уже сам записывает в «Календарный блок-нот». 16 апреля: «Обдумываю «К молодежи». И нет ясного вступления». 23 апреля: «Обдумы[ваю] к рабоче[му] и нерабочему народу». 30 апреля запись в связи с подавлением крестьянских волнений в Харьковской и Полтавской губерниях: «Страшное правительственное сообщение о беспоряд[ках]. Хочется писать об этом. Мало ли что хочется, надо до конца служить». Замыслы эти в значительной части не были осуществлены—Толстой вторично серьезно заболел (брюшной тиф) и до возвращения в Ясную Поляну (конец июня) был очень слаб, а затем возобновил работу над статьей «К рабочему народу». Закончив ее, он с июня 1902 г. стал много работать над «Хаджи Муратом». Хотя 1 августа он и сделал запись «Совестно писать пустяки», все же кавказскую повесть он писал не только в 1902, но и 1903—1904 гг. Кроме этой повести осенью 1902 и зимой 1902/03 гг. Толстой, несмотря на несколько продолжительных болезней, работал еще над многими вещами: обращение «К духовенству», повесть «Фальшивый купон», драма «И свет во тьме светит» и др. В 1903 г. начинает «Воспоминания детства», напряженно работает в дневнике над «философским изложением жизни», пишет обращение «К политическим деятелям», три сказки, рассказ «После бала», затем статью «О Шекспире и о драме», тема которой занимала его, как он говорил, почти полстолетия. Летом этого года Толстой отмечает в дневнике: «Много задумываю писаний; очевидно неисполнимых» (4 июля). По имеющимся данным к этому именно моменту относится замечательная запись Толстого на отдельном листке: список д в а д ц а т и д в у х (!) художественных замыслов. Полный ее текст впервые печатается в 54-м томе. О сюжете написанного вскоре рассказа «После бала» Толстой еще раньше, намечая его в сборник «Гилф» в пользу жертв кишиневского погрома, записал в дневнике: «В еврейский сборник: веселый бал в Казани, влюблен в (з а ч е р к н у т о: Ко) красавицу, дочь воинск[ого] начал[ьника]—Поляка, танцую с нею; ее красавец старик-отец ласково берет ее и идет мазурку. И на утро после влюбленн[ой] бессонной ночи, звуки барабана и сквозь строй гонит Татарина, и воинский начальник велит больней бить. (Очень бы хорошо)» (18 июня). Благодаря зачеркнутому Толстым началу фамилии «красавицы» редактору удалось собрать материал, подтверждающий автобиографичность этого рассказа. Варенька Б. из «После бала», как выяснено, и в жизни была «Варенькой», и вместе с 16-летним студентом Толстым веселилась в Казани на балах и на представлениях живых картин.

Толстой всегда очень много читал, в частности изыскивал и прочитывал целые полки источников для своих работ. Живя в Москве, он широко пользовался библиотекой Румянцевского Музея. Кроме того массу книг и журналов он получал от авторов, редакций и издателей. Тем не менее в записях своих Толстой упоминает сравнительно мало о своем чтении. В 1900—1903 гг. он дает отзывы об отдельных рассказах Чехова, Вересаева, Л. Андреева, Скитальца. Цитирует по одной, по две строки Пушкина, Тютчева, Фета, эпиграмму Лессинга. Из иностранных писателей касается еще Гюго («Postscriptum de ma vie»), Франса («Opinions socialistes»), Эллиота, Поленца, Ницше («Совсем сумасшедший, прямо, не метафорически»). Из философ-



ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПОРТРЕТОВ Л. Н. ТОЛСТОГО

Из иллюстраций к 58 тому академического издания Толстого

ских сочинений, кроме «китайских классиков», в английском переводе Legge, он читает Шопенгауэра, Вундта, Макса Мюллера, Торо и др. Евангелие читает по-голландски. Еще дает отзывы о сочинениях Мечникова, Чичерина и др. Сильнейшее впечатление произвели на Толстого журнальные статьи и книга Дюбуа-Десколя с разоблачениями жестоких условий заключения во французских дисциплинарных батальонах. Толстой плакал, рассматривая иллюстрации к этим статьям. Из напечатанной в американском журнале статьи Дж. Бернштейна об отношении Толстого к социализму выписаны в записную книжку эпиграфы к этой статье из Маркса (знаменитые слова о сознании и бытии) и Лангвиля. Читал Толстой и «конфиденциальную записку» Витте, напечатанную Струве в Штуттгарте.

Ряд мыслей Толстого несомненно вызван чтением. В комментарии по возможности раскрываются источники мыслей. Так установлено, что записанная 20 сентября 1902 г. мысль об отношении социалистов к трестам вызвана чтением речей Жореса. Французское mot, приведенное Толстым в мысли без указания источника, оказалось принадлежащим Жорж Санд и выяснилось, что оно заимствовано Толстым у Шопенгауэра.

В связи с чтением последнего Толстой высказался о том значении, какое сам придает своему дневнику: «Думал о том, что Шопенгауэра Parerga u[nd] Paralipomena гораздо сильнее его систематического изложения. Мне не надо (да и некогда), главное не надо писать систему. Из того, что я здесь записываю, выяснится мой взгляд на мир, и если он нужен кому, то им и воспользуются» (19 декабря 1900 г.). Есть ценная запись о напечатанных им художественных произведениях: «Прошел мимо лавченки книг и вижу К р е й ц е р о в у С о н а т у. И вспомнил: и Крейц[серову] С[онату], и Вл[асть] Тьмы, и даже Воскр[есенье], я писал без всякой думы о проповеди людям, о пользе, и между тем это, особенно К[рейцерова] С[оната], много принесло пользы. Н е т о л и и с Т р у п[о м]?» (Там же). Щедрой рукой рассыпаны в дневнике и других записях наблюдения художника. «Подошел к ломовым извощикам и стал против головы молодого, добродушного, сильного, косматого, вороного жеребца и понял его характер и полюбил его» (6 апреля 1900 г.). Много чисто психологических наблюдений над различными типами и характерами. Немало мыслей об искусстве, ряд записей об исканиии новых художественных форм и приемов, наброски, штришки к художественным произведениям и к статьям, особенно к воззваниям. Записано несколько связанных с творческой работой мозга снов и около шестидесяти различных замыслов. Много высказываний о науке и философских направлениях, критика материализма, дарвинизма, ницшеанства, о «безнравственности врачебной науки». Резкие замечания о государстве, о царях. Ряд записей о преступности богатых классов. В записной книжке афоризм: «Нельзя радоваться рождению детей сословий богатых—разводят-[ся] дармоеды». В дневнике: «Мы, богатые классы, разоряем рабочих, держим их в грубом непрестанном труде, пользуясь досугом и роскошью. Мы не даем им, задавленным трудом, возможности произвести духовный цвет и плод жизни: ни поэзии, ни науки, ни религии. Мы все это беремся давать им и даем ложную поэзию—«Зачем умчался на гибельный Кавказ» и т. п., науку—юриспруденцию, дарвинизм, философию, историю царей, религию—церковную веру. Какой ужасный грех. Если бы только мы не высасывали их до дна, они бы проявили и поэзию, и науку, и учение о жизни» (23 ноября 1900 г.). По поводу речи Сергея Булгакова в Обществе сельского хозяйства, о которой тут же дается резкий отзыв, Толстой пишет: «Мы все хотим помогать народу; а мы—нищие, которых он кормит, одевает. Что могут дать нищие богатым? Это надо понять раз навсегда, и тогда исправится наше отношение к народу. Только посторонитесь вы, пристающие к нему нищие, не мешайте ему, как нищие в Италии, и он все сделает, и не те глупости, которые вы предлагаете ему, а то, о чем вы и понятия не имеете» (19 марта 1901 г.). Много разумеется мыслей направлено против церковного христианства, против православия.

Непрестанно затрагивает Толстой и вопрос об отношениях между полами, немало ядовитых суждений о женщинах, много замечаний о детях и воспитании их. Значительное, естественно, количество раздумий о смерти, об отношении к ней. Этим не исчерпывается конечно богатая тематика толстовского дневника. И широчайший диапазон знаний и интересов Толстого заставляет редакторов его записей при комментировании их обращаться в самые различные отрасли науки, до ориенталистики и невропатологии включительно.

В записных книжках Толстого много заметок о делах, по которым он хлопотал. Тут и пенсионные, и поиски работы, и получение страховки погорельцам, и хлопоты о заграничном паспорте и пр.—всё дела крестьян, рабочих, учащихся. Волнуется и негодует Толстой в связи с судебным делом знакомого крестьянина Агеева (ссылка в Сибирь) и с административным преследованием крестьянина-писателя М. П. Новикова. Суд над одним и арест другого он относит к «важным» событиям и принимает деятельное участие в хлопотах о них. О посетителях своих Толстой записывает случайно, иногда отмечает незначительных и совсем не упоминает о некоторых выдающихся, например о Брайане, о Короленко. Из пользующихся известностью упоминает Меньшикова, Вл. И. Немировича-Данченко, Горького, Чехова, Александра Добролюбова, Сулержицкого, Стасова и др. Отмечает при-

езды ходоков от молокан, бежавшего из якутской ссылки сектанта, «священника, вследствие неверия намеревающегося уйти», пробывшего 15 лет в ссылке вождя духоборов Веригина. Из иностранцев упоминает Леона Буржуа, Поля Буайе, американца-переводчика Куртина, венгерских криминалистов и еще некоторых. Отмечает посещение студентами («просили денег») и «социалистами из Тулы». Их фамилий Толстой вероятно не знал, а может быть не назвал из конспирации, как и имен беглеца из ссылки и священника.

Одно время Толстой записывал приход и расход сумм, употреблявшихся на помощь ссыльным и заключенным. Есть в дневнике и записных книжках чертежи, а в книжках и рисунки писателя. Они воспроизводятся факсимильно.

Комментарий к тексту Толстого состоит из подробного описания рукописей, хронологической канвы «Толстой в 1900—1903 гг.», около 1200 примечаний (15 печ. листов петита), указателей. Том заканчивается версткой.

К. Шохор-Троцкий

ТОМ 58-й. ДНЕВНИКИ И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ 1910 г.

Недавно вышел в свет 58-й том (ред. Н. С. Родионов). Том этот представляет особый интерес в биографическом отношении, так как содержание его — еще неопубликованные дневники и записные книжки Толстого за 1910 год, последний год его жизни.

Собственноручные записи в дневнике Толстого проливают яркий свет на те действительные причины и непосредственные поводы, которые заставили его осуществить давно задуманное намерение уйти из дома — шаг, оказавшийся для него роковым.

Текст Толстого в 58-м томе распадается на три части: Дневник, «Дневник для одного себя» (маленький или интимный дневник) и Записные книжки.

Дневник начинается записью 2 января, ведется почти ежедневно на протяжении всех 10 месяцев 1910 г. и кончается записью 3 ноября в Астапове, за три с половиной дня до смерти. Последними словами, написанными Л. Н. Толстым уже слабеющей рукой, были:

«Вот и план мой. Fais ce que doit, adv[ienne]... И все на благо, а главное мне». (fais ce que doit, advienne que pourra — делай, что должно, будь, что будет — французская поговорка, которую Толстой часто повторял).

В дневник Толстого входят записи, касающиеся разных фактов его повседневной жизни и вопросов, обративших его внимание за истекший день. Отмечаются им в дневниковых записях: многочисленные посещения его разными лицами, искавшими личного с ним общения, разговоры, прочитанные книги и впечатления от них, письма, получаемые со всех сторон мира, и ответы на них, отношение его к семейным, его почти ежедневные верховые поездки, прекратившиеся лишь 27 октября—за несколько часов до ухода, и наконец мысли, которые Толстой первоначально заносил в записные книжки и оттуда уже переносил их в дневник, в большинстве случаев собственной рукой. Мысли, которые занимали Толстого на всем протяжении последнего года его жизни, для удобства читателей сведены в 58-м томе вместе путем ссылочных примечаний. Таковы мысли: о все растущем и наконец ставшем непреодолимым самосознании незаконности своего привилегированного положения по отношению ко всему трудящемуся классу людей; мысли о любви, о жизни, о смерти, о самоубийстве, о сумасшествии, о цивилизации и многие другие.

В дневнике 1910 г. Толстым записано немало замыслов новых художественных произведений. Список этих художественных сюжетов, которые он не успел осуществить, помещены в конце тома. Приведем один из примеров таких записей: 2 октября 1910 г. Лев Николаевич пишет в дневнике:

«Ничего не записал, но ночью очень хорошо, ясно думал о том, как могло бы быть хорошо художественное изображение всей пошлости жизни богатых и чиновничьих классов и крестьянских рабочих и среди тех и других хоть по одному духовно живому человеку. Можно бы женщину и мужчину. О, как хорошо могло бы быть. И как это влечет меня к себе. Какая могла бы быть великая вещь. И вот именно, задумываю без всякой мысли о последствиях, как и должно быть в каждом настоящем деле, а также и в настоящем художественном. О, как могло бы быть хорошо!»

Кроме большого дневника, Толстой, начиная с 29 июля, вел еще «Маленький дневник», или «Дневник для одного себя», который никому не давал читать. В этот «Маленький дневник» он заносил мысли, касающиеся его семейной трагедии: разлад с женой С. А. Толстой, который создал совершенно невозможные условия для его дальнейшей жизни в привычной яснополянской обстановке и явился непосредственным поводом его ухода. Записи в этом интимном дневнике, впервые публикуемые, проливают яркий свет на душевное состояние Толстого в последние месяцы его жизни и являются самыми достоверными данными, объясняющими причины его ухода. По записям этим видно, как

постепенно росло и крепло намерение Толстого покинуть свой дом и тем самым: с одной стороны, прекратить мучительный разлад в своей семейной жизни и, с другой стороны, наконец порвать с теми условиями своей барской жизни, которые мучили его на протяжении всей его долгой жизни.

Третья часть текста Толстого, помещенного в 58-м томе: записные книжки 1910 г. (5 печатных листов). В свои записные книжки, находившиеся всегда под рукой, Толстой заносил: приходившие ему в голову мысли по разным вопросам, наблюдения над народной жизнью, подмеченные им слова и выражения, в них же иногда записывал наброски писем и произведений—художественных, философских и публицистических. Так осенью 1910 г. он набрасывает в записной книжке неизвестный до сих пор вариант своей комедии «От ней все качества», вариант рассказа «Нечаянно», Очерки характеров, которые должны были войти в задуманную им большую работу под заглавием «Всем равно». Там же мы находим целую сказку, которая никому никогда не была известна: «Сказку о молодом царе, ушедшем в работники».

Вся основная текстовая часть 58-го тома (15 листов), подобно прочим томам серии дневников и писем, снабжена обширным реальным комментарием (около 30 листов). Всего написано 1946 примечаний, относящихся ко всем встречающимся в тексте Толстого записям о лицах, местах, разных событиях общественной, литературной и личной жизни и пр.

В примечаниях наряду с уже ранее опубликованными материалами: воспоминаниями, сборниками писем, биографиями, различными газетами 1910 г. и пр. — широко использованы материалы, никогда до сих пор не бывшие в печати. Эти материалы, в которых записано много высказанных им устно слов и суждений, освещают перед читателями всю жизнь Толстого в последние месяцы его жизни, его страдания и душевную драму, заставившую наконец предпринять роковой шаг—уход. Материалы эти являются также источниками для дальнейшего научного изучения жизни и творчества Толстого.

Такими новыми, впервые публикуемыми материалами, использованными в комментариях, являются: «Ежедневник С. А. Толстой» 1910 г.; ее большой дневник за тот же год, «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого—врача и друга Льва Николаевича, безотлучно находившегося при нем вплоть до его смерти и изо дня в день записывавшего все, что имело отношение к Толстому; записки В. М. Феокритовой, жившей в Ясной Поляне и сопутствовавшей А. Л. Толстую, уехавшую к отцу после его ухода; воспоминания старшего сына писателя, Сергея Львовича Толстого. Кроме того в томе 58-м широко использована неопубликованная переписка Толстого с разными лицами, в частности с его ближайшим другом В. Г. Чертковым, которому он оставил для опубликования после смерти все свое литературное наследие.

Н. Родионов

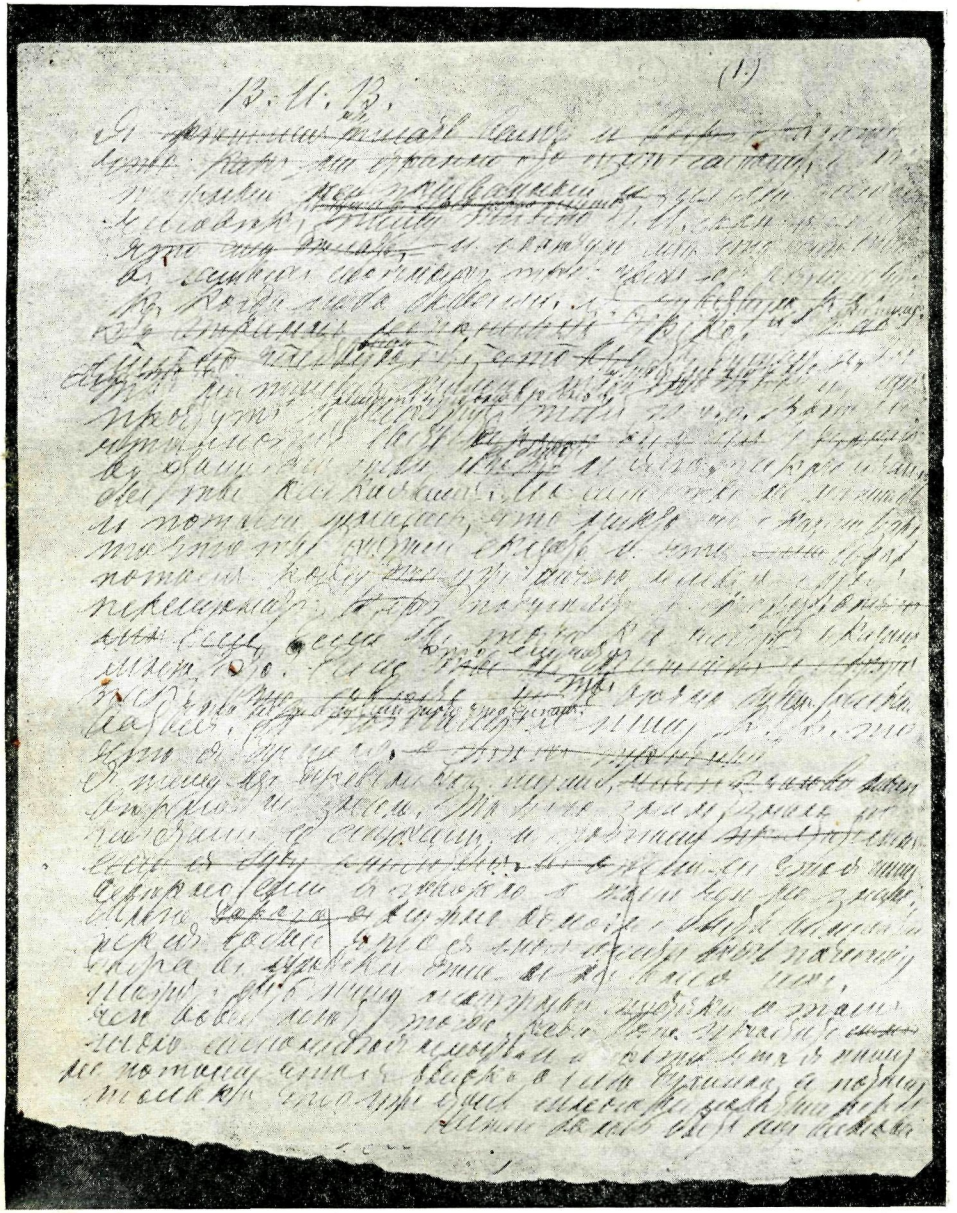
ТОМ 63-й. ПИСЬМА 1880—1886 гг.

Содержание 63-го тома (ред. М. А. Цявловский и В. С. Мишин) составляют письма за 1880—1886 гг. Всего входят двести восемьдесят одно письмо, которые хронологически распределяются следующим образом. За 1880 г.—29 писем; за 1881 г.—29; за 1882 г.—17; за 1883 г.—15; за 1884 г.—40; за 1885 г.—68 и за 1886 г.—83. Сто шесть из них печатаются впервые; восемь, опубликованные ранее в отрывках, впервые печатаются полностью. Двести семнадцать писем печатаются по подлинникам, шестьдесят три по машинописным и рукописным копиям и печатным оттискам и одно (телеграмма) по телеграфному бланку. В конце тома приложен список пятидесяти писем, текст которых не дошел до редакции, с указанием данных, говорящих за то, что они были написаны.

Письма к С. А. Толстой и В. Г. Черткову выделены в особую серию. В данном томе включены в общую нумерацию писем лишь указания даты каждого письма к ним с ссылкой на соответствующий том. Общее количество писем за этот период 328 (203 к С. А. Толстой и 125 к В. Г. Черткову).

Таким образом за 1880—1886 гг. по имеющимся у нас данным Толстым было написано 659 писем. Однако это далеко не полная цифра всех написанных Толстым писем за эти годы. Давность времени писания писем и смерть большинства адресатов Толстого того времени послужили серьезным препятствием при собирании писем. И можно думать, что со временем как в государственных, так и в частных архивах обнаружится еще ряд писем нам неизвестных.

Письма Толстого за 1880—1886 гг. в основном носят характер длительной переписки с известным кругом знакомых ему лиц и лишь в небольшом количестве являются ответами на письма его случайных корреспондентов. Нужно отметить, что переписка Толстого со многими корреспондентами того времени возникла в более ранние годы и здесь является лишь продолжением ее; с другими же лицами переписка впервые возникает за этот период. К первым нужно отнести гр. А. А. Толстую—камер-фрейлину, двоюродную тетку Толстого (многие письма к ней публикуются впервые); поэта А. А. Фета (многие письма к нему публикуются впервые); Н. Н. Страхова—критика и философа (некоторые пись-



ЧЕРНОВИК ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО К АЛЕКСАНДРУ III ПО ПОВОДУ ПЕРВОМАРТОВЦЕВ

Из иллюстраций к 63 тому академического издания Толстого

ма к нему публикуются впервые); В. В. Стасова—художественного и музыкального критика и др. Из вторых следует назвать бывшего народника и учителя детей Толстых В. И. Алексеева, бывшего каракозовца и одно время управляющего самарским имением Толстых, А. А. Бибикова (письма к нему публикуются впервые), учителя, автора этюда о Толстом М. С. Громеку (письма к нему публикуются впервые), художника Н. Н. Ге, тульского вице-губернатора кн. Л. Д. Урусова, члена харьковского окружного суда Г. А. Русанова, биографа Толстого П. И. Бирюкова, писателя и издателя журнала «Русское Богатство» Л. Е. Оболенского (некоторые письма к нему публикуются впервые), писательницу А. М. Калмыкову (письма к ней публикуются впервые), известного богача и филантропа, бывш. издателя газеты «Слово» К. М. Сибирякова, крестьянина Т. М. Бондарева и др.

Значительную долю в томе занимают письма Толстого к родственникам. Среди них письма к брату гр. С. Н. Толстому (публикуются впервые), к детям: Т. Л., С. Л., Л. Л. и И. Л. Толстым (многие из них публикуются впервые).

Кроме того особо следует отметить письма к русским писателям и публицистам: к И. С. Тургеневу, М. Е. Салтыкову-Щедрину, А. Н. Островскому, А. И. Эртелю, К. Д. Кавелину (к нему публикуется впервые), А. Н. Пыпину, М. М. Стасюлевичу, М. А. Энгельгардту, Ф. Ф. Тищенко и др.; здесь же печатается письмо и к художнику И. Е. Репину.

Нельзя также не указать на письма к императору Александру III и к К. П. Победоносцеву, вызванные событием 1 марта 1881 г.

Названные фамилии далеко не исчерпывают всех корреспондентов Толстого того времени. Перечисление их читатель найдет в алфавитном указателе, помещенном в конце тома. Нашей же задачей было дать некоторое приблизительное понятие о том круге лиц, с которыми Толстой вел переписку в те годы.

Все письма Толстого, входящие в этот том, подробно комментированы как с текстологической, так и с фактической стороны. Для этой цели была изучена и использована по возможности полно историческая и мемуарная литература того времени, а равно и архивные материалы (неизданные воспоминания, эпистолярные документы, судебные дела и др.), в большинстве своем до сих пор неизвестные.

Судя по сохранившимся подлинникам, письма Толстого того времени, как и более ранние, писались им собственноручно, за исключением двух-трех писем, написанных Т. Л. Сухотиной с подписью Толстого. В этом их отличие от позднейших, в подавляющем большинстве написанных на машинке и лишь подписанных Толстым. Письма, кроме четырех, Толстым не датированы. Исключительную трудность работы составляло выяснение даты письма. Ко[и] верты с почтовыми штемпелями и письм[а] адресатов, на которые отвечал Толстой обыкновенно дающие основание к датировк[е] письма, в большинстве отсутствуют. Публ[и]куемые раньше письма, как правило, имел[и] или же очень приблизительную дату, ил[и] же явно ошибочную. Так что все письм[а] пришлось датировать заново. Для обосно[в]вания даты помимо дневников и записны[х] книжек Толстого было широко использ[о]вано мемуарное наследие лиц, его окружав[ших]. Также принимались во внимание и тек[сто]логическая особенность писания Толсто[го], а равно и общий характер содержани[я] и приемы письма Толстого того периода. Все эти соображения даются в первом вступительном примечании к письму, и читателю нетрудно решить, насколько они убедительны, или же шатки.

Содержание писем чрезвычайно характерно для Толстого того времени. Период ломки его общественно-политических, моральных и религиозных взглядов, искания новых путей и созидание их взамен пережитых и отброшенных им, период писания «Исповеди», «Критики догматического богословия», «В чем моя вера», «Так что же нам делать?» и др. не мог не отразиться и в его письмах. Почти впервые Толстой выступает здесь на защиту своих взглядов и полемизирует со своими корреспондентами со всей присущей ему страстностью.

Вновь найденные и публикуемые в данном томе такие письма Толстого к гр. А. А. Толстой, к Н. Н. Страхову, к А. А. Фету чрезвычайно показательны в этом отношении.

Однако религиозно-философская сторона далеко не исчерпывает всего содержания писем Толстого. Если первые годы того периода характерны небольшим кругом корреспондентов Толстого, преимущественно из близких ему лиц, то позднее круг этих лиц расширяется, а с ним и корреспонденция и содержание ее. Необыкновенная интеллектуальная интенсивность охватывает сразу многие стороны жизни Толстого и помогает произвести немедленно переоценку ценностей. Толстой живо реагирует на все явления жизни, освещая их с новой, для него несомненно истинной точки зрения. Частыми мотивами в его письмах того времени являются вопросы о насилии, о непротивлении злу злом, о науке и т. п. (большие письма к М. А. Энгельгардту, В. М. Грибовскому, П. И. Бирюкову и др.).

Большую долю внимания посвящает он и литературной деятельности. Эта область особенно полно отражается в его письмах. Письма к П. И. Бирюкову, А. М. Калмыковой, Л. Е. Оболенскому, К. М. Сибирякову, М. Е. Салтыкову-Щедрину и др. касаются преимущественно народного издательства «Посредник» и предполагавшегося в 1885 г. и неосуществленного «Народного журнала». Материалы, относящиеся

к этой стороне, дающиеся в комментариях, в большинстве публикуются впервые.

Интерес Толстого к художественной литературе с развитием его религиозно-философской деятельности не ослабевает, а лишь меняет направление. Толстой пишет ряд народных рассказов, легенд, повестей («Чем люди живы», «Где любовь, там и бог», «Упустишь огонь—не погасишь», «Смерть Ивана Ильича» и др.); переделывает, собирает все, что могло бы дать пищу для читателя из народа. Письма Толстого 1884—1886 гг. пестрят указаниями на его работу в этой области и в этом отношении дают богатый материал не только для биографа, но и для исследователя и историка творчества Толстого.

Однако, говоря о содержании писем Толстого данного тома, не следует ограничиваться указанием лишь на отвлеченные, принципиальные темы, затрагиваемые Толстым. Толстой также живо интересуется и вопросами практического характера, повседневной жизни и быта (письма к Н. М. Нагорнову, гр. С. Н. Толстому, Н. Н. Ге — отцу и сыну — и др.). Как на одну из важнейших и интереснейших сторон содержания его писем, являющуюся непременной составной частью содержания и всей последующей его переписки, следует указать еще на его хлопоты перед «властями» по просьбе обращавшихся к нему за помощью лиц. Обыкновенно это были или крестьяне, забитые нуждой и притесняемые соседними помещиками, или же родственники сосланных, заключенных и пр., преимущественно революционеров. В письмах Толстого того времени проходят (не говоря уже об участниках события 1 марта 1881 г.) небезызвестные фамилии революционеров, как то: Н. А. Армфельдт, А. А. Тихоцкий, Л. А. Дмоховский и др. Толстой использовал в таких случаях близких ему лиц, имевших влияние среди правящих кругов. Такими были гр. А. А. Толстая, Г. А. Русанов, Н. В. Давыдов и др. Архивные документы дали ряд интересных штрихов к выяснению вопроса об отношении «властей» к Толстому и о влиянии, оказываемом Толстым на тот или иной исход дела в таких случаях. Все эти данные, помещенные в комментариях к письмам, печатаются впервые.

Л. Н. ТОЛСТОЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Рисунок Л. О. Пастернака, 1899 г.

Из иллюстраций к 72 тому академического издания Толстого

Таким образом письма Толстого 1880—1886 гг. по своему разнообразию и остроте затрагиваемых вопросов должны занять одно из видных мест в цепи его многолетней переписки. Они интересны уже и потому, что являются отражением одного из важнейших периодов жизни Толстого.

В заключение следует еще добавить, что переписка Толстого того времени дала направление и всей последующей его переписке, ставшей необходимым условием жизни и творчества Толстого. Перед редактором стояла задача как можно полнее осветить эту эпоху и круг лиц, связанных с Толстым в этот период его жизни. Эту цель и преследовали обширные комментарии к данному тому.

В. Мишин

ТОМ 72-й. ПИСЬМА 1899—1900 гг.

Недавно вышедший том 72-й (ред. В. А. Жданов) включает письма Толстого за 1899—1900 гг. За эти два года Толстой написал 467 писем. Из них 101 письмо (к жене и к В. Г. Черткову) вошло в другие тома, а в этом томе напечатано 366 писем, из которых 242 опубликовано впервые. На иностранных языках (английском, немецком, французском) написано 47 писем. Размер тома—40 печатных листов. Центральное место в переписке этих лет занимают письма по поводу романа «Воскресенье», о духоборах, а также об оказании помощи голодающим в Поволжьи.

Появление в свет «Воскресенья» было мировым событием. Одновременно печаталось оно в «Ниве» и за границей (по-русски, в переводах). Обширна деловая переписка с А. Ф. Марксом, по этому поводу, с заграничными издателями. Было много недоразумений, крайне угнетавших Толстого. Так например, Маркс грозил судом тем издателям, которые перепечатывали только что опубликованные в «Ниве» новые

главы, и Толстой был вынужден письмом в редакции газет просить этих издателей воздержаться от перепечаток и тем избавить его от «неприятного положения», так как право первой публикации романа в России было продано Марксу с целью получения денег для переселявшихся в Канаду духоборов. Были осложнения и за границей. Вопреки договору Маркс тайно запродал роман одному немецкому издателю, который стал печатать его по гранкам русского журнала в искаженном цензурой виде, в то время как право на организацию иностранных публикаций Толстой всецело передал В. Г. Черткову. Вновь через газеты Толстому пришлось сглаживать возникшие конфликты. Таких писем несколько. В одном из них Толстой лишил своей авторизации публикацию перевода в американском журнале «Cosmopolitan», который в угоду буржуазной морали допустил грубые искажения текста: находя непристойной сцену соблазнения Катюши, он изменил ее, сочинив новую обстановку всего эпизода. Другое американское издательство признавалось, что откровенное описание этого эпизода с Катюшей может привести к судебному процессу, и просило разрешения несколько сгладить текст. Вообще в томе есть много новых очень ценных и интересных материалов, касающихся истории публикации «Воскресенья». Есть и отклики читателей.

По поводу голода 1899 г. Толстой вел переписку с А. С. Пругавиным и другими лицами, принимавшими участие в помощи пострадавшим. В комментарии даны исчерпывающие материалы по этому поводу. О делах духоборов Толстой писал им непосредственно, писал и тем, которые помогали переезду духоборов в Канаду, хлопотали о сосланных в Якутскую область. О них же Толстой писал Николаю II, убеждая его прогнать от себя «этого злого и безумного старика Победоносцева, который компрометирует его и перед русским народом и перед Европой и перед историей».

Еще два крупных события нашли отражение в переписке: Гаагская мирная конференция и Трансваальская война. По поводу конференции он написал длинное письмо группе представителей шведской интеллигенции. Он предсказывал провал конференции, которая свое лицемерие и беспомощность будет прикрывать пацифистскими фразами. «Для того чтобы уничтожить войска и зло, происходящее от них, нужны не конференции правительств, а конференции граждан, обманутых и обманываемых самым коварным образом именно такими конференциями», писал он в этом письме. А в письме к кн. Г. М. Волконскому Толстой определил свое отношение к Англо-бурской войне. Причины войны в неравном распределении имуществ, в существовании военного сословия и ложном религиозном учении. «Чемберлены и Вильгельмы суть слепые орудия сил, лежащих далеко позади них».

В письмах к А. Ф. Кони, А. М. Кузминскому Толстой обращался по делам преследовавшихся сектантов и других лиц, терпевших гонения со стороны царского правительства. Среди них большинство лично Толстому неизвестных.

Из переписки так сказать частной наибольший интерес представляют письма к детям, переписка с самобытным сектантом Власовым, неграмотное письмо которого послужило материалом для создания образа старика, встретившегося Нехлюдову в Сибири на пароме, переписка с девушкой Толстой (однофамилицей), просившей дать ей место и тем избавить от ужасной работы теперь в публичном доме, переписка со Стасовым, Григоровичем.

Тон писем к детям резко различен: задушевность в обращениях к Марии Львовне («все твои письма читаю с умилением нежности к тебе»), сухость, сдержанность в письмах к сыну Льву, в то время печатно выступавшему с полемикой против отца. Большой психологический интерес имеют письма к дочери Татьяне по поводу ее замужества. Григоровичу, Стасову, своим почти сверстникам, Толстой пытался внушить радость приближения смерти, сознание о которой «возносит в такую область мысли, где полная свобода и радость», но его корреспонденты в этом кардинальном вопросе стояли на совершенно противоположной точке зрения. Умиравший Григорович в письме к третьему лицу по поводу слов Толстого раздраженно писал, что к этому «новому назначению» у него «нет никакого желания». А Стасов, потрясенный смертью близкой родственницы, со свойственной ему экспансивностью отвечал Толстому: «Ах, нет, нет, я руками и ногами толкаю от себя прочь этот будущий ужас, я проклинаю его всеми силами души и, если бы это было какое-то осязаемое живое существо, как бы я всеми зубами и когтями вцепился бы и стал бы биться и сражаться, как буры против варварского нашествия проклятых англичан». В переписке с Стасовым затронуто еще много других вопросов.

В этом же томе напечатано письмо к Максиму Горькому (в комментарии подробно рассказано об их взаимоотношениях, дана библиография). После личного знакомства с Горьким Толстой писал ему: «Мне ваше писание понравилось, а вас я нашел лучше вашего писания. Вот какой делаю вам комплимент достоинство которого, главное, в том, что он искренен».

По вопросам, связанным непосредственно с мировоззрением Толстого, он вел переписку со своими единомышленниками и с лицами ему неизвестными. Последние письма и обширнее и обстоятельнее. Сектанту Заволокину, находившемуся в «религиозном розыске», он ответил тремя длинными письмами, тотчас же напечатанными в виде статьи под названием «О вере, разуме и молитве. Три письма». Только что

окончившая гимназию двадцатилетняя девушка, «существо никому неизвестное, всеми презираемое и глупое до бесконечности», робко спрашивала, в чем смысл жизни. «Физически и душевно страдающая и вполне одинокая женщина» умоляла ответить, может ли она убить себя («мое право на Ваше участие—только и есть, что мое страдание»). Студент-репетитор просил совета, как преподавать закон божий детям, американский студент, получивший миллионное наследство, спрашивал, как поступить с деньгами (он предпочел бы их не брать). Престарелый философ-неудачник через Толстого хлопотал об издании своего многолетнего труда: «Государственно сообщежитейская жизненность. Очерк популярный сквозь призму социологии: наука устройства Человечно Счастливого сообщежития. Человечника века XX». Всем этим и многим другим лицам Толстой подробно отвечал, развивая в письмах основы своего мировоззрения.

В приложении к тому даны два списка. Список писем Толстого за эти годы, не имеющихся в распоряжении редакции (по разным документам зарегистрировано 43 письма), и список писем, написанных по поручению Толстого (111 писем). Это преимущественно деловые письма (запросы о пожертвованиях, просьбы о переводах и пр.), письма начинающих писателей и поэтов (обычный ответ: нет таланта, не занимайтесь литературой), уведомления о посланных книгах и разные другие. Краткий текст ответа Толстой писал иногда на конверте, в большинстве же случаев сообщал устно.

Не говоря уже о значении исчерпывающей публикации эпистолярного наследия Толстого за эти два года (рубежа двух столетий), книга в обширном комментарии своем дает много материала для биографии Толстого, общественной жизни той эпохи, а также ценнейшие человеческие документы—письма корреспондентов Толстого и его современников.

В. Жданов

ТОМА 83-й и 84-й. ПИСЬМА К ЖЕНЕ

Согласно плану издания выпускаемого ГИХЛом девяностопятитомного собрания сочинений Толстого, из массы писем Толстого к своим корреспондентам, публикуемых в хронологическом порядке, выделены две серии: писем Толстого к жене и к В. Г. Черткову. Письма Льва Николаевича к Софье Андреевне Толстой составляют два тома (83 и 84) полного собрания сочинений, при чем первый том охватывает переписку с 1862 по 1886 г. включительно; во втором томе мы имеем письма с 1887 по 1910 г. В настоящем обзоре речь идет о первом томе этих писем, вполне готовом к печати и находящемся в портфеле издательства с лета 1933 г. Том заключает 366 писем и телеграмм на имя Софьи Андреевны. Из них впервые публикуется 33 письма и 32 телеграммы. Письма печатаются по автографам, в огромной своей части хранящимся в «Кабинете Толстого» при Публичной Библиотеке Союза ССР им. Ленина; незначительная часть автографов в настоящее время находится в Толстовском Музее в Москве; подлинник лишь одного из публикуемых писем не сохранился вовсе. Впервые отдельной книгой письма Толстого к С. А. Толстой были опубликованы последней в 1913 г. под редакцией А. Е. Грузинского. Книга эта была повторена вторым изданием в 1915 г. Интерес публикуемого ныне эпистолярного материала для истории творчества и жизни Толстого не исчерпывается тем, что заново публикуется 65 неизвестных документов; прежнее издание было во многих отношениях дефектно, давая часто неисправные тексты писем с ошибочной датировкой их и не облегчая понимания содержания писем надлежащими аннотациями; в изданиях 1913—1915 гг. комментарий самый скудный. Наконец в первом издании письма Толстого были даны совершенно изолированно, голоса корреспондента—С. А. Толстой—не слышно вовсе. В подготовленном ныне к печати томе всякое лицо, событие, название, как правило, вскрывается и разъясняется; лица, постоянно упоминаемые, выявляются в их живых характеристиках (извлеченных из архивных или печатных источников), С. А. Толстая представлена в ее репликах на затрагиваемые Толстым темы в виде выдержек из ее встречных писем. В этом отношении по официальной инструкции, регулирующей редакторскую работу издания Толстого, комментарии к письмам на имя Толстой (равно и Черткова) по норме превышают объем комментария к прочим корреспондентам Толстого.

Письма Толстого к жене отличаются исключительной насыщенностью содержания; это разумеется понятно, поскольку Толстого и Софью Андреевну за время их совместной 48-летней жизни связывали тысячи нитей. Помимо этого та исключительная близость, которая была между Львом Николаевичем и его женой, особенно в 60-х и 70-х годах, побуждала его во время отлучек из дома писать С. А. подробнейшие записи о всех встречах и событиях; в этом отношении письма Толстого к жене за это время заменяют подчас дневник, который Толстым не велся с 1855 г. до конца 70-х годов. Так в одном письме Толстой прямо пишет Софье Андреевне: «Продолжаю тебе свой дневник» (письмо от 9 июля 1872 г.). При том исключительном разнообразии встреч и разговоров, которые имел Толстой при своих поездках,

ценно каждое его упоминание того или иного лица, ибо часто такого рода общение имело идеологическое и творческое значение для Толстого. В письме от 18 января 1869 г., в разгар окончания «Войны и мира», Толстой писал: «Ты не можешь себе представить, как мало времени, когда есть дела, как мои, такие, как переговорить с Самариным, с Юркевичем—дела, которые требуют сосредоточенного внимания». В прежней публикации письма вместо «Юркевичем» ошибочно было напечатано «Юрьевым». Общение Льва Николаевича с С. А. Юрьевым известно в толстоговедении; что же касается философа П. Д. Юркевича, то о связи с ним Толстого в печати доныне ничего неизвестно, между тем связь эта симптоматична и имела непосредственное отношение к писательству Толстого, поскольку в то время Толстой работал как раз над философской частью «Войны и мира». (Из ненапечатанного письма С. С. Урусова к Толстому мы узнаем, что Толстой давал Юркевичу читать корректуру последней части «Войны и мира».) Таким образом всё ускользнувшее при первой небрежной публикации бросает нам новый неожиданный свет. Особо стоит проблема датировки; необходимо подчеркнуть, что неверно помещенное письмо с ложной датой, хотя бы с вполне корректно воспроизведенным текстом, служит не в помощь, а в затемнение анализа жизни писателя и может породить целый ряд неверных умозаключений. Во многих основных датах жизни Толстого мы до сих пор наталкиваемся на недоумения; так посещение Толстым Бородинского поля, предварившее писание пятого тома (по первому изданию) «Войны и мира», было отнесено Бюрюковым к 1865 г., Грузинским в издании писем Толстого к жене—к 1866 г. (в виду неверного указания в воспоминаниях С. А. Берса; эту ошибочную дату мы также находим в «Канве жизни Толстого» В. Срезневского, Л., 1928 г.)—на основании телеграфного бланка от 28 сентября 1867 г. и сохранившегося конверта со штемпелем мы теперь застрахованы против всякого колебания в отнесении писем о посещении Бородина к сентябрю 1867 г. Датировка писем Толстого за 60-е и 70-е годы оказалась весьма сложной задачей. Конвертов за это время почти не сохранилось, сам Толстой обычно не проставлял даты, а если и помечал ее, то часто ошибочно. В этом отношении показателен курьез, что Толстой обозначил одну свою запись под 31-м числом такого месяца, который имеет всего 30 дней. Главной опорой для датировки писем (нами передатировано 167 писем, при чем приходилось иногда делать передвижку на несколько лет, так письмо № 109—по первому изданию № 125—перенесено на семь лет: с 1881 г. на 1874 г.) служили ответные письма С. А. Толстой, обычно точно датированные, и ряд попутных соображений по содержанию письма вплоть до таких мелочей, как присланная А. Е. Берсом шерсть или обуженное платье Т. Л. Толстой, что по связи с другими письмами могло служить хронологическими вехами.

Любопытно то, что штемпели на конвертах далеко не всегда могут гарантировать точность даты—особенно поразителен в этом отношении сохранившийся в архиве Толстого конверт со штемпелем «Чернь 1856, авг. 12» и с адресом «Софии Андреевне Толстой на ст. Ясенки»,—если это сопоставить с фактом, что Толстой женился всего в 1862 г., а в 1856 г. Софье Андреевне было всего 12 лет. Приходится выверять и даты на штемпелях: на основании учета поездок Толстого с проездом через Чернь пришлось заключить, что цифры в печатке для штемпелевания были набраны неверно, и вместо 1856 должно было быть 1866. В виду возможных недоразумений мною при обосновании датировки в комментарии, как правило, применяется развернутая формулировка всех данных для приурочения датируемого письма именно к этому числу; встречающаяся часто при редактировании писем формулировка «датируется по содержанию» мною отвергается как несостоятельная по своей неопределенности.

Письма Толстого не распределяются равномерно по годам. Есть год, когда Толстой не написал С. А. Толстой ни одного письма (1873 г.); на 1875 г. падает всего одно письмо. Самый продуктивный год—1885, когда Толстой отправил жене 59 писем и телеграмм. Количество писем Толстого обусловливалось числом и продолжительностью отлучек Льва Николаевича, когда семья жила с ним врозь. Наиболее длительными, а потому и наиболее обильными письмами явились следующие его поездки: в Москву, в ноябре—декабре 1864 г. в связи с вывихом руки (17 писем и телеграмм); поездка на Каралык Самарской губернии летом 1871 г. (14 писем); отъезд его в Москву в связи с ремонтом вновь купленного дома в сентябре 1882 г. (10 писем); поездка на Самарский хутор в мае-июне 1883 г. (10 писем и телеграмм); поездка 1885 г. с больным кн. Л. Д. Урусовым в Крым (14 писем и телеграмм) и четыре разлуки Толстого с семьей, когда он уезжал в Ясную Поляну или продолжал жить там при отъезде С. А. Толстой в Москву (в начале 1884 г., в октябре и декабре 1884 г. и в октябре 1885 г.—по десять, одиннадцать писем и в последнем случае—тринадцать).

В письмах 1864 г. очень ярко представлено времяпрепровождение Толстого в Москве с 23 ноября по 11 декабря. Помимо известных в печати писем, относящихся к этой поездке Толстого, мы смогли присоединить бывшие доселе неизвестными одно письмо и четыре телеграммы. Толстой за этот промежуток времени оперировал руку, был занят хозяйственными закупками и вместе с тем заключал с Катковым условие о первом напечатании начала «Войны и мира» (тогда еще называвшегося

«1805 год»), продолжая работать над дальнейшими главами романа. При комментировании писем удалось выявить все театральные посещения Толстого; поскольку театральные впечатления всегда воздействуют на художественное настроение и строй мыслей писателя, это небезынтересно для жизни Толстого. Он посетил Большой театр («Зора», «Моисей» Россини, «Жизнь за царя» Глинки, «Карл Смелый», «Вильгельм Телль» Россини). В Малом театре он видел: «Шутники» Островского, «Маленькое облачко», «Беззаботная», «Жена за столом, а муж под столом», «Семейные расчеты» Куликовых, «Билет на лотерею», «Прежде скончались, потом повенчались». Несмотря на то, что всего в Москве Толстой пробыл с небольшим двадцать дней, пьесу Островского «Шутники» он посетил дважды.

На 19 марта 1867 г. падает большое неопубликованное письмо о смерти жены близкого друга Толстого Д. А. Дьякова (прототип Нехлюдова). Помимо общего своего содержания письмо примечательно упоминанием Тургенева («Тургенев здесь, ужасно лебезит перед Берсами и завтра назвался к ним обедать»); это упоминание в пору полного разрыва Толстого с Тургеневым, свидетельствующее о продолжавшемся общении семьи С. А. Толстой с Тургеневым, указывает на особую связь Тургенева с Берсами—нам это понятно теперь после недавно ставшего известным факта, что у А. Е. Берса была дочь от Варвары Петровны Тургеневой.

Три ненапечатанных письма второй половины года (от 6 ноября, 9 ноября и 28 декабря) обнаруживают усиленные заботы Толстого о печатании «Войны и мира» (сношения с типографией Риса и Бартеневым), устанавливая две неизвестных поездки Толстого в Москву в 1867 г.

Единственное письмо за 1875 г. (неопубликованное) свидетельствует о хлопотах Толстого по печатанию «книг для чтения». В неизвестном письме от начала 1876 г. идет речь о сношениях с Катковым и о том, как Толстой «сдал рукопись и велел принести опять поправить»—повидимому имеется в виду часть «Анны Карениной», опубликованная в № 1 «Русского Вестника» за 1876 г.

Среди писем Толстого, писанных с его самарского хутора в мае и июне 1883 г., правда, не оказалось новых, но анализ уже известных писем выявляет состав того многочисленного общества молодежи, революционеров-семидесятников, к голосам которых так внимательно стал прислушиваться Толстой в эпоху кризиса своего миропонимания. И здесь кроме известного уже революционера Е. Е. Лазарева, судившегося по процессу 193-х, вырастают новые фигуры—сопроцессника Лазарева В. Х. Степанова, ученика Дейча И. М. Гурьяна и П. Н. Мелицыной, одной из первых женщин, работавших на сельскохозяйственной станции Энгельгардта. Бывшая помещица нанялась простой батрачкой на хутор Толстого и действительно опростилась, работала и спала вместе с другими батраками. Есть свидетельство, что Мелицына, описавшая в очерке «Год в батрачках» свой опыт, произвела сильное впечатление на Толстого.

Из неизвестных писем, далее, выделяются письма, свидетельствующие об интересе Толстого к крестьянской жизни; как известно, Толстой в годы кризиса почувствовал особое отвращение к городской жизни и стал все больше и больше замыкаться в Ясной Поляне. В письме от 30 октября 1884 г. он писал: «Нынче провел очень дурной день и грустный. Не мог заснуть вчера до 2, а проснулся в 7. И потому был слаб и уныл. Прошелся по хозяйству, напился кофе. Пришел старик Степан Кривой; я беседовал с ним. Нужда, нужда мужицкая, нужда в первых потребностях—хлеба, молока, дров и сверх того—подати. Он очень просил передать Титке у Сережи брата, чтобы [он] прислал ему денег 10 р. или, по крайней мере, 5. Он нарубил дров в Засеке, а теперь надо платить. Если не заплатить, его работа пропадет. Если есть зажитые деньги, то напиши мне, я ему дам, а Сережа тебе отдаст. Потом пришел купчик Сергиевский покупать сено. Не купил. Потом я пошел на деревню к Хралкову. Совестно было итти. Я пошел было мимо,—мимо Игната. Смотрю Игнат чистит стол на дворе.—Что это делаешь?—Да вот

ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ Л. Н. ТОЛСТОГО И С. А. ТОЛСТОЙ

Из иллюстраций к 84 тому академического издания Толстого

выгнал старик нас, переходим в другую избу,—а сам плачет. Оказалось, что его баба подралась со свекровью за кусок ветчины. (Когда вникнешь ближе в житье мужиков и бедняков—главная причина раздора куски, горшки, т. е. еда послаще. Да и у большинства людей, если разобрать — корень еда послаще. Это ужасно!) Мирил я их, но не знаю, помирятся ли».

В связи с новыми своими идеями Толстой начинает прислушиваться к тому, найдут ли его взгляды отклик в семье; эту сторону мы также обнаруживаем в неопубликованных письмах. Так, он писал о сыне Льве 13 декабря 1884 г. «Большое спасибо Лёве за письмо. Пускай он не стыдится быть в человеческих отношениях с теми, кто его больше всех любит, т. е. больше, чем кто-либо другой, а стыдится быть рядом и быть столь же более далеким, чем в Новой Зеландии». Толстого ждет разочарование. В письме от 25 ноября 1885 г. он пишет: «У нас все по-старому— не могу сказать хорошо, потому что не могу одобрять и называть хорошим то праздное прожигание жизни, которое вижу в старших. И вижу, что помочь не могу. Они, видя мое неодобрение, от меня удаляются; я, видя их удаление, молчу, хотя и стараюсь при всяком случае говорить. Так говорил 3-го дня миролюбиво с Сережей, но не вышло ничего из нашего разговора». В конце письма Толстой, правда, оговаривается: «Я должно быть не в духе, что так мрачно смотрю на сыновей старших, и потому ты мои слова принимай с ограничениями».

Наиболее интересным письмом из вновь печатаемых писем разбираемого тома является большое (свыше полулиста печатного текста) письмо от декабря 1885 г. Известна первая попытка ухода Толстого из Ясной Поляны в июне 1884 г. Письмо 1885 г., написанное перед отъездом Толстого из Москвы, когда он, расстроенный и взволнованный, уехал в подмосковное имение друзей, чтоб притти в себя, показывает, что мысль эта продолжала преследовать Толстого. Перед отъездом он пишет непереданное письмо С. А. Толстой, в котором он так размышляет о планах будущей жизни: «Выборов есть три: употребить свою власть: отдать состояние тем, кому оно принадлежит—рабочим, отдать кому-нибудь, только избавить малых и молодых от соблазна и погибели; но я сделаю насилия, я вызову злобу, раздражение, вызову те же желания, но не удовлетворение, что еще хуже, 2) уйти из семьи?—но я брошу их совсем одних,—уничтожить мое кажущееся мне недействительным, а может быть действующее, имеющее подействовать влияние—оставлю жену и себя одиноким и нарушу заповедь, 3) продолжать жить, как жил; вырабатывая в себе силы бороться со злом любовно и кротко. Это я и делаю, но не достигаю любовности и кроткости и вдвойне страдаю и от жизни и от раскаяния. Неужели так надо? Так в этих мучительных условиях надо дожить до смерти?»

Что касается двух последних цитированных писем, то психологически понятно, почему они не увидели света раньше: первое не было обнародовано, потому что, с точки зрения С. А. Толстой, оно могло бросить тень на ее детей; второе не могло не восприниматься ею болезненно,—она очень тяжело переживала всякие указания на средостение, которое существовало между ней и Львом Николаевичем. Но таким отбором и кончается то, что зависело от самой Софьи Андреевны. Все остальное, что может вызывать возражения в первом издании, прежде всего дефекты неверной датировки,—дело рук редактора. В этом отношении поразительным документом, свидетельствующим о небрежности редактора, является сохранившаяся в Ясной Поляне наборная рукопись издания (инв. № 2296). В предисловии к первому изданию Грузинский писал: «Подлинные письма Л. Н. не были мне доступны. Они... состоят под запрещением. При таких условиях работа редактора должна была свестись к следующему. В вопросе об установлении точного текста предстояло лишь тщательно сверить изготовленный для типографии список со старыми копиями... в установке дат предстояло главным образом проверить работу Софьи Андреевны». На самом деле наборной рукописью является копия руки Софьи Андреевны, в которой какая бы то ни была правка текста писем отсутствует. Переписанный рукой С. А. Толстой текст писем, долженствовавший подвергнуться редакторской проработке на основании ранее снятых копий и ответных писем Толстой, на самом деле пошел в набор в том виде, как был изготовлен С. А. Толстой. Те минимальные поправки в датах и приписки в аннотациях, которые сделаны рукой редактора, фактически испортили, а не выправили работу Толстой, не претендовавшей на редакторскую обработку. Приведу четыре примера. Письмо № 36 (по первому изданию) было скопировано рукой С. А. Толстой, при чем в конце была переписана дата самого Толстого: 31 июля (1865 г.), эту же дату Толстая проставила впереди письма. Редактор зачеркнул в конце дату Толстого, а в начале стал ее исправлять: сначала из 31 июля сделал 30-е, а июль поправил на июнь, затем все зачеркнул и написал для набора: 1 июля. Другой пример: в письме № 49 Толстая воспроизвела собственноручную дату Толстого: Воскресенье, 14-го. Редактор поправил 14-е на 13-е. В обоих случаях датировки Толстого в выправке не нуждались вовсе. Верно датированная записка, начинающаяся со слов: «Посылаю за тобой лошадей» и помеченная С. А. Толстой 1867 годом, сначала карандашом редактора была неверно передатирована на 1877 г., а затем оказалась отнесенной к концу книги к семи письмам, помещенным без всякой даты (см. № 1, стр. 588). Лишь в двух-трех случаях текст писем оказался переписанным рукой редактора, с перенесением в

другое место рукописи. Так подклеен текст письма № 102, переписанный карандашом рукой редактора с обозначением: «из той же поездки» (1878 г.); эта интересная записка, в которой идет речь о знакомстве Толстого с дочерью декабриста Рылеева, таким образом оказалась отнесенной к концу поездки и приуроченной к Петербургу, между тем как записка эта написана в начале поездки из Тулы, где и состоялось знакомство Толстого с Рылеевой. Это сбило даже такого многоопытного исследователя жизни Толстого периода написания им незавершенного романа «Декабристы», как М. А. Цявловский, заставив его предположить, что свидание имело место в Петербурге и что посетил он М. Я. Пущину, между тем как речь идет о тульских Пущиных, у которых он и познакомился в Туле с Рылеевой (ср. Л. Толстой «Работа над романом «Декабристы», библ. «Огонек», № 85, стр. 12).

П. Попов

ТОМА 85-й, 86-й, 87-й, 88-й, 89-й. ПИСЬМА К В. Г. ЧЕРТКОВУ

Письма к В. Г. Черткову занимают наиболее значительное место в эпистолярном наследстве Толстого. Толстой писал Черткову больше и чаще, чем кому-либо другому. Сохранилось 928 писем, считая в том числе и те, которые начинаются обращением к А. К. Чертковой, но предназначаются и для ее мужа.

Переписка с Чертковым, длившаяся с декабря 1883 г. до смерти Толстого, представляет собой до некоторой степени единое целое. Одни и те же мотивы, очень существенные для изучения жизни и творчества Толстого, проходят через эти письма, начиная с первых месяцев знакомства и кончая последними месяцами жизни Толстого. Поэтому в юбилейном издании полного собрания сочинений Толстого письма к Черткову, так же как и письма к С. А. Толстой, выделены особо и составят серию из пяти томов.

Переписка Толстого с Чертковым до сих пор опубликована лишь в сравнительно незначительной части. Как мало она использована в печати, видно хотя бы по данным, относящимся к первому периоду переписки, — до высылки Черткова за границу (1883—1897 гг.), по которому редакционная работа уже закончена: из 426 писем, относящихся к этому времени, полностью было опубликовано всего несколько десятков.

Значительно больше писем известно в виде отдельных отрывков. Отрывки из писем Толстого к Черткову, появлявшиеся в печати до сих пор, представляют собой частью цитаты, приводившиеся разными авторами (главным образом П. И. Бирюковым в биографии Толстого), частью выдержки, сделанные В. Г. и А. К. Чертковыми, преимущественно для составлявшихся ими сборников мыслей Толстого. Цитаты эти разумеется не могут заменить тех писем, откуда они взяты, так как нередко письмо, использованное в печати в виде цитаты, связанной с той или иной темой, содержит в неопубликованной части материал, гораздо более интересный, но не имеющий отношения к данной теме.

Писем В. Г. Черткова к Толстому сохранилось больше тысячи. Они также содержат очень много данных, ценных как для изучения истории писания и публикации произведений Толстого, так и для выяснения некоторых вопросов его биографии за последние 27 лет жизни. Вместе с тем эти письма важны для истории тех издательств, которые были основаны В. Г. Чертковым («Посредник», «Свободное слово»). Они отражают борьбу с цензурой и дают некоторые интересные сведения о многих крупных писателях, художниках и общественных деятелях, с которыми Чертков был знаком и находился в переписке (Н. С. Лесков, В. М. Гаршин, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. И. Эртель, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, П. А. Кропоткин и др.).

В юбилейном издании собрания сочинений Толстого письма Черткова разумеется не могут быть опубликованы полностью, но из них берутся значительные выдержки, которые приводятся в комментариях к письмам Толстого.

Письма Толстого хранились у Черткова в образцовом порядке, но конверты от этих писем по большей части не сохранились, и это обстоятельство значительно затрудняет датировку, так как лишь в немногих случаях имеется авторская дата, а между тем нет возможности обратиться к почтовому штемпелю. Но почти на всех письмах имеются даты, проставленные рукой В. Г. Черткова. Он ставил эти даты по большей части повидимому немедленно по получении письма, руководствуясь почтовым штемпелем, но иногда делал это несомненно позднее и повидимому уже не имея конверта под рукой.

Для уточнения этих дат потребовалась большая работа, основанная на анализе записей в дневниках Толстого, общей переписки Толстого за соответствующий период и т. д. В результате пришлось изменить первоначальную датировку многих писем. Обычно изменения эти незначительны (на один-два дня), но в некоторых случаях датировка существенно менялась. В частности при анализе прежней датировки удалось установить, что письмо Толстого к Черткову, являющееся первым наброском повести «Отец Сергий», опубликованное раньше с неопределенной датой, 1890 год, было написано в первых числах февраля того же года. Таким образом точно установлено начало работы Толстого над «Отцом Сергеем».

Толстой как он сам это не раз отмечал, был уверен, что Чертков всегда поймет его «с полуслова» и «с намека». Поэтому письма Толстого отличаются большой сжатостью, нередко затрудняющей работу редактора и вызывающей необходимость давать детальный комментарий. Вместе с тем дружеская близость делает письма Толстого и Черткова особенно непосредственными и превращает их переписку в источник, отражающий их мысли и переживания в наиболее подлинной форме. Толстой сам неоднократно указывает на эту особенность своих писем. «Вам я пишу без задержки, что и как думаю», пишет Толстой Черткову в октябре 1900 г.

Такие же нотки постоянно звучат и в письмах Черткова. Уже в начале переписки с Толстым, в письме от 25 марта 1884 г., Чертков пишет: «Лев Николаевич, это я вам написал с плеча, это только неожиданно оторвавшаяся частичка меня самого». Такие же высказывания не раз встречаются и в письмах, относящихся к последним годам жизни Толстого.

Ко времени своей встречи с Толстым В. Г. Чертков совершенно независимо от него пришел к тем же убеждениям, которые определяли и мировоззрение Толстого.

Через несколько месяцев после знакомства с Чертковым Толстой писал о нем в своем дневнике: «он удивительно одноцентренен со мной» (дневник Толстого от 18 апреля 1884 г.). И тогда же Толстой пишет Черткову, какое значение придает его письмам: «Письма ваши для меня радость и утешение. А как вы видите из моего последнего письма, мне нужно иногда утешение, поддержка бодрости духа» (письмо Толстого к Черткову от 18 марта 1884 г.).

Эта близость была тогда же закреплена общей работой: Чертков в первый же год знакомства с Толстым решает отдать свои силы изданию в России и за границей новых произведений Толстого. Этим в значительной степени определяется содержание писем Толстого к Черткову. Толстой пишет Черткову не только как к наиболее близкому единомышленнику и другу, но и как своему уполномоченному по литературным и издательским делам, которому он раньше, чем кому-либо другому, посылает рукописи своих произведений, внимательно прислушиваясь к его отзывам.

Уже в первые месяцы после знакомства Толстого с Чертковым намечаются темы, которые развиваются потом на протяжении всей переписки. Как известно, с начала 80-х годов Толстой преимущественно работает над теоретическими произведениями, которым отдает больше сил, чем художественному творчеству. Чертков с большой настойчивостью пишет Толстому о том, что художественная форма имеет гораздо большую ценность, чем теоретическое изложение. Эту мысль можно проследить в письмах Черткова к Толстому на протяжении всей их переписки.

В июле 1886 г. Чертков, возвращаясь в курьерском поезде из Лондона в Петербург, пишет с пути Толстому: «вот все эти миллионы людей, среди которых пролетает наш поезд, каждому, решительно каждому из них было бы приятно и отрадно и ободрительно прочесть ваши последние рассказы. Но ваши большие статьи, как «Что же нам делать» этим рабочим милионам не нужны, для них читатели живут в тех городах, где мы останавливаемся, которые обозначены в путеводителе словом «буфет».

Получив известие, что Толстой начинает работать над новым художественным произведением, Чертков в своих письмах подчеркивает, что эта работа может иметь большее значение, чем писание статей. Так, в ноябре 1900 г., узнав, что Толстой работает над драмой «Живой труп», Чертков пишет ему: «несказанно я рад и тому, что вы пишите драму. Для вас это, может быть, и баловство, но для ваших предстоящих читателей это духовный хлеб насущный, такой, который вы один в состоянии дать человечеству и в котором оно потому от вас нуждается... Как «Воскресенье» ваше делает и сделает такое, чего никакие другие нехудожественные ваши писания сделать не могут, так будет и с этой драмой». И в последний год своей жизни Толстой, написав очерки «Три дня в деревне» и придав им полубеллетристическую форму, пишет Черткову: «Вы виноваты в том, что они в более или менее художественной форме» (письмо Толстого к Черткову от 14 января 1910 г.).

Переписка Толстого с Чертковым показывает, что Чертков делал своеобразные попытки вызвать у Толстого желание приняться за художественную работу. Так, найдя в журнале «Русский Рабочий» небольшой переводный рассказ, помещенный без имени автора, «Дед Мартын», Чертков переписывает его с таким расчетом, чтобы сзади остались чистые листы бумаги, и, посылая рукопись Толстому, просит его дать художественную обработку рассказа. Толстой, прочитав рукопись, начинает делать наброски на приложенной к ней чистой бумаге и, постепенно войдя в работу, пишет рассказ «Где любовь, там и бог».

Когда Толстой в конце января 1890 г. говорит Черткову о своем намерении написать повесть «Отец Сергий», Чертков просит не рассказывать устно ее содержание, а написать в ближайшем письме, чтобы зафиксировать замысел на бумаге и тем самым приступить к работе. Получив обещанное письмо, являющееся первым наброском повести «Отец Сергий», Чертков переписывает письмо, оставляя широкие пробелы между строками для внесения поправок, и посылает эту копию Толстому вместе с оригиналом, прося приступить к работе над этой рукописью.

Толстой постоянно держит Черткова в курсе своего творчества, рассказывая в письмах о том, какие затруднения встречаются в процессе работы, и нередко сам дает оценку своим новым произведениям.

Так как Чертков берет на себя почти все сношения с издателями и переводчиками, то новые рукописи Толстого за очень немногими исключениями проходят через его руки. Естественно, что нет почти ни одного сколько-нибудь значительного произведения Толстого, написанного после знакомства с Чертковым, о котором не говорилось бы в их переписке.

Посылая свои рукописи Черткову, Толстой постоянно просит его давать свою оценку и учитывает эти замечания в дальнейшей работе. Таким образом переписка Толстого с Чертковым позволяет выяснить некоторые важные детали в истории писания ряда произведений Толстого: «Два старика», «Свечка» и некоторые другие народные рассказы, «Власть тьмы», «Крейцерова соната», «Хозяин и работник», «Воскресенье», «Хаджи Мурат», «Божеское и человеческое» и т. д.

Еще больше материала дают эти письма для изучения истории писания и печатания книг и статей Толстого, содержащих изложение его взглядов.

В мае 1900 г. Толстой, посылая Черткову свою статью «Патриотизм и правительство», пишет: «С статьей делайте, что найдете нужным. Печатайте, если найдете ее стоящей того, или верните, чтобы исправить. Хотя я очень много раз ее исправлял, я могу еще почистить ее. Есть в ней, как мне кажется, кое-что нужное, но она как-то не задалась и не понравилась мне. Впрочем я столько ковырялся в ней, что уже потерял чутье». Неоднократно, начиная с первых лет и кончая последними годами переписки с Чертковым, Толстой повторяет, что дает ему в отношении своих произведений «carte blanche».

Надо однако сказать, что Чертков, как показывают его письма, считая желательным внесение тех или иных поправок, предварительно испрашивает согласие Толстого. И Толстой далеко не всегда дает согласие даже в тех случаях, когда речь идет о второстепенных, казалось бы, вопросах. Так Чертков, обращая внимание Толстого на то, что многочисленные эпиграфы, предпосланные каждой главе статьи «Одумайтесь», затрудняют чтение и отвлекают внимание читателя, несколько раз просит согласиться на то, чтобы они были помещены отдельно, но Толстой не поддается его убеждениям.

Л. Н. ТОЛСТОЙ С В. Г. ЧЕРТКОВЫМ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ В 1909 г.
Из иллюстраций к 89 тому академического издания Толстого

Начиная с первых лет переписки и кончая последними, можно отметить письма, в которых Толстой и Чертков обмениваются мыслями о том, для какой категории читателей должны быть предназначены произведения Толстого. Чертков постоянно пишет Толстому, что его статьи доступны лишь интеллигентному читателю и что надо писать так, чтобы все написанное было понятно каждому, независимо от его образовательной подготовки. Еще в 1884 г. Черт-

ков по поводу книги «В чем моя вера» писал Толстому: «Вы написали книгу для образованных людей, в которой изложили свою веру. Но из простого народа никто не поймет, как следует, ни одной полной страницы из этой книги».

Толстой соглашается с Чертковым и не раз пишет и сам о том, что хочет писать так, чтобы его произведения были доступны для всех. Он пишет народные рассказы, но статьи его остаются трудными по своему языку и понятными лишь для интеллигентного читателя.

И за год до смерти в его письмах к Черткову встречаются такие же высказывания на эту тему, как и в самом начале их переписки. В июне 1909 г., работая над статьей «Единая заповедь», Толстой пишет Черткову: «Вы пишете о том, чем нужнее всего помогать народу или скорее хоть чем-нибудь отплачивать ему. И, разумеется, вы правы, но чувствую свое бессилие, свою слабость. Эту статью я начал для простого читателя, а кончил тем, что статья почти недоступна простому читателю. Но не отчаиваюсь, буду стараться».

После того как Чертков в конце 1884 г. создает при ближайшем участии Толстого книгоиздательство «Посредник», которое должно было выпускать книги, предназначенные для деревенского читателя, Толстой становится своего рода постоянным консультантом издательства по всем делам, связанным с редакционной работой. В своих письмах к Черткову, с 1884 г. и до начала 90-х годов, Толстой постоянно предлагает новые темы для народных книжек, анализирует присылаемые ему рукописи, обращая особенное внимание на рассказы начинающих писателей из крестьянской и рабочей среды (С. Т. Семенов, В. И. Савихин, Н. А. Полушин, И. Г. Журавов), указывает, какие произведения классиков следовало бы издать, и т. д. Эти письма дают ценный материал для характеристики литературных вкусов Толстого.

Точно так же интересны письма, в которых Толстой дает анализ статей самого Черткова. Толстой обычно подвергает эти рукописи внимательной критической оценке и делает ряд указаний, относящихся не только к этим статьям. В частности он всегда подчеркивает, что надо сокращать все, без чего можно обойтись, добиваясь сжатости и простоты изложения.

С конца 80-х годов Чертков начинает собирать черновики рукописей Толстого. При этом он тщательно сравнивает первоначальные варианты с окончательным текстом, выписывает из черновиков места, не вошедшие в последнюю версию, и нередко сообщает эти выписки Толстому для того, чтобы он мог использовать их в других статьях. Толстой сам подчеркивает значение этой работы, указывая, что нередко в черновиках остаются неиспользованными страницы, не уступающие печатному тексту, но исключенные при окончательной редакции, так как они отвлекали внимание читателя от основной мысли данного произведения и мешали целому.

Точно так же Чертков, с конца 80-х годов и до последних месяцев жизни Толстого, ведет с исключительной энергией работу по собиранию и сохранению его писем. Эти архивные материалы, собранные В. Г. Чертковым и полностью использованные лишь в юбилейном издании полного собрания сочинений Толстого, как известно, представляют исключительную ценность для изучения творчества и жизни Толстого. В своих письмах Толстой сам дает оценку этой стороне деятельности Черткова. В частности Толстой не раз указывает, что собирание черновых рукописей и писем считает полезным для себя, так как сам иногда их забывает и, перечитывая заново, находит много нужного.

В письмах Толстого к Черткову отражается его отношение к целому ряду дел, привлекавших в свое время общественное внимание.

Много места уделяется преследованиям духоборов во второй половине 90-х годов, делу об отобрании «по высочайшему повелению» детей у кн. Д. А. Хилкова, самоубийству М. Ф. Ветровой, хлопотам Толстого за самарских молокан, у которых были отняты дети для воспитания в монастырях, и т. д. Точно так же находят отражение и события более крупного масштаба: русско-японская война и революционное движение 1905 г. Толстой пишет по поводу этих событий ряд статей и делится с Чертковым мыслями на эти темы.

После высылки Черткова из России в 1897 г. в его переписке с Толстым начинают особенно много места занимать вопросы, связанные с изданием за границей произведений Толстого, которые не могут появиться в России вследствие цензурных препятствий.

В. Г. Чертков вместе с своей женой А. К. Чертковой учреждает в Англии издательство «Свободное Слово», которое выпускает произведения Толстого на русском языке. Вслед за тем он создает книгоиздательство «The Free Age Press», которое печатает их по-английски.

Поселившись в Англии, Чертков становится единственным представителем Толстого за границей по делам, связанным с переводами и изданиями. Предоставляя переводчикам и издателям совершенно бесплатно писания Толстого согласно его воле, Чертков в то же время настойчиво добивается точности переводов и стремится поставить дело так, чтобы новые произведения Толстого одновременно выходили в свет в разных странах.

Письма Черткова к Толстому показывают, что эту задачу в значительной степени удалось разрешить. В частности Чертков сообщает интересные сведения об успехе, которым пользовалась за границей статья Толстого о русско-японской войне «Одумайтесь», вышедшая в Англии и в Америке в нескольких изданиях.

Вместе с тем Чертков становится до известной степени постоянным посредником между Толстым и его английскими и американскими корреспондентами: Толстой не раз посылает ему для перевода свои ответы на письма, получаемые из Англии, Америки и других стран. Переписка Толстого с Чертковым показывает, что эти обязанности Чертков продолжает выполнять и после своего возвращения в Россию. Благодаря этому в их переписке можно найти интересные замечания о письмах Толстого к Б. Шоу, Ганди, индусу Т. Дасу, китайцу Ку-Хун-Мину и т. д.

Письма Толстого к Черткову дают не только богатый материал для изучения творчества Толстого, но являются и очень важным биографическим источником.

Толстой вводит Черткова, больше чем кого-либо другого, в область своей личной жизни. Он не только рассказывает о своем самочувствии, отмечая моменты подъема и упадка работоспособности, тяжелых или радостных настроений, но и много говорит об условиях своей домашней жизни, которых он обычно не касается даже в письмах к своим близким знакомым.

Уже в первые месяцы знакомства с Чертковым Толстой пишет ему три письма, в которых рассказывает о своем семейном разладе. Толстой просит Черткова уничтожить эти письма, и Чертков выполняет его просьбу, переписав лишь те места, которые не имели отношения к личной жизни Толстого. Но затем Толстой перестал настаивать на уничтожении писем этого рода, иногда делая однако на них надпись: «читайте одни». Среди впервые публикуемых в юбилейном издании писем, в которых Толстой рассказывает Черткову о своей домашней жизни, особенное значение имеют два письма. Первое из них, написанное в декабре 1885 г., начинается словами: «Мне мучительно тяжело и ни с кем так мне не хочется поделиться этой тяжестью, как с вами, милый друг, потому что, мне кажется, никто так не любит во мне то хорошее, что есть во мне, как вы». И дальше Толстой с исключительной силой изображает барский быт, установившийся в его доме, и рассказывает о том, до какой степени семья не понимает его убеждений и не считает нужным с ними считаться.

Письмо это осталось непосланным, но сохранилось в архиве Толстого, при чем до последнего времени оставалось неизвестным. Другое письмо, написанное 12 января 1897 г., имеющее пометку «читайте одни», сохранилось в архиве Черткова, который, учитывая желание Толстого, никому не давал его читать. Письмо это также чрезвычайно отчетливо показывает, как остро переживал Толстой разлад между своими убеждениями и всем укладом своей семейной жизни еще за много лет до того, как ушел из дома. Письма за 1910 г. содержат особенно много материалов, важных для понимания семейного разлада Толстого, и выясняют причины, вызвавшие его уход из Ясной Поляны.

Подводя итоги, можно сказать, что переписка Толстого с Чертковым бесспорно принадлежит к числу наиболее важных источников для изучения жизни и творчества Толстого. Из пяти томов, которые занимают письма Толстого к Черткову в юбилейном издании, закончены и сданы ГИХЛ'у три: 85-й том — письма за 1883—1886 гг. (редактор Л. Я. Гуревич), 86-й и 87-й тома — письма за 1887—1889 гг. и 1890—1897 гг. (редактор М. В. Муратов). Первый из этих томов выпущен уже в свет, а второй сдан в производство в июне 1935 г.

М. Муратов

Отв. ред. *П. И. Лебедев-Полянский.* Зав. ред. *И. С. Зильберштейн.*
Зам. ред. *М. Б. Храпченко.*

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

РАБОЧИЙ ФОЛЬКЛОР XVIII ВЕКА.
Статья С. Дмитриева 1

П. Я. ЧААДАЕВ НА ПУТИ В РОССИЮ В 1826 ГОДУ.
Публикация Д. Шаховского 16

ИЗ НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКИ Н. М. ЯЗЫКОВА.
I. Н. М. Языков и В. Д. Комовский. Переписка 1831—1833 гг.
Публикация М. Азадовского 33
II. Н. М. Языков и Ф. В. Чижов. Переписка 1843—1845 гг.
Публикация И. Розанова 105

КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАМЫСЛЫ ГРИБОЕДОВА.
Статья Н. Кальмы 143

Ф. И. ТЮТЧЕВ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ЦАРСКОЙ РОССИИ.
Статья К. Пигарева 177

П. Л. ЛАВРОВ И ЕГО КОРРЕСПОНДЕНТЫ.
I. Из неизданной переписки П. Л. Лаврова и Г. З. Елисеева.
Вступительная статья и комментарии Ф. Витязева 257
II. Неизданные письма Г. В. Плеханова к П. Л. Лаврову.
Вступительная статья Б. Козьмина 272

ОБЗОРЫ

СУДЬБА ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА ДЕНИСА ДАВЫДОВА.
Обзор В. Орлова 297

СУДЬБА ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА Н. М. ЯЗЫКОВА.
Обзор М. Азадовского 341

СУДЬБА ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА Ф. И. ТЮТЧЕВА.
Обзор К. Пигарева 371

СУДЬБА ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА Т. Г. ШЕВЧЕНКО.
Обзор И. Айзенштока 419

СООБЩЕНИЯ

О ТЕКСТАХ ЛЕРМОНТОВА.
Сообщение Б. Эйхенбаума 485

НОВОЕ О ЛЕРМОНТОВЕ.
I. Два новых автографа Лермонтова.
Сообщение Н. Пахомова 502
II. Новые письма Лермонтова.
Сообщение В. Мануйлова и А. Михайловой 510

Стр.

ПОРТРЕТЫ ЛЕРМОНТОВА.
Сообщение Н. Пахомова 517

ПРИПИСЫВАЕМЫЕ ГОГОЛЮ РИСУНКИ К „РЕВИЗОРУ".
Сообщение А. Некрасова 531

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОРТРЕТ ГОГОЛЯ РАБОТЫ Т. Г. ШЕВЧЕНКО.
Сообщение А. Вейнберг 551

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА Т. Г. ШЕВЧЕНКО.
Сообщение И. Айзенштока 558

Ф. И. ТЮТЧЕВ В КОМИТЕТЕ ЦЕНСУРЫ ИНОСТРАННОЙ.
Сообщение М. Брискмана 565

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА ТЮТЧЕВА И К ТЮТЧЕВУ.
Сообщение П. Кириллова, Е. Павловой и Д. Шаховского . 579

БИБЛИОТЕКА В. Г. БЕЛИНСКОГО.
Сообщение А. Путинцева 603

ТРИБУНА

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА.
Статья В. Десницкого 617

ОТВЕТ И. СЕРГИЕВСКОМУ и В. ДЕСНИЦКОМУ.
Статья Д. Мирского 645

ИСТОРИЯ У ИСТОРИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ.
Статья А. Гайсиновича 650

ОБ ИДЕОЛОГИИ КНЯЖНИНА.
Статья Н. Гудзия 659

ИТОГИ ДИСКУССИИ.
От редакции 665

ХРОНИКА

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ Л. Н. ТОЛСТОГО.

В редакции академического Толстого
Сообщение М. Чистяковой 671

Том 8-й. Педагогические сочинения.
Сообщение Н. Мендельсона 678

Том 17-й. Незаконченные исторические романы.
Сообщение П. Попова 681

Том 27-й. „Крейцерова соната", „Плоды просвещения", „Дьявол" и др.
Сообщение Н. Гудзия 686

Том 46-й. Дневники 1847—1854 гг.
Сообщение А. Петровского 688

Том 54-й. Дневники и записные книжки 1900—1903 гг.
Сообщение К. Шохор-Троцкого 690

Стр.

Том 58-й. Дневники и записные книжки 1910 г.
Сообщение Н. Родионова 697

Том 63-й. Письма 1880—1886 гг.
Сообщение В. Мишина 698

Том 72-й. Письма 1899—1900 гг.
Сообщение В. Жданова 701

Тома 83-й и 84-й. Письма к жене.
Сообщение П. Попова 703

Тома 85-й, 86-й, 87-й, 88-й, 89-й. Письма к В. Г. Черткову.
Сообщение М. Муратова 707

В НОМЕРЕ 714 СТРАНИЦ, 155 ИЛЛЮСТРАЦИЙ, ОДНА ЧЕТЫРЕХЦВЕТКА И ОДНА ФОТОТИПИЯ

Адрес редакции: Москва, 6, Страстной бульвар, 11, тел. 4-28-45.

Тех. редактор М. А. Перельман.
Корректор С. А. Меринг.
Сдано в набор 15/II 1935 г.
Подп. к печати 12/VIII 1935 г.
Тираж 9 000 экз.
Форм. бум. 72×110 1/16
Печ. знаков в печ. л. 71 280
Уполномоч. Главлита № Б—9993

Четырехцветка и фототипия выполнены Гознаком.

Отпечатано в типографии Журнально-газетного объединения, Москва, 1-й Самотечный, 17.